НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ

Владимир Полунин

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Жизнь поэта Николая Гумилёва могла бы стать блестящим сюжетом для авантюрного романа, если бы не закончилась так по-русски трагично — от пули врага. Юношеские попытки самоубийства, воспитание в себе «конквистадора в панцире железном», драматичная любовь к знаменитой поэтессе, чреда донжуанских побед, дуэль, дерзкие путешествия на самый экзотичный континент, соперничество с гениальным поэтом, восхождение на вершину мастерства, создание собственной поэтической школы, война, двумя Георгиями «тронувшая грудь», нескрываемый монархизм при большевизме… Всё это давало право писать: «Как сладко жить, как сладко побеждать / Моря и девушек, врагов и слово». Интерес к расстрелянному и относительно недавно легализованному в отечественной литературе поэту растет как у читателей, так и у исследователей его жизни и творчества. Владимир Полушин, поэт, лауреат Всероссийской Пушкинской премии «Капитанская дочка», кандидат филологических наук, автор многих работ о Николае Гумилёве и главной из них — Энциклопедии Гумилёва, сделал, пожалуй, первую попытку собрать все имеющиеся на сегодня сведения в целостное жизнеописание поэта, приближенное к хронике. Как любая первая масштабная работа, — книга полемична и вместе с тем содержит богатый материал для любознательных читателей и будущих исследователей.

- Полушин Владимир. НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ: ЖИЗНЬ РАССТРЕЛЯННОГО ПОЭТА
  - Глава I МОРСКОЙ ВРАЧ
  - Глава II СЛЕПНЕВСКАЯ ЗАТВОРНИЦА
  - Глава III РОЖДЕНИЕ РОМАНТИКА
  - Глава IV ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ГИМНАЗИСТ
  - Глава V ОДИНОЧЕСТВО В ПАРИЖЕ
  - Глава VI ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА
  - Глава VII ДУЭЛЬ НА ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ
  - Глава VIII НА СЛУЖБЕ У «АПОЛЛОНА»
  - Глава IX ПОЭТ И КОЛДУНЬЯ
  - Глава X ПАРИЖ НА ДВОИХ
  - Глава XI СЛЕПНЕВСКАЯ ИДИЛЛИЯ
  - Глава XII ПУТЕШЕСТВИЯ В АБИССИНИЮ
    - 1. КОРРЕСПОНДЕНТ «РУССКОЙ РЕЧИ»
    - 2. ПОСЛАННИК ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ
  - Глава XIII ИТАЛЬЯНСКАЯ РАПСОДИЯ

- Глава XIV ВОЖДЬ АКМЕИСТОВ
- Глава XV ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР
- Глава XVI В ЭСКАДРОНЕ ЧЕРНЫХ ГУСАР
- Глава XVII ПОЧТОВЫЙ РОМАН
- Глава XVIII ПРОЩАНИЕ С ПАРИЖЕМ
- ГЛАВА XIX МЭТР
- Глава XX ПО ДОРОГЕ ИЗ «КРАСНОГО АДА» В ВЕЧНОСТЬ
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н. С. ГУМИЛЁВА
- БИБЛИОГРАФИЯ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31

- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75

- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91

Полушин Владимир. НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ: ЖИЗНЬ РАССТРЕЛЯННОГО ПОЭТА

Глава I МОРСКОЙ ВРАЧ

Николай Гумилёв. Начало 1900-х гг.

30 июля 1865 года в 10 часов вечера один из лучших российских фрегатов — фрегат «Пересвет» — при густом тумане и маловетрии снялся с якоря и вышел из Кронштадтского порта. На его борту было 38 офицеров, гардемарин, юнкеров, кондукторов и 520 человек нижних чинов, набранных из 3-го, 4-го и 6-го флотских экипажей, а также корабельный священник иеромонах Александро-Невской лавры о. Митрофан.

Капитан, опытный моряк, капитан-лейтенант Николай Копытов в море чувствовал себя как дома; он ходил на фрегате не первый год и даже побывал в дальнем походе: за два года до описываемых событий в составе русской эскадры под командованием контр-адмирала С. С. Лисовского «Пересвет» пересек Атлантический океан и подошел к берегам Соединенных Штатов, где в ту пору бушевала Гражданская война.

Итак, 1 августа 1865 года в густом тумане «Пересвет» пересек Финский залив. К полудню туман стал рассеиваться, и капитан отдал команду идти под парусами со скоростью 6–9 узлов до плавучего маяка Драге. У маяка возникла заминка: лоцман, осмотрев судно, заявил, что фрегат углублен кормою более чем на 23 фута. Это было опасно, и Копытов приказал сдвинуть к носу орудия обеих батарей, после чего «Пересвет» благополучно дошел до Копенгагена. Там к капитану обратился младший судовой врач, лекарь 3-го флотского экипажа Степан Гумилёв: пятеро заболевших матросов нуждались в госпитализации, так что больных пришлось оставить на попечение российского генконсула. Старший врач, коллежский асессор Аркадий Облочинский доложил капитану, что общее состояние команды хорошее, а взамен убывших Копытову прислали с фрегата «Генерал-адмирал» шестерых матросов.

Капитан с удовольствием для себя подмечал, как бодро держится молодой доктор Гумилёв: он впервые участвовал в таком дальнем походе, да и морской стаж у него был в ту пору невелик.

В 1861 году Степан Яковлевич Гумилёв окончил полный курс медицинского факультета Московского Императорского университета. Чтение лекций на этом факультете началось еще в 1758 году. А почти через сто лет, в 1841-м, в него влилась Московская медико-хирургическая академия. К 1856 году, когда там начал учиться Степан Гумилёв, университет переживал пору истинного расцвета. Ботанику и зоологию читали такие видные ученые, как Вальдгейм и Рулье, всеобщую историю преподавали Грановский и Кудрявцев, а русскую историю — Сергей Михайлович Соловьев.

Родился Степан Яковлевич 28 июля 1836 года в селе Желудево Спасского уезда Рязанской губернии, о чем осталась в соответствующей книге Христорождественской церкви следующая запись: «Двадцать осьмого июля у дьячка Якова Федотова и его законной жены Матрены Григорьевой родился сын Степан, крещен он был второго августа священником Алексеем Васильевым Городковским и диаконом Дмитрием Васильевым, восприемники: рязанский цеховой Иуда Артамонов и помещика

Михаила Иванова Смольянинцева дочь, девица Александра Михайлова».

Отец Степана, Яков Федотович Панов, с 1813 года служил псаломщиком в местной церкви. А его мать Матрена была дочерью священника Федора Григорьевича Гумилёва. Яков с первой встречи полюбил стройную голубоглазую девушку с длинной русой косой, которая была моложе его на десять лет. Мать Матрены, Феврония Ивановна, и не желала дочери лучшей партии. Отец Федор Григорьевич поставил жесткое условие: «Дочь отдам только в одном случае: если жених перейдет на нашу фамилию!» Это условие Федор Григорьевич выдвинул неслучайно: своей священнической фамилией он очень дорожил (она происходит от латинского humilis — смиренный). Приход Христорождественской церкви принадлежал еще его отцу Григорию Прокопьевичу, который служил там с 1790 по 1820 год.

Отец Якова, Федот Панов, был в этой церкви дьяконом. Совместное многолетнее служение сблизило семьи Гумилёвых и Пановых, так что Федот в конце концов согласился на условия о. Федора. В 1820 году Яков и Матрена обвенчались, и вскоре Бог послал им сына Василия. Через три года появился на свет Александр, ставший впоследствии священником и учителем духовной семинарии в Рязани. А потом дети пошли один за другим: в 1827-м родилась Прасковья, в 1830-м — Григорий, в 1834-м — Александра, в 1836-м — Степан, а в 1842-м появился на свет последний ребенок — Пелагея. Отцу шел в то время пятьдесят второй год, а матери — сорок второй.

В 1834 году дьякон Федот Панов мирно скончался в окружении внуков, а годом позже Бог прибрал и о. Федора Гумилёва. Яков очень любил младшего сына Степана и возлагал на него большие надежды: стареющий отец надеялся, что именно он, пойдя по стопам деда, станет священником местной церкви. Мальчик рос смышленым, удивлял всех своей памятью, хорошо читал, и слухом его Бог не обделил.

Два двоюродных брата Степана — Сергей Федорович и Николай Федорович Гумилёвы — стали священниками и преподавателями в Рязанской духовной семинарии. В Рязани жил и старший брат Степана — Александр Яковлевич, тоже священник, сын которого Александр впоследствии также стал священником.

В 1850 году, приехав навестить старшего сына, Яков Федотович оставил у него Степана, отныне слушателя Рязанской духовной семинарии. Старший брат опекал младшего, помогал ему материально, хотя семья его жила более чем скромно; к тому же за то время, что Степан учился, здесь появились на свет еще

двое детей: Людмила и Софья.

Учился Степан хорошо, однако чем больше углублялся в богословские науки, тем яснее понимал, что в душе он не священнослужитель. Приезжая на каникулы домой, он робко заводил об этом разговоры с отцом, но тот и слушать ничего не хотел, а то и крепко обижался.

Так продолжалось до 1856 года, когда Степан окончил семинарию. Вот тогда-то он наконец и объявил, что намерен учиться на врача. Состоялся трудный разговор с отцом, в результате которого Степан Яковлевич Гумилёв «по окончании полного курса среднего отделения вследствие его прошения для продолжения ученья в светском учебном заведении, при согласии его родителей, был уволен из училищного ведомства».

Преодолев первый жизненный шторм, полный сил и надежд, решительный и немного самоуверенный молодой человек и дальше проявил характер: понимая, что помощи ждать неоткуда, учился прилежно, получив право на бесплатное обучение и стипендию.

Но в 1858 году отец неожиданно скончался, и Степан должен был помогать престарелой матери, для чего он выдержал экзамен на звание школьного учителя, приобретя тем самым право на репетиторство. По рекомендации своего университетского друга он получил место в семье члена Московского губернского суда Михаила Некрасова — за стол и комнату.

Дочь Некрасова Анна, которой давал уроки Гумилёв, была робкой и слабой здоровьем семнадцатилетней девушкой с выразительными голубыми глазами и нежным цветом лица. Она была умна и начитанна, училась музыке в консерватории, а вот математику осваивала с трудом.

Легкий налет грусти придавал девушке особое очарование. А грусть в ее душе поселилась с детства, ибо еще трехмесячным младенцем она осталась без матери, умершей от туберкулеза. Через год отец снова женился. Мачеха хоть и не обижала девочку, но и не ласкала. Своих детей у нее не было, она и не знала, как обращаться с чужими. Однако именно она уговорила мужа отдать дочь в консерваторию, видя ее особую склонность к музыке. Вскоре, однако, и мачеха умерла. Отец скучал недолго… и в доме появилась новая мачеха, которая быстро прибрала к рукам уже немолодого члена губернского суда. Между Анной и новой мачехой отношения не сложились. В доме царила атмосфера отчуждения и напряженности. Именно в это нервное время и появился в семье молодой репетитор, умный, веселый и находчивый.

Новая жена Некрасова по достоинству оценила молодого

человека и даже увлеклась им. Ей быстро наскучил стареющий безвольный муж, и она искала тайных приключений. Но бывший слушатель духовной семинарии не давал ей никаких поводов обольщаться на его счет. Хозяйка бледнела, краснела, но ничего поделать не могла, наблюдая, как после окончания уроков Степан задерживается на хозяйской половине, часами слушая, как Анна играет на фортепиано. Девушка особенно любила полонезы недавно умершего в Париже Фридерика Шопена: то лирические и грустные, то веселые и бравурные, воскрешающие в юной, тянущейся к прекрасному душе воспоминания о неких навсегда ушедших романтических временах. Да и сам этот стройный студент-репетитор казался ей посланцем из другой, свободной и счастливой жизни. Так подсолнух тянется к солнцу, так цветок распускается теплым майским днем. О таких чувствах говорят, что они рождаются на небесах.

Мстительная мачеха решила было помешать молодым. Но безучастный к семейной жизни отец неожиданно проявил завидную твердость и благословил свое единственное дитя. Счастливая Анночка пошла под венец со Степаном Яковлевичем Гумилёвым, в июне 1861 года получившим звание лекаря и уездного врача.

Судьба распорядилась так, что его, никогда и не мечтавшего о море, по окончании курса определили на службу младшим врачом в 4-й флотский экипаж, базировавшийся в Кронштадте. 30 августа молодые прибыли в Кронштадт, и Степана Яковлевича прикомандировали к госпиталю, на должность ординатора.

Кронштадт был овеян легендами морской славы России. Правда, с тех пор как в 1703–1704 годах на отмели близ острова Котлин построили форт, а на самом острове возвели артиллерийскую батарею, положившую начало городу, Кронштадт сильно изменился. В начале второй половины XIX века центральной считалась Якорная площадь. С запада и юга к ней примыкали наиболее старые сооружения крепости: Петровский док, а также овраг и бассейн.

Южнее Петровского бассейна в 1809 году был разбит Летний сад, в восточной части которого находился маленький деревянный домик Петра Великого. А в центре города, за десять лет до приезда Гумилёва, горожане воздвигли памятник Петру, основателю Кронштадта. Рядом с Петровским парком находился Итальянский дворец князя Меншикова, где с конца XVIII века разместилось штурманское училище. Напротив здания училища раскинулся Итальянский пруд. Неподалеку была Купеческая гавань, на набережной разгружались корабли, шел оживленный торг…

Самой веселой считалась Нарвская площадь, на которую кронштадтцы попадали с Июльской улицы: обычно именно здесь останавливались балаганы с бродячими артистами и фокусниками.

С севера к Нарвской площади подходил Господский проспект (за пять лет до приезда Гумилёва переименованный в Николаевский), пересекавший город с севера на юг. Правая сторона проспекта именовалась в народе «бархатной». Ее украшали каменные дома и купеческий клуб. Гулять по ней могли офицеры, дворяне, народ солидный и в городе уважаемый. «Подлый» люд — рабочие, нижние чины ходили по левой, «ситцевой» стороне.

От Николаевского проспекта в восточную часть города уходила одна из основных улиц — Большая Екатерининская, с бульваром за литой чугунной решеткой. На Большой Екатерининской и поселился начинающий морской врач со своей очаровательной молодой женой. Николаевский военно-морской госпиталь, в котором он начал службу, находился неподалеку от Финского залива, в северной части города.

В свободное время офицеры собирались в Морском офицерском собрании, расположившемся на Большой Екатерининской улице рядом с казармами и построенном незадолго до приезда Гумилёва по проекту Р. И. Кузьмина. При Морском офицерском собрании находилась библиотека, которой заведовал лейтенант Спиридон Ильич Неделькович. С его помощью в 1861 году в Кронштадте появилась первая городская газета «Кронштадтский вестник». Тираж ее, правда, был небольшим — всего 500 экземпляров, но офицеры ее любили и поддерживали материально, так как в ней печатались местные новости и морская хроника.

Здесь же, при Морском офицерском собрании, в 1859 году открылось Общество морских врачей, первым председателем которого стал Иван Яковлевич Ланг. Врачи готовили научные доклады и проводили симпозиумы. Степан Гумилёв любил бывать на заседаниях общества.

Жизнь молодой образованной москвички в небольшом морском городке протекала удивительно однообразно. Степан Яковлевич целыми днями дежурил в госпитале, Анночка же музицировала, читала «Кронштадтский вестник», на который подписался муж, и… скучала. Настроение у нее менялось, как на море погода. Перемена климата не пошла ей на пользу, к тому же Кронштадт ей не понравился. А вскоре она начала кашлять.

Тем временем мужу наскучила госпитальная работа, и Степана Гумилёва потянуло в море. Он написал рапорт, который

вскоре удовлетворили, и весной 1862 года Степана Яковлевича перевели младшим врачом на корабль «Император Николай I».

С мая по август 1862 года корабль находился в плавании по внутренним водам. По возвращении из похода на кронштадтском рейде, как положено, был проведен смотр корабля, который осуществил вице-адмирал Новосильский с группой старших офицеров и начальником артиллерийской части генерал-майором Мещеряковым. Вице-адмирал остался доволен прежде всего «весьма здоровой и бодрой» командой, в чем усмотрел заслугу корабельных врачей.

Служба шла своим чередом. После ряда переводов в апреле 1864 года Степан Яковлевич наконец оказался на борту фрегата «Пересвет», а в августе того же года Высочайшим приказом по Морскому ведомству о чинах гражданских за № 492 молодому корабельному врачу присвоили чин титулярного советника.

И хотя служба на «Пересвете» складывалась удачно, в душе у молодого титулярного советника покоя не было. Всякий раз, уходя в плавание, Степан Яковлевич тревожился о своей слабой здоровьем и болезненно впечатлительной жене. Оставаясь одна, она всегда находила поводы для волнений, не спала ночами, мучительно кашляла. А потому чем дальше Гумилёв уходил от родного берега, тем чаще его мысли возвращались в Кронштадт.

26 августа 1865 года фрегат «Пересвет» прибыл на портсумский рейд, где встретился с русской броненосной эскадрой. Капитан отдал салюты нации адмиральскому флагу и получил ответ с флагманского корабля. Когда с формальностями было покончено, все офицеры получили приглашение на время стоянки стать почетными членами яхт-клуба «Виктория», которое те с удовольствием приняли. Но корабельным врачам повеселиться в те дни не довелось: на судне обнаружили тиф, тяжелую, быстро передающуюся болезнь, которая могла вызвать на корабле эпидемию. В Копенгагене Гумилёв отправил на берег пятерых заболевших матросов. Одного, Лаврентия Будилова, спасти не удалось.

2 сентября фрегат «Пересвет» снялся с якоря и взял курс к французскому порту Брест. Попутный ветер позволял судну развить скорость до десяти узлов, идя под всеми парусами. Однако ночью сгустился туман и ветер стих. Капитан приказал развести пары, и в шесть часов утра 4 сентября фрегат наконец кинул якорь в Брестском порту.

Меры, принятые Гумилёвым, позволили приостановить быстрое распространение инфекции, но тиф продолжал гулять по кораблю и косить людей. Врачи были вынуждены сдать в

береговой госпиталь еще десять человек. Во фрегатском лазарете осталось трое выздоравливающих. Еще трое матросов лежали с простудной лихорадкой, а двое — с воспалением мочевого канала.

На третий день стоянки на корабль пришло уведомление от российского вице-консула в Портсуме Г. Бэкера о том, что гардемарин Кардо-Сысоев, которого они оставили на берегу в тяжелом состоянии, скончался. А вскоре пришло тревожное известие о распространяющейся в Средиземном море холере. На фрегат прибыл адмирал Гольсбор, начальник эскадры США в европейских водах, и поделился с Копытовым своими опасениями, предложив отложить выход в Средиземное море. Корабельные врачи Аркадий Облочинский и Степан Гумилёв занялись профилактическими мероприятиями. Корабль густо пересыпали хлоркой.

Правда, среди тревожных на корабль пришла и радостная весть. 13 сентября Высочайшим приказом по Морскому ведомству о чинах гражданских за № 494 С. Я. Гумилёва произвели в коллежские асессоры. Степан Яковлевич отметил это событие с друзьями и послал сообщение жене в Кронштадт. Время, проведенное в Бресте, медики использовали для укрепления здоровья членов команды. Капитан, довольный их работой, сообщал в рапорте в Санкт-Петербург 14 сентября: «…Вообще за все время плавания из Кронштадта до сих пор никогда не было и половины больных, бывших в Кронштадте, там на работу не выходило от 40 до 60 человек. Во время же плавания больных, со всеми легкими ушибами и нарывами, не было и двадцати». Правда, вынужденное бездействие кое для кого обернулось бедой. Матрос Николай Иванов, сильно выпивший во время увольнения, возвращаясь на корабль, упал с пристани и сильно ушибся. Осмотрев рану головы, корабельный врач обнаружил, что ушиб сопровождался переломом костей черепа. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

После отправки новой партии тифозных больных в госпиталь фрегат полностью проветрили. И наконец тиф отступил.

24 сентября, когда «Пересвет» пришел на кадинский рейд, у форштевня, в нижней шкиперской каюте неожиданно обнаружили струю воды. Водолазы доложили капитану, что толстая медь на форштевне внизу оборвана. Для ремонта судно следовало поставить в док, но два имевшихся дока были слишком малы, а третий, большой, был занят новым испанским фрегатом, который предполагали ремонтировать до конца октября.

Капитан послал телеграммы в Мальту и Неаполь узнать: нельзя ли стать в док там? Оказалось, что в Неаполе свирепствует

холера. Зато на Мальте холеры не оказалось, и Копытов принял решение идти туда, залатав пробоину.

9 октября после захода солнца «Пересвет» прибыл на Мальту, пройдя за пять с половиной дней 1102 мили. 12 октября его ввели в док и весь день устанавливали на подпоры. К утру 13 октября воду выкачали и приступили к ремонту. А корабельные врачи, воспользовавшись остановкой, отправили в госпиталь оставшихся больных.

Работа шла успешно, и уже 23 октября, в субботу вечером, фрегат вышел из дока и начал в понедельник погрузку пороха, снарядов, угля и провизии. 30 октября «Пересвет» снова вышел в открытое море и взял курс на Пирею. Команда была укомплектована и здорова. С самого начала ноября подули восточные ветры, и несколько дней судно качало на огромных волнах взбунтовавшееся море. 9 ноября «Пересвет» вошел в Пирейский порт, где и стал на одиннадцатидневный карантин: местные власти опасались холеры. Вынужденный отдых оказался кстати. Команда перетянула весь стоячий такелаж, законопатила палубы и, где было необходимо, наружный борт. В лазарете остались только больные сифилисом. Началось зимнее стояние у чужих берегов.

И лишь 5 февраля 1866 года, по распоряжению российского посланника, фрегат отправился к острову Санторино для оказания помощи местным жителям, обеспокоенным угрозой нового землетрясения. Капитан фрегата писал в донесении о разгулявшейся стихии: «Вулканическое действие на острове Санторине началось 18 января около одного из внутренних островов санторинского рейда, называемого Nea-Comeni, поднявшегося 160 лет назад вследствие бывшего землетрясения и теперь угрожающего исчезнуть под водою. В этот день глухой шум был слышен внутри островка, на другой день он увеличился и сделался настоящей канонадой. Море около места, называемого Vouleano, кипело и из него выходили белые пары с сильным запахом серы. S W часть острова получила разрыв от бухты, где прежде стояли суда, к противоположному берегу. На этой части острова, бывшей до сих пор сухою, образовались два маленьких озера пресной воды. В продолжение двух часов времени 20 января почва опускалась на 60 сантиметров. Море кругом было красноватого цвета, смешанное с сернисто-железистыми соединениями. Вследствие этого феномена население острова было в ужасе и просило о присылке парохода».

Еще раз отправиться к берегам Санторино «Пересвет» должен был 16 февраля, но в эти дни началось большое извержение вулкана, и фрегат вынужден был сняться с якоря и в два часа

ночи отойти в открытое море. Тем не менее капитан через нарочного предложил префекту острова свои услуги для помощи местным жителям.

В ночь с 16-го на 17-е и до полудня команда «Пересвета» наблюдала извержение вулкана. Затем на судно прибыл префект острова с чиновниками и уважаемыми на острове людьми; он поблагодарил капитана, отметив, что появление фрегата успокоило жителей. Капитан вместе с несколькими офицерами отправился на катере осматривать начавшие засыпать вулканы, взяв в свою команду врача, Степана Гумилёва. Катер прошел всего в сорока саженях от затухающих гигантов. Это зрелище произвело на всех огромное впечатление, и корабельный врач запомнил его на всю жизнь.

Когда фрегат стоял у Пирея, капитана принял король Греции Георг I. Копытов передал ему портреты августейших родственников и получил приглашение на обед, где капитана представил местному обществу граф Блудов.

21 февраля на «Пересвете» держали совет командиры всех иностранных военных судов, находившихся вблизи острова. Копытов, командиры австрийской канонерской лодки и турецкого корвета решили не оставлять жителей без поддержки и дождаться прибытия греческой шхуны «Саломиния». Командир же французского корабля утром следующего дня решил уходить.

Префект острова попросил Копытова доставить в Пирей пятнадцать местных жителей. Девять из них были больны. Гумилёв оказывал им медицинскую помощь и, ввиду крайней бедности всех пассажиров, упросил капитана распорядиться об их бесплатном питании.

23 февраля фрегат прибыл на рейд острова Сиру. Вместе с офицерами и гардемаринами Гумилёв ушел осматривать город, в ту пору один из самых бойких торговых центров Греции. Вечером хор и музыканты с «Пересвета» на главной площади давали концерт для местных жителей. Капитан Копытов так писал об успехе русских моряков: «…площадь совершенно наполнилась публикою всех слоев общества, начиная с иностранных представителей в лице консулов с их семействами. Всего было несколько тысяч человек. Всякий из них старался выказать свою благодарность, и мы были очень довольны доставить это удовольствие жителям и еще раз увидели, как музыка в заграничном плавании представляет много приятного не только для самого судна, ее имеющего, но и чрезвычайно способствует развитию симпатий жителей посещаемых нами портов… Когда музыка окончилась, аплодисменты публики были знаками общей признательности».

В ту же ночь, по заданию российского посланника, фрегат отправился в Порос, в российское морское депо: капитану поручили осмотреть наши склады и магазины и определиться в отношении их дальнейшего использования. Вот что писал Копытов в рапорте от 26 февраля, отправленном из Пирея: «… если депо эти для военного времени служат базисом крейсерств, то в мирное они же дают возможность делать огромные сбережения и очень значительно уменьшают издержки государства на заграничное плавание его судов… В случае войны или необходимости присутствия нашей эскадры в Средиземном море склады в Поросе будут для них необходимы для свободного пополнения их запасов. Рейд Пороса представляет прекрасное место для всех надводных исправлений… Порт острова Пороса находится от Севастополя ближе нежели даже Копенгаген от Кронштадта, и поэтому доставка провизии, обмундирования и угля на наших военных транспортах черноморского флота может быть легко выполнена…»

Перед русским фрегатом стояла задача оказывать военную поддержку королю Греции. 4 апреля Георг I на греческой военной шхуне отправился на Коринфский перешеек, а затем в Пелопоннес. «Пересвет» должен был сопровождать короля, обеспечивая его безопасность. И туг, уточняя задание, Копытов узнал от русского посланника, действительного статского советника Новикова, о произошедшем в Санкт-Петербурге покушении на жизнь Государя Императора. По случаю избавления Александра II от смерти в русской церкви в Афинах был отслужен благодарственный молебен, на котором присутствовали все находившиеся в городе русские, в том числе и капитан Копытов с офицерами команды. На следующий день молебен служили уже на фрегате, для всей команды. А тем же вечером «Пересвет» снялся с якоря и взял курс к одному из древнейших городов Палестины — Яффе. По пути Копытов должен был начать испытания нового изобретения, электрического лота Шнейдера. Рано утром на фрегате поставили все паруса и подняли винт, так что до Яффы корабль шел с потушенными котлами. Испытания, которые проводил лейтенант барон Врангель, прошли успешно и показали явное преимущество нового прибора для измерения морских глубин.

Древняя Яффа открылась русским морякам как диковинная картинка: город амфитеатром спускался к морю, живописно утопая в зелени апельсиновых рощ. Упоминавшаяся еще в ассиро-вавилонских памятниках Яффа на протяжении всей своей истории переходила из рук в руки: в 1099 году она была завоевана крестоносцами, в 1267-м ее отбили у христиан

египтяне, в начале XVI века она досталась туркам, затем в ней побывали наполеоновские войска. Во второй половине XIX века именно в ее гавани швартовались корабли, привозившие многочисленных паломников-христиан.

В день прибытия группа офицеров и нижних чинов, в том числе Степан Гумилёв, отправилась в Иерусалим. Российский консул Кравцов отдал распоряжение смотрителю странноприимных домов в Рамде и Иерусалиме накормить моряков ужином. Команда была приятно удивлена, обнаружив, что в архитектурном отношении русские постройки были в ту пору лучшими зданиями в Иерусалиме.

После ужина корабельный иеромонах о. Митрофан отслужил в храме Гроба Господня литургию. 23 апреля, в присутствии всех русских, находившихся в Иерусалиме, блаженнейший патриарх Иерусалимский Кирилл вместе с высшим греческим духовником Иерусалима архимандритом Антонином отслужили литургию на Голгофе и затем в храме Гроба Господня — благодарственный молебен о счастливом избавлении Государя Императора от угрожавшей ему опасности.

Рано утром следующего дня «Пересвет» взял курс к порту Саид, где русские смогли своими глазами увидеть работы по сооружению Суэцкого канала. В порту фрегат пробыл до 30 апреля. Группа офицеров во главе с капитаном успела осмотреть не только порт, но и постройки на молу, в которых уже угадывались очертания будущей гавани. Русским здесь были рады: Русское общество пароходства и торговли первым установило прямое и регулярное сообщение с портом Саид, поэтому к нашим морякам относились очень хорошо. В ту пору в порту проживало до шести тысяч человек. Когда главный директор работ господин Вуазен узнал, что русские пожелали осмотреть канал, он выделил в распоряжение моряков небольшой пароход, на котором они прошли вдоль канала девятнадцать верст. Затем пароход сменило плоскодонное каботажное судно, так что путешествие успешно продолжилось вглубь от порта Саид на семьдесят три версты.

Встречать команду выехал сам де Лессепс, автор проекта и руководитель строительства Суэцкого канала, вместе со всей семьей, расположившейся в двух экипажах. Для тех из гостей, кто рад был погарцевать на отличных лошадях, пригнали чистокровных арабских скакунов. Столь радушный прием, кроме всего прочего, объяснялся еще и тем, что «Пересвет» оказался первым военным судном, прибывшим после начала строительства канала в порт Саид.

30 апреля «Пересвет» отправился в Александрию, чтобы

пополнить там запасы угля. С волнением ступил Степан Яковлевич на древнюю землю, овеянную славой и легендами. В Александрии русские моряки встретили необычайное оживление: ее порт был буквально забит торговыми судами. Моряки были немало удивлены, когда обнаружили, что при этом цены почти на все товары очень высоки. Побродив по торговым рядам, они, естественно, заглянули и в славную своим великолепием восточную часть города — Брухейон, где во времена Клеопатры размещались царский дворец и знаменитая библиотека.

Из Александрии «Пересвет» взял курс на Каир, а затем вновь отправился к берегам Греции, к острову Санторино. Из гигантских кратеров вырывался уже не белый пар, а черный дым с примесью серого пепла и далеко по округе разносился подземный гул, словно сама преисподняя отверзлась, грозя поглотить всё живое. Ночью Гумилёв наблюдал, как большой сноп пламени вырвался из кратера и ушел в черный провал неба.

Следующие места стоянки фрегата — Сир, Пирей, Корфу, куда «Пересвет» прибыл с чрезвычайным посланником и полномочным российским министром в Греции Новиковым на борту. Король Греции Георг I оказал капитану русского фрегата высокую честь, в числе прочих русских пригласив его к себе на обед. Пока капитан обедал в обществе родственников российского Императора, на борту фрегата случилось несчастье. При спуске флагов матрос Андрей Терентьев, находившийся на фор-брам-рее, потеряв равновесие из-за лопнувшего брам-топенанта, упал в море, при этом сильно ударившись головой. Моряк неизбежно утонул бы, если бы не отчаянная смелость матроса 2-й статьи Константина Микрюкова, который, не раздумывая, прыгнул в воду и спас раненого. Лекарь Гумилёв оказал действенную медицинскую помощь пострадавшему. На этом неприятный инцидент закончился, а смелый поступок Микрюкова, естественно, не был обойден вниманием начальства — его представили к награде.

Наконец 16 августа капитан получил долгожданный приказ о возвращении домой, и «Пересвет» вышел из Вилла-Франки в Кронштадт, так как на смену ему в Средиземное море был направлен фрегат «Генерал-адмирал» под командованием капитана 1-го ранга Бутакова. 26 сентября «Пересвет» вышел из Шербурга и 12 октября 1866 года благополучно стал на якорь в родном Кронштадте.

Это был единственный в жизни морского врача Степана Яковлевича Гумилёва столь длинный и интересный поход, о котором он частенько вспоминал в кругу семьи.

Анночка так обрадовалась возвращению мужа, что поначалу

даже не могла говорить, а только плакала. И вскоре жизнь вошла в обычную колею.

29 июня 1869 года в семействе Гумилёвых случилось долгожданное событие — родилась дочь. В то время отец находился в море, но, как было условлено, девочку назвали Александрой в честь старшего брата Степана Яковлевича, у которого он жил, когда учился в Рязанской семинарии.

Безмерная радость была омрачена плохим здоровьем Анночки, которая вновь начала кашлять. Вернувшись домой, Степан Яковлевич нашел для ребенка кормилицу, «здоровенную бабу, староверку», которая, как писала позднее сама Александра Степановна, «1,5 года вливала в ребенка свое несокрушимое здоровье». Счастливый отец опасался, что, если жена сама будет кормить девочку, ей может передаться от матери туберкулез.

Для поправки здоровья жены требовался отпуск, но обстоятельства складывались так, что Степан Яковлевич никак не мог столь необходимого отпуска получить. В том же году ему довелось побывать в Саратовской губернии, где он участвовал в комиссии, набиравшей рекрутов. Местные врачи посоветовали ему полечить жену кумысом.

Наконец, освоившись в новом (2-м) флотском экипаже, куда Степан Яковлевич был переведен в апреле 1870 года и где столь хорошо себя зарекомендовал, что получил в первый день нового, 1871 года за безупречную службу орден Святого Станислава III степени, он рискнул написать соответствующее прошение и летом того же года получил трехмесячный отпуск с сохранением содержания.

Вместе с женой и маленькой Шурочкой Гумилёв отправился в Москву, где жили отец Анночки и три ее престарелые тетушки. На семейном совете было решено оставить Шурочку на попечение бабушек, которые очень этому обрадовались, и Степан Яковлевич увез жену в калмыцкие степи. Денег на лечение любимой жены морской врач не жалел, и после сырого и туманного Кронштадта она быстро начала поправляться.

Но отпуск кончился, и Анночку снова ждал опостылевший Кронштадт, а Гумилёва — хлопотная служба. Потянулись тоскливые дни ожиданий и болезни, которая не только не отступилась от этой хрупкой женщины, но забрала у нее последние силы. Анночка угасла, как свеча. Степан Яковлевич тяжело переживал утрату. Исполняя последнюю волю жены, он отвез ее в свинцовом гробу в Москву. Забрать дочь у бабушек Гумилёв не мог, так как уже в мае ушел на все лето в море на двухбашенной лодке «Чародейка».

Образовавшуюся пустоту Степан Яковлевич заполнял

работой. Он и раньше часто захаживал в Общество морских врачей, теперь же научной работе посвящал весь свой досуг. Его труды пользовались уважением коллег. Так, вместе с врачами Соколовым и Новиковым Гумилёв подготовил доклад «О способах определения телосложения в применении к рекрутскому набору». Одно из своих выступлений он посвятил случаям поражения оспой больного со вторичными признаками сифилиса, где опроверг бытовавшее тогда мнение, что прививками оспы можно лечить сифилис. В 1872 году Степан Яковлевич вновь посвятил свое выступление рекрутским наборам.

Старания и способности Гумилёва были оценены и на службе. 14 апреля 1872 года приказом генерал-адмирала Его Императорского Высочества Великого князя Константина Гумилёв был назначен старшим судовым врачом в 5-й флотский экипаж.

В то время Степана Яковлевича часто навещал его товарищ, старший офицер броненосного фрегата «Адмирал Лазарев» Лев Иванович Львов. Он видел, как тяжело Степан Яковлевич переживает утрату жены, и старался отвлечь его от мрачных мыслей. Друзья вместе появлялись в Морском собрании, встречались в праздники. 30 мая 1872 года Кронштадт шумно и пышно отмечал 200-летие со дня рождения основателя города Петра Великого. На молебен к памятнику Петра со всех кораблей были высланы команды. Андреевская лента Петра Великого (по преданию, пожалованная им первой кронштадтской морской церкви Святого Богоявления Господня) в сопровождении почетного караула была пронесена по улице мимо выстроившихся войск к памятнику основателя города. Здесь ленту встречали адмиралы, генералы, штаб- и обер-офицеры, почетные горожане, воспитанники штурманского училища, мужской и женской гимназий, уездного училища и «прочая почтенная публика». Праздничные службы шли одновременно во всех церквах. По окончании службы был дан салют тремя выстрелами из пушки петровских времен. Вслед за ней отсалютовали корабельные орудия, и войска прошли мимо Андреевской ленты церемониальным маршем.

Затем Андреевскую ленту Петра Великого на пароходе «Колдунок» в сопровождении катеров возили по кронштадтским гаваням и рейдам. А по окончании церемонии на Петровской площади началось грандиозное народное гуляние. В казармах командам раздавали подарки, в Петровском парке до темноты играла музыка. Возвращаясь домой, Гумилёв и Львов беседовали о предстоящей летней кампании. Лев Иванович неожиданно заговорил с другом о своей младшей сестре Анне, которая безвыездно жила в их родовом имении Слепнево. Гумилёв

отмолчался. На этом и расстались, пожелав друг другу удачи.

Через месяц судовой врач Гумилёв поднялся на борт броненосного фрегата «Князь Пожарский». Здесь, кроме основной работы, он занялся еще и исследовательской. Итогом ее явилась опубликованная через два года в Петербургском медицинском журнале статья «О вентиляции кочегарного отделения на фрегате „Князь Пожарский“».

Снова Степан Яковлевич встретился с другом в конце ноября, когда пришел поздравить Льва Ивановича с орденом Святого Станислава II степени. Лев Иванович между делом упомянул о своей младшей сестре. А 1 января 1874 года, когда в свою очередь Лев Иванович пришел поздравлять Степана Яковлевича с производством в коллежские советники, он прямо предложил другу встретиться со своей сестрой Анной во время отпуска в Москве. Степан Яковлевич согласился, так как давно собирался проведать дочь.

Разговор тот остался без последствий. Совместный отдых не получался — служба. С 1 июня по 24 сентября 1876 года Гумилёв ходил на корвете «Гриден». Год оказался удачным. Еще в январе ему был пожалован орден Святой Анны III степени, а с 1 сентября прибавили жалованье.

Вот тогда-то Степан Яковлевич испросил наконец разрешение на отпуск. Едва его прошение удовлетворили, Гумилёв отправился в Москву, к дочери. Шурочка в свои семь с половиной лет была смышленой девочкой с хорошей памятью. Бабушки в ней души не чаяли, баловали и даже не думали о ее образовании. Правда, год назад отец нанял для дочери молодую учительницу, которая учила Шурочку писать и читать. Однако девочка читать не любила, зато любила слушать, как ей читают. Проверить, как она читает, было сложно, поскольку она удерживала в памяти целые страницы текста.

Как вспоминала Александра Степановна, когда отец прислал телеграмму о приезде, она нисколько не обрадовалась и даже расплакалась, так как бабушки имели обыкновение стращать ее тем, что расскажут обо всех ее шалостях отцу, которого девочка почти не знала и боялась.

Степан Яковлевич при встрече стал расспрашивать Шурочку, как ей живется, чем она занимается. Бабушки принесли любимые Шурочкины книги, чтобы продемонстрировать, какие успехи делает девочка в учении. Степан Яковлевич, услышав, как она читает, был приятно поражен. На следующий день он пошел с ней в большой магазин игрушек и предложил выбрать все, что она пожелает. Шурочка выбрала огромную куклу и несколько красивых книг в ярких переплетах. А когда дома отец попросил

Шурочку почитать ему что-нибудь из новых книжек, оказалось, что она едва буквы разбирает.

Что было делать? Забрать девочку с собой в Кронштадт он не мог, ведь ему не на кого было ее оставить. Но и с бабушками оставлять ее более было нельзя. И так случилось, что именно в те дни Степан Яковлевич встретился со Львом Ивановичем, который навестил его вместе с супругой Любовью Владимировной и красивой голубоглазой девушкой, своей младшей сестрой, которой тем летом исполнилось двадцать два года.

Глава II СЛЕПНЕВСКАЯ ЗАТВОРНИЦА

Предложение брата съездить с ним в Москву Анна Львова встретила со смешанными чувствами. Затворнический образ жизни, который вела девушка, исключал возможность сделать достойную партию, да она уже и свыклась со своим одиночеством, с размеренной и тихой сельской жизнью.

Усадьба Слепнево представляла собой одноэтажный деревянный дом в семь окон по главному фасаду, с крестообразным мезонином вместо второго этажа. Стены были обшиты тесом, потолки в комнатах отделаны лепниной. Дом был окружен парком, где росли развесистые тополя, березы, липы и могучий дуб. Из слепневского парка, сколько хватало глаз, видны были холмистые поля, которые местные крестьяне не возделывали. Летом семья Львовых трапезничала прямо во дворе, за большим столом. Дети купались в пруду. Осенью на зиму заготавливали соленья, варили душистое варенье. Зимой главной забавой было катание на тройке да с горок на санях. А вечером Анна забиралась в домашнюю библиотеку. На слепневских полках стояло немало книг — из тех, какими в прежние времена увлекалось образованное общество. О старинной слепневской библиотеке поэт Николай Гумилёв напишет:

И не расстаться с амулетами,
Фортуна катит колесо,
На полке, рядом с пистолетами,
Барон Брамбеус и Руссо.

(«Старые усадьбы», 1913)

Патриархальный слепневский быт с доброй иронией он опишет в следующих строках:

Дома косые, двухэтажные,
И тут же рига, скотный двор,
Где у корыта гуси важные
Ведут немолчный разговор.
……
Порою крестный ход и пение,
Звонят во все колокола,
Бегут, то значит по течению
В село икона приплыла.

(«Старые усадьбы», 1913)

В селе Слепневе, раскинувшемся неподалеку от усадьбы, в низине, по документам 1842 года «недвижимого имения находилось… шестьдесят четыре мужеска пола души». Это даже было и не село, а деревня, так как церкви своей там так и не построили. Троицкая церковь, построенная в 1794 году, была в семи километрах от Слепнева, в старинном селе Градницы. Туда и ходили слепневские прихожане. Рядом с ней располагались дома церковного причта и кладбище с оградой. На кладбище был фамильный склеп Львовых.

По праздникам Анна с родителями бывала в уездном городе Бежецке, впервые упомянутом еще в уставе новгородского князя Святослава в 1137 году. Ей нравилось слушать малиновый перезвон многочисленных местных церквей, который далеко разносился по всегда чистым и ухоженным улицам. Нравилось также и то, что из города семейство всегда возвращалось с подарками.

Девочка росла не по годам развитой. Об удивительной образованности Анны Ивановны говорили все, кто знал ее. Воспитанный ею внук, известный ученый Лев Гумилёв признался как-то: «…в детстве мне было с бабушкой интереснее, чем с мальчишками — моими сверстниками».

Отец Анны — Иван Львович Львов происходил из обедневших тверских дворян. В начале XVIII века в селе Васильково Старицкого уезда Василий Львович Львов владел небольшим поместьем с тридцатью двумя крепостными крестьянами. В 1764 году у него родился сын, получивший по семейной традиции имя Лев. Когда мальчику исполнилось шесть лет, его определили в Сухопутный шляхетский кадетский корпус. Это было время правления Екатерины Великой. Императрица желала видеть всех дворян при деле. В 1785 году в чине поручика Лев Васильевич был зачислен в артиллерийский полк.

Долго служить в губернских гарнизонах молодому офицеру не пришлось. Заключенный в Кючук-Кайнарджи мир с турками рухнул. 20 августа 1787 года на российский фрегат «Скорый» и бот «Битюг» под Очаковом напали турецкие корабли. Началась очередная Русско-турецкая война. Полк, в котором служил Львов, передислоцировался под Очаков и принял участие в осаде крепости. Русской армией командовал прославленный князь Григорий Потемкин. За проявленную храбрость при штурме Очаковской крепости поручик Львов получил чин капитана.

Вскоре командовать войсками прибыл сам Александр Васильевич Суворов. Батарея капитана Львова охраняла русские берега от нападения турецких эскадр. Осенью 1789 года полк, где

служил Львов, перевели под турецкую крепость Бендеры.

24 ноября 1789 года началась осада крепости Измаил, и артиллеристов перебросили туда. 11 декабря под командой Суворова начался завершившийся победой генеральный штурм. За отличие в боях Лев Львов был удостоен чина секунд-майора и по заключении мира в возрасте двадцати восьми лет вышел в отставку.

Вернувшись домой, Лев Васильевич поступил на службу пятисотенным начальником в подвижное земское войско. В том же году он сочетался браком с Анной Ивановной Милюковой. По семейным преданиям, Милюковы вели свой род от татарского князя Милюка, перешедшего из Орды на службу к Великому московскому князю. С тех пор много воды утекло. В глубине веков потерялись высокий аристократический титул, знатность и богатство. В приданое дочери Иван Федорович Милюков смог выделить лишь небольшое именьице Слепнево в Бежецком уезде. Именно в нем и поселились молодые Львовы. В 1800 году, в возрасте семидесяти лет в своем имении Васильково умер Василий Васильевич Львов. А через три года, после двенадцати лет совместной жизни, в семье Львовых наконец произошло радостное событие — родился сын, получивший при крещении имя Константин. 6 октября 1806 года в слепневской усадьбе появился на свет еще один Львов. Мальчика назвали Иваном.

Жизнь в имении текла спокойно и размеренно. Сыновья почитали отца и долгими зимними вечерами слушали рассказы о его военных баталиях. Поэтому, когда пришло время выбирать, кем быть, Константин решил стать военным моряком. До высоких чинов он не дослужился, не успел. В возрасте тридцати девяти лет мичман флота Константин Львов скончался, не оставив потомства.

Иван также выбрал военную службу на флоте. В четырнадцать лет отец отдал его в морской кадетский корпус.

Лев Васильевич в уезде пользовался уважением. За отличную службу в подвижном земском войске в 1806 году Львову вручили золотую медаль на Владимирской ленте и он получил право ношения милицианского мундира.

В 1809 году уездное дворянское собрание выбрало Львова судьей Бежецкого уездного суда, где он заседал до конца 1812 года.

Умер Лев Васильевич 10 января 1824 года и был похоронен на погосте в селе Градницы, став основателем фамильного некрополя. А в мае того же года его младшего сына выпустили во флот в чине гардемарина. В марте 1827 года Ивана Львова произвели в мичманы. Он ходил на парусных фрегатах и

корветах, участвовал в военных кампаниях и заграничных походах.

Когда в 1828 году Россия выступила против Турции на защиту славян и греков, русские войска в Закавказье взяли Карс и Эрзерум. Основные действия развернулись там, где когда-то воевал отец Ивана Львовича, на Дунае. Война продолжалась с 1828 по 1829 год и была удачной для России. Мичман флота Иван Львов принимал участие в морских сражениях у турецких крепостей Пендраклия, Варна, Анапа, Акчесар, в блокаде с моря городов Мидии и Месемерии. Итогом военной кампании для Львова стало награждение его за проявленную храбрость серебряной медалью на Георгиевской ленте и орденом Святой Анны 111 степени с бантом.

Как в свое время отец, лейтенант флота, а по-пехотному штабс-капитан Иван Львович Львов в 1834 году, по достижении двадцати восьми лет, подал в отставку.

Вернувшись в родное Слепнево, он занялся наведением порядка в своем крошечном имении с шестью десятками крепостных мужиков. А в следующем году посватался к дочери помещика Курской губернии Юлии Викторовой, которой шел в ту пору двадцать второй год. Ее отец, Яков Алексеевич Викторов, владел селом Викторовка в Старо-Оскольском уезде. Поместье было небольшое, доход невеликий. Но Викторов жил безбедно. Отец Юли, будучи офицером, 20 ноября (2 декабря) 1805 года под Аустерлицем получил тяжелое ранение. Остался жив храбрый офицер благодаря преданности своего денщика Павлюка, который вынес барина под неприятельским огнем с поля боя. После того как в лазарете Викторову перевязали раны и немного подлечили, верный Павлюк на перекладных повез Якова Алексеевича в родную Викторовку. Оправившись от тяжелого ранения, Викторов остался в своем поместье и подал в отставку. Боевые заслуги храброго офицера обеспечили ему высокую пенсию. Дочь Юля хорошо помнила, как отец ездил за ней на лошадях в Старый Оскол. Выезд всегда сопровождался большими хозяйственными закупками, так как пенсию старый воин получал три раза в год.

Новая семья Львовых поселилась в Слепневе. Уже вскоре, 11 августа 1836 года, на свет появился первенец — Яков. 11 февраля 1838-го — Лев. В следующем году, 2 декабря, появилась на свет Варвара. В 1842 году (когда умер брат отца Константин) родилась Агата.

Совсем уж напоследок, когда отцу исполнилось сорок восемь, а матери сорок лет, 4 июня в семье Львовых родилась девочка, получившая при крещении имя Анна.

Иван Львович заботился о детях, старался, чтобы они получили необходимое образование. Сам согласился возглавить в Москве ремесленное училище. Однако после уединенного, спокойного и безмятежного бытия в Слепневе городская жизнь очень скоро ему наскучила. Он оставил службу и вновь поселился в своем поместье. Иван Львович любил и умел принимать гостей, хотя порой бывал со своими домашними нетерпелив и горяч. Как человек военный и обязательный, Львов страшно не любил опаздывать. Однажды, когда, по устоявшейся семейной традиции, Львовы собирались на пасхальное богослужение в Троицкую церковь, дети замешкались. Отец так на них прикрикнул, что Агата с испугу надела новое платье наизнанку. Когда они, как обычно, заранее появились в церкви, крестьяне указали молодой барыне на ее промашку. Агата Ивановна смутилась и тут же пошла переодеваться.

За доброту и отходчивость Ивана Львовича любили не только домашние, но дворовые и крепостные. Он частенько прощал им долги, хотя имение позволяло только-только прокормиться и никаких излишек не оставалось. Умер Иван Львович 20 февраля 1862 года в возрасте пятидесяти шести лет. Стояли холода, до фамильного кладбища предстояло проделать путь в семь километров по полям и холмам, насквозь продуваемым злыми колючими ветрами. Приготовили дроги, дворовые хотели на них установить гроб с покойным, но крестьяне не позволили этого сделать. До градницкого погоста они несли своего барина на руках. Анне исполнилось в тот год всего двенадцать лет.

Старший ее брат, Яков Иванович, поначалу решил стать морским офицером. С благословения родителей он поступил в морской кадетский корпус. Учился Львов легко, но из-за вспыльчивого и гордого характера никак не мог приладиться к железной дисциплине, царившей в этом учебном заведении. Пришлось перевестись в пехотное училище. Но, став пехотным офицером, Львов недолго носил мундир. Вскоре он женился на богатой невесте, получив в приданое поместье, и вышел в отставку, сделавшись обыкновенным помещиком. Молодые жили в любви и согласии, да вот беда — наследников Бог не дал! А Яков Иванович очень любил детей, приезжая в Слепнево баловал подарками младших сестер. В конце концов он взял из приюта на воспитание девочку и удочерил ее. В слепневском имении Яков не нуждался, и, с согласия матери Юлии Яковлевны, после смерти Ивана Львовича оно перешло Льву Ивановичу. Лев пошел по стопам отца. Окончив морской кадетский корпус, навсегда связал свою жизнь с морем и не мог заниматься имением. На хозяйстве осталась Юлия Яковлевна. Она всех жалела и вела

полумонашеский образ жизни. Жили тем, что собирали с полей, лишних денег никогда не было. Чтобы заработать на свечки, которые по православным праздникам и дням поминовения она ездила ставить в Троицкую церковь, Юлия Яковлевна вязала чулки и носки, продавая их за бесценок «на масло для лампад».

Юлия Яковлевна всегда привечала в своем доме странников: богомольцев, нищих и убогих. После отмены крепостного права в окрестных поместьях случались поджоги барских усадеб, расправы с помещиками. И только в Слепневе все было тихо и спокойно. Однако события после 1861 года сказались и на укладе жизни Львовых: большая и дружная семья распалась. Вскоре после мужа, в феврале 1865 года, скончалась и Юлия Яковлевна. К тому времени в усадьбе уже остались одни дворовые люди. Старшая дочь Львовых, высокая стройная красавица с пышными светлыми косами, пользовалась успехом в бежецком дворянском обществе. Несмотря на отсутствие приданого, от желающих добиться ее руки отбоя не было. На ту пору в Бежецке квартировал лейб-гвардии уланский полк. Глянулся слепневской красавице стройный полковник-улан Фридольф Лампе. Варвара Ивановна приняла его предложение. Лампе, человеку принципиальному и мужественному, из-за решения жениться на русской девушке пришлось пойти на полный разрыв с семьей. Родные, гордившиеся своим знатным финским родом, не хотели об этом и слышать. Служба в уланском полку требовала денег, и немалых. Пришлось поставить крест на военной карьере. С женой и сыном Иваном Фридольф Иванович уехал в Царицын, где поступил на должность судебного следователя. Родившуюся вскоре дочь супруги Лампе назвали в честь его матери Констанцией, но это не помогло. Свекровь до конца жизни не признала ни русскую невестку, ни ее детей. Несчастья преследовали Варвару Ивановну и в Царицыне. Муж заболел холерой. Как ни ухаживала она за ним — спасти его не удалось. С двумя детьми, практически не имея средств к существованию, Варвара Ивановна уехала в Москву, чтобы устроить их судьбу. Ей удалось подыскать работу классной дамы. Сына Ивана Варвара Ивановна определила в гимназию, а дочь Констанцию устроила позднее в консерваторию.

Двух младших дочерей, Агату и Аню, Юлия Яковлевна за несколько лет до кончины отправила жить к своему престарелому отцу в Викторовку. Яков Алексеевич овдовел, и некому было вести его хозяйство. Вдвоем со своим преданным денщиком б**о**льшую часть времени он проводил дома.

Агата, старшая, вела домашнее хозяйство, отвечала за различные соления и заготовки. Младшая, Аня, умная и

образованная девочка, читала деду вслух получаемые им газеты. Яков Алексеевич любил слушать внучку, сидя в мягком кресле и закутавшись в теплый плед. На это занятие уходило много времени, так как дедушка требовал читать честно, все подряд. Как он говорил: «От доски до доски!» У него была большая библиотека со множеством французских романов, которыми увлекалась взрослеющая Анна.

Любил дед баловать внучек. Зная эту его слабость, в усадьбу часто наведывались заезжие «торговцы-венгерцы». Яков Алексеевич покупал своим любимицам все — от духов и пудры до дорогих меховых вещей. Себе же каждый раз брал шелковой материи «на смертный халатик». Чем больше дед старел, тем больше впадал в детство и все чаще говорил о смерти. Он мог часами сидеть возле своего денщика, по древности лет подолгу не слазившего с теплой печки. Изредка он окликал старого слугу: «А что, Павлюк, какая нынче погода?» И тот, не глядя за окно (зима ли, лето), отвечал, глубоко вздохнув и почесав в затылке: «Видать, позёмная поперла!»

Иногда дедушка устраивал смотр своим «смертным» халатам. Случалось, посылал один тяжкому больному или покойнику. Однажды Яков Алексеевич приказал изготовить для него гроб. Делать было нечего — заказали. Когда гроб привезли, он установил его в прихожей и лег в него, чтобы проверить, подходит ли по размеру. Смотром Яков Алексеевич остался доволен, но прежде чем отправить гроб на чердак, приказал, чтобы местный священник его отпел. Ему очень хотелось услышать, какие слова о нем будут говорить после смерти. Но священник возмутился и счел просьбу старого барина богохульством. Дедушка осерчал, долго сидел в своем кабинете и плакал, причитая: «Вот до чего я дожил: и панихиду по мне не хотят петь». На ту пору умер престарелый дворовый по имени Яков. Заказали ему панихиду и устроили торжественное отпевание со свечами и певчими. Чувствительные дворовые бабы и девки плакали в голос. Церемония прошла в благолепии, пристойности и высоком трауре. Старый барин остался доволен. Видимо, душа его уже просилась к Богу. Вскоре он и впрямь скончался, завещав имение двум своим любимицам, Агате и Анне. Анне на ту пору исполнилось восемнадцать лет, Агате — тридцать. За год до смерти дедушки она вышла замуж за жандармского офицера Владимира Павловича Покровского. В мае того года, когда умер дедушка, у Агаты Ивановны родился сын Борис. Сестры решили продать дедово имение и получили по восемь тысяч рублей — по тем временам огромные деньги. Анна вернулась в Слепнево, отложив деньги себе на приданое.

В Слепнево периодически наведывалась и Агата. Личная жизнь у нее складывалась неудачно. В семье Львовых служба в жандармском корпусе не считалась почетной, поэтому родственники не особенно жаловали Владимира Павловича. Муж Агаты Ивановны частенько выпивал и буянил. Тогда она забирала сына и уезжала в Слепнево. Там она оставалась до тех пор, пока Владимир Павлович не присылал ей свои слезные раскаяния.

В 1876 году старший брат Анны Яков умер. Девушке пора было всерьез подумать о своей судьбе. Анна любила детей и легко находила с ними общий язык. Четыре года добровольного заточения в слепневской усадьбе зародили в душе девушки огромное желание изменить свою жизнь, протекавшую так уныло. Правда, пребывание в сельской местности, вдали от городской суеты определило характер Анны Ивановны, которая в любых ситуациях оставалась спокойной и рассудительной.

Когда осенью 1876 года в имение приехал с женой брат Лев, Анна обрадовалась. Брат завел с ней задушевную беседу, нажимая на то, что пора ей подумать о своем будущем. Семя упало в подготовленную почву. Лев Иванович рассказал ей о своем друге Степане Гумилёве, о том, какое с ним приключилось горе. Девушка увидела особый знак в том, что покойную жену незнакомого ей морского офицера тоже звали Анной. Так что в Москву Львовы приехали с серьезными намерениями. Анну не смущало, что жених старше ее на целых восемнадцать лет. Раз брат говорил ей о нем — значит, человек он достойный. Теперь, когда она потеряла отца, мать, старшего брата Якова, Лев стал для нее единственным авторитетом.

Наверное, двум этим людям, испытавшим горечь потерь близких, помогал Всевышний. Степан Яковлевич понравился Анне. А Гумилёв прежде всего увидел в высокой стройной девушке с благородным взглядом больших серых глаз и мягким овалом лица добрую мать для Шурочки. К тому же благодаря заботам Юлии Викторовны Анна Ивановна получила хорошее домашнее образование и воспитание: девушка свободно говорила и читала по-французски, одевалась скромно, не любила шумные балы.

Сорокалетний вдовец сделал предложение двадцатидвухлетней красавице, и она, не задумываясь, его приняла. Отпраздновать это событие решили в слепневской усадьбе.

6 октября 1876 года в Троицкой церкви села Градницы коллежский советник, старший судовой врач 5-го флотского экипажа Степан Яковлевич Гумилёв и потомственная дворянка Анна Ивановна Львова обвенчались.

После свадьбы Гумилёвы вместе с семилетней Шурочкой отправились в Кронштадт.

Молодой жене Степана Яковлевича после Слепнева город не показался унылым и безрадостным, как в свое время Анне Михайловне — после Москвы. Скорее наоборот, город предстал во всем величии своей морской славы, тем более что брат в свое время много рассказывал ей о Кронштадте. Анна Ивановна сразу нашла общий язык со своей падчерицей. Правда, самой Шурочке, после пристального внимания бабушек, выполнявших все ее капризы, не сразу удалось привыкнуть к новой жизни. Для ликвидации пробелов в образовании девочке наняли гувернантку. Анна Ивановна чутко относилась к падчерице, не позволяя себе не только словом, но даже взглядом обидеть девочку. К тому же в детстве ей пришлось много натерпеться от своей гувернантки. Юлия Яковлевна, поручив свою дочь молодой учительнице, не вмешивалась в процесс обучения. А гувернантка заставляла Анну зубрить французские глаголы и за малейшую нерадивость наказывала девочку тем, что заставляла ее бить земные поклоны или вязать чулок. Сама же она при этом уходила на балкон слепневской усадьбы, где читала какой-нибудь французский роман. Поэтому, подобрав хорошую и знающую гувернантку для падчерицы, Анна Ивановна старалась не мешать обучению, но и не допускала излишней строгости по отношению к девочке.

Вскоре Степан Яковлевич простился с дочерью и молодой женой. 25 мая 1877 года он надолго ушел в поход на корвете «Гриден». Анна Ивановна забрала падчерицу и уехала с ней в Слепнево. Зимой и поздней осенью усадьба, принадлежавшая Льву Ивановичу, находившемуся в морских походах, пустовала, а ближе к лету в старое родовое гнездо съезжались сестры Львовы со своими детьми.

В конце лета в новой семье Гумилёва родился первенец. Отец находился в море. Девочку назвали Зиной. Шурочка, привыкшая быть в центре внимания, была огорчена. Анна Ивановна все время проводила с маленькой Зиночкой. Тети были заняты своими детьми. Варвара Ивановна — Яной и Катей, Агата Ивановна — Борей. Горничная и кухарка жалели Шурочку и старались ее полакомить, угощая пирожными, пирогами, ягодами. Съесть все гостинцы сразу девочка не могла, поэтому прятала их за дрова, уложенные около печи.

Гувернантка, нанятая для Шурочки, требовала от нее полного подчинения и порой бывала очень строга. Шурочке гувернантка не нравилась, и учеба продвигалась трудно. Девочка воспринимала учение как наказание, и ей хотелось отомстить гувернантке за свои мучения. Однажды она дождалась, когда та

вышла из комнаты, схватила ее любимый наперсток и, выбежав на улицу, бросила в колодец. Девочка торжествовала. Но вскоре ее поступок был открыт. Анна Ивановна, дождавшись возвращения Степана Яковлевича, рассказала ему о проделках дочери, и отец решил отдать Шурочку в пансион для благородных девиц.

Тем временем в семье случилось несчастье — умерла Зиночка. Анна Ивановна тяжело перенесла утрату, но в конце концов вернулась в Кронштадт. Жизнь вошла в обычную колею: ожидание мужа, его побывки дома, рассказы о минувшей кампании. Обычно летом Гумилёв уходил в море, а зимой нес службу в Кронштадте. С 5 мая по 28 июля 1878 года и с 22 мая по 18 августа 1879-го он служил на корвете «Варяг» и винтовой лодке «Лихач». Это были последние морские кампании, в которых участвовал врач Гумилёв. Семнадцатилетние морские скитания дали о себе знать, здоровье начало пошаливать. Пришлось всерьез задуматься о будущем.

В 1881 году у Степана Яковлевича обострилась ревматическая болезнь. Пришлось взять отпуск на двадцать восемь дней. В следующем году Гумилёв вынужден был лечиться уже два месяца. Учитывая заслуги старшего экипажного врача, с 5 июня по 21 августа 1883 года начальство командировало его за счет Морского министерства в Старую Руссу для лечения болезни минеральными водами и кумысом. А несколькими месяцами ранее его успехи на службе были отмечены орденом Святого Станислава II степени.

Отныне главными событиями для семьи стали повседневные городские новости: 75-летие Кронштадтского Морского собрания, освящение новых приделов Андреевского собора, посещение города Государем Императором.

В 1882 году, по окончании Павловского военного училища, в Кронштадт прибыл молодой подпоручик 148-го каспийского полка Семен Надсон. К тому времени он был уже известен как поэт: печатался в литературных столичных журналах, был главным действующим лицом на литературно-музыкальных вечерах, пел в любительском хоре Морского собрания и принимал участие в самодеятельных спектаклях.

7 февраля 1884 года морские врачи Кронштадта отмечали большой праздник, 25-летие Общества морских врачей. На юбилей Степан Яковлевич Гумилёв пришел с Анной Ивановной.

В пять часов вечера в большом, ярко освещенном зале Морского собрания состоялся праздничный обед, в котором приняли участие известные люди города, гости из столицы, генерал-штаб-доктор В. С. Кудрин, депутаты от различных обществ, выступавшие с поздравлениями. Под громкое «ура»

почетный штаб-хирург В. С. Кудрин провозгласил первый тост — за Государя Императора. Оркестр заиграл народный гимн. Потом последовали тосты за генерал-адмиралов Их Императорских Высочеств Алексея Александровича и Константина Николаевича, за управляющего Морским министерством, за В. С. Кудрина и непосредственного начальника Гумилёва, сидевшего от него неподалеку за столом, главного доктора Кронштадтского госпиталя Д. В. Мерцалова. Доктор В. И. Богданов вдохновенно прочел стихи собственного сочинения:

Товарищи! В заветный день наш круг
Собранья здесь семей врачей обширный,
И старого товарищества дух
Мне слышится в беседе нашей мирной.

Стихи вызвали взрыв рукоплесканий, и Богданов вынужден был продекламировать их еще раз.

На обеде доктор Н. Н. Викуловский раздал членам общества слова популярной старинной студенческой песни «Gaudeamus», которую они исполнили с необычайным воодушевлением. Залу собрания начали покидать, когда стрелки часов показали два часа ночи. Домой Гумилёвы вернулись в хорошем настроении.

С июня по сентябрь того года Степан Яковлевич вновь находился на лечении — в Пятигорске и Кисловодске, так что 15-летие Шурочки, приходившееся на 29 июня, отпраздновали без него. Дочь Степана Яковлевича, вернувшись из пансиона, попала в непривычную для нее обстановку. Она привыкла в пансионе шутить, громко разговаривать и смеяться. Дома ей пришлось менять свои привычки. Отец часто болел, был раздражителен, страдал сильными болями в ногах. Правда, к жене он относился бережно. После семи лет ожидания в семье наметилось пополнение. Тяжело пережившая утрату дочери, Анна Ивановна мечтала родить мальчика.

И вот 13 октября 1884 года на свет появился здоровый, крепенький мальчик, получивший при крещении имя Дмитрий. Для Гумилёвых начиналась новая жизнь. Здоровье Степана Яковлевича ухудшалось. Ему подыскивали службу сообразно с его возможностями. Так, с 17 мая по 11 сентября он заведовал госпитальными бараками на ораниенбаумском берегу.

В следующем году Степан Яковлевич вновь испросил двухмесячный отпуск для поправки здоровья. Год этот стал особенным не только для семьи Гумилёвых, но и для русской литературы.

Глава III РОЖДЕНИЕ РОМАНТИКА

Кронштадт штормило. Большие тяжелые волны бились с остервенением в хрустящие льдом берега и с глухим шумом отползали назад. Ветер, как сумасшедший, носился по улицам города, словно недобрый посланник, принесший пугающее тайной известие. Такого разгула стихии в Кронштадте не помнили давно.

В доме Григорьева на Екатерининской улице, у жены морского врача Гумилёва начались родовые схватки. Старая няня, причитая, бродила по комнатам. Степан Яковлевич послал за акушеркой (ее ждали с минуты на минуту), а сам, не зная, чем себя занять, нервно ходил по комнате и что-то говорил, успокаивая жену.

Анна Ивановна, чтобы не пугать мужа, до времени старалась не выдать стоном своих страданий.

Была ночь. Угрюмо хлопали ставни. Шурочка сидела в большой комнате, сонная, растерянная, и молча озиралась по сторонам. Как и другие члены семьи, она ждала появления на свет сестрички. Так говорила ее мачеха, да и ей самой казалось, что вместо умершей Зиночки должна появиться девочка. Девочку страстно ждала и роженица.

Анна Ивановна настолько была уверена, что у нее родится дочь, что навязала для нее приданое в розовых тонах. Вещи были аккуратно сложены в ее комнате, и обычно добрая Анна Ивановна никому не позволяла до них дотрагиваться.

Наконец на улице послышался долгожданный шум: приехала акушерка.

Она всех удалила из комнаты, раскрыла изрядно потертый чемоданчик, попросила теплой воды, чистую простынь и несколько полотенец. Вскоре дверь в спальню захлопнулась.

Все в волнении замерли… Неожиданно с каким-то тяжким присвистом стукнула ставня в гостиной — это налетел порыв ветра; послышался шум разбитого стекла. Степан Яковлевич перекрестился на икону Божьей Матери и Вседержителя, а старая няня начала тихонько молиться:

— Господи, Матерь Святая заступница, ну и буря, что же это такое творится? Видно, бурная жизнь будет у этого ребенка.

Именно в этот момент стихли крики роженицы, через какое-то мгновение в наступившей ночной тишине раздался тоненький крик младенца.

Бесшумно распахнулась дверь (Степан Яковлевич смазал большие латунные петли, чтобы они не скрипели), и на пороге

показалась улыбающаяся акушерка с маленьким:

— Принимайте! Господь Бог послал вам… — Акушерка сделала паузу и посмотрела на замерших в ожидании хозяина и его дочь. — Сына и брата. Кормилец еще один.

Шурочка подбежала к акушерке и радостно воскликнула:

— О, значит, это и есть мой братец Коленька!

За окном начало светать. Разгорался день 3 апреля 1886 года.

15 апреля в Морской военной госпитальной Александро-Невской церкви протоиерей. Владимир Краснопольский в присутствии псаломщика Петра Романовского совершил таинство крещения новорожденного сына старшего экипажного врача 6-го флотского экипажа коллежского советника Степана Яковлевича Гумилёва и его жены потомственной дворянки Анны Ивановны. Восприемниками мальчика стали капитан 1-го ранга 6-го флотского экипажа Лев Иванович Львов и дочь Степана Яковлевича, девица Александра Степановна Гумилёва. 20 февраля 1887 года за № 41 Николаю Гумилёву выписали метрическое свидетельство.

Маленький Коля был полной противоположностью своего брата: слабенький, с тоненьким голоском, тоненькими ножками и ручками с длинными пальцами. Когда он начинал плакать, казалось, что это тихий-тихий весенний ветерок робко стучится в распахнутое окошко.

Анна Ивановна, желая укрепить сына, нашла ему пышную розовощекую няню, которая по вечерам оставалась с ребенком и носила его ночью на кормление к матери.

Друг Степана Яковлевича, доктор дворцового госпиталя Данич, заметил, что мальчик пугается шума, и посоветовал, чтобы в спальне соблюдали тишину и кормили ребенка строго по часам. Днем рядом с сыном часто находилась Анна Ивановна, а с вечера на дежурство заступала нянька.

Тут необходимо сделать отступление. Степан Яковлевич любил в праздник подать к столу хорошее европейское вино. В подвале Гумилёвых собралось много бутылок с винами различной крепости. Никто не мог подумать, что это когда-нибудь станет источником несчастья. Но оказалось, что новая няня любила выпить. Когда дом затихал, она потихоньку пробиралась в подвал, не зажигая огня, находила на ощупь бутылку и возвращалась в детскую. Здесь она отбивала горлышко (так как все емкости были закрыты надежными пробками) и, усевшись рядом с детской кроваткой, медленно потягивала вино, рассуждая, видимо, о выгодах новой для нее службы. Так бы это и продолжалось, наверное, долго и безнаказанно (до какого-нибудь

очередного семейного праздника, пока не кинулись бы искать вино), но однажды, сильно захмелев, нянька возле кроватки запнулась и уронила Коленьку, как раз личиком на кусок отбитого горлышка. Раздался страшный крик.

Когда в детскую вбежали отец с матерью, они увидели, что Коленькино лицо все залито кровью, а няня, привалившись на спинку стула, смотрит на них ошалевшими глазами. И только тут Анна Ивановна уловила запах винного перегара. Перед ними стояла совершенно одуревшая от вина пьяная баба. Боже! Как же они не догадались, почему няня старалась не дышать, когда приносила матери Коленьку, и часто прикрывала рот рукой.

Первую помощь раненому сыну оказал отец, а затем вызвали опытного хирурга, доктора Квицинского. Тот успокоил родителей: с глазом у мальчика будет все в порядке, а то, что бровь и часть щеки рассечены, так это ничего, не девочка. Шрамы мужчин украшают.

Виновницу беды в то же утро рассчитали, и вскоре в доме появилась новая няня Мавра Ивановна, воспитывавшая Коленьку до четырех лет.

Тем временем в самой семье Гумилёвых назрели серьезные изменения. 9 февраля 1887 года Высочайшим приказом по Морскому ведомству о чинах гражданских за № 294 Степан Яковлевич был произведен в статские советники с увольнением по болезни со службы с мундиром и пенсионом из Государственного казначейства в размере 864 рубля и из эмеритальной кассы Морского ведомства по 684 рубля 30 копеек в год с производством из Царскосельского казначейства с 10 февраля 1887 года. Правда, начальник медицинской части в Кронштадте и главный доктор госпиталя, заведующий делопроизводством младший ординатор Кронштадтского морского госпиталя надворный советник Неаронов выдали документ, удостоверяющий сей факт С. Я. Гумилёву только 4 июня 1887 года.

Но сам Степан Яковлевич, видимо, не торопился убывать из Кронштадта. Гумилёвы решали главный для них вопрос — куда уехать на постоянное жительство. Брат Анны Лев Львов да и сам Гумилёв склонялись к тому, что далеко от Петербурга уезжать нельзя, ведь подрастают дети, а значит, со временем встанет вопрос о их образовании. На семейном совете сошлись на том, что лучше перебраться в Царское Село, куда и отправилась вскоре вся семья отставного корабельного врача.

Удивительное это место Царское Село, город редчайшей красоты, бывший дудеровский погост Новгородского уезда, или Сарское поместье. Селом оно становится во времена правления

славной дочери Великого Петра — Императрицы Елизаветы. Екатерина Великая превратила Сарское Село в Царское, весь двор стал пребывать там с ранней весны до ноябрьских холодов.

Царское Село хранило тень великого лицеиста Александра Пушкина. Потом в Царском служил внук поэта офицер Григорий Александрович Пушкин.

Ко второй половине XIX века Село сильно преобразилось и стало настоящим русским Версалем.

Из Петербурга Гумилёвы с детьми отправились в Царское Село по Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороге с Царскосельского вокзала. Интересно, что Царскосельская дорога открылась еще в 1837 году и являлась первой железной дорогой в России. Хотя, если быть более точным, первый поезд по ней прошел еще осенью 1836 года от Царского Села до Павловска. Поезд выходил из Петербурга, шел через Обводный канал около церкви Святого Мирония и попадал на пустынную окраину города — Волково Поле, далее мимо Новодевичьего Воскресенского женского монастыря, оставлял за собой платформу военного воздухоплавательного парка, собор Николаевской Чесменской богадельни (богадельня была устроена в бывшем загородном Екатерининском дворце) и через тридцать минут останавливался у двухэтажного здания Царскосельского вокзала. Путешествие было непродолжительным. На площади приезжавших встречали извозчики, предлагавшие за тридцать копеек довезти на любую улицу Села. Гумилёвы отправились на Московскую улицу, 42, где относительно недорого сняли двухэтажный домик. Здесь, как оказалось впоследствии, им суждено было прожить целых девять лет.

Началась тихая, размеренная жизнь. Отец страдал ревматизмом, у него часто случались приступы головной боли, и к старости Степан Яковлевич стал раздражительным. Любил сидеть в большом кожаном кресле в своем кабинете и беседовать с Анной Ивановной. Шурочку забрали из пансиона, и она тоже поселилась в Царском Селе. Митей и Колей занималась нанятая Гумилёвыми бонна.

В эти годы Шурочка подружилась со своей мачехой. Часто вечерами за рукоделием Анна Ивановна слушала рассказы падчерицы. Обе любили книги и, случалось, далеко за полночь зачитывались романами.

В редкие вечера приходили друзья Степана Яковлевича, и начиналась игра в вист. Тогда Анна Ивановна и Шурочка накрывали в гостиной стол.

Когда появлялись свободные деньги, Шурочка и Анна

Ивановна накупали сладостей, брали малышей и вели их на карусели. Шурочка любила играть с братьями, читала им сказки Х. К. Андерсена.

Анна Ивановна особенно опасалась за здоровье Коленьки: рос он слабеньким, часто падал, и как только начал говорить, выяснилось, что он еще и немножко шепелявит. Не проходили у младшего сына и головные боли, которые доктор Квицинский определил как повышенную деятельность головного мозга. Коленька воспринимал внешние события так ярко и образно, что очень быстро уставал. Даже уличные шумы, звонки пролеток и стуки экипажей утомляли его. Затыкание ушей ватой мало что давало. Эта странная и немного непонятная болезнь продлится у Николая почти до пятнадцати лет и после переходного возраста, как часто бывает у мальчиков, пройдет сама собой.

Но тогда, в раннем возрасте, родители сильно волновались за здоровье ребенка, искали всякую возможность, чтобы закалить и оздоровить мальчика. По мнению Степана Яковлевича и Анны Ивановны, самое благотворное влияние на детей оказывали сельская природа, тишина и уединение.

Степан Яковлевич приобрел в Рязанской губернии небольшое имение Березки, где вся семья проводила летние месяцы. Тут мальчикам предоставлялась полная свобода. Их игры носили порой экзотический характер. Наслушавшись рассказов о дальних странах, Коля представлял себя вождем индейцев и заставлял старшего брата ему подчиняться.

Анна Ивановна читала мальчикам не только сказки, но часто открывала большой том Священной истории, усаживала рядом Митю и Колю, и начиналось постижение вечных истин. Эти чтения оставили глубокий след в сознании будущего поэта. Коля молился иконе Спасителя и в жизни старался придерживаться христианских заповедей.

В детстве Коля был замкнутым и скрытным мальчиком. Но у него была своя бескорыстная привязанность. В доме по выходным дням по приглашению Анны Ивановны появлялась старушка «тетенька Евгения Ивановна». Жила она в местной богадельне и в родственных отношениях ни с кем в семье не состояла, но все ее жалели. Она часто задерживалась в доме до семи вечера, а то и оставалась ночевать. Коля, тайно от взрослых, всю неделю собирал конфеты, а когда появлялась Евгения Ивановна пробирался к старушке и, краснея, вручал ей лакомства. Растроганная до слез тетенька благодарила мальчика, а Коля, жалея ее и желая развлечь, садился играть с гостьей в лото или домино, хотя терпеть не мог эти игры.

Когда Коле пошел пятый год, Степан Яковлевич купил

недалеко от столицы по Николаевской железной дороге маленькую усадебку Поповку из-за того, что окружена она была целительным хвойным лесом. Имение состояло из двух домов и флигелька и располагалось в старом запущенном парке с прудом и островом посередине. Гумилёвы привозили сюда детей летом, но потом, когда те стали гимназистами, бывали здесь и во время зимних каникул, когда разлапистые ели, как в сказке, обряжались в пушистые снега.

Однажды в теплое июльское утро (тогда Коле шел седьмой год) он решил удивить мать. Вся семья находилась в Поповке. Коля вошел к Анне Ивановне и таинственно произнес: «Идем, мама, в сад. Я приготовил тебе сюрприз». Сюрприз был необычным. Перед домом на клумбе среди ярких летних цветов к воткнутым палочкам были привязаны четыре лягушки, две ящерицы и две жабы. Коля сам отловил всю эту живность и устроил для матери (которую любил и уважал за проницательный ум) «зоопарк» под открытым небом.

Анна Ивановна затеи не поняла, пришла в ужас и убежала. Коля обиделся (как часто это непонимание будет преследовать его в жизни!) и убежал в другую сторону — в лес. Он решил, что там обязательно водятся разбойники и он станет одним из них. Но разбойников он не встретил. Вскоре его хватились домашние — на розыски беглеца отправились в коляске мать со старшим братом Митей и двое дворовых верхом. Колю вернули в родной дом и объяснили, почему нельзя мучить живые существа. Но ведь никого не мучая, он хотел показать всем «живой уголок». Правда, потом в его жизни будет еще один неприятный эпизод, когда в Березках, дабы доказать свою сногсшибательную храбрость и кровожадность, на глазах у мальчишек он откусил голову пойманному еще живому карасю, но сделал это с отвращением и в душе долго сожалел о содеянном.

В Поповке была небольшая конюшня и дети получили возможность, хотя не сразу, а когда немного подросли, ездить верхами на послушных лошадях, используемых в хозяйстве. Здесь буйная фантазия Коли получила полную свободу. Мальчик наблюдал за домашними животными и птицами. Особенно поразил его большой старый индюк, важно выступавший по двору среди уток и кур. Именно о нем позднее поэт напишет:

На утре памяти неверной
Я вспоминаю пестрый луг,
Где царствовал высокомерный.
Мной обожаемый индюк.

Была в нем злоба и свобода,
Был клюв его, как пламень, ал,
И за мои четыре года
Меня он остро презирал.

(«Индюк», 1920)

В четыре года Коля еще обхаживал индюка и фантазировал, а в восемь уже взялся за перо и появились первые стихотворные строки и рассказы. И опять рядом была мать. Она понимала сына, аккуратно складывала и хранила исписанные им листки в своей шкатулочке. Как жаль, что время жестоких российских разоров не позволило сохранить эти первые наивные листочки будущего поэта.

Коля рано начал читать и писать, увлекшись вслед за старшим братом книгами. Правда, интересы братьев совсем не совпадали. Митя любил приключенческие романы, Коля удивил родителей тем, что рано стал читать Шекспира, Пушкина, а потом и журнал «Природа и люди».

По-разному вели себя мальчики, когда у них появились карманные деньги. Митя тут же накупал сладостей. Коля шел в магазин, где продавали животных. Однажды он принес домой ежа, потом в его комнате появились белые мыши. Митя любил бывать на людях, разговаривать с гостями. Коля к новым людям относился настороженно, старался уединиться. В Поповке мальчик часто и надолго исчезал из дома. Только много лет спустя он признался, что нашел лесную пещеру и там, мечтая, проводил долгие часы. Какие только волшебные видения ни посещали мальчика! Там впервые осенила его своим благоволением муза.

Мир Коли был волшебным и недоступным для понимания непосвященных. Отправляясь на болота, мальчик верил, что вода пузырится не просто так, там обитает неведомый миру дракон. Болото Коля прозвал драконьим. Об этом есть у Гумилёва стихи:

Цветы, что я рвал ребенком
В зеленом драконьем болоте,
Живые, на стебле тонком,
О, где вы теперь цветете?

(«Какая странная нега…», 1913)

Именно к детским годам в Поповке относятся проникновенные строки одного из самых знаменитых стихотворений поэта «Память»:

Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под уздцы коня,
Ты расскажешь мне о тех, что раньше
В этом теле жили до меня.

Самый первый: некрасив и тонок,
Полюбивший только сумрак рощ.
Лист опавший, колдовской ребенок,
Словом останавливавший дождь.

Дерево да рыжая собака —
Вот кого он взял себе в друзья.
Память, память, ты не сыщешь знака,
Не уверишь мир, что то был я.

Юный Гумилёв представлял жизнь как череду волшебных превращений, верил, что у домашней кошки ночью вырастают крылья и она улетает на свободу, что люди могут превращаться в зверей. Ему снились удивительные сны, не передаваемые никакими словами. Он жил в нескольких измерениях и парил на крыльях, словно его несли ангелы. Как часто сны бывают началом удивительной яви…

Но детство, как самая интересная, длинная и волшебная сказка, очень быстро заканчивается. Миг — и иной мир расстилается у ног подростка, мир обыденный, непростой, в котором мало бывает чудес!

Настало время Коле Гумилёву серьезно озаботиться получением основательных знаний. Но не все предметы мальчику нравились, как и не все учителя.

1893 год принес много семейных изменений. Весной, вслед за старшим братом, Коля был принят в Царскосельскую Николаевскую гимназию, которой руководил тогда Л. А. Георгиевский. Правда, вначале мальчик пошел в подготовительный класс. Конечно, Николаевская гимназия не была так знаменита, как Царскосельский лицей, существовавший в пушкинскую эпоху, но она была отмечена заботой императорской семьи. Основанием этого учебного заведения стало полученное в 1862 году по ходатайству городских обществ Царского Села, Павловска и Гатчины Высочайшее разрешение на строительство в Царском Селе гимназии в память Императора Николая I и совершеннолетия Цесаревича Николая Александровича. Первый директор гимназии статский советник И. Н. Пискарев вступил в должность 4 июля 1870 года, а

почетным попечителем назначили генерал-майора Мейера.

Открытие гимназии в Царском Селе широко праздновали 8 сентября 1870 года. День был выбран не случайно — в память дня рождения безвременно почившего в Бозе Цесаревича Николая Александровича. На открытие гимназии прибыл сам Государь Император Александр Николаевич в сопровождении Цесаревича Александра Александровича и Великого князя Владимира Александровича. Царскую семью сопровождали Великие князья Константин Николаевич и Николай Константинович, также министры и приближенные двора. Праздник открытия состоялся в городской ратуше, богато убранной цветами. Певчие пели «Царю Небесный». После освящения гимназии в одном из ее залов была помещена памятная доска из белого мрамора с надписью: «Его Императорское Величество Государь Император Александр II соизволил осчастливить своим присутствием освящение и открытие Царскосельской мужской Николаевской гимназии 8-го сентября 1870 года». 6 сентября того же года Император разрешил гимназистам в память Императора Николая I и Цесаревича Николая Александровича носить на шапках царский вензель «Н».

29 октября 1872 года в гимназии освятили церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. В 1874 году в гимназии был открыт седьмой класс, а через год — восьмой.

27 мая 1881 года директор гимназии И. Н. Пискарев отправил новому Императору письмо с просьбой не оставить вниманием их учебное заведение, которое прежде опекал Государь Александр II, злодейски убитый заговорщиками. Александр III тут же прислал письмо: «Я с удовольствием оставляю Николаевскую гимназию под своим покровительством, тем более что она — память моего покойного брата». Новый Император не только сохранил наименование Николаевская, но и добавил наименование Императорская.

И. Н. Пискарев, руководивший гимназией семнадцать лет, умер 3 ноября 1887 года, в тот год, когда Гумилёвы перебрались в Царское Село. Его место занял инспектор 1-й Санкт-Петербургской гимназии Л. А. Георгиевский, который через четыре года открыл при гимназии пансион на шестьдесят человек во вновь надстроенном для этой цели помещении. Для пансионеров вводились уроки фехтования и игры на рояле. К 1893 году гимназия стала одним из элитарных учебных заведений России, где учились дети известных государственных деятелей. Программа обучения была насыщенной и напряженной. Коля скоро почувствовал недомогание, усилились головные боли, и отец вынужден был обратиться к своим старым друзьям и

опытным врачам Квицинскому и Даничу. После консилиума и родительского совета решено было мальчика из гимназии забрать, но подготовку продолжить в домашних условиях. Для занятий пригласили студента-математика Б. И. Газалова.

Николаевская гимназия еще сыграет в жизни юного Коли Гумилёва очень важную роль, но это будет позже. А тогда Гумилёвы перебрались в Санкт-Петербург и сняли квартиру на углу Дегтярной и 3-й Рождественской улиц в доме Шамина. Любимая сестра Коли Шурочка в Петербург вместе с семьей не поехала. В ее личной жизни назревали серьезные перемены. Неожиданно в Царское Село в отпуск приехал к своему отцу молодой 27-летний офицер пограничной стражи Леонид Сверчков. Огненно-черные глаза, лихо закрученные усы, высокий рост, умение хорошо танцевать и смело скакать на коне покорили неопытную Шурочку Гумилёву. Ей исполнилось уже двадцать четыре года, и считалось, что дольше в девушках сидеть неприлично. Но у Шуры был и другой воздыхатель — барон фон Штемпель, присылавший ей стихи:

О, как болит душа! Как сильно бьется сердце,
Ты так прелестна, хороша, не знаю, куда деться.

Ухаживал за девушкой инспектор гимназии, но самым солидным женихом считался ровесник отца, генерал, главный доктор придворного госпиталя. Он овдовел и намеревался жениться на девушке из хорошей семьи. Но Шурочка ни о ком не хотела слушать кроме как о Сверчкове, а когда отец запретил ей встречаться с пограничником, она стала бегать на тайные свидания.

На одном из таких свиданий около Царскосельского лицея Леонид Сверчков под звуки благовеста патетически воскликнул: «Александра Степановна, вот я говорю вам как перед Богом, что, вернувшись на границу, в первой стычке с контрабандистами я сложу свою голову! Без вашей поддержки я там пропаду — сопьюсь».

Шурочка пожалела молодого офицера и дала согласие на брак. 25 мая 1893 года они обвенчались и уехали на кордон «Радоха», находившийся в полутора километрах от Котовиц в Польше, где Сверчков нес службу. Уже через месяц девушка поняла, какую она совершила ошибку. Молодой муж стал попивать. Степан Яковлевич, обещавший дочери приданое в десять тысяч рублей, потом денежную поддержку по пятьдесят рублей в месяц, на деле деньги отсылал только по большим праздникам, оправдывая это тем, что Сверчков все пропивал.

Через полтора года Леонид Владимирович вышел в отставку и переехал в Санкт-Петербург, где и поступил счетоводом на Путиловский завод.

Жизнь в семье Гумилёвых текла размеренно. Митя учился в гимназии Гуревича. Коля по-прежнему увлекался различными животными, с интересом слушал рассказы отца о морских путешествиях, далеких заморских странах, писал стихи и басни, любовно сберегаемые Анной Ивановной.

Весной 1894 года Коля Гумилёв успешно выдержал испытание и был принят в гимназию известного педагога Якова Григорьевича Гуревича, располагавшуюся на углу Лиговки и Бассейной улицы в Петербурге. Основателем гимназии считался Бычков. Греческий язык там преподавал Иннокентий Анненский, в скором будущем открытый как крупный поэт. С ним судьба сведет Колю Гумилёва через несколько лет.

Гимназия Гумилёву не понравилась сразу. Мальчик искал романтики, приключений, его увлекали герои Буссенара, он зачитывался Майн Ридом и Жюлем Верном, Гюставом Эмаром и Фенимором Купером, приключениями «Детей капитана Гранта» и «Путешествиями капитана Гаттераса».

Комната Коли была завалена картонными латами, игрушечным оружием. В играх он представлял себя рыцарем, полководцем и путешественником. Среди «боевого снаряжения» чудом умещались и любимые «зверушки». В играх его друзьями были Лев Леман, сын польского нотариуса, Владимир Ласточкин, сын московской помещицы, Леонид Чернецкий, сын варшавского архитектора, Борис Залтупин, сын начальника императорского кабинета, и сын петербургского врача Дмитрий Френкель. Коля командовал баталиями с оловянными солдатиками, искал клады в подвалах гимназии. Кроме игр юный Гумилёв любил театральные представления. Так, он посещал вместе с царскосельскими гимназистами утренние спектакли в Мариинском, в Малом и Александринском театрах. Очень любил читать. Уже в третьем классе гимназии знал Жуковского, «Поэму о старом моряке» Кольриджа и «Неистового Роланда» Ариосто. Именно в это время Коля пишет много стихов и большое по объему стихотворное произведение «О превращении Будды». Богатое воображение мальчика подсказывало ему темы для рисунков, к которым он делал подписи в стихах:

Уже у гидры семиголовой
Одна скатилась голова…

Сохранились оригинальные рисунки Коли-гимназиста на темы подвигов Геракла с подписями:

Ни клюв железный, ни стальные крылья
От стрел Геракла гарпий не спасут,
Герой творит свой страшный суд…

Колю угнетала необходимость учить арифметические правила и иностранные языки. В ведомости за 1899/1900 учебный год у младшего Гумилёва выставлены двойки по немецкому, французскому, латинскому и греческому языкам. Естественно, за такие «успехи» постановлением педагогического совета гимназии он был оставлен на второй год. Один из лучших педагогов гимназии, добрейший учитель немецкого языка Федор Федорович Фидлер, встретившийся с уже знаменитым Николаем Гумилёвым в кружке памяти поэта К. К. Случевского, выразил сожаление, что ставил ему плохие отметки.

Даже через многие годы Николай Степанович не только не любил вспоминать гимназию Гуревича, но даже название Лиговской улицы наводило на него тоску. Правда, и в гимназии была отдушина — это рукописный литературный журнал, где напечатали его рассказ о путешествии во льдах.

Коля интересовался и новостями из Царского Села. Когда мальчик узнал, что 29 мая 1899 года там будет установлен памятник Пушкину, он упросил Анну Ивановну свозить его на праздник. На открытии памятника присутствовали сын поэта генерал-лейтенант А. А. Пушкин и его сын, то есть внук поэта офицер Григорий Пушкин. Гумилёв смотрел на них во все глаза, ища черты сходства с великим поэтом.

Дети подрастали, и семья Гумилёвых перебралась в удобную, просторную квартиру на Невском проспекте в доме 97. Митя был аккуратен и не успевал истрепать свою одежду, но Коля никогда не соглашался за ним что-либо донашивать. А виной всему была неловкая шутка старшего брата. Когда Мите исполнилось десять лет, ему купили новое пальто, а старое, почти новое, Анна Ивановна решила передать Коле. Мите захотелось подшутить над братом, гордецом и задавакой. Он принес ему пальто и небрежно бросил: «На, носи мои обноски!» Коля весь вспыхнул от возмущения, и никакие уговоры матери не могли заставить его надеть злополучное пальто.

Все знали, как Коля не любил занятия в гимназии. Разрядить обстановку неожиданно помог случай. У Мити Гумилёва нашли туберкулез. Родители переполошились, стали консультироваться

с врачами. Что делать? Им посоветовали переменить климат, ехать на Кавказ, в Тифлис. Степан Яковлевич срочно продал Поповку, мебель из петербургской квартиры. Гумилёвы стали готовиться к отъезду. Больше других перемене был рад Коля. Но сначала было решено провести лечение кумысом. Первым уехал в Славянск глава семьи. Митя и Коля вместе с Анной Ивановной летом 1900 года отправились впервые не в Поповку, а в деревню Подстепановку, находившуюся неподалеку от Самары, чтобы попить кумыс. Степан Яковлевич знал, какое благотворное влияние оказывает этот напиток на легкие. В семье очень боялись, что и Коля может вслед за братом заболеть. Отец из Славянска, не заезжая за семьей, отправился в Тифлис подыскивать квартиру и работу.

Ближе к осени Степан Яковлевич прислал телеграмму с новым адресом и Анна Ивановна с сыновьями села на пароход, идущий до Астрахани, а потом Каспийским морем добралась до Баку, откуда на поезде уехала в Тифлис. Для Гумилёвых началась новая жизнь. Новые люди, новый город и южная природа.

Степан Яковлевич энергично начал обустраивать быт семьи. Он снял в богатом районе города Сололаках просторную квартиру с электрическим освещением (что по тем временам было редкостью) в доме инженера Мирзоева на Сергиевской улице. В двух подъездах этого дома дежурили швейцары. Дом углом выходил на две живописные, заросшие буйной зеленью улицы. В комнатах стояли старинные печи, отделанные изразцовыми плитками с замысловатыми рисунками.

Степан Яковлевич, чтобы иметь дополнительный заработок, устроился в Российское страховое общество, которое располагалось неподалеку от дома по улице Сергиевской.

Митя Гумилёв пошел в шестой класс 2-й Тифлисской гимназии. Двоечник Коля вынужден был второй раз поступать в четвертый класс, но это его мало огорчало. Он был рад, что попал в необыкновенную обстановку. Тифлис совсем не походил ни на один город, где он бывал или жил раньше. Юный Гумилёв привык к равнинным ландшафтам, а тут — величественные горные пейзажи. Город располагался в котловине, с трех сторон окруженной горами: с запада видны были гора Ишитутрук (Святого Давида), с востока — Махатский хребет, с юга — Сололакский. Вскоре Коля уже знал, что к северу от Тифлиса расположен Кавказский хребет со знаменитой снежной вершиной Эльбрус, горой Казбек, а к северо-западу тянулся Сурамский хребет. В 275 верстах от города высились библейские вершины Арарата. Четырнадцатилетний Гумилёв заслушивался говором быстрой Куры, протекающей среди скалистых берегов. Кто знает,

какие песни напевала ему бурная вода знаменитой реки поэтов! Живописны были многочисленные мосты, казалось, скреплявшие разъезжающиеся берега. Михайловский арочный мост называли еще и Воронцовским, так как возле него находилась бронзовая скульптура князя М. С. Воронцова, отлитая петербургским профессором Пименовым и его учеником Крейганом. Один из мостов построил на свои деньги купец Мнацаканов.

Однажды Коле показали большой чугунный крест в предместье Тифлиса Вере, воздвигнутый в 1846 году в память избавления от опасности Государя Николая Павловича. А дело было так. В 1837 году, когда Государь ехал из Тифлиса во Владикавказ, его коляска опрокинулась на крутом спуске в начале Военно-Грузинской дороги, но никто не пострадал. На кресте Гумилёв разглядел изображение всевидящего ока и прочитал надпись: «Живый в помощи Вышняго в крове Бога небесного водворится. 2 октября 1837 г.».

Тифлис состоял из совершенно не похожих друг на друга частей. Гумилёвы жили в новой части, европейской, где тянулись длинные прямые улицы с большими зданиями новейшей архитектуры. Здесь красовался Головинский проспект с административными зданиями, красивыми магазинами. Начинался проспект с Разгонной почты, где стояли почтовые экипажи. Рядом с Разгонной почтой находилось новое здание телеграфа, а на левой стороне — кадетский корпус, об учебе в котором мечтал брат Коли Митя, уже решивший, что станет военным. На правой стороне Головинского проспекта стоял дворец наместника края и Военный собор, заложенный 16 апреля 1870 года в честь окончания Кавказской войны. Головинский проспект был самым красивым и оживленным в городе.

Вторая Его Императорского Высочества Великого князя Михаила Николаевича гимназия, куда пошли учиться мальчики Гумилёвы, располагалась на Великокняжеской улице в доме 32. Открылась она в 1881 году. Но через полгода отец решил перевести обоих сыновей в другую, так как ему не понравились взаимоотношения учителей и учеников в этом учебном заведении. Братья стали ходить в старую 1-ю мужскую гимназию, что на правой стороне Головинского проспекта неподалеку от Военного собора.

Старый город привлекал юного Гумилёва азиатской причудливостью узких и кривых улочек, ныряющих в ущелья и неожиданно появлявшихся бог весть откуда! Он располагался недалеко от шумного, многолюдного армянского базара.

Город был очень зеленым, почти при каждом доме находились сады, а предместья Вера и Ортачалы утопали во

фруктовых деревьях. В самое лучшее время года в сентябре-октябре, когда город нежился в теплых и мягких лучах осеннего южного солнца, в садах Веры звучала национальная музыка «дудуки» и «зурны», гремели духовые оркестры, дымился и шипел грузинский шашлык. Особенно много гуляющих было в центре города в Александровском саду (расположенном между Головинским проспектом, Барятинской и Александровской улицами), где возле бассейна стоял памятник Н. В. Гоголю работы местного скульптора Ходоровича. Этот же автор соорудил небольшой бюст А. С. Пушкина, который установили в сквере на Эриванской площади.

Гумилёв любил гулять в ботаническом саду, расположенном на Петханском подъеме возле развалин старой крепости. Здесь на самом гребне высокой скалы сохранилась старинная круглая башня с несколькими помещениями — все, что осталось от дворца грузинских царей, разрушено персами во время опустошительного набега в 1795 году.

В сад вели три дороги. По одной из них, через Коджорский подъем, Коля вместе со своими друзьями братьями Кереселидзе чаще всего попадал в сад. Правда, до этого подъема нужно было еще ехать по Коджорской дороге на девятом трамвае. Коля не только любил разглядывать коллекционные посадки сосен, елей, дубов, лип и многих диковинных растений, которые росли на живописных террасах, но и часто заглядывал в библиотеку ботанического сада, знакомясь со специальными книгами. Анна Ивановна, видя его неподдельный интерес к заповедной природе Кавказа, давала сыну пятьдесят копеек на приобретение годового именного билета в ботанический сад.

Конечно, Тифлис навсегда запечатлелся в памяти Гумилёва. Он провел в нем лучшие юношеские годы с четырнадцати до семнадцати лет.

Основанный грузинским царем Вахтангом, Тифлис уже при его сыне стал резиденцией грузинских царей. Более двадцати раз город захватывали враги: и хазары, и гунны, и византийцы, и персы, и монголы, и арабы, и турки. Но особенно запомнили тифлисцы жестокого персидского шаха Ага-Магомета — хана, превратившего город в 1795 году в груду развалин и безжалостно расправившегося с местными жителями. В конце 1799 года в Тифлис прибыл русский отряд. Под его защитой город начал процветать, а с 1801 года Тифлис стал центром губернии.

Николай побывал в исторических предместьях Тифлиса на месте, где находилась высеченная в скале пещера. В ней, по преданию, жил святой Давид. В окрестностях Тифлиса Коля не раз находил следы пещер, в которых обитали первые христиане.

Однажды Коля забрался на Сололакский хребет, на развалины старой крепости Кала. Крепость была построена еще в VI веке. Попав в нее, он забыл обо всем на свете и о времени тоже. Вернулся домой поздно, напугав долгим отсутствием мать и вызвав гнев отца.

Тифлис — город, овеянный поэтической славой. Побывал Гумилёв и в Пушкинском пассаже на одноименной улице. Друзья объяснили ему, что, по преданиям, на этом месте находился дом, где жил в 1829 году великий русский поэт.

На могилу Грибоедова братья Гумилёвы пошли вместе со своими тифлисскими друзьями, которые, по словам Коли, были «пылкие и дикие». Склеп автора «Горя от ума» нашли быстро, в ограде церкви Святого Давида. Над последним пристанищем поэта возвышался великолепный памятник черного мрамора с бронзовым крестом, у подножия которого располагалась бронзовая фигура плачущей женщины (скульптурный портрет Нины Чавчавадзе, жены поэта).

В память юноши врезались слова, начертанные на памятнике: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего же пережила тебя любовь моя». Гумилёв прочел: «Александр Сергеевич Грибоедов, родился в 1795 г., января 4-го дня, убит в Тегеране 1829 г., января 29-го дня».

Николай задумался: отчего так короток век русского поэта, отчего так опасна его стезя?

Конечно, он еще не мог осознать всего трагизма жизни гения, но горы, могила, святые места — все это оживет потом в его памяти и зазвучит в стихах. Да, в Тифлисе Гумилёву было хорошо еще и потому, что он был немного влюблен в девушку Машу Маркс. Рядом с этим меркли все его гимназические неприятности. Не то чтобы Николай был неспособным учеником. Он многие предметы просто не любил. Вот историей и географией он увлекся и получал по ним пятерки. Зато по русскому и немецкому языкам, по Закону Божьему у него в 1900/01 учебном году стояли тройки. Тяжело шла у Коли математика, а по греческому языку он вовсе получил переэкзаменовку.

В Тифлисе на Николая большое влияние оказывал товарищ брата Мити, учившийся с ним в одном классе, Борис Легран. Борис увлекался идеями Ницше, Шопенгауэра и Маркса. За конфликты с преподавателями и дерзкое поведение Леграна не раз исключали из гимназии, но родители упрашивали директора, преподавателей, и те прощали бунтаря. Гумилёв, наоборот, по поведению имел пятерку. Коля под влиянием Леграна интересовался левыми социальными учениями, но пока не знал, как и где их применить. Позднее Ницше и Шопенгауэр сыграют в

его творческой биографии важную роль, но это будет уже не в Тифлисе.

Степан Яковлевич так и не привык к жизни на Кавказе. На склоне лет его потянуло в родные места, и зимой 1901 года он решил купить имение Березки в Рязанской губернии неподалеку от Шелудева. Имение оказалось небольшим, со старым домом, фруктовым садом, ближним участком леса и чистой речушкой. Пахотной земли было мало, хотя в документах значилась цифра — шестьдесят десятин.

После окончания занятий в гимназии семья Гумилёвых 25 мая 1901 года отправилась в новоприобретенное имение. Здесь, как и в Поповке, имелась конюшня. Братья любили поутру оседлать отдохнувших коней и промчаться по проселочным дорогам мимо работающих крестьян. Коля лихачил, хотел доказать свое превосходство перед братом.

Но скоро коней заменили велосипеды — по тем временам невидаль для сельских жителей. Их купил для мальчиков Степан Яковлевич. А к середине лета у Гумилёвых появилась мелкокалиберная винтовка (монтекристо). Коля тут же увлекся стрельбой. Уходил в лес, представлял себя отважным охотником на громадных носорогов или хищных гепардов. А когда отец привез тульскую двустволку, Коля начал ходить со своим другом на настоящую охоту. Вскоре младший Гумилёв принес домой первую дичь, чем очень удивил мать.

В сентябре Гумилёвы снова вернулись в Тифлис. Митя, вылечившись от туберкулеза, мечтал о военной карьере. Круг друзей Коли расширился. Он подружился с гимназистами Борисом и Георгием Легранами, Борцовым, Краменашвили, Глубовским (будущим художником). Часто мальчишки уходили в близлежащие горы на сельские осенние праздники.

Вскоре Николай увлекся новой для него наукой — астрономией. Добыв приспособление с увеличительными линзами, он по ночам с крыши наблюдал за звездами. Какими фантастическими чудищами представлялись ему далекие созвездия! Не здесь ли зародилось одно из лучших его стихотворений «Звездный ужас» (1921)?..

Это было золотою ночью.
Золотою ночью, но безлунной,
Он бежал, бежал через равнину,
На колени падал, поднимался,
Как подстреленный метался заяц,
И горячие струились слезы.

Коля начал брать уроки рисования. Изменился и круг его литературных пристрастий. Теперь он зачитывался Некрасовым и философскими произведениями Владимира Соловьева. А когда выдавалось свободное время, собирал близких гимназических друзей и шел на охоту.

Молодежь устраивала вечеринки. Хотя танцы Гумилёв не терпел, но все же появлялся на вечерах в доме Линчевских, где познакомился сразу с тремя девушками: Машей Маркс, Воробьевой и Мартенс. Маше он оставил тетрадь со своими стихами. Это была первая рукописная книга будущего поэта, громко озаглавленная им «Горы и ущелья». Открывалась эта книжечка стихотворением «Я в лес бежал из городов…». Конечно, название навеяно окружающей природой удивительного Тифлиса. Объяснялся в любви и Мартенс. А в Воробьеву влюбился так, что несколько лет писал ей письма. Судьба девушки сложилась трагически. Она переехала в Санкт-Петербург, заболела тифом и вскоре умерла…

Машенька Маркс всю жизнь хранила написанные ей в тетрадку стихи Гумилёва.

Видимо, Маша нравилась ему больше других, и, может быть, она тоже обратила внимание на пылкого поэта. Отныне… имя Мария для Гумилёва станет магическим и будет появляться в его лучших стихах.

В начале сентября 1902 года Коля Гумилёв набрал по телефону заветный номер — 19 и спросил, может ли он принести в редакцию «Тифлисского листка» свои стихотворения. Видимо, голос юноши был таким необычным, что сотрудник газеты, никогда не печатавшей ничего кроме сатиры на городские темы, согласился побеседовать с ним. И юноша отправился на улицу Крузенштернскую, 4. 8 сентября 1902 года в газете было опубликовано стихотворение «Я в лес бежал из городов…». Радости Коли не было конца. Домой прилетел, как на крыльях, с несколькими номерами. Коля решил, раз напечатали именно это стихотворение, оно и есть лучшее из всего им написанного, и поставил его первым в своей рукописной книжечке. Конечно, это были первые опыты гимназиста, первые отсветы публичной славы. Но главное — его заметили и одобрили.

Больше всех, конечно, радовалась мать. Анна Ивановна бережно хранила подаренный сыном номер газеты до конца своей жизни.

Первая рукописная книжка Гумилёва была подражательная. Как у Надсона, отвергнутый светом, непонятый поэт «в лес бежал

из городов / В пустыню от людей бежал…».

Но кавказская природа, замечательный город Тифлис, в котором юноша возмужал и окреп физически и духовно, диктовали ему и другие строки, где уже не оставалось места для жалостливых надсоновских ноток. Напротив, в них присутствует волевое начало покорителя пропастей и просторов, не знающего страха героя:

Люблю я чудный горный вид,
Остроконечные вершины,
Где каждый лишний шаг грозит
Несвоевременной кончиной…

(«Посвящение к сборнику „Горы и ущелья“», 1903)

В глубине души юный поэт понимает, что кавказская сказка не может длиться вечно. Поэтому настроение будущей разлуки пронизывает окончание другого стихотворения — «У скалистого ущелья» (1903):

Полон грусти безотрадной,
Я рыдаю, и в горах
Эхо громко раздается,
Пропадая в небесах.

Конечно, в рукописной книжке присутствуют и любовные темы. Коля восклицает, явно еще подражая Надсону:

Во мраке безрадостном ночи,
Душевной больной пустоты
Мне светят лишь дивные очи
Ее неземной красоты.

За эти волшебные очи
Я с радостью, верь, отдаю
Мое наболевшее сердце.
Усталую душу мою…

(«Во мраке безрадостном ночи…», до мая 1903)

Кому адресовал юный поэт эти строки: таинственной Воробьевой или Машеньке Маркс? На этот вопрос сегодня не ответит никто, ибо он здесь не поставил посвящения. Но стихотворение, завершающее этот сборник, посвящено

М. М. Маркс. Оно полно светлого, нежного чувства, предстоящего расставания, без обещаний и без всякой надежды на взаимность:

Я песни слагаю во славу твою
Затем, что тебя я безумно люблю,
Затем, что меня ты не любишь,
Я вечно страдаю и вечно грущу,
Но, друг мой прекрасный, тебя я прощу
За то, что меня ты погубишь.
Так раненный в сердце шипом соловей
О розе-убийце поет все нежней
И плачет в тоске безнадежной,
А роза, склонясь меж зеленой листвы,
Смеется над скорбью его, как и ты,
О друг мой, прекрасный и нежный.

(«Я песни слагаю во славу твою…», 1903)

21 мая 1903 года Николай Гумилёв, на сей раз благополучно, окончил шестой класс и получил отпускной билет в Березки Рязанской губернии сроком до 1 сентября. Но вряд ли кто в семье сомневался, что они окончательно покидают Тифлис. Митя выздоровел, окончил седьмой класс гимназии, и необходимо было побеспокоиться о его дальнейшем образовании. На семейном совете решили провести отпуск в Березках, а потом уже думать об устройстве: то ли в Петербурге, то ли в Царском Селе. Степан Яковлевич склонялся ко второму — и в этом направлении уже проделал необходимые шаги.

Братья Гумилёвы в Березках не думали ни о каких проблемах. Они скакали на лошадях, ездили на велосипедах. Коля вспомнил, что прочитал «Капитал» Маркса и решил кого-то сагитировать. Кого? Пошел на мельницу и там старому мельнику и его рабочим стал объяснять непонятные самому ему теории освобождения труда. В конце концов слухи о его «агитации» дошли до губернатора. Тот удивился, но, конечно, не придал этому слишком серьезного значения, он пригласил отца на беседу с просьбой повлиять на умонастроение сына. Но в этом уже не было нужды, ибо Коля забыл про Маркса и весь был поглощен Ницше «Так говорил Заратустра». Сверхчеловек, «белокурая бестия» — вот кто теперь был его тайный идеал.

Лето заканчивалось, и Степан Яковлевич направил прошение директору Царскосельской Николаевской гимназии с просьбой принять его младшего сына в седьмой, а старшего в восьмой классы. Из Тифлиса за подписью исполняющего обязанности

директора 1-й гимназии Николаю Гумилёву прислали свидетельство за № 1820 от 21 августа об успешном окончании шести классов. В Царском Селе в Царскосельской Николаевской гимназии вакансии для экстернов не имелось, и Гумилёва приняли интерном в седьмой класс с разрешением в виде исключения жить дома. Круг замкнулся. Когда-то из Царского Села уехал семилетний мальчик, пугавшийся шума и страдающий головными болями. Теперь возвращался возмужавший семнадцатилетний юноша, узнавший славу первой публикации, ощутивший себя не только путешественником, охотником, мореплавателем, но поэтом. Он возвращался в совершенно новый для него мир. Как я думаю, —

Он мечтал
О Музе Дальних Странствий,
И с Колумбом говорил на «ты»,
В неземном,
Вневременном пространстве
Воплощал заветные мечты.

Глава IV ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ГИМНАЗИСТ

Гумилёвы вернулись в Царское Село всей семьей. Не только братья Митя и Коля, но и их старшая сестра Шурочка оказалась под родительской крышей. Ее семейная жизнь не задалась. Леонид Владимирович Сверчков не задержался в Петербурге из-за неуживчивого характера и пьянства. Вместе с мужем она вынуждена была переехать в Москву, где он нашел место счетовода в правлении Московско-Брестской железной дороги. К этому времени у них уже было двое детей: в 1894 году родился сын Николай и через два года дочь Мария. Но Сверчков не остепенился. Он продолжал пить и ругаться с начальством. Вскоре он умер от туберкулеза, и Шурочка с двумя маленькими детьми осталась без средств к существованию. Ей удалось поступить на службу счетоводом в правление, где работал муж, но прокормить детей она не могла. Тогда она написала письмо отцу, и тот решил, что дочери необходимо жить в семье. Так, осенью в Царское Село съехались через много лет все дети Гумилёва. Степан Яковлевич побеспокоился заранее о достойном жилище для большой семьи. После непродолжительных поисков, осмотров сдаваемых в аренду помещений глава семьи остановил выбор на доме Полубояринова, расположенном на углу Оранжерейной и Средней улиц. Это был центр Царского Села. Средняя улица упиралась в решетку Александровского сада. На углу Средней и Оранжерейной улиц находились Царскосельское общество взаимного кредита и кинематографический театр «Тиволи». На другом углу Средней и Леонтьевской улиц располагалось Царскосельское Дворцовое управление. Была неподалеку от дома Гумилёвых и местная достопримечательность: первая электрическая станция Царского Села. Но самое главное, что на углу Средней и Оранжерейной улиц находилась редакция еженедельной газеты «Царское дело».

Коля заново знакомился с городом, где провел детство. Любил гулять в знаменитом парке, где возле купального домика у пруда стоял памятник Императрице Екатерине Великой. Парк был украшен античными статуями, живописными фотами. К большому пруду выходила турецкая баня с куполообразной крышей и мраморной лестницей к воде. У искусственно созданных руин с башней возвышалась статуя Спасителя с поднятой рукой. Коля, проходя мимо, всегда осенял себя крестным знамением… В Царском была китайская деревня: китайская беседка с острым верхом и фигурными дверями, китайский мостик, китайский театр, островерхие домики — все

это возбуждало воображение юноши, грезившего дальними странами. Позднее поэт Гумилёв напишет книгу «китайских» стихов.

Может быть, именно царскосельские египетские ворота с двумя башнями, украшенными древними рельефами, зародили в его душе непреодолимое желание побывать не только в Египте, но и в Африке.

Царское Село называли русским Версалем и не только за парки, разбитые во французском духе, но и за обилие придворных военных. Здесь, под боком у Северной столицы, квартировали лейб-гвардии кирасирский Его Величества полк, лейб-гвардии гусарский Его Величества полк, лейб-гвардии стрелковый Его Величества батальон, лейб-гвардии 2-й Стрелковый батальон, лейб-гвардии 4-й стрелковый Императорской фамилии батальон и офицерская артиллерийская школа. Элита русской армии — гвардейцы и гусары. Каждый третий житель Царского Села начала XX столетия был военным, или выходцем из семьи военных, или, на худой конец, из семьи отставных и бессрочных военных чинов, притом все население Царского насчитывало около тридцати тысяч человек. Гусары и гвардейцы были в чести, по ним тайно вздыхали юные гимназистки Мариинской женской гимназии. Гимназия была учреждена Императрицей Марией Александровной. Принц Петр Георгиевич Ольденбургский привез 7 февраля 1865 года не только благословение Ея Императорского Величества Государыни Императрицы, но и образ Божьей Матери в золотой ризе в киоте орехового дерева с надписью на вызолоченной доске: «Образ сей пожалован Государынею Императрицей Мариею Александровной в день открытия сего учебного заведения»[1].

Именно здесь училась одна особа, которая станет для юного Гумилёва источником тайных и явных воздыханий, желаний, томлений, радостей и бед. Имя этой гимназистки — Аня Горенко, она была на три года младше. Но их встреча произойдет немного позже, когда утихнет листопад и аллеи парка укроет мягкий пушистый снег.

В сентябре 1903 года братья Гумилёвы отправились в Николаевскую Императорскую гимназию, которая размещалась на углу Малой улицы, неподалеку от городской ратуши и городского Общества врачей, где часто бывал старший Гумилёв.

Коля смутно помнил, как он пришел сюда десять лет назад. Но чувство глубокого волнения охватило его, когда он вновь оказался в гимназической церкви Рождества Пресвятой Богородицы, построенной архитектором Видовым. Церковь располагалась в здании гимназии, выходящем на угол Малой и

Набережной улиц, где на восточной стене снаружи вверху был выбит крест, а внизу под заложенным окном на мраморной доске виднелась надпись: «Во славу Божию вечной памяти в Бозе почивших Государя Императора Николая I и Государя Наследника Цесаревича Николая Александровича посвящен дом сей гражданами города Царского Села образованию юношества». Гимназист Гумилёв гордился тем, что именно в их церкви находился престол, принадлежавший походной церкви самой Императрицы Екатерины I, и именно в этом храме начали совершаться православные богослужения.

В 1903 году гимназическая церковь стала освещаться электричеством. Службу вел законоучитель, протоиерей Александр Васильевич Рождественский, к тому времени уже ветеран гимназии (начал работу 6 марта 1878 года). Ему помогали только что пришедшие в гимназию дьякон Федор Степанович Ильинский и церковный староста Михаил Дмитриевич Баранов. Впоследствии Гумилёв любил бывать в этой небольшой церкви, где богослужение шло не только по родительским субботам в дни памяти Императоров Александра II и Александра III (1 марта, 30 августа и 29 октября), но и на первой, четвертой и страстной седмицах Великого поста, а также в воскресные и праздничные дни. Правда, с Законом Божьим у гимназиста-романтика было не все в порядке, перебивался с тройки на четверку, а порой и двойки хватал. Да и не только по Закону Божьему. Особенно неохотно отправлялся он в физический кабинет, располагавшийся на втором этаже неподалеку от квартиры директора. Там среди динамометров, ареометров, параллелограммов сил он откровенно скучал. Зато с удовольствием слушал преподавателя географии надворного советника Дмитрия Аркадьевича Судовского, пришедшего в гимназию за два года до поступления Гумилёва. Здесь он жадно впитывал знания о далеких континентах и получал только четверки и пятерки. Любил Николай Гумилёв и Ричарда Николаевича Гентера, вводившего гимназистов в мир истории.

В гимназии находился прекрасный рекреационный зал с высокими окнами и полом, выложенным черно-белым паркетом. В центре зала на стенах висели портреты Государей Императоров Александра II и Александра III, а также царствовавшего Императора Николая Александровича в полный рост. Портреты в 1890-х годах заказал для гимназии почетный попечитель, действительный статский советник И. В. Рукавишников, а изготовил академик Шильдер.

Гимназисты в рекреационном зале получали уроки фехтования. Уж наверняка семнадцатилетний гимназист

чувствовал себя со шпагой в руке средневековым рыцарем, защищающим честь прекрасной дамы.

Николай старался на уроках французского, где читали лекции Луи Корню, потом Евгений Эдмундович Суше де ла Дюбоассиер. И это неудивительно, ибо Гумилёв живо интересовался французскими символистами и хотел читать их в оригинале. Особенно увлекал его незнакомый тогда многим в России поэт Теофиль Готье.

Уверенно чувствовал себя гимназист и на уроках логики у Владимира Ивановича Орлова, а также на занятиях по русскому языку у А. А. Мухина, у которого по латыни часто получал «неуды».

О директоре гимназии Иннокентии Федоровиче Анненском нужно сказать отдельно, ибо он сыграл в судьбе будущего поэта Николая Гумилёва решающую роль. Блестяще (с золотой медалью) окончивший в 1879 году историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата, И. Ф. Анненский был оставлен при университете, а службу по стечению обстоятельств начал в гимназии Бычкова (позже Гуревича). 16 октября 1896 года он занял должность директора Императорской мужской гимназии, одновременно читал курс греческого языка. Тогда Иннокентий Анненский еще не был известен как поэт, но у него было имя известного ученого, знатока античной культуры и переводчика. Он осуществил комментированный перевод пьес древнегреческого трагика Еврипида, под псевдонимом Ник. Т-о выпустил книгу стихов «Тихие песни», куда включил и свои переводы из Горация, Ш. Бодлера, П. Верлена, Ш. Леконта де Лиля, С. Малларме, др. (1904). На его уроках Гумилёв был внимательным и вдумчивым учеником. Мир древней Эллады вызывал в душе романтика ответное чувство, юношу волновали деяния легендарных героев Античности.

Николай знал, что учитель не только переводит с древнегреческого, но и сам пишет стихи. Анненский подозревал в этом не очень-то преуспевающем в школьных науках юноше жадное стремление к стихосложению. Иннокентий Федорович ценил это качество ученика. Так случилось, что директор спас юного романтика от неминуемого отчисления, когда среди имен прочих лодырей и двоечников на педагогическом совете назвали и имя Гумилёва. Анненский спокойно, но твердо возразил: «Да, все это так, вы верно говорите господа, но ведь он пишет стихи!» В устах директора этот факт прозвучал как безусловное оправдание.

Гимназисты сразу записали Гумилёва в «белоподкладочники». Гумилёв обзавелся усиками, одевался подчеркнуто франтовато, носил фуражку с не по форме высокой тульей и подчеркнуто маленьким серебряным значком. Ботинки носил модные — остроносые. Гимназисты считали, что он важничал и задавался. Все знали, что этот, высокого роста, немного нескладный, с заметно удлиненной головой и косым шрамом у глаза, создающим впечатление косоглазия, немного шепелявящий юноша пишет стихи, увлекается модными модернистскими поэтами Константином Бальмонтом и Валерием Брюсовым. Вскоре в рукописном гимназическом журнале появились стихи семнадцатилетнего Николая.

Часто в половине третьего дня Гумилёва можно было увидеть на Леонтьевской возле подъезда Мариинской женской гимназии. Нет, он туда приходил вовсе не к своей сестре, начавшей преподавание в этом учебном заведении. Он поджидал очередную девушку, которой был увлечен, и, галантно кланяясь, говорил с чувством собственного достоинства: «Сударыня! Пойдемте в парк, погуляем, поболтаем!» Николай был очень влюбчивым, как все поэты. Но так продолжалось до одного предназначенного судьбой дня — 24 декабря 1903 года. Гимназистка Мариинской женской гимназии Аня Горенко вместе с подругой Валерией (по-домашнему Валей) Тюльпановой и ее братом Сергеем Тюльпановым в ясный декабрьский день пошли покупать подарки к Рождеству. У Гостиного Двора они повстречали двух братьев-гимназистов Гумилёвых. Те тоже направились за покупками. Коля хорошо знал Валю Тюльпанову, их познакомила Елизавета Михайловна Баженова, дававшая одновременно уроки музыки братьям и детям Тюльпановым. Елизавете Михайловне импонировал серьезный и рассудительный Митя, который собирался в ту пору стать морским офицером. Она и ввела его в дом Тюльпановых. А позже Валя познакомилась и с гимназистом Колей, о котором ходила в Царском Селе слава стихотворца.

Аня Горенко тоже писала стихи, и об этом знала ее подруга. Шел мягкий пушистый снег, деревья становились белыми и праздничными. Было спокойно и радостно. Валя завела разговор с Митей, а Аня Горенко шла с Колей Гумилёвым. Идти было недолго. Семья Горенко жила недалеко от вокзала, где на углу Широкой улицы и Безымянного переулка стоял деревянный дом купеческой вдовы Евдокии Ивановны Шухардиной. На первом этаже обитали Тюльпановы, на втором — семья Горенко. Второй этаж напоминал мезонин. Общительная и веселая Валя Тюльпанова быстро сошлась с худенькой тихоней Аней Горенко. Девочки вечерами болтали обо всем на свете, переходя то на

немецкий, то на французский.

Впервые они встретились в Гунгербурге, людном курорте близ Нарвы, где снимали одну дачу их семьи. И вот теперь судьба свела их под одной крышей старого купеческого жилища. Девочки любили играть в большом саду, окружающем дом, ускользая от неусыпного наблюдения гувернанток. В свои четырнадцать с половиной лет Аня была стройной высокой девушкой с тонкой до хрупкости фигурой, длинными густыми прямыми волосами, с царственно белой кожей лица и рук, тонкими чертами лица, с глубокими большими и светлыми глазами. Могла ли она не понравиться Гумилёву, поэту, романтику, мечтателю?! Он хотел знать об Ане всё, но, провожая ее, даже не осмелился назначить свидание. А она в ослепляющей гордыне даже и не заметила этого высокого, нескладного и неказистого на вид юношу. Горенко была увлечена выпускником Николаевской гимназии, красавцем, острословом и любимцем девушек Владимиром Голенищевым-Кутузовым, который в ту пору учился на факультете восточных языков в Петербургском университете. О нем она тайно вздыхала долгими зимними вечерами, вспоминая их встречи…

Аня Горенко родилась 11 июня (23-го по новому стилю) 1889 года на даче Саракини (11-я станция Большого Фонтана) близ Одессы, у самого синего моря, в ночь знаменитого языческого праздника — Иванова дня. Позже она напишет, что родилась «в один год с Чарли Чаплином, „Крейцеровой сонатой“ Толстого, Эйфелевой башней…». Назвали ее в честь бабушки по материнской линии Анны Егоровны Мотовиловой, мать которой, по преданию, была татарской княжной, ведущей свой род от чингизида Ахмата, убитого в Орде. Мать Ани Инна Эразмовна появилась на свет в Тверской губернии в имении своего отца Э. И. Стогова. В 40-е годы XIX века Эразм Иванович служил в канцелярии киевского генерал-губернатора Д. Г. Бибикова и многое сделал для благоустройства города. Однако когда в семье было уже шестеро дочерей и один сын, он удалился в свое имение. В три года Инна Эразмовна лишилась матери. Девочек в строгости воспитывал отец. Однажды сын попытался ослушаться отца и был тут же изгнан из дома без права наследования. Дочерям отец поставил условие, что каждая получит приданое в восемьдесят тысяч рублей. Надо сказать, что сестры спасли своего единственного брата. Они вскладчину тайком от отца выделили ему десять тысяч рублей.

Дети очень почитали и боялись отца. Так, например, Инна Эразмовна, уже будучи замужем, тщательно скрывала от Эразма

Ивановича, что учится на Бестужевских курсах.

Первый брак Инны оказался неудачным. Ее муж Змунчилла был человеком неуравновешенным и через несколько лет их совместной жизни покончил жизнь самоубийством. Бестужевка Инна недолго горевала и вскоре встретила инженера Андрея Антоновича Горенко. Он родился в Севастополе в семье потомственного дворянина и капитана флота.

В 1864 году он поступил на флот инженером-механиком, но уже через пятнадцать лет числился в лейтенантах флота, вел преподавательскую работу в морских юнкерских классах в Николаеве, стал сотрудником газеты «Николаевский вестник», которую возглавлял капитан-лейтенант А. Н. Юрковский. Там же он увлекся народовольческими идеями, читал запрещенную литературу. В 1877 году при обыске у чиновника Яценко обнаружили среди прочего и письма лейтенанта Горенко. Их посчитали «вредными». Из Николаева Андрей Антонович был переведен на службу в Санкт-Петербург преподавателем пароходной механики в морской корпус. Здесь он даже дослужился до должности инспектора корпуса. Но ему не простили знакомства с народниками, и он впал в немилость. С марта 1881 года Горенко находился под негласным наблюдением, а 8 сентября к нему нагрянули с обыском. Несмотря на то, что ничего предосудительного у него не нашли, тем не менее он был отрешен от должности преподавателя. При департаменте полиции было возбуждено дело по «исследованию его вредного направления». Но вскоре расследование прекратили и Горенко вновь стал офицером флота. Однако полиция держала его под постоянным надзором, так как сестры Анна и Евгения занимались революционной подпольной деятельностью.

По линии отца в Анне Андреевне Горенко текла греческая кровь. Андрей Антонович был красавцем. Высокого роста, стройный, блестящий офицер, он умел шутить и свободно вести себя в великосветском обществе, любил женщин и нравился им. К тому времени, когда Андрей Антонович разочаровался в народниках и остепенился, Инна Эразмовна стала молодой вдовой. Она была необыкновенно хороша: с выразительными голубыми глазами, длинными роскошными черными волосами и ослепительным цветом лица. О ее красоте вздыхали многие завидные женихи. Андрей Горенко сразу влюбился в нее и приложил все силы, чтобы покорить сердце красавицы. Но супруги оказались очень разными. Инна Эразмовна по своей натуре и воспитанию была человеком домашним. Андрей Антонович, напротив, бросив увлечение подпольной литературой, с головой ушел в светские похождения. А семья Горенко все

росла. На свет появилось шестеро детей. Первенец получил родовое имя Андрей, дочь назвали в честь матери Инной, третьей была Анна (которая станет знаменитой поэтессой, «златоустой Анной — всея Руси искупительным глаголом», как назовет ее Марина Цветаева в стихотворении 1916 года). После Анны родились Ия, Ирина (Рика) и Виктор. В семье обнаружилась наследственная болезнь — туберкулез. Тяжело пережила в пятилетием возрасте Аня смерть от туберкулеза маленькой Ирины. Впоследствии умерла в молодом возрасте от этой же болезни Инна. Анна будет всю жизнь бояться туберкулеза. Родители, чтобы укрепить здоровье детей, старались проводить с ними лето у моря. Особенно любила морскую стихию Анна.

В Севастополе семья Горенко жила на Соборной улице в доме Семенова. На даче «Отрада» в Стрелецкой бухте Херсонеса она считалась дикаркой. Ей нравилось убегать из дома и подолгу бродить по вздыхающим прибрежным волнам, босиком бегать по песчаным склонам холмов. Местных жителей эта юная дворянка удивляла: она могла, бросившись с лодки, уплыть в открытое море и спорить с волнами в шторм. Она шокировала севастопольских благородных девиц своим темным загаром. Казалось, что солнце прожигало ее до костей.

Анну поразили остатки древнего Херсонеса. Она бродила по развалинам и представляла древнюю Элладу… Аня рано проявила способности и желание учиться. Читать она училась по азбуке Льва Толстого, а по-французски заговорила в пять лет, слушая, как учительница занималась с братом Андреем и сестрой Инной.

К этому времени относится и ее первое путешествие в Киев с матерью. Там в гостинице «Националь», что на углу Крещатика и Бессарабской площади, дети прожили с Инной Эразмовной всю зиму[2]. Это была зима 1894/95 года. Именно здесь родилась сестра Ани — Ия и заболел дифтеритом ее любимый брат Андрей. Инна Эразмовна волновалась, чтобы не заразились другие дети.

В начале 1890-х годов Андрей Антонович стал чиновником по особым поручениям при государственном контроле по выполнению морского ценза. В службе контроля Горенко быстро сделал карьеру, заняв пост генерал-контролера.

Но фанатичная преданность морю отставного моряка заставила его покинуть государственный контроль, и вскоре Горенко становится членом совета Августейшего Главноуправляющего торговым мореплаванием. В его ведении находились порты юга России. В начале 1900-х годов Андрей Антонович дослужился до чина статского советника и чиновника по особым поручениям при Главном управлении торгового

пароходства и портов.

Если в доме Гумилёвых была большая и хорошая библиотека и Коля жил в мире любимых героев, то у Горенко в домашней библиотеке художественной литературы было так мало, что Аня запомнила только Некрасова и Державина. Именно стихи этих поэтов и декламировала Инна Эразмовна детям.

В десять лет, когда Аня свободно читала, писала и говорила по-французски, ее отдали в Мариинскую женскую гимназию в Царском Селе. И тут случилась с ней необъяснимая болезнь. Неделю девочка лежала без памяти, чем страшно перепугала родителей, а когда недуг стал отступать, ее вдруг поразила глухота. Консилиум врачей высказал предположение, что она перенесла оспу без видимых следов. Вскоре девочка поправилась и… заболела поэзией. Она жадно постигала французских поэтов Верлена, Бодлера.

Энциклопедист-«белоподкладочник» Гумилёв, читающий Теофиля Готье, переводивший Леконта де Лиля, эстет, увлекающийся Бальмонтом, романтик, бредивший экзотическими путешествиями, и смуглая пловчиха, русалка в душе, увлекающаяся «проклятыми поэтами», девушка-подросток, которую начали привлекать опытные зрелые мужчины. Коля подружился с ее любимым старшим братом Андреем. Аня держала с Гумилёвым себя так, будто тот приходил не к ней, а к брату, и поэтому была вежливой и учтивой, поддерживала разговор на самые общие темы. Она, конечно, видела, что произвела на Гумилёва большое впечатление и он приходит из-за нее. А он искал малейший повод, чтобы оказаться в доме купчихи Шухардиной на втором этаже или «случайно» встретить Аню около Мариинской гимназии, сославшись на то, что зашел к сестре. Он мечтал о ней, сходил с ума по этой недоступной и загадочной русалке.

Николай пригласил к себе домой своего друга, будущего композитора Владимира Дешевова, и тот расписал стены его кабинета сюжетами на морские темы. Здесь была изображена «пучина морская» с русалкой. Конечно, русалкой была Аня Горенко. Юный поэт посвятил холодной красавице свое стихотворение «Русалка», которое включил потом в первый стихотворный сборник «Путь конквистадоров» (1905):

На русалке горит ожерелье
И рубины греховно красны.
Это странно-печальные сны
Мирового больного похмелья.

На русалке горит ожерелье
И рубины греховно красны.
……
Я люблю ее деву-ундину,
Озаренную тайной ночной,
Я люблю ее взгляд заревой
И горящие негой рубины…
Потому что я сам из пучины,
Из бездонной пучины морской.

Однажды Гумилёва вызвал к себе директор гимназии Иннокентий Федорович Анненский. Вызов ничего хорошего не сулил. Обычно вызывали за какие-то провинности. У Гумилёва, получившего зимой 1903/04 года много двоек и троек, были все основания не особенно желать этой встречи. С таким невеселым настроением юный поэт оказался в приемной директора. Об этой встрече сохранились не только воспоминания, но и ставшее знаменитым стихотворение Гумилёва «Памяти Анненского» (1911):

К таким нежданным и певучим бредням
Зовя с собой умы людей,
Был Иннокентий Анненский последним
Из царскосельских лебедей.

Я помню дни: я, робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый.
Слегка седеющий поэт.

Десяток фраз, пленительных и странных,
Как бы случайно уроня,
Он вбрасывал в пространство безымянных
Мечтаний — слабого меня.

О, в сумрак отступающие вещи,
И еле слышные духи,
И этот голос, нежный и зловещий.
Уже читающий стихи!

В них плакала какая-то обида,
Звенела медь и шла гроза,
А там, над шкафом, профиль Еврипида
Слепил горящие глаза…

Директор спокойно и испытующе смотрел на вошедшего долговязого юношу. Гладко зачесанные назад волосы, острый клинышек седеющей бородки и пышные с острыми кончиками усы, пронзительные глаза. И вдруг Гумилёв услышал то, что совсем не ожидал. «Я читал ваши сочинения, и они мне понравились, — спокойно произнес И. Ф. Анненский. — Конечно, мне многие преподаватели на вас жалуются. Да-да, вы не очень-то преуспели в предметах вроде математики и физики. Но вы сочиняете, и это в моих глазах многое оправдывает. Пишите стихи и дальше. Я думаю вам надо именно в этом направлении развиваться и совершенствоваться».

В класс Николай вернулся окрыленный успехом к полному недоумению учеников и преподавателя.

Немногие гимназисты знали, что Гумилёв беседует с директором о поэзии Теофиля Готье и однажды продекламировал ему «Венеру Милосскую» Леконта де Лиля:

Священный мрамор, в мощь и гений облеченный,
Богиня властная, Венера, ты чиста…

Вскоре в рукописном гимназическом журнале появились стихи Гумилёва, навеянные идеями Фридриха Ницше и царившего тогда в поэзии Константина Бальмонта.

Увлечение поэзией и чтение любимых книг не вытеснили в душе Николая образ царскосельской русалки. Гумилёв часто зимой 1904 года появлялся у Мариинской гимназии и провожал домой двух подруг — Аню Горенко и Валю Тюльпанову. Об этой поре Анна Ахматова позже напишет с оттенком легкой грусти:

В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашу встречу, мальчик мой веселый.

Так о любви не пишут. А гимназист питал надежды. Позже он напишет строки, полные любви и огня:

Вот идут по аллее, так странно нежны,
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя…

(«Современность», 1910)

На Пасху Гумилёвы устроили у себя дома бал для детей. Стол украсили праздничными куличами, торжественными свечами и сладостями. На празднике были маленькие Коля и Маруся Сверчковы. Дима Гумилёв привел в дом новую знакомую Аню Фрейнганг, а Коля Гумилёв пригласил Аню Горенко. Он и раньше зазывал ее в гости посмотреть библиотеку, но девушка отказывалась. На этот раз согласие было получено, и юноша с утра светился от счастья.

Пасха 1904 года, проведенная у Гумилёвых при свечах, несколько сблизила Аню и Колю. Она уже не находила такими необычными и непонятными его рассказы о дальних странах. Теперь она часто брала в библиотеке у Гумилёвых книги. Читала она в ту пору много и с интересом, как бы наверстывая упущенное время.

Их встречи стали более частыми. Они появлялись вместе на студенческих вечерах в Артиллерийском собрании, участвовали в благотворительном спектакле, побывали на нескольких спиритических сеансах Бернса Мейера. Однажды попали на выступление знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан.

Коля ценил брата Ани — Андрея за проницательный ум и образованность. Андрей был знатоком и ценителем античной поэзии, но в то же время знал стихи Брюсова и Бальмонта, говорил о появившихся весной 1903 года стихах поэта Александра Блока.

Николай пригласил Анну на свой день рождения. А через несколько месяцев она пригласила его на свой. Ей было интересно, как поздравит ее Коля, чем удивит. Ведь он так любил оригинальничать, особенно перед девушками. Был июнь, и множество ярких и красивых цветов украшали город. Коля задержался, разыскивая букет покрасивее… Анна, желая его уколоть, сказала: «Видите сколько у меня букетов? Я просто завалена цветами!» Юноша был уязвлен.

— Извините, я буду у вас через полчаса, — сказал он.

Гумилёв исчез так же стремительно, как и появился.

Гости пошли за стол пробовать большой праздничный торт. Поздравляли Инну Эразмовну и Андрея Антоновича. Всем было весело, и о Гумилёве забыли. Но вскоре Коля явился с новым букетом. На сей раз это были пурпурные розы необычайной красоты, «словно сделанные из королевской мантии».

Но именинница и этот букет не оценила, воскликнув: «Коля! Ну что это такое? Опять цветы!.. У меня же их…»

Гумилёв вспыхнул:

— Извините! Таких цветов у вас нет. Это розы из сада вдовствующей Императрицы Александры Федоровны.

Гумилёв умудрился опустошить одну из самых красивых клумб, перебравшись через дворцовую решетку Императорского сада. Аня была смущена. Николай ловил на себе удивленные взгляды гостей и чувствовал себя именинником. Вскоре он попрощался и ушел. Быть может, она пожалела, что обидела рыцаря, влюбленного в нее.

На лето семья Гумилёвых отправилась в Рязанскую губернию, в свое имение Березки, где Коля занимался верховой ездой и читал любимых французских поэтов-символистов. Из гимназии стараниями директора его не отчислили, а оставили на второй год в седьмом классе. Брат Дмитрий окончил восьмой класс гимназии и поступил в Петербурге в морской кадетский корпус в гардемаринские классы.

Горенко на лето, как обычно, уехали на юг, на берег Стрелецкой бухты, неподалеку от Севастополя. Вернулась морская русалка в северное Царское Село осенью еще более похудевшей и загоревшей до черноты.

Коля и Аня не продвинулись в своих отношениях дальше знакомства. Скоро начались занятия. Но привычный размеренный уклад жизни Николаевской гимназии был нарушен еще 27 января 1904 года, когда после литургии в гимназической церкви протоиерей Рождественский с амвона прочитал Высочайший манифест об открытии военных действий на Дальнем Востоке и было совершено молебствие о даровании победы русскому воинству. На переменах гимназисты собирались группками и обсуждали положение дел на востоке. В старших классах многие хотели стать добровольцами и уехать помогать русской армии. Гимназия гудела как потревоженный улей. Коля мечтал записаться вольноопределяющимся. Однажды дома он очень осторожно высказал свою заветную идею и получил чувствительную отповедь от отца, что лучше бы он исправил свои двойки и закончил наконец седьмой класс. Коля обиделся. Может быть, думал он, война еще будет идти, когда он одолеет седьмой класс. Однако на войну Гумилёв опоздал. Ввиду явного поражения русских эскадр и войск на Дальнем Востоке и падения Порт-Артура пошли разговоры о перемирии.

Но спокойствие не вернулось в стены гимназии, где царила неразбериха. Классы не убирались. Ученики заговорили о какой-то революции, заговоре против царя. Учителя допускали некоторые вольности. Диакон Федор Степанович Ильинский приходил на занятия часто выпивши и даже, случалось, засыпал

на кафедре. Учитель математики Мариан Генрихович Згоржельский ходил вечно хмурым. Сам директор появлялся в гимназии несколько раз в неделю и то лишь на своих уроках в выпускном классе. Иннокентий Федорович был в общем-то плохой администратор. Как истинный поэт, он не снисходил до обыденности. Директор важно шествовал, не замечая грязи и убогости гимназической обстановки, в окружении любимых учеников.

С 1904 года Николай начал выписывать журнал русских символистов «Весы», выходивший в Москве. Официальным редактором журнала был С. А. Поляков, но душой издания сразу стал Валерий Брюсов. Именно вокруг этого крупного поэта в конце XIX века сплотились в московский кружок такие прославленные русские символисты, как Константин Бальмонт, Юрий Балтрушайтис, а также уже названный Сергей Поляков и М. Н. Семенов, побочный сын известного сенатора Н. П. Семенова. Последний был человеком уникальным: не имея систематического образования, много читал, писал яркие корреспонденции о различных явлениях современной жизни и, не зная произведений К. Маркса, тем не менее считал себя марксистом. В 1903 году он перевел нашумевший роман Пшибышевского «Homo sapiens». М. Семенов был женат на сестре С. Полякова. Именно эта группа провозгласила себя символистами и стала пропагандировать творчество французских символистов и философов Ницше и Шопенгауэра. Символисты основали ставшее знаменитым литературное издательство «Скорпион». Для осуществления задуманного нужны были деньги, и их нашел сын известного московского купца, владельца Фабрично-торгового товарищества Знаменской мануфактуры Сергей Александрович Поляков, выпускник физико-математического факультета Московского университета, который перевел на русский язык романы К. Гамсуна «Пан» и «Виктория». Сергей Александрович и сам писал стихи. По натуре он был мягким и интеллигентным человеком, и этими его качествами умело пользовался другой купеческий сын поэт Валерий Брюсов, будущий кумир юного Гумилёва. Валерий Брюсов стал в 1903 году литературным руководителем «Скорпиона» и настоял на издании нового журнала. Поляков согласился и уже 3 июля подал прошение на имя начальника Главного управления по делам печати об открытии журнала, указав, что будущее издание не будет затрагивать «вопросы социологические и политико-экономические». 4 ноября 1903 года Главное управление уведомило Московский цензурный комитет о разрешении «означенному Полякову» издавать журнал. Именно

«западническое» направление «Весов» и увлечение французскими модернистами сформировали ранние интересы Гумилёва и заставили его серьезно задуматься о том, где ему продолжать образование. Уже в январе 1904 года Гумилёв получил первый номер «Весов» с миниатюрой средневекового европейского замка XIV века на обложке, что пришлось по душе юному романтику. «Весы» оформлял прекрасный художник «Мира искусства» Леон (Лев) Бакст. Цена подписки журнала была относительно небольшая: пять рублей в год с пересылкой. С интересом читал Гумилёв в первом номере программную эстетическую декларацию Брюсова, озаглавленную несколько помпезно — «Ключи тайн», где он высказывался о смысле искусства как об интуитивном постижении таинственной сущности мира, аналогичном мистическому откровению и проявляющемуся в «мгновениях прозрения». Гумилёв с нетерпением ждал каждого нового выхода номера «Весов» и искал в них статьи Брюсова. А их в ту пору печаталось в «Весах» немало. За 1904–1905 годы появилось около ста сорока!

А на улицах столицы шла в это время революция, бурлили страсти. Но Гумилёв демонстративно показывал, что его эти события не интересуют. Он жил в своем таинственном мире символов, далеких эпох и путешествий, с напряжением ожидая только одних новостей — журнала «Весы». Когда в гимназии шумели споры о каких-то аграрных программах и манифестах, Гумилёв любил говорить о том, что в дни Июльской революции во Франции поэт Теофиль Готье выпустил свой замечательный сборник стихов о любви, красоте и молодости, а его отец устраивал побеги дворян из якобинских тюрем. Это было слишком! Многие одноклассники Гумилёва вообще стихов не любили и, конечно, ничего не слыхали о французском поэте.

Правда, с ним учился Дима Коковцев, который тоже писал стихи, и его хвалили царскоселы, пророча большое будущее. С осени 1904 года его родители стали устраивать литературные «воскресенья» в своем доме. Поскольку Димин отец преподавал в гимназии, на огонек к Коковцевым приходили учителя Мухины, будущий литературовед, а тогда учитель В. Е. Евгеньев-Максимов, публицист петербургского журнала «Новое время» М. О. Меньшиков, поэт Д. Савицкий, сын директора гимназии В. И. Анненский (подписывавший свои литературные опыты псевдонимом Валентин Кривич, чтобы его не путали с отцом), сам Иннокентий Федорович, дочь писателя В. Буренина — В. В. Ковалева, Л. И. Микулич. Гости менялись. Иногда приглашали на «воскресенья» Колю Гумилёва, чьи интересы были далеки от этого круга. Николай слыл в Царском Селе декадентом,

что в ту пору было сродни ругательству. Валентина Кривича, на которого падал свет славы отца, считали состоявшимся поэтом. А Гумилёву, чтобы не огорчать, советовали больше работать над словом. В гимназии, где не понимали и недолюбливали Гумилёва, Коковцева просто презирали. Он был трусоватым мальчиком, и гимназисты часто над ним подшучивали, закидывая ему в сумку гнилые яблоки. У Коковцева-поэта большого будущего не получилось, его жизнь закончилась ранней смертью.

Подсмеивались в Царском Селе и над другим подающим большие надежды поэтом графом Комаровским. Художник и стихотворец, он вызывал иронические взгляды местных обывателей, ибо имел обыкновение, бродя в одиночестве, откидывать назад голову и бормотать ритмические строчки, размахивая в такт тростью и ничего не замечая вокруг. Василий Комаровский неплохо рисовал, копировал в карандаше античные скульптуры, любил искусство Византии. Он успел выпустить всего одну книгу стихов «Первая пристань», оставившую яркий след в истории русского модернизма. В 1914 году он покончил жизнь самоубийством. Только Гумилёв сумел по достоинству оценить этого великолепного поэта, в чьем творчестве Царское Село занимало большое место. В рецензии, опубликованной после выхода «Первой пристани», уже в 1910-х годах Гумилёв писал: «Всего шесть-семь стихотворений, ранних и слабых, показывают нам, какой путь он прошел, чтобы достичь глубины и значительности его теперешних мысли и формы. Все стихи с 1909 — уже стихи мастера. Под многими стихотворениями стоит подпись „Царское Село“, под другими она угадывается. И этим разгадывается многое. Маленький городок, затерянный среди огромных парков, с колоннами, арками, дворцами, павильонами и лебедями на светлых озерах, городок, освященный памятью Пушкина, Жуковского и за последнее время Иннокентия Анненского, захватил поэт, и он нам дал не только специально царскосельский пейзаж, но и царскосельский круг идей…»

По четвергам проходили вечера у старшей сестры Ани Горенко — Инны и ее мужа, филолога Сергея Владимировича фон Штейна. Сюда приходил и Валентин Кривич, вскоре женившийся на сестре Штейна — Наташе. В январе 1905 года Кривич со своей женой поселился в гимназии на Малой улице рядом с квартирой Иннокентия Федоровича Анненского. У них собирались по понедельникам, читали стихи, пили чай с пряниками, обсуждали литературные новости, вписывали в альбомы дам мадригалы. Однажды Коля принес журнал «Горизонт», выходивший под редакцией Клушина в Николаевской гимназии. В нем были опубликованы его стихи.

На вечерах часто дурачились, сочиняя веселые стихи. Гумилёв любил беседовать с симпатичной молодой женой Кривича. Как-то она спросила Гумилёва, почему он не напишет ей стихи в альбом. Коля тут же взял перо и написал об искателях жемчуга:

От зари
Мы. Как сны;
Мы цари
Глубины…

А когда Наталья Владимировна заметила, что строки стиха слишком коротки, Гумилёв, немного подумав, написал:

В этом альбоме писать надо длинные, длинные строки, как нити.
Много в них можно дурного сказать,
может быть, и хорошего много.
Что хорошо или дурно в этом мире роскошных и ярких событий!

Будьте правдивы и верьте в диаволов, если Вы верите в Бога…

Бывал в эти годы Гумилёв и в семье Хмара-Борщевских, родственников жены Иннокентия Федоровича Анненского. Сам директор следил за развитием таланта ученика и часто беседовал с ним о поэзии, приглашая к себе домой. Этого делать по инструкциям не полагалось, но Анненский был больше поэт, чем директор.

В феврале 1905 года в Николаевской гимназии случились волнения. Слух о них дошел до Петербурга. Вот как вспоминал об этом ученик этой гимназии Дмитрий Кленовский: «Заперли в классе, забаррикадировав снаружи дверь циклопическими казенными шкафами, хорошенькую белокурую учительницу французского языка. То там, то тут на уроках с треском лопались электрические лампочки, специально приносимые из дому для этой цели… в коридорах стоял сизый туман и нестерпимо пахло серой. Появился Анненский, заложивший себе почему-то за высокий крахмальный воротничок белоснежный носовой платок. Впервые он выглядел озадаченным. Как и обычно, был окружен воющей, но очень мирно и дружелюбно к нему настроенной гимназической толпой. В этот день учеников распустили по

домам. Гимназию на неопределенное время закрыли». Директору И. Ф. Анненскому пришлось предоставлять письменные объяснения попечителю учебного округа в защиту гимназистов, которыми заинтересовалась полиция. Анненский не вдавался в суть политических взглядов юношей, считая простительными заблуждения молодости. Ему было жалко молодые горячие головы, которые могли пропасть в очередной русской смуте.

Этот бурный учебный год тем не менее удачно закончился для Гумилёва. Он наконец освоил программу седьмого класса и был переведен в восьмой. Это стало настоящей радостью в семье. На лето Гумилёвы опять отправились в Березки. Коля решил серьезно поработать над стихами, отобрать лучшие для книги, которую он намеревался осенью издать. Мать пообещала ему в этом материальное содействие еще весной 1905 года, если он перейдет в следующий класс гимназии. Коля выполнил условия соглашения.

Радость успехов в поэзии и в учебе омрачали неопределенные отношения с Аней Горенко. Ее увлечение студентом Петербургского университета Владимиром Голенищевым-Кутузовым стало известно в гимназической среде Царского Села. Да Аня и не скрывала этого, считая себя правой, ведь в ответ на признание Гумилёва в любви к ней она ничего не ответила.

Весной 1905 года наследники купчихи Шухардиной продали дом, где жили Горенко и Тюльпановы. Несмотря на то что Горенко переезжали в прекрасную новую квартиру в доме Соколовского на Бульварной улице, она очень жалела о старом жилище. Перед переездом Аня целый вечер просидела у окна, глядя с грустью в Безымянный переулок, куда выходило окно ее комнаты. Зимой этот тихий переулок всегда был занесен чистым глубоким снегом, а летом зарастал буйной дикой травой и развесистыми лопухами. По переулку ездили только кирасиры и гусары. Она привыкла к старому некрашеному дощатому забору, тянувшемуся вдоль их дома и сада. Девочкой Аня наблюдала, как проносились к вокзалу и обратно экипажи, придворные кареты, изредка проезжал полицмейстер барон Врангель, всегда стоя в санях.

По широкой улице от вокзала или к вокзалу, бывало, шествовали похоронные процессии «невероятной пышности», как вспоминала Ахматова, с хором мальчиков. За гробом, как правило, шли гвардейские офицеры, официальные лица в черных костюмах и цилиндрах. В каретах восседали состарившиеся придворные дамы. Позже Анна Горенко напишет, что эти процессии напоминали похороны графини из «Пиковой дамы» и в ее сознании связывались с похоронами уходящего девятнадцатого

столетия.

Ане было жаль своей тихой комнаты, хотя в ней, казалось бы, не было ничего такого, о чем можно было жалеть. Спала Аня много лет на простой железной кровати, рядом стоял небольшой столик, где она готовила уроки. На столике — свеча в медном подсвечнике. Книги Ани умещались на небольшой этажерке. В правом углу комнаты висела икона. Теперь настала пора попрощаться с этим спартанским обиталищем.

В новом доме, большом и красивом, жизнь у семьи Горенко не сложилась. Вскоре отец Ани разругался со своим начальником, Великим князем, и подал в отставку. После этого он занял скромную должность заведующего статистическим отделом Петербургского городского общественного управления. Содержать богатую квартиру Андрей Антонович не мог и решил отправить семью в провинцию. В августе 1905 года Аня вместе с матерью и младшими детьми уехала в Евпаторию. Инна Эразмовна наняла для Ани репетитора, ведь ей нужно было готовиться к поступлению в последний класс гимназии. Новый репетитор чем-то очень походил на Анину тайную любовь, и девушка часто поглядывала на него откровенно нежным взглядом. Вскоре репетитор и сам влюбился в юную красавицу и старался найти любой повод, чтобы побыть с ней наедине.

Вернувшись осенью в Царское Село, Коля Гумилёв был страшно расстроен отсутствием Ани Горенко. С грустью ходил он по тем местам, где когда-то они бродили вдвоем. Он надеялся, что Аня вспомнит о нем и напишет письмо, но этого не произошло ни через месяц, ни позже. С тоской смотрел Коля, как перестраивали бывший дом купчихи Шухардиной для земского учреждения. Дух прошлого выветривался прямо у него на глазах. Казалось, и Царское Село опустело. Даже листва в парке шуршала под ногами как-то особенно грустно.

Чтобы забыть свою любовь, Гумилёв подружился с сестрами Зоей и Верой Аренс. Отец Гумилёва и отец девушек дружили долгое время. Евгений Аренс служил в Адмиралтействе, где часто бывал Степан Яковлевич. Коля стал часто навещать Аренсов, тем более что Вера тоже писала стихи. Иногда забывая, что ведет беседу с девушкой, доказывал ей, что искусство есть только реализация вымыслов поэта. Эти мысли приходили ему в голову, когда он, читая журнал «Весы», знакомился с поэтами-парнасцами, символистами конца XIX века, поэзией Рене Гиля (называвшего себя учеником Малларме), его «Письмами о французской поэзии». Из журнала «Весы» Гумилёв узнал о книге Папюса «Первоначальные сведения по оккультизму». Там же он

увидел портреты выдающихся деятелей оккультизма и познакомился со специфическими терминами.

Гумилёв очень жалел, что уехал из Царского и его друг Андрей Горенко, ведь именно ему он доверял свои новые стихи. Горенко был надежным товарищем. Одно событие подтвердило это. Как-то Николай вызвал на дуэль гимназиста Курта Вульфиуса, Андрей без колебаний согласился стать секундантом Гумилёва. Чем бы эта дуэль закончилась для дуэлянтов, неизвестно, но о ней узнали преподаватели гимназии, и дуэль не состоялась.

Но главное, чем ознаменовался для Гумилёва 1905 год, — подготовка первой книги стихотворений. Он давно придумал название — «Путь конквистадоров». Это был рыцарский вызов серости и убогости повседневной жизни, где не находилось места для его романтических мечтаний. В свой первый сборник Гумилёв включил девятнадцать поэтических произведений. 3 октября 1905 года юный поэт получил цензурное разрешение на печатание книги. Тогда же она была выпущена небольшим тиражом в типографии Р. С. Волина в Санкт-Петербурге. Николай забрал весь тираж и привез в Царское Село. Часть книг он отдал в книжную лавку Гостиного Двора, а другую оставил себе для подарков друзьям и знакомым. В первую очередь Гумилёв отослал книгу в Евпаторию Андрею Горенко. (Ему очень хотелось послать сборник и Ане, но холодная разлука его остановила — Анна молчала.)

На книге, подаренной Вере Аренс, он написал:

Вере Евгеньевне Аренс

Микель Анджело, великий скульптор,
Чистые линии лба изваял.
Светлый, ласкающий, пламенный взор
Сам Рафаэль восторгаясь писал.

Даже улыбку, что нету нежнее,
Перл между перлов и чудо чудес,
Создал веселый властитель Киприи,
Феб златокудрый, возничий небесный.

Восьмистишие было продолжением их бесед об искусстве. (Вера хранила книгу с автографом всю жизнь.)

Долго Николай не мог придумать, как удобнее подарить свой сборник Иннокентию Федоровичу. (В гимназии существовала определенная этика отношений между директором и учащимися.)

Но помог случай. Гумилёва назначили дежурным по классу. Он взял свою книжечку и вывел:

Тому, кто был влюблен, как Иксион,
Не в наши радости земные, а в другие.
Кто создал тихих песен нежный сон —
Творцу Лаодамии

От автора.

Потом вложил свою тоненькую книжечку в классный журнал. (В тот день и час в выпускном классе урок греческого языка вел Анненский.) И вот Иннокентий Федорович зашел в класс, утвердился на кафедре, открыл журнал… Гумилёв замер, но… ничего не последовало. Урок пошел своим чередом. Прозвенел звонок на большую перемену, и директор, закрыв журнал, забрал его и унес в учительскую. Настроение у Николая упало, он понуро отправился в учительскую за журналом. Взял его и без всякой надежды начал листать. И вдруг — о чудо!.. В журнале лежала скромная книжечка с названием «Тихие песни». Вместо имени и фамилии автора стояло интригующее «Ник. Т-о». Гумилёв помнил античные легенды. Именем Никто назвал себя хитрый Одиссей, когда попал в пещеру чудовищного циклопа. Гумилёв сразу догадался, кто скрывается за этим псевдонимом… Директору писать стихи и публиковать их за своей подписью было как бы неэтично. К тому же Иннокентий Федорович хорошо знал, что его модернистские стихи не будут одобрены ни руководством в Министерстве народного просвещения, ни царскоселами, поэтому прибегнул к такой уловке. Гумилёв, с волнением открыв книжку, прочел:

Меж нами сумрак ночи длинной.
Но этот сумрак не корю,
И мой закат холодно дынный
С отрадой смотрит на зарю.

Это был диалог директора и ученика в единственно возможных тогда рамках. Иннокентий Федорович Анненский еще недолго оставался директором. 5 января 1906 года он был назначен инспектором Санкт-Петербургского учебного округа.

В гимназии воцарился маленький, сухонький, лысый старичок строгого вида в пенсне — Яков Георгиевич Моор. Действительный статский советник Моор получил образование в Юрьевской учительской семинарии и Юрьевском университете на

филологическом факультете, преподавал древние языки и потом руководил 6-й Санкт-Петербургской гимназией. Всегда серьезный и подтянутый, с расчесанными седыми усами и бородой, с серебряной цепочкой и знаменитыми часами фирмы Буре, он появлялся в гимназии каждое утро и обходил все классы. Вернувшиеся после рождественских каникул гимназисты были крайне удивлены происшедшими переменами. Коридоры и классы гимназии были отремонтированы, на стенах появились новые географические карты и другие учебные пособия. Исчезли изрезанные парты и появились новые.

Яков Георгиевич за годы своей работы издал несколько учебников по греческому языку и ряд брошюр педагогического содержания. Гумилёв, как и другие гимназисты, уважал его, но несколько побаивался. Юный романтик знал, что его декадентские стихи не тронут сердце педанта Моора и старался как можно реже попадаться ему на глаза.

Подарил свою книгу Николай не только близким друзьям и учителям, но и отцу, матери и сестре Шурочке, которую тут же решил втянуть в очередное приключение. Он попросил ее тайно приютить в своей комнате ученицу седьмого класса, дочь инспектора гимназий Рязани, так как его друг решил на ней жениться, а согласия родители не дают. План друзей был прост: похищение девушки, провозглашение тайного венчания. А там, глядишь, строгий инспектор отойдет душой и разрешит молодым пожениться. Шурочка, не раз выручавшая брата, попала в трудную ситуацию. Но, к ее счастью, авантюра не осуществилась.

В эти годы русский конквистадор читал не только Фридриха Ницше и восхищался его Заратустрой. Он изучал «Историю государства Российского» Карамзина, буквально проглатывал увесистые тома «Истории Фукидида», перечитывал «Илиаду» и «Одиссею», но зевал на уроках латинского и не сильно преуспевал на занятиях по греческому. В поэзии его авторитеты — Валерий Брюсов и Константин Бальмонт. Особенно большое влияние на юного Гумилёва в это время оказал второй. Многие гимназические стихи Николая перепевают бальмонтовские мотивы. Часто, шагая в одиночестве по аллеям Екатерининского парка, он повторял его строки:

Если ты поэт и хочешь быть могучим,
Хочешь быть бессмертным в памяти людей.
Порази их в сердце вымыслом певучим.
Думу закали на пламени страстей.

О, как восхитительно звучали для Коли Гумилёва строки: «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, / Хочу одежды с тебя сорвать!» Поэзия Бальмонта волновала богатое воображение юноши, побуждала выдумывать свой фантастический мир пещер и экзотических стран, заставляла мысленно шагать тропами «белокурой бестии», встречаться с таинственными «дриадами», манящими «принца огня». В убегающей в сумрак аллее ему грезились иные миры…

Поэтому в унылые дни гимназических неудач он чувствовал себя не обыкновенным гимназистом, а «конквистадором в панцире железном», который покоряет все новые колдовские (любимое слово Гумилёва) континенты поэзии. Поэт-«захватчик» в литературе иным быть не может. Эпиграфом к сборнику Гумилёв взял строки из раннего произведения «Земные яства» тогда малоизвестного французского писателя Андре Жида[3]: «Я стал кочевником, чтобы сладострастно прикасаться ко всему, что кочует!» И этот эпиграф отражал настроение гимназиста, рвавшегося изо всех сил на свободу.

К трем разделам сборника Гумилёв взял эпиграфы собственного сочинения. В программном стихотворении «Я конквистадор в панцире железном…» (1905) он заявил:

Я конквистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду.

Как смутно в небе диком и беззвездном!
Растет туман… но я молчу и жду
И верю, я любовь свою найду…
Я конквистадор в панцире железном.

И если нет полдневных слов звездам,
Тогда я сам мечту свою создам
И песней битв любовно зачарую.

Я пропастям и бурям вечный брат,
Но я вплету в воинственный наряд
Звезду долин, лилею голубую.

Откуда в стихотворении эти «пропасти и бездны»? Конечно, это — отголоски Кавказа, Тифлиса, гор и дикой свободы кавказских племен. Поэт видит себя в «лазурных снах» пророком сильным, властным:

Но я приду с мечом своим;
Владеет им не гном!
Я буду вихрем грозовым,
И громом, и огнем!

Его душа открыта всем стихиям. Он выпытывает тайну мироздания и дарит любимой «добытую звезду». Он поет священную песнь Заратустры и:

Жаркое сердце поэта
Блещет, как звонкая сталь…

В его волшебном мире все сверкает и горит:

Я полон тайною мгновений
И красной чарою огня…

Пусть многое в этих строках пока подражательно, пусть его излюбленные образы часто примитивны: все эти «красивые арфы», «алмазные венцы», «нежные объятья». Что из этого? Он учится любить неведомое и, как он сам заявил в эпиграфе к разделу «Поэмы», добывать «правду… у Бога», «силой огненных мечей». Как может христианин заявлять такое? Юный поэт погружается в мир полуязыческого Заратустры и в этот миг становится богоборцем. Но тут же пугается своих заявлений и пишет в стихотворении «Дева солнца» (1903–1905):

И смерть, и Кровь даны нам Богом
Для оттененья Белизны…

А разве не ушедшей от него Ане Горенко посвящена «Песня дриады» (1903–1905), где юный поэт восклицает в упоительном экстазе, как верный ученик Бальмонта:

Ты возьмешь в объятья меня,
И тебя, тебя обниму я,
Я люблю тебя, принц огня,
Я хочу и жду поцелуя.

Но поцелуя не будет, и он это знает прекрасно:

…И нет дриады, сна земли,
Пред ярким часом пробужденья.

Совсем неслучайно помещает Гумилёв в последнем разделе книги стихи «Пророки» и «Русалка». К пророкам он относит поэтов, а русалка — известна. Он признается в стихотворении «Осень» (1905):

Я знаю измену,
Сегодня я Пана ликующий брат,
А завтра одену
Из снежных цветов прихотливый наряд…

Николай решил узнать мнение о своей книге у мэтров русского символизма, отослав книгу в журнал «Весы».

Сборник был ученическим, но он не остался незамеченным. В одиннадцатом номере «Весов» за 1905 год на «Путь конквистадоров» появилась рецензия Валерия Брюсова. Она была довольно суровой. Мэтр писал, что в книге повторены все обычные «заповеди декадентства, поражавшие своей смелостью и новизной на западе лет двадцать, а у нас лет десять назад». Сказав о вторичности многих стихотворений, тем не менее Валерий Брюсов высказал и лестное для дебютанта мнение: «…в книге есть и несколько прекрасных стихов, действительно удачных образов. Предположим, что она только „путь“ нового конквистадора и что его победы и завоевания — впереди».

Вскоре, 21 января 1906 года, в ежедневной петербургской газете «Слово» появилась еще одна рецензия, написанная С. В. фон Штейном, где тот давал советы: «Г<осподин> Гумилёв, как поэт, еще очень молод: в нем не перебродило и многого он не успел творчески переработать. Несомненно, однако, что у него есть задатки серьезного поэтического дарования, над развитием которого стоит прилежно поработать. <…> В стихотворениях г. Гумилёва есть грациозные и легкие образы, но они нередко искажаются избитостью некоторых излюбленных автором эпитетов. Весьма удаются г. Гумилёву стихотворения со сказочным, мистическим оттенком: среди них мы укажем: „Русалку“, „Грезу ночную и темную“, „На мотив Грига“ и особенно „По стенам опустелого дома“, в котором замечается наиболее гармоничное сочетание содержания и формы. Советуем г. Гумилёву на будущее время стремиться к большей простоте и непосредственности, исправляя допущенные дефекты в технике стиха: напрасно он злоупотребляет неправильными ударениями и

рифмует не всегда удачно и гладко».

В начале 1906 года стихи Гумилёва «Смерти» и «Огонь» появились в царскосельском литературно-художественном сборнике, вышедшем в Санкт-Петербурге.

Письмо Брюсову имело свои последствия. Валерий Яковлевич, заметив способного юношу, посчитал себя обязанным помочь ему, он даже смягчил многие оценки, данные им в рецензии. Молодой автор 11 февраля 1906 года послал еще одно письмо Брюсову: «Многоуважаемый Валерий Яковлевич! Я Вам искренне благодарен за Ваше письмо и за то внимание, которым Вы меня дарите. Вы воскресили мою уверенность в себе, упавшую было после Вашей рецензии. Очень благодарю Вас за любезное приглашение участвовать в „Весах“. Но я боюсь, что присылаемые с этим письмом стихи покажутся Вам неудовлетворительными. Дело в том, что зимой я пишу меньше и слабее, чем обыкновенно, а мои осенние стихи частью вошли в „Путь конквистадоров“, частью печатаются в сборнике „Северная речь“, который выйдет в конце февраля. Поэтому, если присланные стихи будут забракованы, я пришлю другую партию, быть может, лучшую…»

С этих пор переписка Брюсова и Гумилёва будет продолжаться много лет, несмотря на периодически возникающие между ними разногласия. По-иному повел себя другой мэтр. Когда Гумилёв попытался встретиться с бывшим в зените славы Константином Бальмонтом, тот не удостоил начинающего стихотворца не только своим вниманием, но и даже письменным ответом, чем нанес тяжелый удар легко ранимому сердцу гордого романтика.

Говорят, что А. Н. Толстой бегал по книжным лавкам и скупал свой первый поэтический сборник, чтобы его сжечь, так как осознал всю наивность и слабость написанного. Гумилёв не уничтожил сборник, но никогда «Путь конквистадоров» не переиздавал.

Весной 1906 года стихи Гумилёва опубликовала ежедневная газета «Слово» в приложении «Понедельник». Николай в это время готовился к выпускным экзаменам. При отличном поведении и исправном посещении и приготовлении уроков (как сказано в документе об образовании) педагогический совет поставил Гумилёву всего одну пятерку по логике, пять четверок (Закон Божий, русский язык, история, география, французский язык), пять троек (латинский и греческий языки, физика, математика и математическая география). На выпускных экзаменах гимназист Гумилёв удивил только экзаменаторов по словесности своим предельно кратким ответом. На вопрос преподавателя Аркадия Андреевича Мухина: чем замечательна

поэзия Пушкина? — он ответил: «Кристальностью». Экзаменаторы поставили ему пятерку. Закон Божий сдал на четверку. По латинскому языку, математике, истории, французскому языку Гумилёв подтвердил выставленные ему оценки. Экзамены шли больше месяца. После одного из экзаменов 15 мая Гумилёв написал Брюсову письмо, где, отвечая на его вопросы, рассказал свою биографию, указав, что пишет стихи с двенадцати лет, но имеет очень мало литературных знакомств. Он признался также, что читает по-французски с трудом, из поэтов больше всего любит Эдгара По. Сообщил также, что собирается уехать за границу на пять лет учиться.

Наконец настал долгожданный день: 30 мая 1906 года. Николай Гумилёв получил аттестат зрелости Николаевской Императорской Царскосельской гимназии за № 544. Теперь разговор с отцом больше откладывать было нельзя, и он попросил мать помочь убедить отца в том, что университет в Сорбонне даст более глубокие знания, чем Санкт-Петербургский. Шурочка в этом споре участия не принимала. Гумилёв-старший вначале не хотел менять решения, но Анна Ивановна напомнила ему, что однажды он уже заставил Дмитрия пойти в морской корпус против желания. В результате, побывав в плавании, старший сын понял, что попал не туда, ушел из корпуса, а через несколько месяцев был переведен на службу в Николаевское кавалерийское училище юнкером. Степан Яковлевич сдался. Было решено после летнего отдыха отправить Колю в Париж и высылать ему по сто рублей каждый месяц.

В июне Николай уехал в Березки, чтобы насладиться природой перед отъездом. Оттуда он намеревался к 20 июня прибыть в Москву к Брюсову. Но этим планам не суждено было сбыться, так как Валерий Яковлевич Брюсов отдыхал в Швейцарии до конца сентября. Когда он вернулся, Гумилёва в России уже не было.

В это же время случилось радостное для Гумилёва событие: в Царское Село из Евпатории приехал его друг Андрей Горенко, и, оставив Березки, Николай помчался в Царское. По рассказам Андрея, жили они в Евпатории очень бедно. Инна Эразмовна, расставшись с мужем, затаила на него глубокую обиду. Тот не только не был ей благодарен за воспитание детей, но и умудрился растратить капитал, полученный ею в наследство от отца. Репетитор готовил Аню для продолжения образования. В августе вместе с матерью она должна была отправиться в Киев, чтобы подать прошение на имя начальницы Фундуклеевской гимназии о допуске к приемным экзаменам в первый (старший) класс. Остановиться Горенко решили у сестры Инны Эразмовны

— Анны Эразмовны Вакар, которая жила на Университетской улице, 3.

В то время Анна Горенко кокетничала с репетитором, а мечтала о Владимире Голенищеве-Кутузове. Даже пыталась из-за неразделенной любви покончить жизнь самоубийством, но по ее собственному признанию, когда совсем собралась повеситься, гвоздь выскочил из известковой стены. Мать плакала и переживала, а Аня решила отвлечься и тем же летом начала встречаться с сорокалетним одесским, поэтом Александром Федоровым. Юная кандидатка в гимназистки и опытный в любовных делах литератор. В 1906 году в Евпатории Горенко написала:

Я умею любить.
Умею покорной и нежною быть.
Умею заглядывать в очи с улыбкой
Манящей, призывной и зыбкой.
……
И в устах моих алая нега,
Грудь белее нагорного снега.
Голос — лепет лазоревых струй,
Я умею любить. Тебя ждет поцелуй.

Это стихотворение она отошлет потом мужу своей умершей в 1906 году старшей сестры Инны. Его же она будет упрашивать прислать ей фотографию Голенищева-Кутузова: «Мой милый Штейн. Если бы вы знали, как я глупа и наивна! Даже стыдно перед Вами сознаться: я до сих пор люблю В.Г.К. И в жизни нет ничего, ничего кроме этого чувства…Хотите сделать меня счастливой? Если да, то пришлите мне его карточку. Я дам переснять и сейчас же вышлю Вам обратно. Может быть, он дал Вам одну из последних. Не бойтесь, я не „зажилю“, как говорят на юге».

Приехав в Киев, Горенко не ужилась с тетей и вскоре перебралась на Меринговскую улицу в четвертую квартиру седьмого дома, расположенного неподалеку от Крещатика. Здесь жила ее кузина Мария Александровна Змунчилла. (Мария потом выйдет замуж за любимого брата Ани — Андрея.) Квартира была удобной, состояла из пяти комнат, кухни и просторного коридора. От дома можно быстро дойти до Фундуклеевской гимназии — мимо аптечных складов, магазина «Писчебумажных принадлежностей», врачебного кабинета Знаменского и Фундуклеевской гостиницы. Аня любила ходить по вечерним улицам, когда странный черный фонарщик с лестницей за

плечами и длинной палкой, останавливаясь у зеленых газовых фонарей и просовывая в них пику с огоньком, зажигал фонарь. А она вспоминала Царское Село, дом купчихи Шухардиной, веселого студента университета. В свободное время Аня гуляла в Царском и Купеческом садах, на Владимирской горке, но, закрыв глаза, видела другой парк. Она так тосковала, что возненавидела Киев; позднее она назовет его «городом вульгарных женщин», которые сорили тысячами, тратясь на модные туалеты. Но были у нее в Киеве и любимые места: Андреевская церковь (построенная знаменитым архитектором Растрелли), Печерская лавра и Софийский собор. В это время, по воспоминаниям ее одноклассницы Веры Веер, Аня пребывала в задумчивом, отрешенном состоянии.

Андрей Горенко хорошо знал все похождения своей сестры, но, не желая огорчать своего друга, ничего не рассказал Гумилёву. Они расстались, договорившись писать друг другу. Николай взял билет до Парижа на поезд-экспресс, идущий от Петербурга, заплатив сто сорок рублей (деньги по тем временам немалые). В Берлине на вокзале Фридрихштрассе в центре города Николай Гумилёв сделал пересадку. Вскоре молодой искатель приключений вышел на вокзале Gare du Nord (Северный вокзал Парижа). Рядом с большим мрачным и довольно грязным зданием он увидел площадь Рубэ. Перед ним лежал город, полный загадок и древних преданий. Сколько великих мечтали о покорении французской столицы! Скольких безвестных пришельцев этот город сделал знаменитыми! А что уготовил он ему?

Глава V ОДИНОЧЕСТВО В ПАРИЖЕ

Отправляясь в Париж, Николай Гумилёв запасся рекомендательными письмами. Одно ему вручил Иннокентий Федорович Анненский к своей сестре Любови Федоровне, которая была замужем за известным французским антропологом Джозефом Деникером. Иннокентий Федорович сказал, что сын Деникеров пишет стихи и у него уже вышла книга «Poemes» в издательстве «Аббатство». Рене Гиль, столь почитаемый учителем Гумилёва Брюсовым, написал на нее рецензию, в которой похвалил начинающего поэта: «В коротеньких поэмах, собранных в его первой книге, еще слишком много случайного, чтобы можно было выяснить общие тенденции его поэзии. Направление его мысли еще не определилось, и его ритмика еще не выработалась. Но мы полагаем, что господин Деникер должен быть осведомлен о великом поэтическом движении недавнего прошлого, так как он дебютировал в журнале „Verse et Prose“, антологии символистов. <…> Ему предстоит прежде всего овладеть техникой своих предшественников и выяснить самому себе свою индивидуальность, чтобы перейти к широким синтетическим обобщениям, к поэзии завтрашнего дня…»

Хотя рецензия Брюсова на первую книгу Гумилёва была несколько иной по форме, но по содержанию очень близка к тому, что написал Рене Гиль о молодом Деникере.

Второе рекомендательное письмо было от царскосельской писательницы и переводчицы Лидии Ивановны Веселитской. Под псевдонимом Микулич она издала в 80-х — начале 90-х годов XIX века нашумевший роман-трилогию: «Мимочка-невеста», «Мимочка на водах», «Мимочка отравилась». Лидия Ивановна была знакома с Федором Достоевским, Львом Толстым. Приятельские отношения связывали ее и с Мережковскими, которые в ту пору проживали в Париже. Именно Зинаиде Николаевне Гиппиус писательница рекомендовала юного романтика.

Таким образом, романтик из патриархального Царского Села мечтал войти в творческую среду французских и русских писателей, обитавших в Париже.

Однако вначале ему предстояло решить проблему жилья. В этом вопросе юноша был крайне непрактичен. Ему хотелось найти пристанище где-то в центре, недалеко от знаменитого Лувра. Но вначале он должен был разыскать Сорбонну, находившуюся на бульваре Сен-Жермен.

Уезжая из России, Гумилёв пролистал попавшиеся ему в

библиотеке справочники о Париже, откуда почерпнул основные сведения. Он узнал, что Сорбонна была основана в 1253 году Робертом де Сорбоном, духовником короля Людовика IX (Святого). Теперь же это была целая студенческая страна. В Сорбонне училось около пятнадцати тысяч студентов, действовали двадцать четыре кафедры философии, филологии, истории, математики и девятнадцать кафедр естественных наук. Николая Гумилёва особенно привлек филологический факультет. Вскоре Николай Степанович узнал, что на выбранном им факультете училось больше тысячи иностранцев и около половины из них были русские. Это его обрадовало, так как оторванность от России вызывала жгучую тоску по далекой родине. Он даже часы не сразу перевел на парижское время.

Николай Степанович завел черный фрак и на общественных мероприятиях в театре или в кафе часто появлялся в нем. Французы резко отличались от русских студентов, которые ходили в чем хотели. Французы-студенты носили средневековые береты, бархатные куртки, широкие шаровары и своеобразные галстуки. Они курили трубки. Гумилёв встречал их на террасах многочисленных кафе под каштанами бульвара Святого Мишеля. Казалось, что за чашкой кофе или за бутылкой дешевого вина они просиживали целыми днями. И было непонятно, когда же они посещали лекции. Большие толпы молодых людей сновали по бульварам, садам и улицам Латинского квартала. Их можно было встретить здесь в любое время суток. С некоторым чувством превосходства сорбонновцы относились к учащимся других учебных заведений. Например, к обитателям расположенного неподалеку колледжа де Франс («College de Franse»), основанного королем Франциском I, как высшей школы изучения древних языков. Одним словом, дух бурсы Сорбонны был несоизмеримо выше духа любого другого парижского учебного заведения. В сохранившейся сорбоннской церкви находилась гробница самого кардинала де Ришелье. Роскошное надгробие с аллегорическими фигурами Религии и Знания изваял скульптор Ф. Жирардон. Когда Гумилёв увидел все это великолепие, он был поражен.

Гордились студенты Сорбонны не только древностью своего университета, но и особыми правами, сложившимися на протяжении многих веков. В былые времена студентам было предоставлено право самим выбирать себе преподавателей. Короли Франции милостиво даровали в Средних веках целый ряд привилегий для «бурсаков». Университету предоставили даже свою особую юрисдикцию, освободив от ряда налогов и повинностей. Для того чтобы университет имел доходы, ему разрешили завести собственную почту. (Но, увы, почту отменили

уже в 1719 году.) Студенты жили корпоративно и имели свои выборные органы власти. Каждый из них согласно неписаному закону вносил в общую казну свою долю («бурсу») в соответствии с имущественным положением. Бурсаки любили погулять и с шумом и песнями по ночам перебирались на правую часть Сены, где их и отлавливали блюстители порядка за выходки, нарушавшие общественный порядок. Но… в разгульной жизни студентов принимали участие и профессора. Когда эти жалобы доходили до монарха, он неизменно покрывал бурсаков — прощал. А в XIII–XIV веках помещения Сорбонны официально признавались неприкосновенными — в комнату к студенту не мог войти не только представитель правопорядка, но даже кредитор!

Иное дело XX век, когда студентам самим надо было заботиться о жилье в городе и платить за него немалые деньги. Определившись на факультете, Гумилёв начал искать квартиру. Можно было отправиться в район Страсбургского бульвара, предместье Сан-Мартен, Тюрбиго и на примыкающие к ним небольшие улицы, где стоимость комнаты колебалась от сорока до пятидесяти франков в месяц. У Гумилёва на месяц было сто рублей, то есть двести шестьдесят шесть франков. Можно было поискать квартиру в Латинском квартале, где располагались доходные дома. Новые знакомые по факультету объяснили, что объявления о сдаче меблированных квартир вывешиваются на воротах или дверях на желтой бумаге, а на белой бумаге сообщается о свободных квартирах без мебели и они намного дешевле. Гумилёв решил не экономить и облюбовал бульвар Сен-Жермен, расположенный по левому берегу Сены против Лувра и Тюильри, где находились дома аристократов и от которого до Сорбонны и знаменитого театра Одеон, расположенного неподалеку от Люксембургского парка, было рукой подать. В Сен-Жерменском предместье располагалось также множество высших учебных заведений, несколько министерств, большинство посольств (в том числе русское посольство и консульство на улице Рю де Гренелл). На востоке квартал ограничивался мостом Искусств, сооруженным для пешеходов еще в 1804 году.

Гумилёв поселился в угловом трехэтажном доме 68 на бульваре Сен-Жермен. Теперь он получал корреспонденцию из России в своем доме через консьержа, мимо которого проходил каждый день.

Многое удивляло поначалу молодого царскосела: очень уж рано, в восемь часов утра, начинался в Париже рабочий день. Больше всего его поразила подземная железная дорога — метрополитен, который в Париже начали сооружать с 1898 года. Как раз тогда строилась пятая линия. Плата в метрополитене

была несколько выше (двадцать пять сантимов в первом классе и пятнадцать — во втором), чем в омнибусе или трамвае. С интересом Николай Степанович наблюдал за посетителями кафе, которые не снимали шляпы, садясь за столик. Даже в театрах мужчины не снимали шляп до тех пор, пока не поднимался занавес. Заходя в кафе, он знал, что нужно иметь при себе мелкие деньги, чтобы дать гарсону на чай десять су, а в ресторане — пятнадцать-двадцать. Сдачи давать с чаевых было не принято. За чистку сапог на улице нужно было отдавать двадцать су. Большие дорогие бульвары имели деревянную мостовую с широкими асфальтированными тротуарами, по сторонам которых росли каштаны.

По выходным дням и иногда в среду Николай Степанович отправлялся на правый берег Сены в сторону парка Монсо, неподалеку от которого находилась русская православная церковь на улице Дорю, 12. В одиннадцать часов утра там начиналась обедня.

По утрам мальчишки с пачкой газет выкрикивали на шумных бульварах и площадях: «„Фигаро“ — пятнадцать сантимов!» На улицах продавались в основном политические периодические издания. В киосках Гумилёву попадались русские газеты, их насчитывалось всего полторы сотни из выходивших в Париже трех тысяч изданий. По представлениям Гумилёва это было очень много, хотя Париж в ту пору уже насчитывал почти три миллиона человек, среди которых двести пятьдесят тысяч были иностранцами.

Конечно, он любил бывать на книжных развалах. Особенно много книжных магазинов ютилось вокруг Сорбонны, по берегу Сены, они располагались не только в Латинском квартале, но и на Монпарнасе. Николай Степанович любил бывать на площади Одеон близ Люксембургского дворца, где театр того же названия был плотно окружен галереями, занятыми книгопродавцами. Чего тут только не было! И самые последние новинки французского книгоиздания, и произведения классики — толстые старинные фолианты, от которых пахло деревом и старой кожей. Здесь продавали и русские книги А. С. Пушкина, Н. М. Карамзина. Бедные школяры читали книги прямо на прилавке, продавцы разрешали.

Но не только богатые книжные развалы привлекали внимание Гумилёва. Неоднократно бывал Николай и в самом Одеоне, фойе которого украшают бюсты и живописные портреты известных актеров и драматургов. Из двадцати знаменитых парижских театров Одеон уступал лишь Гранд-опера. В Одеоне дамы снимали шляпы, поскольку в ложах мужчины уступали

дамам кресла в первом ряду.

Спектакли в Одеоне шли, как и в других парижских театрах, с восьми вечера до полуночи. Театр вмещал около полутора тысяч зрителей, и спектакли в нем давались ежедневно. Одеон придерживался классических традиций: но можно было посмотреть не только пятиактную драму в стихах, но и пьесу начинающих драматургов.

Когда Николай Степанович хотел увидеть новейшую драму, он отправлялся на Страсбургский бульвар, 14 в театр Атоин, а на классический репертуар шел в «Комеди Франсез». Современную оперу и лирическую драму давали в «Комеди Опера».

Знакомство с французской Мельпоменой подтолкнуло его на написание собственной драмы «Шут короля Батиньоля». Пьеса показалась Гумилёву удачной, и он сообщил о ней своему учителю Брюсову. По возвращении в Россию Николай мечтал удивить ею свою даму сердца Аню Горенко.

Гумилёв недолго прожил на дорогом бульваре Сен-Жермен и вскоре перебрался на улицу Гаитэ, 25, где снял маленькую комнату с высокими окнами и живыми цветами на подоконниках.

До начала занятий в Сорбонне (1 ноября) Гумилёв успел хорошо изучить Париж и его достопримечательности. Как прекрасны были прогулки в осеннем, блистающем золотом листвы Люксембургском парке, этом излюбленном месте отдыха парижан! Здесь студенты назначали встречи своим подругам, хмельные поэты читали новые стихи. В теплые дни под деревьями играл военный оркестр прямо возле выхода на бульвар Святого Михаила. До 1 октября и после 1 апреля били в вышину удивительные фонтаны. А в центре парка располагался восьмиугольный бассейн работы знаменитого итальянского мастера XVI века Давида.

Рядом с садом находится величественное здание Люксембургского дворца, построенное в 1615 году. Здесь заседал сенат. Гумилёв любил смотреть работы современных художников в Люксембургском музее, который располагался в бывшей оранжерее недалеко от Малого дворца. Конечно же Николай посетил и Собор инвалидов, расположенный неподалеку от Эйфелевой башни. В этом величественном (высотой триста метров) соборе, возведенном в 1706 году, похоронен Наполеон. Саркофаг императора сделан из ценного сибирского порфира по рисунку Висконти. Какова судьба! Император, потерпевший крушение всех своих замыслов в России, обречен на вечный сон в русском саркофаге!

Сколько людей приходит сюда, думал поэт, а будут ли

приходить к нему после его смерти? Или это не имеет значения?

Вскоре Николай Гумилёв уже хорошо знал достопримечательности Парижа: и площадь Согласия, и Елисейские Поля, и сад Тюильри, побывал в самой загадочной части французской столицы, овеянной легендами и преданиями старины, — на острове. Как считали парижане, остров, по форме напоминающий корабль, изображен на гербе города. Старинное его название Лютеция, и именно там жили первые парижане в окружении реки и непроходимых болот. Во времена великого Цезаря здесь возник галльский город Лютеция Паризьёрум, а потом римский и позже франкский Париж. Тесное переплетение итальянской и французской историй для молодого романтика было открытием. Он понял: чтобы лучше разобраться в истории Франции, нужно побывать и в Италии.

Отправляясь в Париж, Николай решил заняться изучением оккультных наук. Однажды Гумилёв с приятелями провел даже спиритический сеанс вызывания дьявола. В темной комнате он один из всех увидел горящие глаза и зловещую морду. Миг — и все пропало. Но какое-то гнетущее чувство обволокло его сердце, захотелось вырваться из удушающей темноты. Долго в тот вечер бродил он по бульварам и площадям правого берега Сены.

Париж — удивительный город, особенно если попасть в него после тихих российских усадеб и спокойного Царского Села.

Освоившись в Париже, Гумилёв начал делать визиты по рекомендательным письмам. Первый он нанес сестре Анненского. Она приняла его радушно, но ее сына Николаса, как назло, не было дома, и Николай Степанович, оставив свой адрес, вежливо попрощался. Вскоре Николас Деникер разыскал его сам. Они отправились в кафе.

В Париже все встречи проходили либо в кафе, либо в ресторанах, которых по городу насчитывалось около трех тысяч. Традиционно французы друг к другу в гости не ходили. Зато кафе уличные, веселые, всегда были заполнены самой разношерстной публикой. Тут встречались поэты и художники, деловые люди и журналисты. У каждого были свои излюбленные места.

— Самое старое кафе и самое знаменитое, — говорил Деникер, — «Прокоп». Вы не удивляйтесь такому простому названию. Там сиживали в свое время знаменитые люди Франции. Теперь их портреты украшают стены этого кафе, хотя само оно превратилось в недорогую «бульонку». Но мы с вами отправимся в не менее известное кафе «Режанс», и я вам расскажу одну интересную историю времен Робеспьера.

В «Режансе» молодые люди заказали кофе. Гумилёв уже

привык к парижским нравам. В Париже за чашкой кофе или бутылкой вина можно просидеть целый день и это считалось в порядке вещей.

— Здесь готовят прекрасный кофе, может быть, поэтому, — сказал Деникер, — он и немножко дороже, чем в других, не тридцать-сорок сантимов, а пятьдесят. Но он ст*о*ит того! Да еще не плохо было бы заказать sirope de groseille.

— А что это такое? — поинтересовался Гумилёв.

— Очень приятный напиток из смородины.

И Деникер начал рассказывать обещанную историю:

— Мы с вами сидим примерно на том же месте в кафе, где любил играть в шахматы Робеспьер во времена диктатуры республиканцев. Как правило, с ним боялись играть, особенно выигрывать у него, хотя диктатор был довольно слабым игроком. Он прослыл мстительным человеком. И вдруг красивый молодой человек направился прямо к его столику. Робеспьер оживился, перед ним на столе уже давно стояла шахматная доска с расставленными фигурами. В предчувствии удовольствия диктатор потирал руки. «Я хочу сыграть с вами партию в шахматы!» — сказал пришелец. «Извольте, гражданин». Незнакомец оказался искусным игроком и выиграл не только первую партию, но и вторую, о которой попросил сам диктатор. «Прекрасно, — сказал Робеспьер, нахмурившись, — но какова была ставка в нашей партии?» Незнакомец откинул прядь волос со лба и произнес высоким голосом: «Голова человека, за которым завтра должен явиться палач!» Робеспьер сразу понял, о ком идет речь. Но теперь он не мог его казнить, ибо незнакомец выиграл. Долг чести превыше всего! Робеспьер спросил наглеца: «Гражданин, позвольте узнать, почему вы ходатайствуете за освобождение графа Р., заключенного в Консьержера?» И в ответ услышал: «Я не гражданин, а гражданка, невеста графа!» Робеспьер вздохнул и подписал приказ об освобождении узника.

— Действительно, интересная история.

— О, таких историй я мог бы рассказать об этом кафе много, — сказал Деникер. — Вон там играл в шахматы австрийский император Иосиф Второй, здесь сиживали мечтатель Дидро и романтик Ле Саж. И даже проигрывал в шахматы молодой корсиканский офицер Бонапарт…

Беседа незаметно перешла в другое русло, и Деникер стал рассказывать о писателях, которые объединились в группу «Аббатство» и провозгласили эру новой «научной» поэзии. Инициаторами стали молодые поэты: Жуль Ромен (которому исполнился двадцать один год), Жан Рене Аркос, Жорж Дюанель и Шарль Вильдрак.

— Разумеется, — говорил Деникер, — наш идейный вдохновитель — известный поэт Рене Гиль, вы о нем верно слышали.

Гумилёв внимал рассказам племянника Анненского с загоревшимися глазами. Особенно его заинтересовал тот факт, что молодые писатели сумели заполучить даже собственную типографию.

— Но почему так странно звучит название вашей группы? — спросил Николай Степанович.

— Мы создали в этом году коммуну, писательское братство, а поскольку местом нашего обитания стало аббатство Кретей под Парижем, мы провозгласили себя группой «Аббатство»…

Гумилёв подумал о том, что, может быть, здесь и ему можно будет издавать свой журнал. Нужно только установить хорошие связи с русскими писателями, проживающими в Париже. Ведь у него в кармане лежало еще одно рекомендательное письмо. И почему бы его не использовать? Настроение у молодого романтика поднялось. Ему уже казалось, что оккультные науки, которыми он хотел серьезно заняться в Париже, не стоят того, чтобы на них тратить время. Нужно писать — это главное.

В письме к сыну Анненского Николай сообщает: «Вы меня спрашиваете о моих стихах. Но ведь теперь осень, самое горячее время для поэта, а я имею дерзость причислять себя к хвосту таковых. Я пишу довольно много, но совершенно не могу судить, хорошо или плохо». Своему учителю Брюсову он признается: «Когда я уезжал из России, я думал заняться оккультизмом. Теперь я вижу, что оригинально задуманный галстук или удачно написанное стихотворение может дать душе тот же трепет, как и вызывание мертвецов, о котором так некрасноречиво трактует Элифас Леви».

Нет, Гумилёв не перестал смотреть на мир как на явление волшебства и вдохновения. Он понял, что надо идти не от мертвых к живым, а от последних в мир таинственных превращений.

Он наконец решает отправиться к знаменитой Зинаиде Николаевне Гиппиус, которая слыла основательницей нового христианского движения, утверждавшего равносвятость Плоти и Духа.

В 1901 году в Петербурге Гиппиус и Мережковский организовали Религиозно-философские собрания для открытого обсуждения вопросов веры между интеллигенцией, гибнущей «в отчаянии без Бога», и Церковью, чтобы обновить религиозное сознание. В 1903 году Собрания были запрещены. Но дом Мурузи, в котором жили Мережковский и Гиппиус, стал элитарным

литературным салоном. Слышал многое об этом салоне и гимназист-царскосел Гумилёв.

Уехав после революционной смуты 1905 года в Париж, Мережковские поселились в одном из самых респектабельных парижских кварталов — в доме II-бис по улице Колонель Бонне в Пасси. С ними вместе жил и друг семьи Дмитрий Владимирович Философов. Сам Мережковский в ту пору увлеченно писал драму о Павле I и на время оставил стихи. Во второй половине ноября 1906 года в гости к Мережковским приехал из России Борис Бугаев, известный в русской литературе под псевдонимом Андрей Белый. Когда Белый уезжал, Брюсов советовал ему: «Если вам можно, познакомьтесь с Николаем Степановичем Гумилёвым… кажется, талантлив и, во всяком случае, молод». Дал Валерий Яковлевич и адрес поэта. Но Белый по рассеянности все сделал не так. Именно он пошел открывать дверь, когда раздался звонок Гумилёва.

— Вам кого? — оглядев незнакомца, спросил Белый.

— У меня рекомендательное письмо к Зинаиде Николаевне Гиппиус, — ответил молодой человек в модном цилиндре.

Белому, который вечно все забывал, терял и был рассеян до чрезвычайности, не понравился, видно, элегантный русский и он буркнул:

— Вы кто?

— Я? Николай Степанович Гумилёв, здесь учусь.

Тут бы Белому и вспомнить, что советовал ему Брюсов, но он сделал удивленное лицо:

— И что вы? Откуда?

— Я сотрудник журнала «Весы».

— Зина, — разочарованно протянул он, — к тебе молодой человек, говорит, из «Весов».

— Боря, ты его знаешь? — спросила появившаяся Гиппиус.

— Нет. Не слышал. Не знаю.

Гиппиус, видимо, была недовольна неожиданным визитером и весьма холодно обратилась к Николаю:

— Да, ну и что вы в Париже?

— Учусь в Сорбонне.

— Интересно, а о чем вы таком пишете? — Она хмыкнула, наведя лорнет на Гумилёва, который и так был бледен, как стена, от волнения. Его явно не хотели принимать, и он это почувствовал, потому и говорил о себе и своих взглядах подчеркнуто вызывающе и независимо.

— Ну, прочтите что-нибудь, — царственно бросила повелительница литературного салона. Явно издеваясь, добавила: — О чем вы там пишете, ну о козлах, что ли?

Гумилёв мог бы нагрубить и уйти, но он сдержался и сказал ледяным тоном:

— Хорошо. Я прочту.

Он специально выбрал одно из недавно написанных стихотворений и начал читать, чуть шепелявя:

Император с профилем орлиным,
С черною, курчавой бородой,
О, каким бы стал ты властелином,
Если б не был ты самим собой!
……..
Образы властительные Рима,
Юлий Цезарь, Август и Помпей, —
Это тень, бледна и еле зрима.
Перед тихой тайною твоей.
Кончен ряд железных сновидений,
Тихи гробы сумрачных отцов,
И ласкает быстрый Тибр ступени
Гордо розовеющих дворцов.
Жадность слов в тебе не утолима:
Ты бы мог раскинуть ратный стан,
Бросить пламя в храм Иерусалима,
Укротить бунтующих парфян.
Но к чему победы в час вечерний,
Если тени упадают ниц…

Дальше Гумилёву дочитать не удалось, в комнату вплыла тень, и совсем не императора. Шаркающей походкой обозначился Дмитрий Сергеевич Мережковский и, окинув общество бесцветным взглядом, вдруг заволновался, увидев незнакомца:

— Зина, что там такое?

— Ты знаешь, Николай Степанович Гумилёв к нам пришел, мне показалось, он ученик Вячеслава Иванова или Сологуба, но ты знаешь, он все-таки напоминает мне французского поэта Бетнуара.

Мережковский недовольно повел плечом, не зная, что делать с руками, сунул их в карманы и, стоя у стены, начал его отчитывать в нос:

— Вы, голубчик, не туда попали! Знакомство с вами ничего не даст ни вам, ни нам. Говорить о пустяках совестно, а в серьезных вопросах мы все равно не сойдемся. Единственное, что мы могли бы сделать, это спасти вас, так как вы стоите над пропастью. Но ведь это…

Гумилёв наконец опомнился, взял себя в руки и совершенно

спокойно закончил фразу Мережковского:

— Дело неинтересное.

Тот закивал:

— Да-да, — и зашаркал в свою комнату.

Гумилёв понял, что его здесь не поймут. Скрывая обиду, он стал прощаться. Видимо, тут-то Белый и вспомнил слова Брюсова и, желая как-то сгладить неловкость, суетливо побежал провожать молодого поэта.

Символисты Мережковские не приняли Гумилёва. Позже, в 1910-х годах, он бросит гордый вызов символизму, отвергнув не только его представителей, но и всю систему литературных ценностей символизма… Но это будет потом. А сейчас… Это был первый серьезный удар судьбы. Его отвергли как поэта да еще вдобавок поиздевались над ним.

В начале января и Гиппиус, и Гумилёв отправили Брюсову письма. Разгневанная дама возмущалась: «О Валерий Яковлевич! Какая ведьма „сопряла“ Вас с ним (Гумилёвым. — В. Я.)? Да видели ли Вы его? Мы прямо пали. Боря имел силы издеваться над ним, а я была поражена параличом. Двадцать лет, вид бледно-гнойный, сентенции старые, как шляпка вдовицы, едущей на Драгомиловское. Нюхает эфир (спохватился) и говорит, что он один может изменить мир: „До меня были попытки… Будда, Христос… Но ‘неудачные’“. После того, как он надел цилиндр и удалился, я нашла номер „Весов“ с его стихами, желая хоть гениальностью его строк оправдать Ваше влечение, и не могла. Неоспоримая дрянь. Даже теперь, когда так легко и многие пишут стихи, — выдающаяся дрянь. Чем, о, чем он Вас пленил?»

Гумилёв сообщил своему учителю, что после визита у него остался «мистический ужас» перед знаменитостями.

Николай долго не решался встречаться с Рене Гилем, боясь повторения истории. И каково же было искреннее удивление молодого поэта, когда он встретил у мэтра французской поэзии радушный прием и полное понимание.

Такой же прием и понимание встретил Гумилёв и у бывшего сотрудника «Весов» Ивана Ивановича Щукина, искусствоведа, который происходил из старинной московской купеческой семьи меценатов и коллекционеров. Его брат основал знаменитый Щукинский музей, а сам Иван Иванович выпустил книгу «Парижские акварели». Иван Щукин познакомил Гумилёва с известным писателем и философом Николаем Максимовичем Виленкиным, вошедшим в русскую литературу под псевдонимом Минский. Его статья «Старинный мир», опубликованная еще в 1884 году, считалась первой программой русского декадентства. Несмотря на то что Николаю Максимовичу шел уже пятьдесят

второй год, а Гумилёву исполнилось всего лишь двадцать, он внимательно выслушал молодого поэта.

Однажды вечером, вернувшись домой, Гумилёв по привычке поинтересовался у консьержа, нет ли для него писем. Тот ответил, что есть из России! Николай Степанович, пока консьерж доставал из ящика письмо, гадал, от кого оно: «Наверное, от родителей, а может, из „Весов“ от Брюсова». Он давно отправил мэтру письмо с небольшой поэмой «Неоромантическая сказка»… Николай в нетерпении глянул на обратный адрес, и сердце трепетно забилось в груди… Он не поверил глазам. На конверте было четко выведено аккуратным женским почерком: Киев. Меринговская, 7, кв. 4, для Анны Андреевны Горенко. Всего, чего угодно, мог ожидать Гумилёв, но только не этого! Как? Неужели она наконец о нем вспомнила? Всё, всё, его признание в любви, его предложение быть вместе до конца?.. Письмо было написано в несколько холодноватом тоне и в то же время для влюбленного сердца оставляло хоть маленькую, но надежду. Горенко писала о себе.

Аня училась в Фундуклеевской гимназии. Класс, куда она попала, стихийно разделился на две группы. Одна — консервативно настроенных девушек, как, например, дочь подполковника Надя Галафре, Мария Дремер, дочь председателя Киевского судебного округа, приезжавшая в гимназию в собственном экипаже, у кого разговоры сводились в основном к нарядам, шляпкам и молодым людям.

Другая группа девочек, где лидировала Вера Беер (будущая «золотая» медалистка), считала себя передовой, прогрессивной молодежью.

Аня не вошла ни в одну из групп. Исключение она сделала только для Жени Микулинской. С ней она часто беседовала. Горенко не любила разговоры о вещах или будущих профессиях. Она читала Блока, Брюсова, втайне писала стихи и скучала по тому времени, когда могла себе позволить бывать в Петербурге, слушать стихи и видеть щеголя-студента Голенищева-Кутузова. Мимолетные увлечения стареющими поэтами, молодыми репетиторами, случайными знакомыми и притязания ее кузена Демьяновского (который, как она писала в 1906 году, «объясняется в любви каждые пять минут») не могли загасить ее страсть. Вот что пишет она мужу сестры фон Штейну: «Если бы знали, какой Вы злой по отношению к Вашей несчастной belle-soeur[4]. Разве так трудно прислать мне карточку и несколько слов. Я так устала ждать! Ведь я жду ни больше ни меньше как 5 месяцев… Пришлите мне карточку Г.-К.».

В другом письме она восклицала: «Отвечайте же скорее о Кутузове. Он для меня всё!..»

Училась Анна ровно, одинаково легко постигая математику и физику, русский язык и словесность. Русскую литературу в гимназии преподавал Григорий Владимирович Александровский, ставший позже профессором Казанского университета. Он хвалил сочинения Горенко за самостоятельность суждений и литературный вкус. Повезло и с преподавателем французского языка Александрой Николаевной Муравьевой, которая прекрасно владела языком, ездила стажироваться каждый год в Париж и зачитывалась французской классической поэзией. Гимназисткам на уроках читала произведения Мольера, Корнеля, Расина.

В один из дней, когда Анна тосковала об ушедшей поре Царского Села, о недоступном Петербурге, она вспомнила Гумилёва и написала ему письмо.

Гумилёв, получив письмо, был счастлив. Подробно описав свое бытие и планы на будущее в ответном послании, он оделся и вышел на улицу. Вечерело, но все еще было тепло. Осень в тот год в Париже выдалась необычайно теплой. С конца мая до начала октября стояла настолько сильная засуха, что пострадали районы Лазурного Берега.

Гумилёв отправился искать почтовое отделение. Вечером его легко можно было увидеть по синему фонарю, горевшему у входа.

— Куда письмо, в Россию? — уточнил почтовый работник. — С вас двадцать пять сантимов.

Гумилёв отдал бы не только двадцать пять сантимов, но и двадцать пять франков. Ведь ему казалось, что это письмо должно решить его судьбу. Аня поймет наконец, как он ее любит. А там он непременно дождется денег из дома и отправится после Нового года в Киев. Он решил сделать Анне Андреевне Горенко предложение руки и сердца. Забрать ее в Париж. Они вместе будут учиться в Сорбонне.

А может быть, размышлял Николай, с созданием своего журнала он сможет получить дополнительный заработок. Идея организации журнала созрела в голове Гумилёва еще в октябре. С будущим художником журнала Гумилёв познакомился на Осеннем салоне русских художников, устроенном Сергеем Дягилевым в 1906 году. На выставке экспонировались работы Бакста, Врубеля, Бенуа, Коровина, Ларионова, Судейкина, Рериха, Сомова, Серова и многих других. Николай Степанович подошел к картине Михаила Ларионова, которая ему понравилась, и поделился своими впечатлениями со стоявшим возле этой картины человеком. Им оказался художник Мстислав

Фармаковский.

Мстислав Федорович родился в Пензе, детство провел в Симбирске. Его отец был помощником И. Н. Ульянова. Мстислав Фармаковский дружил с Владимиром Ульяновым, и это в последующие смутные года, видимо, спасло ему жизнь. Мстислав очень рано начал рисовать, потом окончил в Одессе рисовальную школу, историко-филологический факультет Новороссийского университета с золотой медалью и защитил дипломную работу по теме «Известия Геродота о скифах и стране, ими занимаемой». Молодой художник продолжил образование в Дюссельдорфской академии художеств. Жил Фармаковский то в Одессе, то в Петербурге, помещал свои рисунки в одесском детском журнале «Звон» и в литературно-художественном сборнике, выпущенном в 1906 году в Одессе. Узнав все это, Гумилёв решил уговорить Фармаковского войти в число создателей русского журнала в Париже. Идея Мстиславу Федоровичу понравилась, и он пообещал пригласить способных молодых художников. Фармаковский был одаренным рисовальщиком, прекрасным графиком и акварелистом. Он привлек для участия в журнале интересных русских художников А. И. Божерянова, С. И. Данилевского, Я. И. Николадзе, А. И. Финкельштейна. Решено было печатать журнал только на бумаге высших сортов.

Гумилёв хотел заинтересовать журналом известных писателей, таких как В. Я. Брюсов, но с этой затеей у него ничего не вышло. Мэтры не захотели поддержать начинание молодежи. Но Николай Степанович не огорчился. В его маленькой квартире на улице Гаитэ, 25 в конце декабря 1906 года прошло первое заседание редколлегии. Решили создать три отдела. Гумилёв кроме общего руководства взял на себя заведование литературным отделом. Художественный отдел вел Александр Иванович Божерянов, а критический — Мстислав Федорович Фармаковский. В первом номере молодые члены редакции решили обнародовать свой манифест. Написать его поручили Николаю Гумилёву.

Вскоре на очередном заседании редакции поэт торжественно его провозгласил:

«Издавая первый русский художественный журнал в Париже, этой второй Александрии утонченности и просвещения, мы считаем долгом познакомить читателей с нашими планами и взглядами на искусство. Мы дадим в нашем журнале новые ценности для изысканного миропонимания и старые ценности в новом аспекте. Мы полюбим все, что даст эстетический трепет нашей душе, будет ли это развратная, но роскошная Помпея, или Новый Египет, где времена сплелись в безумье и пляске, или

золотое Средневековье, или наше время, строгое и задумчивое. Мы не будем поклоняться кумирам, искусство не будет рабыней для домашних услуг. Ибо искусство так разнообразно, что свести его к какой-либо цели, хотя бы и для спасения человечества, есть мерзость перед Господом».

Манифест его новые друзья одобрили, и он был опубликован как обращение от редакции. Журнал решили назвать «Сириус», чтобы придать ему больше таинственности. Так как авторов было мало (впрочем, как и денег на издание), журнал получился тоненьким — всего в десять листов, зато большеформатным, больше чем журнал «Весы». Гумилёв опубликовал в первом номере начало повести «Гибели обреченные» (которую он так и не закончил), «Неоромантическую сказку» и фантастически-мистический рассказ «Вверх по Нилу». В это время он подписывал свои произведения не только своей фамилией, но и псевдонимами А. Грант, К-о. На титульном листе журнала сообщалось: «Двухнедельный журнал Искусства и Литературы». Планировалось, что журнал будет выходить каждые две недели, станет популярным и будет раскупаться. Журнал увидел свет в середине января 1907 года.

В этом же номере журнала Николай Степанович поместил свое стихотворение «Франция», в котором отразились впечатления от увиденного в Париже, особенно от посещения Пантеона, воздвигнутого на самом высоком месте левого берега Сены, по преданию, над могилой святой Женевьевы. Здание было построено в 80-х годах XVIII века как церковь Святой Женевьевы, но в 1791 году Национальное собрание Франции превратило его в Пантеон для погребения выдающихся людей. Мирабо первым был удостоен чести быть погребенным в нем 15 апреля 1791 года. Потом здесь был перезахоронен Вольтер, погребен Виктор Гюго… Побывал Николай и в церкви, расположенной за Пантеоном, а в библиотеке Святой Женевьевы стал постоянным читателем. В ту пору в библиотеке уже насчитывалось более двухсот тысяч книг и триста пятьдесят рукописей, а также пять тысяч портретов.

Вспоминая поразивший его своим величием Пантеон, поэт написал:

О, Франция, ты призрак сна,
Ты только образ, вечно милый,
Ты только слабая жена
Народов грубости и силы.
……..
Где пел Гюго, где жил Вольтер,
Страдал Бодлер, богов товарищ,

Там не посмеет изувер
Плясать на зареве пожарищ.
И нет, не нам, твоим жрецам,
Разбить в куски скрижаль закона
И бросить пламя в Notre Dame,
Разрушить стены Пантеона…

Стихотворение «Франция» (1907), конечно, весьма слабое, поэт позже нигде не печатал.

О своей радости — выходе журнала — Николай тотчас же сообщил Анне Горенко, потом матери и своему учителю Валерию Брюсову. Всем им он отправил пахнущий свежей типографской краской журнал «Сириус», свое первое детище.

Николай по-прежнему ищет секреты литературного мастерства. Так, в письме Брюсову в ответ на присланную мэтром новую книгу «Земная ось» молодой поэт сообщал учителю: «Идей и сюжетов у меня много. С горячей любовью я обдумываю какой-нибудь из них, все идет стройно и красиво, но когда я подхожу к столу, чтобы записать все те чудные вещи, которые только что были в моей голове, на бумаге получаются только бессвязные отрывочные фразы, поражающие своей какофонией. И я опять спешу в библиотеки: стараюсь выведать у мастеров стиля, как можно победить роковую инертность пера. Как раз в это время я работаю над старинными французскими хрониками и рыцарскими романами и собираюсь написать модернизированную повесть в стиле XIII или XIV века. Вообще мне кажется, что я накануне просветления, что вот рухнет стена и я пойму, а не научусь, как надо писать».

В начале 1907 года Гумилёв решил до конца прояснить отношения с Аней, поэтому, бросив все дела, раздобыв денег на самый дешевый поезд, он отправился в Киев. Анну Гумилёв нашел на Меринговской улице, в доме ее кузины Марии Александровны Змунчиллы. Николай Степанович с увлечением рассказывал Ане о музеях Лувра, где можно часами бродить среди греко-римских скульптур, бронзовых копий, античных статуй и саркофагов, где есть африканский зал!

— Тебе обязательно надо все это увидеть самой, Аня! — восклицал Гумилёв. — Я просто не могу перечислить все чудеса, которые я лицезрел в одном только Лувре. Это огромная страна искусств. Я уверен, что ты бы захотела побывать и в музеях скульптуры, и Средних веков, и Возрождения, во французских павильонах XVI–XIX веков. А в Музее азиатских древностей я бы тебе показал сокровища из дворца Санхериба, ты бы увидела

огромных крылатых быков, которые стояли у входа в этот древний храм…

Аня только вздыхала:

— У меня не хватило денег даже на поездку в Петербург, не то что в Париж!

— Деньги мы достанем. Ты ведь знаешь, что я тебя люблю и готов пойти на все, чтобы устроить твое счастье. Я прошу тебя стать моей женой!

— Но возможно ли это? — спросила Аня. — Ведь отец мой не даст согласия на брак.

— Мы обвенчаемся тайно! Я увезу тебя в Париж! Ты согласна? Согласна?..

Аня, опустив голову, чуть слышно, покорно, словно соглашалась с неизбежным, ответила: «Да».

Казалось, солнце блеснуло в глазах у Гумилёва. Счастье и любовь ослепили его, и он не видел, как с тихой грустью глядела на него эта уже вкусившая запретную и безответную любовь молодая женщина. Он готов был плясать от счастья, а она — плакать от сожаления… Чтобы хоть как-то скрыть свою холодную печаль, Аня сказала:

— Хочешь, я почитаю тебе новые стихи? — И стала читать, тихо и исподлобья поглядывая на Гумилёва:

На руке его много блестящих колец —
Покоренных им девичьих нежных сердец.

Там ликует алмаз, и мечтает опал,
И красивый рубин так причудливо ал.

Но на бледной руке нет кольца моего.
Никому, никогда не отдам я его.

Мне сковал его месяца луч золотой
И, во сне надевая, шепнул мне с мольбой:

«Сохрани этот дар, будь мечтою горда!»
Я кольца не отдам никому, никогда.

(«На руке его много блестящих колец….», 1907)

— Прекрасное стихотворение. Знаешь, я его обязательно опубликую во втором номере «Сириуса»…

Он был счастлив и слова любимой ловил, как священную музыку, как молитву, не понимая порой разумом смысла сказанного. Он хотел услышать от Ани признание «Я люблю

тебя!». Но именно этого короткого жгучего слова «люблю» и не сорвалось с ее губ… Она была всего лишь согласна.

Гумилёв вернулся в Париж на крыльях собственной любви. Он посещал литературные салоны, выступления молодых поэтов. На одном из вечеров в салоне художницы Кругликовой какая-то дама читала его стихи. На традиционном четверговом вечере Николай познакомился с начинающим поэтом Александром Биском. Он обратился к нему с вопросом:

— Не хотели бы вы, Александр Акимович, опубликовать ваши «Парижские сонеты» в новом журнале «Сириус», который мы начали издавать в Париже? Первый номер успешно разошелся, готовится второй.

Биск согласие дал, и его стихи были опубликованы во втором номере. Однако издательская деятельность Гумилёва вскоре потерпела фиаско. На третьем номере журнал «Сириус» прекратил свое существование. От журнала у Гумилёва остались только приятные воспоминания и его портрет, написанный художником Мстиславом Фармаковским, где Николай был изображен во фраке и с веером в руке — молодой романтик с задумчивым взглядом…

Анна, дав согласие на брак, совсем не жаждала стать женой. Она воспринимала ухаживания Гумилёва как отдушину в серой и безысходной провинциальной скуке. Она пишет 2 февраля 1907 года фон Штейну: «…Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилёва. Он любит меня уже три года, и я верю, что моя судьба быть его женой. Люблю ли его, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Помните у В. Брюсова: „Сораспятая на муку, / Враг мой древний и сестра, / Дай мне руку! дай мне руку! / Меч взнесен. Спеши. Пора“. И я дала ему руку, а что было в моей душе, знает Бог и Вы, мой верный…» А что же творилось в душе семнадцатилетней гимназистки? Она об этом сообщает в этом же письме: «Хотите знать, почему я не сразу ответила Вам: я ждала карточку Г.-К. и только после получения ее я хотела объявить Вам о своем замужестве. Это гадко, и чтобы наказать себя за такое малодушие, я пишу сегодня, и пишу все, как мне это ни тяжело… Не говорите никому о нашем браке. Мы еще не решили ни где, ни когда он произойдет. Это — тайна… Пришлите мне, несмотря ни на что, карточку Владимира Викторовича. Ради Бога, я ничего на свете так сильно не желаю».

Аня пишет о предстоящем замужестве и тут же с отчаянием умоляет о фотокарточке другого человека. Ей горько и тоскливо, что тот, другой, ее попросту не заметил. Ей кажется, что с Гумилёвым она может забыть об этой любви. И в другом письме она сообщает Штейну: «Мой Коля, кажется, собирается приехать

ко мне — я так безумно счастлива. Он пишет мне непонятные слова, и я хожу с письмом к знакомым и спрашиваю объяснение. Всякий раз, как приходит письмо из Парижа, его прячут и передают с великими предосторожностями. Затем бывает нервный припадок, холодные компрессы и общее недоумение. Это от страстности моего характера, не иначе. Он так любит меня, что даже страшно… Я стала зла, капризна, невыносима…»

Однако настроение умиления и умиротворения быстро проходит. И 11 февраля, получив от Штейна фото Голенищева-Кутузова, Горенко отвечает ему с тоской: «Отчего Вы думали, что я замолчу после получения карточки? О нет! Я слишком счастлива, чтобы молчать. Я пишу Вам и знаю, что он здесь со мной, что я могу его видеть, — это так безумно хорошо. Сережа! Я не могу оторвать от него душу мою. Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви! Смогу ли я снова начать жить? Конечно — нет! Но Гумилёв — моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете. Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной».

Конечно, Гумилёв не мог знать этих метаний Анны. Согласие Ани получено. Опубликовав ее стихотворение в «Сириусе», Николай Степанович поспешил отправить своей любимой несколько номеров. Аня Горенко своеобразно сообщила об этом фон Штейну: «Мое стихотворение „На руке его много блестящих колец“ напечатано во 2-м номере „Сириуса“… Зачем Гумилёв взялся за „Сириус“? Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение, сколько несчастиев наш Микола перенес, и все понапрасну. Вы заметили, что сотрудники почти все также известны и почтенны, как я? Я думаю, что нашло на Гумилёва затмение от Господа. Бывает!» И тут же в этом мартовском письме в переписке вопрос: «Когда кончается экзамен Г.-К.?» Ее все так же мучает пренебрегающий ею Голенищев-Кутузов, и она уже почти готова мстить за эту боль тому, кто любит ее и нуждается в ее любви.

В конце апреля 1907 года Николай Степанович едет в Россию, так как достиг призывного возраста, ему пошел двадцать второй год. По дороге он останавливается в Киеве. Снова встреча с Аней и туманные обещания на будущее. Почувствовал ли Гумилёв неискренность пока еще, увы, псевдоневесты? Нет, он наивно радовался жизни, строил планы.

15 мая, в светлый и тихий весенний день Гумилёв оказался в маленькой гостинице возле Санкт-Петербургского вокзала. Отсюда он и отправился в гости к своему учителю Брюсову в

редакции «Скорпиона» и «Весов», которые располагались в двух комнатах на чердаке знаменитой гостиницы «Метрополь». В начале века на этом чердаке вершились судьбы начинающих литераторов, жаждавших признания. Отсюда либо выходили окрыленными с чувством причастности к божественным высотам поэзии, либо понуро плелись под тяжестью безжалостного приговора отвергнутости. Немудрено, что Гумилёв шел к Брюсову в сильном волнении. Валерий Яковлевич пренебрег злобным письмом Гиппиус и внимательно следил за развитием таланта молодого поэта. Говорили долго. Брюсов расспрашивал о французских поэтах. Потом разговор перешел на оккультные темы, Николай Степанович рассказал об опыте вызывания Люцифера и о своей непонятной тоске после спиритических сеансов. О том, что эзотерические знания пока ему слишком трудно поддаются и это мешает работе. Впрочем, Николай Степанович тут же сообщил, что написал несколько рассказов и пьесу. Учитель рассказами заинтересовался и попросил прислать их ему.

В редакции работали секретарь журнала Бронислава Матвеевна Рунт (свояченица Брюсова) и его супруга Иоанна Матвеевна. Гумилёв произвел на сестер впечатление своим необычным заграничным костюмом, а больше всего манерой держаться гордо и вместе с тем подчеркнуто вежливо. За чаем завязалась оживленная беседа. Гумилёв удивил сестер тем, что завел разговор не о поэзии, печатании или гонораре, а о том, как плыл на океанском пароходе и попал в сильную бурю, как побывал на таинственном острове Таити с обворожительно гибкими таитянками. Потом рассказывал о Париже, о дягилевском балете. Гость покорил сестер эрудицией, зоркой памятью ученого и поэта. О всемирно известных музеях он говорил как искусствовед, о старинных рукописях — как ученый. Беседа длилась долго, и после чаепития Валерий Яковлевич пошел провожать гостя в гостиницу, чего никогда и ни для кого не делал. В дневнике об этом вечере Брюсов записал следующее: «15 мая. Приезжал в Москву Н. Гумилёв… Говорили о поэзии и об оккультизме. Сведений у него мало. Видимо, он находится в своем декадентском периоде. Напомнил мне меня 1895 года».

Гумилёв вернулся в Царское Село окрыленный и вскоре отправился вместе со всей семьей в Березки.

28 мая 1907 года Аня Горенко получила аттестат об окончании Фундуклеевской гимназии и уехала в Севастополь. Врач рекомендовал ей из-за заболевания легких климат юга. Узнав об этом, Гумилёв поспешил за ней, он надеялся, что оттуда

они вернутся вместе. Однако Аню как будто подменили. Объяснение произошло на берегу моря. Прямо перед ними волны омывали тела мертвых дельфинов.

— Боже, какой ужас, — сказала она.

Предложение Гумилёва стать его женой прозвучало невпопад. Она ответила мертвящим шепотом:

— Ах, нет, я не могу.

Анна Горенко избегала встреч и объяснений. По вечерам она таинственно исчезала.

Николай Степанович проводил вечера с Андреем — братом Ани. Рассказывал ему о Париже, о Сорбонне и в конце концов так увлек друга, что тот окончательно решил с осени ехать учиться во Францию. Гумилёв оставил ему свой адрес, и они договорились предварительно списаться друг с другом. Гуляя вместе по берегу моря, молодые люди однажды незаметно перешли к разговору об Ане.

— Я бы посоветовал тебе, — сказал Андрей, — оставить ее. Сестра запуталась в своих романах.

— А что, у нее кто-то есть? — с волнением спросил Гумилёв.

Андрей не ответил и разговор оборвался. Но вскоре Николай Степанович узнал, что его невеста давно не невинна, что увлечения мужчинами у нее меняются, как погода у моря. Он был так поражен этой новостью, что не мог несколько дней ни с кем разговаривать… Аня его появлению не обрадовалась, выглядела усталой и разбитой. Ни о стихотворении «Доктор Эфир», которое он накануне дал ей почитать, ни о его предложении почитать новую пьесу «Шут короля Батаньоля» говорить не стала, сославшись на головную боль. Он все понял по ее глазам, поведению. Ему не было места в жизни этой заблудившейся женщины. Николай отправился к морю. Легкие волны с шипением разбивались у его ног.

Он шел вдоль берега, лист за листом разрывая рукопись и швыряя ее обрывки в равнодушно набегающие волны.

На другое утро Гумилёв, попрощавшись с Андреем, уехал из Севастополя. Ему казалось, что жизнь кончена.

Вернувшись в Березки, Николай Степанович объявил о своем скором отъезде, так как у него якобы открылись неотложные дела. И мать, и сестра Шура видели, что Николай не в себе, но что-либо узнать от него не смогли.

В первых числах июля Гумилёв уже был на борту парохода «Олег», который шел из Одессы в Константинополь. Он много слышал об этом удивительном городе, в том числе и от своего отца. Один из самых древних городов мира, насчитывавший в своей истории более двадцати веков, вызывал у Гумилёва

мистический восторг. Он бродил по узким кривым улочкам старого города и однажды увидел селямлык — торжественную пятничную церемонию следования турецкого султана Абдул Хамида II в мечеть из дворца Иылдыза. Султан на белом коне важно шествовал среди коленопреклоненных подданных. Молодой поэт увидел храм Айя Софьи, побывал и возле Семибашенного замка (Едикуле), у входа в здание Высокой порты. Бродил среди уцелевших башен крепости Румяли Хисар и Анадолу Хисар, расположенных у самой воды. Непривычно среди мусульманских построек выглядели христианские церкви Пантократора (Вседержителя), построенная в VII веке, и Паммакаристи (Божьей Матери Всеблаженнейшей), сооруженная в XII–XIV веках.

Недельное пребывание в Константинополе отвлекло его от личных неурядиц, но, к сожалению, ненадолго. Николай Гумилёв вернулся в Париж. По поводу настроения, которое завладело в июле 1907 года его душой, он написал в письме своему учителю Валерию Брюсову: «…не знаю как, не знаю зачем очутился в Париже. В жизни бывают периоды, когда утрачивается сознание последовательности и цели, когда невозможно представить своего „завтра“ и когда все кажется странным, пожалуй, даже утомительным сном».

В Париже Гумилёв снял новую квартиру на улице Бар***а***, 1.

Жаркие летние дни изматывали его. Он уехал в Трувиль, бродил по раскаленным пустынным улицам, выходил к морю. Однажды привлек внимание полицейских своим отрешенным, странным видом, когда блуждал в Трувиле по пустынному берегу. Может быть, здесь он хотел свести счеты с жизнью. Мысль о самоубийстве становилась навязчивой.

Как-то в Париже, в темнеющем парке Бьютт де Шамон, плохо соображая, что он делает, Гумилёв лег на землю, открыл лезвие перочинного ножа и, зажмурившись, полоснул себя по руке. В последний момент обожгла мысль: «А мама, мама! Что она подумает?» Он потерял сознание. Но на этот раз ангел-хранитель уберег его от смерти. Очнулся Николай Степанович, когда начало светать. Обессиленный от потери крови, с тонким противным звоном в ушах, он ощутил, что Господь не хочет его смерти. Завязав руку платком, он медленно направился к выходу из парка.

Однако угнетенное расположение духа не покидало его. Николай Степанович сообщает Брюсову, что раздумал издавать сборник стихов, так как недоволен тем, что написал. Возможно, его ободрил приезд 5 сентября в Париж друга Андрея Горенко, который поселился в его квартире. Втайне он надеялся, что

Андрей привезет ему какие-то добрые вести от Ани, но Горенко о сестре разговор не заводил, а Николай Степанович не рисковал спрашивать.

Гумилёв снова стал посещать русские салоны, бывать в гостях у художницы Елизаветы Сергеевны Кругликовой на улице Буассонад.

Однажды в мастерской художника Себастьяна Гуревича его познакомили с молодой поэтессой Дмитриевой.

— Елизавета Ивановна, — представил ее хозяин, когда Гумилёв вошел в мастерскую. — Пишу портрет. Рекомендую вам интересного собеседника.

Гумилёв представился и разговор зашел о Царском Селе. Дмитриева слушала не перебивая, а потом просила:

— А не могли бы вы прочитать что-то из своих стихов?

Гумилёв прочел из последнего:

Мне снилось: мы умерли оба,
Летим с успокоенным взглядом.
Два белые, белые гроба
Поставлены рядом…

(«Мне снилось: мы умерли оба…», 1907)

— Хорошо, но печально. Неужели жизнь хуже смерти? — отозвалась девушка.

— Бывает, иногда так складывается жизнь, что делается невыносимой.

В этот день они договорились втроем пойти поужинать в каком-нибудь кафе. Выбрали кафе на бульваре Святого Мишеля поблизости от Люксембургского сада.

— Я первый раз в жизни оказалась в ночном кафе, — призналась Елизавета.

— Тогда это обязательно следует отметить хорошим кофе, — воскликнул Гумилёв, — и еще кое-чем…

— Чем же?

Гумилёв огляделся по сторонам, увидел неподалеку маленькую цветочницу с огромными букетами пушистых свежесрезанных гвоздик и выбрал самый красивый.

— От чистого сердца в память о нашей сегодняшней встрече! — Он протянул цветы Елизавете.

— О, как вы любезны, — смущенно проговорила она.

За кофе они просидели до глубокой ночи. Гумилёв говорил, как ни странно, о Пресвятой Деве, ее исключительном влиянии на судьбу России. Поздно ночью они втроем отправились гулять к Люксембургскому саду.

Вряд ли, расставаясь, Николай Степанович и Елизавета Дмитриева думали, что встретятся вновь. Но судьбе угодно было их свести снова и испытать самым странным образом, но уже далеко от Парижа, в России.

На вечерах у Елизаветы Кругликовой Гумилёв познакомился с поэтом Максимилианом Волошиным и писателем Алексеем Толстым. Постепенно боль любовных переживаний начала утихать. Он все реже ходил на бульвар де Севастополь, расположенный на правой стороне Сены и столь напоминавший ему по названию Севастополь и Анну. Гумилёв гасил чувства, используя каждую минуту для работы: появляются новые стихи: «Заклинание», «Ягуар», «Диалог». Познакомившись на концерте с японской артисткой Сада-Якко, он посвящает и ей поэтические строки. Но грустные мысли прорываются в стихах. Названия их говорят сами за себя: «За гробом», «Самоубийство».

Теперь в Париже излюбленным местом прогулок становится Музей естественной истории, который располагался на огромной площади (более тридцати гектаров) в юго-восточной части города на левом берегу Сены напротив Аустерлицкого моста и станции Орлеанской железной дороги, ведущей в Бордо. Сад был устроен еще в 1635 году Лабрассом. Гумилёв любил бывать в той части сада, которая называлась Швейцарской долиной и простиралась до небольшого холма, именуемого Лабиринтом. Здесь располагался Зоологический сад, где содержались редкие звери со всего мира: разные виды обезьян, верблюды, африканские слоны, гиппопотамы, русские медведи, круглый год в птичнике пели пернатые разных континентов. Гумилёв с детства любил экзотических зверей из далеких стран. В зверинце Парижского ботанического сада больше всего ему понравился жираф с огромными печальными глазами. Николай часто подолгу смотрел на него. От неизбывного одиночества ему хотелось поговорить с ним, и сами собой родились строки:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Почему именно на озере Чад, Гумилёв не мог объяснить. Озеро находилось в центре Африки, о нем поэту рассказывали его новые темнокожие знакомцы. Там все сказочно и волшебно. Там — свобода и любовь. Гумилёв мечтал побывать в стране своих поэтических грез:

Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя.
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя.
И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав…

Он пишет свой первый африканский цикл, приходя в Зоологический сад, о чем сообщает Брюсову. Кроме «Жирафа» появляются стихи «Носорог» и «Озеро Чад». Но и в них прокрадывается мотив смерти.

Первые осенние месяцы проходят в творческом горении. Но Анна!.. Мысли о ней не дают ему покоя. Тем более что он знает об ее письмах к брату Андрею. Николай снова надеется, что Анна передумала за то время, что они не виделись, и теперь-то изменит решение. Гумилёву в октябре надо быть в Царском Селе на комиссии для освидетельствования на предмет службы в армии. От Андрея он узнал, что в октябре Аня будет в Киеве, и решил перед Царским заехать к ней.

Расставшись летом с Гумилёвым, Анна Андреевна скучала не о нем, а о ставшем недосягаемым Петербурге. Денег, чтобы туда попасть, у нее не было. Отец в гости не звал, он обзавелся новой семьей. Поэтому, когда появлялись деньги, Аня уезжала из Севастополя в менее скучный Киев. Теперь он ей уже не казался таким серым. Тем более что в то время здесь гремел театр Словцова, куда на сезон 1907/08 года приехал работать известный в России режиссер Константин Марджанов. Молодежь сюда привлекало новшество — спектакли-лекции. Уютный в голубом бархате занавеса и лож зал, освещенный уже электричеством, всегда заполнялся до отказа. На сцену выходили популярные профессора и рассказывали о театре. По ходу рассказа шли сцены из пьес, иллюстрировавшие лекцию. Причем Марджанов сделал сцену вращающейся, что было для Киева тех лет открытием. Аня по приезде всегда брала билеты в театр Словцова, благо ее кузина жила рядом. Бывала она и в Оперном театре, где в тот сезон выступали великие певцы Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Титто Руффо.

Приезд Гумилёва 13 октября 1907 года оказался для нее некстати. Между ними состоялся долгий разговор.

— Ты помнишь, — спросил Николай, — тех мертвых дельфинов у моря?

Она, конечно, их запомнила… И вновь тяжелое, темное

чувство проснулось в ее душе. «И зачем он опять об этом заговорил», — с досадой подумала она. Но Гумилёв, не заметив мелькнувшее в глазах Анны отчуждение, сказал:

— Я написал стихотворение и назвал его «Отказ»:
Царица иль, может быть, только печальный ребенок,
Она наклонялась над сонно вздыхающим морем,
И стан ее, стройный и гибкий, казался так тонок,
Он тайно стремился навстречу серебряным зорям.

Сбегающий сумрак. Какая-то крикнула птица,
И вот перед ней замелькали на влаге дельфины.
Чтоб плыть к бирюзовым владеньям влюбленного принца,
Они предлагали свои глянцевитые спины.

(1907)

Анна Андреевна слушала молча. Быть может, она думала о том, что лето ушло, а впереди — зима. На морском берегу стало совсем пустынно и одиноко. Наверное, в прошлое возврата быть не может. И сам Николай остался в прошлом: в давнем Царском Селе и около того, заледеневшего моря. Зябко поежившись, она вынесла холодный, как октябрьская морская вода, приговор: «Я не стану вашей женой!»…

Гумилёва как будто окатило ледяной волной с головы до пят и унесло в открытое море разлуки…

В Царском Селе медицинская комиссия была к нему также безжалостна. После тщательного обследования 30 октября ему выдали свидетельство, в котором значилось: «Сын статского советника Николай Степанович Гумилёв явился к исполнению воинской повинности при призыве 1907 года и, по вынутому им № 65 жребья, подлежал поступлению на службу в войска, но, по освидетельствованию, признан совершенно неспособным к военной службе, а потому освобожден навсегда от службы. Выдано Царскосельским уездным по воинской повинности Присутствием».

Отвергнутый любимой женщиной, записанный в белобилетники, Гумилёв возвратился в Париж в подавленном настроении. Покидая Киев, он оставил в редакции журнала «В мире искусства» стихотворение «Ужас». Его опубликовали в ноябрьском номере. Ужас царил и в душе Гумилёва. Он судорожно соображал, как уйти от жестоких ударов судьбы. Чувства, переданные в «Ужасе» (1907), им прочно овладели:

В угрюмом сне застыли веши.
Был странен серый полумрак,
И, точно маятник зловещий,
Звучал мой одинокий шаг.
…….
Я подошел, и вот мгновенный,
Как зверь, в меня вцепился страх:
Я встретил голову гиены
На стройных девичьих плечах.

На острой морде кровь налипла,
Глаза зияли пустотой,
И мерзко кралсяшепот хриплый:
«Ты сам пришел сюда, ты мой!»…

Гумилёв снова скитается по отдаленным кварталам Парижа. Однажды забрел в Булонский лес. Это было любимое место гуляний парижан. В великолепных конных экипажах, на автомобилях сюда днем приезжали аристократы и состоятельные буржуа. По аллеям парка бродили влюбленные пары, свободные художники и поэты. В вечерние часы лес пустел. В одно из таких одиноких блужданий Николай Степанович попытался в очередной раз свести счеты с жизнью. Он рассказал об этом Алексею Толстому, сидя с ним в парижском кафе под каштанами, разговаривая о стихах, будущей славе, исчезнувшей Атлантиде и строя утопические планы по доставанию парусного корабля, чтобы отправиться на нем в плавание под черным флагом. По словам Гумилёва, он уже год носил с собой цианистый калий величиной с половину сахарного куска.

Именно в Булонском лесу он положил на язык яд, лег на траву и, глядя на причудливые белые облака, ждал смерти. Были слабость и тошнота.

Это последняя известная попытка Гумилёва покончить с жизнью. Он понял, что Всевышний не желает его смерти.

Он посещал выставки, ходил во Второй русский клуб художников, увлекся чтением французских хроник и рыцарских романов, пока не решил заняться прозой.

Брюсову он сообщил 30 ноября 1907 года: «…по приезде в Париж принялся упорно работать над прозой. Право, для меня она то же, что для Канта метафизика. Но теперь я наконец написал три новеллы и посвященье к ним, все неразрывно связано между собою. Наверное, завтра я пошлю их Вам заказным письмом. Нечего и говорить, что я был бы в восторге, если бы Вы

согласились печатать их в „Весах“, но, по правде сказать, я едва надеюсь на такую честь… Но если эти новеллы покажутся Вам вообще плохими или подражательными, то, может быть, Вы с Вашей обычной добротой не откажетесь откровенно сказать мне это, и я предам <их> забвению, как некогда „Шута короля Батиньоля“. Я знаю, что мне надо еще много учиться, но я боюсь, что не сумею сам найти границу, где кончаются опыты и начинается творчество. И теперь моя высшая литературная гордость — это быть Вашим послушным учеником как в стихах, так и в прозе».

Николай Степанович послал Брюсову новеллы «Радости земной любви», которые он посвятил Анне Андреевне Горенко. Гумилёв сумел найти в истории Средневековья колоритную фигуру Гвидо Кавальканти и его возлюбленную Примавере. Автор наделил ее теми качествами, которых не нашлось у Анны: это верность, любовь, самозабвение. В новелле благородный рыцарь умирает, о нем плачут вся Флоренция и нежная Примавера. Попав в рай, Кавальканти мечтает только о любимой. Готов поменять вечное блаженство на встречу с Примаверой на земле. Смысл новелл ясен, и неслучайно они адресованы Анне Горенко. Сам поэт готов отдать рай за любовь.

Гумилёв сомневается в успехе прозаического опыта, но Брюсов провидчески усмотрел в робких шагах ученика проблески будущего мастера и не только одобрил их, но и опубликовал в четвертом номере «Весов» в 1908 году.

Обнадеженный первыми успехами, Гумилёв начал работать над составлением сборника прозы. Но работа продвигалась медленно. Следующую новеллу «Золотой рыцарь» поэт написал только в декабре 1907 года. В это же время он начинал рыцарскую повесть, так и недописав другую — «Гибели обреченные». Действие «Золотого рыцаря» автор переносит во времена крестоносцев на берег Восточного Ливана. Все его герои — и граф Кентерберийский Оливер, и сэр Гуго Эльвистам, и герцог Нотумберландский — взяты им из хроник в парижских библиотеках и относятся к эпохе короля Ричарда Львиное Сердце. Сюжет повести незамысловат. Рыцари погибают на турнире, но на турнир они выходят с самим солнцем. Гумилёв нарисовал в повести романтически-мистическую сцену. «Их убило солнце, — говорит ученый-медик, — но не грусти, король, перед смертью они должны были видеть чудные сны, каких не дано увидать нам, живым».

Весной следующего года Гумилёв написал новую новеллу «Принцесса Зара». Действие происходит в Африке. Сюжет ее также прост. Сын вождя племени Зогар пробирается к принцессе в

Занзибар. Великий Жрец указал ему на то, что именно она — Светлая Дева Лесов — божество, но таковым она может быть, если только чиста и невинна. Принцесса не понимает, о чем говорит юноша, и, решив его испытать, оговаривает себя, что уже вкусила с европейцем земную любовь, которую может подарить и ему. Юноша от отчаяния заколол себя. Развязка драмы — снова смерть! Если вспомнить, что именно в это время Гумилёв узнает о другом увлечении Анны, то сюжет очень напоминает его личные переживания.

В феврале 1908 года Гумилёв закончил еще одну новеллу «Дочери Каина». Сам Николай Степанович определил ее как философско-поэтический диалог, смесь Платона с Флобером. Однако в окончательном варианте, который так и не был опубликован при его жизни, поэт пошел по пути средневековой легенды и сделал местом действия снова эпоху рыцарских Крестовых походов времен все того же короля Ричарда Львиное Сердце. Герой новеллы сэр Джемс попадает в мир, где семеро дочерей Каина стерегут хрустальный гроб с заснувшим странным сном отцом. Джемс влюбляется в девушек, но ему отказано в счастье, и лишь смерть избавляет его от постылой жизни. «И умер он, не захотев причастья, зная, что ни в каких мирах не найдет он забвенья семи печальных дев».

Смерть витает и над другой его новеллой, написанной последней парижской весной. Это «Черный Дик». Черный Дик — развратник, он пропил свой серебряный крестик — отдал душу дьяволу, и тот заставляет его совершать темные дела. Пророческие слова говорит в новелле пастор: «Не может существо, созданное по образу Бога, родиться от дьявола. Да и дьявол живет только в озлобленном сердце».

И еще одну весеннюю новеллу 1908 года Гумилёва венчает смерть — это «Скрипка Страдивариуса». Обезумевший мэтр Паоло Белличини уничтожает скрипку Страдивариуса и сам умирает без покаяния. И только в другой новелле «Последний придворный поэт» Гумилёв оставляет в живых своего героя, но этот герой — поэт.

Как ни хотелось Гумилёву издать книгу новелл, но мечте этой не суждено было сбыться при жизни. Не потому ли, что много было в этих рассказах смерти?!

Декабрь 1907 года был для поэта насыщенным, он занялся подготовкой новой книги стихотворений. К тому времени уехал в Россию Андрей Горенко, уставший жить в постоянной нужде. Покинул Францию Мстислав Фармаковский. Да и сам Гумилёв стал задумываться: стоит ли ему сидеть в Париже без дела, ведь

журнал потерпел крах?

К концу 1907 года у молодого поэта было написано достаточно стихов, чтобы составить новую книгу, и лишь перепады настроения мешали довести рукопись до издательской готовности. Но к декабрю хандра прошла.

В Париже одна за другой открывались выставки русских художников. Николай Степанович присутствовал в числе приглашенных на открытии выставки, которую организовала княгиня М. К. Тенишева, художница, коллекционер и меценат. Гумилёву о ней рассказал художник Н. К. Рерих, участвовавший в росписи церкви в смоленском имении княгини. С самим Рерихом поэт познакомился на открытии выставки «Нового русского искусства», состоявшемся также в декабре 1907 года в Париже. Николаю Степановичу весьма понравилась эта выставка. В статье, опубликованной в журнале «Весы», Гумилёв писал: «…Устроители хотели здесь представить ту часть русского искусства, которая занимается воскрешением старинного стиля и, что еще интереснее, — старинной жизни… Королем выставки является, бесспорно, Рерих (выставивший 89 вещей). Мне любопытно отметить здесь его духовное родство с крупным новатором современной французской живописи, Полем Гогеном. Оба они полюбили мир первобытных людей с его несложными, но могучими красками, линиями, удивляющими почти грубой простотой, и сюжетами дикими и величественными, и, подобно тому как Гоген открыл тропики, Рерих открыл нам истинный север, такой родной и такой пугающий…»

В своей заметке поэт не просто дает репортажную зарисовку с места событий, а выступает как искусствовед.

Но увлекаясь историей, поэзией, рыцарскими романами и оккультизмом, Гумилёв совсем не интересовался политикой. В одном из писем Брюсову в декабре 1907 года он честно признался: «Сейчас получил номер „Раннего утра“ с моей „Гиеной“ и очень благодарю Вас за напечатание ее. Сама идея мне показалась симпатичной, но я настолько наивен в делах политики, что так и не понял, какого она направления. Но, кажется, „приличного“, единственного, которому я теперь сочувствую». Таким он и остался до конца жизни.

Во второй половине декабря книга стихотворений была готова, и Гумилёв отдал ее печатать, о чем поспешил 25 декабря уведомить своего учителя. Именно слово «учитель» Николай Степанович подчеркнул особо: «Я люблю называть Вас своим учителем, и действительно, всему, что у меня есть лучшего, я научился у Вас…» Трудно переоценить роль Брюсова в судьбе поэта Гумилёва. Он поддержал его в самые трудные дни раннего

творчества. И наверняка поддержка Валерия Яковлевича остановила Гумилёва у последней черты, когда любовь его была так коварно отвергнута.

В начале декабря 1907 года Гумилёв написал важное для понимания всего его творчества стихотворение «Волшебная скрипка», посвященное Валерию Брюсову. Поэт так им дорожил, что согласился изъять из печатающегося сборника, лишь бы оно прозвучало вначале со страниц такого авторитетного журнала, как «Весы». В стихотворении речь шла о глубинном значении искусства:

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
Что такое темный ужас начинателя игры!

Эти слова явно обращены к самому себе. В образе скрипки выступает поэзия, которая является одновременно и высшим блаженством, и смертельным заклятьем:

Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей;
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.

Кто эти бешеные волки? Уж не Гиппиус ли с Мережковским, которые осмеяли молодой талант?

Но самое главное в «Волшебной скрипке» — это:

Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,
Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,
И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном,
И когда пылает запад, и когда горит восток.

Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье,
И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, —
Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленье
В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь.
……
Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ!

Но я вижу — ты смеешься, эти взоры — два луча.
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

И венчает всё смерть. И в поэзии поэт утверждает право творить ценой собственной жизни. Позже к «волкам» и «волшебной лютне» Гумилёв обратится в драме «Гондла», а на волшебной скрипке будет играть поэт Гафиз, обладающий чудодейственной силой, в драме «Дитя Аллаха».

После создания «Волшебной скрипки» в мир пришел настоящий поэт — волшебник слова, покоривший читателей прекрасной музыкой стиха. А в Париже главным итогом двухлетнего пребывания можно считать тоненькую книгу в зеленой обложке, вышедшую тиражом триста экземпляров, которая увидела свет в середине января 1908 года. Гумилёв включил в нее тридцать два стихотворения. Если в работе над новеллами в его воображении витал дух смерти, то здесь — дух «романтического дьявола». Сеансы оккультизма, знакомство с парижскими химерами, попытки познать эзотерические тайны мира не прошли даром. Книга называлась с изыском и молодым запалом, по-джентльменски — «Романтические цветы». Вспомним, что до гумилёвских «Цветов» в Париже родились «Цветы зла» Шарля Бодлера, ученика и друга Теофиля Готье. Мог ли пройти мимо этого романтик? Нет! Только он сознательно противопоставил поэзии зла поэзию красоты земных страстей и странствий, поэзию любви, разлуки, мечтаний и красивой возвышенной смерти! По сути, сборник явился отражением двух фактов в жизни и творчестве Гумилёва: желание заглянуть в неведомый, магический, потусторонний мир и неразделенная любовь к Анне Горенко. Во многих стихах сборника его рукой водила неутоленная страсть к стройной деве с «головой гиены». В других стихах «Цветов» поэт убеждает читателей, что в этом мире все одушевлено, у каждого существа и явления природы есть живая душа, — только посвященные знают об этом. Особняком в «Романтических цветах» стоит дьяволиада, где властвуют силы колдовства и потустороннего мира. Так, в стихотворении «Игры» (1907–1908) на растерзание зверям отдается израненный вождь аламанов: «…заклинатель ветров и туманов / И убийца с глазами гиены». Поэт, с упоением вырисовывая каждую деталь, живописует происходящее, будто сам все это видел и запомнил на всю жизнь:

Как хотели мы этого часа!
Ждали битвы, мы знали — он смелый.
Бейте, звери, горячее тело,
Рвите, звери, кровавое мясо!
Но прижавшись к перилам дубовым,
Вдруг завыл он, спокойный и хмурый,
И согласным ответили ревом
И медведи, и волки, и туры.
Распластались покорно удавы,
И упали слоны на колени,
Ожидая его повелений,
Поднимали свой хобот кровавый.
Консул, консул и вечные боги,
Мы такого еще не видали!
Ведь голодные тигры лизали
Колдуну запыленные йоги.

Он «отыскивает» в своих стихах «тайные пещеры», которые в детстве искал в далекой Поповке, но в стихах это — владение князя тьмы:

Под землей есть тайная пещера,
Там стоят высокие гробницы,
Огненные грезы Люцифера, —
Там блуждают стройные блудницы.
Ты умрешь бесславно иль со славой,
Но придет и властно глянет в очи
Смерть, старик угрюмый и костлявый,
Нудный и медлительный рабочий.

(«За гробом», 1907)

Огненный Люцифер из оккультных сеансов мрачных и темных студенческих комнат материализовался в сознании поэта, толкнув его на несколько попыток самоубийства, и, не доведя черное дело до конца, выплыл в поэтической строке. Впрочем, и Горенко делала попытку самоубийства и наверняка рассказала об этом Гумилёву. Не об этом ли говорят ее строки:

Красный шарик уронила
На вино в узорный кубок
И капризно помочила
В нем кораллы нежных губок.
И живая тень румянца

Заменилась тенью белой,
И как в странной позе танца,
Искривясь, поникло тело…

В другом стихотворении поэт прямо обращается к дьяволу как к своему старому другу в стихотворении «Умный Дьявол» (1906):

Мой старый друг, мой верный Дьявол,
Пропел мне песенку одну:
— Всю ночь моряк в пучине плавал,
А на заре пошел ко дну.

А можно ли вообще доверять «старому другу, умному Дьяволу»? Об этом поэт говорит так:

Он слышал зов, когда он плавал:
«О, верь мне, я не обману…»
— Но помни, — молвил умный Дьявол, —
Он на заре пошел ко дну.

Дьявольской игрой воображения можно объяснить и рождение стихотворения «Крест» (1906), которое Гумилёв не включил во вторую книгу. Спаявшийся игрок ставит на кон самое святое:

Мгновенье… и в зале веселой и шумной
Все стихли и встали испуганно с мест,
Когда я вошел, воспаленный, безумный,
И молча на карту поставил мой крест.

Гумилёв включает в свой сборник другое стихотворение «Пещера сна» (1906), где лирический герой опять ищет Люцифера:

Там, где похоронен старый маг,
Где зияет в мраморе пещера,
Мы услышим робкий, тайный шаг,
Мы с тобой увидим Люцифера…

В этих стихах поэт еще язычник, он встречает царя песнею

«Золотисто-огненное солнце».

Он совмещает образ дьявола с другим, который проглядывает во многих стихах, — это таинственная дева, «дева луны».

Что за бледный и красивый рыцарь
Проскакал на вороном коне
И какая сказочная птица
Кружилась над ним в вышине?

(«Влюбленная в дьявола», 1907)

Гумилёв, пройдя по кромке мрака и света, заглянув дьяволу в глаза, и в дальнейшем не откажется от этой смертельно опасной игры. В последнем прижизненном издании «Романтических цветов» появится еще более откровенное стихотворение «Баллада» (до конца 1918), где дьявол будет назван другом:

Пять коней подарил мне мой друг Люцифер
И одно золотое с рубином кольцо,
Чтобы мог я спуститься в глубины пещер
И увидеть небес молодое лицо.
……..
В тихом голосе слышались звуки струны,
В странном взоре сливался с ответом вопрос,
И я отдал кольцо этой деве луны
За неверный оттенок разбросанных кос.

«Дева луны» — это конечно же Горенко, встретившаяся с дьяволом и в этом стихотворении.

Но и сам автор готов, все забыв, кинуться вслед за этой «девой луны», он несется забыв все и вся. Он не только кольцо Люцифера готов отдать, но и свою жизнь. Но, увы, в мире дьявола все обман, и уж не его ли посланницей в мир Гумилёва пришла она?

И, смеясь, надо мною, презирая меня,
Люцифер распахнул мне ворота во тьму,
Люцифер подарил мне шестого коня —
И отчаянье было названье ему.

На мой взгляд, самым сильным по эмоциональному напряжению стихотворением сборника, конечно, можно считать «Выбор». Поэт провозглашает истину, которой следовал всю

жизнь, до последнего вздоха:

Не спасешься от доли кровавой,
Что земным предназначила твердь.
Но молчи: несравненное право —
Самому выбирать свою смерть.

Есть в сборнике стихотворение, в котором проглядывает давняя царскосельская гимназическая обида, когда учителя хвалили Коковцева, Кривича. Они парили и царили, были «белыми лебедями» современной поэзии в глазах местных обывателей, а Гумилёв представлялся «вороном черным» и презираемым «декадентом». В «Мечтах» (1907) автор припечатывает их своей чеканной строкой:

За покинутым бедным жилищем,
Где чернеют остатки забора.
Старый ворон с оборванным нищим
О восторгах вели разговоры.

Старый ворон в тревоге всегдашней
Говорил, трепеща от волненья,
Что ему на развалинах башни
Небывалые снились виденья.

Что в полете воздушном и смелом
Он не помнил тоски их жилища
И был лебедем, нежным и белым,
Принцем был отвратительный нищий.

Неразделенная любовь распылена по многим стихам сборника, таким как «Гиена», «Ужас». В «Ужасе» особенно поражает накал страстей лирического героя. Нет сомнения, что, когда поэт писал «Ужас», он ненавидел ту, которой посвятил эту книгу, — Анну Андреевну Горенко. Но!.. Не будь она такой неверной и коварной, многие стихи этой книги просто бы не родились…

Особое место в сборнике заняли стихи африканского цикла. Они создали как бы романтический противовес мрачным чувствам неразделенной любви и игры с потусторонней темной силой.

И все же сквозь мистику, язычество, остатки ницшеанства в «Романтических цветах» уже проглядывает православный поэт. Он

не свободен от юношеских заблуждений и дьявольских искушений, но пытается выйти на светлую дорогу. Он чист душою, и его ведут Ангелы и Всевышний.

Гумилёв с трепетом ждал, как отнесется к «Романтическим цветам» его учитель. Еще не получив книгу, он спрашивает в письме от 9 января 1908 года Брюсова, не согласится ли магазин издательства «Скорпион» взять под любой процент по цене пятьдесят копеек его книгу, выходящую тиражом в триста экземпляров, из которых пятьдесят он оставляет себе. Гумилёву неважно, сколько он выручит денег, он хочет знать, возьмет ли Брюсов на себя распространение его книги. Ибо это будет значить, что мэтр отнесся к «Романтическим цветам» благожелательно. И может быть, следующую книгу можно будет издать в «Скорпионе». Это было самой заветной мечтой молодого поэта.

28 января 1908 года еще пахнущую свежей типографской краской книжечку в шестьдесят четыре страницы Гумилёв отправляет своему учителю: один экземпляр подписанный, а другой для отзыва.

Радостное событие выхода книги было омрачено для Николая Степановича внезапной смертью его хорошего парижского знакомого Щукина, бывшего сотрудника «Весов». Иван Иванович был страстным коллекционером картин, но однажды ему подсунули за большие деньги фальшивые работы, тем самым практически разорив его. Щукин, не выдержав потрясения, застрелился.

Выпустив книгу, Гумилёв скоро увидел ее недостатки, ведь самым строгим критиком был он сам. Но положительный отзыв учителя привел его в восторг. Теперь можно было возвращаться в Россию, где била ключом литературная жизнь, где он сможет бывать в редакциях журналов и газет, печататься, общаться с литераторами. Николай Степанович, начитавшись парнасцев, оккультистов, насмотревшись картин Густава Моро, придумал (как он говорил) «забавную теорию поэзии», нечто вроде Малларме. Уж не прообраз ли будущего акмеизма бродил в его голове?! Ему надо было с кем-то поделиться этими мыслями, но в Париже это невозможно — не сложился круг общения, да и французский Гумилёва оставлял желать лучшего.

Расставаясь с Парижем, Гумилёв невольно отомстил Мережковским. На одном из вечеров в кафе де Аркур судьба свела Николая Степановича с m-lle Богдановой и он прочел ей несколько стихотворений. Особенно ей понравился «Андрогин». Когда Гумилёв дочитал последнюю строфу:

…И воздух — как роза, и мы — как виденья,
То близок к отчизне своей пилигрим…
И верь! Не коснется до нас наслажденье
Бичом оскорбительно-жгучим своим, —

она воскликнула: «Чудесно! Ах, как обворожительно! А не могли бы вы мне переписать его, я бы показала своей знакомой?»

— Кому, если не секрет? — спросил поэт.

— Вы, верно, знаете ее. Это Зинаида Николаевна Гиппиус.

Гумилёв вспыхнул, вспомнив обиду и неласковый прием, и сказал:

— Мое непременное условие — анонимность. Мое имя не должно прозвучать!

— Я вам это обещаю, — ответила дама.

Результат удовлетворил Гумилёва. Гиппиус написала на стихотворении: «Очень хорошо» и пожелала познакомиться с таинственным незнакомцем. Мережковский также отозвался благосклонно.

Не знал Гумилёв, что в это же время, в конце февраля 1908 года, его стихи звучали в Царском Селе на традиционном семейно-музыкальном вечере. А. В. Савицкий прочел стихотворение «Помпей у пиратов». Правда, местная газета «Царскосельское дело» опубликовала вскоре пасквиль на поэта, который сочинил редактор литературного отдела П. М. Загуляев. Выведя Царское Село под городом Калачев, пасквилянт издевался: «Среди его граждан нашелся тоже гениальный „поэт“. Это молодой человек очень неприятной наружности и косноязычный, недавно окончивший местную гимназию, где одно время высшее начальство самолично пописывало стихи с сильным привкусом декадентщины… Этот многообещающий юноша побывал в Париже, где, по его словам, он приобщился к кружку, служившему черные мессы, и, вернувшись в мирный Калачев, выпустил в свет книжку своих стихов, которые быстро разошлись по городу, так как, заждавшись только славы, автор рассылал ее совершенно бесплатно. У поэта нашлись подражатели, и вскоре в каждом уважающем себя семействе был свой собственный поэт».

Все те же «бешеные волки», о которых писал Гумилёв в «Волшебной скрипке», как будто учуяли, что вскоре поэт должен появиться в Царском Селе, и активизировали травлю, которая втихую шла все время.

По дороге домой Гумилёв заехал к Брюсову. Он рассказал учителю, что написал много новых стихотворений и хочет подготовить книгу для издательства «Скорпион». Валерий

Яковлевич высказался одобрительно, чем вселил в Гумилёва еще большую уверенность в своих силах.

От своей второй книги поэт уже не отрекался и продолжал работать над ней на протяжении всей жизни[5].

Книга не осталась незамеченной критикой. В. Я. Брюсов писал: «Сравнивая „Романтические цветы“ с „Путем конквистадоров“… видишь, что автор много и упорно работал над своим стихом. Не осталось и следов прежней небрежности размеров, неряшливости рифм, неточности образов. Стихи Н. Гумилёва теперь красивы, изящны и, большею частью, интересны по форме; теперь он резко и определенно вычерчивает свои образы и с большой обдуманностью и изысканностью выбирает эпитеты. Часто рука ему еще изменяет, он — серьезный работник, который понимает, чего хочет, и умеет достигать, чего добивается. Лучше удается Гумилёву лирика „объективная“, где сам поэт исчезает за нарисованными им образами, где больше дано глазу, чем слуху. В стихах же, где надо передать внутренние переживания музыкой стиха и очарованием слов, Н. Гумилёву часто недостает силы непосредственного внушения. Он немного парнасец в своей поэзии, поэт типа Леконта де Лиля, стыдливый в своих личных чувствованиях, он избегает говорить от первого лица, почти не выступает с интимными признаниями и предпочитает прикрываться маской того или иного героя. Сближает его с парнасцами и любовь к экзотическим образам; он любит выбирать для своих баллад и маленьких поэм, как декорацию, юг с его пышной пестротой, или причудливость тропических стран, или прошлые века, еще не знавшие монотонности современных дней. Но Н. Гумилёв менее сдержан, чем большинство парнасцев, и его фантазия чертит перед нами несколько угловатые, но смелые и неожиданные линии. Конечно, несмотря на отдельные удачные пьесы, и „Романтические цветы“ — только ученическая книга. Но хочется верить, что Н. Гумилёв принадлежит к числу писателей, развивающихся медленно, и по тому самому встающих высоко…»

Гумилёв особенно гордился этой рецензией мэтра, появившейся в мартовском номере «Весов».

Не менее интересные отзывы появились и в других изданиях. В седьмом номере журнала «Русская мысль» поэт и критик Виктор Гофман отмечал главное на его взгляд в творчестве Гумилёва: «Книжечка эта обнаруживает в авторе некоторые ценные для поэта качества; главные из них: хорошо развитое художественное воображение и известная оригинальность, и литературная самостоятельность, позволившая молодому поэту создать себе целый мир творческих фантазий, где он живет и властвует

довольно умело». Хотя вывод его был таков, что это только обещания и настоящее творчество поэта впереди.

В следующем году в «Современном мире» появилась рецензия критика Андрея Левинсона, который говорил об истоках поэзии Гумилёва: «…происхождение господина Гумилёва выражается преимущественно в двух чертах: в попытках воссоздания античного мира и в то же время тяготения к экзотическому».

Самой обстоятельной была рецензия, появившаяся 15 декабря 1908 года в газете «Речь». С искренней любовью к своему бывшему ученику написал ее И. Ф. Анненский. Он один верно подметил, что это русская книжка, написанная в Париже и навеянная Парижем. Иннокентий Федорович так передал свои ощущения при прочтении «Романтических цветов»: «Зеленая книжка оставила во мне сразу же впечатление чего-то пряного, сладкого, пожалуй, даже экзотического, но вместе с тем такого, что жаль было бы долго и пристально смаковать и разглядывать на свет: дал скользнуть по желобку языка — и как-то невольно тянешься повторить этот сладкий зеленый глоток… Зеленая книжка отразила не только искание красоты, но и красоту исканий. Это много. И я рад, что „Романтические цветы“ — деланые, потому что поэзия живых… умерла давно. И возродится ли?»

Сказав о многих экзотических строках, о традиционном появлении «декадентского дьявола» в стихах, Анненский отметил то, что не заметили другие: «Нравится мне еще, что у молодого автора в его маскарадном экзотизме чувствуется иногда не только чисто славянская мрачность, но и стихийно русское „искание муки“, это обаятельно некрасовское „мерещится мне всюду драма“, наша, специально-наша „трагическая мораль“».

И эта последняя мысль была главной. Из Царского Села в Париж в 1906 году уехал юноша-гимназист, а через два года в Россию из Франции вернулся русский поэт Николай Гумилёв…

Глава VI ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

Надежда умирает последней, а в душе молодого поэта-романтика она обречена жить вечно! О чем думал Гумилёв, покидая блистательный Париж, центр европейской культуры и новых поэтических исканий? Наверняка он жалел об оставленных там новых друзьях и литературных салонах. Впереди его ждали Россия и пока еще ему неизвестные литературные общества, мэтры, редакции известных журналов, которые он собирался осваивать. Но не от этого на душе было тревожно: мысли об Анне не давали покоя. Почему она отправила ему в Париж совершенно непонятное письмо? Что за этим стояло и как ему теперь себя вести? Да, конечно, он жаждал какой-то определенности в литературных планах, но они могли и подождать, вот только бы чудесным образом разрешился его давнишний душевный вопрос! Порой ему казалось, что счастье уже совсем рядом, стоит только сделать шаг навстречу. Она его обязательно поймет, не может не понять! Конечно, нужно в первую очередь ехать к ней, к Анне! Не в меру холодная, с отрезвляющим апрельским ветром весна не охлаждала кипящие чувства. И он направился в Севастополь, где Горенко жили в ту пору.

За время, что прошло после окончания гимназии, здоровье Ани пошло на поправку. Увлечения местными поэтами и просто случайными знакомыми ей изрядно надоели. Ее деятельная и неудовлетворенная натура жаждала новых впечатлений. Она чувствовала себя забытой и обиженной Господом Богом! Сколько раз, сидя зимними вечерами в своей унылой комнате, она вспоминала великолепие Царского Села, блестящих гусар в расшитых доломанах и отвергнувшего ее любовь Голенищева-Кутузова. Ей казалось, вот сейчас она откроет глаза, глянет в окно и увидит тихую улочку Царского Села… Но ничего не случалось, и в душе копилась вместе с горечью, неудовлетворенностью непонятная обида на всех и вся. Она становилась угрюмой и раздражительной. И это раздражение волнами распространялось вокруг нее. Когда ее штормило, доставалось тем, кто оказывался рядом.

Нынешняя весна отличалась не только холодной погодой, но и новым чувством: наконец проснуться и начать жить! 11 июня ей должно было исполниться девятнадцать лет. А для девушки это не так уж и мало. Куда ей деваться? Сидеть в Севастополе на иждивении у матери — перспектива малоприятная. Вернуться в Санкт-Петербург к отцу — тот не зовет. Да и не та у него обстановка. У отца давно была своя, новая жизнь, где главные

места уже были заняты. Мать предлагала Анне вернуться в Киев и продолжить образование. Что ж, это тоже был один из вариантов… До осени оставалось еще достаточно времени, чтобы определиться. А пока холодная весна и тяжелые зеленовато-мутные волны Черного моря, гонимые неласковым ветром, нагоняли тоску. Мир потерял свою многоцветность и стал однотонным, нудным и противным.

Именно в это время и постучал в их дом парижский денди в модном цилиндре. Хотела ли она его видеть? Связывала ли свои планы с его желаниями? Нет! Она как будто мстила Николаю за того, другого, равнодушного к ней…

Разговор Анны и Николая был похож на диалог глухих. Николай говорил о том, как в Париже он скучал о ней и торопил эту долгожданную минуту, когда сможет снова увидеть ее, сказать ей все, что у него накопилось в душе. Она же говорила ему, что ей ничего не надо, что она устала от его постоянных преследований, что она хочет начать новую жизнь, в которой старым ее знакомым места не будет… и наконец, что она его не любит, не может и не хочет любить и не сможет никогда полюбить!

Николай молча смотрел ей в глаза… Омут. Колдовской омут. Ему казалось, что и говорит не она, а какая-то злая колдунья. Мир его надежд рушился… Николай сумел лишь глухо проговорить: «Анна Андреевна! Я полагаю, теперь мы можем вернуть друг другу наши подарки и письма». Она молча кивнула головой. Порывшись в своем комоде, достала все, что он ей дарил.

— Но у вас осталась еще паранджа… — сказал Николай.

— Нет, у меня ее нет!

— Я бы хотел, чтоб вы ее вернули!

— Но я не могу ее вернуть, я ее уже сносила и… выкинула.

— Мне, право, неприятно. Но прощайте…

— Надеюсь, теперь вы поняли меня и не будете искать новых встреч?

— Не беспокойтесь, я обещаю даже не писать вам писем, не напоминать вам о моем существовании… Прощайте.

Теперь Гумилёву предстояло самое сложное — объяснить самому себе, чего же он добился, проведя два года в Париже. Отец непременно вспомнит, что не советовал ему искать счастья в чужих землях, что именно мать помогла ему отправиться в эту Сорбонну и вот теперь результата нет, надо начинать все сначала. Какие, право, неприятные моменты бывают в жизни, и никуда от них не скрыться, ничего нельзя изменить… Он подумал, как

хорошо сейчас, наверное, брату, ведь он выполнил пожелание отца и стал офицером. Служи верой и правдой Государю Императору, и не будет никаких неприятностей!

Именно в это время брат поэта Дмитрий Гумилёв заканчивал учебу и летом ждал производства в офицерский чин и назначения в полк.

Дома обрадовались возвращению Николая, особенно Коля-маленький, сын сестры Гумилёва — Александры Сверчковой. Забравшись в кабинет дяди, он очень любил слушать его рассказы о чужих землях, путешествиях и известных путешественниках. Учился Коля-маленький от случая к случаю и в гимназию ходил как в университет, то есть по настроению. Дед Коли был художником, жил в Царском Селе, и юноше передались его творческие способности.

Племянница, Маша Сверчкова, любила читать книги в красивых богатых переплетах. Однажды она призналась в этом дяде, и он шутливо заметил: «Ты, я вижу, выбираешь и читаешь книги по печати, а не по содержанию». Машенька даже жаловалась своей маме, что теряется, когда дядя начинает подшучивать над ней. Иногда Николай позволял себе шутить над увлечением матери произведениями Марлита, но как только та обижалась, он сразу же обнимал и целовал ее. Возвращение Николая все восприняли как праздник, тотчас был испечен вкусный домашний пирог, без которого у Гумилёвых не обходилось ни одно застолье.

Однако путешественника ждало серьезное испытание за дверью отцовского кабинета. Николай не любил туда заходить не только потому, что отец проявлял недовольство его образом жизни, но и из-за тяжелого запаха лекарств в кабинете. Отец в последние годы болел ревматизмом, и у него часто бывали доктора. Больного старались не тревожить лишним шумом даже дети. Войти в кабинет дети и внуки могли, предварительно постучав и услышав его чуть глуховатое: «Да!» Хотя отец давно не был связан с морем, но получал «Морские сборники». Когда Степану Яковлевичу становилось лучше, он облачался в домашний халат и с помощью жены водружался за столом в большом, мягком, старом и потертом кожаном кресле.

На этот раз отец встретил сына, настроившись на серьезный разговор. В таких беседах обязательно участвовала и Анна Ивановна. Каждый из них был убежден в своей правоте, и эта категоричность легко могла перерасти в ссору. Отец считал, что Николаю надо получить университетское образование, а литературой заниматься в свободное время. Он глубоко сомневался, что стихи могут в жизни прокормить, а раз так —

нужно получить какую-то серьезную специальность (он настаивал на юридическом образовании).

Ко всеобщему удовлетворению вернувшийся блудный сын дал торжественное обещание этим же летом подать прошение на имя ректора Санкт-Петербургского университета с просьбой зачислить его на… юридический факультет. Мир и согласие были достигнуты, и Гумилёв-младший с легким сердцем начал обдумывать планы покорения российского Парнаса. Он принялся деятельно устанавливать связи с редакциями различных газет и журналов.

Прежде всего Гумилёв пишет своему учителю: «Дорогой Валерий Яковлевич, я посылаю Вам по условию три отмеченные Вами стихотворения в несколько исправленном виде. Если Вы пожелаете изменить в них что-нибудь сами, Вы доставите мне этим громадное удовольствие. Теперь Вы, конечно, знаете, возьмется ли „Скорпион“ за издание моих стихов, и я со жгучим нетерпением жду Вашего ответа по этому поводу. Еще раз повторяю, что если объявление о моей книге будет печататься в списках изданий „Скорпиона“, я буду ждать хоть два года. Мне было бы также интересно знать, пойдет ли в „Весах“ мой рассказ „Скрипка Страдивариуса“, потому, что в случае отказа я мог бы предложить ее в другое место. Но с этим не торопитесь и прочтите ее, когда Вам будет удобно. Сейчас я перечитываю „Путь конкв.“ (первый раз за два года), все Ваши письма (их я читаю часто) и „Р. цветы“. Нет сомнения, что я сделал громадные успехи, но также нет сомнения, что это почти исключительно благодаря Вам. И я еще раз хочу Вас просить не смотреть на меня как на писателя, а только как на ученика, который до своего поэтического совершеннолетия отдал себя в Вашу полную власть. А я сам знаю, как много мне надо еще учиться. Так как Вы не помните моего „Андрогина“, я посылаю его Вам и был бы в восторге, если бы его можно было напечатать в „Весах“: я его очень люблю. Искренне преданный Вам Н. Гумилёв».

Как видим, начинающий поэт не только признает себя учеником, но жаждет славы. Он готов ждать хоть два года, только бы его новая книжка вышла в известном издательстве «Скорпион». Небольшое майское письмо учителю — знаковое. Конечно, Брюсов ободрил ученика, но в то же время, публикуя в майском номере «Весов» статью Н. Гумилёва «Два салона» (Письмо из Парижа) за подписью «Н. Г.», сделал осторожный комментарий: «Редакция помещает это письмо, как любопытное свидетельство о взглядах, разделяемых некоторыми кружками молодежи, но не присоединяется к суждениям автора статьи».

Кроме того, Гумилёв дебютирует 22 мая в газете «Речь» как

рецензент книги стихов «Сети» Михаила Кузмина, а 29 мая эта же газета дает рецензию поэта на недавно вышедшую в Москве книгу его учителя «Пути и перепутья», где Николай Степанович называет Брюсова мастером формы, утверждает, что поэты ведут свой род от Орфея, Гомера и Данте.

Московские литературные связи полностью уже не могут удовлетворить Гумилёва, и он ищет новые знакомства в Санкт-Петербурге. Первым его увлечением становится легализованный 17 апреля 1908 года кружок «Вечера Случевского». Кружок был известен как «пятницы» поэта Якова Полонского, где собирались поэты-традиционалисты, читали по кругу свои новые произведения. После смерти Полонского его знамя подхватил прекрасный и до сих пор недооцененный поэт Константин Случевский. Осенью 1904 года он ушел из жизни, и бывший учитель Гумилёва Федор Федорович Фидлер предложил создать кружок памяти Случевского. Он же был избран первым председателем, но вскоре сложил с себя эти почетные обязанности и стал товарищем председателя. Возглавил кружок весной 1908 года поэт Ф. В. Черниговец-Вишневский. К этому времени в нем насчитывалось уже более пятидесяти человек. Чтобы поступить в члены кружка, необходимо было пройти своеобразный экзамен. Соискатель обязан был представить изданную книгу стихов, получить не менее трех рекомендаций от постоянных членов кружка, прочесть свои стихотворения на очередном заседании. Вопрос о принятии решался тайным голосованием. В начале 1900-х годов поэтов-традиционалистов потеснили такие символисты, как Н. Минский и Ф. Сологуб, потом кружковцами становятся поэты В. И. Кривич-Анненский, С. В. Штейн, А. А. Кондратьев, а в 1906 году в списках «Вечеров Случевского» появляются мэтры символизма Александр Блок и Вячеслав Иванов.

Кто был поручителем Гумилёва, уже выпустившего две книги стихов? Возможно, Валентин Кривич, на чьей квартире и оказался Николай Степанович во время заседания кружка, С. В. Штейн, который его хорошо знал, и его товарищ по гимназии, поэт Дмитрий Коковцев, уже ставший членом «Вечеров». Что читал Н. Гумилёв в Царском Селе на квартире В. И. Кривича-Анненского, неизвестно. Главное, что поэт был принят в постоянные члены кружка. Это была его маленькая победа, еще один шаг навстречу к признанию в литературной среде. 28 мая «Петербургская газета» сообщала: «У В. И. Анненского (Кривича) в Царском Селе 24 мая состоялся очередной вечер Случевского. Несмотря на исключительную погоду, собрание было довольно многолюдно, и „вечер“ незаметно перешел в „утро“.

Дебютировавший на этом вечере молодой поэт Н. Гумилёв был избран членом „Вечеров Случевского“». А сам Кривич в письме одной из активисток кружка М. Г. Веселковой-Кильштет писал: «На собрании был выбран новый член Н. С. Гумилёв. Это близкий товарищ и по гимназии, и так, по жизни, Д. И. Коковцева, и мой хороший знакомый, — молодой поэт, вернувшийся из Парижа, куда уехал по окончании гимназии слушать лекции в парижском университете. Человек он очень талантливый, литературное детище Брюсова, который руководит им, имеет два сборника стихов, пишет много, одним словом, быть в кружке имеет право. Декадент он, так сказать, строгого рисунка и стихов „сологубовских настроений“ не пишет». В этот же день Гумилёв был у Валентина Кривича дома и записал ему в альбом свое стихотворение «Основатели».

Это было последнее заседание кружка в сезоне. Перерыв был объявлен до октября.

После возвращения из Парижа судьба свела Гумилёва с интересной семьей художников Кардовских. Ольга Людвиговна Делла-вос-Кардовская (старше поэта на девять лет) писала портреты. Ее сорокадвухлетний муж Дмитрий Николаевич Кардовский был профессором Академии художеств (а с 1915 года — академиком). Еще весной 1907 года Кардовские сменили Северную столицу на Царское Село и поселились на первом этаже именно того двухэтажного дома вдовы Белозеровой на Конюшенной улице, где на втором этаже жили Гумилёвы. Пока Николай Степановиче Париже осваивал европейские культурные ценности, его мать читала новым соседям его стихи. Та любовь, с которой мать говорила о сыне, не могла не привлечь внимание художников к молодому и неизвестному им поэту. Да и Гумилёв по возвращении из Парижа заинтересовался художниками.

Если семья Кардовских в семи комнатках первого этажа устроилась с комфортом: кроме самих художников с ними жили дочь Катя и прислуга Ариша, то Гумилёвым на втором этаже было явно тесно. Самый просторный кабинет занимал отец Гумилёва, а все остальные располагались в небольших шести комнатах: мать, брат Дмитрий, сестра Александра с детьми Машей и Колей-маленьким и сам Николай Степанович. Любимым местом отдыха поэта была крытая и просторная веранда, пристроенная к дому. Домовладелице Марии Феофилактьевне Белозеровой на этой улице принадлежало еще несколько домов, куда она могла поселить новых жильцов. И это, как и теснота комнат, послужило одной из причин того, что мать стала искать новое пристанище для семьи после возвращения младшего сына из Парижа.

Анна Ивановна рекомендовала новых соседей сыну не просто

как художников, но и как интересных людей. Мог ли поэт ограничиться почтительными поклонами? Нужен был реальный повод для знакомства, и Николай Степанович, горевший желанием побольше узнать о сегодняшнем дне богемного Санкт-Петербурга, решил отметить свой день рождения. Ну и что такого, что он был 3 апреля отмечен в Париже, но ведь в Царском Селе его с двадцатидвухлетием никто не поздравлял! Итак, Гумилёв, облачившись в модный парижский фрак, рубашку с высоким накрахмаленным до хруста воротничком, постучался в дверь Кардовских и пригласил их на свой день рождения 9 мая. Были домашние гумилёвские пироги. Были рассказы о парижских художественных салонах. Конечно, поэт получил приглашение бывать запросто у Кардовских. Правда, некоторая чопорность и желание выглядеть мэтром поначалу несколько отталкивали от него художников. Но один случай помог им убедиться в доброте и отзывчивости поэта. Как-то Дмитрий Николаевич уехал в Академию художеств, а дома осталась Ольга Людвиговна с дочерью Катей. Художница работала в своей мастерской, дочь что-то рисовала, а прислуга Ариша пыталась разжечь модную спиртовку, которую Кардовские только что купили, опрометчиво поверив широкой рекламе. Прислуга долго возилась со спиртовкой, и когда фитиль разгорелся, неожиданно произошел взрыв. Пламя метнулось в лицо Арише, и она страшно закричала. На шум прибежала Ольга Людвиговна и потушила огонь. Перепуганная Ариша со стоном выбежала в сад. Казалось, что ей обожгло лицо. Художница с дочерью онемели в растерянности. И вдруг звонок в дверь — на пороге сияющий Гумилёв. Поняв, что визит он нанес не вовремя, и оценив ситуацию, Николай Степанович помчался за доктором. Вскоре в дверь снова позвонили. На пороге стоял Гумилёв, а за его спиной — доктор. Он привел вместе с ним перепуганную Аришу. Доктор пропитал бинты противоожоговой мазью и забинтовал лицо девушки.

После этого случая отношения между Кардовскими и Гумилёвым стали более теплыми. Визиты вежливости превратились в дружеские встречи.

Наступило лето, и жизнь в Царском Селе оживилась. Сюда съезжались не только студенты, из шумного и пыльного Санкт-Петербурга бежали гусары и уланы и даже особы царской фамилии. Центром молодежных вечеров в Царском Селе в эти годы становится семья Аренс. Глава семьи, Евгений Иванович Аренс, генерал-лейтенант российского флота, происходил из старинного немецкого дворянского рода. Его предок — Иоганн Аренс — приехал в Россию еще во времена Императрицы

Екатерины Великой. Сам Евгений Иванович был известен при дворе не только потому, что много лет плавал старшим офицером на личной императорской яхте «Александрия», но и как герой Русско-турецкой кампании, отличившийся на Дунае, за что был удостоен Георгиевского креста. Император Николай Александрович в 1903 году назначил сорокасемилетнего генерала Аренса исполнять почетную должность начальника Петергофской пристани и Царскосельского адмиралтейства.

Согласно должности Е. И. Аренс получил служебную квартиру — уединенный павильон в Екатерининском парке. Готические стены павильона были украшены башнями из красного кирпича с белыми зубцами. Здесь же располагалось Царскосельское адмиралтейство с прилегающим к нему шлюпочным сараем, где находилась целая флотилия яхт и лодок. Перед Адмиралтейством раскинулось Большое озеро, где частенько в теплую пору года проходили показные катания и парады яхт и лодок, в которых нередко принимал участие сам Государь Император. Приемами и парадами командовал генерал Аренс. Степан Яковлевич Гумилёв часто бывал в Адмиралтействе и был дружен с Евгением Ивановичем. Аренсы и Гумилёвы общались семьями.

Вернувшись из Парижа, стал бывать в Адмиралтействе и Николай Степанович. Его привлекало общество образованных дочерей генерала: Веры, Зои и Анны. Вера была на два года младше Гумилёва. Она не только увлекалась литературой, музыкой и театром, как две ее другие сестры, но и писала стихи. Об этом знал Гумилёв. Анне было шестнадцать лет, а Зое, самой старшей, исполнилось двадцать два года. Их единственному брату, Льву Аренсу, было восемнадцать.

Обворожительные генеральские дочери, катание на яхтах, беседы о литературе, музицирование юных красавиц волновали поэта. С Верой Николай любил вступать в литературные дебаты. 1 июля он писал ей в письме (видимо, разговора было недостаточно): «Я давно и с нетерпением ждал от Вас обещанного письма и, получив его, был безумно доволен… и с восторгом исполню Ваше желанье и буду присылать Вам мои рассказы. В этом письме посылаю Вам первый, довольно неудачный и нехарактерный для моего творчества. Лучшие появятся в „Весах“ и в „Русской мысли“… Вы были правы, думая, что я не соглашусь с Вашим взглядом на Уайльда. Что есть прекрасная жизнь, как не реализация вымыслов, созданных искусством? Разве не хорошо сотворить свою жизнь, как художник творит картину, как поэт создает поэму? Правда, материал очень неподатлив, но разве не из твердого мрамора высекают самые дивные статуи?.. А обман

жизни заключается в ее обыденности, в ее бескрасочности…» В письме отчетливо звучат нотки любимого Гумилёвым французского поэта Теофиля Готье. И сам Николай Степанович хотел бы перенести в обыденную жизнь высокую сказку из мира высокого искусства. Он ищет единомышленников в своем стремлении и пишет об этом Вере Аренс: «…А у Вас творческий ум, художественный глаз и, может быть, окажется твердость руки, хотя Вы упорно ее в себе отрицаете…»

Лето Гумилёв считал непроизводительным периодом. Однажды, 2 июня 1908 года, поэт пожаловался в письме своему учителю В. Я. Брюсову: «…Пишу я, как всегда летом, мало. Но надеюсь, что это затишье перед бурей…» В июне Николай Степанович отправил еще одно короткое письмо Брюсову: «Я думаю приехать в Москву в первый же вторник после 15-го, т. е. 20-го июня. Но, зная Ваше намерение отправиться в Швецию, я хотел бы знать точно, застану ли я Вас в Москве. Я теперь в деревне и чувствую себя довольно скверно, но числа 19-го все же надеюсь выехать… На случай, если Вы захотите мне ответить, прилагаю адрес: Московско-Казанская Ж. Д., станция Вышгород, усадьба Березки, мне». В приписке Гумилёв извинялся за столь небрежное, по его мнению, и короткое письмо, объясняя свое состояние температурой в 38,5 градуса.

Это был последний приезд поэта в Березки. Имение было продано его матерью в этом же году, так как надобность в нем отпала. Умер брат Анны Ивановны, контр-адмирал флота Лев Иванович Львов. Он был погребен на фамильном кладбище в селе Градницы Бежецкого уезда.

В июле, несмотря на жалобы, что летом у него взаимоотношения с поэзией прохладные, Гумилёв пишет очень важное для него стихотворение «Варвары» (первоначально он назвал его «Царица») и шлет его Брюсову 14 июля с письмом: «Дорогой Валерий Яковлевич, я уже давно собирался Вам писать, но не хотелось делать это без обычного приложения, т. е. стихотворения. Я написал его недавно, и, кажется, оно уже указывает на некоторую перемену в моих приемах, именно на усиление леконт-де-лилевского элемента. Кстати сказать, самого Л. Л. я нахожу смертельно скучным, но мне нравится его манера вводить реализм описаний в самые фантастические сюжеты. Во всяком случае, это спасение от блоковских туманностей. Я вырабатываю также и свою собственную расстановку слов. Теперь, когда я опять задумался над теорией стихосложения, мне было бы крайне полезно услышать Ваши ответы на следующие, смущающие меня вопросы: 1) достаточно ли самобытного построения моих фраз? 2) Не нарушается ли гармония между

фабулой и мыслью („угловатость образов“)? 3) Заслуживают ли внимания мои темы и не является ли философская их разработка еще ребячеством? На эти вопросы может ответить только посторонний человек, опытный и интересующийся моими стихами, и, кроме Вас, я таких не знаю. Верьте, что моя просьба об этих указаньях вызвана не тщеславным желаньем получить от Вас советы, а только любовью к искусству, которому я посвящаю свою жизнь. Я помню Ваши предостереженья об опасности успехов и осенью думаю уехать на полгода в Абиссинию, чтобы в новой обстановке найти новые слова, которых мне так недостает…»

Главное в «Варварах» даже не поиск нового, а самовыражение поэта-романтика. Холодные леконтовские мотивы уживаются у Гумилёва с рыцарскими:

Когда зарыдала страна под немилостью Божьей
И варвары в город вошли молчаливой толпою.
На площади людной царица поставила ложе,
Суровых врагов ожидала царица нагою.

Царица жертвует собой, она отдает себя и свое тело на поругание. Если побеждена страна, то незачем и себя беречь. Жест отчаяния и благородства!

Но победитель, вождь варваров, видя такое самопожертвование, повел себя как рыцарь в понимании Гумилёва, он не мог опуститься до разграбления и унижения побежденных. И варвары вспоминали не горящие крепости и селения, не добычу, взваленную на повозки, а «…царственно-синие женские взоры… и струны, / Которыми скальды гремели о женском величье…». Так о варварах мог написать только поэт-романтик. Поэтому портрет вождя скальдов, нарисованный Гумилёвым, столь привлекательно-благородный:

Кипела, сверкала народом широкая площадь,
И южное небо раскрыло свой огненный веер,
Но хмурый начальник сдержал опененную лошадь,
С надменной усмешкой войска повернул он на север.

Гумилёв в письме своему учителю заметил, что успехи у него действительно есть. Он не просто ждал чужих советов, но и сам уже судил о других произведениях как поэт. Лето 1908 года было для Гумилёва урожайным на публикации: стихи, рассказы, рецензии в газетах и журналах.

В июне в газете «Речь» Гумилёв опубликовал стихотворение «Завещание» (№ 136), рассказ «Черный Дик» (№ 142) и рецензию на книгу С. В. фон Штейна «Славянские поэты», вышедшую в 1908 году. В шестом номере журнала «Весы» появились стихотворения «Волшебная скрипка», «Одержимый» и «Рыцарь с цепью».

В июльском номере журнала «Образование» Гумилёв назван в числе постоянных сотрудников. Появились рецензии на «Романтические цветы» также в журналах «Образование» и «Русская мысль». В седьмом номере журнала «Весна» печатается стихотворение Гумилёва «Камень» с подзаголовком «Бретонская легенда», которое позже поэт посвятит своей матери. В седьмом номере «Образования» кроме вышеуказанных было опубликовано стихотворение «В красном фраке с галунами». Газета «Речь» (№ 178) публикует рассказ Гумилёва «Последний придворный поэт».

В августе газета «Речь» публикует рецензию Н. Гумилёва на книгу А. Ремизова «Часы», выпущенную в Санкт-Петербурге в 1908 году издательством «Ego». В журнале «Русская мысль» появляются рассказы поэта «Принцесса Зара» и «Золотой рыцарь», а в журнале «Весы» — «Радости земной любви» с подзаголовком «Новеллы».

Однако успехи не вскружили голову Гумилёву. В письме от 20 августа В. Брюсову он пишет, извиняясь за долгое молчание: «Все это время во мне совершался перелом во взгляде на творчество вообще, а на мое в частности. И я убедился в моем ничтожестве. В Париже я слишком много жил и работал и слишком мало думал. В России было наоборот: я научился судить и сравнивать. Не подумайте, что я соблазнился ересью Вяч. Иванова, Блока и других. По-прежнему я люблю и ценю больше всего путь, указанный для искусства Вами. Но я увидел, как далеко стою я от этого пути. В самом деле, Ваше творчество отмечено всегдашней силой мысли. Вы безукоризненно точно переводите жизнь на язык символов и знаков. Я же до сих пор смотрел на мир „пьяными глазами месяца“ (Нитше), я был похож на того, кто любил иероглифы не за смысл, вложенный в них, а за их начертание и перерисовывал их без всякой системы. В моих образах нет идейного основания, они — случайные сцепления атомов, а не органические тела. Надо начинать все сначала или идти по торной дорожке Городецкого. Но на последнее я не согласен. Вы говорите: „Есть для избранных годы молчания…“ Я думаю, что теперь они пришли и ко мне. Я еще пишу, но это не более как желание оставить после себя след, если мне суждено „одичать в зеленых тайнах“… Книгу я решил не издавать, а мои вещи после перелома будут слишком долго незрелы, чтобы их можно было

печатать».

Конечно, Гумилёв лукавит, утверждая, что печатать будет нечего. Ведь далее в том же письме он опять пишет о своих успехах и интересуется, можно ли будет напечатать в «Весах» его стихи. Но в одном он не лукавит, и это покажут его дальнейшие поиски: он ищет новые формы творчества. Поэт хочет писать лучше и жаждет учиться этому у признанных мэтров русской словесности.

Вместе с тем Николай Степанович выполнил обещание, данное отцу, и 10 июля отправился в Санкт-Петербургский университет. В прошении на имя ректора бывший студент Сорбонны писал: «Честь имею просить Ваше Превосходительство о зачислении меня в число действительных студентов Санкт-Петербургского университета юридического факультета».

Август для обоих братьев Гумилёвых оказался знаменательным. 17 августа Высочайшим приказом Дмитрий Гумилёв был произведен в подпоручики с назначением в 147-й пехотный Самарский полк со старшинством с 17 июня 1908 года. Полк в ту пору был расквартирован в Ораниенбауме.

18 августа Николай Гумилёв был зачислен в число студентов Санкт-Петербургского университета. Через четыре дня подпоручик Д. С. Гумилёв прибыл в полк. Николай Гумилёв стал готовиться не к занятиям, а к поездке в Африку. Об этом он известил своего учителя В. Я. Брюсова в письме через два дня после зачисления в университет: «…Числа седьмого я думаю выехать из Царского. Когда мой адрес хоть сколько-ни-будь установится, я тотчас сообщу его Вам…»

Последние дни уходящего лета и первые дни наступавшей осени Гумилёв проводил в обществе сестер Веры и Зои Аренс. Совершенно случайно именно в это время на Царскосельском вокзале в Санкт-Петербурге в обществе этих сестер и встретила Гумилёва Анна Горенко, приехавшая навестить отца и старую подругу Валю Тюльпанову. И вновь в ее душе шевельнулось какое-то непонятное чувство. Ей показалось, что от нее уходит то, что принадлежит ей давно, что связано неразрывно через нее с Царским Селом и со всем тем уже далеким миром дома Шухардиной, великолепных парков и прудов, воздухом Мариинской женской гимназии. Ей захотелось хотя бы на мгновение с головой окунуться в этот ушедший мир, как в омут. И он уловил в ее прозрачных глазах эту растерянность, эту проснувшуюся жажду удержать ускользающее прошлое. В сердце поэта встрепенулась надежда. Но Анна уезжала в Киев. Гумилёв решил по дороге в дальние края заехать к ней туда. «А вдруг все изменится, — думал он, — ведь давала же она согласие выйти за

меня замуж. Значит, я ей не безразличен!» Так они и разошлись, думая каждый о своем.

Осень — пора, которую обожал Гумилёв как время творческих поисков и усиленной работы поэтической мысли. Он любил бывать возле пруда у Николаевской гимназии и смотреть расходящиеся кружочки от прилетающих на воду золотых листьев. Было ощущение неясного томления, казалось, вот-вот должна родиться музыка, и она начинала звучать… Как-то сами собой родились строки:

Не семью печатями алмазными
В Божий рай замкнулся вечный вход,
Он не манит блеском и соблазнами,
И его не ведает народ.

Это дверь в стене, давно заброшенной,
Камни, мох, и больше ничего,
Возле — нищий, словно гость непрошеный,
И ключи у пояса его…

Откуда вдруг «Ворота рая» (1908) появились у готовящегося в путешествие поэта? Не было ли здесь той самой мистики, предчувствий расставания насовсем? Не хотел ли и впрямь Гумилёв окончить свои дни там, у «берегов медлительного Нила…», из-за неразделенной юношеской любви? Но где-то в глубине души жило ощущение, что неслучайно он решил отправиться по пути в Одессу к ней, немыслимой и злой колдунье, такой безжалостной и такой желанной… Она стояла на его пути, хотя и жила «за тридевять земель». Злой рок гнал поэта в неведомый омут.

Анна Горенко чувствовала себя в Киеве, словно рыба, выброшенная штормом на песок. От Севастополя она уже оторвалась, а к Киеву не прикипела еще душой. Правда, она вернулась в город в новом качестве — осенью 1908 года Анна Андреевна поступила на Киевские высшие женские курсы, которые действовали при Киевском университете имени Святого Владимира еще с 1870 года. Иногда курсы называли более официально: Университет Святой Княгини Ольги. Горенко стала студенткой открытого в 1907 году юридического факультета. Знала ли она, что и Николай в том же году стал студентом юридического факультета? Неизвестно. Но это и неважно. Сама Горенко, отчаявшись выйти замуж по любви, решила, по моде того времени, занять себя учебой.

Университет был в ту пору известным учебным заведением на юге Империи. На первом курсе Горенко встретила свою одноклассницу по гимназии Татьяну Каменку. С интересом узнала Аня, что сокурсница Елизавета Дубровская приехала из Петербурга, где училась на Бестужевских курсах. Любовь к Петербургу сделала двух курсисток приятельницами, они часто и с тоской вспоминали Северную столицу России.

Мать Анны Андреевны со всем семейством тоже перебралась в Киев и поселилась на улице Паньковской, 12. Правда, жила она с сестрой Анны Андреевны Ией и братом Виктором. Любимый и наиболее близкий ей брат Андрей был студентом и снимал квартиру по улице Пироговской, 7, неподалеку от Высших женских курсов. Они часто бывали друг у друга в гостях.

К началу сентября круг знакомств Горенко в Киеве только складывался. Аня усмиряла свой нрав и готовилась к учебе. Как она сама потом признается: «Пока приходилось изучать историю права и особенно латынь, я была довольна, когда же пошли чисто юридические предметы, к курсам охладела».

7 сентября 1908 года Гумилёв, вновь вдохновленный наступившей осенью и открывшимися горизонтами, покидает Царское Село. В письме к сыну Анненского он сообщает: «Многоуважаемый Валентин Иннокентьевич, я очень и очень жалею, что не могу воспользоваться Вашим любезным приглашением, но я уезжаю как раз сегодня вечером. Ехать я думаю в Грецию, сначала в Афины, потом по разным островам. Оттуда в Сицилию, Италию и через Швейцарию в Царское Село. Вернусь приблизительно в декабре…»

О своей поездке в Киев в письмах В. Анненскому он не написал ни слова, но только она могла изменить его планы.

8 сентября Николай Степанович уже в Киеве. Что он делал там два дня — неизвестно. Но то, что он провел их в поисках ответа на свою любовь — это факт. Горенко вспоминала, что он читал ей новое стихотворение, и это были написанные в начале сентября «Ворота рая». Поэту грезился рай на земле со своей возлюбленной. Но стоит он при дверях, как нищий. Двери в рай закрыты.

Все мечтают: «Там, у Гроба Божия,
Двери рая вскроются для нас,
На горе Фаворе, у подножия,
Прозвенит обетованный час»…

Но, увы, двери не открылись. Вернее, открылись лишь для того, чтобы ему сказали о том, что сердце ее закрыто. Полный

горького осознания своей ненужности, Гумилёв отправляется 9 сентября в Одессу. Снова блудный сын ищет пристанища в чужих краях и 10 сентября на пароходе «Россия» Русского общества пароходов и торговли отправляется из Одессы в Синоп, где четыре дня находится в карантине, и только оттуда попадает в Константинополь и потом в Пирей. Оставлю за скобками вопрос — в первый или во второй раз отправился поэт в Константинополь и Африку? Тема до конца так и не прояснена. Главное в другом — перед ним открылся удивительный мир Константинополя — Стамбула, наследника древней Византии и центра более поздней османской цивилизации. Сколько пробыл Гумилёв в этом чудесном городе с его неповторимым храмом Айя-София, поседевшими от вековой пыли стенами, остатками старинных крепостей и узких улочек — тоже неизвестно.

В коротком письме Вере Аренс на открытке с видом Константинополя 8 октября поэт писал: «…Многоуважаемая Вера Евгеньевна. Приветствую Вас из Константинополя. Я долго ждал Вас или Ваше письмо, но так и не дождался. Скоро буду Вам писать. Очень прошу Вас засвидетельствовать мое почтенье всем Вашим. Мой адрес (пока) Греция, Патрас, Главный почтамт, до востр. Преданный Вам Н. Г.». (По подсчетам в это время поэт был в Египте.)

Виде*е*ния Константинополя не раз будут возвращаться к нему и будить воображение. Весной 1911 года в Царском Селе он напишет стихотворение «Константинополь»:

Еще близ порта орали хором
Матросы, требуя вина,
А над Стамбулом и над Босфором
Сверкнула полная луна.

Сегодня ночью на дно залива
Швырнут неверную жену,
Жену, что слишком была красива
И походила на луну…

Уж не образ ли Анны Горенко всплывает в сознании поэта, рисующего неверную турчанку?

23 сентября 1908 года Николай Степанович уже был в Греции и осматривал древний Акрополь, вернее то, что от него осталось. Позже, словно Афродита из морской пены, родится «Сентиментальное путешествие» (1920), которое он посвятил своей знакомой Марии Тумповской:

I

Серебром холодной зари
Озаряется небосвод,
Меж Стамбулом и Скутари
Пробирается пароход.
……..
В море просветы янтаря
И кровавых кораллов лес,
Иль то розовая заря
Утонула, сойдя с небес?
……..
И плывем мы древним путем
Перелетных веселых птиц,
Наяву, не во сне плывем
К золотой стране небылиц.

II

Сеткой путаной мачт и рей
И домов, сбежавших с вершин,
Поднялся пред нами Пирей,
Корабельщик старый Афин.
……..
Мы в Афинах. Бежим скорей
По тропинкам и по скалам:
За оградою тополей
Встал высокий мраморный храм,
Храм Палладе…

Увы, дальше планам Гумилёва, о которых он сообщал Валентину Анненскому, по каким-то причинам не суждено было сбыться. Поэт отправился не в Сицилию, Италию и Швейцарию, а в сторону прямо противоположную — в Александрию, куда прибыл 1 октября.

Александрия — город, овеянный легендами, который заложил сам великий завоеватель Александр Македонский в 331 году до н. э. на древней земле египетских фараонов. Конечно, Гумилёв не мог всего этого не знать. Не мог он не читать и об одном из семи чудес света — Александрийском маяке, построенном на острове Фарос в 290–285 годах до н. э., когда в

самой Александрии уже проживало более шестисот тысяч человек. Для Древнего мира цифра очень большая. Удобное расположение нового порта быстро сделало его не только крупнейшим торговым центром и красивейшим городом, но и культурным центром древности. Большое количество судов, приходящих в порт, заставило местные власти задуматься о строительстве маяка. Так возникло это уникальное сооружение архитектора Сострата Книдского. По описаниям, в основании маяка лежал большой прямоугольник со сторонами 30х30 метров и высотой в 71 метр. А на нем возвышался еще 34-метровый восьмиугольник с круглой башней, увенчанной статуей Зевса. Служители маяка жгли в башне костры и освещали через систему вогнутых зеркал вход в гавань. Увы, увидеть Гумилёву это чудо света не довелось, он довольствовался только рассказом, что в XIV веке маяк был разрушен мощным землетрясением. Теперь на фундаменте маяка возвышалась султанская крепость. В Сорбонне Николай Степанович изучал александрийскую поэзию эпохи эллинизма, известную с III–I веков до н. э., и знал наиболее известных ее представителей: Феокрита, Аполлония Родосского, Каллимаха. Последний был в 310–240 годах до н. э. заметным автором гимнов, элегий и эпиграмм, заложивших основные принципы александрийской поэзии. Возможно, Гумилёв искал следы знаменитой Александрийской библиотеки, где в III веке до н. э. было собрано от ста до семисот тысяч свитков. Библиотека, основанная при Александрийском мусейоне — храме муз, была уничтожена римским императором Аврелианом в III веке н. э., а остатки ее исчезли уже в VII–VIII веках, но слух о ее сокровищах дошел до XX века.

Гумилёв дивился в Александрии не только великолепным дворцам, но и невиданным рощам мимоз и олеандров, пышных роз и финиковых пальм.

За Александрией поэта ждал Каир, расположенный на правом берегу Нила на двенадцать километров выше разделения его на рукава — Розетту и Дамиетту. Первый раз после Александрии Николай Степанович оказался в Каире 3 октября. В старой части города на правом берегу Нила поэт нашел место, где древние римляне основали крепость, в VII веке получившую название Фостат, бродил по арабским кварталам, был у резиденции хедивы. Как разительно отличались от старых новые кварталы города, выстроенные уже в европейском стиле. Именно здесь был расположен прекрасный сад Эзбекие. Гумилёва поразило обилие мечетей — более пятисот. Поэт побывал в мечети Ашмед-Ибос-Тулун, построенной по плану Каабы в VIII веке. Узнал, что при мечетях находились большие библиотеки. Видел он и гробницу

халифа Ес-Сале-Еюба и ворота Баб-ен-Наср, через которые караваны богомольцев направлялись в Мекку, дивился окаменелому лесу в Мокатамских горах, побывал в гавани Булак.

Узкие арабские улочки старого города, мечети и гробницы древних фараонов, загадочный сфинкс и не менее загадочные пирамиды фараонов, буйное великолепие природы близ берегов «медлительного Нила» и одиночество — все это превратилось в какую-то сумасшедшую душевную карусель, тоску по любви, упорхнувшей так неожиданно и, казалось бы, безвозвратно. Бродя по садам Эзбекие, поэт опять задумался о смерти. Позже, через десять лет, он напишет прекрасное стихотворение «Эзбекие»:

…Большой каирский сад, луною полной
Торжественно в тот вечер освещенный.

Я женщиною был тогда измучен,
И ни соленый, свежий ветер моря.
Ни грохот экзотических базаров —
Ничто меня утешить не могло.
О смерти я тогда молился Богу
И сам ее приблизить был готов.

Но этот сад, он был во всем подобен
Священным рощам молодого мира:
Там пальмы тонкие взносили ветви,
Как девушки, к которым Бог нисходит,
На холмах, словно вещие друиды,
Толпились величавые платаны.
…….
И, помню, я воскликнул: «Выше горя
И глубже смерти — жизнь! Прими, Господь,
Обет мой вольный: что бы ни случилось.
Какие бы печали, униженья
Ни выпали на долю мне, не раньше
Задумаюсь о легкой смерти я,
Чем вновь войду такой же лунной ночью
Под пальмы и платаны Эзбекие»…

Поэт зашел в волшебный сад с мыслями о смерти, и (о, чудеса!) природа исцелила душу и выплеснула яд, которым ее отравила киевская колдунья. Он снова был полон желаний, вернувшись из мира призраков и теней древней цивилизации к реальной жизни. В письме Брюсову он пишет: «Дорогой Валерий Яковлевич, я не мог не вспомнить Вас, находясь „близ

медлительного Нила, там, где озеро Мерида в царстве пламенного Ра“. Но увы! Мне не удается поехать вглубь страны, как я мечтал. Посмотрю сфинкса, полежу на камнях Мемфиса, а потом поеду не знаю куда, но только не в Рим. Может быть, в Палестину или Малую Азию. Адреса у меня нет…»

В Палестину и Малую Азию поэт не попал. Видимо, из-за отсутствия денег. Но письмо он послал, хотя Брюсов его не получил. Уже в конце ноября из Царского Села он напомнит в письме Валерию Яковлевичу: «…Из Каира я послал Вам большое письмо со стихами и просил Вас ответить, но, очевидно, Вы его не получили. Впрочем, в египетском почтовом ведомстве порядки поистине африканские. Я много и серьезно работаю и написал около пятнадцати стихотворений…»

Гумилёв отправил еще одну открытку Вере Аренс от 15—19 октября из Египта, в которой все еще высказывает надежду, что отправится в Палестину, уточняя, что он все время «в разъездах».

Известно, что 13 октября Гумилёв был уже в Египте. В этот день он послал открытку Валентину Анненскому: «Многоуважаемый Валентин Иннокентьевич! Мой привет Вам и Наталье Владимировне из Египта. Вернусь на днях».

«На днях» поэт не вернулся[6]. Достоверно известно, что в конце октября Николай Степанович занял денег и прибыл в Россию, видимо, опять знакомым путем через Одессу.

Хорошее настроение и множество положительных впечатлений после путешествия снова пробудили в душе надежду, и он отправился в Киев. И снова встреча, полная взаимных обид, унижений, непонимания, и снова он был отравлен ядом язвительного ума и холодной души.

Дома Николая ждала новость. Семья во время его путешествия переехала из тесных комнат вдовы Белозеровой на Конюшенной улице в дом Георгиевского по улице Бульварной. В связи с тем, что занятия в университете уже начались, Гумилёву пришлось снять квартиру в самом Санкт-Петербурге на Гороховской улице.

Сразу же по приезде Николай Степанович начал устанавливать литературные связи. 14 ноября он пишет письмо В. В. Уманову-Каплуновскому: «Многоуважаемый Владимир Васильевич, я вернулся из моей поездки и был бы очень рад снова принять участие в вечерах имени Случевского. Вам, как секретарю, я сообщаю мой новый адрес: Царское Село, Бульварная улица, д. Георгиевского… И я надеюсь, что Вы не откажетесь прислать мне повестку на ближайший вечер…»

Такую повестку поэт получил и 20 ноября отправился в Санкт-Петербург на Торговую, 18, где на квартире

В. П. Авенариуса проходил очередной вечер кружка.

Но «Вечера Случевского» с их узко-замкнутым кругом интересов и участников не удовлетворяли запросов молодого поэта. Он жаждал более широкого общения с поэтами-модернистами, ему хотелось познакомиться с известным символистом Александром Блоком. Гумилёв был наслышан о литературных «средах», которые проводил у себя дома Вячеслав Иванов, но просто так, с улицы, попасть на них было невозможно. Новичков представляли только с согласия самого хозяина. Такой порядок он установил после смерти жены. Вечера-журфиксы по средам Ивановы — Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал и Вячеслав Иванович — проводили с 1905 года.

Уже 31 июля 1905 года Иванов сообщает Брюсову свой адрес в Санкт-Петербурге: Таврическая, 25, так называемая круглая башня над Таврическим парком. Поселились Ивановы под самой крышей на шестом этаже. Окна «башни» выходили одной стороной на Тверскую, а другой — на Таврическую улицы. Знаменитые дворец и парк как бы оказались под ногами писателей, было романтично работать над Таврическим парком. Вячеслав Иванов жаждал общения, хотел быть в центре внимания, и уже в августе-сентябре он сообщает многим своим знакомым — «среда — день наших приятелей». Первая «среда» была организована 2 или 3 сентября. На ней присутствовали поэт В. Пястовский (известный в литературе как Пяст) и философ В. Эрн.

Собственно «башня» представляла собой большую круглую комнату оранжевого цвета. Чтобы при сдаче внаем получить больше денег, владелец перегородил ее с двух сторон стенками. В центральной части «башни» и проводил Вячеслав Иванович свои журфиксы по средам. На Тверскую улицу выходила двухоконная комната Лидии Дмитриевны. Тут, возле тахты, заваленной мягкими подушками, стояла известная урна, куда супруги складывали свои рукописи. Рядом со спальней располагалась гостиная для приезжих. На знаменитый Таврический сад выходили окна столовой, окрашенной в темно-зеленые тона.

Среды проходили осенью, зимой и весной, а летом, в период дачный, встречи, как правило, не проводились. Кто только не бывал на этих знаменитых средах: писатели, поэты, философы и просто известные личности. В 1907 году Ивановы уехали летом в Загорье, в имение своих друзей, 17 октября Лидия Дмитриевна неожиданно умерла, заразившись скарлатиной во время эпидемии, когда помогала выхаживать больных крестьянских детей. Опечаленный Вячеслав Иванович привез тело жены хоронить в Санкт-Петербург. Именно с этих пор начал меняться

характер быта и литературных сред на «башне», как говорил философ Николай Бердяев, с Лидией Дмитриевной из них ушел «дионисийский трепет» и «умерла их душа». Теперь собирались по средам только по личному приглашению Вячеслава Иванова и в большой столовой. Башенную комнату стали сдавать иностранным корреспондентам, аккредитованным при Государственной думе. Так, весной 1908 года здесь жил немецкий писатель и журналист Иоганес фон Гюнтер по приглашению Вячеслава Иванова. Обитали здесь поэт Юрий Верховский, философ Владимир Эрн, редактор издательства «Логос» Федор Степун. Андрей Белый, друживший с Вячеславом Ивановым и подолгу живший у него, писал в «башне» знаменитый роман «Петербург».

О вечерах Иванова ходили по городу легенды, и завсегдатаи поэта считались в литературном мире посвященными. Встречались и те, кто приходил к Вячеславу Ивановичу, чтобы попросить совета, аудиенции. За это Иванов получил прозвище Вячеслав Мудрый.

Гумилёв не был в числе посвященных, но ему этого очень хотелось. И тут в его судьбу вмешался господин случай. В конце июля молодой прозаик Сергей Ауслендер со своим дядей Михаилом Кузминым отдыхали в Новгородской губернии у родственников. Однажды им на глаза попалась газета «Речь» за 26 июля 1908 года с рассказом Николая Гумилёва «Последний придворный поэт». Случайно в доме оказался и старый номер «Речи» от 15 июня, где был еще один рассказ того же Гумилёва «Черный Дик». Его отложил сам Сергей. Так как оба не знали, кто же этот Гумилёв, решили после возвращения поинтересоваться в Санкт-Петербурге о неизвестном им авторе. И вот осенью, вернувшись в Северную столицу, Ауслендер как-то зашел в редакцию журнала «Весна» и совершенно случайно узнал, что в одиннадцатом номере журнала выходит рассказ Гумилёва — «Лесной дьявол» и готовятся к печати его же стихи. Сергей слышал, что этот молодой человек вроде бы находится в Париже и близок к кружку Мережковских. Ауслендер, оказалось, не любил Мережковских, и это чуть было не остановило его, но он пересилил предубеждение и спросил о поэте. Неожиданно он узнал, что Гумилёв живет уже в Петербурге. Ауслендер попросил передать ему свой домашний адрес и приглашение.

В ту осень он жил на Вознесенском проспекте, 27 в лечебнице своего дяди. Квартира была огромная, со множеством комнат и швейцаром внизу, который привык, что у Ауслендера собираются студенты, вечно шумящие и небрежно одетые. 26 ноября ближе к вечеру Гумилёв приходит к Сергею. Швейцар с таинственным

видом докладывает:

— Там вас, барин, хочет видеть один господин.

— Какой еще господин? — удивился в свою очередь Ауслендер, он никого не ждал в этот вечер.

— Из таких, какие к вам не ходят.

Ауслендер приказал позвать. На пороге квартиры, где царил студенческий беспорядок, появился в цилиндре и черном пальто молодой человек:

— Вы, сударь, передали просьбу о встрече, и я решил не откладывать это дело в долгий ящик.

Ауслендер был шокирован внешним видом гостя, его подчеркнутой официальностью и безукоризненным платьем. Беседа не клеилась и зашла в тупик. И тут Сергей Ауслендер обмолвился, что вечером собирается на «среду» Вячеслава Иванова. Неожиданно гость оживился и изъявил желание пойти туда же. Ауслендер был поставлен в тяжелое положение, так как нужно было испросить разрешения у Иванова. Он стал отговариваться, но Гумилёв настаивал. Пришлось Сергею звонить по телефону. Самого Вячеслава Иванова дома не оказалось, ответила его падчерица Вера Константиновна Иванова-Шварсалон. Вера Константиновна подтвердила, что нужно предупредить хозяина. Ауслендер, чтобы не обидеть гостя, стал убеждать ее, что Гумилёв уже сидит у него и может воспринять отказ как личное оскорбление.

После положительного ответа Николай Степанович заметно оживился, стал рассказывать о своих путешествиях по Египту и Греции, сообщил, что живет в Царском Селе, и официально пригласил Ауслендера к себе в гости. Ауслендер не ожидал такого напора и начал отказываться, ссылаясь на занятость и отсутствие свободного времени.

— Ну, милостивый государь, — холодно заметил Гумилёв, — если вы хотите продолжить наше знакомство, то найдете время.

На этой официальной ноте будущие друзья окончили беседу и отправились на Таврическую улицу, 25.

Вечер был самый обычный, присутствовало не так много гостей. Иванов нового поэта встретил довольно приветливо. За вечерней трапезой, когда был осушен не один стаканчик красного вина, Вячеслав Иванович попросил гостя что-нибудь прочитать. Гумилёв начал читать, медленно растягивая слова, недавно написанное стихотворение:

Он был героем, я — бродягой,
Он — полубог, я — полузверь.
Но с одинаковой отвагой

Стучим мы в замкнутую дверь.

Пред смертью все, — Терсит и Гектор,
Равно ничтожны и славны,
Я также выпью сладкий нектар
В полях лазоревой страны…

(«В пустыне», 1908)

Попросили почитать еще. И Николай Степанович читал недавно написанное — «В муках и пытках рождается слово…». Как вспоминал сам Сергей Ауслендер: «…стихи действительно были хорошие. Вячеслав Иванов, по своему обычаю, превозносил их. Гумилёв держался так, что иначе как бы и быть не может». Лед отчуждения был растоплен, Гумилёв в этот вечер долго рассказывал о своих путешествиях. Лидия Иванова вспоминала через много лет: «Среди разговоров за столом были и такие, которые увлекали одинаково и меня, и моего отца. Это были, например, рассказы Гумилёва об Африке, которые он чередовал с чтением стихов:

Далеко, далеко на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Мы оба слушали, затаив дыхание, т<ак> к<ак> отец имел в душе много струн совсем юношеских и при живом воображении любил отдаваться переживаниям, неосуществимым для него реально». Романтик обрел романтика. Оба остались довольны друг другом, и Гумилёв получил приглашение бывать у Иванова в любое время.

Ауслендер, обрадовавшись, что его нового знакомого так тепло принял мэтр, пригласил провести остаток вечера у него.

Вернувшись на Вознесенский проспект, новые друзья отметили удачу Гумилёва красным вином и черствым хлебом. Гумилёв скинул сюртук и манишку, оставшись в полосатой рубашке, и всю чопорность его как рукой сняло. Только утром он отправился домой в Царское Село.

В Царском Селе поэт возобновил знакомство с художниками Кардовскими. Гумилёв нанес Кардовским официальный визит, надев свой знаменитый цилиндр и черный фрак. Николай Степанович увидел, как преобразились их комнаты. Ольга Людвиговна в беседе заметила, что хотела бы написать портрет молодого поэта, и если он не против, то она, не откладывая, начала бы работать. Гумилёв, не избалованный вниманием

художников, с радостью, но с чувством собственного достоинства дал согласие и стал еженедельно бывать в мастерской Кардовской. Во время сеансов или после них поэт часто говорил о своей жизни в Париже, о посещении им вечеров известной тогда художницы Е. С. Кругликовой, о своей университетской жизни, где он нашел множество своих единомышленников.

О том, как вел себя Гумилёв на сеансах художницы, вспоминала потом сама Ольга Людвиговна: «…В тот период, когда я задумала написать его портрет, он носил небольшие, очень украшавшие его усы. Бритое лицо, по-моему, ему не шло. Во время сеансов Николай Степанович много говорил со мной об искусстве и читал на память стихи Бальмонта, Брюсова, Волошина. Читал он и свои гимназические стихи, в которых воспевался какой-то демонический образ. Однажды я спросила его: „А кто же героиня этих стихов?“ Он ответил: „Одна гимназистка, с которой я до сих пор дружен. Она тоже пишет стихи…“ Стихи он читал медленно, членораздельно, но без всякого пафоса и слегка певуче. Николай Степанович позировал мне стоя, терпеливо выдерживая позу и мало отдыхая. Портрет его я сделала поколенным. В одной руке он держит шляпу и пальто, в другой поправляет цветок, воткнутый в петлицу. Кисти рук у него были длинные, сухие. Пальцы очень выхоленные, как у женщины… Несмотря на некоторые замечания, портрет свой он одобрил, но ему хотелось, чтобы глаза были поставлены прямо. Однако, поскольку это сразу же меняло все выражение его лица, я настояла на своем и написала глаза чуть косыми».

К Кардовским приходил не только Гумилёв. Часто художников навещал двадцатисемилетний поэт, граф Василий Алексеевич Комаровский, считавшийся в Царском Селе человеком странным. Ольга Людвиговна испросила согласие познакомить с ним Николая Степановича. Тот выразил согласие. Кардовская похлопотала за графа, так как тот был наслышан о Гумилёве. И вот в ноябре состоялась встреча двух поэтов в мастерской Ольги Людвиговны. Она пригласила их за стол и за чаем с домашним пирогом мирная и дружественная беседа совершенно неожиданно переросла в большой спор о поэзии. Граф Комаровский отстаивал позиции полного соответствия между формой и содержанием стиха, а находившийся тогда под впечатлением Леконта де Лиля Гумилёв доказывал главенство формы. Граф разволновался, его речь приобрела импульсивный характер. Гумилёв же оставался невозмутимым, как мраморная статуя, и только медленно и степенно ронял слова, отстаивая свою правоту, всем своим видом стараясь показать Василию Алексеевичу, что он попросту в поэзии еще многого не знает. Так, Гумилёв уже осенью 1908 года

почувствовал в себе задатки мэтра от поэзии. Спор зашел так далеко, что Кардовская даже испугалась, как бы эта встреча не переросла в ссору. Как показалось Кардовской, они ушли врагами. Гумилёв на прощание сказал Ольге Людвиговне: «Вы знаете, Василий Алексеевич большой чудак! С ним невозможно разговаривать!»

На этом, казалось бы, их знакомство и должно было закончиться. Но каково же было удивление Кардовской, когда на другой день Гумилёв пришел на очередной сеанс вместе с графом Комаровским.

29 ноября 1908 года наконец осуществилась мечта Гумилёва познакомиться с модным тогда поэтом Александром Блоком. В тот вечер Гумилёв пришел на очередной журфикс к Вячеславу Иванову и там был представлен Александру Александровичу.

В Санкт-Петербургском университете Гумилёв тоже очень быстро нашел единомышленников. В ту пору там «обитали» братья Городецкие. Сергей Городецкий писал заумные стихи, которые нравились Блоку:

…«Удрас, Удрас,
Поди ко мне.
Веселый!
Удрас, Удрас,
Пади на нас,
Тяжелый,
А ты, Барыба,
Обремени,
Беремя, Барыба,
Пошли»…

Сергей Городецкий возрождал в поэзии язычество. Эти воззрения привели его в конце концов в стан футуристов. Брат его, Александр, слыл талантливым художником. Именно Сергей Городецкий создал в стенах университета кружок молодых, который, по его мысли, должен был противостоять старшему поколению поэтов круга Вячеслава Иванова. Жил Городецкий на Лиговке, и на его квартире часто проходили собрания молодых. Среди членов кружка были Н. В. Недоброво, скульптор Стелецкий, приходил начинающий поэт Яков Годин, а также друзья Блока — Евгений Иванов, сестры Зинаиды Гиппиус — Татьяна и Наталья, музыкант А. А. Мерович, Петр Сергеевич Мосолов, пианист. Несколько раз приезжал на занятия кружка Андрей Белый. Правда, заносчивый Недоброво пришелся не ко двору, и его перестали извещать о занятиях кружка.

В университете выходил журнал «Студенчество». Редактировали его А. И. Гидони и Сергей Городецкий. Вскоре слава о кружке распространилась далеко за пределы университета. Узнал о кружке и Николай Гумилёв, приступивший осенью к занятиям на юридическом факультете. Кружок молодых проводил свои занятия в так называемом «Музее Древностей». Эти четыре комнаты были в ведении профессора истории искусств Д. Б. Айналова, и тот благосклонно относился к братьям Городецким. Занятия в кружке проводились вечером, и голодных студентов, спешащих сюда после лекций, часто выручал сторож Михаил, который приносил кружковцам булочки и пирожки по очень доступной цене. Споры по вопросам искусства, философии и поэтические вечера длились до глубокой ночи. Постоянными участниками кружка стали Д. Цензор, поэт П. П. Потемкин, появлялся на собраниях и М. А. Кузмин. В правлении кружка молодых был Д. В. Кузьмин-Караваев, который являлся родственником Н. С. Гумилёва и дружил с С. Городецким. Был в университете и соперничавший с кружком молодых кружок реалистов. В это же время в университете учились П. Потемкин, В. Пястовский (Пяст).

Гумилёв, увлекшись творческой жизнью, не особенно утруждал себя занятиями на юридическом факультете. Да и новые друзья звали его на романо-германское отделение. Гумилёв юридический не бросил, но и особого рвения к наукам не проявлял.

Осень 1908 года, наверное, была все-таки довольно трудной для поэта. Об этом можно судить хотя бы по тому, что написал он за это время совсем немного. Правда, его произведения печатаются в солидных журналах и газетах. Так, поэт опубликовал ряд рецензий на книги известных поэтов, таких как Ф. Сологуб и К. Бальмонт.

В печати появляется целый ряд рецензий на книги самого Гумилёва. 1 сентября газета «Новый путь» публикует рецензию на книгу Гумилёва «Романтические цветы». Автор рецензии скрылся за инициалами П.П. 29 сентября в газете «Понедельник» (приложение газеты «Утро») опубликовал рецензию на «Романтические цветы» Сергей Городецкий. 15 декабря появляются рецензии на эту же книгу в газете «Речь» сразу двух авторов — И. Анненского (подписана И. А.) и В. Брюсова. И вовсе не важно для поэта, кто его больше хвалил или ругал: главное, что его имя на слуху. Он с гордостью пишет Валерию Брюсову в письме от 30 ноября: «Я окончательно пошел в ход: приглашен в три альманаха: „Акрополь“ С. Маковского, о котором Вы, наверное, знаете, в „Семнадцать“ — альманах „Кошкодавов“, и в

альманах Городецкого „Кружок молодых“. В каждый я дал по циклу стихотворений. И критика ко мне благосклонна. Пока обо мне написали в 6-ти изданиях и, кажется, напишут еще в трех. Но эти успехи заставляют меня относиться очень недоверчиво к себе. И я думаю отложить издание моих „Жемчугов“ с назначенного Вами февраля на сентябрь»… В молодом поэте просыпается мастер слова. Теперь, когда нет препятствий к изданию и такое известное издательство, как «Скорпион», берет его книгу стихов, он сам отодвигает срок.

19 декабря Гумилёв сообщает Брюсову: «Я много работаю и все больше над стихами. Стараюсь по Вашему совету отыскивать новые размеры, пользоваться аллитерацией и внутренними рифмами. Хочу, чтобы „Золотая магия“ уже не была „ученической книгой“, как „Ром. цветы“». Меньше месяца прошло после предыдущего письма, а поэт уже поменял название будущей книги: вместо «Жемчугов» появляется «Золотая магия». Но позже, видимо, Брюсов или кто-то другой отсоветовали ему менять название рукописи. А может быть, Николаю Степановичу и самому разонравилось вычурное название. Новых стихотворений осенью и в декабре поэт написал мало, возможно, потому, что серьезно готовился к изданию книги и правил написанные ранее стихи. Среди написанных в ноябре появились и новые произведения: третье стихотворение из цикла «Жизнь веков» (первые два «Варвары», «Андрогин») с символическим началом «Кончено время игры…», потом — стихи «Рощи пальм и заросли алоэ» и «Она колдует тихой ночью…». До декабря поэт пишет «В пустыне» («Давно вода в мехах иссякла…») и «Правый путь» («В муках и пытках рождается слово…»). В середине декабря у Гумилёва появляется стихотворение «Князь вынул бич…» («Охота»), и он заканчивает наконец повесть «Белый единорог». 15 декабря в письме В. Брюсову он интересуется, не взял бы тот для печати «фантастическую повесть „Белый Единорог“ (4,5 печатных листа) в духе „Дориана Грея“», и просит мэтра поместить заметку в каталоге «Скорпиона» о том, что готовится его книга под названием «Золотая магия».

Сам Гумилёв стал персонажем драмы «Маков цвет» З. Гиппиус, Д. Мережковского и Д. Философова, где он был выведен под фамилией Гущин. Драма вышла в 1908 году в Санкт-Петербурге в издательстве М. В. Пирожкова.

И все же, несмотря на свои явные успехи, на признание в литературных салонах и журналах, Гумилёв не чувствует себя счастливым. Киевская колдунья является ему в сновидениях и видениях поэтических. Об этом красноречиво говорит написанное в ноябре стихотворение «Месть», или «Колдунья» (1908).

Она колдует тихой ночью
У потемневшего окна
И страстно хочет, чтоб воочью
Ей тайна сделалась видна.

Как бред, мольба ее бессвязна,
Но мысль, упорна и горда, —
Она не ведает соблазна
И не отступит никогда.
……
На мертвой площади, где серо
И сонно падает роса,
Живет неслыханная вера
В ее ночные чудеса…

Конечно, здесь все дышит воспоминанием о ней… С Рождеством Христовым и Новым годом поэт Анну не поздравил. Впрочем, как и она его.

20 декабря Гумилёв отправился на вечер кружка Случевского, который на этот раз проходил на квартире у профессора В. М. Грибовского, жившего на Измайловском проспекте, 7. Известно, что Гумилёв на вечере прочел свое стихотворение «Северный Раджа», написанное до 20 декабря 1908 года. И в этом стихотворении, посвященном сыну Иннокентия Анненского, где поэт перекликается с апокрифическими преданиями о путешествии молодого Иисуса Христа в Индию, прорываются строки:

И каждый мыслил: «Я в бреду,
Я сплю, но радости все те же,
Вот встану в розовом саду
Над белым мрамором прибрежий.

И та, которую люблю,
Придет застенчиво и томно,
Она близка… Теперь я сплю,
И хорошо у грезы темной».

Ему казалось, что именно та должна будет прийти к нему в наступающем новом, 1909 году.

Глава VII ДУЭЛЬ НА ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ

1909 год навсегда остался в памяти Гумилёва двумя неприятными эпизодами, тесно связанными между собой. А начиналось все так хорошо!..

Весной 1909 года Гумилёв отправился на лекцию в Академию художеств, где повстречался с Максимилианом Волошиным. Там же его представили выпускнице Женского Императорского института по двум специальностям (средняя история и французская средневековая литература), ставшей недавно вольнослушательницей в Санкт-Петербургском университете на лекциях по испанской литературе и старофранцузскому языку. Училась она у известного педагога Александра Веселовского и попутно преподавала в приготовительном классе женской гимназии, которая отличилась тем, что однажды ее ученицы на вопрос проверяющего: «Кого из русских царей вы больше всего любите?» — дружно ответили: «Конечно, Гришку Отрепьева!»

Гумилёв тут же вспомнил Париж, ночное кафе, цветы, разговоры о жизни и о России. Это была Елизавета Дмитриева. Кто бы мог подумать, что эта встреча станет роковой! Вот как сама Дмитриева описала обстоятельства этого знакомства в своей «Исповеди», которую завещала опубликовать только после ее смерти: «…я была в большой компании на какой-то художественной лекции в Академии художеств, — был М. А. Волошин, который казался тогда для меня недосягаемым идеалом во всем. Ко мне он был очень мил. На этой лекции меня познакомили с Н. С. (Гумилёвым. — В. 77.), но мы вспомнили друг друга. — Это был значительный вечер моей жизни. — Мы все поехали ужинать в „Вену“ (известный ресторан того времени. — В. П.), мы много говорили с Ник. Степ, об Африке, почти в полусловах понимая друг друга, обо львах и крокодилах. Я помню, я тогда сказала очень серьезно, потому что я ведь никогда не улыбалась: „Не надо убивать крокодилов“. Ник<олай> Степ<анович> отвел в сторону М. А. и спросил: „Она всегда так говорит?“ — „Да, всегда, — ответил М. А. — Я пишу об этом подробно, потому, что эта маленькая глупая фраза повернула ко мне целиком Н. С.“ Он поехал меня провожать, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это „встреча“ и не нам ей противиться. „Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей, я нашел себе подругу из породы лебедей“, — писал Н. С. на альбоме, подаренном мне. Мы стали часто встречаться, все дни мы были вместе и друг для друга. Писали стихи… возвращались на рассвете по просыпающемуся

серо-розовому городу».

В минуты отдыха Елизавета рассказывала о себе. Родилась она 31 марта 1887 года в обедневшей дворянской семье, была младшей и все детство тяжело проболела. В семье дети страдали серьезными недугами. У старшей сестры обнаружили чахотку. Брат был с психическими отклонениями.

С семи до шестнадцати лет Елизавета — Лиля, как называли ее близкие, — не вставала с постели, страдая туберкулезом костей и легких. Во время психических приступов брат издевался над больной сестрой, добиваясь, чтобы она сказала, что выйдет замуж и родившихся у нее детей отдаст ему на растерзание.

Первое воспоминание Лили из детства — наклоненное над ней лицо мамы, когда она только что очнулась от обморока. Самое яркое впечатление — бабушка заставляет ее целовать образ целителя Пантелеймона и говорить: «Младенец Пантелеймон! Исцели младенца Елисавету!» Запомнились бессонные болезненные ночи, состояние отрешенности от жизни и как маленькая надежда — горящая лампадка у иконы Божьей Матери Всех Скорбящих Радость. Видимо, помогла ее вера. Однажды девочка встала на ноги, хотя ей было больно. Постепенно она научилась ходить, прихрамывая. С тех пор как старшая сестра прочитала ей сказку Христиана Андерсена о Русалочке, которой тоже было больно ступать, Лиля постоянно помнила о морской царевне и ей казалось, что и в ее жизни должны происходить чудеса. В четырнадцать-пятнадцать лет она мечтала о судьбе праведницы, святой и радовалась тому, что Бог посылает ей испытания и тяжелые болезни. Тем не менее Лиля упорно училась и в семнадцать лет окончила с золотой медалью гимназию. В 1904 году она поступила в Женский Императорский педагогический институт.

В это время в девушку влюбляется инженер-путеец Вениамин Васильев. Сначала она соглашается стать его невестой, отвечает на его страстную любовь. Но постепенно начинает понимать, что Вениамин, пусть хороший и влюбленный в нее молодой человек, не сможет дать ей яркую жизнь, которую рисовало ее экзальтированное воображение. Ведь она писала стихи и мечтала о встречах с необыкновенными людьми, каковыми считала всех поэтов. После многолетнего затворничества ее душа рвалась к неизведанному. И тут на ее горизонте появляется поэт Максимилиан Волошин. Она готова его полюбить… Но Макс не выказывает ей своей заинтересованности. А тут Гумилёв, у него все написано в глазах. Она не могла устоять. Если нельзя быть с Максом, то почему не провести время с Гумилёвым? Да еще этот пьяный месяц апрель, чувства бьют через край. Они постоянно

где-то бывают: то в «башне» Вячеслава Иванова, то на литературных вечерах, то на лекциях. Гумилёв дарит Лиле свою книгу стихотворений «Романтические цветы». Ей импонирует, что поэт интересуется старофранцузскими песнями, которые изучает и она. Они пишут друг другу сонеты. Между ними устанавливаются отношения романтической любви. Гумилёв — рыцарь, преданно служащий своей даме, как в романе Сервантеса. Именно Дон Кихот — любимый герой Дмитриевой с детства. Гумилёв начинает поэтическую игру — он пишет сонет на заданные слова и просит то же сделать своих респондентов. Лиле он посылает такой сонет:

Тебе бродить по солнечным лугам,
Зеленых трав, смеясь, раздвинуть стены!
Так любят льнуть серебряные пены
К твоим нагим и маленьким ногам.

Весной в лесах звучит веселый гам,
Все чувствуют дыханье перемены;
Больны луной, проносятся гиены,
И пляски змей странны по вечерам.

Как белая восторженная птица,
В груди огонь желанья распаля,
Приходишь ты, и мысль твоя томится:

Ты ждешь любви, как влаги ждут поля;
Ты ждешь греха, как воли кобылица;
Ты страсти ждешь, как осени земля!

(«Тебе бродить по солнечным лучам», 1909)
Лиля отвечает Гумилёву:

Закрыли путь к нескошенным лугам
Темничные, незыблемые стены;
Не видеть мне морских опалов пены,
Не мять полей моим больным ногам.

За окнами не слышать птичий гам,
Как мелкий дождь, все дни без перемены.
Моя душа израненной гиены
Тоскует по нездешним вечерам.

По вечерам, когда поет Жар-птица,

Сиянием весь воздух распаля,
Когда душа от счастия томится.
Когда во мгле сквозь темные поля.
Как дикая степная кобылица,
От радости вздыхает вся земля…

И в это же время сообщает Волошину: «Гумилёв прислал мне сонет, и я ответила: посылаю на Ваш суд. Пришлите и вы мне сонет». Волошин тоже включается в игру и присылает сонет и Гумилёву, и Дмитриевой на те же рифмы:

СЕХМЕТ

Влачился день по выжженным лугам.
Струился зной. Хребтов синели стены.
Шли облака, взметая клочья пены
На горный кряж. (Доступный чьим ногам?)

Чей голос с гор звенел сквозь знойный гам
Цикад и ос? Кто мыслил перемены?
Кто с узкой грудью, с профилем гиены
Лик обращал навстречу вечерам?

Теперь на дол ночная пала птица,
Край запада луною распаля.
И перст путей блуждает и томится…

Чу! В темной мгле (померкнули поля…)
Далеко ржет и долго кобылица,
И трепетом ответствует земля.

Макс зовет на лето Лилю к себе, в Коктебель, он очень хочет заполучить ее в свои «чертоги». Дмитриева пригласила с собой Гумилёва. Он с радостью согласился. Но Макс уже начал ревновать Гумилёва к Дмитриевой. Она это почувствовала, однако отменить поездку без видимых причин сложно. В письме Волошину от 13 мая она оправдывается: «Дорогой Макс, я уже три дня лежу, у меня идет кровь горлом, и мне грустно. А ваше письмо пришло сегодня, оно — длинное, ласковое и в нем много стихов. Стало лучше. Ваш сонет „о гиене“ лучший из трех… У нас холодно. Думаю о Вас много и скучно от здешнего… Если достану билеты, то выеду 24-го в воскресенье; в первый день, когда могу.

Марго ждать не стану (первая жена Волошина художница Маргарита Васильевна Сабашникова. — В. П.). В Москве ко мне, может быть, присоединится Гумилёв, если ему не очень дешево в III классе. Но я бы лучше хотела ехать одна. Хочется видеть Вас, милый Макс…» Насчет Гумилёва она лукавит. Он в Петербурге, и ехать они должны вместе. Она не хочет, чтобы Макс знал, что они все время проводят вместе и вместе планировали поездку в Коктебель. У Елизаветы свои планы, но она не знает, как сложатся в Крыму ее отношения с Максом, поэтому пока держит в неведении Гумилёва. А он настолько привязался к этой малокрасивой и больной женщине, что готов был взять ее в жены. Сама Дмитриева признавалась: «Много раз просил меня Н. С. выйти за него замуж, никогда не соглашалась я на это; — в это время я была невестой другого (то есть Васильева. — В. П.). Те минуты, которые я была с ним (с Гумилёвым. — В. П.), я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась…»

Гумилёв и понятия не имел, что Волошин питал надежды на продолжение отношений с Лилей, для того и пригласил ее в Крым. Конфликт уже созрел, его умело сплела Елизавета Дмитриева. 22 мая она пишет Волошину откровенное письмо: «Дорогой Макс, уже взяты билеты и вот как все будет: 25 мая в понед. Мы с Гумилёвым едем… В Москве мы останемся до 27-го вечера, а потом уже с Марго едем дальше, по моим расчетам мы приедем в субботу в 7 ч. утра в Феодосию, п<отому> ч<то> едем в III кл… Гум<илев> напросился, я не звала его, но т<ак> к<ак> мне нездоровится, то пусть… Я Вас оч<ень> хочу видеть и оч<ень> люблю. Лиля». Бедный Николай Степанович, знал бы он, что пишет его Лизавета, наверняка бы не стал собираться в дорогу. Но, увы, сети были раскинуты искусно и коварно.

20 мая 1909 года Гумилёв писал Волошину: «Дорогой Максимилиан Александрович! Вы меня очень обрадовали и письмом, и сонетом, и визитом. На последний я Вам отвечаю в этом письме через два часа после его получения (сонет „Облака“). Я написал еще сонет — посвящение Вячеславу Иванову, и он пишет мне ответ. Если хотите поспорить с более достойным Вас противником, я прилагаю Вам мои рифмы — книга — полудней — рига — будней — расстрига — трудный — верига — судный — слоновью — пророку — сердца — единоверца — року — кровью (речь идет о сонете Гумилёва „Освобождение“. — В. П.). Как видите, рифмы не вполне точны. Это Ваш развращающий пример. В Коктебель я думаю выехать числа 27, вряд ли раньше, может быть позже. В Петербурге новостей нет, разве то, что Кузмин поссорился с Позняковым (Сергеем Сергеевичем), Потемкин

пропал без вести…» Гумилёв приложил к письму свой сонет «Нежданно пал на наши рощи иней…»:

Нежданно пал на наши рощи иней,
Он не сходил так много-много дней,
И полз туман, и делались тесней
От сорных трав просветы пальм и пиний.

Гортани жег пахучий яд глициний,
И стыла кровь, и взор глядел тусклей,
Когда у стен раздался храп коней,
Блеснула сталь, пронесся крик эриний.

Звериный плащ полуспустив с плеча,
Запасы стрел еще не расточа,
Как груды скал, задумчивы и буры,

Они пришли, губители богов,
Соперники летучих облаков,
Неистовые воины Ассуры.

Известен и ответ Волошина:

Гряды холмов отусклил марный иней.
Громады туч по сводам синих дней
Ввысь громоздя (все выше, все тесней)
Клубы свинца, седые крылья пиний,

Столбы снегов и гроздьями глициний
Свисают вниз… Зной глуше и тусклей.
А по степям несется бег коней.
Как темный лёт разгневанных эриний.

И сбросил гнев тяжелый гром с плеча,
И, ярость вод на долы расточа,
Отходит прочь. Равнины медно-буры.

В морях зари чернеет кровь богов.
И длинные встают меж облаков
Сыны огня и сумрака — ассуры.

Пока это была только литературная дуэль.
25 мая Гумилёв и Дмитриева убыли из Петербурга в Москву.

В Москве, сразу же по приезде, Николай Степанович со своей спутницей отправился к Валерию Яковлевичу Брюсову, но, не застав его, оставил в редакции записку. Тот в свою очередь оставил записку для Гумилёва: «Очень жалею, что Вы меня не застали… я могу быть дома между 9 и 12 вечера. Если это для Вас возможно, приезжайте в эти часы ко мне „пить чай“. Буду очень рад».

Гумилёв с Дмитриевой остановились в гостинице «Славянский базар» на Никольской улице. Получив из редакции приглашение учителя, в тот же вечер Гумилёв отправился к мэтру и представил ему свою спутницу. Говорил ли он о ее стихах, неизвестно. Известно другое: у них состоялся обстоятельный разговор о сонетах, Брюсов хвалил сонеты Бутурлина. На другой день Николай Степанович купил книжечку стихотворений Бутурлина и подарил его своей спутнице с надписью: «Лиле, по приказанию Брюсова».

28 мая они покинули Москву. Об этой поездке Дмитриева писала в своей «Исповеди»: «Все путешествие туда я помню, как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его „Гумми“, не любила имени Николай, а он меня, как зовут дома, „Лиля“ — „имя похоже на серебристый колокольчик“, так говорил он».

31 мая путешественники были в Коктебеле. Можно себе представить, каково было видеть Волошину ни о чем не догадывающегося Гумилёва. Елизавета по выражению лица Макса поняла, что он готов ее любить.

Гумилёва поселили на третьем этаже в маленькой комнатке рядом с лестницей (шесть с половиной шагов на три шага). Маленькое окно смотрело на Сюрью-Кая и Святую Гору. Покатый деревянный потолок на шести балках нависал над головой. В комнатке помещались лишь маленький белый столик да деревянная кровать. Но именно тут поэт написал своих знаменитых «Капитанов».

Елизавету Макс поселил в удобной просторной комнате, увешанной коврами. Рядом с кроватью стояли большой стол и античная арфа.

Скоро Гумилёв заметил, что отношение Лили к нему стало меняться. Она часто уходила с Максом, ничего ему не говоря. Она добилась своего: Макс захотел ее. В воспоминаниях она признается: «В Коктебеле все изменилось. Здесь началось то, в чем больше всего виновата я перед Н. Ст. Судьбе было угодно свести нас всех троих вместе: его, меня и М. Ал. (имеется в виду Волошин. — В. П.) — потому что самая большая моя в жизни любовь, самая недосягаемая это был Макс. Ал. Если Н. Ст. был

для меня цветение весны, „мальчик“, мы были ровесники, но он всегда казался мне младше, то М. А. для меня был где-то вдали, кто-то никак не могущий обратить свои взоры на меня, маленькую и молчаливую… Я узнала, что М. А. любит меня, любит уже давно, — к нему я рванулась вся, от него я не скрывала ничего. Он мне грустно сказал: „Выбирай сама. Но если ты уйдешь к Г-ву (Гумилёву. — В. П.) — я буду тебя презирать“. — Выбор уже был сделан, но Н. С. все же оставался для меня какой-то благоуханной, алой гвоздикой. Мне все казалось, что хочу обоих, зачем выбор?»

Гумилёв оказался в неудобном положении и не знал, куда себя деть. Хорошо еще, что в это время у Волошина гостили граф Алексей Толстой со своей женой Софьей Дымшиц-Толстой, а также поэтесса Поликсена Соловьева.

Однажды гости Волошина устроили поэтический конкурс. Пять поэтов: Николай Гумилёв, Алексей Толстой, Поликсена Соловьева, Максимилиан Волошин и Елизавета Дмитриева — состязались в создании поэтического портрета красавицы-жены графа — Софьи. Лучшим, естественно, было признано стихотворение самого графа.

С каждым днем пребывание Гумилёва в Коктебеле становилось все более и более двусмысленным. Тогда Дмитриева сама попросила его уехать. Алексей Толстой позже вспоминал об этих событиях: «Его (то есть Гумилёва. — В. П.) карманы были набиты пауками, посаженными в спичечные коробки. Затем он заперся у себя в чердачной комнате дачи и написал замечательную, столь прославленную впоследствии поэму „Капитаны“… После этого он выпустил пауков и уехал…» Так начал завязываться узел, которому было суждено развязаться в ноябре 1909 года.

Дмитриева осталась на все лето в Коктебеле. Вдвоем с Максом они проводили время весело, наслаждаясь любовью и морем. Однажды волной на берег прибило корень виноградной лозы. Он был так вычурно обработан водой, что Волошин решил взять его себе на память. Дома придумали ему имя. Волошин вспоминал: «Он (корень. — В. П.) жил у меня в кабинете… пока не был подарен мною Лиле… Имя ему было дано в Коктебеле. Мы долго рылись в чертовских святцах[7] и, наконец, остановились на имени „Габриах“. Это был бес, защищающий от злых духов». Как известно, заигрывание с чертом до добра никогда не доводит. Но Волошин и Дмитриева тогда об этом не думали. Этот-то черт и стал началом мистификации, которая разыгралась осенью, когда Лиля и Макс вернулись в Петербург.

В Петербурге Гумилёв постоянно сталкивался с Максом и

Елизаветой в одних и тех же компаниях. Волошин ревновал Гумилёва к своей возлюбленной. А она опять начала привлекать к себе Гумилёва. В своей «Исповеди» она признавалась: «…я собиралась выходить замуж за М. А. — Почему я так мучила Н. С.? — Почему не отпускала его от себя?

Это не жадность была, это была тоже любовь. Во мне есть две души, и одна из них верно любила одного, другая другого. О, зачем они пришли и ушли в одно время!»

Вместе с любовной развивалась и литературная мистификация, которую придумали Дмитриева и Волошин.

Однажды Сергей Маковский (главный редактор нового журнала «Аполлон»), лежа дома с плевритом, получил письмо от таинственной поэтессы, подписанное буквой Ч, — она предлагала стихи для журнала. Мистик и эстет Маковский не мог не заинтересоваться незнакомкой, читая магические, полные полунамеков строки:

С моею царственной мечтой
Одна брожу по всей вселенной,
С моим презреньем к жизни тленной,
С моею горькой красотой…
……
И я умру в степях чужбины,
Не разомкну заклятый круг.
К чему так нежны кисти рук,
Так тонко имя Черубины?

И Маковский оказался пойманным в сети загадочной Черубины. Он стал показывать стихи (присланные на бумаге с траурной каймой) сотрудникам будущего журнала «Аполлон». Волошин подзадоривал Маковского. Алексей Толстой догадывался, что это мистификация. Николай Гумилёв, как, впрочем, и Иннокентий Анненский, Михаил Кузмин, Вячеслав Иванов, ничего поначалу не знавшие, одобряли невесть откуда появившиеся декоративные стихи. Маковский воспрянул духом от того, что таинственная красавица сопровождает рождение его журнала. Письма со стихами всё приходили, и Сергей Константинович складывал их у себя в спальне и перечитывал по вечерам. Таинственная «незнакомка» называла себя уже инфантой, писала о любви к цветам:

Люблю в наивных медуницах
Немую скорбь умерших фей,
И лик бесстыдных орхидей

Я ненавижу в светских лицах…

Маковский передает через посыльных таинственной «инфанте» охапки цветов. И письма ее становятся все таинственнее и возвышеннее. Черубина пишет уже о своем древнем испанском роде и его гербе:

Червленый щит в моем гербе,
И знака нет на светлом поле.
Но вверен он моей судьбе,
Последней — в роде дерзких волей…

Бедный, доверчивый папа Мако (так называли Маковского друзья. — В. П.). Если бы он знал, что его так умело разыграли Макс и Лиля! К имени беса «Габриак» мистификаторы прибавили частицу «де» (символ дворянской фамилии), а первую букву, обозначающую черта, развернули в имя Черубина. Так звали героиню рассказа Брет Гарта «Тайна Телеграфного Холма». Так возник таинственный псевдоним Дмитриевой — Черубина де Габриак.

В тайны мистификации была посвящена подруга Дмитриевой художница Лидия Брюллова, внучка знаменитого художника. Именно она отыскала у себя писчую бумагу с черным обрезом.

Маковский написал ответ Черубине. Она стала ему звонить (низкий волнующий голос, рассказы о себе: она — одинокая испанская аристократка, жаждущая жизни, ее духовник — строгий иезуит…). Маковский влюбился в фантом, в бумажный призрак с траурной каймой, в тень морского беса. По воспоминаниям Волошина, в это время Маковский ему признавался: «Если бы у меня было 40 тысяч годового дохода, я решился бы за ней ухаживать».

Наконец по Петербургу поползли слухи. Не все, правда, верили в таинственную «инфанту», кое-кто в открытую говорил о мистификации, но сведения-то шли от пап***а*** Мако, а Маковский пользовался репутацией серьезного человека.

Маковский надеялся увидеть Черубину на заседаниях Общества ревнителей художественного слова, но именно в то время, когда назначались заседания, она болела. Маковский и барон Н. Н. Врангель предприняли поиски таинственной испанки. И однажды папа Мако сказал Волошину: «Знаете, мы нашли Черубину (можно представить состояние Волошина после этих слов. — В. П.). Она — внучка графини Нирод. Сейчас графиня уехала за границу, и поэтому она может позволять себе такие

эскапады. Тот старый дворецкий, который (помните?) звонил мне по телефону во время болезни Черубины Георгиевны, был здесь у меня в кабинете. Мы с бароном дали ему 25 рублей, и он все рассказал. У старухи две внучки. Одна с ней за границей, а вторая — Черубина. Только он назвал ее каким-то другим именем, но сказал, что ее называют еще и по-иному, но он забыл как. А когда мы спросили, не Черубиной ли, он вспомнил, что действительно Черубиной».

Это больше всего испугало Дмитриеву. Ей показалось, что с настоящей Черубиной она еще столкнется…

Вячеслав Иванов как-то прямо сказал Волошину: «Я очень ценю стихи Черубины. Они талантливы. Но если это — мистификация, то гениально». Гумилёв, по-видимому, тоже догадывался о чем-то, но молчал. А граф Толстой однажды сказал заигравшемуся Волошину: «Брось, Макс, это добром не кончится». Волошин ничего не хотел слушать. Но… секрет открыла сама Дмитриева. Однажды на «башне» Вячеслава Иванова Елизавета встретила увлекающегося оккультными науками немецкого писателя и переводчика Иоганнеса фон Гюнтера. У Вячеслава Ивановича за столом сидела веселая компания: жена Федора Сологуба — Анастасия Чеботаревская, Любовь Блок, художница Лидия Брюллова. Дмитриева, издеваясь над стихами Черубины де Габриак, сказала: «Наверное, она очень безобразна, раз до сих пор не рискнула показаться…» Гюнтер промолчал, хотя дамы начали спрашивать его мнение. Потом между Дмитриевой и Гюнтером завязалась беседа, они читали друг другу стихи и вместе покинули «башню». Гюнтер провожал Лилю. Однако возле дома, сойдя с извозчика, она попросила нового знакомого немного с ней пройтись. Гуляя, она рассказывала о себе, о том, что была у Волошина в Коктебеле, что именно там познакомилась с Гумилёвым, а потом принялась опять бранить Черубину. Гюнтер воспринял это как женскую ревность, чем и поддел ее. Он знал, что Волошин был в восторге от Черубины, а Гумилёва привлекала экзотика стихов таинственной испанки…

Позже Гюнтер в своих воспоминаниях «Под восточным ветром», вышедших в конце его жизни в 1969 году, так описывал признание Дмитриевой: «Она остановилась. Я с удивлением заметил, что она тяжело дышит. „Сказать вам?“ Я молчал. Он схватила меня за руку. „Обещаете, что никому не скажете?“ — спросила она, запинаясь. Помолчав, она, дрожа от возбуждения, снова сказала: „Я скажу вам, но вы должны об этом молчать. Обещаете?“ — и опять замолчала. Потом подняла голову. „Я должна вам рассказать… Вы единственный, кому я это говорю…“ Она отступила на шаг, решительно подняла голову и почти

выдавила: „Я — Черубина де Габриак!“ Отпустила мою руку, посмотрела внимательно и повторила, теперь тихо и почти нежно: „Я — Черубина де Габриак“».

Гюнтер не поверил, что таинственная испанская красавица-аристократка, о которой говорили многие известные поэты Петербурга, — эта женщина. «Она была среднего роста, скорее маленькая, — вспоминал он, — довольно полная, но грациозная и хорошо сложена. Рот был слишком велик, зубы выступали вперед, но губы полные и красивые. Нет, она не была хороша собой, скорее — она была необыкновенной, и флюиды, исходившие от нее, сегодня, вероятно, назвали бы „сексом“». Тогда она пообещала немцу, что позвонит в редакцию «Аполлона» в пять часов дня и скажет, что познакомилась с Гюнтером по дороге между Мюнхеном и Штарнбергом два года назад. Это и будет доказательством. В обусловленный час в редакции раздался звонок, и Гюнтер убедился, что Черубина — это Лиля. Он не преминул поделиться этим открытием с Кузминым и, видимо, пытался узнать что-то о Дмитриевой от Гумилёва. Гумилёв, который к этому времени окончательно разорвал отношения с Лилей, отозвался о ней не очень лестно. Слова Гумилёва Гюнтер донес до самой Дмитриевой. Он же в ноябре на заседании Академии стиха на «башне» Вячеслава Иванова поведал о том, кто такая Черубина де Габриак. Гумилёв, конечно, был сильно обижен на Дмитриеву, но как человек благородный посчитал поступок Гюнтера, выдавшего тайну, недостойным честного человека, о чем и сказал ему. Между ними произошла крупная ссора, и они расстались навсегда. А позже и Кузмин рассказал все о Черубине в редакции «Аполлона». Но главным итогом этой мистификации и разоблачений оказалась драма между Гумилёвым и Волошиным.

Волошин, у которого продолжался роман с Елизаветой Дмитриевой, узнал, по-видимому, все от того же Гюнтера, что Гумилёв отзывался о его любовнице как о легкомысленной женщине и интриганке. Конечно, Максимилиан вспылил. Еще в октябре он пытался на заседании Академии стиха нагрубить Гумилёву в присутствии И. Ф. Анненского, В. И. Иванова, В. А. Пяста, П. П. Потемкина, но ему не удалось вывести из себя Николая Степановича.

Сама Дмитриева тоже подогревала страсти. Ей казалось, что ссора между двумя известными поэтами (чем бы она ни кончилась) возвеличит ее до уровня «инфанты».

Волошин, импульсивный и неуравновешенный, толстый и неуклюжий, не знал, как вывести Гумилёва из себя, чтобы показать ему, как он его ненавидит.

16 или 17 ноября у Гумилёва с Дмитриевой состоялся

разговор. Встреча оказалась не очень удачной. Елизавета Ивановна старалась уязвить самолюбие поэта. Дмитриевой нужен был повод для ссоры, чтобы рассказать Волошину, какой негодяй Гумилёв. И она решает разыграть спектакль на четверых в доме ее подруги Лидии Павловны Брюлловой.

Дмитриева написала в своей исповеди об этой встрече так: «В понедельник ко мне пришел Гюнтер и сказал, что Н. С. на „башне“ говорил Бог знает что обо мне. Я позвала Н. С. к Лидии Павл. Брюлловой, там же был и Гюнтер. Я спросила Н. С., говорил ли он это. Он повторил мне в лицо. Я вышла из комнаты. Он уже ненавидел меня…»

А Волошин ненавидел Гумилёва. И искал случая для того, чтобы публично оскорбить поэта. Видимо, тот самый морской черт Габриак, материализованный им, не давал ему покоя. В связи с подготовкой нового журнала пап***а*** Мако договорился с художником Головиным, чтобы тот сделал групповой портрет ведущих сотрудников «Аполлона». И аполлоновцы часто навещали в те дни художника в его мастерской на самой вышке Мариинского театра. 19 ноября вечером в мастерскую Головина в Мариинском театре пришли Николай Гумилёв, Александр Блок, Сергей Маковский, Иннокентий Анненский, Михаил Кузмин, Евгений Зноско-Боровский и другие. Волошин появился в мастерской, по его признанию, уже основательно подогретый Дмитриевой.

В этот день в театре давали «Фауста», пел сам Федор Шаляпин. Мощный голос певца доносился до мастерской. Гумилёв беседовал с Блоком, который так и не стал ближайшим сотрудником «Аполлона». Хозяин мастерской вышел, гости разбрелись по комнате. Ссора между Волошиным и Гумилёвым произошла у всех на глазах. Вот как сам Максимилиан Александрович описал этот эпизод в воспоминаниях: «Все уже были в сборе… Шаляпин внизу запел „Заклинание цветов“. Я решил дать ему кончить. Когда он кончил, я подошел к Гумилёву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину. В первый момент я сам ужасно опешил, а когда опомнился, услышал голос И. Ф. Анненского, который говорил: „Достоевский прав. Звук пощечины — действительно мокрый“. Гумилёв отшатнулся от меня и сказал: „Ты мне за это ответишь“ (мы с ним не были на „ты“). Мне хотелось сказать: „Николай Степанович, это не брудершафт“. Но я тут же сообразил, что это не вязалось с правилами дуэльного искусства, и у меня внезапно вырвался вопрос: „Вы поняли?“» Так писал Волошин, но по другим мемуарам (графа Толстого) ссора произошла иначе: «…поэт В., бросившись к Гумилёву, оскорбил его. К ним подбежали

Анненский, Головин, В. Иванов. Но Гумилёв, прямой, весь напряженный, заложив руки за спину и стиснув их, уже овладел собою. Здесь же он вызвал В. на дуэль». Гумилёв не мог простить оскорбления и поставил самые серьезные условия. Он потребовал стреляться на пяти шагах и до смерти одного из противников.

Секундантами Гумилёва стали Евгений Зноско-Боровский и Михаил Кузмин. Секундантами Волошина согласились быть художник князь А. К. Шервашидзе и граф Алексей Толстой. Весь день 20 ноября в редакции журнала «Аполлон» обсуждали ситуацию и думали над тем, как смягчить условия дуэли, чтобы избежать смертельного исхода. Ничего определенного не придумали.

21 ноября секунданты Гумилёва Михаил Кузмин и Евгений Зноско-Боровский поехали к Волошину и официально уведомили его о дуэли. Михаил Кузмин записал в дневнике в тот же день: «Зноско заехал рано. Макс все вилял, вел себя очень подозрительно и противно… Я с князем (то есть Шервашидзе. — В. П.) отправился к Борису Суворину добывать пистолеты, было занятно. Под дверями лежала девятка пик. Но пистол<етов> не достали, и князь поехал дальше… У нас сидел уже окруженный трагической нежностью „башни“ Коля (Гумилёв. — В. П.). Он спокоен и трогателен. Пришел Сережа (Сергей Ауслендер. — В. П.) и ненужный Гюнтер. Но мы их скоро спровадили. Насилу через Сережу добыли доктора. Решили не ложиться. Я переоделся, надел высокие сапоги, старое платье. Коля спал немного».

Гумилёв вел себя внешне очень спокойно и действительно провел целый день перед дуэлью на «башне». Он не хотел волновать родителей, особенно мать, которая могла бы почувствовать что-то неладное.

Интересно, что 21 ноября слух о предстоящей дуэли стал достоянием гласности. В этот же день газета «Русское слово» писала о ссоре поэтов, и, конечно, в ней было много вранья.

Секунданты условились, что местом дуэли будет Новая Деревня, то есть район печально известной Черной речки. С трудностями нашли дуэльные пистолеты — старинные, с выгравированными фамилиями всех, кто на них дрался. Решено было провести дуэль рано утром. Князь Шервашидзе вспоминал: «…я был очень напуган, и в моем воображении один из двух обязательно должен быть убит. Тут же у меня явилась детская мысль: заменить пули бутафорскими. Я имел наивность предложить это моим приятелям! Они, разумеется, возмущенно отказались. Я поехал к барону Мейендорфу и взял у него пистолеты…»

Секунданты не прекращали попыток изменить условия дуэли.

Ясно, что с пяти шагов Гумилёв не промахнется и, если будет стрелять первым, убьет Волошина. В то же время условия — стрелять по команде одновременно — не оставляли шансов никому из дуэлянтов. Как признавался Толстой, с большим трудом под утро в ресторане «Альберта» удалось уговорить секундантов Гумилёва остановиться на пятнадцати шагах. Секунданты согласились, но Гумилёв категорически отказывался идти на какие-либо уступки. Только через сутки его удалось уговорить, объяснив, что для такого опытного стрелка, как он, и пятнадцать шагов — не расстояние. Дуэль была назначена на утро 22 ноября.

На ночь перед дуэлью Гумилёв остался на «башне». Рано утром, помолившись, он вверил свою судьбу Господу Богу.

Если во времена Пушкина на дуэль ехали в карете, то теперь оба противника отправились на Черную речку на автомобилях. Стояла сырая слякотная погода. По дороге в Новую деревню талый снег сыграл злую шутку с автомобилем Гумилёва и его секундантов. Он застрял в каком-то осевшем сугробе. Вскоре его догнал автомобиль, в котором ехал Максимилиан Волошин. Толстой позвал дворников с лопатами. Общими усилиями секунданты вытащили автомобиль из сугроба. Зноско-Боровский провалился в снег и потерял свою калошу. Гумилёв же за всем наблюдал спокойно и невозмутимо, стоя рядом на дороге. Наконец автомобиль заурчал, и дуэлянты двинулись к Новой Деревне.

За городом автомобили оставили у дороги, около занесенной снегом свалки и пошли к месту дуэли через поле. Распорядителем дуэли был выбран граф Алексей Толстой. Позже он вспоминал: «Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилёв, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов, просил противников встать на места и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось, я разорвал платок и забил его вместо пыжей, Гумилёву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным, черным силуэтом различимый в мгле рассвета. На нем были цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, — взял пистолет, и тогда только я заметил, что он, не отрываясь, с ледяной ненавистью глядит на В., стоявшего, расставив ноги, без шапки. Передав второй пистолет В., я по правилам в последний раз предложил мириться. Но Гумилёв перебил меня, сказав глухо и недовольно: „Я приехал драться, а не мириться“».

Что думал поэт, когда у него в руках оказался пистолет? Возможно, он вспомнил пушкинскую дуэль и Дантеса? Но

Пушкин дрался за честь жены, своей «косоглазой Мадонны», которую боготворил. А он вынужден был драться за свою честь. За день до дуэли, при встрече, он понял, как он глубоко заблуждался, обожествляя эту маленькую женщину, по-своему несчастную. Он ее не ненавидел, он просто вычеркнул ее из своей жизни в тот миг, когда поднял дуэльный пистолет. Пятнадцать шагов теперь отделяли его от всего того, что осталось позади. Он поднял пистолет, когда услышал слова Толстого: «Раз… два…» В этот момент секундант Гумилёва Кузмин от волнения сел прямо в талый снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком. Он уже представлял, как сейчас прольется кровь, и закрыл глаза. Толстой крикнул: «Три!» Гумилёв выстрелил. Волошин поднял пистолет тоже на счет три и нажал на спуск, но выстрела не последовало. Волошин проговорил в волнении: «У меня была осечка!» Позже он вспоминал: «…Гумилёв промахнулся, у меня пистолет дал осечку. Он предложил мне стрелять еще раз. Я выстрелил, боясь, по неумению своему стрелять, попасть в него. Не попал…» Гумилёв, побледневший, видимо, приготовившийся уже к смерти и желавший ее (все-таки это лучше: умереть на дуэли, чем покончить жизнь самоубийством), крикнул: «Я требую, чтобы этот господин стрелял!»

Перед тем как выстрелить второй раз, Волошин спросил Гумилёва: «Вы отказываетесь от своих слов?» Гумилёв гордо и внятно ответил: «Нет!» Волошин выстрелил во второй раз — и снова осечка. Либо Всевышний хранил Гумилёва, либо бес Габриак издевался над Волошиным.

После второго выстрела князь Шервашидзе крикнул Толстому: «Алеша, хватай скорей пистолеты!» К Волошину подбежал граф Толстой, выхватил у него из рук пистолет и выстрелил в снег. Гашеткой графу ободрало палец. Гумилёв тут же стал настаивать: «Я требую третьего выстрела!» Секунданты начали совещаться и, так как никто из них не хотел смерти поэтов, единодушно ему в этом отказали. Толстой предложил дуэлянтам подать друг другу руки, но оба поэта отказались и разошлись навсегда. Гумилёв так и не простил обиды, хотя судьба и даровала им в конце жизни Николая Степановича еще одну встречу.

Почему же не попал с пятнадцати шагов (а по другой версии — с двадцати пяти шагов) в Волошина хорошо стрелявший Гумилёв, если он действительно стрелял серьезно? По признанию Толстого, его отец насыпал в пистолеты двойную порцию пороха, тем самым усилилась отдача при выстреле и существенно уменьшилась точность попадания. И опытность при этих условиях не играла никакой роли.

Но Гумилёв этого так и не узнал.

Дуэль окончилась. Гумилёв молча поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к своему автомобилю в сопровождении Кузмина и Зноско-Боровского. Волошин уехал со своими секундантами. В этот день Кузмин записал в дневнике: «Бежа с револьверным ящиком, я упал и отшиб себе грудь. Застряли в сугробе. Кажется, записали наш номер. Назад ехали веселее, потом Коля загрустил о безрезультатности дуэли. Дома не спали, волнуясь. Беседовали».

На следующее утро после дуэли в меблированные комнаты на Театральной площади, где жил князь А. Шервашидзе, пришел квартальный надзиратель и уведомил его, что будет суд и все участники дуэли понесут наказание. Князь вынужден был назвать всех участников.

Сразу в нескольких газетах появились сообщения о дуэли на Черной речке. Уже 22 ноября под заголовком «Еще дуэль» напечатала сообщение «Столичная молва», 23 ноября — «Биржевые ведомости», «Столичная молва» («Дуэль литераторов»), «Вечерний Петербург», «Новое время». 24 ноября появился еще ряд статей в газетах о дуэли двух поэтов, причем «Биржевые ведомости» опубликовали фельетон А. Измайлова «Галоша. Опыт некролога», в котором автор высмеивал героев дуэли:

> На поединке встарь лилася кровь рекой,
> Иной и жизнь свою терял, коль был поплоше.
> На поле чести нынешний герой
> Теряет лишь… калоши…

Другой автор «Биржевых ведомостей» А. Зорин просто издевался над дуэлянтами: «25 шагов расстояния, гладкоствольные пистолеты, сбитые мушки, половинный заряд. Да при таких условиях и в корову попасть трудно!»

25 ноября сообщение о дуэли появилось даже в газете «Одесские новости», а через день о дуэли писали московские газеты, такие как «Раннее утро» («Декадентская дуэль»). Сергей Маковский вспоминал потом: «Много писалось в газетах о поединке „декадентов“, с зубоскальством и преувеличениями. Репортеры „желтой прессы“ воспользовались поводом для отместки „Аполлону“ за дерзости литературного новаторства; всевозможные „вариации“ разыгрывались на тему о застрявшей в глубоком снегу калоше одного из дуэлянтов. Не потому ли укрепилось за Волошиным насмешливое прозвище „Вакс Калошин“?»

Одно из таких сообщений прочитала в далеком Киеве и Аня Горенко. Нет свидетельств, какие она испытала при этом чувства, но известно, что Волошина она недолюбливала на протяжении всей своей жизни.

Вскоре окружной суд приговорил дуэлянтов к домашнему аресту: Николая Гумилёва на семь дней, Максимилиана Волошина на один день. Был назначен и штраф: по десять рублей с каждого участника дуэли. Странно: оскорбление нанес Волошин, а виновным, по сути дела, был признан Гумилёв, который отстаивал свою честь!

Николай Гумилёв о Елизавете Дмитриевой никогда больше не вспоминал. Сама же носительница бесовского псевдонима вскоре разорвала связь и с Максимилианом Волошиным. 15 марта 1910 года она написала ему: «Я всегда давала тебе лишь боль, но и ты не давал мне радости. Макс, слушай, и больше я не буду повторять этих слов: я никогда не вернусь к тебе женой, я не люблю тебя… Я стою на большом распутье. Я ушла от тебя. Я не буду больше писать стихи…»

Пережив оба романа, Елизавета Дмитриева вышла замуж, как и предполагала, за инженера-путейца Вениамина Васильева, но счастливой не стала. Умерла она в 1928 году в ташкентской ссылке, куда попала за связь с Антропософским обществом. В своей «Исповеди» она призналась в том, что Гумилёв значил в ее судьбе очень много, она не забывала его до конца дней: «Я не могла остаться с ним, и моя любовь и ему принесла муку. А мне? До самой смерти Н. Ст. я не могла читать его стихов, а если брала книгу — плакала весь день…»

16 сентября 1921 года, вскоре после расстрела поэта, Елизавета Ивановна посвятила ему стихотворение-эпитафию, в котором были такие строки:

Как-то странно во мне преломилась
Пустота неоплаканных дней.
Пусть Господня последняя милость
Над могилой пребудет твоей!
……..
Разошлись… Не пришлось мне у гроба
Помолиться о вечном пути.
Но я верю — ни гордость, ни злоба
Не мешали тебе отойти.

В землю темную брошены зерна,
В белых розах они расцветут…
Наклонившись над пропастью черной.

Ты отвел человеческий суд.

И откроются очи для света!
В небесах он совсем голубой.
И звезда твоя — имя поэта
Неотступно и верно с тобой.

Глава VIII НА СЛУЖБЕ У «АПОЛЛОНА»

Вернусь к началу 1909 года. Ведь в этом году были у поэта не только Черная речка, но и бурная литературная жизнь, полная открытий и приключений.

Зимой 1908/09 года в Петербурге стала складываться группа молодых поэтов, которая жаждала славы и признания. Среди них были новый друг Гумилёва поэт Петр Потемкин и граф Алексей Толстой. Год назад Алексей Николаевич выпустил сборничек стихов под названием «Лирика». Теперь он решил, что книга недостойна его высоких замыслов, скупал и уничтожал непроданные экземпляры.

Трех молодых поэтов, к которым потом присоединился и прозаик Сергей Ауслендер, не совсем устраивал литературный кружок Сергея Городецкого, они хотели учиться у мэтров. Гумилёв был уже вхож на «башню» и поэтому считался вождем этой группы. В Петербурге в это время находился Вячеслав Иванов. Мэтр согласился прочитать лекции молодым людям, в том числе по теории стиха. Так возникла Академия поэзии, на первых порах на «башне» Вячеслава Иванова. После каждого занятия и ответов на вопросы слушатели обычно читали свои стихи. Разбор шел на практических примерах. Это была незаменимая творческая мастерская для молодежи.

5 января 1909 года Алексей Толстой познакомил Гумилёва с Михаилом Кузминым. О Кузмине Гумилёв был наслышан и написал рецензию на его сборник стихотворений. Кузмину Гумилёв понравился, и он отметил этот день в своем дневнике: «…Я лежал в меланхолии, когда пришли граф Толстой и Гумилёв. Гумилёв имеет благовоспитанный, несколько чопорный вид, но ничего».

Немногим позже Николай Степанович знакомится с еще одним интересным человеком, заядлым шахматистом и литератором, которому суждено будет сыграть важную роль в становлении нового журнала, — с Евгением Зноско-Боровским.

Гумилёву было мало того, что он «пошел в ход», как писал мэтру Брюсову. Побывав в роли издателя журнала в Париже, он загорелся желанием иметь свой печатный орган в Санкт-Петербурге. Три номера журнала «Сириус», привезенные им из Франции, напоминали о времени его редакторских открытий.

И вот 1 января 1909 года случай свел его с удивительным человеком, который тоже мечтал о большом литературно-художественном журнале. Случилось это на художественной выставке «Салон 1909 года». Организатором ее был сын

известного во второй половине XIX века художника Константина Маковского — Сергей Маковский. Воспоминаний Гумилёва об этой встрече не сохранилось, а вот воспоминания Маковского сегодня широко известны: «Эта выставка — „Живописи, графики, скульптуры и архитектуры“ — устроенная мною в музее и „Меншиковских комнатах“ Первого кадетского корпуса, оказалась провиденциальной для будущего „Аполлона“. Я затеял ее по просьбе друзей-художников, оттого что Дягилев перестал пестовать „Мир искусства“ и кому-то надлежало „объединить“ наиболее одаренных художников (после того, как по почину В. В. Верещагина и моему годом раньше были объединены наши историки искусства журналом „Старые годы“). <…> На мое приглашение откликнулось около сорока художников (из разных обществ); было выставлено более шестисот произведений, картин и рисунков… Впервые выступили тогда прославившиеся впоследствии К. С. Петров-Водкин, В. В. Кандинский, М. К. Чюрлёнис… большое впечатление произвели предсмертные этюды Врубеля и „Terror Antiguus“ Льва Бакста, самая значительная из его станковых композиций. С этой символической картины-декорации Бакста, занявшей целую стену на выставке, началось увлечение передового Петербурга архаической Элладой; когда почти годом позже мне пришлось выбрать художника-графика для обложки „Аполлона“, я обратился к Баксту, — весь первый год журнал выходил с его титульной виньеткой… На вернисаже судьба свела меня… с царскоселом Николаем Степановичем Гумилёвым. Кто-то из писателей отрекомендовал его как автора „Романтических цветов“. Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке с очень высоким, темно-синим воротником (тогдашняя мода), и причесан на пробор тщательно…»

Даже в облике двух эстетов было что-то общее. Оба носили короткую стрижку и тщательный пробор. О Сергее Константиновиче, который был старше Гумилёва на девять лет, говорили даже, что в Париже он навсегда протравил себе пробор. Он, как и Гумилёв, тщательно следил за внешностью и одевался с подчеркнутым изяществом. Не зря в своих мемуарах Маковский вспомнил именно то, в чем был одет Гумилёв. Это и понятно. Отец Маковского — художник Константин Егорович — был популярен в высших кругах императорской России. Заказы на портреты влиятельных особ дворянского общества позволяли семье жить в большом достатке и не отказывать себе ни в чем. С детства Сергей привык быть в центре внимания. Отец писал с него героев своих картин: «Маленький вор», «Маленький

антиквар». Позировал он и в образе боярского сына для полотна «Боярский пир». Маковский-старший был удостоен чести писать портреты Государя Императора Александра II. Ему позировал сам Государь и остался доволен его работой. Александр II называл Маковского «мой живописец». Манеры высшего света были с детства хорошо усвоены Сергеем. Он вспоминал в эмиграции: «Поколение, выросшее в „петербургской“ атмосфере девяностых годов — когда юноши еще считали нужным прочесть Бокля и Спенсера, в семьях с наследственной культурой все как-то завертелось вокруг вопросов искусства, поэзии, философских обобщений и парадоксов, — это поколение чуть космополитичное по образованию, но с сентиментальной оглядкой на помещичье, барское житье, неудержимо потянулось на Запад, от доморощенного безвкусия — к „живым водам“ Запада, в Европу „святых чудес“. И случилось неизбежное: Европа конца века, о художестве которой, литературе, поэзии, музыке мы знали до тех пор совсем мало, Европа, предававшаяся всем изысканностям и излишествам воображения и мысли, захватила наших культуртрегеров умственным богатством, дерзновением, всеискушенностью». Гумилёв к высшему свету никогда не принадлежал, но манерам высшего света был обучен и тоже ездил в Европу «святых чудес».

Итак, два элегантных эстета нашли общий язык. Они долго разговаривали, стоя у картин в выставочном зале. Гумилёв много и интересно рассказывал Маковскому об Иннокентии Анненском, обещал познакомить Сергея Константиновича с молодыми поэтами — своими друзьями. Анненского тогда Маковский знал по преимуществу как автора переводов Еврипида и не подозревал, что книга стихов «Тихие песни» также принадлежала ему. Расстались они с мыслью о том, что после закрытия журнала «Мир искусства» необходимо создавать новый, который не только бы его заменил, но был бы еще и литературным журналом.

Сам Маковский именно об этом в ту пору и мечтал. Еще 24 ноября 1908 года он писал А. Бенуа: «…речь идет действительно о „нашем“ будущем журнале. Между прочим — нравится ли Вам название сборника „Акрополь“?»

К этому времени Сергей Константинович был широко известен своими работами в области искусства. Дебютировал он в 1899 году в журнале А. Давыдовой «Мир Божий». А за год до этого открылся журнал, который привлек внимание Маковского. Это был дягилевский «Мир искусства».

И, как признавался сам Маковский, он окунулся в атмосферу исключительно вдумчивого и всеискушенного служения искусству. К журналу были близки поэты Дмитрий

Мережковский, Зинаида Гиппиус, Николай Минский, Федор Сологуб, а также Василий Розанов.

В начале 1900-х годов Маковский заведовал художественным отделом «Журнала для всех», издаваемого Виктором Сергеевичем Миролюбовым. Здесь он и познакомился с Александром Блоком, напечатал его стихи и выплатил ему первый гонорар.

Уже в 1906 году С. Маковский выпускает первый том своего обстоятельного труда «Страницы художественной критики», а через два года появляется второй. Автор вступительной статьи к посмертному сборнику стихов Маковского «Реквием», вышедшему в 1963 году в эмиграции, писал: «В этих книгах впервые в области русской художественной критики были найдены новые формы и указаны новые пути понимания современного искусства. До того Россия была далека от западного влияния, особенно в области живописи, а в Европе царствовали уже импрессионисты: Сезанн, Ренуар… Мане и другие, зарождалась абстрактная живопись… и кубизм Пикассо, Брака и других вождей новой французской школы. Сергей Маковский в своих книгах „Страницы художественной критики“ открыл этот новый мир русскому читателю, явившись предвестником новой эры в русской эстетике и культуре».

В 1906–1908 годах Маковский читал курс лекций по всеобщей истории искусства в Обществе поощрения художеств. В 1907 году, вместе с бароном Н. Врангелем, он пытался открыть журнал «Помещичья Россия», но осуществить самому эту идею не удалось. Однако идея не погибла, ее подхватил другой писатель, Владимир Крымов, и стал издавать журнал «Столица и усадьбы». В конце 1908 года Маковский взялся за устройство выставок русских художников, и «Салон 1909 года» был «пробным шаром».

Гумилёв увлекся идеей создания журнала и писал 26 февраля 1909 года Брюсову: «…Новых стихов я сейчас не посылаю, потому что большая часть их появится в альманахе „Акрополь“». Теперь много сил и времени Гумилёв отдавал организации нового журнала. В этом же письме он признавался мэтру: «Творчество мое идет без больших скачков, и я прилагаю все старанья, чтобы каждая вещь тем или иным была выше предыдущей. И то, что я очень редко получаю за него похвалы, служит, как мне кажется, лучшей гарантией того, что я не изменяю сам себе. Это в теории, а на практике я очень обескуражен и пишу по одному, по два стихотворения в месяц».

Однако в эти первые месяцы 1909 года Гумилёв хоть и писал, по его признанию, мало, но не сидел сложа руки. Он — в центре многих событий литературной жизни Петербурга. Он снова стал посещать «Вечера Случевского» и на одном из них 10 января на

квартире В. В. Уманова-Каплунского на Каменноостровском прочел ставшее вскоре широко известным стихотворение «Варвары». Стихи молодого поэта понравились далеко не всем. Одна из старых участников кружка М. Г. Веселкова-Кильштет писала с чувством явного неодобрения в письме А. Е. Зарину: «… Но кто решительно не в моем вкусе — это Н. С. Гумилёв. Юнец 22 лет с великим апломбом. Мне в его присутствии читать настоящая пытка…» Увы, статисты всегда завидуют яркому таланту.

3 февраля поэт принял участие в литературной части концерта-бала в зале Павловой в Санкт-Петербурге на Троицкой, 13. А вскоре вместе с друзьями отправился в дом Армянской церкви на Невском проспекте, где открылась шестая выставка нового общества художников. Для посещения этой выставки у него был и личный повод: на ней экспонировался его портрет, написанный Ольгой Делла-Вос-Кардовской.

В это время Гумилёв начал проводить творческие вечера у себя в Царском Селе, с чтением стихов до полуночи и вкусными маминым пирогами. Такие встречи стали традицией и проводились с весны до лета. Сохранилось письмо Гумилёва сыну Анненского Валентину от 23 мая 1909 года, Николай Степанович писал: «Дорогой Валентин Иннокентьевич. Узнав, что Вы не выходите по воскресеньям, я нарочно собрал у себя моих друзей в субботу, чтобы иметь удовольствие видеть и Вас. Итак, жду Вас сегодня вечером, конечно, пораньше. Ауслендер читает новый рассказ. Это последний раз в этом сезоне собираются у меня…»

Но события были не только приятные, случались и огорчения. Уже в то время поэта окружают слухи, сплетни и недомолвки. Об одном таком случае вспоминал его друг Сергей Ауслендер: «… Затем последовала зима, особенно тусклая, с литературными событиями и передрягами. Я помню стиль легкомысленного высмеивания. Тут подвизались М. Кузмин, К. Сомов, П. Потемкин и другие. Страшно издевались над всеми, сплетничали. И Гумилёва в первый раз встретили с издевкой за его внешний вид. Кто-то из этой компании насплетничал ему, будто бы я рассказывал, как он приехал ко мне ночью, что у него стеклянный глаз, который он на ночь кладет в стакан с водой. Страшно глупо! В это время мы долго не видались с ним, и я ничего не знал об этой сплетне. Приблизительно в феврале 1909 года Н. Евреинов ставил „Ночные пляски“ Ф. Сологуба, где все роли исполнялись литераторами… На одной из генеральных репетиций было очень весело. Гумилёв подошел ко мне и с видом вызывающего на дуэль сказал, что нам нужно наконец объясниться. Я удивился. Он

пояснил, что ему известно то, что я распространяю про него. Я рассмеялся и сказал, что это глупая сплетня. Он сразу поверил, переменил настроение, и мы весело пошли смотреть балерин, которых привез для балетных номеров Фокин… С этих пор начался период нашей настоящей дружбы с Гумилёвым, и я понял, что все его странности и самый вид денди — чисто внешнее. Я стал бывать у него в Царском Селе. Там было очень хорошо. Старый уютный особняк. Тетушки. Обеды с пирогами. По вечерам мы с ним читали стихи, мечтали о поездках в Париж, в Африку. Заходили царскоселы, и мы садились играть в винт. Гумилёв превращался в завзятого винтера, немного важного. Кругом помещичий быт, никакой Африки, никакой романтики… Его не любили многие за напыщенность, но если он принимал кого-нибудь, то делался очень дружественным и верным, что встречается, может быть, только у гимназистов. В нем появлялась огромная нежность и трогательность. В это время был задуман журнал „Аполлон“. В его создании Гумилёв сыграл важную роль».

1 марта в Санкт-Петербург приехал Валерий Брюсов, которому Николай Степанович поведал о планах создания нового журнала. А уже через три дня в Царском Селе Гумилёв собирает друзей и единомышленников у себя дома на мамины пироги. Предварительно он провел важные переговоры с Иннокентием Анненским. Тот отнесся к идее создания журнала очень серьезно. Среди приглашенных были Сергей Маковский, Сергей Ауслендер, Максимилиан Волошин, Михаил Кузмин. Начал встречу Гумилёв с чтения стихов Анненского, чем сильно удивил своих гостей, они-то знали Иннокентия Федоровича только как переводчика. Присутствующие друзья так заинтересовались поэзией и личностью Анненского, что попросили Гумилёва поближе познакомить их с Иннокентием Федоровичем. Он в ту пору читал лекции по истории древнегреческой литературы на Высших женских историко-литературных курсах Н. П. Раева в Санкт-Петербурге.

Вечер прошел в дебатах о будущем журнале. Решили через два месяца провести организационное заседание.

Встреча была намечена на 3 апреля. Николай Степанович официально приглашает Иннокентия Федоровича. Конечно, Анненский не отказал своему бывшему ученику. Мэтр (хоть тогда и непризнанный) произвел сильное впечатление на молодежь. Маковский позже вспоминал: «Мое знакомство с Анненским, необыкновенное его обаяние и сочувствие моим журнальным замыслам… решили вопрос об издании „Аполлона“. К проекту журнала Гумилёв отнесся со свойственным ему пылом. Мы стали встречаться все чаще, с ним и его друзьями — Михаилом

Алексеевичем Кузминым, Алексеем Толстым, Ауслендером. Так образовался кружок, прозванный впоследствии секретарем журнала Е. А. Зноско-Боровским — „Молодая редакция“. Гумилёв горячо взялся за отбор материала для первых выпусков „Аполлона“, с полным бескорыстием и с примерной сговорчивостью. Мне он сразу понравился тою серьезностью, с какой относился к стихам, вообще — к литературе, хотя казался подчас чересчур мелочливо-принципиальным судьей. Зато никогда не изменял он своей принципиальности из личных соображений или „по дружбе“, был ценителем на редкость честным и независимым… Стихи были всей его жизнью. Никогда не встречал я поэта до такой степени „стихомана“. „Впечатления бытия“ он ощущал постольку, поскольку они воплощались в метрические строки…»

Вскоре Гумилёв прочно завоевал в кружке молодых право быть лидером, его уже слушали, за ним шли, хотя иногда и могли за глаза над ним посмеиваться. Ауслендер в своих мемуарах о поэте признавался: «В эту весну было особенное оживление… мы расширяли свою платформу и переходили из „Весов“ и „Золотого руна“ в другие журналы. Везде появлялись стайками. Остряки говорили, что мы ходим во главе с Гумилёвым, который всем своим видом прошибает двери, а за ним входят другие. Так, например, когда его пригласили в газету „Речь“, он протащил за собою всех нас и, помню, ставил какие-то условия, чтобы в литературном отделе писали только мы. Он умел говорить с этими кадетами, ничего не понимавшими в литературе, и им импонировал. Так же мы вошли и в „Русскую мысль“. Это было веселое время завоеваний. Гумилёв не любил газет, но его привлекало завоевание их только как укрепление своих позиций. Стояла весна ожиданий и надежд…»

Жесткое условие Гумилёва, чтобы для литературного отдела писали только он и его окружение, конечно, было невыполнимо, и тогда Николай Степанович задумывает издавать еще один новый, уже чисто поэтический журнал. В течение всего марта он вел переговоры с различными людьми на предмет возможности издания нового журнала. Один из участников этого мероприятия, граф А. Толстой, вспоминал это с чувством некоторой иронии: «В следующем году (то есть в 1909-м. — В. П.) мы снова встретились с Гумилёвым в Петербурге и задумали издавать стихотворный журнал. Разумеется, он был назван „Остров“. Один инженер, любитель стихов дал нам 200 рублей на издание. Бакст нарисовал обложку. Первый номер разошелся в количестве тридцати экземпляров. Второй — не хватило денег выкупить из типографии. Гумилёв держался мужественно. Какими-то, до сих

пор непостигаемыми для меня путями, он уговорил директора Малого театра Глаголина отдать ему редакторство театральной афишки. Немедленно афишка была превращена в еженедельный стихотворный журнал и печаталась на верже. После выхода третьего номера Глаголину намылили голову. Гумилёв получил отказ, но и на этот раз не упал духом. Он все так же — в узкой шубе со скунсовым воротником, в надвинутом на брови цилиндре — появлялся у меня на квартирке, и мы обсуждали дальнейшие планы завоевания русской литературы».

На самом деле все обстояло несколько иначе. Никакой афишки не было. А был известный в ту пору журнал Театрально-художественного общества, в котором действительно появлялись стихи Гумилёва, а Глаголин был главным редактором. Так, в пятом номере этого журнала в январе 1909 года были опубликованы стихотворения Н. Гумилёва «Колокол», «На льдах тоскующего полюса…». В феврале в шестом номере журнала появилась последняя известная статья Н. Гумилёва о живописи «По поводу „салона“ Маковского». В сентябрьском номере Гумилёв публикует стихотворение «Воспоминание» («Когда в полночной тишине…»); стихотворение «Сегодня ты придешь ко мне…» увидело свет в девятом номере журнала за 1909–1910 годы.

«Остров» Гумилёв задумал как ежемесячный поэтический журнал и с марта начал собирать рукописи для публикации в первом номере. Ему предложили свои произведения М. Кузмин, Вяч. Иванов, М. Волошин, П. Потемкин, А. Н. Толстой. Официальным адресом редакции поэтического журнала стала Глазовская улица, 15 — домашний адрес графа Толстого.

А. Н. Толстой принял в этом начинании Гумилёва активное участие. Он еще в 1908 году вместе со своим другом из Технологического института В. Семичевым пытался начать выпуск еженедельного литературного журнала. Не получилось. Толстой не был энтузиастом. Ему нужен был одержимый идеей человек, каковым и являлся Гумилёв. 9 февраля Николай Степанович в постскриптуме своего письма А. М. Ремизову сообщал: «Кажется, Толстой собирается серьезно приняться за наш альманах; если да, я перешлю ему рукопись Кузмина, которая сейчас у меня».

Исследователи творчества Гумилёва долго гадали: почему, собственно, журнал был назван «Остров», выдвигались фантастические предположения о том, что имеется в виду остров Китеж или остров Делос (где родился Аполлон). Возможно, это и так. Но более вероятным кажется, что название альманаха возникло от названия петербургской местности. Откроем книгу

«Петербург и его достопримечательности», изданную в Северной столице в 1892 году, там, в частности, написано: «…Острова — любимое место прогулки всего Петербурга. Здесь фешенебельное общество и простые смертные…» Так, может быть, разгадка в этом?

Инженером, о котором говорил Толстой, был действительный статский советник Николай Сергеевич Кругликов, сам писавший стихи, брат художницы Е. С. Кругликовой, живший на Итальянской улице, 33.

К выпуску журнала привлекли журналиста Александра Ивановича Котылева. Он стал редактором-издателем и по совместительству ответственным секретарем. Александр Иванович сообщал в письме Андрею Белому: «С марта месяца в Петербурге будет выходить ежемесячник „Остров“, посвященный исключительно стихам. Comite de patronage журнала, извещая об этом Вас, просит разрешения поместить Вас в число сотрудников…»

Многие поэты отнеслись сочувственно к идее получить поэтический журнал. Алексей Ремизов писал 15 марта Владиславу Ходасевичу: «…у нас будет журнал поэтов. Журнал, в котором только стихи. Вести его будут три молодых поэта: Потемкин, Гумилёв и гр. Толстой. На гастролях у них будут участвовать Брюсов, Блок, Вяч. Иванов, Сологуб, Волошин, Кондратьев, Верховский. Пришлите мне несколько стихов Ваших, и я им предложу. Выберите получше. Вас ценят. Гонорара не будет, просто потому, что едва будет хватать на издание. Я очень одобряю их план — и то, что строгость будет, и то, что учиться будут».

Однако в марте любители поэзии журнал не получили. Только 14 апреля Санкт-Петербургский комитет по делам печати Главного управления по делам печати МВД выдал свидетельство за № 2075, в котором сообщалось: «Выдано от С.-Петербургского Градоначальника, на основании ст. 4 Отд. VII. Высочайше утвержденных 24 ноября 1905 г. Правил о повременных изданиях на выпуск в свет в г. С.-Петербурге журнала „Остров“ по следующей программе: 1. Стихи чистой поэзии и 2. Объявления. Срок выхода в свет: 1 раз в месяц. Подписная цена: 2 рубля в год. Издатель Александр Иванович Котылев. Местожительство: Лиговская ул., № 44, кв. 5. Ответственный редактор: он же. Издание будет печататься в типографии Мансфельда, Морская ул., № 9».

24 апреля 1909 года газета «Речь» в разделе «Литературная летопись» сообщала: «Возникает новый ежемесячник „Остров“, специально посвященный поэзии. Во главе журнала стоят

Н. Гумилёв, К. Бальмонт, М. Кузмин, П. Потемкин, Ал. Толстой. Сотрудничество обещали также И. Анненский, А. Белый, А. Блок, М. Волошин, В. Пяст, С. Соловьев и Н. Тэффи».

Все-таки «Остров» появился на свет! 7 мая Гумилёв надписал свежий номер журнала художнику Константину Сомову. А в письме к Кузмину в тот же день сообщал: «Дорогой Михаил Алексеевич, наконец-то вышел первый номер „Острова“. Я высылаю Вам на днях, так как теперь праздники… У нас есть теперь издатель Н. С. Кругликов. Так что журнал наверное пойдет. Не откажите прислать еще стихов для следующих номеров. Мы очень ценим, что Вы у нас „участник“, а не просто сотрудник. Журналом заинтересовался Вячеслав Иванович (Иванов. — В. П.), и он много помогает нам своими советами…»

Интересовался выходом журнала не только Вяч. Иванов, но и другой мэтр символизма — Константин Бальмонт. В письме от 28 июля он писал Волошину: «Не пошлет ли мне „Остров“, где я значусь сотрудником, экземпляров себя?» А знаменитая Надежда Александровна Тэффи в эмиграции вспоминала: «Беседы наши с Гумилёвым были забавны и довольно фантастичны. Задумали основать кружок „Островитян“. Островитяне не должны были говорить о луне. Никогда. Луны не было…» Уж не потому ли не говорить о луне, что Горенко, которая тогда мучила Гумилёва своими отказами, была подвержена «лунной болезни», была «девой луны»?..

В первом номере журнала появились «Царица», «Лесной пожар» и «Воин Агамемнона» Гумилёва, а также стихи М. Кузмина, П. Потемкина, А. Толстого, Вяч. Иванова, М. Волошина.

29 июня в газете «Речь» Сергей Ауслендер опубликовал рецензию на первый номер журнала «Остров», в которой сделал интересный вывод: «Право, не очень плохо пишут стихи и в наше время». Еще одна рецензия Сергея Соловьева появилась в июльском (№ 7) журнале «Весы».

Но в ходе работы над первым номером возникли разногласия между его участниками и учредителями. Котылев занимался хозяйственными делами журнала и, видимо, из-за нехватки денег не смог вовремя выкупить готовый журнал в типографии. Гумилёв, нервничавший из-за отсрочки выхода издания, поспешил домой к Котылеву за объяснениями. А дальше произошло то, о чем писал в конце мая в письме В. Ф. Нувелю П. Потемкин: «…является Гумилёв и оставляет предерзкое письмо, в котором упрекает его в ничегонеделании. „Вы должны были, — писал он, — найти издателя, продать ему номер, взяв из типографии несколько штук, меня мои товарищи уполномочили

поставить Вам на вид (никто его не уполномочил), что Вы — заведующий хозяйственной частью, это так дальше идти не может“, — и, одним словом, третировал его, как мальчишку на посылках. Конечно, Котылев на другой день, увидав Гумилёва, выругал его, передал ему разрешение и сказал, что отказывается от дел Острова, потребовал свои деньги…» Такой оборот дела мог огорчить кого угодно, но только не Гумилёва. Вот именно тогда и появились те самые двести рублей генерала-путейца Кругликова, которые спасли журнал, и поэтому о нем и писал Гумилёв как об издателе.

Чтобы перевести все управление журналом на себя, Николай Степанович заклеивает уже на первом номере старый адрес и ставит свой.

Несмотря на лето, Гумилёв начал подготовку второго номера журнала. На сей раз к концу августа номер действительно вышел, но, увы, он был последним[8]. В этом номере были: сонет Н. Гумилёва «Я попугай с Антильских островов…», стихи А. Блока, А. Н. Толстого, А. Белого, Эльснера, Б. Лившица, С. Соловьева, сонет Л. Дмитриевой. 2 октября 1909 года на страницах газеты «Царскосельское дело» (№ 40) была напечатана пародия на журнал «Остров», которую сочинили П. М. Загуляев и Д. И. Коковцев (бывший одноклассник Гумилёва по Царскосельской Николаевской гимназии). Называлась она «Остов». В ней авторы откровенно издевались над молодыми поэтами:

Гумм и-кот:
Я пригласил вас, господа,
Чтоб номер «Остова» составить.
Моя задача не легка ведь,
И сколько стоит мне труда
Сей орган на ноги поставить.
……..
Сегодня особенно как-то умаслен твой кок
И когти особенно длинны, вонзаясь в меня…
В тени баобаба, призывною лаской маня,
Изысканный ждет носорог…

В таком же духе были высмеяны и другие. Под именем Гумми-кот подразумевался Гумилёв. Потемкин предстал Портянкиным, граф Толстой — графом Дебелым, подобранным в Париже на «внешних бульварах», Михаил Кузмин стал Жасминым, Сергей Городецкий — Сергеем Ерундецким, а Тэффи преобразилась в Пуффи, Макс Волошин — в Вакса Калошина.

Во втором номере Гумилёв поместил среди других стихотворения И. Ф. Анненского «То было на Валлен-Коски» и «Шарики». В декабрьском номере уже нового журнала «Аполлон» Гумилёв, как бы прощаясь с журналом «Остров», писал об опубликованных стихах Иннокентия Федоровича: «Стих Анненского гибок, в нем интонации разговорной речи, но нет пения. Синтаксис его так же нервен и богат, как его душа». И ни единого вздоха об умершем детище — журнале «Остров». Поэзия превыше всего, и неважно, на каких страницах она появляется.

2 мая С. Маковский писал Анненскому о необходимости «… до большого собрания сговориться в маленьком кружке о главных вопросах и составить ordre du soir (порядок вечера)». Именно на этом этапе Гумилёв и прикладывает максимум усилий, чтобы утрясти все разногласия между главными участниками будущего журнала.

Уже 4 мая С. К. Маковский рассылает пригласительные, конечно, в числе первых — Николаю Гумилёву, чью бескорыстную помощь всегда высоко ценил. 5 мая Сергей Ауслендер писал Михаилу Кузмину: «„Аполлон“ открыл редакцию и контору и дал мне денег, т<ак> ч<то> это не одно мифотворчество — на днях будет торжественное собрание сотрудников». И в самом деле, до 6 мая Маковский уже разослал тридцать два приглашения, а список приглашенных отправил мэтру Анненскому с вопросом, не желает ли тот еще кого-нибудь добавить.

9 мая 1909 года наконец состоялось собрание участников будущего «Аполлона». Гумилёву принадлежало в нем организующее начало, хотя он на первых порах и оказался в тени. Главная тема собрания — создание нового журнала. Встал вопрос: чем он должен объединить людей самых разных вкусов? Слово взял Анненский, выступивший с программой журнала: «Цель „Аполлона“ давать выход росткам художественной мысли. <… >…Доступ на страницы „Аполлона“ должно найти только подлинное искание Красоты и только серьезное отношение к задачам творчества. Главный принцип аполлонизма — „выход в будущее через переработку прошлого“, — по нашему мнению, в одинаковой мере несовместим с безоглядностью и с академизмом. Мы живем будущим, но мы знаем, что прошлое в свою очередь тоже было когда-то будущим, что наше будущее станет когда-ни-будь прошлым. Жизнь не дается без борьбы. И мы будем бороться с порнографией и прежде всего потому, что она посягает на одно из самых дорогих культурных приобретений — на вкус к изящному…»

Выступление Анненского было встречено с одобрением

всеми, и Маковский на основе этого выступления потом написал редакционное вступление к первому номеру «Аполлона», учитывая замечания Вяч. Иванова и А. Бенуа.

После того как собравшиеся выработали направление журнала, были распределены и темы. Анненскому досталась поэзия, Волынскому — анализ литературы за последние пятнадцать лет, Бенуа — танец, Волошину — возможные пути развития театра, Маковскому — монументальная живопись, а Браудо — музыка. Анненский тут же заказал для первого номера статью «О современном лиризме».

Объявленный на собрании состав редакции вызывал недоумение у литераторов. Поэт Юрий Верховский, близкий в будущем к акмеизму, восклицал, издеваясь: «Что общего между Волынским и Волошиным? — Только „вол“. А между Волынским и Анненским? — Только „кий“».

Прорицателем оказался Верховский. Волынский, видимо, и сам понял, что журнал не в его духе, и отказался от предложенной работы. Волошин также начал отдаляться от журнала и потом вовсе отошел. Останься в живых Анненский, наверняка и он, мистик и символист, не удержался бы на позициях «Аполлона». Маковский писал через три дня после собрания Анненскому: «…Прошедшее собрание лишний раз воочию убедило меня, что наша „икона“ должна сделаться поистине чудотворной. Разве общее настроение не было именно таким, каким должно было быть? Все это предвещает прекрасное начало». Анненский ответил новому редактору в тот же день: «Дорогой Сергей Константинович, когда Вы едете и надолго ли? Вечер удался. Восхищен Вашей энергией и крепко жму Вашу руку. Итак, „Аполлон“ будет… Но сколько еще работы… Хронику, хронику надо… и надо, чтобы кто-нибудь оседлый, терпеливый, литературный кипел и корпел без передышки, ll faut un cul de plomb… quoi?(нужен усидчивый зад… а?)».

После 9 мая неподалеку от последней квартиры А. С. Пушкина по адресу Мойка, 24 было снято помещение для нужд редакции нового журнала — по соседству с редакцией журнала «Городское дело».

Лето 1909 года в семье Гумилёвых было особенным. Женился старший брат поэта Дмитрий, не писавший стихов, но любивший поэзию Николая и всегда гордившийся братом-поэтом.

3 января 1908 года, когда Николай готовился вернуться домой, Дмитрий перешел на службу в лейб-гвардии 1-й стрелковый Его Величества батальон вольноопределяющимся 1-го разряда, но уже унтер-офицерского чина.

При Павловском военном училище Гумилёв-старший выдерживает офицерский экзамен и 17 августа 1908 года Высочайшим приказом производится в подпоручики с назначением в 147-й пехотный Самарский полк со старшинством с 17 июня того же года. 22 августа того же года Дмитрий Гумилёв прибыл в полк и вступил в должность временного командования 12-й ротой. С незначительными перерывами он командовал ротой до 5 июля 1909 года. Его невеста Анна Андреевна Фрейганг, потомственная дворянка, происходила из старинного прибалтийского рода. Николай Степанович увидел свою будущую родственницу весной 1909 года, когда она приехала со своим отцом в Царское Село знакомиться с родителями Дмитрия Степановича. Анна Андреевна много слышала о Николае от своего жениха и смотрела на поэта восхищенными глазами.

Дмитрий и Анна любили друг друга. Венчание было назначено на 5 июля 1909 года. В этот день в семье Гумилёвых был большой праздник, на который Николай успел приехать из Одессы. Обычно биографы Н. Гумилёва Анной первой называли Анну Андреевну Горенко. Но Анной первой в семье Гумилёвых была жена Дмитрия.

После свадьбы молодые поселились в Царском Селе вместе с семьей Гумилёвых в доме Георгиевского на Бульварной улице.

30 июля в Царское Село к Иннокентию Анненскому приезжал Константин Маковский, чтобы уточнить дату проведения организационного собрания «Аполлона». Гумилёва в это время в Царском Селе не было. Решили провести собрание 5 августа, а 4 августа из Слепнева вернулся в Санкт-Петербург Гумилёв. Узнав о собрании, Николай Степанович днем 5 августа приезжает на «башню» Вяч. Иванова. Вечером они отправляются на организационное собрание журнала в редакцию на Мойку. На собрании присутствовали К. Маковский, И. Анненский, А. Бенуа, М. Добужинский, В. Мейерхольд, С. Судейкин, Н. Врангель, М. Волошин и другие.

Маковский столкнулся вначале с довольно трудной проблемой: он хотел не потерять дружбу с Иннокентием Анненским и в то же время привлечь в журнал Вячеслава Иванова, признанного мэтра. Анненский был против участия Вячеслава Иванова. И Маковский, чтобы не сводить их вместе, нашел выход. Анненский занимался отделом поэзии. Но именно Николай Гумилёв производил отбор стихов для номера. Хитрый пап***а*** Мако посылал к Вячеславу Иванову Гумилёва. Гумилёв имел большое влияние на Маковского. Об этом писал в своих воспоминаниях сотрудник «Аполлона» Сергей Ауслендер:

«Гумилёв имел большое и твердое воздействие на него (Маковского). Вообще он отличался организационными способностями и умением „наседать“ на редакторов, когда это было нужно…»

Август для Николая Степановича был наполнен литературной работой. 9 августа он — на занятии для молодых поэтов, 14 августа он — на занятиях у мэтра символизма на «башне». 17 августа Вячеслав Иванов пишет ответный сонет Н. Гумилёву, и тот по заданию Маковского читает Иванову стихи для отбора в журнал. Вячеслав Иванов записывает в своем дневнике: «Гумилёв по просьбе Маковского читал мне и Кузмину стихи Анненского и Волошина, чтобы выбрать интереснейшие. Мы по обыкновению совпадали в приговоре». 24 августа Гумилёв снова у Вяч. Иванова на занятии по теории стихосложения.

Однако Гумилёв понимал, что учеба у мэтра не может заменить университетское образование. 26 августа поэт подал прошение ректору Санкт-Петербургского университета: «Покорнейше прошу господина ректора о переводе меня из числа студентов юридического факультета в число студентов историко-филологического факультета. При сем прилагаю мой матрикул за 1908–1909 и квитанцию о взносе платы в пользу университета в прошлом весеннем полугодии». На прошении Гумилёва помощник секретаря надписал: «Переведен по постановлению правления С.-Петербургского университета 1 сентября 1909 года».

Гумилёв начал учиться в университете на новом факультете. В то время на историко-филологическом факультете преподавали ученые с мировыми именами. Введение в языкознание вел И. А. Бодуэн де Куртенэ — языковед и крупнейший представитель общего и сравнительно-исторического языкознания, курс логики — замечательный русский философ А. И. Введенский, профессор логики и психологии, преподававший историю древней филологии. Студенты факультета изучали русскую историю и историю литературы Петровской эпохи, логику, психологию, проводились семинары по русской литературе, по латинскому и греческому языкам. Общий курс античной словесности вел известный профессор Ф. Ф. Зелинский.

Пока готовился первый номер журнала «Аполлон», Маковский решил заказать для него портреты ближайших сотрудников. Он нашел молодую художницу, близкую ему предпочтением европейской школы в искусстве. Надежда Савельевна Войтинская, чей талант оценил художник В. А. Серов, училась вначале в известной тогда студии М. Д. Бернштейна, потом уехала в Европу продолжать образование. Жила и работала

во Франции, Германии, Швейцарии, Италии. В 1907 году вернулась в Санкт-Петербург и сделалась известным портретистом. Она очаровала Маковского, европейца в душе и по образу жизни, и он пригласил молодую художницу в художественный отдел. Ей он и поручил написать портреты сотрудников «Аполлона».

5 сентября Николай Гумилёв и Михаил Кузмин отправляются в мастерскую Войтинской, которая располагалась на Фонтанке у Египетского моста. Незадолго до этого художница заказала литографический камень, на котором начала, без черновых вариантов, делать портреты. Но, увы, в журнале они не появились. Когда серия была почти закончена, Войтинская поинтересовалась у Маковского о вознаграждении. Папа Мако считал, что для молодой художницы сам факт публикации в его журнале является наградой. Но художница думала по-другому и прекратила сотрудничество с Маковским. Только портрет Н. Гумилёва был опубликован в журнале.

Общение поэта и художницы было довольно своеобразным. Когда она закончила работу над портретом, он подарил ей живую ящерицу, а она ему — металлическую. Воспоминания Войтинской интересны тем, что довольно метко отражают черты характера и манеру поведения Гумилёва. Войтинская писала: «Я встречалась с ним осенью 1909 и весной 1910 г… Я бывала с ним на разных вечерах. На Галерной улице Зноско-Боровский устраивал что-то, шла какая-то его пьеса. Кажется, „Коломбина“ или „Смерть Коломбины“. Были там Кузмин, Ауслендер… Салонный жанр в редакции был от трех до пяти часов. Люди приходили, встречались, развлекались, иногда заходили в кабинет к Маковскому, с ним разговаривали. Установка в „Аполлоне“ была на французское искусство, и это поручено было Николаю Степановичу — насаждать и теоретически и практически французских лириков, группу „Abbaye“ (молодые французские поэты начала века — Ж. Ромен, Вильдрак, Мерсеро и др.). Днем он позировал один. А по вечерам у нас бывали гости. Приходил он и его приятели: Кузмин, Зноско, Ауслендер… Маковский у нас не бывал. На Анненского больших надежд не возлагалось из pietete'a. Его считали патриархом. Анненскому он поклонялся очень. Гумилёв не любил болтать, беседовать, все преподносил в виде готовых сентенций, поэтических образов. Дара легкой болтовни у него не было. У него была манера живописать. Он „исчезал“ за своими впечатлениями, а не рассказывал. Он прекрасно читал стихи. Он говорил, что его всегда должна вдохновлять какая-нибудь вещь, известным образом обставленная комната и т. п. В этом смысле он был фетишистом… Ему не

хватало экзотики. Он создал эту экзотику в Петербурге, сделав себе маленькое ателье на Гороховой улице. Он утверждал, что позировать нужно и для того, чтобы писать стихотворение, и просил меня позировать ему. Я удивлялась: „Как?“ Он: „Вы увидите entourage“. Я пришла в ателье, там была черепаха, разные экзотические шкуры зверей… Он мне придумал какое-то странное одеяние, и я ему позировала, а он писал стихотворение „Сегодня ты придешь ко мне…“ …Зимой 1909 г. он у нас бывал раза два в неделю. В сущности, мы не были дружны, всегда пререкались, но приходил он по инерции. Папа и мама к нему хорошо относились. Когда он бывал на собраниях где-нибудь и было поздно возвращаться в Царское Село, он приходил ночевать, спал у папы в кабинете. Часто я даже не знала, что он пришел, и только утром встречала его. Он был увлечен парнасцами, знал наизусть Леконта де Лиля, Эредиа, Теофиля Готье… Он благоговейно относился к ремеслу стихосложения… Он поражал всех тем, что придавал больше значения форме и словесным тонкостям. Он был формалистом до формалистов. Он готовился стать мэтром. Он благоговел перед поэзией Вячеслава Иванова гораздо больше, чем перед поэзией Брюсова. В смысле поэзии считал меня варваром. Живописью совершенно не интересовался, французской — немного. Он был изувер, ничем не относящимся к поэзии не интересовался, все — только для поэзии. Он любил экзотику. Я экзотики не любила, и он находил это непростительным и диким… Он проповедовал кодекс средневековой рыцарственности. Было его стихотворение о Даме, и он меня всегда называл „Дамой“. Ни капли увлечения ни с его, ни с моей стороны, но он инсценировал поклонение и увлечение. Это была чистейшая игра. Он мужественно переносил насмешки. Он приехал зимой в Териоки. Я смеялась, что он считал недостатком носить калоши. У него было странного покроя, в талию, „а-ля Пушкин“, пальто. Цилиндр. У меня подруга гостила. Мы пошли на берег моря. Я бросила что-то на лед… „Вот, рыцарь, достаньте эту штуку“. Лед подломился, и он попал в холодную воду в хороших ботинках… я никогда не видела, чтобы он когда-нибудь рассердился. Я его дразнила, изводила. Он умел сохранить торжественный вид, когда над ним смеялись. Никогда не обижался. Он был недоступен насмешке. Приходилось переставать смеяться, так как он серьезно отвечал и спокойно. Очень сильная мимика рта, глаза полузакрыты, сильно пальцами двигал, у него были длинные выразительные руки. В его репертуаре громадную роль играло самоубийство: „Вы можете потребовать, чтобы я покончил самоубийством“…»

Это были не пустые слова. Как часто Гумилёв ставил на кон

свою жизнь, — сегодня известно. Он не рыцарствовал, он был рыцарем, может быть, последним рыцарем-поэтом XX столетия. Но превыше всего для него была поэзия, и когда он говорил о стихах, для него не существовало своих и чужих, он был до самоотречения объективен.

25 сентября Николай Гумилёв участвовал в очередном организационном собрании редакции «Аполлона». На это собрание Маковский пригласил Д. Философова, Е. Зноско-Боровского, М. Кузмина, В. Князева, К. Сюннерберга, Н. Войтинскую и других ближайших сотрудников издания.

Осенью Николай Степанович принялся за организацию Академии стиха. Академия, действовавшая у Вячеслава Иванова на «башне», прекратила свое существование. 30 сентября в редакции «Аполлона» встретились Н. Гумилёв, П. Потемкин, С. Ауслендер, М. Кузмин. Идея создания Академии стиха всем понравилась, все вместе после беседы отправились к Вяч. Иванову. Видимо, на «башне» снова шла речь о создании новой Академии стиха, и Вячеслав Иванов согласился, что такое общество необходимо. Поначалу возникли трудности с регистрацией ОРХС — Общества ревнителей художественного слова. Но тут молодых энтузиастов выручил Сергей Маковский, который хорошо знал петербургского градоначальника. Он взял с собой Иннокентия Анненского и Вячеслава Иванова, и втроем они уговорили его дать разрешение. Первое занятие ОРХС Маковский провел с чаепитием. В дальнейшем это стало традицией. В первых числах октября Н. Гумилёв вместе с Вяч. Ивановым, И. Анненским, С. Маковским, А. Блоком и М. Кузминым вошел в руководящий комитет нового общества. Занятия в ОРХС проводили Иннокентий Анненский и Вячеслав Иванов. На одно из заседаний осенью 1909 года приехал из Москвы Андрей Белый вместе со своей объемной рукописью по метрике русского стиха (будущей книгой «Символизм»), Он попытался донести до молодежи свои идеи, но сложные выкладки с математическим уклоном доходили до аудитории с трудом. Зато когда выступал профессор Франц Францевич Зелинский[9] с лекцией о передаче русским стихом размеров античного стихосложения, все молодые поэты слушали его с особым вниманием.

Наконец наступил день 16 октября, когда в редакцию принесли из типографии корректуру первого номера. Гумилёв вместе с М. Кузминым и другими сотрудниками редакции вычитывал гранки. После окончания работы Николай Степанович вместе с Кузминым уехали на «башню». Засиделись допоздна. Гумилёв беседовал с падчерицей Иванова Верой Шварсалон, и они договорились основать «Теософическое общество». Конечно,

эта затея с обществом не была серьезной, Николай Степанович в очередной раз увлекся милой девушкой и, чтобы заинтересовать ее и продолжить отношения, готов был вступить в любое общество.

На следующий день в редакции было заседание, на котором присутствовал Н. Гумилёв. Маковский пригласил В. Мейерхольда, А. Бенуа, М. Добужинского, С. Судейкина и Н. Врангеля. Из Царского Села приехал И. Анненский. Гумилёв знал, что у него уже наметились разногласия с Маковским из-за того, что Сергей Константинович отложил публикацию стихов мэтра.

18 октября Гумилёв повез М. Кузмина к себе в Царское Село. Кузмин был постоянно чьей-то заботой. Самым главным его опекуном был приютивший его на «башне» Вячеслав Иванов.

19 октября они вместе едут на очередное заседание «Аполлона». Все сотрудники в напряжении, они ждут первого сигнального экземпляра журнала. Наконец радостная весть: 24–25 октября вышел первый номер «Аполлона»! В нем появилась поэма Гумилёва «Капитаны» (I. «На полярных морях и на южных…». II. «Вы все, паладины Зеленого храма…». III. «Только глянет сквозь утесы…». IV. «Но в мире есть иные области…»). Об этой поэме много писали и при жизни, и после смерти поэта. Поэма многопланова, но очевидно, что написать ее мог человек, который впитал романтику моря с детства. Гумилёв много раз слышал рассказы отца о его морских походах и, конечно, дяди, контр-адмирала Льва Ивановича Львова, который часто бывал у них в гостях. Романтика моря вошла в душу мальчика на всю жизнь. Известно, что Николай был неравнодушен к морской форме, мечтал стать капитаном. Он им не стал, но стал поэтом дальних странствий — «открывателем новых земель»:

Быстрокрылых ведут капитаны —
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстремы и мель…
…….
Или бунт на борту обнаружив.
Из-за пояса рвет пистолет,
Так что сыпется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.

(«На полярных морях и на южных…», 1909)

О чем и о ком «Капитаны» Гумилёва? Если вглядеться в героя поэмы, мы заметим черты, присущие Гумилёву, он так же невозмутим, несмотря на все трудности:

Разве трусам даны эти руки,
Этот острый, уверенный взгляд,
Что умеет на вражьи фелуки
Неожиданно бросить фрегат…

(«На полярных морях и на южных…», 1909)

Выход журнала «Аполлон» ознаменовался для Гумилёва еще одним важным событием. Теперь он стал постоянным критиком нового издания. Его рецензии регулярно появляются на страницах журнала в разделе «Письма о русской поэзии». В первом номере опубликованы рецензии Гумилёва на книги Сергея Городецкого, Бориса Садовского, Ивана Рукавишникова, В. Бородаевского.

Сначала книги для разбора выбирались Гумилёвым стихийно, но со временем он стал отбирать для рецензий только те, которые выражали наиболее характерные явления современной литературы. Главное отличие этих рецензий от критических разборов других авторов заключалось в том, что поэт давал оценку художественным произведениям вне зависимости от того, в какой литературный лагерь входили их авторы. Те, кому поэт дал нелицеприятную оценку, сегодня неизвестны. И наоборот, те, чьи первые литературные опыты он заметил и поддержал (Н. Клюев, Г. Иванов, В. Нарбут, В. Ходасевич и другие), оставили заметный след в истории русского серебряного века и возвратились к читателям из незаслуженного забвения. Можно только поражаться предвидению Гумилёва-критика. Но с другой стороны, вождем нового литературного направления Гумилёв стал потому, что смог отточить перо критика и подняться до осмысления происходящих в современной литературе процессов.

С выходом «Аполлона» начал угасать известный журнал русских символистов «Весы», который был и для Гумилёва первой трибуной. Один из основателей журнала, меценат и владелец московского издательства «Скорпион» С. А. Поляков, в письме М. Волошину признавался: «„Аполлон“ родился, и „Весы“ скрываются перед его лучезарным ликом во мрак». В связи с его закрытием появились разные рецензии (в том числе и необъективно-критические). «Аполлон» опубликовал рецензию на «Весы» Георгия Чулкова — статья называлась «Некролог» («Аполлон», № 7), — которая вызвала бурное неприятие бывших сотрудников этого журнала. В адрес редакции «Аполлона» поступило резкое письмо, подписанное группой писателей. Брюсов с сотрудниками «Весов» написал официальный протест редактору «Аполлона» С. Маковскому: «Многоуважаемый Сергей Константинович! Не откажите дать место на страницах вашего

журнала следующему заявлению группы ближайших сотрудников „Весов“. Высоко ценя „Аполлон“ как орган серьезных исканий в области художественной жизни, мы были глубоко опечалены, прочтя в № 7 журнала критическую статью, посвященную нам всем дорогим прекратившимся „Весам“. Помешенная в первом отделе журнала, сама себя именующая „Некрологом“, статья эта имеет все признаки, которые позволяют счесть ее как бы редакционной. Между тем она подписана именем г. Г. Чулкова, авторитет которого никак не может считаться непререкаемым в литературных кругах и беспристрастие которого в оценке „Весов“ может быть заподозрено. Напомним, что за последние годы литературная деятельность г. Георгия Чулкова подвергалась на страницах „Весов“ весьма суровой и даже резкой критике, подавшей повод одному органу печати заявить, будто „Весы“ систематически травят г. Георгия Чулкова. Здесь не место обсуждать, погрешили ли „Весы“ в своей критике писаний г. Георгия Чулкова против добрых литературных нравов, но достаточно ясно, что г. Георгию Чулкову выступать, при таких условиях дела, судьей „Весов“ было по меньшей мере неудобно. Различные обвинения, в общем довольно тяжелые, выставленные в „Некрологе“ „Весов“, в значительной степени теряют свою силу, так как подписаны лицом, у которого есть свои счеты с „Весами“, и вся критика получает характер полемики, неуместный по отношению к изданию, которое уже не может защищаться… Мы надеемся, что редакция „Аполлона“ сочтет нужным (как она то и обещает) в другой статье вернуться к деятельности „Весов“, чтобы дать ей оценку менее одностороннюю…» Подписали протест Валерий Брюсов, Андрей Белый, М. Ликиардопуло, Борис Садовской, Эллис, потом — С. М. Соловьев. 19 мая 1910 года В. Я. Брюсов сообщал ответственному секретарю журнала «Аполлон» Е. Зноско-Боровскому: «…Само собой разумеется, что отказ редакции „Аполлона“ напечатать наше письмо повлечет за собою отказ всех, подписавшихся под письмом, от дальнейшего участия в „Аполлоне“». В. Иванов отказался от подписи, хотя и согласился, что статья о «Весах» необъективна.

В то же время Гумилёв простился с уходящим журналом достойно, благородно. Он публикует несколько статей, посвященных «Весам». В одной из них, названной «Поэзия в „Весах“» («Аполлон», 1910, № 8), поэт пишет: «До 1905 года, когда в „Весах“ появился беллетристический отдел, в русской символической поэзии царил хаос… За всем этим следила и злорадно хихикала критика, враждебная новым течениям в искусстве. Прежние возгласы негодования по поводу „чудачества декадентов“ сохранились только в самых захолустных изданиях, а

в более видных они заменились или указаниями на то, что „декадентство“ выдохлось, или заявлениями, что „оно“ никогда и не представляло из себя ничего существенно нового. Не знаю, намеренно или нет, „Весы“, вводя литературный отдел, всей своей деятельностью опровергли оба эти мнения… Нельзя сказать, что в стихотворном отделе „Весов“ не было серьезных упущений; таково, например, замалчивание И. Ф. Анненского (за все время о нем было, кажется, всего три заметки и ни одного его стихотворения); непривлечение к сотрудничеству П. Потемкина, одного из самых своеобразных молодых поэтов современности; наконец, выдвигание за последний год Эллиса. Но, несмотря на все промахи, история „Весов“ может быть признана историей русского символизма в его главном русле».

Такую же точную и высокую оценку почившему журналу дал Гумилёв и в апрельском номере «Аполлона» за 1910 год, где он писал: «На днях прекратил свое существование журнал „Весы“, главная цитадель русского символизма. Вот несколько характерных фраз из заключительного манифеста редакции, напечатанного в № 12: „‘Весы’ были шлюзой, которая была необходима до тех пор, пока не слились два идейных уровня эпохи, и она становится бесполезной, когда это достигнуто, наконец, ее же действием. Вместе с победой идей символизма в той форме, в какой они исповедовались и должны были исповедоваться ‘Весами’, ненужным становится и сам журнал. Цель достигнута, и его ipso средство бесцельно! Растут иные цели! Мы не хотим сказать этим, что символическое движение умерло, что символизм перестал играть роль идейного лозунга нашей эпохи… Но завтра то же слово станет иным лозунгом, загорится иным пламенем, и оно уже горит по-иному над нами“. Со всем этим нельзя не согласиться, особенно если дело коснется поэзии. Русский символизм, представленный полнее всего „Весами“, независимо от того, что он явился неизбежным моментом в истории человеческого духа, имел еще назначение быть бойцом за культурные ценности, с которыми от Писарева до Горького у нас обращались очень бесцеремонно. Это назначение он выполнил блестяще и внушил дикарям русской печати если не уважение к великим именам и идеям, то, по крайней мере, страх перед ними… Теперь мы не можем не быть символистами. Это не призыв, не пожелание, это только удостоверяемый мною факт».

Вот так красиво поэт поставил точку на закрывшемся журнале. В обеих статьях он был объективен. Интересно, что даже тогда, когда Гумилёв провозгласит, что символизм изжил себя, он все равно будет относиться к предшественникам с уважением.

Выход первого номера журнала «Аполлон», заступившего на

смену ушедшим «Весам», был широко отпразднован всеми сотрудниками редакции. К этому событию приурочили еще одно торжественное мероприятие — открытие выставки работ художника Г. Лукомского, где присутствовали деятели не только литературной, но и художественно-театральной богемы Санкт-Петербурга. Андрею Белому и Валерию Брюсову Гумилёв послал пригласительные телеграммы.

Пришедший после занятий в редакцию Николай Степанович увидел выставку рисунков, рукописей и свежих, пахнущих типографской краской номеров «Аполлона». Вначале был большой праздник в самой редакции. Потом веселье переместилось в знаменитый тогда петербургский ресторан Кюба под романтическим названием «Pirato». В центре внимания был главный юбиляр — Сергей Маковский. Открыл торжественную часть Иннокентий Анненский. Потом выступил профессор Ф. Ф. Зелинский. От имени «молодой редакции» и молодых поэтов выступил их вождь — Николай Гумилёв. От имени европейских поэтов Маковского приветствовал Иоганнес фон Гюнтер. К Маковскому подходили выступавшие с бокалами шампанского, коньяка, рюмками водки, и все желали выпить именно с ним. Отмечали открытие «Аполлона» и в другом известном и считавшемся дорогим ресторане «Донон». Маковский вспоминал об этом в своей книге «На Парнасе Серебряного века»: «Я никак не ожидал, что этот обед сотрудников журнала обратится, благодаря Иннокентию Федоровичу, в мое чествование по случаю десятилетия моей литературной деятельности… Анненский вспомнил и, к моему смущению, в конце обеда торжественно встал с бокалом в руке, попросил внимания и произнес речь по моему адресу… Кто-то эту речь тут же записал, и секретарь редакции порывался напечатать ее в хронике „Аполлона“. Но я не разрешил. Вообще ни словом об аполлоновском обеде журнал не обмолвился… Сколько выдающихся русских людей собралось тогда у Донона!»

Иоганнес фон Гюнтер в своей книге «Под восточным ветром» так описал окончание этого обеда: «…я должен был приветствовать „Аполлон“ от европейских поэтов. Из-за многих рюмок водки, перцовки, коньяка и прочего, я решил последовать примеру Эдуарда Шестого и составил одну замысловатую фразу, содержащую все, что надо было сказать. Я без устали повторял ее про себя и таким образом вышел из положения почти без позора. Я еще помнил, как подошел к Маковскому с бокалом шампанского, чтобы чокнуться с ним — затем занавес опускается. Очнулся я на минуту в маленькой комнате, где пили кофе; моя голова доверчиво лежала на плече Алексея Толстого, который,

слегка окостенев, собирался умываться из бутылки с бенедиктином. Занавес. Потом, в шикарном ресторане Донон, мы сидели в баре и с Вячеславом Ивановым глубоко погрузились в теологический спор. Конец этому нелегкому дню пришел в моей „Риге“, где утром Гумилёв и я пили черный кофе и сельтерскую, принимая аспирин, чтобы хоть как-нибудь продрать глаза. Конечно, такие сцены были редки. Это был особый случай, когда вся молодая редакция была коллективно пьяна».

Даже после открытия «Аполлона» Гумилёв с завидным усердием продолжал формировать возле Анненского круг талантливой интеллигенции. Глубокой осенью 1909 года, когда Царское Село потеряло последнее золотое убранство своих парков и все вокруг стало черно-белым в окружении выпавшего и успевшего подтаять снега, Николай Степанович договорился с Анненским, чтобы тот разрешил молодежи навестить его. Это был последний месяц, а может быть, и последние недели жизни мэтра. Незадолго до того, 25 сентября, в Санкт-Петербургском Александринском театре была поставлена трагедия Еврипида в переводе Анненского. Уже 26 октября им было подано прошение попечителю округа об увольнении его от службы с должности инспектора Санкт-Петербургского учебного округа, которое будет удовлетворено за десять дней до его смерти — 20 ноября.

Был поздний вечер жизни мэтра, явно обделенного критикой и славой при жизни. Судя по всему, Иннокентий Федорович не совсем хорошо себя чувствовал, но тем не менее не отказался от проведения литературного вечера у себя дома. Об этом памятном вечере остались воспоминания Георгия Адамовича. Правда, им нельзя до конца верить, как и мемуарам графа Алексея Толстого, хотя Адамович старался быть более точным, но, видимо, и его подвела память. Он упоминает, что на вечере присутствовала Анна Ахматова. Но, как известно, она пока еще носила фамилию Горенко, жила в Киеве и на вечере в Царском не могла оказаться. Но все же воспоминания Георгия Адамовича представляют интерес, так как это наверняка последняя встреча с мэтром, организованная Гумилёвым для творческой молодежи, к которой тогда причисляли и самого Адамовича: «Как всегда, в первую минуту удивила тишина, и показался особенно чистым сырой, сладковатый воздух. Извозчик не торопился. Город уже наполовину спал и таинственнее, чем днем, была близость дворца… Кабинет Анненского находился рядом с передней. Ни один голос не долетал до нас, пока мы снимали пальто, приглаживали волосы, медлили войти. Казалось, Анненский у себя один… Дверь открылась. Все уже были в сборе. Но молчание продолжалось. Гумилёв оглянулся и встал нам навстречу.

Анненский… протянул нам руку… Мне запомнились гладкие, тускло сиявшие в свете низкой лампы волосы. Анненский стоял в глубине комнаты, за столом, наклонив голову. Было жарко натоплено, пахло лилиями и пылью. Как я потом узнал, молчание было вызвано тем, что Анненский только что прочел свои новые стихи: „День был ранний и молочно-парный, / — Скоро в путь…“» Гости считали, что надо что-то сказать и не находили нужных слов. Кроме того, каждый сознавал, что лучше хотя бы для виду задуматься на несколько минут и замечания свои делать не сразу: им больше будет весу. С дивана в полутьме уже кто-то поднимался, уже повисал в воздухе какой-то витиеватый комплимент, уже благосклонно щурился поэт, давая понять, что ценит, и удивлен, и обезоружен глубиной анализа, — как вдруг Гумилёв нетерпеливо перебил: «Иннокентий Федорович, к кому обращены ваши стихи?» Анненский, все еще отсутствуя, улыбнулся: «Вы задаете вопрос, на который сами же хотите ответить… Мы вас слушаем». Гумилёв сказал: «Вы правы. У меня есть своя теория на этот счет. Я спросил вас, кому вы пишете стихи, не зная, думали ли вы об этом… Но мне кажется, вы их пишете самому себе. А еще можно писать стихи другим людям или Богу. Как письмо». Анненский внимательно посмотрел на него: «Я никогда об этом не думал». «Это очень важное различие… — продолжал Гумилёв. — Начинается со стиля, а дальше уходит в какие угодно глубины и высоты. Если себе, то, в сущности, ставишь только условные знаки, иероглифы: сам все разберу и пойму, знаете, будто в записной книжке. Пожалуй, и к Богу то же самое. Не совсем, впрочем. Но если вы обращаетесь к людям, вам хочется, чтобы вас поняли, и тогда многим приходится жертвовать, многим из того, что лично дорого». — «А вы, Николай Степанович, к кому обращаетесь вы в своих стихах?» И тут очень важен ответ поэта. Эта встреча — последняя из известных встреч мэтра и его ученика. Когда-то в гимназии Анненский написал на своей книге стихов гимназисту Гумилёву о том, что он смотрит на него с надеждой. И вот эта надежда осуществляется на глазах Иннокентия Федоровича. Он уходит в мир теней, а Гумилёву Богом еще отпущено время для осмысления. Анненский был традиционным символистом и писал символами. Он был выше обыденного мира, выше даже людей, которые его потом будут читать и почитать. Он жил на Олимпе. Романтик Гумилёв был страстным искателем неведомого, героического и романтического. Но между ними было большое отличие. Анненский обычное подымал до неведомого, до недосказанного, невыясненного до конца. Гумилёв неведомое, звездное старался довести до ясного и понимаемого. Потому на

вопрос Анненского ученик ответил, что он пишет, обращаясь к людям. И он не покривил душой. Он доказал это всей жизнью.

Томило ли их предчувствие, что больше они не увидятся? Неизвестно. Расстались они навсегда. 30 ноября 1909 года Иннокентий Анненский внезапно скончался на ступенях Царскосельского (ныне Витебского) вокзала Санкт-Петербурга.

Последние дни этого удивительного человека были отравлены, как это ни странно, самим Маковским. Анненский надеялся, что во втором номере «Аполлона» пойдет не только его статья «О современном лиризме», но и подборка стихов. Он писал Маковскому 12 октября: «Дорогой Сергей Константинович, я был, конечно, очень огорчен тем, что мои стихи не пойдут в „Аполлоне“… Еще вы ошиблись, дорогой Сергей Константинович, что время для появления моих стихов безразлично. У меня находится издатель, и пропустить сезон, конечно, ни ему, ни мне было бы не с руки. А потому, вероятно, мне придется взять теперь из редакции мои листы, кроме пьесы „Петербург“…»

До конца своих дней Маковский сожалел, что невольно отравил последние дни мэтра и, может быть, приблизил роковую развязку нанесенной обидой. Ведь благодаря Анненскому и Гумилёву родился в конечном итоге «Аполлон», главное детище Маковского. В своих воспоминаниях «Портреты современников» Сергей Константинович писал в конце жизни, когда сам уже был готов предстать перед Богом: «Анненский торопился жить в последние месяцы 1909 года, он предчувствовал скорый конец… Он умер скоропостижно от эмболии… Его труп опознали в Обуховской больнице. Мы хоронили его на Казанском кладбище Царского Села; отпевание вышло неожиданно многолюдным, его любила учащаяся молодежь, собор был битком набит учениками и ученицами всех возрастов. Чувствовалось, что ушел человек незабываемый… Катафалк с дубовым гробом жалко подпрыгивал на ухабах. Было невероятно сознание: Анненский мертв. Сказать, что он… весь этот ужас тела… Он лежал в гробу торжественный, официальный, в генеральском сюртуке министерства народного просвещения. И это казалось последней насмешкой над ним — Поэтом».

Увы, в тот жестокий век большинство настоящих поэтов умирало не в своей постели. Такое было время!

Глава IX ПОЭТ И КОЛДУНЬЯ

Когда подходили к концу отпущенные Иннокентию Анненскому земные дни, его ученик был занят подготовкой большого выступления в Киеве.

По поводу предстоящего отъезда Гумилёв собрал у себя дома в Царском Селе 24 ноября друзей на домашние пироги со стихами. В тот раз приехали Михаил Кузмин, Юрий Бородаевский, Георгий Чулков, Евгений Зноско-Боровский, режиссер Всеволод Мейерхольд. Пришел сын Анненского Валентин Кривич. После ужина, когда друзья наговорились о предстоящей поездке, начались стихи. В центре внимания была новая поэма «Крейсер „Алмаз“» ответственного секретаря «Аполлона» Евгения Зноско-Боровского. Засиделись до глубокого вечера, пока петербуржцы не заспешили на последний поезд.

На следующий день Гумилёв отправился в редакцию «Аполлона» на Мойку, 24. Он любил здесь бывать. Журнал с первых дней своей жизни привлек большую аудиторию, здесь можно было встретить известных артистов, знаменитых художников, начинающих и маститых писателей и поэтов. Неподалеку от редакции находился в ту пору известный ресторан «Альбер». Когда были деньги, поэты отправлялись туда обедать. В этот день в редакции были сам папа Мако, Г. Лукомский, Е. Зноско-Боровский, М. Кузмин и Петров-Водкин. Вскоре пришла в «Аполлон» и падчерица Вячеслава Иванова Вера Шварсалон, которая была удивлена желанием Гумилёва ехать снова в Африку, но обещала отвечать на письма Николая Степановича. Гумилёв часто бывал на «башне» и рассказывал о своих африканских путешествиях. Он так заинтересовал семью Ивановых, что сам хозяин в начале осени поговаривал, что в следующее путешествие отправится вместе с Гумилёвым.

На сей раз поэт решил попасть в страну черных христиан — Абиссинию. Чем влекла его Африка? Возможно, своей неповторимой природой, диким непуганым животным миром, свободными, грациозными жирафами, столь отличными от того печального их собрата, какого он наблюдал в парижском зоопарке. Да и возможность испытать себя в необычных условиях дразнила воображение и нервы. Он жаждал новых ярких ощущений, хотелось забыть нелепую дуэль и все петербургские дрязги… Недавно в букинистическом магазине ему на глаза попалась тоненькая книга об Абиссинии, вышедшая в Петербурге в 1894 году. Он начал ее просматривать и зачитался: «…К югу от Египта раскинулась обширная страна, которую европейцы

называют Абиссинией, сами же туземцы — Эфиопией. Абиссиния представляет собою почти сплошную возвышенность, которая круто обрывается с восточной стороны… поэтому путешествия здесь в высшей степени затруднены…» Это было как раз то, что ему надо, — и поэт углубился в чтение: «Первое место между реками Абиссинии принадлежит Голубому Нилу, который начинается в одной из горных цепей северной Абиссинии, проходит через озеро Цана, самое обширное во всей стране, с очень холодною водою, и по выходе из озера течет сперва на юг, затем в виде дуги поворачивает на север и соединяется с Белым Нилом…Южную часть Абиссинии орошает другая большая река — Хават, длиною около 750 верст. Туземцы как горную страну различают три области: знойную „колла“, теплую „война-дека“ и более или менее холодную „дека“. <…> Пребывание в знойной „колла“ гибельно действует на здоровье европейцев, которые поэтому редко заглядывают в эту полосу. <…> Особенно роскошна и разнообразна растительность в знойной „колла“: повсюду девственные леса, где на каждом шагу попадается черное дерево или исполин баобаб; растет хлопчатник и сахарный тростник. В „война-дека“ жители с успехом разводят кофейное дерево и сеют хлебные растения, снимая обильную жатву до трех раз в год. <…> Из диких животных в Абиссинии водятся львы, леопарды, слоны, носороги и некоторые породы обезьян. В реках много крокодилов и гиппопотамов, мясо гиппопотама по вкусу напоминает бычачье, только оно почти лишено жира. Главными представителями змей являются могучий удав и ядовитая рогатая змея. Птицы поражают богатством красок и чудным пением… Население Абиссинии представляет из себя смесь нескольких народов, почему арабы и назвали всю эту часть Африки именем Хабеш, что означает „разноплеменная толпа“. Европейцы же страну Хабеш стали называть Абессиниею или Абиссиниею».

Львы, леопарды, носороги — все это было так занятно, что Гумилёв всерьез задумался о путешествии в эту удивительную страну, окутанную тайнами. Об одной такой тайне, святой для всех христиан, он прочел в книге: «…Современные абиссинцы твердо веруют, что в тайниках Аксумского собора хранится подлинный кивот Завета, принесенный из Иерусалима Менеликом, сыном Соломона. Огромное здание собора построено португальцами и служит местом коронования эфиопских царей».

Гумилёв купил книгу и с тех пор периодически находил интересную для себя информацию и планировал свое будущее путешествие. Ему хотелось побывать в летней резиденции мангуса Менелика, расположенной в таинственном городе Аддис-Абебе, что в переводе с туземного языка означало «новый цветок».

Путь в Африку лежал через Киев, куда поэт 26 ноября 1909 года отправляется вместе с Михаилом Кузминым, Алексеем Толстым и Петром Потемкиным. Именно в таком составе они собирались выступить перед киевской публикой. Вечер был заранее назван «Остров искусства». В поезде Гумилёв думал о том, как его встретит Аня. Хотя многочисленные ее отказы и приучили поэта к мысли, что ожидать многого нельзя, но надежда никак не хотела умирать. Тем более что в начале года он неожиданно получил от Ани письмо. В нем не было ничего особенного, она писала о своей жизни, но после размолвки и это обычное письмо давало новую надежду. Гумилёв не мог предположить, что Аня написала ему, пожалев его, когда узнала о его попытках самоубийства.

В ответ он послал ей письмо и альманах «Италии», где был опубликован цикл его стихотворений «Беатриче». (Стихотворение «В моих садах — цветы, в твоих — печаль…» поэт послал ей в Севастополь еще в 1907 году, как только написал.) Конечно, весь цикл был о, ней. Ее присутствие ощущалось в каждом стихотворении. Прямым обращением к Анне звучали первые строфы третьего и четвертого стихотворений цикла:

Пощади, не довольно ли жалящей боли,
Темной пытки отчаянья, пытки стыда!
Я оставил соблазн роковых своеволий,
Усмиренный, покорный, я твой навсегда.

(«Пощади, не довольно ли жалящей боли…», 1909)

И:

Я не буду тебя проклинать,
Я печален печалью разлуки,
Но хочу и теперь целовать
Я твои уводящие руки.

(«Я не буду тебя проклинать…», 1909)

Окончание цикла — это гумилёвская мечта, вырвавшаяся из его души надежда. Кажется, что поэт заговаривает свою возлюбленную:

Ты подаришь мне смертную дрожь,
А не бледную дрожь сладострастья,
И меня навсегда уведешь

К островам совершенного счастья.

Нет сомнения, что она хорошо поняла, кому обращены эти слова и призывы.

Чем же занималась Анна зимой и весной 1909 года?

Об этом времени сохранились ее воспоминания: «Я два года училась на Киевских Высших женских курсах. В это время (с довольно большими перерывами) я продолжала писать стихи, с неизвестной целью ставя под ними номера».

Гумилёв номеров не ставил, но продолжал писать стихи, в которых оживал образ Ани Горенко. В начале мая он написал стихотворение «Царица». Анна Андреевна относила эти стихи к Елизавете Дмитриевой. Но многое говорит за то, что эти строки обращены все же к ней. Позднее Ахматова, читая это стихотворение, отметила возле строфы: «Был вечер тих. Земля молчала, / Едва вздыхали цветники…» — «Ц. С.», то есть Царское Село. Один из западных исследователей творчества Гумилёва и Ахматовой М. Баскер по этому поводу писал: «Эти строки были сочинены в пору… когда Гумилёв „перечитывал Пушкина“ в сознательной попытке найти новое направление для своих стихов; и их очевидная перекличка со знаменитым местом из пушкинского „Евгения Онегина“:

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал…

(Гл. 7).

вероятно, подтверждает наличие в этом внешне экзотическом стихотворении интимно-русского биографического подтекста и соответственную связь его героини с будущей невестой, за которой Гумилёв до этого ухаживал в Царском». Последние две строфы — это портрет Горенко, которая так жестоко отвергла его признание во время встречи в Севастополе:

Но рот твой, вырезанный строго,
Таил такую смену мук,
Что я в тебе увидел Бога
И робко выронил свой лук.

Толпа рабов ко мне метнулась,
Теснясь, волнуясь и крича,
И ты лениво улыбнулась
Стальной секире палача.

(«Царица», 1909)

Вот она — любовь-вражда Гумилёва и Горенко, которая потом их и разведет. Он ждал ее покорной своей воле, а она оказалась предвестницей палача! Какое глубокое предвидение. В самом деле, не мог же знать Гумилёв, что с ним случится в 1921 году, когда Ахматова проводила его по той железной лестнице, по которой только на казнь провожать. И написала об этом в стихах.

В мае Гумилёв пишет еще одно стихотворение — «Семирамида» (1909), посвященное памяти Анненского, но речь в нем идет все о той же лунной деве Царского Села:

И в сумрачном ужасе от лунного взгляда,
От цепких лунных сетей,
Мне хочется броситься из этого сада
С высоты семисот локтей.

Для того чтобы иносказательно выразить свои чувства к «лунной деве», поэт использует миф о висячих садах Семирамиды; по преданию, ею была вавилонская царица Шаммурамат (IX век до н. э.). Царице легенда и приписывает создание висячих вавилонских садов, посвященных Венере, — одного из семи «чудес света». Сады были повторены в Царском Селе «Семирамидой Севера» Екатериной Великой в XVIII веке.

Аня отвечает на его письма, и он рад этому. Он знает, что она успешно занимается на курсах. В мае Анна сдает экзамены: энциклопедию права, латынь, историю римского права с оценками «весьма удовлетворительно». Но юридическое образование ей изрядно надоело. У нее одна радость — надвигающееся лето, и она с нетерпением ждет поездки в Одессу с ласковым и теплым морем, новыми развлечениями. И вот экзамены позади. Анна уезжает, не оставив даже адреса поэту. Николай отправляет письмо своему другу Андрею Горенко, в котором между делом сообщает: «Есть шанс думать, что я заеду в Лустдорф. Анна Андреевна написала мне в Коктебель, что вы скоро туда переезжаете, обещала выслать новый адрес и почему-то не сделала это. Я ответил ей в Киев заказным письмом, но ответа не получаю… Если Анна Андреевна не получила моего письма, не откажите передать ей, что я всегда готов приехать по ее первому приглашению, телеграммой или письмом».

Возможно, именно в это время и родилось известное стихотворение Анны Горенко «И когда друг друга проклинали…»

(1909), в котором речь шла о их сложных досвадебных отношениях:

И когда друг друга проклинали
В страсти, раскаленной добела,
Оба мы еще не понимали,
Как земля для двух людей мала…

Неизвестно, получил ли Гумилёв адрес от Анны (сомнительно), возможно, его сообщил Андрей Горенко. Тем не менее, в начале июля поэт уезжает из Коктебеля и морем добирается в Одессу. В первых числах июля Николай Степанович объявляется на даче в Лустдорфе под Одессой, где отдыхала семья Горенко. Опять — разговоры о поэзии, о Царском Селе, о новом журнале «Аполлон», о том, что осенью он начинает заниматься на другом факультете. Видимо, Анна Андреевна сказала, что ей юридическое отделение надоело… Но опять ничего не решено в их отношениях. Правда, на сей раз Аня сама предложила проводить его до Одессы на трамвае из Лустдорфа. И снова надежда толкает Гумилёва задать ей мучительный для него вопрос: «Любит ли она его?» И получает совершенно неожиданный ответ: «Не люблю, но считаю вас выдающимся человеком». Вот это оборот! Гумилёв задумался на минуту и неожиданно спросил: «Как Будда или как Магомет?» Ишь куда хватил, так что сам задохнулся от сравнения. Если она считает его таким, то, может быть, согласится, став его женой, поехать с ним в страну черных христиан? Но Аня, которая мечтала не об Африке, а о Северной столице России, и на это предложение дала категорический отказ.

Случайность, но именно в июльском номере журнала «Весы» появляется стихотворение Гумилёва «Колдунья», посвященное Анне Андреевне. Снова ее колдовские чары опутывают его душу и рассудок. Грань между его снами и действительностью, между реальной жизнью и воображаемыми событиями стирается. Поэт тоскует и погружается в дрему полубытия. Летняя жара и зной, плывущее истомленное солнце, и сами собой рождаются строки очень важного для Гумилёва стихотворения «Сон Адама» (1909). В этом стихотворении поэт как бы моделирует свои возможные взаимоотношения с любимой:

От плясок и песен усталый Адам
Заснул, неразумный, у Древа Познанья.
Над ним ослепительных звезд трепетанья,
Лиловые тени скользят по лугам,

И дух его сонный летит над лугами,
Внезапно настигнут зловещими снами.

В эту пору «зловещие сны» — весточки от возлюбленной, ее отказы, бесконечные встречи и его безрезультатные поездки. Гордая Горенко просто казнит его своими отказами:

Он видит пылающий ангельский меч,
Что жалит нещадно его и подругу
И гонит из рая в суровую вьюгу,
Где нечем прикрыть им ни бедер, ни плеч.

Он понимает, что гимназистки из Мариинки уже нет. Есть непонятная и гордая курсистка-колдунья. А ему хочется иного, но жизнь жестока:

И кроткая Ева, игрушка богов,
Когда-то ребенок, когда-то зарница,
Теперь для него молодая тигрица,
В зловещем мерцанье ее жемчугов,
Предвестница бури, и крови, и страсти,
И радостей злобных, и хмурых несчастий.
……..
Он борется с нею. Коварный. Как змей,
Ее он опутал сетями соблазна.
Вот Ева — блудница, лепечет бессвязно,
Вот Ева — святая, с печалью очей.
То лунная дева, то дева земная,
Но вечно и всюду чужая, чужая.

Поэт рисует портрет Анны — девы луны, блудницы и для него все еще святой и непокоренной. Но Гумилёв надеется, что сон кошмаров — жизнь без любимой — окончится, он пророчествует себе сам, он шепчет последние строки своего длинного стихотворения как заклинание:

Долина серебряным блеском объята.
Тенистые отмели манят для игр,
И Ева кричит из весеннего сада:
«Ты спал и проснулся… Я рада, я рада!»

Осенью Николай Гумилёв пишет стихотворение «Уходящей…» («Не медной музыкой фанфар…», 1909), где проглядывает все тот же лик лунной девы:

И вот теперь, когда с тобой
Я здесь последний раз,
Слезы ни флейта, ни гобой
Не вызовут из глаз.

Теперь душа твоя мертва,
Мечта твоя темна,
А мне все те ж твердит слова
Святая Тишина.

Соединяющий тела
Их разлучает вновь,
Но будет жизнь моя светла,
Пока жива любовь.

Любовь его жива, он пишет самое проникновенное послание своей возлюбленной, в котором как заклинание или молитву проговаривает самые заветные мысли: «Я понял, что в мире меня интересует только то, что имеет отношение к Вам…» Реакция лунной девы известна. Она наконец поняла, что имеет дело с человеком, который не отступит. По утверждению самой Анны Андреевны, именно эта фраза стала для нее решающей. Гумилёв в одном из последних писем предупредил ее, что будет в Киеве уже 28 ноября, и оба они ждали встречи, понимая, что на сей раз она должна закончиться не так, как всегда.

Складывались дела у Гумилёва и на литературном поприще. Наконец он полностью закончил работу по подготовке своей новой книги к выпуску в «Скорпионе». Последнее и окончательное ее название — «Жемчуга». Еще в мае Николай Степанович в письме В. Брюсову просил: «Я жду решения г. Полякова относительно изданья „Жемчугов“. Но мне все-таки хотелось бы получить ответ до конца мая…» 2 ноября Дмитрий Николаевич Кардовский, сосед по Царскому Селу, профессор Академии художеств, будущий академик, обрадовал поэта, прислав ему письмо, в котором сообщал: «Многоуважаемый Николай Степанович! Я заполнил просветы на рисунке „Жемчугов“, текст стал вполне отчетлив, и завтра отсылаю рисунок в „Скорпион“ вместе с письмом. В письме я, с Вашего позволения, написал, что Вы нашли рисунок подходящим, о чем

сообщите лично…»

Днем 28 ноября группа петербургских поэтов приехала в Киев. Все вместе отправились в мастерские художницы Александры Экстер, жены киевского мецената Николая Евгеньевича Экстера, который финансировал издание киевского журнала «Чтец-декламатор».

О выступлении молодых петербуржцев киевляне знали заранее. Еще 18 ноября в газете «Киевский театральный курьер» было напечатано сообщение: «В конце ноября в зале Купеческого собрания состоится вечер современной поэзии при участии поэтов М. Кузмина, П. Потемкина, Н. Гумилёва и других…» Купеческое собрание было престижным местом, и выступление в нем могло собрать большую публику. Однако с тех пор, как появилось сообщение, и до тех пор, как петербуржцы ступили на киевскую землю, утекло немало воды. В местной прессе появились клеветнические статьи с нападками на молодых поэтов. Потемкину припомнили, в который раз, его дружбу с журналистами-кошкодавами. Делались прозрачные намеки в отношении поэта Михаила Кузмина, известного в Киеве как автора «Курантов любви». Дошли до Киева и газеты с сообщениями о дуэли Николая Гумилёва с Максимилианом Волошиным. Вышедшие мизерным тиражом первые две поэтические книги самого поэта до киевского обывателя не дошли. Местным литераторам Гумилёв был известен только по публикации в киевском журнале «В мире искусства». О графе Алексее Толстом и того меньше было ведомо. Словом, хорошо задуманное мероприятие, инициатором которого стал киевский поэт Владимир Юрьевич Эльснер, начало разваливаться на глазах. Купеческое собрание отказалось предоставить для вечера свой зал — репутация в провинции дороже всего. 28 ноября Кузмин записал в дневнике: «…все перепуганы газетной руготнею до того, что почти готовы отказаться от вечера… Гумилёв пошел отыскивать своих старых невест». Эльснер стал искать выход из создавшегося положения и к чести его справился с этим успешно, хотя и не без определенных потерь. В день выступления газета «Киевские вести» сообщала: «Малый театр Крамского. Сегодня 29 ноября „Остров искусства“ — вечер современной поэзии сотрудников журналов „Аполлон“, „Остров“ и др. Михаила Кузмина, графа Ал. Н. Толстого, П. Потемкина, Н. Гумилёва при участии Ольги Форш, В. Эльснера, К. Л. Соколовой, Л. Д. Рындиной и др. Гг. Яновские и г. Аргамаков от участия в вечере в последний день отказались, и устроители долгом считают о том уведомить, прося желающих получить обратно

деньги в кассе театра. Начало ровно в 8 1/2 ч. вечера».

Николай Гумилёв Аню Горенко пригласил на вечер заранее.

С вокзала он отправился именно к ней. Ему важнее всего прочего было знать, как она отнеслась к его последним письмам и что на этот раз скажет ему киевская колдунья. Он хотел надеяться и боялся… Весь день 28 ноября они провели вместе. Николай прочел ей стихотворение «Путешествие в Китай» (1910), в котором были строчки, обращенные к ней:

Что же тоска нам сердце гложет,
Что мы пытаем бытие?
Лучшая девушка дать не может
Больше того, что есть у нее…

Днем 29 ноября Гумилёв познакомился с двумя писателями — Ольгой Форш и Бенедиктом Лившицом. Форш должна была вместе с актрисой Лидией Рындиной, женой поэта и издателя С. А. Соколова-Кречетова, принимать участие в вечере. Так гласили афиши. Но в последний момент они испугались сплетен и слухов. Газетчики замерли в сладостной истоме, но увы. Вечер прошел мирно и местами даже скучно. Тому виной был косвенно и сам Гумилёв. Он читал только для Анны Горенко. Ему хотелось доказать ей, что и на этой сцене он ради нее, что его главные слова обращены только к ней! И она поняла его и оценила, но вот публика в зале откровенно зевала и дремала. Не получив пищу для скандальных репортажей, после вечера газетчики откровенно издевались: «Длинные, очень длинные стихи… когда г. Гумилёв закончил, наконец, свою длинную и нудную поэму „Сон Адама“ и гнусавым голосом произнес заключительное восклицание Евы — „Ты снова проснулся, я рада, я рада!“ — в ответ ему эхом раздалось со всех кресел: „Мы снова проснулись, мы рады, мы рады!..“»

Но что для Гумилёва непонимание зрителей, когда он с замиранием сердца ждал окончания вечера, чтобы остаться наедине с Аней? Гумилёв тут же простился с друзьями и новыми товарищами и отправился гулять с Аней по ночному Киеву. Дул сырой неприятный ветер, было мёрзло и мерзко. Они шли и долго говорили ни о чем. Николай Степанович не решался начать серьезный разговор, слишком велика была ставка. До разговора казалось: вот оно, счастье, он уже ухватил журавля за хвост. А тут начни… и вдруг опять крушение. И вот они оказались возле «Европейской» гостиницы, находившейся за Владимирской горкой неподалеку от Крещатика. Аня замерзла, и Николай Степанович предложил зайти в ресторан гостиницы и выпить по чашечке

кофе. Ночь, ветер, чувство предстоящей разлуки, какая-то непонятная далекая Африка, крокодилы, Нил, леопарды, львы и обезьяны, холод и мрак, возвращение домой и снова неопределенность — все смешалось в голове Анны. Как все надоело. А здесь в ресторане чуть затемненный свет успокаивает душу. Тепло от выпитого кофе согревало и возбуждало одновременно. И ей показалось, что еще немного, и она шагнет в какой-то новый, светлый и заманчивый мир свершения надежд. Гумилёв по глазам своей сероглазой колдуньи понял, что настал момент, когда он не только может, но и должен сказать ей самые главные слова. Николай Степанович немного охрипшим от волнения голосом промолвил: «Анна Андреевна, вы согласны стать моей женой?..» Казалось, прошла вечность, пока наконец она проговорила чуть слышно и спокойно: «Да». И по тому, как она сказала это «да», он понял, что это уже серьезно. Кровь бросилась ему в голову: «Неужели это возможно?!» Весь мир перевернулся в эти несколько мгновений. В гостиницу входили два робких ночных замерзших человека, а вышли счастливые жених и невеста. Таким видел мир он. Каким его видела она?.. Об этом Анна Андреевна написала Срезневской. Но об этом чуть позже.

На следующий день, 30 ноября, Николай Степанович нанес официальный визит кузине Анны Андреевны, художнице Марии Александровне Змунчилло, поклоннице его таланта, и отправился на вокзал. Провожали его Алексей Толстой, Михаил Кузмин и Петр Потемкин. Анна Андреевна провожать Гумилёва не пошла.

1 декабря Гумилёв был уже в Одессе. Поскольку он не знал точно, поедет ли Вячеслав Иванов с ним в Африку, он пишет ему из Одессы письмо: «Карантина в Синопе, кажется, нет. 3-го (в среду) я выезжаю в К<онстантино>поль, там в пятницу. В субботу румынский пароход, и 9-го (во вторник) я уже в Каире. Незачем ехать в Триест. Так дешевле и быстрее. В Каире буду ждать телеграммы в русское консульство. Письмо очень запоздает. 12-го, если не будет телеграммы, еду дальше. Я чувствую себя прекрасно, очень хотел бы Вашего общества… P.S. Море очень хорошо». Вяч. Иванов в Африку не поехал. 3 января 1910 года в письме Валерию Брюсову он напишет: «…Чуть было не уехал с Гумилёвым в Африку… но был болен, оцепенен делами и — беден, очень беден деньгами».

1 декабря 1909 года Гумилёв садится в Одессе на пароход. 3 декабря он был уже в Варне. Он отправил открытку[10] с видом фонтана в городском саду Варны своему учителю с конквистадорской надписью: «Дорогой Валерий Яковлевич, не

знаю, простите ли Вы мне, что я так долго не писал; Вы будете справедливы, если не простите. Приветствую Вас из Варны, куда я заехал по пути в Абиссинию. Там я буду недели через полторы. Застрелю двух, трех павианов, поваляюсь под пальмами и вернусь назад, как раз, чтобы застать Ваши лекции в „Академии Стиха“. Напишу еще раз из Джибути или Харара[11]…»

5 декабря 1909-го Н. Гумилёв был уже в Константинополе.

6 декабря 1909-го Николай Степанович на румынском пароходе отплыл в Каир.

7 декабря 1909-го, в то время как Н. Гумилёв шел на румынском пароходе к Александрии, его невеста Анна Горенко в Киеве сдала экзамен по истории русского права с оценкой «весьма удовлетворительно».

8–9 декабря 1909-го Н. Гумилёв в Александрии. Пока он идет апробированным им маршрутом, где все знакомо с прошлого года, ему скучно. Он жалеет, что Вячеслав Иванов уклонился от поездки, хотя поначалу горячо поддерживал и восторгался его замыслами. Но известий от него никаких, и 12 декабря Николай Степанович из Каира пишет письмо падчерице мэтра — В. К. Ивановой-Шварсалон: «Вера Константиновна, уже три дня я в Каире, а от Вячеслава Ивановича нет ни писем, ни телеграммы. Очевидно, он не поехал, и я поеду дальше без него. Здесь очень хорошо. Каждый вечер мне кажется, что я или вижу сон, или, наоборот, проснулся в своей родине. В Каире, вблизи моего отеля, есть сад, устроенный на английский лад, с искусственными горами, гротами, мостами из цельных деревьев. Вечером там почти никого нет и светит большая бледно-голубая луна. Там дивно-хорошо. Но каждый день мне приходит в голову ужасная мысль, которую я, конечно, не приведу в исполнение — это отправиться в Александрию и там не утопиться, подобно Антиною, а просто сесть на корабль, идущий в Одессу. Я чувствую себя очень одиноким, и до сих пор мне не представилось ни одного случая выпрямиться во весь рост (это не самомнение, а просто оборот речи). Но сегодня я не смогу вытерпеть и отправлюсь на охоту. Часа два железной дороги, и я буду на границе Сахары, где водятся гиены. Я знаю, это дурно с моей стороны. Я сижу в Каире, чтобы кончить статью для „Аполлона“, — как она меня мучит. Если бы Вы знали — денег у меня мало. Но лучше я буду работать в Абиссинии, там, кстати, строится железная дорога от Харара до Аддис-Абебы и нужны руки, лучше пусть меня проклянет за ожидание Маковский. Я высаживался в Пирее, был в Акрополе и молился Афине Палладе перед ее храмом. Я понял, что она жива, как и во времена Одиссея, и с такою радостью думаю о ней… Я писал… что я не

попаду в Джибути. Но, подумав, что там меня ждут письма, я решил быть там во что бы то ни стало. И, кажется, это устраивается. Придется только ехать в четвертом классе и сперва в Аден и уж оттуда в Джибути. Если Вам вздумается мне писать, а я мечтаю об этом, пишите в Одессу до востребования. Я буду там через месяц. Простите за такое глупое письмо, но я не мог лучше. Это третье, которое я пишу Вам из Каира. Первые два я изорвал. Попросите, чтобы не очень обижали Потемкина. В Киеве я заметил такую тенденцию, и мне его жаль…»

В этой просьбе поэта проявилось его настоящее лицо. Гумилёв был очень заботливым и ранимым человеком, и когда он видел, как над добродушным Петром Потемкиным подсмеиваются друзья, ему это было неприятно. Статья, которую писал Гумилёв, — это рецензия на первую книгу рассказов Михаила Кузмина, она была заказана и вышла в третьем номере журнала «Аполлон». Николай Степанович был обязательным человеком и не мог подвести ни Маковского, ни своего друга Михаила Кузмина.

К письму Н. Гумилёв приложил стихотворение «Она говорила: „Любимый, любимый…“» (1909), которое он написал уже в путешествии и, как сообщил адресату, отправляет в «общее пользование». Тем не менее при жизни оно не было опубликовано:

Она говорила: «Любимый, любимый,
Ты болен мечтою, ты хочешь и ждешь,
Но память о прошлом, как ратник незримый,
Взнесла над тобой угрожающий нож.

О чем же ты грезишь с такою любовью,
Какую ты ищешь себе Госпожу?
Смотри, я прильну к твоему изголовью
И вечные сказки тебе расскажу.

Ты знаешь, что женское тело могуче,
В нем радости всех неизведанных стран,
Ты знаешь, что женское сердце певуче,
Умеет целить от тоски и от ран…»

Это стихотворение — явный отголосок его последнего киевского разговора с Аней. Поэт пишет как бы от ее лица… Он получил согласие Анны, его многолетние ухаживания завершились так, как ему хотелось, но вместо радости он почему-то почувствовал усталость, к радости начало примешиваться

чувство легкой печали и грусти. Но грусть проходит и снова начинается дорога.

16 декабря Гумилёв в Порт-Саиде.

19–20 декабря в Джедде.

22–23 декабря 1909-го Н. Гумилёв прибыл в Джибути. Отсюда (как и обещал) он пишет снова Валерию Брюсову: «…Завтра еду в глубь страны, по направлению к Аддис-Абебе, столице Менелика. По дороге буду охотиться. Здесь уже есть все, до львов и слонов включительно. Солнце палит немилосердно, негры голые. Настоящая Африка. Пишу стихи, но мало. Глупею по мере того, как чернею, а чернею я с каждым часом. Но впечатлений масса. Хватит на две книги стихов. Если меня не съедят, я вернусь в конце января. Кланяюсь Вашей супруге…»

24 декабря Гумилёв выехал из Джибути на мулах в Харар, куда вела лучшая караванная дорога, являвшаяся главным торговым путем всей Восточной Африки. Гумилёв не мог удержаться от соблазна поохотиться на диких зверей. Известен его очерк «Африканская охота» с подзаголовком «Из путевого дневника Н. Гумилёва»: «Там, где Абиссинское плоскогорье переходит в низменность и раскаленное солнце пустыни нагревает большие круглые камни, пещеры и низкий кустарник, можно часто встретить леопарда, по большей части разленившегося на хлебах у какой-нибудь одной деревни. Изящный, пестрый, с тысячью уловок и капризов, он играет в жизни поселян роль какого-то блистательного и враждебного домового. Он крадет их скот, иногда и ребят. Ни одна женщина, ходившая к источнику за водой, не упустит случая сказать, что видела его отдыхающим на скале и что он посмотрел на нее, точно собираясь напасть. С ним сравнивают себя в песнях молодые воины и стремятся подражать ему в легкости прыжка. Время от времени какой-нибудь предприимчивый честолюбец идет на него с отравленным копьем и, если не бывает искалечен, что случается часто, тащит торжественно к соседнему торговцу атласистую с затейливым узором шкуру, чтобы выменять ее на бутылку скверного коньяку. На месте убитого зверя поселяется новый, и все начинается сначала. Однажды к вечеру я пришел в маленькую сомалийскую деревушку где-то на краю Харарской возвышенности. Мой слуга, юркий харарец, тотчас же сбегал к старшине рассказать, какой я важный господин, и тот явился, неся мне в подарок яиц, молока и славного полугодовалого козленка. По обыкновению, я стал расспрашивать его об охоте. Оказалось, что леопард бродил полчаса назад на склоне соседнего холма. Так как известие было принесено стариком, ему можно было верить. Я выпил молока и отправился в путь; мой

слуга вел как приманку только что полученного козленка. Вот и склон с выцветшей, выжженной травой, с мелким колючим кустарником, похожий на наши свалочные места, я засел в куст шагах в пятнадцати, сзади меня улегся с копьем мой харарит. Он таращил глаза, размахивал оружьем, уверяя, что это восьмой леопард, которого он убьет, он был трус, и я велел ему замолчать. Ждать пришлось недолго; я удивляюсь, как отчаянное блеяние нашего козленка не собрало всех леопардов округа. Я вдруг заметил, как зашевелился дальний куст, покачнулся камень, и увидел приближающегося пестрого зверя, величиною с охотничью собаку. Он бежал на подогнутых лапах, припадая брюхом к земле и слегка махая кончиком хвоста, а тупая кошачья морда была неподвижна и угрожающа. У него был такой знакомый по книгам и картинкам вид, что в первое мгновенье мне пришла в голову несообразная мысль, не бежал ли он из какого-нибудь странствующего цирка? Потом сразу забилось сердце, тело выпрямилось само собой, и, едва поймав мушку, я выстрелил. Леопард подпрыгнул аршина на полтора и грузно упал на бок. Задние ноги его дергались, взрывая землю, передние подбирались, словно он готовился к прыжку. Но туловище было неподвижно, и голова все больше и больше клонилась на сторону: пуля перебила ему позвоночник сейчас же за шеей. Я понял, что мне нечего ждать его нападенья, опустил ружье и повернулся к моему ашкеру. Но его место было уже пустым, там валялось только брошенное копье, а далеко сзади я заметил фигуру в белой рубашке, отчаянно мчащуюся по направленью к деревне. Я подошел к леопарду; он был уже мертв, и его остановившийся глаза уже заволокла муть. <…> Мне казалось, что все звери Африки залегли вокруг меня и только ждут минуты, чтобы умертвить меня мучительно и постыдно. Но вот я услышал частый топот ног, короткие, отрывистые крики, и, как стая воронов, на поляну вылетел десяток сомалей с копьями наперевес. Их глаза разгорелись от быстрого бега, а на шее и лбу, как бисер, поблескивали капли пота. Вслед за ними, задыхаясь, подбежал и мой проводник, харарит. Это он всполошил всю деревню известием о моей смерти».

В этих же записках есть еще два интересных эпизода охоты Гумилёва в Абиссинии — на царя зверей льва и на гиен и павианов. На львов охота не была удачной, но интересно, с каким азартом поэт описывал свои впечатления: «То медлительная и широкая, то узкая и кипучая, как горный поток, река Гавашь[12] окружена лесами. Не лесом мрачным, сырым, тянущимся на сотни миль, а лесами-оазисами, как те, о которых поется в народных песнях, полными звоном ручьев, солнечными

просветами и птичьим пересвистыванием. Там на просторных лужайках пасутся буйволы, в топких местах и в глубине кустарников залегают кабаны. С востока и запада туда идут поохотиться люди, с севера, из Данакильской пустыни — львы. Встречаются они редко, так как одни любят день, другие — ночь. Днем львы дремлют на вершинах холмов, откуда, как со сторожевой вышки, обозревают окрестность; если приближается человек, они неслышно сползают на другую сторону холма и уже тогда убегают. А ночью люди окружают свой лагерь кольцом ярких костров. Таким образом, взаимные нападения крайне редки. <…> Убить льва затаенная мечта всякого белого, приезжающего в Африку, будь то скупщик каучука, миссионер или поэт. По зрелом обсуждении вопроса, мы решили устроить на дереве помост и засесть там на целую ночь. Так и лев может подойти ближе, и стрелять сверху виднее. Удобное место нашлось неподалеку, на краю лужайки. Мы работали до вечера и соорудили неуклюжий косой помост, на котором можно было, свесив ноги, кое-как усесться вдвоем. Чтобы не стрелять лишний раз, мы поймали аршинную черепаху и поужинали ее печенкой, изжаренной на маленьком костре. Ночь застала нас на своих местах. Ждали долго. <…> Вдруг я очнулся, как будто от толчка, — я только потом сообразил, что это мой слуга зашептал мне с дерева: „Гета, Гета“ (господин, господин), — и на дальнем конце лужайки увидел льва, черного на фоне темных кустов. Он выходил из чащи, и я заметил только громадную, высоко поднятую голову над широкой, как щит, грудью. В следующий миг я выстрелил. Мой маузер рявкнул особенно громко в полной тишине, и, словно эхо, вслед за этим пронесся треск ломаемых кустарников и поспешный скок убегающего зверя. Мой слуга уже соскочил с дерева и стоял рядом со мной, держа наготове свою берданку. Усталости как не бывало. Нас захлестнуло охотничье безумье. По кустам мы обежали лужайку, — идти напрямик мы все-таки не решались, — и стали разглядывать место, где был лев. Мы знали, что он убегает после выстрела, только если ранен очень тяжело, или не ранен совершенно. Зажигая спичку за спичкой, мы ползком искали в траве капель крови. Но их не было…»

О последней своей охоте с абиссинцем лидж Адену Гумилёв рассказывал в пятой главе своих записок: «…Чтобы рассеять мое недовольство, вызванное усталостью, лидж Адену придумал охоту, и не какую-нибудь, а облаву. Облава в тропическом лесу — это совсем новое ощущение: стоишь и не знаешь, что покажется сейчас за этим круглым кустом, что мелькнет между этой кривой мимозой и толстым платаном; кто из вооруженных копытами,

когтями, зубами выбежит с опушенной головой, чтобы пулей приобщить его к твоему сознанью; может быть, сказки не лгут, может быть, действительно есть драконы. Мы стали по двум сторонам узкого ущелья, кончающегося тупиком, загонщики, человек тридцать быстроногих галласов, углубились в этот тупик. Мы прицепились к камням посередине почти отвесных склонов и слушали удаляющиеся голоса, которые раздавались то выше нас, то ниже и вдруг слились в один торжествующий рев.

Зверь был открыт. Это была большая полосатая гиена. Она бежала по противоположному скату в нескольких саженях над лидж Адену, а за ней с дубиной мчался начальник загонщиков, худой, но мускулистый негр. Временами она огрызалась, и тогда ее преследователь отставал на несколько шагов. Я и лидж Адену выстрелили одновременно. Задыхающийся негр остановился, решив, что его дело сделано, а гиена, перекувырнувшись, пролетела в аршине от лидж Адену, в воздухе щелкнула на него зубами, но, коснувшись ногами земли, как-то справилась и опять деловито затрусила вперед. Еще два выстрела прикончили ее. Через несколько минут снова послышался крик, возвещающий зверя, но на этот раз загонщикам пришлось иметь дело с леопардом, и они не были так резвы. Два-три могучих прыжка, и леопард был наверху ущелья, откуда ему повсюду была вольная дорога. Мы его так и не видели. Третий раз пронесся крик, но уже менее дружный, вперемешку со смехом. Из глубины ущелья повалило стадо павианов. Мы не стреляли. Слишком забавно было видеть этих полусобак, полулюдей, удирающих с той комичной неуклюжестью, с какой из всех зверей удирают только обезьяны. <…> Ночью, лежа на соломенной циновке, я долго думал, почему я не чувствую никаких угрызений совести, убивая зверей для забавы, и почему моя кровная связь с миром только крепнет от этих убийств. А ночью мне приснилось, что за участие в каком-то абиссинском дворцовом перевороте мне отрубили голову и я, истекая кровью, аплодирую уменью палача и радуюсь, как все это просто, хорошо и совсем не больно». Вот откуда появляются потом мотивы палача и отрубленной головы в знаменитом стихотворении поэта «Заблудившийся трамвай», где повторение почти дословное, только в стихах.

То, что эти рассказы относятся к первому путешествию, косвенно подтверждает в своих воспоминаниях художница Ольга Кардовская: «Слушали мы рассказы и о его первой поездке в Африку. Он очень живо описывал весь свой путь, пройденный с караваном, жуткие моменты при охоте на диких зверей, стоянки в пустыне и многое другое. Было очень странным и казалось почти невероятным, что такой болезненный на вид человек мог

совершить такое труднейшее путешествие…»

По всей видимости, новый, 1910 год Гумилёв встречал в дороге. Харар находился к югу от Гаджурского залива в области, которую уже покорил Император Менелик. В начале января 1910 года поэт наконец достиг города Харара. Своими впечатлениями он поделился с другом Михаилом Кузминым.

Поскольку от этой экспедиции не сохранилось никаких дневников, кроме путевых записок «Африканская охота», можно считать письма друзьям своеобразными дневниковыми записями поэта. Таким письмом было и январское послание Гумилёва Кузмину: «Дорогой Миша, пишу уже из Харара. Вчера сделал двенадцать часов (70 километров) на муле, сегодня мне предстоит ехать еще 8 часов (50 километров), чтобы найти леопардов. Так как княжество Харар находится на горе, здесь не так жарко, как было в Дир-Абауа[13], откуда я приехал. Здесь только один отель и цены, конечно, страшные. Но сегодня ночью мне предстоит спать на воздухе, если вообще придется спать, потому что леопарды показываются ночью. Здесь есть и львы и слоны, но они редки, как у нас лоси, и надо надеяться на свое счастье, чтобы найти их. Я в ужасном виде: платье мое изорвано колючками мимоз, кожа обгорела и медно-красного цвета, левый глаз воспален от солнца, нога болит, потому что упавший на горном перевале мул придавил ее своим телом. Но я махнул рукой на все. Мне кажется, что мне снятся одновременно два сна, один неприятный и тяжелый для тела, другой восхитительный для глаз…»

И снова, несмотря на все трудности, дорога, стертые ноги. Можно представить, как страдал Гумилёв, ведь у него было плоскостопие. Упоминание о страдании тела в письме к другу — это не жалоба, это надежда, что тебя поймут и оценят.

5 января 1910 года Гумилёв снова в Джибути. Отсюда он отправляет письмо мэтру, Вячеславу Иванову: «До последней минуты я надеялся получить Вашу телеграмму или хоть письмо, но, увы, нет ни того, ни другого. Я прекрасно доехал до Джибути и завтра еду дальше. Постараюсь попасть в Аддис-Абебу, устраивая по дороге эскапады. Здесь уже настоящая Африка. Жара, голые негры, ручные обезьяны. Я совсем утешен и чувствую себя прекрасно. Приветствую отсюда Академию Стиха. Сейчас пойду купаться, благо акулы здесь редки…»

7 января 1910 года поэт-путешественник выезжает из Джибути. Теперь его маршрут пролегает в обратном направлении. Первое краткое свидание с Африкой закончено. За время путешествия Гумилёв успел познакомиться с территорией

французского Сомали и с частью восточной Абиссинии. Но он доволен. Он спешит назад, он несколько месяцев был оторван от мира. Письма и открытки не могли восполнить отсутствие общения с друзьями и главное — с Аней. Именно к ней первым делом отправляется он из своего путешествия, когда прибывает в Одессу. Снова поезд, и 2 и 3 февраля он в Киеве. Отчего же поэт так торопился в Киев? Его состояние можно понять, слишком уж непостоянная невеста досталась ему. Один раз в 1907 году она уже согласилась стать его женой, дала слово и потом взяла его назад. А что как и теперь возьмет?

Аня в отсутствие жениха отнюдь не испытывала чувства окончательной решенности своей судьбы. Она все еще сомневается, впадает в меланхолию. В декабре 1909 года пишет стихотворение, открывающее те чувства, которые она тогда переживала:

Хорони, хорони меня, ветер!
Родные мои не пришли,
Надо мною блуждающий вечер
И дыханье тихой земли.

Я была, как и ты, свободной,
Но я слишком хотела жить.
Видишь, ветер, мой труп холодный,
И некому руки сложить…

В январе она несколько успокаивается, о чем можно судить по написанному стихотворению «Жарко веет ветер душный…» (1910). Она вновь ощущает себя свободной. Возможно, тогда она в очередной раз передумала выходить замуж.

Пруд лениво серебрится,
Жизнь по-новому легка…
Кто сегодня мне приснится
В пестрой сетке гамака?

Анна Горенко в гамаке мечтает о новых ощущениях. Но легкость легко переходит в чувство неосознанной тревоги. Теперь она волнуется о своем женихе. Об этом стихи от 25 января 1910 года:

I

Пришли и сказали: «Умер твой брат»…
Не знаю, что это значит.
Как долго сегодня холодный закат
Над крестами лаврскими плачет.

И новое что-то в такой тишине
И недоброе проступает,
А то, что прежде пело во мне,
Томительно рыдает.

Брата из странствий вернуть могу.
Любимого брата найду я,
Я прошлое в доме моем берегу,
Над прошлым тайно колдуя.
……

II

«Брат! Дождалась я светлого дня.
В каких ты скитался странах?»
«Сестра, отвернись, не смотри на меня,
Эта грудь в кровавых ранах».

(«Пришли и сказали: „Умер твой брат“…», 1910)

Стихотворение было посвящено Гумилёву. Эпиграфом стали строчки Бодлера:

Я не заслужу той высшей чести
Даровать мое имя той бездне,
Которая послужит мне могилой.

В Киеве Гумилёв скрывает чувство охватившей его тревоги. Анна встречает его, загоревшим и возмужавшим, и ей снова начинает казаться, что он — ее судьба, что все ее страхи и сомнения напрасны. Она читает ему свое новое стихотворение, и поэт говорит, что оно ему понравилось! Но почему в этих стихах Анна писала о нем как о мертвом?! Разве она не знала, что пророчить смерть в стихах — равносильно вынесению смертного приговора?! Позднее Анна Андреевна признается в своих воспоминаниях, что это было не первое ее пророчество. Уже в тринадцать-четырнадцать лет она написала пятнадцать

стихотворений, посвященных Гумилёву, и все как умершему.

Но Гумилёв счастлив. Они расстались, умиротворенные друг другом. Теперь он мог отправляться домой, чтобы обрадовать родителей и начинать готовиться к свадьбе.

В Царское Село он прибыл 5 февраля. Отец был совсем плох, ревматизм замучил. Несколько раз вызывали врачей, а 6 февраля его не стало. Хоронили Степана Яковлевича в Царском Селе на Кузьминском кладбище. (Увы, до наших дней могила не сохранилась.)

Смерть отца сильно расстроила планы Николая Степановича. О какой свадьбе можно говорить в семье, где траур? Опять счастье, такое близкое, начинало отдаляться. Казалось, какой-то злой рок довлеет над молодыми. О той атмосфере, которая царила в доме Гумилёвых, вспоминала жена брата Дмитрия — А. Гумилёва: «…С. Я. скончался. После его смерти жизнь в семье Гумилёвых сильно изменилась даже внешне. Отцовский кабинет перешел к Коле, и он в нем все переставил по-своему. Как часто добрые по существу люди бывают подчас неделикатны и даже эгоистичны! Помню, не прошло и семи дней, как пришла ко мне в комнату расстроенная Анна Ивановна и жаловалась на Колину нечуткость: „Не успели отца похоронить, — говорила она, — как Коля стал устраиваться в его кабинете. Я его прошу подождать хоть две недели, мне же это слишком тяжело! А он мне отвечает: ‘Я тебя, мамочка, понимаю, но не могу же я постоянно работать в гостиной, где мне мешают. Дмитрий и Аня так часто и надолго приезжают, что мне всегда приходится уступать им свой кабинет’“. Без ведома А. И. я сейчас же пошла убеждать Колю повременить, но мои доводы на него не подействовали. Он только посмеялся над моей сентиментальностью». Возможно, так, за маской равнодушия, он пытался скрыть свои переживаниям Николай Степанович ищет выход из создавшегося положения. Он вновь погружается в литературные дела. Ему хочется поскорее дождаться выхода его «Жемчугов» и получить отклики мэтров. Он пишет В. Брюсову: «Многоуважаемый и дорогой Валерий Яковлевич, скоро должна выйти моя книга стихов, посвященная Вам, как моему учителю, и я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы согласились написать о ней в „Аполлоне“. Но по моим соображениям необходимо, чтобы отзыв о моей книге появился в апрельском номере, и для этого надо, чтобы рукопись его была в распоряжении редакции никак не позже первого апреля. Так что если Вы согласны писать обо мне, мне придется просить взять корректуры у М. Ф. Ликиардопуло и написать Ваш отзыв по ним. Они уже все готовы и часть книги отпечатана. Рукопись лучше всего прислать в „Аполлон“ на имя секретаря Зноско-Боровского.

Я тоже вынужден силой обстоятельств просить Вас известить меня открыткой о Вашем согласии или несогласии, чтобы в последнем случае я мог просить рецензию другого. Я послал Вам три письма из Египта и Абиссинии. Дошли ли они? Искренне преданный Вам Н. Гумилёв. Царское Село, Бульварная, дом Георгиевского».

Брюсов ответил своему ученику не сразу. Только 28 марта 1910 года он отправляет ему письмо с отказом: «К сожалению, я не могу взять на себя приятный труд написать о Вашей книге в „Аполлоне“. Я обещал „Русской мысли“ давать ей рецензии о всех стоящих внимания сборниках стихов. Писать же об одной книге в двух изданиях я считаю решительно неуместным (хотя Н. Лернер и писал иногда по 18 рецензий об одной и той же). Благодарю Вас за вести из Абиссинии…»

Конечно, Гумилёв сообщил о трауре в семье своей невесте. На этот раз, возможно, снова отложили бы свадьбу, ведь не могла же Анна Андреевна не понять этого. Но, по всей видимости, жених убеждал ее, что медлить не надо, что их поймут и простят. Вопрос оставался открытым до 22 февраля, пока Анна Горенко не приехала к своему отцу за советом. Советуется она и со своей лучшей подругой Валерией Тюльпановой. Близкие люди понимают ее и, наверное, не советуют отвергать сватовство Гумилёва. Отец желает счастья дочери и считает, что девушке, которой уже двадцать, пора думать о замужестве.

Все складывается в пользу Гумилёва. И вот теперь осталось узнать отношение матери поэта. 26 февраля Анна Андреевна впервые отправилась в Царское Село как невеста Николая Степановича. Волей случая она ехала в одном вагоне с друзьями Гумилёва: Алексеем Толстым, Мейерхольдом, Кузминым и Зноско-Боровским, которые также направлялись в гости к поэту. На вокзале Царского Села Гумилёв встретил их и представил Анну Андреевну друзьям как старую знакомую, но не упомянул, что она приехала в качестве невесты. Наверное, боялся сглазить: а вдруг опять расстроится все? Можно себе представить, как старался Николай Степанович убедить мать в том, что откладывать свадьбу нельзя. Анна Ивановна из любви к сыну смирилась с личным горем.

Добрейшая Анна Ивановна обошлась с будущей невесткой сердечно. Расстались они на том, что свадьба будет весной, но окончательную дату согласуют позже. 28 февраля Анна Андреевна уезжала в Киев, и своей подруге В. С. Тюльпановой в глубокой тоске она пишет: «Птица моя, — сейчас еду в Киев. Молитесь обо мне. Хуже не бывает. Смерти хочу. Вы всё знаете, единственная, ненаглядная, любимая, нежная. Валя моя, если бы

я умела плакать. Аня».

Февральское настроение Гумилёва тоже переменчиво. Он пишет довольно грустное стихотворение, по-видимому, под впечатлением похорон и траура в семье:

У меня не живут цветы,
Красотой их на миг я обманут,
Постоят день, другой и завянут,
У меня не живут цветы.

Да и птицы здесь не живут,
Только хохлятся скорбно и глухо,
А наутро — комочек из пуха…
Даже птицы здесь не живут.

Только книги в восемь рядов,
Молчаливые, грузные томы,
Сторожат вековые истомы,
Словно зубы в восемь рядов…

(«У меня не живут цветы…», 1910)

В февральском номере журнала «Аполлон» (№ 5) появляются рецензия Гумилёва на первую книгу рассказов Кузмина и стихотворение Николая Степановича «Сон Адама». В рецензии поэт, несмотря на дружбу с Кузминым, дает объективную оценку его творчества: «Отличительные свойства прозы М. Кузмина — это определенность фабулы, плавное ее развитие и особое, может быть, ему одному в современной литературе присущее, целомудрие мысли, не позволяющее увлекаться целями, чуждыми искусству слова… Перед вами не живописец, не актер, перед вами писатель… Язык М. Кузмина ровный, строгий и ясный, я сказал бы: стеклянный… в его книге собраны вещи разных периодов его творчества и поэтому неравной ценности…»

Невеста уехала, дома настроение грусти и печали, мать обижается на него в глубине души за то, что он так торопится и с переселением в отцовский кабинет, и с женитьбой. Он ждет письма от Ани, но его все нет, он ждет вестей из издательства «Скорпион», но и оттуда пока молчание. Дни тянутся в ожидании томительно и уныло. Чтобы как-то разрядить гнетущую обстановку и развеяться, Гумилёв принимает давнее приглашение Сергея Ауслендера побывать у него в имении Парахино, которое располагалось на станции Окуловка Новгородской губернии. И вот Гумилёв с запасом папирос отправляется в Великий пост (до 20 марта) в Окуловку. Здесь, в фабричном поселке, поэт попадает

в среду служащих и местной интеллигенции. Он словно белая ворона вышагивает в белых перчатках и черном цилиндре, а вечерами ходит играть в винт. Ему нравится деревенская жизнь, где можно забыть обо всех бедах и несчастьях, свалившихся на их семью. Он пишет 20 марта из Парахино Евгению Зноско-Боровскому: «Дорогой Женичка, я уже в Окуловке и шлю тебе отсюда мой лучший привет. Здесь хорошо: солнце светит, птички поют и т. д. Вернусь, наверно, во вторник; в понедельник пойду на тетеревиный ток…»

Он гуляет в цилиндре допоздна по грязи без калош «журавлиным шагом». Он всей грудью вдыхает деревенскую свободу. Вместе с Ауслендером он катается в санях по ухабистой дороге, естественно, в цилиндре и лишь придерживает его, когда сани накреняются. Ауслендер закрывает глаза на чудачества друга. Они проводят время вдвоем и живут в преддверии больших перемен в их личной жизни — и тот и другой в 1910 году собираются жениться. Ауслендер потом напишет об этих весенних днях: «…В первый раз в те дни он говорил о своей личной жизни, говорил, что хочет жениться, ждет писем. Мы просиживали с ним за разговорами до рассвета в моей комнатке с голубыми обоями. За окном блестела вода. Я тоже собирался тогда жениться, и это нас объединяло… В эти весенние дни мы с Гумилёвым подружились особенно нежно. Я почувствовал его тоску… Накануне женитьбы нас объединяла какая-то тревога…»

Сергей Ауслендер тонко уловил душевное состояние друга.

Настроение грусти сменяется ожиданием, весна берет свое, и Гумилёв неожиданно пишет по мотивам сказки Шарля Перро «Кот в сапогах» стихотворение «Маркиз де Карабас» (1910):

Весенний лес певуч и светел,
Черны и радостны поля.
Сегодня я впервые встретил
За старой ригой журавля.

Смотрю на тающую глыбу,
На отблеск розовых зарниц,
А умный кот мой ловит рыбу
И в сеть заманивает птиц…

Ауслендер поражен красотой и красками стихотворения. Николай Степанович тут же посвящает ему это произведение. Но не только он один был поражен «Маркизом де Карабасом». Мэтр символизма Вячеслав Иванов, когда поэт прочтет ему эти стихи, назовет их в рецензии «бесподобной идиллией»[14]. Поэт и сам

чувствует удачу и посылает стихотворение в издательство с просьбой вставить в готовящуюся книгу «Жемчуга». Просьба была выполнена, хотя до выхода книги оставались уже недели. После «Жемчугов» стихотворение будет опубликовано в 1912 году в сборнике стихов для отрочества «Утренняя звезда».

22 марта друзья отправляются на тетеревиный ток. Весна, просыпающийся, хотя еще и нераспустившийся лес, все готово петь, поэт снова ждет вестей от своей далекой киевской колдуньи. И на сей раз она оправдывает его ожидания. 23 марта он получает письмо от Анны Андреевны. Видимо, она сообщает, что больше нет препятствий к их венчанию, дома вопрос решен. Гумилёв безмерно счастлив, он прощается с другом и уезжает в Санкт-Петербург улаживать дела в университете, писать прошение о разрешении на брак.

Именно в эти дни Гумилёв присутствует на очень важном докладе Вячеслава Иванова, который, по сути, стал отправным в их дальнейшем расхождении и привел к созданию Гумилёвым нового литературного течения. Первое чтение доклада состоялось в марте этого же года в московском Обществе свободной эстетики. А 26 марта мэтр читал доклад в Обществе ревнителей художественного слова в Санкт-Петербурге. Назывался он «Заветы символизма». Мэтр провозглашал: «Мысль изреченная есть ложь. Этим парадоксом-при-знанием Тютчев, ненароком обличая символическую природу своей лирики, обнажает и самый корень нового символизма: болезненно пережитое современною душою противоречие — потребности и невозможности „высказать себя“… живой наш язык есть зеркало внешнего эмпирического познания, и его культура выражается усилением логической его стихии, в ущерб энергии чисто символической, или мифологической, соткавшей некогда его нежнейшие природные ткани и ныне единственно могущей восстановить правду „изреченной мысли“. В поэзии Тютчева русский символизм впервые творится, как последовательно применяемый метод, и внутренне определяется, как двойное зрение и потому — потребность другого поэтического языка. В сознании и творчестве одинаково поэт переживает некий дуализм — раздвоение, или, скорее, удвоение, своего духовного лица… Творчество также поделено между миром „внешним“, „дневным“, охватывающим нас в полном блеске своих проявлений, и неразгаданным, ночным миром, пугающим нас, но и влекущим, потому что он — наша собственная сокровенная сущность и, родовое наследье, — миром бестелесным, слышным и незримым. Сотканным, быть может, из дум, освобожденных сном… В поэзии они оба вместе. Мы зовем их ныне Аполлоном и Дионисом, знаем их неслиянность и не-

разделенность и ощущаем в каждом истинном творении искусства их осуществленное двуединство… самое ценное мгновение в переживании и самое вещее в творчестве есть погружение в тот созерцательный экстаз, когда нет преграды между нами и, „обнаженною бездной“, открывающейся — в Молчании… Среди темной „неизмеримости“ открывается в поэте двойное зрение. Как демоны глухонемые, перемигиваются между собою светами Макрокосм и Микрокосм, „Что вверху, то и внизу“…»

Гумилёв слушал Иванова с чувством некоторой растерянности. Он был не согласен с тем, что мистика определяет чувства поэта и лежит в основе всех его творческих полетов. А Иванов, развивая свои идеи, все больше впадал в мистику: «Итак, поэзия должна давать „всезрящий сон“ и „полную славу“ мира, отражая его „двойною бездной“ — внешнего, феноменального, и внутреннего, ноуменального, постижения. Поэт хотел бы иметь другой, особенный язык, чтобы изъяснить это последнее… Слово-символ делается магическим внушением, *приобщающим* слушателя к мистериям поэзии… Символизм в новой поэзии кажется первым и смутным воспоминанием о священном языке жрецов и волхвов, усвоивших некогда словам всенародного языка особенное, таинственное значение, им одним открытое, в силу ведомых им одним соответствий между миром сокровенного и пределами общедоступного опыта… Новое осознание поэзии самими поэтами, как „символизма“, было воспоминанием о стародавнем „языке богов“… Символизм кажется воспоминанием поэзии о ее первоначальных, исконных задачах и средствах. В стихотворении „Поэт и Чернь“ Пушкин изображает Поэта посредником между богами и людьми… Толпа, требующая от Поэта языка земного, утратила или забыла религию и осталась с одною утилитарною моралью. Поэт — всегда религиозен, потому что — всегда поэт… Задачею поэзии была заклинательная магия речи, посредствующей между миром божественных сущностей и человеком…»

Иванов говорил долго, давал историческое обоснование и определение символизма, оценку русского символизма и снова цитировал Федора Тютчева, которого Гумилёв любил, но понимал совсем не так, как Иванов. Упоминал мэтр в своей речи и имена русских символистов Зинаиды Гиппиус, Андрея Белого, Федора Сологуба, Александра Блока, приводил в пример Александра Добролюбова и Дмитрия Мережковского как поэтов, устремившихся к религиозному действию. Обрушился Вячеслав Иванов на поэтов, близких по духу Гумилёву: «„Парнасизм“ имел бы, впрочем, полное, право на существование, если бы не

извращал — слишком часто — природных свойств поэзии. В особенности — лирической: слишком склонен он забывать, что лирика, по природе своей, — вовсе не изобразительное художество, как пластика и живопись. Но — подобно музыке — искусство двигательное, — не созерцательное, а действенное, — и, в конечном счете, не иконотворчество, а жизнетворчество…» В заключение своего доклада мэтр обратился к молодежи напрямую: «…несколько слов к молодым поэтам. В поэзии хорошо все, в чем есть поэтическая душевность. Не нужно желать быть „символистом“; можно только наедине с собой открыть в себе символиста…»

Доклад Вячеслава Иванова «Заветы символизма», прочитанный в Москве и Санкт-Петербурге, лег в основу его статьи с тем же названием и был опубликован в восьмом номере (май-июнь) журнала «Аполлон» за 1910 год. Александр Блок опубликовал в этом же номере журнала свою статью «О современном состоянии русского символизма».

Настоящее обсуждение доклада Вяч. Иванова началось 1 апреля на заседании Общества ревнителей художественного слова. Гумилёв выступил против основных положений доклада. А вообще все выступившие в тот день (Ю. Верховский, С. Городецкий, В. Жирмунский, Н. Недоброво, К. Сюнненберг, В. Гиппиус, А. Кондратьев, А. Терк и сам Маковский) разделились на два лагеря. Против Вячеслава Иванова выступили и живший у него на «башне» Михаил Кузмин, и другой мэтр символизма Валерий Брюсов.

Михаил Кузмин открыто выразил несогласие с «туманными и потусторонними» доводами Вячеслава Иванова: «Есть художники, несущие людям хаос, недоумевающий ужас и расщепление своего духа, а есть другие, — дающие миру свою стройность. Нет особенной надобности говорить, насколько вторые, при равенстве таланта, выше и целительнее первых. По-моему, тут речь идет не о каком-то двойном зрении, не о непостижимых вещах, а об ненужном тумане и акробатском синтаксисе. Все это можно назвать безвкусием». Молодые поэты, в том числе и Гумилёв, поддержали Кузмина, что оскорбило самолюбивого Вячеслава Иванова. Тем не менее он был человеком благородным и не выпроводил своего квартиранта Кузмина из «башни». Он у него прожил до поездки Иванова в 1912 году за границу.

Гумилёв еще не сформулировал основные принципы будущего течения, но от старых принципов, высказанных Вячеславом Ивановым и Александром Блоком, он отказался. Михаил Кузмин уже в апрельском номере «Аполлона» публикует ставшую знаменитой статью «О прекрасной ясности», где четко

формулирует свои разногласия с символизмом. Суть их станет ясна, если прочитать заключительные строки статьи: «…пишите логично, соблюдая чистоту речи, имея свой слог, ясно чувствуйте соответствие данной формы с известным содержанием и приличествующим ей языком, будьте искусным зодчим как в мелочах, так и в целом, будьте понятны в ваших выражениях… в рассказе пусть рассказывается, в драме пусть действуют, лирику сохраните для стихов, любите слово, как Флобер, будьте экономны в средствах и скупы в словах, точны и подлинны, — и вы найдете секрет дивной вещи — *прекрасной ясности* — которую назвал бы я „кларизмом“».

Еще более яростную статью (иначе не назовешь) опубликовал в девятом номере (июль-август) журнала «Аполлон» Валерий Брюсов. Озаглавил он ее вызывающе: «О „речи рабской“. В защиту поэзии». Хотя московский мэтр символизма на докладе Иванова и Блока не был, но публикация их деклараций в восьмом номере «Аполлона» вывела его из равновесия. Валерий Яковлевич писал: «Как большинству людей, и мне кажется полезным, чтобы каждая вещь служила определенной цели. Молотком следует вбивать гвозди, а не писать картины. Из ружья лучше стрелять, чем пить ликеры. Книга поваренная должна учить приготовлению разных снедий. Книга поэзии… Что должна давать нам книга поэзии? Дедушка Крылов предостерегает от таких певцов, главное достоинство которых в том, что они „в рот хмельного не берут“. Вместе с Крыловым, и я от певцов требую прежде всего, чтобы они были хорошими певцами. Как относятся они к хмельным напиткам, право, дело второстепенное. Подобно этому, и от поэтов я прежде всего жду, чтобы они были поэтами. Гг. Вячеслав Иванов и Александр Блок, в своих, взаимно дополняющих одна другую статьях… не разделяют этих моих (сознаюсь, довольно банальных) мнений. Оба они стремятся доказать, что поэт должен быть не поэтом и книга поэзии — книгой не поэзии. Правда, они говорят: „книгой не поэзии, а чего-то высшего, чем поэзия“, „не поэтов, а кем-то высшим, чем поэтов“. Но, вероятно, и Крыловский герой, имевший похвальное нерасположение ко хмельному, уверен был, что его певцы „выше“, чем просто певцы… Изумительно было бы, если бы Вл. Соловьев, при известном его отношении к поэзии, язык „поэтов“, т. е. язык поэзии, назвал „речью рабскою“. Но для А. Блока (и для Вячеслава Иванова?) — это так. Поэзия — „речь рабская“, „обман“, „балаган“. <…> Утешает только то соображение, что теории Вячеслава Иванова и А. Блока не мешали им до сих пор быть истинными художниками. И А. Блок клевещет на себя, когда называет свои позднейшие стихи „рабскими речами“. На наше

счастье, на счастье всех, кому искусство дорого, это настоящая, порою прекрасная поэзия…»

Доклад Александра Блока «О современном состоянии русского символизма», который был позже опубликован в «Аполлоне» и на который обрушился Валерий Брюсов, Николай Гумилёв слушал 8 апреля 1910 года на заседании Общества ревнителей художественного слова.

Гумилёв ответит уходящей символистской школе через год. Он пока только выразил свое несогласие с устаревшими догмами Вячеслава Иванова и Александра Блока устно. Но в седьмом номере «Аполлона» он опубликовал свою первую теоретическую статью о поэзии — «Жизнь стиха», в которой высказал свои взгляды на поэзию: «Крестьянин пашет, каменщик строит, священник молится, и судит судья. Что же делает поэт? Почему легко запоминаемыми стихами не изложит он условий произрастания различных злаков, почему отказывается сочинить новую „Дубинушку“ или обсахаривать горькое лекарство религиозных тезисов? Почему только в минуты малодушия соглашается признать, что чувства добрые он лирой пробуждал? Разве нет места у поэта, все равно, в обществе ли буржуазном, социал-демократическом или общине религиозной? Пусть замолчит Иоанн Дамаскин! Так говорят поборники тезиса „искусство для жизни“. Отсюда — Франсуа Коппе, Сюлли-Прюдом, Некрасов и во многом Андрей Белый. Им возражают защитники „искусства для искусства“… Для нас, принцев Песни, властителей замков грезы, жизнь только средство для полета: чем сильнее танцующий ударяет ногами землю, тем выше он поднимается. Чеканим ли мы свои стихи, как кубки, или пишем неясные, словно пьяные, песенки, мы всегда и прежде всего свободны и вовсе не желаем быть полезными. Отсюда — Эредиа, Верлен, у нас — Майков. Этот спор уже длится много веков, не приводя ни к каким результатам… Нецеломудренность отношения есть и в тезисе „Искусство для жизни“, и в тезисе „Искусство для искусства“. В первом случае искусство низводят до степени проститутки или солдата. Его существование имеет ценность лишь постольку, поскольку оно служит чуждым ему целям. Неудивительно, если у кротких муз глаза становятся мутными и они приобретают дурные манеры. Во втором — искусство изнеживается, становится мучительно лунным…»

«Лунный» оттенок для Гумилёва почти ругательство и, во всяком случае, мистика, колдовство. Поэт хочет обозначить свой путь, который бы не был ни голым реализмом, ни мутным символизмом. Но пока он только нащупывает дорогу и обозначает будущие тропки: «Происхождение отдельных

стихотворений таинственно схоже с происхождением живых организмов. Дума поэта получает толчок из внешнего мира, иногда в незабываемо-яркий миг, иногда смутно, как зачатье во сне, и долго приходится вынашивать зародыш будущего творения, прислушиваясь к робким движениям еще неокрепшей новой жизни. Все действует на ход развития — и косой луч луны, и внезапно услышанная мелодия, и прочитанная книга, и запах цветка. Все определяет ее будущую судьбу. Древние уважали молчащего поэта, как уважают женщину, готовящуюся стать матерью. Наконец, в муках, схожих с муками деторождения (об этом говорит и Тургенев), появляется стихотворение. Благо ему, если в момент его появления поэт не был увлечен какими-нибудь посторонними искусству соображениями, если кроткий, как голубь, он стремился передать уже выношенное, готовое и, мудрый как змей, старался заключить все это в наиболее совершенную форму. Такое стихотворение может жить века, переходя от временного забвения к новой славе, и даже умерев, подобно царю Соломону, долго еще будет внушать священный трепет людям. Такова Илиада… Что же надо, чтобы стихотворение жило, и не в банке со спиртом, как любопытный уродец, не полужизнью больного в креслах, но жизнью полной и могучей, — чтобы оно возбуждало любовь и ненависть, заставляло мир считаться с фактом своего существования? Каким требованиям должно оно удовлетворять? Я ответил бы коротко: всем… Одним словом, стихотворение должно являться слепком прекрасного человеческого тела, этой высшей ступени представляемого совершенства: недаром же люди даже Господа Бога создали по своему образу и подобию… Так искусство, родившись от жизни, снова идет к ней, но не как грошовый поденщик, не как сварливый брюзга, а как равный к равному…» В качестве современных примеров, как он пишет, «живых» стихотворений Гумилёв называет произведения В. Брюсова, И. Анненского, А. Блока и самого Вяч. Иванова. Итак, мэтры Иванов и Блок звали в неведомое, ставили выше всего символ, а Гумилёв говорил о том, что стих — живой организм и он рождается вполне определенно. От этого утверждения до будущего акмеизма оставался уже только шаг…

Известные статьи Гумилёва, создание школы и программные заявления еще впереди. А пока он занят решением главных вопросов: выпуском «Жемчугов» и предстоящей женитьбой.

5 апреля 1910 года Н. Гумилёв подал прошение ректору Санкт-Петербургского университета: «Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить мне вступить в законный брак с дочерью статского советника Анной Андреевной

Горенко». В этот же день, 5 апреля 1910 года, Н. Гумилёв получил свидетельство ректора, разрешающего ему вступить в первый законный брак с А. А. Горенко.

6 апреля 1910 года наконец вышла в свет книга стихотворений Иннокентия Анненского «Кипарисовый ларец», корректурой которой зачиталась невеста Гумилёва. Это было в Брюлловском зале Русского музея. Позже Анна Андреевна призналась, что наконец-то «что-то поняла в поэзии…». Сам Гумилёв тоже высоко ценил поэзию своего учителя и дал ей в рецензии в журнале «Аполлон» наивысшую оценку: «…только теперь, когда поэзия завоевала право быть живой и развиваться, искатели новых путей на своем знамени должны написать имя Анненского, как нашего „завтра“… В его стихах пленяет гармоническое равновесие между образом и формой, равновесие, которое освобождает оба эти элемента, позволяя им стремиться дружно, как двум братьям, к точному воплощению переживания… Над техникой стиха и поэтическим синтаксисом И. Анненский работал долго и упорно и сделал в этой области большие завоевания… Его аллитерации не случайны, рифмы обладают могучей силой внушаемости. Читателям „Аполлона“ известно, что И. Анненский скончался 30 ноября 1909 г. И теперь время сказать, что не только Россия, но и вся Европа потеряла одного из больших поэтов…» По сути, это тоже был ответ Вяч. Иванову и Блоку на их доклады о символизме. Наверное, когда Гумилёв отправился к своей невесте, он повез ей в подарок и «Кипарисовый ларец».

Из стихотворений, написанных Гумилёвым в этот период, в двух он снова обращается к своей невесте: «Ты помнишь дворец великанов…» (1910) и «Это было не раз, это будет не раз…». В первом он вспоминает время их гимназической любви и встреч в Царском Селе у «Турецкой башни» и пишет с автобиографической точностью:

Ты помнишь, у облачных впадин
С тобою нашли мы карниз,
Где звезды, как горсть виноградин,
Стремительно падали вниз?
……
И мы до сих пор не забыли,
Хоть нам и дано забывать,
То время, когда мы любили,
Когда мы умели летать.

Во втором стихотворении Гумилёв описывает любовь-борьбу,

которая у них длилась до конца жизни:

Это было не раз, это будет не раз
В нашей битве глухой и упорной:
Как всегда, от меня ты теперь отреклась,
Завтра, знаю, вернешься покорной…

(«Это было не раз», 1910)

Это стихотворение во многом объясняет многолетнее упорство в ухаживании за Анной Горенко. Видимо, и сама Аня не всегда была непреклонной, она позволяла себя любить, но в решающий момент ее останавливала боязнь потерять личную свободу. Она хотела быть свободной, но, устав от свободы, снова тянулась к кому-нибудь и оказывалась в очередной раз покорной, чтобы потом опять взбунтоваться. Это стихотворение можно назвать поэтическим предсказанием их дальнейшей несложившейся личной жизни. Из стихотворения следует, что за несколько недель до венчания Гумилёв не был ослеплен безумной любовью. Может быть, это пророчество и побуждало Анну бороться за свою независимость, опровергать Гумилёва и потом, когда они стали мужем и женой, а после смерти поэта стать покорной ему навсегда.

Но тогда, в апреле, Гумилёв торопил события. Он ждал необходимых документов из университета, чтобы можно было сделать красивый свадебный подарок своей невесте. И вот 14 апреля студент Н. Гумилёв получает свидетельство канцелярии Императорского Санкт-Петербургского университета: «Предъявитель сего, студент историко-филологического факультета Николай Степанович Гумилёв, с разрешения г. попечителя С.-Петербургского учебного округа, уволен в отпуск за границу сроком по 20 августа сего 1910 года. В удостоверение чего дано сие свидетельство студенту Н. С. Гумилёву для предоставления в канцелярию Киевского губернатора при получении заграничного паспорта».

Через два дня вышла наконец и такая долгожданная книга в издательстве «Скорпион». Это уже была не ученическая проба пера, не экзотическое парижское издание, которое с трудом дошло до России. «Жемчуга» — книга сложившегося поэта, и на ней необходимо остановиться особо. Благодарный ученик украсил издание надписью: «Посвящается моему учителю Валерию Брюсову». Сборник включал четыре раздела: «Жемчуг черный», «Жемчуг серый», «Жемчуг розовый». В четвертый, заключительный раздел «Романтические цветы» поэт включил восемнадцать стихов из предыдущего французского издания.

Наверное, неслучайно «Жемчуга» выстроены в таком порядке: от черного к розовому, от жестокой реально прожитой жизни к серым будням тянущегося «сегодня» и к розовым мечтам «завтра», которые увенчаны «Романтическими цветами». Поэт идет от мрака к свету. Это еще раз доказывает, что, несмотря на присутствие двух главных тем — страдания и смерти, — должны победить любовь и жизнь. Каждому разделу Гумилёв подобрал свой эпиграф. Так, «Жемчуг черный» предваряют строки Альфреда де Виньи из поэмы «Гнев Самсона» (Qu' ils seront beaux les pieds de celui qui viendra / Pour m'annoncer la mort!). «Жемчугу серому» Гумилёв предпослал в качестве эпиграфа слова Брюсова: «Что ж! Пойду в пещеру к верным молотам, / Их взносить над горном жгуче-пламенным, / Опускать их на пылающий металл». Это и есть сегодняшняя работа поэта. Будущее в «Жемчуге розовом» предваряют строки из Вячеслава Иванова: «Что твой знак? — „Прозренье глаза, / Дальность слуха, окрыленье ног“». Последнему, не новому, разделу предпослал поэт эпиграф из Иннокентия Анненского: «И было мукою для них, / Что людям музыкой казалось». Не о любви ли это к Ане Горенко? Вероятно, о ней, ибо, как и французское издание, раздел «Романтические цветы» был посвящен ей.

Итак, «Жемчуг черный» начинается с ключевого стихотворения «Волшебная скрипка» и заканчивается «Сном Адама», обращенным к Анне Андреевне. Раздел начинается со слов «Я спал, и смыла пена белая…» («Одиночество»), Это удивительный сон поэта о его прошлых жизнях.

В стихотворении «Одиночество» (1909) появляется странное на первый взгляд вид*е*ние:

> Я спал, и смыла пена белая
> Меня с родного корабля,
> И в черных водах, помертвелая,
> Открылась мне моя земля.

В пучине вод открывается земля с «рощами, полными мандрагорами», с «цветами ужаса и зла», с «глазами блуждающих пантер». Это остров одиночества, над которым лирический герой воздвиг маяк своей души, который далеко виден, словно «стяг». Но, увы, поэт не нашел пока ответа на свою любовь. Он пишет с чувством горечи:

> …Но ни один стремленья паруса
> Не захотел остановить.
> ……..

И надо мною одиночество
Возносит огненную плеть
За то, что древнее пророчество
Мне суждено преодолеть.

Оставшись один, герой одушевляет мертвый мир природы. Одно из самых прекрасных стихотворений сборника — «Камень» (1908):

Взгляни, как злобно смотрит камень,
В нем щели странно глубоки,
Под мхом мерцает скрытый пламень;
Не думай, то не светляки.

В зачине уже скрыта огромная внутренняя сила. Не так ли и сам Гумилёв, легкоранимый, чуткий, скрывает от чуждого взгляда под маской холодного денди свою страстную страдающую душу? Но есть сладостное чувство возмездия, высшее, как Божий суд, и поэт, как посвященный, знает об этом и верит в отмщение:

Он вышел черный, вышел страшный,
И вот лежит на берегу,
А по ночам ломает башни
И мстит случайному врагу…

Снова, как в «Романтических цветах», жизнь в этих стихах венчается смертью. «Луна плывет», «как круглый щит / Давно убитого героя…». А сам поэт пророчит себе:

Мне сразу в очи хлынет мгла…
На полном, бешеном галопе
Я буду выбит из седла
И покачусь в ночные топи.

(«Одержимый», 1908)

Но уйдет ночное видение, пробудившись от длинного сна, поэт пойдет с душой «измученной нездешним»… на новый жизни поединок:

Ты — дева-воин песен давних.
Тобой гордятся короли,
Твое копье не знает равных

В пределах моря и земли.
……
Я пал, и молнии победней
Сверкнул и в тело впился нож…

(«Поединок», 1909)

Сколько раз поэт хотел покончить жизнь самоубийством, тая в измученной душе надежду, что уж тогда она пожалеет о нем и оценит его любовь:

…Найдешь мой труп окоченелый
И снова склонишься над ним:

«Люблю! О, помни это слово,
Я сохраню его всегда,
Тебя убила я живого,
Но не забуду никогда».

(«Поединок», 1909)

Опять мотивы любви, преодолев смерть героя, побеждают поэта и целиком овладевают его чувствами.

Смерть царит и в другом стихотворении «Жемчуга черного» — «В пустыне» (1908):

Перед смертью все, — Терсит и Гектор,
Равно ничтожны и славны.
Я также выпью сладкий нектар
В полях лазоревой страны…

Выбор поэта велик и суров. В многозначном стихотворении «Выбор» (1908) поэт впервые напророчил свой конец:

Не спасешься от доли кровавой,
Что земным предназначила твердь.
Но, молчи: несравненное право
Самому выбирать свою смерть.

Но об этом позже.

В «Лесном пожаре» (1909) опять видит поэт смерть, и:

Все страшней в ночи бессонной,
Все быстрее дикий бег,

И, огнями ослепленный,
Черной кровью обагренный,
Первым гибнет человек.

Что же это за всесильная смерть, которая царит в «Жемчуге черном»? Неужели ее никто не может победить? Выше смерти у поэта только «царица» любовь. Один ее взгляд повергает в прах убийц:

Толпа рабов ко мне метнулась.
Теснясь, волнуясь и крича,
И ты лениво улыбнулась
Стальной секире палача.

(«Царица», 1909)

В стихотворении «Товарищ» (1909), посвященном В. Ю Эльснеру в прижизненном издании, сюжет опять развивается вокруг образа смерти, вернее, воспоминаний о смертях:

Спутано помню — кровь повсюду,
Душу гнетущий мертвый страх,
Ночь, и героев павших груду,
И труп товарища в волнах.

И в стихотворении «В библиотеке» (1909) Гумилёв видит на страницах старых книг «кровь»:

Так много тайн хранит любовь,
Так мучат старые гробницы!
Мне ясно кажется, что кровь
Пятнает многие страницы.

И терн сопутствует венцу,
И бремя жизни, злое бремя…

Путь поэта в эти годы отмечен острым исканием смысла жизни и оправданием ухода из нее. Он пытается понять, зачем и куда он идет. Жизнь ему кажется «временем игры». В стихотворении «В пути» (1909) он снова перед выбором: покориться или, как в «Пути конквистадоров», взять «правду у Бога / силой огненных мечей». Пусть впереди лег «острый хребет»

с «сумрачным именем „смерть“», но герой не повернет назад, не спасует…

Библейский Адам в стихотворении с одноименным названием у Гумилёва выглядит «униженным», лик его «бледен», взор «бешен» и все из-за того, что:

…Теперь ты знаешь тяжкий труд
И дуновенье смерти грозной…

(1910)

Размышляя о жизни и смерти, о любви и ненависти, Гумилёв приходит к мысли, что ничтожная жизнь тяготит героя. И тогда его выбор предопределен.

В «Жемчуге черном» есть стихотворение «Воин Агамемнона» (1909), где впервые у поэта прорываются монархические нотки:

Что я? Обломок старинных обид,
Дротик, упавший в траву,
Умер водитель народов, Атрид, —
Я же, ничтожный, живу.

Манит прозрачность глубоких озер,
Смотрит с укором заря.
Тягостен, тягостен этот позор —
Жить, потерявши царя!

Книга «Жемчуга» вышла в 1910 году. Но Гумилёв не побоялся в 1918 году напечатать «Воина…» во втором издании «Жемчугов» в большевистском Петрограде. Тогда это пророчество 1910 года прозвучало как вызов «красным бандитам».

Казалось бы, незамысловат сюжет безупречно сделанного стихотворения «Варвары» (1908). В побежденный город входят варвары Севера. Такое бывало много раз в античной истории. Да и сам Рим пал под напором варваров — германских племен. Никто не в силах остановить эту текущую лаву смерти. Но у Гумилёва по-другому. Царица, явив «женское величье», останавливает неминуемый рок.

Было ли так в действительности или не было? Для поэта неважно. Хотя он знал, что, например, Александр Македонский после победы над персидским царем сказал его жене: «Нет, я не обижу тебя, как сделал бы любой завоеватель. Я благородный человек!» Это было близко натуре рыцаря, поэта-романтика

Гумилёва, поэтому… «хмурый начальник сдержал опененную лошадь, / С надменной усмешкой войска повернул он на Север».

Одиночество поэта заставляет его переосмысливать прожитое. И минорное настроение побеждает:

За все теперь настало время мести,
Мой лживый, нежный храм слепцы разрушат
И думы, воры в тишине предместий,
Как нищего во мгле, меня задушат.

(«В мой мозг, в мой гордый мозг собрались думы…», до 16 апр. 1910)

Он понимает, что жизнь человека — это жалкая игра под присмотром восседающего на престоле Всевышнего. В стихотворении «Театр» (1910) Гумилёв провозглашает:

Все мы, святые и воры,
Из алтаря и острога,
Все мы — смешные актеры
В театре Господа Бога.

Его Дон Жуан страдает совсем «нетипичными» для этого вечного образа муками:

И лишь когда средь оргии победной
Я вдруг опомнюсь, как лунатик бледный.
Испуганный в тиши своих путей,
Я вспомню, что, ненужный атом,
Я не имел от женщины детей
И никогда не звал мужчину братом…

(«Дон Жуан», до 16 апр. 1910)

Это написал не умудренный опытом муж, а двадцатичетырехлетний поэт, не имевший еще своей семьи, детей.

«Жемчуг черный» — книга, населенная экзотическими образами и диковинными животными и сюжетами, ничего общего не имеющими с Россией того времени, ностальгическое настроение пронизывает строки этих стихов.

Дальше поэт идет в «Жемчуг серый» реальной жизни. Здесь тоже любовь и смерть, разлука и печали, но значительно усиливаются жизнеутверждающие мотивы. Они звучат уже в

трагическом «Возвращении Одиссея» (1909). Когда Гумилёв писал это стихотворение, он был в разлуке с Аней Горенко. И он бросает стрелу в грудь тех, кто уводил тогда Анну.

Утверждение любви через отмщение и смерть. Любви достоин сильнейший — вот главная мысль этого стихотворения.

В этом цикле тоже присутствует тема смерти, но совсем в другом преломлении. «Завещание» поэта звучит как вызов христианству — он просит сжечь его по языческому обычаю:

…Молодые и строгие маги
Кипарисовый сложат костер.

И покорно, склоняясь, положат
На него мой закутанный труп,
Чтоб смотрел я с последнего ложа
С затаенной усмешкою губ.

И пока к пустоте или раю
Необорный не бросит меня,
Я еще один раз отпылаю
Упоительной жизнью огня.

(1908)

Но это — не ницшеанский вызов юноши-поэта, как в «Пути конквистадоров». Он жаждет быть источником света, а не мрака. Отсюда — огонь.

В стихотворении «Озера» (1908) Гумилёв признается: «Я счастье разбил с торжеством святотатца». И чем же он его заменил?

Проснусь, и как прежде уверены губы.
Далеко и чуждо ночное,
И так по-земному прекрасны и грубы
Минуты труда и покоя.

Если в «Пути конквистадоров» Гумилёв провозглашает себя конквистадором, который «…весело преследует звезду», то теперь он идет следом за состарившимся конквистадором («Старый конквистадор», 1908), который смерть встречает достойно и спокойно, как подобает рыцарю.

И в «Жемчуге сером» еще слышно дыхание смерти. Но здесь смерть — это повод для размышления о жизни.

Смерть? Но сперва эту сказку поэта
Взвесь осторожно и мудро исчисли, —
Жалко не будет ни жизни, ни света,
Но пожалеешь о царственной мысли, —

пишет он в стихотворении «Правый путь» (1908). Да и сама смерть, как в «Орле» (1909), прекрасна бессмертием:

Он умер, да! Но он не мог упасть,
Войдя в круги планетного движенья.
Бездонная внизу зияла пасть,
Но были слабы силы притяженья.

В «Орле», где наряду с формой тщательно разрабатывается содержание, выражена и поэтическая формула кодекса чести по Гумилёву: герой выше смерти, подвиг его достоин вечной славы.

Рай, по мнению Гумилёва, выглядит не так, как представляют это себе люди. Это уже не светлая лестница на небеса, какой была в его рассказе о Кавальканти («Ворота Рая», 1908):

Это дверь в стене, давно заброшенной,
Камни, мох, и больше ничего,
Возле — нищий, словно гость непрошеный,
И ключи у пояса его.

Мимо едут рыцари и латники,
Трубный вой, бряцанье серебра,
И никто не взглянет на привратника,
Светлого апостола Петра.

Нищий апостол Петр — этот образ оказался в современной поэзии новым и дерзким. Так же дерзко и стихотворение Гумилёва «Колдунья», где поэт приписывает колдунье силу вершительницы судеб.

Обращаясь к своему сердцу (стихотворение «Рощи пальм и заросли алоэ…», 1908), поэт восклицает:

Разве снова хочешь ты отравы.
Хочешь биться в огненном бреду,
Разве ты не властно жить, как травы,
В этом упоительном саду?

Увы, гумилёвское сердце не смогло жить, как травы.

Может быть, эхом разочарования звучит и другое стихотворение поэта «Он поклялся в строгом храме…» (1910). Лирический герой поклялся в храме перед статуей Мадонны быть верным даме, «чьи взоры непреклонны». И после того как не выполнил обещания и был ночью зарезан в драке, он, придя к воротам рая, оправдывается:

…Я нигде не встретил дамы,
Той, чьи взоры непреклонны.

Признанной вершиной цикла «Жемчуг серый» является стихотворение «Капитаны» (1908):

Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса, —
Ни один пред грозой не трепещет.
Ни один не свернет паруса.

В этой стремительной дерзости, храбрости — весь Гумилёв, штурмующий поэтический Парнас и отправляющийся в абиссинские дебри, чтобы изведать неведомое и испытать себя.

Последняя глава книги — «Жемчуг розовый» — символично начинается стихотворением «Рыцарь с цепью» (1908). Гумилёв и в жизни чувствует себя рыцарем, но его тяготит, как цепи, унылая обыденность серой жизни. И тем не менее он рыцарь наперекор современности:

Слышу гул и завыванье призывающих рогов,
И я снова конквистадор, покоритель городов.

Словно раб, я был закован, жил, униженный, в плену
И забыл, неблагодарный, про могучую весну.

В душе поэта царит весна, и мажорный настрой высвечивает грани «Жемчуга розового», делая всю книгу подобной айсбергу со светлой солнечной вершиной:

Я один остался на воздухе
Смотреть на сонную заводь,
Где днем так отрадно плавать,

А вечером плакать,
Потому что я люблю тебя. Господи.

(«Заводи», 1908)

Любовь правит «Жемчугом розовым».

Даже Христос в одноименном стихотворении идет у Гумилёва в этом разделе «путем жемчужным», и за ним уходят пастух и рыбарь «блюсти иную паству / И иные невода».

Прообразом будущего есенинского имажинизма («Изба-старуха челюстью порога / Жует пахучий мякиш тишины…») можно считать образную систему стихотворения Гумилёва «Сказочное» (1910):

Ярче золота вспыхнули дни,
И бежала медведица-ночь,
Догони ее, князь, догони.
Зааркань и к седлу приторочь.

В весеннюю тональность главы не вписывается стихотворение «Мне снилось: мы умерли оба…» (1907). Но оно — из тех времен, когда Анна Горенко мучила его своими отказами и когда одна смерть могла дать покой.

Тут же, в другом стихотворении «Покорность», он говорит, что только влюбленный достоин ступать по весенним лугам.

В стихотворении «Свидание» (1909) снова царит она, «дева луны»:

И, околдованный луной,
Окованный тобой,
Я буду счастлив тишиной,
И мраком, и судьбой.

Хотя заключил он этот раздел стихотворением «Северный Раджа», где звучат уверенные нотки надежды на близкое счастье:

И та, которую люблю,
Придет застенчиво и томно,
Она близка… теперь я сплю,
И хорошо, у грезы темной.

Я уверен в одном: понять книгу «Жемчуга» невозможно, если

не знать историю взаимоотношений в то время поэта и колдуньи, Гумилёва и Горенко.

«Жемчуга» вызвали много самых разных откликов. Так, например, некто Е. Янтарев (настоящее имя Ефим Львович Бернштейн) сводил личные счеты с поэтом. В «Аполлоне» Гумилёв раскритиковал его книгу, отметив, что «…если стихи Зинаиды Гиппиус, тоже часто написанные без красок, образов и подвижного ритма, напоминают больную жемчужину, то стихи Е. Янтарева напоминают мокрые сумерки, увиденные сквозь непротертое стекло, или липкую белесую паутину за разорванными обоями, там в тараканьем углу». Янтарев, журналист и издатель «Московской газеты», не остался в долгу и в газете «Столичная молва» от 24 мая 1910 года (№ 123) под инициалами Е. Я. написал: «…Все, что есть ходячего, захватанного, стократно пережеванного в приемах современного стиходелания; все г. Гумилёвым с рабской добросовестностью использовано. Раз навсегда решив, что нет пророка кроме Брюсова, г. Гумилёв с самодовольной упоенностью, достойной лучшего применения, слепо идет за ним. И то, что у Брюсова поистине прекрасно и величаво, под резцом Гумилёва делается смешным, ничтожным и жалким…»

В Киеве ему вторил «врач-марксист»[15] Лев Наумович Войтоловский в газете «Киевская мысль» (1910. 11 июля. № 189): «Все решительно таинства постиг, очевидно, Н. Гумилёв. Маги, кудесники и чародеи, зелья и наговоры, „немыслимые травы“ и „нездешние слова“ так и кишат в его стихах. Одному лишь таинству он не сумел научиться — таинству неподдельной поэзии. Вся книга стихов так и названа „Жемчугами“… и должен с прискорбием засвидетельствовать, что эти камни — фальшивые… В общем, по произведенному мною утомительному, но полезному подсчету, на страницах „Жемчугов“ г. Гумилёва фигурируют 6 стай здоровых собак и две стаи бешеных, одна стая бешеных волков, несколько волков одиночек, 4 буйвола, 8 пантер (не считая двух, нарисованных на обложке), 3 слона, 4 кондора, несколько „рыжих тюленей“, 5 барсов, 1 верблюд, 1 носорог, 2 антилопы, лань, фламинго, 10 павлинов, 4 попугая (из них один — антильский), несколько мустангов, медведь с медведицей, дракон, 3 тигра, росомаха и множество мелкой пернатой твари. Полагаю, что при таком неисчерпаемом обилии всех представителей животного царства, книге стихов г. Гумилёва правильнее было бы именоваться не „Жемчуга“, а „Зверинец“, бояться которого, конечно, не следует, ибо и звери, и птицы — все, от пантеры до последней пичужки — сделаны автором из

раскрашенного картона. И это, по-моему, безопаснее. Ибо за поддельных зверей и ответственности никакой не несешь. Совсем не то, что за фальшивые камни, особенно если питаешь тенденцию выдать их за настоящие „Жемчуга“…»

В газете «Против течения» (1910, 8 декабря), скрывшись под псевдонимом Василий Гиппиус-Росмер, «Жемчуга» подверг критике Сергей Городецкий: «…Наше время воскресило культ формы. Ставшее банальным наследие недавней старины предано насмешке, властителями опять возглашены гении давнего прошлого. Бесконечно изощрены рифмы и размеры. Пишутся специальные исследования о лирическом ритме. Что же открылось на этих новых путях? За яркостью формы — пустота души, которой нечего сказать. За пестрыми обложками стихотворных сборников — вялость и бедность, бескровная изысканность, утонченность, без тонкости. За пестрой обложкой книги Н. Гумилёва больше 150 страниц стихов. Здесь и античность, и средневековье, и Азия, и Африка, и раджи. И маги, и маркизы, и конквистадоры, и больше 60 разных зоологических названий: тропический полдень — полярный холод — легенда — сказка, но увы! Это внешняя необычайность. Под каждой расцвеченной личиной — слишком обычное лицо равнодушного эстета…»

Конечно, такое формалистски-бездушное отношение к книге молодого поэта свидетельствует об уровне тех, кто так ничего и не понял, прочитав глубоко лирическую книгу «Жемчуга». Но были и те, кто оценил высокие замыслы автора.

Так, Сергей Ауслендер в газете «Русь» (1910, 5 июля) писал: «…Опровергая ходячие упреки в мертвенном академизме, который будто бы заедает души тех молодых поэтов, которые полагают, что мало одной талантливости, одного порыва, что совершенство формы не менее важно, чем значительность содержания, опровергая эти упреки, продиктованные часто просто самоуверенной невежественностью, книга Гумилёва не является упражнениями в стихосложении талантливого и прилежного ученика. „Жемчуга“ — уже книга поэта. Юношеское целомудрие, скромность ученика, быть может, не всегда позволяют Гумилёву быть вполне свободным, все последние тайны души отдавать своим строкам. Этот молодой рыцарь является на турнир еще с лицом, закрытым забралом. Поэтому-то так старательно каждую мысль, каждое переживание окутывает он точными описаниями пыльных картин веков прошедших, стран далеких, фантастических, к которым постоянно влечется его воображение романтика. Поэтому-то в поэзии Гумилёва так резко звучат лирические признания поэта и почти каждое стихотворение

представляет как бы маленькую поэму, в которой с брюсовской четкостью и строгой логичностью ведется стройное повествование… может быть, влияние Брюсова, которого так часто привлекают темы „жестоких людей“, сказалось в самом сознании его, но такова воля поэта и, благодаря ей, „Жемчуга“ приобретают целостность и стройность единого центрального замысла, который должен быть у всякой истинной книги поэта».

Георгий Чулков под псевдонимом Б. Кремнев написал в «Новом журнале для всех»: «Иные мэтры влияют на судьбу молодых поэтов своим непосредственным вдохновением, обаянием своего лиризма: они как бы тайно вручают своим ученикам талисман, чарующий сердце. Иные мэтры создают школы, открывая последователям особый художественный метод, технику, систему… Таинственное влияние первых иногда значительно, но не всегда плодотворно; влияние вторых не всегда значительно, но зато почти всегда полезно, как полезна деятельность старого и умного педагога. К этим последним относится Валерий Брюсов, который сумел научить своих последователей изящной точности стиля и крепкому и тугому ямбическому стиху, которому он сам учился у Пушкина и Баратынского. Среди учеников Брюсова выделяется даровитый Н. Гумилёв. Он не хуже мэтра умеет пользоваться сокровищами пушкинской речи и украшать свой стих жемчугами метафор во вкусе изысканного парнасца. Если стих Гумилёва не мелодичен и не певуч, как скрипка, зато в нем есть ясная звучность. Трубы герольда, воина и охотника… Природа и форма стихов молодого поэта соответствует темам и мотивам его творчества. Гумилёв не умеет петь свирелью о любви печальной и увядающей, о тайной боли сердца или об ужасе ночного хаоса: поэт всегда увлечен мечтами рыцаря или капитана, „открывателя новых земель“… В стихах Гумилёва есть прелесть романтизма, но не того романтизма, которым чарует нас Новалис или Блок с их магической влюбленностью в Прекрасную Даму, а того молодого, воинствующего, бряцающего романтизма, который зовет нас в страны, „где, дробясь, пылают блики солнца“».

Но, конечно, для Николая Гумилёва главным было то, как восприняли книгу мэтры символизма Вячеслав Иванов и Валерий Брюсов.

Вячеслав Иванов откликнулся на выход книги в седьмом номере «Аполлона»: «Подражатель не нужен мастеру; но его радует ученик. Независимого таланта требует от ученика большой мастер, и на такой талант налагает послушание: в свободном послушании мужает сила. Н. Гумилёв не напрасно называет Валерия Брюсова своим учителем: он — ученик, какого

мастер не признать не может; и он — еще ученик. Он восхищается приемами наставника и его позой; стремится воспроизвести выпуклый чекан его речи, его величавый лирический и лироэпический строй, перенимает его пафос и темы; порой полусознательно передумывает его любимые думы… весь экзотический романтизм молодого учителя расцветает в видениях юного ученика, порой преувеличенный до бутафории и еще подчеркнутый шумихой экзотических имен. И только острота надменных искусов жизни реальной, жадное вглядывание в загадку обставившего личность бытия и в лик бытия нарастающего, упорное пытание смысла явлений, ревниво затаивших свою безмолвную душу, блаженство и пытка еще не остывших, только что выстраданных „мигов“, гнев живого на живых и страстные отклики испытателя судеб и воль на судьбы народа и города, земли и ближайшего своего соседа по одиночной камере воплощенной жизни, наконец-то запечатленное опытом и в душе установившееся чувствование, что поэт подлинно несет какую-то „весть“ и что он — один из „мудрецов“, т. е. воистину что-то познавших, и потому „хранителей тайны и веры“, — все это, что в изобилии есть у Брюсова и его определяет как ставшего и совершившегося, при всей незавершенности его окончательного лика и поэтического подвига, — еще не сказалось, не осуществилось в творчестве Н. Гумилёва. Но лишь намечается в возможностях и намеках. И поскольку наметилось — обещает быть существенно иным, чем у того, кто был его наставником в каноне формальном и Вергилием его романтических грез, кто учил его рядить Сказку в Армидин панцирь из литого серебра и переплавлять брызги золотых Пактонов восторга в тяжелые кубки с изощренной резьбой во вкусе элегантной пластики Парнаса… Н. Гумилёв подчас хмелеет мечтой веселее и беспечнее, чем Брюсов, трезвый в самом упоении — ибо никогда не утоленный — и в самом эффекте исступления сознательно решающийся и дерзающий — ибо непрестанно испытующий мыслию и волею судьбу и Бога… Еще Гумилёв-поэт похож на принца своей — впрочем, давно уже написанной — „Неоромантической сказки“, отправляющегося из своей „Залы Гордых Восклицаний“ (как забавно точно!) в химерические пустыни „Страдания“ на охоту за людоедами, которых легко пленяет при помощи зелий и наговоров какого-то домашнего духа, замкового дворецкого; после чего людоед, притащенный на аркане, заключается в башню и вскоре оказывается ручным… Поистине из стольких схваток и приключений вышел с честью юный оруженосец, которого рыцарь посылал на ответственные и самостоятельные предприятия, что

кажется заслуживающим принять от него ритуальный удар мечом по плечу, обязывающий к началу нового и уже независимого служения. Романтически-мучительный период ученичества Н. Гумилёва характеризуется решительным преобладанием в его поэзии эпического элемента над лирическим…»

Вячеслав Иванов посчитал Гумилёва хоть и талантливым, но еще учеником. А как отнесся к книге его учитель Брюсов? Отказавшись писать рецензию для «Аполлона», он опубликовал свои заметки о книге в седьмом номере журнала «Русская мысль», где отметил: «…страна Н. Гумилёва это — какой-то остров, где-то за „водоворотами“ и „клокочущими пенами“ океана… Герои Н. Гумилёва — это или какие-то темные рыцари, в гербе которых „багряные цветы“ и которых даже женщины той страны называют „странными паладинами“. Или старые конквистадоры, заблудившиеся в неизведанных цепях гор, или капитаны, „открыватели новых земель“… или, наконец, просто бродяги по пустыне смерти, соперничающие с Гераклом… И удивительные совершаются в этом мире события среди этих удивительных героев… Гумилёв медленно, но уверенно идет к полному мастерству в области формы. Почти все его стихотворения написаны прекрасно, обдуманными и утонченно звучащими стихами. Н. Гумилёв не создал никакой новой манеры письма, но, заимствовав приемы стихотворной техники у своих предшественников, он сумел их усовершенствовать, развить, углубить, что, быть может, надо признать даже большей заслугой, чем искание новых форм, слишком часто ведущее к плачевным неудачам».

Гумилёв до и после выхода «Жемчугов» — это два разных человека. Первый — ученик, проситель, жаждущий познания тайн поэзии, стремящийся приобщиться к литературной богеме. Второй — поэт, путешественник, понимающий цену своему слову и умеющий ценить других поэтов. Теперь цепи ученика его будут тяготить.

В апреле 1910 года, получив несколько первых экземпляров своих «Жемчугов», Николай Степанович отправился к той, чьим дыханием были наполнены стихи этого сборника.

За то время, что Николай Степанович не видел свою невесту, в ее жизни мало что изменилось. Она продолжала учиться на курсах. 13 марта Анна Андреевна заполняет карточку расписания занятий на весенний семестр 1910 года, отметив те лекции, которые она собирается посещать. Свадьба должна состояться, как только Николай выправит все документы в университете.

В семье самой Анны Андреевны сообщение о том, что она

собралась в очередной раз замуж, восприняли с прохладцей. Мать уже не верила дочери и даже иронизировала над ней. В рабочей тетради Ахматовой находим запись, относящуюся к этому периоду: «Бесконечное жениховство Н. С. и мои столь же бесконечные отказы, наконец, утомили даже мою кроткую маму, и она сказала мне с упреком: „Невеста неневестная“, что показалось мне кощунством». Конечно, у матери упоминание Богородицы вырвалось в порыве. Но, видимо, и она устала от непостоянства Анны.

В тот год Анна зачитывалась романами Кнута Гамсуна «Виктория» и «Пан», много читала Шекспира. Написала два стихотворения, которые озаглавила «Читая Гамлета». Свободное время она проводила в театральном кружке художницы Александры Экстер, жившей на Университетской улице, 6. Александра предложила написать ее портрет, Анна не отказалась. В 1910 году Анна Андреевна напишет стихотворение, которое так и назовет «Старый портрет», где будут слова, явно обращенные к Гумилёву:

И для кого твои жуткие губы
Стали смертельной отравой?
Негр за тобою, нарядный и грубый,
Смотрит лукаво.

20 апреля совершенно неожиданно для Анны в Киеве появляется Николай Степанович. Он счастлив. Душу его переполняет восторг ощущения приближающейся новой жизни. Он рад видеть свою невесту и подписывает ей «Романтические цветы». В книжке — посвящение: «Моей прелестной царице и невесте как предсвадебный подарок предлагаю эту книгу. Н. Гумилёв». Он готов подарить ей весь мир. Он слушает ее новые стихи. Советует ей писать баллады и дарит ей свою «Балладу» («Влюбленные, чья грусть как облака…»). Николай Степанович и Анна Андреевна обговаривают свое будущее совместное житье. Он спрашивает будущую жену, будет ли она отпускать его на охоту или в дальние путешествия, и она с готовностью соглашается. Потом она признается писательнице Наталье Ильиной: «Страсть была к путешествиям. И я обещала, что никогда не помешаю ему уехать, куда он захочет. Еще до того, как мы поженились, обещала. Заговорили об одном нашем друге, которого жена не пускала на охоту. Николай Степанович спросил: „А ты бы меня пускала?“ — „Куда хочешь, когда хочешь!“»

21 апреля счастливый жених пишет своему учителю Валерию

Брюсову: «…Пишу Вам, как Вы можете видеть по штемпелю, из Киева, куда я приехал, чтобы жениться. Женюсь я на А. А. Горенко, которой посвящены „Романтические цветы“. Свадьба будет, наверное, в воскресенье и мы тотчас уезжаем в Париж. К июлю вернемся и будем жить по моему старому адресу. „Жемчуга“ вышли. Вячеслав Иванович в своей рецензии о них в „Аполлоне“, называя меня Вашим оруженосцем, говорит, что этой книгой я заслужил от Вас ритуальный удар меча по плечу, посвящающий меня в рыцари. И дальше пишет, что моя новая деятельность ознаменуется разделением во мне воды и суши, причем эпическая сторона моего творчества станет чистым эпосом, а лиризм — чистой лирикой. Не знаю, сочтете ли Вы меня достойным посвящения в рыцари, но мне было бы очень важно услышать от Вас несколько напутственных слов, так как „Жемчугами“ заканчивается большой цикл моих переживаний и теперь я весь устремлен к иному, новому. Какое будет это новое, мне пока не ясно, но мне кажется, что это не тот путь, по которому меня посылает Вячеслав Иванович. Мне верится, что можно еще многое сделать, не бросая лиро-эпического метода, но только перейдя от тем личных к темам общечеловеческим, пусть стихийным, но под условием всегда чувствовать под своими ногами твердую почву. Но я повторяю, что мне это пока не ясно и жду от Вас какого-нибудь указания, намека, которого я, может быть, сразу не пойму, но который встанет в моем сознании, когда нужно. Так бывало не раз, и я знаю, что всем, чего я достиг, я обязан Вам. Как надпись на Вашем экземпляре „Жемчугов“, я взял две строки из Вашего „Дедала и Икара“. Продолжая сравнение, я скажу, что исполняю завет Дедала, когда он говорит:

Мой сын, лети за мною следом
И верь в мой зрелый, зоркий ум…

Но я хочу погибнуть как Икар, потому что белые Кумы поэзии мне дороже всего. Простите, что я так самовольно и без всякого на это права навязался к Вам в Икары. Не присылаю теперь моего адреса, потому что сам его еще не знаю. Из Парижа напишу опять, тогда уж с адресом. Может быть, Вы захотите мне там поручить что-нибудь сделать. Искренне преданный Вам Н. Гумилёв».

Интересно, что в это время Анна Андреевна жила на Тарасовской улице в доме на первом этаже, а не с матерью[16]. Именно оттуда, по ее воспоминаниям, она и вышла замуж.

Теперь для того, чтобы обвенчаться, молодым осталось найти свидетелей. Первым, кого вспомнил Николай Степанович, был киевский поэт Владимир Эльснер. Исследователь творчества

Анны Ахматовой Евдокия Ольшанская в статье «Анна Ахматова в Киеве» писала: «Как сообщила автору этой статьи вдова поэта Бенедикта Лившица Екатерина Константиновна Лившиц, поэт Владимир Эльснер рассказывал ей, что познакомился с Николаем Гумилёвым в Киеве в студии А. А. Экстер, в 1909 году. В апреле 1910 года Гумилёв, приехавший в Киев, неожиданно попросил его и киевского поэта Ивана Аксенова быть шаферами на свадьбе. Он также рассказывал, что на свадьбе не было родственников и друзей Анны Андреевны, что это было чуть ли не тайное венчание: Анна Андреевна выехала из дому в своей обычной одежде, а где-то недалеко от церкви переоделась в подвенечный наряд…» Конечно, в этих мемуарах не все соответствует действительности, логика хромает. Анна Андреевна, как известно, жила отдельно от матери. Мать ее не только не препятствовала браку дочери, но и всячески подталкивала Анну к свадьбе. К чему было играть в таинственное переодевание в дороге, когда невеста могла надеть подвенечное платье дома? Но почему на венчании не было родителей Анны Андреевны? Наверное, потому, что Инна Эразмовна знала о трауре в семье Николая Степановича и, как верующий человек, была смущена этим обстоятельством. К тому же ее вероятно смущало и отсутствие матери Гумилёва. Выходило, что брак совершается без родительского благословения. Из-за траура в семье Гумилёва по обоюдному согласию жениха и невесты свадьбу решили отпраздновать скромно. Для венчания выбрали небольшую деревянную церковь села Никольская слободка[17]. Церковь была посвящена святому Николаю Чудотворцу (покровителю Николая Гумилёва) и находилась в районе современной Дарницы на другом берегу Днепра. Церковь была хоть и маленькой, но по-домашнему уютной: иконы висели в обрамлении вышитых рушников.

Наконец все формальности остались позади, и жених с невестой в окружении шаферов входят в церковь, начинается служба. Можно понять состояние Гумилёва, который шел к этому столько лет! А что пережила невеста? Об этом читаем в воспоминаниях ее лучшей подруги Валерии Тюльпановой: «… вдруг в одно прекрасное утро я получила известие об их свадьбе. Меня это удивило. Вскоре приехала Аня. Она сразу пришла ко мне. Как-то мельком сказала о своем браке, и мне показалось, что ничто в ней не изменилось, и даже нет какого-то часто встречающегося у новобрачных желания поговорить о своей судьбе… как будто это событие не может иметь ни для нее — ни для меня — какого бы то ни было значения. Мы много и долго говорили на разные темы, она читала стихи, — гораздо более

женские и глубокие, чем раньше, — в которых я не нашла образа Коли, — как вообще в последующей ее лирике, где скупо и мимолетно можно найти намеки на ее мужа, — в отличие от лирики Гумилёва, где властно и неотступно, до самых последних дней его жизни, маячит образ его жены, сквозь все его увлечения и разнообразные темы. То русалка, то колдунья, то просто женщина, таящая „злое торжество“:

И тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

(„У камина“, 1910)

…Конечно, они оба были слишком свободными и большими людьми для пары воркующих „сизых голубков“… Их отношения были скорее тайным единоборством — с ее стороны для самоутверждения как свободной женщины, с его стороны — с желанием не поддаться никаким колдовским чарам и остаться самим собой, независимым и властным, увы, без власти над этой вечно ускользающей от него многообразной и не подчиняющейся никому женщиной… Думаю, что причины для такого поворота дела были скука и отдаление от привычки к Петербургу и поэтическому окружению, внутреннее сознание необходимости смены жизни, отсутствие более значительной любви, обыкновенная отзывчивость очень молодой женской души на сильное настойчивое мужское чувство…»

Есть косвенное подтверждение тому, что Анна Горенко восприняла свое венчание довольно равнодушно. Это запись ее впечатлений от этого дня: «25 апреля 1910 года я вышла замуж за Н. С. Гумилёва. Венчались мы за Днепром в деревянной церкви. В тот же день Уточкин летел над Киевом, и я впервые видела самолет. Шаферами были Вл. Эльснер и И. А. Аксенов». И все! Уточкин, шаферы, все что угодно, но ни одного слова о том, что же она испытала, став женой поэта Николая Гумилёва. Да и важно ли это было для нее? Главное — став законной супругой, она могла уехать из надоевшего ей губернского города. Ее манили Северная столица, возвращение в столичный мир, которого она была лишена многие годы. Наверное, за все его злоключения она действительно хотела сделать его счастливым, хотела понять и стать близким ему человеком.

После венчания Анна Андреевна попросила мужа, чтобы он не носил цилиндр, и Николай Степанович дал ей слово и сдержал его. В свою очередь он решил доказать ей, что ценит ее независимость и желает, чтобы и после свадьбы она не чувствовала себя стесненной. Ирина Одоевцева вспоминала его

слова: «Когда я женился на Анне Андреевне (он почти всегда называл Ахматову Анна Андреевна, а не Аня), я выдал ей личный вид на жительство и положил в банк на ее имя две тысячи рублей… Я хотел, чтобы она чувствовала себя независимой и вполне обеспеченной».

Гумилёв подарил молодой жене новую книгу «Жемчуга», сделав на ней символическую надпись: «Кесарю — кесарево». По обоюдному согласию они договорились уничтожить все письма, которые написали друг другу до свадьбы.

На несколько дней молодые остались в Киеве. Аня начала приглядываться к своему мужу и была приятно удивлена. Теперь, когда им не надо было (хотя бы на первых порах) ничего друг другу доказывать и ни в чем убеждать, она вдруг обнаружила, что Николай простой и добрый человек, от его былой чопорности, которую иногда принимали за высокомерие, не осталось и следа. Анна Андреевна увидела всю детскость его души.

Молодые стали готовиться к свадебному путешествию, а тем временем 30 апреля 1910 года в Санкт-Петербурге было наконец закончено дело о дуэли Гумилёва и Волошина. Молодой жене неприятна была эта история. Виновницей ее она справедливо считала Дмитриеву и позже писала об этом: «Лизавета Ивановна Дмитриева все же чего-то не рассчитала. Ей казалось, что дуэль двух поэтов из-за нее сделает ее модной петербургской дамой и обеспечит почетное место в литературных кругах столицы, но ей почему-то пришлось почти навсегда уехать (она возникла в 1922 году из Ростова с группой молодежи…). Она написала мне надрывное письмо и пламенные стихи Николаю Степановичу. Из нашей встречи ничего не вышло. <…> Какой, между прочим, вздор, что весь Аполлон был влюблен в Черубину? Кто? — Кузмин, Зноско-Боровский? И откуда этот образ скромной учительницы — Дмитриева побывала уже в Париже, блистала в Коктебеле, дружила с Марго (Сабашниковой), занималась провансальской поэзией, а потом стала теософской богородицей. А вот стихи Анненского, чтобы напечатать ее, Маковский действительно выбросил из первого номера, что и ускорило смерть Иннокентия Федоровича…»

Глава X ПАРИЖ НА ДВОИХ

2 мая 1910 года молодожены Гумилёвы покинули губернский город Киев и отправились в свадебное путешествие на поезде через Варшаву в город мечты любого образованного человека — Париж, один из древнейших городов Европы, само название которого звучало для молодой женщины, как музыка первой любви. Да! Она ехала открывать, как ей казалось, сказочно удивительный мир французской столицы. Гумилёв чего только не обещал ей там показать!

Николай Степанович Париж изучил достаточно хорошо и мог ориентироваться в нем с закрытыми глазами. Скучал ли он по нему с тех пор, как два года назад покинул его? Наверное, ему не раз снились и уютные кафе Латинского квартала, и Булонский лес, и музеи древностей, и Ботанический сад, и бесконечные набережные, гуляя по которым можно было увидеть все достопримечательности древней столицы. Он пережил здесь и радость вдохновенной новизны, и мрак одиночества. Так много страданий осталось за столиками ночных кафе и ресторанов. Если «финансы начинали петь романсы», Николай отправлялся в ресторан типа «Буи-Буи», где всего лишь за один франк можно было получить не только обед, но и полбутылки вина. Правда, об этом ресторане говорили, что там «суп более похож на помои; вместо зайца вам подадут фрикасе из кошки, а вино, так называемое petit-lleu — синенькое, может с успехом заменить красильную жидкость». Если приходил денежный перевод из России, он шел в дорогие рестораны типа a la carte (высшего класса), где только стол обходился в десять франков в день без вина и закуски.

Теперь он хотел переписать заново свои душевные ощущения тех ушедших смутных лет. И все вроде бы складывалось у них хорошо.

На вокзале Гумилёв заказал двухместный экипаж за полтора франка.

Первым делом они отправились туда, где жил Николай в прошлый свой приезд и хорошо знал находящиеся там гостиницы. Экипаж поехал на бульвар Сен-Жермен, неподалеку от которого на бульваре Бонапарта, 10 располагалась приличная гостиница. Рядом были Сена, Латинский квартал, башня Эйфеля, знаменитый Монпарнас, Люксембургский парк, собор Нотр-Дам и с другой стороны Сены — его любимый Ботанический сад и не менее знаменитый дворец Лувр. Бульвар Сен-Жермен проходил частично через прежний старый Латинский квартал, где и

располагалась известная Анне Андреевне Сорбонна. Анна обратила внимание и на то, что большие дорогие бульвары имели деревянную мостовую с широкими асфальтированными тротуарами, по сторонам которых были высажены деревья.

Гумилёв познакомил молодую жену с одним из аристократических районов Парижа — кварталом Сен-Жермен. Дворцы высшей знати располагались преимущественно в западной части квартала, а восточная была ограничена мостом Искусств, сооруженным для пешеходов в 1802–1804 годах во времена правления Наполеона Бонапарта. Побывали они на Марсовом поле, где в старину проводились маневры, а теперь располагались всемирные выставки. Анна Андреевна захотела подняться на трехсотметровую башню Эйфеля, которая видна была из любой точки города. Башня была доступна (с марта по ноябрь) для посетителей с десяти утра и до самой ночи. И удовольствие побывать на смотровой площадке стоило три франка с человека в будние дни.

Добрались они и до собора Инвалидов, где покоился прах Императора Наполеона, но усыпальница честолюбца не произвела на Анну особенного впечатления.

Когда их охватывало лирическое настроение, они отправлялись в Люксембургский парк. В тот теплый майский месяц в парке по средам, пятницам и воскресеньям с четырех до пяти или с пяти до шести вечера под деревьями играли военные оркестры. Она обратила внимание на восьмиугольный бассейн Давида в центре сада. Бассейн был окружен статуями двадцати самых знаменитых французских женщин.

Гумилёвы обошли весь Латинский квартал. Побывали в том самом месте, где среди шумных кафе и многочисленных магазинов сохранились остатки терм — старого дворца Юлиана, где в 360 году он был провозглашен Императором. С другой стороны к дворцу примыкает аббатство Клюни, выстроенное во второй половине XV века Иоанном Бурбонским. В Клюни в 1515 году жила Мария Английская, вдова короля Людовика XII. Посещение этого аббатства Анна Андреевна запомнила хорошо. В музее Клюни собраны картины немецкой школы XVI века, резные деревянные и мраморные изделия XV и XVI веков, фламандская мебель XVII века, мраморные медальоны Екатерины Медичи с изображениями Юноны и Дианы Пуатье. Николай Степанович сводил молодую жену в Ботанический сад, но она, видимо, никогда не испытывала теплых чувств к жирафам, львам, тиграм и слонам. Но зато находящиеся рядом с Ботаническим садом остатки римских арен произвели на нее впечатление величественной древностью. Анна Андреевна обозначила их

экскурсии одной фразой: «Ходили по музеям». Молодые Гумилёвы посетили музей Лувра. На осмотр залов музея молодожены потратили не один день. Конечно, Гумилёва привлекли здесь коллекции античных греко-римских скульптур. Не мог оставить поэта равнодушным и зал североафриканских древних скульптур. А в зале Salle de Severe Николай Степанович показал Анне бюст его любимого Императора Каракалы.

Поэт Георгий Иванов позднее, уже в эмиграции, воспроизвел в своих воспоминаниях разговор Анны Андреевны и Николая Степановича: «Я так рада, — говорит Ахматова, — что в этом году мы не поедем за границу. В прошлый раз в Париже я чуть не умерла от скуки.

— От скуки? В Париже!..

— Ну да. Коля целые дни бегал по каким-то экзотическим музеям. Я экзотики не выношу. От музеев у меня делается мигрень. Сидишь одна, такая, бывало, скука. Я себе даже черепаху завела.

— Аня, — недовольным тоном перебивает ее Гумилёв, — ты забываешь, что в Париже мы почти каждый день ездили в театры, в рестораны.

— Ну уж и каждый вечер, — дразнит его Ахматова, — всего два раза».

Анна Андреевна, вероятно, говорила так, чтобы поддеть Гумилёва. С первых дней в Париже Николай Степанович бывал с женой не только в театрах, музеях и парках, но и в ресторанах и кафе. Молодая Анна Андреевна выглядела эффектно. Увидевшая ее в те годы в Париже жена писателя Георгия Чулкова вспоминала: «Она была очень красива, все на улице заглядывались на нее. Мужчины, как это принято в Париже, вслух выражали свое восхищение, женщины с завистью обмеривали ее глазами. Она была высокая, стройная и гибкая… На ней было белое платье и белая широкополая соломенная шляпа с большим белым страусовым пером — это перо ей привез только что вернувшийся из Абиссинии ее муж — поэт Н. С. Гумилёв».

Гуляли они и по улицам Виктора Гюго и Оноре де Бальзака. Наверняка поэт сводил ее в самое известное кафе, о знаменитых посетителях которого рассказывал ему в свое время Деникер. Анну удивляло, что мужчины в кафе не снимали шляп, и в то же время можно было заказать вместе с завтраком или обедом почтовую бумагу, перо и чернила, спокойно усесться за столом и писать письма.

Посетили молодожены и любимое кафе поэта «Клозри де Лиль» на углу бульвара Монпарнас и улицы Ассас, в котором

собирались в начале XX века последние «парнасцы», руководимые Жаном Мореасом и входившие в школу Леконта де Лиля, столь чтимого Иннокентием Анненским и самим Гумилёвым. Интересно, что уже в 1928 году в память Леконта де Лиля, Мореаса и Николая Гумилёва группа молодых русских поэтов-эмигрантов «Перекресток» начала проводить в этом кафе свои заседания, где часто вспоминали о Петербурге времен Гумилёва. Молодая чета, безусловно, гуляла в знаменитом Булонском лесу. А чего стоили прогулки в Люксембургском парке! Да и катание русской в парижской подземке — метро — тоже наверняка было из разряда чудес. Ведь в России тогда ничего подобного не было.

Гумилёв не мог не прокатиться со своей молодой женой по Сене на большом пароходе, где в ту пору билеты стоили в выходные и праздничные дни по сорок сантимов, а в обычные — в два раза дешевле.

Гумилёвы ездили на омнибусах. Анна Андреевна вспоминала о том веселом для нее времени и парижском транспорте: «…Еще во множестве процветали фиакры. У кучеров были свои кабачки, которые назывались „Au rendez-vous des cochers“ („Встреча кучеров“)… Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена…»

В воспоминаниях Анна Андреевна сетует на то, что в Париже в то время стихи не были популярны, сборники поэзии покупали только из-за виньеток известных художников: «Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию».

Гумилёв этого замечать не хотел. Анна Андреевна потом писала: «В Париже, в 1910 году, в кафе Гумилёв просил французских поэтов читать стихи. Они отказались. Николай Степанович очень удивился». Но не все поэты отказывались читать стихи. Были и те, кто хорошо знал Николая Степановича по прошлым его приездам в Париж. Гумилёв установил с ними связи в свой новый визит в 1910 году. Вскоре он познакомил свою молодую жену с племянником Анненского — Николаем Деникером.

Однажды Николай Степанович отправился в гости к критику Ж. Шюзевилю. С женой ему было идти неудобно, так как Шюзевиль преподавал в иезуитском учебном заведении, где бывать женщинам не полагалось. При встрече Шюзевиль подарил Гумилёву составленную им и изданную в Париже книгу антологии русских поэтов на французском языке.

Встретили в Париже молодожены и свою киевскую знакомую, художницу Александру Экстер. Побывали в салоне художницы Елизаветы Сергеевны Кругликовой, чей брат помогал Гумилёву издавать журнал «Остров». Мастерская ее располагалась на улице

Буассонад. Известный художник А. Бенуа писал о Кругликовой: «Стоит русскому… явиться на rue Boissonade, как через полчаса беседы с хозяйкой дома Париж становится уже для него менее жутким и чужим, как уже он получает возможность „более интимно“ разбираться в его пестром многообразии…» Встречались Гумилёвы и с французскими литераторами А. Мерсеро, Р. Аркосом, нанесли визит известному критику Танкреду де Визану, который пытался соединить доктрину символизма с бергсонианской философией. Именно Франция дала первоначальный импульс к возникновению символизма в конце XIX века. С тех пор как Мореас в 1886 году заявил в «Манифесте символизма» о рождении нового движения, прошло почти двадцать пять лет, и во времена приезда Гумилёвых он переживал период упадка. Но Гумилёв хорошо знал и любил знаменитых французских поэтов-символистов: Рене Гиля, Артюра Рембо (позже он перевел самое известное его стихотворение «Гласные»).

В Париже Гумилёва интересует творчество французских модернистов, он ищет их книги в известных букинистических магазинах, которых в Париже было великое множество и которые Гумилёв очень хорошо изучил в прежний приезд.

Анна Андреевна в своих воспоминаниях не раз подчеркивала эту страсть поэта: он любил рыться в книгах и, попадая в букинистические магазины, забывал обо всем на свете. Гумилёв предпочитал маленькие магазинчики на берегу Сены, там всегда можно было найти недорогие книги. Много хороших книжных магазинов было и в Латинском квартале. Часто бывал поэт и в букинистических магазинах, расположенных неподалеку от театра Одеон на Монпарнасе. Большинство книг, приобретенных им, это — поэтические сборники новых французских поэтов. Однажды Николай Степанович принес книгу тогда еще малоизвестного поэта Маринетти, будущего футуристского идола и пророка.

Маринетти родился в Африке — в Египте. Ходило много скандальных слухов о его литературных выступлениях, дуэлях и миллионах его семейства. Гумилёва не могло не заинтересовать то, что Маринетти в пятнадцать лет уже издавал печатавшийся на веленевой бумаге критико-литературный журнал с таинственным названием «Папирус», а в семнадцать — дрался на дуэли, и даже какое-то время жил в Париже. Но, видимо, позднее Гумилёв разочаровался в литературных изысках Маринетти.

За время пребывания в Париже Гумилёв собрал, по воспоминаниям Анны Андреевны, целый сундук книг. Были и забавные случаи. Однажды Анна Андреевна вышла погулять и

вдруг увидела бегущую за кем-то большую толпу народа и… своего мужа. Окликнула его, он остановился. Она удивленно спросила его, зачем это он бежал. Николай Степанович улыбнулся и ответил бесшабашно: «По пути было, и так скорее!»

Анна Андреевна вспоминала: «…такой образ Николая Степановича, бегущего за толпой ради развлечения, немножко не согласуется с представлением о монокле, о цилиндре и о чопорности, — с тем образом, какой остался в памяти мало знающих его людей…»

В то время когда Гумилёв погружался в букинистический мир, его жена скучала и искала поводов для развлечения. Она бродила по Парижу одна. Однажды эта элегантная дама в белом платье и белой соломенной шляпе с африканским страусиным пером встретила человека с вызывающим красным шарфом на шее. Была поздняя весна, и шарф выглядел ярким дразнящим пятном. Это был Амедео Модильяни. Есть различные версии того, как они познакомились, эти две блуждающие души разных стран, но не в этом суть. В то время Амедео Модильяни — безвестный бедный художник. Что было между ними в тот первый год их знакомства, неизвестно. Но, видимо, размолвки между молодоженами начались в Париже и поводом послужил Модильяни.

Анна Андреевна вспоминала потом о Модильяни: «В 10-м году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз… Что он сочинял стихи, он мне не сказал. Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли… У него была голова Антиноя и глаза с золотыми искрами, — он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет…» Да и в Париже он был таким же чужим, как и сама Анна Андреевна.

Что интересно: в 1910 году было выставлено шесть работ Модильяни, причем одна из них называлась «Лунный пейзаж». Уж не она ли возымела магическое действие на «деву луны»? Именно в год знакомства с Анной Модильяни серьезно занялся скульптурой. У него не было собственной мастерской, и он вынужден был скитаться по разным адресам. И тем не менее они сумели встретиться, и он упросил ее на прощание дать ему адрес. Она, не думая о последствиях, — как будет воспринято в семье мужа то, что замужней женщине могут писать мужчины, — дает царскосельский адрес Гумилёвых, где она тогда еще не жила ни одного дня.

Именно в это время, когда Анна Андреевна познакомилась с

художником, Гумилёв пишет стихотворение «Ослепительное» (1910):

Я тело в кресло уроню,
Я свет руками заслоню
И буду плакать долго, долго,
Припоминая вечера.
Когда не мучило «вчера»
И не томили цепи долга…

Видимо, время, когда не мучило «вчера», закончилось. В стихотворении снова проглядывает образ коварной девы, «вступающей с демонами в ссору» и властвующей над умами и душами. По всей видимости, мирный период в любви молодоженов подходил к концу в самом начале их совместной жизни. В отеле на улице Бонапарта он пишет еще одно стихотворение, прямо обращенное к Анне Андреевне:

Нет тебя тревожней и капризней,
Но тебе я предался давно
Оттого, что много, много жизней
Ты умеешь волей слить в одно.

И сегодня небо было серо,
День прошел в томительном бреду.
За окном, на мокром дерне сквера
Дети не играли в чехарду.

Ты смотрела старые гравюры,
Подпирая голову рукой,
И смешно-нелепые фигуры
Проходили скучной чередой.

Но когда дневные смолкли звуки
И взошла над городом луна,
Ты внезапно заломила руки,
Стала так мучительно бледна.

Пред тобой смущенно и несмело
Я молчал, мечтая об одном:
Чтобы скрипка ласковая пела
И тебе о рае золотом.

(«Нет тебя тревожней и капризней…», 1910)

В стихотворении, без сомнения, обыгран лунатизм Ахматовой.

В Париже, который не стал городом счастья, поэт тоскует о той Африке, которую он оставил в феврале, чтобы прийти к «деве луны», но она оказалась непостоянной и коварной, она не дала того, что ждал поэт, и в стенах парижской гостиницы его меланхолия выливается в цикл стихотворений об Африке: «Военная», «Невольничья», «Занзибарские девушки» и «Пять быков». Название цикла «Абиссинские песни» ввело в заблуждение многих современников поэта, которые считали эти стихи переводами с туземного языка. Гумилёву пришлось через год в журнале «Аполлон» в рецензии на антологию издательства «Мусагет» дать объяснение: «Четыре абиссинские песни автора этой рецензии написаны независимо от настоящей поэзии абиссинцев». Современники Гумилёва высоко оценили этот цикл. Валерий Брюсов писал: «…В переложениях абиссинских песен Н. Гумилёва — яркая красочность и большое мастерство»[18]. Парижские стихотворения Гумилёва 1910 года были опубликованы в Москве в антологии издательства «Мусагет» в 1911 году.

Еще в одном стихотворении, написанном в Париже, звучат грустные мотивы:

> Все ясно для тихого взора:
> И царский венец, и суму.
> Суму нищеты и позора, —
> Я все беспечально возьму…

(«Все ясно для тихого взора…», 1910)

О каком позоре пишет поэт? Может быть, о позоре обманутого мужа. Он знал о былых приключениях своей невесты, но думал, что теперь она остепенится. Но, видно, не зря не верила мать Анны Андреевны в возможность семейного счастья своей дочери. Тоскующий Гумилёв и уходящая на свидание с неизвестным художником молодая жена Анна Гумилёва. В Париже в тот раз она стихов не писала.

На календаре начало июня 1910 года. Свадебное путешествие закончено. Гумилёвы собираются домой. Он вынужден заказать не только экипаж, но и дополнительно багажные дрожки, чтобы сдать ящик с книгами в большой багаж. Уезжали они с Северного вокзала. Экипаж отправился по бульвару Себастополь, по бульвару Моджента на площадь place de Roibais перед большим мрачным зданием вокзала.

В вагоне Гумилёвы встретились с Сергеем Маковским. Гумилёв представил редактору «Аполлона» свою молодую жену. Маковский, видимо, повел себя несколько развязно. Во всяком случае, так передавала потом слова Анны Андреевны Ирина Одоевцева по воспоминаниям самого Николая Степановича Гумилёва. «Возвращаясь из Парижа домой, — рассказывал он ей, — мы встретились с Маковским, с пап*а* Мако, как мы все его называли в Wagonlit. Я вошел в купе, а Анна Андреевна осталась с пап*а* Мако в коридоре, и тот, обменявшись с ней впечатлениями о художественной жизни Парижа, вдруг задал ей ошеломляющий вопрос: „А как вам нравятся супружеские отношения? Вполне ли вы удовлетворены ими?“ На что она, ничего не ответив, ушла в наше купе и даже мне об этом рассказала только через несколько дней. И долгое время избегала оставаться с ним с глазу на глаз». Сам Маковский вспоминал встречу по-другому: «Осенью 1910 г. на обратном пути из Парижа в Петербург случайно оказались мы в том же международном вагоне. Молодые <Гумилёвы> тоже возвращались из Парижа, делились впечатлениями об оперных и балетных спектаклях Дягилева. Под укачивающий стук вагонных колес легче всего разговориться по душам. Анна Андреевна, хорошо помню, меня сразу заинтересовала, и не только как законная жена Гумилёва, повесы из повес, у кого на моих глазах столько завязывалось и развязывалось романов „без последствий“, но весь облик тогдашней Ахматовой, высокой, худенькой, тихой, очень бледной, с печальной складкой рта и атласной челкой на лбу (по парижской моде) был привлекателен и вызывал не то растроганное любопытство, не то жалость. По тому, как разговаривал с ней Гумилёв, чувствовалось, что он полюбил ее серьезно и горд ею. Не раз до того он рассказывал мне о своем жениховстве. Говорил и впоследствии об этой своей настоящей любви… с отроческих лет…»

Ехали они через Берлин. На вокзале Фридрихштрассе Анна Андреевна пересела в другое купе и дальше ехала в компании трех немцев. И здесь колдовские чары Анны Андреевны имели неотразимый успех. По ее словам, один из них всю ночь не спал и смотрел на нее. Рассказывая об этом мужу, она наверняка хотела вызвать у него чувство ревности, потом все перевести в шутку, как и ее встречи с Модильяни. Но Гумилёв ответил совершенно неожиданно, приземлив жену: «Даже на Венеру Милосскую нельзя восемь часов подряд смотреть, а ведь ты же не Венера Милосская!»

Так закончилась гумилёвская мечта о парижском триумфе и личном счастье. Снова чужая тень замаячила между ним и Аней.

А вскоре явилось тому подтверждение. Летом пришло письмо от Модильяни. Анна сделала вид, что удивилась этому. Но письма приходили всю зиму и, по выражению самой Анны, были полны символов. В одном из писем Модильяни писал: «Вы во мне, как наваждение». С каждым таким письмом все меньше и меньше тепла и близости оставалось в отношениях между мужем и женой.

Жизнь в Царском Селе после Парижа представлялась Анне Андреевне скучной: «Царское после Парижа показалось мне совсем мертвым. В этом нет ничего удивительного. Но куда за пять лет провалилась моя царскосельская жизнь? Не застала там я ни одной моей соученицы по гимназии и не переступила порог ни одного царскосельского дома. Началась новая петербургская жизнь».

Об этом «Первое возвращение», стихотворение, которое она написала осенью 1910 года:

На землю саван тягостный возложен,
Торжественно гудят колокола,
И снова дух смятен и потревожен
Истомной скукой Царского Села.
Прошло пять лет. Здесь все мертво и немо,
Как будто мира наступил конец.
Как навсегда исчерпанная тема,
В смертельном сне покоится дворец.

Ядом печали и грусти отравляет она и своего мужа. Поэтому неудивительно, что уже осенью он опять покидает ее надолго, отправившись в очередное путешествие. Анна ему вдогонку пишет ужасные по своей откровенности стихи:

Я смертельна для тех, кто нежен и юн.
Я птица печали. Я — Гамаюн…

(«Я смертельна для тех, кто нежен и юн…», 1910)

Под этим стихотворением стоит дата — 7 декабря. 11 декабря в Царском Селе Анна Андреевна в «Сероглазом короле» снова говорит о Гумилёве, как об умершем:

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король…

Но, пожалуй, самым проникновенным признанием может

служить ее стихотворение, написанное 8 января 1911 года. По сути, в нем она напророчила всю их нескладную жизнь до полного разрыва:

Сжала руки под темной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
— Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна…

(«Сжала руки под темной вуалью…», 1911)

Ее душа была открыта любви, она хотела любить, она жаждала быть любимой, но была отравлена на всю жизнь первой «смертельной» любовью к Владимиру Голенищеву-Кутузову. И она не могла не отравлять тем же ядом всех тех, кто ее любил. И не ее вина, что другого она дать не могла.

О том, как жили Гумилёвы в то время, писала в мемуарах другая Анна Андреевна, жена старшего брата поэта — Дмитрия: «В дом влилось много чуждого элемента… В семье Гумилёвых очутились две Анны Андреевны. Я — блондинка, а Анна Андреевна Горенко — брюнетка. Горенко была высокая, стройная, тоненькая и очень гибкая, с большими синими грустными глазами, со смуглым цветом лица. Она держалась в стороне от семьи. Поздно вставала. Являлась к завтраку около часа, последняя, и, войдя в столовую, говорила: „Здравствуйте все!“ За столом большей частью была отсутствующей, потом исчезала в свою комнату, вечерами либо писала у себя, либо уезжала в Петербург. Те вечера, когда Коля бывал дома, он часто сидел с нами, читал свои произведения, а иногда много рассказывал, что всегда было очень интересно. Коля великолепно знал древнюю историю и, рассказывая что-нибудь, всегда приводил из нее примеры. Памятно мне любимое большое мягкое кресло поэта, доставшееся ему от покойного отца. Сидя в нем, он писал свои стихи. Творить Коля любил по ночам, и часто мы с мужем — комната была рядом с его кабинетом — слышали равномерные шаги за дверью и чтение вполголоса. Мы переглядывались, и муж говорил: „Опять наш Коля улетел в свой волшебный мир“. В домашней обстановке Коля всегда был приветлив. За обедом всегда что-нибудь рассказывал и был оживленный. Когда приходили юные поэты и читали ему свои стихи, Коля внимательно слушал; когда критиковал — тут же пояснял, что плохо, что хорошо и почему-то или другое неправильно. Замечание он делал в очень мягкой форме, что мне в нем нравилось. Когда ему что-нибудь нравилось, он говорил: „Это

хорошо, легко запоминается“ и сейчас же повторял наизусть. Коля и в семье был строг к чистоте языка. Однажды я, придя из театра и восхищаясь пьесой, сказала: „Это было страшно интересно!“ Коля немедленно напал на меня и долго пояснял, что так сказать нельзя, что слово „страшно“ тут совершенно неуместно, и я это запомнила на всю жизнь. Когда по вечерам вся семья оставалась дома, после обеда мать любила брать сыновей под руку и ходить взад и вперед по гостиной; тут сыновья очень трогательно оспаривали друг у друга, кто возьмет мамочку под руку, а кто обнимет. Обычно после долгого торга мать, улыбаясь, сама разрешала спор — одного возьмет под руку, а другого обнимет, и все трое маршировали по комнате, весело разговаривая. Но редко приходилось нам проводить вечера „уютным кустиком“, как говорил Коля; обыкновенно кто-нибудь нарушал нашу семейную идиллию».

То, что Анна Андреевна не вписалась в семейный распорядок, было очевидно для нее самой.

Анна Андреевна страдала в ту зиму, хоть никогда в этом не признавалась, но об этом говорили ее стихи. А писала она в них о неистовом художнике Амедео, нигде не называя его впрямую. Стихи ее полны символов и холода. На то она и была колдуньей;

В комнате моей живет красивая
Медленная черная змея;
Как и я, такая же ленивая
И холодная, как я.

(«В комнате моей живет красивая…», 1910)

С каким внутренним сарказмом пишет она о себе 23 декабря 1910 года:

Стояла долго я у врат тяжелых ада,
Но было тихо и темно в аду…
О, даже Дьяволу меня не надо,
Куда же я пойду?..

Лучше всего ее зимнее настроение выражено в стихотворении «Сердце к сердцу не приковано…» (весна 1911):

Дни томлений острых прожиты
Вместе с белою зимой.
Отчего же, отчего же ты
Лучше, чем избранник мой?

В этих строках явная тоска по Модильяни, далекому и такому желанному. Он добивался ее письмами, на расстоянии, зная, что она жена другого. Анна, забыв обо всем на свете, стала собираться в Париж. И Николай Степанович, конечно, догадывался обо всем. Ей нужно было испить смертельного вина любви. Уйти от серой действительности, от скучной жизни Царского Села, неудовлетворенности в семейных отношениях. Анна жаждет пока не славы, а чувств вольных, не признающих никаких законов и ограничений. Она рвется к Модильяни навстречу, наплевав на все обязательства — и перед мужем, и перед Богом.

По дороге в Париж Анна Андреевна заехала к матери в Киев. Там посетила древний Михайловский монастырь XI века. Позже она скажет, что поняла, почему монастырь стоит над обрывом, — потому что центральный храм Михаила Архангела посвящен предводителю небесной рати, сражающейся с самим Сатаной. Какие чувства терзали ее накануне греховной поездки — неизвестно.

После 13 мая Анна отправляется в Париж. В дневнике она уточнила: «Я в Троицын день была в Париже, по новому счету».

Поселилась Ахматова на той же улице, где жила с мужем, возможно, в той же самой гостинице на улице Бонапарта близ площади Сен-Сюльпис. Тот, к кому она приехала, обитал неподалеку в мастерской, располагавшейся в тупике Фальгер. Скорее всего, Модильяни ездил встречать ее на вокзал. При встрече Анна заметила, как он «потемнел и осунулся». (Наркотики и вино делали свое дело.) Вспыхнувшая страсть двух людей, не признающих никаких законов, могла окончиться только их сближением. Ее настроение очень хорошо передает написанное в Париже стихотворение:

Мне с тобою пьяным весело —
Смысла нет в твоих рассказах.
Осень ранняя развесила
Флаги желтые на вязах…

(«Мне с тобою пьяным весело…», 1911)

В ту пору Модильяни переживал трудный период. Картины его не пользовались еще популярностью, денег не было… В отличие от Гумилёва Модильяни не водил ее в рестораны, театры, респектабельные кафе. Она тоже ходила с Модильяни в Люксембургский сад, где бывала с Гумилёвым, но теперь ей не на

что было брать напрокат железные стулья, и они сидели на бесплатных скамейках для бедных. В дождь они гуляли по старым улицам Парижа под огромным старым черным зонтом. «Мы иногда сидели под этим зонтом в Люксембургском саду, шел теплый летний дождь… Люди старше нас показывали, по какой аллее Люксембургского сада Верлен с оравой почитателей, из „своего кафе“, где он ежедневно витийствовал, шел в „свой ресторан“ обедать. Но в 1911 году по этой аллее шел не Верлен, а высокий господин в безукоризненном сюртуке, в цилиндре, с ленточкой „Почетного легиона“, — а соседи шептались: „Анри де Ренье!“»

С Гумилёвым она не любила ходить по «экзотическим музеям», а с Модильяни ходила. Она вспоминала: «В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверял, что все остальное… недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта. Очевидно, Египет был его последним увлечением…»

Большую часть времени она проводила в мастерской у Модильяни, потом они шли к ней в гостиницу. Страсть сжигала эту хрупкую колдовскую женщину. Во времена любовных безумств Модильяни рисовал ее обнаженной. Но, видимо, это тогда ее не тревожило. В редкие минуты отрезвления чувство раскаяния терзало ее душу и она писала:

…Да лучше б я повесилась вчера
Или под поезд бросилась сегодня.

(«В углу старик, похожий на барона…», 1911)

Но под поезд она не бросается, зато все яснее понимает, что ничего общего у них быть не может. Близок конец их пьяного мая и лета. Зачем-то она идет и покупает охапку красных роз — то ли любовь хоронить, то ли продлить ее агонию. Окно в мастерскую открыто, и она бросает туда цветы. Они разлетаются и накрывают улетевшие мгновения.

За год до своей смерти она снова окажется в Париже и разыщет старого друга Гумилёва Георгия Адамовича. Тот предложит ей проехаться по городу, и она первым делом отправится именно на ту улицу Бонапарта, где тогда встречалась с Модильяни. Она вспомнит не гумилёвское время, а модильяниевское. И, показывая Адамовичу свое окно на втором этаже, скажет: «Сколько раз он тут бывал». Он — это Модильяни.

Модильяни во время свиданий часто читал ей стихи Леопарди. Через много лет Ахматова переведет этого поэта. И это

тоже будет данью памяти Модильяни.

Анна Андреевна застала в Париже самый красочный праздник года — 14 июля, День взятия Бастилии, — обошедшийся администрации города в несколько сот тысяч франков. Это был прощальный салют их уходящей в предания и легенды любви. На следующий день она покинула Париж, взяв с собой воспоминания и томик стихов Теофиля Готье в подарок Гумилёву. О их прощании с Модильяни она напишет:

И дал мне три гвоздики,
Не подымая глаз.
О милые улики,
Куда мне спрятать вас?

А потом в Царском Селе, скучая об ушедшем навсегда времени, напишет ставшее знаменитым стихотворение «Песня последней встречи» (1911):

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,
А я знала — их только три!
Между кленов шепот осенний
Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой».
Я ответила «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой…»

Нет, Анна Андреевна не умерла ни после этой любви, ни после следующих. Она выжила и стала большим поэтом… А Модильяни — знаменитым художником XX столетия.

Сергей Маковский вспоминает, что Гумилёв якобы запрещал Анне Андреевне печатать стихи, и придумал легенду о том, как он «мужественно» их спас для потомков в «Аполлоне». На самом деле все обстояло иначе. Гумилёв видел, что его жена незаурядный поэт. Так, 24 мая 1911 года, в то время когда Анна Андреевна была в Париже, он в письме Валерию Брюсову заботливо спрашивал: «Как Вам показались стихи Анны

Ахматовой (моей жены)? Если не поленитесь, напишите хотя бы кратко, но откровенно. И положительное и отрицательное Ваше мнение заставит ее задуматься, а это всегда полезно».

Брюсов просьбу ученика выполнил. 20 июня в ответном письме он сообщал поэту: «Стихи Вашей жены, г-жи Ахматовой, — которой, не будучи пока ей представлен, позволяю себе послать мое приветствие, — сколько помню, мне понравились. Они написаны хорошо. Но, во-первых, я читал их уже давно, осенью, во-вторых, слишком мало, чтобы составить определенное суждение».

В послании к другому мэтру, Вячеславу Иванову, Гумилёв сообщает 3 июня: «Поклон всем на Башне. Аня скоро вернется…»

Конечно, Николай Степанович переживал, но он был не тем человеком, которого жизненные обстоятельства или даже крушение высоких надежд и чувств могло ввергнуть в буйство или ярость, низвести до мелочных сцен ревности. Уязвленная его холодным и гордым молчанием, Анна посвятит мужу в октябре 1912 года стихотворение, где все будет дышать воспоминаниями о далеком и милом гимназическом Царском Селе. И закончит его почти обиженно:

…Только ставши лебедем надменным,
Изменился серый лебеденок.
А на жизнь мою лучом нетленным
Грусть легла, и голос мой незвонок.

(«В ремешках пенал и книги были…», 1912)

Анна вернулась из Парижа, выпитой до дна. Теперь они уже просто жили под одной крышей. Вместе посещали какие-то вечера и принимали гостей. Ахматова такой спокойной реакции от мужа не ожидала. Все что угодно: ярость, ненависть, гнев и прямую расправу — да!.. Но полное равнодушие… Ей хотелось, чтобы он мучился, страдал и ревновал ее к Модильяни. А он внешне никак не проявлял своей глубокой боли. Он стал для нее закрытым навсегда. Она прячет или уничтожает порочащие ее рисунки Модильяни и оставляет только один, наиболее скромный. Да и тот хранился у нее в укромном месте.

На этот раз поездка в Париж и время, проведенное вдвоем с Модильяни, оказались для нее творчески плодотворными. Многие ее стихи того периода напоены парижской любовью. Но одно из стихотворений написано в ответ на внешнее равнодушие мужа. Оно породило целую волну сплетен и слухов. Многие ругали и осуждали Николая Степановича, не зная, что образы стихотворения Ахматовой — это просто месть разгневанной

поэтессы. Эти стихи написаны осенью 1911 года:

Муж хлестал меня узорчатым.
Вдвое сложенным ремнем.
Для тебя в окошке створчатом
Я всю ночь сижу с огнем…

Глава XI СЛЕПНЕВСКАЯ ИДИЛЛИЯ

Попав однажды в Слепнево проездом, Гумилёв полюбил это небольшое и уютное имение, в котором написал не один шедевр и которому посвятил одни из самых проникновенных строк известного стихотворения «Старые усадьбы» (1913), где через отношение к родовому гнезду выразил любовь ко всей великой Руси:

О, Русь, волшебница суровая,
Повсюду ты свое возьмешь.
Бежать? Но разве любишь новое
Иль без тебя да проживешь?

Слепнево в начале XX века перешло в доверительное управление матери поэта Анны Ивановны. В 1908 году умирает дядя Николая Степановича — контр-адмирал Лев Иванович Львов, а за год до этого умерла его жена — Любовь Владимировна. Детей у них не было, и по завещанию усадьба досталась двум сестрам Львовым — Варваре Ивановне и Анне Ивановне. К этому времени третья сестра Агата Ивановна, в замужестве Покровская, умерла.

В начале января 1909 года поэт впервые приехал в Слепнево зимой поработать в старинной фамильной библиотеке, оставшейся от его предков по материнской линии. Зимой Слепнево было так же чудесно, как и летом. Гумилёв не оставил об этой удивительной поре своих впечатлений, зато известно воспоминание Ахматовой: «Один раз я была в Слепневе зимой. Это было великолепно. Все как-то вдвинулось в XIX век, чуть не в пушкинское время. Сани, валенки, медвежьи полости, огромные полушубки, звенящая тишина, сугробы, алмазные снега. Там я встретила 1917 год. После угрюмого военного Севастополя, где я задыхалась от астмы и мерзла в холодной наемной комнате, мне казалось, что я попала в какую-то обетованную страну…»

Иногда звенящую морозную тишину оглашали звуки бубенчика (через территорию слепневской усадьбы проходила почтовая дорога) и мерный топот спешащей почтовой тройки.

Визит Николая Степановича был недолгим, зимой литературная жизнь Петербурга была насыщенной, а поэт тогда только осваивал известные богемные салоны.

Через год он снова ненадолго побывал в Слепневе по дороге из Парижа вместе со своей молодой женой, но вскоре они уехали

обустраиваться в Царское Село. Зато два следующих лета — 1911 и 1912 года — Гумилёв провел в Слепневе в окружении родственников, из коих особое внимание уделял своим молоденьким племянницам — Оле и Маше Кузьминым-Караваевым. Они были дочерьми его двоюродной сестры Констанции Фридольфовны Лампе, вышедшей замуж за ротмистра лейб-егерского полка Александра Дмитриевича Кузьмина-Караваева. Кузьмины-Караваевы владели расположенным неподалеку от Слепнева имением Борисково (в двадцати километрах от уездного центра Бежецка). Усадьба находилась на живописном пригорке. Барский дом был бревенчатый, одноэтажный, но большой — о шестнадцати окон по южному фасаду. Вокруг дома разросся старый парк, обнесенный рвом и валом.

4 мая 1911 года Гумилёв подал прошение на имя ректора Санкт-Петербургского университета с просьбой об увольнении его из числа студентов. Через три дня он был уволен. В свидетельстве от 7 мая 1911 года сказано: «Предъявитель сего… поступил в число студентов Императорского С.-Петербургского университета в августе месяце 1908 года на юридический факультет, а в сентябре месяце 1909 года был переведен на историко-филологический факультет, на каковом состоял по весеннее полугодие 1910 г. включительно и слушал лекции в течение осеннего и весеннего полугодия 1909/10 учебного года; ныне же, согласно прошению и как не внесший плату за осеннее полугодие 1910 года, уволен из Университета, почему правами, предоставленными студентам, окончившим полный курс университетского учения, воспользоваться не может. В удостоверение чего дано Гумилёву это свидетельство из Правления С.-Петербургского университета за надлежащею подписью и с приложением казенной печати».

После отъезда жены в Париж Гумилёв в середине мая отправился в Слепнево, куда прибыл 23 мая.

В это время в усадьбе жили не только Кузьмины-Каравае-вы, но и Дмитрий Гумилёв со своей женой Анной Андреевной. Вместе с Александрой Степановной (сестрой поэта) жили ее пятнадцатилетняя дочь Маша (ее все называли Маруся) и сын Коля Сверчков, которому едва исполнилось семнадцать лет. Он сильно хотел походить на взрослого и потому отрастил усы и лихо закручивал их на гусарский манер.

В гости приезжали соседские помещики. Из Толсткова — Белявцевы, из Сулеги — Шиповы-Шульцы, из Борискова — Кузьмины-Караваевы, из Подобина — супруги Неведомские.

В Слепневе был заведен патриархальный порядок. На завтрак всех собирали к девяти утра. Первой место за столом занимала старшая из сестер Львовых — Варвара Ивановна, которая, по воспоминаниям, была немного похожа на Императрицу Екатерину Великую и, зная это, часто под нее гримировалась. Входя в образ, Варвара Ивановна давала монарший разрешающий знак рукой, и тогда всем было позволительно садиться. Рядом с Варварой Ивановной обычно находилась за столом ее дочь Констанция, которую все называли Котей. Вокруг Анны Ивановны Гумилёвой рассаживались ее сыновья: по левую руку — Дмитрий, по правую — Николай. Напротив занимали места Александра Степановна с дочерью Марусей и сыном Колей, далее за столом сидели дочери Констанции — Оля и Маша, их брат Сергей Кузь-мин-Караваев. Все были тщательно одеты, а женщины модно причесаны. В то время были популярны высокие прически, которые носили Оля и Маша, жена Дмитрия Гумилёва и Маруся Сверчкова.

После завтрака все расходились. Александра Степановна и Констанция Фридольфовна занимались хозяйственными делами. Николай Степанович любил отдыхать в парке, украшенном свечками длинноногих тополей, акациями в нежных белых сережках, старыми кудрявыми липами. Недалеко от дома был фруктовый сад. В начале лета он цвел и благоухал. Терраса садового фасада выходила на круглую поляну, посредине которой рос любимец поэта — могучий красавец дуб. Возле пруда Гумилёв отдыхал после обеда, который начинался ровно в два часа дня.

На полдник в пять часов вечера подавали, как правило, чай с домашним печеньем или пирогами. А ужин начинался всегда в семь часов вечера.

Во времена молодости матери поэта Слепнево было имением, где владельцы жили постоянно. В 1911 году оно больше напоминало летнюю дачу, куда съезжались в теплое время года для отдыха и развлечений.

Как правило, после обеда играли в крокет. В хорошую погоду шли к пруду. Лошадей для верховой езды в имении не было, и Гумилёв неоднократно пытался приспособить для верховых прогулок ездовых лошадей, выпрягая их из экипажа.

26 мая поэт открыл поэтический сезон в альбомах сестер, написав им по акростиху. Альбом Маши поэт заполнял стихами, выражавшими его нежные чувства к этой голубоглазой бледной девушке, любившей носить платья нежно-лилового цвета. Во всем ее строгом облике было что-то воздушное, неземное, чистое, заставлявшее сердце биться быстрее. Это было сравнимо разве что с тем чувством блаженного восторга, когда заходишь в огромную церковь во время службы и там так мало народу, что

кажется, будто каждое слово священника опускается с ангельских высот. С этого первого стихотворения был задан тон поэтического разговора. Акростих, написанный Маше, носил оттенок скрытой влюбленности, которая может превратиться в любовь:

…А надо всем поднимается сердце,
Лютой любовью вдвойне пронзено.

(«Акростих», 1911)

По вечерам, когда в доме наступала тишина и обитатели укладывались спать, поэт вместе с племянницами отправлялся в комнату Оли, и там начинались рассказы об Африке, о невероятных походах и охотах, о путешествиях в неведомые земли и, конечно, Гумилёв читал стихи. Машенька, старшая и более начитанная девушка, слушала поэта внимательно. Она смотрела на жизнь совсем не так, как ее сестра, веселая, беззаботная, готовая хохотать по любому поводу. С детства Маша болела туберкулезом, она знала, что ей отмерен недолгий век, и смотрела на жизнь немного грустными глазами. Вот эту грустинку и уловил поэт и принял за знак большой страдающей и чистой души. Ему ведь самому были близки и понятны чувства жизненной грусти. На этой почве они стали духовно близки.

Иное дело альбом Оли, веселой и бесшабашной девушки, чья красота привлекала внимание. Она чувствовала это и вела себя вольно. Поэт очень тонко уловил эти черты ее характера. Она шла по жизни танцующей походкой. Поэтому так легко, воздушными красками и написан посвященный ей сонет:

Альбом, принадлежащий ей,
Любовною рукой моей,
Быть может, не к добру наполнен,
Он ни к чему… ведь в смене дней
Меня ей только слон напомнит.

(«Альбом или Слон», 1911)

Он не сомневается, что Маша его будет помнить, а Оля не та девушка, которая будет вообще что-то помнить. Слон здесь символичен. У поэта этот образ означает «непробиваемость» чувств, толстокожесть.

27 мая поэт посвящает обеим сестрам по стихотворению. И снова они разнятся по смыслу, по уровню и по содержанию, как небо и земля. Оле он записывает стихотворение «В четыре руки». Оно легкое, но немного сонливое, как вялотекущий дождливый

день, когда сестры сидели дома и в четыре руки играли на рояле:

За спиною так лениво
В вазе нежится сирень,
И не грустно, что, дождливый,
Проплывет неслышно день.

(«В четыре руки…», 1911)

При жизни поэт это стихотворение в сборники не включал. Иное дело стихотворение, написанное в альбом Маше. Пожалуй, это самое серьезное стихотворение в ее альбоме:

Замирает дыханье, и ярче становятся взоры
Перед сладко волнующим ликом твоим, Неизвестность,
Как у путника, дерзко вступившего в дикие горы
И смущенного видеть еще неоткрытую местность…

(«Неизвестность», 1911)

Строки эти освещены не только глубоким подтекстом, но и философским осмыслением жизни. Это — поэзия, хотя и вписанная в девичий альбом, но предназначенная для читателя. Его Гумилёв вместе со стихотворениями «В саду», «Лиловый цветок» и «Сон. Утренняя болтовня» из Машиного дневника отправляет мэтру символизма Вячеславу Иванову 4 июня 1911 года, сопроводив конверт надписью: «Мой адрес: Станция Подобино, Московско-Вандаво-Рыбинской ж. д., именье Слепнево, мне»: «Многоуважаемый и дорогой Вячеслав Иванович. Теперь, наверно, уже вышел второй том „Cor Ardens'a“, и я очень верю, что у Вас есть несколько свободных стихотворений, которые Вы могли бы дать для августовской книжки „Аполлона“, как однажды обещали мне. Если да, я буду Вам очень благодарен, если пошлете их прямо Зноско-Боровскому, чтобы он сдал их в печать, потому что номер уже набирается. Кроме того, у меня к Вам есть еще большая просьба; я написал здесь несколько стихотворений в новом для меня духе и совершенно не знаю, хороши они или плохи. Прочтите их, и если решите, что они паденье или нежелательный уклон моей поэзии, сообщите мне или Зноско-Боровскому, который мне напишет, и я дам в „Аполлон“ другие стихи. Если понравятся, пошлите в „Аполлон“ их вместе с Вашими. Этим Вы докажете, что Вы относитесь ко мне достаточно хорошо, чтобы быть строгим, и еще не отреклись от всегда сомневающегося, но всегда преданного Вам ученика. Н. Гумилёв. Поклон всем на башне…»

Второй том «Cor Ardens'a» Вячеслава Иванова вышел только в следующем году в издательстве «Скорпион» в Москве. Стихи Гумилёва мэтр в «Аполлон» не послал. 16 июня 1911 года он ответил с извинениями за задержку: «Ваши стихи я не решился передать в „Аполлон“ — принципиально. Если бы Вы просто поручили передать, сделал бы это „неукоснительно“, но так как Вы обусловили передачу моей опекою, я не мог позволить себе такого вмешательства, — точнее, как ни благодарен Вам за доверие, все же отказываюсь от предоставленного Вами полномочия применить к Вашим произведениям юрисдикцию и власть, Вам в редакционных делах принадлежащие. Что же касается моего мнения, то, во-первых, Вы хорошо знаете, что я горячо приветствую вообще разнообразие и „пестрой лиры“, опыты в новом и неиспробованном роде; во-вторых, Ваши новые стихи я нахожу достаточно удавшимися, „уклона“ нет, неожиданной новизны — также. Много Анненского, но это вовсе не дурно. Восхищения не испытал. Печатать советую, если Вы не ограничиваетесь стихотворениями безупречными и вполне оригинальными».

Очевидно, что Вяч. Иванов не одобрил новые опыты поэта, которые явились его отходом от заповедей символизма. К тому же в стихотворении «Неизвестность» мэтр мог отнести слова «бродит строгий учитель, томя прописною моралью», к себе. Гумилёву ценно было услышать именно одобрение от мэтра, но он его не получил и не стал публиковать эти стихи[19].

Иногда, устав от шумных компаний, Николай уединялся с томиками любимых поэтов. Особенно он любил отправляться на прогулку с книжечкой стихов Федора Тютчева. Родственник поэта, В. В. Тютчев, во вступительной статье к сборнику Ф. И. Тютчева[20] писал: «В дни моей собственной юности я как-то встретил вечно бродившего по полям, лугам и рощам нашего соседа по имению, будущего поэта Николая Гумилёва. В руках у него, как всегда, был томик Тютчева. „Коля, чего вы таскаете эту книгу? Ведь вы и так ее знаете наизусть!“ — „Милый друг, — растягивая слова, ответил он, — а если я вдруг забуду и не дай Бог искажу его слова, это же будет святотатство“».

Для Гумилёва слово было превыше всего. И в имении Гумилёв продолжал писать стихи, вел переписку с поэтами, следил за литературной жизнью в столице и Москве.

3 июня, через десять дней после приезда, он написал Белому: «Дорогой Борис Николаевич. Очень Вас благодарю за письмо и стихи. Не получая от Вас довольно долго ответа, я уже попросил стихов для августа у Вячеслава Иванова, если он даст, то Ваши пойдут в сентябре (разница в один месяц); если же нет, они

пойдут в августе, как мы и думали. „Мусагет“ я еще не получал. В августе мне снова придется обратиться к Вам за стихами для альманаха „Аполлона“, который предполагается издать осенью. Хотелось бы иметь стихотворений шесть или семь. Но я еще напишу об этом. Искренне уважающий Вас Н. Гумилёв».

Андрей Белый стихи в журнал послал, о чем сообщал уже 7 июня в письме А. М. Кожебаткину. В «Мусагете», о котором упоминал поэт (антология издательства «Мусагет», в редактировании которой Белый принимал участие), вышли стихотворения Гумилёва «Я тело в кресло уроню» и «Абиссинские песни». В свою очередь в альманахе «Аполлона» появилась баллада в пяти частях А. Белого «Шут».

В первой половине июня Гумилёв отправил письмо Брюсову: «Многоуважаемый и дорогой Валерий Яковлевич, благодарю Вас за переводы Верлена (они мне очень и очень понравились)[21] и за новую „Земную ось“. Правда ли, что книга Ваших стихов выходит осенью? Это очень нужно, а то проходящая зима была так бедна стихами, что даже интерес к ним стал как будто пропадать. Ваши мысли по поводу реализма в поэзии (из „Русской мысли“) заставили меня много думать, волноваться, даже сердиться. Но Вы правы: и ангелы и замки не лучше гражданской поэзии. Меня смутил только Ваш отзыв об Эренбурге. Сколько я его ни читал, я не нашел в нем ничего, кроме безграмотности и неприятного снобизма… Посылаю Вам три новых стихотворения, может быть, пригодятся в какое-нибудь изданье. Но мне хотелось бы знать об их судьбе. Целую ручки Анны Матвеевны. Мой адрес до августа: Тверская губ., полуст. Подобино, имение Слепнево, мне. Искренне преданный Вам Н. Гумилёв». К письму Николай Степанович приложил три стихотворения, среди которых были «Двенадцатый год» и «Из логова змиева».

Брюсов написал Гумилёву 20 июня довольно теплый и дружественный ответ, уже не как учитель ученику, а как литератор литератору: «Дорогой Николай Степанович! Спасибо, что меня вспомнили. Первое Ваше стихотворение „Из логова змиева“ думаю напечатать в одной из ближайших книжек „Р. М.“ („Русской мысли“. — В. П.). В нем в одном месте дактилические рифмы заменены женскими — так и должно? Два других по разным причинам мне нельзя будет пристроить. Читал Ваше письмо о поэзии и в большинстве с Вашими отзывами согласен. Игорь Северянин действительно интересен. В Эренбурга я поверил по его первым стихам. Продолжаю еще верить. Что у него много слабого — меня не смущает: у кого нет слабого в дебютах? Более меня тревожит, что он пишет и в „Сатириконе“ и (кажется) в „Синем Журнале“. Это — путь опасный… Сердечно Ваш

Валерий Брюсов».

В Слепневе поэт продолжает напряженно работать. 25 июня он посылает ответственному секретарю «Аполлона» Зноско-Боровскому художественную открытку с репродукцией картины Н. К. Рериха «За морями земли великие», где пишет: «Дорогой Женя, посылаю тебе исправленную корректуру. В августе пойдут только стихи Белого, других пока нет, да, пожалуй, пока и не надо. Может быть, я приеду в Петербург до августа. Но во всяком случае верю, что ты помнишь свое обещание приехать ко мне и сдержишь его. Лучше бы поскорее. Всегда твой Н. Гумилёв». На открытке указан адрес: Петербург, Мойка, 24, «Аполлон».

Но вернемся к сестрам Кузьминым-Караваевым, чьи альбомы, украшенные стихами Гумилёва, отражали слепневское бытие поэта.

29 мая поэт вписывает сестрам по стихотворению в альбом. Машеньке он посвящает стихотворение «Лиловый цветок» (1911). Лиловый был любимым цветом девушки.

Вечерние тихи заклятья,
Печаль голубой темноты,
Я вижу не лица, а платья,
А может быть, только цветы…

Он сравнивает Машеньку с нежным лиловым цветком и признается девушке:

Смолкает веселое слово,
И ярче пылание щек:
То мучит, то нежит лиловый,
Томящий и странный цветок.

К Маше он обращается на закате, когда вечер погружает в фиолетовые тона весь мир, придавая окружающему парку, дальней округе выражение настороженности и беспокойства.

Иное дело Оля. Ей посвящается «Прогулка». Все в этом стихотворении исполнено легкого игривого настроения. Поэт пишет с иронической улыбкой, как после прогулки девушки ласкали взглядами не его, а его коня.

Сравнивая стихотворения из двух альбомов, можно наблюдать, как чувство высокой любви овладевает поэтом. 4 июня он снова пишет стихотворения Оле и Маше. Оле Гумилёв записывает шуточное стихотворение «Медиумические явления», сделав легкий реверанс в сторону ее внешних прелестей. И в то

же время Маше в альбом поэт записывает стихотворение «В вашей спальне». В основу его, видимо, легли реальные события, связанные с болезнью Маши.

Вы сегодня не вышли из спальни,
И до вечера был я один,
Сердце билось печальней, и дальний
Падал дождь на узоры куртин.
……..
Я хотел тишины и печали,
Я мечтал Вас согреть тишиной…

(«В вашей спальне», 1911)

Но все проходит, болезнь отступает, веселая компания вновь отправляется путешествовать по округе. Часто Гумилёв с племянницами ездил через деревню Ханино в имение Кузьминых-Караваевых Борисково. Поэт дружил с Дмитрием Владимировичем Кузьминым-Караваевым и его женой Елизаветой Юрьевной (урожденной Пиленко), во Вторую мировую войну ставшей известной в эмиграции как мать Мария и погибшей в фашистском концлагере.

Любил Гумилёв бывать и в старинном дворянском имении Подобино. Это было красивое место в четырех километрах от железнодорожной станции Подобино, через которую обычно добирался Гумилёв в Слепнево. Барский дом с ампирными колоннами окружал старинный парк. В имении Неведомских была своя большая конюшня с верховыми лошадьми для выезда. Причем несколько лошадей, обычно молодых, держали для гостей. Познакомились Неведомские с Гумилёвыми в 1910 году. Вера Алексеевна Неведомская вспоминала: «Судьба свела меня с Гумилёвым в 1910 году. Вернувшись в июле из-за границы в наше имение „Подобино“ — в Бежецком уезде Тверской губернии, — я узнала, что у нас появились новые соседи… Мой муж уже побывал в Слепневе несколько раз, получил от Гумилёва его недавно вышедший сборник „Жемчуга“ и был уже захвачен обаянием гумилёвской поэзии. Я как сейчас помню мое первое впечатление от встречи с Гумилёвым и Ахматовой в их Слепневе. На веранду, где мы пили чай, Гумилёв вошел из сада; на голове — феска лимонного цвета, на ногах — лиловые носки и к этому русская рубашка. Впоследствии я поняла, что Гумилёв вообще любил гротеск и в жизни, и в костюме. У него было очень необычное лицо: не то Би-Ба-Бо, не то Пьеро, не то монгол, а глаза и волосы светлые. Умные, пристальные глаза слегка „косят“. При этом подчеркнуто-церемонные манеры, а глаза и рот

слегка усмехаются; чувствуется, что ему хочется созорничать, подшутить над его добрыми тетушками, над этим чаепитием с вареньем, с разговорами о погоде, об уборке хлебов и т. п. У Ахматовой строгое лицо послушницы из староверческого скита. Все черты слишком острые, чтобы назвать лицо красивым. Серые глаза без улыбки… За столом она молчала и сразу почувствовалось, что в семье мужа она чужая. В этой патриархальной семье и сам Николай Степанович, и его жена были как белые вороны. Мать огорчалась тем, что сын не хотел служить ни в гвардии, ни по дипломатической части, а стал поэтом, пропадает в Африке и жену привел какую-то чудную: тоже пишет стихи, все молчит, ходит то в темном ситцевом платье вроде сарафана, то в экстравагантных парижских туалетах (тогда носили узкие юбки с разрезом). Конечно, успех „Жемчугов“ и „Четок“ (второй поэтический сборник Ахматовой, вышедший в 1914 году. — В. П.) произвел в семье впечатление, однако отчужденность все же так и оставалась…»

Отправляясь к Неведомским, Гумилёв каждый раз придумывал какие-нибудь новые трюки верхом, чтобы удивить своих спутниц.

Когда Николай Степанович с племянницами и Неведомские выезжали из села, им приходилось останавливаться, чтобы проехать закрытые воротца. Ребятишки кидались их открыть — за это им полагалась плата — конфеты. Гумилёв любил одаривать крестьянских ребятишек сладостями. Неведомские порою подшучивали над детьми и специально кидали леденцы в крапиву.

Иногда вся компания отправлялась в Дубровку, принадлежащую князьям Хилковым. До 1909 года ею владел князь Михаил Иванович Хилков, министр путей сообщения и член Государственного совета. Гумилёв, бывая здесь, любовался прекрасным храмом — Тихвинской церковью, построенной еще в 1784 году и расположенной рядом с прудом, где на темной глади воды колыхались кувшинки и белые лилии.

После одной из таких поездок Николай Степанович написал 19 июня в альбом Оле стихотворение «Опять прогулка» (1911):

Собиратели кувшинок,
Мы отправились опять
Поблуждать среди тропинок,
Над рекою помечтать…

В этот же день в альбом Маше поэт записывает совершенно иное стихотворение «Ключ в лесу». Если первое стихотворение —

картинка событий минувшего дня, то второе — уже философия бытия, поиск ответов на нерешенные вопросы в жизни и восхищение перед сильным орлом, который всегда у Гумилёва олицетворял мужество и волю:

…О, если бы я был крылат,
Как тот орел, что пьет из тучи!

Посвящения чередовались: 21 июня Ольге в альбом — слова на музыку Давыдова, а Маше — загадочное «Ева и Лилит» (1911). Лилит — это первая жена Адама, гордая и непокорная. Поэт вопрошает:

…Ты еще не узнала себя самое,
Ева — ты, иль Лилит…

Поэт высказывает надежду, что Мария узнает себя, когда придет любовь.

27 июня в альбом Оле поэт записывает стихотворение «Остров любви» по мотивам сюжетов Франции XVII века. В альбом же Маше он заносит стихотворение «Две розы». Это стихотворение — символ. Гумилёв пытается решить, какая любовь освящена Богом — земная или небесная? Роза, которая нежно «розовеет», или «пурпурная»… что «огнем любви обожжена…». Для поэта обе эти любви стоят у ворот Эдема.

Конец мая, июнь и первая половина июля 1911 года были для Гумилёва золотым временем. Он испытывал чувство высокой любви к чистой тургеневской девушке. Такой у него в жизни никогда не было. Но эта слепневская идиллия вскоре закончилась.

15 июля в Слепнево приехала жена Николая Степановича. Анна Андреевна вспоминала: «В 1911 году я приехала в Слепнево прямо из Парижа, и горбатая прислужница в дамской комнате на вокзале в Бежецке, которая веками знала всех в Слепневе, отказалась признать меня барыней и сказала кому-то: „К слепневским господам хранцужанка приехала“, а земский начальник Иван Яковлевич Дерин — очкастый и бородатый увалень, когда оказался моим соседом за столом и умирал от смущения, не нашел ничего лучшего, чем спросить у меня: „Вам, наверно, здесь очень холодно после Египта?“ Дело в том, что он слышал, как тамошняя молодежь за сказочную мою худобу и (как им тогда казалось) таинственность называла меня знаменитой

лондонской мумией, которая всем приносит несчастье».

В этот же день супруги отправились на день рождения Владимира Дмитриевича Кузьмина-Караваева (родного брата Александра Дмитриевича) в Борисково. Николай Степанович представил своим слепневским знакомым супругу.

Патриархальный уклад жизни в Слепневе с приездом Анны Андреевны претерпел некоторые изменения. Она жила как бы не замечая распорядка. Могла выйти из своей комнаты к обеду, за столом сидеть с отсутствующим взглядом. В веселых верховых забавах участия она не принимала, не играла в теннис. Зато любила ходить по грибы, общаться с местными крестьянами. Принимала живое участие в их судьбе, оказывая помощь. Однажды слепневская крестьянка запуталась в вожжах и упала. Лошадь ударила ее копытом в голову, и она потеряла сознание. Крестьяне растерялись: до врача далеко, что делать? Понесли в барский дом. На то время там находилась Анна Андреевна, она не только привела крестьянку в чувство, но обработала рану и перевязала голову. Этот случай долго помнила дочь крестьянки Надежда Привалова.

Когда Анне было скучно и хотелось что-нибудь сделать, она принималась полоть грядки на огороде.

Комната Николая Степановича и Анны Андреевны находилась в мансарде, куда вела крутая лестница. Комнату украшал портрет Императора Николая I. Окна ее выходили на север. Здесь же — комната Александры Степановны Сверчковой и справа — комната матери поэта.

В дождливое время трапезничали на первом этаже, где находилась столовая, в теплую и солнечную погоду столы выставляли под открытым небом поблизости от дома. На первом этаже располагались и гостиная для приезжих, а также комната Маши и Оли.

С приездом жены поэт не изменил свой распорядок дня. Он все так же любил верховую езду и проводил время в обществе племянниц и веселых соседей. Очевидно, 19 июля на четырех лошадях Гумилёв, его племянницы и еще кто-то четвертый, который был с Олей (возможно, ее будущий муж князь Оболенский), отправились на вечернюю прогулку верхом. Об этом вечере на другой день поэт написал в альбом Оле стихотворение «Четыре лошади» (1911). Заканчивается оно строфой о прошедшей мимо любви:

И в чаду не страстей, а угара
Повторить его было невмочь.
— Видно выпила задняя пара

Все мечтанья любви в эту ночь.

Вера Неведомская рассказала и о развлечениях, которые придумывал поэт в их имении: «Там не было гнета „старших“: мой муж в 24 года распоряжался имением самостоятельно. Были тетушки, приезжавшие на лето, но они сидели по своим комнатам и не вмешивались в нашу жизнь. Здесь Гумилёв мог развернуться, дать волю своей фантазии. Его стихи и личное обаяние совсем околдовали нас и ему удалось внести элемент сказочности в нашу жизнь. Он постоянно выдумывал какую-нибудь затею, игру, в которой мы все становились действующими лицами. И в конце концов мы стали видеться почти ежедневно. Начались игры в „цирк“… у него было полное отсутствие страха. Он садился на любую лошадь, становился на седло и проделывал самые головоломные упражнения. Высота барьера его никогда не останавливала, и он не раз падал вместе с лошадью. В цирковую программу входили также танцы на канате, хождение колесом и т. д. Ахматова выступала как „женщина-змея“; гибкость у нее была удивительная — она легко закладывала ногу за шею, касалась затылком пяток, сохраняя при этом строгое лицо послушницы. Сам Гумилёв, как директор цирка, выступал в прадедушкином фраке и цилиндре, извлеченных из сундука на чердаке. Помню, как раз мы заехали кавалькадой человек в десять в соседний уезд, где нас не знали. Дело было в Петровки, в сенокос. Крестьяне обступили нас и стали расспрашивать — кто мы такие? Гумилёв, не задумываясь, ответил, что мы бродячий цирк и едем на ярмарку в соседний уездный город давать представление. Крестьяне попросили нас показать наше искусство, и мы проделали перед ними всю нашу „программу“. Публика пришла в восторг, и кто-то начал собирать медяки в нашу пользу. Тут мы смутились и поспешно исчезли. В дальнейшем постоянным нашим занятием была своеобразная игра, изобретенная Гумилёвым: каждый из нас изображал какой-то определенный образ или тип — „Великая Интриганка“, „Дон Кихот“, „Любопытный“ (он имел право подслушивать, перехватывать письма и т. п.), „Сплетник“, „Человек, говорящий всем правду в глаза“ и так далее. При этом назначенная роль вовсе не соответствовала подлинному характеру данного лица — „актера“, скорее наоборот, она прямо противоречила его природным свойствам. Каждый должен был проиграть свою роль в повседневной жизни. Забавно было видеть, как каждый из нас постепенно входил в свою роль и перевоплощался. Наша жизнь как бы приобрела новое измерение. Иногда создавались очень

острые положения; но сознание, что ведь это лишь шутка, игра, останавливало назревавшие конфликты. Старшее поколение смотрело на все это с сомнением и только качало головой. Нам говорили: „В наше время были приличные игры: фанты, горелки, шарады… А у вас — это что же такое? Прямо умопомрачение какое-то!“ Но влияние Гумилёва было неизмеримо сильнее тетушкиных поучений. В значительной мере нас увлекала именно известная рискованность игры. В романтической обстановке старых дворянских усадеб, при поездках верхом при луне и т. п. конечно были увлечения, более или менее явные, и игра могла привести к столкновениям. В характере Гумилёва была черта, заставлявшая его искать и создавать рискованные положения, хотя бы лишь психологически. Помимо этого у него было влечение к опасности чисто физическое. В беззаботной атмосфере нашей деревенской жизни эта тяга к опасности находила удовлетворение только в головоломном конском спорте…»

Гумилёв умел завоевывать доверие не только молодежи, но и старожилов Подобина. Летом там жила очень старая восьмидесятишестилетняя тетенька Пофинька. На протяжении последних пятидесяти лет она вела дневник своей жизни на французском языке. Гумилёву было очень интересно узнать, что же она пишет о них и их забавах, но старушка никогда и никому дневник не показывала. Тогда он решил очаровать ее своим изысканным поведением и галантными манерами. По приезде в имение поэт первым делом шел к старушке, здоровался, интересовался ее самочувствием и потом гулял с ней по аллеям парка. Когда была плохая погода — в гостиной помогал ей сматывать шерсть в клубок. И, конечно, умело наводил ее на воспоминания о молодости, о ее неудавшемся романе, из-за чего она осталась одна на всю жизнь. Уже через неделю такой дипломатической игры он удостоился почетного права послушать страницы заветного дневника. Правда, тут-то поэт и допустил оплошность, из-за которой этого права и лишился. Старушка, ругая по привычке молодежь, обронила фразу, что хождение на ходулях неприлично, так как из-за этого бьют головы и ломают ноги. Ему бы промолчать, а он возьми да подшути над ней: «Теперь я понимаю, почему в Тверской губернии так мало помещиков: оказывается, пятьдесят процентов их погибло на гигантских шагах!» После этого Гумилёв для нее стал таким же несерьезным, как и вся домашняя молодежь.

Другая тетя, Соня Неведомская семидесяти шести лет, очень любила стихи Гумилёва и просила Веру Алексеевну Неведомскую, чтобы она их читала, и даже многие стихи поэта сама выучила наизусть.

В начале августа испортилась погода, каждый день начинался с дождя, и веселые конные забавы пришлось прекратить. Тогда Николай Степанович придумал организовать домашний театр. Молодежь отправлялась в просторную библиотеку Неведомских, где в шкафах стояли старинные фолианты. Участники новой игры рассаживались по диванам. Однажды он придумал пьесу, которую назвал «Любовь-отравительница». Местом действия определили, конечно, рыцарскую Испанию XIII века. Каждый хотел выбрать себе роль по своему вкусу. Поэт был поставлен в трудные условия, тем не менее для всех он сумел написать в стихах интересные монологи. Правда, в пьесе появились Коломбина, Пьеро, Арлекин из итальянской commedia dell'arte (комедии масок). Здесь встречаются раненый рыцарь и послушница, ухаживающая за ним. Конечно, между ними возникает любовь. Но, видимо, вмешивается коварная игуменья. Однако влюбленным помогает дядя рыцаря — кардинал, который случайно оказывается в монастыре. Он и уговаривает строгую игуменью не вмешиваться в сердечные дела. Но поэту надо так завернуть интригу, чтобы придать пьесе трагизм. Оказывается, отец послушницы, сестры Марии, убил отца рыцаря и тот должен отомстить убийце. Николай Степанович вводит в пьесу действующее лицо наподобие тени отца Гамлета. Этот призрак говорит рыцарю, что если тот не будет мстить, то будет проклят. Рыцарь убивает себя кинжалом, а сестра Мария принимает яд. Опять смерть витает в произведении поэта (пусть и шаржированном до гротеска).

О постановке пьесы ее участница Вера Неведомская вспоминала: «Николай Степанович режиссировал, упорно добиваясь ложно-классической дикции, преувеличенных жестов и мимики. Его воодушевление и причудливая фантазия подчиняли нас полностью, и мы покорно воспроизводили те образы, которые он нам внушал. Все фигуры этой пьесы схематичны, как и образы стихов и поэм Гумилёва. Ведь и живых людей, с которыми он сталкивался, Н. С. схематизировал и заострял, применяясь к типу собеседника, к его „коньку“, ведя разговор так, что человек становился рельефным; при этом „стилизуемый объект“ даже не замечал, что Н. С. его все время „стилизует“».

Дружба Гумилёва с Неведомскими — Владимиром и его молодой женой, эффектной художницей с золотисто-рыжими волосами и светло-зелеными глазами — была воспринята Анной Андреевной по-своему: «У Веры Алексеевны был, по-видимому, довольно далеко зашедший флирт с Николаем С<тепановичем>, помнится, я нашла не поддающееся двойному толкованию ее письмо к Коле…»

Интересно, что к Маше Анна Андреевна не ревновала, понимала ее небесную чистоту. Возможно, понимала и то, что муж искал в Машеньке то, чего не могла ему дать она.

Кроме сочинительства легких шуточных пьес и стихов, Гумилёв работал в это блаженное для него лето и над переводом стихов любимого Теофиля Готье.

Последняя запись в альбоме Маши Кузьминой-Караваевой в то лето появилась 26 июля — это было стихотворение «Огромный мир открыт и манит;…» (1911). Акростих гласил: «Объясни и прости». Возможно, поэт просил Машу объяснить, как она воспринимает его чувства, и просил прощения за то, что не может ей дать того, чего она заслуживает. Строки стихотворения дышат предощущением разлуки и будущих печалей:

Огромный мир открыт и манит,
Бьет конь копытом, я готов,
Я знаю, сердце не устанет
Следить за бегом облаков.
Но вслед бежит воспоминанье
И странно выстраданный стих,
И недопетое признанье
Последних радостей моих…

Кто знает, может быть, именно в этих строках он и проговорил всю правду своей неустроенной жизни. Вскоре поэт расстался со своими обворожительными племянницами. Закончилось, наверное, лучшее лето его жизни.

7 августа Николай Степанович и Анна Андреевна выехали из Слепнева в Петербург. По дороге они остановились в Москве. Здесь Николая Степановича с супругой пригласил позавтракать в ресторане «Метрополь» С. А. Поляков, финансировавший в свое время журнал «Весы». Гумилёв не утерпел и спросил его, почему он закрыл журнал. И меценат честно ответил, что молодежь пошла не за Брюсовым, а за Андреем Белым. Последнего Поляков финансировать не собирался. В этой же гостинице Гумилёв встретился с Андреем Белым. Борис Николаевич взял его стихи для альманаха издательства «Мусагет». Где-то 10 августа жена поэта уехала одна в Санкт-Петербург.

В 1911 году Анна Андреевна скучала в Слепневе и написала всего два стихотворения. Одно из них — отрывок о русалке. А второе — о тоске. Почти не участвуя в играх и игнорируя конные развлечения, она проводила время в одиночестве. Видимо, не совсем в ее душе умерли в ту пору чувства к Гумилёву и она ревновала его ко всем этим развлечениям. Однажды она написала

стихотворение «Целый день провела у окошка…», в котором изливала тоску одиночества.

Из Санкт-Петербурга Анна Андреевна отправилась в Киев к своей матери, и 1 сентября 1911 года, в день убийства Столыпина, она была там.

Николай Степанович решил еще на несколько дней задержаться в Москве и посвятил свой досуг музеям, побывал в Третьяковской галерее и встретился со своим учителем В. Я. Брюсовым. На этот раз Валерий Яковлевич познакомил Гумилёва с молодым поэтом Николаем Клюевым.

Из Москвы Гумилёв почему-то не поехал в Санкт-Петербург, а вернулся в Слепнево. Вероятно, именно в это время он и закончил эссе о Теофиле Готье.

В августе многие журналы печатали стихотворения Гумилёва: «Да! Мир хорош как старец у порога…» («Нива», № 24), «Когда я был влюблен…» («Сатирикон», № 33), «Я закрыл Илиаду и сел у окна…» («Новое слово», № 8 и утренний выпуск «Биржевых ведомостей» от 14 августа), «Жизнь», «Константинополь» («Аполлон», № 8).

Из Слепнева поэт уезжал через станцию Подобино в двадцатых числах августа в преддверии наступающей осенней непогоды. Уезжали и Неведомские. Гумилёв на станции под моросящий вечерний дождь слагает экспромт[22]:

Грустно мне, что август мокрый
Наших коней расседлал,
Занавешивает окна,
Запирает сеновал.

И садятся в поезд сонный,
Смутно чувствуя покой,
Кто мечтательно влюбленный,
Кто с разбитой головой.

И к тебе, великий Боже,
Я с одной мольбой приду:
Сделай так, чтоб было то же
Здесь и в будущем году.

Грустно было поэту еще и потому, что он покидал Машеньку. В следующий раз ему было суждено встретиться с ней уже при других обстоятельствах. Осенью Маше стало совсем плохо и ее отправили на лечение в санаторий «Халил» в Финляндии. Николай Степанович оставляет все свои дела и 1 ноября едет к

уже смертельно больной племяннице. Видимо, гнетущие чувства и мысли уже не о земном, а о вечном посетили поэта, появившегося в санатории 2 ноября. В альбом Маши он записывает довольно мрачное стихотворение:

Я до сих пор не позабыл
Цветов в задумчивом раю,
Песнь ангелов и блеск их крыл,
Ее, избранницу мою.

Стоит ее хрустальный гроб
В стране, откуда я ушел,
Но так же нежен Гордый лоб,
Уста — цветы, что манят пчел.

Я их слезами окроплю
(Щадить не буду я свое),
И станет розой темный плющ,
Обвив, воскресную ее.

(«Я до сих пор не позабыл…», 1911)

Печалью дышат строки, горечь осталась после посещения племянницы. Машеньке лечение не помогло, и родители решили отправить ее на излечение в Италию, куда она уезжала с Санкт-Петербургского вокзала. Проводить ее пришел Николай Степанович. И здесь он написал последнее стихотворение в ее альбом — «Хиромант, большой бездельник…». Это была лирическая надежда на переписку с девушкой и надежда на ее скорое выздоровление. Но, увы, 29 декабря в Сан-Ремо она скончалась от чахотки. Для Гумилёва это была самая большая трагедия в жизни. Вместе с Машей он похоронил и свою недостижимую мечту о девушке небесной чистоты.

Памяти М. А. Кузьминой-Караваевой поэт в январе 1912 года посвятил проникновенное стихотворение «Родос». Наверное, он все время сравнивал свою жену и Машеньку. Через три года он пошлет жене фотографию с фронта и с обратной стороны совсем не случайно напишет последнюю строфу из стихотворения «Родос»:

Но, быть может, подумают внуки,
Как орлята, тоскуя в гнезде:
«Где теперь эти крепкие руки,
Эти души горящие — где?»

Не было ли это напоминанием о той, уже далекой Машеньке и ушедшем навсегда слепневском счастье?

Судьба подарит поэту еще одно слепневское лето. На сей раз это будет только лето покоя, а не любви.

Любовь у него в это время случилась, но не в Слепневе. А может быть, он хотел забыть Машеньку?..

Ночь с 31 декабря 1911 года на 1 января 1912 года супруги Гумилёвы проводили в только что открывшемся в Санкт-Петербурге на углу Итальянской улицы и Михайловской площади, рядом с Михайловским театром, ночном кафе «Бродячая собака». Кафе, располагавшееся в подвале, организовал Борис Пронин. Кузминым был написан знаменитый «Собачий гимн»:

Во втором дворе подвал,
В нем — приют собачий.
Всякий, кто сюда попал, —
Просто пес бродячий.
Но в том гордость, но в том честь,
Чтобы в тот подвал залезть!
Гав!..

13 января 1912 года, в пятницу, в этом, ставшем сразу популярным не только в среде творческой богемы, подвале проводился вечер, посвященный двадцатипятилетию творческой деятельности Константина Бальмонта. Самого поэта не было, он находился тогда в Париже и не мог вернуться на родину из-за опубликованных революционных стихотворений. Вечер открыл Сергей Городецкий. Потом читали стихи Николай Гумилёв, Анна Ахматова, Михаил Долинов, М. Моравская, Василий Гиппиус, Осип Мандельштам.

На вечере были не только поэты, но пришли художники и актеры. Среди посетителей была актриса театра Всеволода Мейерхольда Ольга Николаевна Высотская. Перед началом вечера она заглянула в «свиную книгу» кабаре, где посетители оставляли свои автографы, и прочитала на открытой странице: «Великий синдик Гу / Оставил точку на лугу». Подруга Алиса Творогова подтолкнула ее: «Смотри! Кто это расписывается в „Свиной книге“?» Когда новый посетитель отошел, Высотская прочитала: Н. Гумилёв.

Было весело. К подругам подошел Евгений Зноско-Боровский и представил им Николая Гумилёва. Поэт тут же расположился за их столом и начал рассказывать интересные истории из своей жизни. Условились о новой встрече. Время шло, и встречи

Гумилёва и Высотской переросли в настоящий роман. Ольга поняла, что Гумилёв для нее стал не только близким, но и дорогим человеком. Тут необходимо сделать некоторое отступление, чтобы рассказать о том, кто же такая Ольга Высотская.

Удивительна и необъяснима с обывательской точки зрения судьба актрисы Ольги Николаевны Высотской, родившейся 6 декабря 1885 года в Москве. Отец ее, Николай Григорьевич, был действительным статским советником. После окончания университета он работал директором Ярославской гимназии, а потом был переведен директором гимназии на Разгуляе в Москву, дожил до 1919 года и умер от тифа. Мать Ольги, Александра Александровна, окончила в Женеве консерваторию, но играла только для домашних. Умерла в 1939-м в городе Вязники Владимирской области.

Оля с детства увлеклась театром еще в Ярославле. В начале века сюда приезжали на гастроли такие знаменитые артисты, как Орленева, Мамонт-Дальский, Комиссаржевская. Когда отмечался очередной юбилей основанного Ф. Волковым театра, в Ярославль приехал московский Малый театр. Ярославцы в его постановке увидели «Горе от ума» А. Грибоедова. В спектакле ведущие роли играли Яблочкина и Южин. Юная гимназистка Оля смотрела на прославленных актеров с замиранием сердца. Так, одна из девяти муз, Мельпомена, стала главной в ее жизни и судьбе. Она не сомневалась, кем быть. Дебют юной артистки состоялся в маленькой театральной труппе в Москве. Вскоре О. Высотская уже становится участницей драматической школы Адашева — известного в то время актера Московского Художественного театра. Здесь заметили дарование Ольги Высотской довольно быстро. Через год она держала конкурс в труппу Художественного театра. Вначале все складывалось благополучно. На первом туре ее прослушал и одобрил сам Станиславский. Но на втором против выступил Немирович-Данченко. Он выдвинул на сегодняшний взгляд абсурдные претензии, мотивируя свой отказ тем, что у претендентки рост был выше среднего.

Казалось, неудача должна была сломить девушку, но этого не произошло. Она уезжает из Москвы в Санкт-Петербург и поступает в драматическую студию известного театрального деятеля Н. Евреинова. На сей раз она успешно прошла все испытания и закончила студию блестяще. Так началась большая сценическая жизнь Высотской. Она попала в театр Всеволода Мейерхольда, который требований к росту актрисы не предъявлял, ему важен был талант. Мейерхольд доверял Высотской играть самые сложные роли. Именно в это время она

знакомится с известными поэтами и писателями серебряного века А. Блоком, А. Толстым, М. Кузминым, А. Ахматовой, К. Чуковским.

Любви Гумилёва и Высотской было отпущено судьбой немногим больше года. Забегая вперед, скажу, что любовь эта увенчалась рождением сына Ореста.

Лето 1912 года Гумилёв снова проводит в Слепневе, куда он отправился в конце мая — начале июня.

Сюда же в первых числах июня приехал со своей семьей и больной сын умершей тети поэта Агаты Ивановны — Борис Владимирович Покровский, который был старше Николая Степановича на четырнадцать лет. Выглядел Борис совсем плохо.

В усадьбе снова собрались родственники. Приехала сестра поэта Александра Степановна вместе с Колей-маленьким и Марусей. По старшинству стол и чаепития возглавляла тетя Варя.

Вспоминая об этом времени, Елена Покровская (в замужестве Чернова) писала: «В комнате, где я жила, была старинная мебель: диван из красного дерева, кресла, обитые красным бархатом или плюшем. Стены оклеены синей бумагой, на которой красовалось множество рисунков. Рядом была прихожая. В ней стояла клетка с зеленым попугаем. Крестьяне звали его „заморской птицей“. Он часто кричал: „Попочка — душечка, попочка — птичка, попочка пить хочет!“ Когда он начинал надоедать своим криком, приходила Александра Степановна Сверчкова — для нас тетя Шура… — и усмиряла его, то есть накрывала его плотной тканью… А ее дочери Марусе было 17 лет, она была испуганной и забитой девушкой, постоянно говорила: „Тише, тише…“ Однажды я предложила ей поиграть в крокет. Она испугалась и сказала: „Не надо, шарик может разбудить бабушку“. В Царском Селе она, показывая мне чучела зверей, подводила меня к ним и говорила о них шепотом. В доме ее все жалели и называли Марусей или Мусей. Я никогда не слышала, чтобы ее называли Машей. С этим именем всегда связывалась Маша Кузьмина-Караваева. Маруся была очень болезненной, физически слабой. Длинную прогулку она не в состоянии была совершить. Мы иногда с ней играли, несмотря на возраст, она старше меня была на пять лет… Между Николаем Степановичем и Колей маленьким были своеобразные отношения. Коля маленький был при Николае Степановиче на положении адъютанта. Если старший идет кататься на лошадях, то же самое делает младший, если старший идет играть в теннис, так же поступает и младший. В общем, Коля маленький был всегда ведомый. Единственная его инициатива — он купался в тех местах, куда некоторые боялись вступить. От Николая

Степановича его отличало только то, что он был вне литературы. Я никогда не видела, чтобы он что-нибудь читал или писал. Коля маленький был своеобразным отражением Николая Степановича…»

Все собрались кроме Маши, но над летом витала ее тень. Ее тень витала над этим парком и прудом. Все осталось на месте: и те же соседи, и те же забавы, и те же верховые скачки по проселочным дорогам, то же все — да не то. Об охватившей его «вечной скорби» Гумилёв напишет жене (которая была в ту пору беременной) в первом же письме из Слепнева: «Милая Аничка, как ты живешь, ты ничего не пишешь. Как твое здоровье, ты знаешь, это не пустая фраза. Мама нашла кучу маленьких рубашечек, пеленок и т. д. Она просит очень тебя целовать. Я написал одно стихотворение вопреки твоему предупреждению не писать о снах… Посылаю его тебе, кажется, очень нескладное. Напиши, пожалуйста, что ты о нем думаешь. Живу я здесь тихо, скромно, почти без книг, вечно с грамматикой, то английской, то итальянской. Данте уже читаю, хотя, конечно, схватываю только общий смысл и лишь некоторые выражения. С Байроном (английским) дело обстоит хуже, хотя я не унываю. Я увлекся также верховой ездой, собственно, вольтижировкой, или подобием ее. Уже могу на рыси вскакивать в седло и соскакивать с него без помощи стремян. Добиваюсь делать то же на галопе, но пока неудачно. Мы с Олей устраиваем теннис и завтра выписываем мячи и ракетки. Таким образом, хоть похудею. Молли наша дохаживает последние дни, и для нее уже поставлена в моей комнате корзина с сеном. Она так мила, что всех умиляет. Даже Александра Алексеевна[23] сказала, что она самая симпатичная из наших зверей. Каждый вечер я хожу один по Акинихской дороге испытывать то, что ты называешь Божьей тоской… Мне кажется тогда, что во всей вселенной нет ни одного атома, который бы не был полон глубокой и вечной скорби. Я описал круг и возвращаюсь к эпохе „Романтических цветов“ (вспомни Волчицу и Каракаллу), но занимательно то, что когда я думаю о моем ближайшем творчестве, оно по инерции представляется мне в просветленных тонах „Чужого неба“… Все же я надеюсь обойтись без надрыва. Аничка милая, я тебя очень, очень и всегда люблю. Кланяйся всем, пиши. Целую. Твой Коля».

От нечего делать Николай Степанович занялся переплетом старинных книг, за долгие годы обветшавших.

В это же время поэт подписывает племяннице Ольге вышедшую весной книгу стихотворений «Чужое небо» (1912):

Мы с тобой повсюду рыскали,

Скукой медленной озлоблены,
То проворны, то неловки.
Мы бывали и в Борискове,
Мы бывали и в Подобине,
Мы бывали и в Дубровке.
Вот как мы сдержали слово
Ехать на лето в Слепнево.

В этом году главная вдохновительница отсутствовала, и альбом Ольги почти уже не пополнялся стихами. 18 июня поэт записал в альбом племянницы длинное стихотворение. По сути, это хроника слепневских событий в зарифмованном виде.

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

Зимнее стало, как сон.
Вот, отступает все дале,
Летний же начат сезон
Олиным Salto-Mortale…

Еще одно стихотворение написал поэт Ольге Кузьминой-Караваевой ко дню рождения, который они все вместе отправились 11 июля отмечать в Бежецк.

В то время поэт работал над стихотворениями «Итальянского цикла». Но не забывал и о тех, кого он опекал. 4 июня он отсылает В. Брюсову на адрес редакции журнала «Русская мысль» письмо, в которое вкладывает сборник стихотворений «Скифские черепки» Елизаветы Кузьминой-Караваевой, и, подчеркивая, что настроен к автору дружески, просит высказать свое мнение.

Еще в одном письме к Брюсову в этом же месяце Гумилёв интересуется судьбой «Скифских черепков» и просит написать в «Русской мысли» об этом издании, а заодно спрашивает о судьбе посланных им стихотворений.

В середине июля в Слепнево должна была приехать Анна Андреевна. Так как она была беременна, поэт отправился встречать ее в Москву. Конечно, он не удержался, чтобы не зайти в редакцию журнала «Русская мысль», и познакомил жену с Брюсовым. По признанию самой Ахматовой, она видела мэтра символизма «…в первый и последний раз…». В Москве они встретились с Андреем Белым. А потом Гумилёв занялся своим любимым делом — ходил по книжным лавкам вместе с Анной Андреевной.

В Слепневе к жене поэта тем летом было особое отношение. В семье Гумилёвых оберегали женщину, готовящуюся стать

матерью. Поскольку Аня не очень хорошо себя чувствовала, а комната ее находилась в мансарде на втором этаже, Коля-маленький, когда ей необходимо было подняться к себе, брал ее на руки и относил наверх.

Если Гумилёв не только участвовал в играх и конных скачках, но и напряженно работал, то Анна Андреевна вела уединенный образ жизни. Хотя за все время пребывания в Слепневе она написала одно стихотворение «Венеция».

Вкус к Слепневу Ахматова почувствует, когда приедет сюда на следующий год одна. Литературоведы подсчитают, что из девяносто восьми стихотворений, написанных в период с 1913 по 1917 год, сорок восемь у Ахматовой родились в Слепневе. В конце жизни она задумает написать книгу воспоминаний и в плане отметит отдельной главой Слепнево в 1911–1917 годах. Помета гласила: «Его (Слепнево. — В. П.) огромное значение в моей жизни».

В то время с Гумилёвым она откровенно скучала и ждала возвращения в Санкт-Петербург. Может быть, именно эти ощущения Анны Андреевны и легли в основу ее воспоминаний, где она утверждала уже, что не она скучала, а Николай Степанович. Что ж, Ахматова была известной путаницей.

12 августа супруги возвращаются в Санкт-Петербург, не дождавшись конца лета и срока, когда освободится в Царском Селе их дом, сданный на лето отдыхающим. Они поселяются в меблированных комнатах «Белград» на Невском проспекте и только к сентябрю, когда Анна Ивановна возвращается из Слепнева, переезжают в Царское Село.

18 сентября утром Анна Андреевна почувствовала, что пора отправляться в больницу.

Из Царского Села Николай Степанович поехал с Анной в Санкт-Петербург в самую лучшую и самую дорогую тогда клинику профессора Отта. С вокзала в родильный дом шли пешком. Будущий отец так растерялся и был так взволнован, что забыл взять извозчика. Дошли только к десяти часам утра. Родильный приют именовался: «Императрицы Александры Федоровны» и находился на 18-й линии Васильевского острова. Здесь-то и родился в этот день будущий выдающийся русский историк XX столетия Лев Николаевич Гумилёв. Жена брата поэта — Дмитрия вспоминала: «Никогда не забуду счастливого лица Анны Ивановны, когда она нам объявила радостное событие в семье — рождение внука. Маленький Левушка был радостью Коли. Он искренне любил детей и всегда мечтал о большой семье. Бабушка Анна Ивановна была счастлива, и внук с первого дня был

всецело предоставлен ей. Она его выходила, вырастила и воспитала…» О том, как был озабочен и взволнован молодой отец, писала в своих воспоминаниях подруга Ахматовой В. Срезневская: «Знаю, как он (Н. С. Гумилёв. — В. П.) звонил в клинику, где лежала Аня… Затем, по окончании всей этой эпопеи, заехал за матерью своего сына и привез их обоих в Царское Село к счастливой бабушке, где мы с мужем в те же дни обедали и пили шампанское за счастливое событие…»

Оставшиеся на хозяйстве в имении, по-видимому, Варвара Ивановна и Констанция Фридольфовна объявили крестьянам, что если родится наследник, все долги будут им прощены! Когда же радостная весть докатилась до Слепнева, крестьянам не только простили долги, но и вынесли для угощения большие лукошки с яблоками.

Рождение ребенка в семье поэта знаменовалось еще одним событием. Анна Андреевна вспоминала: «Скоро после рождения Левы мы молча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга». Это был фактический разрыв.

После 1912 года Николай Степанович больше не открывал в Слепневе летние сезоны. Беспечная и счастливая пора летнего слепневского времяпровождения закончилась для поэта навсегда.

Глава XII ПУТЕШЕСТВИЯ В АБИССИНИЮ

1. КОРРЕСПОНДЕНТ «РУССКОЙ РЕЧИ»

1 сентября 1910 года Гумилёв был приглашен на прием к графу Алексею Толстому. На вечере у графа собрались авторы «Аполлона»: Михаил Кузмин, Геннадий Чулков, Евгений Зноско-Боровский, Белкин, Петр Потемкин, Сергей Судейкин. Было весело, шумно, начало осени обещало оживление литературной жизни в Санкт-Петербурге.

За шампанским беседовали о летних приключениях. Николай вспомнил, что без одной недели девять месяцев как он покинул абиссинский порт Джибути. Друзья поинтересовались, не собирается ли он снова к дикарям, и поэт объявил, что не позднее 22 сентября он уедет в Африку. Это сообщение было встречено новыми тостами и пожеланиями привезти из Абиссинии шкуру льва или, на худой конец, леопарда! Никто не воспринял заявление поэта всерьез.

9 сентября 1910 года Гумилёв встретился с Кузминым в редакции «Аполлона». Николай Степанович сказал, что торопится закончить все редакционные дела, так как впереди его ждет колдовской континент. Михаил Алексеевич понял; что на вечере Гумилёв не шутил. А у самого Николая Степановича уже звучал «дикарский напев зурны».

В сентябре Николай Гумилёв писал Валерию Брюсову: «…я Вас очень благодарю за Ваше письмо и приглашенье. Для меня большая честь печататься в изданьях, руководимых Вами… В настоящую минуту то небольшое количество стихотворений, которое у меня было после „Жемчугов“ (я летом вообще пишу мало), разобрано разными редакциями. Рассказов я вообще не писал уже довольно давно. Но, конечно, Ваше письмо заставит меня работать… Дней через десять я опять собираюсь ехать за границу, именно в Африку. Думаю через Абиссинию проехать на озеро Родольфо[24], оттуда на озеро Виктория и через Момбад в Европу. Всего пробуду там месяцев пять. Ваша последняя статья в „Весах“[25] очень покорила меня, как, впрочем, и всю редакцию… Кстати, относительно „Аполлона“ я хочу Вас предупредить, что хотя я и считаюсь его ближайшим сотрудником, но влияние (и то только некоторое) имею лишь на отдел стихов, статьи же, рассказы и хронику читаю только по выходе номера».

13 сентября Николай Степанович пригласил своих близких друзей на прощальный вечер, который он устраивал в редакции

«Аполлона». Естественно, был Сергей Маковский, пришли граф Алексей Толстой с женой Софьей Дымшиц-Толстой, Сергей Судейкин со своей красавицей женой, граф В. Комаровский, позже подошел Валериан Чудовский. Застолье в редакции только раззадорило всех, и компания отправилась по предложению Гумилёва в Царское Село…

Последние перед поездкой дни поэт проводил в работе: отвечал на поступившие письма, готовил рецензии для «Аполлона» и собирался в дорогу. 20 сентября, прочитав слабые стихи А. Архангельского, тем не менее дал ему обстоятельный ответ и уважительно закончил письмо: «В надежде на Ваши будущие успехи». В этом эпизоде — весь Гумилёв, его серьезнейшее отношение к поэтам и поэзии.

В эти дни Николай побывал в редакции. В дневнике Михаил Кузмин записал: «В „Аполлоне“ был Гумми с седлом. Женю (Зноско-Боровского. — В. П.) долго ждали. Пошли обедать втроем и потом на Негритянскую оперетку[26], оказавшуюся вздором. Сначала было весело, но потом Потемкин и Гумилёв напились, последний удалился в Царское…» Вероятнее всего, на африканскую оперу друзей затащил именно Гумилёв.

Наконец все приготовления были закончены и поэт 22 сентября отправился в Одессу.

На другой день Анна Андреевна написала А. Архангельскому: «Николай Степанович Гумилёв уехал вчера на 4 мес<яца> в Африку».

В последних числах сентября пароход «Олег» увозил поэта из одесского порта в Турцию. 1 октября Гумилёв был уже в Константинополе.

В то время как младший из братьев плыл навстречу новым приключениям, старший — Дмитрий Гумилёв — по состоянию здоровья решил покинуть военную службу и 3 октября Высочайшим приказом был зачислен в запас армейской пехоты по Петербургскому уезду.

7 октября Николай Степанович отправил ответственному секретарю «Аполлона» Е. Зноско-Боровскому из Константинополя почтовую открытку: «Дорогой Женя, прости, поэма через неделю. Кланяйся всем. Твой Н. Гумилёв». Речь идет о поэме «Открытие Америки», которую Гумилёв писал на пароходе. Там же он, видимо, написал и два стихотворения. В одном из них — «У камина» — сквозит явная обида на Ахматову, что она не понимает его увлечения Африкой.

12 октября, когда Гумилёв прибыл в Каир, в Санкт-Петербурге в окружном суде наконец было закончено

рассмотрение дела о его дуэли с М. Волошиным. Суд вынес довольно нелепое решение: приговорить Гумилёва к семи дням домашнего ареста, а Волошина на один день заточить дома. Интересно, как выполнили это решение суда судебные исполнители?..

Тем не менее газеты снова подняли шум вокруг этой уже изрядно подзабытой истории. Опять запестрели заголовки: «Дуэль между литераторами» («Копейка», 1910, 13 октября), «Дело литераторов-дуэлянтов» («Русское слово», 1910, 13 октября), «Дуэль из-за поэтессы» («Петербургская газета», 1910, 13 октября). Гумилёва в Петербурге не было, но жене читать все это было неприятно.

В тот день, когда в Петербурге раздался газетный залп, Гумилёв был в Бейруте, потом в Порт-Саиде, откуда послал в тот же день законченную поэму «Открытие Америки» С. К. Маковскому с припиской: «В поэме я принимаю заранее все изменения, сделанные Вами вместе с Кузминым и Вячеславом Ивановичем»[27]. А 23 октября Гумилёв уже плыл на пароходе из Шеллаля в Хальфу.

24 октября ему пришлось проститься на время с морем и пересесть на поезд, идущий в Порт-Саид. И снова море — на сей раз Красное.

В последних числах октября Гумилёв попадает наконец в Джеду и Джибути.

В Джибути, только пароход стал на рейд, как к судну направилась целая флотилия туземных лодочек, ведомых черными сомалийцами. На одной из них поэт добрался до берега и отправился в город искать жилище.

5 ноября Гумилёв посылает в Санкт-Петербург Вячеславу Иванову почтовую открытку: «Многоуважаемый и дорогой Вячеслав Иванович. Опять попав в места, о которых мы столько говорили в прошлом году, я не смог удержаться от искушенья напомнить Вам о своем существовании этой открыткой. Как-то Вам понравилась моя поэма[28]? 4 песнь целиком написана в Средиземном море. Мой поклон Башне. Искренне преданный Вам Н. Гумилёв».

Отослал ли Гумилёв жене стихотворение «У камина», неизвестно.

…Мы рубили лес, мы копали рвы,
Вечерами к нам подходили львы.

Но трусливых душ не было меж нас,
Мы стреляли в них, целясь между глаз.

Древний я отрыл храм из-под песка.
Именем моим названа река,

И в стране озер пять больших племен
Слушали меня, чтили мой закон…

А что же любимая? Да, она вынужденно его терпела:

И, тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

Если же это стихотворение он не отослал, то действительно можно считать Ахматову колдуньей, на расстоянии читавшей мысли мужа. 9 ноября она пишет стихотворение «Он любил три вещи на свете…» (1910), где раскрывает их отношения:

…Не любил чая с малиной
И женской истерики.
…А я была его женой.

О том, как Гумилёв в ноябре 1910 года добирался из Джибути в Аддис-Абебу, достоверных сведений не сохранилось. Известно лишь, что поэт прибыл в столицу Абиссинии, по всей видимости, 18 ноября, так как уже на другой день он был в русском представительстве.

Российская миссия в Абиссинии находилась за речкой Камбаной, окруженная абисом и домами ашкеров и местных переводчиков. Само здание миссии располагалось на пригорке и было обнесено высокой стеной. Когда Гумилёв пришел в миссию — он был поражен красотой окружающего дом сада, где росли мимозы, эвкалипты и другие экзотические деревья, кусты и цветы. К дому вела тенистая дорожка в обрамлении цветущих растений. Возле него было высажено огромное количество кустов гераней и роз.

Принимали Николая Степановича в зале — в большой, пяти метров высоты, комнате, устланной и завешанной коврами. Прием был оказан доброжелательный, и тому были свои причины. Вот что писала 19 ноября жена посла русской миссии Анна Васильевна Чемерзина: «…Сегодня у нас завтракал русский корреспондент „Речи“ и журнала „Аполлон“ (декадентский) Н. С. Гумилёв, приехал изучать абиссинские песни. Очень

приятно было видеть русского. Он сообщил нам, что приехал одновременно с нашей горничной — женой Дмитрия и заботился о ней, служа ей переводчиком в Джибути и Дире-Дауа». Видимо, Гумилёв представился для солидности корреспондентом газеты и журнала, так как миссия была официальным российским учреждением и ему не хотелось называться частным лицом. Так ему казалось солиднее.

Борису Александровичу и Анне Васильевне Чемерзиным было о чем поговорить с русским путешественником. Ведь они незадолго до него сами проделали тот же путь. Они провели в этом большом восьмикомнатном доме всего несколько недель. До их приезда дом пустовал несколько лет. Еще в 1902 году русская миссия подверглась сокращению, в ней оставили всего пятнадцать человек. Пять лет назад случилась беда — умер русский посланник Лишин. То ли у него не оказалось родственников, то ли такова была воля покойного, но его похоронили неподалеку от дома. С тех пор дом пришел в запустение и настолько одичал, что туда приходили иногда ночью даже леопарды. Но незадолго до приезда Гумилёва все изменилось. Смотревший за миссией доктор Алексей Кохановский получил известие о прибытии нового посла и привел дом в порядок.

Сам Чемерзин только в начале августа 1910 года получил назначение и отправился в русскую миссию в Аддис-Абебу. Так же, как и Гумилёв, он со своей женой добирался из Одессы на пароходе в Джибути. Причем при входе в Босфор их держали в карантине, потом они восемь дней плыли по Красному морю и трое суток в Джибути ожидали возможности отправиться дальше. В Дыре-Дауа Чемерзины просидели три недели, подготавливаясь к походу и упаковывая свои грузы на спины сорока верблюдов. После чего под охраной туземцев отправились в сторону Аддис-Абебы. У Гумилёва верблюдов не было. Как известно, он добирался на мулах, да и багаж у него был намного скромнее и его нигде никто не готовился встречать. Возможно, Николаю Степановичу интересно было узнать саму процедуру представления посла в этой африканской стране. Чемерзины путь от Дыре-Дауа до Харара одолели за двое суток. Из Дыре-Дауа их провожали не только нештатный русский вице-консул Галеб со своими помощниками, но и местный абиссинский градоначальник с двумя телефонистами и ашкерами, а также жена французского губернатора Джибути мадам Паскаль, с которой Анна Васильевна познакомилась в Дыре-Дауа. В дорогу русским путешественникам дали телефонистов — двух служащих местного градоначальника.

Анна Васильевна восхищалась буйной африканской природой — мимозами, кактусами и другими причудливыми местными растениями и деревьями. А потом был поход через гористую местность Черчер[29]. Жена посла наверняка рассказала поэту о переходе, так как он произвел на нее настолько сильное впечатление, что Анна Васильевна оставила об этом путешествии свои воспоминания: «После Харара мы спустя день попали в горную страну Черчер. Красивее места и лесов трудно себе представить. Мы шли по Черчеру с дневками до 10 окт., сделали приблизительно до 10 перегонов, и все время я неустанно любовалась местностью: неприступными скалами, чудными девственными лесами, перевитыми льянами деревьями, один раз даже видела пальмы; наслаждалась неустанным пением соловьев, запахом душистого жасмина, шиповника, желтой душистой ромашки и невероятным разнообразием полевых цветов. Нередко видела летающих зеленых попугайчиков и других птиц очень пестрого оперения. Раза два видела сидящих на деревьях мартышек, скачущих с невероятной ловкостью по деревьям… В пути мы все время питались куропатками и цицарками, которые здесь водятся в диком состоянии; раза 2 ела кроншнепа, диких коз, которых мясо очень вкусно, и диких гусей. Птиц масса: орлов, коршунов видели всюду на стоянках, они неизменно летали над кухней. В общем диких животных почти не видели, кроме здешней дикой кошки, но всегда на стоянках слышали вой гиен и шакалов, и раза 2 видели даже логовище гиены в лесу. В пустыне видели коз и антилоп. По пустыне шли почти неделю, от 17 до 22 октября. Благодаря тому, что дожди только за месяц перед нашим приездом закончились. В пустыне лишь в одном только месте „Фантале“ не было воды для животных. Но был ручей для людей. В пустыне было терпимо, все время дул ветер, то С-З, то С.; видела смерчи… В Черчере мы усиленно гуляли по лесам, но позднее гулять было негде. В пустыне обыкновенно, умывшись и освежившись после завтрака, укладывались на походные кровати до 3 ч., читали и писали дневник пути, а затем подготовлялись к обеду. В пустыне часто питались супами-консервами, но на жаркое жарилось что-ниб. из дичи».

Из этого описания следует, что Гумилёв шел буквально по пятам за Чемерзиными. Правда, Чемерзины добирались до Аддис-Абебы тридцать девять дней, поэт этот путь проделал гораздо быстрее. Только 30 октября Чемерзины въехали в столицу Абиссинии. Наверняка поэт рассказывал Чемерзиным, как он сам добирался до Аддис-Абебы.

Но все-таки более всего мог заинтересовать поэта прием, оказанный русскому послу во время вручения верительных

грамот в императорском дворце. Сохранились воспоминания об этом Анны Васильевны: «…готовы для въезда в Аддис-Абебу. Борис в мундире с орденами, а я в белом шерстяном костюме, в белой шляпе с черными и белыми перьями, но укутанная в белую кисею с зеленым зонтиком для предохранения от жгучих лучей тропического солнца, которое жжет днем ужасно и бывает причиной частых солнечных ударов… Министры с мулом, свитой и войском прибыли в 11 ч., раньше явился доктор с конными ашкерами миссии с национальными флагами в руках на длинных древках (4 таких конных ашкера с флагами всегда сопровождают здесь Бориса при выездах из миссии). Министры были одеты так же декоративно, как в Хараре, но еще богаче и с большим количеством блесток и золотого шитья. Солдаты пешие и конные представляли все ту же декоративную картину, какою я любовалась уже в Хараре, предполагая, что я где-то на феерии. Министров Борис приветствовал кофе и ликерами; сказав взаимно несколько любезностей, мы все сели на мулов и коней и медленно двинулись по направлению к Геби. Дороги… <…> Мы въезжаем в 1-й двор: в глубине красивые белые ворота, к которым ведут высокие ступени; вокруг всего дворца черные воины в белых покрывалах (шамах) с пиками и щитами, со всевозможными бараньими, цветными (бархатными и атласными) и леопардовыми шкурами на плечах. Около ворот те же воины в очень живописной группе на ступенях. Полная картина из оперы „Африканка“. <…> В зале по сторонам масса придворных абиссинских вельмож. Борис сначала взволнованным, но затем твердым и ясным голосом читает свою речь. У меня сжимается горло от волнения за него, но это лишь момент. Я перед собой вижу мальчика — черного, красивого, с глазами газели, с пухлыми щеками и еще совершенно непривыкшего к своему высокому положению. Стою с левой стороны Бориса. Еще левее д-р Кохановский, драгоман миссии абиссинец переводит речь. Затем Борис берет письмо министра иностранных дел и передает регенту (если б был император, то государь писал бы письмо лично). Отвечает Борису по-абиссински один из служащих придворных переводчиков от лица наследника и переводит на французский яз. После передачи письма раздается 21 (по положению) выстрел из пушек. <…> После положенных 1/4 часа Борис просит разрешение удалиться. И мы, тем же порядком попрощавшись, покидаем зал».

Трудности, перенесенные в дороге Гумилёвым и Чемерзиными совсем недавно, в далекой от России Абиссинии не могли не сблизить их. Русский посол ввел Гумилёва в высшее абиссинское общество. О приезде Гумилёва знал сам абиссинский

Император (негус).

Гумилёв поселяется в гостинице hotel D'Imperatrice, а затем через некоторое время перебирается, видимо, в более дешевый hotel terrasse. Однако такое переселение поэту вышло боком. Его в один прекрасный день обокрали.

Чем занимался все эти дни с 19 ноября по 25 декабря 1910 года в Абиссинии Николай Степанович? Вероятнее всего, он планировал маршруты, которые вначале не удалось осуществить из-за острой нехватки денег, а потом, когда его обокрали, надежды эти рухнули окончательно. Одну из легенд об этом времени пребывания поэта в Абиссинии рассказал Всеволод Рождественский: будто бы Гумилёв познакомился с французом Мишелем де Вардо, и они решили организовать поездку в верховья правых головных притоков Голубого Нила. Чтобы получить туземные экспонаты быта, они накупили бижутерии для подарков местным жителям. По дороге общались с местными племенами и что-то выменивали на бусы, кольца и сережки, и тут «любвеобильный» Гумилёв, влюбившись в жену вождя племени, решил ее похитить. Но, конечно, верные слуги схватили «вероломного» бледнолицего иностранца и посадили его в яму — ловушку для львов. Казалось, он был обречен на гибель, но прекрасная жена вождя тайком кормила его, потом спрятала у себя. А дальше было чудесное спасение с помощью французского миссионера.

Это легенда, поэт никогда ни о чем подобном не рассказывал. Существует составленная им записка об Абиссинии, в которой сообщается: «…Я жил также четыре месяца в столице Абиссинии, Аддис-Абебе, где познакомился со многими министрами и вождями и был представлен ко двору бывшего Императора российским поверенным в делах в Абиссинии». Гумилёв написал это не для того, чтобы придать вес своим словам. Действительно, Чемерзин 25 декабря добился для русского поэта разрешения на приглашение на обед во дворце негуса в честь наследника абиссинского Императора Лидж-Иясу, внука Императора Менелика II. А. В. Чемерзина писала об этом обеде: «Борис устроил приглашение Гумилёву, который остался очень доволен всем, что видел». О том, как обычно проходили приемы у Императора, писал Аполлон Давидсон в книге «Муза странствий Николая Гумилёва»: «В приемном зале Императорского дворца Геби стоял большой стол для европейцев — дипломатов, врачей, служащих банка и вообще всех европейцев, „занимавших известное положение“. За этим столом сидел и абиссинский министр иностранных дел. Справа от него — жена английского посланника, слева — Чемерзина. На этот стол подавались

европейские кушанья, приготовленные поваром французского посланника. Лидж-Иясу, наследник императорского престола, обедал, сидя на своем троне… У подножия трона расположились регент и принцы крови. Все, что подавалось наследнику, сперва пробовали его телохранители и пажи. Трон отделялся от остального зала легкими занавесками. Когда обед кончился — началось угощение ветеранов и всех войск абиссинского правительства. Входили войска по старшинству и усаживались на полу, укрытом коврами и циновками, у невысоких столов, а служащие дворца вносили туши сырого мяса на больших палках, которые обносили между столами; каждый брал нож со стола и отрезал себе желаемый кусок мяса от туши. А запивали его напитком из меда и хмеля и заедали кислыми блинами. Всего обедало около трех тысяч человек, в том числе и ашкеры — солдаты, охранявшие русскую миссию…»

Новый, 1911 год поэт встречал у супругов Чемерзиных в русской миссии. В это время он пишет стихотворение «Видение» («Лежал истомленный на ложе болезни…»), в котором вместе со святым целителем Пантелеймоном появляется святой Георгий, покровитель воинства. И это можно считать пророческим: ведь святой Георгий пришел к будущему Георгиевскому кавалеру.

Общение Гумилёва с Чемерзиными стало постоянным, и 1 января 1911 года А. Чемерзина писала: «…Здесь у нас в Аддис-Абебе проживает временно декадентский поэт Гумилёв, окончивший Сорбонну и числящийся теперь на последнем курсе Петербургского университета. В мае мес. он женился на киевлянке, а уже в августе в конце выехал в Абиссинию и пребывает здесь неизменно. Мы, конечно, не спрашиваем его о причинах, побудивших его покинуть жену, но он сам высказался так, что между ним и его женой решено продолжительными разлуками поддерживать взаимную влюбленность. Вероятно, он скоро уезжает через пустыню и Черчер; решил предпринять этот путь, после тысячи самых невероятных проектов. Видимо, он богатый человек, очень воспитанный и приятный в обращении». Как видно из этого короткого письма Чемерзиной, Гумилёв многое приукрасил, вернее, представил так, как ему хотелось. Известно, что Сорбонну он не окончил и в университете на последний курс так и не перебрался, но для него это не имело никакого значения. Он хотел, чтобы его принимали таким, каким он себя рисовал. Увы, и богатым поэт никогда не был.

На Новый год у Чемерзиных была елка. 14 января 1911 года Анна Васильевна Чемерзина писала: «…привезли деревцо, напоминающее наши елки, украсили свечами громадными да

цветами и лентами; в общем было недурно. Зажигали в Сочельник и на Рождество в присутствии доктора и русского Гумилёва…»

А потом был путь назад через пустыню Черчер с местным поэтом ато-Иосифом, чтобы по дороге собрать абиссинские песни и по возможности предметы быта, фольклор и живопись. Сегодня известны переводы двенадцати абиссинских песен («Приветствую Деву Марию…», «Смерти не миновать: был император Аба-Данья…», «Этой ночью мне снилась кошка…», «Менелик сказал: „Седлающих мулов и коней…“», «Нападающий воин крепок, как столб…», «Самое высшее счастье смотреть…», «В ружье негуса…», «Как люди, увидя Лидж-Иясу, трепещут…», «Хой, хой, Аба-Мулат Хайле Георгис…», «Убивающего леопардов выше убивший слона…», «Хуме и Дагоме сообща владеют камнем мира…», «Шавело прекрасное место, где растет тростник…»), которые Гумилёв записал после последнего африканского путешествия и собирался издать отдельной книжечкой. К будущему изданию поэт написал также вступление: «Песни собраны мной в течение трех моих путешествий в Абиссинию и переданы по возможности буквально. Ни одна еще, насколько мне известно, не была переведена на европейские языки. Свежесть чувства, неожиданность поворотов мысли и подлинность положений делают их ценными независимо от экзотичности их происхождения. Их примитивизм крайне поучителен наряду с попытками в том же роде».

Писал ли Гумилёв домой, что собирается вернуться или нет, — неизвестно. Но уже в конце января его жена возвращается в Царское Село. Скорый приезд мужа навевает Анне Андреевне определенные чувства, выразившиеся в стихах, написанных 10 и 12 февраля в Царском Селе. В первом стихотворении она, явно тяготясь их отношениями, пишет:

Как соломинкой, пьешь мою душу.
Знаю, вкус ее горек и хмелен.
Но я пытку мольбой не нарушу.
О, покой мой многонеделен.
……
Кто ты: брат мой или любовник,
Я не помню, и помнить не надо.

Как светло здесь и как бесприютно,
Отдыхает усталое тело…
А прохожие думают смутно:
Верно, только вчера овдовела.

(«Как соломинкой, пьешь мою душу…», 1911)

Ахматова пишет черными колдовскими красками, представляя себя в глазах окружающих вдовой. Гумилёв ответит ей в мае этого же года знаменитым «Из логова змиева». Интересно, что сама Ахматова позже скажет об этом стихотворении мужа: «Полушутка, полустрашная правда…» Это уже не любовь, а борьба двух поэтов за право быть ни за кого и ни с кем. Это война за одиночество на земле.

Ахматова, вспоминая гимназическое стихотворение Гумилёва «Русалка», посвященное ей, ответит сквозь время:

Мне больше ног моих не надо,
Пусть превратятся в рыбий хвост!
Плыву, и радостна прохлада,
Белеет тускло дальний мост.
……..
Смотри, как глубоко ныряю,
Держусь за водоросль рукой,
Ничьих я слов не повторяю
И не пленюсь ничьей тоской…

(«Мне больше ног моих не надо…», 1911)

Анна открыто говорит мужу, что душа ее не принадлежит никому. Понимала ли она, что доставляет ему горе и печаль? Конечно, понимала. Об этом она прямо скажет 7 декабря 1910 года в стихотворении: «Я смертельна для тех, кто нежен и юн, / Я птица печали. Я — Гамаюн…» За время отсутствия мужа Анна написала много прекрасных стихотворений, в том числе и ставшие знаменитыми «Сероглазый король» (11 декабря 1910 года. Царское Село) и «Сжала руки под темной вуалью…» (8 января 1911 года, Киев). Анна Андреевна научилась страсть своей неприкаянной души вкладывать в поэтические строки. Из нервной и неуравновешенной русалки с Лысой горы она превратилась в поэтессу-колдунью, мрачную вещунью. Теперь ее поэтические предсказания будут приносить беды ее возлюбленным. Она станет «роковой» женщиной.

Гумилёв, уставший от африканского зноя, загоревший и жаждавший рассказать о своих открытиях и находках, в конце февраля, достигнув Джибути, направлялся домой. Дата отплытия его от берегов Африки неизвестна, но в марте 1911 года на пароходе через Александрию и Константинополь он прибыл в

Одессу. Из Константинополя Гумилёв успел дать телеграмму о своем возвращении. Анна Андреевна захотела поехать в Одессу и встретить его, но мать поэта остудила пыл молодой жены, посчитав, что та все равно не успеет к приходу парохода и они могут разминуться.

25 марта на Благовещение Гумилёв приехал в Царское Село. Какой была встреча супругов после длительной разлуки? Наверное, они истосковались друг по другу. Гумилёв хотел увидеть любящую супругу, которая ждала его. Ахматова желала увидеть его, чтобы скорее похвастаться новыми стихами. Едва он переступил порог, она, как признавалась потом, стала ждать его вопросов именно об этом. Анна Андреевна вспоминала позже: «В нашей первой беседе он… спросил меня: „А стихи ты писала?“ Я, тайно ликуя, ответила: „Да“. Он попросил почитать, прослушал несколько стихотворений и сказал: „Ты — поэт, надо делать книгу“». Гумилёв понял, что перед ним уже не только жена, но и настоящий поэт. Потому он и будет прощать ей многие слабости, ведь дороже поэзии для него на свете ничего не было.

В апреле Николай Степанович написал акростих «Аддис-Абеба, город роз…». В нем сквозила обида обманутого и отравленного пилигрима:

…Армидин сад… Там пилигрим
Хранит обет любви неясной
(Мы все склоняемся пред ним),
А розы душны, розы красны.

Там смотрит в душу чей-то взор.
Отравы полный и обманов…

Поэтическая дуэль двух поэтов продолжалась.

Гумилёв вернулся из долгого путешествия не совсем здоровым (получил в Абиссинии болотную лихорадку — малярию), но не пожелал отлеживаться дома. Он торопился поделиться с друзьями своими впечатлениями. На следующий день поэт отправляется в Санкт-Петербург, где обсуждает с Е. Зноско-Боровским и М. Кузминым план организации вечера в «Аполлоне», посвященного его поездке в Абиссинию. В этот же вечер они были на заседании Общества ревнителей художественного слова и слушали доклад Н. В. Недоброво «Ритм, метр и их взаимоотношения».

2 апреля, несмотря на плохое самочувствие, он снова приезжает в «Аполлон» и встречается с М. Кузминым и

В. Князевым. Все вместе они едут в Царское Село. Туда же приезжает в этот день Осип Мандельштам.

Наконец число и время выступления Гумилёва согласовано и редакция рассылает приглашения.

4 апреля Николай Гумилёв и Анна Ахматова отправляются на «башню» к Кузмину. Там они встречают Алексея Толстого, Георгия Чулкова, Осипа Мандельштама, Веру Швар-салон. До ночи делятся впечатлениями и читают стихи. Гумилёвы остаются ночевать на «башне».

5 апреля 1911 года в редакции журнала «Аполлон» поэт делает сообщение о путешествии в Абиссинию. Сохранился конспект его выступления: «1910 год в Абиссинии или трогательные и занимательные приключения поэта-охотника на африканских гиен. 1. Приезд в Абиссинию или беда от одалисок. 2. Ужасная правда или последствия любовного увлечения. 3. Я знаю, как расплатиться (шпалы, печник, гиена). 4. Под перекрестным огнем: любовь и долг. 5. Одни картины. Антракт. В ежовых рукавицах. На невольничьем рынке. 7. Строгий владелец, кофейница и неожиданное действие стихов. 8. Ужасная встреча со слоном и торжественное с хвостом возвращение».

Мнения о докладе были противоречивыми. Михаил Кузмин отметил в дневнике: «Доклад был туповат, но интересный». Корней Чуковский написал Валерию Брюсову: «Был я на чтении Гумилёва об Абиссинии. Не нравится мне этот Ваш „вскормленник“. Одна голая изысканность, — без ума, чувства действительности, без наблюдательности, — жалка и смешна. В лучшем случае он карикатурен». Александр Кондратьев писал тому же Брюсову: «Тема доклада была очень опасная и требовала многих умолчаний, чтобы не напомнить героя нескольких наиболее удачных романов Доде. С трудностями Гумилёв справился. Описывал он и свою охоту на льва, и то, как его мотал на рогах африканский буйвол (при описании этих двух эпизодов в особенности чувствовались фигуры умолчания…)»

Несмотря на подобные отзывы, мэтр символизма отнесся к докладу очень серьезно и даже написал по мотивам рассказов Гумилёва газелу, которую прочитал 13 апреля 1911 года на очередном заседании Общества ревнителей художественного слова, и дал высокую оценку образцов абиссинской народной поэзии, записанных и переведенных Н. С. Гумилёвым во время его африканского путешествия. Об этом сообщал в своем отчете В. А. Чудовский.

Потом в «Синем журнале», в восемнадцатом номере за 1911 год, Н. Гумилёв опубликует пять абиссинских икон-картин со своими комментариями.

А поэт Александр Кондратьев напишет шуточную «Песнь торжественную на возвращение Николая Степановича Гумилёва из путешествия в Абиссинию»:

Братья, исполните радостный танец!
Прибыл в наш круг из-за дальнего Понта
Славу затмить мексиканца Бальмонта
С грузом стихов Гумилёв-африканец!
……
Перьями страуса гордо украшен,
С гривами льва над челом благодарным
Пред крокодиловым зевом голодным,
Грозно отверстым, стоял он, бесстрашен.

И возвратившись к супруге на лоно,
Ждавшей героя верней Пенелопы,
Он ей рога молодой антилопы
С нежной улыбкой поднес благосклонно.

2. ПОСЛАННИК ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ

Могла ли надолго отпустить Африка поэта-путешественника, если он верил, что найдет неисследованные племена и земли? Не приходится сомневаться в том, что Гумилёв изучил множество книг и публикаций об Африке. Среди них была книга известного писателя, в будущем генерал-лейтенанта и атамана войска Донского П. Н. Краснова «Казаки в Абиссинии. Дневник начальника конвоя Российской Императорской миссии в Абиссинии в 1897/98 году» (СПб., 1900). Интересно, что в его экспедиции был кадет 1-го Московского корпуса Хайля Мариам Уонди, сын Ато Уонди, харарского землевладельца, абиссинец по происхождению. Восьми лет от роду он приехал в Петербург, в совершенстве овладел русским, но совершенно забыл свой родной язык.

Гумилёва теперь совсем не устраивали популярные описания Черного континента, ему хотелось узнать, что думают о континенте ученые. Но как войти в храм науки, совершенно обособленный, как отдельная каста в Индии? Никто из ученых не хотел выслушать поэта. Правда, рассказами об Африке заинтересовался его друг — поэт Владимир Нарбут. Но у него были на это свои причины.

Нарбут занялся издательским делом, начав выпускать «Новый журнал для всех». Поэт взялся за дело с большим энтузиазмом,

полностью изменив направление этого давно издававшегося салонного журнала. Вместо политических обзоров В. Нарбут печатал статьи о современных литературных направлениях. Потом объявил читателям, что обещанная прежним издателем премия — два тома современной беллетристики — заменяется на сочинения украинского философа Сковороды и стихи Бодлера в переводе Владимира Нарбута. Георгий Иванов пишет в воспоминаниях, что подписчики были ошарашены, в редакцию посыпался град возмущенных писем. А Нарбут преспокойно отвечал, что журнал предназначен вовсе не для «тупиц и пошляков», пусть, мол, последние довольствуются книжками «Вестника Европы», сочинениями Надсона или Иванова-Разумника. После этого заявления разразился скандал. Нарбута не поддержали даже литераторы, хотя они хорошо понимали разницу между дешевой беллетристикой и стихами Бодлера.

Нарбут с легким сердцем бросил издательское дело и продал этот журнал демократического направления господину Гарязину — как потом выяснилось, члену Союза русского народа.

Пока в свете шли пересуды, Нарбут исчез из Петербурга. Куда — никто не знал, даже его брат Георгий Нарбут, впоследствии известный художник.

Через несколько месяцев после его исчезновения во все петербургские редакции пришла телеграмма: «Абиссиния. Джибути. Поэт Владимир Нарбут помолвлен с дочерью повелителя Абиссинии Менелика».

Однако все это оказалось шуткой, мистификацией. Вскоре Нарбут и сам написал об этом в письме из Гранд-отеля в Джибути, припечатав на него герб Нарбутов: «Дорогие друзья (если вы мне еще друзья), шлю привет из Джибути и завидую вам, потому что в Петербурге лучше. Приехал сюда стрелять львов и скрываться от позора. Но львов нет, и позора, я теперь рассудил, тоже нет: почем я знал, что он (Гарязин. — В. П.) черносотенец? Я не Венгеров, чтобы все знать. Здесь тощища. Какой черт меня сюда занес? Впрочем, скоро приеду и сам все расскажу. Брак мой с дочкой Менелика расстроился, потому что она не его дочка. Да и о самом Менелике есть слух, что он семь лет тому назад умер». Объявился Нарбут так же неожиданно, как и пропал, и обо всем рассказал на устроенном им вечере по случаю возвращения из Абиссинии в Петербург.

Друзья настолько привыкли к розыгрышам и шуткам Владимира Ивановича, что не поверили даже в его поездку в Африку. Тогда тот с возмущением воскликнул: «А вот, приедет Гумилёв, пусть меня проэкзаменует!»[30]

Гумилёв действительно проэкзаменовал Нарбута на знание

местных абиссинских особенностей и некоторых терминов, а также адресов соответствующих заведений, о которых, по словам поэта, в присутствии дам говорить неудобно. После этого Николай Степанович объявил, что Нарбут не врет и действительно был в Джибути.

Африка настолько неприятно поразила Владимира Нарбута, что в 1912, 1913 и 1918 годах он возвращался к этой теме в стихах, где Абиссиния предстает не библейской землей, овеянной мифами и легендами, а забытым прокаженным краем, воротами в преисподнюю:

> На пыльной площади, где камень
> посекся мелкою остряшкой,
> коричневатыми руками
> суются слизанные чашки,
> мычат гугняво и гортанно,
> выклянчивая милостыню,
> те, кто проказой, Богом данной,
> как Лазарь, загнаны в простыни[31]…

Наверняка Гумилёв не согласился с мрачными рассказами своего друга. А стихи, процитированные выше, увидели свет уже после его гибели.

В 1912 году Николай Степанович все же нашел выход в ученый мир. Он договорился о встрече с известным профессором-египтологом. Чем окончилась для Гумилёва эта встреча, поэт описал в первой главе «Африканского дневника»: «…в декабре 1912 года я находился в одном из тех прелестных, заставленных книгами уголков Петербургского университета, где студенты, магистранты, а иногда и профессора пьют чай, слегка подтрунивая над специальностью друг друга. Я ждал известного египтолога, которому принес в подарок вывезенный мной из предыдущей поездки абиссинский складень: Деву Марию с младенцем на одной половине и святого с отрубленной ногой на другой. В этом маленьком собранье мой складень имел посредственный успех: классик говорил о его антихудожественности, исследователь Ренессанса о европейском влиянье, обесценивающем его, этнограф о преимуществе искусства сибирских инородцев. Гораздо больше интересовались моим путешествием, задавая обычные в таких случаях вопросы: много ли там львов, очень ли опасны гиены, как поступают путешественники в случае нападения абиссинцев. И как я ни уверял, что львов надо искать неделями, что гиены трусливее зайцев, что абиссинцы страшные законники и никогда ни на кого

не нападают, я видел, что мне почти не верят. Разрушать легенды оказалось труднее, чем их создавать. В конце разговора профессор Ж. спросил, был ли я уже с рассказом о моем путешествии в Академии наук. Я сразу представил себе это громадное белое здание с внутренними дворами, лестницами, переулками, целую крепость, охраняющую официальную науку от внешнего мира; служителей с галунами, допытывающихся, кого именно я хочу видеть; и, наконец, холодное лицо дежурного секретаря, объявляющего мне, что Академия не интересуется частными работами, что у Академии есть свои исследователи и тому подобные обескураживающие фразы. Кроме того, как литератор я привык смотреть на академиков, как на своих исконных врагов. Часть этих соображений, конечно, в смягченной форме, я и высказал профессору Ж. Однако не прошло и получаса, как с рекомендательным письмом в руках я оказался на витой каменной лестнице перед дверью в приемную одного из вершителей академических судеб. С тех пор прошло пять месяцев. За это время я много раз бывал и на внутренних лестницах, и в просторных, заставленных еще не разобранными коллекциями кабинетах, на чердаках и в подвалах музеев этого большого белого здания над Невой. Я встречал ученых, точно только что соскочивших со страниц романа Жюль Верна, и таких, что с восторженным блеском глаз говорят о тлях и кокцидах, и таких, чья мечта добыть шкуру красной дикой собаки, водящейся в Центральной Африке, и таких, что подобно Бодлеру, готовы поверить в подлинную божественность маленьких идолов из дерева и слоновой кости. И почти везде прием, оказанный мне, поражал своей простотой и сердечностью. Принцы официальной науки оказались, как настоящие принцы, доброжелательными и благосклонными. У меня есть мечта, живучая при всей трудности ее выполнения. Пройти с юга на север Данакильскую пустыню, лежащую между Абиссинией и Красным морем, исследовать нижнее течение реки Гаваша[32], узнать рассеянные там неизвестные загадочные племена. Номинально они находятся под властью абиссинского правительства, фактически свободны. И так как все они принадлежат к одному племени данакилей, довольно свободному, хотя очень свирепому, их можно объединить и, найдя выход к морю, цивилизовать или, по крайней мере, арабизировать. В семье народов прибавится еще один сочлен. А выход к морю есть. Это — Рагейта, маленький независимый султанат, к северу от Обока. Один русский искатель приключений — в России их не меньше, чем где бы то ни было, — совсем было приобрел его для русского правительства. Но наше министерство иностранных дел ему отказало. Этот мой маршрут не был принят

Академией. Он стоил слишком дорого. Я примирился с отказом и представил другой маршрут, принятый после некоторых обсуждений Музеем антропологии и этнографии при императорской Академии наук. Я должен был отправиться в порт Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе, оттуда по железной дороге к Харару, потом, составив караван, на юг в область, лежащую между Сомалийским полуостровом и озерами Рудольфа, Маргариты, Звай; захватить возможно больший район исследования; делать снимки, собирать этнографические коллекции, записывать песни и легенды. Кроме того, мне предоставлялось право собирать зоологические коллекции. Я просил о разрешении взять с собой помощника, и мой выбор остановился на моем родственнике Н. Л. Сверчкове, молодом человеке, любящем охоту и естественные науки. Он отличался настолько покладистым характером, что уже из-за одного желания сохранить мир пошел бы на всевозможные лишения и опасности. Приготовления к путешествию заняли месяц упорного труда… Право, приготовления к путешествию труднее самого путешествия…»

В действительности приготовления заняли гораздо больше времени. С тех пор как поэт встретился с профессором-египтологом и до его отправки прошло больше четырех месяцев. Но можно сказать, что Гумилёву повезло, ибо незадолго до этого Музей антропологии и этнографии получил право на государственные дотации для создания коллекций экспонатов из Индии, Южной Америки и Африки. Так что поэт был среди первых, кто этим правом воспользовался.

Но если на пути к своей любимой Африке он не прошел через дантовские круги ада, то нервы ему потрепали основательно, пока утрясались все формальности.

Первым делом нужно было получить разрешение на бесплатный проезд на поездах и пароходе до Абиссинии. Все-таки академия в полной мере не могла оплатить все расходы. Тогда к этому процессу подключился известный ученый, директор Музея антропологии и этнографии Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге, действительный тайный советник, академик В. В. Радлов. 20 марта 1913 года он отправляет письмо председателю Российского Добровольческого флота: «Милостивый государь Отто Львович! Позволю себе обратиться к Вашему Превосходительству со следующей просьбой. Музей антропологии и этнографии имени Императора Петра Великого командирует в Абиссинию для собирания этнографических коллекций и для обследования племен галла и сомали Николая Степановича Гумилёва и Николая Леонидовича Сверчкова. Ввиду

крайне ограниченной суммы, ассигнованной на эту экспедицию, обращаюсь к Вашему просвещенному содействию для предоставления означенным лицам свободного проезда на пароходах Добровольного Флота от Одессы до Адена и обратно. Экспедиция предполагает выехать 10 апреля из Одессы и возвратиться в начале августа…»

Можно было письмо отнести и вручить лично. Ведь правление Добровольческого флота располагалось в Санкт-Петербурге на Михайловской площади, 5 — от силы два с половиной километра от Музея антропологии и этнографии. Но правила бюрократического общения не позволяли сделать этого.

Через шесть дней Радлов подготовил еще три документа. В этот же день поэт получает «открытый лист», официальный документ, подтверждающий цель поездки: «Ник. Степ. Гумилёву и Ник. Леонид. Сверчкову, отправляющимся в Абиссинию для научных исследований».

И наконец 26 марта В. В. Радлов отправил Борису Александровичу Чемерзину, русскому посланнику в Абиссинии, письмо, в котором заслуженный ученый просит оказать содействие Н. С. Гумилёву в его путешествии: «Его Превосходительству Б. А. Чемерзину. Милостивый государь Борис Александрович! Позволю себе обратиться к Вашему Превосходительству со следующей просьбой. Музей антропологии и этнографии командирует Н. С. Гумилёва в Абиссинию для изучения племен галласов. Так как для беспрепятственного проезда по стране этого племени необходимо содействие губернатора г. Харара, покорнейше прошу исходатайствовать соответствующее рекомендательное письмо от Абиссинского правительства и выслать таковое по адресу г. Гумилёва в Dire-Daua, а также сообщить русскому вице-консулу в Джибути об оказании содействия г. Гумилёву в этом городе, чем премного обяжете музей Императорской Академии наук и Вашего покорного слугу. В. Радлов».

29 марта Гумилёв узнал печальную весть: его хороший знакомый, поэт, офицер В. Г. Князев из-за несчастной любви выстрелил себе в грудь. Рана оказалась смертельной. Гумилёв не мог не вспомнить, как он сам пытался уйти из жизни. И тоже из-за любви. Но долго унывать было некогда. Уже 2 апреля Николаю Степановичу дали разрешение получить с петербургского склада просимое оружие. В письме генерал-лейтенанта артиллерийского управления сообщалось: «В музей антропологии и этнографии Императора Петра Великого. Одновременно сделано распоряжение об отпуске за деньги из Петербургского склада 5-ти винтовок Бердана с 1000 патронами г. Гумилёву,

отправляющемуся в Абиссинию во главе снаряженной туда экспедиции. Стоимость отпущенного будет удержана непосредственным распоряжением Начальника Артиллерии Петербургского военного округа».

А 5 апреля 1913 года в Музей антропологии и этнографии пришло официальное письмо из правления Добровольческого флота, уведомляющее о согласии: «В Музей антропологии и этнографии имени Императора Петра Великого. В ответ на отношение от 20 прошлого марта Правление Добровольного флота имеет честь уведомить о согласии своем предоставить бесплатный проезд на пароходе Добровольного Флота от Одессы до Джибути и обратно, с оплатою продовольствия за собственный счет, Н. С. Гумилёву и Н. Л. Сверчкову, отправляющимся в Абиссинию для собирания коллекций и обследования местных племен. Предельным пунктом поездки указывается Джибути, а не Аден, так как обычно пароходы Добровольного Флота в Адене не останавливаются…»

Как только определилась окончательно дата его отъезда, поэт написал об этом в письме В. Брюсову: «…7 апреля. В этот день я уезжаю на четыре месяца по поручению Академии наук в Африку, в почти неизведанную страну Галла, что на востоке от озера Родольфо. Письма ко мне доходить не могут…»

Наконец-то все волнения позади, сестра Александра больше не причитает об опасностях, которые поджидают ее сына Колю-маленького в предстоящей и неизвестной для нее экспедиции, все домашние свыклись с мыслью, что на днях Николай Степанович уедет, и надолго. И тут, когда уже все треволнения остались позади, у поэта случился приступ, видимо, болотной лихорадки. 6 апреля у него начался сильный жар. Домашние перепугались и пригласили доктора, так как думали, что это тиф. Измерили температуру: градусник зашкаливало — он показывал сорок градусов. Доктор развел руками, точный диагноз трудно было сразу установить. Требовалось время, а его-то как раз и не было. Температура не снижалась, Николай Степанович бредил и изрядно напугал приехавшего к нему 7 апреля поэта Георгия Иванова. В минуты, когда он проваливался в небытие, говорил о каких-то кроликах, которые умеют читать. Потом приходил в себя, но говорил с трудом. Иванов решил, что Гумилёв никуда не поедет. Посидел, стал прощаться, но Гумилёв руки не подал. «Еще заразишься, — сказал он, — ну, прощай, будь здоров, я ведь сегодня непременно уеду». Георгий Иванов подумал, что Николай снова бредит. На следующий день он приехал снова в Царское Село, чтобы навестить друга, но нашел дома лишь заплаканную Ахматову, сообщившую ему: «Коля уехал».

За два часа до отхода поезда Николай Степанович попросил воды для бритья. Побрился, оделся и с Колей Сверчковым отправился в… Африку. С собой он не забыл прихватить томик стихов Теофиля Готье.

9 апреля Гумилёв и Сверчков были в Одессе. В груди поэта зазвучала музыка свободной стихии. Он пишет стихотворение «Снова море» (1913?):

Я сегодня опять услышал,
Как тяжелый якорь ползет,
И я видел, как в море вышел
Пятипалубный пароход,
Оттого-то и солнце дышит,
А земля говорит, поет.

Но странное дело, вместе с предощущением Африки и долгожданного морского плавания у Николая Степановича появляется тоска и об оставленной литературной деятельности. Он заходит в типографию и потом записывает в своем дневнике: «…В типографии, где я печатал визитные карточки, мне попался на глаза свежий номер печатающейся там же вечерней одесской газеты. Развернув его, я увидел стихотворение Сергея Городецкого с измененной лишь одной строкой и напечатанное без подписи. Заведующий типографией сказал мне, что это стихотворение принесено одним начинающим поэтом и выдано им за свое. Несомненно, в Одессе много безукоризненно порядочных, даже в северном смысле слова, людей. Но не они задают общий тон. На разлагающемся трупе Востока завелись маленькие юркие червячки, за которыми будущее. Их имена — Порт-Саид, Смирна, Одесса».

Николай Степанович спешит сообщить Анне Андреевне свои новые впечатления о литературных событиях юга и о том, чем он сам занят: «Милая Аника, я уже в Одессе и в кафе почти заграничном. Напишу тебе, потом попробую писать стихи. Я совершенно выздоровел, даже горло прошло, но я еще несколько устал, должно быть, с дороги. Зато уже нет прежних кошмаров; снился раз Вячеслав Иванов, желавший мне сделать какую-то гадость, но и во сне я счастливо вывернулся. В книжном магазине просмотрел „Жатву“. Твои стихи очень хорошо выглядят, и забавна по тому, как сильно сбавлен тон, заметка Бориса Садовского. Здесь я видел афишу, что Вера Инбер в пятницу прочтет лекцию о новом женском одеянии, или что-то в этом роде; тут и Бакст, и Дункан, и вся тяжелая артиллерия. Я весь день вспоминаю твои строки о „приморской девчонке“, они мало

того, что нравятся мне, они меня пьянят. Так просто сказано, так много, и я совершенно убежден, что из всей послесимволической поэзии ты да, пожалуй (по-своему), Нарбут окажетесь самыми значительными. Милая Аня, я знаю, ты не любишь и не хочешь понять это, но мне не только радостно, а и прямо необходимо по мере того, как ты углубляешься для меня как женщина, укреплять и выдвигать в себе мужчину; я никогда бы не смог догадаться, что от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца, но ведь и ты никогда бы не смогла заняться исследованием страны Галла и понять, увидя луну, что она алмазный щит богини воинов Паллады. Любопытно, что я сейчас опять такой же, как тогда, когда писались „Жемчуга“, и они мне ближе Чужого неба. Маленький до сих пор был прекрасным спутником; верю, что так будет и дальше. Целуй от меня Львеца (забавно, я первый раз пишу его имя) и учи его говорить папа. Пиши мне до 1 июня в Дире-Даya (Dire-Daoua, Abyssinia. Afrique), до 15 июня в Джибути, до 15 июля в Порт-Саид, потом в Одессу».

Интересно, что Гумилёв отправился в путешествие в белом костюме и белом головном уборе. Коля-маленький был тоже в белом костюме и таком же белом пробковом шлеме. В этот день Гумилёв и его племянник занимались в Одессе погрузкой багажа на пароход.

10 апреля 1913 года в семь часов вечера на пароходе Добровольческого флота «Тамбов» Николай Степанович со своим племянником Николаем Сверчковым из Одессы вышел в море, где находился в пути четырнадцать дней. На память Коля-маленький (который взял с собой фотоаппарат) снял пароход «Тамбов». К счастью для нас, в этом путешествии вели дневник и Гумилёв, и его племянник. Дневник Сверчкова пропал бесследно, а дневник Гумилёва сохранился лишь фрагментами, но по нему и нескольким другим сохранившимся документам можно вслед за поэтом пройти его маршрутом в последнем его африканском путешествии.

Уже на палубе парохода Н. С. Гумилёв записывает: «…Какие-нибудь две недели тому назад бушующее и опасное море было спокойно, как какое-нибудь озеро. Волны мягко раздавались под напором парохода, где рылся, пульсируя, как сердце работающего человека, невидимый винт. Не было видно пены, и только убегала бледно-зеленая малахитовая полоса потревоженной воды. Дельфины дружными стаями мчались за пароходом, то обгоняя его, то отставая, и по временам, как бы в безудержном припадке веселья, подскакивали, показывая лоснящиеся мокрые спины. Наступила ночь, первая на море, священная. Горели давно не

виденные звезды, вода бурлила слышнее. Неужели есть люди, которые никогда не видели моря?»

Утром 12 апреля 1913 года Н. Гумилёв с племянником прибывают в Константинополь. Во время стоянки парохода путешественники сошли на берег, побывали в знаменитой Айя-Софии — храме Святой Софии, сохранившемся еще с византийских времен. Дядя теперь был за экскурсовода. Можно себе представить состояние Коли Сверчкова, который первый раз вырвался из-под опеки мамы и впервые уехал так далеко от Царского Села. Вернувшись на корабль, Николай Степанович записывает: «…Опять эта никогда не приедающаяся, хотя откровенно-декоративная красота Босфора, заливы, лодки с белыми латинскими парусами, с которых веселые турки скалят зубы, дома, лепящиеся по прибрежным склонам, окруженные кипарисами и цветущей сиренью, зубцы и башни старинных крепостей, и солнце, особенное солнце Константинополя, светлое и не жгучее. Мы прошли мимо эскадры европейских держав, введенной в Босфор на случай беспорядков. Неподвижная и серая, она тупо угрожала шумному и красочному городу. Было восемь часов, время играть национальные гимны. Мы слышали, как спокойно-гордо прозвучал английский, набожно — русский, а испанский так празднично и блестяще, как будто вся эта нация состояла из двадцатилетних юношей и девушек, собравшихся потанцевать. Как только бросили якорь, мы сели в турецкую лодчонку и отправились на берег, не пренебрегая обычным в Босфоре удовольствием попасть в волну, оставляемую проходящим пароходом, и бешено покачаться в течение нескольких секунд. В Галате, греческой части города, куда мы пристали, царило обычное оживление. Но как только мы перешли широкий деревянный мост, переброшенный через Золотой Рог, и очутились в Стамбуле, нас поразила необычная тишина и запустение. Многие магазины были заперты, кафе пусты, на улицах встречались почти исключительно старики и дети. Мужчины были на Четалдже. Только что пришло известие о падении Скутари. Турция приняла его с тем же спокойствием, с каким затравленный и израненный зверь принимает новый удар. По узким и пыльным улицам среди молчаливых домов, в каждом из которых подозреваешь фонтаны, розы и красивых женщин, как в „Тысяче и одной ночи“, мы прошли в Айя-Софию. На окружающем ее тенистом дворе играли полуголые дети, несколько дервишей, сидя у стены, были погружены в созерцание. Против обыкновения не было видно ни одного европейца. Мы откинули повешенную в дверях циновку и вошли в прохладный, полутемный коридор, окружающий храм. Мрачный сторож надел

на нас кожаные туфли, чтобы наши ноги не осквернили святыни этого места. Еще одна дверь, и перед нами сердце Византии. Ни колонн, ни лестниц или ниш, этой легко доступной радости готических храмов, только пространство и его стройность. Чудится, что архитектор задался целью вылепить воздух. Сорок окон под куполом кажутся серебряными от проникающего через них света. Узкие простенки поддерживают купол, давая впечатление, что он легок необыкновенно. Мягкие ковры заглушают шаг. На стенках еще видны тени замазанных турками ангелов. Какой-то маленький седой турок в зеленой чалме долго и упорно бродил вокруг нас. Должно быть, он следил, чтобы с нас не соскочили туфли. Он показал нам зарубку на стене, сделанную мечом султана Магомета; след от его же руки омочен в крови; стену, куда, по преданию, вошел патриарх со святыми дарами при появлении турок. От его объяснений стало скучно, и мы вышли. Заплатили за туфли, заплатили непрошеному гиду, и я настоял, чтобы отправиться на пароход. Я не турист. К чему мне после Айя-Софии гудящий базар с его шелковыми и бисерными искушениями, кокетливые пери, даже несравненные кипарисы кладбища Сулемания. Я еду в Африку и прочел „Отче наш“ в священнейшем из храмов. Несколько лет тому назад, тоже на пути в Абиссинию, я бросил луидор в расщелину храма Афины Паллады в Акрополе и верил, что богиня незримо будет мне сопутствовать. Теперь я стал старше. В Константинополе к нам присоединился еще пассажир, турецкий консул, только что назначенный в Харар. Мы подолгу с ним беседовали о турецкой литературе, об абиссинских обычаях, но чаще всего о внешней политике. Он был очень неопытный дипломат и большой мечтатель. Мы с ним уговорились предложить турецкому правительству послать инструкторов на Сомалийский полуостров, чтобы устроить иррегулярное войско из тамошних мусульман. Оно могло бы служить для усмирения вечно бунтующих арабов Йемена, тем более что турки почти не переносят аравийской жары. Два, три других плана в том же роде, и мы в Порт-Саиде. Там нас ждало разочарование. Оказалось, что в Константинополе была холера и нам запрещено было иметь сношение с городом. Арабы привезли нам провизии, которую передали, не поднимаясь на борт, и мы вошли в Суэцкий канал. Не всякий может полюбить Суэцкий канал, но тот, кто полюбит его, полюбит надолго. Эта узкая полоска неподвижной воды имеет совсем особенную грустную прелесть. На африканском берегу, где разбросаны домики европейцев, заросли искривленных мимоз с подозрительно темной, словно после пожара, зеленью, низкорослые толстые банановые пальмы; на азиатском берегу

волны песка пепельно-рыжего, раскаленного. Медленно проходит цепь верблюдов, позванивая колокольчиками. Изредка показывается какой-нибудь зверь, собака, может быть, гиена или шакал, смотрит с сомненьем и убегает. Большие белые птицы кружат над водой или садятся отдыхать на камни. Кое-где полуголые арабы, дервиши или так бедняки, которым не нашлось места в городах, сидят у самой воды и смотрят в нее, не отрываясь, будто колдуя. Впереди и позади нас движутся другие пароходы. Ночью, когда загораются прожекторы, это имеет вид похоронной процессии. Часто приходится останавливаться, чтобы пропустить встречное судно, проходящее медленно и молчаливо, словно озабоченный человек. Эти тихие часы на Суэцком канале усмиряют и убаюкивают душу, чтобы потом ее застала врасплох буйная прелесть Красного моря. Самое жаркое из всех морей, оно представляет картину грозную и прекрасную. Вода как зеркало отражает почти отвесные лучи солнца, точно сверху и снизу расплавленное серебро. Рябит в глазах, и кружится голова. Здесь часты миражи, и я видел у берега несколько обманутых ими и разбившихся кораблей. Острова, крутые голые утесы, разбросанные там и сям, похожи на еще неведомых африканских чудовищ. Особенно один совсем лев, приготовившийся к прыжку, кажется, что видишь гриву и вытянутую морду. Эти острова необитаемы из-за отсутствия источников для питья. Подойдя к борту, можно видеть и воду, бледно-синюю, как глаза убийцы. Оттуда временами выскакивают, пугая неожиданностью, странные летучие рыбы. Ночь еще более чудесна и зловеща. Южный Крест как-то боком висит на небе, которое, словно пораженное дивной болезнью, покрыто золотистой сыпью других бесчисленных звезд. На западе вспыхивают зарницы: это далеко в Африке тропические грозы сжигают леса и уничтожают целые деревни…»

13 апреля 1913 года Н. Гумилёв пишет жене письмо в Царское Село: «Милая Аника, представь себе, с Одессы ни одного стихотворения. Готье переводится вяло, дневник пишется лучше. Безумная зима сказывается, я отдыхаю как зверь. Никаких разговоров о литературе, о знакомых, море хорошее, прежнее. С нетерпением жду Африки. Учи Леву говорить и не скучай. Пиши мне, пусть я найду в Дире-Дауа много писем. И помечай их числами. Горячо целую тебя и Леву; погладь Молли. Всегда твой Коля» (открытка с изображением Суэцкого канала).

18 апреля 1913 года Николай Степанович послал из Порт-Саида в Москву открытку с видом Константинопольского порта Ольге Высотской со стихотворением «Ислам», посвященным ей же. Перед стихотворением текст: «Целую ручки и всегда

вспоминаю, напишите в Порт-Саид в июле месяце, куда привезти шкуру. Н. Гумилёв».

Отчего Гумилёв посылает своей любовнице, ждущей от него ребенка, стихотворение на тему ислама? Обычно в стихах женщинам он писал о любви. Но к тому времени, видимо, отношения с Ольгой Николаевной были не очень хорошими. Возможно, перед отъездом у них произошла какая-то размолвка, приведшая в дальнейшем к расставанию. Актриса хотела определенности в отношениях, и, может быть, Николай Степанович обещал ей развестись с Ахматовой. Ее тогдашнее положение обязывало поставить все точки над «i», но Гумилёв не был готов к решительному шагу. Разговоры с турецким консулом на борту парохода об исламе и воинах ислама вдохновили поэта на написание «Ислама», и он, зная точно, что Ахматова не поймет его стихотворения, решил отправить стихи любовнице с тем, чтобы сгладить наметившиеся между ними противоречия.

По дороге к Абиссинии в Красном море поэт оказался свидетелем ловли акул прямо с борта парохода. Это зрелище настолько его увлекло, что он написал целую главу в свой путевой дневник «Африканская охота». Вот как живописует Николай Степанович это необычное для него действо: «Красное море — бесспорно, часть Африки, и ловля акул в Красном море может быть прекрасным вступлением к африканским охотам. Мы бросили якорь перед Джедой, куда нас не пустили, так как там была чума. Я не знаю ничего красивее ярко-зеленых мелей Джеды, окаймляемых чуть розоватой пеной. Не в честь ли их и хаджи-мусульмане, бывавшие в Мекке, носят зеленые чалмы. Пока грузили уголь, было решено заняться ловлей акулы. Громадный крюк с десятью фунтами гнилого мяса, привязанный к крепкому канату, служил удочкой, поплавок изображало бревно. Но акул совсем не было видно, или они проплыли так далеко, что их лоцманы не могли заметить приманки; акула очень близорука, и ее всегда сопровождают две хорошенькие небольшие рыбки, которые наводят ее на добычу и получают за это свою долю — они-то и называются лоцманами. Наконец, в воде появилась темная тень, сажени в полторы длиною, и поплавок, завертевшись несколько раз, нырнул в воду. Мы дернули за веревку, но вытащили лишь крючок. Акула только дернула приманку, но не проглотила ее. Теперь, видимо, огорченная исчезновением аппетитно пахнущего мяса, она плавала кругами почти на поверхности и всплескивала хвостом по воде. Сконфуженные лоцманы носились туда и сюда. Мы поспешили забросить крючок обратно. Акула бросилась к нему, уже не стесняясь. Канат сразу натянулся, угрожая лопнуть, потом ослабел, и над водой

показалась круглая лоснящаяся голова с маленькими злыми глазами; такие глаза я видел только у старых, особенно свирепых кабанов. Десять матросов с усилиями тащили канат. Акула бешено вертелась, и слышно было, как она ударялась хвостом о борт парохода и словно винтом бурлила им в воде. Помощник капитана, перегнувшись через перила, разом выпустил в нее пять пуль из револьвера. Она вздрогнула и затихла. Пять черных дыр показались на ее голове и беловатых губах. Еще усилье, и страшная туша уже у самого борта. Кто-то тронул ее за голову, и она лязгнула зубами. Видно было, что она совсем свежа и собирается с силами для решительного боя. Тогда, привязав нож к длинной палке, помощник капитана сильным и ловким прямым ударом проткнул ей грудь и, натужившись, довел разрез до конца. Хлынула вода, смешанная с кровью, розовая селезенка аршина в два длиною, губчатая печенка и кишки вывалились и закачались в воде, как еще не виданной формы медузы. Акула сразу сделалась легче, и ее без труда втащили на палубу. <…> Закат в этот вечер над зелеными мелями Джеды был широкий и ярко-желтый с алым пятном солнца посередине. Потом он стал нежно-пепельным, потом зеленоватым, точно море отразилось в небе. Мы подняли якорь и пошли прямо на Южный Крест».

Но вот наконец и благословенная страна — Абиссиния. 24 апреля Гумилёв с племянником уже в Джибути. Не откладывая дела в долгий ящик, чтобы не потерять времени зря, пока будет дано разрешение двигаться в глубь страны, Гумилёв с племянником начал собирать и записывать сомалийские песни. Теперь известно, каким видел Джибути Гумилёв. В дневнике Николай Степанович записывает: «Джибути лежит на африканском берегу Аденского залива к югу от Обока, на краю Таджуракской бухты. На большинстве географических карт обозначен только Обок, но он потерял теперь всякое значенье, в нем живет лишь один упрямый европеец, и моряки не без основания говорят, что его „съела“ Джибути. За Джибути — будущее. Ее торговля все возрастает, число живущих в ней европейцев тоже. Года четыре тому назад, когда я приехал в нее впервые, их было триста, теперь их четыреста. Но окончательно она созреет, когда будет достроена железная дорога, соединяющая ее со столицей Абиссинии Аддис-Абебой. Тогда она победит даже Массову, потому что на юге Абиссинии гораздо больше обычных здесь предметов вывоза: воловьих шкур, кофе, золота и слоновой кости. Жаль только, что ею владеют французы, которые обыкновенно очень небрежно относятся к своим колониям и думают, что исполнили свой долг, если послали туда несколько чиновников, совершенно чуждых стране и не любящих

ее. Железная дорога даже не субсидирована. Мы съехали с парохода на берег в моторной лодке. Это нововведение. Прежде для этого служили весельные ялики, на которых гребли голые сомалийцы, ссорясь, дурачась и по временам прыгая в воду, как лягушки. На плоском берегу белели разбросанные там и сям дома. На скале возвышался губернаторский дворец посреди сада кокосовых и банановых пальм. Мы оставили вещи в таможне и пешком дошли до отеля. Там мы узнали, что поезд, с которым мы должны были отправиться в глубь страны, отходит по вторникам и субботам. Нам предстояло пробыть в Джибути три дня. Я не очень огорчился подобной проволочке, так как люблю этот городок, его мирную и ясную жизнь. От двенадцати до четырех часов пополудни улицы кажутся вымершими; все двери закрыты, изредка, как сонная муха, проплетется какой-нибудь сомалиец. В эти часы принято спать так же, как у нас ночью. Но затем неведомо откуда появляются экипажи, даже автомобили, управляемые арабами в пестрых чалмах, белые шлемы европейцев, даже светлые костюмы спешащих с визитами дам. Террасы обоих кафе полны народом. Между столов ходит карлик, 20-летний араб, аршин ростом, с детским личиком и громадной приплюснутой головой. Он ничего не просит, но если ему дают кусок сахару или мелкую монету, он благодарит серьезно и вежливо, с совсем особенной, выработанной тысячелетьями восточной грацией. Потом все идут на прогулку. Улицы полны мягким предвечерним сумраком, в котором четко вырисовываются дома, построенные в арабском стиле, с плоскими крышами и зубцами, с круглыми бойницами и дверьми в форме замочных скважин, с террасами, аркадами и прочими затеями — все ослепительно-белой извести. <…> Быстро прошли эти три дня в Джибути. Вечером прогулки, днем валянье на берегу моря с тщетными попытками поймать хоть одного краба (они бегают удивительно быстро, боком, и при малейшей тревоге забиваются в норы), утром работа. По утрам ко мне в гостиницу приходили сомалийцы племени исса, и я записывал их песни. От них же я узнал, что это племя имеет своего короля… Гуссейна, который живет в деревне Харауа, в трехстах километрах к юго-западу от Джибути; что оно находится в постоянной вражде с живущими на север от них данакилями и, увы, всегда побеждаемо последними; что Джибути (по-сомалийски Хамаду) построено на месте ненаселенного прежде оазиса и что в нескольких днях пути от него есть еще люди, поклоняющиеся черным камням; большинство все же правоверные мусульмане. Европейцы, хорошо знающие страну, рассказывали мне еще, что это племя считается одним из самых свирепых и лукавых во всей Восточной Африке.

Они нападают обыкновенно ночью и вырезают всех без исключения. Проводникам из этого племени довериться нельзя…»

Наблюдая жизнь туземцев, поэт не забывает, что теперь он лицо должностное, облеченное доверием Императорской Академии, и поэтому прямо из Джибути 26 апреля посылает открытку (фотография танцующих мужчин-абиссинцев): «Россия. Петербург. Императорская академия наук. Музей антропологии и этнографии. Его Превосходительству Льву Яковлевичу Штернбергу. Многоуважаемый Лев Яковлевич, мы уже в Джибути. Завтра едем в глубь страны. Дождей не будет еще полтора месяца. Путешествие обещает быть удачным. Русский вице-консул Галеб оказал уже мне ряд услуг. Из Харара, когда соберу караван, напишу подробное письмо, а пока извиняюсь за открытку. Искренне уважающий Вас и преданный Вам Н. Гумилёв».

За день до этого Гумилёв отправил письмо жене: «Дорогая моя Аника, я уже в Джибути, доехал и высадился прекрасно. Магический открытый лист уже сэкономил мне рублей пятьдесят и вообще оказывает ряд услуг. Мое нездоровье прошло совершенно, силы растут с каждым днем. Вчера я написал стихотворение, посылаю его тебе. Напиши в Дире-Дауа, что ты о нем думаешь. На пароходе попробовал однажды писать в стиле Гилеи, но не смог. Это подняло мое уважение к ней. Мой дневник идет успешно, и я пишу его так, чтобы прямо можно было печатать. В Джеде с парохода поймали акулу; это было действительно зрелище. Оно заняло две страницы дневника. Что ты поделываешь? Право, уже в июне поезжай к Инне Эразмовне. Если не хватит денег, займи, по возвращении в Петербург у меня они будут. Присылай мне сюда твои новые стихи, непременно. Я хочу знать, какой ты стала. Леве скажи, что у него будет свой негритенок. Пусть радуется…»

27 апреля Гумилёв со Сверчковым отправляется в путь по железной дороге. В его дневнике появляется об этом дне запись: «…когда было еще темно, слуга-араб со свечой обошел комнаты отеля, будя уезжающих в Дире-Дауа. Еще сонные, но довольные утренним холодком, таким приятным после слепящей жары полудней, мы отправились на вокзал. Наши вещи заранее свезли туда в ручной тележке. Проезд во втором классе, где обыкновенно ездят все европейцы, третий класс предназначен исключительно для туземцев, а в первом, который вдвое дороже и нисколько не лучше второго, обыкновенно ездят только члены дипломатических миссий и немногие немецкие снобы, стоил 62 франка с человека, несколько дорого за десять часов пути, но таковы все колониальные железные дороги. Паровозы носят громкие, но далеко не оправдываемые названия: Слон, Буйвол,

Сильный и т. д. Уже в нескольких километрах от Джибути, когда начался подъем, мы двигались с быстротой одного метра в минуту, и два нефа шли впереди, посыпая песком мокрые от дождя рельсы. Вид из окна был унылый, но не лишенный величественности. Пустыня коричневая и грубая, выветрившиеся, все в трещинах и провалах горы и, так как был сезон дождей, мутные потоки и целые озера грязной воды. Из куста выбегает дигдиг, маленькая абиссинская газель, пара шакалов, они всегда ходят парами, смотрят с любопытством. Сомалийцы и данакили с громадной всклокоченной шевелюрой стоят, опираясь на копья. Европейцами исследована лишь небольшая часть страны, именно та, по которой проходит железная дорога, что справа и слева от нее — тайна. На маленьких станциях голые черные ребятишки протягивали к нам ручонки и заунывно, как какую-нибудь песню, тянули самое популярное на всем Востоке слово: бакшиш (подарок). В два часа дня мы прибыли на станцию Айша в 160 километрах от Джибути, то есть на половине дороги. Там буфетчик-грек приготовляет очень недурные завтраки для проезжающих. Этот грек оказался патриотом и нас, как русских, принял с распростертыми объятиями, отвел нам лучшие места, сам прислуживал, но, увы, из того же патриотизма отнесся крайне неласково к нашему другу турецкому консулу. Мне пришлось отвести его в сторону и сделать надлежащее внушение, что было очень трудно, так как он, кроме греческого, говорил только немного по-абиссински. После завтрака нам было объявлено, что поезд дальше не пойдет, так как дождями размыло путь и рельсы висят в воздухе. <…> Утром выяснилось, что путь не только не исправен, но что надо по меньшей мере 8 дней, чтобы иметь возможность двинуться дальше, и что желающие могут вернуться в Джибути. Пожелали все, за исключением турецкого консула и нас двоих. Мы остались, потому что на станции Айша жизнь стоила много дешевле, чем в городе. Турецкий консул, я думаю, только из чувства товарищества; кроме того, у нас троих была смутная надежда каким-нибудь образом добраться до Дире-Дауа раньше, чем в 8 дней. Днем мы пошли на прогулку; перешли невысокий холм, покрытый мелкими острыми камнями, навсегда погубившими нашу обувь, погнались за большой колючей ящерицей, которую, наконец, поймали, и незаметно отдалились километра на три от станции. Солнце клонилось к закату; мы уже повернули назад, как вдруг увидели двух станционных солдат-абиссинцев, которые бежали к нам, размахивая оружием. „Мындерну?“ (в чем дело), спросил я, увидев их встревоженные лица. Они объяснили, что сомалийцы в этой местности очень опасны, бросают из засады копья в проходящих, частью из

озорства, частью потому, что по их обычаю жениться может только убивший человека. После мне подтвердили справедливость этих рассказов, и я сам видел в Дире-Дауа детей, которые подбрасывали на воздух браслет и пронзали его на лету ловко брошенным копьем…»

Когда Гумилёв уже пробирался по размытой дороге в сторону Дире-Дауа, 27 апреля Б. Чемерзин наконец написал В. В. Радпову: «В ответ на письмо от 26 марта 1913 за № 122 имею честь уведомить Ваше Высокопревосходительство, что правительство Эфиопии, предупрежденное мною о предстоящем приезде Н. С. Гумилёва, выразило готовность оказать ему полное содействие в осуществлении его намерений…»

28 апреля на станцию Айша из Джибути прибыл поезд с инженерами и рабочими для починки размытой дороги. Выяснилось, что восемьдесят километров дороги разрушено. Это грозило большой задержкой.

Казалось бы, обстоятельства препятствовали работе экспедиции Гумилёва, но он не унывал. Уже 29 апреля он достал две дрезины и отправился в путь. В дневнике он вынужден признаться: «Дорога, действительно, была трудна. Над промоинами рельсы дрожали и гнулись, и кое-где приходилось идти пешком. Солнце палило так, что наши руки и шеи через полчаса покрылись волдырями. По временам сильные порывы ветра обдавали нас пылью. Окрестности были очень богаты дичью. Мы опять видели шакалов, газелей и даже на берегу одного болота нескольких марабу, но они были слишком далеко. Одному из наших ашкеров удалось убить стрепета величиной с маленького страуса. Он был очень горд своей удачей. Через несколько часов мы встретили паровоз и две платформы, подвозившие материалы для починки пути. Нас пригласили перейти на них, и еще час мы ехали таким примитивным способом. Наконец, мы встретили вагон, который на следующее утро должен был отвезти нас в Дире-Дауа. Мы пообедали ананасным вареньем и печеньем, которые у нас случайно оказались, и переночевали на станции. Было холодно, слышался рев гиены. А в восемь часов утра перед нами в роще мимоз замелькали белые домики Дире-Дауа…»

30 апреля утром Н. Гумилёв с экспедицией прибыл в Дире-Дауа. Какие впечатления оставил этот город в прошлый раз — неизвестно, зато теперь он их подробно заносит в дневник: «Как быть путешественнику, добросовестно заносящему в дневник свои впечатления? Как признаться ему при въезде в новый город, что первое привлекает его внимание? Это чистые постели с белыми простынями, завтрак за столом, покрытым скатертью, книги и

возможность сладкого отдыха?.. И я с благодарностью вспоминаю ту гекко, маленькую, совершенно прозрачную ящерицу, бегающую по стенам комнат, которая, пока мы завтракали, ловила над нами комаров и временами поворачивала к нам свою безобразную, но уморительную мордочку. Надо было составлять караван. Я решил взять слуг в Дире-Дауа, а мулов купить в Хараре, где они много дешевле. Слуги нашлись очень быстро: Хайле, негр из племени мангаля, скверно, но бойко говорящий по-французски, был взят как переводчик, харарит Абдулайе, знающий лишь несколько французских слов, но зато имеющий своего мула, как начальник каравана, и пара быстроногих черномазых бродяг, как ашкеры. Потом наняли на завтра верховых мулов и со спокойным сердцем отправились бродить по городу. Дире-Дауа очень выросла за те фи года, пока я ее не видел, особенно ее европейская часть. Я помню время, когда в ней было всего две улицы, теперь их с десяток. Есть сады с цветниками, просторные кафе. Есть даже французский консул. Весь город разделяется на две части руслом высохшей реки, которая наполняется лишь во время дождя: европейскую ближе к вокзалу и туземную, т. е. просто беспорядочное нагромождение хижин, загородок для скота и редких лавок. В европейской части живут французы и греки. Французы — господа положения: они или служат на железной дороге, где получают хорошее жалованье, или содержат лучшие отели и ведут крупную торговлю; начальник почты — француз, доктор — тоже. Их уважают, но не любят за постоянное проявляемое ими высокомерие к цветным расам. В руках греков, изредка армян вся мелкая торговля Абиссинии. Абиссинцы называют их „грик“ и отделяют от прочих европейцев, „френджей“. В европейское, т. е. во французское общество они за немногими исключениями не приняты, хотя многие из них зажиточны. В одном маленьком греческом кафе, которое по вечерам превращается в настоящий игорный дом, я видел ставки по нескольку сот талеров, принадлежащие весьма подозрительным оборванцам. В европейской части города нет ни экипажей, ни фонарей. Улицы освещаются луной и окнами кафе. В туземной части города можно бродить целый день, не соскучась. В двух больших лавках, принадлежащих богатым индусам Джиоваджи и Мохамет-Али, шелковые, шитые золотом одежды, кривые сабли в красных сафьяновых ножнах, кинжалы с серебряной чеканкой и всевозможные восточные украшения, так ласкающие глаза. Их продают важные толстые индусы в ослепительно-белых рубашках под халатами и в шелковых шапочках блином. Пробегают йеменские арабы, тоже торговцы, но главным образом комиссионеры. Сомалийцы, искусные в

различного рода рукодельях, тут же на земле плетут циновки, приготовляют по мерке сандалии. Проходя перед хижинами галласов, слышишь запах ладана, их любимого куренья. Перед домом данакильского нагадраса (собственно говоря, начальника купцов, но в действительности — просто важного начальника) висят хвосты слонов, убитых его ашкерами. Прежде висели и клыки, но с тех пор, как абиссинцы завоевали страну, бедным данакилям приходится довольствоваться одними хвостами. Абиссинцы с ружьями за плечами ходят без дела с независимым видом. Они завоеватели, им работать неприлично. И сейчас же за городом начинаются горы, где стада павианов обгрызают молочаи и летают птицы с громадными красными носами. Чтобы быть уверенным в своих ашкерах, необходимо записать их и их поручителей у городского судьи. Я отправился к нему и имел случай видеть абиссинский суд. На террасе дома, выходящей на довольно обширный двор, сидел, поджав под себя ноги, статный абиссинец, главный судья, окруженный помощниками и просто друзьями. Шагах в пяти перед ним на земле лежало бревно, за которое не должны были переступать тяжущиеся даже в пылу защиты или обвинения. Двор был полон ашкерами, принадлежащими судье, и просто любопытными. Когда я вошел, судья вежливо приветствовал меня, велел подать стул и, заметив, что я интересуюсь тяжбой, сам дал несколько разъяснений. По ту сторону бревна стояли высокий абиссинец с красивым, но искаженным злобою лицом, и приземистый, одна нога на деревяшке, араб, весь полный торжеством в ожиданье близкой победы. Дело состояло в том, что абиссинец взял у араба мула, чтобы куда-то проехать, и мул издох. Араб требовал уплаты, абиссинец доказывал, что мул был больной. Говорили по очереди. Абиссинец перепрыгивал через бревно и в такт своим аргументам тыкал пальцем прямо в лицо судье. Араб принимал красивые позы, распахивал и запахивал свою шамму (белая мантия, общая для всех обитателей Абиссинии) и, говоря, выбирал выражения, и, видимо, старался для галерки. Действительно, дружный сочувственный смех сопутствовал его выступленьям. Даже судья с улыбкой покачивал головой и бормотал: „Ой ю гут“ („это удивительно“). Наконец, когда оба тяжущиеся поклялись смертью Менелика (в Абиссинии всегда клянутся смертью Императора или кого-нибудь из высших сановников), утверждая противное, восторг сделался общим. Я не дождался конца и, записав ашкеров, ушел, но видно было, что победит араб. Судиться в Абиссинии — очень трудная вещь. Обыкновенно выигрывает тот, кто заранее сделает лучший подарок судье, а как узнать, сколько дал противник? Дать же слишком много тоже невыгодно. Тем не

менее абиссинцы очень любят судиться, и почти каждая ссора кончается традиционным приглашением во имя Менелика (ба Менелик) явиться в суд. Днем прошел ливень, настолько сильный, что ветром снесло крышу с греческого отеля, правда, не особенно прочной постройки. Под вечер мы вышли пройтись и, конечно, посмотреть, что сталось с рекой. Ее нельзя было узнать, она клокотала, как мельничный омут. Особенно перед нами один рукав, огибавший меленький островок, неистовствовал необычайно. Громадные валы совершенно черной воды, и даже не воды, а земли и песка, поднятого со дна, летели, перекатываясь друг через друга и ударяясь о выступ берега, шли назад, поднимались столбом и ревели. В тот тихий матовый вечер это было зрелище страшное, но прекрасное…»

1 мая 1913 года экспедиция Гумилёва отправляется в Харар. Здесь поэту-путешественнику предстояло многое сделать, чтобы можно было заняться наконец по-настоящему своей работой. И самое первое — необходимо было найти толкового переводчика, мулов и составить экспедицию в полном объеме. Эти события нашли отражение в третьей главе «Африканского дневника»: «Дорога в Харар пролегает первые километров двадцать по руслу той самой реки, о которой я говорил в предыдущей главе. Ее края довольно отвесны, и не дай Бог путнику оказаться на ней во время дождя. Мы, к счастью, были гарантированы от этой опасности, потому что промежуток между двумя дождями длится около сорока часов. И не мы одни воспользовались удобным случаем. По дороге ехали десятки абиссинцев, проходили данакили, галласские женщины с отвислой грудью несли в город вязанки дров и травы. Длинные цепи верблюдов, связанных между собой за морды и хвосты, словно нанизанные на нитку забавные четки, проходя, пугали наших мулов. Ожидали приезда в Дире-Дауа харарского губернатора дедъязмага (командующий войском у дверей императорского шатра. — В. П.) Тафари, и мы часто встречали группы выехавших встретить его европейцев на хорошеньких резвых лошадках. Дорога напоминала рай на хороших русских лубках: неестественно-зеленая трава, слишком раскидистые ветви деревьев, большие разноцветные птицы и стада коз по откосам гор. Воздух мягкий, прозрачный и словно пронизанный крупинками золота. Сильный и сладкий запах цветов. И только странно дисгармонируют со всем окружающим черные люди, словно грешники, гуляющие в раю, по какой-нибудь еще не созданной легенде. Мы ехали рысью и наши ашкеры бежали впереди, еще находя время подурачиться и посмеяться с проходящими женщинами. Абиссинцы славятся своей

быстроногостью, и здесь общее правило, что на большом расстоянии пешеход обгонит конного. Через два часа пути начался подъем: узкая тропинка, иногда переходящая прямо в канавку, вилась почти отвесно на гору. Большие камни заваливали дорогу, и нам пришлось, слезши с мулов, идти пешком. Это было трудно, но хорошо. Надо взбегать, почти не останавливаясь, и балансировать на острых камнях: так меньше устаешь. Бьется сердце, и захватывает дух: словно идешь на любовное свидание. И зато бываешь вознагражден неожиданным, как поцелуй, свежим запахом горного цветка, внезапно открывшимся видом на нежно затуманенную долину. И когда, наконец, полу-задохшиеся и изнеможенные, мы взошли на последний кряж, нам сверкнула в глаза так давно не виданная спокойная вода, словно серебряный щит; горное озеро Адели. Я посмотрел на часы: подъем длился полтора часа. Мы были на Харарском плоскогорье. Местность резко изменилась. Вместо мимоз зеленели банановые пальмы и изгороди молочаев; вместо дикой травы — старательно возделанные поля дурро. В галласской деревушке мы купили нжиры (род толстых блинов из черного теста, заменяющих в Абиссинии хлеб) и съели ее, окруженные любопытными ребятишками, при малейшем нашем движении бросающимися удирать. Отсюда в Харар вела прямая дорога, и кое-где на ней были даже мосты, переброшенные через глубокие трещины в земле. Мы проехали второе озеро Оромоло, вдвое больше первого, застрелили болотную птицу с двумя белыми наростами на голове, пощадили красивого ибиса и через пять часов очутились перед Хараром. Уже с горы Харар представлял величественный вид со своими домами из красного песчаника, высокими европейскими домами и острыми минаретами мечетей. Он окружен стеной, и через ворота не пропускают после заката солнца. Внутри же это совсем Багдад времен Гаруна-аль-Рашида. Узкие улицы, которые то подымаются, то спускаются ступенями, тяжелые деревянные двери, площади, полные галдящим людом в белых одеждах, суд, тут же на площади — все это полно прелести старых сказок. Мелкие мошенничества, проделываемые в городе, тоже совсем в древнем духе. Навстречу нам по многолюдной улице шел с ружьем на плече мальчишка-негр лет десяти, по всем признакам раб, и за ним из-за угла следил абиссинец. Он не дал нам дороги, но так как мы ехали шагом, нам не трудно было объехать его. Вот показался красивый харарит, очевидно, торопившийся, так как он скакал галопом. Он крикнул мальчишке посторониться, тот не послушался и, задетый мулом, упал на спину, как деревянный солдатик, сохраняя на лице ту же спокойную серьезность.

Следивший из-за угла абиссинец бросился за хараритом и как кошка вскочил позади седла. „Ба Менелик, ты убил человека“. Харарит уже приуныл, но в это время негритенок, которому, очевидно, надоело лежать, встал и стал отряхивать с себя пыль. Абиссинцу все-таки удалось сорвать талер за увечье, чуть-чуть не нанесенное его рабу. Мы остановились в греческом отеле, единственном в городе, где за скверную комнату и еще более скверный стол с нас брали цену, достойную парижского Grand Hotel's. Но все-таки приятно было выпить освежительного пинцерменту и сыграть партию в засаленные и обгрызенные шахматы. В Хараре я встретил знакомых. Подозрительный мальтиец Каравана, бывший банковский чиновник, с которым я смертельно рассорился в Аддис-Абебе, первый пришел приветствовать меня. Он навязывал мне чьего-то чужого скверного мула, намереваясь получить комиссионные. Предложил сыграть в покер, но я уже знал его манеру игры. Наконец, с обезьяньими ужимками посоветовал послать дедъязмагу ящик с шампанским, чтобы потом забежать перед ним и похвастаться своей распорядительностью. Когда же ни одно из его стараний не увенчалось успехом, он потерял ко мне всякий интерес. Но я сам послал искать другого моего аддис-абебского знакомого — маленького пожилого копта, директора местной школы.

Склонный к философствованию, как большинство его соотечественников, он высказывал подчас интересные мысли, рассказывал забавные истории, и все его миросозерцание производило впечатление хорошего и устойчивого равновесья. С ним мы играли в покер и посетили его школу, где маленькие абиссинцы лучших в городе фамилий упражнялись в арифметике на французском языке. В Хараре у нас оказался даже соотечественник, русский подданный армянин Артем Иоханжан, живший в Париже, в Америке, в Египте и около двадцати лет живущий в Абиссинии. На визитных карточках он значился как доктор медицины, доктор наук, негоциант, комиссионер и бывший член Суда, но когда его спрашивали, как он получил столько званий, ответ — неопределенная улыбка и жалобы на дурные времена. Кто думает, что в Абиссинии легко купить мулов, тот очень ошибается. Специальных купцов нет, мулиных ярмарок тоже. Ашкеры ходят по домам, справляясь, нет ли продажных мулов. У абиссинцев разгораются глаза: может быть, белый не знает цены и его можно надуть. К отелю тянется цепь мулов, иногда очень хороших, но зато безумно дорогих. Когда эта волна спадет, начинается другая: ведут мулов больных, израненных, разбитых на ноги в надежде, что белый не понимает толк в мулах, и только потом поодиночке начинают приводить

хороших мулов и за настоящую цену. Таким образом, в три часа дня нам посчастливилось купить четырех. Много помог нам наш Абдулайе, который хотя и брал взятки с продавцов, но все же очень старался в нашу пользу. Зато низость переводчика Хайле выяснилась за эти дни вполне. Он не только не искал мулов, но даже, кажется, перемигнул с хозяином отеля, чтобы как можно дольше задержать нас там. Я его отпустил тут же в Хараре. Другого переводчика мне посоветовали искать в католической миссии. Я отправился туда с Иоханжа-ном. Мы вошли в полуотворенную дверь и очутились на большом безукоризненно чистом дворе. На фоне высоких белых стен с нами раскланивались тихие капуцины в коричневых рясах. Ничто не напоминало Абиссинии, казалось, что мы в Тулузе или в Арле. В просто убранной комнате к нам выбежал, именно выбежал, сам монсеньер, епископ галласский, француз лет пятидесяти, с широко раскрытыми, как будто удивленными глазами. Он был отменно любезен и приятен в обращении, но года, проведенные среди дикарей в связи с общей монашеской наивностью, давали себя чувствовать. Он как-то слишком легко, точно семнадцатилетняя институтка, удивлялся, радовался и печалился всему, что мы говорили. Он знал одного переводчика, это галлас Поль, бывший воспитанник миссии, очень хороший мальчик, он его ко мне пришлет. Мы попрощались и вернулись в отель, куда через два часа пришел и Поль. Рослый парень с грубоватым крестьянским лицом, он охотно курил, еще охотнее пил и в то же время смотрел сонно, двигался вяло, словно сонная муха. С ним мы не сошлись в цене. После, в Дире-Дауа, я взял другого воспитанника миссии Феликса. По общему утверждению всех видевших его европейцев, он имел такой вид, точно его начинает тошнить; когда он поднимался по лестнице, хотелось почти поддержать его, и, однако, он был совершенно здоров и тоже ип tres brave garson[33], как находили миссионеры. Мне сказали, что все воспитанники католических миссий таковы. Они отдают свою природную живость и понятливость взамен сомнительных моральных достоинств. Вечером мы отправились в театр. Дедъязмаг Тафари[34] увидел однажды в Дире-Дауа спектакли заезжей индийской труппы и так восхитился, что решил во что бы то ни стало доставить то же зрелище и своей жене. Индийцы на его счет отправились в Харар, получили бесплатно помещение и прекрасно обжились. Это был первый театр в Абиссинии, и он имел огромный успех. Мы с трудом нашли два места в первом ряду; для этого пришлось отсадить на приставные стулья двух почтенных арабов. Театр оказался просто-напросто балаганом: низкая железная крыша, некрашеные стены, земляной пол — все

это было, быть может, даже слишком бедно. Пьеса была сложная, какой-то индийский царь в лубочно-пышном костюме увлекается красивой наложницей и пренебрегает не только своей законной супругой и молодым прекрасным принцем сыном, но и делами правления. Наложница, индийская Федра, пытается обольстить принца и в отчаянии от неудачи клевещет на него царю. Принц изгнан, царь проводит все свое время в пьянстве и чувственных наслаждениях. Нападают враги, он не защищается, несмотря на уговоры верных воинов, и ищет спасения в бегстве. В город вступает новый царь. Случайно на охоте он спас от руки разбойников законную жену прежнего царя, последовавшую в изгнание за своим сыном. Он хочет жениться на ней, но когда та отказывается, говорит, что согласен относиться к ней, как к своей матери. У нового царя есть дочь, ей надо выбрать жениха, и для этого собираются во дворец все окружные принцы. Кто сможет выстрелить из заколдованного лука, тот будет избранником. Изгнанный принц в одежде нищего тоже приходит на состязание. Конечно, только он может натянуть лук, все в восторге, узнав, что он королевской крови. Царь вместе с рукой своей дочери отдает ему и престол, прежний царь, раскаявшись в своих заблуждениях, возвращается и тоже отказывается от своих прав на царствование. Единственный режиссерский трюк состоял в том, что, когда опускался занавес, изображавший улицу большого восточного города, перед ним актеры, переодетые горожанами, разыгрывали маленькие забавные сценки, лишь отдаленно относившиеся к общему действию пьесы. Декорации, увы, были в очень дурном европейском стиле, с претензиями на красивость и реализм. Самое интересное было то, что все роли исполнялись мужчинами…»

Забавный случай при поиске переводчика описывала в своих воспоминаниях сестра поэта Александра Сверчкова: «… рассказывал Коля маленький — понадобилось им найти человека — проводника, знающего французский язык. Отцы иезуиты прислали несколько молодых людей, но никто из них не пожелал идти в неизведанные места к дикарям. Нашелся один — Фасика, — который даже знал несколько слов по-русски. Но вот беда: его не пускала тетка, и в то время, когда надо было выступать каравану, прислала людей, чтобы его увести. Начался спор. Фасику тянули вправо, тянули влево, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы вдруг не появился какой-то абиссинец, размахивавший палочкой над головой. Н. С., долго не думая, вырвал у него из рук палочку и замахнулся на него. „Что вы, что вы! — закричал Фасика. — Ведь это ж судья!“ Все кончилось вполне благополучно, судья, рассмотрев бумаги, разрешил взять

переводчика и даже подарил Н. С. свою палочку, знак своего могущества, после чего все отправились к тетке Фасика, где засиделись до заката солнца. Как везде в тропических странах, сразу же опустилась страшная темнота. Возвращались в лагерь при свете факелов, и Коля м. вдруг обнаружил, что Н. С. где-то отстал. Как найти его в непроницаемой тьме среди зарослей, когда кругом слышны рычания зверей и хохот гиен? Оказалось, что он устал, сел отдохнуть и нечаянно уснул». Последнее обстоятельство говорит о правдоподобности рассказа. Именно таким и был Гумилёв: презирающим чувство страха, даже в ущерб чувству самосохранения.

В первые дни мая 1913 года Н. Гумилёв вернулся в Дире-Дауа, взял багаж и новых ашкеров и через три дня отправился обратно. Поэт-путешественник описывал дорогу в дневнике: «Ночевали на половине подъема, и это была наша первая ночь в палатке. Там уместились только две наши кровати и между них, как ночной столик, два поставленные один на другой чемоданы типа выработанного Грум-Гржимайло. Еще не обгоревший фонарь распространял зловонье. Мы поужинали китой (мука, размешанная в воде и поджаренная на сковородке, обычная здесь еда в пути) и вареным рисом, который мы ели сперва с солью, потом с сахаром. Утром встали в шесть часов и двинулись дальше…»

В начале мая Гумилёв снова находился в Хараре. Отсюда он посылает телеграмму в Аддис-Абебу и ждет разрешение на продвижение в глубь страны. Здесь написаны последние страницы дневника, которые хранились потом у сестры поэта Александры Степановны Сверчковой. Эти страницы посвящены работе в Хараре и его окрестностях и проливают свет на то, что сделал поэт для российской науки в области этнографии: «Нам сказали, что наш друг турецкий консул находится в двух часах езды от Харара и ожидает, чтобы харарские власти были официально извещены о его прибытии в Аддис-Абебу. Об этом хлопотал германский посланник в Аддис-Абебе. Мы решили заехать в этот отель, отправив караван вперед. Несмотря на то, что консул еще не вступил в исполнение своих обязанностей, он уже принимал многочисленных мусульман, видевших в нем наместника самого султана и желавших его приветствовать. По восточному обычаю, все приходили с подарками. Турки-садоводы приносили овощи и плоды, арабы — баранов и кур. Вожди полунезависимых сомалийских племен присылали спрашивать, что он хочет, льва, слона, табун лошадей или десяток страусовых кож, снятых вместе со всеми перьями. И только сирийцы, одетые в пиджаки и корчащие европейцев, приходили с развязным видом и пустыми

руками. Мы пробыли у консула около часа и, приехав в Харар, узнали грустную новость, что наши ружья и патроны задержаны в городской таможне. На следующее утро наш знакомый армянин, коммерсант из окрестностей Харара, заехал за нами, чтобы вместе ехать навстречу консулу, который, наконец, получил нужные бумаги и мог совершить торжественный въезд в Харар. Мой спутник слишком устал накануне, и я поехал один. Дорога имела праздничный вид. Арабы в белых и цветных одеждах в почтительных позах сидели на скалах. Там и сям сновали абиссинские ашкеры, посланные губернатором для почетного конвоя и водворения порядка. Белые, т. е. греки, армяне, сирийцы и турки — все знакомые между собой, скакали группами, болтая и одалживаясь папироской. Попадавшиеся навстречу крестьяне-галласы испуганно сторонились, видя такое торжество. Консул, я, кажется, забыл написать, что это был генеральный консул, был достаточно величествен в своем богато расшитом золотом мундире, ярко-зеленой ленте через плечо и ярко-красной феске. Он сел на большую белую лошадь, выбранную из самых смирных (он не был хорошим наездником), два ашкера взяли ее под уздцы, и мы тронулись обратно в Харар. Мне досталось место по правую руку консула, по левую ехал Калиль Галеб, здешний представитель торгового дома Галебов. Впереди бежали губернаторские ашкеры, позади ехали европейцы, и сзади них бежали преданные мусульмане и разный праздношатающийся люд. В общем, было человек до шестисот. <…> На следующий день, согласно прежде полученному и теперь подтвержденному приглашению, мы перебрались из отеля в турецкое консульство. Чтобы путешествовать по Абиссинии, необходимо иметь пропуск от правительства. Я телеграфировал об этом русскому поверенному в делах в Аддис-Абебу и получил ответ, что приказ выдать мне пропуск отправлен начальнику харарской таможни нагадрасу Бистрати. Но нагадрас объявил, что он ничего не может сделать без разрешения своего начальника дедъязмага Тафари. К дедъязмагу следовало идти с подарком. Два дюжих негра, когда мы сидели у дедъязмага, принесли, поставили к его ногам купленный мной ящик с вермутом. Сделано это было по совету Калиль Галеба, который нас и представлял. Дворец дедъязмага, большой двухэтажный деревянный дом с крашеной верандой, выходящей во внутренний, довольно грязный двор, напоминал не очень хорошую дачу где-нибудь в Парголове или Териоках. На дворе толклось десятка два ашкеров, державшихся очень развязно. Мы поднялись по лестнице и после минутного ожиданья на веранде вошли в большую устланную коврами комнату, где вся мебель состояла из нескольких стульев и

бархатного кресла для дедъязмага. Дедъязмаг поднялся нам навстречу и пожал нам руки. Он был одет в шамму, как все абиссинцы, но по его точеному лицу, окаймленному черной вьющейся бородой, по большим, полным достоинства газельим глазам и по всей манере держаться в нем сразу можно было угадать принца. И неудивительно: он был сын раса (один из высших титулов при императорском дворе и в провинциях. — В. П.) Маконнена, двоюродного брата и друга Императора Менелика, и вел свой род от царя Соломона и царицы Савской. Мы просили его о пропуске, но он, несмотря на подарок, ответил, что без приказания из Аддис-Абебы он ничего сделать не может. К несчастью, мы не могли даже достать удостоверения от Нагадраса, что приказ получен, потому что нагадрас отправился искать мула, пропавшего с почтой из Европы по дороге из Дире-Дауа в Харар. Тогда мы просили дедъязмага о разрешении сфотографировать его, и на это он тотчас же согласился. Через несколько дней мы пришли с фотографическим аппаратом. Ашкеры расстелили ковры прямо во дворе, и мы сняли дедъязмага в его парадной синей одежде. Затем была очередь за принцессой, его женой. Она сестра Лидж-Иясу, наследника престола, и, следовательно, внучка Менелика. Ей двадцать два года, на три года больше, чем ее мужу, и черты ее лица приятны, несмотря на некоторую полноту, которая уже испортила ее фигуру. Впрочем, кажется, она находилась в интересном положении. Дедъязмаг проявлял к ней самое трогательное внимание. Сам усадил в нужную позу, оправил платье и просил нас снять ее несколько раз, чтобы наверняка иметь успех. При этом выяснилось, что он говорит по-французски, но только стесняется, не без основанья находя, что принцу неприлично делать ошибки. Принцессу мы сняли с ее двумя девочками-служанками. Мы послали в Аддис-Абебу новую телеграмму и принялись за работу в Хараре. Мой спутник стал собирать насекомых в окрестностях города. Я его сопровождал раза два. Это удивительно умиротворяющее душу занятие: бродить по белым тропинкам между кофейных полей, взбираться на скалы, спускаться к речке и везде находить крошечных красавцев — красных, синих, зеленых и золотых. Мой спутник собирал их в день до полусотни, причем избегал брать одинаковых. Моя работа была совсем иного рода: я собирал этнографические коллекции, без стеснения останавливал прохожих, чтобы посмотреть надетые на них вещи, без спроса входил в дома и пересматривал утварь, терял голову, стараясь добиться сведений о назначении какого-нибудь предмета у не понимавших, к чему все это, хараритов. Надо мной насмехались, когда я покупал старую одежду, одна

торговка прокляла, когда я вздумал ее сфотографировать, и некоторые отказывались продать мне то, что я просил, думая, что это нужно мне для колдовства. Для того, чтобы достать священный здесь предмет — чалму, которую носят хараритские, бывавшие в Мекке, мне пришлось целый день кормить листьями ката (наркотического средства, употребляемого мусульманами) обладателя его, одного старого полоумного шейха. И в доме матери кавоса при турецком консульстве я сам копался в зловонной корзине для старья и нашел там много интересного. Эта охота за вещами увлекательна чрезвычайно: перед глазами мало-помалу встает картина жизни целого народа и все растет нетерпенье увидеть ее больше и больше. Купив прядильную машину, я увидел себя вынужденным узнать и ткацкий станок.

После того, как была приобретена утварь, понадобились и образчики пищи. В общем, я приобрел штук семьдесят чисто хараритских вещей, избегая покупать арабские или абиссинские. Однако всему должен наступить конец. Мы решили, что Харар изучен, насколько нам позволяли наши силы, и, так как пропуск мог быть получен только дней через восемь, налегке, т. е. только с одним грузовым мулом и тремя ашкерами, отправились в Джиджига к сомалийскому племени габаризаль. Но об этом я позволю себе рассказать в одной из следующих глав»:

К сожалению, последняя известная ныне четвертая глава относится только к Харару, а о дальнейших походах поэта найдены только отрывочные сведения исследователем профессором В. В. Бронгулеевым. Либо дневник был утерян после смерти поэта, либо дальше из-за загруженности самого Гумилёва подробно вел дневник его племянник, а поэт записывал в блокноте только самые необходимые сведения.

В последней главе Гумилёв писал: «Харар основан лет девятьсот тому назад мусульманскими выходцами из Тигра, бежавшими от религиозных преследований, и смешавшимися с ними арабами. Он расположен на небольшом, но чрезвычайно плодородном плоскогорье, которое с севера и с запада граничит с Данакильской пустыней, с востока — с землей Сомали, а с юга — с высокой и лесистой областью Мета; в общем, занимаемое им пространство равняется восьмидесяти квадратным километрам. Собственно, хараритские живут только в городе и выходят работать в сады, где растет кофе и чад (дерево с опьяняющими листьями), остальное пространство с пастбищами и полями дурро и маиса еще в XVI веке занято галласами, коту, т. е. земледельцами. Харар был независимым государством до… (год не указан самим поэтом. — В. П.). В этом году негус Менелик в битве при Челонко в Гергере наголову разбил хараркого негуса Абдуллаха и взял

его самого в плен, где тот вскоре и умер. Его сын живет под надзором правительства в Абиссинии, номинально называется харарским негусом и получает солидную пенсию. Я его видел в Аддис-Абебе: это красивый полный араб с приятной важностью лица и движений, но с какой-то запуганностью во взгляде. Впрочем, он не высказывает никаких поползновений вернуть себе престол. После победы Менелик поручил управление Хараром своему двоюродному брату расу Маконенну, одному из величайших государственных людей Абиссинии. Тот удачными войнами распространил пределы своей провинции на всю землю данакилей и на большую часть Сомалийского полуострова. После его смерти Хараром управлял его сын дедзаг Ильма, но через год он умер. Потом дедзаг Бальча. Это был человек сильный и суровый. О нем до сих пор говорят в городе, кто с негодованием, кто с неподдельным уважением. Когда он прибыл в Харар, там был целый квартал веселых женщин, и его солдаты принялись ссориться из-за них, и дело доходило даже до убийства. Бальча приказал вывести их всех на площадь и продал с публичного торга (как рабынь), поставив их покупателям условие, что они должны смотреть за поведением своих новых рабынь. Если хоть одна из них будет замечена, что занимается прежним ремеслом, то она подвергается смертной казни, а соучастник ее преступления платит штраф в десять талеров. Теперь Харар едва ли не самый целомудренный город в мире, так как харариты, не поняв, как следует, принца, распространили его (наказание. — В. П.) даже на простой адюльтер. Когда пропала европейская почта, Бальча приказал повесить всех обитателей того дома, где нашлась пустая сумка, и четырнадцать трупов долго качались на деревьях по дороге между Дире-Дауа и Хараром. Он отказывался платить подати негусу, утверждая, что по эту сторону Гаваша негус — он, и предлагал отрешить его от губернаторства; он знал, что им дорожили как единственным в Абиссинии искусным стратегом. Теперь он губернатор в отдаленной области Сидамо и ведет себя там так же, как в Хараре. Дедъязмаг Тафари, наоборот, мягок, нерешителен и непредприимчив. Порядок держится только вице-губернатором фитаурари Габре, старым сановником школы Бальчи. Этот охотно раздает по двадцать, тридцать жирафов, т. е. ударов бичом из жирафьей кожи, и даже вешает подчас, но очень редко. И европейцы, и абиссинцы, и галласы, точно сговорившись, ненавидят хараритов. Европейцы за вероломство и продажность, абиссинцы за лень и слабость, ненависть галласов, результат многовековой борьбы, имеет даже мистический оттенок. „Сыну ангелов, не носящему рубашки, не следует входить в дома черных хараритов“, — поется в их песенке, и обыкновенно они исполняют

этот завет. Все это мне кажется не совсем справедливым. Хараритy действительно унаследовали наиболее отталкивающие качества семитической расы, но не больше, чем арабы Каира или Александрии, и это их несчастье, что им приходится жить среди рыцарей-абиссинцев, трудолюбивых галласов и благородных арабов Йемена. Они очень начитаны, отлично знают Коран и арабскую литературу, но особенной религиозностью не отличаются. Их главный святой шейх Абукир, пришедший лет двести тому назад из Аравии и похороненный в Хараре. Ему посвящены многочисленные платаны в городе и окрестностях, так называемые аулиа. Аулиа здешние мусульмане называют все обладающее силой творить чудеса во славу Аллаха. Есть аулиа покойники и живые, деревья и предметы. Так, на базаре в Гинире мне долго отказывались продать зонтик туземной работы, говоря, что это аулиа. Впрочем, более образованные знают, что неодушевленный предмет не может быть священен сам по себе и что чудеса творит дух того или иного святого, поселившегося в этом предмете…» На этом месте дневник, хранившийся у Сверчковой, прерывается.

О дальнейшем продвижении экспедиции Гумилёва и ее работе можно судить лишь по оставшимся отдельным документам и найденным отрывочным и очень конспективным записям, хранящимся ныне у В. В. Бронгулеева.

19 мая Гумилёв был в Дире-Дауа, где познакомился с Хайле Мариамом по совету миссионеров из французской католической школы. Побеседовав с ним, поэт взял его переводчиком.

20 мая Гумилёв сообщает академику Л. Я. Штернбергу о том, что прибыл на место, пишет о дальнейших планах: «…Мой маршрут более или менее устанавливается. Я думаю пройти к Бари, оттуда по реке Уаби Сидамо к озеру Зваи и, пройдя по земле Арусси, по горному хребту Черчер вернуться в Дире-Дауа. Таким образом, все время буду в наименее изученной части страны Галла. Благодаря дождям не жарко, всюду есть трава и вода, т. е. все, что нужно для каравана. Правда, реки иногда разливаются и в Дире-Дауа почти ежедневно есть несчастные случаи с людьми, но с такими мулами, как у меня, опасность сведена до минимума. Завтра я надеюсь уже выступить, и месяца три Вы не будете иметь от меня вестей. Вернее всего в конце августа я прямо приеду в музей. Очень прошу Вас в половине июня послать через Лионский кредит в Banc of Abyssinie в Dire-Daua 200 р. Я на них рассчитываю, чтобы расплатиться с ашкерами и возвратиться. Русский вице-консул в Джибути м-г Галеб оказал мне ряд важных услуг: устроил бесплатный пропуск оружия в Джибути и в Абиссинии, скидку на провоз багажа на

железной дороге, дал рекомендательные письма. Искренне уважающий Вас Н. Гумилёв».

Во время последнего путешествия в Африку Гумилёв уделял мало внимания поэзии, видимо, сильно уставал, и текущая работа была настолько рутинной, что не вызывала лирического состояния души. Тем не менее и здесь поэт написал несколько стихотворений. Сонет он посвятил «Дездемоне». А вот в стихотворении «Африканская ночь» (1913) Гумилёв выразил свои ощущения от похода в неизвестные земли:

Полночь сошла, непроглядная темень.
Только река от луны блестит,
А за рекой неизвестное племя,
Зажигая костры, шумит.

Завтра мы встретимся и узнаем.
Кому быть властителем этих мест;
Им помогает черный камень,
Нам — золотой нательный крест…
…….
Если же завтра волны Уэби
В рев свой возьмут мой предсмертный вздох,
Мертвый, увижу, как в бледном небе
С огненным черный борется бог.

Стихотворение ценно биографической основой. Поэт скучает по оставленной и далекой России, и воображение подсказывает ему фантастические сюжеты. Он готов рисковать, чтобы испытать чувство страха, вползающее медленно в душу, и победить его презрением к смерти. Река Уэби и в самом деле могла поглотить поэта. Об этом вспоминала его сестра: «…подошли они к реке Уэби. Вместо моста была устроена переправа таким образом: на одном берегу и на противоположном росли два дерева, между ними был протянут канат, на котором висела корзина. В нее могли поместиться три человека и, перебирая канат руками, двигать корзину к берегу. Н. С. очень понравилось такое оригинальное устройство. Заметив, что деревья подгнили или корни расшатались, он начал сильно раскачивать корзину, рискуя ежеминутно упасть в реку, кишащую крокодилами. Действительно, едва они вылезли из корзинки, как одно дерево упало и канат оборвался». Может быть, именно этот случай и послужил Гумилёву толчком для написания его «Африканской ночи».

21 мая экспедиция Гумилёва выступила в поход в Джиджигу

по африканской саванне. Им предстояло одолеть территорию, занятую сомалийскими племенами. Местные аборигены во многом еще сохранили древние языческие поверья и обряды. Например, поклонялись духу-хранителю (аулии), который жил в дереве.

Интересно, что, когда Гумилёв уже собрал большое количество экспонатов и преодолел многие опасности нелегкого путешествия, сработала бюрократическая машина Академии наук. 22 мая прошло заседание историко-филологического отделения академии, на котором было вынесено решение: «Положено сообщить о командировке Н. С. Гумилёва в Правление для зависящих распоряжений». Решение было принято в ответ на прошение за № 217 академика В. В. Радлова, в котором он писал: «В историко-филологическое отделение Императорской Академии наук. Прошу разрешения Отделения на командирование Н. С. Гумилёва в Африку для обследования племени галласов и собирания среди них коллекции и вместе с тем прошу на связанные с этим расходы ассигновать пока 600 рублей…»

4 июня 1913 года Н. Гумилёв и Н. Сверчков вышли в путь из Харара. В дневнике Н. Гумилёв записал: «Вышли в 12 через Тоамские Ворота. Остановились у дома Нагадраса, по приглашению мальчика-переводчика зашли попрощаться, затем удрал Абдулай, а мы пошли на землю Горикьяна. Переночевали, поужинав курицей и китой в прованском масле, которая чудесна». Вначале Н. Гумилёв направился с экспедицией по дороге на Дире-Дауа. Оттуда пошли на запад в сторону Чэрчэрских гор к реке Уаби, переправились на правый берег, зашли в город Гинир.

Несколько дней путешественники добирались до Ганами, и Гумилёв делает теперь краткие записи в своем дневнике: «Вышли в 11. Утром Коля собрал много насекомых. Дорога прямо на запад, та же, что и в Дире-Дауа. Много трещин в дождливое время рек. Вначале дорога совсем красная, потом река Амаресса, озеро Оромайя и Адели, оба соленые. Забавное запрещение стрелять птиц. Мул хромает, я шел почти все время пешком. По обе стороны были поля маиса и изгороди молочаев, кое-где посеяна трава… Вышли в 10, ост<ановились> в пять; первую половину на юг, вторую — на запад; в половине пути видели Гара Мулета к северу километров 15 от нас; пробивались сквозь заросли молочаев, рубя их; дорога была завалена колючками, во многих местах местность — деша; рощи древовидные молочаев, редкие поля дурро; остановились у реки Уотер (ручья) подножия горы Голя; убили утку, ночью стреляли по гиенам. Страна называется Мета, начальник кньязмач Уолде-Мариам Абайнех с 1000 солдатами… Начинаются леса; мы прошли гору Голя и

остановились на горе Уалджира; ссора с герезмачем Кайлю и судья…»

В один из дней этого похода экспедиция Гумилёва добралась наконец до селения Беддану и остановилась на отдых у дяди переводчика Фасики — герезмача Мозлекие. Здесь уставших от перехода путешественников запечатлел за обедом, видимо, сам Фасика. Гумилёв был в белой рубахе. В своем дневнике поэт отмечает: «Были в гостях у жены герезмача; обед в английской палатке, беседа; русский доктор; дитя и падчерица (из сказок Гримма)». После отдыха на следующий день экспедиция вновь двинулась в путь.

11 июня Н. Гумилёв и Н. Сверчков — в Ганами. В дневнике поэт записывает: «Шли 6 часов на юг; пологий спуск в Аппия; дорога между цепью невысоких холмов; колючки и мимозы… Отбились от каравана; решили идти в город; поднимались над обрывами полтора часа; спящий город; встречный вице-губернатор доводит до каравана и пьет с нами чай, сидя на полу. Город основан лет тридцать назад абиссинцами, называется Ганами (по-галласски Утренитб, т. е. Хороший); в нем живет начальник области фитаурари Асфау с 1000 солдатами гарнизона; домов сто. Церковь святого Михаила; странные камни с дырами и один на другом; есть даже три друг на друге. Один напоминает крепостцу с бойницей, другие сфинкса, третьи циклопические постройки. Тут же мы видели забавное приспособление для дикобраза (джарта); он ночью приходит есть дурро, и абиссинцы поставили род телеграфной проволоки или веревки консьержа, один конец которой в доме, а на другом повешено деревянное блюдо и пустые тыквы. Ночью дергают за веревку, в поле раздается шум, и джарт убегает. В дне пути к югу есть львы, в двух днях — носороги».

После 11 июня в дневнике Гумилёва было сделано несколько записей под номерами 9–13: «Вышли в 12 часов дня. Большой и нетрудный спуск. Деревни все реже и реже. Начинается барха (пустыня) и кола. Высокие молочаи и мимозы. Дикая кошка, индюки, леопард. Прошли воду, остановились в пустыне в 5 часов. В маленькой деревушке, которую мы прошли, таможня. Чиновники бежали за нами и не хотели принять разрешения, требуя такого от нагадраса Бифати. „Собака не знает господина своего господина“. Мы их прогнали… Вышли в 6 часов. Жара смертельная. Ашкеры бунтуют. Успокаиваю их обещанием кормить их в пустыне. Идем среди колючек. Потеряли дорогу. Ночь без воды и палатки. Боязнь скорпионов…»

14 июня путешественники были в галласском поселке: «Вышли в 6 часов. Шли без дороги. Через два часа цистерна с

проточной водой. К 11 часам разошлись искать дорогу; все колючки, наконец условный выстрел. Пришли к галласской деревне. Стали просить продать молока, но нам объявили, что его нет. В это время подъехали абиссинцы (два конных, пять слуг) ашкеры Ато Надо, которые просились ехать с нами в Ганами. Они тотчас вошли в деревню, проникли в дома и достали молока. Мы выпили и заплатили. Галласские старухи были очарованы. Абиссинцы не пили, была пятница, они старались для нас и, отыскивая нас по следам, заехали в эту трущобу. Мы не знали дороги и схватили галласа, чтобы он нас провел. В это время прибежали с пастбища мужчины — страшные, полуголые, угрожающие. Особенно один, прямо человек каменного века. Мы долго ругались с ними, но наконец они же, узнав, что мы за все заплатили, пошли нас провожать и по дороге, получив от меня бакшиш, благодарили, и мы расстались друзьями. Остановились в 4 часа утра у воды. Вечером история. Накануне у нас пропал бурнус, и по абиссинскому обычаю мои ашкеры должны были платить за него. Они пересмотрели все свои вещи и, наконец, принялись за вещи приставшего к нам по дороге ашкера, отбившегося от своих хозяев, Нагода Шангаля. Тот пришел жаловаться к нам и предлагал идти к судье. Ему резонно поставили на вид, что в бархе судей нет; и в то время как одни его держали, другие вспороли его мешок. Первой вещью там оказался наш бурнус. Вор хотел бежать, его схватили и связали. Пришедшие наши друзья-абиссинцы ссудили нам кандалы, и вора заковали. Тогда он объявил, что у него украли 6 талеров. Мне следовало платить, и я объявил, что раскладываю эти деньги на своих ашкеров. Тогда вора обыскали и нашли деньги в его платье. Это всех возмутило».

И снова дорога. 15 июня в дневнике появляется запись: «Вышли в 6 часов. Часам к 11 покупали масло у начальника деревушки (города). Купили подойник. В доме живут телята и верблюжата. Потом долго не могли найти воды и шли до 4,4 ч. Всего десять часов. Устали страшно. Купались в цистерне аршин глубиной. Заснули на камнях без палатки, ночью шел дождь и вымочил нас».

На следующий день экспедиция вновь в дороге. Поэт записывает: «Шли 1,5 часа. Потом абиссинцы застрелили антилопу, и мы долго снимали с нее кожу. Прилетели коршуны и кондоры. Мы убили четырех, с двух сняли кожу. Стрелял по вороне. Пули скользят по перьям. Абиссинцы говорят, что это вещая птица. Вечером проявляли (видимо, фотографии. — В. П.)».

17 июня 1913 года Н. Гумилёв с группой посещает селение из шести хижин. Николай Степанович фиксирует в дневнике:

«Абиссинцы потеряли своих мулов и пошли их искать. Мои ашкеры требуют их ждать, так как только они знают дорогу. Я соглашаюсь ждать до 12 часов. В страшную жару выходим. Идем до 5 часов. Бахра похожа на фруктовый сад. Здесь она становится светлее и реже. Остановились у деревни. У входа. Чтобы коровы не бросились все сразу в ворота и не ломали их, перед ними вырыта большая яма. Мы вошли в деревню из шести только соломенных хижин (женщины и дети носят куски кожи вместо одежды). Посетили школу. Купили ложку и смолы для чернил. Учитель страшный жулик. Учился у сомалей. Дети на каникулах, так как падеж скота. Впервые видел молитву Шейх-Нуратукейну».

На следующее утро экспедиция Гумилёва заплатила местному учителю, чтобы тот показал дорогу, но как гласит запись в дневнике поэта: «…долго хотел убежать, и мы его били. Абиссинцы догнали нас. Шли четыре часа и остановились без воды и палатки».

После непродолжительного отдыха экспедиция отправляется опять в дорогу. И снова краткие записи поэта под номерами 16–22: «Спуск к Рамису, который начинается в Мете и в этом месте впадает в Уаби. Мы перешли его вброд и через полчаса красивого пути достигли Уаби, которая разлилась. Кричали и стреляли, чтобы спугнуть крокодилов, потом пустились вплавь. Крокодилы кружились тут же и пугали мулов, которые начали тонуть и нестись по течению. С Коли, мул которого опрокинулся, крокодил сорвал гетру, другого мальчика он схватил за палец. Мокрые, мы вылезли и долго голые сушились на берегу. Потом ловили рыбу. Поймали 14 белых, двух черных с усами. Клев чудесный. Под вечер подъем 2 ч<аса> трудный. Спим без палатки… Вышли в 6, шли до 11, все барха; встретили гиганта галласа, в Арусси они все такие. Он за деньги показал воду, продал масло. Мука кончилась. Отдыхали; пили ужасное кислое молоко. В 4 вышли, шли до 6,5; … мула. Спим в палатке… Вышли в 6, шли на запад 2 ч<аса>, потом убили амбарайли (антилопу) и по обыкновению остановились снимать шкуру и есть. Подошли галласы — старик с мальчиком и юноша с ребенком, что должно изображать их ашкеров. Старику дали хребет зверя. Потом искали насекомых, сняли шкуры с двух попугаев. Фасика писал сказку… Удалились от каравана, чтобы посетить деревню, там долго торговались, ничего не купили. По дороге видели свиней, убили маленькую, сняли шкуру, вечером шли опять, всего 5 часов… Идем по равнине; дичи масса, убили шакала. Остановились после трех часов хода, потому что галласы зарезали двух быков на кладбище и пригласили нас есть. Вечером ходили на охоту: убили громадную птицу, видели оленей. У меня лихорадка и почки.

Пить нечего… Шли 8 часов. Несли гнилую птицу. Остановились перед городом по ту сторону обрыва…»

23 июня 1913 года Н. С. Гумилёв и Н. Сверчков в селении Шейх-Гуссейн[35]: «Шли три часа до города; остановились на окраине под двумя молочаями. Пришли два галласа, которые советовали гнать других. Аба Муда прислал провизии. Мы пошли к нему; он принял нас в доме с плоской крышей, где были три комнаты — одна отгороженная кожами, другая — глиной. Была навалена утварь. Хотел войти осел. Муда подражает абиссинским вождям и важничает. Потом после дня ужасной жары пошли смотреть гробницу Шейх-Гуссейна. Это огороженное высокой каменной стеной кладбище с каменным домиком привратника из Джиммы снаружи. Сняли обувь, камни кололись. Выбеленные снаружи домики не штукатурены внутри. Лучший дом — круглый гроб Ш. Г. Потом есть гробницы его сына, дочери, шейха Бушера (сына шейха Магомеда), шейха Абдул Кадира и знатных галласов. Вечером писали историю Ш. Г. с Хаджи Абдул Меджидом и Кабир Аббасом».

Здесь Гумилёв и Коля-маленький рассматривали долго могилу Шейха Гуссейна и племянник поэта сделал несколько снимков. На одном из них Гумилёв держит в руках священную арабскую книгу. Сфотографировал Коля Сверчков и абиссинского наместника в Шейх-Гуссейне Аба Муду. На другой день поэт записывает в дневнике: «Утром пошли в обрыве смотреть место чудес. Видели пещеру, где он жил, и там беременную женщину, и змею, и святилище. Потом еще две пещеры, во второй дыры, где пролезает только безгрешный; пролез Аба Муда и я. Потом камень на дне обрыва, где Ш<ейх> Г<уссейн> молился, когда к нему пришел его любимый ученик и слетел с высоты 40; потом после тяжелого сна сфотографировали книгу и город».

Об этих эпизодах сохранились воспоминания Александры Сверчковой: «В пути караван Н. С. встретился с двумя абиссинцами, которые шли к св. Гуссейну, чтобы он помог им отыскать пропавшего мула. Н. С. заинтересовался и повел караван к жилищу пророка. По дороге туземцы рассказывали ему много чудесного: как святой превратил неприятельское войско в камни, как гора перешла вслед за святым со своего места на новое и т. д… Для испытания греховности человека служили два больших камня, между которыми был узкий проход. Надо было раздеться донага и пролезть между камнями в очень узкий проход. Если кто застревал, он умирал в страшных мучениях: никто не смел протянуть ему руку, никто не смел подать ему кусок хлеба или чашку воды. В этом месте валялось немало черепов и костей. Как ни отговаривал Коля маленький, Н. С. все-таки рискнул сделать

опыт — пролезть между камнями. Коля м. говорил, что он боялся за дядю, как никогда в жизни! Все кончилось благополучно, и Коля маленький поспешил увести караван подальше, пока дядюшка не выдумал еще какого-нибудь (опыта). Однажды на них напало стадо буйволов. Их спасло только то, что дикие животные испугались, увидя лицо белого человека, и повернули назад. В другой раз они подверглись нападению обезьян, забравшись слишком глубоко в чащу леса. Коля маленький побывал в зубах крокодила и спасся только благодаря своей находчивости, а мул, на котором он ехал, погиб».

Конечно, все это вспоминала Александра Степановна в пересказе сына, и тот приукрасил некоторые события, чтобы вызвать восторг матери. А кое-что она просто не поняла, посчитав, что они встречались с Шейх-Гуссейном, которого давно уже не было в живых.

Из селения Шейх-Гуссейна экспедиция отправилась в сторону Гинира. Гумилёв записывает под номерами 25 и 26 в своем дневнике: «Вышли в 11, в три встретили коровий водопой, но не остановились, и потом выяснилось, что воды нет, и мы шли до 8 часов, т. е. до дега. Последний час был подъем в темноте. С утра ничего не ели, все больны. Путь Ю. З., погода облачная, дождя нет… Шли четыре часа; зашли в деревню купить молока, осматривали избы. Купили машину для очищения хлопка… Потом пришел старик абиссинец с сыном, ему дана эта деревня, потом повел к себе и, закрывая нас полой от дурного глаза, поил молоком. Остановились кормить мулов. Искали золото в реке».

30 июня 1913 года Н. Гумилёв и Н. Сверчков шли в Гинир: «Шли 10 часов до Гинира, местность унылая — дега. Остановились за городом; Фасики друг — начальник рынка; мы обедали у двух сирийцев дома Галеба».

Здесь Гумилёв позволил себе расслабиться и отдохнуть несколько дней. Известна и точная дата, когда экспедиция отправилась дальше, — 4 июля. Из Гинира Гумилёв направился в обратный путь в Дире-Дауа, на что ушло двадцать пять дней. Последняя запись в дневнике была сделана 29 июля 1913 года (с 31 по 53 номер).

4 июля экспедиция Н. Гумилёва покинула Гинир; впечатления по дороге: «Идем шесть часов на запад; к югу горная цепь отделяет нас от Габбы; унылая дега, много шакалов». Отмеченная Габба — это главный город провинции Бале. Гумилёву это было, несомненно, интересно, так как именно в этих местах начиналась река Уаби (хребет Мендебо).

В оставшиеся до окончания похода дни Гумилёв очень конспективно отмечает происходящие события: «32. Идем четыре

часа, потому что Фасика болен; остановились в лощине, едим пару уток. 33. Идем четыре часа до спуска к Уаби; по дороге ловили крысу; везде абиссинские поселения, базар без деревни; начальник в будке, объявление о беглом рабе; красавицы; женщина с зобом; купили глиня<ную> и плетеную вазу из-под масла. 34. Спуск к Уаби 4 часа; переправа, дождь, хлопоты с мулами; заплатили 4 талера, шли час от воды, ища травы. 35. Встали в два часа ночи, чтобы выйти из колы до жары. Шли 6 ч<асов> и остановились отдыхать. Потом шли от трех до пяти; подъем в дега; остановились у строящегося абиссинского города. У галласа взамен соли взяли молока. 36. Идем 5 ч<асов> по дега, деревень мало, дров нет. Днем капал от 1 до 3-х дождь, ночью ливень. В деревне нам приготовили… Фасика убил утку, которую жарил я. 37. Идем пять часов на северо-восток; убили двух уток; много снимали в деревне; в стороне служанка Ш<ейх> Г<уссейна>. 38. Шли 5 ч<асов>. На востоке город… Кабала; Тичо в горах. Много… Вечером пришел бык и лизал осла. Ибрагим говорит, что хозяин быка умрет; Магомет, что быки любят пот. 39. Идем шесть часов. Остановились в пустой деревне, жители выселились на время дождей в кола, т<ак> слишком много грязи и быки тонут. Уаккине болен; спим в доме. 40. Сидим на месте, т<ак> к<ак> Уак<кине> болен. Видели галласа-фермера. Ходили за медафьелями (дикими козами), их масса, но они не подпускают. Я ранил одну, и мы два часа бегали за ней. Пошел дождь, мы спрятались в бурнус галласа. Пропал револьвер. 41. Шли пять часов по дега; много покинутых деревень, в одной переждали дождь, сидя на кровати. 2-х часовый спуск в война-де-га. Уже видно Иту. 42. Через три часа прелестной дороги с павианами и… палатка; из нее выходит белый m-r Rey, мы садимся и решаем ночевать, чтобы завтра вместе пройти таможню — у него кобылы, у меня разрешение. Вечером ему приносят еды от жены Ато Мандафры, едим вместе. Мул кашляет. 43. На утро… 49. Подходим к Монаху. 50. Сидим у Монаха. 51. Ушли от Монаха. 52. Пришли в Лагохардам. 53. Дорога…» На этом обрывается и этот конспективный дневник.

29 июля 1913 года в «Африканском дневнике» Николая Гумилёва сделана последняя запись. Но экспедиция на этом не завершилась. В начале августа Н. Гумилёв и Н. Сверчков в Дире-Дауа ждут денег, так как им не на что отправиться назад. 8 августа Николай Степанович вынужден был обратиться с просьбой одолжить необходимую сумму к русскому послу в Абиссинии Чемерзину. Посол дал поэту сто сорок талеров, которые тот обязался вернуть по прибытии в Россию. Теперь Гумилёв вынужден ожидать отправления и пакует собранные

материалы.

А тем временем произошел довольно интересный случай. 13 августа 1913 года в селении около Дире-Дауа в семье Х. Мариало родился сын, названный в честь русского поэта Гумилёва — Гумило. Почему? Именно в это время Гумилёв гостил в семье переводчика и пробыл там полтора дня, то есть до 15 августа. Племянник переводчика О. Ф. Е. Абдуи так передал в 1987 году в газете «Московские новости» сообщение об этих днях поэта в Африке: «В день отъезда поэта из нашего дома в Харар местный землевладелец привязал своего работника за ногу к дереву… Гумилёв отвязал его и привел в Дире-Дауа, поручив там попечению французских миссионеров. В этот же день 13 августа у моего деда родился сын, и в честь русского путешественника его назвали Гумило». Эфиопский Гумилёв умер в 1974 году.

15 августа 1913 года официально окончилась экспедиция Н. Гумилёва, о чем свидетельствует тетрадь, сданная Николаем Степановичем в Музей антропологии и этнографии, на обложке которой написано: «Галласские, хараритские, сомалийские и абиссинские вещи, собранные экспедицией Н. Гумилёва 1913 г. от 1-го мая до 15-го августа». На четырнадцатой странице нарисована схема путешествия экспедиции, а на пятнадцатой и шестнадцатой даны пояснения. Согласно данной схеме поэт прошел следующий путь: Харар, Джиджиге, район Меты, Аннийскую пустыню, Уэби, Шейх-Гуссейн, район Арусси, Чэрчэрских гор (восточная часть Центральной Абиссинии и примыкающая область к Северо-Западному Сомали).

Три недели Гумилёв со своим племянником просидел в Джибути, видимо, они ждали парохода той компании, которая обязалась их доставить в Россию. В Царском Селе дядя и племянник появились лишь в сентябре. 26 сентября Гумилёв сдал в качестве отчета три коллекции в Музей антропологии и этнографии. Коля Сверчков в свою очередь сдал около двухсот пятидесяти негативов с описью отснятого. Коллекциям поэта были присвоены номера 2154, 2155, 2156. В первую коллекцию попали экспонаты, собранные в Хараре. Их сорок шесть. Вторая коллекция содержала предметы быта сомалийцев и насчитывала сорок восемь предметов. В третьей, — представлявшей галласские племена коту и арусси из провинций Арусси, Аппия, Бали и Мета, — было тридцать четыре предмета. Четвертую коллекцию, которую музей не мог купить, поэт подарил, и она числится под номером 2131. В нее вошли предметы абиссинского быта.

Значение проделанной работы для науки высоко оценил известный ученый-африканист, академик Д. А. Ольдерогге, в то время бывший непременным секретарем академии. В отчете о

работе историко-филологического отделения Императорской Академии наук за 1913 год он писал: «Интересна… коллекция в 128 предметов. Собранная в Восточной Африке (Хararское плоскогорье и северо-западная часть Сомалийского полуострова) командированным туда г. Н. С. Гумилёвым. Племя сомали было до сих пор представлено в музее лишь несколькими предметами; доставленные г. Гумилёвым 48 сомалийских предметов дополняют картину быта этого племени. Совершенно не были до сих пор представлены харари, по быту которых в коллекции г. Гумилёва имеется 46 предметов. Остальная часть собрания пополняет прежние коллекции музея по быту и культуре галла в Абиссинии».

На этом африканская эпопея Гумилёва не окончилась.

26 ноября 1913 года Гумилёва пригласил к себе академик В. В. Радлов. Оказывается, 27 октября Б. А. Чемерзин послал письмо, где обвинял Гумилёва в невозврате денег. Выяснив, как все было на самом деле, академик ответил нетерпеливому послу: «Его Превосходительству Б. А. Чемерзину. Милостивый Государь Борис Александрович. По получении письма Вашего Превосходительства от 27 октября с. г. за № 102 мною был приглашен в Музей Н. С. Гумилёв, который сообщил мне, что уже месяц тому назад деньги им были переведены в Миссию через Лионский кредит. Задержка в высылке денег произошла от того, что г. Гумилёву пришлось ждать около трех недель в Джибути…»

Гумилёв был человеком чести. Чемерзин позволил в этом усомниться, а это было оскорбительно для поэта. Сам Николай Степанович даже в начале 1914 года не получил за свои труды положенное вознаграждение, о чем свидетельствует его заявление от 8 января: «По командировке Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого мною приобретены среди племен Сомали, Харари и Галла этнографические коллекции и сделаны фотографические снимки, за которые следует получить 400 (четыреста) рублей». Гумилёв жалел не денег, он переживал, что проделанная им огромная работа не была оценена по достоинству.

Дома с женой говорить об африканских экспонатах было бесполезно. Анна Андреевна не переносила этих бесед.

Лето она провела в Слепневе, где писала стихи и отдыхала. Среди написанных в отсутствие мужа стихотворений два явно обращены к нему. В одном из них «Ничего не скажу, ничего не открою…» она пишет:

Ничего не скажу, ничего не открою.
Буду молча смотреть, наклонившись, в окно.

Как-то раз и меня повели к аналою,
С кем — не знаю. Но помню — давно…

В другом стихотворении «Вечерние часы перед столом…» она признается:

Какую власть имеет человек,
Который даже нежности не просит!
Я не могу поднять усталых век,
Когда мое он имя произносит.

18 сентября (1 октября по старому стилю) в Москве у актрисы Ольги Высотской родился от Гумилёва сын, которого она назвала Орестом. Ему суждено было продолжить род поэта и довести его до наших дней. Почему Николай Степанович не встретился со своей возлюбленной и почему не сделал попыток разыскать сына — вот загадка, которая мучила Ореста Николаевича, носившего фамилию матери — Высотский, на протяжении всей его долгой и нелегкой жизни.

Африка не отпустила поэта, хотя он больше туда не попал. Он будет мыслями возвращаться к ней до конца жизни. Кто знает, о чем думал Гумилёв перед смертью, сидя в большевистской камере. Возможно, он бредил Африкой, как бредил ею в Марселе другой поэт Артюр Рембо, умирая в местном госпитале. Ведь Рембо много лет провел в Абиссинии, куда он сбежал из надоевшего ему Парижа, оставив ради этого навсегда даже поэзию. В этом они были разными. Гумилёв, как и Рембо, любил Абиссинию, но остался верен поэзии до последнего мгновения своей жизни.

Глава XIII ИТАЛЬЯНСКАЯ РАПСОДИЯ

Еще в тиши парижских библиотек, изучая историю Римской империи в Сорбонне, Гумилёв мечтал побывать на овеянной легендами земле древних гладиаторов. Но из-за отсутствия денег он так и не совершил этой поездки.

Италия давно стала своеобразной Меккой для русских поэтов. Многие путешествовали по Апеннинскому полуострову и оставляли свои впечатления в очерках и стихах. И не всегда они носили восхищенный оттенок. Так, один из лучших русских лириков XIX века — Афанасий Фет — писал о ней без особого восторга:

Италия, ты сердцу солгала!
Как долго я в душе тебя лелеял, —
Но не такой мечта тебя нашла,
И не родным мне воздух твой повеял.

Оставил стихи об Италии и любимый поэт Гумилёва — Федор Тютчев. В начале XX века там побывали Валерий Брюсов и Александр Блок. Вернувшись из погружения в мир Античности, они написали циклы стихотворений, посвященных прекрасному и магическому полуострову. Гумилёв с упоением читал стихи своего учителя и с любопытством итальянские опыты Блока. Итальянские стихи самого Гумилёва были в ту пору путешествием в мир романтических снов прошлого, окрашенного образом таинственного Императора Каракаллы.

Теперь вернусь в весну 1912 года. Тогда планы молодых супругов совпали. Анна Андреевна согласилась на совместное путешествие: ей казалось, что она сможет хорошо отдохнуть.

После парижской поездки к Модильяни Анны Андреевны, о чем знал Николай Степанович, отношения между супругами стали более холодными. Гумилёв вел себя подчеркнуто вежливо, но от былой юношеской страстной любви не осталось и следа. Через много лет Ахматова скажет о своей поездке в Италию и об их отношениях: «Не знаю почему… Должно быть, мы уже не так близки были друг к другу… Я наверное дальше от Николая Степановича была…»

Античный мир, следы которого жаждал отыскать Гумилёв, для нее не был таким желанным. Анна отправлялась в поездку просто развеяться.

За несколько дней до отъезда Николай Степанович привез

жене из Санкт-Петербурга подарок — книгу Гюстава Флобера «Мадам Бовари», чтобы ей в дороге не было скучно. Однако Анна Андреевна так увлеклась чтением, что не заметила, как прочитала ее еще дома.

3 апреля поэт вместе с Анной Андреевной выехал из Царского Села. На вокзал в Санкт-Петербурге их пришли провожать друзья — Евгений Зноско-Боровский и Михаил Кузмин. Супруги отправились на поезде по маршруту Санкт-Петербург — Вержболово — Берлин — Лозанна — Уши и только после этого попали в итальянский город Оспедалетто. Здесь они провели целую неделю, отдыхая на вилле у родственников поэта Кузьминых-Караваевых. Наверняка разговор зашел и об умершей недавно в Италии Машеньке Кузьминой-Караваевой. Может быть, под впечатлением печальных разговоров и родились у Анны Андреевны строки:

Слаб голос мой, но воля не слабеет.
Мне даже легче стало без любви.
Высоко небо, горный ветер веет,
И непорочны помыслы мои…

(«Слаб голос мой, но воля не слабеет…», 1912)

Гумилёв не написал в имении Кузьминых-Караваевых ничего. Он планировал будущий маршрут поездок. Из Оспедалетто супруги направились на побережье Лигурийского моря в североитальянский город Геную. Николай Степанович знал, что в древности на этом месте жили племена лигуров, которые в III веке до н. э. были покорены римлянами, что генуэзцы принимали активное участие в Крестовых походах. Генуя владела многими колониями, в том числе и в Крыму. Потом, в 1797 году, Наполеон Бонапарт сделал Геную столицей Лигурийской республики.

Город-порт был живописно разбросан на склонах морской бухты. Здесь располагались старинные виллы и палаццо XVI–XVII веков и даже более древние архитектурные памятники, такие, как церковь Санта-Мария ди Кастелло XI века и величественный замок Кастелло Макензи, стоявший на возвышенности. Но особенное внимание поэтов привлек дворец правителей Генуэзской республики — палаццо дожей.

Анна Андреевна быстро уставала, и поэтому долгие часы Николай Степанович подолгу бродил по улицам города один. Однажды он забрел в палаццо Reale. За окном дворца — море, море на картинах — разве могло все это оставить романтика равнодушным? Что ему все эти виллы и палаццо, когда страсть свободной стихии бушует и в жизни, и в искусстве! Известно, что

романтика моря была у Гумилёва в крови и острая радость сопричастности продиктовала ему строки о той далекой от него загадочной жизни морских скитаний и случайных таверн:

В Генуе, в палаццо дожей
Есть старинные картины,
На которых странно схожи
С лебедями бригантины.

Возле них, сойдясь гурьбою,
Моряки и арматоры
Все ведут между собою
Вековые разговоры.

С блеском глаз, с усмешкой важной.
Как живые, неживые…
От залива ветер влажный
Спутал бороды седые…

(«Генуя», 1912)

Поэт полон жизненных сил, он жаждет понимать и постигать прекрасный мир. Он смотрит на Италию глазами человека, который ждет рождения новой жизни. Известно, что в это время его жена ждала ребенка.

Блок посетил Италию ровно за три года до приезда Гумилёва (14 апреля 1909 года) совершенно с другим настроением. 2 февраля 1909 года у жены Блока родился сын Митя, но ему суждено было прожить всего восемь дней. Путешествие Александра Александровича по Италии (а он побывал в Венеции, Равенне, Флоренции, Сеттиньяно, Перуджии, Ассизи, Фолиньо, Сполето, Орвьетто, Сиене, Пизе, Марино де Пизо и Милане) напоминало одни большие поминки. Блок часто думал о смерти и видел все в мрачных красках. 15 мая во Флоренции он записал в своем блокноте: «По вечерам… По утрам — тише воды, ниже травы. Всю жизнь все равно не перескучаешь. Звонки и хрипы автомобилей — ведь это все от отчаянья — назло. Такими сотворил их Город. Скоро он задушит нас всех… Выхожу из кафе — автомобильное сипенье. Повозка. Люди везут труп на рессорах. Впереди человек с факелом. Провезли через площадь Duomo и заперли ворота. Сейчас — вытащили, волочатся мертвые ноги, раздевают. Такова Флоренция с другой стороны. Это — ее правда. Никто из следующих прохожих не знает, что за этими воротами — раздетый труп. Мигают фонари». Сколько тоски в этих строках!

Она уже поселилась в сердце прекрасного русского поэта и не оставляла его до гробовой доски.

Безысходностью дышат строки Блока, записанные им в ночь с 11 на 12 июня 1909 года в Марино де Пизо: «Проснувшись среди ночи под шум ветра и моря, под влиянием ожившей смерти Мити, от Толстого и какой-то давней, вернувшейся тишины, я думаю о том, что вот уже три-четыре года я втягиваюсь незаметно для себя в атмосферу людей, совершенно чужих для меня, политиканства, хвастливости, торопливости, гешефтмахерства. Источник этого — русская революция, последствия могут быть и становятся уже ужасны… Италии обязан я, по крайней мере, тем, что разучился смеяться. Дай Бог, чтобы это осталось…»

Гумилёв пьет всей грудью свежий ветер морской Италии, и у него рождаются новые и новые строчки, Блок страдает.

Гумилёв на подъеме. Он жаждет славы. Он будет всю жизнь соотносить свои достижения в поэзии с творчеством Блока и считать себя если не лучшим (из-за разницы в возрасте), то, безусловно, не худшим русским поэтом.

Из Генуи Гумилёвы отправляются в город центральной Италии, на родину этрусков — Пизу. Когда-то это был прославленный и могущественный город, который владел Корсикой и Сардинией и соперничал с Генуей. Но уже в 1284 году флот Пизы был разгромлен генуэзцами, а в 1406 году Пизу завоевала Флоренция.

О пребывании в этом городе поэт оставил одно из самых глубоких по смыслу стихотворений, можно сказать, философско-лирическое описание Пизы:

Солнце жжет высокие стены,
Крыши, площади и базары.
О, янтарный мрамор Сиены
И молочно-белый — Каррары!
…….
Все проходит, как тень, но время
Остается, как прежде, мстящим,
И былое, темное бремя
Продолжает жить в настоящем.

Сатана в нестерпимом блеске,
Оторвавшись от старой фрески,
Наклонился с тоской всегдашней
Над кривою пизанской башней.

(«Пиза», 1912)

Известный искусствовед начала XX столетия П. П. Муратов писал о Пизе: «Старая Пиза до сих пор способна внушать благоговейное удивление, потому что до сих пор цела площадь на окраине города, где стоят созданные ее гением собор, Баптистерий, наклонная башня и Кампо-Санто. Другой такой площади нет в Италии, и даже Венецианская Пьяцца не производит первого впечатления настолько же сильного, полного и чистого. Во всем мире трудно встретить теперь место, где могла бы так чувствоваться, как здесь, прелесть мрамора…» Речь идет о Соборной площади Пизы. А Кампо-Санто — кладбище с могилами в специальном здании с открытым двориком в середине. Земля для него была привезена из Палестины на пятидесяти галерах. В начале прошлого века там было около семисот погребений. Конечно, Гумилёв отправляется туда. Здесь стоят гробницы известных людей Пизы. Стены здания расписаны прекрасными художниками прошлого. Здесь же знаменитая картина «Триумф смерти», написанная в 1350 году Франческо Траини и Буонамико Буффальмако…

Поэт стоит над гробницами гибеллинов и гвельфов. В XIII–XIV веках это были две враждовавшие партии. Теперь они спят мертвым сном вперемежку. Увы, «все проходит, как тень…». Гумилёв не мог не знать историю графа-правителя Пизы Уголино делла Герардеска, который был свергнут и заточен со своими сыновьями и внуками в башню, где и умер в 1289 году от голода. О нем писал в «Божественной комедии» сам Данте! Кому же открывается вечность: графу-правителю или художнику?

Здесь же, в Кампо-Санто, висели настоящие ржавые цепи, которыми, по легенде, запирали Пизанскую гавань в 1290 году, когда генуэзцы разгромили флот Пизы. Цепи завоеватели увезли как трофей, но позже вернули в Пизу.

Конечно, главной достопримечательностью Пизы была и остается ее знаменитая кампанила — «Падающая башня» (наклонная от вертикальной оси) XII–XIV веков. Она как бы символизирует саму историю города, уходящую под наклоном в прошлое и устремленную в небо будущего. В гумилёвском стихотворении в последней строке сатана наклонился над символом города — Пизанской башней с «тоской всегдашней».

Из Пизы Гумилёвы отправились во Флоренцию, в которой, по описаниям все того же П. Муратова, «мало мрамора на улицах».

Но прежде чем перейти к его поэтическим воспоминаниям, пройдемся вслед за поэтом по флорентийским улицам. Флоренция отличалась от других городов Европы тем, что она уже в XII веке была республикой и строительством города занимались общества ремесленников и торговцев. Они были

попечителями, они платили художникам и скульпторам за их работу. Денег на украшение города купцы не жалели. Может быть, поэтому пятьсот лет назад во Флоренции почти одновременно проживали и работали десятки талантливейших мастеров кисти и резца.

Наверняка Гумилёв побывал в монастыре Сан-Марко. С историей этого славного монастыря было связано имя одного из основателей герцогского рода Медичи — Козимо, который финансировал строительство знаменитого дворца Via Larga. Козимо любил бывать в монастыре, где забывал о земной суете и предавался молитвам. При его поддержке монастырь стал расширяться и для росписи стен был приглашен замечательный художник Фра Анджелико. Настоящее имя живописца Джованни да Фьезоле (ок. 1400–1455). Он был монахом-доминиканцем, известным под именем Иль Беато Анджелико или Фра (брат) Беато Анджелико. Гумилёв мог видеть живописные работы художника в церкви Сан-Доменико во Фьезоле, во флорентийском картезианском монастыре (известные работы «Венчание Богоматери» и «Мадонна с двумя святыми»), В самом монастыре Сан-Марко хранятся иллюстрированные Фра Беато библейские книги.

Гумилёв посвятил итальянскому живописцу стихотворение, которое так и назвал «Фра Беато Анджелико» (1912), где признается в любви к художнику:

В стране, где гиппогриф веселый льва
Крылатого зовет играть в лазури,
Где выпускает ночь из рукава
Хрустальных нимф и венценосных фурий;

В стране, где тихи гробы мертвецов,
Но где жива их воля, власть и сила,
Средь многих знаменитых мастеров,
Ах, одного лишь сердце полюбило.

Пускай велик небесный Рафаэль,
Любимец бога скал, Буонаротти[36],
Да Винчи, колдовской вкусивший хмель,
Челлини, давший бронзе тайну плоти.

Но Рафаэль не греет, а слепит,
В Буонаротти страшно совершенство,
И хмель да Винчи душу замутит.
Ту душу, что поверила в блаженство.

На Фьезоле, средь тонких тополей,
Когда горят в траве зеленой маки,
И в глубине готических церквей,
Где мученики спят в прохладной раке.

На всем, что сделал мастер мой, печать
Любви земной и простоты смиренной.
О да, не все умел он рисовать,
Но то, что рисовал он, — совершенно…

Если внимательно вчитаться в строки, то в портрете мастера можно уловить черты самого Гумилёва. Он тоже считает себя мастером — мастером слова! Поэтому стремится к совершенству. Образ Фра Беато для него был настолько важен, что поэт помешает свое стихотворение в первый же номер вышедшего в октябре 1912 года поэтического журнала «Гиперборей». Им он как бы обозначил свою позицию.

Первым автобиографическую канву стихотворения отметил в своей сорбоннской диссертации о Гумилёве Николай Оцуп: «… Можно было бы не без основания считать это стихотворение автобиографическим, ибо, восхваляя своего любимого художника, Гумилёв как бы приоткрывает свой артистический идеал. Это, несомненно, самое лучшее его итальянское стихотворение. В стихотворении <…> „Маяки“ Бодлер перечисляет тех художников, которыми восхищался. Гумилёв делает то же самое в „Фра Беато“, расточая свои похвалы лишь самым знаменитым итальянским художникам. Но каждый раз к восторгу Гумилёва примешана и критика… Затем, торопясь вернуться к дорогому ему Фра Беато, Гумилёв с восхищенной простотой описывает темы его живописи… Каким миром и спокойствием, каким светом веет от описания этих святых у Гумилёва! Конечно, он только выражал словами то, что Фра Беато выражал красками…»

Наверняка Гумилёв побывал и в церкви Санта-Кроче францисканского ордена, ведь здесь многие фрески были написаны великим Джотто. Работами этого мастера восхищался сам Микеланджело. Именно здесь последний и обрел свой покой в усыпальнице рядом с Галилео Галилеем, Никколо Макиавелли, композиторами Джоаккино Россини и Луиджи Керубини. В пол церкви были вмонтированы около трехсот надгробных плит, под которыми покоились знаменитые флорентийцы.

Можно сказать с полной уверенностью, что Николай Степанович был поражен величием и размерами главного

флорентийского собора Санта-Мария дель Фьоре, где во времена пасхальных месс собиралось до тридцати тысяч молящихся. Именно в этом храме было решено установить скульптуру Давида, которая теперь известна всему миру. В 1464 году суконщики проголосовали за финансирование мраморной статуи библейского пастуха Давида, победившего с помощью богов гиганта Голиафа. Образ Давида издавна любим флорентийцами, и в упомянутом году суконщики закупили лучший на ту пору каррарский мрамор и привезли более чем четырехметровую глыбу в мастерскую собора. Первый скульптор Агусто Дедучи потерпел фиаско. И только через тридцать шесть лет вернувшийся на родину из Рима и уже известный своими работами двадцатишестилетний флорентиец Микеланджело Буонарроти дерзнул приступить снова к мраморной глыбе. Начал работу Микеланджело в понедельник 13 сентября 1501 года. Но гений был выше земных суеверий, и его мраморный Давид стал бессмертным творением эпохи Ренессанса. Правда, в собор Давида не отдали. Его по решению местных властей установили на площади перед синьорией, где он простоял 369 лет и только в 1873 году был перемещен в галерею Флорентийской академии.

Поэт не мог не побывать на ступенях церкви Сан-Миньято Альменте, откуда на Флоренцию любил смотреть сам великий Данте Алигьери! Гумилёв знал, что Данте был изгнан из Флоренции в 1302 году после недолгого пребывания на посту приора. Причина была в политической борьбе — поэт принадлежал к партии «белых», а победили «черные» (гвельфы). После этого, отправившись в изгнание в Равенну, Данте написал свою бессмертную «Божественную комедию».

Возможно, Николай Степанович и Анна Андреевна бродили в палаццо Питти, где раскинулись сады Боболи, которые считаются до сих пор одними из красивейших в Италии. Именно здесь любили гулять супруги Достоевские, когда приезжали в Италию на отдых. Неподалеку от палаццо Питти Достоевские снимали квартиру, где Федор Михайлович в 1868 году начал работать над романом «Идиот».

Во Флоренции долгие годы жил английский поэт Роберт Браунинг (1812–1889) со своей женой поэтессой Елизаветой Баррет. Он был поклонником Франциска Ассизского и Данте. Может быть, во Флоренции Гумилёв и нашел следы творчества Браунинга. Ведь уже в 1914 году он опубликовал в журнале «Северные записки» (мартовский номер) свой перевод известной драматической поэмы англичанина «Пиппа проходит». В драме Роберта Браунинга мелькают города Италии — Рим, Венеция.

О Флоренции писал учитель Гумилёва Брюсов, правда,

Валерий Яковлевич предпочитал Флоренцию Джованни Боккаччо (1313–1375), автора знаменитого «Декамерона». Свое стихотворение он так и озаглавил — «Флоренция Декамерона». В последней строке он вспоминает и возлюбленную Данте: «И сладостно мне имя Беатриче»[37]. Брюсов грустит о средневековой легендарной Италии, современная кажется ему лживой.

Брюсов не любил современную Италию, но она ему была понятна. Он скорее жалел о ее утраченном величии.

В своих воспоминаниях Валерий Яковлевич писал: «Когда мне случилось быть в Италии первый раз (1903 г.), мое исключительное внимание привлекла эпоха Возрождения. В музеях я преимущественно искал скульптуры и картины художников Ренессанса; бродя по городам, любовался дворцами и храмами XV–XVI веков. Младенчески-ясный Беато Анджелико, лукавый Тинторетто, мирный Беллини, беспощадный Леонардо и, несмотря на все возражения, непобедимо-прекрасный Рафаэль — владели моим воображением. Тогда вся Италия представлялась мне, как „святые дни Беллини“. Во вторую поездку в Италию (1909 г.), напротив, меня увлек античный мир. В Риме и в Неаполе я неизменно обращался к остаткам классической древности: долгие часы всматривался я в мраморные портреты императоров, стараясь угадать душу этих восторжествовавших над временем лиц: на Римском форуме и в подземельях Палатинских дворцов я явно ощущал веянье давно исчезнувшей жизни…»

Теперь вернусь к Александру Александровичу Блоку, который видел Флоренцию сквозь смердящий запах трупов и в письме к матери 25–26 мая (нового стиля) 1909 года с осуждением писал, что Флоренция «себя предала европейской гнили, стала трескучим городом и изуродовала почти все свои дома и улицы». Блок признавался в письме к Валерию Яковлевичу из Флоренции, что он вспоминает его стихи. По всей видимости, итальянские стихи Брюсова и Блока вспоминал и Гумилёв. Многие его стихи полемизируют с блоковскими. О чем пишет Блок в первом же стихотворении цикла «Флоренция»?

Умри, Флоренция, Иуда,
Исчезни в сумрак вековой!
Я в час любви тебя забуду,
В час смерти буду не с тобой!
……
Гнусавой мессы стон протяжный
И трупный запах роз в церквах —
Весь груз тоски многоэтажный —

Сгинь в очистительных веках!

Правда, в других стихотворениях этого цикла он смягчит свои образы и назовет ее «ирис нежный…». Но и в последнем, заключительном стихотворении цикла, написанном в августе 1909 года, он говорит:

…Пляши и пой на пире,
Флоренция, изменница,
В венке спаленных роз!..

Флоренция Блока — Иуда, изменница: «Гнилой морщиной гробовою / Искажены твои черты!»; «Гнусавой мессы стон протяжный / И трупный запах роз в церквах…» — как он писал в том же стихотворении.

Неистовому доминиканскому монаху, яростному проповеднику и общественному деятелю Флоренции Джироламо Савонароле (1452–1498) на короткое время удалось стать повелителем Флоренции — в период изгнания Петра Медичи и восстановления там республиканского правления (синьории). В этом Савонарола, настоятель монастыря Сан-Марко, сыграл лидирующую роль, обвиняя двор Медичи в разложении и пытаясь исправить общественные нравы путем сожжения на кострах книг и произведений искусства «нескромного» содержания. Молва приписывала Савонароле и сожжение известной картины Леонардо да Винчи «Леда», где Зевс-Лебедь овладевал Ледой. На самом деле картину приказал уничтожить французский король Людовик XIV, посчитав ее слишком «соблазнительной». Савонарола у Блока — «святой монах», которого сожгли. О Леонардо да Винчи он пишет отстраненно, что тот изведал во Флоренции «сумрак», а о Фра Беато Блок равнодушно написал, что тому здесь «снился синий сон!» и все.

Судя по всему, Гумилёва не оставили равнодушным эти строки Блока. Он должен был ему ответить, и он ответил, и даже не одним стихотворением. Прежде всего для монархиста Гумилёва республиканец Савонарола, противник Медичи, обличитель папства, не был святым, он был возмутителем спокойствия и родителем беспорядков, чего поэт не мог принять. Правда, Гумилёв написал свою «Флоренцию» уже по воспоминаниям в марте 1913 года, но это был ответ Блоку по всем правилам, о чем в свое время писали многие критики:

Тебе нужны слова иные,

Иная, страшная пора.
…Вот грозно встала Синьория,
И перед нею два костра.

Один, как шкура леопарда,
Разнообразен, вечно нов.
Там гибнет «Леда» Леонардо
Средь благовоний и шелков.

Другой, зловещий и тяжелый,
Как подобравшийся дракон,
Шипит: «Вотще Савонаролой
Мой дом державный потрясен».

Они ликуют, эти звери,
А между них, потупя взгляд,
Изгнанник бледный, Алигьери
Стопой неспешной сходит в Ад.

А что же запомнила о Флоренции Анна Андреевна? «Во Флоренции видела, как рабочие наклеивали на стены первомайские прокламации, а полицейские их срывали. Впечатление от итальянской живописи было так огромно, что помню ее как во сне». Тем не менее в стихах ее эта восторженность отражения не нашла. Во Флоренции она написала три лирических стихотворения. Два из них созданы как бы под покровом какой-то смертельной истомы. Она ждет ребенка, и в то же время взгляд ее устремлен в царство Аида, в дом, где витает тень самоубийцы:

Тихий дом мой пуст и неприветлив,
Он на лес глядит одним окном,
В нем кого-то вынули из петли
И бранили мертвого потом…

(«Здесь все то же, то же, что и прежде…», 1912)

Ахматова писала эти стихи в мае во Флоренции, когда рядом с ней не было мужа. Бродя по городу и замечая плакаты демонстрантов и полицию, она сама входит в образ униженной и оскорбленной:

Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,

Ты, в своих путях всегда уверенный,
Свет узревший в шалаше…

(«Помолись о нищей, о потерянной…», 1912)

Это стихотворение (некоторые исследователи отвергали сам факт написания его Ахматовой во Флоренции) — прямой диалог с мужем. То самое непонимание или далекость, о которой она говорила в своих поздних мемуарах, прорывается в строки этого стихотворения:

Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу.

(«Я научилась просто, мудро жить…», 1912)

В апреле, когда Гумилёвы были во Флоренции, Николаю Степановичу прислали экземпляры его новой книги «Чужое небо», названной автором в подзаголовке третьей книгой стихов и вышедшей в издательстве «Аполлон». И снова в этой книге мы находим имя Анны Ахматовой (ей посвящен второй раздел книги (всего было пять). Вообще, можно сказать, что вся книга навеяна Гумилёву его новыми отношениями с Анной, наконец ставшей его женой. Первый раздел, начинающийся «Ангелом-хранителем» (1911), хоть и не посвящен Ахматовой, но первое же стихотворение о ней несомненно.

Ты волен предаться гневу,
Коль она молчит,
Но покинуть королеву
Для вассала — стыд.

Вот она, сокровенная мысль, которую поэт проговаривает в порыве чувств и творческого вдохновения! Он видит Анну королевой, и как бы она его ни мучила, он ее вассал, а следовательно, не имеет права ее покинуть. Это стихотворение многое объясняет в психологии поступков молодого Гумилёва, который столько раз получал отказ своей «королевы», знал о ее изменах и все же не мог ее оставить.

«Две розы» (1911) — стихотворение-размышление о любви и о переживаниях любовных, о двух типах женщин — земной и небесной, встретившихся у ворот Эдема. Какая любовь от Бога?

Кто ответит на этот вечный вопрос? Гумилёв оставляет решать его читателям.

В стихотворении «Девушке» (1911) Гумилёв отвергает идеал тургеневской девушки, не способной, по его мнению, понять буйный нрав «безумного охотника», поднимающегося на скалу и пускающего стрелу прямо в солнце. Певец Музы Дальних Странствий и глубоко чувствующая, но скромная девушка, по-видимому, не могли бы найти общий язык. А может быть, именно этого не хватало поэту в Анне — вольной и непостоянной, принесшей ему столько волнений.

«На море» (1912) — акварельное стихотворение со сгущением красок в конце:

И лопнет с гиканьем и ревом,
Подбросив к небу пенный клок…
Но весел в море бирюзовом
С латинским парусом челнок…

Это характерное свойство многих стихотворений Гумилёва отмечала в другом его сборнике — «Колчан» — критик М. Тумповская на страницах журнала «Аполлон».

Стихотворение «Сомнение» (1911) явно носит биографический характер:

Возьмусь — за книгу, но прочту: «она»,
И вновь душа пьяна и смятена.

Я брошусь на скрипучую кровать,
Подушка жжет… нет, мне не спать, а ждать.
……
Вон там, у клумб, вы мне сказали «да»,
О, это «да» со мною навсегда.

И вдруг сознанье бросит мне в ответ,
Что вас, покорной, не было и нет…

Здесь — трагедия двух разных по характеру и привычкам, но главное независимых людей, для которых личная свобода оказалась выше взаимного счастья. А может быть, не случись этой борьбы, не было бы двух неповторимых поэтов: Гумилёва и Ахматовой.

Стихотворение «Отрывок» — принципиально важное для Гумилёва. Здесь поэт вступает в диалог с самим Господом: кто

Всевышнему дороже — слепой нищий, которого Господь сделает небесным рыцарем, или те, «чьи имена звучат нам, как призывы?». Что ценнее для Господа: земное величие и слава или смиренность, убогость и покаянность?

…Искупят чем они свое величье.
Как им заплатит воля равновесья?
Иль Беатриче стала проституткой,
Глухонемым — великий Вольфганг Гете
И Байрон — площадным шутом… о ужас!

К чему земная красота, к чему величие найденного слова? Если у Бога свои мерки земного и для него равны и слепой нищий, и те, «чьи имена звучат нам как призывы…»? Эти мысли мучают Гумилёва-поэта — тому ли посвятил жизнь? Он ведь уверен, что все может «человек, открывший в себе Бога».

Выше любви и выше всего земного ставит Гумилёв чувство товарищества, он остался до конца жизни большим ребенком, свято верившим в искренность братских чувств, и относился к своим друзьям, предъявляя им такие же требования, как к себе самому:

Я жду товарища, от Бога
В веках дарованного мне,
За то, что я томился много
По вышине и тишине.

И как преступен он, суровый,
Коль вечность променял на час,
Принявши дерзко за оковы
Мечты, связующие нас.

(«Тот, другой», 1911)

В стихотворении «Вечное» (1911) Гумилёв ведет разговор о блужданиях души по земным тропам. А может быть, в этих бесконечных перипетиях земных и душа меняется?

Я душу обрету иную,
Все, что дразнило, уловя.
Благословлю я золотую
Дорогу к солнцу от червя.

Дорогой странствий души поэт шел всю свою жизнь, он понимал, что, только карабкаясь к вершинам, можно обрести Имя, стать не червем обыденности, но «Пуэтом», как он с трепетом всегда произносил это слово и считал поэтов людьми самой высшей категории на земле.

Неверность жены, возможно, оживила воспоминания Гумилёва о Константинополе. Сама Ахматова признавалась, что Николая Степановича очень мучил вопрос юной ее неверности и то, что она вышла замуж уже женщиной. Именно поэтому к теме женской неверности Гумилёв обращался во многих своих стихотворениях и больших работах — поэмах и драмах. Так, в стихотворении «Константинополь» (1911) он пишет:

…А над Стамбулом и над Босфором
Сверкнула полная луна.

Сегодня ночью на дно залива
Швырнут неверную жену,
Жену, что слишком была красива
И походила на луну.
……
— Так много, много в глухих заливах
Лежит любовников других,
Сплетенных, томных и молчаливых…
Какое счастье быть среди них!

Константинополь выступает местом действия, здесь мы узнаем черты характера Горенко и даже детали Киева. Вслед за «Константинополем» поэт неслучайно поставил стихотворение «Современность», которое тоже является автобиографическим:

Я печален от книги, томлюсь от луны,
Может быть, мне совсем и не надо героя,
Вот идут по аллее, так странно нежны, —
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.

Эти гимназисты — Гумилёв и Горенко. Такими видел их поэт на протяжении всей жизни.

Необычен по содержанию «Сонет» (Гумилёв использует предание, что одним из его предков по материнской линии был хан Милюк). Возможно, под влиянием пушкинского: «Можно и должно гордиться делами своих предков» — Гумилёв, размышляя о прошлом, пишет:

Мне чудится (и это не обман),
Мой предок был татарин косоглазый,
Свирепый гунн… я веяньем заразы,
Через века дошедшей, обуян…

Поэт заканчивает эти историко-лирические воспоминания трагическим поворотом, напророчившим его судьбу:

Мы дрались там… Ах, да! я был убит.

(«Сонет», 1912)

«Однажды вечером» (1911) навеяно чтением его любимого поэта Леконта де Лиля. По всей видимости, обращаясь все к той же Анне, Гумилёв пишет:

…мы с тобой говорили,
О холодном поэте мы грустили с тобой.
…….
Так певучи и странны, в наших душах воскресли
Рифмы древнего солнца, мир нежданно-большой,
И сквозь сумрак вечерний запрокинутый в кресле
Резкий профиль креола с лебединой душой.

Так о поэте мог сказать только другой настоящий поэт. К Анне Андреевне обращено и лирическое стихотворение «Она»:

Я знаю женщину: молчанье,
Усталость горькая от слов,
Живет в таинственном мерцанье
Ее расширенных зрачков.

Ее душа открыта жадно
Лишь медной музыке стиха,
Пред жизнью дольней и отрадной
Высокомерна и глуха.

Гумилёв точными штрихами дает портрет Анны Андреевны со всеми ее знаменитыми повадками, ставшими потом притчей во языцех. Но, понимая все, поэт утверждает:

Неслышный и неторопливый,
Так странно плавен шаг ее,

Назвать нельзя ее красивой.
Но в ней все счастие мое…

Недолгое счастье поэта! Вершиной поэтического откровения Гумилёва можно считать стихотворение «Из логова змиева»:

Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
А думал — забавницу.
Гадал — своенравницу,
Веселую птицу-певунью.

Покликаешь — морщится,
Обнимешь — топорщится,
А выйдет луна — затомится,
И смотрит, и стонет,
Как будто хоронит
Кого-то, — и хочет топиться.
……
Мне жалко ее, виноватую,
Как птицу подбитую,
Березу подрытую
Над очастью, Богом заклятою.

Совершенно точно здесь описано чувство Гумилёва после их свадьбы. Это был его крест — Анна — и он его нес, понимая неизбежность своего служения.

Он шел над пропастью. Второй раздел открывается стихотворением, посвященным Сергею Маковскому, «Я верил, я думал…» (1911). Поэт признается, что ощущает себя идущим над бездной… в завтра…

…Иду… но когда-нибудь в Бездну сорвется Гора,
Я знаю, я знаю, дорога моя бесполезна.

Блок восхищался точностью сравнений поэта, правда, писал, что Гумилёв в этом стихотворении сравнил сердце с китайской куклой, хотя у него было несколько иначе:

И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,
Оно — колокольчик фарфоровый в желтом Китае

На пагоде пестрой… висит и приветно звенит,
В эмалевом небе дразня журавлиные стаи…

Тоской о далекой азиатской стране, о странствующем вольно Синдбаде и отважных моряках пронизано стихотворение «Ослепительное» (1910). Поэт рисует свою тоску скупыми, но верными красками:

Ну что же, раньте сердце, раньте.
Я тело в кресло уроню,
Я свет руками заслоню
И буду плакать о Леванте.

Один штрих, точно поданная мысль: «Я тело в кресло уроню», — и настроение схвачено как объективом.

Тема умершей Машеньки Кузьминой-Караваевой появляется в творчестве Гумилёва как антипод образу земной и коварной гимназистки из «логова змиева». Неслучайно именно в раздел, посвященный Ахматовой, Гумилёв поместил посвященное Машеньке стихотворение «Родос» (1912), когда уже книга готовилась к печати. В нем сквозит душевная тоска поэта по чистому, неземному, нереальному, чего нельзя найти в обыденной жизни. Вот на мгновение появился ангел, и поэту кажется, что жизнь осветилась его волшебным светом, но миг… и видение пропало. Остается та, земная, неверная, которая никогда ничьей не была.

«Паломник» — стихотворение, которое не могло не появиться после «Родоса», потому что раздумья о земном и небесном обязательно приводят к поиску святого. И неважно, что православный христианин Гумилёв выбрал героем Ахмет-оглы. По мысли поэта, Бог един и путь к нему тоже единственный — через добрые дела и страдания:

…Все, что свершить возможно человеку,
Он совершил — и он увидит Мекку.

В стихотворении «Жестокой» (1911) (которое, несомненно, обращено к Горенко) Гумилёв сравнивает Ахматову с Сафо:

Орел Сафо у белого утеса
Торжественно парил, и красота
Бестенных виноградников Лесбоса

Замкнула богохульные уста.

Будто по акмеистским заповедям написана баллада «Укротитель зверей», где Гумилёв рисует образ зверя «золотого и шестикрылого», который сидит у кровати укротителя и смотрит в глаза, как «преданный дог», но который коварен и обманчив, как жизнь.

Одним из лучших стихотворений этого раздела, несомненно, являются «Туркестанские генералы».

Завершают раздел «Абиссинские песни», написанные Гумилёвым на мотивы африканских сюжетов.

Третий раздел — это поэтическая заявка на позицию в литературном процессе. Программным можно считать стихотворение «Искусство (Из Теофиля Готье)» (1911):

Созданье тем прекрасней,
Чем взятый материал
Бесстрастней —
Стих, мрамор иль металл…

В разделе, названном «Поэмы», их всего две: «Блудный сын» (1911) и «Открытие Америки» (1910). «Блудный сын» — это традиционный библейский сюжет в поэтическом пересказе:

Я падаль сволок к тростникам отдаленным
И пойла для мулов поставил в их стойла;
Хозяин, я голоден, будь благосклонным,
Позволь, мне так хочется этого пойла.

Вот грань человеческого унижения, та цена, которую платит человек, презревший своих родителей. Не сам ли Гумилёв осудил свои юношеские мечтания, когда возомнил себя «конквистадором в панцире железном…»? Поэт видит один выход — раскаяние:

И с думой о сыне там бодрствует ночи
Старик величавый с седой бородою,
Он грустен… пойду и скажу ему: «Отче,
Я грешен пред Господом и пред тобою».

Возможно, только после смерти отца Гумилёв понял, кого лишился. Эта поэма — дань памяти отцу.

Поэма «Открытие Америки» в первом выпуске «Чужого неба» состоит из трех песен.

Первая песнь — это тоска романтика по Музе Дальних Странствий:

Свежим ветром снова сердце пьяно,
Тайный голос шепчет: «Все покинь!»
Перед дверью над кустом бурьяна
Небосклон безоблачен и синь,
В каждой луже запах океана,
В каждом камне веянье пустынь…

Выражая тайные мысли Гумилёва-путешественника, в первой песне появляется «в дорогой кольчуге Христофор» Колумб. Он, как и Гумилёв, готов служить до конца своих дней только ей, таинственной и влекущей сердца отважных:

А за ними поднимает взор
Та, чей дух — крылатый метеор,
Та, чей мир в святом непостоянстве,
Чье названье Муза Дальних Странствий.

Именно эта Муза побуждает поэта искать свое толкование «Открытия Америки», поднимать паруса вдохновения и отправляться по волнам памяти вслед за мелькающим духом Колумба.

Завершает книгу одноактная пьеса в стихах «Дон Жуан в Египте». Необычность трактовки сюжета Гумилёвым заключается в том, что Дон Жуан понимает всю пустоту своего существования и сожалеет, что он не имел от женщин детей и никого не называл братом.

Интересно, что сама Анна Андреевна не только узнала себя в «Чужом небе», но и всю жизнь об этом помнила. Уже в позднем возрасте она вспоминала: «Самой страшной я становлюсь в „Чужом небе“ (1912), когда я в сущности рядом (влюбленная в Мефистофеля Маргарита), женщина-вамп в углу, Фанни с адским зверем у ног, просто отравительница, киевская колдунья с Лысой Горы… Там борьба со мной! Не на живот, а на смерть!» И в то же время поэтесса признавалась: «Стихи из „Ч<ужого> неба“, ко мне обращенные, несмотря на всю их мрачность, уже путь к освобождению». Тут Ахматова права несомненно. Гумилёв, запутавшись в своих душевных переживаниях, искал выход не в

реальной жизни, а в поэзии. Через поэзию он пытался вырваться из темных колдовских чар, и поэтому, может быть, и книга названа «Чужое небо».

По получении из типографии книги Гумилёв тут же отослал ее Александру Блоку с надписью: «Александру Александровичу Блоку с искренней дружественностью». 14 апреля Александр Александрович ответил Николаю Степановичу: «Многоуважаемый Николай Степанович. Спасибо Вам за книгу; „Я верил, я думал“ и „Туркестанских генералов“ я успел давно полюбить по-настоящему; перелистываю книгу и думаю, что полюблю и еще многое. Душевно преданный Вам. Ал. Блок».

Блок как большой поэт мог оценить другого большого поэта. Но, увы, такое в литературной среде было редкостью. Книга Гумилёва не осталось незамеченной. В апрельском номере «Современника» появилась рецензия Б. А. Садовского, который подверг Гумилёва жесткой и необъективной критике: «О „Чужом небе“ Гумилёва, как о книге поэзии, можно бы не говорить совсем, потому что ее автор — прежде всего не поэт. В стихах у него отсутствует совершенно магический трепет поэзии, веяние живого духа, того, что принято называть вдохновением… Сами по себе стихотворения г. Гумилёва не плохи: они хорошо сделаны и могут легко сойти за… почти поэзию. <…> Поэт никогда ничего не „ищет“, а его самого находит Бог; отсюда выражение: поэт Божьей милостью… Между тем, все открытия г. Гумилёва, искателя спокон века открытых Америк, сводятся исключительно к сочинению головоломных рифм, к подбору небывалых созвучий… И недаром книга г. Гумилёва называется „Чужое небо“. В ней все чужое, все заимствованное, мертворожденное, высосанное из пальца…»

Более объективной и доброжелательной была рецензия в «Аполлоне» в 1912 году Михаила Кузмина, который писал: «Значительно отличаясь от „Жемчугов“, он куда-то ведет, но едва ли всегда приводит, оставляя впечатление интермеццо, роздыха на зеленой лужайке между двумя странствиями. Может быть, большая разреженность и облегченность фактуры, более интимная мечтательность и простая лиричность „Чужого неба“ заставляют нас так думать. Нас не удивляет, что, когда поэт опустил поводья и поднял забрало, лицо его сделалось определеннее и ближе, нежели когда он покорял с „конквистадорами“ неизвестные земли или нырял в океан за жемчугами. И мы отчетливее услышали его голос, его настоящий голос. <…> Но самому Гумилёву окружающий его мир, вероятно, не представляется достаточно юным, потому что он охотнее обращает свои взоры к девственным странам, где,

конечно, свободнее проявлять даже те прерогативы Адама, в силу которых он давал названия животным и растениям… Вследствие этого желания поэт то изобретает небывалых зверей („Укротитель зверей“), то открывает десятую музу „дальних странствий“, то дает ангелу-хранителю сестру („Ангел-хранитель“), то пересоздает Дон-Жуана. Это беспокойное искание права названий удовлетворится лишь тогда, когда юноша Адам опустит свой восторженный и слишком дальнозоркий глаз на землю, на которой он стоит, и она воистину предстанет ему новой, ждущей еще своего имени… Теперь мы без боязни можем сказать, что несколько опасались этого склепа и для Гумилёва, открывшего новой книгой широко двери новым возможностям для себя и новому воздуху. Если правда, что искусство творит жизнь, то наш поэт хотел бы жизнь юную, первозданную, улыбающуюся, полную всяческих возможностей и человека в юном расцвете сил, с буйно бегущей кровью, с открытым и смелым взором. Остается добавить, что будучи менее насыщена, чем „Жемчуга“, новая книга Гумилёва разнообразнее, может быть, по ритмам и строфам…»

Но, пожалуй, самой дорогой оценкой была для Гумилёва рецензия мэтра — Брюсова, который в обзоре пятидесяти сборников стихов за 1911–1912 год написал о Гумилёве: «Минувшая зима была в области нашей поэзии… „урожайной“. Почти все сколько-нибудь видные наши поэты издали по новому сборнику стихов… Известное движение вперед есть в новом (третьем или, точнее, четвертом) сборнике стихов Н. Гумилёва „Чужое небо“. По-прежнему холодные, но всегда продуманные стихи Н. Гумилёва оставляют впечатление работ художника одаренного, любящего свое искусство, знакомого со всеми тайнами его техники. Н. Гумилёв не учитель, не проповедник; значение его стихов гораздо больше в том, как он говорит, нежели в том, что он говорит. Надо любить самый стих, самое искусство слова, чтобы полюбить поэзию Н. Гумилёва. Но так как он мыслит, много читал, много видел, то в его стихах есть также интересные мысли, заслуживающие внимания наблюдения над жизнью и над психологией. В „Чужом небе“ Н. Гумилёв разрабатывает темы, которых он ранее не касался, пользуется, и умело, метрами, которыми раньше не писал: интересны его „Абиссинские песни“, интересен психологический анализ настроений женщины, душа которой „открыта жадно лишь медной музыке стиха“, есть у него интересные, самобытные черты в картинах Востока… Гумилёв пишет и будет писать прекрасные стихи: не будем спрашивать с него больше, чем он может нам дать…»

Как видим, палитра мнений богата и разнообразна. Но поэту важно было то, что думает его учитель. Он ведь рос от книги к книге под его руководством.

Однако пока, в Италии, Гумилёв не знает о реакции на его новую книгу.

Анна Андреевна захотела отдохнуть во Флоренции. Гумилёв решает поездить один по маршруту Рим — Сиена — Неаполь. Возможно, поэт побывал попутно еще где-то, но об этом нет никаких упоминаний. Последуем за Гумилёвым в Вечный город. Поэт предварительно хорошо изучил его историю и к этому времени написал уже не одно стихотворение: «Каракалла», «Основатели», «Манлий». Но то было воображение, и вот он ступает на священную землю Вечного города, расположенного на семи холмах. В Риме поэт ищет тени прошлых эпох и остатки античных цивилизаций. Можно догадаться, что осмотр города поэт начал с холма Палатин, где сохранились остатки первобытных стен и пещера, в которой, по древним преданиям, волчица вскармливала Ромула и Рема. На холме находилась императорская резиденция. А со смотровой террасы Фарнезских садов Гумилёв мог наблюдать развалины древних дворцов.

Побывал Николай Степанович и на Капитолийском холме, храме Юпитера, осмотрел развалины древнего сената.

В Капитолийском музее, где собраны знаменитые произведения искусства, он не мог не обратить внимание на известную скульптуру «Капитолийская волчица». Так начинаются первые строки «Рима» (1912):

Волчица с пастью кровавой
На белом, белом столбе,
Тебе, увенчанной славой,
По праву привет тебе…

От самого основания в 754 году до н. э. Ромулом и Ремом Вечного города, Рим воевал, покорял Апеннинский полуостров, другие области и страны, строил Империю. Поэт обращается к волчице, вскормившей ее основателей:

Не правда ль, ты их любила,
Как маленьких, встарь, когда,
Рыча от бранного пыла,
Сжигали они города…

Какой же город сожгли основатели Рима? Город латинских общин Альба. Рим вырос на крови. Наверняка поэт знал о Северной дороге, ведущей в Рим, и побывал в предместье Сакса Руба, что буквально означает «Красные скалы». Здесь в 312 году действительно лилась рекой кровь, когда армия Императора Константина разбила и уничтожила войска Максенция. С этих пор принято считать Рим христианским городом.

Как исследователь Гумилёв шаг за шагом идет по следам былых времен. Конечно же он не мог не добраться до грандиозных развалин терм Императора Каракаллы, где развлекались, а заодно и решали государственные дела знатные древние римляне. И даже в руинах древнего Колизея, казалось, еще витал тлетворный запах крови.

Возможно, только бродя по Ватикану, поэт отдыхал душой. Хотя и здесь он мог вспомнить о кровавых Крестовых походах. И удивившись величию собора Святого Петра, в то же время усмотреть и в этом след той кровавой звериной норы:

И лик Мадонн вдохновенный,
И храм святого Петра,
Покуда здесь неизменно
Зияет твоя нора…

Отчего же месяц до сих пор кровавый? Да все оттого, по мысли Гумилёва, что никак не успокоятся потомки древних римлян и ведут новые и новые войны. В 1911 году Италия воевала за свое влияние на севере Африки. Мог ли поэт, любивший «колдовской континент» как сказку и мечту, не упрекнуть за это властителей Вечного города? Может быть, поэтому так много «звериного» в строках о Риме.

Позже в статье «Умер ли Менелик?», опубликованной в пятом номере журнала «Нива» за 1914 год, Гумилёв с тревогой замечал, что итальянцы готовы отобрать у Абиссинии северные и часть южных ее владений. Рим навсегда остался для Гумилёва наследником «звериных лап», крови и насилия.

И даже в написанном позже сонете «Вилла Боргезе» (1913) (дворец племянника папы Павла V) поэт снова пишет о крови и изменах:

…Здесь принцы грезили о крови и железе,
А девы нежные о счастии вдвоем,
Здесь бледный кардинал пронзил себя ножом…

Гумилёв спешит из Вечного города в Неаполь, по пути заезжает в Сиену. П. Муратов, посетивший в начале прошлого века этот город, написал о нем с восторгом: «Воспоминание о Сьене в ряду других итальянских воспоминаний остается самым светлым и наиболее дорогим. Вдали от Италии образ этого благороднейшего тосканского города, как ничто другое, заставляет грустить о прошедших и счастливых странствиях. В нем соединяется все то, что заставляет сердце биться сильнее при слове „Италия“, — святая древность, цветущее искусство, речь Данте в устах народа, чувство воздуха, чувство насыщенной тонкими силами земли, производящей веками мирные оливы и хмельный виноград. В Сьене слилось все это с единственной в своем роде стройностью и гармонией. Свой древний средневековый облик она сохранила лучше других итальянских городов. Художественное процветание ее представляет пример удивительной цельности, так что созданное здесь людьми разных поколений и разных одаренностей кажется только разным воплощением ее гения. Итальянская речь, которая слышится на ее улицах, это язык „золотого треченто“. Воздушные пространства нигде не открываются так вольно, как с края ее трех холмов. И земля Сьены, коричневая и красная от неостывших еще сил творчества, кажется обладающей высшей природой, — той землей, из которой была создана первая оболочка человеческого духа…»

Что испытывал Гумилёв, бродя по улочкам этого прекрасного итальянского города, неизвестно. Блок написал о нем два стихотворения «Сиена» и «Сиенский собор». В последнем он преклонил пред ним колени:

Когда страшишься смерти скорой,
Когда твои неярки дни, —
К плитам Сиенского собора
Свой натруженный взор склони…

Конечно, и Николай Степанович не мог пройти мимо этого собора. Времени у поэта было мало — он торопился в самую южную точку Италии — древний город Неаполь, основанный греческими колонистами в VIII веке до н. э. Город с богатой историей входил и в Византийскую империю, и в состав Сицилийского королевства, и в состав Королевства обеих Сицилий, а в 1806–1815 годах сделался столицей Неаполитанского королевства, где королем стал наполеоновский маршал Мюрат. В 1860 году, когда в город вступил отряд Гарибальди, Неаполь вошел в состав Объединенного

Итальянского королевства.

Неаполь — типичный юг, курортная зона с большим наплывом отдыхающих иностранцев — находится между Везувием и долиной Кальдера. Везувий на берегу Неаполитанского залива, грозный вулкан, уничтоживший некогда прекрасную Помпею, остатки которой Гумилёв мог наблюдать в окрестностях Неаполя. Наверное, здесь, общаясь с местными горожанами, Гумилёв узнал и еще одну интересную деталь. В двадцати километрах к западу от Везувия находился Фиграйен Филдз, окруженный сорока небольшими вулканами. Один из них Ла Сальфа Тара (в переводе означает «земля из серы»), наиболее активный, по преданиям, послужил для Данте прообразом ада.

Днем поэт посещает музеи и старинные соборы, любуется фресками II–IV веков в древних христианских катакомбах, замками Костель дель Ово (XII век) и Костель Нуово (XIII век), осматривает стены монастыря XIV века Чертоза ди Сан-Марино.

Гумилёв гуляет по ночному городу, когда на его мостовые опускается прохлада. Он ведет себя как беспечный турист и стихотворение пишет легкое, веселое, словно бы искрящееся в лучах южного солнца:

Как эмаль, сверкает море,
И багряные закаты
На готическом соборе,
Словно гарпии, крылаты;
Но какой античной грязью
Полон город, и не вдруг
К золотому безобразью
Нас приучит буйный юг.
……
И, как птица с трубкой в клюве,
Поднимает острый гребень,
Сладко нежится Везувий,
Расплескавшись в сонном небе.
Бьются облачные кони,
Поднимаясь на зенит,
Но, как истый лаццарони,
Все дымит он и храпит.

(«Неаполь»,1913)

Легкие, воздушно акварельные строки, словно поэт-живописец опускает свою кисть в светлые радужные и бодрящие краски. Это стихотворение — полная противоположность «Риму».

Из Неаполя Гумилёв возвращается во Флоренцию, где его

ждет жена. Отсюда он отправляет 13 мая (по новому стилю[38]) письмо Валерию Брюсову: «Дорогой Валерий Яковлевич, Я проехал почти всю Италию, написал с десяток стихотворений. Посылаю Вам несколько, может быть, Вы захотите что-нибудь напечатать в „Русской мысли“» (в числе приложенных были «Рим» и «Пиза»).

Теперь Гумилёвы отправились вместе в Болонью, город, расположенный на берегу реки Рено в окружении фруктовых садов и виноградников. В VI веке до н. э. он был столицей этрусков под названием Фельсина. Во времена Гумилёва в нем сохранилось множество средневековых памятников, в том числе и Болонский университет XI века.

Видимо, Гумилёвы в Болонье отдыхали. Может быть, поэтому и его стихотворение «Болонья» (1913) пронизано, как писал Оцуп, «лукаво-радостным» ощущением:

> Нет воды вкуснее, чем в Романье,
> Нет прекрасней женщин, чем в Болонье,
> В лунной мгле разносятся признанья,
> От цветов струится благовонье…

Не случайно стихотворение завершается строкой: «По веселым улицам Болоньи…», дающей представление о настроении поэта, с которым он гулял по городу, высвечивает состояние его души — он все видит в лучах света…

Чудо болонской падающей башни Азинелли и храмы с фресками художника Джотто не произвели большого впечатления на поэта.

Из Болоньи супруги отправились в Падую — старинный город, прославившийся фресками Мантеньи в церкви Эриметани и фресками Джотто в церкви, расположенной на месте арены древнего амфитеатра.

Гумилёв написал потом стихотворение «Падуанский собор». Позже Ахматова говорила, что она указала мужу на этот собор Сан-Антонио и поэт им заинтересовался.

И вот последняя точка на карте путешествия — поэты приезжают в знаменитую Венецию. Самое «вкусное пирожное» путешествия, оставленное Гумилёвыми на конец.

Венеция — город, отвоеванный у моря и расположенный на 118 островах, не может не удивлять любого, кто попадает туда. История возникновения этого города достойна поэзии! Римские беженцы, спасаясь от варваров, достигли берегов Адриатики и поселились в топких местах. Именно эти топи и остановили продвижение варваров. Новые поселенцы стали отвоевывать у

топей и моря шаг за шагом площади будущего города. В болота забивали дубовые сваи и на них ставили дома. Между домами были не улицы, а каналы. Правда, первых поселенцев ожидала катастрофа — обрушилось в воду шестьдесят церквей и много домов. Но будущие венецианцы научились необычному зодчеству на воде. Ко времени, когда Гумилёвы прибыли в Венецию, там уже было сто церквей и большое количество великолепных дворцов и площадей.

Можно предположить, что первым местом, куда пришли Гумилёвы, был знаменитый Дворец дожей в Венеции, построенный для правящей династии в IX веке и стоящий там, где Гранд-канал впадал в лагуну. Там же разместилось и городское руководство. Недалеко от него стоит колонна с символом города — крылатым львом. Залы Дворца дожей расписаны золотом, фрески — знаменитых художников. О самом дворце и его правителях ходили легенды. Гумилёв мог узнать одну из наиболее популярных — о воинственном доже Энрико Дондоло, который в восемьдесят восемь лет отправился в поход в Священную землю, но по пути хитрый венецианец повернул свои корабли, напал на столицу Византийской империи Константинополь и разграбил ее.

Слушая во Дворце дожей рассказы о правителях Венеции, поэт обратил внимание на место в портретном ряду, завешенное черной тканью, на которой было написано: «Это место Марино Фолиеро, обезглавленного за его преступления». Гордый дож был казнен Советом в 1354 году за то, что хотел убить всех членов Совета и объявить себя единовластным принцем. Причиной послужило пасквильное стихотворение, написанное одним из членов Совета на жену дожа и вызвавшее насмешки всего Совета.

Возможно, Гумилёвы кормили голубей на площади перед Дворцом дожей, отправляясь к лестнице гигантов в том крыле дворца, где долгое время дожи Венеции приносили клятву верности. Лестница получила свое название из-за двух стоящих наверху статуй Марса и Нептуна. Поразил поэта своим величием озирающий город с высокой колонны крылатый лев святого Марка — символ Венеции.

Венецией восхищались многие писатели, поэты, художники и композиторы. Русские поэты посвящали этому удивительному городу свои стихи. Федор Тютчев увековечил в стихотворении «Венеция» Дворец дожей:

Дож Венеции свободной
Средь лазоревых зыбей,
Как жених порфирородный,

Достославно, всенародно
Обручался ежегодно
С Адриатикой своей…

Брюсов посвятил Венеции серию стихотворений. В одном из них он писал, что узрел на улицах города… Данте. А в другом признавался:

…Здесь — пришелец я, но когда-то здесь душа моя жила.
Это понял я, припомнив гондол черные тела…

И в стихотворении «Опять в Венеции» мэтр символизма поднимается до философских обобщений своих венецианских наблюдений:

Опять встречаю с дрожью прежней,
Венеция, твой пышный прах!
Он величавей, безмятежней
Всего, что создано в веках!
……
Пусть гибнет все, в чем вольно,
И в краткой жизни и в веках!
Я вновь целую богомольно
Венеции бессмертный прах!

Даже мрачный Блок 7 мая (нового стиля) 1909 года писал матери из Венеции: «…Не удивляйся, что я долго не пишу, здесь очень трудно и читать и писать. Даже сейчас не знаю, о чем писать. Я здесь очень много воспринял, живу в Венеции уже совершенно как в своем городе, и почти все обычаи, галереи, церкви, море, каналы для меня — свои, как будто я здесь очень давно…» Блок излечился в Венеции от похоронного настроения. Но это в письмах, а во всех трех стихотворениях его «Венеции» горят черные краски:

…Идет от сумрачной обедни,
Нет в сердце крови…
Христос, уставший крест нести…

Поэт выходит на улицы города:

Холодный ветер от лагуны

Гондол безмолвные гроба…

Третье стихотворение этого цикла Гумилёв прочитал в четвертом номере журнала «Аполлон» (1910 год):

Очнусь ли я в другой отчизне,
Не в этой сумрачной стране?
И памятью об этой жизни
Вздохну ль когда-нибудь во сне?..

Гумилёв пишет свою «Венецию» (1913). Но это не просто стихотворение о городе или размышления о жизни в Венеции. Поэт отвечает другому поэту — Александру Блоку. У Блока так:

На башне, с песнею чугунной
Гиганты бьют полночный час…

Гумилёв отвечает ему:

Поздно. Гиганты на башне
Гулко ударили три…

Блок погружается в мистику призраков:

В тени дворцовой галереи,
Чуть озаренная луной,
Таясь, проходит Саломея
С моей кровавой головой…

Гумилёв иначе реагирует на ночную мистику страха и мрака:

Сердце ночами бесстрашней,
Путник, молчи и смотри.

Город у Гумилёва не во мраке «гробов-гондол», а в «призрачно-светлом былом…». На соборе поэт замечает «голубиный хор». Ночь Гумилёва — полная противоположность ночи Блока. Она светла, хотя и ее окружают «зыбкие, бледные дали / Венецианских зеркал».

Правда, в первоначальном варианте у Гумилёва после

третьей строфы стояли строки о смерти:

Шпагу наемный убийца,
Злобно косясь на луну,
Моет; а труп византийца,
Страшный, уходит ко дну.

Но, видимо, потом он понял, что в системе образов его «Венеции» эта строфа — инородное вкрапление, и он ее безжалостно вычеркивает.

На Анну Венеция тоже произвела большое впечатление, и, вернувшись в Россию, она в том же 1912 году написала свою «Венецию»:

Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы…

Как бы ни было приятно путешествие, но оно имеет свойство заканчиваться. 17 мая 1912 года Гумилёвы через Вену и потом Краков возвращаются в Киев. Анна Андреевна уезжает в имение Литки Подольской губернии своей кузины, художницы М. А. Змунчилло.

Гумилёв из Киева поехал в Москву, но, видимо, Брюсова там не застал. Вернувшись домой, 22 мая он пишет ему письмо: «Дорогой Валерий Яковлевич, я уже вернулся и получил Ваше письмо. Для меня было большой радостью узнать, что мои итальянские стихи Вам понравились. Что же касается Ваших сомнений, то у меня были те же самые, так что я охотно пойду на исправления. <…> А на неверные рифмы меня подбили стихи Блока. Очень они заманчиво звучат…»

Не получив ответа, он пишет ему через некоторое время из Слепнева: «Дорогой Валерий Яковлевич, около месяца назад я послал Вам исправленными „Пизу“ и „Рим“. И не получая до сих пор ответа, я очень беспокоюсь, дошло ли до Вас это письмо с исправлениями. Если нет, не откажите написать мне открытку, я вышлю их вновь. Искренне Ваш Н. Гумилёв».

Брюсов откликнулся на просьбу своего ученика и напечатал в седьмом номере журнала «Русская мысль» (1912 год) три стихотворения Гумилёва из его итальянского цикла: «Рим», «Пиза», «Генуя».

У Анны Андреевны итальянские впечатления в цикл

стихотворений не сложились. Но пройдет много лет, умрет эпоха, перевернется мир, и в красном Ленинграде 17 августа (месяц убийства Гумилёва) 1936 года загнанная в тупик непечатания Ахматова, отправившись в Разлив, вдруг вспомнит Италию, Флоренцию, Данте и его, того сияющего поэта, которого она так недооценила при жизни, и родится стихотворение «Данте»:

Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.

Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы.
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть…

В этих строках, ничем внешне не связанных с Гумилёвым, тайнопись Ахматовой. Ведь это он, Гумилёв, ушел от нее на казнь не оглянувшись… Прощай, Италия! Великая и древняя страна поэтов и художников, вождей и воинов.

Глава XIV ВОЖДЬ АКМЕИСТОВ

Путешествия поэта по античному миру и древним цивилизациям, рискованные африканские странствия отнюдь не отдалили его от петербургской литературной жизни, а, как это ни странно, поставили Гумилёва в начале 1910-х годов в центр литературных процессов.

Вернувшись в 1908 году в Санкт-Петербург из Франции, Гумилёв сумел собрать группу молодых единомышленников-поэтов, которые и подтолкнули Вячеслава Иванова на создание Академии поэзии, со временем преобразованной в Общество ревнителей художественного слова. Признанным императором этой академии стал мэтр символизма Вячеслав Иванов. Все остальные были его подданными, его учениками, не считая Александра Блока, посещавшего эти заседания. Блок не во всем соглашался с Вячеславом Ивановым. Правда, наметившиеся между ними разногласия носили тактический характер и отнюдь не касались главного — заповедей символизма, несмотря на то, что символизм переживал период упадка. Выступления мэтров символизма Вячеслава Иванова и Александра Блока со своими поэтическими программами весной 1910 года не только не укрепили его позиции, но, наоборот, вызвали бунт в самом стане этого направления. Против Вячеслава Иванова и Александра Блока восстал патриарх русского символизма Валерий Брюсов в своей убийственно язвительной статье «„О речи рабской“ в защиту поэзии». Тогда, на первоапрельском собрании общества, против Вячеслава Иванова и Блока выступила группа молодых поэтов, среди которых выделялся Гумилёв. Тот факт, что молодых поддержал Михаил Кузмин, привел мэтров символизма в замешательство. Объективно наметилось два лагеря на литературном Парнасе Северной столицы. Лагерь молодежи еще не определился, его главные герои только выразили недоверие вчерашним непререкаемым мэтрам, но своей школы пока не создали. Нужен был лидер, вождь, и он не замедлил явиться.

Кузмин произвел большой эффект своим «кларизмом», изложенным в статье «О прекрасной ясности», но вождем он никогда не был. Михаил Алексеевич всегда был ведомым. Выступление в печати М. Кузмина хотя и произвело эффект разорвавшейся бомбы, но за взрывом последовала пауза осмысления. В расходящемся дыму и появился лидер, уже хорошо известный литературному миру Санкт-Петербурга, — Николай Степанович Гумилёв.

Он был лидером от природы, рыцарем с открытым забралом.

Именно такие и нужны были в том хаосе. Спокойное развитие русского символизма ушло в прошлое, и прекрасные по своему языку и благородству манифесты Вячеслава Иванова, Александра Блока не могли уже ни на что влиять. Парнас русской литературы кинулись штурмовать вчерашние символисты под новыми знаменами. Первыми начали осаждать баррикады символизма футуристы.

Русский футуризм появился на рубеже 1910-х годов и вряд ли его можно считать самостоятельным. Нашумевший эпатажный манифест русских футуристов «Пощечина общественному вкусу» родился под влиянием другого манифеста, от 20 февраля 1909 года, напечатанного в парижской газете «Фигаро» в разделе платных объявлений как «Обоснование и манифест футуризма». Подписал этот уникальный документ не менее скандальный человек — Филиппо Томмазо Маринетти. О Маринетти через год-два в России будут слагать легенды, и, когда он объявится в Санкт-Петербурге, его будут чествовать как знатного гостя. Это был тоже рыцарь, но итальянской действительности.

Томмазо Маринетти был на десять лет старше Гумилёва. Его отец, крупный финансовый деятель, сколотил на берегах древнего Нила огромное состояние, поэтому Маринетти-младший был окружен блеском сказочного богатства. С одиннадцати лет он начал искать развлечений. Первый биограф Маринетти Туллио Пантеа откровенно описал жизнь юного поэта, его приключения и дуэли. Но последние не принесли ему шумного успеха, какового недоставало юному миллионеру. Тогда он и публикует свой манифест. После этого он оставляет Париж и уезжает в Милан, где тут же открывает свой салон в богатом палаццо. Вот как описывает журнал «Современный мир»[39] обстановку и деятельность «штаба» итальянского футуризма: «…И вот, в роскошных салонах этого египетского дворца Маринэтти днем перебывало все мыслящее в Италии, все выдающееся в ней, а ночью… — А ночью в убранной с поразительным изяществом и безумною роскошью спальне Маринэтти — все красивейшие женщины Италии и Европы… Маринэтти повторил издание этой гениально написанной руками синьора Пантэа биографии… И та струя эротического аромата, которая, грубо выражаясь, шибанула в нос читателю в 1908–1909 году со страниц первых печатных произведений футуристов, она не иссякла, она неизменно льется с тех пор в их книгах, брошюрах, в их манифестах… Эротизм, проповедуемый Маринэтти и его соратниками, это эротизм из „Сада Пыток“… <…> В первом футуристском манифесте, выпущенном Маринэтти в Париже 20 февраля 1909 года, в числе прочих тезисов „новой религии“… имелись следующие

многозначительные пункты: Мы желаем воспевать наступательное движение, лихорадочную бессонницу, беглый марш, сальто-морталэ, пощечину и кулак. — Мы хотим прославлять войну, единственную очистительницу мира, милитаризм, патриотизм, разрушительный жест анархистов… и презрение к женщине. — Мы хотим уничтожить музеи, библиотеки, академии всех родов и бороться против морализма и феминизма… Маринэтти отправился на театр военных действий и оттуда присылал поэмы в честь человекоистребления, гимны рвущим в клочья человеческое мясо фанатам и роющимся в кишках штыкам. Кончилась эта война, — загорелась балканская свара, — и снова Маринэтти поет свои гимны штыку, пуле, гранате, и снова слагает поэмы в честь Великой Оздоровительницы… Вот главная часть текста избирательной программы футуристов, выпущенной ими ко дню политических выборов осени 1913 года: „Избиратели-футуристы! Добивайтесь при помощи ваших голосов осуществить нижеследующую программу: Италия — владыка самодержавный. Слово Италия должно доминировать над словом Свобода! Да здравствуют всяческия свободы; но за исключением свободы быть трусом, пасифистом и анти-итальянцем! Да здравствует увеличение военного флота и увеличение войска! Да здравствует народ, гордящийся быть итальянским. Да здравствует война, единственная гиена мира!..“ В беседах с русскими журналистами в Риме Маринэтти заявил, что русские футуристы не имеют понятия о настоящем, то есть об истинном, то есть об итальянском футуризме… Футуризм — родное дитя политической реакции. Футуризм — регресс».

Да, можно согласиться с Маринетти в одном, что русские футуристы, появившиеся через год после его парижского манифеста, не имели понятия о настоящем футуризме. Они ринулись шуметь и ниспровергать. Они, вслед за Маринетти, хотели сбросить всю старую русскую культуру с корабля современности. Вначале появились московские кубофутуристы или «будетляне», сложившиеся в группу «Гилея». Отыскал это название для новоявленных ниспровергателей киевский знакомый Гумилёва Бенедикт Лившиц, порывшись в «Истории» Геродота. Там он и узнал, что так называлась местность Скифии за Днепром. Членами этой группы стали Велимир (Виктор) Хлебников, Давид Бурлюк, Василий Каменский, Алексей Крученых и примкнувший к ним Владимир Маяковский, который тогда ходил на мероприятия в своей знаменитой желтой футуристской кофте. Вначале к этой группе будут близки «Бубновый валет» и «Ослиный хвост», вождем которых станет один из близких (в будущем) друзей Гумилёва художник Михаил

Ларионов, как и его жена Наталья Гончарова.

В другую футуристическую группу, возникшую в 1911 году, вошли Константин Олимпов (сын прекрасного поэта Константина Фофанова), Василиск Гнедов, Грааль Арельский, Иван Игнатьев. Петербургские футуристы создали свое издательство «Петербургский глашатай». Возглавил их знаменитый Игорь Северянин. В стихотворении «Эпилог» (1912), признанном поэтическим манифестом эгофутуризма, он скромно писал о себе:

Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!

В 1913 году появилась статья об эгофутуристах, подписанная И. Игнатьевым. Предтечами эгофутуризма Игнатьев называл Константина Фофанова и Мирру Лохвицкую, о которой сам Северянин написал:

Прах Мирры Лохвицкой осклепен,
Крест изменен на мавзолей, —
Но до сих пор великолепен
Ее экстазный станс аллей…

Так начинался пролог манифеста самопровозглашенного гения. И. Северянин тоже создал академию — Академию эгопоэзии. В ректорат Академии эгофутуризма были записаны Игорь Северянин, Константин Олимпов (К. К. Фофанов), Георгий Иванов и Грааль Арельский.

Георгий Иванов был самым юным в этом ректорате. Родился он в 1894 году в Ковенской губернии в семье потомственных дворян. Отец будущего поэта был флигель-адъютантом болгарского Царя Александра Баттенбергского, а мать — урожденная баронесса Вера Бир Браурер ван Бренштейн, выпускница Института благородных девиц. Отец, выйдя в отставку в чине полковника, вскоре умер.

Георгий Иванов надел мундир с золотым галуном на красном воротнике — Петербургского кадетского корпуса (куда попал после Ярославского корпуса). На литературную арену он вышел в 1910 году, когда ему было немногим больше пятнадцати лет. Тут-то его и заметил военный врач Николай Иванович Кульбин. Юрий Анненков в своих воспоминаниях так описывал эти первые шаги Иванова: «Без всякой надежды на положительный ответ Иванов

послал Кульбину… десять стихотворений. Но ответ пришел сразу же: „Дорогой друг. Присланное — шедевр. Пойдет в ближайшей книге. Приветствую и обнимаю“». И Кульбин пригласил Иванова заехать в редакцию журнала «Студия импрессионистов». Однако Георгий стеснялся своего юного возраста и военного мундира. Он решил дождаться, когда старший брат уедет в деревню и появится возможность облачиться в его гражданский костюм. Не дождавшись юного дарования, Кульбин сам пожаловал в гости. Можно себе представить, как был удивлен кадет, когда к нему пришел офицер. Старший брат попросту перепугался, увидев генерала, а тот, улыбнувшись, представился. Так завязалась их дружба. Но дебют кадета состоялся в первом номере журнала «Все новости литературы, искусства, театра, техники, промышленности и гипноза».

Свела судьба Георгия Иванова и с основателем мистического анархизма в литературе. Ему тоже понравились стихи Иванова. Впрочем, кадет был замечен и Игорем Северяниным, и тот включил его в ректорат своей поэзоакадемии. Именно под его влиянием Иванов выпустит в 1912 году свою первую книгу поэз «Отплытье на о. Цитеру» в издательстве эгофутуристов «Эго».

В 1913 году возникнет еще одна группа московских футуристов «Центрифуга» при символистском кружке «Лирика», куда войдут Борис Пастернак, Николай Асеев и Сергей Бобров. Последний из них, Бобров, останется в литературе не столько своими стихами, сколько критическими статьями против нового литературного течения, создаваемого в эти годы Гумилёвым.

Наиболее одиозной можно считать группу «Гилея». То, что Гумилёв следил за развитием всех групп, видно из его письма жене, отправленного по дороге в Абиссинию, где он упоминал о «Гилее».

Футуристы волновали Гумилёва уже в 1910 году. О своем несогласии с ними он заявлял, например, Михаилу Кузмину еще 4 августа в редакции «Аполлона». Возможно, он вспомнил и книжечку самого Маринетти, которую недавно купил в Париже.

Николая Степановича не могли привлекать идеи русских футуристов, возжелавших сбросить Пушкина с корабля современности, требовавших, как и итальянские, покончить с прошлой культурой.

Как известно, в 1912 году они написали свой нашумевший манифест «Пощечина общественному вкусу»: «Читающим наше Новое Первое Неожиданное. Только мы — *лицо нашего* Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно. Академия и Пушкин — непонятнее гиероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч. с парохода

современности. Кто не забудет своей *первой* любви, не узнает последней. Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня? Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с черного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот? Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми. Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузминым, Буниным и проч., и проч. — нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным. С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!.. Мы *приказываем* чтить *права* поэтов: 1. На увеличение словаря *в его объеме* произвольными и производными словами. (Слово — новшество). 2. На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку. 3. С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный вами венок грошовой славы. 4. Стоять на глыбе слова „мы“ среди моря свиста и негодования. И если *пока* еще и в наших строках остались грязные клейма ваших „здравого смысла“ и „хорошего вкуса“, то все же на них уже трепещут впервые Зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова. *Д. Бурлюк. Александр Крученых. В. Маяковский. Виктор Хлебников».*

Этого эпатажа Гумилёв не понимал и не мог понять. Он в эти годы искал свой путь, свое направление в литературе. В 1910 году после доклада Блока Николай Степанович таил даже надежду отдалить его от Вячеслава Иванова.

В 1910 году Гумилёв активно работает в «Аполлоне», ведет большую работу с поэтами, присылавшими свои произведения в журнал. Особое внимание он обращает на молодых и подающих надежды. Об этом периоде сохранились довольно интересные воспоминания поэтессы-эмигрантки Софьи Дубновой-Эрлих, которая отослала весной 1910 года стихи в журнал и получила приглашение посетить редакцию. Через много-много лет она напишет о своем посещении: «Когда я вошла в просторный кабинет с лепным потолком, навстречу мне поднялся высокий, статный человек. Запомнилось мне ощущение твердости: твердость чувствовалась в рукопожатии, в почти военной выправке, в зорком, внимательном взгляде слегка косящих светлых глаз, в чуть глуховатом голосе. Почти с первых слов я ощутила себя ученицей, которой предстоит экзамен. Гумилёву явно хотелось выяснить, что представляет собой молодой, начинающий автор. Внешние данные (студентка, член „Кружка Молодых“) мало обо мне говорили. Моего собеседника, сразу же

вошедшего в роль ментора, интересовало мое литературное прошлое. Когда на вопрос о моих любимых поэтах я назвала Фета и Тютчева, Гумилёв одобрительно кивнул. Он сказал: „Это хорошая школа“. Хуже обстояло дело с иноязычной литературой. Меня поставил в тупик вопрос о Теофиле Готье: пришлось признаться, что о нем почти ничего не знаю. Гумилёв нахмурился, посоветовал пополнить этот пробел в моем литературном образовании и спросил, кого я люблю из французов. Я собралась с духом и с решимостью пловца, бросающегося в пучину, назвала имя, которое не могло прийтись по вкусу моему собеседнику: я чувствовала, что не могла изменить любимцу юных лет, автору „93 года“, „Отверженных“, стихов о революции. Услышав имя Виктора Гюго, Гумилёв в горьком раздумье забарабанил пальцами по стеклу: мои литературные вкусы показались ему подозрительными. Мы заговорили об акмеизме, и мой собеседник принялся ясно и уверенно излагать программу нового поэтического мировоззрения. Беседу прервал угрюмый сторож, появившийся со связкой ключей и заявивший, что должен запереть квартиру. Гумилёв предложил продолжить нашу беседу в находящемся неподалеку ресторане. Я была удивлена, когда он ввел меня не в общий зал, а в отдельный кабинет, и сразу почувствовала, как изменился тон разговора. Приглушенный свет лампы под темно-красным абажуром, вино в бокалах… <…>

Он рассказал мне, что недавно, мучаясь потребностью писать, он прижал к ладони зажженную папиросу и заставил себя терпеть боль, а потом сел к столу и написал стихи. Поэтическое творчество требует преодоления. Поэтому девушка, которая хочет стать поэтом, должна научиться преодолевать девичью стыдливость». Все это похоже на Гумилёва, и единственное, с чем нельзя согласиться, это то, что тогда еще никакой программы акмеизма не было и говорить о ней поэт не мог. Видимо, время сделало свое дело: Софья Семеновна сместила в памяти некоторые события.

Гумилёв не только активно работает с авторами журнала, но и ведет в журнале отдел «Письма о русской поэзии», где позволяет себе делать довольно смелые критические разборы новых поэтических книг, невзирая на былые заслуги авторов и их титулы. Может быть, поэтому Вячеслав Иванов был против, когда Сергей Маковский доверил эту работу Гумилёву. Он сам был мэтром, и ему хотелось, чтобы возобладала в новом журнале символистская точка зрения.

Николай Степанович брал для разбора наиболее характерные для времени новые книги известных поэтов и заслуживающие

внимание книги неизвестных или малоизвестных авторов. Так, с первых же номеров «Аполлона» там стали появляться рецензии Гумилёва на книги маститых поэтов Константина Фофанова, Иннокентия Анненского («Кипарисовый ларец»), Федора Сологуба (первый том собрания сочинений) и других. В рецензии на книгу тогда уже мэтра символизма Федора Сологуба поэт писал о нем, как о равном, и оценивал его творчество с точки зрения классики поэзии: «Много написал Сологуб, но, пожалуй, еще больше написано о нем. Так, что, может быть, лишний труд писать о нем еще. Но у меня при чтении критик на Сологуба всегда возникают странные вопросы, неуместные простотой своей постановки. Как же так? Преемник Гоголя — а не создал никакой особой школы; утонченный стилист, а большинство его стихотворений почти ничем не отличается одно от другого; могучий фантаст — а только Недотыкомку, Собаку да звезду Маир мы и помним из его видений! Отчего это происходит, не знаю и не берусь ответить, но попробую рассмотреть поэзию Сологуба с точки зрения общих требований, предъявляемых к поэтам…» Последний гумилёвский принцип как раз и был неприемлем для мэтров — в свои времена достигшие сияющих вершин, они хотели солнечных красок в оценке своих достижений. Гумилёв же видел перед собой не просто знаменитость, а результат творчества — Поэзию. Конечно, смелые разборы независимого поэта не могли не взбудоражить литературное «болото». Так, стихотворец Сергей Соколов (известный под псевдонимом Кречетов) с возмущением писал 28 августа 1910 года Сологубу, явно желая угодить мэтру: «Весьма негодовал, прочтя в последнем № „Аполлона“ гумилёвскую на тебя хулу. Знаешь, Федор Кузьмич, подобало бы привести мальчишек к должному решпекту. Конечно, в твоих глазах, как и в глазах зрителей, Гумилёв — моська, и притом не особо породистая, но ведь, бывает, и мосек бьют, когда они лезут под ноги. В Москве все очень поражены выходкой Гумилёва и еще более тем, что она — не в случайном месте, а в „Аполлоне“, руководители коего не могли его просмотреть». Так и проглядывает за этими строками желание автора «поддать» от имени мэтров новоявленному критику, чтобы знал, о ком и что писать! Другой символист из окружения Андрея Белого и Сергея Соловьева, Лев Кобылянский (известный больше под псевдонимом Эллис), прямо обвинял в своем письме от 17 мая 1910 года Вячеслава Иванова в том, что он поощряет Гумилёва: «Нельзя полагаться ни на одно Ваше слово… в то время, когда все дело в великой и беспощадной борьбе за рыцарство, когда Вы термины последнего применяете к Гумилёву, который Венеру смешивает с Мадонной… „Жемчуга“ Гумилёва произвели

смехотворное впечатление на всех. Вы — первый и единственный их поклонник».

Что ж, Гумилёв сознательно вызывал огонь на себя. Он хотел быть равным среди равных, он пришел как конквистадор в литературу и не собирался преклоняться ни перед чьими знаменами.

Вернувшись с молодой женой из Парижа, Гумилёв не прячет ее, как писали позже Маковский и другие мемуаристы, а начинает вводить Анну Андреевну в литературное общество. Уже 10 июня 1910 года супруги отправляются на прогулку с Евгением Зноско-Боровским и Михаилом Кузминым в Павловский парк и здесь, среди роскоши тихой природы, Анна Андреевна впервые читает свои стихи друзьям поэта.

13 июня Николай Степанович посещает с супругой «башню» Вячеслава Иванова. Иванов иронически отнесся к стихам неизвестной поэтессы. Сама Ахматова вспоминала об этом: «Н. С. Гумилёв… повез меня к Вяч. Иванову. Он действительно спросил меня, не пишу ли я стихи (мы были в комнате втроем), и я прочла: „И когда друг друга проклинали…“… и Вяч<еслав> очень равнодушно и насмешливо произнес: „Какой густой романтизм!“ Я тогда до конца не поняла его иронии». Не воспринял серьезно стихи Анны Андреевны поначалу и Михаил Кузмин. Он записал в своем дневнике: «Вечером визитировали Гумилёвы. Она ничего — обойдется и будет мила».

Уже и в то время, когда отношения между Вячеславом Ивановичем и Николаем Степановичем еще не обострились, у них периодически возникали споры. Каждый отстаивал свою точку зрения. 3 июля 1910 года М. Кузмин записывает в дневнике: «Вяч. ругал последними словами Гумми, да и меня…»

Остаток лета 1910 года, как я уже писал, Гумилёв проводил в Царском Селе и Санкт-Петербурге. Он время от времени приезжал на «башню», иногда всю компанию забирал к себе в Царское Село. Так, 13 июля, когда было выпито много вина и еще больше прочитано стихотворений, все, кто находился в гостях у Вячеслава Иванова, включая жившего у него М. Кузмина, отправились с последним поездом в Царское Село. На другой день у себя дома Николай Степанович прочел Кузмину первую песнь «Открытия Америки».

Однажды Анна Андреевна рассказала Николаю Степановичу сон, который увидела после просмотра оперы Ш. Гуно «Фауст». Ей приснился чей-то голос, который сказал, что Фауста не было, а были только Мефистофель и Маргарита. Николай Степанович обрадовался такому удачному сюжету и тут же написал

стихотворение «Маргарита», заканчивающееся словами Ахматовой:

Грозно Фауста в бой ты зовешь, но вотще!
Его нет… Его выдумал девичий стыд;
Лишь насмешника в красном и дырявом плаще
Ты найдешь… и ты будешь убит.

31 июля 1910 года «Маргарита» была опубликована в журнале «Сатирикон».

В середине августа Анна Андреевна уехала к матери в Киев. Видимо, у молодых произошла размолвка. Об этом можно судить по меланхолии, в которой пребывал тогда поэт. Сергей Ауслендер так вспоминал об этом: «Я поехал в Царское Село приглашать его… мы с невестой предполагали, что одним из шаферов у нас будет Гумилёв… Он был один в садике, был нежен. Но чувствовалось, что у него огромная тоска. — „Ну, ты вот счастлив. Ты не боишься жениться?“ — „Конечно, боюсь. Все изменится. И люди изменятся“. И я сказал, что он тоже изменился. Он провожал меня парком, и мы холодно и твердо решили, что все изменится, что надо себя побороть. И это было для нас отнюдь не литературной фразой. Гумилёв сразу повеселел и ожил: „Ну женился, ну разведусь, буду драться на дуэли, что ж особенного!“» Женился Ауслендер на сестре Евгения Зноско-Боровского.

В то время когда Николай Степанович охотился на леопардов и львов в Абиссинии, его брат Дмитрий уволился из армии. 3 октября 1910 года он Высочайшим приказом зачислен в запас армейской пехоты по Петроградскому уезду, а 24 октября того же года подпоручик Д. С. Гумилёв исключен из списков полка.

В отсутствие поэта 5 февраля 1911 года в газете «Утро России» появилась статья М. Волошина, где он писал с чувством былой обиды: «Типом, пошедшим от Брюсова, может служить поэт Гумилёв, сосредоточивший в себе настолько все черты брюсовской школы, что все остальные представители ее кажутся лишь ослабленными Гумилёвыми…»

1911 год был особенным и для Гумилёва и для истории русского серебряного века. На другой день после возвращения, 26 марта, не успев стряхнуть дорожную африканскую пыль, Николай Степанович отправляется в редакцию «Аполлона». Он встречается со своими друзьями Е. Зноско-Боровским и М. Кузминым, узнает новости, отправляется в этот же вечер на заседание Общества ревнителей художественного слова, где читал свой доклад «Ритм,

метр и их взаимоотношение» будущий близкий друг его жены и его недоброжелатель Н. В. Недоброво.

Поэт навещает своих друзей и обсуждает с ними волнующие его вопросы развития современной литературы в свете кризиса русской символистской школы. 27 марта Гумилёв принимает у себя в Царском Селе группу близких ему литераторов В. Князева, М. Кузмина, В. Чудовского. 2 апреля он снова встречается с Кузминым и Князевым, и они отправляются в Царское Село, куда затем приехал и Осип Мандельштам. По-видимому, именно в это время Гумилёву нужен был Кузмин, открыто выступивший против символизма и Вячеслава Иванова. У Гумилёва зрел план собственной «Академии стиха» в противовес ивановскому Обществу ревнителей художественного слова. Нужны были сторонники серьезные и несогласные со старыми доктринами.

4 апреля Николай Степанович вместе с женой отправляется на «башню» к Кузмину, где застают А. Толстого, Е. Аничкова, О. Мандельштама, Г. Чулкова. Позже к ним присоединилась падчерица Вячеслава Иванова — Вера Шварсалон. Читали допоздна стихи и обсуждали текущие литературные события. Гумилёвы остались ночевать на «башне», так как последний поезд на Царское Село уже ушел.

6 апреля Гумилёв приглашает Кузмина отобедать в ресторане Лейнера. С ними отправился и критик Г. Чулков. За обедом Николай Степанович предлагает провести вечер поэзии Теофиля Готье. Для него это очень важно, так как поэзия французского поэта — образец для подражания в противовес существующей русской символистской поэзии. Поэт вновь загорается желанием возобновить почивший в Бозе журнал «Остров», однако былого рвения он не встречает ни у Толстого, ни у Потемкина. Кузмин был бы рад возродить издание — да денег нет, и он в этих вопросах полностью отстранен от реальной жизни. Он — небожитель, поэт в чистом виде, неустроенный в быту, абсолютно непрактичный. Вообще Кузмин был человеком с необычной судьбой. Дебютировал он в литературе по тем временам довольно поздно, после тридцати. В 1905 году в «Зеленом сборнике» появились его первые двенадцать сонетов и либретто оперы «История рыцаря Д'Алессио». Немногочисленные биографы Кузмина утверждали, что в литературу он пришел только благодаря музыке, которой в его семье уделяли большое внимание. Михаил Алексеевич был самым младшим из пяти детей. Родился 6 октября 1875 года в Ярославле и только в десятилетнем возрасте попал в Санкт-Петербург, где увлекся Шекспиром. Кузмин с детства был заядлым театралом, а поселившись в Санкт-Петербурге, по стечению обстоятельств

попал именно в 8-ю гимназию, которой в ту пору руководил Иннокентий Анненский. Какое совпадение с Гумилёвым! Кузмин брал частные уроки музыки и после гимназии поступил в столичную консерваторию. Успехи юного музыканта отмечали такие крупные величины, как Римский-Корсаков, Лядов, Соловьев. Быть бы ему композитором, да строптивый характер рассорил его с преподавателями, не принявшими его первых сочинений. Тогда Кузмин оставил консерваторию.

Молодой Кузмин, как и Гумилёв, решил путешествовать и отправился в Египет и Италию. Целый год он прожил, путешествуя по Венеции, Риму, Равенне. Георгий Иванов писал о Кузмине: «Бегство из дома в шестнадцать лет, скитания по России, ночи на коленях перед иконами, потом атеизм и близость к самоубийству. И снова религия, монастыри, мечты о монашестве. Поиски, книги, книги итальянские, французские, греческие. Наконец, первый проблеск душевного спокойствия — в захолустном итальянском монастыре в беседах с простодушным каноником». Видимо, беседы эти запали в душу.

Вернувшись в Россию, Кузмин стал искать истину в постижении библейских заповедей, сблизился со старообрядцами и отправился, переодевшись в крестьянский армяк и отрастив длинную бороду, в Олонецкую губернию, потом в Нижний Новгород в поисках древних икон. В своих скитаниях он случайно встретил старого товарища Чичерина, и тот заметил, как Михаил Алексеевич жадно кинулся к фортепьяно подбирать забытые мелодии. Он понял, что Кузмин остро нуждается в возвращении в добровольно покинутый им мир. В Петербурге Чичерин привел скитальца в кружок «Вечера современной музыки», где его оценили. Михаил Алексеевич сошелся близко с Нувелем и Дягилевым, а потом и с художником Сомовым, начал писать тексты к многочисленным романсам и, начернив брови, подкрасив губы, нарумянив щеки (для пущей выразительности), садился за рояль. Слова его романсов просты до банальности, но они так кстати, что его исполнением пленяется известный в ту пору музыкальный критик В. Каратыгин. А на одном из вечеров Кузмин знакомится с Валерием Брюсовым. Поэт покорен его романсами и советует ему серьезно заняться поэзией, так как, по его словам, такой прекрасной музыке нужны соответствующие слова. Михаил Алексеевич в смущении говорит, что это сложно для него и рифмует он неважно, но мэтр символизма берется быть его учителем. И тут он пересекся с Гумилёвым. У них уже два общих учителя. Ученик Кузмин не подвел мэтра. Уже через десять лет стал знаменитостью, выпустил три книги стихов, семь книг рассказов, два романа, несколько пьес, переводы. Написал

ряд блестящих критических статей, либретто, романсов. Шумную и скандальную известность ему принес первый же его роман «Крылья», который после долгих проволочек вышел в 1907 году в издательстве «Скорпион». Творчеством Кузмина увлекается и другой мэтр символизма Вячеслав Иванов. Бездомного Кузмина он поселяет в своих апартаментах в «башне» и, по сути, ухаживает за ним, как за ребенком. Кузмин становится душой ивановского общества, на вечерах его постоянно просят попеть и поиграть. Особенно часто его просят на бис исполнить «Куранты любви». По определению критика того времени Владимира Маркова, это было русское неорококо двадцатого века. Успех сопутствует публикации в 1907 году одиннадцати стихотворений поэта из цикла «Александрийские песни» в журнале «Весы» и четырех стихотворений в журнале «Корабли». А в 1908 году «Скорпион» выпускает его книгу стихов «Сети», которую он открыл стихотворением «Мои предки»:

Моряки старинных фамилий,
влюбленные в далекие горизонты,
пьющие вино в темных портах,
обнимая веселых иностранок;
франты тридцатых годов,
подражающие д'Орсе и Брюммелю,
внося в позу денди
всю наивность молодой расы;
важные, со звездами генералы…

Гумилёв любил это стихотворение и не без его влияния в конце жизни написал свое знаменитое «Моим читателям».

Вместе с тем он дерзнул уже тогда опубликовать довольно резкую рецензию на кузминские «Сети» в газете «Речь»: «Кузмин — поэт любви, именно поэт, а не певец. В его стихах нет ни глубины, ни нежности романтизма. Его глубина чисто языческая, и он идет по пути, намеченному Платоном, — от Афродиты Простонародной к Афродите Урании… Кузмина все же нельзя поставить в числе лучших современных поэтов, потому что он является рассказчиком только своей души, своеобразной, тонкой, но не сильной и слишком ушедшей от всех вопросов, которые определяют творчество истинных мастеров».

В апреле 1911 года Гумилёву не удалось найти средства для открытия своей поэтической трибуны (возобновления издания журнала «Остров»), но счастье все-таки ему улыбнулось. Сергей Маковский пригласил его в свой кабинет и официально попросил взять на себя курирование поэзии в «Аполлоне». С тех пор

Гумилёв полностью вел в журнале поэтическое и критическое направления («Письма о русской поэзии»).

13 апреля Николай Степанович, отправляясь на заседание Общества ревнителей художественного слова, вряд ли ожидал, что прочитанное им стихотворение «Блудный сын» вызовет такую реакцию Вячеслава Иванова.

Валериан Чудовский писал в девятом номере «Русских художественных летописей» в разделе «Литературная жизнь»: «Н. С. Гумилёв произнес циклическое произведение „Блудный сын“, вызвавшее оживленные прения о пределах той свободы, с которой поэт может обрабатывать традиционные темы». Это хроника, где нет места эмоциям. Анна Ахматова же вспоминала, что, по сути дела, Вячеслав Иванов учинил форменный разнос Гумилёву. Николай Степанович воспринял несправедливые слова мэтра очень болезненно. Это, по мнению многочисленных исследователей творчества Н. Гумилёва, и послужило причиной того, что поэт начал искать возможность создать свою поэтическую школу, отдельную от общества Вячеслава Иванова.

Не забывает Николай Степанович и кружок Случевского. 16 апреля на заседании этого кружка среди гостей были Федор Сологуб и известный тогда поэт, секретарь поэтических пятниц Случевского, А. А. Коринфский. Об этом вечере, проведенном на квартире у И. Ясинского, поэт А. А. Кондратьев вспоминал уже в эмиграции: «После обеда (вместо обычного ужина) началось чтение стихов. Когда очередь дошла до Николая Степановича, последний начал читать свое „Ослепительное“ („Я тело в кресло уроню, я свет руками заслоню“). Все обратились в слух. Утомившийся за день и прикорнувший на диване в одном из укромных уголков очень просторной комнаты, где мы сидели, поэт А. А. Коринфский внезапно очнулся от дремоты и стал подобно всем нам внимательно вслушиваться в негромким спокойным голосом произносимые стихи»:

И снова властвует Багдад,
И снова странствует Синдбад,
Вступает с демонами в ссору,
И от египетской земли
Опять уходят корабли
В великолепную Бассору.

(1910)

«Взрыв искренних дружных аплодисментов заключил декламацию… Затем следовало читавшееся тоже в первый раз стихотворение „У камина“»:

Наплывала тень… Догорал камин,
Руки на груди, он стоял один…

А. А. Коринфский не выдержал и, окончательно воспрянув, стал, полусогнувшись, на цыпочках, медленно и осторожно красться к читавшему.

Мы рубили лес, мы копали рвы,
Вечерами к нам подходили львы, —

невозмутимо читал заметивший приблизившегося слушателя Гумилёв. Нагнув слегка голову с гривой, которой позавидовал бы любой из африканских львов, Коринфский замер, как бы готовясь к прыжку. И когда прозвучало последнее четверостишие о женщине, которая «храня злое торжество», слушала поэта, Коринфский, изменив уже позу, отрывистым голосом спросил у смотревшего на него все время бесстрастно Николая Степановича: «Кто вы?» — «Гумилёв». — «А!» и с этим междометием на устах, вполне удовлетворенный слышанным, спокойно отправился обратно вновь дремать в своем уголку представитель старшего поколения поэтов.

Зато старый учитель немецкого языка Ф. Ф. Фидлер на следующий день записал в своем дневнике об этом же вечере: «Этот Гумилёв был лет 15 назад моим учеником в гимназии Гуревича; он посещал ее примерно до третьего класса, и все учителя считали его лентяем. У меня он всегда получал одни двойки и принадлежал к числу наименее симпатичных и развитых моих учеников».

В это же время Гумилёв публикует в четвертом и пятом номерах «Аполлона» рецензии сразу на целую серию поэтических книг (20 поэтов и 21 книга), причем давая точные и непредвзятые оценки творчеству Марины Цветаевой, Дмитрия Святополка-Мирского, Модеста Гофмана, Сергея Клычкова, Игоря Северянина, Велимира Хлебникова, Василия Каменского, Бенедикта Лившица, Ильи Эренбурга и других. Он дает точные, емкие характеристики творчества поэтов: «Из всех дерзающих, книги которых лежат теперь передо мной, интереснее всех, пожалуй, Игорь Северянин: он больше всех дерзает. Конечно, девять десятых его творчества нельзя воспринять иначе, как желание скандала или как ни с чем не сравнимую жалкую наивность… Но зато его стих свободен и крылат, его образы подлинно, а иногда и радующе, неожиданны, у него уже есть свой поэтический облик…» О поэтах-футуристах Гумилёв тоже отозвался очень объективно, несмотря на

неприязнь к этому течению в литературе: «Кульминационной точкой дерзания в этом году, конечно, является сборник „Садок Судей“, напечатанный на оборотной стороне обойной бумаги, без буквы „ъ“, без твердых знаков и еще с какими-то фокусами. Из пяти поэтов, давших туда стихи, подлинно дерзают только два: Василий Каменский и В. Хлебников; остальные просто беспомощны». Время подтвердило правоту Гумилёва. О юной Марине Цветаевой поэт пишет: «…(книга „Вечерний Альбом“) внутренне талантлива, внутренне своеобразна… И, как и надо было думать, здесь инстинктивно угаданы все главнейшие законы поэзии, так что эта книга — не только милая книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов». И опять точный прогноз.

Мог ли такой чуткий критик оставаться глухим к стихам своей жены? Риторический вопрос. Он первым отметил ее талант и старался вводить ее во все литературные салоны того времени. 22 апреля Гумилёвы были на заседании Общества ревнителей художественного слова. Теперь стихи читала Анна Андреевна. А незадолго до этого в апрельском номере «Аполлона» были опубликованы стихи Ахматовой («Сероглазый король», «В лесу», «Над водой», «Мне больше ног моих не надо…»). Именно эта публикация и стала подлинным литературным дебютом Ахматовой. 29 апреля в газете «Новое время» В. П. Буренин напечатал на эти стихи пародию. Тем не менее Анна Андреевна становится довольно известной в литературных кругах. Поэт Юрий Верховский даже придумает этой поэтической паре название «Гумилёв и Гумильвица». 22 апреля на заседании общества, проходившем в редакции «Аполлона», присутствовал и Александр Блок.

1 мая Гумилёвы вместе с Вячеславом Ивановым отправились смотреть в Малый театр пьесу М. Кузмина «Забавы дев». Вообще в мае Гумилёв, несмотря на разногласие с Ивановым, регулярно посещает Общество ревнителей художественного слова. На последнем весеннем заседании, где они были 13 мая, выступал Сергей Городецкий с докладом о поэте Иване Никитине.

К лету 1911 года противостояние молодых поэтов и адептов символизма достигло критической точки. Раскол стал очевиден, нужно было время, чтобы новая группа оформилась, но наступила пора отпусков и отдыха. В это время в семье Гумилёвых произошли два знаменательных события. Брат поэта Дмитрий Гумилёв петербургским губернатором был назначен сверхштатным кандидатом на должность земского начальника при Петербургском губернском присутствии. А мать поэта Анна Ивановна решилась, наконец, обзавестись в Царском Селе

собственным домом. Выбор ее оказался удачным. Дом находился на улице Малая, 63, в нескольких десятках метров от мужской Николаевской гимназии, где когда-то учился юный поэт. Гумилёвы проживут здесь до 1916 года. Николай очень гордился этим фактом и теперь в письмах адрес стал писать так: «Царское Село, Малая ул., 63 (собств. д. против гимназии)»[40].

Анна Ахматова позднее заметила: «Уйдя от Гумилёвых, я потеряла дом». А первый биограф Гумилёва П. Лукницкий, которого Анна Андреевна сама привела к этому дому, записал: «Я увидел двухэтажный, в три окна вверху и в 5 окон внизу, хорошенький деревянный домик с небольшим палисадником, из которого поднималось высоко одно только большое… дерево… крошечный садик. В него выходит большое окно столовой, а за ним — окно комнаты Николая Степановича… А. А. рассказала: 1-е окно… было окном ее комнаты. Следующее окно — библиотеки. 3-е — среднее — окно фальшивое, было раньше, осталось и теперь. Два других окна — окна гостиной. Во втором этаже жил Лева (сын поэта Лев Гумилёв. — В. П.). Подошли к калитке. А. А. показала мне жестяную доску с этой стороны дома. На доске масляными красками: „Дом А. И. Гумилёвой…“ А. А.: „У Коли желтая комната. Столик. За этим столиком очень много стихов написано. Кушетка, тоже желтая, обитая. Часто спал в библиотеке на тахте, а я — у меня в комнате. Все из Слепнева привезла, красного дерева. Кресло — карельской березы. Кабинет — большая комната, совсем заброшенная и нелюбимая. Это называлось ‘Абиссинская комната’. Вся занавешена абиссинскими картинами была. Шкуры везде развешаны…“ Все это до осени 1915 года. А с весны 16-го все было иначе. Комнаты А. А. и Николая Степановича сданы родственнице… А. А. переехала в кабинет, а Николай Степанович жил наверху в маленькой комнате. Всего в доме было шесть комнат».

Анна Андреевна вспоминала один очень важный эпизод их жизни в этом доме. Напротив комнаты Николая Степановича росло дерево. Оно практически загораживало солнце, и в комнате было всегда полутемно. Кто-то из домашних предложил спилить дерево. В это время Николай Степанович был дома. Услышав о таком решении, он возмутился и сказал: «Нет, я никому не позволю срубить дерево. Как это можно рубить деревья?» И дерево уцелело. Через несколько лет, в конце 1915 года, зимой поэт вдруг вспомнил об этом случае и написал одно из самых прекрасных стихотворений «Деревья»:

Я знаю, что деревьям, а не нам,
Дано величье совершенной жизни:

На ласковой земле, сестре звездам,
Мы — на чужбине, а они — в отчизне…

В седьмом номере «Аполлона» Гумилёв опубликовал рецензию на сборник Вячеслава Иванова «Cor ardens», «Антологию современной поэзии» («Мусагет», 1911) и поместил некрологи К. М. Фофанову и В. В. Гофману в виде дополнений к очередному выпуску «Писем о русской поэзии». Поэт, дав высокую оценку новой книге мэтра, тем не менее критикует его за приверженность символистским канонам. Делая обзор «Антологии современной поэзии» («Мусагет», 1911), Н. Гумилёв отзывается с восторгом о поэзии Блока: «Александр Блок является в полном расцвете своего таланта: достойно Байрона его царственное безумие, влитое в полнозвучный стих». Здесь же, упомянув о стихах Волошина, он не написал о них ни слова критики, хотя читал незаслуженную его хулу на себя 5 февраля 1911 года в газете «Утро России», что говорит о глубокой порядочности Николая Степановича.

Гумилёв очень высоко ставил недооцененного крупного поэта Константина Фофанова: «Умер К. М. Фофанов. В его лице русская поэзия потеряла последнего видного представителя того направления, которое характеризуется именами Голенищева-Кутузова, Апухтина, Надсона, Фруга и др…. Он был подлинный поэт, но из тех скромных поэтов, о которых в своем знаменитом стихотворении мечтал Лонгфелло…» Трагически покончившему с собой в Париже поэту Виктору Гофману Гумилёв дал очень краткую, но емкую характеристику: «В. В. Гофман обеспечил себе почетное место среди поэтов второй стадии русского модернизма».

Осенью 1911 года отношения между Вячеславом Ивановым и Николаем Гумилёвым становятся еще более напряженными, чем весной 1911 года. В литературном обществе Санкт-Петербурга происходят перераспределение творческих сил, их поляризация. В сентябре 1911 года вернулся из путешествия по Европе Александр Блок, Гумилёв втайне надеялся, что он займет позиции в поддержку молодых поэтов, но его надежды не оправдались.

В девятом номере журнала «Аполлон» появляется очень важная статья Гумилёва о Теофиле Готье, где поэт проводит связующую нить между Пушкиным и французским поэтом: «…как бы следуя завету Пушкина „лишь юности и красоты поклонником быть должен гений“, Готье любил описывать сказочные богатства, принадлежащие веселым молодым людям, расточающие их на юных, прекрасных и всегда немного напоминающих кошек

женщин, — этих молодых людей, любовные признания которых звучат, как дерзкое и томное…» Гумилёв пишет: «В „Эмалях и камеях“ он равно избегает как случайного, конкретного, так и туманного, отвлеченного…» Туманное и отвлеченное — это символизм. Николай Степанович, анализируя творчество Готье, проговаривает и те принципы, которые для него являются главными: «Он последний верил, что литература есть целый мир, управляемый законами, равноценными законам жизни, и он чувствовал себя гражданином этого мира. Он не подразделял его на высшие и низшие касты, на враждебные друг другу течения. Он уверенной рукой отовсюду брал, что ему было надо, и все становилось чистым золотом в этой руке. Классик по темпераменту, романтик по устремлениям, он дал нам незабываемые сцены в духе поэзии „Озерной Школы“, гётевского склада размышления о жизни и смерти, меланхолические и шаловливые картинки XVIII века… В литературе нет других законов, кроме закона радостного и плодотворного усилия, — вот о чем всегда должно нам напоминать имя Теофиля Готье». Эти принципы Гумилёв потом заложит и в написанную им программу нового литературного движения.

15 сентября в Царское Село вернулась Анна Андреевна, а 29-го она написала свое двухсотое стихотворение «Песня последней разлуки».

В октябре Гумилёв познакомился с будущим вторым мужем своей жены Вольдемаром-Георгом (в быту Владимиром) — сыном поручика 91-го пехотного Двинского полка Казимира Донатовича Шилейко. Николай Степанович любил бывать в университетском музее древностей. Однажды он увидел там довольно интересной внешности молодого человека (он был младше Гумилёва почти на пять лет) в круглых тонких очках, с коротко постриженными волосами. Незнакомец медленно обходил экспонаты, внимательно вглядывался в них и — близоруко щурился. В ту пору ему было немногим больше двадцати лет. Так как в зале было пусто, они не могли не заметить друг друга и познакомились. Оказалось, что Шилейко окончил с золотой медалью Петергофскую гимназию и сейчас учился на восточном факультете университета по еврейско-арабско-сирийскому разряду, будучи сам крещен как евангелист-лютеранин. Сейчас он серьезно увлекался ассириологией — курсом, недавно введенным в университете академиком П. К. Коковцовым. Гумилёв поинтересовался, занимается ли студент только переводами или сам что-то пишет. Шилейко признался, что и сам пишет! Этого было достаточно, чтобы они договорились об очередной встрече.

Конечно, разговор зашел у них о поэзии. Шилейко внимательно слушал, как Гумилёв говорил о символизме, о том, что настало время нового течения в литературе, каковое он вскоре и образует. Вполне вероятно, что все это было интересно молодому студенту. Во всяком случае, вскоре они подружились.

15 октября Гумилёв с Анной Андреевной присутствовал на заседании Общества ревнителей художественного слова на чтении доклада Валериана Чудовского о пушкинской «Русалке». Именно в это время поэт закончил все организационные вопросы по созданию нового литературного течения. Пока у него не было названия, и не все его старые товарищи согласились объединиться под гумилёвскими знаменами. Так, граф Толстой сослался на то, что он вскоре должен уехать в Москву. Не изъявил особого желания и Петр Потемкин. Сергей Ауслендер оказался в стороне. Однако появились новые друзья и товарищи, например поэт Сергей Городецкий, хотя, казалось бы, для их сближения было мало предпосылок. Они писали друг на друга довольно резкие рецензии, были абсолютно разными по эстетическим взглядам: Гумилёв, русский европеец, и Городецкий, творец языческого эпоса, искавший пути обновления литературы в фольклоре древних славян. Одно время Городецкий учился с Блоком на одном курсе. Он был из числа так называемых «вечных студентов». Успел выпустить уже книгу «Ярь» в издательстве «Кружка молодых». Блоку нравились его стихи. Гумилёв к ним относился настороженно. Но в это же время произошел разрыв Городецкого с Вячеславом Ивановым, и Городецкому, как и Гумилёву, понадобились новые союзники. Поэтому Гумилёв и отправился в октябре 1911 года на Фонтанку, где жил Сергей Городецкий со своей молодой женой, студенткой Бестужевских курсов и начинающей актрисой Анной Андреевной Козельской. В коридоре Николая Степановича встретил намалеванный на стене черт, который указывал пальцем на надпись «Не кури!». Разговор двух будущих «синдиков» (как они стали себя величать) закончился заключением творческого союза. Было решено провести первое заседание новой организации 20 октября на квартире у Сергея Городецкого, а второе — в Царском Селе. Каждый из руководителей новой создаваемой организации должен был пригласить на заседание ее предполагаемых членов организации. Городецкий обещал привести Александра Блока. Специально были подготовлены оригинальные пригласительные «На первое заседание Цеха поэтов». Так Гумилёв, договорившись с Городецким, определил название организации. По примеру того, как средневековые мастера объединялись в цехи, так и Гумилёв решил создать организацию, основанную на строгой

дисциплине.

И вот настал день 20 октября. На заседание действительно пришел Александр Блок. Гумилёв появился с Анной Андреевной. Александр Александрович первый подошел к Николаю Степановичу и попросил представить его жене. Так официально познакомились Анна Ахматова и Александр Блок. Известно, что на первом заседании присутствовали Дмитрий Кузьмин-Караваев, ставший потом стряпчим Цеха (юрист по образованию), и Владимир Пяст. Конечно, были и другие. Н. Гумилёв, А. Блок, А. Ахматова, С. Городецкий читали свои стихи, обсуждали программу деятельности и утверждали состав членов Цеха поэтов. Владимир Пяст оставил об этом периоде интересные воспоминания, передающие атмосферу, царившую в Цехе: «Цех поэтов был довольно любопытным литературным объединением, в котором не ставился знак равенства между принадлежностью к нему и к акмеистской школе. В него был введен несколько чуждый литературным обществам и традициям порядок „управления“… В Цехе были „синдики“, в задачу которых входило направление членов Цеха в области их творчества; к членам же предъявлялись требования известной „активности“; кроме того, к поэзии был с самого начала взят подход, как к ремеслу. Это гораздо позднее Валерий Брюсов где-то написал: поэзия — ремесло не хуже всякого другого. Не формулируя этого так, вкладывая в эту формулу несколько иной, чем Брюсов, смысл, — синдики, конечно, подписались бы под вышесказанным афоризмом. Их было трое — Гумилёв, Городецкий, Кузьмин-Караваев. Каждому из них была вменена почетная обязанность по очереди председательствовать на собраниях; но это председательствование они понимали как право и обязанность „вести“ собрание. И притом чрезвычайно торжественно. <…> Было, например, правило, воспрещающее „говорить без придаточных“. То есть высказывать свое суждение по поводу прочитанных стихов без мотивировки этого суждения. Все члены Цеха должны были „работать“ над своими стихами согласно указаниям собрания, то есть фактически — двух синдиков. <…> Ни на минуту синдики не забывали о своих чинах и титулах. За исключением этих забавных особенностей, — в общем, был Цех благодарной для работы средой, — именно тою „рабочей комнатой“, которую провозглашал в конце своей статьи „Они“ покойный И. Ф. Анненский…»

Александр Блок не был выбран синдиком Цеха и, видимо, поэтому был обижен. Больше на заседания Цеха он не приходил. И в отношении акмеистов, как известно, занял враждебную позицию. Тогда же о первом вечере он записал в дневнике:

«Безалаберный и милый вечер… Молодежь. Анна Ахматова. Разговор с Н. С. Гумилёвым и его хорошие стихи о том, как сердце стало китайской куклой[41]… Было весело и просто. С молодыми добреешь».

Анна Андреевна в своих «Пестрых заметках» писала: «Цех поэтов был задуман осенью 1911 г. в противовес Академии стиха, где царствовал Вячеслав Иванов. Николай Степанович до этого мало знал Городецкого, который вообще был гораздо старше нас всех и уже отведал чулковского „мистического анархизма“ и „соборности“, как-то очень скоро вышел из моды, перестал быть „солнечным мальчиком“ Сережей Городецким и искал очередной спасательный круг „SOS“». Интересно, что сам Городецкий 26 апреля 1919 года в газете «Закавказское слово» писал об идее создания Цеха: «Когда мы с Гумилёвым после ряда бесед решили основать Цех поэтов, нами руководила идея именно совмещения влияния. Гумилёв в то время был убежденным парнасцем, выше всего ставившим мастерство формы. Для меня вершиной достижений являлось слияние народной поэзии с литературой в форме предельного раскрытия символов, которое есть мифотворчество, по терминологии Вяч. Иванова. Мы решили слить свои искания и поставить под их перекрестный огонь творчество молодежи. Я привел своих, Гумилёв своих, и таким образом создался Цех поэтов».

По мнению Сергея Маковского, в первоначальный состав Цеха входило около двенадцати человек, среди которых кроме вышеназванных были еще граф Василий Комаровский, Василий Гиппиус, М. Л. Моравская, Владимир Нарбут, Михаил Зенкевич, Осип Мандельштам.

Василий Гиппиус прославился больше не как поэт, а как автор прекрасной работы о Гоголе. Он считался человеком Городецкого, впрочем, как и Владимир Нарбут и Михаил Зенкевич. Явными сторонниками Гумилёва были его супруга, Осип Мандельштам, Кузьмины-Караваевы и, конечно, граф Василий Комаровский. Последнего Гумилёв часто опекал, так как он жил в Царском и был не только очень талантливым, но и очень больным человеком. К сожалению, до сих пор его поэзия находится в тени забвения. Происходил он из знатного дворянского рода, с которым в родстве состояли графы Соллогубы, князья Гагарины, Обуховы, Веневитиновы, Вырубовы, графы Муравьевы и Вильегорские, Янковские, Хлебниковы. Отец поэта Алексей Егорович был шталмейстером, а мать Александра Валентиновна, урожденная Безобразова, страдала в конце жизни душевным расстройством. Возможно, именно от нее и досталась эта наследственная болезнь молодому графу Комаровскому. В

начале XX столетия Василий Комаровский жил скромно в Царском Селе у сестры его отца, так и не вышедшей замуж фрейлины, графини Любови Егоровны Комаровской на Магазейной улице в доме Палкина. Его родственником был и князь В. А. Святополк-Мирский, оставивший о поэте очень ценные воспоминания. Граф был начитан, хорошо образован, знал несколько языков (в том числе и латинский). Однако когда с ним случались приступы безумия, он становился неузнаваем.

Буйного, неуправляемого нрава был другой член Цеха поэтов Владимир Нарбут. Он принадлежал к старинному дворянскому роду, ведущему родословную от запорожских казаков. Родился Нарбут в 1888 году на хуторе Нарбутовка Есманской волости Глуховского уезда Черниговской губернии. Отец поэта Иван Яковлевич, владелец захудалого поместья, отличался большой образованностью, окончил Киевский университет по отделению физико-математическому, был весельчаком буйного нрава, увлекался карточной игрой, и домашним от него часто перепадало. Мать поэта Неонила Николаевна была из семьи священника и, осиротев, вышла замуж очень рано. Нрава она была кроткого и мужу никогда перечить не могла. Дом Нарбутов был полон детей: Тамара, Евгения (обе умерли в младенчестве), Георгий (будущий крупный художник-график «Мира искусств», основавший школу украинской графики), Елена, Владимир, Сергей, Агнесса, Николай, Борис. Владимир вместе с братом Георгием учился в гимназии города Глухова. В 1906 году оба брата тайно отправились в Санкт-Петербург, так как отец не желал их туда отправлять. Как только братья нашли квартиру, их начисто обокрали. Выручил известный художник Билибин, который помог братьям, пожалев талантливого художника Георгия. Владимир учился в университете и в 1909 году дебютировал со своими стихами, а в 1910 году выпустил первую книгу «Стихи» объемом в 133 страницы. Книга была необычна. В столичные салоны с изысканными шелками и туманами ворвался сельский разбойник, веселый ухарь, который бытописал глухие уголки России сочными красками художника:

Поле. Плачет пьяный пес.
Водяной в воде сопит.
Дух дохнул, дошел, донес
Шумы. Шелком шелестит.

Рваной рясой рыжий поп
Запахнул ребенка в гроб.
Веет вешний вертоград.

Звезды — в злате виноград.

Многие стихи сборника были пронизаны фольклором: здесь и водяной, и Баба-яга, и оборотни. От строчек:

По полю мчится, как синяя птица,
В ступе — без упряжки, гика, коней…
Будет звездами ли ночь золотиться?..
Травы в слезах поувяли за ней. —

веяло гоголевским Вием. Естественно, талантливая книга неизвестного поэта вызвала в литературном мире Санкт-Петербурга фурор. О ней заговорили, появилось множество рецензий. Гумилёв писал о ней в шестом номере журнала «Аполлон» за 1911 год: «Неплохое впечатление производит книга стихов Нарбута… она ярка. В ней есть технические приемы, которые завлекают читателя (хотя есть и такие, которые расхолаживают), есть меткие характеристики (хотя есть и фальшивые), есть интимность (иногда и ломание). Но как не простить срывов при наличии достижений?.. Неужели время вульгарной специализации по темам наступило и для поэзии? Или это только своеобразный прием сильного таланта, развивающего свои способности поодиночке? Давай Бог! В этом случае страшно только за него, а не за всю поэзию». Нарбута в литературе можно было считать русским Бодлером, который опоэтизировал по примеру Шарля Бодлера мерзостную сущность низменного и отверженного. Именно бодлеровское начало в поэзии Нарбута считалось адамизмом в Цехе поэтов.

Георгий Иванов вспоминал в «Петербургских зимах»: «Было в молодом Нарбуте что-то есенинское — не только в красочности его стихов, но и в поведении. Он тоже взирал на жизнь столицы глазами деревенского хулигана, для которого законы были тяжкими оковами. Уже через несколько месяцев пребывания поэта в столице был вызван в суд свидетелем по делу „дворянина Владимира Нарбута“ секретарь журнала „Аполлон“, где в это время трудился Нарбут. В одну из первых своих ночей в Петербурге Нарбут по дороге из одного кабака в другой с одобрения разгулявшейся компании влез на одного из коней Клодта на Аничковом мосту. А когда его попытался укротить городовой, Владимир его избил. Вскоре он стал членом Цеха поэтов».

Михаил Зенкевич познакомился с Гумилёвым в 1910 году в журнале «Аполлон». Николаю Степановичу понравились стихи

молодого поэта (Зенкевич был на пять лет младше него и учился на юридическом факультете университета), и он опубликовал их в журнале. В 1911 году Михаил Александрович по своим убеждениям стал членом Цеха поэтов.

Еще один из участников первых лет — Михаил Лозинский — был одногодком Гумилёва и также учился в университете. После того как Зноско-Боровский покинул пост ответственного секретаря журнала «Аполлон», Лозинский занял его место. В дальнейшем он стал одним из самых близких друзей Гумилёва.

В октябре 1911 года Анна Андреевна пошла учиться на Высшие женские историко-литературные курсы Н. П. Раева в Санкт-Петербурге.

Вскоре после первых заседаний Цеха, 29 октября, состоялось собрание Общества ревнителей художественного слова, на котором с докладом «О каноне» выступил Владимир Пяст. Он говорил с позиций поддержки символических заявлений Вячеслава Иванова, который и председательствовал в этот день.

1 ноября 1911 года Гумилёв провел второе заседание Цеха поэтов у себя дома. К этому собранию готовились заранее, и там было не просто чтение стихов, но и официальные заявления. Ахматова вспоминала: «Я отчетливо помню то собрание Цеха… когда было решено отмежеваться от символистов. С верхней полки достали греческий словарь и там отыскали — цветение, вершину (греч. акте — высшая степень, цветущая сила, откуда возник акмеизм. — В. П.). Меня, всегда отличавшуюся хорошей памятью, просили запомнить этот день… Из свидетелей этой сцены жив один Зенкевич (Городецкий хуже, чем мертв)».

Теперь заседания Цеха поэтов и Общества ревнителей художественного слова будут идти параллельно. Гумилёв, основав свой Цех поэтов, где он, по сути дела, считался уже непререкаемым авторитетом (известно высказывание Осипа Мандельштама тех времен: «Гумилёв — это наша совесть»), посещал и общество. На первых порах это было если не мирное, то и не враждебное сосуществование. Важно было другое — Гумилёв обозначил свою позицию и повел за собой молодежь. Вячеслав Иванов почувствовал, что закончились их отношения по принципу: учитель — ученик. Ученик вырос. На корабле петербургской поэзии стало на одного капитана больше. У нового капитана была трибуна большого журнала — «Аполлон», что делало его еще весомее. И совсем не важно, что еще один капитан Александр Блок выступил на стороне старого капитана. На стороне нового был Михаил Кузмин. Да и мэтр Брюсов пока не поддержал Иванова. Конечно, это не могло не вызывать чувства озлобления в лагере старой команды. Ведь новый капитан

выступал на страницах журнала с независимых позиций. Даже положительные отзывы поэта вызывали в стане противоположном чувство раздражения. 9 ноября 1911 года Борис Садовской писал Александру Блоку по поводу рецензии Гумилёва на стихи Блока «Исход», «Вступление», «Искуситель», «Посещение», опубликованные в «Антологии» издательства «Мусагет» в 1911 году: «Даже Гумилёв, бездарнейший стихотворец в мире, проникся ими и сравнивал Вас с Байроном». Сам себя Садовской считал очень талантливым, и лишь время все расставило на свои места. Сегодня о Садовском знают только осведомленные литературоведы, а Гумилёва знает весь мир. Поэт старался быть объективным, невзирая на лица. В десятом номере «Аполлона» за 1911 год об Илье Эренбурге (о котором Волошин сказал, что он подражатель Гумилёва) поэт писал: «И. Эренбург сделал большие успехи со времени выхода его первой книги. Теперь в его стихах нет ни детского богохульства, ни дешевого эстетизма, которые, к сожалению, уже успели отравить некоторых начинающих поэтов. Из разряда подражателей он перешел в разряд учеников и даже иногда вступает на путь самостоятельного творчества…»

10 ноября 1911 года третье заседание Цеха поэтов прошло у матери Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой — Софии Борисовны (урожденной Делоне) на Манежной площади, 2. Здесь присутствовал гость Михаил Леонидович Лозинский, тогда еще начинающий поэт, будущий прекрасный переводчик «Божественной комедии» Данте. Именно на третьем заседании с ним и познакомилась Анна Андреевна. В этот день Михаил Леонидович был официально принят в члены Цеха поэтов. Посещал заседания Цеха и художник Бруни. Поэтому одно из заседаний решено было провести в Академии художеств.

Лозинский был деятельным человеком и сразу включился в работу. Анна Андреевна вспоминала: «Собрания Цеха поэтов с ноября 1911 по апрель 1912 (т. е. наш отъезд в Италию): приблизительно десять собраний (по два в месяц). (Неплохая пожива для „Трудов и Дней“, которыми, кстати сказать, кажется, никто не занимается.) Повестки рассылала я… Лозинский сделал для меня список адресов членов Цеха… На каждой повестке было изображение лиры».

Нельзя сказать, что и заседания Общества ревнителей художественного слова проходили всегда под эгидой Вячеслава Иванова и символизма. Были заседания, когда активно выступали члены Цеха поэтов. Так, на заседании 12 ноября, где председательствовал Ф. Ф. Зелинский, присутствовал Н. С. Гумилёв, шло обсуждение неизданных стихотворений членов Цеха поэтов А. Гумилёвой, М. Зенкевича и В. Гиппиуса.

Иногда по старой памяти ходили на «башню». 14 ноября Гумилёв повстречался в редакции «Аполлона» с Михаилом Кузминым и Зноско-Боровским. Они отправились на «башню», куда пришли уже до них граф А. Толстой, Владимир Пяст и Д. Философов. Опять допоздна читали стихи, не углубляясь в теоретические дебри. Осенью этого года Гумилёв написал три прекрасных стихотворения: «Туркестанские генералы», «Я верил, я думал…» и «Освобождение».

16 ноября поэт принял участие в заседании редакционной коллегии «Аполлона». После его окончания Кузмин и Гумилёв отправились на вечер известной в ту пору актрисы Пал-лады Олимповны Богдановой-Вельской. Вечер прошел весело, пели, шутили, было выпито много вина. Об обратной дороге Михаил Кузмин вспоминал: «Поехал со мной Гумми, терявший по дороге бумаги из портфеля».

После долгого перерыва Гумилёв получил письмо от В. Брюсова. Валерий Яковлевич выражал недовольство политикой, проводимой в отношении подготавливаемого альманаха «Аполлона».

19 ноября Гумилёв проводил у себя дома заседание кружка Случевского. На этот раз поэт предложил на суд собравшихся новую поэму «Дон Жуан в Египте». Поэму можно отнести к наиболее удачным пьесам Гумилёва. Уже 10 января 1913 года пьеса была поставлена Иоганнесом фон Гюнтером в театре в Митаве. Но настоящая постановка с резонансом в печати была 25 марта 1913 года в Троицком театре. В том же году на пьесу появились отзывы в газетах «День», «Речь», «Обозрение театров», а также в журналах «Русская мысль», «Аполлон» (№ 4) и «Театр и искусство» (№ 13). В «Аполлоне» о пьесе писал Валериан Чудовский. Хотя, по мнению критика, актеры Троицкого театра миниатюр играли «отменно плохо». И все-таки это был первый театральный успех Гумилёва.

20 ноября 1911 года состоялось очередное заседание Цеха поэтов — на сей раз на квартире Михаила Лозинского.

В конце ноября 1911 года вышел из печати первый номер «Литературного альманаха» издательства «Аполлон». В нем поэт поместил свои стихотворения «Мне не нравится томность…», «Сон», «Вечерний медленный паук…», «Я в коридоре дней сомкнутых…», «Я жду, исполненный укоров…», «Какою музыкой мой слух взволнован…», «Вот я один в вечерний тихий час…», а также стихотворения А. Ахматовой, А. Блока, К. Бальмонта, Н. Клюева, М. Зенкевича и других.

В ноябре Николай Степанович получил в подарок книги двух поэтов: Александра Блока «Ночные часы» и Николая Клюева

«Сосен перезвон». Последний надписал свою книгу так: «…мы выйдем для обшей молитвы на хрустящий песок золотых островов. Дорогому Н. Гумилёву с пожеланием мира и радости от автора Андома». В ту пору Клюев стремился в Цех поэтов.

Декабрь начался с заседания Цеха поэтов в Царском Селе — 2 декабря Николай Степанович собрал у себя единомышленников. А на следующий день он выступал на заседании Общества ревнителей художественного слова с речью, посвященной памяти И. Ф. Анненского. На заседании председательствовал Вячеслав Иванов. Валериан Чудовский сообщал о заседании в журнале «Аполлон» (1911. № 20): «…в первой части своей <оно> посвящено было памяти Иннокентия Анненского, бывшаго члена Совета Об-ва, по случаю исполнившейся 30-го ноября годовщины смерти его. <…> Н. С. Гумилёв, О. Мандельштам высказывались о значении поэта для современной лирики. Последний определил Анненского, как поэта с отливом дионисийского чувства…»

В декабре 1911 года случилось два малоприятных для Гумилёва события. В двенадцатом номере журнала «Русская мысль» жена поэта опубликовала стихотворение «Муж хлестал меня узорчатым…». Конечно, это был эпатаж. Анна Андреевна любила, чтобы ее жалели. Но данная публикация породила целую серию анекдотов о жестокости добрейшего Николая Степановича.

Другая акция состоялась 10 декабря перед заседанием Цеха поэтов, которое прошло на квартире у Е. Кузьминой-Караваевой. Перед собранием его участники (Гумилёва, к его счастью, не было) собрались пообедать в модном ресторане «Вена». Выпив достаточное количество горячительных напитков, они провозгласили Блока королем русских поэтов. В начале прошлого века это было модно — был гений Игорь Северянин, потом появился председатель земного шара Велимир Хлебников, был король поэтической эстрады Николай Агнивцев. Естественно, Гумилёву, хотя любившему поэзию Блока, все равно было бы неприятно об этом услышать.

Последнее заседание Цеха поэтов в 1911 году прошло 20 декабря на квартире у Михаила Лозинского. В конце 1911 года Николай Степанович отправил своему бывшему учителю Валерию Брюсову письмо с официальным приглашением во время приезда в Санкт-Петербург побывать у него в Царском Селе или хотя бы позвонить по телефону 555.

Новый, 1912 год уже не был похож на ушедший 1911-й хотя бы тем, что открывшаяся в ночь с 31 декабря на 1 января 1912 года «Бродячая собака» полностью изменила жизнь петербургской творческой богемы. Появилось нейтральное место, где могли за

столиками с вином и бутербродами сходиться люди самых разнообразных взглядов. Программы были от увеселительных и развлекательных до скандальных. Теперь Гумилёв бывал не только в Обществе ревнителей, на заседаниях Цеха поэтов, но и в «Бродячей собаке». Создатель «Собаки» Борис Пронин вспоминал через много лет: «„Собаку“ придумал всецело я. В 1901–1904 гг. я был в школе Художественного театра, учился по классу режиссуры. И во время гастролей Художественного театра каждый сезон весной театральная молодежь, да и старики были бездомными. И вот у меня возникла мысль, что надо создать романтический кабачок, куда бы мы все, „бродячие собаки“, могли приткнуться, дешево покормиться и быть у себя — бродячие, бесприютные собаки. <…> Весь конец 1911 г. я бегал по Петербургу, искал и в конце концов набрел на идеальное помещение: угловой дом рядом с Михайловским театром, вход во втором дворе. С улицы вход был забит, и мы его так и оставили. Для нас это была идеальная штука, подвал и вход во дворе, тут не нужен был бельэтаж, куда на шум может ворваться полиция».

В январе Гумилёв провел несколько заседаний Цеха поэтов. Причем прямо из «Бродячей собаки» утром 1 января нового, 1912 года он с членами Цеха поэтов отправился в Царское Село, где и состоялось первое заседание в новом году.

Днем 28 января Гумилёв навестил Сергея Городецкого, они обсуждали программу нового литературного направления. Намечали провести очередное заседание с целью выработать программные документы. У Городецкого Николай Степанович застал Кузмина и предложил Михаилу Алексеевичу отправиться на несколько дней к нему в гости — отдохнуть и поработать в тиши. Тем же днем Гумилёв присутствовал на заседании Общества ревнителей художественного слова, посвященном 75-летию со дня гибели А. С. Пушкина. Открыл заседание Вячеслав Иванов, а потом выступил Борис Николаевич Бугаев с докладом о своих исследованиях пятистопного ямба. Основывался он на своем труде «Символизм». Говорил об изысканиях в этой области их московского кружка и приводил примеры. Вечером Николай Степанович отправился на Петроградскую сторону на улицу Церковную, 23, где на квартире у М. Г. Веселковой-Кильштет происходило заседание кружка Случевского. Заседание тоже было посвящено памяти А. С. Пушкина.

В январе старший брат поэта Дмитрий обратился в Сенат с прошением о признании его потомственным дворянином, но получил отказ, поскольку отец его приобрел на службе лишь личное дворянство, которое по законам Российской империи на потомков не распространялось.

Известно, что сам поэт относился к этому вопросу очень щепетильно. И вел себя так, как это было принято по законам кодекса дворянской чести, но, увы, официальная казуистика тех лет отказала ему в этом праве. Наверное, этот вопрос обсуждался дома не однажды, и мать поэта Анна Ивановна, потомственная дворянка известного рода, также переживала этот отказ, данный ее сыну Дмитрию.

30 января 1912 года Николай Степанович занимался рассылкой приглашений на очередное заседание Цеха поэтов, которое договорились провести в Царском Селе. Утром к Гумилёвым приехал Михаил Кузмин. Он привык к шумной и беспокойной жизни на «башне», часто убегал в какие-то кабаки. И вот — двухэтажный дом, благоухающий покой, все утопает в снегу и тишине XIX века.

Заседание Цеха проходило несколько необычно. Среди присутствовавших был и 45-летний критик и литературовед Евгений Васильевич Аничков, приехали Владимир Пяст и те, кто обычно принимал участие в работе Цеха. Постоянными членами Цеха поэтов было принято решение открыто провозгласить о новом течении в русской литературе — акмеизме. Для того чтобы не быть чисто теоретическим направлением, решено было подготовить к печати книги стихов двух членов Цеха — Анны Ахматовой и Михаила Зенкевича.

После того как гости разъехались, Гумилёв оставил у себя Кузмина. Ему хотелось, чтобы он не только отдохнул, но и проникся его идеей — нового литературного течения и примкнул к ним. Целый день друзья провели вместе и много говорили о путях развития литературы. В дневнике Кузмина появилась в этот день запись: «А. А. хочет уезжать. Коля пошел к англичанке, я же гулять с А. А. Тихо и хорошо, заброшенно…»

Долго жить такой уединенной и спокойной жизнью Кузмин не мог и вскоре сбежал от Гумилёвых.

Жизнь зимнего Петербурга была насыщена многообразными культурными программами. В феврале 1912-го Николай Степанович читал свои стихи на вечере поэтов в «Бродячей собаке», 11 февраля отправился на вечер кружка Случевского домой к Ф. Ф. Фидлеру и написал ему в альбом акростих «В гостях» («Фидлер мой первый учитель…»).

За день до возвращения Ахматовой из Киева в Царское Село снова приехал сбежавший от Гумилёва Кузмин. В своем дневнике он выводит 12 февраля: «Встретили как беглеца! Радушны. Был брат Гумилёва (имеется в виду Дмитрий Гумилёв. — В. П.). Коля хочет ехать в Киев…»

Дмитрий Гумилёв приехал, видимо, сообщить матери радостную весть. Он ждал назначения на должность по земству, и к этому времени вопрос находился в стадии окончательного решения.

На другое утро Николай Степанович поехал в Киев за своей супругой. Ему необходимо было вскоре вернуться, так как на 18 февраля назначено было очередное заседание Общества ревнителей художественного слова, на котором Гумилёв с его товарищами решили дать отпор символистам и открыто заявить о новом течении. Вел третье в 1912 году заседание общества Вячеслав Иванов. Заседание началось с обсуждения его доклада и доклада Андрея Белого, посвященного символизму. Начались прения по докладам. Мэтров символизма поддержали Владимир Пяст и Валериан Чудовский. Однако против выступили не только Н. Гумилёв, но и С. Городецкий, Д. В. Кузьмин-Караваев. Они заявили о своем отрицательном отношении к символизму. Кузьмин-Караваев усмотрел в докладах призыв поэзии к достижению не соответствующих ей целей. Городецкий выступил с протестом против мифа и критиковал символистов за то, что они самораспинаются в стремлении в запредельную даль. Во втором номере «Трудов и дней» появилось сообщение об этом заседании: «…Гумилёв также заявил о своем отрицательном отношении к символизму. По поводу этих речей из Среды собрания было замечено, что главное значение докладов В. И. Иванова и Б. Н. Бугаева заключается в большой отталкивательной их силе, вследствие которой они, быть может, помогут стоящей на очереди перегруппировке поэтических сил». Произошло то, что и не могло не произойти, — лагерь символистов распался на две группы. За Гумилёвым ушла не только молодежь, но и Михаил Кузмин.

Гумилёв, опасаясь, что Иванов может переубедить Кузмина, увозит его в Царское Село. Это подтверждает запись в дневнике Кузмина 21 февраля: «Ходили вечером, рассуждая о стариках и Цехе». Ясно, кто такие «старики». Последние дни февраля Гумилёв часто встречается с Кузминым и они вместе проводят время. Это был период их наиболее тесного общения, когда они особенно нуждались друг в друге.

27 февраля наконец определился с гражданской службой брат поэта — Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству от 27 февраля за № 10 Д. С. Гумилёв был назначен земским начальником 4-го участка Ямбургского уезда. В этот же день Сергей Городецкий в сорок седьмом номере газеты «Голос земли» сообщил: «В ближайшие дни выйдет целый ряд изданий Цеха поэтов».

7 марта 1912 года выходит первая книга Анны Ахматовой «Вечер» тиражом в триста экземпляров в издательстве Цеха поэтов (в типографии Ю. Мансфельда). Анна Андреевна была смущена выходом книги, не зная, как ее примут. А Гумилёв, заметив это, тут же сочинил экспромт:

Ретроградка иль жорж-зандка,
Все равно, теперь ликуй:
Ты с приданым, гувернантка,
Плюй на все и торжествуй!

Вскоре была отпечатана и книга Михаила Зенкевича «Дикая порфира». По этому поводу 10 марта было назначено торжественное заседание Цеха поэтов на квартире у Елизаветы Кузьминой-Караваевой. Чествование авторов было обставлено со вкусом и продумано синдиками Цеха. Анна Андреевна писала об этом позже: «В Цехе, когда одновременно вышли „Дикая порфира“ и „Вечер“, их авторы сидели в лавровых венках. Веночки сплела я, купив листья в садоводстве А. Я. Фишера». Вечером Н. Гумилёв был на заседании кружка Случевского у Н. Н. Венцеля, где рекомендовал в члены кружка Е. А. Зноско-Боровского и написал экспромт в альбом:

На Дуксе ли, на бенце ль я,
Верхом на какаду,
На вечер в доме Венцеля
Всегда я попаду…

А ночью он отправился в «Бродячую собаку», где впервые в гостях был поэт Борис Садовской. Два поэта не испытывали друг к другу симпатий, но при личной встрече они общались в рамках принятого этикета. Сам Садовской об этом вечере вспоминал: «Окон в подвале не было. Две низкие комнаты расписаны яркими, пестрыми красками, сбоку буфет. Небольшая сцена, столики, скамьи, камин. Горят цветные фонарики. Из передней, где шипели кухонные пары, услыхал я пение. Подвал был переполнен. <…> Гумилёв вызвал меня на литературную дуэль: продолжать наизусть любое место из Пушкина. Выбрали свидетелей, но поединок не состоялся — всем очень хотелось спать».

После бессонной ночи 11 марта Гумилёв отправился на заседание в Неофилологическом обществе при университете по поводу заочного чествования Константина Бальмонта. А на

следующий день состоялось историческое заседание Цеха поэтов, на котором была провозглашена программа акмеизма.

Вячеслав Иванов в ответ на действия акмеистов публикует в двухмесячнике «Труды и дни» (№ 4–5) издательства «Мусагет» свой доклад о символизме «Манера. Лицо и стиль», в котором обосновывает несостоятельность критики молодых поэтов: «Первое и легчайшее достижение для дарования самобытного есть обретение своеобразной манеры и особенного, данному художнику исключительно свойственного тона. Внешнее своеобразие уже свидетельствует и о внутренней самостоятельности творческого дара; ибо никакое мастерство не в силах само по себе создать эту характерную особенность… Говоря о развитии поэта, должно признать первым и полубессознательным его переживанием — прислушивание к звучащей где-то, в далеких глубинах его души, смутной музыке, — к мелодии новых, еще никем не сказанных, а в самом поэте уже предопределенных слов, или даже и не слов еще, а только глухих ритмических и фонетических схем зачатого, не выношенного, не родившегося слова. Этот морфологический принцип художественного роста уже заключает в себе, как в зерне, будущую индивидуальность, как новую „весть“. Второе достижение есть обретение художественного лица. Только когда лицо найдено и выявлено художником, мы можем в полной мере сказать о нем: „он принес свое слово“, — чтобы более уже ничего от него не требовать. Но это достижение труднейшее, и часто на упрочение его уходит целая жизнь… Сила, оздоровляющая и спасающая художественную личность в ея исканиях нового морфологического принципа своей творческой жизни, — поистине сила Аполлона, как бога целителя, — есть стиль. Но если для того, чтобы найти лицо, нужно пожертвовать манерой, то, чтобы найти стиль, — необходимо уметь отчасти отказаться и от лица. Манера есть субъективная форма, стиль — объективная. Манера непосредственна; стиль опосредствован: он достигается преодолением тождества между личностью и творцом, — объективацией ея субъективного содержания. Художник, в строгом смысле, и начинается только с этого мгновения, отмеченного победою стиля… Из всех искусств наиболее близка к музыке поэзия и, в частности, поэзия лирическая. Сказанное о музыке может быть отнесено и к ней, но с ограничениями. Музыка непосредственнее и свободнее, а потому и симптоматичнее. В музыкальном сумраке возможно многое, немыслимое при дневном свете слова».

Музыкальный сумрак Вячеслава Иванова — это и было как раз то, что отвергали представители нового течения.

Последнее заседание Цеха поэтов весной прошло 1 апреля дома у Гумилёва. Всего же за первый сезон с ноября 1911-го по апрель 1912 года прошло пятнадцать собраний Цеха, по три в месяц.

Первый сезон «Собаки» окончился без Гумилёва — он был с Анной Андреевной в Италии.

В сентябре Гумилёв вместе с Лозинским получили наконец долгожданное разрешение на издание своего собственного журнала. Заботы о нем целиком легли на плечи Михаила Леонидовича. Городецкий настаивал на том, что будущий журнал должен называться «Невская цевница». Гумилёв и другие члены Цеха поэтов пришли к выводу, что лучше назвать его «Гиперборей».

Занимаясь литературными делами, поэт не забыл об университете и решил 25 сентября подать прошение на имя ректора Санкт-Петербургского университета: «Честь имею просить Ваше Превосходительство о зачислении меня в число студентов Императорского С.-Петербургского университета на историко-филологический факультет».

Однако для восстановления в то время нужна была еще и справка о благонадежности, за коей и обратился Николай Степанович в полицию Царского Села. 6 октября он получил свидетельство, в котором было написано: «Дано сие сыну статского советника Николаю Степановичу Гумилёву, вследствие просьбы его для представления в Императорский С.-Петербургский университет, на предмет поступления в число студентов университета, в том, что по собранным справкам оказалось, что Николай Степанович Гумилёв в политическом отношении ни в чем предосудительном замечен не был». Поэт 12 октября зачислен на романо-германское отделение историко-филологического факультета и участвует в работе романо-германского кружка.

В связи с этим Гумилёв снимает маленькую квартирку в Санкт-Петербурге в Тучковом переулке. Соседом его волей случая оказался известный в будущем критик К. В. Мочульский. Первое их знакомство в октябре оказалось не совсем удачным, и Мочульский в письме В. М. Жирмунскому от 22 октября 1912 года сообщает, что познакомился с Гумилёвым и он ему не понравился. Но первые впечатления, как известно, бывают обманчивы. Уже через несколько месяцев знакомства, в феврале 1913 года, в письме все тому же Жирмунскому Мочульский напишет: «…Гумилёв поселился в одном доме со мной, этажом выше. И часто вечерами мы плаваем с ним в облаках поэзии и табачного дыма, обсуждая все вопросы поэтики и поэзии; споря и обсуждая новое литературное течение „акмеизм“, maitre'om которого он себя считает. Все это хоть и не вполне соответствует моим вкусам, тем не менее очень оригинально и интересно».

Октябрь 1912 года оказался в жизни Гумилёва насыщен событиями. 1 октября Николай Степанович проводит у себя дома очередное заседание Цеха поэтов в преддверии выхода нового цехового журнала. Все уже знают, кто там будет опубликован, и ждут первого номера «Гиперборея».

1 октября Гумилёв получил книгу стихов молодого поэта Александра Тинякова «Navis nigra» («Черный корабль») и письмо, в котором молодой автор писал: «Уже давно, — познакомившись с Вашими отдельными стихотворениями в журналах, — я начал думать о Вас, как о поэте, дающем огромные обещания. Теперь

же, — после „Чужого неба“, — я непоколебимо исповедую, что в области поэзии Вы — самый крупный и серьезный поэт из всех русских поэтов, рожденных в 80-х гг., что для нашего поколения Вы — то же, что В. Брюсов для поколения предыдущего. Нечего и говорить, что, читая Ваши произведения, я могу только горячо радоваться за свое поколение, а к Вам, как к нашему „патенту на благородство“, относиться с величайшим уважением и благодарностью… Я буду очень счастлив, если Вы напишете мне что-нибудь о моей книге».

Тиняков в ту пору подавал надежды, и Гумилёв пригласил его стать членом Цеха поэтов. В октябре — декабре 1912 года тот примыкал к Цеху поэтов. Но уже 11 марта следующего года Тиняков писал Брюсову: «В Петербурге сейчас говорят об „акмеистах“. Из этого явления до боли ясно видно, насколько наше поколение бедно и бессильно в творческом отношении, если сравнить его с поколением предыдущим, ряды которого украшаете Вы и К. Д. Бальмонт…» Тогда же он заигрывал с Гумилёвым.

Наконец в октябре выходит первый номер «Гиперборея». Гумилёву на сей раз повезло. Лозинский для него оказался настоящей находкой в издательском деле. Во вступительной статье, написанной от редакции, очевидно не без участия Гумилёва, сообщалось: «Рождаясь в одну из победных эпох русской поэзии, в годы усиленного внимания к стихам, „Гиперборей“ целью своей ставит обнародование новых созданий в этой области искусства. Ни одному из боровшихся последнее время на поэтической арене методов — будь то импрессионизм или символизм, лиро-магизм или парнассизм — не отдавая предпочтения особливого, „Гиперборей“ видит прежде всего насущную необходимость в закреплении и продолжении всех основных побед эпохи, известной под именем декадентства или модернизма…» Об акмеизме в первом номере не было сказано ничего.

Редактором-издателем был указан М. Лозинский. Но в примечании сообщалось: «„Гиперборей“ — ежемесячник стихов и критики, выходящий десять раз в год при непосредственном участии Сергея Городецкого и Н. Гумилёва». Открывали журнал два стихотворения Анны Ахматовой «Помолись о нищей, о потерянной…», «Здесь все то же, что и прежде…». Гумилёв поместил свое стихотворение «Фра Анджелико», очень важное для него. Сергей Городецкий тоже предложил стихотворение об этом художнике — «Фра Беато Анджелико». Были также опубликованы стихи Василия Гиппиуса, Николая Клюева, Осипа Мандельштама, Владимира Нарбута и Сергея Гедройца. В раздел критики попали

краткие рецензии на книги В. Брюсова, К. Бальмонта, Вячеслава Иванова, М. Кузмина, Ю. Балтрушайтиса и самого Гумилёва («Чужое небо»). Рецензии писал Н. Гумилёв.

Выпуск журнала Цеха поэтов не остался незамеченным критикой. Отклики на «Гиперборей» появлялись на протяжении нескольких лет. В одном из них известный в свое время критик Андрей Левинсон писал: «Новый ежемесячник должен явиться как бы лирическим дневником поэтов, объединившихся в „Цех“. Образование этого не только, думается мне, маскарадная причуда в средневековом роде; в этом прозвище, не случайно заимствованном из ремесленного быта, содержится обещание согласного и непритязательного сотрудничества… несмотря на дух корпоративности, творчество самых юных из этих молодых поэтов отмечено ярким личным отпечатком, той самобытностью, без которой не может быть поэта!»

В объявлении журнала говорилось, что Цех поэтов готовит к выпуску книгу баллад Н. Гумилёва, но, увы, она не появилась никогда. Зато отмечалось, что на вышедшую книгу Владимира Нарбута «Аллилуйя» наложен арест. В этом был виноват сам Нарбут. Решив удивить весь литературный свет; столицы новой книгой стихов, Владимир Иванович стал добиваться, чтобы ее отпечатали в Синодальной типографии церковно-славянским шрифтом. Однако святые отцы, прочитав рукопись, пришли в ужас и наотрез отказались ввиду того, что книга «светского содержания». Это было сказано мягко, ибо она была не светского, а скорее «звериного» содержания. Но Нарбут не унывал. Он купил нужный шрифт, выписал из Парижа специальную голубоватую бумагу высокого качества, нанял консультанта по церковно-славянской орфографии. Обложку ему оформил брат Георгий. Вскоре книга с портретом автора, где он был изображен с хризантемой в петлице, была готова. Началось ее торжественное и бурное чествование. Веселье длилось далеко за полночь. Г. Иванов потом вспоминал: «По случаю этого события в „Вене“ было устроено Нарбутом неслыханное даже в этом „литературном“ ресторане пиршество. Борис Садовской в четвертом часу утра выпустил все шесть пуль из своего „бульдога“ в зеркало, отстреливаясь от „тени Фаддея Булгарина“, метрдотеля чуть не выбросили в окно — уже раскачали на скатерти — едва вырвался. Нарбут в залитом ликерами фраке, с галстуком на боку и венком из желудей на затылке, прихлебывая какую-то адскую смесь из пивной кружки, принимал поздравления…»

Однако пиршество оказалось преждевременным. Книгу постигла печальная участь: она была конфискована и сожжена по

постановлению суда. Немногие успели ее прочесть, но Гумилёв в «Аполлоне» написал, что это: «…галлюцинирующий реализм, и что М. Зенкевич и еще больше Владимир Нарбут возненавидели не только бессодержательные красивые слова, но и красивые слова вообще. Их внимание привлекло все подлинно отверженное, слизь, грязь и копоть мира. Но там, где Зенкевич смягчает бесстыдную реальность своих образов дымкой отдаленных времен или отдаленных стран, Владимир Нарбут последователен до конца».

Интересно, что в «Аллилуйе» Нарбут опять «уходит на свой хутор». В его стихах легко угадывается Нарбутовка, крутой нрав отца, любившего кутнуть, проиграть ночь напролет в карты. По сути, Нарбут гротескно изображает помещичий быт, уклад дворянской уездной жизни, которая находилась уже на пороге гибели. Именно эта сатира вызвала резкое неприятие властей. Официально было объявлено, что книга конфискуется из-за насыщенности физиологическими образами.

О первой книге стихов другого члена Цеха поэтов, Михаила Зенкевича, Гумилёв напишет во втором выпуске «Гиперборея» (ноябрь 1912 года): «„Дикая порфира“ — прекрасное начало для поэта. В ней есть все: твердость и разнообразие ритмов, верность и смелость стиля, чувство композиции, новые и глубокие темы. И все же это только начало, потому что все эти качества еще не доведены до того предела, когда просто поэт делается большим поэтом…»

18 октября в гостях у Николая Степановича побывал сам Игорь Северянин. Инициатором сближения поэтов выступил Георгий Иванов, три стихотворения которого — «Фигляр», «Бродячие артисты» и «26 августа 1912 г.» — Гумилёв опубликует во втором номере «Гиперборея», вышедшего в ноябре того же года. Там же в разделе «Письма в редакцию» будет помещено письмо Георгия Иванова и Грааль Арельского: «Не откажите поместить на страницах „Гиперборея“ следующее: Кружок „Ego“ продолжает рассылать листки манифеста „Ego-футуристов“, где в списке членов „ректората“ стоят наши имена. Настоящим доводим до общего сведения, что мы из названного кружка вышли и никакого отношения к нему, а равно к газете „Петербургский Глашатай“ не имеем. Примите и пр.». Георгий Иванов официально открещивался от футуризма и становился в ряды акмеистов. В разделе «Объявления» этого же номера «Гиперборея» было указано, что Цех поэтов готовит новую книгу Георгия Иванова «Горница». Возможно, в это время у Гумилёва была надежда, что и сам «гений Игорь Северянин» станет членом Цеха поэтов. Об этом визите в Царское Село Игорь Северянин в

1924 году написал уже в эмиграции сонет «Перед войной»:

Я Гумилёву отдавал визит,
Когда он жил с Ахматовою в Царском,
В большом прохладном тихом доме барском,
Хранившем свой патриархальный быт.
……..
И долго он, душою конквистадор,
Мне говорил, о чем сказать отрада,
Ахматова устала у стола.

Там же, в эмиграции, вспоминая о той поре, Игорь Северянин написал в газете «За свободу» (Варшава, 1927, 3 мая) о том, как его хотели ввести в Цех поэтов: «Вводить же меня, самостоятельного и независимого, властного и непреклонного, в Цех, где коверкались жалкие посредственности, согласен, было действительно нелепостью, и приглашение меня в Цех Гумилёва положительно оскорбило меня. Гумилёв был большим поэтом, но ничто не давало ему права брать меня к себе в ученики». А гораздо раньше, в 1916 году в «Одесских новостях» за 29 марта появилось интервью с Игорем Северяниным, где он сказал, что уже разочаровался в Николае Гумилёве.

Во втором номере «Гиперборея» Гумилёв поместил краткую рецензию на вышедшую книгу «Ива» Сергея Городецкого. На сей раз поэт говорил о другом поэте, как о преодолевающем путы символизма.

Выход книги «Ива» Сергея Городецкого был отмечен 20 октября на квартире Михаила Лозинского на очередном заседании Цеха поэтов. Синдик был увенчан лавровым венком. Гуляние завершилось, как часто бывало в таких случаях, в подвале «Бродячей собаки». Об этом вечере 22 октября 1912 года сообщало «Обозрение театров» (№ 887): «На последнем субботнике в подвале „Интимного театра“ очень радушно чествовали гостящих в Петербурге польских актеров… Около 2 часов ночи в подвале „Интимного театра“ собрались члены „Цеха поэтов“ во главе с Сергеем Городецким, Гумилёвым и др. Узнав о присутствии польских актеров, Сергей Городецкий вышел на эстраду, увенчанный лавровым венком, и высказал свою радость по поводу случайной встречи с представителями польского искусства… В заключение г. Городецкий прочитал три переведенных им почти дословно польских сонета, вошедших в его сборник „Ива“, только что вышедший из печати…»

Наконец в октябре случилось еще одно радостное для Гумилёва событие. Его усилия в области критики и поэзии на

журнальной ниве были оценены самим папа Мако 8 октября Гумилёв получил от него прелюбопытное и очень приятное для себя письмо, в котором Сергей Константинович сообщал: «Многоуважаемый Николай Степанович. Мне бы хотелось закрепить Ваши отношения к „Аполлону“, которыми — Вы знаете — я очень дорожу, более определенно, чем это было до сих пор. А именно, позвольте предложить Вам заведование всем литературным отделом журнала, что могло бы выразиться в объявлениях „Аполлона“ следующей формулой „Литературный отдел — при непосредственном участии Н. Гумилёва“…» Гумилёв дал согласие. В письме, отправленном С. К. Маковскому в тот же день, он писал: «Многоуважаемый Сергей Константинович, честь, которую Вы мне оказали, приглашая заведовать литературным отделом Вашего журнала, тем более мне дорога, что за все три года выхода „Аполлона“ я ни на минуту не переставал любить его и верить в его будущее. Я принимаю Ваше предложение и постараюсь осуществить не столько те принципы, которые выдвинула практика этих лет, сколько идеалы, намеченные во вступительной статье к первому номеру „Аполлона“. Да поможет мне в этом деле одинаково дорогое для нас с Вами воспоминанье об Иннокентии Федоровиче!.. Согласно нашим разговорам, я считаю, что предложенье Ваше входит в силу во всех своих подробностях с первого номера 1913 года. Теперь же я приступаю к приглашению сотрудников и подготовке материала».

Теперь Гумилёв формировал политику всего литературного раздела журнала.

В ноябре вышел второй номер «Гиперборея» со стихами членов Цеха поэтов М. Лозинского, Георгия Иванова, М. Зенкевича, М. Кузмина, Е. Кузьминой-Караваевой, М. Лозинского, но и появились стихотворения Вл. Бестужева, посвященное Александру Блоку, и стихотворение Александра Блока «Вл. Бестужеву. Ответ». В это время Гумилёв все еще надеялся, что Блок будет сотрудничать с акмеистами и отречется от символистов. Если бы Гумилёв знал, какие записи делает Александр Александрович в своих дневниках! Уже 21 ноября Блок записал: «Весь день просидел у меня Городецкий и слушал очень внимательно все, что я говорил ему о стихах, о Гумилёве, о цехе, о тысяче мелочей. А я говорил откровенно, бранясь и не принимая всерьез то, что ему кажется серьезным и важным делом». 17 декабря 1912 года Блок продолжает: «Придется предпринять что-нибудь по поводу наглеющего акмеизма и адамизма». И 12 января следующего года уже совсем откровенно и четко сформулировал свою неприязнь: «Впечатление последних дней. Ненависть к акмеистам…» К концу 1912 года стало ясно,

что Блок остался в стане символистов и воспринял Гумилёва как своего соперника. Безраздельному господству Блока в поэзии приходит конец. На небосводе петербургской поэзии забрезжило новое солнце, и к нему тянулись молодые побеги.

В ежемесячном приложении «Нивы» появляются рецензия Гумилёва на книгу Кузмина «Осенние озера» и отзыв о рассказах Ауслендера. Еще одну рецензию на сборник Кузмина Гумилёв опубликовал и в восьмом номере «Аполлона» за 1912 год, высоко оценив заслуги автора в современной поэзии: «Среди современных русских поэтов М. Кузмин занимает одно из первых мест. Лишь немногим дана в удел такая изумительная стройность целого при свободном разнообразии частностей; затем, как выразитель взглядов и чувств целого круга людей, объединенных общей культурой и по праву вознесенных на гребне жизни, он почвенный поэт, и, наконец, его техника, находящаяся в полном развитии, никогда не заслоняет образа, и только окрыляет его».

В ноябре Гумилёв провел три заседания Цеха поэтов. Сторонники нового движения готовились дать бой символизму. 20 ноября поэт отправился на Торговую, 18, где у В. П. Авенариуса состоялся вечер кружка Случевского.

В это же время Николай Степанович побывал на интересном вечере, который прошел 17 ноября в «Бродячей собаке» и назывался встречей петербургских и московских поэтов.

Об этом событии сообщало «Обозрение театров» 19 ноября 1912 года: «В последнем собрании в „Бродячей собаке“ произошел чрезвычайно интересный, оживленный диспут московских и петербургских поэтов. „Исторический антагонизм“ обеих столиц сказался даже и здесь. Из возражений обеих сторон, т. е. представителей московского и петербургского кружков молодых поэтов, очевидно было, что это два враждебных лагеря… От московской группы поэтов выступил с краткой вступительной речью художник Давид Бурлюк… прочел несколько стихотворений Хлебникова и своих собственных, которые встречены были ироническими замечаниями и смехом… После Бурлюка выступил другой московский поэт Маяковский, прочитавший несколько своих стихотворений, в которых слушатели сразу почувствовали настоящее большое дарование. Стихи Маяковского были встречены рукоплесканиями…»

Борис Пронин писал о том, как акмеисты встретили футуристов: «Первое самочинное выступление Маяковского оценил Кульбин и я, а наши „эстеты“ приняли в штыки… <это> шокировало наших эстетов-поэтов: Кузмина, Гумилёва».

Декабрь также был насыщен литературными событиями.

1 декабря Гумилёв на квартире Петра Потемкина, который не

примкнул к акмеистам, провел заседание Цеха поэтов. Вполне возможно, именно там и было принято решение выступить с докладом о новом течении в «Бродячей собаке». Вышел в свет третий номер «Гиперборея», где Гумилёв поместил рецензию на книгу футуристов «Орлы над пропастью. Предзимний альманах» и свои стихотворения «Возвращение» (посвященное Анне Ахматовой), «Сказка» (посвященное Тэффи) и «Птица».

5 декабря Гумилёв был приглашен Михаилом Кузминым в Новый драматический театр А. К. Рейнеке. Повод был приятный для Михаила Алексеевича — должна была состояться премьера пьесы Х. Бенавенте «Изнанка жизни» (в постановке А. Я. Таирова, с декорациями художника Судейкина), к которой Кузмин написал музыку. На премьеру пришли Е. Зноско-Боровский и брат Веры Шварсалон. Премьера была хорошо встречена зрителями. В перерыве, когда друзья обменивались мнениями, к Кузмину подбежал брат Веры Шварсалон и ударил его. Н. Гумилёв кинулся их разнимать. Кто-то вызвал полицию, и Николаю Степановичу пришлось подписывать протоколы. Оказалось, что Кузмин говорил всем: мол, нехорошо, что Иванов живет со своей падчерицей как с любовницей, нужно бы узаконить отношения. Брат Веры не поверил в эти слухи и решил отомстить Кузмину при всех за клевету. Но это была правда. Вячеслав Иванов обвенчался с Верой за границей. Кузмин в тот вечер пострадал за свою болтливость. После столь бурной премьеры в «Бродячей собаке» разыгрывали сцены из истории постановки спектакля, пили вино и веселились до утра.

Этим декабрем Николай Степанович вместе с Анной Андреевной побывал на выступлении футуристов Бурлюков, Владимира Маяковского, Елены Гуро и Крученых. Вообще о том, как он относился в эти годы к футуристам, писал в своей книге «Полутораглазый стрелец» футурист Бенедикт Лившиц, описывая совместное существование футуристов и акмеистов в «Бродячей собаке»: «…„Бродячая Собака“ открывалась часам к двенадцати ночи… Затянутая в черный шелк, с крупным овалом камеи у пояса, вплывала Ахматова, задерживаясь у входа, чтобы по настоянию кидавшегося ей навстречу Пронина вписать в „свиную“ книгу свои последние стихи… В длинном сюртуке и черном регате, не оставлявший без внимания ни одной красивой женщины, отступал, пятясь между столиков, Гумилёв, не то соблюдая таким образом придворный этикет, не то опасаясь „кинжального“ взора в спину… Сколько ни старались будетляне снискать его (Пронина. — В. П.) доверие, все было напрасно. Не уважал нас Пронин, да и только. Уважал Пронин падших „великих“: перепившихся парламентариев, дурачащихся

академиков, Давыдова, поющего цыганские романсы с „мизинчика“… Мы же, футуристы, были падшими от рождения… Мы не были в фаворе у „собачьих“ заправил. На цветных афишках с задравшим лапу лохматым пудельком, которые Пронин циркулярно рассылал друзьям и завсегдатаям „Бродячей Собаки“, никогда не красовались уже громкие имена будетлян… Совсем иное положение занимали в „Бродячей Собаке“ акмеисты. О них даже в гимне („Гимне „Бродячей собаке““. — В. П.) с похвалой отозвался Кузмин:

Цех поэтов — все „Адамы“,
Всяк приятен и не груб.

Ахматова, Гумилёв, Зенкевич, Нарбут, Лозинский были в подвале желанными гостями. Но и на Мандельштама, и на Георгия Иванова, дружившего с нами, Пронин посматривал косо… Было бы, однако, ошибкой представлять себе символистов, акмеистов и будетлян в виде трех враждующих станов, окопавшихся друг от друга непроходимыми рвами и раз навсегда исключивших для себя возможность взаимного общения… Пожалуй, один только Гумилёв, не отделявший литературных убеждений отличной биографии, не признавал никаких ходов сообщения между враждующими станами и, глубоко оскорбленный манифестом „Идите к черту“, избегал после выпуска „Рыкающего Парнаса“ всяких встреч с будетлянами. <… > Исключение он делал лишь для Николая Бурлюка, отказавшегося подписать ругательный манифест: с ним он поддерживал знакомство и охотно допускал его к версификационным забавам „Цеха“, происходившим иногда в подвале…»

В четверг 13 декабря 1912 года в «Бродячей собаке» должен был состояться вечер «Парижский игорный дом на улице Луны (1814)», посвященный 100-летию Отечественной войны 1812 года и Наполеону. В программе были объявлены выступления С. Ауслендера, С. Городецкого, Н. Гумилёва, М. Кузмина, П. Потемкина, Вл. Пяста, А. Радакова, Ф. Сологуба. Цена входного билета была высокой: по предварительной записи десять рублей, а в день премьеры — по двадцать пять рублей. Вечер начинался в двадцать два часа. Обычно вход для действительных членов и друзей «Собаки» стоил от двадцати пяти копеек до рубля, а гостям — от полутора до пяти рублей. Хотя бывали и исключения. Данный вечер был исключением. Костюмы для представления были изготовлены по эскизам художника С. Ю. Судейкина. Блока и Гумилёва попросили написать тексты к

сценам представления. Еще 7 октября 1912 года Блок записал в дневнике: «Люба просит написать ей монолог для произнесения на Судейкинском вечере в „Бродячей Собаке“ (игорный дом в Париже сто лет назад). Я задумал написать монолог женщины (безумной?), вспоминающей революцию. Она стыдит собравшихся». Действие гумилёвской сцены происходило в «игорном доме в Париже 1813 года». Гумилёв сделал героем претендента на престол Майорки, который проигрывает в карты свой будущий трон. Блок не написал ничего. Гумилёв подготовил сцену «Коварная десятка». Позже он доработал ее и под названием «Игра» опубликовал в «Альманахе муз» в 1916 году. Писали к этому вечеру свои пьесы и М. Кузмин, и П. Потемкин. Но… разрекламированный и готовящийся несколько месяцев вечер не состоялся. Что помешало его проведению — понять трудно. Зато прошел с большим резонансом следующий вечер 19 декабря. Несмотря на то, что за два дня до вечера в газете «Русская молва» появился злобный пасквиль, названный памфлетом, скрывшегося за странным псевдонимом Мимоза — Бориса Садовского, назывался он «„Гиперборей“ — „Аполлон“ — сапожник».

В программе вечера была объявлена «Лекция Сергея Городецкого „Символизм и акмеизм“ Тезы». После лекции начались эмоциональные прения, в которых приняли участие известные представители нового направления поэзии: Н. Гумилёв, Вас. Гиппиус, Кульбин, М. А. Долинов, Д. В. Кузьмин-Караваев, И. С. Габриелли, Е. А. Зноско-Боровский, С. С. Позняков, В. Р. Ховин. Это было вызвано полемичностью самого доклада. Зноско-Боровский отметил как недостаток, что докладчик, «характеризуя акмеизм как движение общекультурное, не коснулся вопроса о театре». В конце концов, он сделал вывод, что акмеизм как школа, отличная от предыдущих, не существует. Отклики на этот вечер и доклад Городецкого скоро появились в печати.

Конечно, не могла остаться в стороне газета «Русская молва». 22 декабря Я. Рабинович (скрывшийся под псевдонимом О. Ларин) писал: «Гумилёв, дополняя докладчика, останавливается на том, что Сергей Городецкий отнесся к символизму как читатель, а не как поэт и историк литературы. Символизм прожил более 25 лет и представляет собой великое явление. Акмеизм же исходит из символизма и имеет с ним точки соприкосновения. К числу характерных особенностей акмеизма относится и то, что он выдвигает „мужскую струю в поэзии“ в противоположность „женской струе“, которую выдвигал символизм».

Аналогичный отзыв о выступлении Николая Гумилёва появился в газете «Речь».

Писали о вечере и докладе Городецкого и другие газеты и издания: «День», «Биржевые ведомости», «Заветы», «Жатва», «Русская мысль», «Северные записки»…

Возникает естественный вопрос: почему с докладом выступил не Гумилёв, а Городецкий? По всей видимости, Николай Степанович дорабатывал в это время свою статью для первого номера «Аполлона». Ему важно было услышать со стороны, что скажут по поводу акмеизма другие, как отреагирует пресса, какие слабые стороны они найдут и что можно будет учесть в своей статье. Анна Андреевна в воспоминаниях описала довольно интересный эпизод: «Глеб Струве прав, говоря, что Сергей Городецкий был случайной фигурой в акмеизме, я помню, как в Царском Селе очень поздно вечером без зова и предупреждения пришел С. Маковский (Малая, 63) и умолял Колю согласиться на то, чтобы статья Городецкого не шла в „Аполлоне“ (т. н. манифест), потому что у него от этих двух статей (Гумилёва и Городецкого. — В. П.) такое впечатление, что входит человек (Гумилёв), а за ним обезьяна (Городецкий), которая бессмысленно передразнивает жесты человека. Рассказывая мне об этом, Н. С. заметил, что, может быть, Маковский и прав, но уступить нельзя».

Маковский смирился с мнением Гумилёва.

На Рождество 25 декабря 1912 года Анна Андреевна уехала в Киев к своей матери. Незадолго до отъезда супруги побывали в Панаевском театре на спектакле «Древо жизни».

Как встречал новый, 1913 год Николай Степанович Гумилёв — неизвестно. Скорее всего он провел эту ночь в «Бродячей собаке», которая праздновала свой годичный юбилей. Именно к этому торжеству и написал Михаил Кузмин новый гимн «Собаки» с упоминанием Цеха поэтов. Вход в эту ночь был исключительно по именным приглашениям правления. Особо оговаривалось, что кавалеры ордена «Собаки» должны быть при таковых. Программа вечера состояла из тридцати трех пунктов и заканчивалась «собачьим» гимном. Повестка собрания с гимном М. Кузмина была оформлена С. Судейкиным.

6 января 1913 года в «Бродячей собаке» состоялся «Вертеп кукольный» Михаила Кузмина. Был ли на этом представлении Гумилёв — тоже неизвестно. Ведь с начала января он сдавал сессию в университете.

15 января 1913 года вышел первый номер журнала «Аполлон», как и настаивал Гумилёв, с двумя статьями об акмеизме — его и Городецкого. Третья статья об акмеизме несколько позже была написана Осипом Мандельштамом и

называлась «Утро акмеизма» (под этим манифестом стоят даты 1912 (1913?). Однако синдики Цеха вариант Осипа забраковали, и он опубликовал его только в четвертом номере «Сирены» в 1919 году в Воронеже.

Городецкий в своем манифесте «Некоторые течения в современной русской поэзии» писал: «Катастрофа символизма совершилась в тишине, хотя при поднятом занавесе. Ослепительные „венки сонетов“ засыпали сцену. Одна за другой кончали самоубийством мечты о мифе, о трагедии, великом эпосе, о великой в просторе своем лирике. Из „слепительного ‘да’“ обратно выявлялось „непримиримое ‘нет’“. Символ стал талисманом, и обладающих им нашлось несметное количество. <…> У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, своими листьями, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью, или чем-ни-будь еще. Звезда Маир, если она есть, прекрасна на своем месте, а не как невесомая точка опоры неведомой мечты. Тройка удала и хороша своими бубенцами, ямщиком и конями, а не притянутой под ее покров политикой».

Манифест Городецкого несколько граничил с возвращением к реализму и был повторением уже пройденного русской поэзией пути. Гумилёв понимал это и над своей статьей работал долго и особенно тщательно. Его манифест был гораздо более обоснованным и четким, и именно на него потом обрушилась вся мощь литературной критики, так как он предлагал путь вперед, а не возвращение к старому. Поэт писал: «Для внимательного читателя ясно, что символизм закончил свой круг развития и теперь падает. И то, что символические произведения уже почти не появляются, а если и появляются, то крайне слабые, даже с точки зрения символизма, и то, что все чаще и чаще раздаются голоса в пользу пересмотра еще так недавно бесспорных ценностей и репутаций, и то, что появились футуристы, эгофутуристы и прочие гиены, всегда следующие за львом. На смену символизма идет новое направление, как бы оно ни называлось, — акмеизм ли (от греч. слова акме — высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора), или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь), — во всяком случае, требующее большого равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме. Однако чтобы это течение утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником предшествующего, надо, чтобы оно приняло его наследство и ответило на все поставленные им вопросы. Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом…» Итак, Гумилёв признал символизм

достойным отцом и потом сделал обзор французского и германского символизма, а затем перешел к обзору русского. И тут он выставляет претензии достойному отцу: «Русский символизм направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он братался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом. Некоторые его искания в этом направлении почти приближались к созданию мифа. И он вправе спросить идущее ему на смену течение, только ли звериными добродетелями оно может похвастать, и какое у него отношение к непознаваемому. Первое, что на такой вопрос может ответить акмеизм, будет указанием на то, что непознаваемое, по самому смыслу этого слова, нельзя познать. Второе — что все попытки в этом направлении — нецеломудренны…» Получилось, что толкование заветов «символизма-отца» акмеизмом довольно невнятное. А далее поэт подводит еще более туманную основу под свои размышления: «Вся красота, все священное значение звезд в том, что они бесконечно далеки от земли и ни с какими успехами авиации не станут ближе…» Это было наиболее слабым местом в манифесте: поиск непознаваемого, которое и познавать-то не надо. Гумилёв призывает тем не менее: «Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нем более или менее вероятными догадками…» Это уже была чистая схоластика.

Большое недоумение в литературном мире вызвал и ряд имен, названных Гумилёвым предтечами акмеизма: «Всякое направление испытывает влюбленность к тем или иным творцам и эпохам. Дорогие могилы связывают людей больше всего. В кругах, близких к акмеизму, чаще всего произносятся имена Шекспира, Рабле, Виллона и Теофиля Готье. Подбор этих имен не произволен. Каждое из них — краеугольный камень для здания акмеизма, высокое напряжение той или иной его стихии. Шекспир показал нам внутренний мир человека; Рабле — тело и его радости, мудрую физиологичность; Виллон поведал нам о жизни, нимало не сомневающейся в самой себе, хотя знающей все, — и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие; Теофиль Готье для этой жизни нашел в искусстве достойные одежды безупречных форм. Соединить в себе эти четыре момента — вот та мечта, которая объединяет сейчас между собою людей, так смело назвавших себя акмеистами». И суть даже не в том, что Гумилёв поставил в один ряд совсем непохожих писателей, среди названных предтеч не было ни одного русского имени, даже Пушкин и его любимый Тютчев не упоминались.

Несомненно, манифест акмеистов стал гвоздем литературной программы окончания зимы и весны 1913 года в России. О нем писали многие центральные и даже провинциальные издания[42].

В «Бюллетене литературы и жизни» (1913. № 17, май) сообщалось под рубрикой «Акмеизм — адамизм»: «Нынешний наш литературный сезон ознаменовался многошумным нарождением новой поэтической школы. Несколько петербургских молодых поэтов (Гумилёв, Городецкий, Ахматова и др.), объединившись в кружок, объявили вдруг, довольно неожиданно, смерть символизму и присвоили своей, „новой“, и что характерно, еще собственно не существующей поэзии сразу два наименования — адамизма и акмеизма… Внешним успехом своего выступления акмеисты должны быть довольны: и литературные круги и периодическая печать уделили им немало внимания. Но что касается серьезной оценки и признания новой школы, — представителям ея пришлось выслушивать с разных сторон самыя строгия нотации…» Другой критик акмеизма В. Львов-Рогачевский пишет в «Дне» (№ 52): «Они (акмеисты), позаботившиеся о кличке, не подумали о своих задачах. Наскоро придумали название, наскоро собрали воедино поэтов, чуждых друг другу по приемам, по мироощущению, по отношению к общественности, и назвали случайно сошедшихся талантливых людей школой „акмеистов“ и „адамистов“. Новые поэты из декадентской башни вышли на улицу, но дальше вещей, дальше горшков[43] не пошли».

Другой литературный журнал «Современный мир» откликнулся в апреле уже следующего года на манифест Гумилёва своеобразной статьей «Символизм или реализм?» Д. Тальникова, в которой автор призывал подвести итоги «покойника».

Итоги живого организма — акмеизма в июльском номере журнала «Русское богатство» (1913) пытался подвести А. Редько в статье, претенциозно названной «У подножия африканского идола. Символизм. Акмеизм. Эго-футуризм»: «…Где ищет правды и правдивости акмеизм? На это дается самый обстоятельный ответ. По словам акмеистов — иначе, „адамистов“ — их стремление найти „мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь“, не опираясь ни на какую мистику. Что же это значит у теоретиков акмеизма? Это значит, что страницы литературной декларации акмеистов-адамистов почти пестрят словом „зверь“ в применении к человеку. <…> Влечение к зверям вообще характерно для адамистов-акмеистов, по их собственному признанию. „Как бы вновь сотворенные, в поэзию хлынули звери; слоны, жирафы, львы, попугаи с Антильских островов наполнили ранние стихи Н. Гумилёва“… Таким образом, выбросив мистику, в остальном акмеисты заявили себя преемниками модернизма… Подведем некоторые итоги новых исканий и новых искателей

относительно „веры-кредита“ в искусстве и литературе. Как мы видели, акмеисты сохраняют за собой функции проповедника ницшеанского „зверя“ в человеке, но отказываются от попыток мистического самоопределения. Просто они чувствуют себя зверями. И да будет так, а что из этого выйдет и как относится к этому надмирная власть, им совершенно безразлично. И эта позиция нам представляется логически более правильной. На самом деле попытка гармонично сочетать „звериное“ и „божеское“ в человеческой психологии является довольно сомнительным результатом эклектического искания истины сквозь призму неограниченного „проявления личности“…»

Название статьи прозрачно намекало на Гумилёва как автора «звериного манифеста». Сам поэт в эту пору находился в Африке. Перед отъездом (между 10 и 15 марта) Николай Степанович написал письмо своему бывшему учителю, надеясь на его поддержку: «…я с большим интересом прочел Вашу статью о футуристах, хотя соглашался не со всем. Ваш анализ их „открытий“ подлинно блестящ. Дай Бог, чтобы они его усвоили. Но я не хочу писать об этом, потому что в четвертом номере „Аполлона“ появится моя статья, где я отчасти коснусь той же темы. В конце Вашей статьи Вы обещаете другую, об акмеизме. Я хочу Вас просить со всей трогательностью, на которую я способен, прислать мне корректуру этой статьи до 7 апреля… Всем пишущим об акмеизме необходимо знать, что Цех поэтов стоит совершенно отдельно от акмеизма (в первом — двадцать шесть членов, поэтов-акмеистов всего шесть), что „Гиперборей“ журнал совершенно независим и от Цеха и от кружка „Акмэ“, что поэты-акмеисты могут считаться таковыми только по своим последним стихам и выступлениям, прежде же они принадлежали к разным толкам. Действительно акмеистические стихи будут в третьем номере „Аполлона“, который выйдет на этой неделе».

Журнал со стихами поэтов-акмеистов вышел около 15 марта. Неизвестно, прислал ли Брюсов корректуру своей статьи Гумилёву, скорее всего нет. По своей необъективной агрессивности статья Брюсова была самой жестокой по отношению к Николаю Степановичу и его литературному учению в то время. Казалось, что мэтр символизма не просто решил научить молодых ослушников, что делать, а решил их попросту уничтожить морально. В четвертом номере журнала «Русская мысль» за 1913 год в статье «Новые течения в русской поэзии. Акмеизм» он писал: «Акмеизм, о котором у нас много говорят последнее время, — тепличное растение, выращенное под стеклянным колпаком литературного кружка несколькими молодыми поэтами, непременно пожелавшими сказать новое

слово. Акмеизм, поскольку можно понять его замыслы и притязания, ничем в прошлом не подготовлен и ни в каком отношении к современности не стоит. Акмеизм — выдумка, прихоть, столичная причуда, и обсуждать его серьезно можно лишь потому, что под его призрачное знамя стало несколько поэтов, несомненно талантливых… Акмеистов, тоже почти всех, мы знаем сравнительно давно, а главари этой „новой школы“ насчитывают в прошлом уже по нескольку книг, в которых ничего существенно нового не было. Еще несколько месяцев назад существовал только „Цех поэтов“, группа молодых писателей, объединенных обшей любовью к поэзии и общим издательством. Совершенно неожиданно они объявили себя объединенными также идейно и противопоставили себя всем другим течениям литературы. В январской книжке журнала „Аполлон“ появились за подписью С. Городецкого и Н. Гумилёва, бывших „синдиков“ „Цеха“, а теперь ставших maitres новой школы, сразу две статьи, стремящиеся, с фанфарами, обосновать „акмеизм“ или, по другому наименованию, „адамизм“. Так была объявлена новая школа, фактически, в литературе, еще не существующая…» Переходя на официальный тон, забыв привязанность к нему бывшего ученика, Брюсов называет поэта «господин Гумилёв». Так в ту пору называли только людей, не имеющих никакого отношения к литературе. Заканчивается статья разбором произведений акмеистов и приговором, что ничего нового в их стихах нет: «…Мы были бы очень рады, если бы могли проверить свои выводы разбором поэтических произведений акмеизма. Но, повторяем, их нет. Г. Городецкий перечисляет ряд поэтов, которых выдает за акмеистов — М. Зенкевича, В. Нарбута, А. Ахматову, — поэтов, уже выступавших с отдельными сборниками стихов. В свое время мы разбирали эти стихи (на этих же страницах), но решительно никаких новых путей поэзии в них не нашли. Все трое не лишены дарования, и стихи г-жи Ахматовой весьма дороги нам своей особенной остротой. Но, и по содержанию, и по форме своих стихов, все трое всецело примыкают к тому, что делалось в поэзии до них, внося лишь столько нового, сколько то необходимо, чтобы не быть простыми подражателями. То же самое надо сказать и о стихах, помещенных в журнальчике „Гиперборей“, который издавался в конце 1912 г. „при непосредственном участии С. Городецкого и Н. Гумилёва“ и который, в своих критических заметках, уже употреблял слова „акмеизм“ и „адамизм“. <…> Мы уверены, или, по крайней мере, надеемся, что и Н. Гумилёв, и С. Городецкий, и А. Ахматова останутся и в будущем хорошими поэтами и будут писать хорошие стихи. Но мы желали бы, чтобы

они, все трое, скорее отказались от бесплодного притязания образовывать какую-то школу акмеизма. <…> Всего вероятнее, через год или два не останется никакого акмеизма. Исчезнет самое имя его, как забылось, например, название „мистического анархизма“, движения, изобретенного лет 6–7 тому назад г. Георгием Чулковым».

Называя «Гиперборей» журнальчиком, Брюсов как бы показывает все неуважение к этому изданию, осуществленному на деньги его участников. Как тут не вспомнить Анну Ахматову, которая на склоне лет беседовала с М. Зенкевичем, и тот обратил внимание, что акмеистов, в отличие от символистов, никто не финансировал. У них вообще не было меценатов, как, например, у Брюсова меценатом был Поляков. Им приходилось складываться и выкупать уже изданные номера поэтического журнала «Гиперборей».

Все-таки и в те годы были критики, которые давали более объективную картину родившегося литературного движения и его поэтов. Одним из таких критиков был ныне широко известный В. Жирмунский. В той же «Русской мысли» только в декабре 1916 года в аналитической статье «Преодолевшие символизм» он писал: «…Мы всмотрелись внимательнее в произведения трех наиболее значительных поэтов „Гиперборея“ и обнаружили в них явление новое, целостное и художественно-значительное. Не случайная близость объединила молодое поколение, не случайная вражда оторвала их от символистов, а внутреннее родство и единство настроения и направление между собой и внутреннее расхождение с „учителями“, симптоматичное для новой литературной эпохи. Наиболее явные черты этого нового чувства жизни — в отказе от мистического восприятия и мистического углубления явлений жизни и в выходе из лирически погруженной в себя личности поэта-индивидуалиста в разнообразный и богатый чувственными впечатлениями внешний мир. С некоторой осторожностью мы могли бы говорить об идеале „гиперборейцев“, как о неореализме. <…> В акмеизме ли будущее нашей поэзии? Несомненно, за последние годы и в самом символизме, и вне его наблюдается поворот в сторону нового реализма… Но если литературное будущее, которого мы ждем, не в поэтах „Гиперборея“, в них все-таки ясно выразились потребность времени, искание новых художественных форм и интересные достижения». Обрушившийся вал критики не сломил молодых поэтов. С октября 1912 года по апрель 1913-го прошло десять заседаний Цеха поэтов.

В феврале с литературным докладом об акмеизме выступил в литературном обществе Сергей Городецкий. Интересно, что

именно во время этого вечера Клюев заявил о своем выходе из Цеха поэтов, обосновав свой уход расхожей фразой, «что рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше».

Зато 16 февраля в Цех были на очередном заседании приняты новые члены: С. Радлов, В. Курдюмов, Д. Цензор, В. Юнгер, В. Парнах, В. Гарднер.

4 апреля Н. В. Недоброво и Е. Г. Лисенковым было создано враждебное Гумилёву Общество поэтов. Тем не менее, по воспоминаниям В. Пяста, жена поэта, Ахматова, его регулярно посещала.

В мае, когда Николай Степанович находился в Африке, наконец разрешено было вернуться в Россию бывшему его кумиру — поэту Константину Бальмонту, который за печатание каких-то бунтарских стихов попал в опалу и жил во Франции, но в связи с празднованием 300-летия дома Романовых был амнистирован. В Москве на Брестском вокзале его встречали поклонники с букетами цветов. Поэт тоже бросал всем ландыши, когда люди обступили его вагон. Вновь печать заговорила о значении символизма для русской культуры. В столице Бальмонту была устроена овация. На вечере поэт Рюрик Ивнев прочел «Оду Бальмонту». Владимир Маяковский попытался от имени футуристов учинить литературный скандал, но ничего не получилось.

В это же время в отсутствие мэтра радикально настроенные члены Цеха поэтов выясняли, кто из них более акмеист. 7 июня Владимир Нарбут писал Михаилу Зенкевичу: «Знаешь, я уверен, что акмеистов только два: я да ты… Какая же Анна Андреевна акмеистка, а Мандель (О. Э. Мандельштам)? Сергей Городецкий — еще туда-сюда, а о Гумилёве и говорить не приходится. Не характерно ли, что все, кроме тебя, меня да Манделя (он, впрочем, лишь из чувства гурмана), боятся трогать Брюсова, Бальмонта, Сологуба, Иванова Вяч.? Гумилёв даже — по головке погладить». Известно, что Нарбут и Зенкевич в Цехе были в числе поэтов, поддерживавших Городецкого, и считались его людьми.

Летом накал страстей стал спадать. Да и самого синдика не было. Он вернулся в Санкт-Петербург только 20 сентября, пропустив открытие сезона в «Бродячей собаке» в ночь с 30 на 31 августа.

Николай Степанович возобновил осенью занятия в университете и поселился на Васильевском острове в Тучковом переулке. На этот раз Гумилёв записывается на лекции «Введение в романскую филологию», «Античные религии», «Сравнительная морфология», «История греческой литературы», «Просеминарий по старофранцузскому языку», «Семинарий Плеяда», «Введение в

немецкую филологию».

В сентябре поэт написал пьесу «Актеон». Она, как и манифест об акмеизме, должна была стать художественной декларацией принципов нового движения. На примере «Актеона»[44] можно пронаблюдать, как Гумилёв работал с историческими фактами: детально изучая материал той или иной эпохи, он брал основные исторические события, лиц, участвовавших в них, а потом строил свою схему сюжета и поведения героев, не заботясь о точности фактов и отношений между героями.

Актеон Гумилёва, если вглядеться повнимательнее, это все тот же Адам, символизирующий адамизм и, следовательно, акмеизм. Его принципы — принципы самого поэта Гумилёва: он дерзает восстать ради божественной красоты и готов заплатить за это самую высокую цену — жизнь. Для него красота, искусство, божественная поэзия выше жизни. Об искусстве поэт почти всегда пишет с трагическим пафосом. Вспомним хотя бы его стихотворение «Волшебная скрипка». Он — дерзающий Адам — готов отдать жизнь за поцелуй Дианы, за волшебство вдохновения и поэзии. Он прост в своих желаниях и инстинктах, и он велик в своем стремлении быть причастным к высшему источнику, к божественной поэзии, которую в данном случае олицетворяет Диана.

То, что «Актеон» не просто пьеса, понимали многие современники и исследователи творчества Гумилёва. В ноябре-декабре 1913 года на трех заседаниях Общества ревнителей художественного слова читали свои новые произведения Н. Гумилёв, А. Ахматова, О. Мандельштам. Конечно, центральное место в обсуждении занимал «Актеон». На одном из этих заседаний 30 ноября Гумилёв вместе с В. Чудовским и В. Недоброво был избран во второй раз в совет общества. Обсуждение «Актеона» было бурным, и стихи остались вне главного внимания. По некоторым данным, обсуждение пьесы «Актеон» продолжалось на заседании общества и 8 декабря. Об этом сообщалось в первом-втором номерах «Аполлона» за 1914 год: «Особенно продолжительные прения вызвало чтение Н. Гумилёвым его одноактной драмы „Актеон“».

Пьеса увидела свет в седьмом номере журнала «Гиперборей». Ее высоко оценил папа Мако впоследствии в своей книге «На Парнасе Серебряного века» назвал ее «удачнейшей из драм в стихах…», подчеркнув, что она заняла весь номер «Гиперборея». Г. Иванов в приложении к газете «День» в выпуске «Литература, искусство, наука» 28 октября 1913 года писал: «Очаровательная лапидарность стиля, стремительное развитие действия — таковы отличительные качества новой пьесы… Ритмические достоинства

„Актеона“ заслуживают особенного внимания. Чистыми, как плески горного ключа, гекзаметрами говорит Диана, в звучных и отрывистых стихах превосходно передана вечерняя песня охотника и ужас затравленного оленя»[45].

13 октября 1913 года та же газета «День» сообщила, что в репертуар петербургского театра миниатюр «Пиковая дама» включена новая пьеса Н. Гумилёва. Однако при жизни поэта «Актеон» так и не был поставлен.

С осени возобновились заседания не только Общества ревнителей художественного слова, но и Цеха поэтов. Первое прошло 1 октября в Царском Селе дома у Гумилёвых. По-прежнему заседания Цеха за редким исключением (когда собирались в «Аполлоне» или в «Бродячей собаке») проходили на квартирах участников.

В «Бродячей собаке» зимой 1913/14 года Гумилёв провел много времени. 23 октября он читал на поэтическом вечере свои новые стихотворения. Одно из них «Если встретишь меня, не узнаешь…» было воспринято как послание молодой поэтессе Мариэтте Шагинян. Гумилёв отправился на этот вечер с критиком И. В. Джонсоном (Ивановым). В «Собаке» находился и начинающий поэт А. А. Конге, влюбленный в Шагинян. Он воспринял послание Гумилёва очень болезненно, написал ответное стихотворение «Послание к поэту NN» и прочел его 29 октября в той же «Бродячей собаке».

23 ноября в Санкт-Петербург приехал друг Валерия Брюсова, бельгийский поэт Эмиль Верхарн с женой. Супруги посетили Эрмитаж, съездили в Царское Село. Их сопровождал Валерий Брюсов. Гумилёв давно проявлял интерес к творчеству бельгийского поэта и драматурга. В связи с изданием на русском языке его драмы «Монастырь» в переводе Эллиса он написал 24 ноября 1908 года в газете «Речь»: «Верхарн — певец жизни и в то же время бреда. В этом его заслуга и его вина… Такая жизнь не имеет права на свое „да“ в искусстве, она может только пугать — пугала Достоевского, пугает современных поэтов. Но Верхарн выступил ее бойцом. В целом ряде своих книг он прославляет вещи, их молчаливую косную душу и таких же молчаливых и косных людей…» 25 ноября 1913 года общественность Северной российской столицы чествовала Эмиля Верхарна в отеле «Де Франс». На этом вечере Николай Степанович встретил своего учителя немецкого языка по гимназии Гуревича — Ф. Ф. Фидлера. Завязался разговор, и, видимо, Фидлер попросил бывшего ученика что-то написать ему в альбом. Гумилёв тут же сочинил экспромт:

На вечере Верхарена
Со мной произошла перемена,
И, забыв мой ужас детский (перед Вами),
Я решил учиться по-немецки.

Известно, что Гумилёв выносить не мог немецкого, и это была шутка.

А днем раньше поэт присутствовал в «Бродячей собаке» на вечере Бориса Пронина, который отмечал шумно свое 40-летие (хотя по документам он родился в 1875 году). Возможно, это была очередная мистификация создателя «Бродячей собаки». Отмечали юбилей в две смены с пяти часов дня и с двенадцати ночи. По этому поводу был приготовлен большой праздничный пирог.

27 ноября в «Бродячей собаке» прошел вечер, вернее, ночь поэтов. В программе были объявлены поэты: Н. Гумилёв, А. Ахматова, С. Городецкий, Г. Иванов, О. Мандельштам, Мария Моравская, Вл. Пяст. На вечере Блок должен был читать свою пьесу. Кроме объявленных присутствовали и другие поэты. Дочитались за вином и бутербродами до того, что Мандельштам начал спорить с Велимиром Хлебниковым по поводу нашумевшей тогда истории с М. Бейлисом. Кончилось тем, что Мандельштам вызвал Хлебникова на дуэль. Поссорившихся поэтов кинулись мирить и успокаивать литератор Б. Шкловский и художник П. Н. Филонов. Интересно, что Хлебников после этого вечера сделал в своем дневнике запись: «Гумилёв рассказывал, что в Абиссинии кошки в загоне, никогда не мурлычат и что у него кошка замурлыкала только через час после того, как он нежно гладил…» О Мандельштаме он уже забыл. Что ж, Велимир — будущий «председатель Земного шара» — был футуристом, искал свои впечатления в жизни.

Хотя футуристов Гумилёв не любил, но 10 декабря отправился в зал Шведской церкви по Малой Конюшенной, 3 слушать доклад Н. И. Кульбина «Футуризм и отношение к нему современного общества и критика». Доклад был довольно интересным и охватывал различные аспекты русского и итальянского футуризма. После доклада, как сказано было в газете «Голос Москвы» (1913. № 287. 13 декабря), состоялся диспут поэтов и критиков в «Бродячей собаке». Однако В. Маяковский и Д. Бурлюк в диспуте не участвовали, так как это было им запрещено постановлением совета Училища живописи, ваяния и зодчества, чьими учениками они в ту пору являлись.

Здесь же в «Бродячей собаке» 22 декабря Н. Гумилёв слушал приват-доцента А. А. Смирнова, выступившего с докладом «Новое

течение во французском искусстве». В прениях по докладу выступали многие известные поэты, критики, художники: Н. Гумилёв, Д. Философов, С. Городецкий, К. Сюннерберг, М. Добужинский, К. Петров-Водкин, Н. Н. Врангель, Н. Бурлюк, А. Толстой и другие.

Для Цеха поэтов главным событием был выход сдвоенного номера (9–10) «Гиперборея», где появились стихи Гумилёва: «Отъезжающему», «Снова море», «Леонард». На этом выпуск журнала прекратился. Закончились деньги у пайщиков «Гиперборея». Но в это время стихотворения Николая Степановича уже печатали многие издания, журналы и газеты. И не только на русском языке. Во Франции выходит «Антология русских поэтов», в которую включены «Попугай», «Камень», «Основатели», «Озеро Чад». В журнале «Современник» в декабре 1913 года появляются стихи Гумилёва «Старые усадьбы» и «Разговор».

Известность не только открыла Гумилёву двери солидных изданий и издательств, но и привела за собой целую свору завистников и клеветников. В печати периодически публикуются злобные и необъективные статьи о творчестве поэта. Так, в четвертой книжке «Жатвы» за 1913 год появляется статья «Замерзающий Парнас» под псевдонимом Б — Съ. Гумилёв думал, что под этими инициалами скрылся Борис Садовской, но оказалось — Борис Лавренев. Снова критикует Гумилёва и Сергей Кречетов. 12 декабря в газете «Утро России» появляется его статья.

Зимой в конце 1913-го и начале 1914 года поэт пишет мало оригинальных стихотворений.

Он работает над большой африканской поэмой и уделяет много времени переводам. В декабре 1913 года журнал «Северные записки» публикует стихотворения Теофиля Готье в переводе Н. Гумилёва. Центральное место в переводах поэта занимает книга «Эмали и камеи». А. Я. Левинсон уже в эмиграции в 1922 году в девятом номере журнала «Современные записки» (Париж) напишет: «Мне доныне кажется лучшим памятником этой поры в жизни Гумилёва бесценный перевод „Эмалей и Камей“, поистине перевоплощение в облик любимого им Готье. Нельзя представить, при коренной разнице в стихосложении французском и русском, в естественном ритме и артикуляции обоих языков, более разительного впечатления тождественности обоих текстов».

В последние предвоенные годы Гумилёв уделяет все больше внимания переводам. 28 мая 1912 года он подписывает договор о передаче своих прав на издание его переводов Оскара Уайльда издательскому товариществу «А. Ф. Маркс». Переводы Николай

Степанович сделал по подстрочнику Корнея Ивановича Чуковского. Гумилёвские переводы стихотворений «Сфинкс», «Могила Шелли», «Мильтону», «Федра» и «Theoretikes» вошли в четвертый том полного собрания сочинений Уайльда, вышедшего в 1912 году.

В первом номере «Северных записок» в январе 1914 года появился перевод Николая Степановича «Кавалькады Изольды» Вьеле Гриффена. А в феврале 1914 года Гумилёв переводил стихи Ги де Мопассана. Вот как об этом забавном случае писал Сергей Ауслендер: «…В это время я кончал переводить рассказы Мопассана и заказал Гумилёву перевести стихи, которые там встречались. Чуть ли не в день отъезда я поехал к нему на Васильевский остров. Там он снимал большую несуразную комнату, где иногда ночевал. Когда я приехал, Гумилёв только начинал вставать. Он был в персидском халате и в ермолке. Держался мэтром и был очень ласков. Оказалось, что стихи он еще не перевел. Я рассердился, а он успокоил меня, что через десять минут все будет готово. Вскоре приехала Анна Андреевна из Царского, в черном платье и черных перчатках. Она, не сняв перчаток, начала неумело возиться, кажется, с примусом. Пришел В. Шилейко. Гумилёв весело болтал с нами и переводил тут же стихи…» Этот эпизод выглядит редким исключением из правил Гумилёва-переводчика. Так, между делом, он перевел всего лишь два стихотворения Мопассана «Здесь груды валенок и кипы кошельков…» и «Как ненавижу я плаксивого поэта…». В основном поэт работал, тщательно шлифуя строки, и даже выработал строгие правила для переводчиков в конце своей жизни.

Главным событием весны 1914 года был выход книги «Эмали и камеи» Теофиля Готье в переводе Николая Гумилёва. Сигнальные экземпляры появились 1 марта (книга напечатана в типографии А. Лаврова).

Первым, кому подарил книгу Николай Степанович, стал Михаил Лозинский. Он проявлял особую заботу не только о журналах («Аполлоне» и «Гиперборее»), но и о книгах членов Цеха поэтов. Ирина Одоевцева уже в эмиграции писала: «Роль Лозинского в кругах аполлоновцев и акмеистов была первостепенной. С его мнением считались действительно все. Был он также библиофил и знаток изданий. Это ему сборники стихов акмеистов обязаны своей эстетической внешностью…» 5 марта, когда тираж был отпечатан и осталось сброшюровать сборник и накрыть обложкой, утонченный эстет Лозинский, следивший за выпуском книги, писал другу с тревогой: «6.40 веч. Ясный хочет, по словам А. Н. Лаврова, чтобы на первой странице обложки был обозначен склад издания. По-моему, это выйдет в высшей степени

безобразно! „Склад издания“ надо напечатать на задней обложке, как и цену. Ни за что не уступайте, иначе лицо книги, сейчас такое милое, будет обезображено. М. Лозинский».

О книге «Эмали и камеи» писали многие и при жизни поэта, и после его смерти. Причем рецензии появлялись не только в центральной печати, но и в провинции. Наиболее интересный отзыв в то время появился в журнале «Современник» (1914, ноябрь). Автор, литературовед Н. Венгров, писал: «Теофиль Готье, „Великий Собиратель Слов“, примыкает к той группе французских поэтов, которую принято называть великолепным словом „парнас“. Сущность и характерное этого течения — ясность, бесстрастность и четкость поэзии, недопущения ни излишних слов, ни излишней откровенности в лирических переживаниях. Удержаться на высоте такой задачи в переводе дело не легкое и, тем не менее, Гумилёв сумел дать в своей книге если не всего Готье, то, по крайней мере, ряд пьес, совершенно передающих дух подлинника. Ответственным стихотворением в книге является, несомненно, стихотворение „Искусство“… Это, так сказать, „Парнасский манифест“… Весьма удачно выбран размер, в котором третья строка (как и во французском тексте), — одно слово, тем самим подчеркиваемое. Перевод весьма близок к подлиннику. Это располагает к доверию по отношению ко всей книге…»[46]

В 1914 году в третьем-четвертом номерах журнала «Северные записки» была опубликована еще одна очень серьезная переводческая работа Н. Гумилёва — поэма Роберта Броунинга «Пиппа проходит».

Конечно, не одними переводами занимался Гумилёв в это время. Литературная жизнь в последние мирные месяцы 1914 года была достаточно насыщенной. 3 января 1914 года Гумилёв принимает участие в «Собачьей карусели», прошедшей в зале по Малой Конюшенной, 3. На вечере под зурну танцевала баронесса Клейст. Русские танцы под балалайку исполняли актрисы Литейного театра Невтонова и Шерер-Бекеффи. Выступали и сестры Антоновы. Особый колорит придавала вечеру бродившая между столиками собака. Большой зал и множество зрителей нарушили интимность «собачьих» вечеров и ближе к ночи около тридцати человек поэтов перебралось в «собачий» подвал. Там началась обычная программа с чтением стихов и вином.

Теперь о Гумилёве говорят и пишут не только в Петербурге и Москве, но и в провинции, ему приходят письма. Так, некто Шапиро из Киева писал: «Дорогой Николай Степанович, собрался написать Вам. Я был все время очень занят и книгами, и разговорами, и лишь на прошлой неделе добрался до Вашего

дивного „Чужого неба“. Много читал хороших книг, многим приходилось мне восхищаться — литература этой эпохи, которую я специально изучаю, слишком много хорошего заключает в себе и слишком избаловала она мой вкус, — но впечатление, произведенное Вашей книгой, и удовольствие, полученное от нее, не уступают самым сильным переживаниям, вызванным различными произведениями. Очень Вам благодарен. Я только не понимаю, почему это не символизм, а акмеизм. О „Жемчугах“ и говорить не приходится. И „Волшебная скрипка“, и „Одиночество“, и „Озеро Чад“ — вся книга от начала до конца — ветвь одного и того же дерева, на котором росли и Бальмонт, и Брюсов, и Блок, и если Вы теперь все это отрицаете и направляете по другому пути, то я могу Вам только с сожалением сказать Вашими же словами:

Что ты видишь во взоре моем,
В этом бледном, мерцающем взоре?
Я в нем вижу глубокое море
С потонувшим большим кораблем.

Цитирую я без книги и извиняюсь за возможные ошибки. Я не знаком с Вашими последними произведениями, но, судя по Вашим „Жемчугам“, с которыми я познакомился еще 3 года тому назад, и по Вашему „Чужому небу“, я ничего, что можно было бы назвать „акмеизмом“, не вижу. И вот, теперь, меня пригласили в Житомир прочесть conference на тему „Что такое символизм?“, и я, несомненно, с полным правом включу Вас в группу символистов. Повторяю, я с последними Вашими произведениями совершенно не знаком и, может быть, они совершенно другого характера. Возможно также и то, что я не понял сущность акмеизма, и мне очень жаль. — Во-первых, я мог бы расширить свой conference, указать детальнее эволюцию символизма и подробнее поговорить о Вас, во-вторых, я могу впасть в ошибку, и, кроме того, меня акмеизм очень интересует в связи с моей докторской диссертацией. Поэтому, дорогой Николай Степанович, я Вас очень прошу не отказать мне прислать подробное разъяснение — что такое акмеизм?..»

Городецкий и Гумилёв с наступлением 1914 года выступают в печати и на лекциях с объяснениями основных положений акмеизма, продолжают прием новых членов в Цех поэтов. На одном из заседаний в Цех был принят начинающий поэт Георгий Адамович. На другое заседание, 10 января, Гумилёв приглашает поэта Велимира Хлебникова, все еще надеясь оторвать его от футуристов. Гумилёву-критику пишет поэт Лозина-Лозинский с

просьбой сообщить, когда в «Аполлоне» он опубликовал на его стихи рецензию.

14 января Гумилёв, Городецкий и Мандельштам печатают в газете «День» статьи об акмеизме. Через два дня друзья отправляются на лекцию Георгия Чулкова «Пробуждаемся ли мы?» в зал Тенишевского училища. На лекцию пришел и Александр Блок. Гумилёв, Городецкий, Мандельштам после окончания лекции выступили в защиту акмеизма. Но не только сами акмеисты выступали в это время в печати в защиту нового литературного течения. 11 апреля, например, о поддержке акмеистов заявил патриарх современной литературы Н. Минский в интервью газете «Утро России»: «Близки мне по миропониманию акмеисты, но на практике они еще ничего не создали оправдывающего их теории».

В журнале «Аполлон» продолжают публиковаться рецензии Н. Гумилёва на выходящие поэтические книги. Николай Степанович не забывает посещать и кружок «Вечера Случевского». На одном из них, 18 января, он был в гостях у бывшего товарища по гимназии и стихотворца Дмитрия Коковцева.

26 января, в воскресенье, Гумилёв отправляется в «Бродячую собаку» на вечер лирики, где он был объявлен в программе вместе с Анной Ахматовой, Михаилом Кузминым, Иваном Рукавишниковым, Владимиром Пястом, Рюриком Ивневым, Георгием Ивановым, Марией Моравской, Надеждой Тэффи, Осипом Мандельштамом, Николаем Кузнецовым. Николай Степанович читал написанные недавно стихи.

Новые стихи Александра Блока декламировала его жена актриса Любовь Блок. Сам Александр Александрович, как известно, «Бродячую собаку» не любил и предпочел вечер религиозно-философского собрания, посвященный В. В. Розанову.

В «Собаке» в этот вечер было много гостей, и представление началось в половине одиннадцатого ночи. Известные музыканты и актеры развлекали гостей пением и игрой на клавесине. Идея вечера принадлежала актеру А. П. Лосю, а оформлял подвал художник Сергей Судейкин.

Немногим ранее, 20 января, Гумилёв участвовал в диспуте на заседании Общества ревнителей художественного слова по поводу нового перевода Вячеславом Ивановым «Агамемнона», где говорил о значении эпического в современной литературе. Видимо, поэт читал какие-то отрывки из своей поэмы «Мик и Луи». 25 февраля на очередном заседании общества в помещении редакции «Аполлона» на Разъезжей, 8 он снова прочел эту поэму, и она вызвала оживленное обсуждение. Появились отклики в прессе. В журнале «Златоцвет» автор под псевдонимом Ц.

(Дмитрий Цензор) писал: «На днях в „Обществе Ревнителей Художественного слова“ поэт Н. Гумилёв прочел свою новую эпическую поэму „Мик и Луи“ и попутно, в виде реферата, изложил свои мысли о современном эпосе… Как и в древнем, так и в современном эпическом произведении Н. Гумилёв считает необходимым три начала: религиозное, массовое и индивидуальное. Эти главные условия способствуют созданию мифа, ибо мифотворческое начало тоже особенность настоящего эпоса. Поэма талантливого поэта „Мик и Луи“ — попытка воскресить эпос… Поэма написана ярко, фабула развивается стремительно, полная завлекательных поэтических красот. Поэме присуща вся экзотичность и колоритность творчества Н. Гумилёва. Из присутствующих и принимавших участие в диспуте — Городецким, Чудовским, Недоброво, Волынским, Ауслендером, Лозинским, Зенкевичем, Георгием Ивановым, Сергеем Маковским, Пястом и мн. др. были высказаны некоторые замечания о стиле и содержании. Но в общем поэму можно считать очень яркой и талантливой попыткой молодого поэта».

Сообщение об этом появилось и в вышедшем в конце месяца новом номере «Аполлона».

Африканская тема «прорвалась» у поэта не только в поэме «Мик и Луи». В феврале в пятом номере «Нивы» появляется серьезная аналитическая статья Гумилёва о судьбе Абиссинии «Умер ли Менелик?», которая заканчивается пророчеством и переведенной поэтом песней: «Итак, жив ли Менелик, или нет? По-моему — жив, потому что жива лучшая его часть — могучая и сплоченная Абиссиния, такая, какою он ее создал. Когда будет окончательно сказано, что он умер, он действительно умрет с независимостью Абиссинии, символом которой он являлся. Об его предке, царе Соломоне, рассказывают, что он заставил духов строить храм и, почувствовав приближение смерти, приказал привязать свое тело к трону, чтобы духи не заметили, что он мертв, и продолжали свою работу. То же самое повторилось и в наши дни…»

В этих строках звучит неподдельная тоска об оставленном теперь уже навсегда колдовском Черном континенте. Поэта и вдали от Абиссинии волнует ее судьба.

После обсуждения в обществе Гумилёв отдал свою абиссинскую поэму в «Современник». Но в 1915 году журнал прекратил свое существование, и поэма не увидела свет.

В феврале Николай Степанович записался в университете на лекции весеннего семестра по романской филологии и истории, испанской литературе, по французской литературе и старофранцузскому языку, по истории французской революции и

по немецкой филологии, а также по античной религии.

Последний зимний месяц предвоенного года запомнился литературной богеме Северной столицы еще одним знаменательным событием. С 1 по 5 февраля Санкт-Петербург принимал знаменитого итальянского футуриста Филиппо Томмазо Маринетти. Блок получил от футуристов почетный билет на лекцию Маринетти и отправился слушать итальянца. Имя Гумилёва не упоминается в мероприятиях, проводимых в честь Маринетти, и скорее всего он на них не присутствовал. Известно другое. 31 марта, в понедельник, он слушал в «Бродячей собаке» доклад Вл. Пяста «Театр слова и театр движения», где автор говорил и о Маринетти: «Перед слушателями Маринетти искрятся и шипят локомотивы, стрекочет пропеллер, грохочут ядра и стонут раненые и агонизирующие». Так Пяст говорил о стиле выступлений итальянского футуриста. После доклада развернулся диспут с участием Н. Гумилёва, О. Мандельштама, П. Потемкина, Г. Чулкова, Б. Шкловского и других.

Если литературные успехи радовали Николая Степановича (он стал мэтром нового литературного течения), то в личной жизни судьба все больше и больше разводила его с Анной Андреевной, а в начале 1914 года отношения у них стали вообще никудышными. Они плохо сосуществовали под крышей своего дома, о котором Ахматова даже и вспоминать не могла без содрогания. В 1921 году (дописано в 1940-м), побывав в Царском Селе, она написала:

В том доме было очень страшно жить,
И ни камина свет патриархальный,
Ни колыбелька нашего ребенка,
Ни то, что оба молоды мы были
И замыслов исполнены…
…….. и удача
От нашего порога ни на шаг
За все семь лет не смела отойти, —
Не уменьшали это чувство страха…

(«В том доме было очень страшно жить…»)

В предвоенную весну, 26 апреля, она написала еще более страшное стихотворение:

Не убил, не проклял, не предал,
Только больше не смотрит в глаза.
И стыд свой темный поведал
В тихой комнате образам.

Весь согнулся, и голос глуше,
Белых рук движенья верней…
Ах! когда-нибудь он задушит,
Задушит меня во сне.

(«Не убил, не проклял, не предал…»)

Да и Гумилёв той весной написал строки в той же тональности:

Пролетела стрела
Голубого Эрота,
И любовь умерла,
И настала дремота.

Предвоенной весной Анна Андреевна была тайно влюблена в Блока. Мать Блока А. А. Кублицкая-Пиотух сообщала М. П. Ивановой: «Есть такая молодая поэтесса, Анна Ахматова, которая к нему (то есть к Блоку. — В. П.) протягивает руки и была готова его любить. Он от нее отвертывается…» 15 декабря 1913 года Ахматова отправляется к Александру Александровичу в гости на Офицерскую улицу. Разговор был, видимо, достаточно интимным, о чем она 14 января 1914 года написала в стихотворении, посвященном поэту:

У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен;
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть…

Видимо, не утерпела и глядела. 19 декабря Александр Блок кинулся к ней с ответным визитом, захватив и подписав несколько своих книг. На одной из них он начертал: «Красота страшна, вам скажут…» Гумилёвы жили в Тучковом переулке. Блок знал адрес. Но придя к дому, в нерешительности остановился. Все-таки ему казалось неудобным посещать замужнюю женщину.

6 января 1914 года Николай Степанович познакомился с сестрой Георгия Адамовича — Татьяной Адамович, выпускницей Смольного института и учительницей танцев в Далькрозе. Между ними не просто возникла любовная связь, а завязался бурный роман, о котором знали многие, в том числе и Анна Ахматова.

Позже она вспоминала: «Таня Адамович хотела выйти замуж за Гумилёва… Я сейчас же, конечно, согласилась… Сказала Анне Ивановне, что развожусь с Николаем Степановичем. Та изумилась: почему. — Коля сам мне предложил…» Естественно, мать поэта, любившая и воспитывавшая внука (Ахматова от этого сразу устранилась), позвала сына и заявила ему в присутствии невестки: «Я тебе правду скажу, Леву я больше Ани и больше тебя люблю… Делайте что хотите, но его вам не отдам!» Гумилёв был сильно привязан к сыну. Он прекрасно понимал, что если мальчика заберет Анна, то он будет лишен должной заботы и ухода. И Николай в очередной раз смирился с необходимостью существовать с женой под одной крышей. Просить развод его вынуждала Татьяна Адамович, у которой на службе произошла неприятность. В институт, где она преподавала танцы, пришли родители, чтобы устроить своих детей в танцевальный класс. Им тут же предложили Татьяну Адамович. «Что вы? Как можно, ведь она любовница Гумилёва!»

Конечно, Татьяна Викторовна во многом уступала Анне Андреевне. Поэтесса Ольга Мочалова в своих воспоминаниях приводит слова Гумилёва о ней: «Очаровательная… книги она не читает, но бежит, бежит убрать в свой шкаф. Инстинкт зверька». Тем не менее Таня часто просила Гумилёва читать ей стихи. В гостях у поэта она бывала только если случались какие-то официальные встречи и было много гостей. Гумилёв появлялся у Адамовичей, когда устраивались поэтические вечера.

С наступлением весны Гумилёв пишет по-прежнему мало оригинальных стихотворений: «Как путник препоясав чресла…» (1 марта), «Почтовый чиновник» (опубликовано в третьем номере «Новой жизни» за 1914 год), «Ольге Людвиговне Кардовской» (1 марта), «Долго молили о танце мы вас, но молили напрасно…» (16 марта), «Пролетела стрела…» (опубликовано в первом номере журнала «Лукоморье» за 1914 год), «Вечер» и «На острове» (20 мая — середина июня), «Сон» (первая половина 1914 года). Восемь стихотворений за всю весну. Причем два из них написаны по случаю. 1 марта Николай Степанович и Анна Андреевна отправились в гости к своим царскосельским знакомым художникам Кардовским. Ольга Людвиговна попросила Анну Андреевну что-то написать ей в альбом. Ахматова взяла ручку и задумалась, а Гумилёв тут же сочинил экспромт, блестящий и искрометный:

Мне на Ваших картинах ярких
Так таинственно слышна

Царскосельских столетних парков
Убаюкивающая тишина.

Разве можно желать чужого.
Разве можно жить не своим…
Но и краски ведь то же слово,
И узоры линий — ритм.

Ахматова своей рукой вписала экспромт мужа в альбом Кардовской, и поэт заставил ее поставить подпись.

Не менее интересна история стихотворения «Долго молили о танце мы вас, но молили напрасно…», где Гумилёв допустил одну фактическую ошибку. В мадригале, посвященном знаменитой русской балерине Тамаре Платоновне Карсавиной, он написал об Эдгаре Дега как об умершем. На самом деле его не стало только, в 1917 году. Стихотворение поэт написал 16 марта для готовящегося сборника «Тамаре Платоновне Карсавиной „Бродячая Собака“. 26 марта 1914 г.». Вечер состоялся в «Собаке» на самом деле на два дня позже — 28 марта. Среди счастливчиков лицезреть знаменитую балерину были и супруги Гумилёвы. На таких вечерах они бывали иногда вместе.

Анна Андреевна подарила балерине свою книгу стихов «Четки», которая вышла из печати 15 марта 1914 года в санкт-петербургском издательстве «Гиперборей». В сборник вошли пятьдесят два новых стихотворения. Гумилёв на выход книги отреагировал своеобразно. Он сказал жене: «А может быть, ее придется продавать в каждой мелочной лавке». Поэт верил в успех второй книги жены и не ошибся. 17 марта Анна Андреевна подписала книгу мужу с тайным смыслом: «Мои четки никому нельзя давать…» Николай Степанович опубликовал на книгу рецензию в пятом номере журнала «Аполлон», где отметил: «… поэтесса не „выдумала себя“, не поставила, чтобы объединить свои переживания, в центре их какой-нибудь внешний факт, не обращается к чему-нибудь известному или понятному ей одной, и в этом ее отличие от символистов; но, с другой стороны, ее темы часто не исчерпываются пределами данного стихотворения, многое в них кажется необоснованным, потому что недосказано. Как у большинства молодых поэтов, у Анны Ахматовой часто встречаются слова: боль, тоска, смерть. Этот столь естественный и потому прекрасный юношеский пессимизм до сих пор был достоянием „проб пера“ и, кажется, в стихах Ахматовой впервые получил свое место в поэзии. <…> По сравнению с „Вечером“, изданным два года тому назад, „Четки“ представляют большой

шаг вперед. Стих стал тверже, содержание каждой строки — плотнее, выбор слов — целомудренно скупым, и, что лучше всего, пропала разбросанность мысли, столь характерная для „Вечера“ и составляющая скорее психологический курьез, чем особенность поэзии».

Это анализ книги без всяких скидок, объективный и точный по даваемым характеристикам особенностей таланта Ахматовой.

В марте в Цехе поэтов случилось еще одно событие, о котором сама Ахматова вспоминала как о мятеже. Анна Андреевна с Мандельштамом составили записку: «Просим закрыть Цех. Мы больше так существовать не можем и все умрем». Ахматова подделала подписи всех членов Цеха и вместе с Мандельштамом подала записку Сергею Городецкому. Тот подвоха не понял и написал: «Всех повесить, а Ахматову заточить в Царское Село на Малую, 63». Это была шутка. Настоящий мятеж случился в Цехе поэтов в апреле. Вернее, это был не мятеж, а идеологическая битва синдиков.

15 апреля к Гумилёву на квартиру в Тучковом переулке пришел Городецкий и между ними завязался разговор, чуть не переросший в крупную ссору из-за воззрений на дальнейшее развитие акмеизма и на Цех поэтов. Городецкий высказывал упреки и по поводу прекратившего свое существование журнала «Гиперборей». Однако, когда страсти стали закипать не на шутку, совершенно неожиданно появился Владимир Шилейко. Городецкий еще немного посидел и ушел, не желая посвящать в их разговоры постороннего человека. Разговор остался незаконченным, и Сергей Митрофанович в этот же день написал Гумилёву письмо, полное упреков и претензий: «…будучи именно акмеистом, я был, по мере сил, прост, прям и честен в затуманенных символизмом и необычайно от природы ломких отношениях между вещью и словом. Ни преувеличений, ни распространительных толкований, ни небоскребного осмысления я не хотел совсем употреблять, и мир от этого вовсе не утратил своей прекрасной сложности, не сделался плоским».

Гумилёв ответил в тот же день: «Дорогой Сергей Митрофанович, письмо твое я получил и считаю (его неприличным) тон его совершенно неприемлемым: во-первых, из-за резкой передержки, которую ты допустил, заменив слово „союз“ словом „дружба“ о том, что наш союз потеряет смысл, если не будет М. Л. (Михаила Лозинского. — В. Я.); во-вторых, из-за оскорбительного в смысле этики выражения „ты с твоими“, потому, что „никаких“ моих у меня не было и быть не может; в-третьих, из-за того, что решать о моем уходе от акмеизма или из Цеха поэтов могу лишь я сам и твоя инициатива в этом деле

(будет) была бы только предательской; в-четвертых, из-за странной мысли, что я давал тебе какие-то „объяснения“ по поводу изд. „Гиперборей“, так как никаких объяснений я не давал да и не стал бы давать, а просто повторил то, что тебе было известно из разговоров с другими участниками этого издательства (которому я не сочувствовал с самого начала, не сочувствую и теперь) (эти вычеркнутые Гумилёвым слова интересны для истории „Гиперборея“, который, вероятно, первоначально задумывался как детище Городецкого. — В. П.). Однако (та любовь, которую я питал к тебе) те отношения, которые были у нас за эти три года, вынуждают меня попытаться объясниться с тобой. Я убежден, что твое письмо не могло быть вызванным нашей вчерашней вполне мирной болтовней. Если же у тебя были иные основания, то насколько бы было лучше просто изложить их. Я всегда был с тобой откровенен, и поверь, (не стал бы) не стану цепляться за (нашу дружбу) наш союз, если (бы увидел, что ей) ему суждено кончиться. Я и теперь думаю, что нам следует увидаться и поговорить без (излишней) не нужной мягкости, но и без излишнего надрыва. К тому же, после нашего союза осталось слишком большое наследство, чтобы его можно было ликвидировать одним взмахом пера, как это думаешь сделать ты. Сегодня от 6–7 часов вечера я буду в ресторане „Кинши“, завтра до двух часов дня на Тучковом. Если ты не придешь ни туда, ни туда, я буду считать, что ты уклонился от совершенно необходимого объяснения и тем вынуждаешь меня считать твое письмо лишь выражением личной ко мне неприязни, о причинах которой я не могу догадаться. Писем, я думаю, больше писать не надо, потому что уж очень это не акмеистический способ общения».

Городецкого возмущал эстет Гумилёв с его жесткими требованиями к работе над словом и рифмой. Гумилёва не удовлетворяла надуманная красивость образов Городецкого. Георгий Иванов как-то заметил в своих мемуарах: «Только правилом, что крайности сходятся, можно объяснить этот, правда, не долгий союз. Надменный Гумилёв и „рубаха-парень“ Городецкий — что было общего между ними и их стихами».

В конце концов все уладилось. Синдики решили, что худой мир лучше доброй ссоры, и в доказательство своих благих устремлений провели вместе 25 апреля заседание Цеха поэтов, где они сами, а также Осип Мандельштам и Михаил Зенкевич выступили с докладами об акмеизме. Заседание оказалось историческим — оно стало последним заседанием Цеха поэтов, получившего в истории серебряного века наименование первого.

Заседание Цеха прошло вечером, а днем Николай Степанович

оказался на еще одном заседании — Всероссийского литературного общества и выступил с докладом «Об аналитическом и синтетическом искусстве».

В апреле Гумилёв и члены Цеха поэтов получили приглашение участвовать в выпусках журнала «Лукоморье».

В мае литературная жизнь в Санкт-Петербурге начала затихать. Творческая богема готовилась к летнему сезону и думала уже больше об отдыхе, чем о баталиях акмеистов с символистами. 13 мая прошло закрытие «Бродячей собаки». Настроение у гостей было летнее, веселое, и никто из них не думал, что, расставаясь в предвкушении радости, они встретятся в преддверии беды, нагрянувшей на страну и народ. Осенью им всем было суждено встретиться в другом мире, с другими чувствами. Российская империя сползала в очередную смуту. Но в тот веселый и непринужденный вечер в бокалах искрилось шампанское и никто не думал о плохом.

20 мая Гумилёвы отправились на отдых в Слепнево, где в это время находился с бабушкой Анной Ивановной их сын Лев. Гумилёв мог быть доволен собой. Он многое успел за последние несколько лет, стал не только признанным поэтом и критиком, не только известным переводчиком, но — главное — он окончательно избавился от синдрома ученика и сам стал учителем и мэтром. Он жаждал быть вождем и стал им. Теперь уж он свое первенство никому не уступит, и когда нужно будет отстаивать его, он, рискуя жизнью, сделает это не задумываясь.

Глава XV ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР

Приехав в Слепнево, Гумилёвы попали в атмосферу мирного и спокойного уединения. Каждый был занят своими мыслями. Перед отъездом Анна Андреевна, видимо, переживая слишком открытый роман своего мужа с Татьяной Адамович, пишет ему стихотворение-вызов:

Мне не надо счастья малого,
Мужа к милой провожу
И довольного, усталого,
Спать ребенка уложу…

Лев пока еще соединял этих почти уже чужих людей под одной крышей. Гумилёв любил возиться с сыном и ждал, когда он подрастет, чтобы с ним можно было беседовать на равных, учить и вырастить его достойным мужчиной.

Наступившее лето обещало быть веселым и интересным. Николай Степанович строил планы: встретиться с Адамович, навестить друзей в Санкт-Петербурге, побывать в Териоках, где собирался весь цвет петербургской богемы. Слепнево усыпляло и расслабляло его, он бродил по сельским дорогам, отдыхал. 1 июня в письме своему другу Михаилу Лозинскому он сообщал: «Дорогой Михаил Леонидович, июнь почти наступил… я начал письмо в эпическом стиле, но вдруг и с ужасом увидел, что моя аграфия возросла в деревне невероятно. Веришь ли, перед тем, как поставить ряд точек, я минут десять безуспешно придумывал турнюр фразы. Оказывается, я могу писать только отрывочно и нелепо. Вроде капитана Лебядкина. Пожалуйста, вспомни, что ты обещал приехать, и приезжай непременно. У нас дивная погода, теннис, новые стихи… Чем скорее, тем лучше. Я почему-то как Евангелью поверил, что ты приедешь, и ты убьешь веру в неопытном молодом человеке, если только подумаешь уклониться. О каких-нибудь делах рука не поднимается писать; лучше поговорим. Сообщи только, отдала ли Чацкина деньги[47]. Пишу и не знаю, получишь ли письмо. Петербургский твой адрес забыл, финляндского не знаю, а „Аполлон“… бываешь ли ты там теперь? Ответь что-нибудь и еще лучше назначь день приезда. Засвидетельствуй мое почтение Татьяне Борисовне[48]. Искренне твой Н. Гумилёв. P. S. Аня тебе кланяется».

Конечно, аграфия не совсем одолела поэта и тут, в условиях полного домашнего комфорта со сладкими маминым пирогами,

он не переставал работать. В конце мая он закончил рассказ «Африканская охота» и написал стихотворение «Вечер» («Как этот ветер грузен, не крылат…»). Вполне возможно, что эта грусть была навеяна воспоминанием о теперь уже далекой Машеньке Кузьминой-Караваевой.

В середине июня поэт возвращается в Санкт-Петербург, оставив жену в Слепневе. В столице, так как дом в Царском на лето сдавался, Николай Степанович поселился у Шилейко на Васильевском острове (5-я линия, 10). Появившись в редакции «Аполлона», поэт был удивлен. После многих месяцев молчания он вдруг получил письмо от уже забытой им актрисы Ольги Высотской, которая сообщала, что у нее родился сын и она его назвала Орестом. Удивительно, но Николай Степанович ни сразу, получив это известие, ни позже не пытался разыскать сына. Хотя он знал, что в Курской губернии, в деревне Куриловка мать Ольги Николаевны купила помещичий дом с хозяйством и пристройками, куда Высотские отправились жить летом 1914 года. Почему поэт оказался столь равнодушным к сыну? Сам Орест Николаевич считал, что войны помешали отцу встретиться с ним. Но мне кажется это сомнительным доводом. А может быть, все проще? Гумилёв был увлечен Таней Адамович, и в его планы не входило восстанавливать отношения с ушедшей женщиной. Может быть, прежняя любовь была для поэта уже сном. Так или иначе, но этим воспоминанием пронизано стихотворение «Сон» (1914):

Застонал я от сна дурного
И проснулся, тяжко скорбя;
Снилось мне — ты любишь другого
И что он обидел тебя.

В Петербурге в июне 1914 года стояла жара, и город опустел. Вечерами, когда становилось прохладно, Владимир Шилейко, Михаил Лозинский и Николай Гумилёв отправлялись в ресторан «Бернар», расположенный на углу 8-й линии. Здесь было приятно отдохнуть, поговорить о минувших литературных баталиях и наметить на осень перспективный план. Однако совместное времяпровождение вскоре закончилось. Компания распалась.

Гумилёв уехал в Териоки. До Первой мировой войны этот небольшой финский городок был местом летних паломничеств петербургской богемы. Там поэт встретил Корнея Чуковского и Сергея Маковского.

Анна Андреевна тоскует в Слепневе. Ей, привыкшей к вниманию и любви, так не хватает кого-то рядом. Она пишет

тоскливые стихотворения. Строки о заточении в деревне появляются 6 июня:

Так много камней брошено в меня,
Что ни один из них уже не страшен,
И стройной башней стала западня.
Высокою среди высоких башен.

Здесь же, в Слепневе, в том же месяце появляется еще более откровенное признание:

Для того ль тебя я целовала.
Для того ли мучилась, любя.
Чтоб теперь спокойно и устало
С отвращеньем вспоминать тебя?

Ей невыносимо было сознавать, что Гумилёв платит ей той же монетой, какою она платила ему в юности за его любовь. Наверное, она это хорошо понимала и доверяла свои переживания только стихам. Впрочем, в это время ее близким другом считался Н. В. Недоброво.

Во второй половине июня Анна Андреевна едет в Санкт-Петербург, чтобы по поручению мужа продать в журнал «Нива» его «Африканскую охоту». Выручить удалось пятьдесят рублей и, погостив у отца, она уезжает в Киев к матери. Именно туда к ней и приезжает Н. В. Недоброво.

Гумилёв в конце июня отправляется к Тане Адамович в Либаву. 5 июля он уже должен быть в Петербурге на первом юбилее супружеской жизни брата Дмитрия. Жена Дмитрия в эмиграции вспоминала об этом событии: «…Были свои, но были и гости. Было нарядно, весело, беспечно. Стол был накрыт красиво, все утопало в цветах. Посредине стола стояла большая хрустальная ваза с фруктами, которую держал одной рукой бронзовый амур. Под конец обеда без всякой видимой причины ваза упала с подставки, разбилась, и фрукты рассыпались по столу. Все сразу смолкли. Невольно я посмотрела на Колю. Я знала, что он самый суеверный; и я заметила, как он нахмурился. Через 14 дней объявили войну. 10-летний юбилей нашей свадьбы мы с Митей скромно отпраздновали на квартире художника Маковского на Ивановской улице в Петрограде при совсем других обстоятельствах… тогда Коля напомнил нам о разбитой вазе».

Возникло ли ощущение приближения этой грандиозной войны в душе поэта, или только случайная примета кольнула его

сердце дурным предчувствием? На другой день он уехал снова в Териоки, откуда 9 июля пишет письмо Михаилу Лозинскому с новым своим адресом.

Днем раньше Анна Андреевна выехала из Киева в Москву. По дороге в Слепнево в поезде она столкнулась с Александром Блоком. Блок записал в своем дневнике: «Мы с мамой ездили осматривать санаторию за Подсолнечной. — Меня бес дразнит. — Анна Ахматова в почтовом поезде».

А 10 июля Николай Степанович отправляет своей супруге письмо из Териок в Дарницу: «Милая Аничка, думал получить твое письмо на Царск<осельском> вок<зале>, но не получил. Что, ты забыла меня или тебя уже нет в Деранже? Мне страшно надоела Либава, и вот я в Териоках. Здесь поблизости Чуковский, Евреинов, Кульбин, Лозинский, но у последнего не сегодня-завтра родится ребенок. Есть театр, в театре Гибшман, директор театра Мгебров (офицер). У Чуковского я просидел целый день; он читал мне кусок своей будущей статьи об акмеизме, очень мило и благожелательно. Но ведь это только кусок и, конечно, собака зарыта не в нем! Вчера беседовал с Маковским, долго и бурно. Мы то чуть не целовались, то чуть не дрались. Кажется, однако, что он будет стараться устроить беллетристический отдел и еще разные улучшения. Просил сроку до начала августа. Увидим! Я пишу новое письмо о русской поэзии — Кузмин, Бальмонт, Бородаевский, может быть, кто-нибудь еще. Потом статью об африканском искусстве. Пру бросил. Жду, что запишу стихи. Меланхолия моя, кажется, проходит. Пиши мне, милая Аничка, по адресу Териоки (Финляндия), кофейня „Идеал“, мне. В этой кофейне за рубль в день я снял комнату, правда, не плохую. Значит, жду письма, а пока горячо целую тебя. Твой Коля. Целую ручки Инне Эразмовне». В этот же день Ахматова добралась до имения Слепнево.

Не получив письма мужа, Анна Андреевна, не зная его планов, сама отправляет ему письмо 13 июля: «Милый Коля, 10-го я приехала в Слепнево. Нашла Левушку здоровым, веселым и очень ласковым. О погоде и делах тебе, верно, напишет мама. В июньской книге „Нового слова“ меня очень мило похвалил Ясинский[49]. Соседей стараюсь не видеть, очень они пресные. Я написала несколько стихотворений, которые не слышал еще ни один человек, но меня это, слава Богу, пока мало огорчает. Теперь ты au courant[50] всех петербургских и литературных дел. Напиши, что слышно? Сюда пришел Жамм[51]. Только получу, с почты же отошлю тебе. Прости, что я распечатала письмо Зноски, чтобы большой конверт весил меньше. Я получила от Чулкова несколько слов, написанных карандашом. Ему очень плохо и мне

кажется, что мы его больше не увидим. Вернешься ли ты в Слепнево? Или с начала августа будешь в Петербурге? Напиши мне обо всем поскорее. Посылаю тебе черновики моих новых стихов и очень жду вестей. Целую. Твоя Аня».

В письмо мужу поэтесса вложила два стихотворения «Целый год ты со мной неразлучен…» (позже посвятит его Н. В. Недоброво) и «Завещание». Оба стихотворения написаны 13 июля в Слепневе. Первое — объяснение в любви своему любовнику — явный вызов мужу, который перестал ее замечать. Она уязвлена как женщина. А во втором стихотворении Анна, обращаясь к Тане Адамович, как бы передает мужа в ее руки:

Моей наследницею полноправной будь,
Живи в моем дому, пой песнь, что я сложила.
Как медленно еще скудеет сила,
Как хочет воздуха замученная грудь…

Гумилёв же в это время, после долгого перерыва, пишет довольно необычный для него рассказ «Путешествие в страну эфира», прообразом героини которого послужила Таня Адамович. Пробовал ли сам поэт наркотики или это был плод его воображения — осталось загадкой.

В середине июля Николай Степанович вернулся в Санкт-Петербург. Здесь его настигло известие об объявлении 15 июля Австро-Венгрией войны Сербии. Поводом послужило убийство в Сараево Гаврилой Принципом, членом террористической организации «Молодая Босния» наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Россия не могла остаться в стороне, так как русские монархи всегда покровительствовали славянам. В российском обществе поднялась волна патриотизма. Многие поэты писали в эти дни стихи в поддержку братьев-славян и о надвигающейся войне. Одно из лучших стихотворений той поры — это, несомненно, «Июль 1914» Анны Ахматовой, которое родилось у нее 20 июля в Слепневе:

Пахнет гарью. Четыре недели
Торф сухой по болотам горит.
Даже птицы сегодня не пели,
И осина уже не дрожит.

Стало солнце немилостью Божьей,
Дождик с Пасхи полей не кропил.

Приходил одноногий прохожий
И один на дворе говорил:

«Сроки страшные близятся.
Скоро Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил.

Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:
Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат».

Конечно, начавшиеся военные приготовления по-разному подействовали на российских обывателей. Одни разделяли патриотический восторг, другие пребывали в унынии и растерянности. Большевики, решившие на немецкие деньги произвести в России переворот, начали выступать с предательскими лозунгами.

Ахматова в первые дни занимавшегося европейского пожара скучала в Слепневе и ждала мужа. 17 июля она писала ему: «Милый Коля, мама переслала мне сюда твое письмо. Сегодня уже неделя, как я в Слепневе. Становится скучно, погода испортилась, и я предчувствую раннюю осень. Целые дни лежу у себя на диване, изредка читаю, но чаше пишу стихи. Посылаю тебе одно сегодня, оно, кажется, имеет право существовать. Думаю, что нам будет очень трудно с деньгами осенью. У меня ничего нет, у тебя, наверное, тоже. С „Аполлона“ получишь пустяки. А нам уже в августе будут нужны несколько сот рублей. Хорошо, если с „Четок“ что-нибудь получим. Меня это все очень тревожит. Пожалуйста, не забудь, что заложены вещи…»

В этот же день Николай Степанович отправил письмо жене: «Милая Аничка, может быть, я приеду одновременно с этим письмом, может быть, на день позже. Телеграфирую, когда высылать лошадей. Время я провел очень хорошо, музицировал с Мандельштамом, манифестировал с Городецким, а один написал рассказ и теперь продаю его. Целую всех. Очень скоро увидимся. Твой Коля».

Газеты запестрели статьями о неотвратимом возмездии немцам и австро-венграм. В церквях служили молебны о даровании победы над супостатом. Гумилёва тоже охватил патриотический подъем. Атмосфера мирной жизни без

приключений, опасностей и путешествий ему надоела. Он скучал по диким абиссинским просторам и опасным путешествиям, и война как нельзя больше подходила для проявления его характера. Современник поэта А. Я. Левинсон писал в одной из статей о Гумилёве: «Войну он принял с простотою совершенной, с прямолинейной горячностью. Он был, пожалуй, одним из тех немногих людей в России, чью душу война застала в наибольшей боевой готовности. Патриотизм его был столь же безоговорочен, как безоблачно было его религиозное исповедание. Я не видел человека, природе которого было бы более чуждо сомнение, как совершенно, редкостно чужд ему и юмор. Ум его, догматический и упрямый, не ведал никакой двойственности».

А события развивались стремительно. 17 июля Россия объявила всеобщую мобилизацию. На другой день Германия ввела военное положение. 19 июля германский посол объявил министру иностранных дел Сазонову о том, что Германия считает себя в состоянии войны с Россией. Мир начал меняться на глазах. Еще вчера спокойные улицы столицы стали превращаться в бурлящий людской поток. 20 июля весь Санкт-Петербург был у германского посольства. Под одобрительный гул толпы добровольцы-патриоты сбрасывали с фасадов зданий посольства железных викингов. Потом стали бить стекла. Погром ни у кого сочувствия не вызвал. Немцы во мнении большинства людей быстро перешли в разряд вероломных врагов.

Николай Гумилёв сразу решил, что должен идти добровольцем в действующую армию. Правда, ему нужно было избавиться от «белого билета». Дух патриотизма царил во всей семье Гумилёвых. 21 июля был призван из запаса в 146-й пехотный Царицынский полк брат поэта Дмитрий Гумилёв. Записалась в Свято-Троицкую общину сестер милосердия и начала работать в петербургском лазарете его жена Анна Андреевна Гумилёва. А через год эта мужественная женщина отправилась в перевязочный отряд при 2-й Финляндской дивизии, находившейся в действующей армии.

Уходит добровольцем, или, как тогда говорили, — охотником и любимый племянник поэта Коля-маленький. 23 июля Николай Степанович приехал в Слепнево, перед этим он уже навестил Царскосельское военное присутствие и сообщил начальнику, что желает поступить добровольцем в армию. Было поднято дело поэта и, наверное, возникли какие-то препятствия, так как решение вопроса было отложено до 30 июля.

В предгрозовые дни бурного 1914 года в семье его друга Михаила Лозинского родился сын Сергей[52]. Николай Степанович 20 июля пишет стихотворение «Новорожденному»,

предсказывая судьбу младенца в свете начавшейся грандиозной битвы:

Вот голос, томительно звонок —
Зовет меня голос войны, —
Но я рад, что еще ребенок
Глотнул воздушной волны.

Он будет ходить по дорогам
И будет читать стихи,
И он искупит перед Богом
Многие наши грехи.

Вряд ли мать поэта, Анна Ивановна Гумилёва, обрадовалась решению младшего сына тоже уйти на фронт, но в семье все мужчины были военными и многие из них стали героями во время известных баталий. Наверное, в душе она гордилась поступком сына.

Анна Андреевна была изрядно удивлена решением мужа, но тоже испытывала чувство гордости за него. Ей будет нравиться потом появляться с мужем, одетым уланом, у своих знакомых. Сообщение о разлуке ее, похоже, не затронуло, так как лучше муж на фронте, чем развод в мирное время. Она еще пока не решилась поменять свой дом и мужа, она еще не нашла достойную замену, и война, как это ни кощунственно, была своеобразным, хотя и рискованным выходом.

25 июля Николай Степанович уезжает в Санкт-Петербург на сей раз вместе с Анной Андреевной. Ахматова вспоминала: «… приехал Гумилёв… Мы вместе поехали в Петербург. Несколько дней у папы провела (а он у Шилейко был, и даже одну ночь я потом ночевала у Шилейки). Вообще эти дни мы проводили с Шилейко и Лозинским». 28 июля поэт отправляется в Царское Село хлопотать о призыве его в армию «охотником» (то есть добровольцем). Как уж он уговорил начальника военного присутствия — неизвестно, наверное, ему понадобилось все его красноречие и умение убеждать собеседников, чтобы он получил уникальное во всех отношениях медицинское свидетельство за подписью действительного статского советника доктора медицины Воскресенского о том, что: «…сын статского советника Николай Степанович Гумилёв, 28 лет от роду, по исследовании его здоровья, оказался не имеющим физических недостатков, препятствующих ему поступить на действительную военную службу, за исключением близорукости правого глаза и некоторого косоглазия, причем, по словам г. Гумилёва, он

прекрасный стрелок».

Подумать только, медицинское освидетельствование, где одним из важных аргументов в пользу просителя являются его слова о том, что он прекрасный стрелок! Действительно, слово способно творить чудеса для того, кто им владеет в совершенстве.

В этот же день в утреннем выпуске газеты «Биржевые ведомости» появился рассказ Гумилёва «Путешествие в страну эфира». Это было своеобразным прощанием с мирной жизнью. Уже в первых числах августа Н. Гумилёв был зачислен добровольцем в лейб-гвардии уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк.

5 августа Гумилёв с женой зашли пообедать на Царскосельский вокзал и столкнулись там с Александром Блоком. Александр Александрович, как и многие другие поэты его круга, в трудные годы доказывал любовь к России в тылу. Вот как об этой встрече писала Анна Андреевна: «…мы втроем (Блок, Гумилёв и я) обедаем 5 августа на Царскосельском вокзале в первые дни войны. Гумилёв уже в солдатской форме. Блок в это время ходит по семьям мобилизованных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: „Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев?“» О том, что он сам может погибнуть, поэт не думал.

9 августа брат поэта подпоручик Гумилёв прибыл по переводу в 294-й пехотный Березинский полк и приказом № 22 был назначен полковым адъютантом. Николай Степанович прибывает в Кречевицкие казармы (поселок под Новгородом) 13 августа. 14 августа он уже приказом № 227 по Гвардейскому запасному кавалерийскому полку зачислен охотником в 6-й запасной эскадрон. Здесь новобранцы, прошедшие отбор для кавалерийских частей, должны были пройти восьмидневную подготовку. Будущие уланы учились стрельбе на скаку, верховой езде. Гумилёв держался в седле прекрасно и метко стрелял из винтовки. Чтобы догнать опытных улан в умении владеть шашкой, новобранец брал частные платные уроки. Анне Андреевне он рассказывал, что «учится верховой езде заново». Она вспоминала: «…Я удивлялась — он отлично ездил на лошади, красиво и подолгу, по много верст. Оказалось — это не та езда, какая требуется в походе. Надо, чтобы рука непременно лежала так, а нога этак, иначе устанешь ты, или устанет лошадь… И без битья не обходится ученье. Он рассказал, что Великого Князя ефрейторы секут по ногам».

В ту благословенную пору все были равны в учении. Уже в эмиграции сослуживец поэта ротмистр Ю. В. Янишевский писал о Гумилёве: «Там вся восьмидневная подготовка состояла лишь в

стрельбе, отдании чести и езде. На последней более 60 % провалилось и было отправлено в пехоту, а на стрельбе и Гумилёв, и я одинаково выбили лучшие и были на первом месте. Стрелком он оказался очень хорошим… стрелял с левого плеча. Спали мы с ним на одной двухэтажной койке, и по вечерам он постоянно рассказывал мне о двух своих африканских экспедициях (ошибка мемуариста. — В. П.). При этом наш взводный унтер-офицер постоянно вертелся около нас, видимо, заинтересованный рассказами Гумилёва об охоте на львов и прочих африканских зверюшек. Он же оказался потом причиной немалого моего смущения. Когда наш эскадрон прибыл на фронт, в Олиту, где уланы в это время стояли на отдыхе, на следующий день нам, новоприбывшим, была сделана проверка в стрельбе. Лежа, 500 шагов, трудная мишень. Мой взводный, из Кречевиц, попал вместе со мной в эскадрон № 6 и находился вместе с нами. Гумилёв, если не ошибаюсь, назначен был в эскадрон № 3. Я всадил на мишени в черный круг все пять пуль. Командир эскадрона, тогда ротмистр, теперь генерал Бобошко, удивленно спросил: „Где это вы научились стрелять?“ Не успел я и ответить, как подскочил тут же стоявший унтер-офицер: „Так что, ваше высокоблагородие, разрешите доложить: вольноопределяющийся — они охотник на львов…“ Бобошко еще шире раскрыл глаза. „Молодец…“ — „Рад стараться…“ Гумилёв был на редкость спокойного характера, почти флегматик, спокойно храбрый… Был он очень хороший рассказчик, и слушать его, много повидавшего в своих путешествиях, было очень интересно. И особенно мне — у нас обоих была любовь к природе и к скитаниям. И это нас быстро сдружило. Когда я ему рассказал о бродяжничествах на лодке, пешком и на велосипеде, он сказал: „Такой человек мне нужен; когда кончится война, едем на два года на Мадагаскар…“ …по душе мне было его предложение. Увы! Все это оказалось лишь мечтами…»

18 августа на фронте стал известен Высочайший указ о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград. Это, несомненно, должно было поднять дух русской армии — старинное русское звучание названия столицы пришлось по душе уланам. Настроение в запасном полку соответствовало патриотическим порывам Царского двора, еще не начались предательские действия оборотней большевиков в армии. В первых числах сентября вольноопределяющийся Гумилёв участвует в полковых учениях в Кречевицах в Новгородской губернии. Он доволен, что получается, очень серьезно относится к занятиям, отдавая им все свое время. 6 сентября он пишет жене в Царское Село из Кречевицких казарм: «Дорогая Аничка (прости за кривой почерк,

только что работал пикой на коне — это утомительно)… у меня вестовой… кажется, удастся закрепить за собой коня, высокого, вороного, зовущегося Чернозем. Мы оба здоровы, но ужасно скучаем. Ученье бывает два раза в день часа по полтора, по два, остальное время совершенно свободно. Но невозможно чем-нибудь заняться, то есть писать, потому что от гостей (вольноопределяющихся и охотников) нет отбою. Самовар не сходит со стола, наши шахматы заняты двадцать четыре часа в сутки, и хотя люди в большинстве случаев милые, но все это уныло. Только сегодня мы решили запираться на крючок, не знаю, поможет ли. Впрочем, нашу скуку разделяют все и мечтают о походе как о царствии небесном. Я уже чувствую осень и очень хочу писать. Не знаю, смогу ли. Крепко целую тебя, маму и Леву, и всех. Твой Коля».

Гумилёв теперь уже не только поэт, он — воин, и как первого свидания с девушкой ждет гимназист, так ждет он своего боевого крещения. Разговоры у новичков в ту пору, в начале войны, были только «о подвигах, о доблести, о славе…». Неожиданно Анна Ахматова приехала навестить мужа-солдата. Известие, которое она ему привезла, сильно подействовало на Николая Степановича. 8 сентября не стало поэта графа Комаровского. Этот отчаянный человек в припадке безумия и желания стать в ряды защитников Отечества покончил с собой.

9 сентября полк улан во главе с полковником Д. М. Княжевичем, в котором должен был служить Гумилёв, отправился на отдых в город Россиены (ныне Литва). Сюда же прибыл с новобранцами и Гумилёв.

23 сентября он вместе со вторым маршевым эскадроном гвардейского запасного кавалерийского полка отправился на Западный фронт в 1-ю действующую армию, находившуюся в ту пору на границе с Восточной Пруссией. Вольноопределяющийся Гумилёв попал в 1-й эскадрон Ее Величества Государыни лейб-гвардии уланского Ее Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка. Эскадроном командовал ротмистр князь И. А. Кропоткин, а взводным, где служил Гумилёв, был поручик М. М. Чичагов, выходец из известной офицерской династии. Сам полк входил в состав 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, а дивизия в свою очередь входила в состав конницы хана Нахичеванского при первом русском наступлении в Восточной Пруссии. А потом 2-я дивизия перешла в состав гвардейского конного корпуса, руководимого генералом Я. Ф. Гилленшмидтом.

30 сентября приказом № 76 по лейб-гвардии уланскому полку сто девяносто прибывших новичков из нижних чинов были

зачислены на жалованье по аттестату № 4512. Полк все еще стоял в городе Россиены. Получал ли лично Гумилёв жалованье — неизвестно, так как он был вольноопределяющимся и, по известным данным, содержал в уланском полку себя сам.

В начале октября Гумилёв пишет жене: «…я уже в настоящей армии, но мы пока не сражаемся… Все-то приходится ждать, теперь, однако, уже с винтовкой в руках и с опущенной шашкой… Я написал стишок, посылаю его тебе, хочешь продай, хочешь читай кому-нибудь. Я здесь утерял критические способности и не знаю, хорош он или плох… Трое вольноопределяющихся знают твой адрес и, если со мной что-нибудь случится, напишут тебе немедленно…»

Николай Степанович скучает без дела, ему в голову приходят разные мысли о жизни и смерти. О каком стихотворении говорит Гумилёв — непонятно, так как первое известное сегодня стихотворение после «Китайской девушки», написанной еще в июле, — «Наступление», но оно появилось, по всей видимости, после того, как поэт побывал в боях.

8 октября уланы все еще отдыхали, и Гумилёв снялся на память в полный рост в уланской форме с шашкой. На обороте фотографии, отосланной жене, поэт написал два четверостишия: одно свое и другое А. Блока.

Четверостишие Н. Гумилёва:

Но, быть может, подумают внуки,
Как орлята, тоскуя в гнезде,
— Где теперь эти сильные руки,
Эти души горящие, где!

Четверостишие А. Блока:

Я не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна…
Помяни ж за раннею обедней
Мила-друга, тихая жена!

Для чего привел Гумилёв строки Блока, пишущего в тылу от имени воинов? Наверное, для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что именно он этот воин. Смысл противопоставления этих двух строф понятен: Гумилёв подчеркивал, что он первый воин среди поэтов. Он отнял эти лавры у Блока.

Наконец на фронте началось движение. 14 октября уланов включили в состав 1-й отдельной кавалерийской бригады

генерал-майора Майделя и полк был передислоцирован под город Владиславов (ныне Литва — Кудиркос-Науместис). 17 октября Гумилёв принял боевое крещение при наступлении на город, занятый неприятелем.

Барон Майдель доносил в штаб корпуса: «17 октября. 11 ч. 10 м. утра… Гвардейские уланы еще в резерве… 3 ч. 50 м. дня. Владиславов и Ширвиндт взяты и укрепляются нашей пехотой».

Гумилёв в своем фронтовом дневнике, подготовленном к печати как «Записки кавалериста», писал о 18 октября: «И в вечер этого дня, ясный, нежный вечер, я впервые услышал за редким перелеском нарастающий гул „ура“, с которым был взят В[53]. Огнезарная птица победы в этот день слегка коснулась своим огромным крылом и меня… мы вошли в разрушенный город, от которого медленно отходили немцы… Оказалось, что преследовать врага в конном строю не имело смысла… По трясущемуся, наспех сделанному понтонному мосту наш взвод перешел реку…»

Из хроники военных действий известно, что 18 октября несколько эскадронов уланского полка вошли во Владиславов. В числе наступавших улан был и поэт-вольноопределяющийся Николай Гумилёв. Он окрылен первым успехом и ему кажется, что таковой война будет до полной победы над противником. Именно под впечатлением этих необычных для него ощущений он и пишет одно из самых прекрасных стихотворений военного цикла «Наступление» (1914):

Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня.
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.

Я кричу, и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь,
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России

Мерно бьется в груди моей…

Поэт горд новым ощущением сопричастности к происходящим событиям. Еще совсем недавно непонятное и жуткое становится обыденным делом. Увы, война не состоит из одних побед. 20 октября на город Владиславов, где находились уланы, началось наступление войск противника. Гумилёв записывает в своем дневнике: «На другой день испытал я и шрапнельный огонь. Наш эскадрон занимал В., который ожесточенно обстреливали германцы… Мы входили в опустошенные квартиры и кипятили чай. Кто-то даже нашел в подвале насмерть перепуганного жителя, который с величайшей готовностью продал нам недавно зарезанного поросенка. Дом, в котором мы его съели, через полчаса после нашего ухода был продырявлен тяжелым снарядом. Так я научился не бояться артиллерийского огня».

В это время в Царском Селе текла своя мирная жизнь.

19 октября Анна Ахматова позировала художнице Ольге Кордовской. 21 октября в Царском Селе состоялось третье заседание Цеха поэтов. Там говорили о стихах, о минувшем времени, о возможных публикациях и конечно же о событиях на фронте.

На фронте было не до стихов. С 21 по 24 октября Гумилёв участвовал в наступлении полка к границе Пруссии по реке Шешупе, уланы занимали деревни Бобтеле, Рудзе, Мейшты, Кубилеле. Поэт живописует словом: «Была глубокая осень, голубое небо, на резко-чернеющих ветках золотые обрывки парчи, но с моря дул пронзительный ветер, и мы с синими лицами, с покрасневшими веками плясали вокруг лошадей и засовывали под седла окоченелые пальцы. Странно, время тянулось совсем не так долго, как можно было предполагать. Иногда, чтобы согреться, шли взводом на взвод и, молча, целыми кучами барахтались на земле. Порой нас развлекали рвущиеся поблизости шрапнели, кое-кто робел, другие смеялись над ним и спорили, по нам или не по нам стреляют немцы. Настоящее томление наступало только тогда, когда уезжали квартирьеры на отведенный нам бивак, и мы ждали сумерек, чтобы последовать за ними…» Деревенский быт улан в эти дни поэт описывал во второй части «Записок кавалериста»: «О, низкие душные халупы, где под кроватью кудахтают куры, а под столом поселился баран… О, свежая солома!., расстеленная для спанья по всему полу, — никогда ни о каком комфорте не мечтается с такой жадностью, как о вас! И безумно-дерзкие мечты, что на вопрос о

молоке и яйцах вместо традиционного ответа: „Вшистко германи забрали“, хозяйка поставит на стол крынку с густым налетом сливок, и что на плите радостно зашипит большая яичница с салом! И горькие разочарования, когда приходится ночевать на сеновалах или на снопах немолоченного хлеба, с цепкими, колючими колосьями, дрожать от холода, вскакивать и сниматься с бивака по тревоге!»

Заняв позиции на реке, уланы стали готовиться к большому наступлению на немцев. Генерал Майдель доносил 22 октября в штаб корпуса: «Переправа у Дворишкена временами обстреливается. Разведка установила, что батарея противника в роще южнее кладбища, что между Кл. и Гр. Варупенен…»

22 октября в разведку через реку Шешупу (у Гумилёва в записках река Ш.) отправился и Гумилёв. Во второй части «Записок кавалериста» поэт писал: «Предприняли мы однажды разведывательное наступление, перешли на другой берег реки Ш. и двинулись по равнине к далекому лесу. Наша цель была — заставить заговорить артиллерию, и та, действительно, заговорила. <…> Мы повернули и галопом стали уходить. Новый снаряд разорвался прямо над нами, ранил двух лошадей и прострелил шинель моему соседу. Где рвались следующие, мы уже не видели…»

На следующий день вольноопределяющийся Гумилёв вместе со своим эскадроном снова отправляется на другой берег реки Шешупы в роли сторожевого охранения. Уланы заняли место у Дворишкена на прусских позициях, нашли полуразрушенное кирпичное здание — «нелепая помесь средневекового замка и современного доходного дома» — и стали наблюдать за противником. Об этой вылазке поэт вспоминал: «Мы приютились в нижнем этаже на изломанных креслах и кушетках. Сперва было решено не высовываться, чтобы не выдать своего присутствия. Мы смирно рассматривали тут же найденные немецкие книжки, писали домой письма на открытках с изображением Вильгельма…» Это чтобы показать, что дни Вильгельма сочтены и уланы уже захватывают чуть ли не канцелярию кайзера.

И вот такое долгожданное наступление на позиции противника. Можно себе представить состояние африканского охотника, путешественника и конквистадора Гумилёва, впрыгивающего на коня, когда дана команда идти в бой. 25 октября русские войска перешли в наступление в Восточной Пруссии. Барон Майдель доносил: «Перешел Шешупу у Будупенена, достиг авангарда у Дористоля… Иду на Радцен и далее на Грумбковкашен… Завтра буду наступать пехотой на Вилюнен, Пилькален. Конница севернее». Скупые строки

телеграфного донесения, в них нет никакой лирики. Но барону повезло, что в рядах улан был поэт. Уланский полк, перейдя границу Пруссии, пошел северной дорогой вдоль Шешупы в сторону Шиленена. Гумилёв писал об этом дне, вернее, живописал как бы густыми масляными красками: «Время, когда от счастья спирается дыханье, время горящих глаз и безотчетных улыбок. Справа по три, вытянувшись длинной змеею, мы пустились по белым, обсаженным столетними деревьями дорогам Германии. Жители снимали шапки, женщины с торопливой угодливостью выносили молоко. Но их было мало, большинство бежало, боясь расплаты за преданные заставы, отравленных разведчиков. Особенно мне запомнился важный старый господин, сидевший перед раскрытым окном большого помещичьего дома. Он курил сигару, но его брови были нахмурены, пальцы нервно теребили седые усы, и в глазах читалось горестное изумление… Вот за лесом послышалась ружейная пальба — партия отсталых немецких разведчиков. Туда помчался эскадрон, и все смолкло. Вот над нами раз за разом разорватось несколько шрапнелей. Мы рассыпались, но продолжали продвигаться вперед… Вскоре навстречу нам стали попадаться партии свежепойманных пленников… Вечерело. Звезды кое-где уже прокололи легкую мглу, и мы, выставив сторожевое охранение, отправились на ночлег. Биваком нам послужила обширная благоустроенная усадьба…» Усадьба, в которой обосновались уланы, называлась Братковен и располагалась севернее Дористоля. Гумилёв занял для ночлега одну из пустующих комнат и, смертельно устав за день, наколол дров, натопил печь и завалился спать прямо в шинели, а пробудился ночью от холода. И тут, по его словам, он получил очень важный урок: чтобы было тепло, шинелью надо укрываться, а не спать в ней. Так поэт постигал солдатскую науку выживать в тяжелых фронтовых условиях.

26 октября Н. Гумилёв вместе с уланским полком участвовал во взятии Шиленена и Вилюнена. В этот день он был дозорным, и когда отряд шел по шоссе, то поэт ехал полем в трехстах шагах от него, причем ему вменялось в обязанность осматривать фольварки и деревни на предмет наличия там противника. Гумилёв пишет: «Это было довольно опасно, несколько сложно, но зато очень увлекательно. В первом же доме я встретил идиотического вида мальчишку, мать уверяла, что ему шестнадцать лет, но ему так же легко могло быть и восемнадцать и даже двадцать. Все-таки я оставил его, а в следующем доме, когда я пил молоко, пуля впилась в дверной косяк вершка на два от моей головы».

Интересно, какие чувства охватывали поэта, когда он бывал

во всех этих спешно брошенных противником деревнях и фольварках. Став уланом, Гумилёв вспоминает детские сказки, рассказанные ему матерью: «В доме пастора я нашел лишь служанку-литвинку, говорящую по-польски, она объяснила мне, что хозяева бежали час тому назад, оставив на плите готовый завтрак, и очень уговаривала меня принять участие в его уничтожении. Вообще мне часто приходилось входить в совершенно безлюдные дома, где на плите кипел кофе, на столе лежало начатое вязанье, открытая книга; я вспомнил о девочке, зашедшей в дом медведей, и все ждал услышать громкое: „Кто съел мой суп? Кто лежал на моей кровати?“» Никакой озлобленности по отношению к противнику, к тем людям, которые были на стороне врага, даже чувство некоторой вины за то, что в ходе военных действий невольно пришлось войти в чужой дом. Разве можно оценивать Гумилёва как апологета империализма, как об этом писали многие совдеповские критики в 20-х и далее годах? О взятии Шиленена Николай Степанович писал: «Дики были развалины города Ш. Ни одной живой души… Какое счастье было вырваться опять в простор полей, увидеть деревья, услышать милый запах земли… Вечером мы узнали, что наступление будет продолжаться, но наш полк переводят на другой фронт… мне вдруг стало очень грустно расставаться с небом, под которым я как-никак получил мое боевое крещение». Вечером 26 октября в штаб 3-го армейского корпуса пришла телеграмма командующего армией об отзыве уланского полка в Россиены.

27 октября Н. Гумилёв в составе полка шел на Ковно. Генерал-майор Майдель в 4 часа 55 минут вечера доложил: «Уланский Е. В. полк ушел на Ковно. Взятый вчера Вилюнен мной оставлен…» В Ковно Н. Гумилёв пробыл с полком до 9 ноября 1914 года.

В перерыве между наступлениями и отступлениями Н. Гумилёв писал домой. 1 ноября в письме к Михаилу Лозинскому он сообщал о боях под Владиславовом. Интересно мнение поэта о войне: «Дорогой Михаил Леонидович, пишу тебе уже ветераном, много раз побывавшим в разведках, много раз обстрелянным и теперь отдыхающим в зловонной ковенской чайной. Все, что ты читал о боях под Владиславовом и о последующем наступленьи, я видел своими глазами и во всем принимал посильное участье». Пока еще война для поэта что-то, напоминающее африканские путешествия, но более опасное. В том же письме он сообщает: «Дежурил в обстреливаем<ом> Владиславове, ходил в атаку (увы, отбитую орудийным огнем), мерз в сторожевом охраненьи, ночью срывался с места, заслышав

ворчанье подкравшегося пулемета, и оппивался сливками, объедался курятиной, гусятиной, свининой, будучи дозорным при следованьи отряда по Германии. В общем я могу сказать, что это — лучшее время моей жизни. Оно несколько напоминает мои абиссинские эскапады, но менее лирично и волнует гораздо больше. Почти каждый день быть под обстрелом, слышать визг шрапнели, щелканье винтовок, направленных на тебя, — я думаю, такое наслаждение испытывает закоренелый пьяница перед бутылкой очень старого, крепкого коньяка. Однако бывает и реакция, и минута затишья — в то же время минута усталости и скуки. Я теперь знаю, что успех зависит совсем не от солдат, солдаты везде одинаковы, а только от стратегических расчетов — а то бы я предложил общее и энергичное на-ступленье, которое одно поднимает дух армии. При наступленьи все герои, при отступленьи все трусы — это относится и к нам и к германцам… А что касается грабежей, разгромов, то как же без этого, ведь солдат не член Армии Спасенья, и если ты перечтешь шиллеровский „Лагерь Валленштейна“, ты поймешь эту психологию…» В этом весь характер романтика-конквистадора. Жизнь и смерть для него всего лишь приключение.

Даже в письмах с войны Гумилёв не мог не проявить галантность, ему хочется быть рыцарем, и он пишет другу: «Целуя от моего имени ручки Татьяны Борисовны, извинись, пожалуйста, перед нею за то, что во время трудного перехода я потерял специально для нее подобранную прусскую каску. Новой уже мне не найти, потому что отсюда мы идем, по всей вероятности, в Австрию или в Венгрию. Но, говорят, у венгерских гусар красивые фуражки…» Конечно, игра в сувениры — это бравада еще живущего в улане петербургского денди. Но война уже делает свое дело, она все меньше оставляет места для бравады и все больше для чувств подлинных и глубоких. Об этом говорит написанное в середине ноября стихотворение «Война», посвященное его взводному поручику М. М. Чичагову. Это настоящий шедевр военной лирики:

Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет,
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед.

А «ура» вдали — как будто пенье
Трудный день окончивших жнецов.
Скажешь: это — мирное селенье
В самый благостный из вечеров.

И воистину светло и свято
Дело величавое войны,
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны…

Гумилёв не стремится утвердить жесткое право победителя только насилием и бранью. Он восклицает поистине как рыцарь духа:

Но тому, о Господи, и силы
И победы царский час даруй.
Кто поверженному скажет: «Милый,
Вот, прими мой братский поцелуй!»

Отнюдь не империалистические устремления живут в душе поэта. Ему важен сам миг победы над противником, и милость к побежденному при этом — обязательное условие.

9 ноября уланский полк начал передислокацию на другой фронт. К 13 ноября эшелоном через Гродно, Белосток, Малкин, Пиляву уланы прибыли в южную Польшу в Ивангород.

В третьей части «Записок кавалериста» Гумилёв записал свои впечатления о встрече с этим удивительным по красоте краем: «Южная Польша — одно из красивейших мест России. Мы ехали верст восемьдесят от станции железной дороги до соприкосновения с неприятелем, и я успел вдоволь налюбоваться ею… Леса сосновые, саженые, и, проезжая по ним, вдруг видишь узкие, прямые, как стрелы, аллеи, полные зеленым сумраком с сияющим просветом вдали, — словно храмы ласковых и задумчивых богов древней, еще языческой Польши. Там водятся олени и косули, с куриной повадкой пробегают золотистые фазаны, в тихие ночи слышно, как чавкает и ломает кусты кабан. Среди широких отмелей размытых берегов лениво извиваются реки; широкие, с узенькими между них перешейками, озера блестят и отражают небо, как зеркала из полированного металла; у старых мшистых мельниц тихие запруды с нежно журчащими струйками воды и каким-то розово-красным кустарником, странно напоминающим человеку его детство. В таких местах, что бы ты ни делал — любил или воевал, — все представляется значительным и чудесным. Это были дни больших сражений. С утра до поздней ночи мы слышали грохотанье пушек, развалины еще дымились, и то там, то сям кучки жителей зарывали трупы людей и лошадей…»

По этим красивейшим местам тогдашней России и предстояло скакать полку улан навстречу противнику. С 13 по 16 ноября уланский полк совершает переход: Радом, Потворов, Кльвов, Ново-Място, Уезд на железнодорожную станцию Колюшки (у Гумилёва в «Записках…» зашифрована как К.: «Я был назначен в летучую почту на станции К. Мимо нее уже проходили поезда, хотя чаще всего под обстрелом…»).

18 ноября полк Гумилёва остановился возле станции в деревне Катаржинов. В этот же день неожиданно пришел приказ передислоцироваться в район города Петракова.

19 ноября уланы прибыли в район деревень Литослав и Камоцын и попали в поле непрерывного двухдневного боя.

Немцы начали мощное наступление на Белхатов и Петраков. Противник шел в атаку на позиции русской армии пьяным. Об особенно тяжелом бое 20 ноября Гумилёв упоминал в «Записках…»: «Они шли густыми толпами и пели… Я не сразу понял, что поющие — мертвецки пьяны… Я видел… как падают передние ряды, как другие становятся на их место… Похоже было на разлив весенних вод… Но вот наступила и моя очередь вступить в бой. Послышалась команда: „ложись… прицел восемьсот… эскадрон, пли“, и я уже ни о чем не думал, а только стрелял и заряжал, стрелял и заряжал. Лишь где-то в глубине сознанья жила уверенность, что все будет, как нужно, что в должный момент нам скомандуют идти в атаку, или садиться на коней, и тем или другим мы приблизим ослепительную радость последней победы… Поздней ночью мы отошли на бивак в большое имение».

Однако долго отдыхать не пришлось неугомонному улану-охотнику. Не успел он выпить горячего молока, поджарить на сале колбасу и закурить, как явился унтер-офицер и объявил, что нужны добровольцы для ночной разведки. Конечно, Гумилёв мог спокойно остаться и его бы никто в этом не упрекнул, но он не хотел пропускать такое опасное и рискованное дело. Хотя бы для проверки собственных ощущений: как он будет себя чувствовать в полном мраке и в окружении противника? Это надо было испытать, и он вызвался добровольцем. В ходе ночной разведки в поисках противника Гумилёв почти вплотную столкнулся с немцами: «На той дороге, по которой я только что приехал, куча всадников и пеших в черных, жуткого цвета шинелях изумленно смотрела на меня… Они были шагах в тридцати. Я понял, что на этот раз опасность действительно велика. Дорога к разъезду мне была отрезана, с двух других сторон двигались неприятельские колонны. Осталось скакать прямо от немцев, но там дате ко раскинулось вспаханное поле, по которому нельзя идти галопом,

и я десять раз был бы подстрелен… Я выбрал среднее и, огибая врага, помчался перед его фронтом к дороге, по которой ушел наш разъезд. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась о мерзлые комья, пули свистели мимо ушей, взрывали землю передо мной и рядом со мной, одна оцарапала луку моего седла. Я не отрываясь смотрел на врагов. Мне были ясно видны их лица (растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела). Невысокий пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера… Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу. Я выхватил шашку, они замялись… Все это в ту минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, осознал же это много позже. Тогда я только придерживал лошадь и бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и сразу забытую по миновании опасности…» Такая хладнокровная храбрость поэта не может не вызвать чувства глубокого уважения.

За бой 20 ноября 1914 года командир полка улан полковник Княжевич был представлен к Георгиевскому оружию. В донесении говорилось, что в три часа дня противник начал артиллерийскую подготовку и около четырех дня под прикрытием артиллерийского огня пошел в наступление на позиции улан. Входе боя тяжело ранили командира 1-й бригады генерал-майора Лопухина, и Княжевич принял командование на себя. Бой закончился к вечеру, бригада отошла на вторую позицию у деревни Мзурки.

Следующую неделю, с 21 по 27 ноября, Гумилёв принимал участие в различных разъездах и перестрелках.

21 ноября, когда уланы отошли на бивак у деревни Мзурки, выполнив боевую задачу по сдерживанию противника, в Петрограде в «Бродячей собаке» состоялся поэтический вечер, где читали стихи Георгий Адамович, Анна Ахматова, Михаил Кузмин, Сергей Городецкий, Константин Липскеров, Игорь Северянин, Георгий Иванов, Николай Кузнецов, Надежда Тэффи, Мария Моравская, Конге, Владимир Шилейко. На вечере прозвучали стихи Н. Гумилёва, А. Блока, Ф. Сологуба, В. Брюсова в исполнении Екатерины Рощиной-Инсаровой (Пашенной), актрисы Александринского театра, и актрисы театра Веры Ивановой, а также Ольги Глебовой-Судейкиной. 23 ноября в четвертом номере «Отечества» было опубликовано стихотворение Н. Гумилёва «Война».

За день до этого брата поэта, подпоручика Д. Гумилёва, контузило артиллерийским снарядом под деревней Грабие в Восточной Галиции, но отважный офицер пожелал остаться в строю.

С 24 по 30 ноября Николай Гумилёв находился на позициях полка, и, по его воспоминаниям, «неделя выдалась сравнительно тихая. Мы седлали еще в темноте, и по дороге к позиции я любовался каждый день одной и той же мудрой и яркой гибелью утренней звезды на фоне акварельно-нежного рассвета. Днем мы лежали на опушке большого соснового леса и слушали отдаленную пушечную стрельбу… Иногда мы оставались в лесу на всю ночь. Тогда, лежа на спине, я часами смотрел на бесчисленные ясные от мороза звезды и забавлялся, соединяя их в воображении золотыми нитями. Сперва это был ряд геометрических чертежей, похожий на развернутый свиток Кабалы. Потом я начинал различать, как на затканном золотом ковре, различные эмблемы, мечи, кресты, чаши в непонятных для меня, но полных нечеловеческого смысла сочетаниях. Наконец, явственно вырисовывались небесные звери. Я видел, как Большая Медведица, опустив морду, принюхивается к чьему-то следу, как Скорпион шевелит хвостом, ища, кого ему ужалить. На мгновенье меня охватывал невыразимый страх, что они посмотрят вниз и заметят там нашу землю…»

28 ноября уланы полка Н. Гумилёва отошли на отдых в Лонгиновку за город Петраков. Теперь можно было расслабиться. Отправить письма домой и заняться «Записками».

В субботу 29 ноября уланам объявили, что в воскресенье в 11 часов утра возле расположения штаба полка будут отслужены Божественная литургия и панихида по всем убиенным в войну чинам полка. В воскресенье на Божественную литургию и панихиду пригласили желающих, но, как писал Н. Гумилёв: «…во всем полку не было ни одного человека, который бы не пошел. В открытом поле тысяча человек выстроились стройным четырехугольником, в центре его священник в золотой ризе говорил вечные и сладкие слова, служа молебен… То же необъятное небо вместо купола, те же простые и родные, сосредоточенные лица. Мы хорошо помолились в этот день».

В начале декабря противник начал широкомасштабное наступление. Командир корпуса Гилленшмидт, куда входили 2-я гвардейская кавалерийская дивизия и уланский полк, издал приказ № 14 об отходе за реку Пилицу. На фронте, на линии соприкосновения с противником, со 2-й кавалерийской дивизией взаимодействовали в те дни Забайкальская казачья бригада и Уральская казачья дивизия. 2-й гвардейской дивизии было приказано отходить на линию Горжковицы — Пржедборж во взаимодействии с Уральской казачьей дивизией в случае

наступления противника.

2 декабря в 11 часов противник начал наступление на позиции русской армии. Взвод Гумилёва был оставлен для связи улан с казаками в Роспрже (в «Записках…» — местечко Р.). Неприятель начал наступление через Козероги и Пекарки на Рокшице. Уральцы вышли на линию Буйны — Сиомки. Так как противник потеснил казаков, штаб дивизии, который возглавлял полковник Егоров, вынужден был стать на ночлег не в деревне Кржижанове, а в поселке Роспрже. Гумилёв писал о штабе казаков: «…Лев Толстой в „Войне и мире“ посмеивается над штабными и отдает предпочтение строевым офицерам. Но я не видел ни одного штаба, который уходил бы раньше, чем снаряды начинали рваться над его помещением. Казачий штаб расположился в большом местечке Р. Жители бежали еще накануне, обоз ушел, пехота тоже, но мы сидели больше суток, слушая медленно надвигающуюся стрельбу — это казаки задерживали неприятельские цепи… Молодой начальник дивизии, носитель одной из самых громких фамилий России (генерал-майор граф Петр Михайлович Стенбок. — В. П.), по временам выходил на крыльцо послушать пулеметы и улыбался тому, что все идет так, как нужно. Мы, уланы, беседовали со степенными, бородатыми казаками, проявляя при этом ту изысканную любезность, с которой относятся друг к другу кавалеристы разных частей».

3 декабря наступление противника продолжалось, и части российской армии отходили под напором противника. В три часа ночи неприятель занял Петраков. Естественно, штаб 2-й гвардейской дивизии, находившийся в Горжковицах, начал отступление в Пилицы. Об этом немедленно было сообщено в штаб Уральской дивизии. Начался отход и Уральской казачьей дивизии. Из Роспржи штаб начал отход в Страшное, находившийся в четырех верстах. Гумилёва послали с донесением в штаб 2-й гвардейской дивизии. Он должен был проскакать в Горжковицы через Роспржу. Как поэт добирался до штаба своей дивизии, он описал в пятой главе своих «Записок…»: «Дорога лежала через Р., но к ней уже подходили германцы. Я все-таки сунулся, вдруг удастся проскочить. Едущие мне навстречу офицеры последних казачьих отрядов остановили меня вопросом — вольноопределяющийся, куда? — и, узнав, с сомнением покачивали головой. За стеною крайнего дома стоял десяток спешенных казаков с винтовками наготове. — „Не проедете, — сказали они, — вон уже где палят“. Только я выдвинулся, как защелкали выстрелы, запрыгали пули. По главной улице двигались навстречу мне толпы германцев, в переулках слышался

шум других. Я поворотил, за мной, сделав несколько залпов, последовали и казаки. На дороге артиллерийский полковник (командир 7-го Донского казачьего артиллерийского дивизиона полковник Греков. — В. П.), уже останавливавший меня, спросил: „Ну, что, не проехали?“ — „Никак нет, там уже неприятель“. — „Вы его сами видели?“ — „Так точно, сам“. Он повернулся к своим ординарцам: „Пальба из всех орудий по местечку“. Я поехал дальше». Здесь Гумилёв попал в довольно сложную ситуацию: нужно было выполнять приказ, притом в условиях наступления противника: «…я кружным путем через леса и топи приближался к назначенной мне деревне. Двигаться приходилось по фронту наступающего противника… при выезде из какой-то деревушки… нам под прямым углом перерезал путь неприятельский разъезд. Он, очевидно, принял нас за дозорных, потому что вместо того, чтобы атаковать нас в конном строю, начал спешиваться для стрельбы. Их было восемь человек, и мы, свернув за дома, стали уходить. Когда стрельба стихла, я обернулся и увидел за собой на вершине холма скачущих всадников — нас преследовали; они поняли, что нас только двое. В это время сбоку опять послышались выстрелы, и прямо на нас карьером вылетели три казака… „Что там у вас?“ — спросил я бородача. — „Пешие разведчики, с полсотни. А у вас?“ — „Восемь конных“. Он посмотрел на меня, я на него, и мы поняли друг друга. Несколько секунд помолчали. — „Ну, поедем, что ли!“ — вдруг, словно нехотя, сказал он, а у самого так и зажглись глаза… Едва мы поднялись на только что оставленный нами холм, как увидели врагов, спускавшихся с противоположного холма. Мой слух обжег не то визг, не то свист, одновременно напоминающий моторный гудок и шипенье большой змеи, передо мной мелькнули спины рванувшихся казаков, и я сам бросил поводья, бешено заработал шпорами, только высшим напряжением воли вспомнив, что надо обнажить шашку. Должно быть, у нас был очень решительный вид, потому что немцы без всякого колебания пустились наутек… Но всему бывает конец! Немцы свернули круто влево, и навстречу нам посыпались пули. Мы наскочили на неприятельскую цепь… Штаб свой я нашел лишь часов через пять и не в деревне, а посреди лесной поляны на низких пнях и сваленных стволах деревьев. Он тоже отошел уже под огнем неприятеля». Всего лишь несколько часов фронтовой жизни поэта, записанной им на одном из биваков. Но сколько в них подлинного героизма и отваги, сколько выдержки и бесстрашного расчета, ясного пренебрежения смертью!

Назад, в штаб казачьей дивизии, Гумилёв вернулся только в полночь. Николай Степанович успел поесть холодной курицы и

уже намеревался лечь спать, как снова поступил приказ на отступление. Дивизия ввиду движения противника от Жерехова на Пиваки была переведена по мосту в деревню Скотники. Поэт очень хорошо передал состояние отступавших, уставших казаков: «Была беспросветная темь. Заборы и канавы вырисовывались лишь тогда, когда лошадь натыкалась на них или проваливалась. Спросонок я даже не разбирал направления. Когда ветви больно хлестали по лицу, знал, что едем по лесу, когда у самых ног плескалась вода, знал, что переходим вброд реки…» Среди ночи поэт оказался в доме польского ксендза. Разговор двух интеллигентных и образованных людей посреди бушевавшей мировой войны можно было бы посчитать немного странным. Казалось бы, о чем люди могут говорить в этой мясорубке, где человеческая жизнь ничего не стоит и может оборваться в любую минуту? Гумилёв записал их утренний разговор: «Я умылся и сел за кофе. Ксендз сидел против меня и сурово меня допрашивал. — „Вы вольноопределяющийся?“ — „Доброволец“. — „Чем прежде занимались?“ — „Был писателем“. — „Настоящим?“ — „Об этом я не могу судить. Все-таки печатался в газетах и журналах, издавал книги“. — „Теперь пишете какие-нибудь записки?“ — „Пишу“. Его брови раздвинулись, голос сделался мягким и почти просительным: „Так уж, пожалуйста, напишите обо мне, как я здесь живу, как вы со мной познакомились“. Я искренно обещал ему это. — „Да нет, вы забудете. Юзя, Зося, карандаш и бумагу!“ И он записал мне название уезда и деревни, свое имя и фамилию. Но разве что-нибудь держится за обшлагом рукава, куда кавалеристы обыкновенно прячут разные записки, деловые, любовные и просто так? Через три дня я уже потерял все, и эту в том числе. И вот теперь я лишен возможности отблагодарить достопочтенного патера (не знаю его фамилии) из деревни (забыл ее название) (деревня Скотники за рекой Пилица. — В. Я.) не за подушку в чистой наволочке, не за кофе с вкусными пышками, но за его глубокую ласковость под суровыми манерами и за то, что он так ярко напомнил мне тех удивительных стариков-отшельников, которые также ссорятся и дружатся с ночными путниками в давно забытых, но некогда мною любимых романах Вальтера Скотта». Улан-поэт, думающий о прочитанных в детстве романах, и пастырь Божий, думающий о земной славе в эти бренные и тяжелые дни начала столетия, — поистине, война открывает неизвестные грани души человека.

4 декабря улан Гумилёв вернулся в свой полк, который три дня отступал по направлению Крушевца. Уланы, проделав вместе с кавалерийской дивизией путь через Маленец, Соколов, Янков, Пржимусова Воля, Горжалков, Опочно, прибыли в 6 часов вечера в

Крушевец, где уже находился кавалерийский корпус Гилленшмидта. Русская армия вновь начала готовиться к наступлению. Уланов в тот же день перебросили на позиции вдоль реки Пилицы. 7 декабря уланский полк прибыл в Крушевец и сразу же выдвинулся на позиции. С 7 по 10 декабря Гумилёв участвовал в боевых действиях уланского полка. Снова он отправляется в разъезд, идущий в разведку.

8 декабря началось наступление 45-й и 52-й пехотных дивизий в направлении на запад от Крушевца. Русская армия выравнивала фронт. Шли тяжелые бои. Гумилёв писал об одном из таких боев: «Нашему разъезду было поручено наблюдать за одним из таких боев и сообщать об его развитии и случайностях в штаб. Мы нагнали пехоту в лесу… Батальонный командир… поздоровался с нашим офицером и попросил его узнать, есть ли перед деревней, на которую он наступал, неприятельские окопы. Мы были очень рады помочь пехоте, и сейчас же был выслан унтер-офицерский разъезд, который повел я… Едва я поднялся на первый пригорок, щелкнул выстрел — это был неприятельский секрет. Я взял вправо и проехал дальше. В бинокль было видно все поле до деревни, оно было пусто. Я послал одного человека с донесением, а сам с остальными тремя соблазнился пугнуть обстрелявший нас секрет… Мы поднялись на холм и увидели троих бегущих во всю прыть людей. Видимо, их смертельно перепугала неожиданная конная атака, потому что они не стреляли и даже не оборачивались…»

Наступление нашей пехоты развивалось успешно 7–9 декабря, и поэтому 9 декабря частям 14-го корпуса с конницей генерала Гилленшмидта приказали прикрыть с запада прорыв 52-й пехотной дивизии и Уральской казачьей дивизии. В приказе командира корпуса говорилось: «Вверенному мне корпусу приказано завтра, 10 декабря, настойчиво продолжать форсировать реку Пилицу на участке Гапинин — Спала, с целью дальнейшего наступления на Ржечица в тыл неприятеля…» Однако наступление и форсирование реки Пилицы были сорваны противником, и нашей пехоте пришлось два дня вести тяжелые бои в районе местечка Иновлодзь. Уланы, в том числе и Гумилёв, прикрывали действия пехоты. Николай Степанович следил за боем и описал в своих «Записках…» бой у костела Иновлодзи днем 10 декабря: «Две наши роты были окружены на той стороне, они штыками пробились к воде и вплавь присоединились к своему полку. Немцы взгромоздили на костел пулеметы, которые приносили нам много вреда. Небольшая партия наших разведчиков по крышам и сквозь окна домов подобралась к костелу, ворвалась в него, скинула вниз пулеметы и

продержалась до прихода подкрепления. В центре кипел непрерывный штыковой бой, и немецкая артиллерия засыпала снарядами и наших, и своих». В три часа дня второй взвод 2-й батареи открыл огонь по костелу Иновлодзи, где стояли немецкие пулеметы. Русская армия удержала позиции по реке Пилице, и улан Гумилёв вместе со своими однополчанами был в эти дни в сторожевом охранении на участке от Иновлодзи до Козловца.

До 18 декабря поэт провел на передовой, так как уланам пришлось прикрывать пехоту, державшую оборону по реке Пилице. Уланы несли сторожевое охранение, и Гумилёв бывал в разъездах. Однако установившееся относительное затишье позволило уланам отойти на отдых в район Дожевицы. 18 декабря Гумилёв отправляется на краткосрочный отдых в Петроград. Можно себе представить, с каким чувством он ехал в город, где были его друзья и участники Цеха поэтов. Теперь он стал на голову выше всех этих не нюхавших пороху литераторов. Ему сообщили, что он представлен к Георгиевскому кресту, об этом еще 11 декабря знала его жена (видимо, он сам и сообщил), которая писала о муже П. Е. Щеголеву: «Коля получил Георгия». Именно в декабрьском номере «Аполлона» было напечатано стихотворение Гумилёва «Наступление».

Гумилёв заявился в Петроград в своей уланской форме, и друзья чествовали его в «Бродячей собаке». Официальной программы, посвященной Гумилёву, не осталось, однако, по воспоминаниям, поэт читал в «Собаке» свое стихотворение «Наступление» и познакомился с английским журналистом Бехгофером. Конечно, англичанина интересовала война и он, не бывавший в боях, хотел выспросить у поэта-фронтовика, как там: жутко ли, страшно ли? А что же ему ответил поэт-конквистадор?

— Вы думаете, что это ужасно? Нет, на войне весело!

И это была правда, но правда смелого человека, а не тыловой крысы. Правда Поэта, узнавшего цену жизни и смерти, и понять это мог только тот, кто сам побывал в шкуре георгиевского кавалера.

Анна Андреевна встретила мужа внешне радушно. Почему бы не погордиться героем? 24 декабря она даже отправилась провожать мужа на фронт: «На Рождество 1914 года провожала Ник<олая> Степ<ановича> на фронт до Вильны. Там ночевали в гостинице, и утром я увидела в окно, как молящиеся на коленях двигались к церкви, где икона Остробрамской Божьей Матери».

Именно 24 декабря Н. Гумилёв был представлен к награде за успешную ночную разведку. В приказе по гвардейскому кавалерийскому корпусу от 24 декабря за № 30 сказано, что за отличия в делах против германцев награждаются… и далее

перечень фамилий, первым в списке «унтер-офицер Николай Гумилёв п. 18 № 134 060», хотя он тогда такого чина не имел.

После отъезда Гумилёва из Петрограда о нем стали сочинять легенды. Так, 31 декабря поэт А. А. Кондратьев писал Б. А. Садовскому: «В Петрограде побывал Гумилёв. Его видели (Тэффи рассказывала мне) на вернисаже в рубашке, прорванной австрийским штыком и запачканной кровью (нарочно не зашитой и не вымытой)». В этих строках чувствуется глухая зависть слабых людей «тыловых патриотов своего Отечества». Конечно же Гумилёв не был ни в какой рубашке, он, как известно, приехал в гимнастерке и кавалерийской шинели и ни о каких ранениях никому не говорил.

26 декабря поэт возвратился в полк и сразу же побывал в сторожевом охранении, куда отправлялся каждый день вплоть до 30 декабря. В период затишья на фронте в конце 1914-го — начале 1915 года Николай Степанович написал несколько стихотворений, которые относятся к жемчужинам его военной лирики. В одном из них он вновь обращается к теме смерти. Но это уже поиск духовного осмысления достойной смерти воина:

Есть так много жизней достойных,
Но одна лишь достойна смерть,
Лишь под пулями в рвах спокойных
Веришь в знамя Господне, твердь.

Только побывав под пулями, поэт сделал вывод, что смерти сильнее знамя Господне, оно помогает избавиться от страха и поднимает воина до подвига во имя родины:

Свод небесный будет раздвинут
Пред душою, и душу ту
Белоснежные кони ринут
В ослепительную высоту.

(«Смерть», кон. 1914 — нач. 1915)

А потому смерть — это лишь переход души от земного и бренного к вечному.

Стихотворение «Священные плывут и тают ночи…» (1914) явно навеяно раздумьями поэта о бренности бытия. Об этом говорят строки воспоминаний, где вновь и вновь оживают образы Тамары Карсавиной, Ирины Энери и других. Но главное Гумилёв высказывает в последних строфах:

А ночью в небе, древнем и высоком,
Я вижу записи судеб моих
И ведаю, что обо мне, далеком,
Звенит Ахматовой сиренный стих.

Так не умею думать я о смерти,
И все мне грезятся, как будто бы во сне,
Те женщины, которые бессмертье
Моей души доказывают мне.

Он еще упоен ратным делом, скачет по полям сражений, уверенный, что не погибнет, так как он носитель высшей идеи и его дух осиян солнцем удачи и победы. В замечательном стихотворении «Солнце духа» (кон. 1914 — янв. 1915) поэт, сравнивая свою довоенную, богемную и фронтовую жизнь, отдает предпочтение последней:

Как могли мы прежде жить в покое
И не ждать ни радостей, ни бед,
Не мечтать об огнезарном бое,
О рокочущей трубе побед.

Как могли мы… но еще не поздно,
Солнце духа наклонилось к нам,
Солнце духа благостно и грозно
Разлилось по нашим небесам.

И здесь, на фронте, Гумилёв не забывает, что он не только улан, хорошо умеющий работать шашкой, но и поэт. Перед новым годом в письме к жене поэт просит исправить строчки в его стихотворении о войне. Войну и участие в боевых действиях он описывает со свойственной ему в ту пору конквистадорской уверенностью: «…Вообще война мне очень напоминает мои абиссинские путешествия. Аналогия почти полная: недостаток экзотичности покрывается более сильными ощущениями. Грустно только, что здесь инициатива не в моих руках, а ты знаешь, как я привык к этому… Если бы только почаще бои, я был бы вполне удовлетворен судьбой. А впереди еще такой блистательный день, как день вступления в Берлин!.. Австрийцев уже почти не считают за врагов, до такой степени они не воины, что касается германцев, то их кавалерия удирает перед нашей, наша кавалерия всегда заставляет замолчать их, наша пехота стреляет вдвое лучше и бесконечно сильнее в атаке… Ни в Литве, ни в Польше я

не слыхал о немецких зверствах, ни об одном убитом жителе, изнасилованной женщине. Скотину и хлеб они действительно забирают, но, во-первых, им же нужен провиант, а во-вторых, им надо лишить провианта нас; то же делаем и мы, и поэтому упреки им косвенно падают и на нас — а это несправедливо. Мы, входя в немецкий дом, говорим „gut“ и даем сахар детям, они делают то же, приговаривая „карошь“. Войско уважает врага, мне кажется, и газетчики могли бы поступать так же… Мы, наверное, скоро опять попадем в бой, и в самый интересный, с кавалерией. Так что вы не тревожьтесь, не получая от меня некоторое время писем, убить меня не убьют (ты ведь знаешь, что поэты — пророки)…» В этом отрывке весь Гумилёв — справедливость до самоотречения и уверенность в том, что убить его не могут, так как он поэт и за него Господь Бог.

В Петрограде о героизме Гумилёва ходили слухи. 4 января 1915 года художник В. П. Белкин сообщал Г. И. Чулкову из Петрограда: «Гумилёв Н. С. приезжал на три дня в отпуск сюда, но мне не удалось с ним повидаться. Он получил Георгиевский крест за три очень важных опасных разведки… Был у нас на днях Лозинский М. Л. и прочел два стихотворения гумилёвских очень хороших о войне…» Так для последнего рыцаря русского ренессанса закончился первый год войны. Новый, 1915 год он встретил на фронте.

Новый год каждого заставляет задуматься о прожитом. Заставил он и Гумилёва переосмыслить свою жизнь. Поэт 2 января в ответ на письмо своего друга Михаила Лозинского писал: «Вот и ты, человек, которому не хватает лишь loisir'a, видишь и ценишь во мне лишь добровольца, ждешь от меня мудрых, солдатских слов. Я буду говорить откровенно: в жизни у меня пока три заслуги — мои стихи, мои путешествия и война. Из них последнюю, которую я ценю меньше всего, с досадной настойчивостью муссирует всё, что есть лучшего, в Петербурге. Я не говорю о стихах, они не очень хорошие, и меня хвалят за них больше, чем я заслуживаю, мне досадно за Африку. Когда полтора года тому назад я вернулся из страны Галла, никто не имел терпенья выслушать мои впечатления и приключения до конца. А ведь, правда, все то, что я выдумал один и для себя одного, ржанье зебр ночью, переправа через крокодильи реки, ссоры и примиренья с медведеобразными вождями посредине пустыни, величавый святой, никогда не видевший белых в своем африканском Ватикане, — все это гораздо значительнее тех работ по ассенизации Европы, которыми сейчас заняты миллионы рядовых обывателей, и я в том числе». Это был взгляд поэта на войну и его африканские путешествия. В этом же письме

Н. Гумилёв сообщил другу, что в полку его ждал присланный Георгий, то есть Георгиевский крест 4-й степени за № 134 060.

В полку приказ № 30 по гвардейскому кавалерийскому корпусу официально был, видимо, получен только 13 января 1915 года. В этот же день Гумилёв согласно 96-й статье статута переименован в ефрейтора. А 15 января появился приказ командира уланского полка: «Улана из охотников эскадрона Ея Величества Николая Гумилёва за отличие в делах против германцев произвожу в унтер-офицеры». В этот же день он написал письмо Михаилу Лозинскому: «…Я живу по-прежнему: две недели воюю в окопах, две недели скучаю у коноводов. Впрочем, здесь масса самого лучшего снега, и если будут лыжи и новые книги, „клянусь Создателем, жизнь моя изменится“ (цитата из Мочульского)…» Гумилёв просит друга прислать ему журнал «Русская мысль» (декабрьский номер), книги Кенета Грээма «Золотой возраст» и «Дни грез», третий том Кальдерона в переводе Бальмонта и… лыжи. Он уже стал ветераном в среде нижних чинов и может себе позволить все больше свободного времени уделять литературным занятиям, от которых был практически полностью оторван во второй половине 1914 года.

1 января 1915 года командир уланского полка Д. М. Княжевич получил производство в чин генерал-майора.

Уланы до 12 января находились на линии деревни Студзянна — Анелин — Брудзевице и ряда прилегающих населенных пунктов. 12 января полк вместе с дивизией отошел на отдых в район Шидловца, а потом переместился в Кржечинчине, где и пребывал до февраля 1915 года.

Гумилёв добился краткой командировки в Петроград, куда и прибыл между 25 и 27 января. Интересно, что именно 25 января его жена читала стихи поэта на вечере «Писатели — воинам» в Александровском зале Петроградской городской думы. А 27 января уже сам Николай Степанович вместе с Анной Андреевной отправился в «Бродячую собаку». На афише этого вечера было указано: «Вечер поэтов при участии Н. Гумилёва (стихотворения о войне и др.). Участвуют Анна Ахматова, С. Городецкий, М. Кузмин, Г. Иванов, О. Мандельштам, П. Потемкин, Тэффи. Вход исключительно по предварительной записи гг. действительных членов. Плата — 3 рубля. Актеры, поэты, художники и музыканты — 2 рубля». Гумилёв получил право и тут быть первым на афише. Наверняка этот факт потешил его самолюбие. Николай Степанович читал стихотворение «Война»[54].

В этот же день Николай Степанович читал стихи на вечере

романо-германского кружка. Военная лирика поэта была по достоинству оценена литераторами. Ю. А. Никольский писал Л. Я. Гуревичу: «Вечером я был у поэтов, т. е. в романо-германском кружке. Был Гумилёв, и война с ним что-то хорошее сделала. Он читал свои стихи не в нос, а просто, и в них самих были отражающие истину моменты — недаром Георгий на его куртке». Восхитился Гумилёвым и известный критик Б. М. Эйхенбаум. Он писал Л. Я. Гуревичу 29 января 1915 года: «Вчера мы остались очень довольны Гумилёвым, — ему война дала хорошие стихи…»

В печати появляются не только военные стихи поэта, но и новые лирические стихотворения Гумилёва «Она не однажды всплывала…» и «Я помню, я помню, носились тучи…»[55].

Гумилёв окунается с головой в петербургскую литературную жизнь: 29 января он отправляется на вечер памяти А. С. Пушкина в «Бродячую собаку» на выступление своего ученика по Цеху поэтов Георгия Иванова; 30 января Гумилёв был в гостях у Сергея Городецкого, где встретил Георгия Чулкова, а в конце января — начале февраля вместе с женой навещает Михаила Лозинского, у которого в это время находились В. Чудовский, В. Шилейко, Елизавета Кузьмина-Караваева и близкий друг Ахматовой Н. В. Недоброво. Анна Андреевна читала недавно написанную поэму «У синего моря». Вместе с женой поэт обходил своих старых добрых знакомых. Вот как вспоминала об этом художница Ольга Кардовская: «Началась война. Гумилёв уехал на фронт добровольцем. Анна Андреевна приходила к нам в это время одна… Однажды к нам позвонили, и когда дверь распахнулась, мы увидели их обоих. Оказалось, что Николай Степанович приехал в отпуск. Он показался нам загоревшим, был оживлен и естественно прост. В другой раз он появился у нас, украшенный Георгиевским крестом. Он много рассказывал о войне, о своих вылазках и пережитом жутком чувстве, когда приходилось переползать по открытому месту под огнем неприятеля…»

В первый день февраля 1915 года в утреннем выпуске «Биржевых ведомостей» было помещено стихотворение Гумилёва «Священные плывут и тают ночи…» и сообщалось, что поэт является специальным военным корреспондентом газеты. Одновременно газета начинает с 3 февраля публиковать первую часть «Записок кавалериста».

А днем раньше Николай Степанович побывал на капустнике в «Бродячей собаке». По всей видимости, на этом и закончилось погружение поэта в богемную жизнь столицы начала 1915 года. 3 февраля 2-й гвардейской кавалерийской дивизии был дан приказ

начать передислокацию и отправиться из Радома в Ивангород для отправки эшелонами в Литву. 7 февраля дивизия, в том числе и уланы, ушла через Холм (Польша), Брест, Барановичи, Лиду, Вильно в Олиту (Литва), куда прибыла 9 февраля. Гумилёв писал в своих «Записках…»: «Всегда приятно переезжать на новый фронт. На больших станциях пополняешь свои запасы шоколада, папирос, книг, гадаешь, куда приедешь, — тайна следования сохраняется строго… Высадившись, удивляешься пейзажам, знакомишься с характером жителей, — главное, что надо узнать, есть ли у них сало и продают ли они молоко, — жадно запоминаешь слова еще не слышанного языка». Конечно, литовский язык поэт не выучил, но, наверное, что-то для самого необходимого общения запомнил.

Новые места оказались знакомы уланам, ведь именно здесь полк принимал участие в первых боях русской армии с неприятелем в августе-сентябре 1914 года. Гумилёв в этих боях участия не принимал, но поскольку теперь он уже был военным корреспондентом и писал не только от своего имени, а и от имени всех улан, то он записывает: «…возвращаться на старый фронт еще приятнее. Потому что неверно представляют себе солдат бездомными, они привыкают и к сараю, где несколько раз переночевали, и к ласковой хозяйке, и к могиле товарища. Мы только что возвратились на насиженные места и упивались воспоминаниями».

10 февраля уланский полк выступил из Олиты в район Балкосадзе.

11 февраля кавалерийская дивизия в девять утра двинулась по шоссе на Серее. Была поставлена задача — разведать, где находится противник. Поэт в это время участвовал в разведке: «Наш разъезд, один из цепи разъездов, весело поскакал по размытой весенней дороге, под блестящим, словно только что вымытым, весенним солнцем. Три недели мы не слышали свиста пуль, музыки, к которой привыкаешь, как к вину, — кони отъелись, отдохнули, и так радостно было снова пытать судьбу между красных сосен и невысоких холмов. Справа и слева уже слышались выстрелы: это наши разъезды натыкались на немецкие заставы… Разъезд остановился… Это был мой первый самостоятельный разъезд… Первое, что я заметил, заскакав за домик, были три немца… Я выстрелил наудачу и помчался дальше. Мои люди, едва я к ним присоединился, тоже дали залп. Но в ответ по нам раздался другой, гораздо более внушительный, винтовок в двадцать… Пули засвистали над головой… Когда мы поднялись на холм уже за лесом, мы увидели наших немцев, поодиночке скачущих в противоположную сторону. Они выбили

нас из лесу, мы выбили их из фольварка. Но так как их было вчетверо больше, чем нас, наша победа была блистательнее».

В этих легких строчках, описывающих смертельную схватку, звучит неприкрытая мальчишеская удаль, словно речь идет о какой-то мимолетной кулачной драке, когда максимум что можешь получить — это лишний синяк.

С 12 по 27 февраля кавалерийская дивизия участвовала в Сейненской операции и вела бои в районе Голны-Вольмер, Дворчиско, Жегар, Копиово, Карклин, Куцулюшек.

12 февраля уланский полк с 1-й бригадой пошел к югу и начал вести разведывательные бои на направлении Макаришки — Малгоржаты. В «Записках…» поэт отмечает: «В два дня мы настолько осветили положение дела на фронте, что пехота могла начать наступление. Мы были у нее на фланге и поочередно занимали сторожевое охранение…»

В ночь с 14 на 15 февраля уланский полк стоял в Балкосадзе. Гумилёв записывает: «Погода сильно испортилась. Дул сильный ветер, и стояли морозы, а я не знаю ничего тяжелее соединения этих двух климатических явлений. Особенно плохо было в ту ночь, когда очередь дошла до нашего эскадрона. Еще не доехав до места, я весь посинел от холода… Три раза в эту проклятую ночь я должен был объезжать посты, и вдобавок меня обстреляли… У нас убили человека и двух лошадей…» Убитым оказался улан Абара.

Тем временем русская армия начала на этом фланге усиливаться пехотными формированиями. 15 февраля уланы вынуждены были оставить обжитое место прибывшей 73-й пехотной дивизии, а кавалерийская дивизия 16 февраля начала сосредоточиваться южнее района Балкосадзе. Как обычно, уланам была поставлена задача следить за продвижением противника. 17 февраля эскадрон Н. Гумилёва вышел на восточную опушку леса в Карклины, и половина эскадрона, идущего на Роголишки, была обстреляна немцами. Уланы отступили на Гуданцы. Не обошлось и без приключений. «Всей заставой с ротмистром во главе мы поехали навстречу, — писал Гумилёв. — Я был впереди, показывая дорогу, и уже почти съехался с последним из них, когда ехавший мне навстречу поручик открыл рот, чтобы что-то сказать, как из лесу раздался залп, потом отдельные выстрелы, застучал пулемет — и все это по нам. Мы повернули под прямым углом и бросились за первый бугор. Раздалась команда: „К пешему строю… выходи“… и мы залегли по гребню, зорко наблюдая за опушкой леса. Вот за кустами мелькнула кучка людей в синевато-серых шинелях. Мы дали залп. Несколько человек упало. Опять затрещал пулемет, загремели выстрелы, и

германцы поползли на нас. Сторожевое охранение развертывалось в целый бой. То там, то сям из лесу выдвигалась согнутая фигура в каске, быстро скользила между кочками до первого прикрытия и оттуда, поджидая товарищей, открывала огонь. Может быть, уже целая рота придвинулась к нам шагов на триста. Нам грозила атака, и мы решили пойти в контратаку в конном строю. Но в это время галопом примчались из резерва два других наших эскадрона и, спешившись, вступили в бой. Немцы были отброшены нашим огнем обратно в лес. Во фланг им поставили наш пулемет, и он, наверно, наделал им много беды. Но они тоже усиливались… Тогда, словно богословы из „Вия“, вступившие в бой для решительного удара, заговорила наша батарея… Хорошо стреляют русские артиллеристы. Через двадцать минут, когда мы снова пошли в наступление, мы нашли только несколько десятков убитых и раненых, кучу брошенных винтовок и один совсем целый пулемет. Я часто замечал, что германцы, так стойко выносящие ружейный огонь, быстро теряются от огня орудийного».

Кавалеристов поддерживали огнем артиллеристы 2-й и 5-й батарей. В обеих батареях у Гумилёва служили его хорошие знакомые, с которыми он не мог не пересечься в ходе военных действий. Это были его сосед по Слепневу прапорщик 5-й батареи артиллеристов Владимир Константинович Неведомский и родственник поэта из 2-й батареи лейб-гвардии конной артиллерии Николай Дмитриевич Кузьмин-Караваев.

Под действием нашей артиллерии и при активном наступлении пехоты, поддержанной кавалеристами, немцы стали отходить. 19 февраля на позиции противника у Серее развернулось наступление 75-й пехотной дивизии. 20 февраля пехотинцы пошли в атаку на деревню Роганишки, а кавалеристы заняли город Дрополе, оставленный немцами 17 февраля после сильного обстрела артиллерии. 20 февраля уланский полк был в Макаришках.

21 февраля Гумилёв был отправлен в сторожевое охранение в составе эскадрона Ее Величества и в районе озера Шавле возле деревни Барцуны столкнулся с немцами. В «Записках…» поэт сообщает: «Последний разъезд был особенно богат приключениями… Лес кончался кустами, дальше была деревня. Мы выдвинули дозоры справа и слева, сами стали наблюдать за деревней. Есть там немцы или нет — вот вопрос. Понемногу мы стали выдвигаться из кустов — все спокойно. Деревня была уже не более чем в двухстах шагах, как оттуда без шапки выскочил житель и бросился к нам, крича: „Германи, германи, их много… бегите!“ И сейчас же раздался залп. Житель упал и перевернулся

несколько раз, мы вернулись в лес. Теперь все поле перед деревней закишело германцами. Их было не меньше сотни. Надо было уходить, но наши дозоры еще не вернулись. С левого фланга тоже слышалась стрельба, и вдруг в тылу у нас раздалось несколько выстрелов. Это было хуже всего! Мы решили, что мы окружены, и обнажили шашки… Наконец прискакал и левый дозорный. Он приложил руку к козырьку и молодцевато отрапортовал офицеру: „Ваше сиятельство, германец наступает слева… и я ранен“… — „А где же другой дозорный?“ — „Не могу знать; кажется, он упал“. — Офицер повернулся ко мне: „Гумилёв, поезжайте, посмотрите, что с ним?“ Я отдал честь и поехал прямо на выстрелы… Выстрелы становились все слышнее, до меня доносились даже крики врагов. Каждую минуту я ожидал увидеть изуродованный разрывной пулей труп несчастного дозорного и, может быть, таким же изуродованным остаться рядом с ним — частые разъезды уже расшатали мои нервы. Поэтому легко представить мою ярость, когда я увидел пропавшего улана на корточках, преспокойно копошащегося около убитой лошади. „Что ты здесь делаешь?“ — „Лошадь убили… седло снимаю“. — „Скорей иди, такой сякой, тебя весь разъезд под пулями дожидается“. — „Сейчас, сейчас, я вот только белью достану“. — Он подошел ко мне, держа в руках небольшой сверток. — „Вот, держите, пока я вспрыгну на вашу лошадь, пешком не уйти, немец близко“. Мы поскакали, провожаемые пулями… Раненый после перевязки вернулся в строй, надеясь получить Георгия…» Раненый улан Сергей Александров действительно был награжден Георгиевским крестом за дело 21 февраля 1915 года приказом от 23 апреля за № 281 по уланскому полку в соответствии с приказом по 10-й армии.

22 февраля на рассвете началось наступление русской армии. 73-я пехотная дивизия с боем взяла посад Серее (в «Записках…» Гумилёва местечко С. — В. П.) и начала наступление на место Лодзее. Кавалеристам было приказано действовать в тылу противника. Поэт писал: «Было еще совсем темно — в окно халупы, где я спал, постучали: седлать по тревоге… Мой арихмед — в кавалерии вестовых называют арихмедами, очевидно испорченное риткнехт, — уже седлал наших коней. Я вышел на двор и прислушался… Озабоченный вахмистр, пробегая, крикнул мне, что немцев только что выбили из местечка С. и они поспешно отступают по шоссе; мы их будем преследовать. От радости я проделал несколько пируэтов, что меня, кстати, и согрело… преследование вышло не совсем таким, как я думал… Только позже мы узнали, что наш начальник дивизии придумал хитроумный план — вместо обычного преследования и захвата

нескольких отсталых повозок врезываться клином в линию отходящего неприятеля и тем вынуждать его к более поспешному отступлению. Пленные потом говорили, что мы наделали немцам много вреда и заставили их откатиться верст на тридцать дальше, чем предполагалось». На ночлег уланы должны были стать в фольварк Голны-Вольмеры (сейчас в Польше) в версте от деревни Коцюны (Качюняй, Литва). Однако оказалось, что не все так просто. Фольварк был занят противником. Немцы открыли пулеметный огонь настолько плотный, что пули защелкали по домам деревни Коцюны, в которой расположились 2-я и 5-я батареи. Пришлось уланам вместо отдыха начать наступление на фольварк Голны-Вольмеры, но их атака была отбита. Ввиду сильного пулеметного огня одна из батарей вынуждена была в 12 часов ночи отойти на другой край деревни. Гумилёв в «Записках…» очень выразительно описал ощущения ночной перестрелки: «Лежать было скучно, холодно и страшно. Немцы, обозленные своим отступлением, поминутно стреляли в нашу сторону, а ведь известно, что шальные пули — самые опасные. Перед рассветом все стихло, а когда на рассвете наш разъезд вошел в усадьбу, там не было никого. За ночь почти все квартирьеры вернулись. Не хватало трех, двое, очевидно, попали в плен, а труп третьего был найден на дворе усадьбы. Бедняга, он только что прибыл на позиции из запасного полка и все говорил, что будет убит…» Все в рассказе Гумилёва документально точно. Действительно, в ту ночь был убит наездник Антон Гломбиковский, прибывший в полк с 3-м маршевым эскадроном и зачисленный в полк только 16 февраля.

О том, чем занимался 23 февраля взвод М. М. Чичагова, в котором служил Гумилёв, известно из донесения его командира: «Деревня Новосады занята противником, за темнотой силы определить невозможно. Ф. Девятишки свободен, неприятельская артиллерия до нас сегодня вечером стояла там. После нескольких наших очередей сейчас же ушли. Сам лес свободен. Караул противника стоит в 3-й халупе от леса. Разъезд у. — оф. Яковлева, посланный на д. Охотники, еще не вернулся. По его присоединении иду обратно. 23 февраля, 9 ч. 30 м. вечера».

На следующий день Гумилёв участвовал со своим полком в наступлении на Краснополь. Немцы открыли ураганный огонь по Краснополю и местечку Конец — и уланы, и драгуны вынуждены были отступить.

Однако наступление русских войск продолжалось 24 февраля. И снова Гумилёв отправляется в разведку: «…наш разъезд должен был разведать путь для одной из наступавших рот и потом охранять ее фланг. По дороге мы встретились с драгунским разъездом, которому была дана почти та же задача, что и нам. Драгунский офицер был в разодранном сапоге — след немецкой пики — он накануне ходил в атаку… Мы быстро установили положение противника… а потом поехали на фланг, подумывая о вареной картошке и чае. Но едва мы выехали из леска, едва наш дозорный поднялся на бугор, из-за противоположного бугра грянул выстрел… Мы спешились, вышли на опушку и стали наблюдать. Понемногу из-за холма начала показываться германская каска. Затем фигура всадника — в бинокль я разглядел большие светлые усы… Мы брали его на прицел, разглядывали в бинокль, гадали об его общественном положении. Между тем приехал улан, оставленный для связи с пехотой, доложил, что она отходит… мы прицелились… и я скомандовал: „Взвод, пли!“ В тот же миг немец скрылся… Через пять минут я послал двух улан посмотреть, убит ли он, и вдруг мы увидели целый немецкий эскадрон, приближающийся к нам под прикрытием бугров. Тут же без всякой команды поднялась ружейная трескотня… Радостно было смотреть, как тогда падали люди, лошади, а оставшиеся переходили в карьер, чтобы скорее добраться до ближайшей лощины. Между тем, два улана привезли каску и винтовку того немца, по которому мы дали наш первый залп. Он был убит наповал». На этот раз счастье улыбнулось уланам. Иначе и быть не могло: если бы оно улыбнулось немцам, то не появились бы воспоминания поэта об этом бое.

25 февраля обстановка на фронте резко изменилась — немцы, сосредоточив значительные силы, перешли в наступление по линии вдоль шоссе Лодзее, сломили сопротивление 3-го армейского корпуса и стали развивать успех, двигаясь вдоль по шоссе от Лодзее на Сейны. 2-й корпус тоже начал отход на Лумбе — Гавенянце. Именно в это время на шоссе Гумилёв и столкнулся с седовласым генерал-майором командиром 26-й пехотной дивизии Тихоновичем. Как всегда, началась неразбериха, связанная с перемещением больших групп войск. Гумилёв писал о ночи с 25 на 26 февраля: «Да, эта ночь была одной из самых трудных в моей жизни. Я ел хлеб со снегом, сухой он не пошел бы

в горло; десятки раз бегал вдоль своего эскадрона, но это больше утомляло, чем согревало; пробовал греться около лошади, но ее шерсть была покрыта ледяными сосульками, а дыханье застывало, не выходя из ноздрей. Наконец, я перестал бороться с холодом, остановился, засунул руки в карманы, поднял воротник и с тупой напряженностью начал смотреть на чернеющую изгородь и дохлую лошадь, ясно сознавая, что замерзаю. Уже сквозь сон я услышал долгожданную команду: „К коням… садись“. Мы проехали версты две и вошли в маленькую деревушку. Здесь можно было наконец согреться. Едва я очутился в халупе, как лег, не сняв ни винтовки, ни даже фуражки, и заснул мгновенно, словно сброшенный на дно самого глубокого, самого черного сна». Мороз в ту ночь достигал двадцати градусов.

Однако спать Гумилёву пришлось недолго. В 12.30 ночи уланский полк стал на бивак в деревне Дегунце, а уже в 2 часа 30 минут был поднят по тревоге и пошел на деревню Копциово. Именно туда, по сведениям разведки, шли и немецкие колонны. О странном и тяжелом пробуждении поэт писал: «Я проснулся со страшной болью в глазах и шумом в голове, оттого что мои товарищи, пристегивая шашки, толкали меня ногами: „Тревога! Сейчас выезжаем“. Как лунатик, ничего не соображая, я поднялся и вышел на улицу. Там трещали пулеметы, люди садились на коней. Мы опять выехали на дорогу и пошли рысью. Мой сон продолжался ровно полчаса. Мы ехали всю ночь на рысях, потому что нам надо было сделать до рассвета пятьдесят верст, чтобы оборонять местечко К. на узле шоссейных дорог. Что это была за ночь! Люди засыпали на седлах, и никем не управляемые лошади выбегали вперед, так что сплошь и рядом приходилось просыпаться в чужом эскадроне… Низко нависшие ветви хлестали по глазам и сбрасывали с головы фуражку. Порой возникали галлюцинации. Так, во время одной из остановок я, глядя на крутой, запорошенный снегом откос, целые десять минут был уверен, что мы въехали в какой-то большой город, что передо мной трехэтажный дом с окнами, с балконами, с магазинами внизу. Несколько часов подряд мы скакали лесом. В тишине, разбиваемой только стуком копыт да храпом коней, явственно слышался отдаленный волчий вой. Иногда, чуя волка, лошади начинали дрожать всем телом и становились на дыбы. Эта ночь, этот лес, эта нескончаемая белая дорога казались мне сном, от которого невозможно проснуться. И все же чувство странного торжества переполняло мое сознание. Вот мы, такие голодные, измученные, замерзающие, только что выйдя из боя, едем навстречу новому бою, потому что нас принуждает к этому дух, который так же реален, как наше тело… И в такт лошадиной рыси

в моем уме плясали ритмические строки: „Расцветает дух, как роза мая, / Как огонь, он разрывает тьму, / Тело, ничего не понимая, / Слепо повинуется ему“… Часов в десять утра мы приехали в местечко К. (К. — деревня Копциово. — В. П.)».

День 26 февраля выдался морозным — температура воздуха не поднялась после холодной ночи выше минус пятнадцати градусов. Естественно, попав после десяти утра в теплую избу, Гумилёв выпил стакан чая, поел картошки и, безуспешно пытаясь согреться, забрался на печь, укрылся рваным армяком и мгновенно заснул. Проснулся он от грохота артиллерийских разрывов: «Халупа была полна дымом, который выходил в большую дыру в потолке прямо над моей головой. В дыру было видно бледное небо… и вдруг страшная мысль пронизала мой мозг и в одно мгновенье сбросила меня с печи. Халупа была пуста, уланы ушли. Тут я действительно испугался… Я схватил винтовку, убедился, что она заряжена, и выбежал из дверей. Местечко пылало, снаряды рвались там и сям… увидел рыжих лошадей, уланский разъезд… Через час я уже был в своем эскадроне, сидел на своей лошади… Оказалось, что неожиданно пришло приказание очистить местечко и отходить верст за двадцать на бивак…»

27 февраля Гумилёв вместе с полком находился на правом фланге 2-го корпуса. А на следующий день уланы были переброшены в Лейпуны для усиления обороны русских войск. Помощник командира полка полковник М. Е. Маслов докладывал: «Лейпуны заняты полком в 10 ч. 30 м. Выслал разведывательные эскадроны: 1 — на Лейпуны — Серее — Ржанцы — Доминишки, 2-й на Шадзюны — Бобры (Шаджунай, Бабрай)». Н. Гумилёв был во втором разъезде, вместе с поручиком М. М. Чичаговым, который писал в донесении: «Унтер-офицер, посланный на Ворнянце, донес: Ворнянце — свободно, Шумсков — свободно, Снежно — занято кавалерией. Кавалерия между Снежно и лесом. Южнее Шумскова — проволочное заграждение». Унтер-офицер Гумилёв писал в своих «Записках…»: «…В одиноком фольварке старик все звал нас есть яичницу… и на вопрос о немцах отвечал, что за озером с версту расстояния стоит очень много, очевидно, несколько эскадронов, кавалерии. Дальше мы увидели проволочное заграждение, одним концом упершееся в озеро… Я оставил человека у проезда через проволочное заграждение… с одним только проездом, который так легко загородить рогатками… мы въехали в лес… Вот это была скачка. Деревья и кусты проносились перед нами, комья снега так и летели из-под копыт… Вот и проволочное заграждение… Наперерез нам скакало десятка два немцев. От проволоки они были на том же

расстоянии, что и мы… „Пики к бою, шашки вон!“ — скомандовал я, и мы продолжали нестись. Немцы орали и вертели пики над головой. Улан, бывший на той стороне, подцепил рогатку, чтобы загородить проезд, едва мы проскачем. И мы действительно проскакали. Я слышал тяжелый храп и стук копыт передовой немецкой лошади, видел всклокоченную бороду и грозно поднятую пику ее всадника. Опоздай я на пять секунд, мы бы сшиблись. Но я проскочил за проволоку, а он с размаху промчался мимо… К вечеру к нам подъехал ротмистр со всем эскадроном. Наш наблюдательный разъезд развертывался в сторожевое охранение, и мы, проработавшие весь день, остались на главной заставе». Главная застава — Салтанишки. Прибывший ротмистр — князь И. А. Кропоткин, командир эскадрона Ее Величества, в котором служил Н. С. Гумилёв.

Первый день наступившей весны 1915 года Н. Гумилёв провел на главной заставе в Салтанишках, пока 2-я гвардейская кавалерийская дивизия вместе с 336-м Челябинским и частью 104-го Устюжского полков не взяли в пять вечера Копциово. А на следующий день началось наступление русской армии. Уланы снова обеспечивали разведку продвигающейся пехоте. Гумилёв принял участие, как он писал, в очень тяжелом разъезде под командой корнета князя С. А. Кропоткина: «…один из самых холодных мартовских дней. Была метель, и ветер дул прямо на нас. Обмерзшие хлопья снега резали лицо, как стеклом, и не позволяли открыть глаз. Сослепу мы въехали в разрушенное проволочное заграждение, и лошади начали прыгать и метаться, чувствуя уколы. Дорог не было, всюду лежала сплошная белая пелена. Лошади шли чуть не по брюхо в снегу, проваливались в ямы, натыкались на изгороди. И вдобавок нас каждую минуту могли обстрелять немцы… Под конец остановились. Взвод остался в деревне; вперед, чтобы обследовать соседние фольварки, было послано два унтер-офицерских разъезда. Один из них повел я. Жители определенно говорили, что в моем фольварке немцы, но надо было в этом удостовериться. Местность была совершенно открытая, подступов никаких, и поэтому мы широкой цепью медленно направились прямо на фольварк. Шагах в восьмистах остановились и дали залп, потом другой. Немцы крепились, не стреляли, видимо, надеялись, что мы подъедем ближе. Тогда я решился на последний опыт — симуляцию бегства. По моей команде мы сразу повернули и помчались назад, как будто заметив врага. Если бы нас не обстреляли, мы бы без опаски поехали в фольварк. К счастью, нас обстреляли… Метель улеглась, и наступил жестокий мороз. Я не догадался слезть и идти пешком, задремал и стал мерзнуть, а

потом и замерзать. Было такое ощущение, что я голый сижу в ледяной воде. Я уже не дрожал, не стучал зубами, а только тихо и беспрерывно стонал. А мы еще не сразу нашли свой бивак, и с час стояли, коченея, перед халупами, где другие уланы распивали горячий чай, — нам было видно это в окна». Гумилёв почувствовал себя больным. И погода, как назло, стояла самая отвратительная: сначала была сильная метель, потом наступили сильные туманы, и вновь сильный ветер и снег. И именно в эти дни — 3 марта — опять началось наступление русской армии.

5 марта 2-я гвардейская кавалерийская дивизия вошла в Вейсее. Уланы обеспечивали прикрытие пехоте и занимались разведкой. 7 марта уланский полк вел сильный бой в районе Голны-Вольмеры. Гумилёв все это время находился в строю.

О своих впечатлениях он писал: «Мы наступали, выбивали немцев из деревень, ходили в разъезды, я тоже проделывал все это, но как во сне, то дрожа в ознобе, то сгорая в жару. Наконец, после одной ночи, в течение которой я, не выходя из халупы, совершил, по крайней мере, двадцать обходов и пятнадцать побегов из плена, я решился смерить температуру. Градусник показал 38,7. Я пошел к полковому доктору. Доктор (врач улан Ильин. — В. П.) велел каждые два часа мерить температуру и лечь, а полк выступал. Я лег в халупе, где оставались два телефониста, но они помещались с телефоном в соседней комнате и я был один… Меня разбудил один из телефонистов: „Германцы наступают, мы сейчас уезжаем!“ — Я спросил, где наш полк, они не знали. Я вышел на двор. Немецкий пулемет, его всегда можно узнать по звуку, стучал уже совсем близко. Я сел на лошадь и поехал прямо от него. Темнело. Вскоре я наехал на гусарский бивак и решил здесь переночевать. Гусары напоили меня чаем, принесли мне соломы для спанья, одолжили даже какое-то одеяло. Я заснул, но в полночь проснулся, померил температуру, обнаружил у себя 39,1 и почему-то решил, что мне непременно надо отыскать свой полк. Тихонько встал, вышел, никого не будя, нашел свою лошадь и поскакал по дороге, сам не зная куда. Это была фантастическая ночь. Я пел, кричал, нелепо болтался в седле, для развлечения брал канавы и барьеры. Раз наскочил на наше сторожевое охранение и горячо убеждал солдат поста напасть на немцев. Встретил двух отбившихся от своей части конно-артиллеристов. Они не сообразили, что я — в жару, заразились моим весельем и с полчаса скакали рядом со мной, оглашая воздух криками. Потом отстали. Наутро я совершенно неожиданно вернулся к гусарам. Они приняли во мне большое участие и очень выговаривали мне мою ночную эскападу».

Николаю Степановичу стало ясно, что дальше в строю он

оставаться не может, и потому отправился в штаб дивизии, потом бригады и, наконец, полка. И, по его словам, еще через день он уже лежал на подводе, отправлявшейся к железнодорожной станции Ковно. В Петроград Гумилёв попал только к 20 марта, где был положен в лазарет Деятелей искусств на Введенской улице, 1.

Подпоручик Дмитрий Гумилёв 7 марта был награжден приказом по войскам 3-й армии за № 237 орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».

11 марта, когда Николай Гумилёв еще находился в расположении полка, все войска 10-й армии перешли в наступление, а 2-я кавалерийская дивизия била по тылам немцев. Можно себе только представить, как поэт жалел, что не может участвовать в этих рискованных и «интересных» набегах.

Попав в госпиталь, Гумилёв наверняка узнал сенсационную новость: 3 марта по распоряжению петроградского градоначальника закрыли «Бродячую собаку» якобы за незаконную продажу спиртных напитков. Но упорно ходили слухи, что кабачок прихлопнули из-за скандально известного выступления Владимира Маяковского, прочитавшего там 11 февраля стихотворение «Вам». Такой мотивировки придерживалась и газета «Петроградский курьер», вышедшая 5 марта.

Март для Гумилёва был поистине неудачным. 5 марта его, несмотря на то, что он воевал и защищал Отечество, официально отчислили из университета. В официальном документе сообщалось: «По постановлению Правления Императорского Петроградского университета от 5 марта 1915 г. Гумилёв Николай Степанович уволен из числа студентов университета, как не внесший плату за осень 1914 года». Какой парадокс! Гумилёв на фронте «оплачивал» своей жизнью спокойствие «тыловых крыс», а они посчитали это недостойной платой.

Оказавшись на излечении с серьезным заболеванием, поэт вовсе не собирался отлеживаться и бездельничать. За месяц он написал стихотворения «Больной» («В моем бреду одна меня томит…»), «Восьмистишие» («Ни шороха полночных далей…»), «Счастье» («Больные верят в розы майские…»), «Средневековье» («Прошел патруль, стуча мечами…»), «Сестре милосердия», «Ответ сестры милосердия», «Дождь» («Сквозь дождем забрызганные стекла…»).

В стихотворении «Сестре милосердия» (1915), которое Николай Степанович посвятил А. Л. Бенуа (дочери архитектора

Л. Н. Бенуа), звучат оптимистические нотки романтика:

И мечтаю я, чтоб сказали
О России, стране равнин:
— Вот страна прекраснейших женщин
И отважнейших мужчин.

Не случайно в «Ответе сестры милосердия» (1915) Гумилёв использует именно русские фольклорные мотивы и обращается к образу Ярославны. Современная гумилёвская Ярославна также ждет своего возлюбленного с победой и выхаживает раненого:

Так позвольте теми руками,
Что любили вы целовать,
Перевязывать ваши раны,
Воспаленный лоб освежать.

В лазарете Гумилёв познакомился с племянником будущего известного исследователя литературы Петра Бернгардовича Струве — редактором-издателем журнала «Русская мысль» Михаилом Александровичем Струве, который тоже попал на излечение.

Гумилёву приходят письма от поэтов с новостями.

22 марта вышла статья друга Гумилёва Сергея Ауслендера «Литературные заметки. Книга злости» в газете «День» о выпаде Б. Садовского против Гумилёва. В книге «Озимь» Б. Садовской писал: «…Как Вильгельм, создал Брюсов по образу и подобию своему целую армию лейтенантов и фельдфебелей поэзии, от Волошина и Лифшица, с кронпринцем Гумилёвым во главе. Как пушки у Круппа, отливаются по заказу современные стихи и даже целые сборники стихотворений». Сергей Ауслендер высказывает критику жесткую отповедь: «Валерий Брюсов не нуждается в моей защите. Его значение для поэзии русской слишком общепризнано, чтобы злобные выпады недавнего почитателя могли что-нибудь изменить. Но как близкий друг Гумилёва, я не могу не протестовать, не могу не крикнуть: „Стыдно, позорно то, что вы говорите, Садовской!“ Я не знаю, может быть, слова „Вильгельм“, „кронпринц“ произносит Садовской только с милой шутливостью, но для меня, для миллионов людей, для Гумилёва — это символы всего самого злого, что только существует. Николай Степанович Гумилёв в качестве добровольца нижнего чина в рядах российской армии борется с этим злом, угрожающим нашей жизни, свободе, культуре, борется со всем тем, что

олицетворяется для нас в Вильгельме и его бесславном кронпринце. И как раз в эти дни, когда появилась „Озимь“, где так походя ненавистным сравнением оскорбляется Гумилёв (тоже сотрудник Садовского по „Весам“), мы, друзья Гумилёва, с тревогой ждали от него известий, зная, что он участвует в самых жарких, кровопролитных сражениях, отражая врагов у Восточно-Прусской границы…Как русский литератор, как русский гражданин, он поступил плохо, выпустив в эти дни, когда нужно так много любви друг к другу, к России, к культуре, к литературе нашей, столько обличителей уже имевших, в эти великие дни мирового напряжения, выпустив книгу мелкой, нехорошей злости».

Гумилёв не мог не прочитать этой статьи. На Пасху Николай Степанович, видимо, сбежал из лазарета домой в Царское Село. В эти дни туда же попал и Ауслендер. Сергей Абрамович вспоминал потом о встрече с другом: «…на второй день Пасхи я решил поехать в Царское и неожиданно застал там Гумилёва. Он лежал в кровати весь белый, в белой рубашке, под белой простыней. Он приехал из-за болезни… Я очень обрадовался, но он был холоднее, чем соответствовало его стилю. Может быть, не хотел показаться слишком трогательным. Чувствовался какой-то разлад его с Анной Андреевной, как будто оборвались какие-то нити…» Верный друг Гумилёва сразу же уловил разлад. Как раз в это время Ахматова переживала сильное влечение к художнику Борису Анрепу, служившему тогда офицером. С ним Анну Андреевну познакомил все тот же недоброжелатель Гумилёва Н. В. Недоброво. 15 марта Ахматова пишет стихотворение «Сон», обращенное к Анрепу:

Я знала, я снюсь тебе.
Оттого не могла заснуть.
Мутный фонарь голубел
И мне указывал путь…

Тем не менее внешне Анна Андреевна казалась заботливой женой. Она навещала мужа в лазарете с первых дней.

В третьем номере «Аполлона» появляется поэма Ахматовой «У самого моря», обращенная к Н. Гумилёву и написанная в 1914 году. Анна Андреевна неоднократно признавалась впоследствии, что эта поэма — история их любви. В стихах она безжалостно умерщвляет своего мальчика — сероглазого царевича:

…«Он никогда не придет за мною,
Он никогда не вернется, Лена.

Умер сегодня мой царевич»…

28 марта Анна Андреевна была на благотворительном вечере «Поэты — воинам» вместе с А. А. Блоком, Ф. К. Сологубом, С. Есениным, И. Северяниным, М. Кузминым и С. Городецким в Зале армии и флота в Петрограде на Литейном. Ей очень шло белое платье со стюартовским воротником, она читала стихотворение «Вестей от него не получишь больше…». Остается только гадать, от кого: Анрепа или Гумилёва?

3 апреля свой день рождения Николай Степанович отметил в кругу семьи. Вместе с женой и сыном Львом они отправились в фотоателье и снялись все вместе на память. На снимке Гумилёв в унтер-офицерской форме с Георгиевским крестом. В этот же день он пишет стихотворение:

Я не прожил, я протомился
Половину жизни земной,
И, Господь, вот Ты мне явился
Невозможной такой мечтой.

Поэту исполнилось всего двадцать девять лет: отчего же так мрачны его мысли и почему он отмерял себе срок жизни в пятьдесят восемь лет?! Этого мы уже не узнаем…

На другой день Анна Андреевна пишет довольно мрачное стихотворение «Из памяти твоей я выну этот день…». Видимо, и в день рождения поэта между супругами произошла какая-то размолвка.

А еще через день Николай Степанович подписал семейную фотографию своей матери, зная, как она любит внука Льва: «Дорогой мамочке от Коли, Ани и Левы. Царское Село. 5 апреля 1915».

12 апреля Анна Андреевна по дороге в лазарет, на Троицком мосту, написала стихотворный отрывок «Думали, нищие мы, нету у нас ничего…». Придя к мужу, она все-таки решилась его прочитать. Николай Степанович одобрил и посоветовал печатать в таком виде, сказав, что это не отрывок, а законченное стихотворение.

15 апреля Гумилёв написал в госпитале две канцоны: «Словно ветер страны счастливо…» и «Об Адонисе с лунной красотой…». Эти канцоны свидетельствуют о душевном одиночестве поэта в это время. Никакие любовницы и случайные знакомые не могли ему заменить ту главную любовь, которая так долго и трудно умирала в его груди много лет.

Во второй канцоне Гумилёв приходит к печальному выводу:

Правдива смерть, а жизнь бормочет ложь.
И ты, о нежная, чье имя — пенье,
Чье тело — музыка, и ты идешь
На беспощадное исчезновенье…

Тут явная перекличка с поэмой Ахматовой «У синего моря». Поэт говорит о том же: любовь умерла. И кто в этом виноват, ему уже не важно. Но если Ахматова отпевает сероглазого царевича, то Гумилёв благословляет свою любовь на иную жизнь:

Чтоб и по смерти ты была жива,
Как юноши и девушки Эллады.

17 апреля художница Ольга Делла-Вос-Кордовская записывает в дневнике после встречи с Анной Андреевной: «Во вторник (14-го) вечером была у Ахматовой. Она встретила меня в халате с растрепанной шевелюрой. Закуталась в платок и съежилась на кушетке. Для нее это характерно… Про себя сказала, что печатается новое издание „Четок“, что у ее Левушки нянька ушла неожиданно и что она переезжает в Петроград, чтобы чаще навещать Николая Степановича. А бедный Левушка остается с бабушкой и без няньки…»

Вскоре Анна Андреевна поселяется на Пушкарской улице в сырой квартире и заболевает там бронхитом. Но постоянно навещает мужа. Это можно объяснить просто человеческой привязанностью и благодарностью за все, что муж сделал для нее. И, может быть, подсознательно она начинала чувствовать, что в смерти любви виновата больше, чем ее муж-романтик. Об этом автобиографическое стихотворение «Будем вместе, милый, вместе…», обращенное к мужу:

…Где венчались мы — не помним,
Но сверкала эта церковь
Тем неистовым сияньем,
Что лишь ангелы умеют
В белых крыльях приносить.

А теперь пора такая.
Страшный год и страшный город.
Как же можно разлучиться
Мне с тобой, тебе со мной?

28 апреля приказом № 286 по уланскому полку дополнительно был объявлен список награжденных за отличия в делах против неприятеля Георгиевскими крестами и медалями с указанием времени совершения подвига. Под № 59 значился унтер-офицер из вольноопределяющихся Николай Гумилёв, награжденный за бой и разведку 20 ноября 1914 года.

Пока Гумилёв находился в лазарете, он много времени уделял устройству литературных дел. 3 мая в утреннем выпуске «Биржевых ведомостей» появляется вторая часть «Записок кавалериста». 12 мая в этой же газете печатается новое стихотворение поэта «Ода Д'Аннунцио», где он заявляет гордо:

Опять волчица на столбе
Рычит в огне багряных светов…
Судьба Италии — в судьбе
Ее торжественных поэтов…

Поводом к написанию стихотворения послужила речь итальянского поэта Д'Аннунцио 5 мая 1915 года с призывом выступить против Германии. Это не просто стихотворение — это программа, о которой Гумилёв будет говорить и после войны, утверждая, что поэты должны управлять государствами.

19 мая в «Биржевых ведомостях» Гумилёв публикует третью часть «Записок кавалериста», а в двадцать втором номере «Голоса жизни» (27 мая) появляются стихотворения поэта «Рай» и «Есть так много жизней достойных…». «Новый журнал для всех» (№ 5 за 1915 год) публикует стихотворение Гумилёва «Словно ветер страны счастливой…». В четвертом-пятом номерах «Аполлона» появляется обзор современной поэзии Георгия Иванова, в котором он, приведя стихотворение Гумилёва «Как могли мы прежде жить в покое…», отмечает: «Н. Гумилёв первый написал стихотворение, прославляющее войну. Эти чудесные стихи жалко даже видеть напечатанными. Их бы распевать под „рокот трубы побед“».

Во второй половине мая здоровье Гумилёва улучшилось, и он стал просить освидетельствования и отправки на фронт. Однако лечащий врач убеждал его, что по состоянию здоровья он негоден к военной службе, но Гумилёв снова добился, чтобы его отправили в действующую армию. В преддверии военной жизни он пишет философско-религиозное стихотворение «Рай», которое его ученик и первый серьезный биограф Николай Оцуп назвал «чудесно искренним»:

…Георгий пусть поведает о том,
Как в дни войны сражался я с врагом…

С этими чувствами унтер-офицер Н. С. Гумилёв отправляется на фронт снова в уланский Ее Величества Александры Феодоровны полк. Полк за время его болезни вел арьергардные бои по прикрытию отхода 3-го армейского корпуса: с 13 по 20 марта в районе Пржистованцы и Клейвы, с 8 апреля по 11 мая в районе Моргово — Яворово — Даукше. С 26 апреля 1915 года уланы участвовали в Козлово-Рудской операции. Николай Гумилёв попал на фронт предположительно в конце мая — начале июня. 28 мая уланы проводили рекогносцировку высоты 48,0 у станции Мавруце, с 29 мая по 1 июня — рекогносцировку в районе станции Мавруце. Со 2 по 5 июня находились на позиции северо-западнее крепости Ковно.

Теперь Гумилёв на фронте является еще и спецкором газеты «Биржевые ведомости», где регулярно печатаются его фронтовые записки. Правда, они шли, видимо, по цензурным соображениям, с большим «опозданием» во времени. «Записки кавалериста», строго говоря, не были «фронтовыми корреспонденциями». Лирические отступления, образное описание баталий, пейзажные зарисовки и авторские ремарки делали их одной большой лирической повестью.

3 июня в утреннем выпуске «Биржевых ведомостей» печатается четвертая часть «Записок кавалериста», 6 июня появляется пятая часть «Записок…».

После 7 июня Анна Ахматова уехала вместе с сыном Львом в Слепнево. Николай Степанович с 6 по 21 июня находился на Мариампольской позиции вместе со своим полком, который вел бои за дефиле у Даукше, Новополе и в районе фольварка Яворов. Из писем Гумилёв узнает, что его брат Дмитрий назначен в распоряжение командира 1-й бригады 74-й пехотной дивизии.

24 июня уланы вместе со своей дивизией погрузились в эшелоны и, соблюдая условия секретности перемещения, двинулись в путь. 25 июня эшелоны улан прошли Ораны, Гродно, Мосты, Барановичи, Брест и 27 июня прибыли во Владимир-Волынский. Кавалерийская дивизия вошла в состав 4-го корпуса генерала Гилленшмидта и начала действовать на Северо-Западном фронте в составе 13-й армии генерала Горбатовского. Так как Гумилёв не знал планов командования и не мог сориентироваться, куда их дальше перебросят, домой он не писал. 28 июня Анна Андреевна жаловалась в письме Федору Сологубу: «Я живу с моим сыном в деревне, Николай Степанович

уехал на фронт, и мы о нем уже две недели ничего не знаем».

А полк все время менял места дислокации. 28–29 июня уланы стояли в деревне Селец, 30 июня и 1 июля переместились в Менчицы и начали вести разведку на линии Мышев — Старогрудь. 2 июля Гумилёв вместе со своим полком перешел в Ромуш на правый берег Западного Буга.

3 июля началось наступление русских войск на правый берег на Войславице. В наступлении принимали участие и уланы, однако австрийцы сумели отбить первый натиск. 4 июля поступил приказ русским войскам к десяти часам вечера отойти на позиции в районе Литовиж — Заболотце — Джарки. Уланы расположились в деревне Заболотце.

5 июля частям был зачитан приказ № 4015 командующего корпусом генерала Гилленшмидта о смене частей 3-й кавалерийской дивизии на участке реки Западный Буг от деревни Литовиж до деревни Джарки. Лейб-гвардии уланскому полку было приказано занять позиции от левого участка столба № 15 до восточной окраины деревни Джарки.

6 июля уланы вели бой у деревни Диоры и Джарки возле Западного Буга. Гумилёв считал его самым знаменательным в своей жизни. В «Записках кавалериста» он писал: «…Накануне зарядил затяжной дождь… усилился он и тогда, когда поздно вечером нас повели сменять сидевшую в окопах армейскую кавалерию… На поляне… мы спешились… Собственно говоря, окопа не было… Я взглянул в бойницу. Было серо, и дождь лил по-прежнему. Шагах в двух-трех (видимо, ошибка, в двухстах — трехстах метрах. — В. П.) передо мной копошился австриец, словно крот, на глазах уходящий в землю. Я выстрелил. Он присел в уже выкопанную ямку и взмахнул лопатой, чтобы показать, что я промахнулся… Но после третьего выстрела уже ни он, ни его лопата больше не показались. Другие австрийцы тем временем уже успели закопаться и ожесточенно обстреливали нас. Я переполз в ячейку, где сидел наш корнет… „Ура! — крикнул я. — Это наша артиллерия кроет по их окопам“. В тот же миг к нам просунулось нахмуренное лицо ротмистра. „Ничего подобного, — сказал он, — это их недолеты, они палят по нам. Сейчас бросятся в атаку. Нас обошли с левого фланга. Отходить к коням!“ Корнет и я, как от толчка пружины, вылетели из окопа… Когда все вышли, я выглянул в бойницу и до нелепости близко увидел перед собой озабоченную физиономию усатого австрийца, а за ним еще других. Я выстрелил не целясь и со всех ног бросился догонять моих товарищей… Я нагнал моих товарищей сейчас же за бугром. Они уже не могли бежать и под градом пуль и снарядов шли тихим шагом, словно прогуливаясь… Вскоре на

бугре показались и австрийцы. Они шли сзади шагах в двухстах и то стреляли, то махали нам руками, приглашая сдаться… Мы отстреливались через плечо, не замедляя шага. Слева от меня из кустов послышался плачущий крик: „Уланы, братцы, помогите!“ Я обернулся и увидел завязший пулемет… „Возьмите кто-ни-будь пулемет“, — приказал ротмистр. Конец его слов был заглушен громовым разрывом снаряда, упавшего среди нас. Все невольно прибавили шаг… я, обругав себя за трусость, быстро вернулся и схватился за лямку. Мне не пришлось в этом раскаяться, потому что в минуту большой опасности нужнее всего какое-нибудь занятие… Один снаряд грохнулся шагах в пяти от нас… Я заметил шагах в ста группу солдат, тащивших кого-то, но не мог бросить пулемета, чтобы поспешить им на помощь. Уже потом мне сказали, что это был раненый офицер нашего эскадрона… К счастью, теперь мы знаем, что он в плену и поправляется… Отходили мелкой рысью, грозя атакой наступавшему врагу. Наш тыльный дозорный ухитрился даже привезти пленного. Он ехал оборачиваясь, как ему и полагалось, и, заметив между стволов австрийца с винтовкой наперевес, бросился на него с обнаженной шашкой. Австриец уронил оружие и поднял руки. Улан заставил его подобрать винтовку — не пропадать же, денег стоит — и, схватив за шиворот и пониже спины, перекинул поперек седла, как овцу. Встречным он с гордостью объявил: „Вот, георгиевского кавалера в плен взял, везу в штаб“. Действительно, австриец был украшен каким-то крестом. Только подойдя к деревне, мы выпутались из австрийского леска и возобновили связь с соседями. Послали сообщить пехоте, что неприятель наступает превосходными силами, и решили держаться во что бы то ни стало до прибытия подкрепления. Цепь расположилась вдоль кладбища, перед ржаным полем, пулемет мы взгромоздили на дерево. Мы никого не видели и стреляли прямо перед собой в колеблющуюся рожь, поставив прицел на две тысячи шагов и постепенно опуская, но наши разъезды, видевшие австрийцев, выходящих из лесу, утверждали, что наш огонь нанес им большие потери. Пули все время ложились возле нас и за нами, выбрасывая столбики земли. Один из таких столбиков засорил мне глаз, который мне после долго пришлось протирать. Вечерело. Мы весь день ничего не ели и с тоской ждали новой атаки впятеро сильнейшего врага. Особенно удручающе действовала время от времени повторявшаяся команда: „Опустить прицел на сто!“ Это значило, что на столько же шагов приблизился к нам неприятель. Оборачиваясь, я позади себя сквозь сетку мелкого дождя и наступающие сумерки заметил что-то странное, как будто низко по земле стелилась туча. Или это

был кустарник, но тогда почему же он оказывался все ближе и ближе? Я поделился своим открытием с соседями. Они тоже недоумевали. Наконец, один дальнозоркий крикнул: „Это наша пехота идет“ — и даже вскочил от радостного волнения. Вскочили и мы, то сомневаясь, то веря и совсем забыв про пули. Вскоре сомненьям не было места. Нас захлестнула толпа невысоких, коренастых бородачей, и мы услыхали ободряющие слова: „Что, братики, или туго пришлось? Ничего, сейчас все устроим!“ — Они бежали мерным шагом (так пробежали десять верст) и нисколько не запыхались, на бегу свертывали цигарки, делились хлебом, болтали. Чувствовалось, что ходьба для них естественное состояние. Как я их любил в тот миг, как восхищался их грозной мощью. <…> Вечером, после уборки лошадей, мы сошлись с вернувшимися пехотинцами. „Спасибо, братцы, — говорили мы, — без вас бы нам была крышка!“ — „Не на чем, — отвечали они, — как вы до нас-то держались? Ишь, ведь их сколько было! Счастье ваше, что не немцы, а австрийцы“. Мы согласились, что это действительно было счастье».

Бой в самом деле был очень тяжелым, и главный удар австрийцев пришелся на участок обороны, который занимал эскадрон, где воевал Николай Гумилёв. После отхода к деревне Заболотце бой продолжался до подхода нашей пехоты. За этот бой Н. Гумилёв был представлен к награде, которую получил уже в конце года.

Командир полка генерал-майор Княжевич вспоминал об этом памятном дне 6 июля: «…полк занимал участок оборонительных позиций на переправах через р. Зап. Буг от д. Джарки до надп. 15. Задача полка заключалась в обороне переправ и обеспечении позиции у д. Заболотце до подхода пехоты. Ротмистр князь Кропоткин с эскадроном занимал крайний левый фланг полкового участка у д. Джарки, наиболее ответственный по условиям местности, как кратчайшее направление от противника в охват левого фланга полка. Ночью противник повел наступление по всему фронту, причем особенно энергично на участок князя Кропоткина, с явным намерением сбить наш левый фланг и, зайдя в тыл полку, отрезать путь отступления у д. Заболотце. Оценив обстановку, ротмистр князь Кропоткин оказал противнику длительное упорное сопротивление… О серьезности операции противника свидетельствует результат контратаки пехоты, которой было взято под Заболотцами 14 офицеров и 840 нижних чинов одними пленными».

Николай Гумилёв сидел в одном окопе с корнетом князем Кропоткиным. Князь вспоминал: «…в 2 ч. 30 м. ночи противник,

открыв убийственный огонь, начал переправу… С рассветом выяснилось, что численность наступающего противника доходит до одного батальона пехоты. К этому времени подоспели посланные нам на подкрепление один взвод улан при двух пулеметах. Противник неоднократно пытался приблизиться к нашим окопам, но каждый раз ружейным и пулеметным огнем был отброшен. В 7 часов утра выяснилось, что противник обходит наш левый фланг, но командир эскадрона, послав туда имевшееся в эскадроне ружье-пулемет, приказал все-таки держаться… Отойдя к 9 ч. утра на указанную позицию, мы сдерживали австрийцев до вечера, когда нас сменила пехота». Полковник уланского полка князь Андроников, вспоминая об этом бое, говорил: «Опрошенные пленные австрийские офицеры… показали, что почти все они проходили Джарки, куда вследствие важности направления и серьезности сопротивления была направлена большая часть пехоты, участвовавшей в ночном наступлении…» В окопах улан сменили драгуны из 3-го драгунского Новороссийского полка. Раненый офицер, попавший в плен, о котором писал Н. Гумилёв, — это поручик Сергей Владимирович Хлебников.

Подвиг улан по достоинству оценят значительно позже. В период краткой передышки, в тот же день Гумилёв написал письмо жене из Заболотца о фронтовых событиях, интересовался здоровьем сына: «Я тебе писал, что мы на новом фронте. Мы были в резерве, но дня четыре тому назад перед нами потеснили армейскую дивизию, и мы пошли поправлять дело. Вчера с этим покончили, кое-где выбили неприятеля и теперь опять отошли валяться на сене и есть вишни. С австрийцами много легче воевать, чем с немцами. Они отвратительно стреляют… Что же ты мне не прислала новых стихов? У меня, кроме Гомера, ни одной стихотворной книги, и твои новые стихи для меня была бы такая радость… Сам я ничего не пишу — лето, война и негде, хаты маленькие и полны мух. Целуй Львенка, я о нем часто вспоминаю и очень люблю. В конце сентября постараюсь опять приехать, может быть, буду издавать „Колчан“…»

Интересно, что и в ходе таких жестоких боев, когда он мог быть убит в день тысячу раз, поэт думает об издании новых книг и строит новые творческие планы, интересуется стихами Анны. 6 июля он пишет письмо Федору Сологубу, сообщает о том, что всю ночь участвовал в ожесточенных перестрелках с австрийцами, благодарит за теплый отзыв о его стихах: «До сих пор ни критики, ни публика не баловали меня выражением своей симпатии. И мне всегда было легче думать о себе как о путешественнике или воине, чем как о поэте, хотя, конечно, искусство для меня дороже

и войны, и Африки. Ваши слова очень помогут мне в трудные минуты сомнения, которые, вопреки Вашему предположению, бывают у меня слишком часто».

С 7 по 11 июля уланы после трудных боев находились в резерве на отдыхе в деревне Биличи. 11 июля начался отход русской армии и уланы перешли на левый вражеский берег Буга, чтобы обеспечивать отход наших частей.

14 июля Н. Гумилёв участвовал в боях вместе с уланским полком у деревни Копылов, уланы поддерживали связь между цепями пехоты. А через день награждение брата поэта Д. С. Гумилёва орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» было Высочайше утверждено.

15 июля уланский полк отошел в резерв в Лушков. В полк пришло распоряжение: «Ввиду предполагавшегося ночью наступления полки бригады были вызваны для уничтожения и сжигания запасов фуража и хлеба…» Гумилёв записывает в дневнике: «Пехота ушла, немцев не было. Темнело. Мы шагом поехали на бивак и по дороге поджигали скирды хлеба, чтобы не оставался врагу. Жалко было подносить огонь к этим золотым грудам, жалко было топтать конями хлеб на корню, он никак не хотел загораться…»

В середине июля в Слепневе Анна Андреевна заболела туберкулезом, и на семейном совете решено было отправить ее лечиться в Крым. Она жаловалась в письме из Слепнева Ан. Н. Чеботаревской: «Лето у меня тяжелое… Николая Степановича перевели куда-то на юг, и он теперь пишет еще реже… С удовольствием посылаю Вам стихотворение „Молитва“ для альманаха „Война“».

16 июля Ахматова из Слепнева посылает мужу свои стихи «Не хулил меня, не славил…» и «Ведь где-то есть простая жизнь и свет…».

По странному стечению обстоятельств и Николай Степанович именно в этот день написал жене с фронта из Лушкова. На конверте надпись: за отсутствием распечатать Анне Ивановне[56]: «Дорогая Аничка, пишу тебе и не знаю, в Слепневе ли ты или уже уехала. Когда поедешь, пиши мне с дороги, мне очень интересно, где ты и что делаешь. Мы все воюем, хотя теперь и не так ожесточенно. За 6-е и 7-е наша дивизия потеряла до 300 человек при 8 офицерах, и нас перевели верст за пятнадцать в сторону. Здесь тоже беспрерывный бой, но много пехоты и мы то в резерве у нее, то занимаем полевые караулы и т. д. Здесь каждый день берут по нескольку сот пленных все германцев, а уж убивают без счету, здесь отличная артиллерия и много снарядов. Солдаты

озверели и дерутся прекрасно. По временам к нам попадают газеты, все больше „Киевская мысль“, и не очень поздняя, сегодня, например, от 14-го. Погода у нас неприятная: дни не жаркие, почти холодные, по временам проливные дожди. Да и работы много — вот уж 16 дней ни одной ночи не спали полностью, все урывками. Но, конечно, несравнимо с зимой. Я все читаю Илиаду; удивительно подходящее чтение. У ахеян тоже были и окопы и загражденья и разведка. А некоторые описания, сравнения и замечания сделали бы честь любому модернисту. Нет, не прав был Анненский, говоря, что Гомер как поэт умер. Помнишь, Аничка, ты была у жены полковника Маслова, его только что сделали флигель-адъютантом. Целую тебя, моя Аня, целуй маму, Леву и всех; погладь Молли. Твой всегда Коля. Куры и гуси!»

Жизнь тем временем на фронте текла своим чередом, о чем говорили скупые строки хроники тех лет. 17 июля уланский полк вышел из Лушкова и остановился в Скричичине. 18–19 июля уланы были в Погулянках. 20 июля уланский полк прибыл в Штун.

21 июля Гумилёв вместе с полком входил в Ровно. 22–27 июля уланы находились в Столенских Смолярах.

В это время (22 июля) Ахматова приехала в Петроград и сразу отправилась в Царское Село. В начале августа Анна Андреевна побывала на приеме у известного профессора Ланге, и тот определил у нее туберкулезный процесс в правом верхнем легком. Приговор был однозначным: срочно ехать в Крым на лечение.

Пришли во второй половине лета известия и от старшего брата поэта. 24 июля Д. С. Гумилёв был прикомандирован к 6-му Финляндскому полку и назначен исполняющим должность начальника конвоя штаба 2-й Финляндской стрелковой дивизии.

25 июля Н. С. Гумилёв пишет жене из селения Столенские Смоляры, что получил письмо ее и мамы 16 июля. Сообщает, что уже несколько дней на фронте царит затишье, но он больше чем когда-либо верит в победу и хвалит присланные ею стихи. О летнем своем быте сообщает: «У нас не жарко, изредка легкие дожди, в общем, приятно. Живем мы сейчас на сеновале и в саду, в хаты не хочется заходить, душно и грязно. Молока много, живности тоже, беженцы продают очень дешево. Я каждый день ем то курицу, то гуся, то поросенка, понятно, все вареное. Папирос, увы, нет и купить негде. Ближайший город верст за восемь — десять. Нам прислали махорки, но нет бумаги. Это грустно… Стихи твои, Аничка, очень хороши…»

28–30 июля уланский полк находился в Забужье. 31 июля, к

вечеру, произошло первое после отхода столкновение с частями противника. В журналах военных донесений 2-й и 5-й батарей записано: «31 июля. В 6 ч. утра батарея выступила на присоединение к бригаде, к которой и пошла, идя за головным Л.-Гв. Уланским полком на д. Ольшанку». Бригада, в которую входил уланский полк, обороняла участок деревень Ольшанка и Кошары. Утром с передовыми разъездами улан в Кошары прибыл и Н. Гумилёв. Напротив Кошар на другом берегу Буга находилась деревня Собибор, а на ее окраине красивый усадебный дом. В нем и побывал в этот день поэт, записав в дневнике: «Мы с восхищением обозревали еще не затронутую войной местность… С лесистого пригорка нам отлично было видно деревню на том берегу реки. Перед ней уже кружили наши разъезды. Но вот оттуда послышалась частая стрельба, и всадники карьером понеслись назад через реку, так что вода поднялась белым клубом от напора лошадей. Тот край деревни был занят, нам следовало узнать, не свободен ли этот край. Мы нашли брод, обозначенный вехами, и переехали реку, только чуть замочив подошвы сапог. Рассыпались цепью и медленно поехали вперед, осматривая каждую ложбину и сарай. Передо мной в тенистом парке возвышался великолепный помещичий дом с башнями, верандой, громадными венецианскими окнами… Хорошо было в этом доме! На блестящем паркете залы я сделал тур вальса со стулом — меня никто не мог видеть, — в маленькой гостиной посидел на мягком кресле и погладил шкуру белого медведя, в кабинете оторвал уголок кисеи, закрывавший картину… На мгновенье у меня мелькнула мысль взять эту и другие картины с собой. Без подрамников они заняли бы немного места. Но я не мог угадать планов высшего начальства; может быть, эту местность решено ни за что не отдавать врагу… Я вышел, сорвал в саду яблоко и, жуя его, поехал дальше. Нас не обстреляли, и мы вернулись назад. А через несколько часов я увидел большое розовое зарево и узнал, что это подожгли тот самый помещичий дом, потому что он заслонял обстрел из наших окопов. Вот когда я горько пожалел о своей щепетильности относительно картин». Уланы держали оборону, а наши артиллеристы вели огонь по деревне, занятой противником, и сожгли помещичий дом, где побывал поэт. На войне как на войне.

Первые дни августа были для улан неудачными. Снова русская армия отступала. Началась кочевая жизнь.

2 августа уланы проходили через Новосады, 3 августа были в Черске, 4 августа — в Кобелке, 5-го — в Отоках, с 6 по 10 августа занимали оборону от фольварка Колпин до деревни Отоки, штаб находился в деревне Медио. Именно в это время Гумилёв на

несколько дней уезжает в Петроград и останавливается в Царском Селе во флигеле их дома. Вместе с Анной Андреевной он побывал на вечере Ф. Сологуба, устроенном в пользу ссыльных большевиков. Скорее всего, до 11 августа поэт уже вернулся на фронт.

8 августа кавалерийская дивизия вышла из состава 2-го Кавказского корпуса и вошла в состав 29-го армейского корпуса. Уланы получили новое задание — прикрывать отход частей 29-го корпуса.

11 августа был для улан памятным днем — они прощались с Бугом. Генерал-майор Княжевич приказал артиллеристам дать четыре очереди беглого огня. После этого он с хором трубачей полка уехал. Так началось отступление русской армии от Буга на Корбин и на Слуцк. А 11–12 августа Николай Гумилёв наблюдал со своим полком пожар Брест-Литовска. В это время уланы прикрывали отступление корпуса и вели разведку на участке 27-й пехотной дивизии, вошедшей в резерв командующего 3-й армией. 13-го уланы были уже в Радваничах, 14 августа вошли в Борисово.

А днем раньше Ахматова вынуждена была вернуться из Крыма в Петроград. Она получила телеграмму от Елены Ивановны Страннолюбской (фактической жены А. А. Горенко) о том, что отец болен. Двенадцать дней Анна Андреевна находилась при умирающем Андрее Антоновиче, а 25 августа его не стало. 27 августа состоялись его похороны на Вол-ковом кладбище в Петрограде.

Вторая половина августа также была неспокойной — уланы перемешались вдоль линии фронта. 15-й и 16-й полки стояли в Кустовичах, 17 августа — в Воротно, 18 августа — в Углянах.

С 21 по 25 августа уланский полк стоял в Ново-Песках и занимал позиции со второй батареей в районе Стригин — Здитово. 24 августа сторожевое охранение улан подверглось обстрелу неприятеля.

25 августа в 11 часов вечера 2-я батарея по тревоге оседлана и с тремя эскадронами улан пошла по шоссе на северо-восток, сторожевое охранение улан было у реки Ясельды. Именно в этот день 1-я бригада была заменена частями 45-й дивизии. Н. Гумилёв писал об этом в своем дневнике: «На ночь мы опять пошли в окопы. Немцы узнали, что здесь только кавалерия, и решили во что бы то ни стало форсировать переправу до прихода нашей пехоты… Самые трогательные и счастливые часы это — часы перед битвой. Караульный пробежал по окопу, нарочно по ногам спящих, и, для верности толкая их прикладом, повторял: „Тревога, тревога“… Несколько минут трудно было что-нибудь

понять. Стучали пулеметы, мы стреляли без перерыва по светлой полосе воды, и звук наших выстрелов сливался со страшно участившимся жужжаньем немецких пуль. Мало-помалу все стало стихать, послышалась команда: „Не стрелять“, — и мы поняли, что отбили первую атаку. После первой минуты торжества мы призадумались, что будет дальше. Первая атака обыкновенно бывает пробная, по силе нашего огня немцы определили, сколько нас, и вторая атака, конечно, будет решительная, они могут выставить пять человек против одного. Отхода нет, нам приказано держаться, что-то останется от эскадрона? Поглощенный этими мыслями, я вдруг заметил маленькую фигурку в серой шинели, наклонившуюся над окопом и затем легко спрыгнувшую вниз. В одну минуту окоп уже кишел людьми, как городская площадь в базарный день. — „Пехота?“ — спросил я. — „Пехота. Вас сменять“, — ответило сразу два десятка голосов. — „А сколько вас?“ — „Дивизия“. — Я не выдержал и начал хохотать по-настоящему, от души. Так вот что ожидает немцев, сейчас пойдущих в атаку, чтобы раздавить один-единственный несчастный эскадрон. Ведь их теперь переловят голыми руками. Я отдал бы год жизни, чтобы остаться и посмотреть на все, что произойдет…»

С 25 на 26 августа уланский полк за ночь прошел около пятидесяти верст и вошел в деревню Озерец. 2-й гвардейской кавалерийской дивизии приказали прикрывать правый фланг 31-го армейского корпуса.

Приближающаяся осень 1915 года была отмечена в семье Гумилёвых двумя событиями. Анна Андреевна не поехала больше в Крым. Позже она вспоминала: «После его смерти (отца. — В. П.) заболела и слегла уже на всю зиму… 1915–1916. По утрам вставала, совершала туалет, надевала шелковый пеньюар и ложилась опять». Наряду с плохой новостью Гумилёв получил и хорошую: 27 августа Высочайшим приказом брат поэта Дмитрий Гумилёв за отличия в делах против неприятеля получил еще один орден — на этот раз Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

Сентябрь, как и август, был для улан насыщен событиями и перемещениями полка. 1 сентября уланы пришли в деревню Козики — им была поставлена задача проверить, не перерезали ли немцы единственную в той лесистой и болотистой местности дорогу, идущую через Козики и далее через Великую Гать, Святую Волю, Телеханы, Озаровичи, Логишин. Уланы остановились у домика лесника и тут заметили немцев. Гумилёв писал об этом в «Записках…»: «Вот из черневшего вдали леса выехало несколько всадников в касках. Мы решили подпустить их совсем близко, но

наш секрет, выдвинутый вперед, первый открыл по ним пальбу, свалил одного человека с конем, другие ускакали. Опять стало тихо и спокойно, как бывает только в теплые дни ранней осени. Перед этим мы больше недели стояли в резерве, и неудивительно, что у нас играли косточки. Четыре унтер-офицера, — и я в том числе, — выпросили у поручика разрешение зайти болотом, а потом опушкой леса во фланг германцам и, если удастся, немного их пугнуть. Получили предостережение не утонуть в болоте и отправились. С кочки на кочку, от куста к кусту, из канавы в канаву мы, наконец, незамеченные немцами, добрались до перелеска, в шагах пятидесяти от опушки. Дальше, как широкий светлый коридор, тянулась низко выкошенная поляна. По нашим соображениям в перелеске непременно должны были стоять немецкие посты, но мы положились на воинское счастье и, согнувшись, по одному быстро перебежали поляну. Забравшись в самую чащу, передохнули и прислушались. Лес был полон неясных шорохов. Шумели листья, щебетали птицы, где-то лилась вода. Понемногу стали выделяться и другие звуки, стук копыта, роющего землю, звон шашки, человеческие голоса. Мы крались, как мальчишки, играющие в героев Майн Рида или Густава Эмара, друг за другом, на четвереньках, останавливаясь каждые десять шагов. Теперь мы были уже совсем в неприятельском расположении. Голоса слышались не только впереди, но и позади нас. Но мы еще никого не видели. Не скрою, что мне было страшно тем страхом, который лишь с трудом побеждается волей. Хуже всего было то, что я никак не мог представить себе германцев в их естественном виде. Мне казалось, что они то, как карлики, выглядывают из-под кустов злыми крысиными глазками, то огромные, как колокольни, и страшные, как полинезийские боги, неслышно раздвигают верхи деревьев и следят за нами с недоброй усмешкой. А в последний миг крикнут: „А, а, а!“ как взрослые, пугающие детей. Я с надеждой взглядывал на свой штык, как на талисман против колдовства, и думал, что сперва всажу его, в карлика ли, в великана ли, а потом пусть будет что будет. Вдруг ползший передо мной остановился, и я с размаху ткнулся лицом в широкие и грязные подошвы его сапог. По его лихорадочным движениям я понял, что он высвобождает из ветвей свою винтовку. А за его плечом на небольшой, темной поляне, шагах в пятнадцати, не дальше, я увидел немцев. Их было двое, очевидно, случайно отошедших от своих: один — в мягкой шапочке, другой — в каске, покрытой суконным чехлом. Они рассматривали какую-то вещицу, монету или часы, держа ее в руках. Тот, что в каске, стоял ко мне лицом, и я запомнил его рыжую бороду и морщинистое лицо прусского крестьянина.

Другой стоял ко мне спиной, показывая сутуловатые плечи. Оба держали у плеча винтовки с примкнутыми штыками. Только на охоте за крупными зверьми, леопардами, буйволами, я испытал то же чувство, когда тревога за себя вдруг сменяется боязнью упустить великолепную добычу. Лежа, я подтянул свою винтовку, отвел предохранитель, прицелился в самую середину туловища того, кто был в каске, и нажал спуск. Выстрел оглушительно пронесся по лесу. Немец опрокинулся на спину, как от сильного толчка в грудь, не крикнув, не взмахнув руками, а его товарищ, как будто только того и дожидался, сразу согнулся и, как кошка, бросился в лес. Над моим ухом раздались еще два выстрела, и он упал в кусты, так что видны были только его ноги. „А теперь айда!“ — шепнул взводный с веселым и взволнованным лицом, и мы побежали. Лес вокруг нас ожил. Гремели выстрелы, скакали кони, слышалась команда на немецком языке. Мы добежали до опушки, но не в том месте, откуда пришли, а много ближе к врагу. Надо было перебежать к перелеску, где, по всей вероятности, стояли неприятельские посты. После короткого совещания было решено, что я пойду первым, и если буду ранен, то мои товарищи, которые бегали гораздо лучше меня, подхватят меня и унесут. Я наметил себе на полпути стог сена и добрался до него без помехи. Дальше приходилось идти прямо на предполагаемого врага. Я пошел, согнувшись, и ожидая каждую минуту получить пулю вроде той, которую сам только что послал неудачливому немцу. И прямо перед собой в перелеске я увидел лисицу. Пушистый красновато-бурый зверь грациозно и неторопливо скользил между стволов. Не часто в жизни мне приходилось испытывать такую чистую, простую и сильную радость. Где есть лисица, там, наверное, нет людей. Путь к нашему отступлению свободен. Когда мы вернулись к своим, оказалось, что мы были в отсутствии не более двух часов. Летние дни длинны, и мы, отдохнув и рассказав о своих приключениях, решили пойти снять седло с убитой немецкой лошади. Она лежала на дороге перед самой опушкой. С нашей стороны к ней довольно близко подходили кусты. Таким образом, прикрытие было и у нас, и у неприятеля. Едва высунувшись из кустов, мы увидели немца, нагнувшегося над трупом лошади. Он уже почти отцепил седло, за которым мы пришли. Мы дали по нему залп, и он, бросив все, поспешно скрылся в лесу. Оттуда тоже загремели выстрелы. Мы залегли и принялись обстреливать опушку. Если бы немцы ушли оттуда, седло и все, что в кобурах при седле, дешевые сигары и коньяк, все было бы наше. Но немцы не уходили. Наоборот, они, очевидно, решили, что мы перешли в общее наступление, и стреляли без передышки. Мы пробовали

зайти им во фланг, чтобы отвлечь их внимание от дороги, они послали туда резервы и продолжали палить. Я думаю, что, если бы они знали, что мы пришли только за седлом, они с радостью отдали бы нам его, чтобы не затевать такой истории. Наконец мы плюнули и ушли. Однако наше мальчишество оказалось очень для нас выгодным. На рассвете следующего дня, когда можно было ждать атаки и когда весь полк ушел, оставив один наш взвод прикрывать общий отход, немцы не тронулись с места, может быть, ожидая нашего нападения, и мы перед самым их носом беспрепятственно подожгли деревню, домов в восемьдесят, по крайней мере. А потом весело отступали, поджигая деревни, стога сена и мосты, изредка перестреливаясь с наседавшими на нас врагами и гоня перед собою отбившийся от гуртов скот. В благословенной кавалерийской службе даже отступление может быть веселым».

В этих записках поэта о случайной схватке как нельзя более ярко проявился характер охотника Гумилёва. Он и в форме улана остался тем мальчишкой, африканским путешественником, для которого риск и удача — две большие радости на фронте. Действительно, для него война в этот первый ее период была хоть и тяжелым и рискованным, но увеселительным ремеслом. Как в мирное время он отдавал всего себя стихам и литературе, так и теперь он весь был в рискованных эскападах и разъездах. Да разве мог быть другим романтик и поэт в легком уланском седле, когда жизнь и смерть каждый день уравнены в правах?

Со 2 по 4 сентября уланский полк находился в Логишине. Снова уланы отправлялись в разъезды, вели наблюдения к западу от Огинского канала и прикрывали участок дороги Телеханы — Хотеничи, Выгонощи — Хотеничи.

5 сентября кавалерийскую дивизию разделили на два отряда, так как готовилось новое наступление русских войск. Уланы вошли в состав отряда генерал-майора Шевича. 7 сентября отряд Шевича получил приказ начать наступление на позиции противника. Уланы в соответствии с планом операции должны были со взводом артиллерии занять деревню Гортоль.

Уланский полк с 5 по 9 сентября находился в деревне Рудне. 8 сентября противник начал наступление на русские позиции и занял деревню Речки. Отряд генерала Шевича получил приказ выбить неприятеля из Речки. До шести вечера шел бой, и противник покинул деревню. В этот же день Гумилёв записал в своем фронтовом дневнике: «…была большая радость, так как вернулись два улана, захваченные пол-года назад германцами в плен. Уланы сбежали из плена и вернулись в свой полк». О

подвиге улан было объявлено в приказе № 5687 по 2-й гвардейской кавалерийской дивизии: «8 сентября возвратились в полк бежавшие из плена уланы Ея Величества взводные унтер-офицеры № 6 эскадрона Сигизмунд Кочмаровский и Спиридон Сибилев… взводный Кочмаровский был ранен пулями в бедро и руку… По пути они резали все встречавшиеся провода и у дер. Даукше с криком „ура“ бросились с тыла на германский полевой караул, обратив его в бегство, затем вышли на наш полевой караул 26-го Сибирского стрелкового полка, дав весьма ценные сведения о противнике». Гумилёв, глядя на героя-улана, думал: «Есть люди, рожденные только для войны, и в России таких людей не меньше, чем где бы то ни было. И если им нечего делать „в гражданстве северной державы“, то они незаменимы в „ее воинственной судьбе“».

А на следующий день 31-й армейский корпус перешел в наступление, и бригаде генерала Шевича было приказано наступать по правому флангу. Уланский полк получил задачу: со взводом артиллерии взять деревню Вульку Ланскую.

Однако слишком поспешное наступление русских войск имело и свою обратную сторону. 10 сентября эскадрон, где служил Гумилёв, неожиданно попал под артиллерийский огонь со стороны нашей батареи. Уланы стояли возле домика лесника в полутора верстах от деревни Вулька Ланская. В приказе по полку за № 421 за этот день сообщалось, что был убит состоящий при эскадроне Ея Величества обозный Демьян Черкасов, ранены два улана и убиты три лошади. В «Записках кавалериста» Гумилёв так описывал этот день: «…Неожиданно пришел приказ остановиться, и мы растрепали ружейным огнем не один зарвавшийся немецкий разъезд. Тем временем наша пехота, неуклонно продвигаясь, отрезала передовые немецкие части. Они спохватились слишком поздно. Одни выскочили, побросав орудия и пулеметы, другие сдались, а две роты, никем не замеченные, блуждали в лесу, мечтая хоть ночью поодиночке выбраться из нашего кольца. Вот как мы их обнаружили. Мы были разбросаны эскадронами в лесу в виде резерва пехоты. Наш эскадрон стоял на большой поляне у дома лесника. Офицеры сидели в доме, солдаты варили картошку, кипятили чай. Настроение у всех было самое идиллическое. Я держал в руках стакан чаю и глядел, как откупоривают коробку консервов, как вдруг услышал оглушительный пушечный выстрел. „Совсем как на войне“, — пошутил я, думая, что это выехала на позицию наша батарея. А хохол, эскадронный забавник, — в каждой части есть свои забавники, — бросился на спину и заболтал руками и ногами, представляя крайнюю степень испуга. Однако вслед за выстрелом

послышался дребезжащий визг, как от катящихся по снегу саней, и шагах в тридцати от нас, в лесу, разорвалась шрапнель. Еще выстрел, и снаряд пронесся над нашими головами. И в то же время в лесу затрещали винтовки, и вокруг нас засвистали пули. Офицер скомандовал: „К коням“, но испуганные лошади уже метались по поляне или мчались по дороге. Я с трудом поймал свою, но долго не мог на нее вскарабкаться, потому что она оказалась на пригорке, а я — в лощине. Она дрожала всем телом, но стояла смирно, зная, что я не отпущу ее прежде, чем не вспрыгну в седло. Эти минуты мне представляются дурным сном. Свистят пули, лопаются шрапнели, мои товарищи проносятся один за другим, скрываясь за поворотом, поляна уже почти пуста, а я все скачу на одной ноге, тщетно пытаясь сунуть в стремя другую. Наконец я решился, отпустил поводья и, когда лошадь рванулась, одним гигантским прыжком оказался у нее на спине. Скача, я все высматривал командира эскадрона. Его не было. Вот уже передние ряды, вот поручик, кричащий: „В порядке, в порядке“. Я подскакиваю и докладываю: „Штаб-ротмистра нет, ваше благородие!“ Он останавливается и отвечает: „Поезжайте, найдите его“. Едва я проехал несколько шагов назад, я увидел нашего огромного и грузного штаб-ротмистра верхом на маленькой гнеденькой лошаденке трубача, которая подгибалась под его тяжестью и трусила, как крыса. Трубач бежал рядом, держась за стремя. Оказывается, лошадь штаб-ротмистра умчалась при первых же выстрелах, и он сел на первую ему предложенную. Мы отъехали с версту, остановились и начали догадываться, в чем дело. Вряд ли бы нам удалось догадаться, если бы приехавший из штаба бригады офицер не рассказал следующего: они стояли в лесу без всякого прикрытия, когда перед ними неожиданно прошла рота германцев. И те, и другие отлично видели друг друга, но не открывали враждебных действий: наши — потому, что их было слишком мало, немцы же были совершенно подавлены своим тяжелым положением. Немедленно артиллерии был дан приказ стрелять по лесу. И так как немцы прятались всего шагах в ста от нас, то неудивительно, что снаряды летели и в нас. Сейчас же были отправлены разъезды ловить разбредшихся в лесу немцев. Они сдавались без боя, и только самые смелые пытались бежать и вязли в болоте. К вечеру мы совсем очистили от них лес и легли спать со спокойной совестью, не опасаясь никаких неожиданностей».

Никаких неожиданностей в перемещении полка до конца года тоже не было, он дислоцировался вдоль Огинского канала до 1916 года. Однако 20 сентября стало для полка знаменательным днем: сдал свои полномочия командир полка генерал-майор

Дмитрий Максимович Княжевич, который командовал уланами с 26 декабря 1913 года и вынес с ним все тяготы первых военных лет. Княжевич был назначен командиром бригады, в которую входил уланский полк, так что расставание было не насовсем. Полк принял помощник командира полка полковник Михаил Евгеньевич Маслов. А еще через два дня в полку был объявлен приказ № 433, в котором говорилось: «Командированного в школу прапорщиков унтер-офицера из охотников эскадрона Ея Величества Николая Гумилёва исключить с приварочного и провиантского довольствия с 20 сего сентября и с денежного довольствия с 1 октября с. г.». Так окончилась служба поэта в уланском полку Ея Величества, так окончилась служба охотника-вольноопределяющегося и унтер-офицера. Впереди была совершенно новая военная стезя.

Кроме «Записок кавалериста» в уланском полку осталась еще одна память о Гумилёве. Он написал «Мадригал полковой даме» (1915). Многие современники упрекали поэта за этот мадригал, а В. Пяст написал даже пародию. В самом деле, мадригал прост:

Как гурия в магометанском
Эдеме в розах и шелку,
Так вы в лейб-гвардии уланском
Ее Величества полку.

Однако не следует забывать, что Гумилёв и в тяжелых фронтовых условиях оставался романтиком, поэтом и кавалером.

Во второй половине сентября Гумилёв уже был в Петрограде и встретился с Владимиром Шилейко. Не теряя зря времени, Николай Степанович решил не только получить офицерские погоны, но и наверстать упущенное в литературе.

В конце сентября к Гумилёвым в Царское Село приехал руководитель издательства «Альциона» А. М. Кожебаткин. Он хотел договориться об издании новой книги стихов Анны Ахматовой, но предложил и Николаю Степановичу издать новую книгу стихов. Тот дал согласие, тем более что у него книга уже сложилась, он предполагал назвать ее в древнерусском стиле «Колчан». Тут же Николай Степанович предложил издателю заняться произведениями и других членов Цеха поэтов.

Гумилёв возобновляет заседания Цеха поэтов, проводит литературные встречи и собрания, на которых бывают М. Лозинский, О. Мандельштам, В. Шилейко, М. Струве, М. Тумповская и многие другие. В это время Николай Степанович близко сходится не только с поэтессой Марией Тумповской, но и с другой молодой поэтессой, Марией Левберг, с которой

познакомился этой же осенью на заседании кружка Случевского. Последней он посвящает стихотворения «Змей» и «Ты, жаворонок в горной высоте…» (написанные в конце 1915-го — начале 1916 года). Интересно, что в «Змее» Гумилёв обращается к русскому фольклору.

О романе Гумилёва с Тумповской остались интересные воспоминания поэтессы Ольги Мочаловой: «Маргарита Марьяновна Тумповская… Если уж не вникать в ее собственное литературное творчество, оставившее следы в печати, упомяну прекрасную статью в „Аполлоне“ о творчестве Н. С. Гумилёва. Гумилёв посвятил своей возлюбленной не одно стихотворение, не помню всего, но назову „Сентиментальное путешествие“. Маргарита (Мага, называли ее близкие) немало рассказывала мне о своем романе с Гумилёвым». Ольга Мочалова передает рассказ самой Тумповской: «Он полюбил меня, думая, что я полька, но, узнав о моем еврействе, не имел против… Был случай, когда я задумалась с ним разойтись и написала ему прощальное, разрывное письмо. Он находился тогда в госпитале, болел воспаленьем легких. Несмотря на запрет врача, приехал ко мне тотчас, подвергая себя опасности любого обострения. Не знаю, разошлись ли мы с ним тогда, или сошлись еще больше…»

В «Аполлоне» (№ 10 за 1915 год) снова появляются рецензии Гумилёва на выходящие поэтические книги.

С 9 октября 1915-го по 11 января 1916 года Гумилёв публикует в «Биржевых ведомостях» «Записки кавалериста» (с 6-й по 17-ю главу). И на этом прекращается эта интереснейшая летопись военных событий улана Первой мировой войны. А жаль. Наверное, именно такая военная хроника и должна воспитывать настоящих патриотов своего Отечества, коим дорога земля, политая кровью их предков, неустрашимых и веселых воинов. Возможно, что и солдат Василий Теркин родился у Твардовского под впечатлением прочитанных гумилёвских «Записок…» о бесшабашном и смелом улане.

В октябре жене поэта стало хуже, процесс в легких прогрессировал, и Анна Андреевна отправилась в санаторий «Хювинкея», расположенный неподалеку от Гельсингфорса. Теперь Гумилёв навещал больную, как и она его, — в лазарете. В последний раз поэт приехал к ней 30 октября, и Анна взмолилась: «Увези меня умирать-то хоть!» Николай Степанович увез жену в Царское Село, и там она неожиданно начала поправляться.

В октябре-декабре Гумилёв дорабатывал свое стихотворение «Пятистопные ямбы» (первоначальный вариант он опубликовал в «Аполлоне» задолго до этого), посвященное другу Михаилу

Лозинскому. В свою очередь тот тоже написал «Пятистопные ямбы» и 21 октября в письме Гумилёву сообщал: «Дорогой друг Николай Степанович. Видно, ты овладел тайной философского камня, ибо твои опыты превращения серебра в золото протекают в высшей степени успешно, клянусь Египетским Сержантом!., я хочу просить у тебя позволения украсить посвящением тебе мои пятистопные ямбы, трактующие о каменьях, растущих, как лилии, о бездонной тьме, о племенах беспечных, о башнях Эдема и об эдемском луче. Их поток родился на той же вершине, что и твои „Пятистопные ямбы“… Жалко очень, что ты так недостижим, и я лишен твоих советов при составлении книги…»

В ноябре Гумилёв посещает литературные вечера, совмещая активную творческую деятельность с учебой в школе прапорщиков. 21 ноября на одном из вечеров кружка Случевского, проходившего на квартире у В. П. Лебедева, он встретился со своим бывшим учителем немецкого языка Ф. Ф. Филлером. Естественно, Фидлер как немец, правда, давно обрусевший, интересовался тем, как ведут себя его соотечественники на фронте: неужели они творят зверства, о которых пишут газеты? Гумилёв успокоил старого учителя, сказав, что немцы такие же солдаты, как и русские, такие же люди и о зверствах немцев он ничего не знает.

В ноябре-декабре 1915 года Гумилёв опубликовал стихотворения «Старая дева» («Новая жизнь», № 11), «Конквистадор» («От дальних селений…») («Лукоморье», № 50, 12 декабря)[57].

12 декабря он был в Обществе ревнителей художественного слова, где председательствовал Н. В. Недоброво и по стечению обстоятельств оказался Вячеслав Иванов. В этот вечер разбирались стихи Осипа Мандельштама и В. Пяста.

Но главными событиями декабря были выход новой книги поэта и очередная награда за его ратные труды. 5 декабря приказом по 2-й гвардейской кавалерийской дивизии за № 1486 за отличия в делах против германцев Н. С. Гумилёв был награжден Георгиевским крестом 3-й степени. Всего за бой 6 июля 1915 года в полку было выдано 86 Георгиевских крестов.

В середине декабря выходит пятая книга стихов поэта «Колчан» (М.; Пг.: Альциона) тиражом в тысячу экземпляров, причем на обложке стоит год выпуска 1916-й. «Колчан» Николай Степанович посвятил своей возлюбленной Татьяне Адамович. Это был его последний подарок, с тех пор их дороги разошлись навсегда.

Новая книга была особой и появилась она в особое время.

Многие тогдашние поэты играли словами в войну. Достаточно вспомнить книгу Георгия Иванова. Тот остался в Петрограде и здесь в тылу развернул большую общественную деятельность. Он публикует патриотические стихотворения, газетные статьи во многих журналах и альманахах. Так, в журнале «Лукоморье», издаваемом Алексеем Сувориным, он печатал стихи под своей фамилией и под псевдонимом. Потом из этих публикаций была составлена стихотворная книга «Памятник славы», вышедшая в 1915 году в издательстве «Лукоморье». Стихи из нее напоминали агитки:

…Батыя и Наполеона
Победоносно отразя —
И нынче, как во время оно,
Победы весть — твои знамена,
И славы путь — твоя стезя.

Сборник не удался — риторика вытеснила поэзию, что понял и сам Иванов.

Популярность книги Гумилёва была настолько велика, что, когда в 1921 году поэта арестовали, друзья иносказательно говорили об этом факте: «Колчан задержали».

Несмотря на военное время, книга вызвала большой резонанс. Известия книжных магазинов товарищества М. О. Вольфа поместили статью И. Гурвича «Ласкающие стрелы», где автор писал: «Если беллетристическая литература не дала нам ничего радостного за последнее время, то нельзя сказать того же про поэзию. В этой области отрадное явление представляет только что вышедший сборник Н. Гумилёва — „Колчан“… Стихи Гумилёва написаны отчасти в тонах старой школы, простым, звучным и задушевным языком, — и в этом их главное достоинство…»

Даже Городецкий, через несколько лет резко разошедшийся с Гумилёвым во взглядах на поэзию, писал о «Колчане» в журнале «Лукоморье»: «…В „Колчане“ экзотический талант Гумилёва дает много прекрасных своеобразных цветов… Какой-то невежественный мальчик из „Летописей“ издевается со свойственной этому серому журналу развязностью над Гумилёвым… Пусть ему будет стыдно. Гумилёв, прирожденный путешественник, во-первых. Во-вторых, он — кавалер двух степеней ордена Св. Георгия за нынешнюю кампанию и право его рассказывать про Италию и про войну неотъемлемо. <…> Среди массы военных стихов стихи Гумилёва выделяются документальностью и чувством значительности переживаемых

событий. Такие строчки, как „Наступление“, не забудутся и после войны…» Интересно, что на обложке этого номера журнала была помещена акварель художника Г. Френца «Выезд казачьей бригады». Были и другие мнения поэтов и критиков, которые отдавали дань уважения мастерству Гумилёва, но не поняли да и не могли оценить подлинную глубину военных стихов поэта.

В «Летописях» (№ 1, январь 1916 года) Н. Венгров писал о «Колчане»: «Стихи Гумилёва очень недурно сделаны — об этом говорить излишне. Выученик г. Брюсова с этой стороны достаточно себя зарекомендовал прежними своими книгами… какое великолепие, какое ослепительное богатство названий, знаменитых мест всего мира, прекрасных слов и великих имен рассыпано по всей книге! Кажется, нет ни единого стихотворения, в котором не было бы серафимов, муз, архангелов, италийских украшений! Венеция, Фра Беато Анджелико, Рим, Пиза, Юдиф, Персей, Падуанский собор, Африканская ночь, Генуя, Китайская девушка — это все только названия отдельных стихов (далеко не всех!), а что в самих стихах!., почти вся книга столь шикарна, что она может уступить в богатстве разве только Игорю Северянину. Говорю — почти вся книга потому, что часть стихов относится к русской современности — к войне. Можно весьма откровенно рассказать о своей дыре в душе — это блестяще сделал Гумилёв своими блестящими стихами. Но говорить в таком же тоне о войне — это выше всякой меры! Ведь война — не „молочно-белый мрамор Каррары“, ведь там люди умирают „…воистину светло и свято…“»

Именно Венгрова имел в виду Сергей Городецкий, когда писал о «Летописях» в журнале «Лукоморье».

Были и те, кто пытался скрыть собственную малозначимость огульным обругиванием настоящей поэзии Гумилёва. Среди его таких «оппонентов» был и вездесущий «тыловой поэт» Борис Садовской.

Гораздо важнее другое: известные критики и провидцы русской литературы высоко оценили новую книгу поэта. В февральском номере «Русской мысли» о «Колчане» Гумилёва написал Борис Эйхенбаум и подчеркнул, что в «творчестве Гумилёва совершается, по-видимому, перелом — ему открылись новые пути… Поэтический „Колчан“ Гумилёва обновился — стрелы в нем другие… стрелы эти ранят его собственную душу». Еще более высоко оценил творчество Гумилёва прекрасный критик Виктор Жирмунский, писавший в двенадцатом номере «Русской мысли»: «В последних сборниках Гумилёв вырос в большого и взыскательного художника слова».

Наиболее обстоятельная рецензия на «Колчан» вышла в

шестом-седьмом номерах за 1917 год журнала «Аполлон» и принадлежала перу поэтессы Маргариты Тумповской, которая писала: «…Такая книга может сделаться одновременно предметом самой суровой критики и самого глубокого восхищения… Творчество этого поэта до такой степени сродни искусствам изобразительным, что кажется, будто ему пришлось преодолевать каким-то внутренним усилием те препятствия, какие стоят на пути живописца, а не поэта; ему пришлось побеждать статичность им создаваемого. Поэтическая жизнь его прежних образов начиналась и кончалась в них же самих. Вещи двигались, но оставались мертвыми, и дух их не оживлял. Поэтическое прошлое Гумилёва представляется мне музеем, где фантастические изображения по стенам застыли в позе стремительного движения. Теперь это изменилось. В тот прежний мир, чудесный и неподвижный, ворвалась живая воля и кажется, что поэт наконец приобщился своему творчеству и что голос зазвучал заодно со словом. То, чего достигали прежде только отдельные, лучшие из его поэм („Капитаны“ из „Жемчугов“, „Открытие Америки“ из „Чужого неба“), звучит теперь освобожденными полным звуком на протяжении большого цикла его стихов, который назван „Колчаном“. Изобразительное мастерство поэта от этого нисколько не пострадало. Напротив того, оно возросло явно и несомненно. А сам он наконец воспользовался тем прекрасным правом поэта, какое дает ему именно его искусство: не только создавать, но и пребывать в создаваемом… Стихи „Колчана“ — это отрывки какой-то большой поэмы, может быть о мире, а может быть о самом поэте. Иногда, становясь для нас наследием романтики, его поэзия своим героем делает мир, и вот моря, корабли и храмы становятся в них драматически действующими лицами. Но не они одни. Земной мир возвращен лишь наполовину своей романтически-пышной праздности. Другой герой поэзии Гумилёва — он сам — придет к нему неизменным гостем. Поэзию „Колчана“ нельзя назвать ни только созерцательной, ни лирической. Лиризм чужд всему поэтическому облику Гумилёва. Он чужд ему уже потому, что ощущение самого себя не дано ему непосредственно. Он приходит к нему не сразу, но только через ощущение других вещей. В глубоких странствиях, на поворотах большой дороги, он вдруг становится с собою лицом к лицу. Мир разным образом воплощает странствующую в нем душу. Блуждая по земле, фантомы романтических сказок находят самих себя только через ряд самых удивительных воплощений. Так стихийная воля мира помогает поэту отыскивать в нем свое лицо. Есть два движения. Одно всеобщее, мировое, — слепое движение вещи. Другое —

движение отдельной воли, сосредоточенной в себе одной. И вот тогда, когда это второе движение покорно отдает себя первому, — тогда настает мгновение того неповторимого сочетания, какое только очень редко можно найти в поэзии: сочетания спокойствия и движения… Каким станет его будущее — мы не знаем. <…> И есть один только большой залог — это: „Дух Колчана“ в его раскрытии».

Даже во времена самых жестких гонений на творчество поэта Гумилёва в советской России критик Ан. Тарасенков вынужден был признать в статье «Поэзия и война 1914 года. На фронтах литературы»[58]: «…1914 год сделал Гумилёва намного более откровенным. Книга „Колчан“ (1916) содержит в себе уже современные гимны, в которых Гумилёв страстно призывает к борьбе, к наступлению. Война предстает как священное дело, как величественное священнодействие. Здесь будет уместным привести целиком одно из замечательнейших по своей художественной силе стихотворений поэта, необычайно полно вскрывающее наступательно-милитаристические вожделения певца российского империализма „Наступление“… Здесь сосредоточено все — и бесконечнонаглая уверенность в своих силах, и подчеркнутый национализм, и религиозно-мистическое понимание войны, как „подвига“, и уверенность в „правоте“ своего дела, свершитель которого настолько „велик“, что ему даровано бессмертие. Такой последовательности и силы не было более ни у одного из певцов-апологетов войны 1914 года:

И воистину светло и свято
Дело величавое войны,
Серафимы ясны и крылаты
За плечами воинов видны —

до конца доводит свои идеи Гумилёв в стихотворении „Война“ (сб. „Колчан“). Военная поэзия Гумилёва — умная поэзия…»

Другой апологет совдеповской критики В. Ермилов в 1928 году в своей книге «За живого человека в литературе» в главе «Поэзия войны» (к вопросу о месте Гумилёва в современности), признавая значение творчества поэта, пишет: «…Зачинатель и вождь одной из школ русского литературного декаданса, пытавшийся вдохнуть силу и влить свежую кровь в дряхлеющее тело буржуазии — акмеизма, Гумилёв, конечно, станет объектом внимательного изучения. Но не только поэты, критики, исследователи литературы могут найти ценнейший материал, изучая творчество „конквистадора“, как называл Гумилёва

Брюсов. Поучительнейшие выводы из этого изучения может сделать социолог, публицист, любой вдумчивый читатель…»

Начиная с «Колчана», у Гумилёва возникает новая тема, к которой отныне он будет возвращаться постоянно. Поэт покорил, наконец, самый главный для него материк — Россию. Это не только стихи военного цикла, но и такие, как прекрасное стихотворение «Старые усадьбы» (1913):

О, Русь, волшебница суровая,
Повсюду ты свое возьмешь.
Бежать? Но разве любишь новое
Иль без тебя да проживешь?

Возможно, именно в этих строках и кроется ответ на вопрос, почему Гумилёв не стал эмигрантом.

В 1915 году умер ротмистр лейб-гвардии егерского полка, муж двоюродной сестры поэта Констанции Фридольфовны Кузьминой-Караваевой (урожденной Лампе) и отец Машеньки Кузьминой-Караваевой — Александр Дмитриевич Кузьмин-Караваев.

19 декабря Николай Степанович последний раз посетил юбилейный (50-й) вечер кружка Случевского, который прошел у В. П. Авенариуса. Больше нет сведений о посещении Гумилёвым этого кружка.

20 декабря Анна Андреевна пишет одно из самых проникновенных и автобиографичных стихотворений, посвященных своему мужу:

…И брат мне сказал: «Настали
Для меня великие дни.
Теперь ты наши печали
И радость одна храни».

Как будто ключи оставил
Хозяйке усадьбы своей,
А ветер восточный славил
Ковыли приволжских степей.

Ахматова в своих стихах называла мужа братом.

25 декабря в гости к Гумилёвым приехали поэт Николай Клюев и молодой Сергей Есенин. Есенин знакомится с Ахматовой, и та ему дарит поэму «У синего моря» (вырезала из «Аполлона»

№ 3 за 1915 год) с надписью: «Сергею Есенину — Анна Ахматова. Память встречи. Царское Село».

З. И. Ясинский писал: «Помню, как волновался Есенин накануне назначенного свидания с Анной Ахматовой: говорил о ее стихах и о том, как он ее себе представляет, и как странно и страшно, именно страшно, увидеть женщину-по-эта, которая в печати открыла сокровенное своей души. Вернувшись от Ахматовой, Есенин был грустным, заминал разговор, когда его спрашивали о поездке, которой он так ждал. Потом у него вырвалось: — Она совсем не такая, какой представлялась мне по стихам. Он так и не смог объяснить нам, чем не понравилась ему Анна Ахматова, принявшая его ласково, гостеприимно». Гумилёв отнесся к молодому Есенину тепло, подарил ему свою книгу «Чужое небо».

27 декабря Гумилёв подписал «Колчан» своему бывшему взводному: «Многоуважаемому Михаилу Михайловичу Чичагову от искренне его любящего и благодарного ему младшего унтер-офицера его взвода. Н. Гумилёва в память веселых разъездов и боев. <…> Петроград».

Новый, 1916 год поэт встречал у себя дома. Пройдет немного времени, и будет окончен романтический период восприятия войны, и победа в Берлине станет туманной и недостижимой. Это будет год становления офицера, и ему придется теперь уже доказывать, что он достоин чести носить погоны русского офицера да еще и гусара самого элитарного полка русской армии. Но пока он встречает новый год полный оптимизма и радужных планов. И только его жена, колдунья-поэтесса, все так же пророчит беду. В «Колыбельной» сыну Льву она вещает в преддверии нового года в Царском Селе:

Было горе, будет горе,
Горю нет конца,
Да хранит святой Егорий
Твоего отца.

Такая, видимо, у нее была миссия на земле — пророчить беду.

Глава XVI В ЭСКАДРОНЕ ЧЕРНЫХ ГУСАР

Начало нового года Гумилёв проводит в Петрограде и Царском Селе, ждет производства в первый офицерский чин. После окончания школы прапорщиков поэт вновь с головой погружается в мир литературных баталий. Он встречается с литераторами, пишет рецензии на поэтические сборники и принимает участие в литературных вечерах, отдает свои стихи в журналы и сборники. Так, 10 января С. Городецкий пишет Ф. Сологубу, что для сборника «Скорбь», посвященного Польше, прислали стихи Н. Гумилёв, А. Блок и другие поэты.

16 января Н. Гумилёв встретился с Георгием Чулковым и подписал ему сборник стихотворений «Колчан».

В первом номере «Аполлона» появляются рецензии Николая Гумилёва на книги Георгия Адамовича «Облака», Георгия Иванова «Вереск», Михаила Лозинского «Горный ключ», Осипа Мандельштама «Камень». Эти рецензии оказались последними, опубликованными в журнале «Аполлон», как и стихотворения поэта «Змей» («Ах, иначе в былые года…»), «Андрей Рублев» и «Деревья» (последние два стихотворения написаны в конце 1915-го — начале 1916 года).

Вместе с Анной Андреевной Гумилёв побывал в январе и на заседании Общества ревнителей художественного слова — читал свои стихи вместе с О. Мандельштамом, М. Лозинским и слушал доклад Б. Томашевского о стихосложении пушкинских «Песен западных славян».

5 февраля Гумилёв подписал наконец «Колчан» своему учителю Валерию Брюсову: «Поэту поэтов Валерию Брюсову с глубоким уважением и почтительной любовью. Н. Гумилёв». На следующий день подарил сборник «Колчан» А. Блоку с надписью: «Моему любимейшему поэту Александру Блоку с искренней дружественностью».

В феврале в Петрограде было создано объединение литературы, музыки, живописи «Медный всадник». 13 февраля Николай Гумилёв присутствовал на первом заседании объединения и был избран в члены совета.

За первые три месяца нового года Николай Степанович написал стихотворения «Ты, жаворонок в горней высоте…», «Городок» («Над широкою рекой…»), «Всадник» («Всадник ехал по дороге…»), «И год второй к концу склоняется…», «Детство», «Рабочий» (написано до 10 апреля). Николай Степанович участвует в подготовке «Альманаха муз» и дает туда свою пьесу «Игра». В феврале поэт присутствует на генеральной репетиции

спектакля «Сила любви и волшебства» Театра марионеток, основанного Л. Сазоновым и Ю. Слонимской. Представление поэту понравилось, и на прощание он обещал написать для театра пьесу «Дитя Аллаха». В следующем году художник П. Кузнецов сделал даже эскизы декораций и кукол для постановки, но осуществить задуманное не удалось. И в самом деле, Николай Степанович уже 19 марта 1916 года на заседании Общества ревнителей художественного слова в здании редакции «Аполлона» читал свою пьесу «Дитя Аллаха». В обсуждении пьесы приняли участие В. Чудовский, В. Шилейко, В. Соловьев, С. Гедройц, Н. Недоброво.

В периодической печати после нового года появились стихи поэта: «Всадник»[59], «И год второй к концу склоняется…»[60], «Городок»[61], «Детство»[62], «Рабочий»[63].

Последнее стихотворение можно считать гениальным пророчеством поэта, к сожалению, трагическим:

…Все он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит.
……
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.

Упаду, смертельно затоскую,
Прошлое увижу наяву,
Кровь ключом захлещет на сухую,
Пыльную и мятую траву.

И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век.
Это сделал в блузе светло-серой
Невысокий старый человек.

Откуда у поэтов такое предчувствие собственной смерти?! Не мог же, в самом деле, знать Есенин, что убьют его после написания стихотворения «До свиданья, друг мой, до свиданья…». Не предполагал другой замечательный русский поэт, Николай Рубцов, когда писал строки «Я умру в крещенские морозы…», что именно в Крещение, 19 января, его убьет любовница.

За то время, что Гумилёв пробыл дома, отношения его с женой не улучшились. Весной 1916 года у Ахматовой была новая любовь — художник Борис Анреп, который приезжал к ней в

Царское Село. Анна Андреевна в знак любви подарила ему свой черный перстень, а 13 февраля (когда он гостил у нее в Царском Селе) подписала книгу «Вечер»: «Борису Анрепу — Одной надеждой меньше стало, / Одною песней больше будет / Анна Ахматова».

24 марта Николай Степанович посетил очередное заседание Общества ревнителей художественного слова, на котором Владимир Шилейко читал свой перевод из вавилонского эпоса «Хождение Иштар». Николай Степанович тоже давно задумал перевод вавилонского эпоса о Гильгамеше.

Возможно, это был последний выход Гумилёва перед его новым назначением. В конце марта он успешно окончил школу прапорщиков и приказом главнокомандующего армиями Западного фронта от 28 марта 1916 года за № 3332 произведен в прапорщики с переводом в 5-й гусарский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк, где командиром полка был полковник А. Н. Коленкин.

Незадолго до этого, 12 февраля, брату поэта Д. С. Гумилёву на основании Высочайшего приказа пожалована высочайше учрежденная за труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 года светло-бронзовая медаль для ношения на груди на ленте ордена Белого орла (свидетельство Петроградской губернии от 18 августа 1915 года № 5881).

7 апреля 1916 года Дмитрий Степанович получил новое назначение — командиром военно-полицейской роты при штабе 2-й Финляндской стрелковой дивизии.

На следующий день лейб-гвардии уланский полк Ее Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны выписал аттестат о содержании в этом полку прапорщику Гумилёву.

Для Гумилёва начиналась новая жизнь. Конечно, два Георгиевских креста говорили о том, что в полк прибыл не новичок, знавший войну не по штабным донесениям, но одно дело находиться в среде нижних чинов и вольноопределяющихся, другое дело войти в офицерскую среду на равных. Гумилёв прекрасно понимал, что теперь ему мало владеть шашкой или пикой. Ему надо было стать командиром. Правда, гусары были людьми образованными и понимали, что перед ними не рядовой прапорщик военного времени, а большой поэт. Однако и характер войны уже изменился: если вначале это были стремительные наступления, отступления и ночные разведки улан, риск, желание внести личный вклад в быструю победу, то теперь стало ясно, что до победы далеко. Война приобрела окопный характер, все меньше и меньше романтики оставалось в полковой службе, где с

первых дней Гумилёву пришлось начинать с дежурства по коноводам. Почти весь апрель (с 12-го по 26-е) гусары пробыли в окопах под Двиной от станции Лавренской до реки Иван. 13 апреля гусары попали под сильный артиллерийский огонь наших позиций у станций Ницгаль и Авсеевка.

О первом месяце пребывания Гумилёва в гусарском полку остались воспоминания штаб-ротмистра В. А. Карамзина, который встретился с Гумилёвым 29 апреля, когда поэт был дежурным по полку: «…Помню, как весной 1916 года я прибыл по делам службы в штаб полка, расквартированный в прекрасном помещичьем доме (фольварк Рандоль Двинского уезда. — В. П.). <…> На обширном балконе меня встретил совсем незнакомый дежурный по полку офицер и тотчас же мне явился: „Прапорщик Гумилёв“, — услышал я среди других слов явки и понял, с кем имею дело. Командир полка был занят, и мне пришлось ждать, пока он освободится. Я присел на балконе и стал наблюдать за прохаживающимся по балкону Гумилёвым… При этом вся фигура его выражала чувство собственного достоинства. Он ходил маленькими, но редкими шагами, плавно, как верблюд, покачивая на ходу головой… Я начал с ним разговор и быстро перевел его на поэзию, в которой, кстати сказать, я мало что понимал. — „А вот, скажите, пожалуйста, правда ли это, или мне так кажется, что наше время бедно значительными поэтами? — начал я. — Вот, если мы будем говорить военным языком, то мне кажется, что ‘генералов’ среди теперешних поэтов нет“. — „Ну, нет, почему так? — заговорил с расстановкой Гумилёв. — Блок вполне ‘генерал-майора’ вытянет“. — „Ну, а Бальмонт в каких чинах, по-вашему, будет?“ — „Ради его больших трудов ему ‘штабс-капитана’ дать можно“. — „Мне думается, что лучшие поэты перекомбинировали уже все возможные рифмы, — сказал я, — и остальным приходится повторять старые комбинации“. — „Да, обычно это так, но бывают и теперь открытия новых рифм, хотя и очень редко. Вот и мне удалось найти шесть новых рифм, прежде ни у кого не встречавшихся“. На этом наш разговор о поэзии и поэтах прервался, так как меня позвали к командиру полка… При встрече с командиром четвертого эскадрона, подполковником А. Е. фон Радецким, я его спросил: „Ну, как Гумилёв у тебя поживает?“ На это Аксель, со свойственной ему краткостью, ответил: „Да-да, ничего. Хороший офицер и, знаешь, парень хороший“. А эта прибавка в словах добрейшего Радецкого была высшей похвалой».

30 апреля Николай Степанович присутствовал на торжественном обеде, посвященном командиру его эскадрона фон Радецкому, и написал ему экспромт, который и зачитал на

банкете.

Командир полка полковник А. Н. Коленкин ценил и любил поэзию Гумилёва и не раз весьма уважительно говорил о нем офицерам полка. Полковник С. А. Топорков вспоминал о службе поэта в гусарском полку: «Так как в описываемый период поэтическим экстазом были заражены не только некоторые офицеры, но и гусары, то мало кто придавал значение тому, что Гумилёв поэт; да кроме того, больше увлекались стихами военного содержания. Командир полка, полковник А. Н. Коленкин, человек глубоко образованный и просвещенный, всегда говорил нам, что поэзия Гумилёва незаурядная, и каждый раз на товарищеских обедах и пирушках просил Гумилёва декламировать свои стихи, всегда был от них в восторге, и Гумилёв всегда исполнял эти просьбы с удовольствием… Я помню, он читал чаще стихи об Абиссинии, и это особенно нравилось Коленкину… Всегда молчаливый, он загорался, когда начинался разговор о литературе, и с большим вниманием относился ко всем любившим писать стихи. Много у него было экспромтов, стихотворений и песен, посвященных полку и войне…» Единственное, что было огорчительно для поэта, — командование полка не разрешало ему вести «Записки». А жаль! От этого выиграли бы только гусары, и сегодня летопись полка была бы намного богаче.

Однако служба в гусарском полку оказалась на сей раз недолгой. 1 мая неожиданно похолодало. Видимо, в прошлый раз Николай Степанович недолечился, и у него обнаружили процесс в легких, поэтому 5 мая прапорщик Гумилёв с диагнозом «бронхит» был отправлен в один из самых привилегированных госпиталей — лазарет Большого дворца в Царском Селе. О том, какой честью было попасть туда, можно судить по тому, что старшей медицинской сестрой в лазарете работала сама Императрица Александра Федоровна.

7 мая Гумилёв уже стал на учет в Царскосельском эвакуационном пункте. И на этот раз поэт не лежал безвылазно в лазарете. Он тут же включился в литературную жизнь. 12 мая в «Привале комедиантов» был творческий вечер поэтов и Николай Степанович читал там свои стихи.

14 мая он вместе с женой отправляется в Слепнево к сыну и матери. Однако уже 18 мая Николай Степанович возвращается в Царское Село.

26 мая из Царского Села командиру 5-го гусарского Александрийского полка было отправлено отношение из Царскосельского эвакуационного пункта за № 10 869: «Прапорщик вверенного Вам полка Гумилёв во время состояния

на учете пункта был удовлетворен согласно удостоверению, пункт за № 10 407, за время с 7 мая по 18 мая 1916 г. суточными госпитальными деньгами как семейный офицер…» Гумилёв согласно положению получал суточные в размере полутора рублей. В полку же он получал по этой смете один рубль в сутки. Как видно из этого документа, офицера Гумилёва уже содержала армия.

Обследование в госпитале показало, что Николай Степанович нуждается в дополнительном санаторном лечении. 30 мая в приказе по 5-му гусарскому Александрийскому полку сказано, что прапорщик Гумилёв отправляется для продолжения лечения в Дом Ее Величества в Массандре, то есть в Крым.

Закончившаяся весна принесла одну неприятную новость. Из-за трудностей с деньгами мать поэта продала дом в Царском Селе и окончательно переселилась в свое родовое имение в Слепнево.

Гумилёв стал готовиться к поездке в Крым. 1 июня он получает денежный аттестат: «По Указу Его Императорского Величества дан сей от 5-го гусарского Александрийского Его Величества полка на прапорщика Гумилёва в том, что он удовлетворен денежным Его Императорского Величества жалованьем из оклада семисот тридцати двух рублей по 1 мая и добавочными деньгами из оклада ста двадцати рублей в год по 1 мая с. г.…»

В лазарете Большого дворца Николай Степанович познакомился с Великими Княжнами Ольгой Николаевной и Татьяной Николаевной, считавшимися дипломированными сестрами милосердия. В лазарете часто бывали и младшие дочери Государя Императора — Мария и Анастасия, посещавшие раненых и беседовавшие с ними. Гумилёв, как истинный монархист, не мог не оказать знаки внимания особам царской крови. 5 июня, в день рождения Великой Княжны Анастасии Николаевны, поэт написал ей стихотворение, которое хранилось в личных бумагах Княжны:

Сегодня день Анастасии,
И мы хотим, чтоб через нас
Любовь и ласка всей России
К Вам благодарно донеслась…

Раненые относились с искренней любовью к царственным сестрам милосердия, и под стихотворением поэта подписалось еще пятнадцать человек. Николай Степанович был до конца

жизни горд тем, что лично познакомился с Великими Княжнами и видел Государыню Императрицу.

Перед отбытием в Крым Николай Степанович заехал в Слепнево навестить семью. 13 июня Гумилёв на санитарном поезде прибыл в Ялту.

В творческих планах поэта была работа над драмой «Гондла». Поселился Гумилёв в ялтинском санатории, расположенном рядом с Массандровским парком. Видимо, вначале поэт был занят работой над «Гондлой» и процедурами. Но в конце июня стал более свободным, часто гулял в больничном халате. В парке он и встретил приехавшую из Москвы курсистку Варвару Монину. Варя приехала отдыхать с братом Алексеем и двоюродной сестрой Ольгой Мочаловой, которая писала стихи и училась в Москве на Высших женских курсах, а жила у тетушек (родные умерли).

Поселились отдыхающие на даче Лутковского, которая располагалась в конце Большой Массандровской улицы на высоком берегу. Здесь был большой сад, спускавшийся к самому берегу моря. Девушки путешествовали по окрестностям Ялты, наблюдали с Ай-Петри восход солнца, побывали возле водопада Учан-су.

Однажды Варя пришла домой взволнованная и стала рассказывать сестре: «Я гуляла по Нижней Массандре с книгой стихов Тэффи „Семь огней“. Присела на скамейку. Ко мне подошел санаторный отдыхающий в халате и спросил: „Юмористикой занимаетесь?“ — „Нет, это стихи“, — ответила я. „А, ‘Семь огней’…“ Тэффи известна как юморист, и очень немногие знают ее единственную лирическую книгу. Поэтому я с ним заговорила. Это оказался Гумилёв… Завтра мы встретимся у входа в парк…»

В первый момент Ольга сестре не поверила: встретить Гумилёва здесь, в Крыму, да еще во время войны, — невероятно! Ольга давно была знакома с поэзией Николая Степановича, как-то ей попались «Жемчуга». В воспоминаниях она писала о своих впечатлениях: «Столько наступательного порыва, дерзанья, такое красивое мужское начало, широкий манящий мир. Новый поэт вдруг позвал, потребовал, взбудоражил».

Возможность познакомиться с настоящим большим поэтом заинтересовала и Ольгу: ведь ей было всего восемнадцать лет, когда каждый в душе лирик и романтик.

Гумилёв пришел на свидание уже не в халате, а в форме: ему хотелось выглядеть бывалым командиром. Ольга Алексеевна вспоминала: «Он нес с собой атмосферу мужской требовательной властности, неожиданных суждений, нездешней странности. Я допускала в разговоре много ошибок, оплошностей…»

Гумилёв слушал ее робкие первые литературные опыты:

«Маркиз Фарандаль,
Принесите мне розы.
Вон ту, что белеет во мгле.
Поймайте вечернюю тонкую грезу,
Что вьется на Вашем челе».

И очень тактично смеялся, чтобы не обидеть девушку: «Что же греза вьется, как комар?» Читал поэт и свои стихи, среди них и новое «Юг», написанное скорее всего именно там, в Крыму. Они гуляли по вечерам вдоль дороги, ведущей в Ялту, и: «На закате… были поцелуи. Требовательные, бурные. Я оставалась беспомощной и безответной… Мы бродили во мраке южной ночи, насыщенной ароматами июльских цветений, под яркими, играющими лучами, звездами».

Гумилёв шептал девушке бессвязные, но такие страстные слова: «Когда я люблю, глаза у меня становятся голубыми… Вы не знаете, как много может дать страстная близость… Когда я читаю Пушкина, горит только частица моего мозга, когда я люблю — горю я весь… Я знаю, вы для меня певучая…» А когда девушка выказывала сопротивление, он начинал мягко ее упрекать: «Я прошу у вас только одного разрешения. Я мог бы получить несравненно более полное удовлетворение, если бы этим вечером поехал в Ялту». Конечно, он говорил о проститутках, чтобы раззадорить девушку, но она не понимала и спрашивала: «Как это делается? Кто эти дамы? Ну что ж, если вам так нужно, поезжайте». И это возбуждало Гумилёва еще больше. Ему нужна была ее чистота, ее юность. Он настаивал: «Если вы согласны, положите руку на мою руку». Но она не положила….

Перед самой разлукой он снова говорил ей: «Если бы вы согласились, я писал бы вам письма. Вы получили бы много писем Гумилёва». На миг Ольга представила свой бедный московский быт, его реакцию: «Фили, старый дом, тетушки, нескладная шуба, рваные ботики, какие попало платья, неустроенность, заброшенность, неумелость. А он знаменитый, светский, избалованный поклонением, прекрасными женщинами. Что могу я для него значить? Нет, не справлюсь…» И она устояла перед чарами и сладкозвучными речами искушенного конквистадора.

После отъезда Н. Гумилёва горничная передала конверт Ольге. Та с волнением открыла его и увидела фотокарточку. На обратной стороне прочла: «Ольге Алексеевне Мочаловой. Помните вечер 7-го июля 1916 г. Я не пишу прощайте, я твердо

знаю, что мы встретимся. Когда и как, Бог весть, но наверное лучше, чем в этот раз. Если Вы вздумаете когда-нибудь написать мне, пишите: Петроград, ред. „Аполлон“. Разъезжая, 8. Целую Вашу руку. Здесь я с Городецким. Другой у меня не оказалось». И ведь как точно угадал, они действительно встретились, но уже при других обстоятельствах.

8 июля Гумилёв уехал из Ялты в Севастополь, чтобы навестить свою жену. Анна Андреевна вспоминала: «Приехала на дачу Шмидта (почти через 10 лет после того, когда я там жила)… Меня родные встретили известием, что накануне был Гумилёв, который проехал на север по дороге из Массандры».

11 июля в Петрограде сгорел и уплыл Исаакиевский деревянный мост на Неве, а через три дня в город вернулся Гумилёв. 16 июля Николай Степанович был помещен в Царскосельский эвакуационный госпиталь № 131 для медицинского освидетельствования на предмет прохождения дальнейшей военной службы. 18 июля поэт получил предписание о возвращении в полк.

25 июля прапорщик Гумилёв вернулся в свой полк, расположенный в Шлосс-Ленбурге близ Сигулды. Ехал он туда с большой охотой и интересом. Но не только потому, что местечко это было прозвано за свою красоту Ливонской Швейцарией, где в густых лесах сохранились развалины рыцарских крепостей, возведенных ливонскими орденами меченосцев «Кремон» и «Трейден». Здесь находилась могила одного из родоначальников русского символизма, о котором Гумилёв много слышал и о ком с восхищением говорил и писал Валерий Брюсов. В лесу близ местечка Зегевольде был похоронен Иван Иванович Ореус, писавший под литературным псевдонимом Иван Коневской. С тех пор могила его стала местом паломничества молодых литераторов. Осип Мандельштам писал в книге «Шум времен», что об Ореусе «жители хранят смутную память… то был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому не читаемый русской молодежью: он шумел трудными стихами, как лес шумит под корень». Брюсов об этом поэте записал в своем дневнике 1898 года так: «Самым замечательным было чтение Ореуса, ибо он прекрасный поэт», а после его смерти с горечью сообщил жене художника А. А. Шестеркина: «Умер Ив. Коневской, на которого я надеялся больше, чем на всех других поэтов вместе… Пока он был жив, было можно писать, зная, что он прочтет, поймет и оценит. Будут восторги и будет брань, но нет критики, которой я верил бы, никого, кто понимал бы мои стихи до конца». Ореус был всего лишь на девять лет старше Гумилёва и вел свой род от древних

варягов шведского происхождения. Он, как и Гумилёв, любил путешествовать и каждый год отправлялся в странствие. Как и Николай Степанович, Ореус был романтиком…

Ореус верил в магию и волшебную силу слова. В дневнике он записал: «Всякий человек, которого состав душевной природы не tabula rasa, а богатая руда влечения, вкуса, страсти, воли, — пересоздает ее и, таким образом, во всех смыслах, подобен творцу и чародею-повелителю, которые своей мечтой, своими словами завораживают и заклинают бытие». Сергей Маковский утверждал, что именно это свойство Ко-невского унаследовали все крупные писатели серебряного века: «Это провозглашение поэзии заклинательной силой и поэта чародеем-повелителем приближает вплотную Коневского к тому, что вскоре стало общим местом у наших символистов-теургов (Андрея Белого, Александра Блока, М. Соловьева, Вячеслава Иванова, Макса Волошина), поверивших „Магии слов“ не в метафорическом, а в полном смысле этого понятия…» Маковский был последним, кто видел в живых Ивана Ореуса. Весной 1901 года они, окончив университет, на одном пароходе отправились в путешествие по морю.

Ореус решил совершить путешествие вдоль балтийских побережий, ознакомиться с остатками древних рыцарских крепостей. 9 июля стоял знойный лень. Он вдруг вспомнил по пути из Риги, что забыл в гостинице паспорт, и сошел на станции в Зегевольде. Взяв паспорт, он решил не дожидаться на вокзале встречного поезда (времени было достаточно), а пойти искупаться в местной быстрой речушке с языческим названием Аа. Он вошел в манящую прохладу, резко ушел под воду и не вынырнул, растворился в столь любимой им стихии. В этот же день была найдена его одежда, а через несколько суток и труп. Ореус был похоронен по католическому обряду. Но родные перезахоронили Ореуса по православному обычаю неподалеку от католического кладбища в лесу.

Гумилёв не мог не посетить этой могилы, несмотря на всю сложность военного времени.

Полк, в который вернулся Николай Гумилёв, находился в резерве 12-й армии. В августе на фронте было затишье и офицеры-гусары развлекались тем, что занимались парфорсной охотой. О ней 2 августа писал Гумилёв матери: «Милая и дорогая мамочка, я уже вторую неделю в полку и чувствую себя совсем хорошо, кашляю мало, нервы успокаиваются.

У нас каждый день ученья, среди них есть и забавные, например парфорсная охота. Представь себе человек сорок офицеров, несущихся карьером без дороги, под гору, на гору, через лес, через пашню, и вдобавок берущих препятствия: канавы,

валы, барьеры и т. д. Особенно было эффектно одно — посередине очень крутого спуска забор и за ним канава. Последний раз на нем трое перевернулись с лошадьми. Я уже два раза участвовал в этой скачке и ни разу не упал, так что даже вызвал некоторое удивленье. Слепневская вольтижировка, очевидно, мне помогла. Правда, моя лошадь отлично прыгает. Теперь уже выяснилось, что, если не начнутся боевые столкновения (а на это надежды мало), я поеду на сентябрь, октябрь держать офицерские экзамены. Конечно, провалюсь, но не в том дело, отпуск все-таки будет…»

3 августа Николай Степанович участвует в полковых учениях, потом снова обычная служба: дежурства по полку и ожидание командировки в Петроград.

В это время (4 августа) брат поэта был отправлен на излечение в перевязочный отряд 2-й Финляндской стрелковой дивизии, а через три дня поручик Д. Гумилёв приказом 11-й армии № 605 за отличие в делах против неприятеля награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом.

У Николая Степановича тоже была своя радость — наконец-то в восьмом номере литературного и популярно-научного приложения к журналу «Нива» была опубликована «Африканская охота», которую его жена отвезла в редакцию еще в июне 1914 года.

15 августа прапорщик Гумилёв последний раз заступил дежурным по полку, а 17-го приказом № 240 был командирован в Николаевское кавалерийское училище для держания офицерского экзамена. Через день ему уже был выдан проездной билет в Петроград, подписанный командиром полка полковником Коленкиным.

19 августа Гумилёв прибыл в Петроград в Николаевское училище. Устроился он на жительство по адресу: Литейный, 31, квартира 14.

22 августа поэт пишет прошение в канцелярию по студенческим делам Петроградского университета: «Прошу переслать мой аттестат зрелости нотариусу Клопоцкому (Невский, 50) для снятия с него копии на предмет представления в Николаевское кавалерийское училище для держания экзаменов на чин корнета».

В этот же день Гумилёв написал рапорт в ГУВУЗ (Главное управление военно-учебных заведений) о допущении его к держанию офицерских экзаменов: «Прошу о допущении меня к держанию армейских экзаменов при Николаевском кавалерийском училище в текущем году. Одновременно ходатайствую о замене мне экзамена по немецкому языку

экзаменом по французскому языку. Прилагаю при сем согласие на держание мною экзаменов командира полка за № 9121. Аттестат зрелости, выданный мне Царскосельской гимназией, и мой послужной список доставлю дополнительно». В правом верхнем углу резолюция: «К рассмотрению (кажется замены экзаменов уже разрешены). 24.8». В левом нижнем углу резолюция: «Среднюю степень условно. При Ник<олаевском> кавалерийском уч<илище>». Печать: «получено 23 августа 1916».

26 августа прапорщик Гумилёв написал рапорт о предоставлении им копии аттестата зрелости.

По всей видимости, Гумилёв был 30 августа на полковом празднике в гусарском полку. Во всяком случае, об этом говорит тот факт, что именно к празднику он написал стихотворение «Командиру 5-го Александрийского полка». Штаб-ротмистр В. А. Карамзин вспоминал в 1937 году: «Под осень 1916 года подполковник фон Радецкий сдавал свой четвертый эскадрон ротмистру Мелик-Шахназарову. Был и я у них в эскадроне на торжественном обеде по этому случаю. Во время обеда вдруг раздалось постукивание ножа о край тарелки и медленно поднялся Гумилёв. Размеренным тоном, без всяких выкриков, начал он свое стихотворение, написанное к этому торжеству. К сожалению, память не сохранила мне из него ничего. Помню только, что в нем были такие слова: „Полковника Радецкого мы песнею прославим…“ Стихотворение было длинное, но мастерски написанное. Все были от него в восторге. Гумилёв важно опустился на свое место и так же размеренно продолжал свое участие в пиршестве. Все, что ни делал Гумилёв — он как бы священнодействовал…»

В сентябре началась пора занятий и экзаменов для прапорщика Гумилёва. 6 сентября он предоставил в училище послужной список от 29 августа 1916 года. Возможно, именно за ним он и ездил в полк и там остался на полковой праздник.

17 сентября в Петроград был направлен и брат поэта Д. С. Гумилёв в Клинический военный госпиталь для прохождения лечения. Николай Степанович тоже почувствовал себя плохо и был госпитализирован в лазарет. Это в планы поэта не входило, и он старался при любой возможности убежать из лазарета, чтобы заняться литературными делами. Вот как об этом вспоминал друг Гумилёва Ауслендер: «…осенью 1916 года приехал в отпуск. Гумилёв тоже приехал в это время и лежал в лазарете Общества писателей на Петербургской стороне. Я отправился к нему туда. Оказалось, что он уже встал с постели и был одет в военную форму. Война сделала его проще, скинула надменность. Он сидел на кровати и играл с кем-то в шашки. Мы

встретились запросто (я был тоже в военной форме), посидели некоторое время, потом он решил потихоньку удрать. Ему было нужно в редакцию газеты „Биржевые ведомости“, а из лазарета не выпускали. Он просил меня помочь ему пронести шинель. Сам он был в больших сапогах, и от него пахло кожей. Мы выбрались из лазарета благополучно. В этом поступке было что-то казарменное и озорное. На ходу сели в трамвай. Затем простились. Весело и бодро он соскочил с трамвая и побежал на Галерную. На нем была длинная кавалерийская шинель. Я глядел ему вслед. С тех пор мы не виделись ни разу…»

Пользуясь возможностью вновь окунуться в мир петербургской богемы, он публикует рецензии на новые поэтические сборники, выпущенные издательством «Гиперборей»[64], встречается с Г. Адамовичем и Г. Ивановым, которые решили организовать второй Цех поэтов, и проводит заседание Цеха, где читает отрывки из новой драмы «Гондла». Интересно, что сам Гумилёв к затее молодых «цеховиков» отнесся довольно скептически. В письме жене 1 октября он сообщает: «Первое заседание провалилось, второе едва ли будет», а также признается, что из-за экзаменов ничего не пишет и надеется после них взять краткосрочный отпуск и приехать к ней в Крым.

30 сентября Гумилёв, сбежав из лазарета, навещает М. Лозинского, и вместе они идут к Шилейко пить чай и читать любимого Гумилёвым Гомера. Поэт снова появляется на литературных вечерах. До 23 октября он выступил на традиционном литературном осеннем «Вечере поэзии» в университете. Вечер вел профессор романо-германского отделения А. К. Петров. Гумилёв читал стихи, посвященные войне, и его тепло приняла студенческая аудитория. Здесь же Гумилёв познакомился с начинающим поэтом Всеволодом Рождественским, с чьим братом Платоном Рождественским он учился в одном классе в Царскосельской гимназии. Всеволод вспоминал: «За столом, покрытым для торжественного случая синим сукном, при свете двух старинных канделябров сидели представители тогдашнего литературного Олимпа — акмеисты, близкие редакции журнала „Аполлон“, — Мих. Лозинский, Г. Иванов, Г. Адамович, О. Мандельштам. Длилось монотонное чтение стихов. Выступали и поэты нашего университетского кружка, допущенные к этому действу после строгого предварительного отбора. Я тоже попал в число счастливцев и, волнуясь, ожидал своей очереди. Наконец вызвали и меня. Не помню, что и как я читал. Пришел в себя в тесноте и толкучке у самых дверей, когда уже отшумели не очень дружные, снисходительные аплодисменты. Я спешил выбраться в длинный

университетский коридор, чтобы немного отойти от пережитых волнений. Там было и пусто, и темновато. Кто-то вышел за мной следом и, чиркнув спичкой, закурил папиросу. Это был высокий, очень худощавый человек в защитной военной форме. Он подошел ко мне и спросил, слегка шепелявя: „Это вы читали сейчас стихи? О царскосельском парке. Я не ослышался. Ваша фамилия?“ Я назвал себя. „Ну, я так и думал. Мы с вами земляки. Я тоже царскосел. Учился с вашим братом Платоном. Позвольте представиться. Гумилёв. Николай Степанович“. Сказал он это несколько церемонно и по-военному щелкнул каблуками. Я растерялся и не знал, что ему ответить. Он, видимо, заметил мое смущение и начал какой-то обычный разговор, спрашивал что-то про общих знакомых, сказал, между прочим, что несколько дней тому назад приехал в отпуск с фронта. Я уже пришел в себя и собирался о чем-то спросить, относящееся к литературе, как в эту минуту распахнулись двери, в коридор повалила студенческая толпа. Начался антракт. Гумилёва сразу же узнали, окружили плотным кольцом. Я уже не рискнул подойти к нему ближе. Прогремел звонок, я, стиснутый забившей аудиторию толпой, увидел его уже рядом с председательским столом. Он стоял, выпрямившись во весь рост, совершенно неподвижно, и мерно, но не очень отчетливо, читал, не повышая и не понижая голоса: „Та страна, что могла быть раем…“ Потом, после него, были еще стихи. Много стихов. Но все остальное проплыло для меня, как в тумане. И запомнилось из всего вечера только это — „Золотое сердце России“».

Однако увлечение литературными делами не могло не сказаться на результатах экзаменов в Николаевском кавалерийском училище. 18 октября Н. Гумилёв был отмечен в числе не явившихся на экзамены по уважительным причинам. А из «Аттестационного списка с баллами, полученными прапорщиками, вольноопределяющимися кавалерийских и казачьих частей на офицерских экзаменах в сентябре и октябре месяцах 1916 г. при Николаевском кавалерийском училище» явствует, что из семнадцати учебных предметов прапорщик Гумилёв не сдавал экзамены по двум: фортификации с практическими занятиями и конно-саперному делу. Гумилёв сдал следующие экзамены: иностранный язык (французский) — 12 баллов; военное законоведение с практическими знаниями — 10 баллов; 9 баллов по Закону Божьему; по военной администрации с практическими занятиями — 9 баллов; по военной географии — 9 баллов; по русскому языку — 9 баллов; по тактике — 8 баллов; по истории русской армии — 8 баллов; по военной гигиене с практическими занятиями — 8 баллов; по иппологии и ковке с

практическими занятиями — 7 баллов; по топографии с практическими занятиями — 6 баллов; по артиллерии — 6 баллов; неудовлетворительные оценки: по тактическим задачам в классе — 5 баллов; по тактическим задачам в поле — 5 баллов; по топографической съемке — 4 балла. Средний балл Н. С. Гумилёва составил 8,42.

23 октября «по невыдержании» экзаменов прапорщик Гумилёв убыл в 5-й гусарский полк, куда прибыл на следующий день. Полк в это время из-за «недоразумений с жителями» был переведен из района Лембурга в район станции Рамоцкое (между Лиганте и Цесисом). Штаб полка разместился в фольварке Шоре, а 4-й эскадрон, где служил Гумилёв, стоял в Дайбене.

И находясь на фронте, Николай Степанович заботился о своей жене, которая в это время жила в Севастополе на Екатерининской улице (потом на Большой Морской), так как ей был приписан южный климат. Он просил своего друга Лозинского позаботиться о книге Анны Андреевны. 6 ноября Ахматова сообщала Лозинскому: «Коля писал мне о Вашем согласии заведовать четвертыми „Четками“ (то есть переиздания. — В. П.). Теперь я за них спокойна…»

До середины ноября гусары стояли в резерве, а 18 ноября прапорщик Гумилёв вместе со своим полком перешел на новые позиции к Двине в район Фридрихштрассе (Скривери) и Кокенгузена (Кокнесе). 19 ноября гусары, пройдя Нитау (Нитауре), Юргенбург (Заубе), Фистелен (около Меньгеле), расположились в районе мызы Новый Беверсгоф (Вецбебри). 4-й эскадрон Н. Гумилёва расквартировался в деревне Озолино. Гусары были включены в состав 5-й армии. Полку была выделена зона ответственности на Двине от Капостина до Надзина (около Кокнесе).

До 17 декабря гусары несли службу в окопах, и в связи с приближением Рождества многим были предоставлены краткосрочные отпуска. Получил краткосрочный отпуск 19 декабря и Гумилёв. Во второй половине декабря в Петроград вернулась и его жена. Вместе с Кузьминым-Караваевыми супруги отправились в Слепнево, и здесь Ахматова прочитала поэму «Гондла». Анна Андреевна осталась, а Николай Степанович вернулся в Петроград, где встретился с Михаилом Лозинским и прочитал ему главы из африканской поэмы «Мик».

После 26 декабря Гумилёв вернулся в полк и на время нахождения полка в окопах был прикомандирован к 5-му эскадрону. С 29 декабря прапорщик Гумилёв нес службу в окопах на линии обороны гусар вдоль Двины на участке от Капостина до

Надзина. 30–31 декабря немцы вели интенсивный огонь по позициям гусар. Новый, 1917 год Николай Степанович встречал в окопах. Он и предвидеть не мог, каким кошмаром обернется для России наступающий год.

Вторая половина ушедшего 1916 года была совсем бедна для поэта в творческом плане. Он написал всего два стихотворения, переводами практически не занимался, над драмами работал в основном летом. За весь год поэт написал всего десять стихотворений. Это в два раза меньше, чем в предыдущем, 1915 году.

Объяснение этому может быть только одно: Гумилёв к этому времени разочаровался в войне, наступлений и побед не было, он начал воспринимать все происходящее как скучную рутину. Есть все основания предполагать, что Гумилёв в начале 1917 года переживал глубокий духовный кризис. На фронте лихие и рискованные разъезды сменились окопными сидениями, бессмысленными перестрелками и артиллерийскими обстрелами. Для личной храбрости, когда на миру и смерть красна, не осталось места. Эта фаза войны была не для романтика. Он снова заскучал по своим абиссинским дебрям. С первых дней нового года начались бесчисленные дежурства по полку: 3 января, 7 января, 20 января. А в промежутках — окопные перестрелки. В одной из них Гумилёв принимал участие 10 января на линии Капостина — Надзина. А на следующий день пришла довольно неприятная весть: гусарский полк расформировывался из шести- в четырехэскадронный состав и отводился в резерв Сводного отряда. В январе всех гусар, не попавших в четыре эскадрона, отправили в стрелковые части. Николай Степанович находился в 4-м эскадроне, и хотя его не отчислили в пехоту, но и боевыми делами ему не суждено было заниматься.

19 января в 11 часов 35 минут пришла телеграмма из корпуса, в которой сообщалось: «Командующий дивизией приказал вверенного Вам полка назначить одного обер-офицера для заготовки сена дивизии…» На этот документ командир полка полковник А. Н. Коленкин наложил резолюцию: «Прапорщика Гумилёва».

В соответствии с распоряжением корпусного интенданта прапорщик Н. С. Гумилёв был направлен в распоряжение 4-го уланского Харьковского полка, которым командовал полковник барон фон Кнорринг, на станцию Турцевич Николаевской железной дороги. В гусарский полк поэт больше не попал, хотя и числился там еще очень долго. Н. С. Гумилёв с полковником Никитиным были командированы на станцию Окуловка Николаевской железной дороги для закупки фуража для дивизии.

На этом романтика войны для поэта окончилась. Гумилёв снова оказался на перепутье. Малозначимость службы компенсировалась для него теперь тем, что он мог часто бывать в Петрограде и встречаться с друзьями, устраивать литературные дела. Он настолько разочаровался в службе, что даже гусарская форма потеряла в его глазах свой особый шик. И поэт почувствовал себя гражданским человеком. Может быть, поэтому, попав в Петроград 28 января, по всей видимости, без официального разрешения, он не заметил командира отдельного корпуса пограничной стражи генерала от инфантерии Пыхначева и не отдал честь. Генерал был возмущен и арестовал его на сутки. На следующий день Гумилёв получил предписание инженер-генерала Н. И. Костенко за № 2771: «Предписываю Вам по освобождении из-под ареста немедленно отправиться на ст. Турцевич Николаевской ж. д. Для исполнения предписания корпусного интенданта XXVIII корпуса от 26 января за № 2027 и об отбытии мне донести».

С 1 февраля прапорщик Н. Гумилёв был включен в список офицеров полка, командированных в стрелковый полк, но оставался весь месяц в Окуловке, продолжая в свободное время приезжать в Петроград, до которого было всего несколько часов езды. В Петрограде останавливался у Срезневских, где в ту пору жила его жена.

В это время после контузии и лечения в Петрограде оказался и брат поэта поручик Д. С. Гумилёв. Вряд ли встреча двух братьев была очень радостной. Дмитрий Степанович, кадровый офицер, оказался не у дел, младший Гумилёв заготавливал сено. Это кавалеры боевых орденов… Единственным светлым событием для Николая Гумилёва в феврале было подписание корректуры африканской поэмы «Мик», которая готовилась для журнала «Нива». Но в стране началась смута, и поэма не была опубликована.

Началась неразбериха и в армии. Прапорщика Гумилёва потеряли полковые финансисты. Из полкового казначейства 17 февраля последовал запрос о Гумилёве в конно-саперную команду 5-й кавалерийской дивизии: «Благоволите телеграфировать, находится командированный ваше распоряжение согласно телеграмме 638 прапорщик Гусарского полка Гумилёв, какие обязанности на него возложены». 18 февраля управление корпусного интенданта дало ответ: «Прапорщик Гумилёв находится на станции Окуловка распоряжении подполковника Сергеева по заготовке фуража для корпуса. Временно исполняющий обязанности корпусного

интенданта подполковник Гринев».

Начавшийся переворот, позже названный Февральской революцией, Гумилёв воспринял внешне спокойно, впрочем, как и его жена. 25 февраля утром Ахматова отправилась на Петербургскую сторону к портнихе заказывать платье. Хотела нанять извозчика, но тот сказал ей: «Я, барыня, туда не поеду… На мосту стреляют…» Раз стреляют — то и ладно, вернулась домой к Срезневским. А потом бродила по городу, как полоумная, и смотрела на эту неразбериху, творящуюся на улицах. На мосту она встретила молодого поэта Каннегиссера, но отказалась от предложения ее проводить. Она упивалась опасным одиночеством, ей грезились взрывы и кошмары Великой французской революции. Она говорила потом близкому ей тогда Борису Анрепу: «Будет то же самое, что было во Франции <…> будет, может быть, хуже…» Ан-реп сразу же уехал в Англию. Ахматова осталась. Ее муза — муза плача — должна была страдать. Как чувствовал себя в этой атмосфере Гумилёв, когда взбесившиеся солдаты срывали с офицеров погоны и могли расстрелять любого из них ради «революцьонного порыва» без суда и следствия? Как мог воспринять поэт тот факт, что сам Великий Князь Кирилл Владимирович, надев красный бант, привел полк к Думе присягать? Только как великий позор.

26 февраля Николай Степанович был в Петрограде. Он хотел встретиться с женой, но, увы, улицы были перегорожены и оцеплены. Тогда, потеряв надежду выбраться из хаоса, он позвонил жене и сказал: «Здесь цепи, пройти нельзя, а потому я сейчас поеду в Окуловку». Ни слова о взбунтовавшейся черни и о сатанинском празднике разрушения державы.

То ли от переживаний, то ли от ощущения собственной ненужности, Николай Степанович заболел и 8 марта стал на учет в 134-й петроградский тыловой распределительный пункт, откуда его направили в 208-й петроградский лазарет, расположенный на Английской набережной, 48. В лазарете Николай Степанович начал писать повесть «Подделыватели» (сохранился только отрывок, известный под названием «Веселые братья»; возможно, он хотел показать в повести, как масоны губили Россию). Начало Николай Степанович прочитал посетившему его Лозинскому. Здесь же, в лазарете, поэт написал два прекрасных стихотворения «Мужик» и «Ледоход».

Замысел страшной разрушительной силы был показан поэтом в стихотворении «Мужик». Гумилёв обрисовал в этом произведении не только Григория Ефимовича Новых (известного под фамилией Распутин и убитого в 1916 году), но и российскую распутинщину в развитии. Лучше всех суть стихотворения

раскрыла поэт Марина Цветаева: «Есть у Гумилёва стихотворение „Мужик“ — благополучно просмотренное царской цензурой — с таким четверостишием:

В гордую нашу столицу
Входит он — Боже, спаси!
Обворожает Царицу
Необозримой Руси.

Что в этом стихотворении? Любовь? Нет. Ненависть? Нет. Суд? Нет. Оправдание? Нет. Судьба. Шаг судьбы. Вчитайтесь внимательно. Здесь каждое слово на вес крови… Вот в двух словах, четырех строках, все о Распутине, Царице, всей той туче… Дорогой Гумилёв, есть тот свет или нет, услышьте мою, от лица всей поэзии, благодарность за двойной урок: поэтам — как писать стихи, историкам — как писать историю, чувство истории — только чувство судьбы. Не „мэтр“ был Гумилёв, а мастер…»

Гумилёв вновь отдается литературным занятиям и 19 марта принимает участие в учредительном собрании литературного общества «Союз писателей». 22 марта поэт отправляется в гости к Федору Сологубу и читает ему законченный вариант пьесы «Дитя Аллаха».

Снова поэт обращается к светской, альбомной, лирике, словно ничего не произошло и все в государстве по-старому. 23 марта он вписывает поэтессе Анне Радловой в альбом свое стихотворение «Вы дали мне альбом открытый…», а через день своей жене пишет в альбом акростих «Ангел лег у края небосвода…». На квартире у поэта Михаила Струве Николай Степанович проводит 24 марта седьмое заседание второго Цеха поэтов.

А днем раньше Гумилёв за боевые отличия был представлен к награждению орденом Святого Станислава. Представление отправил командующему 5-й армией временно исполняющий должность начальника штаба полка штаб-ротмистр Ключевский. 30 марта приказом по войскам 5-й армии № 269 Н. С. Гумилёв был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (приказ по гусарскому полку № 112) вместе с другими тремя офицерами полка: поручиком И. Вернеховским, корнетом Н. Лангеном, прапорщиком Ф. Гейне. Это было прощание с гусарской легендой и сказкой. Война для поэта закончилась. Он не видел больше смысла в противостоянии держав, когда его родная Россия рухнула как карточный домик в одночасье. Поэт-путешественник будет теперь рваться в дальние страны.

Глава XVII ПОЧТОВЫЙ РОМАН

Гусар Гумилёв в 1916–1917 годах был влюблен в одну из самых красивых женщин Петрограда — Ларису Михайловну Рейснер (точная дата их знакомства неизвестна). Если верить самой Ларисе Рейснер, то познакомились они в «Бродячей собаке», то есть до 3 марта 1915 года. Вот как описывала эту встречу Рейснер в автобиографическом романе:

«Нет в Петербурге хрустального окна, покрытого девственным инеем и густым покрывалом снега, которого Гафиз не смутил бы своим дыханием, на всю жизнь оставляя зияющий просвет… между чистых морозных узоров. Нет очарованного сада, цветущего ранней северной весной, за чьей доверчивой, старинной, пошатнувшейся изгородью дерзкие руки поэта не наломали бы сирени, полной холодных рос, и яблони, беззащитной, опьяненной солнцем накануне венца. И, все еще несытая, воля певца легко и жадно уничтожила много прекрасного и покрыла страницы его рукописей стихами-мавзолеями. Готические башни, острова, забытые роком среди морей, золотые источники завоеванных стран, крики побежденных и лязгающая поступь победителей, неизменная от древних латников и мореходов до наших обагренных дней, — все это сложилось в гору праздной, разбойничьей красоты. Каждая новая книга Гафиза — пещера пирата, где видно много похищенных драгоценностей, старого вина, пряностей, испытанного оружия и цветов, заглохших без воздуха, в густой темноте. И беззаконная, в каком-то великолепном ослеплении, муза его идет высоко, и все выше, не веря, что гнев, медленно зреющий, может упасть на ее певучую голову, лишенную стыда и жалости. Новое искусство прославило холодность, объективное совершенство ее форм и превосходство царей, с которым она шествует через трясину мертвой, страшной и позорной грязи. О, кто смел думать о том, что самая земля, по которой ступает это бесчеловечное искусство, должна расточиться, погибнуть и сгореть!.. — „Кто это? Я ее не знаю“. — „Которая?“ — „Вот направо от старухи с морщинистой шеей“. — „Тише, на нас смотрят. Не знаю. Девушка в темном. Красивая. Чистое у нее лицо. И сидит серьезно, точно на большой перемене. Как на нее смотрит Гафиз!“ — „Еще бы, заметил“. Мимо прошла жена профессора с учеником своего мужа. Злословие обратилось на ее полноту и тщательно отставленные локти ее спутника, судорожно согнутые без привычной опоры письменного стола. Между тем… Гафиз действительно смотрел на Ариадну. Ее красота, вдруг

возникшая среди знакомых лиц, в условном чаду этого литературного притона, причинила ему чисто физическую боль. Какая-то невозможная нежность, полная сладостного сожаления, — оттого, что она недосягаема… Недосягаема. Так думал Николай Иваныч, пока Ариадну не пригласили читать. Она согласилась, и когда на ее лице выразилась вся боязнь начинающей девочки, не искушенной в тяжелой литературной свалке, и в руках так растерянно забелел смятый лист бумаги, в который еще раз заглянули, ничего не видя и не разбирая, ее мужественные глаза юноши-оруженосца, маленького рыцаря без страха и упрека, — Гафиз ощутил черное ликование. Все рубцы, нанесенные его душе клыками критики в пору его собственного начинания… сладко заныли и заболели. Видеть ее, эту незнакомку с непреклонным стройным профилем какой-ни-будь Розалинды, с тонким станом, который старый Шекспир любил прятать в мужскую одежду между вторым и четвертым актом своих комедий, — ее, недосягаемую, и вдруг — на подмостках литературы, зависящей от прихоти критика, от безвкусия богемской черни, от одного взгляда его собственных воспетых глаз, давно отвыкших от бескорыстия. Это было громадное торжество, сразу уравнявшее его и Ариадну. Гафиз ясно ощутил падение перегородок, и одежда, скрывавшая ее темными складками, стала прозрачна; Мальстрем литературы вступал в свои права. — „Что она читает?“ — „Не знаю, что-то странное. Может быть, она социалистка?“… Последние строки поэмы были покрыты аплодисментами. Ленивый меценат, колебля толстый живот между коротких рук, бил друг о дружку розовыми ладонями и оглянулся на нескольких вполне корректных и бездарных молодых людей, зависевших от его пособий. <…>

Высоко над толпой сидел Гафиз и улыбался. И хуже нельзя было сделать: он одобрил ее как красивую девушку, но совершенно бездарную. Дама с ним рядом, счастливая возлюбленная поэта, выразила сожаление. И тем не менее, на этот раз буржуазное общество, вопреки мнению своих обычных поставщиков красивого, против воли жрецов, поучавших интеллигентную улицу из-за витрин богатейшего книгопродавца, решилось на самостоятельное увлечение; и рукоплесканиям не было конца. В течение вечера, проходя между столиков своей простой походкой, Ариадна нашла несколько отщепенцев, несколько колоколов с трещиной, через которую течет благовест горя и одиночества, несколько молодых поэтов и художников, и просила их о сотрудничестве. И когда поздно ночью ее провожали домой через длинные, снежные, безлюдные кварталы студентов, громоздких конок, огибающих пустынные углы с оглушительным

звоном, дребезжаньем и гиканьем трактиров, мелочных лавок, деревянных лачуг и новых, высоких каменных домов, полных свежей сырости и электрического света, в привале, уже почти пустом, за чашкою черного кофе издатель крупной либеральной газеты рассказывал своему другу об Ариадне, ее отце, их необычайной семейной истории…»

Ариадна — сама Рейснер, а Гафиз, естественно, Гумилёв.

Ничего похожего на любовь в тот период, о котором пишет Рейснер, не возникло. Скорее всего, Гумилёв и не запомнил ту красивую девушку, смотревшую на него во все глаза. Любовь вспыхнула у них в конце лета 1916 года, когда поэт приехал сдавать экзамены в Николаевское кавалерийское училище. А познакомился официально Гумилёв с Рейснер 12 мая 1916 года в открывшемся незадолго до этого — 18 апреля — кабачке «Привал комедиантов» (появился взамен закрытой «Бродячей собаки») на вечере поэзии.

Лариса Рейснер — женщина-легенда русской революции и литературы XX века — менее всего подходила Гумилёву. У них была полная противоположность взглядов и идеалов. Гумилёв-монархист и — бунтарка по своей природной сути. Рейснер — фигура поистине героическая и довольно фанатичная, — вошла в историю русской литературы XX века. Достаточно сказать, что Всеволод Вишневский, когда писал «Оптимистическую трагедию», взял прообразом комиссара именно Ларису Рейснер.

Многие мужчины были от нее без ума. Даже большевистский нарком Троцкий, однажды расчувствовавшись, признал, что Лариса Рейснер соединяла в себе «красоту олимпийской богини, тонкий ум и мужество воина».

Одна только Ахматова, видимо из ревности, отрицала очевидное и ответила Лидии Чуковской на вопрос о Рейснер: «Она была очень большая, плечи широкие, бока широкие. Похожа на подавальщицу в немецком кабачке. Лицо припухшее, серое, большие глаза и крашеные волосы. Все». Правда, она сама же и опровергла свое высказывание той же Чуковской в другой раз: «Я была в „Привале“ (имеется в виду „Привал комедиантов“. — В. П.)… Иду к дверям через пустую комнату — там сидит Лариса. Я сказала ей „До свиданья!“ и пожала руку. Не помню, кто меня одевал… вдруг входит Лариса, две дежурные слезы на щеках: „Благодарю вас! Вы так великодушны! Я никогда не забуду, что вы первая протянули мне руку!“ — Что такое? Молодая, красивая девушка, что за уничижение. Откуда я могла знать тогда, что у нее был роман с Николаем Степановичем? Да и знала бы — отчего же мне не подать ей руки?»

На самом деле, по многочисленным воспоминаниям

современников, например, сына писателя Леонида Андреева — Вадима Андреева, это была красавица: «…ее темные волосы, закрученные раковинами на ушах, как у Лолы Монтец, серо-зеленые огромные глаза, белые прозрачные руки, особенно руки, легкие, белыми бабочками взлетавшие к волосам, когда она поправляла свою тугую прическу, сияние молодости, окружавшее ее, — все это было действительно необычайным. Когда она проходила по улицам, казалось, что она несет свою красоту как факел, и даже самые грубые предметы при ее приближении приобретают неожиданную нежность и мягкость. Я помню то ощущение гордости, которое охватило меня, когда мы проходили с нею узкими переулками Петербургской стороны… — не было ни одного мужчины, который прошел бы мимо, не заметив ее, и каждый третий — статистика, точно мною установленная, — врывался в землю столбом и смотрел вслед… Однако на улице никто не осмеливался подойти к ней: гордость, сквозившая в каждом ее движении, в каждом повороте головы, защищала ее каменной, нерушимой стеной». Гумилёв рискнул к ней подойти, и стена не устояла. Отчего же сдалась поэту-романтику гордая красавица? Она в душе была тоже романтиком, и не только романтиком революционных потрясений. Родство их душ было столь несомненно, что их не могло не потянуть друг к другу. То, что испугало робкую дворянку Елизавету Дмитриеву (железная воля Гумилёва и его желание, чтобы было все так, как он хочет), Рейснер удивило и расположило к поэту. Она увидела человека сильного, подобно ей, пусть и с другим знаком, не революционера, но воина. Ведь и сама она стала воином в годы Гражданской войны. Так начался их роман, который, возможно, во многом сформировал образ будущего известного комиссара Гражданской войны. А в душе Гумилёва оставил яркие светлые воспоминания, несмотря на последовавший потом разрыв.

Лариса Рейснер была дочерью профессора государственного права Томского университета М. А. Рейснера (1868–1928), который в 1910-х годах перебрался в Санкт-Петербург и стал приват-доцентом университета. Лариса родилась в 1895 году в Люблине. В 1913 году она дебютировала в альманахе «Шиповник» пьесой «Атлантида». Чуть позже выпустила в Риге книгу о женских типах у Шекспира. Во время войны, в 1915 году начала вместе с отцом выпускать журнал «Богема» и потом «Рудин». Интересно, что журнал был зарегистрирован на имя Надежды Генриховны Лещенко, которая числилась в редакторах-издателях и была прислугой Рейснеров. Душой журнала был отец Ларисы, прошедший к тому времени довольно длинный путь

народничества и в 1903 году сблизившийся с русскими эмигрантами и германскими социал-демократами А. Бебелем и К. Либкнехтом. Познакомился в эти же годы Рейснер и с Лениным, который оказал на него радикальное влияние. В 1905 году Рейснер выпустил на немецком языке брошюрку «Борьба за права и свободу в России» с предисловием Бебеля, а через год повторил издание уже на русском языке в Москве. В Санкт-Петербурге в 1906 году увидела свет его книга «Русский абсолютизм и свобода». В 1907 году Рейснер вернулся в Россию, и с тех пор Рейснеры жили в Санкт-Петербурге. Первый номер журнала «Рудин» издатели выпустили в ноябре 1915 года. В программной статье было заявлено: «…создание органа, который бы клеймил бичом сатиры, карикатуры и памфлета все безобразие русской жизни, где бы оно ни находилось»; вторую свою задачу редакция видела в том, чтобы «открыть дорогу молодым талантам и при их помощи придти к установлению новых культурных ценностей». Следуя этой программе, Рейснеры стремились привлечь в свой журнал литературную молодежь. Основными его сотрудниками стали студенты — члены университетского «Кружка поэтов», в который входила и сама Рейснер. Среди них были О. Э. Мандельштам, Вс. А. Рождественский, И. В. Евдокимов; был привлечен также живший в Москве Л. В. Никулин. Из писателей более старшего поколения однажды выступил в «Рудине» Б. Садовской, был приглашен, но не участвовал в журнале А. С. Грин… В мае 1916 года журнал прекратился на восьмом номере, просуществовав всего полгода.

В первом же номере «Рудина» Лариса попыталась напечатать свое поэтическое «Письмо», адресованное Гумилёву от лица поэта-улана, но его не пропустила цензура. Читал ли это послание сам Николай Степанович или нет, неважно, ведь он воспринимал Ларису прежде всего как красивую женщину.

Осенью 1916 года, находясь в лазарете Обществ писателей на Петроградской стороне, Гумилёв послал Ларисе Рейснер, студентке Психоневрологического института, письмо в стихах «Что я прочел? Вам скучно, Лери…». Вероятно, письмо было ответом на их беседы:

Что я прочел? Вам скучно, Лери,
И под столом лежит Сократ,
Томитесь Вы по древней вере?
— Какой отличный маскарад!
Вот я в моей каморке тесной
Над Вашим радуюсь письмом,

Как шапка Фацета прелестна
Над милым девичьим лицом.
Я был у Вас, совсем влюбленный,
Ушел, сжимаясь от тоски,
Ужасней шашки занесенной
Жест отстраняющей руки…
……
И верно день застал, серея,
Сократа снова на столе,
Зато «Эмали и камеи»
С «Колчаном» в самой пыльной мгле.
Как Вы, похожая на кошку,
Ночному молвили «прощай!» —
И мчит Вас в Психоневроложку,
Гудя и прыгая, трамвай.

В Петрограде они часто встречались и проводили многие часы вместе. После того как 24 октября 1916 года Гумилёв отбыл в свой полк, из Окуловки он отправляет 8 ноября ей письмо, начинающееся строчками: «Лера, Лера, надменная дева, / Ты как прежде бежишь от меня…» Это уже поэтические черты образа Гондлы, которые в воображении поэта слились с характером гордой красавицы Рейснер. Гумилёв в это время еще дорабатывал поэму «Гондла», написанную летом в Массандре. Письмо полно нежных признаний в любви: «Я часто скачу по полям, крича навстречу ветру Ваше имя, снитесь Вы мне почти каждую ночь. И скоро я начинаю писать новую пьесу, причем, если Вы не узнаете в героине себя, я навек брошу литературную деятельность». (О какой пьесе писал Гумилёв, не совсем ясно. Имя Лери — он взял из «Гондлы»[65].) Лариса называла поэта в письмах и романе Гафизом. Так звали героя драмы «Дитя Аллаха»[66], впервые прочитанной Гумилёвым 19 марта 1916 года в редакции «Аполлона» на заседании Общества ревнителей художественного слова.

В ответе Ларисы — тоже искреннее признание в любви: «Милый мой Гафиз, это совсем, не сентиментальность, но мне сегодня так больно. Так бесконечно больно. Я никогда не видела летучих мышей, но знаю, что если даже у них выколоты глаза, они летают и ни на что не натыкаются. Я сегодня как раз такая бедная летучая мышь… жду Вас. Ваша Лери». В письме Ларисе Рейснер от 8 декабря (Гумилёв получил сразу два письма) он пишет ей, что у него созрел план поэмы о Лере: «…я мысленно напишу для себя одного (подобно моей лучшей трагедии,

которую я напишу только для Вас). Ее заглавие будет огромными красными как зимнее солнце буквами: „Лера и Любовь“… На все, что я знаю и люблю, я хочу посмотреть, как сквозь цветное стекло, через Вашу душу…» Гумилёв не написал пьесы о Ларисе Рейснер. Но, может быть, именно она подсказала ему образ главной героини другой его пьесы — «Отравленная туника». И если даже не героини, то сама идея написать такую пьесу могла родиться именно под впечатлением от знакомства с Ларисой. Гумилёв писал ей письма, полные нежной любви и тоски, еще и потому, что чувство одиночества в пору начинавшегося развала и смуты заставляло его искать близкого человека.

Ну какая женщина может устоять, когда о ней пишут возвышенным, божественным слогом? Роман переходит в почтовый. Рейснер в Петербурге выполняет все просьбы поэта. Даже ходит по его настоянию в церковь и ставит свечи Николаю-угоднику. В одном из писем Рейснер сообщает: «Милый Гафиз, Вы меня разоряете. Если по Каменному дойти до самого моста, до барок и большого городового, который там зевает, то слева будет удивительная игрушечная часовня. И там не один Св. Николай, а целых три. Один складной, и два сами по себе. И монах сам не знает, который влиятельней. Поэтому свечки ставятся всем уж заодно… мне трудно Вас забывать. Закопаешь все по порядку, так что станет ровное место, и вдруг какой-нибудь пустяк, ну, мои старые духи или что-нибудь Ваше, и вдруг начинается все сначала, и в историческом порядке. Завтра вечер поэтов в Университете, будут все Юркуны, которые меня не любят, много глупых студентов и профессора, вышедшие из линии обстрела. Вас не будет».

Она тоскует в разлуке по этому сумасбродному Дон Жуану и пишет ему сумасшедшие письма, полные грусти: «Я не знаю, поэт, почему лунные и холодные ночи так бездонно глубоки над нашим городом. Откуда это все более бледнеющее небо и ясный торжественный профиль старых подъездов, на тихих улицах, где не ходит трамвай и нет кинематографов. Кто сказал, что луна одна и ходит, и ходит по каким-то орбитам. Очевидные враки. За просвечивающейся дымкой их может быть сколько угодно, и они любопытны и подвижны со своими ослепительными, но занавешенными лицами. Кочуют, кочуют целую ночь над нелепыми постройками, опускают бледные ресницы, и тогда на ночных темных и высоких лестницах — следы целомудренных взоров, с примесью синевы и дымчатого тумана. Милые ночи, такие долгие, такие бессонные».

И Николай Степанович отвечает ей фантастическими письмами. 15 января Гумилёв сообщает, что целыми днями

валялся «в снегу, смотрел на звезды и мысленно чертил между ними линии, рисовал себе Ваше лицо, смотрящее на меня с небес…».

По просьбе Рейснер он начинает думать над сочинением новой пьесы о Кортесе и Мексике, а поэтому просит возлюбленную прислать книгу американского историка Прескотта «История завоевания Мексики». Он рассказывает ей о своих литературных поисках и сомнениях: «…Иногда я даже вскакиваю, как собака, увидевшая взволновавший ее сон. Она была бы чудесна, моя пьеса, если бы я был более искусным техником. Как я жалею теперь о бесплодно потраченных годах, когда, подчиняясь внушеньям невежественных критиков, я искал в поэзии какой-то задушевности и теплоты, а не упражнялся в писании рондо, ронделей, лэ, вирелэ и пр. Что из того, что в этом я немного искуснее моих сверстников. Искусство Теодора де Банвиля и то оказалось бы малым для моей задачи. Придется действовать по-кавалерийски, дерзкой удалью и верить, как на войне, в свое гусарское счастье. И все-таки я счастлив, потому что к радости творчества у меня примешивается сознание, что без моей любви к Вам я и отдаленно не мог бы надеяться написать такую вещь. Теперь, Леричка, просьбы и просьбы: от нашего эскадрона приехал в город на два дня солдат, если у Вас есть уже русский Прескотт, пришлите его мне. Кроме того, я прошу Михаила Леонидовича купить мне лыжи и как на специалиста по лыжным делам указываю на Вас. Он Вам, наверное, позвонит, помогите ему. Письмо ко мне и миниатюру Чехонина (если она готова) можно послать с тем же солдатом. А где найти солдата, Вы узнаете, позвонив Мих. Леонид. Целую без конца Ваши милые, милые ручки. Ваш Гафиз».

И Лариса, с готовностью оставив все свои дела, ищет Гумилёву в военном Петрограде нужную ему книгу. Она дает ему отчет в письме: «Мой Гафиз, смотрите, как все глупо вышло. Вы не писали целую вечность, я рассердилась — и не приготовила Вашу книгу. Солдат уезжает завтра утром, а мне М. Л. позвонил только сегодня вечером, часов в 8, значит, и завтра я ничего не успею сделать. Но все равно Прескотта я так или иначе разыщу и Вам отправлю. Теперь лыжи. Таких, как Вы хотите, нигде нет. Их можно, пожалуй, выписать из Финляндии, и недели через две они бы пришли. Но не знаю, насколько это Вас устраивает? Миниатюра еще не готова — но, наверное, будет в первых числах. Что сказать Вам еще? Да, о Вашей работе. Помните, мы как-то говорили, что в России должно начаться возрождение? Я в последнее время много думала об этих странных людях, которые после утонченного прозрачного мудрого кватроченто, вдруг,

просто одним движением сделались родоначальниками совсем нового века. Ведь подумайте, Микель Анджело жил почти рядом с Содомой, после Леонардо, после женщин, неспособных держать даже Лебедя. И вдруг эти тела, эти тяжести и сновидения. Смотрите, Гафиз, у нас было и прошло кватроченто. Брюсов, учившийся искусству, как Мазаччио перспективе. Ведь его женщины даже похожи на этих боевых, тяжелых коней, которые занимали всю середину фрески своими немного поднятыми ногами, крупами, необычными телодвижениями. Потом Белый, полный музыки и аллегорий, наполовину Боттичелли, Иванов — чудесный график, ученый, как болонец, точный и образованный, как правоверный римлянин. А простые и тонкие Бальмонт и его школа — это наша отошедшая готика, наши цветные стекла, бледные святые, больше <…> чем поэзия. Я очень жду Вашей пьесы. Вы как ее скажете? Вероятно, форма будет чудесна, Вы это сами знаете. Но помните, милый Гафиз, Сикстинская капелла еще не кончена — там нет Бога, нет пророков, нет Сивилл, нет Адама и Евы. А главное — нет сна и пробуждения, нет героев, ни одного жеста победы, ни одного полного обладания, ни одной совершенной красоты, холодной, каменной, отвлеченной — красоты, которой не боялись люди того века и которую смогли чтить как равную. Ну, прощайте. Пишите Вашу драму и возвращайтесь ради Бога. Гафиз, милый, я Вас жду к первому. Пожалуйста, постарайтесь быть. А?»

Что можно ответить на такую заботу и ласку? Только одно: «Леричка моя, какая Вы золотая прелесть, и Ваш Прескотт и Ваше письмо, и, главное, Вы. Это прямо чудо, что во всем, что Вы делаете, что пишете так живо, чувствуется особое Ваше очарование. Я и „Завоевание Мексики“ читаю с таким чувством, точно Вы его написали. А какая это удивительная книга. Она вся составлена на основании писаний старинных летописцев, частью сподвижников Кортеса, да и сам Прескотт недалеко ушел от них в милой наивности стиля и мыслей. Эта книга подействовала на меня как допинг на лошадь, и я уже совсем собрался вести разведку по ту сторону Двины, как вдруг был отправлен закупать сено для дивизии. Так что теперь я в такой же безопасности, как и Вы. Жаль только, что приходится менять план пьесы, Прескотт убедил меня в моем невежестве относительно мексиканских дел. Но план вздор, пьеса все-таки будет, и я не знаю, почему Вы решили, что она будет миниатюрной, она трагедия в пяти актах, синтез Шекспира и Расина! Лери, Лери, Вы не верите в меня. К первому приехать мне не удастся, но в начале февраля, наверное. Кроме того, пример Кортеса меня взволновал, и я начал сильно подумывать о Персии. Почему бы мне на самом деле не заняться

усмирением Бахтиаров? Переведусь в кавказскую армию, закажу себе малиновую черкеску, стану резидентом при дворе какого-нибудь беспокойного хана, и к концу войны кроме славы у меня будет еще дивная коллекция персидских миниатюр. А ведь Вы знаете, что моя главная слабость — экзотическая живопись. Я прочел статью Жирмунского. Не знаю, почему на нее так ополчились. По-моему, она лучшая статья об акмеизме, написанная сторонним наблюдателем, в ней так много неожиданного и меткого. Обо мне тоже очень хорошо, по крайней мере, так хорошо еще обо мне не писали. <…> Если опять от меня долго не будет писем, смотрите на плакаты — „Холодно в окопах“. Правду сказать не холодней, чем в других местах, но неудобно очень. Лери, я Вас люблю. Ваш Гафиз. Вот хотел прислать Вам первую сцену трагедии и не хватило места».

Читая эту чудом выжившую в бурный и кровавый XX век переписку, удивляешься таким нежным ангельским словам, расточаемым этими двумя земными существами. Лариса пишет: «Застанет ли Вас это письмо, мой Гафиз? Надеюсь, что нет: смотрите, не сегодня-завтра начнется февраль. По Неве разгуливает теплый ветер с моря — значит, кончен год. (Я всегда год считаю от зимы до зимы) — мой первый год, не похожий на все прежние: какой он большой, глупый, длинный — как-то слишком сильно и сразу выросший. Я даже вижу на носу массу веснушек и невообразимо длинные руки. Милый Гафиз, как хорошо жить».

А 6 февраля Гумилёв посылает Рейснер открытку с изображением картины Л. Авилова «Гусары смерти в плену» и на ней новое стихотворение «Взгляните: вот гусары смерти!..», в котором пишет о плене «девичьей шеи лебединой / И милых рук и алых губ».

Переписка становится чуть ли не ежедневной. 9 февраля из Окуловки Гумилёв снова посылает Ларисе открытку (с изображением «Плантации риса» — издание Общины святой Евгении): «Лариса Михайловна, я уже в Окуловке. Мой полковник застрелился, и приехали рабочие, хорошо еще, что не киргизы, а русские. Я не знаю, пришлют ли мне другого полковника или отправят в полк, но, наверно, скоро заеду в город. В книжн. маг. Лебедева, Литейный (против Армии и Флота) есть и Жемчуга, и Чужое Небо. Правда, хорошие китайцы на открытке? Только негде написать стихотворенье. Иск. пред. Вам Н. Гумилёв». Но это не беда, стихотворение он ей все равно напишет и пошлет.

22 февраля Гумилёв каким-то образом оказался в Москве и отсылает ей открытку с репродукцией «Святой Софии» Г. Нарбута[67]. На обратной стороне открытки поэт перечеркивает

напечатанное стихотворение:

Сказал таинственный астролог:
«Узнай, султан, свой вещий рок, —
Не вечен будет и не долог
Здесь мусульманской власти срок.
Придет от севера воитель
С священным именем Христа —
Покрыть Софийскую обитель
Изображением креста». —

и пишет свое — новую канцону:

Бывает в жизни человека
Один неповторимый миг:
Кто б ни был он, старик, калека.
Как бы свой собственный двойник,
Нечеловечески прекрасен
Тогда стоит он, небеса
Над ним разверсты; воздух ясен;
Уж наплывают чудеса.
Таким тогда он будет снова,
Когда воскреснувшую плоть
Решит во славу Бога-Слова
К всебытию призвать Господь.
Волшебница, я не случайно
К следам ступней твоих приник:
Ведь я тебя увидел тайно
В невыразимый этот миг.
Ты розу белую срывала
И наклонялась к розе той,
А небо над тобой сияло
Твоей залито красотой.

(1917)

Чувства переполняют поэта-гусара, свободного от службы, он пишет на следующий день еще одну канцону и посылает ее из Москвы. На сей раз он написал стихотворение с обратной стороны открытки с репродукцией Н. Самокши «В австралийской деревне». В этой канцоне он проговаривает свои сокровенные мысли:

…Только любовь мне осталась, струной

Ангельской арфы взывая,
Душу пронзая, как тонкой иглой,
Синими светами рая.

Ты мне осталась одна. Наяву
Видевший солнце ночное,
Лишь для тебя на земле я живу,
Делаю дело земное.

Да! Ты в моей беспокойной судьбе —
Иерусалим пилигримов.
Надо бы мне говорить о тебе
На языке серафимов.

Какие светлые краски, какие жизнеутверждающие интонации! Только за пробуждение таких чистых и светлых чувств в душе поэта Лариса достойна бессмертия!

После 23 февраля переписка прервалась.

Два последних письма (вернее, открытки) Гумилёв отправил Ларисе Михайловне 30 мая 1917 года из Швеции (со стихотворением «Швеция») и Норвегии. В последнем письме 5 июня 1917 года поэт писал: «Лариса Михайловна. Привет из Бергена. Скоро (но когда, неизвестно) думаю ехать дальше. В Лондоне остановлюсь и оттуда напишу, как следует. Стихи все прибавляются. Прислал бы Вам еще одно, да перо слишком плохо, трудно писать. Здесь горы, но какие-то неприятные, не знаю, чего недостает, может быть, солнца. Вообще Норвегия мне не понравилась, куда же ей до Швеции. Та — игрушечка. Ну, до свиданья, развлекайтесь, но не занимайтесь политикой. Преданный Вам Н. Гумилёв». Если бы Гумилёв знал, что предостерегает от занятий политикой профессиональную революционерку!

Сохранилось письмо-прощание Ларисы Рейснер, в котором петербургская красавица и будущий красный комиссар совдепии благодарит поэта за прекрасные минуты ее жизни: «В случае моей смерти все письма вернутся к Вам. И с ними то странное чувство, которое нас связывало, и такое похожее на любовь. И моя нежность — к людям, к уму, поэзии и некоторым вещам, которая благодаря Вам — окрепла, отбросила свою собственную тень среди других людей — стала творчеством. Мне часто казалось, что Вы когда-то должны еще раз со мной встретиться, еще раз говорить, еще раз все взять и оставить. Этого не может быть, не могло быть. Но будьте благословенны Вы, Ваши стихи и поступки.

Встречайте чудеса, творите их сами. Мой милый, мой возлюбленный. И будьте чище и лучше, чем прежде, потому что действительно есть Бог. Ваша Лери». (На конверте этого письма рукой Л. Рейснер приписано: «Если я умру, эти письма, не читая, отослать Н. С. Гумилёву». Письмо было написано в конце ноября 1917 года, до Н. С. Гумилёва не дошло и потом хранилось во Франции.)

Как у всякого романа, и у этого был эпилог. Гумилёв не занимался политикой до самой своей смерти, а Лариса не послушалась советов поэта и остаток жизни прожила бурно. Летом 1917 года, когда Гумилёв был в Париже, Рейснер начала работать в Петроградской Межклубной комиссии, потом в Комиссии по делам искусств при Исполкоме Совета рабочих и солдатских депутатов, выступала с агитационными публицистическими материалами в газете «Новая жизнь».

В первые дни октябрьского переворота эта неуемная женщина стала в ряды заговорщиков и приняла непосредственное участие в уничтожении многовековой русской культуры под безумными лозунгами установления пролетарской культуры. Одно время она занималась учетом и охраной музейных ценностей, но эта работа оказалась не по ней. В 1918 году, в Гражданскую войну, Рейснер вступила в коммунистическую партию и летом того же года получила назначение на Восточный фронт. Она стала комиссаром разведывательного отряда штаба 5-й Красной армии, принимала участие в боевых операциях Волжско-Камской Красной флотилии. В этом же году она последовала примеру своего возлюбленного, и, как он в 1915–1916 годах публиковал «Записки кавалериста», так и она начала печатать письма с фронта в газете «Известия», позже они были собраны в книгу «Фронт. 1918–1920 гг.».

В декабре 1918 года Лариса Рейснер была назначена комиссаром Генерального штаба Военно-морского флота республики и в этой должности пребывала до июня 1919 года. В июне 1919 года она опять отправилась на фронт и пробыла там до середины 1920 года, принимая участие в боях Красной Волжско-Каспийской флотилии. 31 июля 1920 года ее назначили сотрудником Политического управления Балтийского флота, а в марте 1921 года она уехала в составе советского посольства на два года в Афганистан.

Они еще раз встретились в этой жизни, эти романтики разных полюсов ушедшего века. 2 августа 1920 года Лариса Рейснер вместе с Александром Блоком пришла на вечер Николая Гумилёва в Дом искусств. Николай Степанович читал фрагменты из африканских воспоминаний, поэму «Дитя Аллаха» и стихи

«Средневековье», «Эзбекие», «Память». Их взгляды встретились, не могли не встретиться. Они были уже в разных мирах, навсегда их разъединивших, но чувство, которое когда-то их объединяло, не умерло.

Правда, Рейснер пыталась скрыть свое чувство за показной бравадой. В сентябре 1920 года она побывала у Анны Ахматовой и, по словам последней, плохо отзывалась о Гумилёве. Лариса якобы рассказала Анне Андреевне, что была любовницей Гумилёва в 1916–1917 годах. Что это — правда или вымысел, — сегодня ни доказать, ни опровергнуть невозможно. Пусть это остается на совести Анны Андреевны. По воспоминаниям Надежды Мандельштам, Лариса до конца жизни считала расстрел Гумилёва «единственным темным пятном на ризах революции». Была уверена, что если бы она находилась тогда в России, то не допустила бы расстрела. Но Лариса писала в конце 1922 года из Афганистана своей матери, узнав об убийстве Гумилёва: «Если бы перед смертью его видела — все ему простила бы, сказала бы правду, что никого не любила с такой болью, с таким желанием за него умереть, как его, поэта, Гафиза, урода и мерзавца. Вот и все».

В 1923 году Лариса Рейснер находилась в Германии, когда начались революционные события в Гамбурге. Вернувшись в Россию, она написала книги о событиях в Германии: «В стране Гинденбурга» и «Гамбург на баррикадах». Лариса Рейснер-Раскольникова умерла от тифа в 1926 году, не дожив до времени больших репрессий. В 1928 году ее близкий знакомый, Карл Радек (тоже впоследствии казненный большевиками), издал двухтомное собрание ее произведений. Еще раз петербургскую красавицу-комиссара вспомнили в 1965 году, издав том ее сочинений. В 1969 году вышла книга «Лариса Рейснер в воспоминаниях современников».

Но пора вернуться к Гумилёву.

Глава XVIII ПРОЩАНИЕ С ПАРИЖЕМ

Весна 1917 года стала для Николая Степановича временем глубокого разочарования. Законный Государь Император отрекся от престола. Так это было обнародовано. В стране началась смута. Естественно, она не могла не коснуться и армии. Гумилёв видел, что все высокие чувства — патриотизм, героизм, служение Отечеству — обесценивались. Императору изменили самые близкие люди.

При полном бездействии правоохранительных структур — жандармерии, полиции — общество разлагалось прямо на глазах: грабежи, разбои становились обыденными явлениями. В этой начавшейся неразберихе наиболее организованные «черви-паразиты — большевики, — как писал атаман Петр Краснов, — подъедали яблоко российской государственности». В армии действовали их комитеты, в Россию в запломбированном немецком вагоне и на немецкие деньги прибыл вождь большого террора Ульянов-Ленин. В свое время именно он заявил: «Столыпин должен быть убит, иначе в России никогда не будет революции». Когда эсеры занимались индивидуальным террором, он провозгласил, что «необходимо перевести индивидуальный террор в массовый». Вернувшись в Россию, этот оборотень стал проводить политику, сводившуюся тогда к лозунгу «Чем хуже — тем лучше!». То есть — чем хуже в стране, тем лучше для большевиков. Большевистские комитеты в армии требовали прекратить войну с немцами. Это и понятно, большевикам нужно было отрабатывать немецкие деньги. Под влиянием антигосударственной пропаганды большевистских экстремистов в армии продолжались разрушительные процессы: солдатские комитеты, находившиеся под влиянием большевиков, требовали распустить крестьян по домам, заключить немедленный мир, призывали брататься с немецкими солдатами. Положение приобретало серьезный и необратимый характер для русской армии.

18 апреля министр Милюков пытался заявить о том, что Временное правительство намерено выполнять свои обязательства перед союзниками и продолжать боевые действия. Официально нота Милюкова была опубликована 20 апреля (по новому стилю 3 мая). В ответ ультралевые (в том числе и большевики) спровоцировали в Санкт-Петербурге беспорядки.

П. Н. Милюков был ключевой фигурой во Временном правительстве. Он возглавлял партию кадетов и 2 марта на митинге в Таврическом дворце объявил о создании Временного

правительства, в котором занял в ту пору очень важный пост — министра иностранных дел. Большевики в ответ на ноту Милюкова устроили вооруженную демонстрацию на улицах Санкт-Петербурга. К трем-четырем часам дня к Мариинскому дворцу они согнали солдат запасного батальона Финляндского полка с плакатами «Долой Милюкова!», «Милюкова в отставку!». Пришли и другие части. Трусливое правительство князя Львова не нашло ничего лучше как сдать Милюкова. С этого времени и начался уже неуправляемый развал русской армии.

Служба в гусарском полку у Гумилёва тоже не сложилась. Несмотря на еще один полученный орден, заготовка сена и бессмысленное сидение в окопах томили жаждущего настоящего дела романтика. Поэт снова затосковал по экзотическим странам. Мечта попасть на Салоникский фронт, чтобы не видеть творящегося вокруг безобразия, окончательно овладела Гумилёвым. Неизвестно, что бы у него получилось, но тут помог случай. Весной 1917 года вместе с ним в госпитале лежал М. А. Струве, у которого были обширные связи в руководстве русской армии. Он и помог Николаю Степановичу в организации перевода.

Уже 27 апреля в штаб 5-й кавалерийской дивизии пришла телеграмма: «Прошу телеграфировать Петроград мобилизационный не встречается ли препятствий и удостаивается ли Вами прапорщик Александрийского полка Гумилёв к командированию состав наших войск Салоникского фронта. Начальник мобилизационного отделения ГУГШ (Главного управления Генерального штаба) полковник Саттеруп». Командир полка подполковник Козлов охарактеризовал прапорщика Н. Гумилёва положительно.

30 апреля начальник дивизии посылает в мобилизационный отдел ГУГШа телеграмму, что Гумилёв такого права удостаивается и препятствий к отправке его на Салоникский фронт нет.

В тот же день Николай Степанович встретился с А. А. Блоком. О чем они говорили, неизвестно. Александр Александрович сотрудничал с Временным правительством и не помышлял о фронте.

2 мая, когда большевики нагнетали в Северной столице военные страсти, Гумилёв был официально командирован в распоряжение начальника штаба Петроградского военного округа для отправки на Салоникский фронт.

8 мая Гумилёв вместе с женой снова встретился с Блоком. Очевидно, они говорили не о войне, а о поэзии. Анна Андреевна

подписала Александру Александровичу свою книгу «Четки»: «А. А. Блоку дружески. Ахматова…»

В этот же день в гусарском Александрийском полку появился приказ № 139 о том, что прапорщик Н. С. Гумилёв, числящийся больным в Петрограде, со 2 мая поступил в распоряжение начальника штаба Петроградского военного округа для отправки на пополнение офицерского состава особых пехотных бригад Салоникского фронта.

На этом волокита по оформлению Гумилёва не окончилась. 10 мая в штаб Петроградского военного округа был отправлен послужной список гусарского прапорщика Н. С. Гумилёва, и он стал числиться в полку в графе «находящиеся в постоянной командировке».

Учитывая опыт сотрудничества с «Биржевыми ведомостями» во время службы в уланском полку, поэт надеялся писать корреспонденции с Салоникского фронта. Для этой цели он подписал контракт с газетой «Русская воля» (начала выходить 15 декабря 1916 года) и стал зарубежным корреспондентом с окладом в 800 франков в месяц.

15 мая Гумилёв покидал Петроград. Анна Андреевна провожала его на вокзал. Внешне он казался веселым, много говорил об открывающихся перспективах и даже высказал надежду, что, возможно, ему удастся вырваться в Африку. О личном они не говорили. Их совместная жизнь так и не наладилась. Наверное, оба предчувствовали, что прощаются навсегда.

Как показали дальнейшие события, у Ахматовой были свои виды на устройство личной жизни, да и Гумилёв искал то, чего не смогла ему дать Анна Андреевна.

20 мая по старому, 2 июня по новому стилю поэт прибыл в Стокгольм, а через три дня — через Осло в Берген. Норвегия Гумилёву не понравилась.

С 10 по 20 июня поэт пароходом добирался до Лондона. Великобритания — королевство со строгим этикетом, высшим светом и изысканными литературными салонами — убежденному монархисту Гумилёву должна была показаться земным раем после взбунтовавшейся России.

Волей судьбы Гумилёв здесь встретился с близким другом своей жены художником Борисом Анрепом. Анреп ввел его в салон леди Отголайн Моррел, жившей под Оксфордом, где собирались известные писатели и художники, такие как О. Хаксли, Б. Рассел, В. Вульф, Д.-Х. Лоуренс. Олдос Хаксли вспоминал потом: «Я встречался с известным русским поэтом Гумилёвым… Мы с большим трудом объяснились друг с другом

по-французски, на языке, на котором он говорит… Он… довольно интересен и приятен».

В Лондоне поэт познакомился с итальянским журналистом и критиком Аруделем дель Ре. Гумилёв слышал о нем еще в России. Итальянец напечатал в «Аполлоне» свою статью под рубрикой «Письмо из Парижа». Итальянскому критику было интересно узнать, что Гумилёв направляется на Салоникский фронт, и он тут же в записную книжку поэта карандашом вписал свои рекомендации к итальянским писателям и журналистам. Одну рекомендацию он адресовал флорентийскому романисту Джованни Папини: «Дражайший Папини. Представляю тебе г-на Жумилёва (так звучит фамилия по-итальянски. — В. П.), русского поэта, который весьма интересуется литературными течениями у нас в Италии. Пожалуйста, предоставь его нашим друзьям и окажи ему посильную помощь…»

Еще две записки Аруделя дель Ре адресованы Луиджи Джованоле (Милан) и Перо Сгамбарелли (Рим).

Гумилёв знакомится с лондонской богемой и вписывает в свою записную книжку имена: C. R. Nevinsona (английский художественный критик), Roger Fry (известный критик и писатель), Gino Severini (итальянский художник, тогда проживавший в Париже).

Известный русский художник Д. Стеллецкий написал Гумилёву рекомендательную записку в Рим к маркизе Казатти.

На приеме у леди Джулиет Дафф Гумилёв познакомился с известным писателем Честертоном, который об этой встрече оставил свои воспоминания. Николай Степанович знакомится также с известным переводчиком китайской поэзии и хранителем восточного отдела в Британском музее Artur Waley. По-видимому, он сумел всерьез заинтересовать Гумилёва китайской поэзией. Возможно, именно под его влиянием Николай Степанович и займется потом в Париже переводом китайских стихов, которые составят книгу «Фарфоровый павильон».

В Лондоне поэт встретился со своим старым знакомым по «Бродячей собаке» журналистом Карлом Бехгофером. Англичанин представлял известный в ту пору в Великобритании еженедельник «The New Age» — «Новый век». Интересно, что в числе сотрудников этого издания совсем недавно был близкий Гумилёву по духу и возрасту литературный критик Томас Эрнест Хьюм. Он провозгласил новое литературное учение «имажизм», которое имело много общего с русским акмеизмом.

Самое удивительное, что Хьюм свой манифест провозгласил примерно в то же время, что и Гумилёв — в 1913 году. Недаром говорят, что идеи витают в воздухе. Друг друга они не знали, и

встретиться им было не суждено. Хьюм, как и Гумилёв, ушел добровольцем на фронт и был убит в бою в августе 1917 года.

Получилось интересное совпадение — именно к приезду Гумилёва в Лондон, 28 июня, Бехгофер в еженедельнике «The New Age» опубликовал беседу с Гумилёвым. В интервью поэт высказал свое мнение не только о состоянии современной литературы, но и о перспективах ее дальнейшего развития. Николай Степанович подчеркнул: «Мне представляется, что завершился великий период риторической поэзии, которой были поглощены почти все поэты XIX века. Сегодня основная тенденция состоит в борьбе за экономию слов, что было совершенно чуждо как классическим, так и романтическим поэтам прошлого, например Теннисону, Лонгфелло, Пушкину и Лермонтову. Они разговаривали в своей поэзии, а мы хотим сказать! Второй параллельной тенденцией являются поиски простоты образов и отличие от творчества символистов, очень усложненного, выспреннего, а подчас и темного. Новая поэзия ищет простоты, ясности и точности выражения. Любопытно, что все эти тенденции невольно напоминают нам лучшие произведения китайских писателей, интерес к последним явно растет в Англии, Франции и России. Кроме того, повсюду наблюдается очевидное стремление к чисто национальным поэтическим формам. Такие английские поэты, как Г. К. Честертон, У. Б. Йетс, например, пытаются возродить балладную форму и фольклор, поскольку именно в них нашла свое наивысшее выражение английская лирика. По той же причине французские поэты пишут очень простые и ясные стихи, почти песни. Особенно я мог бы отметить Вильдрака, Дюамеля и прочих. В России современные поэты экспериментируют с различными темами и формами, чтобы заполнить пробелы в молодой национальной поэзии. Тем не менее они, подобно остальным, не обращаются к чужим формам и темам, не пишут ни баллад, ни песен. Их поэзия наполнена психологическим содержанием, связанным с современными культурными и философскими течениями как в России, так и за ее пределами».

Интересно, что Гумилёв дает аналитический срез не только современной русской поэзии, но и пытается анализировать европейскую, причем развенчивает футуристов: «…Не думаю, что у футуризма в поэзии есть будущее, хотя бы потому, что в каждой стране свой собственный, отличный от других, футуризм, и все они, взятые вместе, вовсе не создают единой школы. В Италии, например, футуристы являются милитаристами, а в России — пацифистами. Кроме того, они строят свои теории на полном презрении к искусству прошлого, а это неминуемо окажет дурное влияние на художественные достижения, вкус и технику».

Высказал Гумилёв и спорную идею о том, что поэтическая драма придет на смену обычному театру. Увы, это его пророчество не сбылось. Говоря о российском театре, поэт, на мой взгляд, тоже не оказался пророком: «Что касается театральных экспериментов в России, — попытки таких режиссеров, как Мейерхольд и Евреинов, возродить старую итальянскую комедию обречены на провал хотя бы потому, что эта форма слишком пуста и поверхностна и не в состоянии достичь той глубины и трагичности, которые столь характерны для современности с ее великими прозрениями, войной и революцией».

Зато довольно точную и оригинальную мысль высказал поэт, когда журналист спросил его об эпосе: «Нет, время эпоса еще не настало. Эпос обычно появляется вслед за событиями, которые он воспевает. Мы же находимся в центре великих событий, и, следовательно, сейчас время для драмы, и так будет продолжаться еще долго. Совершенно очевидно, однако, что происходящие сейчас события станут источником эпического материала для будущих поколений в течение столетий. <…> Остается еще мистическая поэзия. Сегодня она возрождается только в России, благодаря ее связи с великими религиозными воззрениями нашего народа. В России до сих пор сильна вера в Третий Завет. Ветхий Завет — это завещание Бога-Отца. Новый Завет — Бога-Сына, а Третий Завет должен исходить от Бога Святого Духа, Утешителя. Его-то и ждут в России, и мистическая поэзия связана с этим ожиданием…»

Именно к мистической поэзии поэт обратился в последние годы своей жизни. Возможно, если бы его не убили, он первым бы провозгласил в России новое литературное течение. Об этом свидетельствовали его поздние поэтические опыты. Но и тут Николай Степанович разделял поэтическую драму и мистическую поэзию: «На мой взгляд, у них различные цели. У одной — душа, у другой — дух. Когда современный поэт чувствует ответственность перед миром, он обращает мысли к драме как к высшему выражению человеческих страстей. Но когда он задумывается о судьбе человечества и о жизни после смерти, тогда он и обращается к мистической поэзии».

О своих лондонских впечатлениях и встречах Николай Степанович написал М. Лозинскому в конце июля: «Дорогой Михаил Леонидович, я просидел в Лондоне две недели и сегодня еду дальше. В Лондоне я не потерял времени даром. Видел много поэтов, художников, эссеистов; дал интервьюеру одной литературной газеты (еженедельной) общий мой взгляд на современную поэзию, пришел на помощь одному переводчику в составлении антологии совр<еменных> русских поэтов (Джону

Курносу. — В. П.). В этом я очень просил бы и твоей помощи. Переводчику необходимо знакомиться с поэзией последних лет, чтобы написать вступленье, и может быть, ты бы мог выслать нужные книги…»

Далее Николай Степанович попросил друга переслать ему два тома «Cor Ardens» Вячеслава Иванова и его «Нежную тайну»; сборник стихотворений Андрея Белого «Золото в лазури» (вышел в 1904 году в издательстве «Скорпион» в Москве); Анненского «Кипарисовый ларец»; Ахматовой — корректуру «Белой стаи», вышедшей в том же 1917 году, О. Мандельштама «Камень» (второе издание этой книги было осуществлено в 1916 году); «Горный ключ» самого Лозинского (единственный известный поэтический сборник Михаила Леонидовича со стихотворным посвящением Н. Гумилёву); вторую книгу стихов В. Ходасевича «Счастливый домик» (книгоиздательство «Альциона». М., 1914); три поэтических сборника Клюева «Братские песни» (1912), «Сосен перезвон» (1912), «Лесные были» (1912, 1913); две поэтические книги Михаила Кузмина «Осенние озера» (вторая книга стихотворений, вышла в 1912 году в издательстве «Скорпион»), «Глиняные голубки» (третья книга стихов, отпечатана в 1914 году в Петербурге). Из своих книг Николай Степанович попросил только «Чужое небо» и «Колчан», а также оттиск драмы «Дитя Аллаха». Печатание этой пьесы было намечено в шестом-седьмом номерах «Аполлона». Хотя пьеса должна была выйти в 1917 году, но фактически этот номер «Аполлона» появился только весной 1918 года и был последним. На этом журнал прекратил свое существование. Отдельное же издание было осуществлено только в 1922 году в Берлине в издательстве «Мысль». А. Я. Левинсон, разбирая пьесу в том же году в парижском журнале «Современные записки», написал: «„Дитя Аллаха“ — лучшее из осуществленного Гумилёвым в драматическом роде».

Попросил Гумилёв и статью В. Жирмунского «Преодолевшие символизм», опубликованную в декабрьском номере «Русской мысли» за 1916 год, где известный критик высоко оценил поэта Гумилёва и отзывался благосклонно о представителях акмеизма. Интересно, что, собираясь знакомить английского переводчика с современной русской поэзией, Николай Степанович отобрал не только поэтов-акмеистов, но и представителей символистской школы, и тогда мало кому известного за рубежом автора двух поэтических книг Владислава Ходасевича. Гумилёв был выше узкоцеховых интересов. Видимо, на тот период две свои книги — «Чужое небо» и «Колчан» — он считал лучшими и хотел, чтобы именно по ним судили о нем как о поэте. Непонятно только,

почему он не попросил поэтических сборников Александра Блока, чьи стихи он ценил всегда высоко.

В этом же письме другу он сообщает: «Я чувствую себя совершенно новым человеком, сильным, как был, и помолодевшим, по крайней мере, на пятнадцать лет. Написал уже десяток стихотворений, и строчки бродят в голове. По-английски уже объясняюсь, только понимаю плохо… Отношение к русским здесь совсем не плохое, а к революции даже прекрасное. Посылаю тебе одно из моих последних стихотворений („На северном море“ — впервые опубликовано в книге „Костер“. — В. П.), если рара (С. Маковский. — В. П.) захочет, пусть печатает в „Аполлоне“, с твоего одобрения…» Причем, извиняясь за беспокойство своими просьбами, поэт учтиво напоминает Лозинскому, что это не для него лично, а «для русской поэзии». А Поэзия для него дороже и выше всего на земле.

Уже из Парижа в июле Гумилёв отправит жене в Петроград письмо, в котором опишет лондонские события; в нем — почти ничего личного, будет лишь проскальзывать забота о будущем русской литературы: «…Я живу отлично, каждый день вижу кого-нибудь интересного… пишу стихи (устраиваю), устанавливаю литературные связи… Анреп занимает видное место в комитете и очень много возится со мной. Устраивает мне знакомства, возит по обедам, вечерам. О тебе вспоминает, но не со мной. Так, леди Моррель, дама-патронесса, у которой я провел день под Оксфордом, спрашивала, не моя ли жена та интересная, очаровательная и талантливая поэтесса, о которой ей так много говорил Анреп… Бехгофер (англичанин из Собаки) пригласил меня остановиться у него… недурно говорит по-русски и знакомит меня с поэтами… Сегодня я буду у Йейтса, английского Вячеслава. Мне обещали также устроить встречу с Честертоном, которому, оказывается, за сорок и у которого около двадцати книг. Его здесь или очень любят, или очень ненавидят — но все считаются. Он пишет также и стихи, совсем хорошие. Думаю устроить, чтобы гиперборейские издания печатались после войны в Лондоне, это будет много лучше и даже дешевле. Здесь книга прозы, 300 стр. 1000 экз. на плотной бумаге и в переплете, стоила еще совсем недавно 500 р.».

1 июля английское «сидение» Гумилёва закончилось, и он прибыл в Париж.

Можно представить себе чувства поэта, когда он поселился в Париже в отеле на улице Пьера Шарона, 59. Наверное, он так и покинул бы этот прекрасный город с тайным чувством неудовлетворенной любви к нему, если бы на ту пору в нем не жили его друзья — известные русские художники Михаил

Федорович Ларионов и его жена Наталья Сергеевна Гончарова (внучатая племянница жены А. С. Пушкина). Друзья поэта по его настроению поняли, как не хочется ему покидать в то военное время гостеприимный город.

Сам Михаил Федорович был на пять лет старше Гумилёва (родился 22 мая 1881 года в Тирасполе, где волею судьбы в 1992 году закончил жизнь младший сын поэта Орест Николаевич Высотский и где ныне живут его потомки). Познакомился Михаил Федорович со своей будущей женой Натальей Гончаровой (родилась 4 апреля того же года в деревне Ладыжино Тульской губернии) в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве в начале века. В училище Ларионову преподавали такие видные мастера кисти, как Константин Коровин и Валентин Серов. Возможно, именно на Осенних салонах в Париже Гумилёв и увидел впервые работы Ларионова и Гончаровой. Там они стали выставляться с 1906 года. Художников заметил и оценил по достоинству Сергей Дягилев, основатель знаменитых театральных Русских сезонов в Париже, и взял с собой на вернисаж. Ларионов знакомится с французской живописью, в Лондоне увлекается живописными полотнами английского художника Тернера. Первые живописные работы самого Ларионова созданы явно под влиянием французского импрессионизма. В 1902 году он вместе с Гончаровой переживает сильное увлечение русским народным искусством, но уже в 1912 году выставляет на очередной выставке абстрактную картину «Стекло».

Как Гумилёв в поэзии, так Ларионов в живописи решает основать свое направление — лучизм. В 1911 году наступает резкая перемена в его творчестве и появляются ставшие теперь знаменитыми «лучистые картины» Ларионова. Свою теорию художник обосновал в вышедшей в 1913 году книге «Лучизм».

Возможно, Гумилёв в последние годы жизни что-то перенял от этой теории и пытался передать в слове, когда создавал свой мистический «Заблудившийся трамвай».

Интересно, что Михаил Федорович на протяжении своей жизни тоже писал стихи. Правда, неизвестно, читал ли он их Гумилёву.

С началом войны Гончарова возвращается в Россию. Ларионов также отправляется на родину и уходит на фронт. Однако воевать ему пришлось совсем недолго. В 1914 году в Восточной Пруссии Михаил Федорович был или тяжело ранен, или контужен немецким снарядом и после лечения демобилизован из армии. Именно в это время Дягилев зовет его вернуться в Париж для оформления Русских сезонов. Ларионов и Гончарова оставляют свой дом в Москве в Трехпрудном переулке

(построен отцом Натальи Сергеевны) и в июне 1915 года кружным путем через Норвегию и Англию едут сначала в Лозанну, а потом в Париж, где их ждут слава и мировое признание; в Россию они уже больше не вернутся.

Ларионов и Гончарова становятся ближайшими сотрудниками С. П. Дягилева. В 1917 году он устраивает в Риме показ их картин вместе с работами Пикассо. После этого картины Ларионова и Гончаровой начали выставляться в Нью-Йорке, Лондоне, Токио, Милане.

Естественно, когда Гумилёв разыскал Ларионова и Гончарову, они были не просто рады, но и сделали все от них зависящее, чтобы поэт не уезжал из Парижа. Позже Михаил Федорович писал в одном из писем Г. П. Струве: «…Чтобы его (Гумилёва. — В. П.) оставить в Париже, я и Нат. Серг. (имеется в виду Гончарова. — В. П.) познакомили его с полковником Соколовым, который был для русских войск комендантом в Париже. Потом с Альмой Эдуардовной Поляковой (вдовой банкира), которая была большой приятельницей генерала Занкевича, заведывавшего отправкой войск, — и временно задержали Ник. Степ, в Париже. А позднее познакомили его с Анной Марковной Сталь и с Раппом. — Рапп предложил ему место адъютанта при нем самом…»

Благодаря этим стараниям Николай Степанович был первоначально прикомандирован в распоряжение представителя Временного правительства при русских войсках во Франции генерал-майора Михаила Александровича Занкевича, вступившего в должность только в июне 1917 года и сменившего на этом посту генерала Палицына.

14 июля в русские войска во Франции для наведения порядка приказом Керенского был назначен комиссаром Временного правительства эмигрант Евгений Иванович Рапп. Е. И. Рапп, по профессии адвокат, принадлежал к эсеровской партии. Поэт и офицер-гусар, дважды георгиевский кавалер, образованный и исполнительный, был для нового комиссара находкой. Он тут же отправил телеграмму военному министру А. Ф. Керенскому: «Прошу назначения мне офицером для поручений прапорщика Александрийского полка командированного генеральным штабом в Салоники и оставленного в Париже в распоряжении генерала Занкевича. Прошу также предоставить ему содержание по штатам Тылового управления в Париже. Рапп».

Не дожидаясь официального разрешения из России, генерал Занкевич 11 (24) июля приказом № 30 по русским войскам во Франции оставил прапорщика Н. Гумилёва в Париже. 15 (28) июля начальник Тылового управления русских войск во Франции полковник Подпомарнецкий сообщал генералу Артамонову в

Салоники о новом назначении прапорщика Гумилёва. А 20 июля (2 августа нового стиля) генерал Занкевич сообщил телеграммой в Главное управление Генерального штаба: «5-го Гусарского полка прапорщика Гумилёва, направляющегося во 2-ю дивизию в Салоники, оставляю в Париже в моем распоряжении. Занкевич». Официально поэт все еще числился в 5-м гусарском Александрийском полку. Только 18 июля командир полка отправил рапорт начальнику кавалерийской дивизии с просьбой ускорить перевод Н. С. Гумилёва.

А в России большевики разжигали пламя будущей Гражданской войны не только в армии, на заводах, но и в деревне. 22 июля Анна Ахматова писала М. Лозинскому из Слепнева: «Деревня — сущий рай. Мужики клянутся, что дом (наш) на их костях стоит, выкосили наш луг, а когда для разбора этого дела приехало начальство из города, они слезно просили: „Матушка, барыня, простите, уж это последний раз!“ Тоже социалисты…»

Ему же 31 июля она сообщала тоже из Слепнева: «…крестьяне обещали уничтожить Слепневскую усадьбу 6 августа, потому что это местный праздник и к ним приедут „гости“. Недурной способ занимать гостей».

Гумилёв ничего этого не знал. Но и во Франции в русских частях было неспокойно. Только что вступивший в должность комиссара Е. И. Рапп вынужден был уже 22 июля ехать в лагерь Ла-Куртин на переговоры со взбунтовавшимися солдатами. По всей видимости, с ним был и прапорщик Гумилёв. Однако переговоры оказались неудачными. И сюда проникла большевистская зараза. В условиях развала России солдаты требовали, чтобы их вернули на родину. Вялотекущий бунт начался в июне, и Временное правительство потребовало навести порядок.

Потерпев поражение в официальных переговорах, Рапп решил использовать Гумилёва для бесед с представителями созданного солдатского комитета. 1 августа Николай Степанович получает пропуск для передвижения по железной дороге внутренней зоны Франции и отправляется на юг страны в лагерь бунтовщиков Ла-Куртин в департаменте Ле-Крез. Но и его дипломатия ничего не дала.

Любопытно, что именно в это время Гумилёв занимался и распространением эсеровской литературы для солдат по поручению Раппа. 20 августа Николай Степанович отправил отношение председателю отрядного комитета русских войск во Франции прапорщику Джинория: «Париж, август 1917 г. № 29. По приказанию Военного комиссара Временного правительства при сем прилагаю 142 экземпляра книжек „Социалистическая партия

и цели войны“ и 142 экз. „Эльзас-Лотарингия“ и 30 экз. „Французская революция и Русская революция“ для раздачи солдатам отряда во Франции. Приложение: упомянутое. Прапорщик Гумилёв (подпись)».

Эсеровская литература не смогла успокоить солдат. Бунт продолжался. 21 августа Гумилёв готовил приказ военного комиссара Временного правительства Е. И. Раппа по русским войскам во Франции № 58 о посещении последним дивизии и сделанных им выводах о сложившейся ситуации. 27 августа Н. Гумилёв готовит предписание Е. И. Раппа депутации 2-й особой артиллерийской бригады о переговорах с солдатами лагеря Ла-Куртин. У командования все еще остается надежда о мирном урегулировании конфликта.

29 августа Н. Гумилёв записал телефонограмму генерала М. А. Занкевича генералу Комби о плане подавления восстания солдат в Ла-Куртин. Наконец приходит приказ от Временного правительства о восстановлении порядка в лагере. В соответствии с этим генерал-майор Беляев формирует сводный отряд для подавления бунта.

Руководство перешло к решительным действиям. 1 сентября была прекращена подача продуктов в лагерь Ла-Куртин.

2 сентября прапорщик Н. Гумилёв прибыл в мятежный лагерь с полномочиями от Евгения Раппа, встретился с руководителями бунта 1-й бригады на границе лагеря в местечке Ла-Куртин. После переговоров вместе с председателем Совета Глобу и еще тремя членами этого Совета отправился к Е. Раппу. Комиссар Временного правительства вручил бунтовщикам ультиматум генерала Занкевича о немедленном прекращении бунта и сдаче оружия. Однако бунтовщики отказались выполнить условия ультиматума. Наконец терпение командования закончилось, и 3 сентября генерал Занкевич приказал открыть беглый артиллерийский огонь, чтобы убедить солдат сложить оружие. Гумилёв в этот день составляет черновик приказа военного комиссара Временного правительства Е. И. Раппа по русским войскам во Франции № 58 о посещении дивизии и выводах, но к этому времени генерал Занкевич уже дал приказ подавить бунт силой.

Теперь уже события развиваются стремительно. 4 сентября по лагерю мятежников открыт интенсивный артиллерийский огонь. Известно высказывание поэта по этому поводу: «О, Господи, спаси Россию и наших русских дураков!» В 11 часов 30 минут дня бунтовщики подняли белый флаг и заявили о капитуляции.

6 сентября в девять утра мятеж солдат 1-й бригады в лагере Ла-Куртин, требовавших возвращения на родину, был подавлен

окончательно. Н. Гумилёв помог составить донесение генералу Занкевичу для военного министра М. И. Терещенко. В качестве причины бунта Николай Степанович указал развернутую среди солдат пропаганду ленинско-махаевского толка. После подавления бунта Гумилёв пишет черновик хронологического обзора мятежа солдат 1-й особой пехотной бригады в лагере Ла-Куртин для представления Временному правительству за подписью генерала М. А. Занкевича и военного комиссара Е. И. Раппа.

Никакого сочувствия к мятежникам Гумилёв не испытывал. Поэт и георгиевский кавалер считал их поведение предательством интересов России, а их самих — заслуживающими, естественно, наказания. В ходе боевых действий девять бунтовщиков были убиты, сорок девять — ранены. Руководители мятежа посажены в тюрьму Бордо на острове Экс, а остальные мятежники были обезоружены и содержались в лагере. Участник подавления мятежа штабс-капитан В. Васильев писал: «Разнузданная, распропагандированная толпа в солдатских шинелях, потерявшая человеческий облик, с озлобленными, озверелыми лицами, бушует, пьянствует и безобразничает в военном лагере Ла-Куртин. Жители соседних сел по вечерам запираются на запоры. Трагическое положение русских офицеров, оскорбляемых своими же солдатами. Никакие „грозные“ приказы из Петербурга не в состоянии утихомирить эту толпу, разжигаемую появившимися изо всех дыр юркими революционерами-пропагандистами интернационального типа. „Долой войну — домой, в Россию — на раздачу земель!“ Но не все чины 1-й Особой пехотной дивизии поддались этой пораженческой пропаганде. Если 1-я бригада (I и II-й особые полки), набранная главным образом из фабрично-заводских рабочих Московской и Самарской губерний, сразу же стала выдвигать антимилитаристические лозунги и требовала немедленного возвращения в Россию, то 3-я бригада (V и VI особые полки), набранная из крестьян уральских губерний, пыталась противостоять наступающей анархии. Произошел раскол. 11 июля 1917 года рано утром верные солдаты под командованием офицеров оставляют лагерь и проходят с ощетинившимися штыками и направленными на обе стороны заряженными пулеметами между двух стен разъяренной толпы, грозящей кулаками и кричащей: „Продажные шкуры!“ Шествие замыкал любимец бригады — медведь, окруженный стражей. В бессильной злобе в него летели камни и палки. К удивлению всех, медведь шел с полным достоинством, спокойно передвигая своими огромными лапами, лишь слегка ворча… Отряд „верных“

встал лагерем в палатках около города Фэлтэн, в двадцати трех километрах от Ла-Куртин и 10 августа был перевезен по железной дороге в летний лагерь Курно, близ Аркашона. В начале сентября пришел приказ из Петрограда о немедленной и окончательной ликвидации „куртинских“ мятежников. Сформированный для этой цели сводный полк в ночь на 16 сентября окружил мятежный лагерь. Французская кавалерийская бригада на всякий случай стала сзади вторым кольцом. Ультиматум — в трехдневный срок сдать оружие. Редкие выстрелы русских батарей на высоких разрывах дали понять, что шутить не время и что непокорным надо выбрать: или сдаться, или принять бой. Большая часть „куртинцев“ сдалась в первые же два дня. Осталось несколько сот вожаков, не пожелавших подчиниться. Дабы избежать лишних потерь в этом первом гражданском бою, решено было с наступлением ночи атаковать. Лазутчики донесли, что оставшиеся мятежники разбили винные погреба и „набираются“ храбрости усиленным потреблением вина. Каждая рота „верных“ получила точное задание. В полночь сводный полк двинулся вперед… К утру все было закончено. Потери минимальные. Началась сортировка. Главари и зачинщики были переданы французским жандармам и интернированы. Остальные разбиты на „рабочие роты“ и разбросаны по всей Франции. Сводный полк вернулся в летний лагерь Курно 16 сентября по новому исчислению, или 3 сентября по-старому».

Сохранилась в Центральном государственном военно-историческом архиве России записанная 16 сентября рукой Гумилёва телефонограмма генерал-майора М. А. Занкевича командиру 1-й Особой артиллерийской бригады с благодарностью за успешные действия при подавлении восстания в лагере Ла-Куртин. Гумилёв в сентябре участвовал в работе следственной комиссии и разборе солдатских дел.

Грамотное поведение Гумилёва, его безупречная исполнительность вызвали к нему симпатии не только генерала Занкевича, но и самого Раппа. Теперь Евгений Иванович доверяет ему получать всю почту на его имя из отрядного комитета русских войск во Франции на домашний адрес Гумилёва: улица Пьера Шарона, 59, о чем 26 сентября уходит за подписью Николая Степановича соответствующая телеграмма.

При всем уважении, которое снискал поэт у командования, вопрос о его оставлении в Париже все еще остается открытым. Из Петрограда шлют телеграммы, из Парижа — такие же терпеливые объяснения о причинах оставления офицера Гумилёва в столице Франции.

11 августа генералом Занкевичем была получена телеграмма

генерала Романовского, в которой тот сообщал о согласии военного министра оставить Гумилёва в Париже.

И хотя 21 сентября Н. Гумилёв исключен из списков 5-го гусарского Александрийского полка, снова из Петрограда шлют в Париж телеграммы об отсылке Гумилёва в Салоники.

В данной ситуации, видимо, чтобы сохранить ценного офицера, Рапп посоветовал Гумилёву лечь в госпиталь на обследование. 26 сентября (9 октября по новому стилю) состоялось заседание врачебной эвакуационной комиссии, которая приняла постановление о направлении прапорщика Н. С. Гумилёва в госпиталь Мишле для обследования. 27 сентября Гумилёв написал по этому поводу шутливый рапорт в стихах о своей деятельности «За службу верную мою…» (1917):

За службу верную мою
Пред родиной и комиссаром
Судьба грозит мне, не таю,
Совсем неслыханным ударом.

Должна комиссия решить,
Что ждет меня — восторг иль горе:
В какой мне подобает быть
Из трех фатальных категорий…

Учитывая прошлые комиссии, Гумилёв мог быть вообще освобожден от военной службы. Вполне вероятно, что тогда бы он остался при Раппе как гражданское лицо.

В Петрограде, видимо, поняли, что Гумилёва Рапп не отпустит, и наконец 7 октября в Париж пришло отношение начальника политического управления Военного министерства Шера представителю Временного правительства при русских войсках во Франции генерал-майору М. А. Занкевичу и военному комиссару Временного правительства Е. И. Раппу об утверждении Н. С. Гумилёва в должности офицера для поручений при Е. И. Раппе.

Именно тогда-то Гумилёв и написал жене письмо о своих планах: «Дорогая Аничка, ты, конечно, сердишься, что я так долго не писал тебе, но я нарочно ждал, чтобы решилась моя судьба. Сейчас она решена. Я остаюсь в Париже в распоряжении здешнего наместника от Временного правительства, т. е. вроде Анрепа, только на более интересной и живой работе. Меня, наверно, будут употреблять для разбора разных солдатских дел и недоразумений. Через месяц, наверно, выяснится, насколько мое положение здесь прочно. Тогда можно будет подумать и о твоем

приезде сюда, если ты сама его захочешь. А пока я еще не знаю, как велико будет здесь мое жалованье. Но положение, во всяком случае, исключительное и открывающее при удаче большие горизонты. Я по-прежнему постоянно с Гончаровой и Ларионовым, люблю их очень. <…> Здесь сейчас Аничков, Минский, Мещерский… Приезжал из Рима Трубников. Целуй, пожалуйста, маму, Леву и всех. Целую тебя. Всегда твой Коля. Когда Ларионов поедет в Россию, пришлю с ним тебе всякой всячины…» Увы, Ларионов и Гончарова в Россию не вернулись. А сама Анна Андреевна в эту пору была занята устройством личной жизни.

До 11 сентября выходит в свет новая книга стихотворений Ахматовой «Белая стая» в издательстве «Гиперборей». 11 сентября сестре Николая Степановича, занимавшейся вместе с его матерью воспитанием Льва, Анна Андреевна подписывает книгу: «Милой Шурочке в знак дружбы и любви Анна Ахматова. Слепнево».

Вернувшись в Петроград, Анна Андреевна останавливается у своей подруги Валерии Срезневской. Встретившись с М. Лозинским, подписывает ему «Белую стаю»: «Михаилу Леонидовичу Лозинскому от его друга Ахматовой. Малый дар за великий труд. 15 сентября 1917. Петербург».

Не зная, чем занимается муж в Париже, она ведет себя как свободная женщина и именно в 1917–1918 годах сближается с другом мужа Владимиром Шилейко.

Брат поэта, поручик Дмитрий Гумилёв, летом 1917 года сдавал экзамены в Александровскую военно-юридическую академию и 5 августа по «выдержании приемного испытания с разрешения Управления Военным Министерством» был зачислен слушателем младшего курса.

Оставшись в Париже, Н. С. Гумилёв продолжал заниматься малоинтересными делами. 16 (28) октября он пишет отношение дивизионному интенданту 1-й Особой пехотной дивизии: «№ 105. Больные солдаты госпиталя № 45 имеют большую нужду в сахаре, который им выдается в недостаточном количестве. Поэтому Военный комиссар поручил мне просить Вас на имя доктора этого лазарета м-ль Гольдберг посылку в 30 кило сахара для раздачи солдатам. Прапорщик Гумилёв». Разбирается с посланием солдат сводной роты 1-го Особого пехотного полка на имя Е. И. Раппа. Добивается решения вопроса об отправке сахара в лазарет на имя м-ль Гольдберг за день до октябрьского переворота. Интересно, что в России уже было свергнуто Временное правительство, а в Париже еще продолжали функционировать его структуры.

В ноябре-декабре Николай Степанович увлекся переводами

китайских поэтов. 4 (17) ноября в газете «Русский солдат — гражданин во Франции» (№ 98) Н. Гумилёв опубликовал рецензию на книгу стихов Никандра Алексеева «Венок павшим».

30 ноября прапорщик Гумилёв разбирался с конфликтом, возникшим между членом исполнительного комитета военнослужащих Парижа полковником Коллонтаевым и подполковником Крупским. Крупский служил в Управлении русского военного агента во Франции графа А. А. Игнатьева и осуществлял связь с исполнительным комитетом русских военнослужащих в Париже. В повестке заседания комитета, которую Крупский отнес комиссару, а не Коллонтаеву, был и довольно щепетильный вопрос о посылке в Петроград 17 (30) ноября своих представителей. К кому надо было направлять представителей? Временного правительства уже не было, значит, законной власти тоже не было. Сношение с большевиками, естественно, русские офицеры считали для себя недопустимым.

Парадоксально, что в то время, когда гибла Россия, в Париже разбирались с бывшими агентами царской охранки.

18 (31) декабря Н. Гумилёв вместе с Е. Раппом подписывают отношение военного комиссара Временного правительства (которого уже нет) Е. И. Раппа российскому послу в Париже о высылке поручика Штакельберга из Франции как бывшего сотрудника царской охранки.

В июле-августе 1917 года Рапп на основании документов и дознания установил, что заведующий химическим отделом Особой артиллерийской комиссии, числящейся при русском военном агенте во Франции графе А. А. Игнатьеве, поручик Штакельберг является агентом царской охранки. Рапп потребовал его высылки, но Игнатьев проигнорировал его требования, сославшись на то, что нет денег для отправки в Россию. Отсюда вытекает довольно интересный вывод, если проследить судьбу самого графа. Гумилёв как доверенное лицо Раппа несомненно имел доступ ко всем секретным документам, в том числе и по расследованию дел тех, кто сотрудничал с охранкой. Большевики после переворота создали свою «охранку» и использовали многих старых специалистов. Сам граф Игнатьев повел себя довольно странно. После октябрьского переворота 1917 года считал себя эмигрантом, но в 1937 году, когда Россия была опутана сетью советских концлагерей и истекала кровью миллионов уничтожаемых невинных людей, он, особа столь высокопоставленная при Государе Императоре, возвращается в СССР, где не только не был репрессирован, но продолжает службу в Красной армии на генеральских должностях и делает неплохую карьеру, даже публикует в 1950 году в Москве свои мемуары

«Пятьдесят лет в строю». В каком строю? Игнатьев был связан с царской, а потом и с советской охранкой. Возможно, в 1917 году он остался на Западе не по своей воле. Дальнейшие события (неотправка Гумилёва на Месопотамский фронт и т. д.) позволяют сделать вывод, что Гумилёв мешал Игнатьеву и тот решил отправить его назад в Россию, зная, что там с ним легко будет разобраться. Конечно, это только одна из версий гибели поэта, знавшего слишком много.

24 декабря премьер-министр Франции Жорж Клемансо подписал положение о русских войсках во Франции, по которому руководство экспедиционным корпусом переходило к французам.

И тут появилась для Гумилёва хорошая возможность осуществления его романтических устремлений. 24 декабря 1917 года (по новому стилю 6 января 1918 года) в адрес генерала М. А. Занкевича пришла телеграмма русского военного агента в королевстве Великобритания генерала Ермолова: «Вход. № 1935. <…> Генералу Занкевичу от генерала Ермолова (агентский шифр) 1964 Переговоры по этому вопросу и вообще по использованию наших офицеров при английской армии были мною начаты лично с лордом Дерби уже некоторое время назад и еще ведутся точка. На этих днях я получил сообщение, что генерал Бичерахов (вопросительный знак) на Персидском фронте просит о присылке в его распоряжение 26 русских офицеров желающих, из них 16 кавалеристов, 8 пехотинцев, 2 артиллериста. Доставка желающих будет исполнена попечением английских военных властей. По соглашению с генералом Гермониус я в настоящее время запрашиваю желающих, и если останутся вакансии, сообщу Вам. Отправка должна состояться 15 нового января, причем офицеры должны быть снабжены теплой одеждой, мы предлагаем выдать им содержание на 4 месяца и некоторую сумму каждому на подъем, но этот вопрос еще не решен. Ермолов…»

Гумилёв, узнав о телеграмме генерала Ермолова и оказавшись перед необходимостью сделать выбор: возвращаться в Россию (так как Рапп стал частным лицом) или попасть в экзотическую страну, — останавливается на втором. В Париже русские структуры начали распадаться. 2 (15) января 1918 года Николай Степанович получил аттестат об удовлетворении его содержанием при тыловом управлении русских войск во Франции.

Жалованье Гумилёва в Париже составляло 61 рубль в месяц, плюс 10 рублей он получал как семейный офицер и 50 процентов ему платили надбавку (36 рублей 50 копеек в месяц), то есть всего ежемесячно Николай Степанович получал 106 рублей 50

копеек (в переводе на французскую валюту 284 франка). 1 сентября ему выплатили первое жалованье за четыре месяца (с 1 мая) в сумме 1136 франков. 10 января поэт получает 1812 франков — то есть жалованье на три месяца вперед. В декабре ему было выдано 400 франков на приобретение теплых вещей.

Так как 4 января (нового стиля) было расформировано управление военного комиссара, Гумилёв был оставлен на учете старшего коменданта русских войск в Париже приказом № 176 по русским войскам.

8 января в связи с телеграммой генерала Ермолова Гумилёв пишет рапорт представителю Временного правительства генералу Занкевичу, в котором просит ходатайствовать о назначении на Персидский фронт: «Согласно телеграммы № 1459 генерала Ермолова ходатайствую о назначении меня на персидский фронт». В тот же день Николай Степанович пишет шутливый рапорт в стихах своему новому начальнику — полковнику Б. (скорее всего полковнику Бобрикову, исполнявшему обязанности штаб-офицера при генерале М. А. Занкевиче):

Вдали от бранного огня
Вы видите, как я тоскую.
Мне надобно судьбу иную —
Пустите в Персию меня!..

На все мои вопросы — «Хуя!» —
Вы отвечаете, дразня,
Но я Вас, право, поцелую,
Коль пустят в Персию меня.

Так как генерал Занкевич ценил Гумилёва как офицера, он дал согласие на отправку его на Персидский фронт 9 января и Николай Степанович стал завершать дела в Париже.

11 (24) января 1918 года он получил еще 98 франков путевого довольствия; суточные деньги и полевые порционы из расчета 30 франков в день. За декабрь дополнительно к жалованью ему выплатили 930 франков. Кроме всего прочего, поэт должен был получать добавочное жалованье за Георгиевский крест 3-й степени по 1 апреля 1918 года, но аттестат выписали только 23 января, когда его уже не было в Париже.

10 января генерал Занкевич отправил телеграмму генералу Ермолову: «Усиленно ходатайствую о зачислении на вакансию. А если таковые уже разобраны, то об исходатайствовании такового перед Английским правительством для прапорщика Гумилёва 5-го Александрийского гусарского полка для направления его в

качестве кавалериста в Персию в ближайшем будущем… Прапорщик Гумилёв отличный офицер. Награжден двумя Георгиевскими крестами и с начала войны служит в строю. Знает английский язык…»

Рекомендация довольно любопытная. Генерал Занкевич лично рекомендует поэта, причем пишет, что тот владеет английским, хотя известно, что он его никогда не учил. Значит, Гумилёв сумел убедить Занкевича, что он владеет языком в надежде освоить его на ходу.

12 января генерал Ермолов прислал генералу Занкевичу телеграмму: «Генералу Занкевичу от генерала Ермолова… Прапорщик Гумилёв может быть командирован с нашими офицерами в Месопотамию в распоряжение генерала Бичерахова. Для сего надлежит его немедленно командировать в Лондон без всякой задержки, т. к. 16-го или 17-го нового стиля офицеры уже должны выехать отсюда. Мы удовлетворяем здесь отправляющихся офицеров следующим денежным довольствием: двухмесячный оклад содержания (жалованье и столовые) холостым и четырехмесячный семейным, подъемные деньги обер-офицеру 150 рублей, на приобретение верховой лошади 500 рублей, на приобретение конского снаряжения 175 руб., на приобретение теплого платья 150 руб., путевое довольствие, стоимость билета 1 класса на пароходе до Багдада 80 франков и суточные на два месяца обер-офицеру по 30 франков в сутки. Если прапорщик Гумилёв будет Вами командирован, то все указанное довольствие он должен получить от Вас, ибо я не имею возможности выдать ему эти деньги. Благоволите немедленно телеграфировать для сообщения английским военным властям, будет ли он командирован. Генерал Ермолов». В этот же день вышел приказ № 176, в котором сообщалось: «…находящимся в составе означенного управления поручику Базилувичу и прапорщику Гумилёву состоять впредь до устройства служебного положения на учете Строевого комитета г. Парижа».

14 января полковник Бобриков пишет отношение военному агенту во Франции графу А. А. Игнатьеву: «Прапорщик Гумилёв согласно присланной телеграммы назначен Английским военным министерством на Персидский фронт. Согласно приказанию генерала Занкевича прошу Вас не отказать сделать все надлежащие распоряжения для облегчения проезда прапорщику Гумилёву в Англию…»

В этот же день генерал Занкевич телеграфирует Ермолову, что прапорщик Гумилёв «командируется тот час же по получении позднего свидетельства…». Другое отношение с просьбой обеспечить доставку прапорщика Н. Гумилёва в Персию (на

французском языке) ушло военному атташе Великобритании в Париже, подписанное Занкевичем и исполняющим обязанности штаб-офицера для поручений полковником Бобриковым.

А 15 января полковник Бобриков отправляет отношение начальнику тылового управления русских войск во Франции полковнику Карханинову: «Телеграммой Военного агента Великобритании прапорщик Гумилёв назначен в его распоряжение для отправления на Месопотамский фронт. Генерал Занкевич приказал спешно его удовлетворить согласно прилагаемой телеграмме и выдать предписание. Сношение Военному агенту во Франции для облегчения проезда исполнено». Чтобы ускорить отъезд, подлинник доставил Карханинову сам Гумилёв.

15 января Гумилёв успевает получить аттестат за № 1972 за подписью полковника Карханинова и начальника хозяйственного отделения подполковника Лубенского. В приписке к аттестату сказано: «Названный в сем аттестате прапорщик Гумилёв при отправлении в Англию удовлетворен при Управлении Старшего коменданта русских войск гор. Парижа путевым довольствием: стоимостью билета 2-го класса от Парижа до Лондона в размере семидесяти семи франков и суточными деньгами на путь по числу верст в размере шестнадцати франков. Что подписью и приложением казенной печати удостоверяется. 16 января 1918 года, гор. Париж. Старший комендант русских войск гор. Парижа полковник. Подпись».

16 января прапорщик Гумилёв получает предписание: «Предписываю Вам сего числа отправиться в Англию в распоряжение генерала Ермолова и об отбытии донести. — Основание: Предписание Тылового управления от 15 января н. ст. № 5. Подписи: подполковник, за помощника коменданта штабс-капитан — подпись».

Но на этом мытарства гусарского офицера и поэта не закончились. 19 января генерал Ермолов шлет новую телеграмму генералу Занкевичу: «Генералу Занкевичу от генерала Ермолова (агентский шифр 2037). Англичане просят срочно прислать им список русских офицеров, желающих на Месопотамский фронт, преимущественно кавалеристов и гвардейцев, и не иначе как по Вашей особой рекомендации приблизительно около двенадцати человек. В списке необходимо указать относительно каждого, где служил и что делал во Франции. Благоволите всех командированных удовлетворить деньгами согласно расчетам, указанным в телеграмме 1462, но непосредственно от Вас, так как я выдавать им деньги здесь не могу. Для ускорения дела не откажитесь снестись с английским военным агентом в Париже.

Ермолов…»

Всех денег, необходимых на экипировку кавалерийского офицера, генерал Занкевич дать уже не мог. 20 января на французском языке подписан помощником русского военного агента в Париже подполковником Крупским приказ о командировании Н. С. Гумилёва в Лондон. На документе стоят печати русского и великобританского военных агентов в Париже, штемпель специального комиссариата в Булони о посадке на пароход 21 января 1918 года. В этот же день поэт получил и британскую визу. Он не мог знать, что его мечте о Персии уже не суждено осуществиться. 22 января генерал Ермолов известил генерала Занкевича: «Ввиду неполучения прапорщиком Гумилёвым денег от Вас согласно моей телеграмме № 1462, я организовать его отправку в Месопотамию на себя взять не могу, а потому откомандировываю его обратно в Ваше распоряжение. Ермолов». Подлинник расшифровал и уничтожил капитан Нарышкин. На копии телеграммы генерал Занкевич наложил резолюцию: «Нач-у Т. У. Еще раз прошу выхлопотать деньги у английского правительства 10.01. 3<анкевич>». Какой был шанс у генерала Ермолова сохранить жизнь большого русского поэта, но он не захотел приложить усилий. Не возымела на него действия и телеграмма генерала М. А. Занкевича от 24 января, в которой он писал: «Прапорщика Гумилёва рекомендую как отличного офицера. Еще раз прошу исходатайствовать у Английского правительства необходимую сумму денег для командировки в Месопотамию ввиду того, что денег у меня нет. Занкевич».

Николай Степанович мог остаться в Русском легионе в самой Франции. Именно в декабре началось формирование русских частей во Франции, и Гумилёв мог записаться в Особый полк полковника Готуа. Вот как пишет о формировании Русского легиона во Франции после декабря 1917 года штабс-капитан В. Васильев: «Старшие начальники не получали никаких инструкций. Красный Петроград молчал. Среди этого хаоса, подлости, малодушия раздался смелый голос рыцаря без страха и упрека полковника Готуа, гурийца родом (командира II особого полка). Он звал офицеров и солдат встать на защиту поруганной чести России и русского мундира. Он звал формировать Русский Добровольческий Отряд и довести, вместе с союзниками, борьбу до победного конца, чтобы в день перемирия в рядах союзных войск была хоть одна русская часть с национальным флагом. Не много откликнулось на этот рыцарский призыв. Декабрь 1917 г. Настал день разъезда. Шли грузиться на вокзал „рабочие роты“. По обеим сторонам дороги стояли толпы французов. Этих

здоровых, отъевшихся людей, идущих распущенной ватагой, французская толпа встретила презрительным молчанием. Ни одного крика, ни одного свистка. Но вот, в километре позади, показалась стройная небольшая часть с винтовками на плечах, с лихой песней, отбивавшая шаг. Впереди на коне полковник Готуа в своей постоянной кавказской папахе. На груди — Георгиевский крест. Взрыв восторга, крики, аплодисменты. Как и в Ла-Куртин, позади, замыкая шествие, величаво шагает со своими вожатыми Мишка-медведь. Крики увеличиваются, восторгу французов нет предела. Мишка опять ворчит, позвякивая цепями. Но на этот раз его ворчание — признак большого удовольствия и медвежьего удовлетворения. На отдельной железнодорожной ветке — состав вагонов с надписью: „Русский Добровольческий Отряд“…»

5 января 1918 года Русский легион уже прибыл в зону боевых действий и был прикомандирован к знаменитой Марокканской ударной дивизии. Почему Гумилёв не остался во Франции? Он рвался в Персию, на Восток. Сама война в Европе его перестала интересовать. Вероятно, он хотел увидеть своими глазами то, о чем собирался писать.

В то время как Николай Степанович отправился в поисках новой судьбы в Великобританию, его брат — Дмитрий Гумилёв — тоже оказался не у дел в России при новой власти. 3 января 1918 года он был освидетельствован в Особой эвакуационной комиссии при Эвакуационном отделе и по состоянию здоровья причислен к 4-й категории с правом на пенсию по статье 226, пункт 3, к. 8 Свода военных постановлений 1869 года и по закону от 25 июня 1912 года — потеря трудоспособности 80 процентов.

На следующий день, ввиду прекращения учебных занятий в академии, Д. С. Гумилёв отчислен к месту своей службы с увольнением в отпуск с 1 февраля 1918 года. А 8 января офицер Д. С. Гумилёв возвратился на службу в Эвакуационный отдел при Петроградском округе Военно-санитарного управления.

В декабре 1917 года Анна Андреевна, зная уже, что уйдет от Гумилёва, отправилась в Царское Село и увезла письма и материалы — свои и Николая Степановича.

Пока Гумилёв находился во Франции, в России был опубликован в журнале «Аргус» (1917. № 9–10) отрывок из его поэмы «Мик и Луи», в сборнике «Тринадцать поэтов» (Пг., 1917) появились стихотворения «Ледоход» («Уже одевались острова…»), «Осень» («Оранжево-красное небо…»), а в «Творчестве» (1917. Кн. 1) было напечатано стихотворение «Перед ночью северной короткой…». Лариса Рейснер опубликовала в «Летописи» (№ 5–6) рецензию на пьесу «Гондла», а Мария Тумповская отдала в шестой и седьмой номера «Аполлона» рецензию на поэтическую книгу

«Колчан».

Прощание с Парижем у Гумилёва вышло довольно грустное. Во-первых, он оставил здесь своих друзей, Михаила Ларионова и Наталью Гончарову, и в то же время его постигла большая неудача в любви. Хотя, может быть, эта неудача и способствовала тому, что в творческом отношении этот период его жизни стал плодотворным. Поэт многое успел благодаря этой таинственной и непреклонной Елене Дебуше, с которой познакомился еще в июле 1917 года. Так начал рождаться целый цикл стихотворений, многие из которых носят автобиографический характер. Причем иногда поэт даже не создает новых образов и пользуется набором из классической любовной лирики:

Из букета целого сирени
Мне досталась лишь одна сирень,
И всю ночь я думал об Елене,
А потом томился целый день.

(«Из букета целого сирени…», 1917)

После ярких и насыщенных символами и образами стихов «Колчана» эти стихотворения порой кажутся слишком простыми.

Не добившись взаимности, поэт тоскует в Париже по африканским просторам, так как понимает, что во Франции его ждет казенная канцелярская работа.

Ах, бежать бы, скрыться бы, как вору,
В Африку, как прежде, как тогда,
Лечь под царственную сикомору
И не подыматься никогда.

(«Вероятно, в жизни предыдущей…», 1917)

Но бежать ему некуда, он связан по рукам и ногам обстоятельствами, от него не зависящими, и он играет в Париже роль Дон Жуана, влюбленного в чужую невесту. Среди стихотворений традиционных, без ярких образов, с набором привычных размышлений о неразделенной любви вдруг рождается настоящий шедевр с роковым пророчеством и эмоционально насыщенными строками, полными подлинных высоких чувств. Это стихотворение «Я и Вы» (1917). Здесь вновь, как когда-то в юности, любовь и смерть у поэта неразделимы:

Да, я знаю, я Вам не пара,
Я пришел из иной страны,

И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.
……
И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще.

Чтоб войти не во всем открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут: вставай!

Какая точность в описании будущей смерти, до которой оставалось всего четыре года! Откуда же это страдание о посмертном наказании? Поэт понимает, что за все земные грехи ему придется отвечать, и чувство глубокого раскаяния вырывается из его души:

…И умер я… и видел пламя,
Не виданное никогда:
Пред ослепленными глазами
Светилась синяя звезда.

(«Я вырван был из жизни тесной…», 1917)

Синяя звезда — символ падения, символ греха, символ утренней звезды Люцифера. Гумилёв понимает это, но страсть сильнее разума:

…Но что же делать мне, когда
Я наконец так сладко знаю.
Что ты — лишь синяя звезда.

(«Синяя звезда», 1917)

Елена Дебуше для поэта, как песня. Как возможность совершить грех и покаяться, не совершая самого греха:

…И рад я, что сердце богато,
Ведь тело твое из огня,
Душа твоя дивно крылата,
Певучая ты для меня.

(«Дремала душа, как слепая…», 1917)

В другом стихотворении «Много есть людей, что, полюбив…» (1917) Гумилёв пишет об этом, охватившем его душу грехе:

…Если ты могла явиться мне
Молнией слепительной Господней,
И отныне я горю в огне,
Вставшем до небес из преисподней.

Поэт делает весьма кощунственный для православного человека выбор в канцоне «Храм Твой, Господи, в небесах…» (1917), он предпочитает земное небесному, дьявольское наваждение овладевает им:

…Ведь отрадней пения птиц,
Благодатней ангельских труб
Нам дрожание милых ресниц
И улыбка любимых губ.

Сквозь ироническое восприятие действительности сквозит явное разочарование жизнью. Гумилёв надеялся на легкий успех, а Елена Карловна, видимо, принимая знаки внимания, объявляет, что она — невеста и любит другого:

Мой альбом, где страсть сквозит без меры
В каждой мной отточенной строфе,
Дивным покровительством Венеры
Спасся он от ауто-да-фэ…

Высмеяв любовь к американцу, Гумилёв пророчествует с тонкой иронией о том, что альбом с его стихами, который он заполнял как раз в это время Елене Карловне, будет стоять в библиотеке ее внука и по нему напишут его биографию:

Вот и монография готова,
Фолиант почтенной толщины:
«О любви несчастной Гумилёва
В год четвертый мировой войны»…

(«Мой альбом, где страсть сквозит без меры…», 1917)

Конечно, нельзя доверять Одоевцевой, когда она писала в своих воспоминаниях от лица Гумилёва, приводя якобы его слова

о парижском цикле стихов: «Ну и, конечно, влюбился. Без влюбленности у меня ведь никогда не обходится. А тут я даже сильно влюбился. И писал ей стихи… А я как влюблюсь, так сразу и запою. Правда, скорее петухом, чем соловьем…»

Возможно, не все удачно было в этой любви и стихах, посвященных Елене Дебуше. Были и проходные, такие как «Об озерах, о павлинах белых…», или уныло-печальные, навеянные ее недоступностью.

Гумилёв призывает своих героев (стихотворение «В этот мой благословенный вечер…», 1917), Гафиза, Гондлу, Мика и Луи, Дон Жуана и даже дракона и Будду, чтобы еще больше оттенить чувство тоски по неразделенной любви:

…И пошли мы пара вслед за парой,
Словно фантастический эстамп,
Через переулки и бульвары
К тупику близ улицы Декамп.

Именно в этом переулке в ту пору и жила Елена Карловна. В другом стихотворении «Так долго сердце боролось…» (1917) поэт даже жалеет, что вообще родился на свет:

Тот миг, что я песнью своею
Доволен, — для Вас мученье…
Вам весело — я жалею
О дне моего рожденья.

И вновь мотивы печали, чувство безответной любви наводят Гумилёва на мысли о смерти. В стихотворении «Временами, не справясь с тоскою…» (1917) он пишет:

И теперь ты не та, ты забыла
Все, чем прежде ты вздумала стать…
Где надежда? Весь мир — как могила.
Счастье где? Я не в силах дышать.

Он признается в стихотворении «На путях зеленых и земных…» (1917):

Ты была безумием моим
Или дивной мудростью моею…

И в то же время он понимает, что это искушение идет от дьявола. В этом же стихотворении он пишет:

Это выше нас, и лишь когда
Протекут назначенные сроки,
Утренняя, грешная звезда.
Ты придешь к нам, брат печальноокий.

Может быть, сознавая всю пагубность дьявольского увлечения, Гумилёв проговаривает:

Я, что мог быть лучшей из поэм,
Звонкой скрипкой или розой белою,
В этом мире сделался ничем,
Вот живу и ничего не делаю.

(«Я, что мог быть лучшей из поэм…», 1917 — весна 1918)

И в стихотворении «Ангел боли» (1917 — весна 1918) Николай Степанович воспринимает любовь через смерть:

Пусть же сердце бьется, словно птица,
Пусть уж смерть ко мне нисходит… Ах,
Сохрани меня, моя царица,
В ослепительных таких цепях.

Несомненно, лучшими стихотворениями, посвященными таинственной Елене Дебуше, можно считать «Еще не раз Вы вспомните меня…» и «Отвечай мне, картонажный мастер…» (оба 1917). В первом стихотворении-покаянии поэт признается в неправедной своей любви и понимает свое полное бессилие перед нахлынувшими обстоятельствами. Его мир оказался ненужным возлюбленной, и он восклицает с горечью:

Еще не раз Вы вспомните меня
И весь мой мир, волнующий и странный,
Нелепый мир из песен и огня,
Но меж других единый необманный.

Он мог стать Вашим тоже и не стал,
Его Вам было мало или много,
Должно быть, плохо я стихи писал
И Вас неправедно просил у Бога.

«Картонажный мастер», наверное, стал последним стихотворением в альбоме стихов, написанных Елене Дебуше и ей на прощание подаренных. Увы, этот альбом исчез. Поэт прощается с любимой, но страсть остается в душе и будет проскальзывать в других, более поздних стихах.

Елена Дебуше не оценила поэта и вышла замуж за американца Ловеля. Уже после гибели Гумилёва, в 1923 году, в Берлине в издательстве «Петрополис» вышла книга поэта стараниями критика К. Мочульского, называвшаяся «К синей звезде. Неизданные стихи, написанные в 1918 году в Париже» (объемом семьдесят четыре страницы). Туда конечно же вошли не все стихи, написанные Гумилёвым в Париже и Лондоне в 1917–1918 годах. Часть из них была включена в другие книги поэта, изданные при жизни, а часть увидела свет много позже после его смерти.

Друг Гумилёва Михаил Федорович Ларионов писал об истории создания этого сборника в письме к Г. Струве: «Вначале многие стихи, написанные во Франции, входили в сборник, называемый „Под голубой звездой“, — название создалось следующим образом. Мы с Николаем Степановичем прогуливались почти каждый вечер в Gardin des Tuileries. Вы Париж знаете, помните, недалеко от арки Carrousel, на дорожке, чуть-чуть вбок от большой аллеи стояла статуя голой женщины — с поднятыми и сплетенными над головой руками, образующими овал. Я, проходя мимо статуи, спросил у Н. С., нравится ли ему эта скульптура? Он меня отвел немного в сторону и сказал: „Вот отсюда“. — „Почему, — спросил я, — ведь это не самая интересная сторона“. Он поднял руку и указал мне на звезду, которая с этого места как раз приходилась в центре овала переплетенных рук. „Но это не имеет отношения к скульптуре“. — „Да! Но (имеет) ко всему, что я пишу сейчас в Париже ‘под голубой звездой’“. Как образовалось „К голубой (М. Ф. хотел сказать ‘К синей…’, имея в виду название сборника. — Г. Струве) звезде“? Мне не ясно. Как мне кажется, это произошло под внезапным впечатлением одного момента… Потом осталось так, но означает то же стремление — к голубой звезде — настоящей. Не думаю, чтобы кто бы то ни было мог бы быть для него такой звездой. Почти всегда самое глубокое чувство, какое у Николая Степановича создавалось в любви к женщине, обыкновенно обращалось в ироническое отношение и к себе, и к своему чувству…»

Однако в другом письме к Г. П. Струве Михаил Федорович

писал несколько иначе: «…Стихотворения „К Синей Звезде“ безусловно относятся к Елене Карловне Дебуше, за которой Николай Степанович ухаживал, — и это было известно. Насколько он сильно ею увлекся? Не знаю, думаю, ему нужно было — он всегда склонен был увлекаться. Это его вдохновляло. Насколько мне кажется, у него еще в это время был другой предмет увлечения. Но Елена Карловна — чужая невеста, это осложняло его чувства… Это ему давало новые ощущения, переживания, положения для его творчества, открывало для его поэзии новые психологические моменты. „Синяя звезда“ (Елена Карловна) была именно далекой и холодной (для него) звездой. „Под Голубой Звездой“ — это то, что он проектировал и как хотел назвать (как говорил, неоднократно, мне и Наталье Сергеевне) сборник стихов, посвященных парижскому пребыванию и написанных в Париже. Возможно, позднее эти чувства были пересилены другими чувствами, которые остались и вылились „К Синей Звезде“? „Под голубой звездой“ звучит как место, в котором, где совершались известные происшествия и вещи. „К Синей Звезде“ — там главным образом относящееся к ней (к Елене Карловне). Есть вещи, написанные раньше и включенные туда же, т. е. все, что даже косвенно касалось ее…»

Особняком среди написанных во Франции стихотворений стоит «Эзбекие», приуроченное к годовщине посещения поэтом этого сада. Поэт тоскует в Париже по своим былым путешествиям. Он понимает, что в тот сад скитаний нет возврата.

Ахматова, процитировав стихотворение «Эзбекие», писала: «…путешествия были вообще превыше всего и лекарством от всех недугов… И все же и в них он как будто теряет веру (временно, конечно). Сколько раз он говорил мне о той „золотой двери“, которая должна открываться перед ним где-то в недрах его блужданий, а когда вернулся в 1913, признался, что „золотой двери“ нет». Возможно, это и есть то самое признание в разочаровании в скитаниях.

Хотя в другом стихотворении «Среди бесчисленных светил…», написанном зимой-весной 1918 года, поэт вновь обращается к теме скитаний, но теперь уже он тоскует по родине:

Среди бесчисленных светил
Я вольно выбрал мир наш строгий
И в этом мире полюбил
Одни веселые дороги…

Впрочем, он тоскует и по Франции, которую (он понимает) ему придется покинуть. Именно в это время, весной 1918 года, он

пишет стихотворение «Франции», обращенное к России:

Франция, на лик твой просветленный
Я еще, еще раз обернусь
И как в омут погружусь бездонный
В дикую мою, родную Русь.

Почему Гумилёв сопоставляет две страны? Да потому, что в России произошел пока еще ему неведомый октябрьский переворот и большевики отреклись от всех союзников, предали и Францию, и восторжествовали темные силы. Настало люциферическое время на его родине, и поэт пишет об этом открыто:

Ты прости нам, смрадным и незрячим,
До конца униженным, прости!
Мы лежим на гноище и плачем,
Не желая божьего пути.

В каждом, словно саблей исполина,
Надвое душа рассечена,
В каждом дьявольская половина
Радуется, что она сильна.

Вот ты кличешь: «Где сестра Россия,
Где она, любимая всегда?»
Посмотри наверх: в созвездье Змия
Загорелась новая звезда.

Сам поэт рискнул по возвращении в Россию опубликовать это стихотворение в июльском (№ 15) номере «Нового Сатирикона» за 1918 год. Думается, он еще просто не понимал, чем ему это могло грозить. После этого стихотворения Гумилёв не рисковал писать открыто о большевистском перевороте.

Время, проведенное во Франции, считается плодотворным для поэта. Если в 1916 году, когда Гумилёв разочаровался в войне, он написал всего десять стихотворений, среди которых к шедеврам можно отнести, пожалуй, одно — «Рабочий», то в 1917 году поэт написал пятьдесят девять стихотворений, причем сорок семь — за границей. Там же в 1918 году он написал еще шесть стихотворений.

Среди названных произведений нужно отметить особо китайскую поэму «Два сна», опубликованную частично в книге

«Стихотворения. Посмертный сборник» (2-е изд. 1923). В Петрограде Гумилёв задумал написать поэму во время работы над переводами китайских поэтов. В Париже Николай Степанович изучал китайскую поэзию по «Яшмовой книге» (китайские стихи, переведенные на французский язык дочерью Теофиля Готье — Жюдит Готье). Кроме этого, Гумилёв читал другие переводы с китайского — маркиза Сен-Дени и Юала Уили — хранителя Британского музея.

Интересно, что предпочтение Гумилёв отдал тем не менее переводам дочери столь любимого им поэта. Из шестнадцати стихотворений будущей книги «Фарфоровый павильон» одиннадцать взяты из «Яшмовой книги».

Гумилёв в Париже собирал картины и гравюры, рисунки. Один из его близких знакомых — Александр Цитрон, у которого он жил до самого отъезда в Лондон, вспоминал: «До своего отъезда из Франции… поэт жил у меня в Пасси. <…> При отъезде он оставил мне для хранения ящик с книгами и значительное количество картин, гравюр, рисунков и альбом, купленные в Париже. Часть его имущества я передал художнику Ларионову; книги же хранятся у меня в Париже. Охотно передам их наследникам или ближайшим друзьям».

Ларионов опекал Гумилёва. Вначале Николай Степанович поселился в одном доме с ним. Друзья познакомили Гумилёва с Сергеем Дягилевым, пригласили его на спектакли в театре «Шатле». Дягилев заказал Гумилёву либретто для балета. Ларионов договорился с Гумилёвым поставить балет «Гондла». Наталья Гончарова, узнав замысел новой трагедии Гумилёва (он тогда работал над «Отравленной туникой»), предложила ему поставить балет из византийской жизни «Феодора». В архиве Михаила Ларионова сохранился рисунок, где Гумилёв был изображен с С. Дягилевым и Г. Аполлинером.

И Ларионов, и Гончарова рисовали Гумилёва. Наталья Сергеевна написала триптих Гумилёва: гусар, он верхом на пушке, в Африке. М. Ларионов через много лет написал Г. Струве: «…Мы с Николаем Степановичем видались каждый день почти до его отъезда в Лондон… Н. С. был знаком близко с Честертоном и с группой английских писателей этого времени, а в Париже дружил с Вильдраком. Жил он, Н. С., на rue Galilee[68], в отеле того же имени. А последний раз в Hotel Castille на rue Cambon[69], где в то время и я жил. Самой большой его страстью была восточная поэзия, и он собирал все, что этого касается. Одно время он поселился внизу в сквере под станцией метро Passy, у некоего г. Цитрон. Вообще он был непоседой — Париж знал

хорошо — и отличался удивительным умением ориентироваться. Половина наших разговоров проходила об Анненском и о Жерар де Нервале. Имел странность в Тюляри садиться на бронзового льва, который одиноко скрыт в зелени в конце сада почти у Лувра. (22 октября 1952 г.)…»

Однажды Наталья Сергеевна увидела у поэта маленькую индусскую миниатюру — черного генерала. Миниатюра понравилась художнице, и Гумилёв это заметил, но подарить просто так было слишком банально. И тогда Николай Степанович в июле 1917 года написал рассказ «Черный генерал». На первый взгляд сюжет прост и не вызывает глубоких ассоциаций. Какой-то индус, выходец из княжеского сословия, окончивший Кембридж в Англии, возвращается в родное княжество, и раджа делает его генералом. Кембриджский выпускник полон спеси, он не замечает людей искусства, растоптал свой портрет, написанный местным художником, и повесил свою фотографию, сделанную в Англии. Потом он отправляется в Париж, где покупает рисунок французского художника Матисса и за заносчивость в кафе побит Аполлинером. Конечно же он знает о Гончаровой и добивается разрешения посетить ее мастерскую, где и увидел свой портрет… Гумилёв тонко замечает о генерале: «…что из-за таких, как он, не стало больше в Индии художников». А быть может, это совсем и не об Индии, а об оставленной России.

Ларионову и Гончаровой поэт посвятил стихотворение «Пантум» (1917 — весна 1918), написанное малайской строфой:

Восток и нежный, и блестящий
В себе открыла Гончарова,
Величье жизни настоящей
У Ларионова сурово.

В себе открыла Гончарова
Павлиньих красок бред и пенье,
У Ларионова сурово
Железного огня круженье.

Павлиньих красок бред и пенье
От Индии до Византии,
Железного коня круженье —
Вой покоряемой стихии.

От Индии до Византии
Кто дремлет, если не Россия?
Вой покоряемой стихии —

Не обновленная ль стихия?
……..

Есть все основания предполагать, что поэт многое почерпнул во время парижских бесед с художниками, особенно об искусстве Востока. Поэт хотел попасть на Восток, хотел «видеть сон Христа и Будды» и творить. Но его ждали самые обыденные мирские дела — решение вопросов устройства. В Англии дела у него не заладились с самого начала.

23 января Н. С. Гумилёв посетил военного агента в Лондоне генерал-майора Дьяконова, который выдал ему дополнительно 54 фунта стерлингов на возвращение в Россию. Причем Гумилёв получил 6 фунтов стерлингов на билет на пароход от Англии до Бергена и 12 фунтов стерлингов на билет для проезда по железной дороге от Бергена до Петрограда. Интересно, что в это время секретарем Ермолова был Великий Князь Михаил Михайлович Романов, муж внучки А. С. Пушкина Софи де Торби. Конечно, Гумилёв не мог не знать этого факта.

В Англии Николай Степанович стал искать временную работу. Помощь в поисках ему оказал Борис Анреп. Так, в начале февраля поэт попал в шифровальный отдел Русского правительственного комитета. Весть об этом быстро дошла до Франции. 3 февраля Гумилёв получил из Парижа письмо от К. Льдова, который выразил радость, что поэт сумел устроиться в Лондоне, и обнадежил его: «Если условия окажутся неблагоприятными для возвращения в Россию, консульство даст Вам возможность продержаться до неизбежного переворота…»

Однако 3 апреля Гумилёв получил в Российском генеральном консульстве в Лондоне паспорт для свободного проезда и решил вернуться в Россию. Что повлияло на его выбор, почему он решил возвращаться в «логово красного зверя» — сегодня не ответит никто. Скорее всего, он тосковал по родной земле, он был русским до мозга костей и не мог представить себя английским подданным. Он чувствовал, что идет навстречу гибели, и потому оставил почти все свои вещи в Париже и Лондоне. Переписав написанные во Франции и Англии стихи и переводы в толстую тетрадь в зеленом сафьяновом переплете с золотым тиснением «Autographs», Гумилёв отдал ее на хранение Борису Анрепу. Николай Степанович вписал в альбом семьдесят шесть стихотворений на семидесяти девяти страницах. Причем названия обозначил красными чернилами. Титульный лист этого альбома расписала орнаментом Наталья Гончарова. Она же написала акварелью: «Н. Гумилёв. Стихи». Ею были выполнены

рисунки к стихам «Андрей Рублев», «Картинка», «На северном море», а к «Мужику» — два рисунка сделал М. Ф. Ларионов.

Несомненно, «Отравленная туника» — вершина гумилёвской драматургии. О парижском этапе работы над драмой писал М. Ларионов: «…попросили Сергея Павловича Дягилева заказать ему что-либо (как либретто) для балета. Дягилев сказал, чтобы тему мы сами нашли. Надо было скоро. Сергей Павлович уехал вскорости в Венецию. Все полтора месяца, пока балет был в Париже, мы брали Ник. Степ, каждый вечер с собой в театр Шатлэ, где давались балетные спектакли. Тогда Ник. Степ, и предложил для моей постановки „Гондлу“, а для Натальи Сергеевны новую вещь — „Феодору“. Музыка предполагалась для первой вещи Бернерса, а для второй — Респиги. Либретто балетное требует специальной обработки — благодаря этому нам нужно было часто встречаться и вместе работать. У Ник. Степ, не было в этом отношении никакого опыта. „Гондла“ давал богатый материал, но перевести его в действенное только состояние — уравновесить отдельные, но разнообразные моменты — найти этим моментам форму танцовальную — между различными моментами найти равновесие — и их развитие, только движениями мужскими и женскими — где слова не было — а все давалось выражением (экспрессией) тела человеческого для Н. С. было трудно сразу. Он всю свою жизнь до этого работал главным образом над словом. Время шло, Дягилев уехал в Венецию. У нас ничего еще не было готово. Решили, что с самого начала надо думать о главном назначении пьесы, и приступили к „Феодоре“ для Гончаровой. Через несколько дней Н. С. позвал к себе. Он тогда жил недалеко от Etoile (Этуаль) на улице Галилея, в отеле того же имени, и прочел первый вариант „Отравленной туники“. „Гондлу“ мы на время оставили. Так прошло больше месяца. Многое изменилось. Дягилев уехал с труппой в Испанию — и там у него не пошло сразу, как он ожидал, с деньгами. Для меня и Наталии Сергеевны вышла задержка. У Ник. Степ, также прекратилось жалованье, так как прекратилась и должность. Он выхлопотал себе командировку в Лондон, где еще оставались временно некоторые учреждения, предназначенные для ликвидации русских военных заказов, сделанных в Англии. Через некоторое время Ник. Степ, должен был уехать в Лондон, где он, как и в первый приезд (когда ехал из России), прожил до самого своего обратного отъезда».

Для чего Гумилёв оставлял на Западе стихи, новую драму, личные вещи, картины? Возможно, он надеялся вернуться сюда, не понимая, куда он отправляется… А быть может, предчувствуя роковую развязку, полагал, что друзья сохранят и опубликуют

написанное? Даже свои офицерские погоны он оставил Анрепу как дорогую для него реликвию.

После 10 апреля Николай Степанович на пароходе навсегда покинул Великобританию. В Гавре пароход остановился на два дня, чтобы забрать пассажиров, желающих уехать в Россию. Поэт успел съездить в Париж проститься с друзьями и со своей несостоявшейся любовью Еленой Дебуше.

На обратном пути Николай Степанович не писал стихов, как это часто делал в дороге. Видимо, не то настроение было… Известно, что в Мурманске он купил себе оленью доху. Каюту с ним делил поэт Вадим Гарднер, который описал путешествие в стихах:

В последний раз был в Dartnell парке
Я в восемнадцатом году.
Мне жить велели злые Парки
В коммунистическом аду.

Я в настроенье безотрадном,
Отдавшись воле моряков.
Отплыл на транспорте громадном
От дымных английских брегов.
……
Лимоном в тяжкую минуту
Смягчал мне муки Гумилёв.
Со мной он занимал каюту,
Деля и штиль и шторма рев.

Лежал еще на третьей полке
Лавров — (он родственник Петра),
Уютно было нашей тройке,
Болтали часто до утра.

Стихи читали мы друг другу.
То слушал милый инженер,
Отдавшись сладкому недугу,
То усыплял его размер.

…Но вот, добравшись до Мурманска,
На берег высадились мы.
То было, помню, утром рано.
Кругом белел ковер зимы.

С литвиновской пометкой виды

Представив двум большевикам,
По воле роковой планиды
Помчались к Невским берегам…

Это все, что пока известно о последнем заграничном путешествии Н. С. Гумилёва. А в это время по европейским дорогам блуждало письмо, отправленное в Париж на адрес Гумилёва еще 30 ноября 1917 года. Девушка, любившая поэта, — Анна Николаевна Энгельгардт — предупреждала его об ужасах красного ада: «…Милый, уже 1/2 года, что мы в разлуке. Мне иногда кажется, что это навсегда! Звать тебя сюда, Коля, настаивать, чтоб ты приехал, я не могу и не хочу. Это было бы слишком эгоистично. Ты знаешь, здесь в Петербурге сейчас гадко, скучно, все куда-то убегают… А там в Париже, вероятно, жизнь иная — у тебя интересное дело, милые друзья, твоя коллекция картин, нет той грубости и разрухи, кот<орая> царит сейчас. Мне бесконечно хочется тебя видеть, я по-прежнему люблю только тебя, но лучше тебе быть там, где приятно и где к тебе хорошо относятся. Может быть, война скоро окончательно кончится и тогда ты и так приедешь или, может быть, сможешь приехать сюда ненадолго. Я боюсь и мне больно будет видеть твое раскаянье, если ты приедешь сейчас сюда и ради меня, потому что здесь, действительно, тяжело жить! Ты зовешь меня, ты милый! Но я боюсь ехать одна в такой дальний путь и в настоящее время…»

Письмо добралось в Лондон 3 июня 1918 года, когда поэт уже был в «пасти дракона». Как бы хотелось, чтобы Аня Энгельгардт (или кто-то другой) приехала в Париж к Гумилёву!.. Возможно, поэт избежал бы страшной участи.

ГЛАВА XIX МЭТР

Николай Степанович уезжал в Париж из столицы Российского государства — Петербурга-Петрограда, а приехал в 1918 году в город, который на глазах превращался в губернский. Город русской славы обрекли на роль пасынка новой власти. Большевикам требовались безропотные рабы, для этого им необходимо было уничтожить носителей многовековой дворянской культуры. А центром этой культуры был град Петра Великого.

Возвращению Гумилёва из Лондона удивились многие. Даже родная мать не чаяла увидеть его. Ахматова вспоминала: «Уж мать-то всегда ждет, а здесь и она не ждала…» Им, уже свыкшимся с красным режимом, непонятно было, как можно после сытой Европы броситься в российский голод и холод. В то время шел массовый исход интеллигенции из страны, а Гумилёв шел навстречу потоку. Последние годы жизни поэта, с 1918-го по 1921-й, можно рассматривать как подвиг, совершенный во имя Ее Величества Русской Поэзии.

В Петрограде Гумилёв оказался на первых порах бездомным. В Царском Селе дом мать давно продала. Поэт остановился в меблированных комнатах «Ира». Первым делом Николай Степанович стал разыскивать жену. Через ее подругу Срезневскую это ему удалось.

Гумилёв привез Анне подарок Анрепа — шелковый отрез на платье и монету Александра Македонского. В первую ночь она не рискнула сказать мужу правду о своих отношениях с Шилейко и утром ушла без объяснений к Срезневским. Николай Степанович был удивлен поведением жены и в этот же день отправился к Срезневским сам.

— Нам надо объясниться, — сказала Анна и повела Гумилёва в отдельную комнату, где бросила в лицо мужу: — Дай мне развод…

Гумилёв не ожидал такого поворота событий. Чтобы так, с первого дня…

— Пожалуйста, — тут же ответил он. — Кто этот несчастный?

— Шилейко!

Этого Николай Степанович и вообразить не мог. Он знал, что его друг по своей натуре неспособен быть мужем.

— Ты что, не нашла никого лучше, чем Шилейко?

— Я делаю то, что хочу, это мое дело!

Гумилёв улыбнулся. Он видел по глазам выведенной из равновесия Анны, что она страдает, но скрывает это. Она ждала,

что теперь он будет ее уговаривать остаться, но этого не случилось. Он спокойно подытожил, как будто снял с плеч тяжелый груз:

— Значит, я один остаюсь?.. Я не останусь один: теперь меня женят! Что ж, поехали к Шилейко, поговорим втроем.

Ахматова согласилась. В трамвае, видимо, желая задеть жену за живое и вызвать чувство ревности, поэт сказал:

— У меня есть женщина, которая хоть сейчас пошла бы за меня замуж: это Лариса Рейснер…

Николай Степанович не знал, что Лариса уже вышла замуж. А имя той, которой он привез подарок из Лондона[70] и к которой отправился после встречи с Ахматовой, он не назвал. Почему? Кто его знает, ведь Ахматова была колдунья. Это была Анна Николаевна Энгельгардт, он переписывался с ней, когда был в Париже.

Впервые поэт увидел Анну Энгельгардт 14 мая 1916 года в зале Тенишевского училища на лекции Валерия Брюсова, посвященной армянской поэзии. Анна Николаевна пришла со своей подругой — красавицей Ольгой Гильдебрант-Арбениной.

Гумилёв, указывая на Арбенину, спросил у своих спутников: «Кто это?» Ему ответили: «Это сестра Бальмонта» (сына поэта. — В. П.). Гумилёв заинтересовался ею и попросил познакомить. Но его стали знакомить не с Арбениной, а с Анной Энгельгардт. Так началось это увлечение, поначалу сразу двумя подругами. Ольга Гильдебрант-Арбенина вспоминала: «В антракте, проходя одна по выходу в фойе, я в испуге увидела совершенно дикое выражение восхищения на очень некрасивом лице… Этот взгляд принадлежал высокому военному с бритой головой и с Георгием на груди (с двумя Георгиями. — В. П.). Это был Гумилёв… Он сказал мне потом, что сразу помчался узнавать, кто я такая… На просьбу пойти меня проводить я могла только сказать, что я не одна — телефон ему дала — еще он сказал: „Я вчера написал стихи за присланные к нам в лазарет акации Ольге Николаевне Романовой (Великая княжна. — В. П.) — завтра напишу Ольге Николаевне Арбениной“». Разумеется, он понравился начинающей поэтессе Анне Энгельгардт, работающей тогда в госпитале сестрой милосердия. В ее глазах георгиевский кавалер, известный поэт был существом недосягаемым, небожителем. Анна слушала его с открытым ртом. Несколько раз Гумилёв провожал Анну домой. Они часто гуляли по весеннему пробуждающемуся Петрограду. Однажды он пришел к Ане домой в гвардейской гусарской форме, чем восхитил младшего брата Ани. Но, встречаясь с Анной, Гумилёв не забыл и ее подругу — Ольгу. Как-то раз после вечера в Тенишевском училище Гумилёв повел ее в

Александро-Невскую лавру на могилу жены А. С. Пушкина — красавицы Натали Пушкиной-Ланской. Дул сильный северный ветер, и замерзшие Гумилёв и Арбенина после кладбища отправились в ресторан. По дороге они заехали в книжный магазин, Николай Степанович купил книгу стихов «Жемчуга» и подарил своей спутнице с причудливой надписью: «Оле, Оль. Отданный во власть ее причуде / Юный маг забыл про все вокруг…». И здесь, в ресторане, как вспоминала Арбенина, «было сказано все: и любовь на всю жизнь, и развод с Ахматовой, и стихи. Первые, что он прочел обо мне: „Женский голос в телефоне, / Упоительно несмелый…“».

Правда, стихи, написанные под обаянием Арбениной, через год Гумилёв перепосвятил другой девушке, но такое с поэтом бывало часто. И на это Ольга не обиделась. Уже когда Гумилёва давно не было в живых и не осталось почти никого из давних ее знакомых, он приходил к ней в снах… «14 августа 1976 г. Во сне бежала одна, хотела купить цветы… Среди толпы вдруг появился Гумилёв. Его лицо — молодое, до ужаса некрасивое, с джокондовой улыбкой и не то с сарказмом, не то с нежностью (как было), и он взял в руку мою руку, и все просветлело, как будто он сказал, что он меня еще любит, и я без слов сказала, что я его люблю…» Она вспоминала эту встречу всю жизнь.

За юной красавицей Анной Энгельгардт Николай Степанович начал ухаживать галантно, не как Дон Жуан, а как рыцарь. Из чувства ревности Арбенина писала в своих воспоминаниях об Энгельгардт: «Аня была старше меня, училась скверно, была шумная, танцевала, как будто полотер, волосы выбивались». Правда, тут же осознав, что необъективна к подруге, добавила: «По временам была очень хорошенькой, с слегка монгольскими глазами и скулами. Ходили слухи, что она, как и Никс (ее сводный брат — Николай Бальмонт, умер в 1926 году. — В. П.), дочь Бальмонта и ее мать, Лариса Михайловна, развелась с Бальмонтом и вышла замуж за Энгельгардта, захватив детей. Но моя мать знала ее бабушку, тоже Анну Николаевну (в женском благотворительном обществе) и говорила, что она — вылитая бабушка лицом…»

Мать Ани — Лариса Михайловна, урожденная Гарелина (1864–1942) — была неординарной женщиной. Получив образование в московском пансионе Дюмушелей, она вышла замуж за поэта Константина Бальмонта. В 1890 году у них родился сын Николай Бальмонт, старший брат Ани, и на этом семейное счастье Ларисы Михайловны закончилось. Бальмонт увлекся молодой и обольстительной Екатериной Андреевой, за которой ухаживал малоизвестный петербургский поэт Николай

Александрович Энгельгардт — его друг. Они познакомились в Царском Селе 17 июня 1892 года. Бальмонт отзывался в письме к жене об Энгельгардте так: «…истинный поэт — хрустальной чистоты и умница… у нас нашлось очень много… общих черт, а именно: мы оба любим Библию, оба переводим Сюлли-Прюдома… Но только он холост и жениться не хочет никогда…» Это обстоятельство не смутило Ларису Михайловну. Узнав о сближении мужа с Андреевой, она поспешила в объятия молодого поэта, и в 1894 году после развода с Бальмонтом стала, женой Энгельгардта. А в следующем году у них родилась дочь Анна.

Николай Александрович Энгельгардт получил признание в литературных кругах как автор двухтомной «Истории русской литературы XIX столетия (критика, роман, поэзия и драма)». Первое издание было осуществлено в Петербурге в 1902–1903 годах, а второе в 1913–1915 годах. Любопытно, что составленный им план собственного полного собрания сочинений включал тридцать восемь томов.

Анна Николаевна выросла в литературной семье и с детства увлекалась поэзией. Сводный брат Николай Бальмонт занимался музыкой и писал стихи. 19 октября 1915 года Константин Бальмонт встретился в петербургской «Северной гостинице» с сыном Николаем и Аней и нашел, что та очень похожа на мать. 21 октября К. Бальмонт писал своей знакомой А. Н. Ивановой: «Я овеян лаской Ани, дочери Ларисы. Ах, как она мне нравится. Темноглазый ангел с картины Боттичелли…» В это время Аня конфликтовала со своими родителями, зато дружила с братом Николаем и соученицей Лилей Брик. Образование Анна Энгельгардт получила в гимназии Лохвицкой-Скалон. После ее окончания Аня поступила на курсы сестер милосердия и во время войны работала в военном госпитале, находившемся на той же улице, где она жила. Ее младший брат Александр Энгельгардт вспоминал об этом периоде ее жизни: «Она очень похорошела, и ей очень шел костюм сестры милосердия с красным крестом на груди. Она любила гулять в Летнем саду или в этом костюме, или в черном пальто и шляпке, с томиком стихов Анны Ахматовой в руках, привлекая взоры молодых людей…» Брат Николай часто проводил время в кругу молодых поэтов и засиживался в «Бродячей собаке». Иногда он брал с собой и сестру.

Летом 1916 года Аня вместе с братом Александром гостила у тети Нюты (сестры матери) и дяди Дементьевых в Иваново-Вознесенске. Александр Николаевич Энгельгардт вспоминал об этой поездке: «Жили они (Дементьевы. — В. П.) в собственном доме с чудесным садом, утопавшим в аромате цветов, окруженном старыми ветвистыми липами. Николай Степанович

приехал к нам, как жених сестры, познакомился с ее родными и пробыл у нас всего несколько часов…» Память его не подвела. На обратном пути из Ялты поэт между 10 и 13 июля заехал в Иваново-Вознесенск действительно на несколько часов. Уединившись в садовой беседке, он объяснился Ане в любви.

Осенью Аня вернулась в Петербург, Николай Степанович в это время тоже был в столице. Они встретились 4 сентября. Об этом дне подруга Ани — Оля Арбенина ревниво записала в дневнике: «Боже! Боже! Боже!.. Я встречаю Аню… И она торопится на свидание с Гумилёвым. А потом неожиданно встречаю их обоих. Он, кажется, улыбается. Но я презрительно прошмыгиваю, не глядя. Он ей писал о любви все лето… (А она любит другого!) Он зовет ее в Америку… Он просит ее… О, то же самое! Но она счастлива! Свободна! Любима! Любит! С письмами знаменитого поэта!.. Ей посвятил пьесу. Ей писал. О ней думал?!! А я???»

Возможно, Гумилёв сказал Ане, что пьесу «Гондла» посвящает ей…

25 октября Арбенина снова записывает в дневник: «Проклятие! Он с Аней? С кем он? Сердце яростное, сердце глупое, молчи, молчи…» Через месяц тоска опять овладевает ею и она записывает 21 ноября: «…Гумилёв под Ригой, на фронте. Злой! Любит другую! Целует другую! И обо мне памяти нет…» Еще через несколько дней, 24 ноября: «…Она (Аня. — В. П.) пишет: „Г<умилёв> пишет с фронта, я была оч<ень> вероломной по отношению к нему; но все же я его не оч<ень> не не люблю!..“ Дрянь! А все-таки она первая обратилась ко мне. И за что это мне, Господи! Мы в один день с нею с ним познакомились: одинаково и очень обе ему понравились (это-то я наверное знаю); и вот — он пишет ей, а я забыта им, как снега прошлых зим, как зелень старых весен… Нежной и страстной была я в его руках! Я не отдалась ему, правда, — но и она не его любовница, конечно?.. Мне — мелкие радости, мелкие печали, мелкие волнения, — а ей — любовь и письма прекрасного, великого, бурного поэта!..» Бедный, бедный Гумилёв! Если бы он прочитал эти пылкие строки, они бы излечили его от того яда, который впрыснула в него Анна Андреевна. Арбенина встречается с подругой, интересуется подробностями их отношений. 30 ноября она записывает: «…Он ей нравится. Хоть <она> и говорит — нет, как я. Он возил ее на острова в автомобиле, они ели в „Астории“ икру и груши… Он посвящает ей стихи и посылает розы! Поет гимны ее телу, как моему тогда… Он предлагал развестись с Ахм<атовой> и жениться на ней; он страшно ревнует ее к Рюрику. Они осенью катались, в музеи и концерты ходили, пока я томилась… Он меня не любит! Забыл!

Он хочет под Новый год быть с ней».

И действительно, появившись в Петрограде 27 декабря, Гумилёв первым делом позвонил Ане и встретился с нею. Аня рада этому звонку и тут же сообщает об этом подруге, а та записывает в дневник: «Не на радость, а на горе я ей звоню! Незадолго до меня был ей звонок: он. Он просит уделить ему „10 минут. Только что приехал с фронта…“»

Встречи с Аней становятся более частыми весной 1917 года, когда поэт бывал в Петрограде.

Хотя своей жене он и сказал в трамвае, что Рейснер за него готова выйти замуж, но подарок (пусть и символический) он привез Анне Николаевне.

Освободившись наконец от чар Ахматовой, Гумилёв решил, что из всех лучшей женой ему сможет стать Анна Энгельгардт.

Определившись с будущим, Николай Степанович начал беспокоиться о жилье для новой семьи. И тут подвернулся удобный случай. Редактор «Аполлона» С. Маковский понимал, что при большевиках он жить не может, уехал в «белый» Крым, оставив квартиру по улице Ивановской для нужд журнала. Но журнал при новой власти издавать было невозможно. В освободившуюся квартиру, по одним данным, 3 мая, по другим — 8 мая въехал Николай Степанович. Сюда же 30 сентября с Фонтанки переселился брат поэта Дмитрий Гумилёв со своей женой, которые прожили там до весны 1919 года. А 20 октября 1918 года приехала и Анна Ивановна Гумилёва. Здесь она жила до 4 апреля 1919 года, пока не уехала в Бежецк.

Убедившись, что большевики утвердились надолго, поэт принял оригинальное решение: не замечать режима. Критик Андрей Левинсон так писал по этому поводу: «О политике он (Н. Гумилёв. — В. П.) почти не говорил: раз навсегда с негодованием и брезгливостью отвергнутый режим как бы не существовал для него. Он делал свое поэтическое дело и шел всюду, куда его звали: в Балтфлот, в Пролеткульт, в другие советские организации и клубы… этот „железный человек“, как называли мы его в шутку, приносил и в эти бурные аудитории свое поэтическое учение неизменным, свое осуждение псевдопролетарской культуре высказывал с откровенностью совершенной, а сплошь и рядом раскрывал без обиняков и свое патриотическое поведение…»

Именно так и вел себя Николай Степанович. С первых дней он окунулся в литературную деятельность. Едва успев зарегистрироваться на новой квартире, в тот же день, 8 мая, Гумилёв записывается в инициативную группу по созданию Союза деятелей художественной литературы. Вечером отправляется в

гости к поэту Сологубу на Васильевский остров. Стареющий поэт встретил вернувшегося Гумилёва приветливо. Николай Степанович читал ему новую пьесу «Отравленная туника», над которой он продолжал работать.

4 мая в журнале «Жизнь» появляется стихотворение «Много есть людей, что полюбив…». В Москве в издании «Весенний салон поэтов» публикуется его стихотворение «Я не прожил, я протомился…», в «Воле народа» 19 мая появляются стихотворения «Сон» («Застонал я от сна дурного…») и «Мы в аллеях светлых пролетали…», в «Утренней молве» опубликовано 15 июня стихотворение «Позер» («Вероятно, в жизни предыдущей…»), в тридцатом номере «Нивы» появляется «Канцона» («Храм твой, Господи, в небесах…»), в пятнадцатом номере «Нового Сатирикона» — стихотворение «Франции» («Франция, на лик твой просветленный…»). В девятнадцатом номере «Нивы» печатается «Какая странная нега…», а в двадцать шестом номере (май-июнь) — новое стихотворение «Загробное мщенье: баллада». Примерно в это же время поэт пишет еще одну балладу («Пять коней подарил мне мой друг Люцифер…»). После этого до осени он не написал ни одного стихотворения. Первое стихотворение после баллад датируется осенью-зимой 1918 года и посвящено Африке.

Две баллады поэта стоят особняком в его творчестве. Их можно понимать как первые впечатления поэта о совдеповской России. Что увидел поэт, попав в «красный ад»? Брошенные хозяевами дома в городе, разруху, поиски врагов новой власти, аресты и самосуды над людьми:

Как трое изловили
На дороге одного
И жестоко колотили
Беззащитного его…

Действительно, ну кто мог защитить в 1918 году от ЧК? Достаточно было троим свидетелям донести — и судьба человека решена:

С переломанною грудью
И с разбитой головой
Он сказал им: «Люди, люди,
Что вы сделали со мной?..»

Так Гумилёв, вернувшись после разлуки домой, мог

воспринять новый режим. Может быть, он вспомнил знаменитые строки Лермонтова: «Но есть и Божий Суд, наперсники разврата…» Отсюда и главный мотив отмщения Господнего за злодеяния на земле, появившийся в его стихах. И даже тем, кто раскается в своих злодеяниях, поэт отказывает в прощении. Ставшего монахом разбойника постигает, по мысли поэта, та же печальная участь:

И вокруг скита пустого
Терн поднялся и волчицы…
Не творите дела злого —
Мстят жестоко мертвецы.

Для того чтобы показать униженность своей родины «под пятой дьявола — Люцифера», поэт использует образы ранней поэмы «Сказка о королях». Друг поэта — Люцифер ведет его в свое логово, в захваченную безбожниками-сатанистами страну. Он дарит ему пять коней и золотое кольцо — символ возможного могущества, чтобы во имя Люцифера творилось зло! А что же поэт?

Там, на высях сознанья — безумье и снег,
Но коней я ударил свистящим бичом.
Я на выси сознанья направил их бег
И увидел там деву с печальным лицом.

Несомненно, эта печальная дева — Россия, разоренная Гражданской войной. Поэт не хочет участвовать в дьявольском пире.

И, смеясь надо мной, презирая меня,
Люцифер распахнул мне ворота во тьму,
Люцифер подарил мне шестого коня —
И Отчаянье было названье ему.

Николай Степанович вернулся в разбитую Россию, чтобы воспитывать новых поэтов в своем духе. Именно новые поэты по замыслу Гумилёва должны будут вернуть былую славу Державе.

Обрадовались возвращению Гумилёва его друзья — Михаил Лозинский и Георгий Иванов. Решено было на одной из встреч возобновить работу издательства «Гиперборей».

13 мая Николай Степанович читал свои стихи в зале

Тенишевского училища. Леонид Страховский вспоминал об этом: «На утреннике выступали как видные, так и начинающие поэты… Первая часть утренника закончилась первым публичным чтением поэмы Блока „Двенадцать“, эффектно продекламированной его женой, которая выступала под сценической фамилией Басаргина. По окончании чтения в зале поднялся бедлам… Я прошел в крохотную артистическую комнату, буквально набитую поэтами. По программе очередь выступать после перерыва была за Блоком, но он с трясущейся губой повторял: „Я не пойду, я не пойду“. И тогда к нему подошел блондин среднего роста с каким-то утиным носом и сказал: „Эх, Александр Александрович, написали, так и признавайтесь, а лучше бы не написали“. После этого он повернулся и пошел к двери, ведшей на эстраду. Это был Гумилёв. Вернувшись в зал, который продолжал бушевать, я увидел Гумилёва, спокойно стоявшего, облокотившись о лекторский пюпитр, и озиравшего публику своими серо-голубыми глазами…И когда зал немного утих, он начал читать свои газеллы, и в конце концов от его стихов и от него самого разлилась такая магическая сила, что чтение его сопровождалось бурными аплодисментами. После этого, когда появился Блок, никаких демонстраций уже больше не было. По окончании утренника Георгий Иванов познакомил меня с Гумилёвым. Николай Степанович на вечере прочитал недавно написанное стихотворение „Франции“».

Гумилёв выручил Блока вовсе не потому, что был согласен с его позицией. Этого требовали кодекс дворянской чести, чувство гусарского благородства — в трудную минуту выручить товарища по поэзии, а прав он или не прав — это дело его совести. Таким благородным до самоотречения Гумилёв остался до конца жизни. Порядочность поэта высоко оценили литераторы. 20 мая Николая Степановича избрали товарищем председателя Совета Союза деятелей художественной литературы на учредительном общем собрании.

3 июня вышел единственный номер планировавшегося еженедельника «Ирида» с сообщением о том, что Гумилёв окончил работу над драмой «Отравленная туника».

Отношения Гумилёва с Ахматовой установились теперь подчеркнуто дружественные. 10 июня бывшие супруги (официально еще неразведенные) встречаются, и Анна Андреевна подписывает свою книгу стихов «Белая стая», вышедшую в издательстве «Гиперборей»: «Моему дорогому другу Н. Гумилёву с любовью Анна Ахматова… Петербург».

На Троицу, 23 июня, они вместе отправляются в Бежецк, где на попечении матери и сестры поэта А. С. Сверчковой находился

их сын Лев. С осени 1917 года им пришлось уехать из Слепнева, так как начались крестьянские бунты — громили и грабили усадьбы. Правда, слепневский дом не тронули, Александре Степановне удалось договориться с крестьянами и забрать с собой в Бежецк необходимую мебель и половину запасов хлеба. Но жизнь в послереволюционном провинциальном городе была несравнимо труднее, чем даже в плохонькой усадьбе. Кроме всего прочего, на попечении Сверчковой находилась и ее серьезно заболевшая дочь Маруся. Об этой последней совместной поездке в Бежецк Анна Ахматова вспоминала: «Мы сидели на солнечном холме, и он мне сказал: „Знаешь, Аня, я чувствую, что я останусь в памяти людей, что жить я буду всегда…“»

Видимо, какие-то тяжелые предчувствия томили поэта. Анна Андреевна жаловалась: «Очень тяжелое было лето (имеется в виду 1918 год. — В. П.)… когда с Николаем Степановичем расставалась, — очень тяжело было… перед Николаем Степановичем чувствовала вину». П. Лукницкий записал в своем дневнике: «А. А. говорит, что много горя причинила Николаю Степановичу: считает, что она отчасти виновата в его гибели…»

Вообще, если верить Анне Андреевне, Гумилёв не желал развода. В Бежецке он вроде бы даже сказал ей: «Зачем ты все это выдумала?» Правда, на мой взгляд, это мало вяжется с действительными событиями.

Весна и лето 1918 года были плодотворными для Гумилёва. Из молодых сотрудников распавшегося журнала «Аполлон» создается кружок искусств «Арион». 15 июня в Тенишевском училище на Моховой проходит вечер кружка, где Гумилёв выступает как мэтр. Среди слушателей М. Тумповская, Г. Иванов, М. Кузмин, Г. Адамович, В. Рождественский.

Из написанных в Париже стихотворений поэт составляет новый сборник «Костер» и отдает в печать. Вскоре на титульном листе сборника появляется типографский штамп «17 июня 1918». А 21 июня М. Лозинский пишет на гранках «Костра»: «Верстать, согласно образцу».

28 июня в издательстве «Гиперборей» в свет выходит африканская поэма «Мик». До конца июня отпечатан еще один маленький сборник Гумилёва книгоиздательством «Сатурн». Это «Пьяные вишни», где на двадцати ненумерованных страницах расположились пять стихотворений: «Потомки Каина», «В библиотеке», «Сады Семирамиды», «За то, что я теперь спокойный…», «Товарищ».

13 июля появляется книга переводов Гумилёва «Фарфоровый павильон. Китайские стихи» в издательстве «Гиперборей». В это

же время поэт серьезно работает над переводом эпоса «Гильгамеш».

17 июля в «Гиперборее» появляется книга новых стихотворений «Костер». В ней поэт объявляет, что готовятся к печати вторые издания «Чужого неба» и «Колчана», печатаются третье издание «Романтических цветов», второе издание «Жемчугов» и сборник статей «Акмеизм»[71].

Книга стихов «Костер» была снабжена символическим рисунком: хищно оскалившийся орел пляшет на пламени. Выход «Костра» не остался незамеченным даже в условиях разрухи и Гражданской войны. Андрей Левинсон 24 ноября 1918 года в двадцать втором номере «Жизни искусства» писал: «…Гумилёв слывет у многих парнасцем по содержанию и форме, т. е. безличным и педантичным нанизывателем отраженных чувствований, собирателем живописных эпитетов и радостных звонов. Не может быть большего заблуждения. Лиризм его — выражение сокровенной и скрытой чувствительности; другой в нем признак душевного волнения — его юмор, юмор без широкой усмешки: Гумилёв улыбается одними глазами. Да, конечно, он мастер и фанатик формы: но что есть поэзия, если не постижение мира через образ и звук».

Рецензия на «Костер» появилась в первом номере журнала «Орфей» в Ростове-на-Дону в 1918 году. Сочувственный отзыв был напечатан в «Записках Передвижного Общедоступного театра» (Пг., 1919. № 24–25), где П. Н. Медведев писал: «Н. Гумилёв в поэзии не инструменталист, а пластик. В своих стихах он дает объективную картину средствами ярких, скульптурных, большей частью чисто зрительных образов. В поисках этих образов Н. Гумилёв нередко тянется памятью к экзотике, к Востоку, но его экзотика опрозрачена и умиротворена резиньяцией, она не дурманит ни его самого, ни читателя. Вообще, все, в чем бродит хмель экстаза, вся мистика и все подполье человеческой души, далеко от Н. Гумилёва. Его песни не об изначальном и не о последнем, а о среднем, „нормальном“. Любимая им литературная форма — баллада. Во многих стихах Н. Гумилёва очень полновесен эпический элемент; он должен быть хорошим „прозаиком“. Все эти начала остаются незыблемыми и в „Костре“…»

Правда, не обошлось и без пошлых пасквилей. Так, в журнале «Свободный час» (1917. № 7. С. 15) Вадим Шершеневич под псевдонимом Г. Гальский в статье, выспренно озаглавленной «Панихида по Гумилёву», «хоронил» сразу три книги поэта — «Костер», «Мик» и «Фарфоровый павильон». Критик писал: «… Неужели эти три книги — траурное объявление, похороны поэта

по третьему разряду? Неужели он еще не блеснет? Ведь недавно он был воистину лучшим среди старшего поколения? Может, это только секундная слабость, и завтра снова загорится звезда „поэта странствий“. Мы верим в это, но разумом мы знаем, что этого не будет. Н. Гумилёв не взлетал, а всходил. Крылья прозрения у него были заменены твердой поступью вкуса и зоркости. Больше у него нет ничего. И уже если вкус и зрение ему изменили, конец всему. Поэты разума не переносят падений. Это не кошка, которую как ни кинь, все упадет на ноги. Гумилёв упал грузно и неуклюже. Ему не встать…»

Нужно сказать, что Гумилёву не везло с изданием «Мика». Первый раз он пытался в 1914 году опубликовать поэму в «Современнике», было отредактировано пять глав, но журнал в 1915 году лопнул. Потом Гумилёв пристраивал «Мик» в издательства «Грядущий день» и «Огни», в 1917 году — в редакцию «Нивы» по рекомендации К. Чуковского. Из гранок «Нивы» отрывок опубликовал в 1917 году журнал «Аргус» (№ 9–10). И только в 1918 году поэма наконец увидела свет.

В мае-июне 1920 года журнал «Знамя» (№ 3/4) вышел с рецензией Р. В. Иванова-Разумника (под псевдонимом Ив, — Раз.): «Н. Гумилёв — верный рыцарь и паладин „чистого искусства“. В наше безбумажное время так приятно взять в руки его книжку, напечатанную шрифтом на бумаге чуть ли не „слоновой“: „Мик“ — африканская поэма. Слоновая бумага, к тому же, вполне гармонирует с содержанием африканской поэмы: на страницах ее то и дело проходят перед нами слоны, носороги, бегемоты, павианы и прочие исконные обитатели стилизованных лесов Африки. <…> Старый мир рушится, новый рождается в муках десятилетий:

А. Блок, Андрей Белый, Клюев, Есенин откликаются потрясенной душой на глухие подземные раскаты, — какое падение! Какая профанация искусства! И утешительно видеть пример верности и искусству, и себе: в годы мировой бури поэт твердою рукою живописует нам, как Дух Лесов сидит „верхом на огненном слоне“ и предается невинному развлечению:

> То благосклонен, то суров.
> За хвост он треплет рыжих львов.

Обидно было бы за поэта, если бы эти образы чистого искусства таили в себе иносказание, если бы „огненный слон“ вдруг оказался, например, символом революции, а „рыжие львы“ — политическими партиями. Но мы можем быть спокойны: прошлое Н. Гумилёва является ручательством за настоящее и

будущее. Десятилетием раньше, в годы первой русской революции, этот — начинавший тогда поэт, верный сладостной мечте, рассказывал в книжке стихов „Романтические цветы“ все о том же, о том, как:

Далеко, далеко на озере Чад
Изысканный бродит жирафф.

Этот „изысканный жирафф“ — поистине символичен, он просовывает шею из-за каждой страницы стихов Н. Гумилёва. Мы можем быть спокойны: искусство стоит на высоте. Пусть мировые катастрофы потрясают человечество. Пусть земля рушится от подземных ударов: по садам российской словесности разгуливают павианы, рогатые кошки, и, вытянув длинную шею, размеренным шагом „изысканный бродит жирафф“».

Какие бы отзывы ни появлялись на новые книги поэта, в литературном мире Гумилёв занял после выхода «Костра», «Мика», «Фарфорового павильона» положение мэтра русской поэзии.

31 июля 1918 года отмечена к печати штампом в Военной типографии Екатерины Великой № 1497 набранная рукопись перевода Н. Гумилёва двенадцати ассирийских таблиц «Гильгамеша». А немногим раньше, 17 июля, В. Шилейко пишет введение к переводу Н. Гумилёва «Гильгамеш». Через день поэт отправляет письмо М. Лозинскому с просьбой передать его книги Михайлову для переиздания и попутно сообщает, что затея с «Гипербореем» продвигается успешно.

Этим же летом Гумилёв написал пьесу-сказку в прозе «Дерево превращений».

Можно только поражаться, как много успел поэт за те несколько месяцев, что вернулся из Лондона. Единственное, что по-настоящему огорчило Николая Степановича летом 1918 года — это даже не семейный разлад, а злодейское убийство большевиками Государя Императора Николая Александровича и его семьи в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Для Гумилёва, лично знакомого с Великими Княжнами, это был жестокий удар. Поэтесса Ирина Кунина вспоминала, что они шли с Гумилёвым по улице и мимо них пробежал мальчишка-газетчик, который орал: «Убийство царской семьи в Екатеринбурге!» Гумилёв догнал газетчика, купил газету и, прочитав экстренный номер, побледнел и сказал: «Царствие им Небесное. Никогда им этого не прошу (то есть большевикам. — В. П.)…»

Разойдясь окончательно с Ахматовой, Гумилёв начинает

серьезно готовиться к новой семейной жизни, ему захотелось обрести наконец не литературный вертеп, а нормальный и спокойный очаг. Николай Степанович часто приходит домой к Энгельгардтам. У него завязываются самые дружественные отношения с отцом теперь уже его невесты, 5 июля он дарит ему свою книгу «Мик» с надписью: «Николаю Александровичу учителю долгожданному с глубокой любовью Н. Гумилёв». Надо сказать, что Энгельгардт любил поэзию Гумилёва, и Николай Степанович подарил ему несколько своих изданий.

Отчего же Гумилёв дарит свои книги Энгельгардту? Только ли из желания понравиться будущему родственнику? В воспоминаниях самого Н. А. Энгельгардта есть ответ на этот вопрос: «Помню елку у поэта, где был, между прочим, известный писатель Корней Иванович Чуковский. Гумилёв читал мне две песни поэмы, которая потом пропала. Это были две картины: Китай и Индия. Поэма была необыкновенно талантлива. Поэту удалось уловить дух и всю противоположность культуры Китая и Индии. Я заинтересовался его Китаем настолько, что он взял у меня несколько уроков китайских иероглифов. Для „Фарфорового павильона“ я дал ему кальки оригинальных китайских рисунков, взятых мною от одного конфуцианского ксилографа Университетской библиотеки. Они и воспроизведены в издании „Фарфорового павильона“. Мы много беседовали, и, между прочим, об „озерной школе“, о Вордсворте, Соути, Кольридже. Моя мысль, что голубое, тихое озеро Кесвика, окруженное мирной, прелестной обстановкой лугов, рощ… вокруг которого жили поэты, было символом покоя поэтического духа — зеркала вселенной… Вот почему поэт должен искать уединения, не может участвовать в политическом водовороте страстей. Мысль моя отчасти выражена Николаем Степановичем в предисловии к его превосходному переводу „Поэмы о старом моряке“ Кольриджа».

8 июля Гумилёв дарит Ане Энгельгардт книгу «Мик» с признанием в любви: «Не надо мне волшебных стран, / Когда б рабом ее я был».

Встречи с Аней становятся почти ежедневными. Гумилёв, подарив будущей жене 9 июля свой «Костер», подчеркивает надписью на книге:

Ты мне осталась одна. Наяву
Видевший солнце ночное,
Лишь для тебя на земле я живу,
Делаю дело земное…

12 июля 1918 года Николай Степанович подписывает

будущему тестю книгу «Костер»: «Многоуважаемому и дорогому Н. А. Э. от преданного ему Н. Гумилёва… Урок четвертый».

4 августа поэт встречается с невестой и дарит ей третье издание своей книги «Романтические цветы» с надписью: «Ане. Я, как мальчик, схваченный любовью к девушке, окутанной шелками». Теперь уже их отношения все больше напоминают отношения семейные. Через день, получив официальный развод с женой, Николай Степанович делает предложение Анне Николаевне. Конечно же она счастлива безмерно: поэт, рыцарь — и она, робкая, с ярким румянцем, пушистыми белыми волосами и голубыми, полными испуга и счастья глазами. Он — мэтр, она — просто Аня. Счастью нет конца. Молодая жена готова любить и сына мужа — Льва, как своего собственного ребенка. С 16 августа они находились в Бежецке, где в ту пору жили мать поэта и его сын Лев вместе с сестрой Николая Степановича Александрой и тетей Варей. Обратно они поехали все вместе. Мать Гумилёва Анна Ивановна и его сестра Александра Сверчкова останутся на зиму в Петербурге и вскоре познакомятся с родителями Ани Энгельгардт[72].

Осень 1918 года была «ознаменована» зловещим документом, согласно которому мог быть убит любой человек без суда и следствия. 5 сентября Совет народных комиссаров принял постановление о расстреле всех, кто причастен к белогвардейским организациям, заговорам и восстаниям, — это было начало красного террора в стране. В капкан этого постановления попадет через три года и Н. С. Гумилёв.

Когда Гумилёв стал мужем Энгельгардт, он почувствовал, что в лице Анны-второй (как ее называли биографы поэта) он приобрел жену, но у него не стало собеседника-поэта. Ему нужно было с кем-то обсуждать написанное, делиться своими мыслями и планами. И Гумилёв снова отправляется к Анне Андреевне в Шереметьевский дом, где она в ту пору жила с Шилейко. Николай Степанович читал ей новые стихи африканского цикла. Именно в сентябре, после длительного летнего перерыва, поэт снова начал писать. Причем все известные «осенне-зимние» стихотворения 1918 года (кроме «Уже подумал о побеге я…») посвящены Африке. Толчком к работе послужило предложение издательства «Петербург» написать книгу «География в стихах». 24 сентября Гумилёв подписывает договор и получает аванс на подготовку книги. В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится написанный поэтом план предполагаемого издания: Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия, Полинезия. По Африке план включал в себя: Египет, Триполи, Тунис, Алжир,

Марокко, Сахару, Сенегал, Западный берег, Трансвааль, Родезию, Лесную область, Мадагаскар, озеро Виктория, Абиссинию, Сомали, Нил, озеро Чад, Красное море.

В сентябре в Петербурге начало функционировать созданное по инициативе М. Горького и А. Н. Тихонова издательство, получившее громкое название «Всемирная литература». Гумилёв стал членом редакционной коллегии нового издательства и заведующим французским отделом, одновременно редактировал переводы других поэтов. Вместе с Гумилёвым в редколлегию вошли М. Горький, А. Блок, Е. Замятин, А. Волынский, М. Лозинский, А. Левинсон, А. Тихонов, Е. Браудо, Ф. Браун, Б. Сильверевин, К. Чуковский.

Теперь с октября по вторникам и пятницам Гумилёв отправлялся на заседания редколлегии «Всемирной литературы», проходившие в бывшем помещении редакции газеты «Новая жизнь». 10 октября вышел декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О введении новой орфографии». Многие словесники отнеслись к этому отрицательно. Как отнесся сам Гумилёв — достоверно неизвестно.

Осенью этого же года Николай Степанович становится преподавателем Института живого слова, организационное собрание которого прошло 18 октября в здании бывшей городской думы по Невскому проспекту, 33.

Идея создать такой институт возникла у В. Н. Всеволодского-Гернграсса еще весной 1918 года. Он обратился в Театральный отдел Народного комиссариата просвещения. Там его поддержали и определили, что курсы будут одногодичными (два семестра) для детей, педагогов, ораторов и исполнителей поэтических произведений. Поручили это дело возглавить В. Н. Володарскому. 18 октября именно ему предоставили право проведения организационного собрания. Николая Степановича зачислили преподавателем курса теории и истории поэзии.

В разработке плана занятий курсов принял участие тогда могущественный народный комиссар просвещения А. В. Луначарский. 3 ноября наконец было утверждено Положение об Институте, как о высшем учебном заведении. Состоялось торжественное открытие Института живого слова, созданного при Театральном отделе Народного комиссариата просвещения, в котором принял участие и Н. С. Гумилёв. На открытии выступил В. Н. Володарский, который провозгласил: «…живое слово как элемент воздействия, несомненно, сильнее, чем слово, которое пропечатано черным по белому и которое недаром называлось словом мертвым…» В Институт было принято более четырехсот

человек.

20 ноября официально в институте началось чтение лекций. Лектор Гумилёв к этому дню представил его руководству программу курса по теории поэзии. Она интересна тем, что раскрывает взгляд поэта на перспективу развития современной поэзии. Гумилёв собирался готовить профессионалов без скидок на жесткие времена. Конечно, такой курс был рассчитан не на безграмотных стихотворцев, появившихся в мутной пене безвластия. Что же включал в себя Гумилёвский курс лекций по теории поэзии? «1. Четыре момента в поэтическом произведении: эйдолология, композиция, стилистика, ритмика, их взаимодействия, границы исследования. 2. Эйдолология: творец и творимое, аполлинизм и дионисианство, закон троичности и четверичности, четыре темперамента и двенадцать богов каждой религии, разделение поэзии по числу лиц предложения, время и пространство и борьба с ними, возможность поэтической машины. 3. Композиция: фигурное соединение тем, закон шестиричности в эпосе, закон пятиричности в драме, строфика европейская и восточная, движение во времени, в пространстве, в плоскости четвертого измерения и в двух измерениях. 4. Стилистика: четыре основных типа метафор, четыре шкалы: примитивная, романтическая, классическая и александрийская, их детали, удельный вес этимологических форм, удельный вес синтаксических построений, архаизмы, неологизмы, идиотизмы, варваризмы и пр. 5. Ритмика: школы восточная и западная — графика и пение, стихосложение метрическое, силлабическое, тоническое, смысловое, параллелизм и пр., восточные и западные влияния на распределение согласных и гласных, рифмы богатые, бедные, рифмоиды, ассонансы, аллитерации, начальные, внутренние, смысловые, уничтоженные, белый стих». Кроме того, Н. Гумилёв читал курс лекций по истории поэзии. Сохранился план этих лекций, составленный самим поэтом. Он состоял из десяти пунктов. «1. Друидизм: три этапа творческой энергии, творчество пресмыкающихся, первобытное творчество, друидизм как творчество религии, расцвет друидизма, возвышение военной касты и раскол друидов на поэтов и жрецов. 2. Военножреческая каста: великие и малые эпосы древности, друидические, военные, народная лирика древности, зачатки театра, чтение, монгольская поэма о лебеде, ассиро-вавилонские образцы (Гильгамеш и др.), Калевала, Риг-Веды, Ши-хинг (Китай), Эдца, кельтические эпосы (похищение белой коровы и пр.), малайские пантуши, песни дикарей, египетские поэмы, Рамаяна и др. 3. Классическая поэзия Греции и Рима, чтение. 4. Мистическая поэзия первых веков христианства (александрийство) и народная мистическая поэзия

(песни русских сектантов), Сыкун-Ту и Дао (Китай), суфитская поэзия, чтение. 5. Начало буржуазной поэзии. Средневековая поэзия — эпос, лирика, театр, поэзия народная и индивидуальная, чтение. 6. Расцвет от Данте до Мильтона. 7. Угасание. Восемнадцатый век. 8. Появление нового. Девятнадцатый век. 9. Современная поэзия. 10. Возможность наметить грядущее поэзии».

Наконец все формальности были утрясены, 28 ноября Гумилёв прочел первую лекцию, после которой многие записавшиеся в семинар поэзии покинули его. Почему? Ответ в воспоминаниях очевидца, поэтессы Ирины Одоевцевой: «Зал понемногу наполняется разношерстной толпой. Состав аудитории первых лекций был совсем иной, чем впоследствии. Преобладали слушатели почтенного возраста. Какие-то дамы, какие-то бородатые интеллигенты, вперемежку с пролетариями в красных галстуках. Все они вскоре же отпали и, не получив, должно быть, в „Живом слове“ того, что искали, — перешли на другие курсы… На эстраде, выскользнув из боковой дверцы, стоял Гумилёв. Высокий, узкоплечий, в оленьей дохе с белым рисунком по подолу, колыхавшейся вокруг его длинных худых ног. Ушастая оленья шапка и пестрый африканский портфель придавали ему еще более необыкновенный вид… „Господа, — начал он гулким, уходящим в небо голосом, — я предполагаю, что большинство из вас поэты… Но я боюсь, что, прослушав мою лекцию, вы сильно поколеблетесь в этой своей уверенности. Поэзия совсем не то, что вы думаете, и то, что вы пишете и считаете стихами, вряд ли имеет к ней хоть отдаленное отношение. Поэзия такая же наука, как, скажем, математика. Не только нельзя (за редчайшим исключением гениев, которые, конечно, не в счет) стать поэтом, не изучив ее, но нельзя даже быть понимающим читателем, умеющим ценить стихи“». Это была позиция мэтра, мастера, и понятно, почему после такой вводной лекции многие покинули занятия. Гумилёв в самые трудные и голодные петербургские дни (как, например, январь 1919 года) читал лекции в институте. В вышедшей в 1919 году книге «Записки Института Живого Слова» кроме преподавателя курсов, которые вел поэт, Николай Степанович был указан в разделе «Личный состав педагогического персонала института» как проживающий по адресу: Ивановская, 20, кв. 15, куда он переехал 4 апреля 1919 года, оставив квартиру Сергея Маковского. В это время с Николаем Степановичем жил и семилетний сын Лев, а 14 апреля у поэта родилась дочь. Жена брата поэта А. А. Гумилёва вспоминала: «…Когда маленькая Леночка родилась на свет Божий, доктор, взяв младенца на руки, передал его Коле со

словами: „Вот ваша мечта“». Гумилёв любил своих детей и посвящал им поэмы. Если сыну Льву он написал поэму «Мик», то дочери он посвящает поэму «Два сна». Судьба Елены Николаевны Гумилёвой была такой же трагической, как и ее отца. Она умерла 25 июня 1942 года в блокадном Ленинграде, не оставив потомства.

В это время Гумилёв занимается творческой молодежью. Высокие требования Николай Степанович предъявлял не только к себе, но и к начинающим поэтам в кружке «Арион». Во вступительном слове к поэтическому сборнику этого кружка поэт писал: «Как огонь, сколько его ни прижимай железной доской, всегда будет стремиться вверх и ни одной складки не останется на его языке, так и поэзия, несмотря ни на что, продолжает начатое и только из него создает новое. Я уверен, что Пушкин слово „прежние“ употребил именно в этом смысле. Но поэзия одно, а стихи, увы, часто другое. И чем яснее поэт осознает себя как политический деятель, тем темнее для него законы его „святого ремесла“. „Политическая песня — скверная песня“, — говорил Гёте, и многие книги последнего времени доказали эту мысль». Это было довольно смелое выступление, если не рискованное. Призывать петь старые песни и не забывать традиции в эпоху, когда волна требующих «скинуть Пушкина с корабля современности» топила классику и современную небольшевистскую литературу, было безумием с точки зрения обывателя. Но Гумилёв хотел сразу дать понять молодежи: либо служите Аполлону, либо погибнете в тенетах политического словоблудия. 25 октября свежеотпечатанный сборник был вручен поэту с надписью Всеволода Рождественского: «Николаю Степановичу Гумилёву благодарный „Арион“. 25 окт. 1918 г. СПб.». В четвертом номере «Жизни искусства» за тот же год Гумилёв опубликовал рецензию на книгу молодых поэтов. Это последняя (или одна из последних) известная критическая заметка поэта.

Я бы не назвал 1918 год (особенно время после возвращения из Парижа) плодотворным в жизни поэта. Ахматова, уже не жившая с Гумилёвым, утверждала первому биографу Николая Степановича П. Лукницкому: «…18 год был особенно плодотворным для Николая Степановича…» На самом деле наоборот. Он почти не пишет оригинальных стихотворений, целиком погружается в преподавание, переиздает свои книги. В издательстве Н. Н. Михайлова «Прометей» появляются «Жемчуга» и «Романтические цветы», отдельным изданием выходит персидская пьеса-сказка «Дитя Аллаха». Поэт вынужден заниматься переводами, так как за них платили хоть какие-то

деньги и он мог кормить семью. Для издательства «Всемирная литература» мэтр заканчивает перевод французских народных песен, стихотворений М. Вольтера, Г. Лонгфелло, Р. Браунинга, Г. Гейне, Д. Байрона, П. Верлена, В. Гриф-фена, Д. Леопарди, Ж. Мореаса, Ж. Эредиа, А. Рембо, Леконта де Лиля, Р. Саути, Р. Роллана. Однако Николай Степанович написал «Поэму Начала», а также перевел поэму «О старом моряке» С. Т. Кольриджа, баллады о Робин Гуде «Посещение Робин Гудом Ноттингема» и «Робин Гуд и Гай Гизборн».

Гумилёв работает и над собственной теорией переводов. 24 ноября — сначала на совещании поэтов в «Новой жизни» и на заседании во «Всемирной литературе», потом на квартире у М. Горького — он прочитал составленную им декларацию о принципах перевода художественных произведений.

Правда, незадолго до оглашения декларации у него возникли разногласия с Корнеем Чуковским, который после заседания 11 ноября во «Всемирной литературе» записал в дневнике: «На заседании у меня жаркая схватка с Гумилёвым. Этот даровитый ремесленник вздумал составлять Правила для переводчиков. По-моему, таких правил нет. Какие в литературе правила — один переводчик сочиняет, а выходит отлично, а другой и ритм дает и все — а нет, не шевелит. Какие же правила? А он рассердился и стал кричать. Впрочем, он занятный, и я его люблю».

О спорах Гумилёва и Блока о принципах перевода писал в своих воспоминаниях, опубликованных в третьем номере журнала «Звезда» за 1945 год, Всеволод Рождественский: «…редактируя переводы французских поэтов, главным образом, парнасцев, прежде всего <Гумилёв> следил за неуклонным соблюдением всех стилистических, чисто формальных особенностей, требуя сохранения не только точного количества строк переводимого образца, но и количества слогов в отдельной строке, не говоря уже о системе образов и характере рифмовки. Блок, который неоднократно поступался этими началами ради более точной передачи основного смысла и „общего настроения“, часто вступал с Гумилёвым в текстологические споры. И никто из них не уступал друг другу. Гумилёв упрекал Александра Александровича в излишней „модернизации“ текста, в привнесении личной манеры в произведение иной страны и эпохи; Блоку теоретические выкладки Гумилёва казались чистейшей схоластикой. Спор их длился бесконечно и возникал по всякому, порою самому малому, поводу. И чем больше разгорался он, тем яснее становилось, что речь идет о двух совершенно различных поэтических системах, о двух полярных манерах поэтического мышления».

Тем не менее Блок ценил Гумилёва-переводчика и просил его принимать участие в работе его отдела. 14 декабря он пришел вечером в гости к Николаю Степановичу и говорил о переводе поэмы Г. Гейне «Атта Тролль»; Николай Степанович подарил Блоку свою книгу «Костер» с надписью: «Дорогому Александру Александровичу Блоку в знак уважения и давней любви. Н. Гумилёв». В ответ Александр Александрович подарил Гумилёву экземпляр своей книги «Двенадцать» с надписью: «Дорогому Николаю Степановичу Гумилёву с искренним уважением и приветом Александр Блок. 12.1918».

В конце 1918 года Гумилёв принимает активное участие в литературной жизни Петербурга. 19 ноября 1918 года он присутствовал на торжественном открытии Дома искусств, где его избрали в Совет. 1 декабря поэт участвовал в торжественном открытии Дома литераторов и вошел в состав комитета, ставшего во главе этого Дома. Много времени отнимало у Николая Степановича присутствие на различных заседаниях (таких как редколлегия «Всемирной литературы»). На одном из них, в Театральном отделе Наркомпроса, поэт прочитал драму «Отравленная туника».

В 1918 году в семье Гумилёвых случилось несчастье. В Бежецке умерла племянница поэта — Мария Леонидовна Сверчкова. Вообще зима 1918/19 года была в Петербурге и холодной, и голодной. Анна Элькан, очевидица событий, вспоминала в конце жизни в эмиграции в журнале «Мосты»: «На улицах снежные курганы, ни одного фонаря, но от снега блеск почти нарядный. Беззвучность: ни скрипа саней, ни протяжных глаз автомобиля — пугает редких прохожих напоминанием об угрозах, арестах, обысках, — или неуклюжий грузовик пыхтя погружается в снежные бездны. <…> Движение во мраке вечерней улицы, — значит, близок „Дом Искусств“. <…> „Дом Искусств“, на Мойке угол Невского, вечера по пятницам, лекции, концерты. У вешалки уютная горничная Настя в белом переднике, ковры на внутренней деревянной лестнице, читальня с круглыми диванами в нишах. Для помнящих сразу зажигается фонарик, освещая темную столовую, тяжелую резную мебель, стол на сорок, а то и больше, человек, на столе остатки пайковой роскоши: жидкий постный суп в белых тарелках, крошки глинообразного хлеба и кругом стола — нескончаемые споры. Одеты все были во что попало, в какие-то вынутые из нафталина сюртуки, в военные гимнастерки последнего образца или, как художник Замирайло, в черный романтический плащ, собственноручно сшитый грубыми белыми нитками. Натертые

старорежимным лакеем Ефимом полы темнели лужами от валенок, самых оригинальных, — иногда только что сшитых рукой Анны Андреевны Сомовой-Михайловой, которая мастерила эту обувь из ковров и портьер. Дым от махорочных папирос ел глаза, а неизменная трубка в углу иронически сжатого рта Евгения Замятина казалась напоминанием о культурной жизни, рассказанной чужеземцем, навестившим островитян. „Дом Искусств“, созданный по инициативе Горького, с помощью Луначарского и при содействии, по линии пайка, кабатчика дореволюционного Петербурга, г-на Родэ, приютил в качестве жильцов многих бездомных тогда писателей и деятелей искусства. Остальные, то есть весь интеллектуальный Петербург, приходили обедать по карточкам, слушать лекции, концерты, беседовать и встречать знакомых, — принимать у себя в нетопленых помещениях было невозможно. Кроме того, создались кружки, студии, велись занятия с молодежью, желавшей научиться мудрому механизму стихосложения у Гумилёва или послушать, что думает Замятин об искусстве прозаика, читал еще Лозинский и многие другие. Разговоры в „Доме Искусств“ велись тогда еще свободно, без оглядки на двери, в которые входил кто угодно, включая и представителей власти. <…> По неизменной петербургской привычке отшучивание и смелые анекдоты были формой самозащиты: всерьез говорить о происходящем значило бы бить себя в грудь, кричать, плакать, и мы, усмехаясь, передавали очередную сплетню о новой интрижке сероглазого короля — так называли Николая Степановича Гумилёва. На его холодном непроницаемом лице, похожем на дом с закрытыми ставнями, тоже маячила порой усмешка, но она поражала, как неожиданность или как вызов судьбе. Я встречала Николая Степановича почти ежедневно, и он всегда любезно со мной здоровался, но, не будучи в его окружении, я не могла разгадать смысла, видимо условного, его замечаний, слов, шуток. В большом кругу Николай Степанович производил впечатление человека, играющего в какую-то не очень умную игру. <…> Знаю, что в беседе с ним с глазу на глаз было совсем иное: его очень любили молодые поэты, посещавшие студию, думаю, что некоторые преувеличивали свои восторги перед ним и искали около него легкой славы, хотя бы отраженной. В те годы молодежь увлекалась стихами Гумилёва, он сам казался нам каким-то таинственным, овеянным горячим ветром его любимой Африки…»

Новый, 1919 год начался для поэта необычно. В январе Николай Степанович посетил с представителем новой власти Борисом Каплуном первый в городе советский крематорий. Когда

не было денег на похороны, а люди умирали как мухи, большевики нашли выход: жечь трупы. Юрий Анненков, также участвовавший в этом странном мероприятии, вспоминал: «Я не забуду тот морозный день, или — вернее — те морозные сумерки 1919 года: было около 7 часов вечера. Мы сидели в обширном кабинете Каплуна, в доме бывшего Главного Штаба, на площади Зимнего дворца… Укутанная в старую шаль поверх потертой шубы, девушка грелась, сидя в кресле у камина, где пылали березовые дрова. У ее ног на плюшевой подушке отдыхал огромный полицейский пес, по-детски ласковый и гостеприимный, счастливо уцелевший в ту эпоху, когда собаки, кошки и даже крысы в Петербурге были уже почти целиком съедены населением. За бутылкой вина, извлеченной из погреба какого-то исчезнувшего крупного буржуя, Гумилёв, Каплун и я мирно беседовали об Уитмане, о Киплинге, об Эдгаре По, когда Каплун, взглянув на часы, схватил телефонную трубку и крикнул в нее: „Машину!“ Это был отличный Мерседес, извлеченный из гаража какого-то ликвидированного „крупного капиталиста“. Каплун объяснил нам, что через полчаса должен был состояться в городском морге торжественный выбор покойника для первого пробного сожжения в законченном крематории, и настоял на том, чтобы мы поехали туда вместе с ним. В огромном сарае трупы, прикрытые лохмотьями, лежали на полу, плечо к плечу, бесконечными тесными рядами. Нас ожидала там дирекция и администрация крематория. — „Выбор представляется даме“, — любезно заявил Каплун, обратившись к девушке. Девушка кинула на нас взгляд, полный ужаса, и, сделав несколько робких шагов среди трупов, указала на одного из них… — „Бедная, — шепнул мне Гумилёв, — этот вечер ей будет, наверное, долго сниться“. На груди избранника лежал кусочек грязного картона с карандашной надписью: „Иван Седякин. Соц. пол.: Нищий“. — „Итак, последний становится первым, — объявил Каплун и, обернувшись к нам, заметил с усмешкой: — в общем, довольно забавный трюк, а?“» Вот что, по сути, могла предложить гражданам России новая власть вместо театральных зрелищ — комедию человеческой смерти. Не только жизнь, но и смерть стала фарсом. Естественно, Гумилёв был шокирован таким зрелищем и на обратном пути, когда девушка неожиданно разрыдалась, он обнял ее и успокаивал: «Забудьте, забудьте, забудьте…»

Поэт не обращал внимания на мерзости повседневной жизни и работал. До 21 марта 1919 года вышла в свет в Петербурге в издательстве Зиновия Исаевича Гржебина книга переводов ассиро-вавилонского эпоса «Гильгамеш». Гумилёв придавал этой работе большое значение. Уже 21 марта он дарит ее Блоку с

надписью: «Дорогому Александру Александровичу Блоку — последнему лирику первый эпос. Искренно его Н. Гумилёв». Блок 19 мая 1919 года подарил Гумилёву вышедший в 1918 году свой сборник «Стихотворения. Книга первая» с дежурной надписью: «Николаю Степановичу Гумилёву с искренним уважением и приветом Александр Блок». Скрытая нелюбовь Блока в этот период, его ревностное отношение к успехам Гумилёва общеизвестны. Но этикет предписывал внешнее взаимоуважение.

10 мая 1919 года Николай Степанович дарит книгу отцу своей жены с надписью: «Дорогому Н.А.Э. любящий его Н. Г. Петербург».

17 мая 1919 года Гумилёв встречается со своим другом Михаилом Лозинским, и они отправляются к Срезневским, где торжественно отмечают выход «Гильгамеша». Что написал Гумилёв на экземпляре, подаренном Срезневским, неизвестно, но вот Лозинскому он сделал надпись, которая без комментариев показывает отношение поэта к законченной работе:

Над сим Гильгамешем трудились
Три мастера, равных друг другу,
Был первым Син-Лин-Уинни,
Вторым был Владимир Шилейко,
Михаил Леонидыч Лозинский
Был третьим. А я недостойный,
Один на обложку попал.

Н. Гумилёв

17–18 мая 1919 года в газете «Жизнь искусства» (№ 138–140) появилась за подписью Н. Л. интересная статья о «Гильгамеше» известного критика Н. О. Лернера, который писал: «Поэма о национальном великом герое-полубоге Вавилона Гильгамеше полностью и самостоятельно появляется на русском языке впервые. До сих пор она была доступна только специалистам, а в учебниках и руководствах приводились выдержки из нее и давались пересказы (напр., у Б. А. Тураева в „Истории древнего Востока“ или в „Древнем Вавилоне“ Н. М. Никольского). Между тем, каждая буква этого произведения, одного из высочайших созданий человеческого духа, дорога и значительна. Н. Гумилёв не ассириолог, но пользовался очень хорошим французским изданием ассиро-вавилонских текстов и указаниями нашего молодого, но уже создавшего себе имя в науке ассириолога В. К. Шилейко, который предпослал поэме необходимое и ценное небольшое введение. <…> Н. Гумилёв, один из лучших наших поэтов и вместе с тем осторожный, вдумчивый, владеющий

научным методом переводчик, как объясняет сам, „стремится создать для каждой строки подобие ритма“. Это очень удачный прием: поэме нужно было сохранить ее поэтический облик и, насколько это допускается условиями нашего языка и присущей ему ритмики, представить именно подобие, сохраняющее экспрессивную силу подлинника. До сих пор у нас были только наивные стихотворные „переложения“ А. К. „Из ассиро-вавилонского эпоса“, где богиня Иштар в стиле романсов Вяльцевой воспевала „отраву лобзания страстного“, „вся сгорая любовным желанием“. <…> От учено-поэтического союза Гумилёва и Шилейко хотелось бы ждать также перевода других частей того же эпоса (Сотворение мира. Схождение Иштар в преисподнюю)». В августе 1920 года Лернер опубликовал рецензию на «Гильгамеш» во втором номере журнала «Книга и революция».

6 июня 1919 года в газете «Жизнь искусства» появилась статья об эпосе критика В. Шкловского «Издание текста классиков», а также рецензия на «Гильгамеш» в первом номере киевского журнала «Зори» за подписью А. Д.

Уже 30 ноября 1919 года Гумилёв сдал исправленный вариант перевода для печатания второго издания в издательство «Всемирная литература».

В последние годы жизни поэт переводил больше, чем за все предыдущие. В марте 1919 года Гумилёв перевел для «Всемирной литературы» поэму Г. Гейне «Атта Тролль»[73], в апреле — стихотворение «Фиделе» Шарля Леконта де Лиля и стихи Шарля Бодлера «Соответствия», «Привидения» из цикла «Сплин и идеал», «Авель и Каин» из цикла «Мятеж», в мае — «Предостережение хирурга» Р. Саути, «Неумирающий аромат» из цикла «Трагические стихотворения», «Слезы медведя» из цикла «Варварские стихотворения», «Благословение» и «Враг» Шарля Бодлера из цикла «Сплин и идеал», знаменитое стихотворение Артюра Рембо «Гласные».

В июне поэт переводит для «Всемирной литературы» стихотворение «Мученица» Ш. Бодлера из цикла «Цветы зла»; «Немея» Ж. М. де Эредиа из цикла «Геракл и кентавры»; стихи к «Избранным сочинениям» Ж. М. Эсса ди Керуша (португальская поэзия).

В августе 1919 года Гумилёв перевел для «Всемирной литературы» стихотворения Ш. Бодлера из цикла «Сплин и идеал»: «Дон Жуан в аду», «Вампир», «Кошка», «Кот», «Приглашение к путешествию», «Сплин», «Ужас», «Грустный мадригал», «Жалобы Икара». Интересно, что предисловие к «Цветам зла» Гумилёв переводил не сам, а попросил это сделать

Александра Блока 12 августа, хотя 4 февраля сам написал статью о французской поэзии и отправил ее А. Н. Тихонову во «Всемирную литературу». С начала февраля при этом издательстве начала действовать студия по подготовке переводчиков и Николай Степанович читал там лекции по французской и английской поэзии. Увы, при жизни поэта статья эта не появилась в печати[74].

В июне — сентябре 1919 года Николай Степанович занимался со своими студистами переводами.

В октябре 1919 года во «Всемирной литературе» в Петрограде выходит поэма Кольриджа «О старом моряке» в переводе Н. Гумилёва и с его вступлением (выпуск № 19 под редакцией М. Лозинского).

Складывается впечатление, что поэт не хотел писать о современной российской действительности и занимался переводами. В марте 1919 года в Петрограде все в том же издательстве выходит книга Н. С. Гумилёва и К. И. Чуковского «Принципы художественного перевода». Впервые в ней опубликована статья Николая Степановича «20 стихотворных переводов». 8 марта этого же года в «Жизни искусства» (видимо, по корректуре) напечатана рецензия на эту книгу критика Н. Лернера. Гумилёв дает девять заповедей (что должно совпадать в оригинальном и переводном стихотворениях) для переводчика: 1. Число строк. 2. Метр и размер. 3. Чередована рифм. 4. Характер enjambement. 5. Характер рифм. 6. Характер словаря. 7. Тип сравнений. 8. Особые приемы. 9. Переходы тона. Правда, выполнить эти условия было не под силу большинству переводчиков. Сам Гумилёв писал: «Разумеется, для рядового переводчика это ни в какой мере не обязательно» и добавил: «Таковы девять заповедей для переводчика; так как их на одну меньше, чем Моисеевых, я надеюсь, что они будут лучше исполняться». Что такое enjambement? Сам поэт писал: «Крайне важен… вопрос о переносе предложения из одной строки в другую, так называемом enjambement. Классические поэты, как Корнель и Расин, не допускали его, романтики ввели в обиход, модернисты развили до крайних пределов. Переводчику и в этом следует считаться со взглядами автора. <…> Из всего сказанного видно, что переводчик поэта должен быть сам поэтом, внимательным исследователем и проникновенным критиком, который, выбирая наиболее характерное для каждого автора, позволяет себе, в случае необходимости, жертвовать остальным. И он должен забыть свою личность, думая только о личности автора. В идеале переводы не должны быть подписными». Можно представить, каких бы вершин достигла школа переводчиков в

России, если бы она унаследовала заветы великого мастера!.. Второе издание книги (добавился еще один автор Ф. Батюшков) вышло в мае 1920 года.

Гумилёв старался передать свои принципы перевода молодежи. Он был в числе первых лекторов студии переводов, открывшейся при «Всемирной литературе» 28 июня 1919 года. На открытии среди выступающих был и сам Николай Степанович. Наряду с Гумилёвым лекции стали читать Евгений Замятин, Корней Чуковский, Михаил Лозинский, Виктор Шкловский, Владимир Шилейко. Ирина Одоевцева, вспоминая день открытия, писала: «В первый же день Гумилёв на восхищенное восклицание одной студистки, ощупавшей стул: „Да ведь он из серебра. Из чистого серебра!“ — ответил тоном знатока: „Ошибаетесь. Не из серебра, а из золота. Из посеребренного золота. Для скромности…“» В. Шилейко писал о Гумилёве-мэтре — наставнике студийной молодежи: «…Я там читал ритмику — началась студия в июне и осенью 1919 года кончилась. Когда он (Гумилёв. — В. П.) уезжал, я всегда брал на себя его курсы… У него были красивые руки, он это знал, и у него было громкое имя. И он садился на стул, высоко закидывая ногу. Все слушали его голос… Не знаю, как в других студиях, а здесь его очень любили».

Студия открылась в здании, именуемом домом князя Александра Дмитриевича Мурузи на углу Литейного и Пантелеймоновской.

Об отношении к Гумилёву молодежи говорят многочисленные воспоминания бывших студистов. Одна из них, поэтесса Елизавета Полонская, писала: «Блок был капризен, привередлив, но у Гумилёва — мы были в этом уверены — имелась точная мера справедливости: он не мог ошибаться. Гумилёв, как я вскоре поняла, был очень талантлив, но и очень высокомерен. Прирожденный глава поэтической школы, он спорил увлекательно и безапелляционно. Самым интересным в его занятиях с нами был тот разбор, которому он подвергал наши стихи. Стройный, с фигурой тренированного военного, с неповторимой посадкой головы, узкой и вытянутой, как головы ацтеков, он стоял перед нами прямо, твердо излагая правила поэтического катехизиса. В каждом стихотворении он видел четыре стороны: фонетику, стилистику, ритмику, эйдолологию (наука об образах). Каждое стихотворение он разбирал с этих четырех сторон. Беспощадно и очень тонко проникая в ткань стиха… „Музыки, музыки прежде всего!“ — требовал он вслед за Верленом. Он давал нам упражнения на разные стихотворные размеры, правил вместе с нами стихи, уже прошедшие через его собственный редакторский карандаш, и показывал, как незаметно

улучшается вся ткань стихотворения и как оно вдруг начинает сиять от прикосновения умелой руки мастера. Он научил нас, окончив стихотворение, вычеркнуть первую строфу, часто служебную и невыразительную…»

Николай Степанович занимался переводами до последних дней жизни. Поздней осенью 1919 года поэт закончил перевод четырех песен «Орлеанской девственницы» Вольтера. 28 октября 1919 года на очередном заседании во «Всемирной литературе» произошел один очень важный эпизод, показавший уровень мастерства Гумилёва-переводчика. Гумилёв прочитал подготовленные им переводы баллад Р. Саути. Во время обсуждения М. Горький в ультимативной форме потребовал изъять из рукописи книги Саути все переводы Жуковского, так как они «страшно» теряют рядом с переводами Н. Гумилёва. Классик пролетарской литературы признал превосходство Гумилёва-переводчика над самим Василием Жуковским! И 4 ноября того же года Горький поручил Гумилёву редактировать издание Жуковского для издательства Гржебина. А за день до этого Николай Степанович принимал активное участие в вечере поэта Леконта де Лиля в Доме литераторов.

20 ноября 1919 года Николай Степанович закончил переводы Лонгфелло «Стрела и песня», «Полночное пение раба» и «День ушел…». 25 ноября к Гумилёву обратился А. Блок с просьбой перевести поэму Г. Гейне «Винцли-Пуцли». Это было тоже признанием заслуг Гумилёва-переводчика. Хотя понять Блока трудно — в записной книжке он выводит другое. 5 июня 1920 года. Сравнивая перевод Гумилёва «Атта Тролль» с переводом «Германии» В. Коломийцева, он отмечает: «Насколько это ближе к Гейне, чем Гумилёв!»

Но вернемся в конец 1919 года. Гумилёв переводит стихи к философской повести Вольтера «Принцесса Вавилонская», а также два стихотворения Антеро де Кентала, 20 декабря сдает в издательство «Всемирная литература» для отдельного издания печатный экземпляр своего перевода «Пиппа проходит» Р. Браунинга. К 25 декабря Николай Степанович заканчивает большой труд по переводу французских народных песен. Правда эта книга прекрасных переводов поэта с его же предисловием увидела свет уже после его смерти в 1923 году в Берлине. А тогда, в декабре, Гумилёв переводит еще «Атта Тролль» Г. Гейне, четыре сонета Ж. Эредиа. К 30 декабря он перевел стихотворение Ж. Мореаса «Кто нужен сердцу…». Не позднее 31 декабря поэт перевел несколько стихотворений Теофиля Готье и написал примечания к тому его стихотворений. В 1919 году он задумал издать антологию «Пр*о*клятые поэты», но замысел свой так и не

завершил. Поэт не только переводит, но и проводит творческие вечера французской поэзии. Например, 18 декабря он вел в Доме литераторов вечер творчества Шарля Бодлера.

Даже на Новый год Николай Степанович работал — перевел к 1 января 1920 года первые 156 строк «Винцли-Пуцли», а к 9 января закончил весь перевод. В январе поэт перевел еще и английскую народную балладу «Английский король и восемьдесят девушек».

Интересно, что в это время Анна Ахматова критично отзывалась о Гумилёве-переводчике, хотя неизвестно, что из его неопубликованных переводов она могла читать. Сомнительно, чтобы он их читал ей при очень редких и полуофициальных встречах. Тем не менее, когда Чуковский пришел 18 января 1920 года к Ахматовой и сказал ей о Николае Степановиче: «Как ужасно он перевел Кольриджа „Старого моряка“», Анна Андреевна с энтузиазмом поддержала тему: «А разве вы не знали? Ужасный переводчик». Даже Чуковский, не согласный с Гумилёвым по многим вопросам перевода, отметил в своем дневнике: «Это уже не первый раз она подхватывает дурное о Гумилёве». Но Гумилёв всегда мало внимания обращал на тех, кто его ругал. Он шел своим путем. Уже к 20 января Гумилёв закончил перевод «Бимини» Гейне.

В мае Николай Степанович перевел стихи Шарля Бодлера и Антеро де Кентала. В июле он снова переводит Бодлера — на этот раз стихотворение «Смерть любовников» из цикла «Смерть», в июне — стихотворение С. Т. Кольриджа «Баллада о черной леди», а в конце июня пишет статью «Поэзия Теофиля Готье» как предисловие к книге, так и не вышедшей в издательстве «Всемирная литература». Это не было повторением его статьи 1911 года. Хотя поэт снова выделил композиционно три раздела, но вывод первой статьи был несколько легковесным: «В литературе нет других законов, кроме закона радостного и плодотворного усилия, — вот о чем всегда должно нам напоминать имя Теофиля Готье». Во второй статье вывод более весомый: «Как большинство поэтов начала девятнадцатого века, и Теофиль Готье унаследовал от Шатобриана и огненную меланхолию, и тоску по дальним странам, и ощущенье своего всемогущества. К этому наследству он прибавил только стальную волю и жизнеспособность духа, благодаря которой он неизменно оказывался своим в каждом из сменяющих друг друга поэтических лагерей века. <…> Стилистом Теофиль Готье является одновременно могучим и изысканным… Значение Теофиля Готье в истории поэзии велико и своеобразно. Он не создал школы, не имел последователей. И это понятно: всякая

копия этого Протея искусства была бы неверна через миг; а темперамент, дающий возможность совершать эти превращения, скопировать невозможно. Однако его пример учил и продолжает учить поэтов. <…> В России стихи Теофиля Готье переводились крайне редко, и самое имя его было мало известно. Однако, когда в 1914 году вышел полный перевод „Эмалей и камей“, он был принят чрезвычайно благосклонно и критикой, и публикой, что, конечно, указывает на роль, которую Теофилю Готье суждено сыграть в деле развития русской поэзии». Гумилёв скромно не упомянул, что «Эмали и камеи» — это его собственная работа. Уже после смерти Гумилёва духовную связь между русским и французским поэтами отметил в 1926 году в докладе «Гумилёв и Готье» в Государственной Академии художественных наук В. Э. Мориц.

Не позднее 30 июля Гумилёв перевел стихотворение «Эрифина» Ж. Мореаса.

С января по октябрь 1920 года Николай Степанович работал над переводом Г. Гейне «Винцли-Пуцли».

10 августа 1920 года на заседании редакции «Всемирной литературы» рассматривались переводы Шарля Бодлера, сделанные Гумилёвым. Отзыв готовил сам Александр Блок. До 18 августа Николай Степанович перевел стихотворения Ж. Мореаса «Вторая элегия», «Посланье», «Ага-Вели», «Воспоминанья», в начале сентября — скандинавские народные баллады «Лонгобарды», «Гагбард и Силия», «Сиффурт и Брюнелау», «Бой со змеем», в октябре — французские народные баллады «Адская машина», «Жалоба вечного жида» и другие, стихотворение Т. Готье «Карнавал» из цикла «Эмали и камеи» и стихотворение «Эпилог» П. Верлена, до 10 октября — 220 строк Д. Леопарди, до 25 октября — стихотворения Ж. Мореаса «Распутник», «Без названья». Но и это не все. В 1920 году поэт перевел для «Всемирной литературы» стихотворения Ж. Мореаса «Дурная мать», «Третья элегия», «Слово вспоминающего рыцаря», «Homo fuge». Если проанализировать, кого больше всего переводил в это время поэт, то окажется, что Ж. Мореаса, и это не случайно. Летом 1920 года Николай Степанович в интервью журналисту «Вестника литературы» признался, что этот поэт ему близок по духу. С 1921 года Гумилёв начал читать лекции, посвященные иностранным писателям, при «Всемирной литературе». В феврале Николай Степанович провел в Доме искусств вечер, посвященный Теофилю Готье, и читал свои переводы его стихотворений. Вообще тема Гумилёв-переводчик и Гумилёв-теоретик русского перевода начала XX столетия — тема отдельного большого исследования.

Николай Степанович не только много переводил в те годы, но немало времени уделял работе во «Всемирной литературе» и редактированию рукописей поэтов-переводчиков.

Кроме редактирования Гумилёв в последние три года во «Всемирной литературе» участвовал в разработке перспективных издательских планов. Начиная с января 1919 года каждые вторник и пятницу он приходил в издательство. Здесь обменивались мнениями о текущих событиях, спорили о путях развития литературы, высказывались порой заветные мысли и возникали споры иногда далеко не литературные. Например, 10 января 1919 года Блок выступал во «Всемирной литературе» с докладом о переводах Гейне. После доклада он беседовал с Гумилёвым и записал в своем ежедневнике: «Гумилёв говорит, что имеет много сказать, и после заседания развивает мне свою теорию о гуннах, которые осели в России и след которых историки потеряли. Совдепы — гунны». Блок хорошо понял Гумилёва.

На заседании издательства Чуковский подарил Николаю Степановичу книгу «Неизданные произведения» Н. Некрасова с надписью: «Возлюбленному Н. Гумилёву — с чувством давней и растущей любви…»

Несмотря на то, что литературная жизнь в бывшей столице Российской империи как-то налаживалась, уверенности в завтрашнем дне в среде творческой интеллигенции не было ни у кого. В тревожное время порой возникали непредвиденные ситуации даже с теми, кто официально был на стороне большевиков. Уже после написания поэмы «Двенадцать» Александра Блока однажды подвергли аресту. Вечером 15 февраля 1919 года его отправили на Гороховую в числе других литераторов, сотрудничавших с левоэсеровскими изданиями после уничтожения партии левых эсеров. Однако в дело вмешались А. Луначарский и М. Ф. Андреева, и 17 февраля его выпустили. 20 февраля он уже был объявлен в программе 39-го вечера поэтов в «Привале комедиантов», где Луначарский читал свою пьесу «Маги». На вечер пришел и Н. Гумилёв. Присутствовала ли Ахматова, неизвестно, хотя в программе она была объявлена, как и С. Есенин, Н. Клюев, М. Лозинский, М. Тумповская. А 27 февраля Блока пригласили в Совет издательства «Всемирная литература» вместе с Николаем Степановичем. Известно, что Гумилёву назначили жалованье в две тысячи рублей. Об интенсивности заседаний в то время говорит хотя бы такой факт: только в течение марта 1919 года Гумилёв присутствовал на них десять раз.

Другой известный писатель Федор Сологуб создает

литературную секцию Союза деятелей Художественной литературы для помощи литераторам. Союз располагался в бывшем особняке барона Гинзбурга на Васильевском острове по 11-й линии, 18. 5 февраля Гумилёв присутствовал на заседании этой секции. 13 февраля состоялось заседание самого Союза, куда кроме Гумилёва пришли Евгений Замятин, писатель Немирович-Данченко, Кони и другие. 22 февраля на заседании Союза Чуковский читал отзыв на роман В. В. Муйжеля «Год». Здесь же Гумилёв встретился с М. Горьким. 3 марта на общем собрании членов Союза деятелей Художественной литературы Николай Степанович был избран в редакционную комиссию и у него появились дополнительные обязанности. Председателем этого недолговечного Союза являлся В. В. Муйжель. Увы, Союз так и не начал заниматься издательской деятельностью. Единственное, что он успел сделать, — провозгласил издание еженедельника «Литературный современник». Николай Гумилёв был включен и в состав этого редакционного коллектива.

Об отношениях Блока и Гумилёва на заседаниях этого Союза писал в дневнике Корней Чуковский 5 марта 1919 года: «Вчера у меня было небывалое собрание знаменитых писателей: М. Горький, А. Куприн, Д. С. Мережковский, В. Муйжель, А. Блок, Слезкин, Гумилёв и Эйзен… У меня болит нога. Поэтому решено устроить заседание у меня…Интересна была встреча Блока с Мережковским. Мережковские объявили Блоку бойкот, у них всю зиму только и было разговоров, что „долой Блока“, он звонил мне: „Как же я встречусь с Блоком!“ — и вот встретились и оказались даже рядом. Блок молчалив и медлителен… Гумилёв с Блоком… ведают у нас стихи. Блок Гумилёву любезности, Гумилёв Блоку: „Вкусы у нас одинаковые, но темпераменты разные“».

На 9 марта был намечен вечер Союза — должны были чествовать председателя В. Муйжеля. Гумилёв днем навестил заболевшего Корнея Чуковского и в беседе с ним неожиданно сказал: «Помяните мое слово. Горький пойдет в монахи. В нем есть религиозный дух. Он так говорил о литературе, что я подумал: „Ого!“» Интересно, что поэт не хотел идти один на вечер, заплатив двести рублей, и Чуковский стал звонить по телефону, разыскивая ему даму. Чуковский после с удивлением записал: «…нашли некую совершенно незнакомую Гумилёву девицу, которую Гумилёв взялся отвезти на извозчике (50–60 руб.) на В. О. (Васильевский остров. — В. П.), накормить ужином и доставить на извозчике обратно (50–60 руб.). И все за то, что она дама!» Рыцарские замашки поэта были чужды прозаику Чуковскому.

11 марта впервые на заседании коллегии «Всемирной литературы» был не только Н. С. Гумилёв, но и Александр Блок. После окончания Гумилёв отправился к А. Н. Тихонову смотреть персидские миниатюры.

Через два дня они снова встретились на заседании Союза деятелей Художественной литературы, которое на этот раз прошло в издательстве «Всемирная литература» на Невском проспекте. Председательствовал М. Горький, среди присутствовавших были Д. Мережковский и А. Куприн. Блок читал рецензии на стихи Д. Цензора, Долинова и Г. Иванова.

14 марта после заседания редколлегии «Всемирной литературы» состоялся долгий разговор Гумилёва и Блока. Всеволод Рождественский вспоминал об этих, ставших регулярными, беседах и спорах двух поэтов: «Жизнь молодого издательства постепенно развертывалась и крепла. По мысли

Горького оно должно было объединить наиболее талантливых и знающих переводчиков и литературоведов, чтобы в результате их общих усилий советский читатель мог получить в хороших и точных переводах самые значительные произведения западной литературы. Был составлен обширнейший план изданий — главным образом произведений XVIII–XIX веков. А. А. Блоку был поручен раздел немецкой литературы. Он взялся за это дело с большим жаром и на первых порах сосредоточил свое внимание на прозе и стихах Генриха Гейне… Редактор он был требовательный и даже придирчивый, но старался передать не букву, а дух подлинника — полная противоположность Гумилёву. Окружающие с интересом следили за этим каждодневным диспутом, рамки которого расширялись до больших принципиальных обобщений. Но я не помню случая, чтобы Александр Александрович вышел когда-нибудь из себя, решился на резкое слово. Он неизменно был суховат и корректен. <…> Они явно недолюбливали друг друга, но ничем не высказывали своей неприязни; более того, каждый их разговор представлялся тонким поединком взаимной вежливости и любезности. Гумилёв рассыпался в изощренно-иронических комплиментах. Блок слушал сурово и с особенно холодной ясностью, несколько чаще, чем нужно, добавлял к каждой фразе: „уважаемый Николай Степанович“, отчетливо до конца выговаривая каждую букву имени и отчества… Блок отдавал должное эрудиции Гумилёва, но к гумилёвским стихам относился без всякого энтузиазма… Однажды после долгого и бесплодного спора Гумилёв отошел в сторону явно чем-то раздраженный. „Вот смотрите, — сказал он мне. — Этот человек упрям необыкновенно. Он не хочет понять самых очевидных истин. В этом разговоре он чуть не вывел меня

из равновесия…“ — „Да, но вы беседовали с ним необычайно почтительно и ничего не могли ему возразить“. Гумилёв быстро и удивленно взглянул на меня: „А что бы я мог сделать? Вообразите, что вы разговариваете с живым Лермонтовым. Что бы вы могли ему сказать, о чем спорить?“»

Гумилёв умел ценить таланты, даже если они не принадлежали к его лагерю. Нельзя сказать, что и Блок не уважал Гумилёва. В марте он дарит ему сборник «Стихотворения. Книга третья» с надписью «Дорогому Николаю Степановичу Гумилёву — автору „Костра“, читанного не только днем, когда я „не понимаю“ стихов, но и ночью, когда понимаю». Поэтому вряд ли можно верить утверждениям Всеволода Рождественского, что Александр Александрович к «гумилёвским стихам относился без всякого энтузиазма…».

В это время Николай Степанович много времени уделял организации Союза поэтов. 19 марта на заседание Союза деятелей Художественной литературы он раздал анкету Союза поэтов. 21 марта эту же анкету он принес и раздал на заседании издательства «Всемирная литература». А 24 марта Гумилёв выступал на вечере этого Союза в театре «Гротеск» на Невском проспекте.

30 марта Гумилёв участвовал в чествовании М. Горького во «Всемирной литературе» по случаю его 50-летия. Сохранился групповой портрет писателей с Горьким.

В последний день марта Николай Степанович успел побывать сразу на двух заседаниях — во «Всемирной литературе» и в Союзе деятелей Художественной литературы. На заседании Союза он снова беседовал с Блоком. А во «Всемирке» сказал Мережковскому: «…У вас там в романе Бестужев — штабс-капитан. — Да, да. — Но ведь Бестужев был кавалерист, и штабс-капитанов в кавалерии нету. Он был штаб-ротмистр». По воспоминаниям К. Чуковского, Д. С. Мережковский смутился. Это не была мелочная месть за былое парижское унижение, поэт не был мелочным человеком, но во всем он требовал точности и достоверности: и в стихах, и в прозе. Таковы были принципы мэтра Гумилёва в литературе. И вряд ли можно с ними не согласиться. Он старался говорить о своем несогласии не за глаза, а в лицо. 7 апреля Николай Степанович слушал на заседании во «Всемирной литературе» доклад Блока «Крушение гуманизма», после которого подошел к Александру Александровичу и сказал, что лучше бы он занимался не спорами, а ритмикой стиха. И в этом тоже была правда мэтра — не погрязать в сиюминутных спорах, а вести диалог с Вечностью! Поэтому 11 апреля сам Николай Степанович выступил на

заседании все в той же «Всемирке» не по событиям современной общественной жизни или иным философским догмам, а с предложением издать словарь рифм.

Союз оказался недолговечным. Слишком разные задачи ставили входившие в него писатели. Уже 12 апреля Николай Степанович присутствовал на заседании Союза, на котором о своем выходе заявили А. Блок, М. Горький, Д. Мережковский, Е. Замятин, К. Чуковский и В. Шишков. Окончательно Союз приказал долго жить весной того же года.

Впрочем, в ту пору союзы, клубы и организации образовывались и прекращали свою деятельность не так уж редко. В апреле 1919 года на Английской набережной, 16 открылся клуб общества «Арион», и 24 или 25 апреля Николай Степанович посетил новый клуб и прочел драму «Отравленная туника». В обсуждении драмы приняли участие В. Жирмунский, А. Пиотровский, А. Тихонов. О читке драмы Гумилёва сообщил «Вестник театра» (1919. № 24). Работу над драмой Гумилёв закончил еще в 1918 году, и с тех пор поэту никак не удавалось ее пристроить. 3 июля 1919 года газета «Жизнь искусства» сообщила еще об одной читке пьесы 5 июля во «Всемирной литературе». Драма все еще не была опубликована, и в 1921 году альманах «Дом искусств» в первом номере упомянул ее как ненапечатанную. При жизни поэта пьеса так и не была опубликована[75].

Ахматова считала, что Гумилёв написал «Отравленную тунику» под впечатлением того, что она вышла за него замуж не девушкой. Хотя и признавала, что поэт это делал в своих драмах бессознательно. Действительно, в «Гондле» героиня Лера теряет невинность, а главный герой гибнет. В «Отравленной тунике» Зоя теряет невинность, а трапезундский царь сводит счеты с жизнью. Какие-то сюжеты из личной жизни несомненно присутствуют в драмах поэта, но суть в другом. У большинства пьес Гумилёва есть еще одна интересная особенность: главные действующие лица — поэты. Гондла, сын скальда, выбирает смертельный жребий — играть на заколдованной лютне, — хотя знает, что погибнет. Но сила искусства выше инстинкта самосохранения, поэт мыслит другими категориями, непонятными для простых смертных. И в этом — одна из разгадок причины его возвращения в красную Россию. Он не придает внешним фактам бытия главного, решающего значения. На улице большевики? А ему какое дело до них? Он живет в другом измерении. По мысли Гумилёва, поэт вправе менять эти измерения. Поэтому автор вольно обращается со своими персонажами и их историческими прототипами, меняет времена

и события. Хотя хорошо освоил историю Византийской империи и творчество реального поэта Имр-уль-Кайса. По всей видимости, Гумилёв познакомился с работой А. Е. Крымского «Арабская литература в очерках и образцах», вышедшей в 1911 году в Москве. Возможно, читал и «Тайную историю» византийского историка середины 500-х годов — Прокопия Кесарийского. Интересно, что в официальных трудах историк превозносил императорскую чету, а в «Тайной истории» показал вероломство императора и распутство императрицы. Знал Гумилёв, что Юстиниан не был женат ни на ком до Феодоры и у него не могло быть дочери Зои. И это не единственное отступление от исторической истины. Поэт сознательно нарушает ход исторических событий, так как Трапезунд к описываемому времени уже входил в состав Византийской империи. Но драматург и не претендует на историческую достоверность, он не летописец, а романтик, у него другая задача. И если что-то в его схему не вписывается, то легко им отметается. Главное — Имр-уль-Кайс, поэт и бродячий царь (лишенный отечества, как и Гумилёв, во Франции и в Англии в 1917–1918 годах), достоин уважения, так как он способен, ничего не имея (как и сам Гумилёв), добиться всего только силой своего слова. Это — кредо Николая Степановича! Он всю жизнь верил, что Слово способно творить чудеса, быть высшим достижением и оружием человека. «Отравленная туника» несомненно является вершиной гумилёвского драматургического творчества. И писалась она не случайно как трагедия. И не только любовь к Елене Дебуше стала движущей силой пьесы. Есть в драме вымышленное лицо, которое является прототипом Гумилёва (наряду с образом арабского поэта и бродячего царя, поэт как бы раздваивает свое «я»). Это образ трапезундского царя, влюбленного в Зою и ради нее готового на все:

> И даже ночью стану я с мечом
> Перед дверьми в ее опочивальню.

Есть и вполне конкретные совпадения внешних черт Елены Дебуше и Зои. В стихотворении Елене Дебуше он пишет:

> Девушка с газельими глазами
> Моего любимейшего сна.

И в «Отравленной тунике» бродячий царь и поэт Имр говорит Зое те же слова, и она повторяет их трапезундскому царю:

…а ты мне скажешь,
Что у меня глаза, как у газели.

И трагедия царя трапезундского — это личная трагедия самого Гумилёва, не раз помышлявшего о самоубийстве:

…Потом сказал, что умереть не страшно,
Раз умерли Геракл и Юлий Цезарь,
Раз умерли Мария и Христос,
И вдруг, произнеся Христово имя.
Ступил вперед, за край стены, где воздух
Пронизан был полуденным пыланьем…

Так погиб трапезундский царь. Так погибли юношеская любовь Гумилёва к гимназистке Ане Горенко и ненароком вспыхнувшая любовь прапорщика Гумилёва к Синей звезде в четвертый год мировой войны… Имр наперекор всему пускается в поход в разграбленную страну. А это — уже Гумилёв-поэт, решивший для себя, что родина превыше всего. Критик русского зарубежья М. Кригер подметила одну очень интересную деталь в работе поэта над драмой: «Не случайно, что, написав трагедию, Гумилёв вернулся (может быть, тоже не случайно, что, когда он уезжает из Лондона, его трагедия была написана именно до того места, где Имр пускается в поход — в свою Аравию, где отец его убит, где „раздор… брат на брата, сын на отца“, где он погиб, принеся себя в жертву за то, что он считал высшими проявлениями человеческого духа — за волю, честь и поэзию)…» Как пророчески звучат эти строки, дописываемые или исправленные им в России, где он предрекает Имру смерть от отравленной туники!

В другой пьесе-сказке «Дитя Аллаха» Гафиз-поэт утверждает те же принципы: высшей участи — любви, наслаждений и славы — достоин только подлинный поэт.

Важно отметить одну особенность Гумилёва-драматурга — он тщательно работал над языком каждого персонажа в своей драме, используя все богатство русского словаря. С юмором и подчас с иронией описывает он Лепорелло, американку, ее отца в «Дон Жуане в Египте», использует красочность восточной языковой вязи при оживлении образа Гафиза в сказке «Дитя Аллаха», высоким торжественным стилем заставляет говорить Императора Юстиниана в «Отравленной тунике», варьированием размера строк в «Актеоне» достигает живости диалогов. Для придания в целом «Отравленной тунике» высокого «штиля» Гумилёв следует

заповедям классической трагедии о единстве времени, места и действия.

Более счастливая судьба оказалась у другой пьесы Гумилёва — «Дерево превращений». Сказка написана Гумилёвым для детей и предназначалась для сцены. Управделами Петроградского театрального отдела А. А. Голубев писал заведующей Театральным отделом Народного комиссариата просвещения О. Д. Каменевой 21 октября 1918 года: «Посылаю изготовленный для Москвы экземпляр пьесы для детей Н. С. Гумилёва „Дерево превращений“, предложенный для напечатания в вып. III сборника „Игра“». Но третий сборник так и не вышел, сказка не была опубликована, но все же увидела свет при жизни поэта. 6 февраля 1919 года в «Петроградской правде» (№ 28. С. 4) напечатано объявление: «Сегодня в 6 час. вечера состоится открытие Коммунального детского театра „Студия“. Театр помещается на проспекте Володарского (быв. Литейный), 51. Открывается театр сказкой в трех действиях „Дерево превращений“ Н. С. Гумилёва». Театр был создан в начале года Отделом театров и зрелищ в помещении бывшего Литейного театра. Назывался он Первой театральной студией, при ней — первый в стране детский театр.

6 февраля премьера пьесы-сказки «Дерево превращений» состоялась в детском театре «Студия» (постановка режиссера К. К. Тверского, художник-оформитель В. М. Ходасевич, музыка Ю. А. Шапорина) и прошла успешно[76].

Гумилёв не только приспособил сказку к детскому восприятию, он написал ее так, что читать и смотреть ее могли как взрослые, так и дети. Ведь о кармических превращениях уже в то время знали просвещенные и образованные люди. В России были переведены до 1917 года труды по этой тематике известного философа-мистика Рудольфа Штейнера. И если прочесть сказку под углом зрения происходящих в стране событий, то все сатанинские козни приобретают вполне документальную основу дальнейших превращений в жизни России после 1917 года. Очень легко в судье-змее, казнящем Факира за то, что он дал героям пьесы человеческое обличье, угадывается не кто иной, как сам Ленин. А Факир, отправляющийся на небеса и ставший ангелом, — это Государь Император, казненный этими зверями в 1918 году. Может быть, кто-то в Наркомпросе догадался о втором, тайном смысле этой сказки, и она не увидела свет[77].

С 11 февраля 1919 года «Дерево превращений» Н. Гумилёва стояло в репертуаре театра, и представления шли регулярно по вторникам, четвергам и субботам весь февраль и в начале марта. Об успехе постановки сообщала 12 февраля газета

«Петроградская правда».

3 марта 1919 года на большом художественном совете в Отделе театров и зрелищ Максим Горький прочел доклад «История культуры в картинах», и после этого в марте-апреле была создана специальная комиссия под руководством Горького по составлению программы инсценировок. В нее вошел и Н. С. Гумилёв вместе с А. А. Блоком, К. И. Чуковским, А. Н. Тихоновым, Е. Н. Замятиным, С. Ф. Ольденбургом, режиссером К. А. Марджановым и М. Ф. Андреевой.

Как я уже писал, лето 1919 года Николай Степанович провел в работе. В июне он прочел три лекции о поэзии А. Блока в Институте истории искусств. 4 июля прочел четвертую последнюю лекцию об Александре Блоке в Институте искусств графа Зубова. Пришел послушать ее сам Блок.

5 июля Чуковский записывает в дневнике: «Вчера в Институте Зубова Гумилёв читал о Блоке… Я уговорил Блока пойти. Блок думал, что будет бездна народу, за спинами к-рого можно спрятаться, и пошел. Оказались девицы, сидящие полукругом. Нас угостили супом и хлебом. Гумилёв читал о „Двенадцати“ — вздор — девицы записывали. Блок слушал, как каменный. Было очень жарко. Я смотрел: его лицо и потное было величественно — Гёте и Данте. Когда кончилось, он сказал очень значительно, с паузами: мне тоже не нравится конец „Двенадцати“. Но он цельный, не приклеенный. Он с поэмой одно целое. Помню, когда я кончил, я задумался: почему же Христос? И тогда же записал у себя: „К сожалению, Христос. К сожалению, именно Христос“».

В июньско-июльском номере харьковского журнала «Творчество» было опубликовано стихотворение Гумилёва «Дагомея».

5 июля вечером Николай Степанович побывал на десятилетнем юбилее свадьбы брата Дмитрия Гумилёва. В июле же поэт ездил читать лекции в Институте живого слова в Царское Село. Оно носило теперь новое название — Детское. Исчезли с улиц царские гусары, умерли древние легенды, всюду бросались в глаза грязь и разорение. Поэт с болью в сердце смотрел на свое убиваемое детство. Николай Оцуп вспоминал в статье для парижской газеты «Последние новости»

26 августа 1926 года: «…Мы встречались каждый день и ездили вместе в бывшее Царское… Гумилёв читать лекции в Институте Живого Слова, проводившем там летние каникулы, я проведать мать. С ней и Гумилёв подружился. Ей написал он свой последний экспромт (о Царском Селе). Этот экспромт в одном из зарубежных журналов был моей матерью опубликован». Экспромт тоже был вызовом новой власти:

Не Царское Село — к несчастью,
А Детское Село — ей-ей!
Что ж лучше: жить царей под властью
Иль быть забавой злых детей?

(1919)

Летом Николай Степанович все еще преподавал в студии пролеткульта и в 1-й культурно-просветительской коммуне милиционеров. На Невском проспекте открылся поэтический кружок «Звучащая раковина», и Гумилёва пригласили молодые поэты его возглавить. Вечный романтик любил молодежь и отдавал ей очень много времени в последние годы своей жизни. Один из молодых поэтов Лев Лунц в статье, подготовленной для второго номера газеты «Ирида» (так и не вышедшего), писал о Гумилёве: «Этот большой поэт и замечательный учитель оказал громадное влияние на всю петербургскую молодежь. Он не был узким фанатиком, каким его любили выставлять представители других поэтических течений. Он, как никто, вытравлял из ученика все пошлое, но никогда не навязывал ему свою волю». Критик Андрей Левинсон тоже отмечал заслуги Гумилёва-учителя: «…В Красном Петрограде стал он наставником целого поколения…» После гибели поэта один из молодых кружковцев Соломон Познер писал в парижских «Последних новостях»

9 сентября 1921 года о Гумилёве: «Он большевиком никогда не был; отрицал коммунизм и горевал об участи родины, попавшей в обезьяньи лапы кремлевских правителей. Но нигде и никогда публично против них не выступал. Не потому, что боялся рисковать собой — это выходило за круг его интересов. Это была бы политика, а политика и он, поэт Гумилёв, — две полярности… Он жил литературой, поэзией. Жил сам и старался приобщить к ним других. Он был инициатором и главным руководителем. В жестокой, звериной обстановке советского быта это был светлый оазис, где молодежь, не погрязшая еще в безделье и спекуляции, находила отклики на эстетические запросы… он умел внушить молодежи любовь к поэзии, развивать в ней вкус и понимание художественных красот. И молодежь его уважала, ценила его советы, и не один из молодых поэтов развился, благодаря его указаниям…» У Гумилёва была своя «политика». Подарив Блоку «Костер», поэт нашел 34-ю страницу с «Канцоной третьей» («Как тихо стало в природе…») и сказал ему: «Тут вся моя политика». В чем же эта политика? Да все в том же, что поэты-друиды должны учить народы, как им жить:

Земля забудет обиды

Всех воинов, всех купцов,
И будут, как встарь, друиды
Учить с зеленых холмов.

И будут, как встарь, поэты
Вести сердца к высоте,
Как ангел водит кометы
К неведомой им мете.

(1917— весна 1918)

Лето 1919 года стало для Николая Степановича не только рабочим, он кроме многочисленных переводов, редактирований чужих переводных произведений снова начал писать стихи. В 1919 году поэт написал семнадцать стихотворений. Причем три можно посчитать поэтической разминкой: «Не Царское Село — к несчастью…», «Левин, Левин, ты суров…» и «Ответ» («Чуковский, ты не прав, обрушась на поленья…»). Остается четырнадцать стихотворений, причем двенадцать из них Николай Степанович написал летом до 31 августа.

Что же написал поэт после столь длительного перерыва летом 1919 года? Это стихотворения «Евангелическая церковь», «Мой час», «Канцона» («Закричал громогласно…»), «Естество», «Душа и тело», «Слово», «Лес», «Персидская миниатюра», «С тобой мы связаны одною цепью…», «Ветла чернела. На вершине…», «От всех заклятий Трисмегиста…», «Подражание персидскому…». Несомненно, «Слово» — это шедевр не только русской — мировой литературы. О нем написано много. Но каждое новое поколение будет переосмысливать его по-своему. Лев Лунц писал в «Книжном углу» (1922. № 8): «Четкость слов создает местами афоризмы, не ходульные, а настоящие благородные афоризмы». Впервые «Слово» появилось в альманахе Цеха поэтов «Дракон» в 1921 году. Потом было переведено на английский и чешский языки. Конечно, как истинное произведение искусства оно многогранно сверкает, как алмаз, многими смыслами. Кто-то усмотрел в нем борьбу дьявола и Бога, кто-то углядел развитие масонских идей. Но не нужно при всем великолепии этого стихотворения забывать, когда и где оно написано — до 31 августа 1919 года в красном Петрограде. И главное кем написано — поэтом-монархистом. Теперь прочтем его под этим углом зрения. Бог сотворил мир своим Словом. Но мир заповедей Христовых рухнул, и в нем правит красный дьявол:

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда

Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

(«Слово», 1919)

Новое слово окрашено не Христовой любовью, а злобой и кровью сатанинской, потому:

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

Нарушена связь между Богом и Словом. А в Библии сказано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога». Теперь жизнь, данная Богом и освещенная им, превратилась в низкую и страшную явь:

А для низкой жизни были числа,
Как домашний подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.

Затмение в умах не позволяет достучаться в сердца человеческие. Добро стало злом, зло представляется добром (мнимым добром, волком в овечьей шкуре), оскверняются храмы, святые отцы подвергаются гонениям, царит безбожие, называемое атеизмом, миром правит число дьявола:

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Кто же этот патриарх, который не решается обратиться к звуку, то есть Слову, иными словами, к заповедям Божьим? Да это и есть красный дьявол (для поэта это был цареубийца Ленин), который и чертил число «666». Поэт напоминает об этом, так как люди по наущению дьявола стали глухи и слепы к истинному добру:

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,

И в Евангельи от Иоанна
Сказано, что слово — это Бог.

По наущению дьявола люди стали безбожниками и ограничили свою жизнь скотским существованием, опустились до уровня червя, корма для червя, совершенно забыв о бессмертной душе, завороженно слушая мертвые числа, мертвые слова, потому что предпочли Божьей жизни скотское бытие живота:

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Поэтому поэт обращается к Божьему Слову, он пишет почти биографически точно о своем возвращении в «красный ад»:

Тот дом был красная, слепая,
Остроконечная стена.

(«Евангелическая церковь», 1919)

То есть красная страна. Тут, думается, не случайно слово «стена» рифмуется тайно со словом «страна». И вот в этот незнакомый мир красной страны:

Я дверь толкнул. Мне ясно было,
Здесь не откажут пришлецу.

Куда плывет страна — «…по бурным водам / С надежным кормчим у руля»? Поэт знает, что вопрос риторический, поэтому и читает внизу «некто строгий» не Библию, а «книгу Бытия». И это бытие страшно, оно ведет в пропасть:

Когда я вышел, увивали
Мои глаза, что мир стал нем.
Предметы мира убегали,
Их будто не было совсем.

Отчего же «Евангелической церковью» назвал поэт разор, творящийся у него в родном доме? Нужно вспомнить Достоевского. Он ведь не старушку-процентщицу убил руками

Раскольникова, а западные идеи социализма. Гумилёв, глубоко верующий и православный человек, видит в происходящих событиях чужеродность и чуждую церковь (здесь церковь как миропорядок), захватившую его православную страну.

В «Канцоне» («Закричал громогласно…») поэт открыто говорит:

На дворе моем красный
И пернатый огонь.

(1919)

Одно из самых глубоких по смыслу стихотворений поэта «Душа и тело» (1919) Ахматова считала лучшим в книге стихов «Огненный столп» (1921). Оно триедино (так как и православие построено на триединстве: Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух), поэтому Гумилёв пишет три символические части: Душа, Тело и Высший суд над ними. Душа поэта скорбит:

«И если что еще меня роднит
С былым, мерцающим в планетном хоре,
То это горе, мой надежный шит.
Холодное презрительное горе».

Тело готово платить за все свои желания и грехи:

Непоправимой гибелью последней.

А сам поэт ставит свой Дух — над ними, и этот Дух из вечности оценивает и Тело, и Душу:

«…Я тот, кто спит, и кроет глубина
Его невыразимое прозванье,
А вы, вы только слабый отсвет сна,
Бегущего на дне его сознанья!»

Такому суду подвластен только истинный любимец Бога — поэт, каковым Гумилёв считал и себя.

В любовном стихотворении «Лес» (1919) поэт грезит об ушедшей России:

Это было, это было в той стране,
О которой не загрезишь и во сне.

Образ леса приобретает черты ушедшей России, куда и собираются уйти после земной жизни поэт со своей возлюбленной:

Или, может быть, когда умрем,
Мы в тот лес направимся вдвоем.

Вообще стихотворениям, написанным до 31 августа 1919 года, свойственно мистическое отражение происходящих событий внешнего мира. Переосмысливая своего любимого поэта Федора Тютчева (стихотворение «День и ночь» — «…Покров наброшен златотканый / Высокой волею богов…»), Гумилёв в стихотворении «Естество» (1919) провозглашает:

Я не печалюсь, что с природы
Покров, ее скрывавший, снят,
Что древний лес, седые воды
Не кроют фавнов и наяд.

Мистику бытия способны понять только поэты, им подвластен язык таинственных и неразгаданных сфинксов:

Поэт, лишь ты единый в силе
Постичь ужасный тот язык,
Которым сфинксы говорили
В кругу драконовых владык.

О любви поэт говорит уже как большой мастер подлинно сияющими словами:

Я целовал пыланья лета —
Тень трав на розовых щеках,
Благоуханный праздник света
На бронзовых твоих кудрях.

И ты казалась мне желанной,
Как небывалая страна,
Какой-то край обетованный
Восторгов, песен и вина.

(«Ветла чернела. На вершине…», 1919)

В двух стихотворениях, написанных по персидским мотивам, Гумилёв отдает дань своему парижскому (1917 года) увлечению восточным искусством. Но и тут дух смерти прорывается в одно из стихотворений («Персидская миниатюра»):

Когда я кончу наконец
Игру в cache-cache[78] со смертью хмурой,
То сделает меня Творец
Персидскою миниатюрой.

(1919)

Судя по этому стихотворению, поэт прекрасно понимает, что уже не живет, а играет в прятки с собственной смертью.

Мотив стремительно уходящей жизни пронзительно звучит еще в одном стихотворении этого периода «Мой час» (1919):

Чужая жизнь, на что она?
Свою я выпью ли до дна?
Пойму ль всей волею моей
Единый из земных стеблей?
Вы, спящие вокруг меня,
Вы, не встречающие дня,
За то, что пощадил я вас
И одиноко сжег свой час,
Оставьте завтрашнюю тьму
Мне также встретить одному.

В конце августа Николай Степанович составил альбом новых стихотворений, куда включил «Евангелическую церковь», «Мой час», «Канцону», «Естество», «Душу и тело», «Слово», «Лес», «Персидскую миниатюру». На последней странице альбома поэт написал: «Бракуйте осторожно: помните, что бракующий выносит приговор не бракуемому, а самому себе. Однако бракуйте все сие: если вы не вынесете себе приговора, приговор мира по отношению к вам будет суров. 31 авг. 1919».

В один из последних дней лета, 26 августа, Гумилёв встретился с Александром Блоком во «Всемирной литературе», а 29 августа там же тот подарил ему свою книгу «Песня судьбы» с надписью: «Дорогому Николаю Степановичу Гумилёву с искренним приветом от автора». Это была вторая книга Блока, подаренная им Гумилёву в августе. Таковы были отношения двух поэтов-соперников в жизни. Они умели с достоинством

относиться друг к другу, несмотря на полное расхождение во взглядах на литературу.

В конце августа при Народном комиссариате просвещения по инициативе М. Горького была создана Секция исторических картин с целью отобразить в образах историю человечества в цикле пьес для театра и сценариев для кинематографа (их называли картинами). Н. Гумилёва включили в состав коллегии. 20 сентября Горький делает доклад о картинах для театров и кинематографа. А в октябре Гумилёв предложил свою «Гондлу» для Секции и начал писать пьесу в двух действиях «Охота на носорога». Внешне все благоприятно складывалось для поэта. 4 ноября на заседании «Всемирной литературы» обсуждался вопрос о поиске художника для оформления «Гондлы» в присутствии М. Горького. Казалось бы, «Гондла» должна была появиться в ближайшее время на сцене, но на несколько дней Гумилёв отлучился, и 11 ноября на очередном заседании Секции исторических картин недоброжелателями поэта «Гондла» была отвергнута. Гумилёв в это время находился, по всей видимости, в Бежецке. Устроители закулисных игр прекрасно знали, что самолюбие поэта не позволит ему опуститься до выяснения причин.

Перед отъездом 7 ноября Николай Степанович пригласил к себе в гости Корнея Чуковского. Корней Иванович записал в дневнике: «Был у Гумилёва. Гумилёв очень любит звать к себе на обед, на чай, но не потому, что он хочет угостить, а потому, что ему нравится торжественность трапезования: он сажает гостя на почетное место, церемонно ухаживает за его женой, все чинно и благолепно, а тарелки могут быть хоть пустые. Он любит во всем истовость, форму, порядок. Это в нем очень мило. Мы мечтали с ним о том, как бы уехать на Майорку. „Ведь от Майорки всюду близко — рукой подать, — говорил он. — И Австралия, и Южная Америка, и Испания!“»

Одоевцева в своих воспоминаниях («На берегах Невы») писала, будто бы они вместе с Гумилёвым на праздник второй годовщины Октября отправились в город, вырядившись под англичан, и шли по улице, разговаривая по-английски, чем перепугали своих друзей. И будто бы Гумилёв на упреки Лозинского в неосторожности ответил ему: «А мне необходимо vivre dange-reusemenf[79]. Оттого мне вчера и весело было, что все-таки чуточку опасно — в этом ты прав. Без опасности и риска для меня ни веселья, ни даже жизни нет. Но тебе этого не понять…»

И в красном Петрограде поэт, лишенный возможности

зарабатывать на достаточное пропитание своей семье, мечтал о путешествиях. А как в ту пору жили петроградцы, можно понять, прочитав дневниковую запись Чуковского от 11 ноября, посвященную заседанию во «Всемирной литературе», в которой он процитировал слова М. Горького, самого пролетарского писателя: «Да, да! Нужно, черт возьми, чтобы они либо кормили, либо — отпустили за границу. Раз они так немощны, что ни согреть, ни накормить не в силах. Ведь вот сейчас — оказывается, в тюрьме лучше, чем на воле: я сейчас хлопотал о сидящих на Шпалерной, их выпустили, а они не хотят уходить: и теплее, и сытнее!..»

Гумилёв привез самые необходимые продукты из Бежецка, видимо, купил там или выменял на что-то, и пришел 17 ноября поделиться с Чуковским, так как у того была большая семья. В подарок он принес ему полфунта крупы. Пожаловался, что приходится дома рубить шкаф на дрова. Чуковский выручил Николая Степановича — дал ему взаймы тридцать шесть поленьев дров. Этим же голодным и холодным вечером Гумилёв слушал доклад В. Жирмунского о «Поэтике» В. Шкловского.

Чуковский все же помог Гумилёву добыть дров через своих знакомых. А 20 ноября поэт написал экспромт заведующему хозяйственно-техническим отделом «Всемирной литературы» Давиду Самойловичу Левину, который в ту трудную пору какими-то правдами и неправдами доставал дрова некоторым избранным сотрудникам «Всемирки»:

Левин, Левин, ты суров,
Мы без дров,
Ты ж высчитываешь триста
Мерзких ленинских рублей
С каталей
Виртуозней даже Листа…

Левин завел альбом, чтобы они записывали ему за это свои экспромты.

Поэтов в шутливом послании 22 ноября высмеял Чуковский:

Мое гражданское негодование
При чтении стихов
Ал. Блока и Н. Гумилёва,
Посвященных дровянику
Давиду Самойловичу Левину…

Но во всей этой «дровяной» эпопее поражает смелость, с которой поэт написал в экспромте «мерзких ленинских рублей…». Наверняка в ЧК узнали об этих словах поэта. Ведь все эти «дровяных дел мастера» (я не имею в виду в данном случае кого-то конкретно) приставлялись к творческой интеллигенции в виде негласных соглядатаев ЧК.

В ноябре в издательстве «Всемирная литература» шло живое обсуждение планов издания ста лучших русских писателей XIX века. 18 ноября Николай Степанович участвовал в обсуждении этого плана. 24 ноября Гумилёв, Блок и Чуковский предоставили каждый свою программу «100 лучших русских классиков». Конечно, совместить их все было просто невозможно. После заседания Чуковский, Гумилёв, Блок, Замятин и Н. Лернер отправились к машинисткам и там продолжили спор о ста лучших русских писателях. Чуковский записывает в дневнике: «Мы спорили долго, Гумилёв говорил по поводу моей: это провинциальный музей, где есть папироса, которую курил Толстой, а самого Толстого нет. Я издевался над гумилёвской, но в глубине души уважал его очень: цельный человек. Вообще все заседание носило характер гумилёвской чистоты и наивности…»

26 ноября на заседании в Доме искусств снова зашла речь об издании классиков. Чуковский заносит в дневник 27 ноября слова Блока: «Гумилёв хочет дать только хорошее, абсолютное. Тогда нужно дать Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского». И хронику спора с Гумилёвым: «Третьего дня заседание во „Всемирной“… Потом я, Блок, Гумилёв, Замятин, Лернер… начинаем обсуждать программу ста лучших писателей. Гумилёв представил импрессионистскую: включил Дениса Давыдова (потому что гусар) и нет Никитина. Замятин примкнул к Гумилёву… Мы спорили долго».

Таким «жарким» выдался холодный ноябрь 1919 года, насыщенный радужными планами, многим из которых не суждено было сбыться.

В декабре Николай Степанович отстаивал свои взгляды на поэзию в спорах с Ивановым-Разумником и Александром Блоком. 2 декабря на заседании «Всемирной литературы» читал свою программу издания русских писателей Иванов-Разумник, назвав в выступлении акмеистов бывшими. Такого Николай Степанович допустить не мог. Он тут же вскипел: «Нет, мы не бывшие, мы…» Чем бы закончился загорающийся спор, неизвестно, но вовремя вмешался Чуковский.

А еще через два дня на заседании во «Всемирной литературе» разгорелся спор Н. Гумилёва с А. Блоком о символизме и акмеизме. Чуковский, оказавшийся случайным свидетелем этого

спора, записал 7 декабря в своем дневнике: «…Блок и Гумилёв в зале заседаний, сидя друг против друга, внезапно заспорили о символизме и акмеизме. Очень умно и глубоко. Я любовался обоими. Гумилёв: символисты в большинстве аферисты. Специалисты по прозрениям в нездешнее. Взяли гирю, написали 10 пудов, но выдолбили всю середину, и вот швыряют гирю и так и сяк. А она пустая. Блок осторожно: „Но ведь это делают все последователи и подражатели — во всех течениях. Но вообще — вы как-то не так: то, что вы говорите — для меня не русское. Это можно очень хорошо сказать по-французски. Вы как-то слишком литератор. Я — на все смотрю сквозь политику, общественность“». В последнем и было главное отличие Блока от Гумилёва в 1919 году. Гумилёв остался на позициях того, что искусство выше политики; а Блок, в теории, опустил его до уровня партийной литературы, что привело, на мой взгляд, в XX веке к трагедии всю русскую культуру.

В 1919 году Николай Степанович читал лекции не только в Институте живого слова, но и начал преподавать в студии Дома искусств — читал лекции по драматургии. Официально открытие лекций состоялось 10 декабря. 19 декабря Гумилёв вошел в совет Дома искусств по литературному отделу. В этот день Гумилёв читал свои стихи. Художник Константин Сомов записал в дневнике: «Вечером ходил в Дом искусств на первый вечер. Я избран туда членом. Пышное помещение (Елисеева). Свет и тепло. Довольно много народу, литераторы, художники. Чуковский читал стишки разных знаменитостей… Потом Гумилёв читал цикл стихов „Персидские миниатюры“…»

Читал лекции Гумилёв в 1919 году в студии Балтфлота, в студии переводов при «Всемирной литературе». Видимо, практика преподавания толкнула его на путь работы по теории поэзии.

29 декабря состоялся первый литературный вечер в Доме искусств. На вечере выступил и Н. Гумилёв, вместе с А. Блоком, М. Кузминым, Г. Ивановым, Н. Оцупом, В. Рождественским, В. Пястом. А в ночь с 29-го на 30-е после вечера Гумилёв вместе с Оцупом отправился к его другу инженеру А. В. Крестину, который не был богат, но разыгрывал мецената и, узнав о том, что Гумилёв остро нуждается в деньгах, подписал с ним бумагу, по которой тот получал тридцать тысяч рублей. Н. Оцуп вспоминает об этой ночи: «Мы веселились, пили, ночью нельзя было выходить, мы вышли уже под утро. Когда мы направлялись к мосту, неожиданно за нами, несмотря на очень ранний час, загремел трамвай. Я должен был провожать даму, Гумилёв пустился бежать: „Как я вскочил на его подножку, / Было загадкою для меня…“ <…> На следующий день Гумилёв читал

мне „Заблудившийся трамвай“».

Аналогичные воспоминания оставила другая ученица Гумилёва — Ирина Одоевцева, которая утверждала, что якобы Гумилёв ей признавался: «Поздравить вы меня можете с совершенно необычайными стихами, которые я сочинил, возвращаясь домой… Я шел по мосту через Неву — заря и никого кругом. Пусто. Только вороны каркают. И вдруг мимо меня совсем близко пролетел трамвай. Искры трамвая, как огненная дорожка на розовой заре. Я остановился. Меня что-то вдруг пронзило, осенило. Ветер подул мне в лицо, и я как будто что-то вспомнил, что было давно, и в то же время как будто увидел то, что будет потом. Но все так смутно и томительно. Я оглянулся, не понимая, где я и что со мной. Я постоял на мосту, держась за перила, потом медленно двинулся дальше, домой. И тут что-то случилось. Я сразу нашел первую строфу, как будто получил ее готовой, а не сам сочинил».

Так родился еще один шедевр гумилёвской поэзии — стихотворение «Заблудившийся трамвай». О нем тоже написаны многочисленные исследования. Г. Струве в «Новом журнале» (1947 год) утверждал, что это «самое таинственное, самое визионерское, самое потустороннее и символическое стихотворение Гумилёва». Несомненно, при всей его многогранности это стихотворение о жизни и смерти самого поэта, в строках его сквозят беспредельная безысходность, ощущение приближающейся гибели:

Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет.
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.

Оттого поэт и собирается отслужить по себе панихиду. Всевышний вложил в его душу ощущение надвигающейся гибели, но он не внял предупреждению и остался в России. Замечу, что в этот период (до 5 октября) Гумилёв написал стихотворение «Если плохо мужикам…», в котором прямо обращался к народу, забывшему о труде и истребляющему себя в братоубийственной Гражданской войне. Увы, Гумилёва не услышали — стихотворение при его жизни опубликовано не было.

В самом конце декабря поэт организовал литературный вечер на фабрике изготовления государственных знаков, расположенной на Фонтанке. Почему поэту необходимо было выступать перед людьми, многие из которых его не понимали? Потому, что он надеялся, что Слово осветит помутневшие от

вражды русские души, и они, отвернувшись от дьявола, обратятся снова к Богу. Но нет пророка в своем отечестве!

О том, какая обстановка царила в Питере зимой 1919/20 года, писала Ирина Одоевцева: «Очень холодная, очень голодная, очень черная зима… <…> С наступлением сумерек грабили всюду… Проходя мимо церкви, Гумилёв всегда останавливался, снимал свою оленью ушастую шапку и истово осенял себя широким крестным знамением, „на страх врагам“. Именно „осенял себя крестным знамением“, а не просто крестился… Чтобы в те дни решиться так резко подчеркивать свою приверженность к гонимому „культу“, надо было обладать гражданским мужеством. Гражданского мужества у Гумилёва было больше, чем требуется. Не меньше чем легкомыслия. Однажды на вечере поэзии у балтфлотцев, читая свои африканские стихи, он особенно громко и отчетливо проскандировал:

> Я бельгийский ему подарил пистолет
> И портрет моего Государя.

По залу прокатился протестующий ропот. Несколько матросов вскочило. Гумилёв продолжал читать спокойно и громко, будто не замечая, не удостаивая вниманием возмущенных слушателей. Кончив стихотворение, он скрестил руки на груди и спокойно обвел зал своими косыми глазами, ожидая аплодисментов. Гумилёв ждал и смотрел на матросов, матросы смотрели на него. И аплодисменты вдруг прорвались, загремели, загрохотали. Всем стало ясно: Гумилёв победил. Так ему здесь еще никогда не аплодировали. — А была минута, мне даже страшно стало, — рассказывал он, возвращаясь со мной с вечера. — Ведь мог же какой-нибудь товарищ-матрос, „краса и гордость красного флота“, вынуть свой небельгийский пистолет и пальнуть в меня, как палил в „портрет моего Государя“. И, заметьте, без всяких для себя неприятных последствий. В революционном порыве, так сказать. — Я сидела в первом ряду между двумя балтфлотцами. И так испугалась, что у меня, несмотря на жару в зале, похолодели ноги и руки. Но я не думала, что и Гумилёву было страшно. — И даже очень страшно, — подтвердил Гумилёв. — А как же иначе? Только болван не видит опасности и не боится ее. Храбрость и бесстрашие не синонимы. Нельзя не бояться того, что страшно. Но необходимо уметь преодолеть страх, а главное, не показывать вида, что боишься. Этим я сегодня и подчинил их себе. И до чего приятно. Будто я в Африке на львов поохотился. Давно я так

легко и приятно не чувствовал себя. — Да, Гумилёв был доволен. Но по городу пополз, как дым, прибитый ветром „слух“ о „контрреволюционном выступлении Гумилёва“. Встречаясь на улице, два гражданина из „недорезанных“ шептали друг другу, пугливо оглядываясь: — Слыхали? Гумилёв-то! Так и заявил матросне с эстрады: „Я монархист, верен своему Государю и ношу на сердце его портрет“. Какой молодец, хоть и поэт! Слух этот, возможно, дошел и до ушей, совсем не предназначавшихся для них. Вывод: Гумилёв монархист и активный контрреволюционер, — был, возможно, сделан задолго до ареста Гумилёва».

1920 год для поэта начался, как всегда, с работы. Если 1 января он трудился над переводами, то 2-го отправился на вечер в Дом искусств. Именно в это время Гумилёв уже открыто высказывал мысли о том, что именно поэты возглавят в будущем правительства на земле. Художник Константин Сомов в дневнике отметил 2 января 1920 года: «…работал очень удачно… Вечером с Анютой и детьми во „Дворце искусств“. Сначала доклад Н. Гумилёва на тему о том, что поэты и прочие артисты должны в будущем делать жизнь, участвовать в правительствах, об „акмеизме“. Неудачно и невероятно отвечали ему Чуковский, В. Жирмунский и нахал Шкловский…»

В январе Гумилёв по заказу «Всемирной литературы» закончил работу еще над одной пьесой. «Охота на носорога» должна была попасть в цикл пьес и сценариев «История культуры в инсценировках для театра и картинах для кинематографа».

Однако и в 1921 году пьеса числилась в неопубликованных, о чем сообщалось в первом номере «Дома искусств». Сам по себе сюжет пьесы прост: первобытное племя охотится на носорога и, окутанное суевериями, кидает на съедение зверю молодую девушку, возлюбленную главного героя, который убивает старуху, подтолкнувшую охотников к убийству девушки. Если вернуться к рассказу Гумилёва «Гибели обреченные» (где тоже встречается имяТремограст), то «Охоту на носорога» можно считать дальнейшим развитием его юношеских фантазий. Но это сходство только внешнее. Гумилёв погружается в доисторические времена, но обличает все те пороки, которые разъедали современное ему общество. Он поднимает философский вопрос: можно ли насильственно сделать человека счастливым?

«Охота на носорога» написана ясным языком, что при постановке на сцене дает возможность создавать яркие и зримые образы[80].

В январе Николай Степанович выступил с чтением своих стихов на первом вечере современной поэзии в Доме искусств, где

также читали свои стихи А. Блок, М. Кузмин, Г. Иванов, В. Рождественский, Н; Оцуп. Здесь Николай Степанович встретился с бывшей женой. Нельзя сказать, чтобы он ее вообще не видел в последние годы, но встречи были случайными. Правда, весной 1919 года он водил к ней на свидание Льва, так как Анна Андреевна судьбой сына всегда интересовалась мало.

Он старался помогать молодым талантам. В начале 1920 года поэт писал Валерию Брюсову: «Я крайне рад случаю опять (как встарь) написать Вам… Помня Вашу всегдашнюю доброту ко мне, я осмеливаюсь рекомендовать Вам двух моих приятелей, Николая Авдеевича Оцупа и Михаила Леонидовича Слонимского, молодых писателей, которые принадлежат к петербургской группе…»

16 января Николай Степанович на заседании Секции исторических картин при «Всемирной литературе» прочитал еще одну свою пьесу «Жизнь Будды», написанную им совместно с С. Ольденбургом.

В январе Гумилёв случайно встретился с Ахматовой еще раз в Доме искусств. Анна Андреевна пришла получать деньги, а Гумилёв был на очередном заседании. Ахматова обратилась к нему на «вы» как к чужому. Это обидело Николая Степановича. «Отойдем…» — сказал он ей. И между бывшими супругами, которых все еще соединял общий сын, состоялся тяжелый разговор. Ахматова, тронутая таким вниманием, призналась, что была настроена по отношению к нему не очень дружелюбно.

5 февраля 1920 года открылась литературная студия при культурно-просветительском отделе Балтфлота, и Гумилёва пригласили туда читать лекции по теории поэзии. Николай Степанович не отказался.

В феврале во «Всемирной литературе» вновь вернулись к обсуждению планов издания классиков. 8 февраля Николай Степанович отправился на квартиру М. Горького, где они обсуждали вместе с хозяином, З. Гржебиным, Е. Замятиным, Н. Лернером и К. Чуковским издательский план. На следующий день Николай Степанович участвовал в аналогичном совещании в издательстве Гржебина. А 14 февраля отправился в гости к Корнею Чуковскому, с которым у него отношения из чисто деловых все более и более перерастали в дружеские.

Вся неделя теперь у Николая Степановича была расписана по дням: в понедельник он читал лекции в студии Балтфлота, во вторник заседал во «Всемирной литературе», в среду вел лекции в Пролеткульте, в четверг занимался со студийцами Дома искусств, в пятницу присутствовал на заседаниях во «Всемирной литературе» и на Секции исторических картин, вел лекции в Доме искусств.

Весной 1920 года к заботам Николая Степановича добавилась еще одна. Он стал заниматься организацией Петроградского отделения Всероссийского Союза писателей. 1 марта Гумилёв побывал в Доме искусств на вечере Андрея Белого. А на следующий день он отправился на заседание Секции исторических картин, где состоялся доклад о деятельности секции за период с 26 августа 1919 года по 1 марта 1920 года. В отчете сказано, что Гумилёв закончил двухактную пьесу «Фальстаф» по историческим материалам Вильяма Шекспира и пьесу из ирландской жизни «Красота Морни». Николаю Степановичу заказали пьесу «Завоевание Мексики».

3 марта Гумилёв принимал участие в заседании издательства З. Гржебина, где Николая Степановича критиковали за неточное редактирование тома произведений А. К. Толстого. Чуковский вспоминал потом, что Гумилёв согласился с критикой и с тем, что он плохой прозаик, но добавил, что «в тысячу раз лучше» пишет стихи, чем Чуковский. Корней Иванович не обиделся.

Видимо, после этих событий Николай Степанович и отправился в Бежецк навестить родных, где пробыл предположительно до 15 марта, так как именно в этот день появился на вечере поэтов в Доме искусств.

19 марта Н. Гумилёв опять пришел на заседание в издательство Гржебина. Между присутствовавшими на заседании Блоком и Горьким возник спор о Лермонтове. Н. Гумилёв в это время все еще редактировал книгу А. К. Толстого, за что ему опять досталось. Горький насчитал до сорока ошибок, допущенных Гумилёвым-редактором. Однако за редактирование книги Николай Степанович получил гонорар в размере двадцати тысяч рублей, и его нужно было отрабатывать.

В это же время Гумилёв собирал материалы для нового альманаха «Дракон». 26 марта на очередном заседании «Всемирной литературы» Блок передал ему для публикации два своих стихотворения.

Одновременно с редакторской и переводческой деятельностью Николай Степанович готовил свой творческий вечер, своеобразный отчет перед читателями и товарищами по литературному ремеслу. Вечер состоялся в Доме искусств 10 апреля. Гумилёв читал драму «Гондла» и новые стихотворения, вошедшие позже в сборники «Шатер» и «Огненный столп». Публика была самая разнообразная — от профессиональных поэтов до пролеткультовских слушателей. Стихи Гумилёва были встречены тепло, особенно стихотворение «Дамара. Готтентотская космогония». Но были в зале и те, кто отнесся враждебно к творчеству поэта. К. Чуковский в дневнике описал абсурдный

случай, который произошел на этом вечере: «Во время перерыва меня подзывает пролеткультовский поэт Арский (Павел Александрович Афанасьев. — В. П.) и говорит, окруженный другими пролеткультовцами: „Вы заметили?“ — „Что?“ — „Ну… не притворяйтесь… Вы сами понимаете, почему Гумилёву так аплодируют?“ — „Потому что стихи очень хороши. Напишите вы такие стихи, и вам будут аплодировать…“ — „Не притворяйтесь, К. И., аплодируют, потому что там говорится о птице…“ — „О какой птице?..“ — „О белой… Вот! Белая птица. Все и рады… здесь намек на Деникина“. — У меня закружилась голова от такой идиотской глупости, а поэт продолжал: „Там у Гумилёва говорится: ‘портрет моего Государя’“. — „Какого Государя? Что за Государь?..“» Яркий пример того, как уже в 1920 году создавалась атмосфера будущего террора и репрессий.

Тем не менее нужно признать, что скрытый смысл присутствовал во многих стихах Гумилёва, написанных после возвращения его в 1918 году в Россию. Однако не поэтам уровня Арского было под силу его расшифровать. Над смыслом и подтекстом этих стихов до сих пор бьются литературоведы разных стран.

И в то тревожное и голодное время Гумилёв не изменил своим привычкам и старался быть хлебосольным хозяином. Он приглашал к себе в гости приезжавших в Петроград поэтов. В субботу, 30 апреля в пять часов вечера Николай Степанович устроил у себя дома прием приехавшего в Петроград Андрея Белого. Он хотел представить мэтру символизма своих учеников и пригласил Всеволода Рождественского, Николая Оцупа и Ираиду Гейнике (в скором будущем — Ирина Одоевцева). Последняя вспоминала об этом приеме: «Гумилёв за несколько дней сообщил мне, что у него… прием в честь приехавшего из Москвы Андрея Белого. С „поэтическим смотром“ выступят Оцуп, Рождественский и я… Выступать с ними на равных началах мне чрезвычайно лестно. В субботу 30 апреля я прихожу к Гумилёву за полчаса до назначенного срока. Оцуп и Рождественский уже здесь, и оба, как и я, взволнованы. „Смотр“ почему-то происходит не в кабинете, а в прихожей. Перед заколоченной входной дверью три стула — для нас. На пороге столовой — два зеленых кресла — для Гумилёва и Белого. Гумилёв распоряжается как режиссер. Он усаживает меня на средний стул, справа Рождественский, слева Оцуп. — Николай Авдеевич, ты будешь читать первым. Каждый по два стихотворения. Давайте прорепетируем! — И мы репетируем. <…>…Андрей Белый прибыл! — громко объявляет Гумилёв… Гумилёв спешит на кухню с видом царедворца, встречающего коронованную особу. Мы все трое, как по команде,

встаем… — Борис Николаевич, — голос Гумилёва звучит особенно торжественно, — позвольте вам представить двух молодых поэтов… — А это моя ученица. — Без фамилии. Без имени… Гумилёв пододвигает ему кресло. — А теперь, с вашего позволения, Борис Николаевич, начнется чтение стихов… Дирижерский жест Гумилёва в мою сторону. — Теперь вы! Я встаю — мы всегда читали стихи стоя — и сейчас же начинаю… Торжественно-официальный голос Гумилёва: „Еще!“… А. Белый, разбрасывая фонтаном брызги и блески вдохновения, поднимается в доступные ему одному заоблачные выси… Гумилёв совершенно серьезно соглашается……В столовой на столе, покрытом белой скатертью, чашки, вазочки с вареньем, с изюмом, медом, сухариками и ярко начищенный, клокочущий самовар. Полный парад. Обычно Гумилёв пьет чай прямо на пестрой изрезанной клеенке, из помятого алюминиевого чайника. Самовар я у него вижу в первый раз… Белый вскакивает, подбегает к самовару… — Ведь я в Москве… почти голодаю. Нет, не почти, я просто голодаю… — Гумилёв пододвигает Белому изюм. — Да, Борис Николаевич, трудные, очень трудные времена!..» И больше ни слова. Известно, что такое угощение было у Николая Степановича в особых, исключительных случаях. И голодал он ничуть не меньше Белого, а может, и больше. Ведь ему нужно было кормить семью, двоих детей, помогать матери. Но он представляет своих учеников, молодых поэтов, мэтру, и сам он мэтр, а так как Поэзия — его единственная Царица, то и прием в ее честь должен быть царским! Интересно, что именно в это время (22 мая) М. Кузмин записывает в дневнике: «Выбегал на рынок. Ходит Гумми, насчет масла, сам стряпает…»

Наступившее предпоследнее лето в жизни поэта было для него таким же напряженным в работе, как и весна. Правда, в начале его, в июне, ему все же удалось побывать в Первом доме отдыха на правом берегу Невы. Августовский номер «Вестника литературы» сообщил, что там поэт не только отдыхал, но выступал на вечерах и читал свои стихи, делился воспоминаниями об африканских путешествиях, а также работал над «Теорией интегральной поэтики», «Поэмой Начала» и переводом стихов Жана Мореаса.

19 июня в Петроград прибыла поэтесса Надежда Павлович с поручением Валерия Брюсова организовать по примеру Москвы Петроградское отделение Всероссийского профессионального Союза поэтов. Казалось бы, Брюсов, духовный учитель Гумилёва, должен был сделать ставку на своего ученика. Но, увы, этого не произошло. Видимо, сверху поступило указание председателем избрать Александра Блока.

22 июня Николай Степанович встретился с Александром Александровичем — два первых поэта России обсуждали вопрос создания в Петрограде организации Союза поэтов. Видимо, было найдено какое-то компромиссное решение.

25 июня этот вопрос обсуждался во «Всемирке». Решено было, по всей видимости, создать отделение, так как уже 27 июня состоялось первое организационное заседание Союза поэтов в помещении Вольной философской ассоциации на площади Чернышева. На заседание пришли Н. Гумилёв, А. Блок, Н. Павлович, В. Рождественский, М. Лозинский, Н. Оцуп и другие. Большинство собравшихся представляли интересы Блока, поэтому он и был избран председателем. Николая Степановича включили в организационную группу и избрали членом приемной комиссии вместе с А. Блоком, М. Кузминым и М. Лозинским. Вскоре петроградским поэтам разослали приглашения на общее организационное собрание, которое состоялось 4 июля, и на нем утвердили приемную комиссию. В июле при участии Гумилёва Союз поэтов был утвержден как Петроградское отделение Союза поэтов.

6 июля 1920 года в Ростове-на-Дону была поставлена драма «Гондла» в театральной мастерской режиссера А. Б. Надеждова (композитор Н. З. Хейфец, художник А. А. Арапов).

25 октября 1921 года в газете «Жизнь искусства» появилась статья актера П. В. Самойлова «История одного театра», в которой он рассказывал о постановке «Гондлы»: «Революция снова забросила меня в Ростов. И я нашел здесь театр — настоящий театр, выросший из восторженного юношеского коллектива. Ставился „Гондла“ Гумилёва. Странно было видеть в глухом углу России камерное представление высокого стиля, придуманное, отделанное до мелочей. Аудитория — рабочая и красноармейская — сидела, затаив дыхание. Тут не нужно было ни объяснений, ни указательных пальцев, красота побеждала сама собой. Мысль дать самое лучшее самым неподготовленным — была весьма счастливой мыслью. Аристократический цветок ростовского искусства, „Театральная мастерская“, был сделан передвижным районным театром для рабочих. Думаю, что никогда еще ростовский театр не имел более чуткой и менее пошлой публики». А в Петрограде бюрократы тянули и тянули с постановкой пьесы. 18 мая на заседании Секции исторических картин ему предложили снова переработать «Гондлу» и предпослать ей два предисловия: одно самого поэта, а второе — научное — Сыромятникова. 21 июня на заседании Секции исторических картин снова зашла речь о «Гондле», и в протоколе записали: Сыромятникову написать предисловие.

27 июля Гумилёв на заседании Секции исторических картин говорил о пьесе: «…„Гондла“ задумана и написана мною в первой половине 1916 года. В основание ее положен цикл легенд, приводимых Арбуа де Жубанвилем в его „Истории кельтской литературы“, где говорится о горбатом принце Гондле, или Кондле, жившем во втором веке по Рождество Христово в Ирландии, о его несчастьях и отъезде на… Острова Блаженства в таинственной стеклянной ладье. И образ, и история мною очень изменены. Мотив духовных превращений девушки, кроткой ночью и жестокой днем, взят мною из Андерсена, а очень распространенный мотив насильника, проникающего в спальню невесты под видом жениха, — из народной шведской песни „Лаге и Йо“. Замечу еще, что изобретенное мною тайное имя героини Лаик, по указанию профессора А. А. Смирнова, крайне близко к кельтскому слову Лаих, что значит герой… Имя Ахти заимствовано мною из Калевалы, где оно является прозвищем хитреца Лемминкяйнена. И лютня, принесенная „из финской страны“, и наклонность к колдовству, которым славились среди северных народов финны, намекают на то, что это действующее лицо является выходцем из Финляндии… Насколько мне известно, „Гондла“ — первая и единственная пьеса, написанная анапестом. Я совершенно сознательно выбрал этот размер,

потому что, хотя он и лишен многообразия и подвижности двусложных размеров, он стремителен, крепок, певуч, в нем слышатся то грохоты моря, то колокольные звоны, две музыкальные темы пьесы». Ссылаясь на Андерсена, поэт имел в виду его сказку «Дочь болотного короля». Александр Блок прочитал свою статью о «Гондле» Н. Гумилёва.

27 июля прошло заседание Петроградского отделения Союза поэтов. Однако не все устраивало Гумилёва в этом Союзе, видимо, поэтому он и начал готовить почву для воссоздания нового — третьего по счету Цеха поэтов. Поэт готовит своих учеников к публичным выступлениям. 3 августа на литературном утреннике в Доме литераторов он представил Ираиду Гейнике уже как Ирину Одоевцеву, и это было ее первое публичное выступление..

4 августа состоялся первый творческий вечер Союза поэтов в зале Тенишевского училища, где со вступительным словом выступила Лариса Рейснер, а Блок рассказал о создании Союза поэтов, вернее, его Петроградского отделения. И уже 5 августа прошло первое заседание приемной комиссии Союза поэтов, на котором были рассмотрены стихи поэтессы Марии Шкапской.

13 августа поэты собрались на заседание президиума и общее собрание Союза поэтов. Собранию предшествовало появление в Петрограде бывшего синдика Цеха поэтов Сергея Городецкого, который стал «красным» и принялся обличать поэтов в том, что они уходят от созидательной работы и ограничиваются переводами. Появились две его статьи пасквильного содержания. Одна — «Покойнички» — была опубликована 8 августа в «Красной газете», а вторая — «Разложение интеллигенции» — появилась в петроградской газете «Известия». Литературная общественность была настолько возмущена и взбудоражена, что 17 августа заседание во «Всемирной литературе» вылилось в бурное обсуждение «шедевров» Сергея Городецкого.

Николай Степанович в это время занимался созданием нового Цеха поэтов, который появился на свет во второй половине августа 1920 года. 20 августа Гумилёв в Доме искусств уже читал для членов Цеха поэтов первую лекцию, на которую пришли И. Одоевцева, Г. Адамович, Н. Оцуп, С. Нель-дихин, В. Рождественский и еще неизвестная в литературных кругах молодежь. Гумилёв дал молодым задание: к следующей лекции написать стихотворение о бульдоге, причем форма стихотворения должна содержать сложное чередование четырехстопных и двухстопных хореев. К сожалению, эти лекции продлились недолго.

Параллельно с Цехом поэтов Гумилёв принимал участие в

работе Союза поэтов. 27 августа на очередном заседании приемной комиссии Николай Степанович рассматривал вместе с другими членами комиссии заявление поэтессы Е. Полонской. Гумилёв ко всем своим обязанностям (в том числе и в приемной комиссии, и в Союзе поэтов) относился со всей ответственностью, хотя это и была для него всего лишь дополнительная общественная нагрузка. 4 сентября он участвовал в первом творческом вечере Союза поэтов в Доме искусств. 7 сентября поэт присутствовал на заседании Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов, на котором принимали молодых поэтов в члены Союза. К тому времени он уже ознакомился и подготовил отзывы о работах многих из них. Гумилёв писал о Викторе Васильевиче Третьякове: «Членом-соревнователем принять можно». Интересно, что в том же году в конце октября В. В. Третьяков выехал в Ригу и напечатал «Петроградские письма»[81], где писал о действительном влиянии Гумилёва на Союз поэтов: «Это попросту возрожденный Цех поэтов, куда вошли по приглашению почти все участники „Аполлона“ с акмеистическим уклоном, а из новых Наталья Грушко, Крючков и Ваш покорный слуга».

8 сентября поэт обсуждал на заседании совета Дома искусств вопросы открытия книжной лавки писателей в Доме искусств и создания журнала Дома искусств. А спустя три дня он выступал там же на втором вечере Союза поэтов. В программе вечера, кроме известных поэтов А. Блока, А. Белого, В. Пяста, были объявлены и ученики Гумилёва И. Одоевцева, С. Нельдихин, Г. Иванов и другие. Для Николая Степановича это было очень важно, так как в самом Союзе поэтов шла скрытая борьба между сторонниками Гумилёва и Блока. Ирина Одоевцева в мемуарах «На берегах Невы» писала: «Из Москвы в Петербург прибыла молодая поэтесса Надежда Павлович с заданием организовать петербургский Союз поэтов, по образцу московского. Задание свое она выполнила с полным успехом — на все 120 процентов… Сама Павлович занимала видное место в правлении, чуть ли не секретарское… Союз поэтов, как и предполагалось по заданию, был „левым“. И это, конечно, не могло нравиться большинству петербургских поэтов. К тому же стало ясно, что Блок, хотя и согласился „возглавить“ Союз поэтов, всю свою власть передаст „Надежде Павлович с присными“. Выгод от такого правления петербургским поэтам ждать не приходилось. Гумилёв же был полон энергии, рвался в бой, желая развить ураганную деятельность Союза на пользу поэтам».

Несмотря на скрытую борьбу между двумя группировками Блока и Гумилёва, они продолжали встречаться и мирно

беседовать на заседаниях, официальных встречах. 21 сентября во «Всемирной литературе» Александр Блок подарил Николаю Гумилёву свою книгу «За гранью прошлых дней» (выпустил в 1920 году Гржебин) с надписью «Дорогому Николаю Степановичу Гумилёву с приветом от автора…». В этот же день состоялось очередное заседание Союза поэтов, на котором рассматривались заявления молодых поэтов и снова каждый из двух мэтров отстаивал свою точку зрения. А на следующий день состоялся вечер Союза поэтов, на котором присутствовали, по-видимому, и Блок, и Гумилёв.

28 сентября противоречия в видении будущего развития Союза поэтов достигли такой точки, что Гумилёв вынужден был выступить против Надежды Павлович и Марии Шкапской, пытавшихся подчинить Союз поэтов своим интересам. Блок записывает в дневнике: «Гумилёв и другие фрондируют против Павлович и Шкапской…» И ни слова о том, что сам он давно отдал все на откуп двум этим дамам.

29 сентября Н. Гумилёв выступал в Доме искусств с речью на вечере в честь 50-летия со дня рождения Михаила Кузмина и 15-летия его литературной деятельности. Блок произнес речь от имени Союза поэтов, а Гумилёв выступил от имени коллегии редакторов издательства «Всемирная литература». Но в общем атмосфера была веселой и доброжелательной.

С наступлением октября стали возобновляться занятия в многочисленных студиях, на курсах и в институтах, где Гумилёв продолжал читать лекции. 1 октября начались занятия в литературной студии Дома искусств — там Николай Степанович продолжил чтение лекций по теории поэзии и вел поэтический семинар.

5 октября группа поэтов, ориентированных на Гумилёва, наконец провела перевыборы президиума Союза поэтов и забаллотировала Надежду Павлович и Марию Шкапскую. Блок заявил, что он складывает свои полномочия председателя правления Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов. Успех сторонников Гумилёва был настолько полным, что вызвал в стане противников растерянность, от которой они уже не оправились вплоть до новых выборов председателя. 6 октября все сторонники Гумилёва пришли на второй вечер Союза поэтов. Среди присутствовавших были М. Тумповская, И. Одоевцева, Г. Иванов, М. Лозинский, С. Нельдихин и, конечно, мэтр Гумилёв, читавший свое любимое стихотворение «Заблудившийся трамвай». А на следующий день в Доме искусств состоялся вечер организующегося журнала «Дом искусств». 12 октября на собрании Союза поэтов прошли официальные перевыборы

президиума. Однако Гумилёв не хотел обижать Блока и 13 октября, собрав делегацию из пятнадцати поэтов, отправился к нему с целью уговорить работать с новым президиумом отделения Союза поэтов. Блоку было неудобно отказывать лично Николаю Степановичу, и он остался.

Через два дня Гумилёв, встретившись с Ириной Одоевцевой, сказал, что они пойдут в Знаменскую церковь. На вопрос: «Зачем?» — поэт пояснил, что он хочет заказать панихиду по безвинно убиенному поэту Михаилу Лермонтову. Надо ли говорить, как этот поступок Николая Степановича поразил Одоевцеву. В мемуарах она писала: «…Возле клироса жмутся какие-то тени… „Подождите меня, — шепчет Гумилёв, — я пойду поищу священника“ …наконец возвращается. За ним, мелко семеня, спешит маленький худенький священник… „По ком панихида? По Михаиле? По новопреставленном Михаиле?“ — спрашивает он. „Нет, батюшка. Не по новопреставленном. Просто по болярине Михаиле“. Священник кивает. Ведь в церкви, кроме нас с Гумилёвым и нищенок-старух, никого нет и, значит, можно покойника величать „болярином“. Гумилёв идет к свечному ящику, достает из него охапку свечек, сам ставит их на поминальный столик перед иконами, сам зажигает их. Оставшиеся раздает старухам. „Держите“, — и Гумилёв подает мне зажженную свечку. Священник уже возглашает: „Благословен Бог наш во веки веков. Аминь…“ Гумилёв, стоя рядом со мной, крестится широким крестом и истово молится, повторяя за священником слова молитвы. Старухи поют стройно, высокими, надтреснутыми, слезливыми голосами: „Святый Боже…“ Это не нищенки, а хор… „Со святыми упокой…“ Гумилёв опускается на колени и так продолжает стоять на коленях до самого конца панихиды… „Вечная память…“ — поют старухи, и Гумилёв неожиданно присоединяет свой глухой деревянный, детонирующий голос к их спевшемуся, стройному хору. Гумилёв подходит ко кресту, целует его и руку священника подчеркнуто благоговейно. „Благодарю вас, батюшка!..“ Он „одаривает“ и хор — каждую старуху отдельно — „если разрешите“. И они „разрешают“ и кланяются ему в пояс».

Панихида по Лермонтову — это не поза. Поэт-воин почтил память поэта-воина!.. В этот же день Н. Гумилёв поделился с Ириной Одоевцевой своими предчувствиями: «Иногда мне кажется… что и я не избегну общей участи, что и мой конец будет страшным. Совсем недавно, неделю тому назад, я видел сон. Нет, я его не помню. Но когда я проснулся, я почувствовал ясно, что мне жить осталось совсем недолго, несколько месяцев, не больше. И что я очень страшно умру… Скажите, вы не заметили, что

священник ошибся один раз и вместо „Михаил“ сказал „Николай“?»

18 октября в петроградском Доме искусств принимали Герберта Уэллса. Выступили писатели Амфитеатров и Шкловский. Возможно, на этой встрече был и Николай Гумилёв. Юрий Анненков в своих воспоминаниях «Дневник моих встреч. Цикл трагедий» писал: «1920 год. Эпоха бесконечных голодных очередей, „хвостов“ перед пустыми „продовольственными распределителями“, эпическая эра гнилой промерзшей падали, заплесневелых хлебных корок и несъедобных суррогатов… Осенью этого легендарного года приехал в Петербург знатный иностранец: английский писатель Герберт Уэллс… 18 октября представители „работников культуры“ — ученые, писатели, художники — принимали знаменитого визитера в Доме Искусств. По распоряжению продовольственного комитета петербургского совета в кухню Дома Искусств были доставлены по этому случаю довольно редкие продукты. Обед начался обычной всеобщей беседой на разные темы, и только к десерту Максим Горький произнес заранее приготовленную приветственную речь. В ответ наш гость, с английской сигарой в руке и с улыбкой на губах, выразил удовольствие, полученное им — иностранным путешественником — от возможности лично понаблюдать „курьезный исторический опыт, который развертывался в стране, вспаханной и воспламененной социальной революцией“. Писатель Амфитеатров, в свою очередь, взял слово: „Вы ели здесь, — обратился он к Уэллсу, — рубленые котлеты и пирожные, правда, несколько примитивные, но вы, конечно, не знали, что эти котлеты и пирожные, приготовленные специально в вашу честь, являются теперь для нас чем-то более привлекательным, более волнующим, чем наша встреча с вами, чем-то более соблазнительным, чем ваша сигара! Правда, вы видите нас пристойно одетыми: как вы можете заметить, есть среди нас даже один смокинг (в нем пришел Н. Евреинов. — В. П.). Но я уверен, что вы не можете подумать, что многие из нас, и, может быть, наиболее достойные, не пришли сюда пожать вашу руку за неимением приличного пиджака, и что ни один из здесь присутствующих не решится расстегнуть перед вами свой жилет, так как под ним не окажется ничего, кроме грязного рванья, которое когда-то называлось, если я не ошибаюсь, ‘бельем’“… Голос Амфитеатрова приближался к истерике, и когда он умолк, наступила напряженная тишина, так как никто не был уверен в своем соседе, и все предвидели возможную судьбу слишком откровенного оратора… Вернувшись в Лондон, Уэллс опубликовал свои впечатления, где, между прочим, говорилось:

„Я не верю в добрую волю марксистов, для меня Карл Маркс смешон“». Амфитеатров остался жив только потому, что уехал за границу. Такого пассажа большевики не простили бы писателю.

21 октября Гумилёв организовал вечер свободного Союза поэтов в клубе на Литейном проспекте, первый после того, как свергли Павлович и Шкапскую. Это был пир победителей. Блок после вечера в дневнике отметил: «Верховодит Гумилёв — довольно интересно и искусно. Акмеисты, чувствуется, в некотором заговоре, у них особое друг с другом обращение. Все под Гумилёвым». И здесь же пишет об отношении Гумилёва к стихам Мандельштама, который выступал на вечере: «Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в области искусства только. Гумилёв определяет его путь: от иррационального к рациональному (противоположность моему). Его „Венеция“. По Гумилёву — рационально все (и любовь и влюбленность в том числе), иррациональное лежит только в языке, в его корнях, невыразимое». Ранее А. Блок записал: «Гумилёв и Горький. Их сходство: волевое; ненависть к Фету и Полонскому — по-разному, разумеется. Как они друг друга ни не любят, у них есть общее. Оба не ведают о трагедии — о двух правдах. Оба (северо) — восточные».

Признание Блока вынужденное. Он констатировал, что молодежь пошла не за ним, а за Гумилёвым. И это тоже — популярность у творческой молодежи — стало одной из причин, почему большевики убрали Гумилёва.

25 октября состоялось первое занятие студии поэзотворчества в Институте живого слова, которое вели Н. Гумилёв и М. Лозинский. Занятие было посвящено ритмике стиха. Ольга Ваксель позже вспоминала: «В институте был кружок поэтов, руководимый Гумилёвым, в который я немедленно вступила. Он назывался „Лаборэмус“ (от лат. Labo remus — „давайте поработаем“). А вскоре в кружке произошел раскол, и другая половина стала называться „Метакса“ (очевидно, от греч. Metaea — „шелк-сырец“), мы их называли „мы, таксы“. В кружке происходили вечера „коллективного творчества“, на которых все упражнялись в преодолении всевозможных тем, подборе рифм и развитии вкуса. Все это было очень мило, но сепаратные занятия с Н. С. Гумилёвым, который был моим троюродным братом… нравились мне гораздо больше, потому что они происходили чаще всего в его квартире африканского охотника, фантазера и библиографа. Он жил один в нескольких комнатах, из которых только одна имела жилой вид. Всюду царил страшный беспорядок, кухня была полна грязной посуды, к нему только раз в неделю приходила старуха убирать. Не переставая

разговаривать и хвататься за книги, чтобы прочесть ту или иную выдержку, мы жарили в печке баранину и пекли яблоки. Потом с большим удовольствием мы все это глотали. Гумилёв имел большое влияние на мое творчество. Он смеялся над моими робкими стихами и хвалил как раз те, которые я никому не смела показывать. Он говорил, что поэзия требует жертв, что поэтом может называться только тот, кто воплощает в жизнь свои мечты…»

В октябре случилось еще одно знаменательное событие — в бывшем здании Академии художеств открылась отчетная выставка, на которой был выставлен портрет Н. Гумилёва, написанный художницей Надеждой Шведе, ученицей Дмитрия Кардовского.

28 октября Гумилёв встречался с Михаилом Кузминым и они согласовали сроки своей поездки на выступление в Москву. В этот же день в Доме литераторов прошел десятый вечер «Альманаха», в котором принял участие и Николай Степанович. 29 октября в газете «Жизнь искусства» появилось объявление о новом отделении истории словесных искусств в Институте истории искусств, расположенном на Исаакиевской площади, 5. Среди профессорского состава был назван Н. С. Гумилёв, читавший теорию поэзии. Занятия начались в двадцатых числах ноября 1920 года.

1 ноября Гумилёв и Лозинский провели второе заседание студии поэзотворчества в Институте живого слова. Темой занятия были ритмика стиха и коллективное творчество. В этот же день Николай Степанович в своей знаменитой оленьей дохе вместе с Михаилом Кузминым уезжал в Москву выступать в Политехническом музее. На вокзал провожала его молодая поэтесса Наталья Грушко.

В поезде Гумилёв досаждал Кузмину развитием своих идей. Последний записал в дневнике: «Ехать удобно. Тепло и просторно. Выехали. Свету не было. Гум очень мил, но надоел мне акмеизмом…» Хотя поездка была обговорена заранее, тем не менее поэтов никто не встретил на вокзале, и они были удивлены таким негостеприимством. Михаил Кузмин записал в дневнике: «…В Москве очаровательная погода, много народа, есть еда, не видно красноармейцев, арестованных людей с мешками, и торгуют. Никто нас не встретил. Поплелись в ЛИТО. Встретили Дмитриева, ставит с Мейерхольдом „Зори“. ВЛИТО Шихман тоже ушел, оставя записку, что во Дворце Искусств приготовлены нам комнаты… Пошли в столовую Онуфриевой. Встретили Оцупа. Во Дворец Искусств ужасная даль. Прелестный особняк. Заходим. Комнат никаких, постелей тоже…»

Стихи поэты читали на вечере современной поэзии в Политехническом музее в Москве 2 ноября. В этот же день Николай Степанович встретился с Валерием Яковлевичем Брюсовым. Была у Гумилёва и еще одна встреча, о которой он и не мечтал и которая скрасила серость их приезда. На выступление петербургских поэтов пришла давняя ялтинская знакомая поэта Ольга Мочалова.

Сохранились довольно любопытные воспоминания о пребывании поэта в ноябре 1920 года в Москве. Л. В. Горнунг записал уже в 1923 году со слов С. М. Богомазова: «В этот приезд в Москву Николай Степанович читал стихи во многих литературных организациях (Союз Писателей, Поэтов, литературные кафе и прочее). В большой аудитории Политехнического Музея по случаю холода он читал в дохе; Кузмин и прочие — в шубах. Во время чтения „Трамвая“ в верхней боковой двери показался Маяковский с дамой. Он прислушался, подался вперед и так замер до конца стихотворения…»

«Заблудившийся трамвай» поразил даже Маяковского, который терпеть не мог акмеистов и относился к Гумилёву не совсем благожелательно. Это говорит о подлинной силе поэзии позднего Гумилёва.

3 ноября Гумилёв возвращался в Петроград с Николаем Оцупом, тоже оказавшимся в Москве. Уже 4 ноября поэт встретился с Александром Блоком, который подписал ему в этот день свою книгу стихов «Седое утро»[82]: «Дорогому Николаю Степановичу с приветом Ал. Блок». И снова поэт погрузился с головой в работу и литературную жизнь красного Петрограда: 7 ноября он принял участие в заседании приемной комиссии Союза поэтов, 13 ноября — присутствовал на официальной части и банкете по поводу второй годовщины образования Института живого слова. В ноябре состоялось еще три занятия студии.

Интересно, что в 1920 году при создании Союза поэтов его членам была роздана анкета. Гумилёв заполнил эту анкету, почему-то указав, что он родился в 1887 году, а не в 1886-м. В графе «Образование» поставил Сорбонну, хотя и не оканчивал этого учебного заведения. Но самое главное — в другом. На вопрос: «Чем занимаетесь в настоящее время?» — он написал: «Розничной продажей домашних вещей». А на вопрос: «Какие обстоятельства мешают заниматься литературным трудом?» — ответил: «Низкая оплата труда, закрытие рынков в связи с отсутствием пайка, большая семья».

4 декабря в Петроград по приглашению Чуковского приехал Владимир Маяковский. Вечером в Доме искусств состоялся его

вечер. Ирина Одоевцева описала его в книге «На берегах Невы»: «…Маяковский приехал „удивить Петербург“… Читал он стихи совсем иначе, чем было принято у нас… Голос его — голос митингового трибуна — то гремел так, что стекла звенели, то ворковал по-голубиному и журчал, как лесной ручеек… Гумилёв, церемонно и прямо восседавший в первом ряду, поднялся и, даже не взглянув на Маяковского, стал медленно продвигаться к выходу сквозь кольцо обступивших эстраду буйствовавших слушательниц».

Николай Степанович в декабре продолжил занятия в студии поэзотворчества в Институте живого слова вместе с Лозинским. Поэт учил своих подопечных технике стиха, как учит истинный мастер владеть подмастерьев ремеслом на самом высоком уровне.

9 декабря Николай Степанович встретился совершенно случайно в Доме искусств с художником Дмитрием Кардовским, оформившим в 1910 году его книгу «Жемчуга». Это была как бы встреча с ушедшей эпохой, свидание с ушедшим в никуда Царским Селом.

13 декабря Гумилёв провел седьмое занятие в студии поэзотворчества Института живого слова по теме: стилистика, происхождение слов в стихе. На другой день читал на заседании Секции исторических картин в издательстве «Всемирная литература» свою пьесу «Актеон».

Поэту удалось в декабре довести до конца еще одну свою задумку об издании альманаха. В газете «Жизнь искусства» за 15–16 декабря сообщалось о выпуске первого номера альманаха стихов «Дракон», хотя он и был датирован уже 1921 годом.

Не оставил Гумилёв и своих подопечных из литературного кружка «культпросветотдела». На 17 декабря он запланировал и провел второй вечер кружка, где тоже читал свои стихи. 18 декабря организовал и провел вечер Шарля Бодлера в Доме литераторов. Вечер состоял из двух отделений. В первом поэт прочел доклад о великом французском поэте, а во втором — свои переводы из Бодлера.

К концу года в издательстве «Всемирная литература» выяснилась одна довольно неприятная для писателей вещь — отсутствие издательского хлеба — бумаги. 21 декабря состоялось заседание правления Союза писателей, где было официально объявлено, что из-за нехватки бумаги около восьмисот книг остались неизданными. Блок заметил на это Чуковскому: «Вот хорошо! Слава Богу!» Чуковский записал 22 декабря в дневнике: «Читали на засед<ании> „Всемирной лит<ературы>“ ругательства Мережковского — против Горького. Блок (шепотом

мне): „А ведь Мережк<ов-ский> прав“».

Но если бумаги не было в государственном издательстве, то частные ее покупали. Поэтому 18 декабря Николай Степанович отправился к Я. Н. Блоху в создаваемое издательство «Петрополис». Гумилёв принес издателю рукопись новых стихотворений, озаглавленную им «Огненный столп». В последний прижизненный сборник поэт включил всего двадцать стихотворений, написанных в последние годы: «Память», «Лес», «Слово», «Душа и тело», «Канцона первая», «Канцона вторая», «Подражание персидскому», «Персидская миниатюра», «Шестое чувство», «Слоненок», «Заблудившийся трамвай», «Ольга», «У цыган», «Пьяный дервиш», «Леопард», «Молитва мастеров», «Перстень», «Дева-птица», «Мои читатели», «Звездный ужас».

Отчего Гумилёв остановился на библейском названии сборника? По Библии, Господь сам шел ночью в «столпе огненном», чтобы освещать путь сынам Израилевым. Этот символ использовал в свое время и Ницше в своей знаменитой книге «Так говорил Заратустра»: «Горе этому большому городу! — И я хотел бы уже видеть огненный столп, в котором он сгорает!..» Гумилёв, несомненно, православный человек, хотя в молодости и переживший сильное увлечение богоборцем Ницше, все же остановился на библейском значении огненного столпа как очищающего и освещающего путь в будущее. Новую книгу поэта нужно расшифровывать с учетом того времени. Среди стихов, написанных в 1920 году и составивших основу нового сборника, есть такие шедевры гумилёвской словесности, как «Сентиментальное путешествие», «Память», «Шестое чувство», «Звездный ужас». А это очень много для одного календарного года и говорит об обострении чувств поэта о том, что он жил и творил с оглядкой на Бога.

По воспоминаниям Ольги Арбениной и Ирины Одоевцевой, через десять дней после «Заблудившегося трамвая» (то есть в первой половине 1920 года) Николай Степанович написал стихотворение «У цыган» и посвятил его цыганской певице Нине Александровне Шишкиной-Цур-Милен. Своей возлюбленной цыганке Гумилёв подписывает второе издание «Жемчугов»: «Богине из Богинь, Светлейшей из Светлых, Любимейшей из Любимых, Крови моей славянской прост<ой>, Огню моей таборной крови, последнему Счастью, последней Славе Нине Шишкиной Цур-Милен дарю я эти „Жемчуга“». Такой душевной надписи на его книгах не удостаивалась ни одна из возлюбленных поэта.

О. М. Грудцова, знавшая певицу, вспоминала: «…Много я

слышала в продолжение моей жизни цыган, но такого замечательного таланта не приходилось встречать». А для Гумилёва талант был превыше всего. Он пишет стихотворение «У цыган» (1920), полное мистических символов:

Вещие струны — это жилы бычьи,
Но горькой травой питались быки,
Гортанный голос — жалобы девичьи
Из-под зажимающей рот руки.

Как и в стихотворении «Заблудившийся трамвай», Николай Степанович смещает плоскости реальных и воображаемых событий: то ли он видит цыганскую пляску, то ли погружается в мир видений и:

Пламя костра, костра колонны
Красных стволов и оглушительный гик,
Ржавые листья топчет гость влюбленный —
Кружащийся в толпе бенгальский тигр.

Красное пламя, пьяный от крови тигр, жрица и девушка с гусаром. Кажется, что поэт зашифровывает истинный смысл на потом, для потомков. Может быть, девушка — это Россия, а пьяный тигр, у которого «капли крови текут с усов колючих», — это поработитель ее.

При жизни Гумилёва к стихотворению отнеслись неоднозначно. Блок сказал, что оно ему «совсем не нравится». Николай Оцуп ставил «У цыган» выше «Заблудившегося трамвая» по форме написания: «„У цыган“ является блестящим примером развития образа, которое, на первый взгляд, неуправляемо законами разума, но в действительности обусловлено самим словесным материалом, избранным поэтом… Так струны гитары — „жилы бычьи“ — наводят на мысль о „горькой траве“ пастбищ, куда поэт завлекает нас…» Горькие травы — это и есть та разгульная жизнь без Бога, поэтому Гумилёв и пишет: «Счет, Асмодей, нам приготовь!» Асмодей не кто-нибудь, а демон разрушения и сладострастия в древнееврейской мифологии.

В феврале Гумилёв пишет стихотворение «Сентиментальное путешествие». По одним воспоминаниям оно посвящалось Ольге Арбениной, по другим — поэтессе Марии Тумповской.

В стихотворении «Память», написанном после 15 апреля 1920 года, по другим данным — 15-го (3 апреля по старому стилю), то есть в день своего рождения, поэт переосмысливает жизнь, как бы

подводит итоги. Можно согласиться с известным поэтом-символистом Николаем Минским, что«…поэт рассказывает о четырех метаморфозах своей души, или вернее, о последовательном пребывании в нем четырех различных душ…». Об этом стихотворении было написано достаточно много работ, и отдельные исследователи договорились до того, что Гумилёв развивает масонские мотивы «угрюмого и упрямого зодчего»[83]. В этих двух аллегорических строках:

Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле —

Гумилёв зашифровал, на мой взгляд, не чуждые русскому народу масонские идеи, а высказал свою надежду на восставшую из рабства Россию.

Поэт не верит, что это будет скоро. Он предчувствует, что ему до Нового Иерусалима не дожить, потому и предстает перед ним путник — смерть.

Открыто о своих взглядах на происходящее в России Гумилёв говорит в стихотворении «У ворот Иерусалима…», обращенном к жене А. М. Ремизова Серафиме Павловне Ремизовой-Довгелло и написанном после 17 ноября 1920 года:

Мне пред ангелом не стыдно,
Долго нам еще терпеть,
Целовать нам долго, видно,
Нас бичующую плеть.

Ведь и ты, о сильный ангел,
Сам виновен, потому
Что бежал разбитый Врангель
И большевики — в Крыму.

В июле 1919 года появилась «Канцона вторая» («И совсем не в мире мы, а где-то…»), где Гумилёв отступает от классических канонов канцоны как лирического жанра средневековой поэзии и вводит в стихотворение приметы жестокой действительности:

Маятник, старательный и грубый,
Времени непризнанный жених,
Заговорщицам секундам рубит
Головы хорошенькие их.

Рубят головы в 1920 году многим, и поэт показывает в канцоне «огненный дурман» эпохи. Он не хочет замечать происходящего, живет в выдуманном мире, отгораживается от реальности:

Там, где всё сверканье, всё движенье,
Пенье всё, — мы там с тобой живем.
Здесь же только наше отраженье
Полонил гниющий водоем.

В июле 1920 года Николай Степанович начал писать (возможно, написал) стихотворение «Барабаны гремите, а трубы ревите, и знамена везде взнесены…» — текст его не сохранился, а фрагменты по памяти воспроизвел М. Лозинский и опубликовал в 1923 году в посмертном сборнике стихотворений Гумилёва. Это дало возможность рапповским критикам (В. В. Ермилову и другим) объявить Гумилёва глашатаем «войны для войны».

В стихотворении «Слоненок» поэт, объясняясь в любви, сравнивает себя с ручным слоненком, но знает, что «день настанет» и слоненок, разорвав цепи, превратится в того, великолепного слона, «…что когда-то / Нес к трепетному Риму Ганнибала».

Летом 1920 года появился еще один бриллиант гумилёвской поэзии — стихотворение «Шестое чувство». В нем Гумилёв по-своему реализует формулу Достоевского, что красота спасет мир. Способны ли душа и тело подняться до высших высот совместно? По сути дела, поэт продолжает стихотворение «Душа и тело», только теперь он уже не судит плоть и дух, а высказывает дерзостное предположение, что они переходят в иное состояние:

Так век за веком — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

Если не считать шуточное стихотворение «О дева Роза, я в оковах», написанное в альбом торговки из издательства «Всемирная литература» Розы Васильевны Рура, Гумилёв написал в ноябре два стихотворения красавице Ольге Гильденбрандт-Арбениной «Ольге» и газель «Пьяный дервиш». Правда, и тут не обошлось без курьезов. В. Павлов, знавший поэта в последний год его жизни, утверждал, что газель посвящена ему. Возможно, поэт подарил Павлову автограф стихотворения.

К концу 1920 года в Петербурге бумага для печатания стала дефицитом, поэтому Гумилёв в ноябре составляет рукописный сборник под названием «О тебе, моя Африка», в который включает стихотворения «Посвящение», «Птица. Готтентотская космогония», «Сомали», «Галла», «Абиссиния». Рукопись Николай Степанович снабдил надписью: «Книга эта переписана в единственном экземпляре автором и снабжена его собственноручными рисунками и подписью».

Ирина Одоевцева утверждала, что осенью 1920 года поэт посвятил ей стихотворение «О, сила женского кокетства!..». В четвертом томе Полного собрания сочинений Н. С. Гумилёва[84] публикаторы поместили его в раздел приписываемых Гумилёву стихотворений совсем неслучайно. Очень многое из того, что вспоминала через много лет Одоевцева, не совсем соответствует действительности. Слишком легковесно стихотворение «О, сила женского кокетства!..» для Гумилёва. Его нельзя сравнить с лирическими стихотворениями поэта, написанными тогда же в декабре 1920 года «Нет, ничего не изменилось…» и «Поэт ленив, хоть лебединый…» или оригинальным лирическим стихотворением «Индюк». В последнем стихотворении поэт говорит о любви, детской и взрослой. Он мастерски связывает свои воспоминания из далекого детства с образом разорванной любви.

Вполне возможно, и стихотворение «На веснушки на коротеньком носу…», также объявленное Одоевцевой как восстановленное по памяти, Николай Степанович не писал. В этих стихотворениях, восстановленных по памяти Одоевцевой, она выступает как главная героиня последних лет жизни поэта, что не подтверждено никакими документами.

Через много-много лет поэтесса приводит по памяти их длинные диалоги и беседы с Гумилёвым в воспоминаниях «На берегах Невы». Несомненно, она многое могла помнить и в ее мемуарах содержится большой фактический материал о жизни поэта, но преподнесенный с точки зрения ее, Одоевцевой, правды.

В сентябре-октябре поэт работал над «Поэмой Начала» и написал первую песнь, состоящую из двенадцати строф по двадцать строчек каждая. Она была опубликована в конце февраля 1921 года в альманахе Цеха поэтов «Дракон», который был объявлен к выходу еще в декабре 1920 года.

Первый биограф поэта П. Лукницкий сохранил план «Поэмы Начала», включавший двенадцать глав: 1. Метафизика. 2. Космос. 3. Жизнь. 4. Драконы. 5. Люди. 6. Звери. 7. Растения. 8. Минералы. 9. Духи. 10. Метафизика; 11 и 12 остались без

названия. Поэма не была написана, осталась только «Книга первая», но даже то, что осуществил поэт из этого замысла, представляет большой интерес. Первая песнь первой книги рассказывает о пробуждении золотого Дракона и его встрече с жрецом Лемурии — Морадитой. По всей видимости, Гумилёв хотел создать большое лироэпическое полотно от сотворения мира до модели вселенной со всеми гранями бытия, жизни и смерти. Жизни — на уровне земном и тонкой материи — не подвластной нашему сознанию. Автор пытался понять закономерность земных явлений, постигая высшие духовные миры. Несомненно, если бы он остался в живых, то мы получили бы новое направление в литературе. А возможно, и современная литература развивалась бы по другим законам. Об этом говорили поэтические опыты последних лет его жизни. Яркий пример тому — стихотворение (иногда именуемое исследователями поэмой) «Звездный ужас». Оно совсем не случайно было поставлено поэтом в завершение лучшей прижизненной книги — «Огненный столп».

Что же за «звездный» ужас настиг «первобытное племя», изображенное Гумилёвым? Исследователи искали соответствие гумилёвского стихотворения картине Рериха «Веления неба», написанной в 1912 году. Более поздние исследователи творчества поэта видели в символике стихотворения развитие масонских теорий (М. Йованович). Некоторые современники поэта вообще не поняли внутреннего смысла «Звездного ужаса». Так, Лев Лунц, высоко отзывавшийся об «Огненном столпе», считал «Звездный ужас» «неудачным исключением».

Высокую оценку стихотворению дал поэт и критик Юрий Верховский: «Самым значительным и цельным, внутренно-наполненным, „синтетическим“ произведением, высшим достижением поэзии Гумилёва представляется нам его поэма „Звездный ужас“. Ее тема — о хаосе и космосе. Хаос, прежде „шевелившийся“ на дне души, теперь предстает как мир-хаос. Ему противопоставляется мир-космос. Преодоление хаотического начала в самом восприятии мира как космоса — вот что лежит в духе под этой поэмой, как ее основание, как одушевляющее начало в том пафосе стремленья, каким проникнута поэма. Такова ее музыкальная динамика…» Я думаю, что самое главное в стихотворении — это зашифрованная трагедия современной поэту России, опустившейся до уровня первобытного племени. Это-то Гумилёв и пытается донести до потомков. Три поколения племени вступают в отношения с небом, то есть с Богом. Старшее бессознательно пытается выйти из привычного уклада жизни и стихийно найти иное, разрушив старое:

Снилась мне хорошая корова
С выменем отвислым и раздутым,
Под нее подполз я поживиться
Молоком парным, как уж, я думал,
Только вдруг она меня лягнула,
Я перевернулся и проснулся:
Был без шкуры я и носом к небу.
Хорошо еще, что мне вонючка
Правый глаз поганым соком выжгла,
А не то, гляди я в оба глаза,
Мертвым бы остался я на месте…

За стихийный бунт низы наказаны, но вполсилы, для учебы и с надеждой, что они поймут урок. Но, увы, он идет не на пользу следующему поколению. Сын старика смотрит дерзко на небо двумя глазами, то есть вообще отвергнув Бога, и тут же следует кара — смерть ему и безумие его жене.

В самом деле, большинство революционеров погибли в сталинских лагерях. Гибли и их близкие. Как предвидел поэт страшное будущее России в XX столетии! Можно только поражаться его прозорливости. Гибли те, кто хотел выстрелить в небо, а не полюбить его. Ненависть, ужас, страх, злоба — дьявольские чувства, которые караются беспощадно. Гумилёв, чтобы подчеркнуть истинный смысл своих строк, приводит почти дословно слова пророка Исайи о Страшном суде из Библии: «Ужас и яма и петля для тебя, житель земли!»

И чтобы было понятно всем умеющим понимать тайный смысл сказанного, поэт вкладывает в уста старика слова:

«…Где я? Что со мною? Красный лебедь
Гонится за мной…»

Немыслимый цвет, если воспринимать буквально окрас лебедя. Но красный лебедь — это красная Россия.

Поэт видит единственный выход в том, что новое поколение будет читать на небе не дьявольские меты (взывая к злобе и насилию), а Божье Слово, Любовь — ведь Христос это и есть Любовь, и обращенные к нему спасутся. Поэтому остается в живых дочь Гары и Гарайи — маленькая Гарра. Душа ее чиста, она смотрит на небо чистыми глазами ребенка. Бог и ангелы говорят с ней. Именно на будущее поколение поэт возлагает надежду о возвращении России из сатанинского лагеря к Богу.

«Звездный ужас» — это одно из поэтических завещаний

Гумилёва потомкам, поэтому он и закончил им «Огненный столп».

До сдачи этого сборника 18 декабря 1920 года в издательство Гумилёв написал еще четыре стихотворения, включенные им в рукопись. В одном из них — «Дева-птица» — царит смерть. Одоевцева утверждала, что Гумилёв написал это стихотворение по разысканному им в старом, затрепанном, в голубой бумажной обложке рифмовнику. Но суть не в том, откуда поэт брал рифмы, а что хотел выразить. Если попытаться расшифровать написанное, то, на мой взгляд, стоит обратить внимание на образ «птицы»: «… память о деве-птице /Долетит до иных столетий…» Дева-птица — Поэзия, идущая из его души, хрупкая, нежная, нуждающаяся в особом отношении, убивается в современной России грубыми пастухами, и поэт скорбит об этом.

Во втором стихотворении — «Леопард», — написанном тогда же, Гумилёв развивает идею, что леопарды в африканской мифологии символизировали колдунов и людоедов, и тот, кто их убивал и не принимал мер заклинания, рисковал подвергнуться их посмертной мести:

Колдовством и ворожбою
В тишине глухих ночей
Леопард, убитый мною,
Занят в комнате моей.

Шкура леопарда, действительно привезенная Гумилёвым из Абиссинии, находилась с ним, и он, переезжая с квартиры на квартиру, всегда брал ее с собой. В стихотворении леопард символизирует разрушительную (дьявольскую) силу, призванную расправиться с ним самим. Здесь явный намек на то, что поэт обречен умереть у себя на родине, в России:

«…Нет, ты должен, мой убийца,
Умереть в стране моей.
Чтоб я снова мог родиться
В леопардовой семье…»

Третье стихотворение этого периода — «Перстень» — несет на первый взгляд странную идею: девушка выбирает смерть возлюбленного, чтобы только вернули ее перстень, находившийся у тварей и нечистей — тритонов и ундин:

«Мой жених, он живет с молитвой,

С молитвой одной о любви.
Попрошу, и стальною бритвой
Откроет он вены свои».

Поэт во многих стихах последних лет говорит о смерти, он как бы зазывает ее. Словно завещание звучит последнее из стихотворений, написанных Гумилёвым до 18 декабря 1920 года, «Молитва мастеров»:

…Всем оскорбителям мы говорим привет,
Превозносителям мы отвечаем — нет!

Упреки льстивые и гул молвы хвалебный
Равно для творческой святыни не потребны…

Из последнего цикла сохранились еще три недописанных стихотворения: «Ровно в полночь пришло приказанье…», «Колокольные звоны…», «В дни нашей юности, исполненной страстей…».

Одоевцева в книге «На берегах Невы» писала, что тема смерти часто присутствовала в разговорах поэта, и цитировала слова Николая Степановича: «Я в последнее время постоянно думаю о смерти. Нет, не постоянно, но часто. Особенно по ночам. Всякая человеческая жизнь, даже самая удачная, самая счастливая, — трагична. Ведь она неизбежно кончается смертью. Ведь как ни ловчись, как ни хитри, а умереть придется. Все мы приговорены от рождения к смертной казни. Смертники. Ждем — вот постучат на заре в дверь и поведут вешать. Вешать, гильотинировать или сажать на электрический стул… Единственное равенство людей — равенство перед смертью… что будет потом, после смерти. И будет ли вообще что-нибудь? Или все кончается здесь на земле?..» В другой раз Гумилёв говорил Одоевцевой: «Иногда мне кажется, что и я не избегну общей участи, что и мой конец будет страшным. Совсем недавно, неделю тому назад, я видел сон. Нет, я его не помню. Но когда я проснулся, я почувствовал ясно, что мне жить осталось совсем недолго, несколько месяцев, не больше. И что я очень страшно умру. Я снова заснул. Но с тех пор — нет-нет да и вспомню это странное ощущение. Конечно, это не предчувствие. Я вообще не верю в предчувствия, хотя Наполеон и называл предчувствия „глазами души“…» Дословно ли вспомнила Одоевцева слова Гумилёва или примешала к ним свои размышления о жизни и смерти — сегодня уже не узнать.

В 1920 году в Бежецке умерла Софья Аслановна Сверчкова,

урожденная княжна Амилахвери, жена, а вернее вдова племянника поэта Н. Л. Сверчкова — Коли-маленького.

На зиму Гумилёв отправил своих детей и жену вместе с матерью в Бежецк. Поэт встречал Новый год вместе с братом Дмитрием и его женой Анной. Она вспоминала: «Встретили мы Новый год очень оживленно и уютно. Никто из нас не предполагал, что этот год будет для нас трагическим, что это последний раз… Он (Гумилёв. — В. П.) был все таким же отзывчивым, охотно делившимся с каждым всем, что он имел. Как часто приходили в дом разные бедняки! Коля никогда не мог никому отказать в помощи».

1 января к Гумилёву пришел в гости Осип Мандельштам, поздней осенью 1920 года вернувшийся с юга, занятого Белой армией. Николай Степанович тогда осведомился: «А бумаги у тебя в порядке?» Тот, не моргнув глазом, беспечно ответил: «Документы? Ну конечно, в порядке!» После чего предъявил Гумилёву удостоверение личности на имя сына петроградского фабриканта, выданное полицейским участком в Феодосии, находящейся под властью барона Врангеля. По настоянию Гумилёва Мандельштам уничтожил это «удостоверение», за которое мог поплатиться жизнью. После этого Николай Степанович отправил его к Луначарскому. Осип Мандельштам быстро освоился в Петрограде, получил необходимые документы, стал жить в Доме искусств и получать паек.

Вскоре на Рождество Николай Степанович отправился в Бежецк, чтобы побыть со своей семьей. Здесь он посетил отдел народного образования. Наверняка этому способствовала его сестра Шура, работавшая учительницей. В отделе поэту предложили выступить с докладом о современном состоянии литературы в России и за границей после 1917 года. На лекцию пришло довольно много народу, в том числе и те, кто сам пробовал писать стихи и хотел услышать мнение о них известного поэта. Бежецкое литературное объединение обратилось с просьбой к Николаю Степановичу, чтобы он походатайствовал о приеме их объединения в Союз поэтов.

После отъезда Николая Степановича Бежецкое отделение Союза поэтов было открыто и почетным председателем выбрали Гумилёва.

9 января Гумилёв снова в Петрограде. К нему в гости пришла Ирина Одоевцева и Николай Степанович пожаловался ей на дорогу: «До чего стало трудно путешествовать. Прежде легче было до Парижа добраться, чем теперь до Бежецка. Особенно обратно — вагон полон пьяных… Я очень надеюсь, что Бог услышит мои молитвы и пошлет мне достойную героическую

смерть… не сейчас, конечно… Ведь я еще столько должен сделать в жизни, хотя и сейчас немало делаю». По воспоминаниям Одоевцевой, поэт очень хотел ей что-нибудь подарить и отдал картину Судейкина. Потом предложил (возможно, в шутку): «Напишите балладу обо мне и моей жизни. Это, право, прекрасная тема». Одоевцева написала, но уже после смерти поэта:

На пустынной Преображенской
Снег кружился и ветер выл…
К Гумилёву я постучала,
Гумилёв мне дверь отворил…

Праздники в этот последний для Гумилёва январь несколько затянулись. В голодном и холодном городе люди, истосковавшиеся по хорошей жизни, жаждали хотя бы рождественских сказок. После возвращения из Бежецка поэт побывал на двух костюмированных балах. Один из них, «гвоздь петербургского зимнего сезона», прошел в Доме искусств. Лозинский пошутил, увидев друга во фраке, что тот как монарх. Гумилёву шутка явно понравилась. По контрасту с серой и убогой атмосферой русской жизни поэт чувствовал себя на балу во фраке именинником. Возможно, этот странный бал напоминал ему старое время, как будто он вернулся ненадолго в прошлую блаженную и милую сердцу эпоху.

11 января Гумилёв отправляется на бал теперь уже в Институт истории искусств, расположенный на Исаакиевской площади (особняк графа Зубова). Конечно же он пошел туда не один, а с юной дамой — Дорианой Слепян, будущей актрисой, которая писала: «Вспоминаю я также и то, как часто приглашал меня Николай Степанович на вечера, в бывший Зубовский особняк на Исаакиевской площади. Особняк этот был передан самим владельцем — графом Зубовым — для организации там Института Истории Искусств. Вся его обстановка дворцового типа поэтому осталась в полной сохранности, и в те годы в этом особняке Институтом устраивались самые разнообразные вечера, концерты с участием лучших артистических и литературных сил. Программы этих вечеров иногда подготовлялись, а иногда возникали стихийно и даже одновременно в нескольких гостиных и залах. Однажды, к моей великой радости и гордости — Николай Степанович меня пригласил на заранее объявленный Бал-маскарад. <…> Появление Николая Степановича Гумилёва на маскараде вызвало всеобщий интерес. Он был в своем обычном, уже изрядно поношенном черном костюме, но на этот

раз в очень высоком белом, туго накрахмаленном воротничке (которых тогда уже давно никто не носил) и черном старомодном галстуке. При входе он надел черную полумаску, но очень быстро ее снял, вероятно, потому, что ему хотелось быть узнанным. Уже через несколько секунд он был окружен плотным кольцом поклонников, одолевавших его просьбами прочитать стихи. В ответ Николай Степанович театрально приложил руки к сердцу и, показывая на меня, аффектированно произнес: „Если моя королева захочет, то я прочту“ и склонился в подчеркнуто-почтительной позе. Конечно, зардевшаяся „королева“ „захотела“ и также театрально подыграла своему партнеру. Николай Степанович в этот вечер был в ударе, подогрет шумными аплодисментами. Он прочитал много стихов…»

Еще об одном бале в Доме искусств писала в эмиграции Анна Элькан: «…в январе 1921 года устроили костюмированный бал, на котором блистала Лариса Рейснер, красавица, дочь профессора Рейснера и жена комиссара Балтийского флота. На этом балу были решительно все, кто еще оставался в Петербурге. Порхали балерины, вытанцовывал входивший тогда в моду заграничный фокстрот Николай Эрнестович Радлов, молодежь затеяла кадриль. Гумилёв стоял в углу и ухаживал за зеленоглазой поэтессой с бантом в рыжеватых кудрях (Ириной Одоевцевой. — В. П.)».

О бале во время Святок писал в эмиграции поэт Владислав Ходасевич: «…в огромных промерзлых залах зубовского особняка на Исаакиевской площади — скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художественный Петербург — налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснятся к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилёв с дамой, дрожащей от холода, в черном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменный, во фраке, Гумилёв проходил по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит: „Ничего не произошло. Революция? — Не слыхал“».

Единственная разница этих воспоминаний — в описании одежды Гумилёва. Слепян утверждала, что он был в черном костюме, а Ходасевич — во фраке. Кто-то из них явно спутал балы. Ведь, кроме того бала, во фраке Гумилёв был и на торжествах, посвященных 84-й годовщине со дня гибели

А. С. Пушкина. Надо сказать, что в феврале 1921 года широко отмечали в общем-то не круглую дату со дня смерти великого поэта. Чуковский, присутствовавший на этом торжестве, записал в дневнике: «Только в 1 час ночи вернулся с Пушкинского празднества в Доме литераторов. Собрание историческое. Стол — за столом Кузмин, Ахматова, Ходасевич, Кристи, Кони, Александр Блок, Котляровский… Речь Кони… внутренне равнодушна и внешняя… Стишки М. Кузмина… После Кузмина — Блок. Он в белой фуфайке и пиджаке. Сидел за столом неподвижно… Пошел к кафедре, развернул бумагу и матовым голосом стал читать о том, что „Бенкендорф не душил вдохновенья поэта, как душат его теперешние чиновники, что Пушк<ин> мог творить, а нам (поэтам) теперь — смерть“… большинство поняло и аплодировало долго. После в артистической — трясущая головой Марья Валентиновна Ватсон, фанатичка антибольшевизма, долго благодарила его, утверждая, что он „загладил“ свои „Двенадцать“. Кристи сказал: „Вот не думал, что Блок, написавший ‘Двенадцать’, сделает такой выпад“. Волынский говорил: „Это глубокая вещь“. Блок несуетливо и медленно разговаривал потом с Гумилёвым. Потом концерт. Пела Бриан „Письмо Татьяны“. Потом заседание Всероссийского союза писателей о моем письме по поводу Уэллса… Каждый сочувствовал мне и хотел меня защитить. Очень горячо говорили Шкловский, Губер, Гумилёв…» Возможно, и это припомнили органы ЧК Блоку, когда незадолго до его смерти не выпустили поэта на лечение за границу.

Вечера памяти А. С. Пушкина состоялись также 9, 11 и 26 февраля. 11 февраля Гумилёв вошел в состав президиума торжественного собрания. На вечер пришла Анна Ахматова, которой Гумилёв сообщил, что Цех поэтов снова существует. Блок в тот вечер выступил с речью «О назначении поэта».

О последнем Цехе поэтов остались воспоминания одного из его участников Всеволода Рождественского: «…Новый „Цех“ пополнился молодежью; в него теперь входили на правах учеников: Н. Оцуп, Ирина Одоевцева, Сергей Нельдихен, Константин Вагинов и тот, кто пишет эти строки. Участники прежнего „Цеха“ именовались „мастерами“, а глава его „синдиком“. Эти названия придумал Н. С. Гумилёв по образцу средневековых артелей каменщиков, воздвигавших готические соборы. Он, как признанный глава, синдик, ввел в обиход строгую цеховую дисциплину. Собирались регулярно в определенный день недели, новые стихи разбирались детально „с точностью до единой строчки, единого слова“, нельзя было ничего печатать или читать на публичных выступлениях без общего одобрения. В ряде

случаев требовалась обязательная доработка. Композиция отдельных сборников составлялась коллективно. Переговоры с издательствами велись тем же порядком. Обязательными были крепкое дружество и взаимная поддержка. Дело доходило чуть ли не до масонских знаков при встречах, не говоря уже о том, что и критические наскоки отражались сомкнутым строем. Гумилёв был, несомненно, прекрасным организатором и уверенной рукой вел всю работу „Цеха“. Его воле и авторитету подчинялись охотно. Мнения его всегда были весомы и обоснованны. Но все это относилось только к формальной стороне дела. Синдик не стеснял тематической свободы каждого из участников. Более того, он старался всех их поддержать в развитии той или иной близкой темы, опытным педагогическим чутьем угадывая индивидуальные пристрастия. <…> Прошло несколько месяцев. И вот в один из таких вечеров, когда было уже прочитано и разобрано немало стихотворений, Н. С. подчеркнуто торжественным тоном объявил во всеуслышание: „На днях я договорился с издательством ‘Мысль’, с директором Вольфсоном, о выпуске трех небольших стихотворных сборников. Совершенно необходимо воспользоваться этой возможностью. Я предложил ему свою африканскую поэму ‘Мик’, у Георгия Иванова подготовлена его ‘Лампада’, и остается еще одна вакансия, которую по всей справедливости надо отдать присутствующей среди нас единственной даме. <…> Рада Густавовна, мы все знаем ваши баллады и лирические стихи. Мне кажется, вам уже пора явить их свету. Не правда ли, друзья?“ Все дружно выразили свое согласие. „Дело за названием, — продолжал Н. С. — В том, что вы пишете, много от сказочных традиций, от волшебств, перенесенных на современную почву, и просто различных древних легенд. Мне думается, что в это название должно входить понятие ‘чуда’“. — „Я тоже об этом думала, — ответила Рада. — Может быть, это будет ‘Дворец чуда’?“ — „Нет, это не звучит. Уж лучше тогда ‘Дворец чудес’“. — „Но ‘дворец’ — слово несколько подозрительное. Может быть, ‘Двор чудес’?“ — предложил Адамович. — „Вот именно, ‘Двор чудес’. Это и проще, и ближе к стилю баллад. Итак, с этим покончено. Но вот как быть с именем автора? Рада звучит не по-русски. Вы меня простите, Рада Густавовна, но Ваше благородное остзейское происхождение сейчас было бы не у места. Надо вам дать русское имя. Послушаем, что нам может предложить уважаемое собрание“. Посыпались предложения, десятки женских имен. Остановились на „Ирине“. „Прекрасно, — одобрил Гумилёв. — Но это еще не все. Нужна и другая фамилия. ‘Гейнике’ звучит, простите, несколько гинекологически. Положимся на волю случая“. Он

протянул через плечо руку к книжной полке за спиной и, не глядя, вытащил первую попавшуюся книгу. „Русские ночи“ Одоевского. Гм… ‘Ирина Одоевская’. В общем, неплохо. Но был поэт, приятель Лермонтова, Александр Одоевский. Не годится. А с фамилией расставаться жаль. Произведем в ней некоторое изменение: ‘Ирина Одоевцева’. Право, недурно. Вы согласны, Рада Густавовна?» Новая Ирина, разумеется, была согласна. Да и всем такое словосочетание пришлось по душе. Так появилась на свет Ирина Одоевцева, а вскоре вышел и ее стихотворный сборник «Двор чудес». Иногда после чтения стихов мы засиживались у гостеприимного хозяина. <…> Во всей обстановке чувствуется, что это жилье временное, что хозяин готов каждую минуту сняться с места для дальних путей. Сидим мы кто на стульях, кто на диване, кто на подоконнике. Н. Ст. предпочитает ходить взад и вперед, попыхивая длинной папиросой, или стоит, прислонясь к притолоке, скрестив руки на груди. И мы уже знаем, что наступил час рассказов о чем-либо, всегда для нас интересном. На этот раз речь идет о первом «Цехе», о временах, для нас, молодежи, ставших уже историей. Вспоминаются разные дружеские эпиграммы и стихотворные шутки, устный фольклор начала десятых годов. Частой мишенью, оказывается, был солидный, серьезный М. Л. Лозинский, в те времена человек состоятельный, ведущий размеренный образ жизни, гостеприимством которого поэты, люди несколько богемного склада, порою злоупотребляли, особенно в пору безденежья. Но Михаил Леонидович был верным другом поэзии, умел ценить шутку и никогда не обижался. <…> Традиция стихотворной шутки продолжала жить и во «Втором Цехе»; этот легковесный жанр литературы имел широкое устное распространение в довольно холодные и голодные дни 1919–1920 гг…

И все же балы и праздники в январе-феврале 1921 года были исключением, а не повседневностью. Основную часть времени Гумилёв продолжал проводить на занятиях в различных студиях, на курсах, заседаниях, а в промежутках между ними работал дома: писал стихи, переводил, редактировал чужие переводы. Правда, совсем плохо стало с бумагой, и книги в начале 1921 года практически не выходили. Вышел только первый выпуск альманаха «Дом искусств», который сообщал, что трагедия Гумилёва «Отравленная туника» и пьеса «Охота на носорога» не напечатаны. Этот же альманах опубликовал стихотворение «Заблудившийся трамвай».

Но это обстоятельство не могло остановить поэта. Он начинает выпускать в свет рукописные издания. Так родился рукописный журнал Цеха поэтов «Новый Гиперборей» в пяти

экземплярах с рисунками авторов. Одновременно Гумилёв работает над курсом лекций «Теория поэзии», пишет вступление к курсу и первую часть — «Фонетику», готовит материал для составления курса «Драматургия». В отпечатанном на гектографе первом номере журнала «Новый Гиперборей» появились стихи Гумилёва «Шестое чувство», «Слоненок», «Перстень».

Николай Степанович продолжает читать лекции по теории поэзии начинающим литераторам в Доме искусств. Дочь знаменитого в ту пору фотографа Ида Наппельбаум так описывала эти занятия в своих воспоминаниях, озаглавленных «Мэтр»: «…Поэтической студией при Доме искусств руководил Николай Степанович Гумилёв… Мы занимались в узкой, длинной, ничем не примечательной комнате. За узким длинным столом. Николай Степанович сидел во главе стола, спиною к двери. Студийцы располагались вокруг стола. Как-то так получилось, что места наши закрепились за нами сами по себе. Я сидела слева от мэтра первою. <…> Великолепные узкие руки с длинными тонкими пальцами. Я много раз наблюдала их игру. Садясь к столу, Николай Степанович клал перед собой особый, похожий по форме на большой очешник, портсигар из черепахи. Он широко раскрывал его, как-то особо играя кончиками пальцев, доставал папиросу, захлопывал довольно пузатый портсигар и отбивал папиросу о его крышку. И далее, весь вечер, занимаясь, цитируя стихи, он отбивал ритм ногтями по портсигару. У меня было ощущение, что этот портсигар участвует в наших поэтических занятиях. И я счастлива, что он сохранился у меня… Мы читали стихи по кругу. Разбирали каждое, критиковали, судили. Николай Степанович был требователен и крут. Он говорил: если поэт, читая свои новые стихи, забыл какую-то строку, значит, она плоха, ищите другую. Гумилёв мечтал сделать поэзию точной наукой. Своеобразной математикой. Ничего потустороннего, недоговоренного, никакой мистики, никакой зауми. Есть материал — слова — найди для них лучшую форму и вложи их в эту форму и отлей форму, как стальную. Только единственной формой можно выразить мысль, заданную поэтом. Беспощадно бороться за эту исключительную точность формы, ломать, отбрасывать, менять. <…> Вторая часть наших студийных занятий проходила во всевозможных литературных играх. Там мы часто играли в буриме. Были заданы рифмы, и каждый из студийцев сочинял строку по кругу, и должно было создаться цельное, смысловое стихотворение. Николай Степанович сам принимал активное участие в этих работах. Наши поэтические игры продолжались и после конца официального часа занятий. Мы рассаживались на ковре уже в гостиной;

примыкали к нам и уже „взрослые“ поэты из „Цеха поэтов“: Мандельштам, Оцуп, Адамович, Георг. Иванов, Одоевцева, Всеволод Рождественский — и разговор велся стихами. Тут были и шутки, и шарады, и лирика, и даже настоящее объяснение в любви, чем опытный мастер приводил в смущение своих молодых учениц…»

В начале 1921 года многие русские интеллигенты (кто тайно, а кто с разрешения властей) покидали советскую Россию и хотели что-то увезти с собой на память. В это время Николай Степанович договорился с магазином издательства «Петрополис» и стал составлять рукописные сборники своих стихов (так как бумаги для печати не было). Такие эксклюзивные сборнички хорошо продавались, и поэт имел возможность поддержать хоть как-то благосостояние своей семьи. В начале года Гумилёв составляет для продажи сборники «Fantastica», «Китай», «Французские песни», тетрадь из двух стихотворений «Заблудившийся трамвай» и «У цыган». Причем все эти сборнички поэт сам и иллюстрировал…

В промежутках между такой непроизводительной тратой сил поэт писал стихи, до 20 января он написал стихотворение «Вот гиацинты под блеском…», где в условиях разгулявшейся бесовщины бросает ей вызов, говоря о Боге и душе:

И вот душа пошатнулась,
Словно с ангелом говоря,
Пошатнулась и вдруг качнулась
В сине-бархатные моря.

И верит, что выше свода
Небесного Божий свет,
И знает, что, где свобода
Без Бога, там света нет.

20 января Николай Степанович снова составляет рукописный сборник, озаглавив его «Стружки», и включает в него стихотворения «Если встретишь меня, не узнаешь…», «Скоро полночь», «Измучен огненной жарой…», «Я молчу — во взорах видно горе…», «Вот гиацинты под блеском…», «Да, мир хорош, как старец у порога…», «Когда вступила в спальню Дездемона…». В предисловии Гумилёв объяснил происхождение названия: «„Стружками“ я называю стихи, не входящие по разным причинам в мои сборники. Названье это принадлежит Иннокентию Анненскому, однако он его ни разу не употребил печатно. Стихи эти как бы незаконные дети музы, однако отцовское сердце любит

их и отводит им ограниченную область жизни в этом сборнике». В конце поэт прибавил: «Книга эта переписана в одном экземпляре автором, рисунки принадлежат ему же. Изданье это повторено не будет».

24 января Н. Гумилёв вместе с М. Лозинским в Институте живого слова провел восьмое заседание студии поэзо-творчества, на котором разбирали стилистику.

26 января Николай Степанович был на общем собрании Литературного отдела в Доме искусств.

Февраль начался для Гумилёва со спора с Чуковским на заседании. И снова это был принципиальный спор о двух в*и*дениях поэтического творчества. Чуковский записывает в дневнике 2 февраля: «…Он доказывал мне, Блоку, Замятину, Тихонову, что Блок бессознательно доходит до совершенства, а он сознательно…» Чуковский его не понимал, зато его понимала молодежь, которой он и посвящал основное время.

7 февраля Гумилёв вместе с Лозинским проводит девятое заседание студии поэзотворчества на тему «Стилистика сравнения, параллелизмы и коллективное творчество».

14 февраля поэт подготовил еще один рукописный сборник «Персия», состоявший из стихотворений «Персидская миниатюра», «Пьяный дервиш», «Подражание персидскому», и снабдил его своими четырьмя рисунками.

В феврале (до 20-го числа) вышел такой долгожданный поэтом альманах Цеха поэтов «Дракон», где он поместил свою статью «Анатомия стихотворения». Небольшая по объему, тем не менее, она очень важна для понимания Гумилёва-поэта. Николай Степанович обозначил главные заповеди, которым должен следовать каждый уважающий себя стихотворец: «Среди многочисленных формул, определяющих существо поэзии, выделяются две, предложенные поэтами же, задумавшимися над тайнами своего ремесла. Формула Кольриджа гласит: „Поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке“. И формула Теодора де Банвиля: „Поэзия есть то, что сотворено и, следовательно, не нуждается в переделке“. Обе эти формулы основаны на особенно ясном ощущении законов, по которым слова влияют на наше сознание. Поэтом является тот, кто учтет все законы, управляющие комплексом взятых слов…»

Конечно, в «Анатомии стихотворения» звучат отголоски споров Гумилёва с Блоком и Чуковским, но статья несомненно давала очень ценные указания для молодых поэтов, ищущих свое место в поэзии и желавших быть не только подмастерьями, но и мастерами. Как и при создании теории переводов, поэт устанавливал высшую планку и говорил только о настоящей

Поэзии. В этом же альманахе Николай Степанович опубликовал «Поэму Начала» (1921) и стихи «Слово» и «Лес» (оба 1919).

Последнее стихотворение послужило поводом к разгоревшемуся вскоре скандалу между Гумилёвым и Голлербахом. В стихотворении были строки, прямо указывающие на Одоевцеву:

> Я придумал это, глядя на твои
> Косы — кольца огневеющей змеи,
>
> На твои зеленоватые глаза,
> Как персидская больная бирюза.
>
> Может быть, тот лес — душа твоя,
> Может быть, тот лес — любовь моя…

Вообще альманах был хорошо подготовлен и в тех условиях привлек внимание многих литераторов. Одни отнеслись благожелательно к появившемуся изданию. Но были и отзывы критиков «пролетарской культуры» типа Сергея Боброва, который написал о двух выпусках альманаха с позиций классовой ненависти («Печать и революция». 1921. № 2). Однако всех переплюнул в своем желании именно оскорбить Гумилёва Эрих Голлербах — тот самый, которому за бездарность Николай Степанович и другие члены приемной комиссии не дали рекомендации в Союз поэтов и про которого первый биограф Гумилёва П. Лукницкий сказал: «Голлербах подл до последней степени», вдруг разразился оскорбительным пасквилем с различными темными намеками на участников альманаха и на их личные отношения. 23 февраля 1921 года Голлербах, скрывшись за псевдонимом «Ego», в газете «Известия Петросовета» писал: «Есть в сборнике две дамы: М. Тумповская и Ирина Одоевцева. Обе умеют писать стихи и, вероятно, не хуже стихов вышивают салфеточки на столики и подушечки для диванчиков. Тумповская вышивает мечтательные и фантастические узоры, а Одоевцева любит „Гумилёвщину“ и разные мрачные шутки, вроде солдата, подсыпающего в соль толченое стекло, или могильщика Тома, которому „не страшно между могил, могильное любит он ремесло“… Просто и хорошо. Домашние, наверное, хвалят, не нахвалятся. „Вот она у нас какая. Стихи пишет, сам Гумилёв одобряет“. Кстати сказать, Гумилёв оповещает, что у поэтессы „косы — кольца огневеющей змеи“ (без змеи он не может, ему непременно подай не дракона, так змею) и „зеленоватые глаза, как персидская бирюза“. Наконец, в „Поэме начала“ Гумилёв

размахивается наподобие Гёте или Данте. Книга первая „Дракон“, песнь № 1,2, 3, всего двенадцать номеров. Поэма звонкая, легкокрылая, но явленная миру „посредине странствия земного“, она не может встать в ряд с лучшими достижениями автора и может быть истолкована не как поэма начала, а как поэма конца или, если угодно, как начало конца…» Сложилась парадоксальная ситуация: человек, не умеющий писать стихи, критиковал того, кто достиг подлинных вершин в поэзии. Скорее всего, злобная статья Голлербаха была местью за то, что Гумилёв отказался принять его в Союз поэтов.

Поэт, спокойно воспринимавший критику и различные подходы к поэзии, не мог снести личного оскорбления. В прежние времена, при законной власти, Голлербах заплатил бы за оскорбление кровью. При большевиках же всё решали в случае необходимости «тройки» ЧК — без суда и следствия. Николай Степанович, прочитав этот пасквиль, стал искать случая объясниться с Голлербахом.

22 февраля Гумилёв принял участие в заседании «Всемирной литературы», где были А. Блок, М. Лозинский, Н. Лернер, Е. Замятин, А. Волынский, Браудо, Крачковский. Решено было передать Гумилёву на просмотр две вступительные статьи М. Шагинян к «Истории тринадцати» и шести повестям Оноре де Бальзака. Присутствовавшие согласились с Николаем Степановичем и отдали М. Шагинян для редактирования «Мадемуазель де Мопэн» Теофиля Готье.

Гумилёв в феврале уже сменил Блока на посту председателя Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов и поэтому вынужден был писать «Письмо для зарубежной печати» в ответ на письмо в эмигрантской прессе группы русских писателей, которые обвиняли сотрудников «Всемирной литературы» в некомпетентности и сотрудничестве с советскими властями. Конечно, в той или иной степени можно согласиться со вторым утверждением (хотя и тут надо было уточнить, что под этим понимать), но с первым уж никак нельзя было согласиться. Во «Всемирной литературе» были тогда задействованы лучшие литературные силы, оставшиеся еще в России. И поэт, не покривив душой, написал объективный ответ. В этом же месяце Гумилёву как члену комиссии по академическим пайкам пришлось участвовать в их распределении. Анна Андреевна рассказывала П. Лукницкому, как это распределение происходило: «…Случай в Доме литераторов в революционные годы — баллы ставили для ученого пайка. Заседание было. Все предложили Н. Г. — 5, АА — 5, Н. Пунин выступил: „Гумилёву надо 5 с минусом, если Ахматовой — 5“. Н. С. был в Доме

литераторов, пришел на заседание, и все время до конца просидел. Постановили Н. Г. — пять с минусом, а АА — пять…» Как видим, Гумилёв был объективен до самоотречения. Известно, как трудно ему приходилось в те годы — ведь он, в отличие от Ахматовой, содержал большую семью. В этой связи совершенно неправдоподобно выглядит все то, что говорил Голлербах о их конфликте в своих полуграмотных посланиях в различные инстанции. 25 февраля Николай Степанович в столовой Дома литераторов столкнулся с пасквилянтом Голлербахом и у них состоялся резкий разговор.

Видимо, Голлербах решил приукрасить свой неблаговидный поступок, выставив поэта в дурном свете. В тот же день он пишет уже зарифмованный пасквиль, назвав его «Диалог между мной и Гумилёвым по поводу моего отзыва о „Драконе“».

По воспоминаниям Одоевцевой, Голлербаху удалось даже обмануть кого-то из «Всемирной литературы» и мнения литераторов в отношении происшедшего разделились. Голлербах сам вспоминал потом, что: «Разговор наш произошел при свидетелях… и вскоре по Петербургу начали циркулировать „свободные композиции“ на тему этого разговора». На следующий день, 26 февраля, он пишет открытое длинное и нудное письмо Гумилёву.

В письме Голлербах обещал извиниться перед ученицей Гумилёва, если она посчитала себя оскорбленной. Судя по воспоминаниям Одоевцевой, интриган так и не удосужился извиниться. Да и само письмо не было нигде опубликовано, и есть все основания полагать, что автор «забыл» отправить его по каким-то корыстным соображениям. Голлербах решает обратиться в суд чести при Петроградском отделе Всероссийского Союза писателей. Естественно, все факты Голлербах излагает со своей точки зрения, смещая акценты.

Конечно, ссора в эти последние месяцы жизни поэта отнимала у него много энергии, и невозможность ответить обидчику по всем правилам дворянской чести наверняка была тягостна для него. Тем не менее он продолжает заниматься и Цехом поэтов, и теперь уже Союзом поэтов, и своими многочисленными поэтическими студиями, и другой общественной жизнью в ожидании решения суда чести. В феврале на гектографе Гумилёв печатает журнал Цеха поэтов «Новый Гиперборей» в количестве двадцати трех экземпляров и помещает в журнале свое стихотворение «Перстень».

Но не все новости в это время были плохими. 1 марта Гумилёв получил удостоверение Союза поэтов на командировку в город Бежецк для чтения лекций. 5 марта он возвращается в

Петроград и выступает с докладом «Современность в поэзии Пушкина» на втором. Пушкинском вечере в Доме литераторов, а 9 марта присутствует на заседании профессионального Союза писателей при утверждении списка из семидесяти четырех литераторов, которым выделялся паек.

В марте Гумилёв снова увидел свою бывшую жену. Анна Андреевна пришла во «Всемирную литературу», чтобы получить билет Союза поэтов, который ей понадобился для предоставления в какие-то советские учреждения. Гумилёв был на заседании, и Анне Андреевне пришлось ждать. Вскоре он появился, извинившись за задержку и пояснив, что был занят с Блоком. Ахматова, желая его задеть, обронила: «Ничего… Я привыкла ждать!..» Поэт удивился и спросил: «Меня?» На что последовал холодный ответ: «Нет, в очередях!» Гумилёв подписал и вручил ей билет, поцеловал руку. Так они расстались.

Тем временем Голлербах продолжал свою закулисную борьбу, придумывая все новые и новые небылицы. 14 марта он пишет очередной пасквиль, зарифмовав его: «Поэт, умея врать не в меру, / Умей невежество скрывать!» — желая, видимо, испортить настроение Николаю Степановичу, который читал свои стихи на вечере Цеха поэтов в Доме искусств.

В это время Гумилёв предпринимает попытку составить полное собрание своих произведений. Это очень интересный факт, ведь практически мы знали бы волю поэта, что и как издавать из его наследия.

Зная о дефиците бумаги в государственных издательствах, он обратился в «Петрополис», но, видимо, и там получил отказ.

30 марта Гумилёв снова едет в Бежецк и проводит там вечер в здании бывшей женской гимназии на улице Рождественской — делает доклад о литературе, читает свои стихи и стихи членов Цеха поэтов.

И все же идея издать в «Петрополисе» свои произведения не оставляла поэта. По возвращении из Бежецка 11 апреля Гумилёв снова отправился в издательство, где повстречался с Михаилом Кузминым. А вечером в Доме литераторов Н. Гумилёв прочел доклад об акмеизме и стихотворение «Молитва мастеров», а также стихи из «Костра» и двух подготавливаемых новых книг.

В четвертом-пятом номерах «Вестника литературы» были опубликованы стихотворения Гумилёва «Души» (получившее позже название «Память»), а также «Молитва мастеров» и «Канцона» («И совсем не в мире мы…»). И опять появилась язвительная пародия Э. Голлербаха «Не в журнале ты совсем, а где-то…». Николай Степанович посчитал ниже своего достоинства отвечать на этот выпад.

Но Голлербах все не унимался. 19 апреля он снова пишет письмо, на этот раз члену суда чести Александру Блоку.

20 апреля Гумилёв проводит вечер Цеха поэтов в Доме искусств. Во вступительном слове он охарактеризовал творчество участников Цеха и прочел несколько своих стихотворений, в том числе «Звездный ужас» и «Молитву мастеров». 25 апреля в Большом драматическом театре под эгидой Дома искусств прошло последнее выступление Александра Блока.

Замечу, что Гумилёв как председатель Союза заботился не только о поэтах своего круга, но вообще обо всех талантливых писателях. Например, проявлял заботу о красноармейце Николае Тихонове, будущем крупном советском поэте.

27 апреля Николай Степанович ходатайствовал перед окружным военно-инженерным управлением об оставлении состоящего на службе поэта Н. С. Тихонова в Петрограде. Раз и навсегда признав Тихонова талантом, Гумилёв отстаивал его вне зависимости от убеждений того.

К сожалению, Блок таких взглядов не придерживался. Известно, что в преддверии суда чести над Гумилёвым с Голлербахом, как теперь принято считать, он написал одну из самых необъективных статей о Гумилёве и его литературном направлении. Словно по заказу Наркомпроса на свет появилась статья «Без божества, без вдохновенья».

Блоку даже изменило присущее ему чувство меры в разговоре с противниками. Он позволил себе писать в стиле Голлербаха: «Вообще Н. Гумилёв, как говорится, „спрыгнул с печки“; он принял Москву и Петербург за Париж, совершенно и мгновенно в этом тождестве убедился и начал громко и развязно, полусветским, полупрофессорским языком разговаривать с застенчивыми русскими литераторами о их „формальных достижениях“…» Бедный Александр Александрович забыл, как его выручал на выступлениях Гумилёв, что именно он, а не Николай Степанович пытается навязать свою точку зрения, и поэтому и в своей литературной статье (сам того не замечая) переходит на оскорбительный менторский тон. Прав был Есенин, когда писал: «Если тронуть страсти в человеке, / То, конечно, правды не найдешь». Блок делает «потрясающее открытие», что«… никаких чисто „литературных“ школ в России никогда не было, быть не могло и долго еще, надо надеяться, не будет…». Здесь можно согласиться с Блоком в одном: что действительно столь любезные еще в то время его сердцу большевики сделали так, что школ долго не было. А дальше больше — Блок обвиняет православного Гумилёва в том, что он не способен понять «спор славян между собою». Как будто Блок, а не Гумилёв написал

после 1918 года «Слово», «Память», «Шестое чувство» — шедевры русской словесности. Именно тогда, когда Блок жаловался, что музыка в его душе кончилась; когда, написав «Двенадцать», он практически стал отходить от литературных дел, Гумилёв воспитал и создал школу, новое молодое направление поэзии, давшее как в отечественной литературе, так и в эмигрантской плеяду прекрасных поэтов, доказав на деле, кто из поэтов был прав в споре, есть ли школы в литературе или нет. Блок же вместо завещания написал статью «Интеллигенция и революция» (1918), где призывал: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию». Блок, аналитик и мыслитель, на удивление, не может даже сформулировать свои «обвинительные речи»: «В стихах самого Гумилёва было что-то холодное и иностранное…» Но что же это «холодное и иностранное»? На этот вопрос великий русский поэт Александр Александрович Блок уже ответить не может и уходит к футуризму, объявив, что футуризм «был пророком… отразил в своем туманном зеркале своеобразный веселый ужас, который сидит в русской душе…». Каким пророком оказался футуризм — сегодня понятно и без комментариев. А акмеизм, вопреки утверждениям Блока, не оказался «заграничной штучкой», а, родившись в России (в отличие от привозного футуризма), произрос на ее благодатной почве, попутно впитав и мировую культуру, и дал большие всходы. Об этом говорят имена многих поэтов — последователей этого литературного направления: А. Ахматова, Г. Иванов, Г. Адамович, Н. Оцуп, В. Рождественский, М. Зенкевич… Перечислять можно долго.

Серьезный разговор Гумилёва о поэзии в его статье «Анатомия стихотворения» Блок пытается подменить общими рассуждениями. Выхватывая из текста Гумилёва цитату: «Поэтом является тот, кто учтет все законы, управляющие комплексом взятых им слов. Учитывающий только часть этих законов будет художником-прозаиком, а не учитывающий ничего, кроме идейного содержания слов и их сочетаний, будет литератором, творцом деловой прозы», Блок резюмирует: «Это жутко. До сих пор мы думали совершенно иначе: что в поэте непременно должно быть что-то праздничное; что для поэта потребно вдохновение (как будто Гумилёв где-то писал, что вдохновение не нужно и мешает поэту. — В. П.); что поэт идет „дорогою свободной, куда влечет его свободный ум“, и многое другое, разное, иногда прямо противоположное, но всегда — менее скучное и менее мрачное, чем приведенное определение Н. Гумилёва». В конце статьи Блок бросает обвинения, которые в условиях революции и закончившейся Гражданской войны,

красного террора звучат, по моему мнению, как политический донос не только на Гумилёва, но и на все его окружение: «Если бы они (акмеисты. — В. П.) все развязали себе руки, стали хоть на минуту корявыми, неотесанными, даже уродливыми и оттого больше похожими на свою родную, искалеченную, сожженную смутой, развороченную разрухой страну! Да нет, не захотят и не сумеют; они хотят быть знатными иностранцами, цеховыми и гильдейскими…» Возможно, именно такой статьи и ждали там, в ЧК, чтобы начать фабриковать дело о Петроградской боевой организации. Ведь уже через месяц и началась эта самая работа, приведшая к гибели Гумилёва и других петербургских интеллигентов.

Похоже, что Блок не смог смириться с тем, что молодежь пошла не за ним, а за Гумилёвым. 25 мая 1921 года он записывает в дневнике: «В феврале меня выгнали из Союза и выбрали председателем Гумилёва… Голлербах, его болтливые письма и скандал с Гумилёвым». Анна Ахматова тоже считала появление статьи местью Блока: «Скорее всего, появление статьи Блока объясняется попыткой Н. С. Гумилёва занять руководящее положение: его, а не Блока избрали председателем Союза поэтов. Ссора, однако, не была личной». Ахматова не права в одном: Гумилёв не пытался «занять положение», а занял его и повел за собой молодежь. Д. Выгодский, известный критик, писал в 1923 году в журнале «Книга и революция»: «Его (Гумилёва. — В. П.) роль в истории русской поэзии последнего десятилетия исключительно велика. Целый ряд молодых поэтов возник из скрещения его школы с теми поэтами, о которых мы говорили выше… Одним из лучших плодов этого скрещения является Николай Тихонов, воспринявший больше от стихии Гумилёва, чем от противуположной…» И в то же время Ахматова права в том, что ссора не была личной. Гумилёв уважительно и даже по-товарищески относился к Блоку. Евгений Замятин вспоминал один забавный случай весной 1921 года на одном из последних заседаний секции: «Открыто окно, трамвайные звонки, голоса мальчишек на высохшем тротуаре. И неизвестно почему — вдруг все смешно. Ни у Блока, ни у Гумилёва, ни у меня — нет папирос. Гумилёв у кого-то стащил и распределяет под столом. И я вижу, как у Блока исчезает какая-то тень на виске, дрожат губы от школьнического, неслышного смеха. И кажется ему смешным каждое слово в какой-то нелепой пьесе — читается пьеса — и он заражает своим смехом. Это был один из редких случаев, когда за эти годы я видел Блока — молодым. И, может быть, это был последний раз, когда я видел Блока. Потом шли вместе до Невского. Очень отчетливо, вырезанно, помню: слева, от

Николаевского вокзала, лезла на солнце туча, но солнце еще было, брызгало…»

29 апреля Гумилёв был вызван на суд чести с Э. Голлербахом. Случайно или преднамеренно, но день этот был пятницей на Страстной неделе. То есть Николая Степановича пытались оскорбить и как православного человека. Естественно, и другие православные члены суда чести сочли это оскорблением и не явились на такое кощунственное заседание. Суд решено было перенести на май.

Сам Голлербах сделал вид (или действительно совесть заговорила), что хотел помириться на Страстной неделе с Гумилёвым. 27 апреля он пишет ему письмо: «Николай Степанович. Пространственно-временные причины помешают мне прийти в ближайшее воскресенье к Вам и сказать, что Христос все-таки воскрес, несмотря на все козни, из коих опаснейший — бес вражды и самости. Позвольте же мне в день Воскресения сделать это мысленно и поцеловать вас трижды. Если можете, убейте в себе враждебное чувство ко мне. В дни Радости нечаянной теряют всякое значение нечаянные глупости, вроде, напр<имер>, рецензии на „Дракона“. К тому же, повторяю, она не злонамеренна. Э. Г.».

На письме сам Голлербах написал: «Не послал». Видимо, совесть его мучила недолго.

6 мая Николай Степанович отправился в гости к секретарю издательства «Петрополис» Надежде Александровне Залшупиной. Ее брат Сергей Залшупин был известным художником. Уже в 1923 году в Берлине он издал альбом портретов русских писателей: А. Блока, М. Горького, А. Белого и многих других. У Надежды Александровны бывали известные писатели, так как многие из них собирались печататься в издательстве «Петрополис». Гумилёв тоже успел представить издательству несколько своих рукописей.

Известно, что «Петрополис» взялся издавать его книгу «Огненный столп». К Залшупиным любил приходить Михаил Кузмин. Он часто бывал и в «Петрополисе» и, пользуясь расположением Якова Блоха, получал авансы под будущие книги. У Надежды Залшупиной Михаил Кузмин интересовался домашней библиотекой. О встрече у нее 6 мая Кузмин в дневнике записал: «К Залшупиным пошел один и очень хорошо сделал. Там была компаньица: Гум, Егорка и Пентегью[85]. Скучно, хотя книги очень хорошие, особенно немцы…»

Светская беседа, как правило, заканчивалась чаепитием и разговорами о том, какие тяжелые времена настали для литературы. Издательство собиралось печатать книги не только в России, но и в Берлине, и Гумилёв хотел воспользоваться

открывающейся возможностью.

17 мая всем участникам суда чести были разосланы повестки: «Правление Петроградского Отдела Всероссийского профессионального союза писателей уведомляет Вас, что 1-е заседание Суда Чести по делу членов Союза Голлербаха и Гумилёва назначено в воскресенье, 22 мая с. г., в 2 часа дня в Доме литераторов».

Неприятности ожидали Николая Степановича не только в литературном обществе, но и дома. В Бежецке обстановка стала нетерпимой. Аня — жена — взбунтовалась. Она не нашла общего языка со свекровью и требовала, чтобы муж забрал ее из Бежецка. Ей было скучно в провинциальном городке, и она закатывала скандалы, будучи всегда чем-то недовольной. Пришлось Гумилёву принимать оперативное решение. 18 мая он отправляется последний раз в Бежецк и забирает с собой в Петербург жену и дочь, а сына Льва оставляет у себя бабушка.

21 мая поэт вернулся в Петроград. Жить в большой квартире на Преображенской улице ему было тяжело, и Николай Степанович временно переселяется в Дом искусств. Весна была очень голодной, поэтому он принял решение определить дочь Леночку на время в детский дом (там хотя бы детей кормили), в котором заведующей была Татьяна Борисовна Лозинская — жена Михаила Лозинского.

На следующий день состоялся суд чести над Гумилёвым и Голлербахом. Блока на этом заседании не было, он слег, состояние его здоровья начало резко ухудшаться. Собранием была принята довольно расплывчатая формулировка. С одной стороны, статья Голлербаха признавалась «действительно резкой и способной возбудить неудовольствие Гумилёва». Но с другой — суд признал, что это не давало права Гумилёву вести себя вызывающе с Голлербахом. Странная логика: как будто можно сравнить растиражированное печатное слово и приватную беседу, пусть и в присутствии нескольких свидетелей.

Однако делать было нечего, оставалось вместе сосуществовать в совдеповском быту. Гумилёв, правда, с тех пор старался не замечать Голлербаха и перестал с ним здороваться.

23 мая Николай Степанович был в Доме искусств на вечере «Сегодня» со своей женой. Пришли как маститые писатели — А. Ремизов, К. Чуковский, так и молодежь — Л. Луни, М. Зощенко и другие. Всего собралось около ста пятидесяти человек. В этот же день Гумилёв познакомил Чуковского с Анной. Тому она явно не понравилась, о чем Корней Иванович и записал в дневнике: «… его жена Анна Николаевна, урожд. Энгельгардт, дочь того забавного нововременского историка литературы, к-рый

прославился своими плагиатами. Гумилёв обращается с ней деспотически. Молодую хорошенькую жену отправил с ребенком в Бежецк — в заключение, а сам здесь процветал и блаженствовал. Она там зачахла, поблекла, он выписал ее сюда и приказал ей отдать девочку в приют в Парголово. Она — из безотчетного страха перед ним — подчинилась…»

Конечно, это преувеличение. Поэт просто не знал, что ему еще предпринять, чтобы как-то свести концы с концами: нужно было не только кормить жену и дочь, но и помогать сыну и матери. А книги не выходили. И тут Гумилёву поспособствовала судьба. Во второй половине мая Осип Мандельштам познакомил его с Владимиром Александровичем Павловым, занимавшим должность флаг-секретаря при командующем морскими силами адмирале А. В. Немитце. Павлову исполнился двадцать один год, он был морским офицером из известного рода моряков, писал стихи и Николаю Степановичу понравился. Гумилёв даже приглашал несколько раз молодого поэта в гости. И вот в конце мая Павлов делает Гумилёву предложение, от которого тот не смог отказаться. (В эмиграции потом многие мемуаристы намекали, что Павлова специально подослали к Гумилёву, чтобы собрать на него компромат.) Однако в деле поэта, во всяком случае в предоставленных исследователям творчества Гумилёва материалах, ничего о нем не говорится.

По предложению Владимира Александровича Павлова, 30 мая Николай Степанович Гумилёв в поезде адмирала Немитца отправился в Севастополь. Лишенный возможности странствовать по свету, как в былые времена, поэт рад был малейшей возможности отправиться хоть в какое-то путешествие. К тому же он таил смутную надежду, что на юге сможет издать кое-что из своих рукописей, поэтому взял с собой, по всей видимости, отредактированный вариант книги «Шатер».

Незадолго до отъезда, 26 мая Николай Степанович вновь наносит визит Надежде Залшупиной и на этот раз дарит ей книгу У. Б. Йетса (с которым встречался в Англии). Надпись на книге гласила: «По этому экземпляру я переводил Графиню Кэтлин, думая лишь о той, кому принадлежала эта книга». Под автографом Николай Степанович нарисовал пальму, крокодила и солнце. Надежда Залшупина, по всей видимости, взяла у поэта и перевод пьесы, осуществленный Гумилёвым, но, к сожалению, текст был утерян. В этот же день Гумилёв вписал экспромт в альбом Надежды:

Надежда
Александровна,

Она,
Как прежде
Саламандра[86], мне
Дана.

Н. Гумилёв.

В условиях, когда «Всемирная литература», по сути дела, прекратила свою работу из-за отсутствия бумаги, поэт надеялся на частные издательства, с помощью которых рассчитывал поправить свои дела, передав им права на издания рукописей.

В Севастополе Гумилёв разыскал мать Анны Андреевны, и та сообщила ему печальную новость — его друг Андрей Горенко в эмиграции покончил жизнь самоубийством. Конечно, Инна Эразмовна, узнав о разводе Анны и Николая, опечалилась. Николай Степанович, чтобы ее успокоить, уверял, что Аня вышла замуж за «замечательного человека и теперь живет счастливо».

В Севастополе Гумилёв проводил время в обществе Павлова (жили они в вагоне) и еще одного офицера, с которым тот, видимо, его познакомил. Это был страстный почитатель поэзии Николая Степановича, сам писавший стихи и тоже выходец из известной морской семьи — Сергей Адамович Колбасьев, один из последних гардемаринов Морского корпуса (закрытого красными в марте 1918 года), участвовавший в Гражданской войне на стороне большевиков. Служил он на Балтике, потом в Астраханско-Каспийской военной флотилии и в 1920 году получил назначение в Черноморский флот, где воевал против Врангеля. Несмотря на «красное» настоящее, Гумилёв подружился с ним и даже посвятил ему строки в известном стихотворении «Мои читатели», которое он написал после 2 июля 1921 года:

Лейтенант, водивший канонерки
Под огнем неприятельских батарей,
Целую ночь над южным морем
Читал мне на память мои стихи…

Дочь Сергея Адамовича Г. С. Колбасьева вспоминала: «Они встретились в 1921 г. в Севастополе. Отец с юности увлекался поэзией, в частности, — поэзией Гумилёва, который был одним из его любимых поэтов. Именно Колбасьев помог Гумилёву выпустить первое, севастопольское, издание „Шатра“. Издание было осуществлено в рекордные сроки, очень маленьким тиражом, почти без редактуры, так что там было огромное количество опечаток. Книгу печатали на плохой бумаге, потому

что бумаги вообще не было, а для обложки использовали бумагу из-под сахарных голов…»

Ясно, что Гумилёв не мог получить за это издание гонорара, но ему очень важно было издать книгу хотя бы самым маленьким тиражом. В ней он как бы подвел итог своих поэтических признаний колдовскому континенту, куда ему при большевиках путь был заказан.

Если посмотреть на всё, что Гумилёв написал об Африке, то условно можно разбить эти произведения на три части. Первая часть — стихи, которые он писал в Париже в 1907 году, бродя по Ботаническому саду и тоскуя об Африке. Именно там появляются стихи-мечты, стихи-восторги и стихи-вздохи: «Озеро Чад», «Носорог», «Гиена», «Невеста Льва», «Жираф», «Ягуар» и «Зараза». Побывав в Абиссинии и изучив местный фольклор, Гумилёв написал четыре стихотворения, объединенные одним названием «Абиссинские песни» и еще три стихотворения «Африканская ночь», «У камина» и «Эзбекие». И, наконец, после всех этих поэтических опытов, которые можно назвать отдельными мозаичными осколками, поэт берется за большое полотно, которое должно сложиться в «царский» поэтический «Шатер». О сборнике африканских стихотворений Николая Гумилёва ходило много легенд, и до сих пор нет полной ясности, какой же вариант из изданий 1921 или 1922 года считать более поздней редакцией поэта. На эту тему спорили литературоведы не только у нас в стране, но и за рубежом. Совсем недавно, в 1996 году вышла довольно любопытная книга «Неизвестный Николай Гумилёв» Андрея Никитина, который провел исследование на эту тему и доказал, что издание 1921 года — более позднее по подготовке.

Вопрос этот не такой простой, как может показаться, так как поэт постоянно работал над стихами и менял не только отдельные слова, но и образы. Много писали и говорили о том, что «Шатер» заказной, «география в стихах и никакого отношения к его путешествиям не имел…» — как вспоминала А. А. Ахматова. Сохранился и план такого географически-поэтического сборника Гумилёва в Российском государственном архиве литературы и искусства. В нем восемнадцать названий: Египет, Триполи, Тунис, Алжир, Марокко, Сахара, Сенегамбия, Западный берег, Трансвааль, Родезия, Лесная область, Мадагаскар, озеро Виктория, Абиссиния, Сомали, Нил, озеро Чад, Красное море. По всей видимости, Гумилёв начал работать над африканским циклом осенью 1918 года, получив 24 сентября аванс от издательства «Петербург». Поэтому поэт и указал на титульном листе книги: «Стихи 1918 г.». Ахматова была не права, когда говорила, что «Шатер» не имел никакого отношения к

путешествиям поэта, поскольку в некоторых стихах есть документально точные детали, например в стихотворении «Галла» (1918):

Восемь дней из Харара я вел караван.

Правда, Гумилёв не во всех странах из перечисленных успел побывать и поэтому пополнял свои знания в библиотеках. Известные ученые-африканисты высоко оценивали «Шатер».

Книга (первое издание) содержит двенадцать стихотворений. Для Гумилёва Африка воплощала земной рай:

…О тебе, моя Африка, шепотом
В небесах говорят серафимы.

(«Вступление», 1918)

Поэт любит эту часть земли, он признается: «Обреченный тебе… я поведаю…» и верит, что за его любовь и правдивый рассказ ему будет место в этом раю, и он обращается к Богу:

И последняя милость, с которою
Отойду я в селенья святые:
Дай скончаться под той сикоморою,
Где с Христом отдыхала Мария.

(Там же)

Первое стихотворение книги — «Красное море». Поэт не раз бывал на нем, видел его ночью и днем. В «Шатре» он не просто описывает море, а дает отраженный взгляд своей души. Как живописно и емко звучит гумилёвское приветствие:

Здравствуй, Красное Море, акулья уха.
Негритянская ванна, песчаный котел!
На твоих берегах, вместо влажного мха,
Известняк, как чудовищный кактус, расцвел.

И в этих стихах появляется биографическая деталь — «акулья уха». Известно, что поэт участвовал в ловле акул и эта охота оставила глубокий след в его душе.

Море у Гумилёва наделено разумом и памятью, море — Бог и море — справедливый судья, оно по-царски казнит и милует мореходов:

И ты помнишь, как, только одно из морей,
Ты когда-то исполнило Божий закон,
Ты раздвинуло цепкие руки зыбей,
Чтоб прошел Моисей и погиб Фараон.

Третье стихотворение «Шатра» — «Египет» также навеяно живым воспоминанием поэта. Это гумилёвский неповторимый Египет, им одним подсмотренный и его душой открытый:

И такие смешные верблюды
С телом рыб и с головками змей,
Словно дивные, древние чуда
Из глубин пышноцветных морей.

Вот таким ты увидишь Египет
В час божественный трижды, когда
Солнцем день человеческий выпит
И, колдуя, струится вода.

Поэт видит лик «благосклонной Изиды», у него пирамиды думают, а Сфинкс охраняет древние святыни, ожидая «гостей из пустыни». Из мира сказочных сфинксов Гумилёв отправляется в современный ему Египет, где:

…поэты скандируют строфы,
Развалившись на мягкой софе…

В стихотворении совершенно неожиданный вывод: для кого существуют все эти чудеса природы? — оказывается, для того,

…Кто с сохою или с бороною
Черных буйволов в поле ведет.

И это фактически точно, ведь страна была крестьянской. И Гумилёв как истинный художник погрешить против истины не мог.

За «Египтом» следует «Сахара». Может быть, именно это стихотворение послужило Георгию Иванову поводом, чтобы потом написать анекдотический рассказ о Николае Степановиче, как он преодолевал Сахару. Увы, до нее поэт не добрался. Но тем не менее он сравнивает с Сахарой другие пустыни и приходит к

интересному выводу:

Все пустыни от века друг другу родны,
Но Аравия, Сирия, Гоби —
Это лишь затиханье Сахарской волны
В сатанинской воспрянувшей злобе.

Здесь Гумилёв подымается до апокалиптического толкования возмездия:

…И когда наконец корабли марсиан
У земного окажутся шара,
То увидят сплошной золотой океан
И дадут ему имя: Сахара.

Здесь стихи наполнены личностным «я» Гумилёва — это взрыв его души, это гнев поэта, это видение конца.

30 августа 1921 года появилась рецензия на «Шатер» все того же Голлербаха, озаглавленная едко: «Путеводитель по Африке» («Жизнь искусства», № 806). Комментировать набор бессвязных фраз человека, не имевшего никакого понятия об африканском континенте и малосведущего в поэзии, нет смысла.

Конечно, не все стихотворения сборника на одном уровне. «Судан» действительно напоминает географическую картину в стихах. Но совершенно по-другому звучат строки поэта, когда он пишет о тех местах, где он провел в общей сложности два года. Это — «Абиссиния», «Галла», «Сомали», «Экваториальный лес» и стихотворение «Суэцкий канал», не вошедшее в издание 1921 года.

Гумилёв признается в любви к «колдовской стране», и как проникновенно звучат его строки:

Как любил я бродить по таким же дорогам,
Видеть вечером звезды, как крупный горох,
Выбегать на холмы за козлом длиннорогим,
По ночам зарываться в седеющий мох…

(«Абиссиния»)

И как тоскует он в красном Петрограде и хочет вырваться туда, на абиссинский простор:

Есть музей этнографии в городе этом

Над широкой, как Нил, многоводной Невой,
В час, когда я устану быть только поэтом,
Ничего не найду я желанней его.

И видения охватывают поэта, он бредит южным палящим солнцем на берегах Невы и ему кажется:

…как в хижине дымной меня поджидает
Для веселой охоты мой старый слуга.

(Там же)

Как неправа была Ахматова — разве можно говорить о «географии в стихах», читая живые строки! Поэтическим дневником можно считать и стихотворение «Галла». Гумилёв и тут, не отходя от реальных событий, сумел выйти на уровень настоящей поэзии:

Вечерами я слышал у входа пещер
Звуки песен и бой барабанов,
И тогда мне казалось, что я Гулливер,
Позабытый в стране великанов…

В стихотворении «Готтентотская космогония» поэт создает миф о птице, что вздумала сравниться с Богом и была покарана — «И обрек ее на несчастье, / Разорвал ее на две части». Если задуматься о том, в каком году написано стихотворение, то станет ясно, что верхняя часть, что «Пела Богу про Божье дело», — это творцы жизни, поэты, они оправданы и любимы Богом. Они должны перепеть нижнюю, злую часть «бушменов» (то есть большевиков) и возродить свою землю.

Нельзя не сказать об «Экваториальном лесе». Это стихотворение-притча о печальной участи человека, дерзающего познать неведомое в природе, вторгнуться в нее. Лес выступает здесь как карающее существо Всевышнего. Гумилёв всегда находил необычную форму для раскрытия своего замысла. Так, умирающий француз, вторгшийся в жизнь полудикого лесного племени, говорит в бреду своему слуге, карлику, важные слова: «…Не бери человечьего мяса, / Всемогущие боги его не едят…» Но карлик, местный людоед, предпочитает вернуться в лес. Француз же хоть и вырвался из леса, но погиб. Гумилёв сталкивает две стихии: мир цивилизации и мир первозданной природы и показывает, как первый беспомощен перед вторым.

В первый выпуск «Шатра» не попало замечательное стихотворение «Суэцкий канал», напечатанное только в 1922 году в Ревеле. Это самое светлое лирическое воспоминание поэта о днях путешествий:

Стаи дней и ночей
Надо мной колдовали,
Но не знаю светлей,
Чем в Суэцком канале…

Пророчески звучат последние строки севастопольского «Шатра»:

Из большой экспедиции к Верхнему Конго
До сих пор ни один не вернулся назад.

(«Экваториальный лес»)

Гумилёв сумел, ведя разговор об Африке, высказать свою боль о России, попавшей под гнет большевиков. Не поняли современники тайнописи поэта. Об этом говорят появившиеся рецензии.

Книга вышла с посвящением: «Памяти моего товарища в африканских странствиях Николая Леонидовича Сверчкова». Николай скончался от последствий ранения, полученного на фронте в 1919 году в Екатеринодаре. Гумилёв тяжело переживал смерть племянника.

С. А. Колбасьев предложил Гумилёву пройти морем на военном корабле в Феодосию. В это время из Коктебеля в Феодосию направился и Максимилиан Волошин. Там, в Феодосии, в конторе Центросоюза, расположенной на территории порта, состоялась последняя встреча двух поэтов, поссорившихся когда-то из-за клеветы женщины.

«Я давно думал о том, что мне нужно будет сказать, если мы с ним встретимся, — вспоминал впоследствии Волошин. — Поэтому я сказал: „Николай Степанович, со времени нашей дуэли прошло слишком много разных событий такой важности, что теперь мы можем, не вспоминая о прошлом, подать друг другу руки“. Конечно, благородный Гумилёв протянул руку своему вчерашнему противнику. В это время Николая Степановича окликнули: „Командир вас ждет, миноносец сейчас отваливает“».

О том, как эта встреча повлияла на Волошина, писал Сергей Маковский в книге «Портреты современников»: «Умер

Максимилиан Александрович… 11 августа 1932 года, 59 лет от роду. <…> Какие несхожие люди и поэты: Волошин — Гумилёв… Противоположные и характерами и складом души. Обоих погубила революция, но как непохожи их смерти! Застреленный в затылок Гумилёв в подвале Чека, сам себе напророчивший страшную гибель… и Волошин, медленно умиравший много лет… Еще в 1921 году, лежа на койке феодосийской больницы, тяжело болевший поэт написал стихи „На дне преисподней“, посвятив их памяти Блока и Гумилёва»:

С каждым днем все диче и все глуше
Мертвенная цепенеет ночь.
Смрадный ветр, как свечи, жизни тушит.
Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь.
Темен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.
Может быть, такой же жребий выну:
Горькая детоубийца — Русь,
И на дне твоих подвалов сгину,
Иль в кровавой луже поскользнусь.
Но твоей голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь…
Доконает голод или злоба, —
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с Тобой
И с Тобой, как Лазарь, встать из гроба.

Правда, не все верили в примирение двух поэтов. Так, Анна Ахматова говорила Павлу Лукницкому: «Волошин по отношению к Гумилёву, а после смерти Гумилёва — к его памяти, должен был держаться крайне осторожно и, казалось бы, стремиться загладить свой поступок. И вместо этого Волошин двуличничает до сих пор: пишет (после смерти Гумилёва) о пощечине, которую дал ему, и посвящает ему посмертное стихотворение. Перемывает… косточки о „Жиль де Реце“, рассказывает ложный вздор о примирении Гумилёва с ним в 21 году и т. д. и т. п. Примирения не было: Лозинский рассказывает, что Гумилёв на его вопрос, действительно ли он помирился с Волошиным, коротко ответил: „Мы при встрече пожали друг другу руку“. Если Волошин думает, что, встретившись с ним в 21 году — через десять лет после дуэли — и не отведя руки в сторону, Гумилёв помирился с ним, — то это доказывает только наглость Волошина

и ничего больше».

По дороге домой Николай Степанович решил сделать остановку в Ростове-на-Дону, чтобы зайти в театр, поставивший «Гондлу». Директор театра С. М. Горелик так обрадовался приезду поэта, что собрал труппу и актеры специально для автора сыграли спектакль по пьесе.

Актриса театра Г. Н. Халаджиева, первая исполнительница роли Леры (позже жена Е. Л. Шварца), вспоминала: «…Летним вечером 1921 года в последний раз собрались в своем театре: сезон окончился, все получили отпускные. Мужчины пошли покупать продукты, а девочки остались. Вдруг в 9 часов вечера примерно входит страшный косоглазый человек в потертом пальто и, не здороваясь, спрашивает: „Как пройти к директору?“ Я указала. Через некоторое время выбегает С. М. Горелик: „Немедленно собрать всю труппу! Даем занавес!“ — „Но мы же уже в отпуске!“ Собрались только к часу ночи. В зале сидели двое: Н. С. Гумилёв и С. М. Горелик. Все актеры дрожали. Но спектакль прошел хорошо. Часа в 2 ночи Гумилёв уже уезжал, и его пошли провожать все. — „Спектакль мне во как понравился (жест под подбородок). Хотите стать петроградским театром? Я буду вашим директором. Ну, как? Едете?“»

Ну кто же откажется перебраться из провинции в Питер? Конечно, все обрадовались такой перспективе и начали готовиться к отъезду. Николай Степанович не шутил, когда предложил театру переехать. Он как руководитель творческого Союза и известный поэт решил добиваться, чтобы в Петербурге появился театр, ставивший его пьесы. Возможно, он мечтал и о постановке «Отравленной туники», которая так и не была напечатана. Но все получилось как в современном фильме ужасов: театр переехал, когда Гумилёва уже не было в живых. А вскоре и «Гондлу» запретили.

Из Ростова поэт направился в Москву, где собирался выступать как глава Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов. 2 июля Гумилёв был в Москве, и пока поезд стоял на запасном пути, он выступал в новой столице. Был он и в московском кафе имажинистов «Домино» на углу Тверской и Георгиевского переулка, где снова встретился с Ольгой Мочаловой.

Здесь же у Гумилёва произошла интересная встреча. Николай Степанович увидел в фойе человека с черной бородой в кожаной куртке и галифе, который читал его стихи. Он подошел, и они познакомились. Оказалось, что это известный чекист Яков

Григорьевич Блюмкин, убивший 6 июля 1918 года германского посла Мирбаха. В написанном после этого вечера стихотворении «Мои читатели» поэт уделил ему несколько строчек:

Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи…

После окончания вечера Н. Гумилёв вместе с И. Одоевцевой, Ал. Чеботаревской, Ф. Сологубом, Н. Бруни пошли на ужин к бывшему руководителю «Бродячей собаки» Борису Пронину.

На другое утро Гумилёв зашел за Ольгой Мочаловой на Знаменку, где та жила у своих родственников Мониных, и они отправились гулять по Москве. Поэтесса вспоминала: «…Долго ходили по улицам и вышли к запасным путям Петроградского вокзала, где стоял его поезд, назначенный к отправке через два дня… Вагон был пуст, в купе мы остались вдвоем. Пили вино. „В юности я выходил на заре в сад и погружал лицо в ветви цветущих яблонь. То же я испытываю теперь, когда вы в моих руках“. „Вы ничего не умеете“. „Жажда вас не иссякает, каждая женщина должна этим гордиться“. Свобода действий ведет к свободе высказываний. Он говорил о французских приемах, о случаях многократных повторений. Хвастал, что вот приехал в Москву, взял женщину. Мне не нравилось. Был в смятенном настроении. Что делать дальше? Писать стихи и только — уже нельзя. Быть ученым? Археологом? В купе было большое зеркало, в нем промелькнули наши образы рядом. Помню свои строки:

„В зеркале отразились
Высокий, властительный он
И девушка, как оруженосец,
С романтической бурей волос“.

„В вас прелестная смесь девического и мальчишеского“. „Руки как флейты“. <.»> Просил простить, что не может проводить обратно. Да я не хотела… <…> Он выступал в Доме Герцена (теперь это Литературный институт им. А. М. Горького, Тверской бульвар, 25. — В. П.) и не имел успеха у тамошней публики. «Третьестепенный брюсёнок», — отзывался о нем тогдашний лит. заправила Василий Федоров. «„Поэт для обольщения провинциальных барышень“, — судила Надежда Вольпин. Он многим не нравился».

6 июля Гумилёв возвращается в Петроград, где за время его отсутствия вовсю шло формирование обвинительного дела против него.

Блок почувствовал себя очень плохо, и 17 июня состоялся консилиум врачей во главе с профессором, заведующим терапевтическим отделением Петром Васильевичем Троицким, который констатировал: «Мы потеряли Блока». Официальный диагноз — «острый эндокардит, психастения».

2 июля Александр Александрович написал Н. А. Нолле-Коган в Москву: «Мне очень трудно писать, потому, что я не выхожу из постели, где лежать не могу никогда, а только сижу. Вся главная моя болезнь — сердечная. Температура не падает. Постоянно задыхаюсь, не вижу почти никого. Исходя из этого острого состояния, не вижу тоже». Блок, похоже, смирился с тем, что умирает.

Хотя Александр Блок считался лояльным к власти как автор поэмы «Двенадцать», большевики тем не менее не простили ему именно «Двенадцати». Многие современники не понимали, что же написал Александр Александрович («белые» осуждали, «красные» хвалили).

Даже защищавший поэта на публике Гумилёв считал, что «Двенадцатью» Александр Александрович вторично распял Христа и еще раз расстрелял Государя Императора. Но правда была в том, что Блок как истинный художник создал историческое полотно и будто напророчил:

— Ох, Матушка-Заступница!
— Ох, большевики загонят в гроб!

Есть многие свидетельства, что большевики не простили поэту этого пророчества. По одной из версий, описанной писателем Владимиром Солоухиным, его отравили чекисты медленно действующим ядом: «Ходатайство Горького и Луначарского (о разрешении Блоку выехать за границу для лечения. — В. П.) рассматривалось на Политбюро 12 июля. Под председательством В. И. Ленина. Решили: за границу Блока не выпускать. Я надеюсь, что люди, читающие эти строки, уже догадываются, чего боялись Менжинский и Ленин, а вслед за ними, возможно, лишь идя у них на поводу, и члены Политбюро. Не нелояльности Блока, не его выздоровления. Полагаю, Менжинский и Ленин знали, что Блок не выздоровеет, что дни его сочтены. Они, как вы наверное догадываетесь, боялись, что европейские медики ПОСТАВЯТ ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ И ОБНАРУЖАТ И ОБЪЯВЯТ ВСЕМУ МИРУ, ЧТО БЛОК ОТРАВЛЕН.

Это единственное реальное объяснение чудовищному решению Политбюро не пускать Блока за границу и вообще всей этой волоките и проволочке…»[87]

Гумилёв сразу же по возвращении из Москвы приступил к работе, как будто чувствовал, что времени у него остается все меньше и меньше. В июле счет шел уже на недели и дни.

Приехавший в Петроград С. А. Колбасьев принял участие в работе Дома поэтов на Литейном. Во главе его стоял Гумилёв как председатель отделения Союза поэтов, а секретарем была мать Колбасьева — Эмилия Петровна.

Николай Степанович узнал, что дела во «Всемирной литературе» все так же плохи. Бумаги не было, типография стояла. В это время он составлял рукопись новой книги стихов «Посредине странствия земного». Выпуск так и не был осуществлен. До сих пор существуют разные мнения по поводу этого названия: будто бы это первоначальное название книги «Огненный столп» или той, которая вышла уже после смерти поэта. В это же время, не надеясь на издание в России, Гумилёв передает Оргу в июле на квартире Немировича-Данченко рукопись «Шатра» для издания в Ревеле в издательстве «Библиофил».

В это время состоялась одна из последних встреч Гумилёва с Ахматовой. В начале июля Анна Андреевна зашла во «Всемирную литературу», и В. А. Сутугина вручила ей письмо от матери. Анна Андреевна, волнуясь, открыла конверт. Три года не было никаких известий от родных и вдруг письмо. Новости были печальными. Инна Эразмовна сообщила дочери о смерти ее любимого брата Андрея. Подробности, писала она, расскажет Николай Степанович. Анна Андреевна спросила Сутугину, вернулся ли Гумилёв, и попросила передать ему, чтобы он зашел.

Ахматова жила тогда на Сергиевской улице, 7 с Шилейко. Николай Степанович не бывал там, так как Шилейко ревновал Анну даже к стихам Гумилёва. Потому он взял с собой Георгия Иванова. Павел Лукницкий записал рассказ Ахматовой об этом последнем продолжительном свидании: «9 июля… АА. сидит у окна и вдруг слышит голос: „Аня!“ АА очень удивилась: она знала, что В. К. Шилейко в Царском Селе, а больше кто мог ее так звать? Никто. Взглянула в окно — увидела Николая Степановича и Георгия Иванова. Впустила их к себе. Николай Степанович… рассказал АА о встрече с Инной Эразмовной, с сестрой АА, о смерти брата АА — Андрея Андреевича… И. Э. и сестру Николай Степанович увидел в Крыму… Звал на вечер в доме Мурузи. АА отказалась, сказала, что она вообще не хочет выступать, потому

что у нее после смерти брата совсем не такое настроение. Что в вечере Петрополиса она будет участвовать только потому, что обещала это, а зачем ей идти в дом Мурузи, где люди веселиться будут и где ее никто не ждет… Николай Степанович был очень сух и холоден с АА.… Упрекал ее, что она нигде не хочет выступать… АА обиделась на него, что он с Жорой пришел (потом АА, уже после, сообразила, что он, м. б., пришел не один, а с Г. Ивановым, потому что он не знал об отсутствии Шилейко, о том, что Шилейко в Царском Селе). АА говорила Николаю Степановичу о Гржебине, жаловалась на него (АА судилась с Гржебиным). Николай Степанович ответил про Гржебина — „Он прав“. Даже Г. Иванов заступился тогда за АА, сказав: „Он не прав уже потому, что он Гржебин…“ О Гржебине говорили, уже прощаясь. АА повела Николая Степановича и Г. Иванова не через 3-й этаж, а к темной (потайной прежде) винтовой лестнице, по которой можно было прямо из квартиры выйти на улицу. Лестница была совсем темная, и когда Николай Степанович стал спускаться по ней, АА сказала: „По такой лестнице только на казнь ходить…“»

Сегодня это звучит как предсказание. Она, словно бы притягивая к себе темные, потусторонние силы (пусть и невольно), напророчила казнь, может быть, сама того сразу не осознав. Многие годы спустя, в 1958 году, Анна Андреевна, вспоминая, может быть, эту встречу, напишет:

От меня, как от той графини,
Шел по лестнице винтовой,
Чтоб увидеть рассветный, синий,
Страшный час над страшной Невой.

На вечере в издательстве «Петрополис», который состоялся 10 июля 1921 года, они разминулись. Гумилёв ушел раньше, чем пришла Анна Андреевна.

12 июля у Гумилёва произошла встреча с двоюродным братом Блока — Г. П. Блоком, который 23 июля 1921 года напишет одному из недругов Гумилёва Б. А. Садовскому: «Понравилось мне в нем, что об Александре Александровиче он говорил хорошо: „Я не потому его люблю, что это лучший наш поэт в нынешнее время, а потому что человек он удивительный. Это прекраснейший образчик человека. Если бы прилетели к нам марсиане и нужно было бы показать им человека, я бы только его и показал — вот, мол, что такое человек“».

Голлербах вспоминал, как Гумилёв ему говорил о Блоке: «Он

лучший из людей. Не только лучший русский поэт, но и лучший из всех, кого я встречал в жизни. Джентльмен с головы до ног. Чистая, благородная душа. Но — он ничего не понимает в стихах, поверьте мне».

20 июля Николай Степанович был на чрезвычайном собрании действительных членов Дома литераторов.

На следующий день поэт подписал «Шатер» возлюбленной цыганской певице: «Моему старому и верному другу Нине Шишкиной в память стихов' и песен».

23 июля к Гумилёву домой пришла М. Шагинян и попросила одолжить пятьдесят тысяч рублей. Николай Степанович деньги ей вручил, хотя и у самого с финансами были большие проблемы.

В один из июльских дней на занятия в поэтическую студию Дома искусств Н. Гумилёв принес свою новую книгу «Шатер» и начал раздавать студистам. Ида Наппельбаум, участница поэтической студии Гумилёва, вспоминала: «…Летом

1921 года Николай Степанович, сияющий, принес нам свою новую книжку стихов. Маленькая, серенькая невзрачная книжка. „А надписывать буду на следующем занятии“, — сказал он. В следующий раз я пришла в студию из Института Истории Искусств, а Фредерика (сестра Иды. — В. П.) — из Университета. Она, как и все остальные, принесла книжку. А я нет. Забыла взять ее из дому. Помню, как екнуло у меня сердце от огорчения. „Ну что вы! — сказал Николай Степанович, стоя со мной после занятий у парапета реки, — ведь я приду к вам послезавтра на день рождения и там надпишу. И это будет мой вам подарок“…» Но, увы, Гумилёв больше не пришел.

Софья Эрлих вспоминала: «…я видела Николая Степановича еженедельно, в конце 20-го и в начале 21-го годов. Я занималась в студии „Звучащая раковина“ и видела и слышала рядом с собой великого поэта нашей эпохи. Каждый день моего пребывания на занятиях я ощущала как счастье. Это самое светлое, что у меня было, что согревало меня в самые холодные дни. Весь облик Николая Степановича я бережно храню в памяти, и как помню его — расскажу. Высокий, выше среднего роста, худощавый, очень легкая походка. Голос необыкновенный, особого тембра, слегка приглушенный, поставленный от природы. Очень скупые жесты, скупая мимика. Улыбка иногда немного ироническая. Необыкновенной красоты руки — руки патриарха с узкими длинными пальцами. Был исключительно сдержан, воспитан; это была глубокая воспитанность и благородная сдержанность. Были ему свойственны тонкость, деликатность и такт. Внешне всегда был предельно спокоен, умел сохранять дистанцию. Был изящен в подлинном смысле этого слова. Многим сумел дать заряд любви к

поэзии на всю жизнь. <…> Студия помещалась на Мойке, в бывшем особняке Елисеевых, при Доме Искусств, во втором этаже. За входной дверью в студию находилась проходная комната с тусклой лампочкой под самым потолком, ведущая в квартиру. В углу этой комнаты находился не очень большой стол, на котором часто полулежал Вагинов, опершись на правый локоть. Иногда в таком положении он читал свои стихи. Вагинов был в серой шинели, в коротких солдатских ботинках, в обмотках; у него были красные ознобленные руки. Из полутемного коридора узкая дверь направо вела в узкую длинную комнату с длинным столом, доходящим до самого окна на противоположной стене. Стол был грубый, с грубыми перекладинами между ножками. Николай Степанович сидел обычно спиной к двери, лицом к окну. Мое место было справа от Николая Степановича, вторым. Место Иды Моисеевны было слева, первым от Николая Степановича. Я не помню места всех, но помню, что слева располагались Ольга Зив, Вера Лурье, Александра Федорова. Вагинов сидел у самого окна, рядом с ним юная Люся Дарская, называвшая Николая Степановича „Дядя Гум“ и бесцеремонно забиравшаяся к нему на колени. Ирина Одоевцева в студии не занималась, она приходила, когда занятия заканчивались, на литературные игры. Николай Степанович обычно входил стремительной походкой, слегка приподнимая руку для приветствия, и начинал занятия. Все уже были на своих местах. Первое занятие, помню, Николай Степанович посвятил теоретическому обоснованию акмеизма. Говорил о трудности преодоления символизма именно как течения. Давал теоретическое обоснование акмеизму, говорил о его поэтике. Рассказал, что основной акмеистический тезис — это безоговорочное принятие мира. <…> После занятий все читали по очереди свои стихи. Николай Степанович был снисходителен, но не любил и не прощал длинноты, погрешности в размере. Не любил затасканные эпитеты и рифмы. Говорил — что пошло в ход, что пошл***о*** — то п***о***шло. Приводил иногда какие-нибудь строчки и просил нас указывать, какой размер, какие рифмы, есть ли цезуры, аллитерация, ассонансы, внутренние рифмы, охарактеризовать ритм. А иногда, наоборот, просил подбирать стихи на определенное задание. Иногда давал заданные рифмы — „буриме“, и мы должны были писать стихи на эти рифмы. Много было очень интересных занятий. <…>

Пушкина вообще любил и часто цитировал. Полушутя говорил, что достаточно его оценки — хороши стихи или плохи. Из поэтов чаще всего упоминал, кроме Пушкина, Иннокентия Анненского, Тютчева. Очень любил Фета (Ахматова, однако, утверждала, что он его не любил. — В. П.) и подчеркивал, что

лучшую свою лирику он написал в семьдесят лет. <…>

Очень любил и хорошо знал французскую поэзию. Часто отводил занятия для знакомства с так называемыми современными течениями. Упоминал Верлена, Бодлера, Маларме, Леконта де Лиля, Шарля Вильдрака. Терпеть не мог Надсона, едко его критиковал. Не любил Бальмонта и Вертинского. Не любил гитару и стихи, переложенные на песни…»

Еще одна студистка Вера Лурье писала: «Гумилёв был монархистом, абсолютным противником советского режима. Однажды, выступая в „Доме искусства“ с рефератом по искусству, Гумилёв обратился к публике „господа“. Встает какой-то гражданин и заявляет: „Господ больше нет, есть только товарищи и граждане“. Презрительно посмотрев на гражданина, Гумилёв ответил: „Такого декрета еще не было“. Доклады и семинары Гумилёва были всегда очень интересными. Студисты писали стихи, читали их на семинаре, обсуждали, а потом сам Гумилёв разбирал эти стихи и давал им свою оценку. Я посвятила Гумилёву несколько, по-моему, совсем неплохих стихов. Чудесное было время. Из глубины памяти вновь возникают перед глазами картины прошлого. Мы сидим за длинным столом. Морозная зима. Открывается дверь, и закутанный в шубу, в меховой шапке, входит Гумилёв. Медленно снимает сначала шубу, потом шапку, садится на свое председательское место, достает черепаховый портсигар, закуривает — и занятия начинаются…»

24 июля в помещении недавно открытого клуба Союза поэтов в доме Мурузи на Литейном проспекте, 24, состоялось общее собрание Союза поэтов, на котором обсудили работу президиума за период со дня избрания.

25 июля Николай Степанович читал лекцию в Доме искусств. На следующий день на двух полосах «Петроградской правды» был опубликован с купюрами доклад ВЧК о раскрытии и ликвидации заговоров в России, где были даны первые сведения о Петроградской народной боевой организации (ПБО) как составной части Областного комитета Союза освобождения России. Читал ли поэт это сообщение, не подсказало ли ему сердце, что пора бежать из «красного ада», что это над его головой занес палач топор? История хранит молчание.

В июле к нему приходил молодой поэт Борис Верин (возможно, провокатор) и предлагал вступить в заговор, тогда, когда уже вовсю шло фабрикование дела боевой организации. Нет, поэт не клюнул на эту провокацию. Но чекистам это было и неважно. Сценарий «заговора» уже был написан.

27 июля Николай Степанович в Союзе поэтов читал свои стихи. Вечером в доме Мурузи мэтр проводил очередное

заседание Цеха поэтов, где впервые появилась Нина Берберова. Несколько дней знакомства с Гумилёвым позволили ей написать потом довольно злобные воспоминания о поэте, где она приводит якобы его слова: «Я сделал Ахматову, я сделал Мандельштама. Теперь я делаю Оцупа. Я могу, если захочу, сделать вас».

В последних числах июля Гумилёв председательствовал на собрании членов Союза поэтов и настоял на принятии решения о передаче руководства клубом поэтов — Цеху поэтов. Именно в этом клубе в последние дни июля — первые дни августа произошла последняя мимолетная и случайная встреча поэта и колдуньи. О чем они говорили, неизвестно, а может быть, просто обменялись прощальными взглядами.

В эти же дни в Петроград приехал режиссер Ростовского театра Семен Михайлович Горелик для решения переезда труппы из Ростова-на-Дону, и Гумилёв начинает хлопотать об устройстве нового театра.

В конце июля Гумилёв получил от А. Пиотровского рекомендательное письмо для поездки в Псков. Он планировал побывать в филиале Дома искусств в Холомках и Вельском Устье и наверняка посетить пушкинские места.

30 июля Николай Степанович во «Всемирной литературе» выписал членские карточки Союза поэтов Н. Тихонову и Н. Берберовой.

31 июля к Николаю Степановичу пришла жена брата Дмитрия — Анна Андреевна и принесла письма матери. Гумилёв гулял с ней по Преображенской улице, они заходили в Таврический сад. Поэт спрашивал, счастлива ли она с его братом за двенадцать лет совместной жизни. Читал ей свои новые стихи. Возможно, были среди них и те, что он написал в июле 1921 года «Трагикомедией — названьем „человек“…», «На далекой звезде Венере…» и «После стольких лет…». Во всех трех стихотворениях поэт говорит о смерти. Даже в считавшемся незаконченном стихотворении «Трагикомедией — названьем „человек“…» он пишет о XIX веке:

> Век, страшный потому, что в полном цвете силы
> Смотрел он на небо, как смотрят в глубь могилы…

В другом стихотворении «На далекой звезде Венере…», перефразируя стихотворение Рембо «Гласные», поэт снова пытается осмыслить (пусть и в немного ироническом тоне): а что там, за роковой чертой?

> …На Венере, ах, на Венере
> Нету смерти, терпкой и душной.

Если умирают на Венере —
Превращаются в пар воздушный…

В третьем стихотворении «После стольких лет…» поэт ведет разговор как бы на пороге смерти, впрямую пишет о том, что за ним уже следят:

После стольких лет
Я пришел назад.
Но изгнанник я,
И за мной следят…

Небольшое по размерам стихотворение, легкое по метру и ритму, на самом деле оно несет огромную удушающую волну печали. Поэт, все понимая, все предчувствуя, прощается с земной жизнью и с той, у которой тоже «смерть в дому». С его ушедшей любовью, которая осталась невыпитой. Бокал был наполнен до краев, нужно было только протянуть руку и взять этот священный сосуд, но одно неосторожное движение и — выплеснут напиток… И теперь та, которая расплескала себя и свою любовь, и он, понимающий это, скорбят, ибо изменить уже ничего нельзя. Кто же эта невыпитая любовь? Да все та же Аня Горенко, русалка Царского Села, колдунья из города Киева, «из логова змиева» и вечная его любовь-ненависть, которую он потерял в этой жизни навсегда. Но есть другая жизнь — после смерти — и там будет всё по-иному, нужно только верить:

Смерть в дому моем
И в дому твоем.
Ничего, что смерть,
Если мы вдвоем…

(«После стольких лет…», июль — нач. августа 1921)

Может быть, именно после встречи в клубе поэтов с бывшей женой Николай Степанович и написал эти пронзительные строки любви и прощания с земной жизнью.

Глава XX ПО ДОРОГЕ ИЗ «КРАСНОГО АДА» В ВЕЧНОСТЬ

Задолго до ареста Гумилёв сам подписал себе смертный приговор, вернувшись из Парижа в «логово красного зверя». Это было самоубийство, но он отвоевал тяжелое право: «самому выбирать свою смерть…».

5 декабря 1920 года глава ВЧК Феликс Дзержинский разослал в губернии приказ ЧК с грифом «Совершенно секретно». В нем «палач русского народа» требовал от своих подручных «устраивать фиктивные белогвардейские организации в целях быстрейшего выяснения иностранной агентуры…». Жизнь человека с этого момента обесценилась до нуля. Достаточно было желания органов, и «белогвардейцем» мог стать любой. Охотой на русских писателей и их уничтожением занимался один из самых циничных чекистов Яков Агранов. Его грязный след прослеживается в подготовке убийств многих русских поэтов. В книге Станислава и Сергея Куняевых «Сергей Есенин» читаем: «… речь идет о поэте Лазаре Бермане — бывшем секретаре „Голоса жизни“… Кто же такой Лазарь Берман?.. После 1917 года он становится секретным сотрудником ВЧК-ОГПУ. В огромной мере — Берман давал показания как „связник“ между ним и „организацией“… Таганцева. Есть сведения, что в этих же показаниях он назвал имена Есенина и Маяковского как участников заговора. Если же мы вспомним, что „гумилёвское“ дело вел будущий близкий друг Маяковского Яша Агранов, то картина становится еще интереснее…»

Травля Гумилёва началась уже в 1918 году. Так, еще 7 декабря 1918 года в первом номере газеты «Искусство коммуны» была опубликована статья «Попытка реставрации» будущего мужа Ахматовой Николая Пунина, подвизавшегося на должности заместителя народного комиссара просвещения РСФСР. В этой статье он писал: «…Признаюсь, я лично чувствовал себя бодрым и светлым в течение всего этого года отчасти потому, что перестали писать или, по крайней мере, печататься некоторые „критики“ и читаться некоторые поэты (Гумилёв, например). И вдруг я встречаюсь с ним снова в „советских кругах“… этому воскрешению я в конечном итоге не удивлен. Для меня это одно из бесчисленных проявлений неусыпной реакции, которая то там, то здесь нет-нет да и подымет свою битую голову».

Выходец из Царского Села, Николай Пунин оказался мелким и завистливым человеком и опустился до политического доноса.

Господь отплатил ему той же монетой — этот искусствовед умрет в сталинских концлагерях.

Гумилёва неоднократно предупреждали о грозящей ему опасности. Друг Михаила Кузмина писатель Юрий Юркун прямо говорил поэту: «Николай Степанович, я слышал, что за вами следят. Вам лучше скрыться!» Но поэт-конквистадор не мог изменить своим принципам, ведь тогда бы он превратился в обыкновенного эмигранта. Осип Мандельштам вспоминал: «Я помню его слова: „Я нахожусь в полной безопасности, я говорю всем, открыто, что я — монархист. Для них (т. е. для большевиков) самое главное — это определенность. Они знают это и меня не трогают“».

Старший брат поэта, Дмитрий Гумилёв, вовремя выскользнул из захлопывающейся «мышеловки» ОГПУ. 1 августа 1921 года он вместе с женой тайно покинул Россию навсегда и уехал в имение Фрейнгангов в Эстонии, где и умер через три года в Режице от контузий и болезней, полученных во время войны.

Николай Степанович первые дни августа пребывал в тревожном состоянии духа, о чем вспоминали многие, видевшие его в те предроковые дни. Может быть, именно этим состоянием и можно объяснить написанное в это время стихотворение «Я сам над собой насмеялся…». Печальным, пронзительным светом озарены эти прощальные строки мэтра русской поэзии:

Я сам над собой насмеялся
И сам я себя обманул,
Когда мог подумать, что в мире
Есть что-нибудь кроме тебя.

Но свет у тебя за плечами,
Такой ослепительный свет.
Там длинные пламени реют,
Как два золотые крыла.

Тем самым поэт как бы замкнул все написанные им стихи в один светоносный цикл. Свет озаряющий, свет ослепляющий, он заставлял думать и творить. Ведь не зря именно в раннем стихотворении «Я в лес бежал из городов…» поэт тоже писал о свете:

Свет беспощадный, свет слепой
Мой выел мозг, мне выжег грудь…

Это и есть путь поэта от «света слепого» к «ослепительному свету», путь от мрака к свету, от дьявола к Богу.

Предчувствие смерти угнетало Гумилёва, полного сил и творческих замыслов. Он понимал, что совершается что-то глупое, странное и нелепое, чего он не в силах остановить. Он боялся не смерти, а состояния, когда нельзя будет творить, и скорбел об этом, и дух его был отягощен мрачными предчувствиями. 2 августа Николай Степанович читал лекцию в поэтической студии Дома искусств. После занятий, не желая оставаться один, он пригласил Нину Берберову прогуляться. Нина Николаевна вспоминала потом: «Когда я собралась уходить, он вышел со мной. Он говорил, что ему нынче тяжело быть одному, что мы опять пойдем есть пирожные в низок. И мы пошли, и вся его грусть в тот вечер, не знаю, каким путем, перешла в меня. Он долго не отпускал меня, наконец, мы вышли, и через Сенатскую площадь пришли к памятнику Петру Первому, где долго сидели, пока не стало темно. И он пошел провожать меня через весь город…»

Чувство тревоги не покидало Гумилёва. 3 августа Владислав Ходасевич уезжал в деревню и зашел к Николаю Степановичу около десяти вечера. Уже в эмиграции он писал об этом печальном вечере: «Мне нужно было еще зайти к баронессе В. И. Икскуль, жившей этажом ниже. Но каждый раз, как я подымался уйти, Гумилёв начинал упрашивать: „Посидите еще“. Так я и не попал к Варваре Ивановне, просидев у Гумилёва часов до двух ночи. Он был на редкость весел. Говорил много, на разные темы. Мне почему-то запомнился только его рассказ о пребывании в царскосельском лазарете, о Государыне Александре Феодоровне и Великих княжнах. Потом Гумилёв стал меня уверять, что ему суждено прожить очень долго — „по крайней мере до девяноста лет“. Он все повторял: „Непременно до девяноста лет, уж никак не меньше“. До тех пор собирался написать кипу книг…»

Веселость поэта была позой. Повторяя: «Непременно до девяноста лет…», Гумилёв будто заговаривал смерть и тем самым скрывал свои мрачные предчувствия. Именно 3 августа убийцы из ЧК оформили ордер № 1071, в котором предписывалось: «Произвести обыск и арест Гумилёва Николая Степановича, проживающего по Преображенской ул., д. 5/7, кв. 2 по делу № 2534 3 авг. 1921». В этот же день в указанной квартире по Преображенской улице чекисты устроили засаду на двое суток силами сотрудников секретного оперативного отдела Петроградской ЧК. На руки этот позорный документ получил чекист Мотивилов. Курировал дело по уничтожению и

запугиванию петербургской интеллигенции «мастер грязных дел» Яков Агранов.

Так в недрах ВЧК родился очередной дьявольский план по созданию подставной Петроградской боевой организации (ПБО). Собрали в эту мифическую «организацию» людей, которые никогда не встречались и даже порой не знали о существовании друг друга.

В 1921 году в поле зрения чекистов попал сын известного в России юриста, почетного академика Н. С. Таганцева — В. Н. Таганцев, профессор географии. К этому времени для многих оставшихся в России стало ясно, что режим диктатуры установился надолго. И тогда интеллигенция начала тайно покидать страну, бросая все.

3 мая 1921 года чекисты в Петрограде смертельно ранили подполковника В. Г. Шведова (Вячеславского). 30 мая 1921 года при переходе финской границы красной погранохраной был убит морской офицер Ю. П. Герман. В распоряжение ЧК в это время попадает письмо генерала Владимирова, названного парижским шефом ПБО. Теперь этих убитых белых офицеров для правдоподобия надо было связать с кем-то из живущих в Петрограде интеллигентов и провозгласить одного из них руководителем «заговора» с целью свержения советской власти. Для этой роли и подобрали слабовольного профессора Владимира Таганцева.

Таганцев оказался для чекистов просто находкой, так как занимал должность секретаря Сапропедевского комитета, куда обращались многие ученые. Тут-то он и превратился в крупного «заговорщика», связанного с самим бароном Юденичем. Теперь можно было арестовать его и устроить засаду на его квартире. Всех, кто появлялся, — брали и объявляли участниками «заговора». Схватили даже курьера известного академика С. Ольденбурга, принесшего рукопись с рецензией на «Двенадцать» Блока. Рукопись была признана контрреволюционной, курьер — заговорщиком, и его расстреляли. Кроме того, у убитого Ю. Германа (знакомого Таганцева) чекисты изъяли три листовки, в которых сообщалось о расстрелах рабочих и о том, что комиссары убивают крестьян.

Отец В. Н. Таганцева — знаменитый юрист и бывший либеральный сенатор Н. С. Таганцев написал ходатайство о сыне Ленину. Тот дал телеграмму с указанием дело пересмотреть. И тут озлобленная вмешательством чекистская машина начала крутиться на полных оборотах. Теперь к арестованным «заговорщикам» можно было «приписать» еще несколько сотен «агнцев» на заклание. И незначительный заключенный

В. Н. Таганцев с двумя убитыми офицерами превратились в руководителей «заговора». В число заговорщиков попал и неугодный новой власти поэт Николай Гумилёв.

Чекисты загребли в свои сети многих известных людей Петрограда: Раевского, Крузенштерна, Дурново, Голенищеву-Кутузову, князя С. А. Ухтомского, скульптора, сотрудника Русского музея (его обвинили в передаче за границу сведений о музейном деле). Пятидесятитрехлетнего профессора Н. Ф. Тихвинского с богатым революционным прошлым (был членом социал-демократической группы «Освобождение труда») арестовали за «дачу сведений в заграничную печать о состоянии нефтяного дела в Петрограде», где никакой нефти никогда не было. Медицинского работника Рафаилову, как и 60-летнюю Антипову, забрали за предоставление квартиры заговорщикам. Бывшего престарелого министра юстиции, сенатора и члена Государственного совета С. С. Манухина объявили заговорщиком, видимо, за прошлую службу при законной власти. В числе заговорщиков оказался известный ученый профессор Лазаревский и 67-летний выдающийся художник-архитектор, заслуженный педагог Л. Н. Бенуа, брат известного русского художника Александра Бенуа. Десятками арестовывались бывшие офицеры, профессора, юристы, солдаты, матросы и крестьяне. Видимо, для придания фабрикуемому делу устрашающего размаха.

Для того чтобы организовать громкий процесс и дело (всего фальсификаторы из ЧК собрали 382 тома и привлекли к уголовной ответственности 833 человека), нужно было добиться признаний от того, кого они назначили в вожди мятежа.

Владимир Николаевич Таганцев сорок пять дней молчал, огорошенный чудовищной ложью. Он верил в порядочность людей, занимавших государственные посты, и не учел иезуитских приемов ЧК. Я. С. Аманов обещал В. Н. Таганцеву, что если только он искренне расскажет обо всем, что ему известно о настроениях интеллигенции, то дело будет быстро и справедливо закончено. Тут же следователь подсунул Таганцеву бумажку: «Я, уполномоченный ВЧК Яков Саулович Агранов, при помощи гражданина Таганцева обязуюсь быстро закончить следственное дело и после окончания передать в гласный суд… Обязуюсь, что ни к кому из обвиняемых не будет применена высшая мера наказания».

Бедного Владимира Николаевича Я. С. Агранов заставил подписать соглашение: «Я, Таганцев, сознательно начинаю делать показания о нашей организации, не утаивая ничего… не утаю ни одного лица, причастного к нашей группе. Все это я делаю для облегчения участи участников нашего процесса». Это был договор

кролика и удава. Далее Владимир Николаевич Таганцев начал подписывать все бумажки, которые ему подсовывали следователи.

О Н. Гумилёве В. Н. Таганцев дал следующие показания: «Поэт Гумилёв после рассказа Германа обращался к нему в конце ноября 1920 г. Гумилёв утверждает, что с ним связана группа интеллигентов, которой он сможет распоряжаться, и в случае выступления согласна выйти на улицу, но желал бы иметь в распоряжении для технических надобностей некоторую свободную наличность. Таковой у нас тогда не было. Мы решили тогда предварительно проверить надежность Гумилёва, командировав к нему Шведова для установления связей. В течение трех месяцев, однако, это не было сделано. Только во время Кронштадта Шведов выполнил поручение: разыскал на Преображенской ул. поэта Гумилёва, адрес я узнал для него во „Всемирной литературе“, где служит Гумилёв. Шведов предложил ему помочь нам, если представится надобность в составлении прокламаций. Гумилёв согласился, что оставляет за собой право отказаться от тем, не отвечающих его далеко не правым взглядам. Гумилёв был близок к совет, ориентации. Шведов мог успокоить, что мы не монархисты, а держимся за власть сов. Не знаю, насколько мог поверить этому утверждению. На расходы Гумилёву было выделено 200 000 советских рублей и лента для пишущей машинки. Про группу свою Гумилёв дал уклончивый ответ, сказав, что для организации ему потребно время. Через несколько дней пал Кронштадт. Стороной я услышал, что Гумилёв весьма отходит далеко от контрреволюционных взглядов. Я к нему больше не обращался, как и Шведов и Герман, и поэтических прокламаций нам не пришлось ожидать».

Во-первых, надо было совсем не знать Гумилёва, чтобы говорить о его «советской ориентации»; во-вторых, сам Таганцев пишет, что Гумилёв ничего не сделал и к нему больше никто не обращался. Н. С. Гумилёв не мог участвовать ни в каком заговоре в силу того, что был трезвомыслящим человеком. Это подтверждают воспоминания хорошо знавшего его писателя В. Немировича-Данченко, которому поэт говорил: «На переворот в самой России — никакой надежды. Все усилия тех, кто любит ее и болеет по ней, разобьются о сплошную стену небывалого в мире шпионажа. Ведь он просочил нас, как вода губку. Нельзя верить никому. Из-за границы спасение тоже не придет. Большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда, — бросают кость. Ведь награбленного не жалко. Нет, здесь восстание невозможно. Даже мысль о нем предупреждена. И готовиться к нему глупо. Все это вода на их мельницу». И с горечью добавил: «И ведь будет же, будет Россия свободная, могучая, счастливая — только мы не

увидим». Нет оснований не верить Немировичу-Данченко и воспринимать серьезно не основанные ни на чем мемуарные измышления Ирины Одоевцевой и Георгия Иванова о том, что Гумилёв чуть ли не в пролетарской одежде ходил куда-то агитировать и прятал дома какие-то прокламации…

Чекисты начали искать адреса Гумилёвых в Петрограде. По ошибке арестовали какого-то Николая Сергеевича Гумилёва, проживающего по Морской. Арестами руководил чекист Мотивилов, который 2 августа пишет доклад в Петроградскую ЧК: «…установили, что г-н Гумилёв Ник. Степанович действительно проживает по Преображенской ул. д. 5/7, кв. 2. Основная профессия: профессор, служит преподавателем в Губполитпросвете».

В ночь с 3 на 4 августа Гумилёв Николай Степанович был арестован. По роковому стечению обстоятельств в этот же день по этому же делу был взят в первый раз и Н. Н. Пунин. Своему тестю Е. И. Аренсу из тюрьмы, размещавшейся на улице Шпалерной, 25, он писал 7 августа: «…При первом случае пришлите мыла, зубн. щетку и спичек, очень хочу папирос. Привет Веруну[88], передайте ей, что, встретясь здесь с Николаем Степановичем, мы стояли друг перед другом, как шалые, в руках у него была „Илиада“, которую от бедняги тут же отобрали…»

Ученик Гумилёва Георгий Адамович вспоминал об аресте поэта: «Утром ко мне позвонили из „Всемирной литературы“: „Знаете ‘Колчан’ задержан в типографии… Вероятно, недоразумение…“ „Колчан“ — название одной из ранних книг Гумилёва. Тогда как раз печаталось второе ее издание (неточность мемуариста — печатался „Огненный столп“, а второе издание „Колчана“ вышло в издательстве Гржебина в 1922 году в Берлине. — В. П.). Сначала я не понял, о чем мне сообщают, подумал, что действительно речь идет о типографских или цензурных неурядицах. И только по интонации, по какой-то дрожи в голосе, по ударению на словах „задержан“ я догадался, в чем дело… Хлопотали, не думая о расстреле — не было к нему никаких оснований. Даже и по чекистской мерке не было».

Лишь добившись показаний от В. Н. Таганцева, чекисты начали допрашивать Гумилёва. Следователем у Николая Степановича оказался такой же негодяй, как и сам Агранов.

Это был изворотливый и хитрый следователь Петроградской ЧК по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией Якобсон. Перед допросами он хорошо изучил стихи и взгляды поэта. Ему была поставлена конкретная задача: Гумилёв должен быть расстрелян.

Интересно, что на первом же допросе Гумилёв назвал себя

дворянином, хотя таковым по законам Российской империи не являлся и не мог не понимать, что это признание смертельно опасно. Но Гумилёв уже вошел в роль Андре Шенье[89] русской революции, поставив честь и достоинство выше жизни. Якобсон был неплохим психологом. Он понял, каким образом нужно говорить с поэтом.

Якобсон: Значит, мы с вами остановились на том, что вы открыто считаете себя противником советской власти!

Гумилёв: Я этого не говорил. Всякая власть от Бога, и не мне, поэту, разбираться в политической структуре власти.

Якобсон: Ну уж, Николай Степанович, запамятовали этого Шведова, а Герман? Германа помните? Вы же ему говорили еще в минувшем году, что с вами связана группа интеллигентов, готовых в случае выступления выйти на улицу. Вы же человек честный, верно? Конквистадор, поэт, укротитель африканских львов на это не способен!

Гумилёв: Я привык всегда говорить все, как было на самом деле, а не выдумывать и домысливать. Действительно, месяца три тому назад ко мне утром пришел молодой человек высокого роста и бритый, сообщив, что привез мне поклон из Москвы.

Якобсон: Нет, я не ошибся в поэте Гумилёве. Это историческая личность! А такие люди всегда говорят правду и одну только правду!..

Примерно так мог идти диалог, выстраиваемый Якобсоном, чтобы вынудить поэта дать нужные ему показания (сегодня они находятся в деле Н. С. Гумилёва на 85-м листе): «Месяца три тому назад ко мне утром пришел молодой человек высокого роста и бритый, сообщивший, что привез мне поклон из Москвы. Я пригласил его войти, и мы беседовали минут двадцать на городские темы. В конце беседы он обещал мне показать имеющиеся в его распоряжении русские заграничные издания. Через несколько дней он действительно принес мне несколько номеров каких-то газет. И оставил у меня, несмотря на мое заявление, что я в них не нуждаюсь. Прочтя эти номера и не найдя в них ничего для меня интересного, я их сжег. Приблизительно через неделю он пришел опять и стал спрашивать меня, не знаю ли я кого-нибудь, желающего работать для контрреволюции. Я объяснил, что никого такого не знаю, тогда он указал на незначительность работы: добывание разных сведений и настроений, раздачу листовок и сообщал, что эта работа может оплачиваться. Тогда я отказался продолжать разговор с ним на эту тему, и он ушел. Фамилию свою он назвал мне, представляясь. Я ее забыл, но она была не Герман и не Шведов. Н. Гумилёв 9 августа 1921».

Домой, в Дом литераторов Николай Степанович отправляет краткую записку: «Я арестован и нахожусь на Шпалерной. Прошу Вас послать мне следующее: 1. Постельное и носильное белье, 2. Миску, кружку и ложку, 3. Папирос и спичек, чаю, 4. Мыло, зубную щетку и порошок, 5. Еду. Я здоров. Прошу сообщить об этом жене».

В. И. Лурье вспоминала: «Помню, что пакеты в тюрьму Гумилёву носили три женщины: жена Аня Энгельгардт, Нина Берберова и Ида Наппельбаум…»

Смерть Блока на некоторое время отвлекла внимание литературной общественности от участи Гумилёва. 10 августа в Петрограде при большом стечении народа прошли похороны Александра Александровича на Смоленском кладбище. Гроб с его телом несли на руках с Офицерской улицы до Смоленского кладбища Андрей Белый, Владимир Гиппиус и другие литераторы[90].

Николай Оцуп вспоминал, что прямо после похорон Блока они решили идти хлопотать об освобождении Гумилёва: «Тут же на кладбище С. Ф. Ольденбург, ныне покойный А. Л. Волынский, Н. М. Волковысский и я сговариваемся идти в чека с просьбой выпустить Гумилёва на поруки Академии Наук, Всемирной литературы и еще ряда других не очень благонадежных организаций. К этим учреждениям догадались в последнюю минуту прибавить вполне благонадежный пролеткульт и еще три учреждения, в которых Гумилёв читал лекции… Говорить об этом тяжело. Нам ответили, что Гумилёв арестован за должностное преступление. Один из нас ответил, что Гумилёв ни на какой должности не состоял. Председатель петербургской чека был явно недоволен, что с ним спорят…»

Вскоре появилось письмо деятелей культуры в защиту поэта: «В Президиум Петроградской губернской Чрезвычайной комиссии. Председатель Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов, член редакционной коллегии государственного издательства „Всемирная литература“, член Высшего совета Дома искусств, член комитета Дома литераторов, преподаватель Пролеткульта, профессор Российского института истории искусств Николай Степанович Гумилёв арестован по ордеру Губ. Ч. К. в начале текущего месяца. Ввиду деятельного участия Н. С. Гумилёва во всех указанных учреждениях и высокого его значения для русской литературы нижепоименованные учреждения ходатайствуют об освобождении Н. С. Гумилёва под их поручительство.

Председатель Петроградского отдела Всероссийского Союза писателей А. Л. Волынский

Товарищ председателя Петроградского Отделения Всероссийского Союза поэтов М. Лозинский

Председатель коллегии по управлению Домом литераторов Б. Харитон

Председатель пролеткульта А. Маширов

Председатель Высшего совета Дома искусств М. Горький

Член издательской коллегии „Всемирной литературы“ Ив. М».

Позже, когда станет ясно, что дело было «сфабриковано топорно», чекисты подкинут в Центральный Государственный архив литературы и искусства фальшивку, якобы написанную М. Горьким 5 августа 1921 года: «Августа 5-го дня 1921 г. В ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ КОМИССИЮ ПО БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ И СПЕКУЛЯЦИЕЙ Гороховая, 2. По дошедшим до издательства „Всемирная литература“ сведениям, сотрудник его, Николай Степанович Гумилёв, в ночь на 4 августа 1921 года был арестован. Принимая во внимание, что означенный Гумилёв является ответственным работником в издательстве „Всемирная литература“ и имеет на руках неоконченные заказы, редакционная коллегия просит о скорейшем расследовании дела и при отсутствии инкриминируемых данных освобождения Н. С. Гумилёва от ареста. Председатель редакционной коллегии. Секретарь». Увы, и ее сделали топорно. На этом послании не смогли даже поставить подпись председателя, то есть Горького. Сомнительно, чтобы Горький, которого уговаривали поставить подпись под коллективным письмом, сам написал прошение. В 1928 году он в письме к Ромену Роллану резко отозвался о Гумилёве: «Я не знаю, кто такой Пашуканис и за что он расстрелян. Гумилёва расстреляли как участника политического заговора, организованного неким Таганцевым…»

Вот так — ни много ни мало. Горький, по одной из версий, сам отравленный впоследствии большевиками, верил в «заговор».

Правда, попытку спасти Гумилёва предприняла Мария Федоровна Андреева. Секретарь Луначарского А. Э. Колбановский писал об этом: «Около 4 часов ночи раздался звонок. Я пошел открывать дверь и услышал женский голос, просивший срочно впустить к Луначарскому. Это оказалась известная всем член партии большевиков, бывшая до революции женой Горького, бывшая актриса МХАТа Мария Федоровна Андреева. Она просила срочно разбудить Анатолия Васильевича… Когда Луначарский проснулся и, конечно, сразу ее узнал, она попросила немедленно позвонить Ленину. „Медлить нельзя. Надо спасать Гумилёва. Это большой и талантливый поэт. Дзержинский подписал приказ о расстреле целой группы, в которую входил и Гумилёв. Только

Ленин может отменить его расстрел“. Андреева была так взволнована и так настаивала, что Луначарский наконец согласился позвонить Ленину, даже в такой час. Когда Ленин взял трубку, Луначарский рассказал ему все, что только что узнал от Андреевой. Ленин некоторое время молчал, потом произнес: „Мы не можем целовать руку, поднятую против нас“, — и положил трубку. Луначарский передал ответ Ленина Андреевой в моем присутствии. Таким образом, Ленин дал согласие на расстрел Гумилёва».

Так что все сказки, усиленно распространявшиеся в 80-х годах прошлого века о том, что председатель Совета народных комиссаров Ульянов-Ленин пытался приостановить «дело» и проявил человечность, не имели под собой никакой почвы. Мог ли человек, разрушивший русское государство с тысячелетней славой, озаботиться судьбой великого русского поэта?!

Интересно, что именно в это время «колдовское» чутье бывшей жены поэта подсказало ей строки провидческого стихотворения. 16 августа Анна Ахматова по дороге из Царского Села в Петербург в вагоне третьего класса написала:

Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.
Горькую обновушку
Другу шила я,
Любит, любит кровушку
Русская земля.

Что писал Гумилёв в камере № 7 ДПЗ на Шпалерной, к сожалению, неизвестно. Однако именно в это время (до 16 августа) вышла из печати последняя прижизненная книга поэта «Огненный столп». Книга посвящена Анне Николаевне Гумилёвой (Энгельгардт).

Стихи последнего сборника Николая Степановича как нельзя лучше отвечали поэтической формуле С. Т. Кольриджа: «Лучшие слова — в лучшем порядке», которую 35-летний поэт считал для себя главной заповедью. В книге тема колдовства и волшебства обрела завершенность. Гумилёв замкнул цикл жизненных исканий, идя от обратного: «Волшебная скрипка», «Гондла», «Гафиз» («Дитя Аллаха») и, наконец, ключ к ним в стихотворении «Память», где «колдовской ребенок, словом останавливавший дождь», объясняет многие тайны творчества. Память поколений, живущая в поэте, будоражит кровь и раскрывает неведомое.

Вот почему «колдовской» ребенок вообразил себя избранником Бога и царем и решился на дерзновенный шаг:

Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом.

В стихотворении «Мои читатели» поэт очерчивает круг людей, вдохновляющихся его стихами:

Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,
Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, веселой и злой.
Возят мои книги в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.

Поэт в первую очередь обращается к таким же, как он, романтикам, скитальцам, которые больше всего в жизни дорожат личной свободой и честью, поэтому с ними он может говорить на одном языке. Вторая часть стихотворения звучит как завещание. Гумилёв учит своих друзей-романтиков мужеству перед лицом жизни и смерти:

Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца,
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать что надо.
……..
А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелет взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь.
Всю родную, странную землю,
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.

Шедевр русской лирики «Заблудившийся трамвай» открывает потаенные, провидческие видения поэта:

В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне…

И где:

Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет.

Да ведь это билет в вечность, где души держат ответ перед Всевышним.

Георгий Иванов в рецензии на сборник писал в «Летописи Дома литераторов», вышедшей 1 ноября 1921 года: «„Огненный столп“ Н. Гумилёва более чем любая из его предыдущих книг полна напряженного стремления вперед по пути полного овладения мастерством поэзии в высшем (и единственном) значении этого слова. „Я помню древнюю молитву мастеров…“ — так начинается одно из центральных по значению стихотворений „Огненного столпа“. Стать мастером — не формы, как любят у нас выражаться, а подлинным мастером поэзии, человеком, которому подвластны все тайны этого труднейшего из искусств, — Гумилёв стремится с первых строк своего полудетского „Пути Конквистадоров“, и „Огненный столп“ красноречивое доказательство того, как много было достигнуто поэтом и какие широкие возможности перед ним открывались. Если мы проследим пройденный Гумилёвым творческий путь, то не найдем на всем его протяжении почти никаких отклонений от раз и навсегда поставленной цели. Стремление к ней, сначала инстинктивное, с годами делается все более сознательным и волевым. Цель эта — поднять поэзию до уровня религиозного культа, вернуть ей ту силу, которой Орфей очаровывал даже зверей и камни».

Вивиан Итин (под инициалами В. И.) в четвертом номере журнала «Сибирские огни» за 1922 год писал об «Огненном столпе»: «„Муза Дальних Странствий“ — любимейшая из муз поэта. В его стихах нас поглощает соль южных морей, пески пустынь, пальмы оазисов… Ведь, может быть, теперь, в пламенной буре революции… больше чем когда бы то ни было надо знать,

„Как не бояться,
Не бояться и делать что надо“…

Значение Гумилёва и его влияние на современников огромно. Его смерть и для революционной России остается глубокой трагедией…»

Другой известный литературовед того времени Г. Горбачев во второй книге журнала «Горн» (издание Всероссийского и Московского пролеткультов) писал в 1922 году: «В „Огненном столпе“, в стихах Гумилёва, изданных в 1921 г., наряду с упадочн. „Персидской миниатюрой“, „Слоненком“, имеются сильные бодрые мотивы свежей ненадломленной, даже первобытной силы („Память“, „Леопард“, особенно исповедание тела в „Душе и Теле“)… Или строки „Моих читателей“…» Даже пролеткультовский журнал оценил мастерство поэта.

В. Брюсов признавал, что есть подлинная сила в одной из последних поэм Н. Гумилёва «Звездный ужас». А Глеб Струве во втором томе вашингтонского Собрания сочинений Н. Гумилёва (1964 г.) поместил интересное исследование, где доказал, что мотивы «колдовства и ворожбы» чувствуются не только в целом ряде стихотворений «Огненного столпа», но и во многих других книгах поэта, включая и стихи об Африке.

И только бывший друг по Цеху поэтов Сергей Городецкий, узнав о гибели поэта, напечатал пасквильный некролог в журнале «Искусство» (Баку, № 2–3 за 1921 г.): «…бездушная формальная эстетика аристократии затягивала его (Гумилёва. — В. П.) все больше. Он делается одним из руководителей журнала „Аполлон“, этой могилы вдохновения и творчества. Гумилёв дает одну за другой хорошие работы, книгу „Колчан“, „Китайский павильон“, поэму „Мик“, переводы „Гильгамеша“ (так в журнале. — В. 77.) и „Робин-Гуда“, но связанность со старым миром рано делает его литературным стариком. Он основывает школу акмеизма, дает таких талантливых учеников, как Мандельштам, но холодный академизм закрывает ему дорогу к будущему. Он не видит и не чувствует революции, из насмешливого европейца превращается в православного христианина, и все эти проклятые силы затягивают его в авантюру. Давно погибши творчески, он гибнет и физически. Певец буржуазии уходит вместе с ней». Правда, Городецкий стыдливо скрылся за инициалами С. Г.

Сегодня можно сказать, что не увидел будущего русской литературы не Гумилёв, а Городецкий.

Как жаль, что всех этих отзывов Гумилёв не мог уже

прочитать, да и неизвестно, держал ли он в руках свою последнюю книгу. О выходе «Огненного столпа» Гумилёва сообщила петроградская газета «Жизнь искусства» от 16–21 августа. В это время мир поэта ограничивался грязной камерой и допросами чекиста Якобсона, который вдохновенно и лживо твердил поэту о чести, честности, порядочности, понимая, с кем имеет дело. Для Гумилёва отсутствие чести было самым грязным и низменным уродством. Подлая сущность чекиста маскировалась театральной заинтересованностью в судьбе поэта. На допросах, как известно, Якобсон по памяти цитировал стихи Гумилёва и, конечно, понимал, что перед ним большой поэт. Но, по-видимому, как всякий убийца, он страдал комплексом Герострата.

18 августа Якобсон снова допрашивает поэта и оформляет новый протокол допроса, такой же бестолковый и путаный в его оформлении, как и предыдущий: «Допрошенный следователем Якобсоном, я показываю следующее: летом прошлого года я был знаком с поэтом Борисом Вериным и беседовал с ним на политические темы, горько сетуя на подавление частной инициативы в советской России. Осенью он уехал в Финляндию, через месяц я получил в мое отсутствие от него записку, сообщавшую, что он доехал благополучно и хорошо устроился. Затем, зимой, перед Рождеством, ко мне пришла немолодая дама, которая мне передала недописанную записку, содержащую ряд вопросов, связанных, очевидно, с заграничным шпионажем, например, сведения о готовящемся походе на Индию. Я ответил ей, что никаких таких сведений я давать не хочу, и она ушла. Затем, в начале Кронштадтского восстания ко мне пришел Вячеславский с предложением доставлять для него сведения и принять участие в восстании, буде оно переносится в Петроград. От дачи сведений я отказался, а на выступление согласился, причем сказал, что мне, по всей вероятности, удастся в момент выступления собрать и повести за собой кучку прохожих, пользуясь общим оппозиционным настроением. Я выразил также согласие на попытку написания контрреволюционных стихов. Дней через пять он пришел ко мне опять, вел те же разговоры и предложил гектографировальную ленту и деньги на расходы, связанные с выступлением. Я не взял ни того, ни другого, указав, что не знаю, удастся ли мне использовать ленту. Через несколько дней он зашел опять, и я определенно ответил, что ленту я не беру, не будучи в состоянии использовать, а деньги 200 000 взял на всякий случай и держал их в столе, ожидая или событий, то есть восстания в городе, или прихода Вячеславского, чтобы вернуть их, потому что после падения Кронштадта я резко

изменил мое отношение к советской власти. С тех пор ни Вячеславский, никто другой с подобными разговорами ко мне не приходили, и я предал все дело забвению. В добавление сообщаю, что я действительно сказал Вячеславскому, что могу собрать активную группу из моих товарищей, бывших офицеров, что являлось легкомыслием с моей стороны, потому что я встречался с ними лишь случайно и исполнить мое обещание мне было бы крайне затруднительно. Кроме того, когда мы обсуждали сумму расходов, мы говорили также о миллионе работ.

Гумилёв.

Допросил Якобсон 18.8.1921 г.».

От всей этой грязной стряпни, от выражений типа «кучка людей» веет безграмотным косноязычием Якобсона, а вовсе не слогом поэта.

А тем временем слухи об аресте Гумилёва все шире и шире растекались по Петрограду, вызывая явное недоумение действиями большевиков. В. Немирович-Данченко вспоминал: «… узнав о том, что он (Гумилёв. — В. П.) взят в Чека, я ничего не понял. Разумеется — глупая ошибка, недоразумение, которое разъяснится сейчас, и он будет выпущен. Вспомнили его работу с пролетарскими поэтами. В своих лекциях он не скрывал ненависти к деспотизму коммунистических тиранов. Но там, в кружке молодежи, предателей не было. Некоторое время меня мучило: не послужило ли поводом к аресту Гумилёва устроенное мною знакомство его с Оргом и предполагавшееся печатание поэм Николая Степановича в Ревеле. Ведь всякое сношение с заграницей считалось в России — преступлением. И только через неделю появились первые смутные слухи о таганцевском заговоре, к которому пристегнули поэта. Это показалось нам всем так нелепо, что мы успокоились…»

Правда, успокоились не все. Николай Оцуп вспоминал: «В среду я, окруженный друзьями Гумилёва, звоню по телефону, переданному чекистом нашей делегации. — Кто говорит? — От делегации (начинаю перечислять учреждения). — Ага, это по поводу Гумилёва, завтра узнаете. Мы узнали не назавтра, когда об этом знала уже вся Россия, а в тот же день. Несколько молодых поэтов и поэтесс, учеников и учениц Гумилёва, каждый день носили передачу на Гороховую. Уже во вторник передачу не приняли (вероятно, носили на Шпалерную, а не на Гороховую, так как Гумилёв сидел на Шпалерной. — В. П.). В среду, после звонка в чека, молодой поэт Р. и я бросились по всем тюрьмам искать Гумилёва. Начали с Крестов, где, как оказалось, политических не держали. На Шпалерной нам удалось проникнуть во двор, мы спросили сквозь решетку какую-то служащую: где сейчас

находится арестованный Гумилёв? Приняв нас вероятно за кого-либо из администрации, она справилась в какой-то книге и ответила из-за решетки: „Ночью взят на Гороховую“. Мы спустились, все больше и больше ускоряя шаг, потому что сзади уже раздавался крик: „Стой, стой, а вы кто будете?!“…»

Группа писателей отправилась в тюрьму хлопотать о поэте перед председателем Петроградской ЧК Семеновым. По воспоминаниям Амфитеатрова, Семенов прикинулся дурачком:

«— Да чем он, собственно, занимался, ваш Гумилевич? — спросил он равнодушно.

— Не Гумилевич, а Гумилёв.

— Ну?

— Он поэт…

— Ага? значит, писатель… Не слыхал… Зайдите через недельку, мы наведем справки.

— Да за что же он арестован-то?

Подумал и… объяснил:

— Видите ли, так как теперь, за свободою торговли, причина спекуляции исключается, то, вероятно, господин Гумилёв взят за какое-нибудь должностное преступление…

Депутации оставалось лишь дико уставиться на глубокомысленного чекиста изумленными глазами: Гумилёв нигде не служил, — какое же за ним могло быть „должностное преступление“? Аполлону, что ли, дерзостей наговорил на Парнасе?»

Тем не менее допросы продолжались. Следователь подсовывал Гумилёву на подпись все более намеренно двусмысленные протоколы допросов. Так, на листах 87–88 дела Гумилёва читаем: «Допрошенный следователем Якобсоном, я показываю: сим подтверждаю, что Вячеславский был у меня один и я, говоря с ним о группе лиц, могущих принять участие в восстании, имел в виду не кого-нибудь определенного, а просто человек десять встреченных знакомых, из числа бывших офицеров, способных в свою очередь сорганизовать и повести за собой добровольцев, которые, по моему мнению, не замедлили бы примкнуть к уже составившейся кучке. <…> Допрошенный следователем Якобсоном, я показываю следующее: никаких фамилий, могущих принести какую-нибудь пользу организации Таганцева путем установления между ними связей, я не знаю и потому назвать не могу. Чувствую себя виновным по отношению к существующей в России власти в том, что в дни Кронштадтского восстания был готов принять участие в восстании, если бы оно перекинулось в Петроград, и вел по этому поводу разговоры с Вячеславским».

Переливание из пустого в порожнее: видел — не видел, читал — не читал, обещал — не обещал, хотел — не хотел, сочувствовал — не сочувствовал. Да кто же мог не сочувствовать несчастным, когда расстреливали сотнями и тысячами не руководителей Кронштадтского восстания, а простых матросов?! Только бездушный человек мог не почувствовать всей этой вопиющей несправедливости.

Но палачам требовались дополнительные подтверждения и от «главы заговора» Таганцева. Профессора снова тащат на допрос, так как нужно было, вставить в дело поэта хоть что-то конкретное. Так, на листе 89 дела Гумилёва появляются «новые признания» Таганцева: «В дополнение к сказанному мною ранее о Гумилёве как о поэте добавляю, что насколько я помню, в разговоре с Ю. Германом сказал, что во время активного выступления в Петрограде, которое он предлагал устроить… к восставшей организации присоединится группа интеллигентов в полтораста человек. Цифру точно не помню. Гумилёв согласился составлять для нашей организации прокламации… Таганцев, 23 авг. 21».

Этой скудной информации, которая не поддается точному юридическому толкованию, Агранову, Семенову и Якобсону оказалось достаточно, чтобы убить без всякого суда, а по сути и без следствия великого русского поэта Николая Степановича Гумилёва.

На листе 102 Якобсон написал свое юридически безграмотное «Заключение по делу № 2534 гр. Гумилёва Николая Станиславовича (исправлено чернилами на „Степановича“. — В. П.), обвиняемого в причастности к контрреволюционной организации Таганцева (Петроградской боевой организации) и связанных с ней организаций и групп. Следствием установлено, что дело гр. Гумилёва Николая Станиславовича (снова зачеркнуто и надписано „Степановича“. — В. П.) 35 лет происходит из дворян, проживающего в г. Петрограде угол Невского и Мойки в Доме искусств, поэт, женат, беспартийный, окончил высшее учебное заведение, филолог, член коллегии издательства Всемирной литературы, возникло на основании показаний Таганцева от 6.8.1921 г., в котором он показывает следующее: „Гражданин Гумилёв утверждал курьеру финской контрразведки Герману, что он, Гумилёв, связан с группой интеллигентов, которой последний может распоряжаться, и которая в случае выступления готова выйти на улицу для активной борьбы с большевиками, но желал бы иметь в распоряжении некоторую сумму для технических надобностей. Чтоб проверить надежность Гумилёва организация Таганцева командировала члена

организации гр. Шведова для ведения окончательных переговоров с гр. Гумилёвым. Последний взял на себя оказать активное содействие в борьбе с большевиками и составлении прокламаций контрреволюционного характера. На расходы Гумилёву было выдано 200 000 рублей советскими деньгами и лента для пишущей машинки. В своих показаниях гр. Гумилёв подтверждает вышеуказанные против него обвинения и виновность в желании оказать содействие контрреволюционной организации Таганцева, выразившееся в подготовке кадров интеллигентов для борьбы с большевиками и в сочинении прокламаций контрреволюционного характера. Признает своим показанием гр. Гумилёв подтверждает получку денег от организации в сумме 200 000 рублей для технических надобностей“. В своем первом показании гр. Гумилёв совершенно отрицал его причастность к контрреволюционной организации и на все заданные вопросы отвечал отрицательно. Виновность в контрреволюционной организации гр. Гумилёва Н. Ст. на основании протокола Таганцева и его подтверждения вполне доказана. На основании вышеизложенного считаю необходимым применить по отношению к гр. Гумилёву Николаю Станиславовичу (снова неправильно. — В. П.) как явному врагу народа и рабоче-крестьянской революции высшую меру наказания — расстрел.

Следователь Якобсон (расписался синим карандашом).

Оперуполномоченный ВЧК (стоит только должность — ни подписи, ни фамилии нет)».

Получается, что один человек решил судьбу великого поэта.

24 августа состоялось заседание президиума Петроградской губернской ЧК. В деле Гумилёва на листе 104 приводится выписка из заседания: «Гумилёв Николай Степанович, 35 лет, б. дворянин, филолог, член коллегии издательства „Всемирная литература“, женат, беспартийный, б. офицер, участник Петроградской боевой контрреволюционной организации, активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, кадровых офицеров. Которые активно примут участие в восстании, получил от организации деньги на технические надобности». Под этим сомнительным документом (если вообще его можно было назвать документом) стояло «верно» — и никакой подписи. И приписка без подписи: «Приговорить к высшей мере наказания — расстрелу». И больше никаких сведений!..

По свидетельству Г. А. Стратановского, сидевшего в камере № 7 ДПЗ на Шпалерной осенью 1921 года, на стене камеры он видел надпись, сделанную рукой поэта: «Господи, прости мои

прегрешения, иду в последний путь. Н. Гумилёв».

Что переживал в последние дни тюремного заключения Николай Степанович, неизвестно, но сохранилась записка, переданная поэтом жене: «Не беспокойся обо мне. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы».

25 августа Николай Степанович Гумилёв был безвинно убит Петроградской ЧК, действовавшей по наущению Якова Сауловича Агранова и в соответствии с заповедями «красного террориста» Лациса, писавшего сотрудникам ЧК еще в 1918 году: «При осуществлении красного террора — не ищите данных в следственном материале, не ищите преступления словом или делом, а спрашивайте, к какому классу и воспитанию принадлежит обвиняемый. В этом весь смысл красного террора. Ибо мы ведем борьбу против класса, а не против отдельных личностей». Есть разные версии о месте расстрела поэта (одни вслед за Ахматовой утверждали, что Гумилёва расстреляли по Ириниской дороге у станции Бернгардовки). Но судя по тому, где в то время проводились расстрелы, более реальным местом следует считать территорию Ржевского артиллерийского полигона, выходившего к Рябовскому шоссе.

Смерть поэт принял достойно — не дрогнул перед сатанинскими пулями. Работник ЧК Дзержибашев[91] открыто восхищался мужеством поэта на допросах. Тайный осведомитель ЧК, считавший себя поэтом, Сергей Бобров поведал Георгию Иванову: «Знаете, шикарно умер. Я слышал из первых уст. Улыбался, докурил папиросу… Даже на ребят из особого отдела произвел впечатление… Мало кто так умирает…»

30 августа «Жизнь искусства» (Петроград) опубликовала информацию о том, что издательство Цеха поэтов готовит к выпуску книгу Гумилёва «Посредине странствия земного». Увы, это издание не было осуществлено. Зато это издательство выпустило первую поэтическую книгу Николая Оцупа «Град» (Пг., 1921). Верный ученик поэта Николай Оцуп включил в эту книгу написанное 30 августа одно из самых прекрасных стихотворений, посвященное памяти убитого Гумилёва:

Теплое сердце брата укусили свинцовые осы,
Волжские нивы побиты желтым палящим дождем,
В нищей корзине жизни — яблоки и папиросы,
Трижды чудесна осень в бедном величье своем.
……
Тверже по мертвым листьям, по савану первого снега,
Солоноватый привкус поздних осенних дней,
С гиком по звонким камням летит шальная телега,

Трижды прекрасна жизнь в жестокой правде своей.

31 августа состоялось собрание совета Петроградской губернии, где с докладом выступил председатель Губчека Семенов, он доложил о ликвидации «заговоров» и о том, что «восставшие» хотели: «…воспользовавшись недовольством голодных, на их костях и крови воздвигнуть старое здание монархии… Здесь и поэт Гумилёв, вербовавший кадровых офицеров». В этот же день «Известия ВЦИК» дали сообщение ВЧК «О раскрытом в Петрограде заговоре против советской власти».

1 сентября 1921 года город ахнул. Появились сообщения о расстрелянных, специально расклеенные большевиками для устрашения по всему городу. «Петроградская правда» в этот день сообщала: «В настоящее время ввиду полной ликвидации белогвардейских организаций в Петрограде, представляется возможным опубликование более полных сведений о подготовлявшемся восстании… Основным методом борьбы деятели контрреволюции избирают политический и экономический террор, с целью дезорганизации хозяйственной жизни и расстройства рядов Коммунистической партии… в распоряжении ВЧК находится письмо парижского шефа петроградской белогвардейской организации (ПБО) генерала Владимирова на имя одного из руководителей организации Германа, „убедительно прошу кустарно не делать. Необходимо сочетать ваши намерения с какими-либо крупными беспорядками“… Белыми террористами за последние два месяца убиты в Петрограде 7 и тяжело ранено 8 коммунистов. Во главе организации стоял комитет из трех лиц: главы организации — проф. В. Н. Таганцева, бывшего подпольщика Шведова и агента финской разведки, бывшего офицера Ю. П. Германа (убит на границе). Петроград был разбит на районы во главе с руководителями групп. Начальнику военной подготовки восстания подпольщику П. П. Иванову удалось привлечь к работе лиц командного состава Красной Армии и ряд бывших морских офицеров. Одновременно с восстанием в Петрограде должны были произойти выступления в Бологое, Рыбинске, Старой Руссе с целью отрезать Петроград от Москвы. <…> В то время как Владимиров организовывал эмигрантские и военные круги, Коковцевым и Струве организована группа русских финансистов для оказания помощи Петрограду после переворота. Лейтмотивом организации стала идея создания „беспартийных Советов“. Этим самым ПБО надеялась привлечь на сторону восставших военные части, рабочие коллективы и крестьян.

Выступления должны были начаться в сентябре, ко времени сбора продналога. Заговорщики, представлявшие из себя узкие разрозненные группы, рассчитывали использовать малейшее проявление недовольства на почве голода…»

Естественно, мало кто поверил этому вопиюще безграмотному документу. Здесь и «разбитый на районы во главе с руководителями групп» город, и здесь же заговорщики, представляющие собой «узкие разрозненные группы»…

В этой же газете приведен список расстрелянных невинных жертв, как участников мифической ПБО. Под номером 30 (всего расстрелян шестьдесят один человек) было опубликовано сообщение о расстреле Н. С. Гумилёва все с теми же юридически глупыми формулировками: «Активно содействовал составлению прокламаций к. — революционного содержания, обещая связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности…»

«Активно содействовал», но, по показаниям того же Таганцева, ни одной прокламации не составил. «Обещал связать», но ни с кем не связал… Это, увы, не бред, а большевистский суд!

Убийство поэта и гнусно спровоцированное чекистами «Дело Таганцева» привело русскую интеллигенцию в шоковое состояние. Писатель Михаил Слонимский вспоминал: «И вот, кажется, на следующее утро (имеется в виду расстрела. — В. П.), Горький появился в комнатах „Всемирной литературы“ в слезах. Он поминутно вытирал глаза платком. От него мы впервые узнали о том, что Гумилёв расстрелян. В моей памяти отпечатались его слова тогда: „Это Гришка Зиновьев задержал ленинские указания“ — и еще — „Запомните фамилию следователя Тарасов — это он убил поэта Гумилёва!“ Однако в фамилии следователя сейчас, сорок лет спустя, я не уверен». Фамилия следователя известна. Известно и распоряжение Ленина.

Актриса Дориана Филипповна Слепян вспоминала: «Когда я прочла в газетах о процессе, в котором фигурировал Гумилёв, я была ошеломлена. Мне это невозможно было себе представить, так непохоже это было на него! В те трудные и голодные годы многие брюзжали и роптали, а Николай Степанович, совершенно не умевший устраиваться, как многие, ходил всегда голодный, плохо одетый, и не только не возмущался и не жаловался на трудности быта, но говорил об этом скорее с юмором, к которому он вообще не был особенно привержен. Через много лет я столкнулась в театре, в котором служила, с бывшим старым чекистом тех лет (он был директором театра), который

присутствовал на расстреле Гумилёва. Он рассказывал, что был поражен его стойкостью до самого трагического конца. Позднее, в годы необоснованных репрессий — этого товарища постигла та же участь». Что ж, тут можно сказать — получил по заслугам.

В Бежецке семья поэта восприняла сообщение о гибели Николая Степановича очень тяжело. Его сестра, Александра Степановна, вспоминала (она писала о себе в третьем лице. — В. П.): «Александра Степановна, которая первая узнала из газет об этом, сразу лишилась рассудка. „Как я скажу маме?“ — твердила она, бегая по комнате и ломая руки, и ничего не слушала, кто говорил, что Анна Ивановна уже все знает. Только один Лева мог ее успокоить. Наконец доктор дал ей снотворного, и она затихла. У Варвары Ивановны (родная сестра матери поэта. — В. П.) сделался потрясающий озноб, и она слегла и умерла 2 декабря того же года. Что касается до Анны Ивановны, то кто-то уверил ее, что Николай Степанович не такой человек, чтобы так просто погибнуть, что ему удалось бежать, и он, разумеется, при помощи своих друзей и почитателей, проберется в свою любимую Африку. Она ждала сына, ждала внука…»

Открыто, как по Александру Блоку, друзья поэта устраивать панихиду побоялись и провели ее почти тайно в Казанском соборе. На панихиду пришли вдова поэта Гумилёва, Анна Ахматова, Георгий Иванов, Николай Оцуп, Георгий Адамович, вдова Блока Любовь Дмитриевна и довольно малочисленная группа интеллигенции Петрограда. С. К. Эрлих, принимавшая участие в панихиде, позже вспоминала: «Нас была небольшая кучка людей, но и та разбилась на две группы. Старшее поколение собралось вокруг Анны Андреевны Ахматовой. А мы окружали молодую, беспомощную, растерянную Анну Николаевну (Энгельгардт). И все, все беззвучно плакали, а священник читал заупокойную „по убиенному Николаю“. И потом мы все прощались на ступенях Казанского собора».

Через несколько дней по Гумилёву прошла еще одна панихида — на сей раз в Спасской часовне Гуслицкого монастыря на Невском проспекте. Часовня была заполнена людьми до отказа.

Владислав Ходасевич позже напишет: «В начале сентября мы узнали, что Гумилёв убит. Письма из Петербурга шли мрачные, с полунамеками, с умолчаниями. Когда вернулся я в город, там еще не опомнились после этих смертей (Блока и Гумилёва. — В. П.)».

Николай Оцуп передал в своих воспоминаниях атмосферу, царившую в городе: «Никогда мы не забудем Петербурга периода запустения и смерти… Но после августа 21-го в Петербурге стало трудно дышать, в Петербурге невозможно было оставаться —

тяжко больной город умер с последним дыханием Блока и Гумилёва… Все следующие дни сливаются в одном впечатлении Смоленского кладбища, где хоронили Блока, и стенной газеты, сообщавшей о расстреле Гумилёва».

Ахматова, узнав о гибели поэта от В. И. Рыкова, тяжело восприняла эту утрату. В августе-сентябре она написала несколько стихотворений, посвященных Гумилёву. Вообще после того, как Ахматова пожила с Шилейко, который запрещал ей даже писать стихи, она сумела оценить все благородство Гумилёва и до конца жизни искупала перед ним вину в своих произведениях.

15 сентября она пишет жалобное стихотворение с нотками бабьей заплачки:

Заплаканная осень, как вдова
В одеждах черных, все сердца туманит…
Перебирая мужнины слова,
Она рыдать не перестанет.
И будет так, пока тишайший снег
Не сжалится над скорбной и усталой…
Забвенье боли и забвенье нег —
За это жизнь отдать не мало.

(«Заплаканная осень, как вдова…»)

Увы, этого забвения не будет до конца ее жизни. Стихи Ахматовой и Оцупа — первые, посвященные памяти казненного Гумилёва.

На Западе о расправе над поэтом Гумилёвым и ведущими учеными Петрограда писали многие русские эмигрантские газеты. 21 сентября 1921 года в парижской газете «Последние новости» появилось характерное для того времени письмо русской академической группы в Берлине: «Ознакомившись с официальным сообщением о расстрелах по делу так называемой „Петроградской белогвардейской организации“, мы заявляем, что профессора Лазаревский и Тихвинский были расстреляны по постановлению ВЧК, т. е. без соблюдения даже тех простейших гарантий, какие могло бы дать рассмотрение предъявленных им обвинений, хотя бы в революционном советском трибунале. Даже и при старом строе профессора, принадлежавшие и к оппозиционным течениям русской политической мысли, могли беспрепятственно работать каждый по своей специальности… Русская академическая группа уверена, что испытываемое ею чувство возмущения найдет живой отклик в сердцах всех, в ком еще не угасло сознание человечности и права…»

9 сентября 1921 года в той же парижской газете «Последние

новости» вышла статья С. В. Познера «Памяти Н. С. Гумилёва», потом, 11 сентября, пишет о «Заговоре» П. Милюков. В Берлине 14 сентября печатается некролог о Н. С. Гумилёве в газете «Голос России». В Ревеле в газете «Последние известия» появляется статья Сергея Штейна «Погиб поэт…». 18 сентября о Гумилёве пишет в эмигрантской газете «Сегодня» А. Амфитеатров, 20 сентября в парижских «Последних новостях» появляется статья Андрея Левинсона «Блаженны мертвые». В берлинском «Руле» появляется статья памяти поэта, написанная Петром Струве. В четыреста тридцать шестом номере «Общего дела» в Париже 26 сентября Ю. Никольский публикует статью «Поэт-рыцарь». А через день в этой же газете появится первая статья, разоблачающая большевиков, в которой прямо писалось, что никакого заговора вообще не существовало. В Париже в сентябре состоялся митинг, на котором выступали известные русские писатели, осуждая красный террор и убийство большевиками Гумилёва. А 15 сентября в Париже прошел шестой вечер поэзии Палаты поэтов, где о творчестве Гумилёва рассказывал поэт Михаил Струве.

Волна некрологов и статей о поэте, прокатившаяся по эмигрантским газетам, была вызвана не только гибелью Гумилёва. Многие ведь даже не знали поэта при жизни и были далеки от его поэзии. Но сам факт варварского уничтожения интеллигенции вызвал жгучую волну ненависти к распоясавшимся красным бандитам. Гумилёв на многие годы стал символом сопротивления кровавой диктатуре, знаменем белого сопротивления, хотя никогда не был заговорщиком. Именно в это время начали создаваться легенды о Гумилёве-заговорщике. О том, что в дни Кронштадтского восстания Гумилёв показывал ему контрреволюционные прокламации, писал в 1926 году журналист Б. О. Харитон в газете «Сегодня» (Рига, 1926. 27 августа). Сергей Маковский тоже написал, что верил в заговор: «Многие тогда мечтали в Петербурге о восстановлении романовской монархии… однако никто не догадывался, что Гумилёв состоит в тайном обществе, замышляет переворот». Даже жена брата поэта, Анна Андреевна Гумилёва, и та уверовала, что Николай Степанович был заговорщиком.

Можно согласиться с Владиславом Ходасевичем, который написал однажды, что Гумилёва убили «ради наслаждения убийством вообще, еще — ради удовольствия убить поэта, еще — для острастки».

Бытовали и такие версии, что якобы с Гумилёвым рассчитались всемогущий тогда Григорий Зиновьев (принявший одно из стихотворений поэта на свой счет) и муж бывшей

любовницы Гумилёва Ларисы Рейснер — комиссар Балтфлота Федор Раскольников. Тайные пружины могли быть какими угодно, но нельзя забывать про зловещую фигуру Якова Агранова, который на протяжении многих лет занимался уничтожением русских поэтов.

Посмертная слава поэта росла с каждым годом, и все, что было написано Гумилёвым, теперь уже представлялось в свете его героической жизни и смерти. Леонид Страховский в четвертом номере журнала «Современник» (Торонто, 1961) писал: «…судьба была жестока к Гумилёву. Его конец — пуля чекиста в затылок и безвестная могила. Глубочайшая трагедия русской поэзии в том, что три ее самых замечательных поэта кончили свою жизнь насильственной смертью и при этом в молодых годах: Пушкин — тридцати семи лет, Лермонтов — двадцати шести и Гумилёв — тридцати пяти». Первая книга о поэте «Творчество Н. Гумилёва» вышла уже в 1931 году в Сан-Франциско, и автором ее был Андрей Ющенко.

В России Николай Степанович прошел самое страшное испытание — насильственным забвением. Его стихи не только запрещали, но за книги Гумилёва ссылали в концлагеря. Много лет провел в совдеповских лагерях сын поэта Лев Николаевич, ученый с мировым именем, лишь за то, что носил фамилию отца. Сидел и младший сын, хотя носил фамилию матери.

Только в 1990-х годах генеральный прокурор СССР А. Сухарев направил протест Пленуму Верховного суда СССР в порядке надзора по делу Н. С. Гумилёва, где писал: «…решение Петроградской губернской Чрезвычайной комиссии в отношении Н. С. Гумилёва подлежит отмене, а дело — прекращению по следующим основаниям. Как утверждается в заключении по делу со ссылкой на показания Таганцева, Гумилёв говорил курьеру финской контрразведки Герману, что он, Гумилёв, связан с группой интеллигентов и может ею распоряжаться… Из показаний Гумилёва от 9 августа 1921 года явствует, что он отказался разговаривать с неизвестным ему человеком о какой-либо контрреволюционной деятельности. На вторичном допросе 18 августа 1921 года Гумилёв вновь утверждал, что он дважды отказывался сообщать сведения шпионского характера. При этом он согласился на выступление с кучкой прохожих, пользуясь общим оппозиционным настроением. Во время третьей встречи с Вячеславским взял у него 200 000 на всякий случай и держал их в столе, ожидая или событий, то есть восстания в городе, или прихода Вячеславского, чтобы вернуть их. После падения Кронштадта он, Гумилёв, резко изменил свое отношение к

советской власти и все дело предал забвению. Подтверждая факт разговора с Вячеславским о том, что он, Гумилёв, может собрать активную группу из своих товарищей, бывших офицеров, Гумилёв пояснил: это заявление было легкомысленным, потому что он встречался с ними случайно и исполнить обещанное ему было крайне затруднительно. По словам Таганцева, Гумилёв оставлял за собой право отказаться от тем, не отвечающих его далеко не правым взглядам. Как утверждает Таганцев, Гумилёв был близок к советской ориентации. Про свою группу Гумилёв дал уклончивый ответ, сказав, что для организации ему нужно время. Через несколько дней, говорил Таганцев, Гумилёв далеко отошел от контрреволюционных взглядов, к нему больше никто не обращался и никаких поэтических прокламаций от него не поступало. Что касается 200 000 рублей, полученных Гумилёвым, то из них 23 июля 1921 года он 50 тысяч передал М. Шагинян, а 16 тысяч рублей у него изъяли при обыске, судьба остальных денег не установлена. <…> В 1921 году в защиту Гумилёва выступила литературная общественность во главе с М. Горьким, но ее ходатайство осталось без ответа. Приведенные данные свидетельствуют, что Н. С. Гумилёв не являлся участником Петроградской боевой контрреволюционной организации и не предпринимал никаких шагов по оказанию ей содействия, а полученные им 200 000 рублей были ничем иным, как колебанием интеллигента, и эти деньги не использовались в ущерб интересам советского государства. Н. С. Гумилёв не был врагом народа и рабоче-крестьянской революции. На основании изложенного и руководствуясь ст. 35 Закона о Прокуратуре СССР, прошу решение Президиума Петроградской губернской Чрезвычайной комиссии от 24 августа 1921 года в отношении Гумилёва Николая Степановича отменить и дело о нем прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления.

Генеральный прокурор Союза ССР А. Сухарев».

30 сентября 1991 года состоялось заседание Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР. Резолюция справедливости гласила: «Постановление Президиума Петроградской губернской чрезвычайной комиссии от

24 августа 1921 года в отношении Гумилёва Николая Степановича отменить и дело производством прекратить за отсутствием состава преступления». Иными словами, расправа над поэтом была названа убийством, и все его участники по этому постановлению стали государственными преступниками.

В том, что правда восторжествовала, есть немалая заслуга и сына первого биографа Гумилёва П. Лукницкого — Сергея Лукницкого, который долгие годы посвятил тому, чтобы дело

Н. С. Гумилёва из архива КГБ было выдано для изучения и потом пересмотрено. У поэта-рыцаря нашлись и бескорыстные защитники, которые служили светлому его имени.

Сегодня в России о Николае Гумилёве написаны сотни исследовательских статей, диссертаций, огромными тиражами выходят его книги, но до сих пор точно не известно место, где захоронен поэт:

Ни креста, ни могилы,
Только наспех зарыт,
Только звезды застыли,
Только вечность летит.

Только эхо уходит
В золотые слова,
И на красном восходе
Что-то шепчет трава.

И деревья, как люди,
Печально не спят:
…Память вечною будет
И за то, что распят!

И за то, что с усмешкой
Принял муки и смерть,
И за то, что не в спешке
Мог немыслимо сметь!

Ни креста, ни могилы,
Лишь трава-мурава,
Но полны страшной силы
Золотые слова!

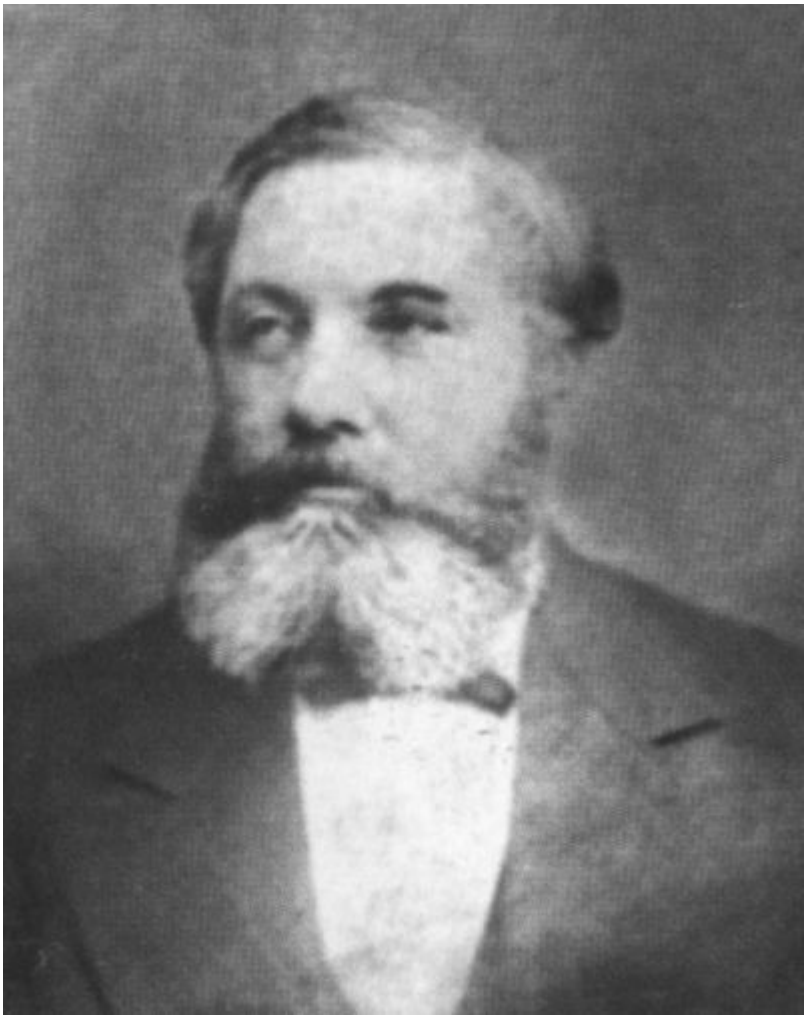
По всему миру разлетелись сегодня книги поэта, золотые слова его живы и разгадываются до сих пор, хотя множатся диссертации о поэте на многих языках мира. Жива поэзия поэта-рыцаря, романтика и путешественника. Она чиста и целительна, как вода живительного лесного ручья, питающегося от волшебных источников. И тайна у Гумилёва есть, и разгадка ее столь же проста, сколь и гениальна. Помните, в Евангелии страждущий обратился к Иисусу Христу с просьбой об исцелении, и Он ответил: будет тебе по вере твоей!

Вера в себя превратила «колдовского ребенка» в романтика и сделала бессмертным русским поэтом!

Москва,2001

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Анна Ивановна Гумилёва (урожденная Львова), мать поэта.



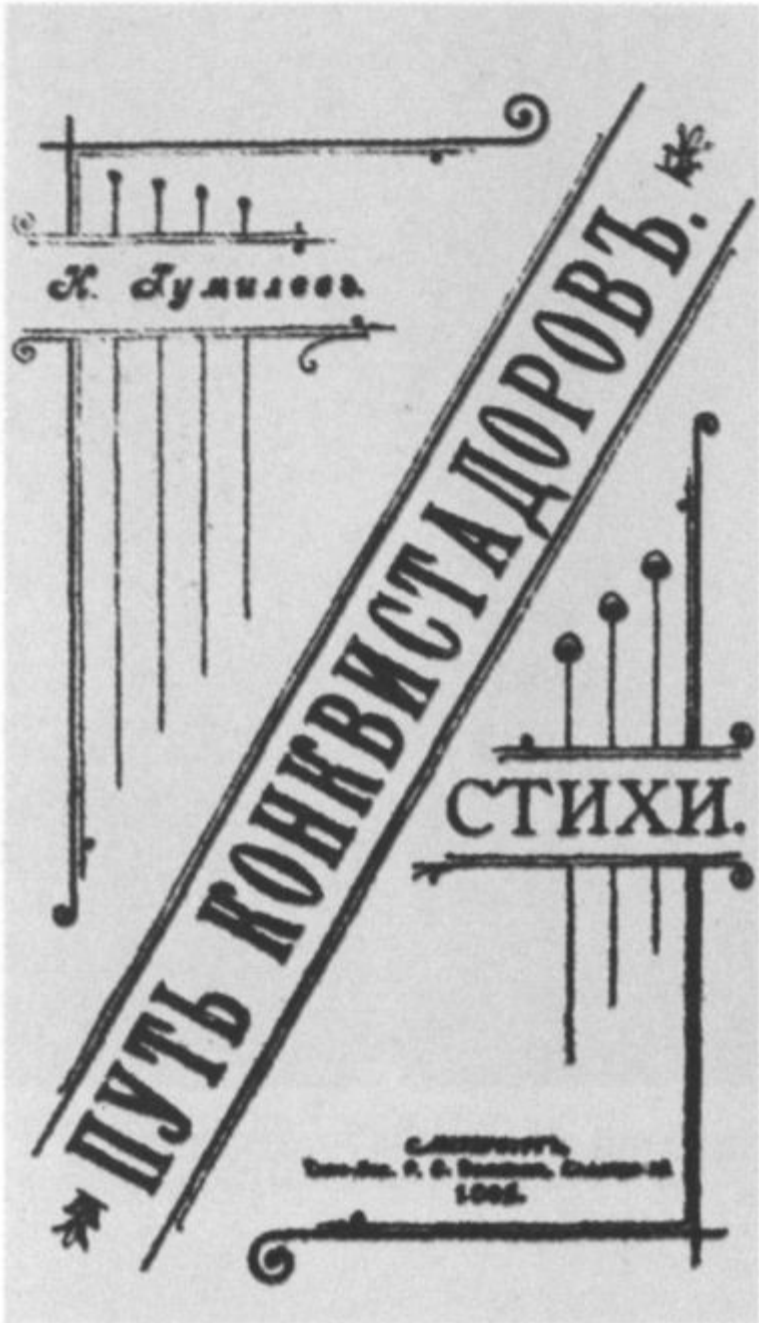
Степан Яковлевич Гумилёв, отец поэта.

Юлия Яковлевна Львова (урожденная Викторова), бабушка поэта, Анна Ивановна, мать поэта, Иван Львович Львов, дед поэта.

Иннокентий Анненский.

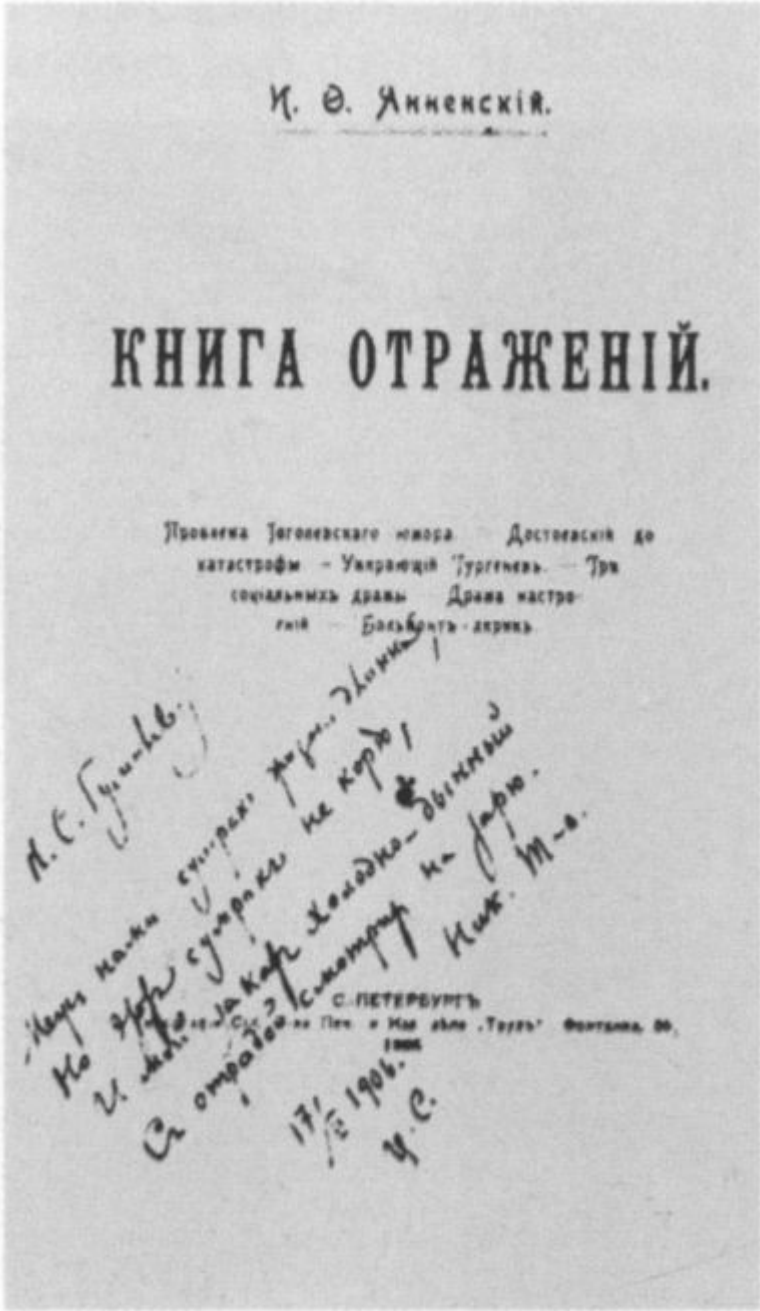
Николай Гумилёв — студент.

Царскосельская Николаевская мужская гимназия, где учился Н. Гумилёв. Современный вид.



Обложка первой книги Н. Гумилёва «Путь конквистадоров». 1906.

Анна Горенко. Царское Село. 1904.


И. Ф. Анненскій.

КНИГА ОТРАЖЕНІЙ.

Проблема Гоголевскаго юмора — Достоевскій до катастрофы — Умирающій Тургеневъ. — Три соціальныхъ драмы — Драма настроенія — Бальзакъ-деспотъ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

1906

Книга И. Анненского с надписью Н. Гумилёву:

«Меж нами сумрак жизни длинный,
Но этот сумрак не корю,

И мой закат холодно-дынный
С отрадой смотрит на зарю.
Ник. Т-о. 17.11.1906».

Сестры Вера, Зоя и Анна Аренс. 1910.

Обложка журнала «Сириус», который Н. Гумилёв выпускал в Париже. 1907.

Валерий Брюсов.

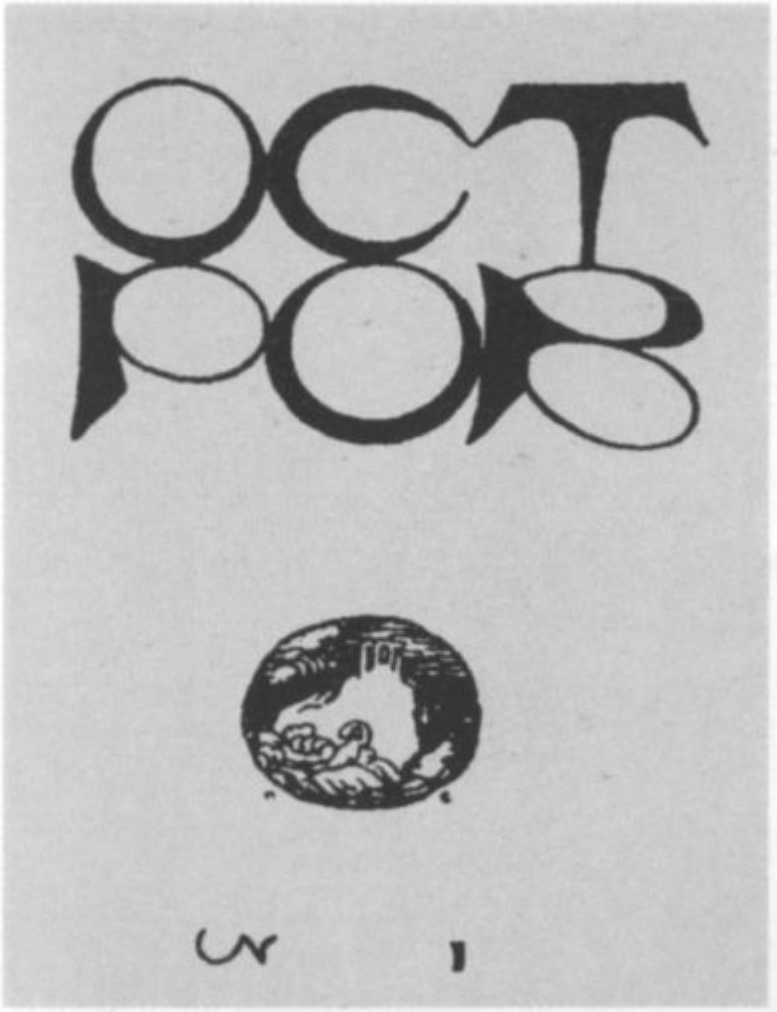
Николай Гумилёв. Портрет работы Н. Войтинской. 1909.

Елизавета Дмитриева (будущая Черубина де Габриак).1906.

Максимилиан Волошин. 1911 (?).

Царское Село. Торговые ряды, где познакомились гимназисты Коля Гумилёв и Аня Горенко. Современный вид.

Лидия Зиновьева-Аннибал, ее дочь Вера Шварсалон и Вячеслав Иванов. Загорье. 1907.



Обложка журнала «Остров», выпущенного Н. Гумилёвым. 1909.

Н. Гумилёв. Портрет работы М. Фармаковского. 1908.

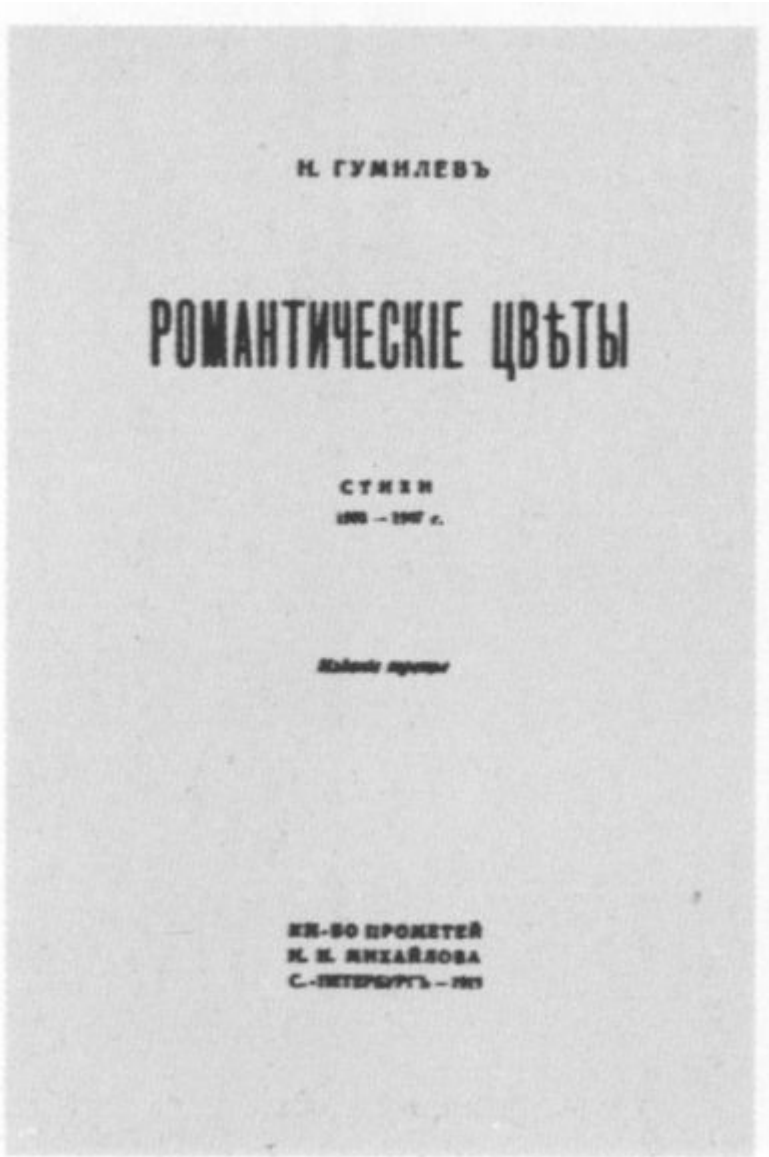
Дом Гумилёвых из Слепневской усадьбы, перенесенный в Градницы. Современный вид.

Церковь в Никольской слободе под Киевом, где венчались Н. Гумилёв и А. Горенко.

Семья Горенко: мать Инна Эразмовна (в центре) и дети:

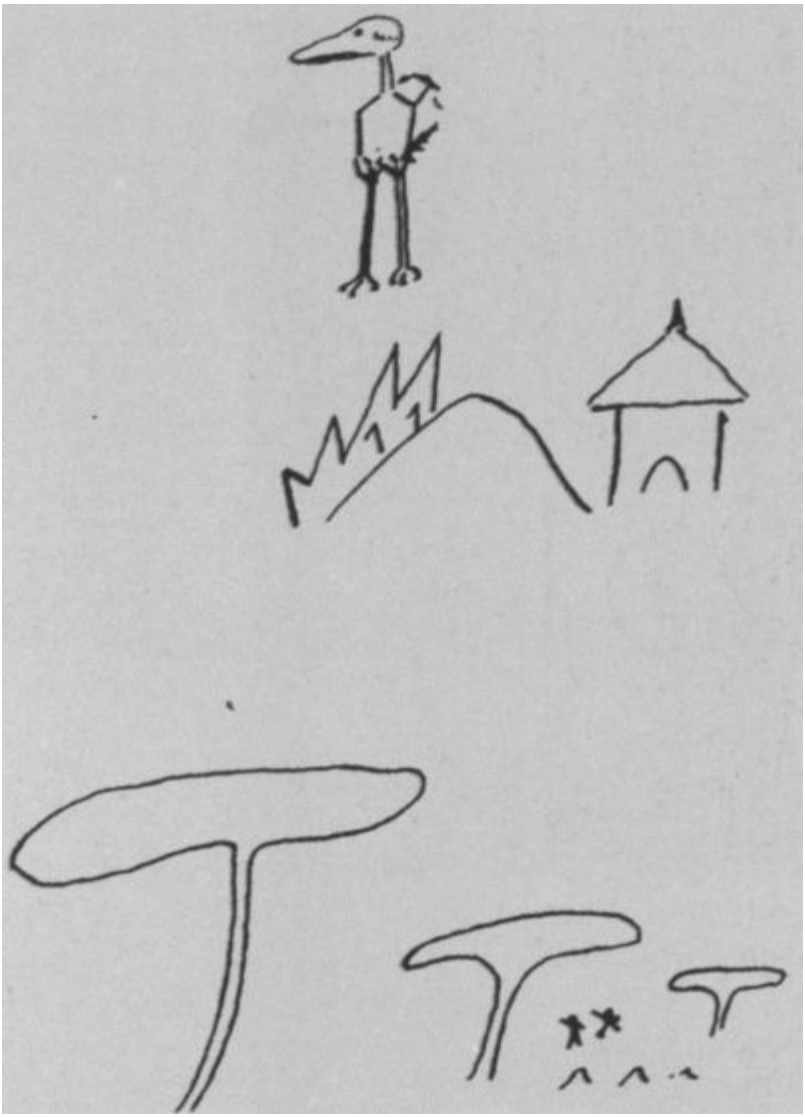
Виктор и Андрей, Анна и Ия.

Дом вдовы Белозеровой в Царском Селе (Конюшенная ул., 35, ныне 29), где жила семья Гумилёвых. Современный вид.



Обложка второго издания книги Н. Гумилёва «Романтические цветы». 1918.

Поэтесса Ольга Мочалова.



Африканский рисунок Н. Гумилёва. 1913.

Рисунки, привезенные Н. Гумилёвым из Африки. 1913.

Николай Сверчков (Коля-маленький), племянник Николая Гумилёва.

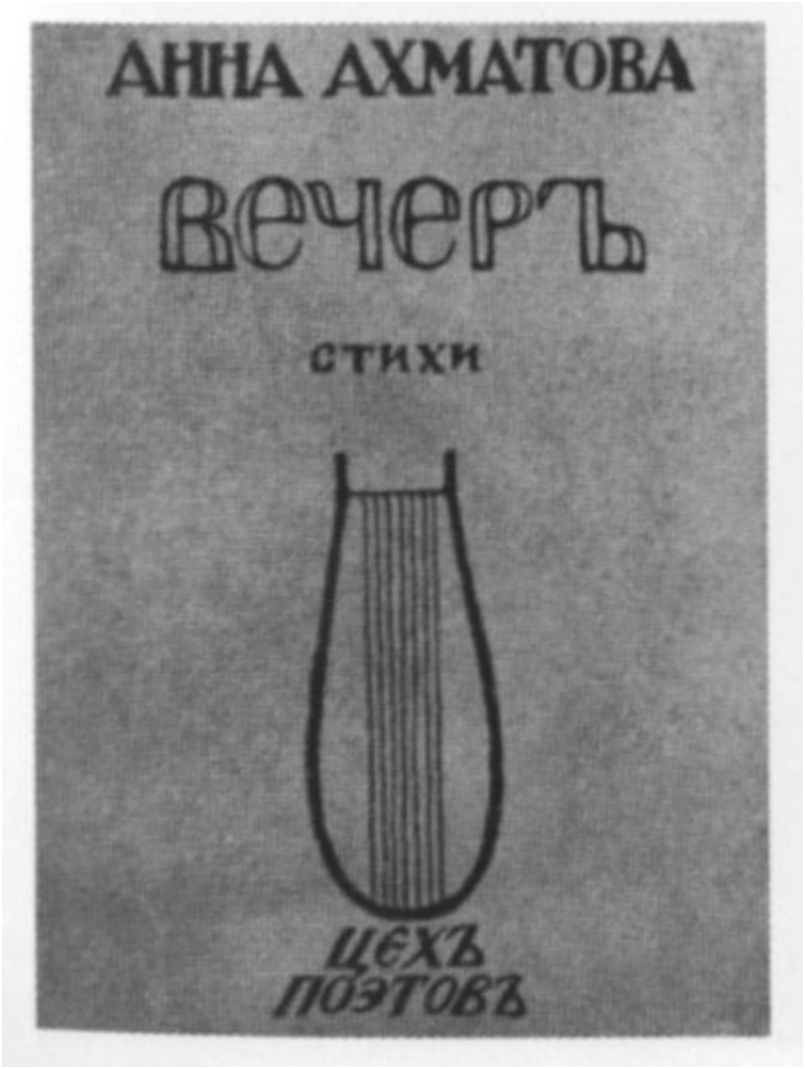
Обложка книги Н. Гумилёва «Жемчуга». 1910.

Владимир Нарбут. Фото из архива РГАЛИ.

Граф Алексей Николаевич Толстой.

Эмблема поэтического кафе «Бродячая собака».

Николай Гумилёв и Сергей Городецкий.

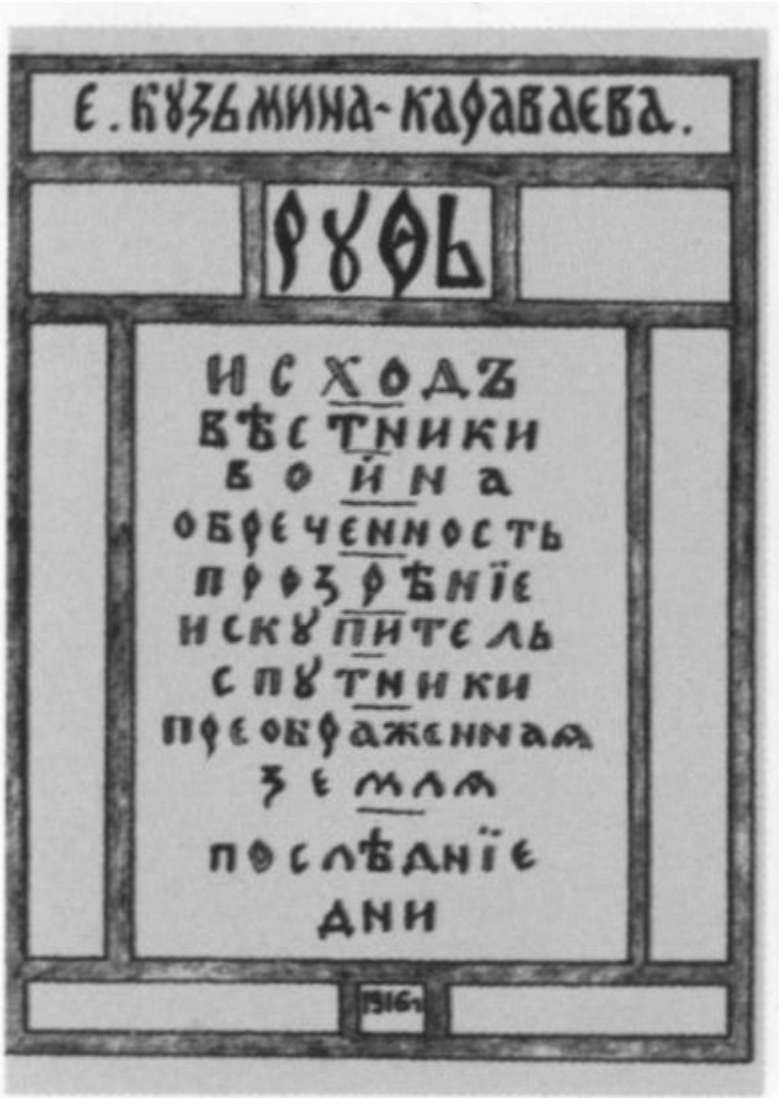


Обложка первой книги А. Ахматовой «Вечер». 1912.

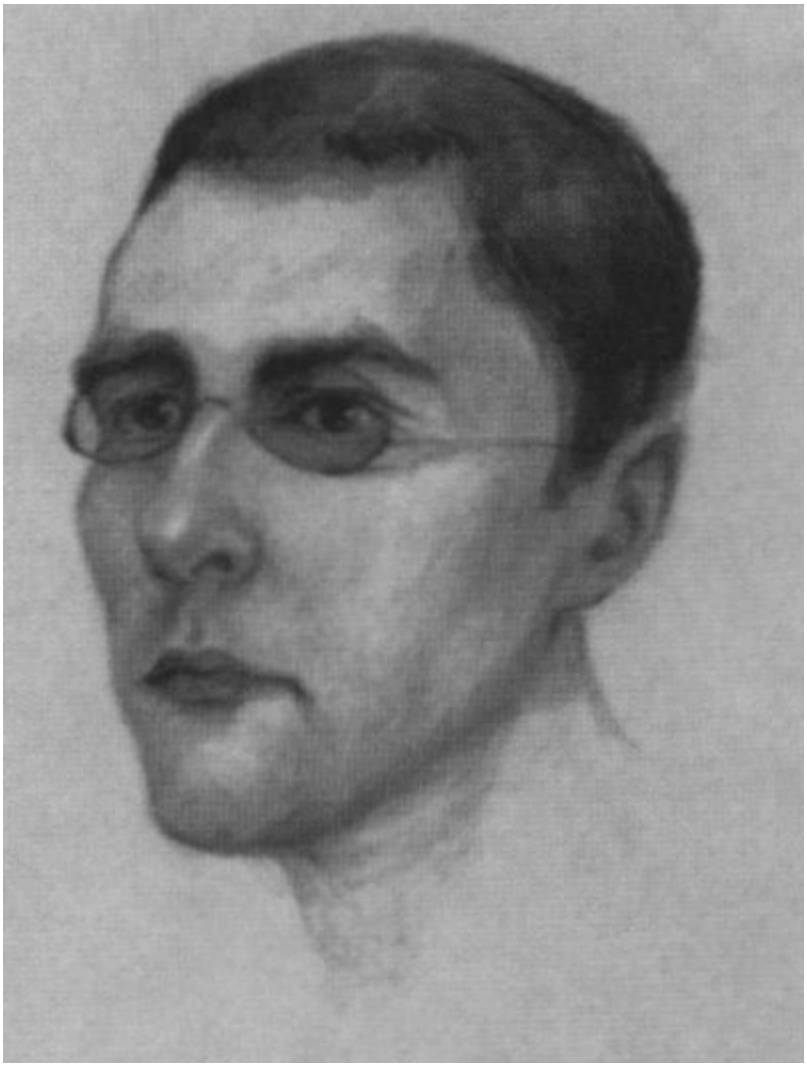
Обложка третьей книги Н. Гумилёва «Чужое небо». 1912.

Теофиль Готье.

Обложка книги Теофиля Готье «Эмали и камеи» в переводе Н. Гумилёва. 1914.



Обложка книги Е. Кузьминой-Караваевой «Русь». 1916.



Владимир Шилейко, второй муж А. Ахматовой.

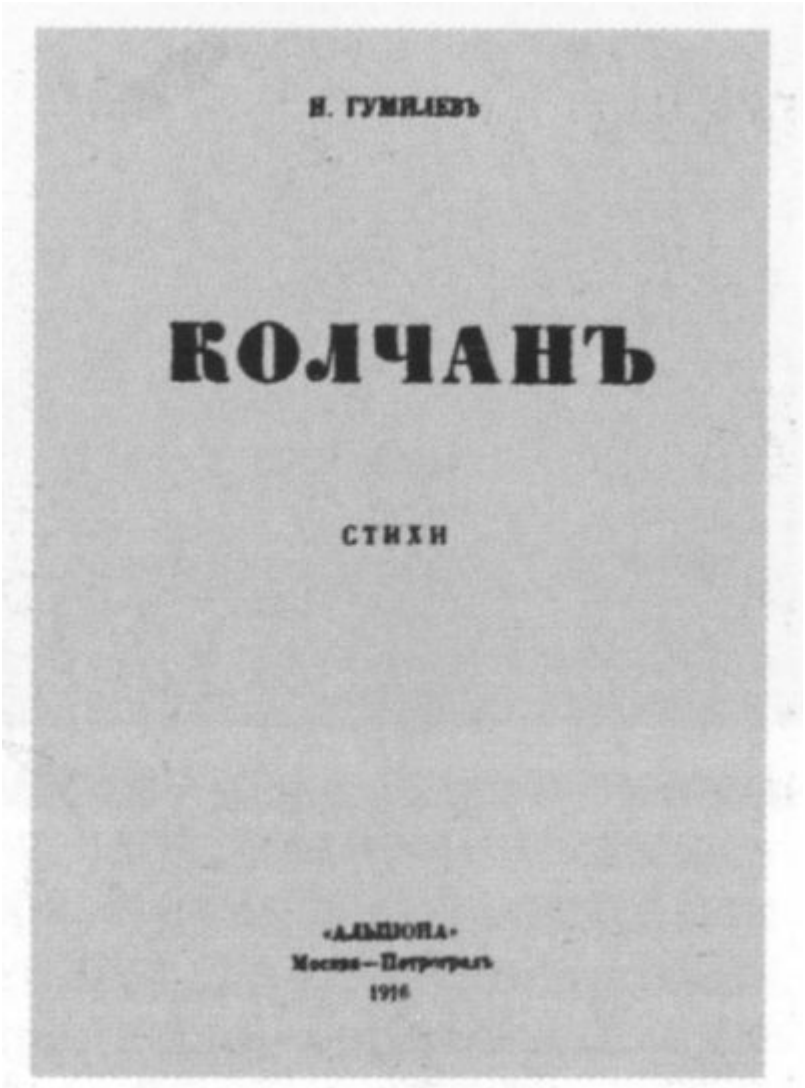
Актриса Ольга Николаевна Высотская, мать младшего сына поэта, в период знакомства с Н. С. Гумилёвым.

Николай Гумилёв в своем рабочем кабинете.

Николай Гумилёв в форме уланского полка. 1914–1915.

Николай Степанович и Анна Андреевна Гумилёвы с сыном Львом. 1915.

Силуэт Николая Гумилёва. Работа Е. Кругликовой.



Обложка книги Н. Гумилёва «Колчан». Конец 1915 г. (на книге дата — 1916).

Николай Гумилёв. Портрет работы М. Ларионова. 1917.

Михаил Ларионов, глава русского авангарда, друг Н. Гумилёва.

Художница Наталья Гончарова, жена М. Ларионова.

Лариса Рейснер. Петроград. 1915 —1916.

Анна Николаевна Энгельгардт, вторая жена Н. Гумилёва.

Георгий Иванов. Портрет работы Ю. Анненкова. 1921.

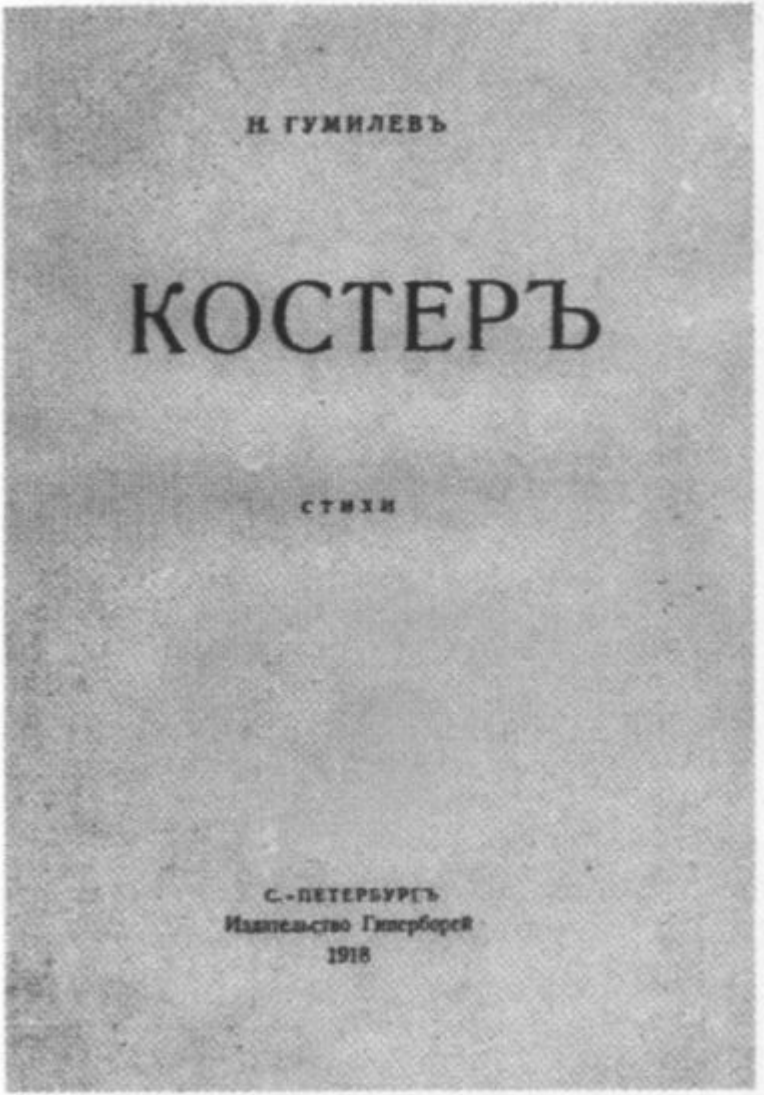
Михаил Зенкевич и его брат Сергей.

Николай Оцуп.

Михаил Кузмин.

Николай Гумилёв. Один из последних снимков.

Объявление о приеме в Институт Живого Слова, где читал лекции Н. Гумилёв.



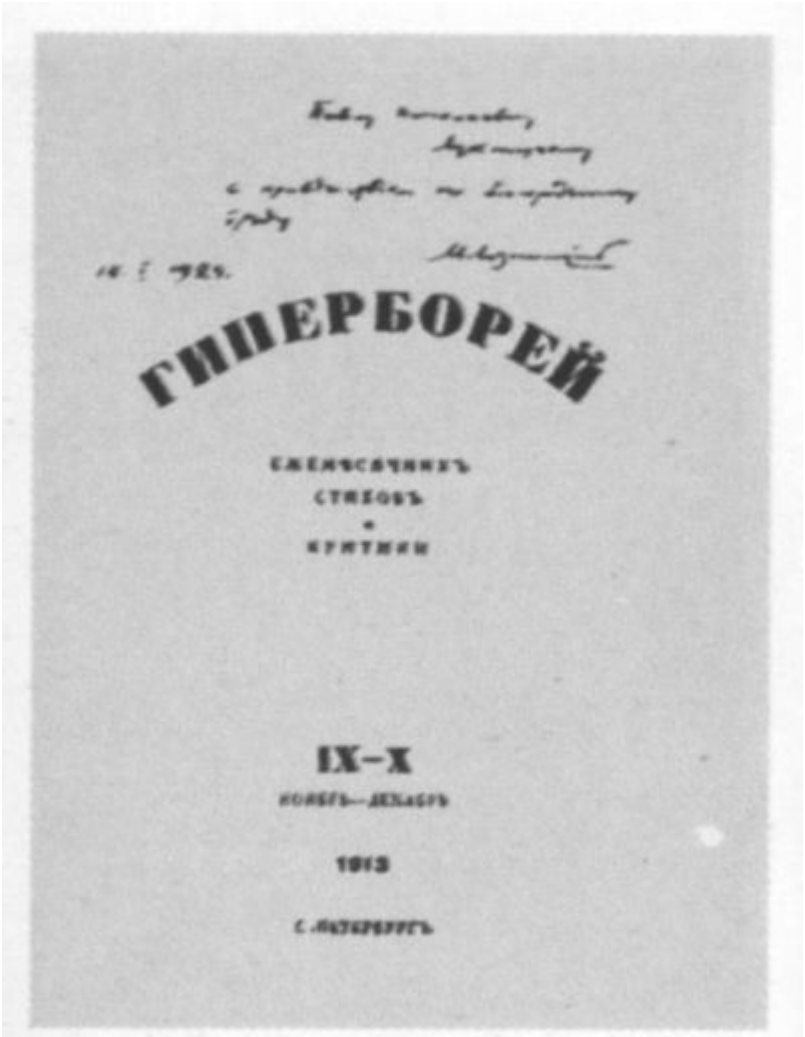
Обложка книги Н. Гумилёва «Костер». 1918.

Силуэт Максима Горького. Работа Е. Кругликовой.

Силуэт Юрия Верховского. Работа Е. Кругликовой.

Корней Чуковский. Портрет работы Н. Войтинской. 1909.

Александр Блок. 1917.



Обложка журнала «Гиперборей», основанного Н. Гумилёвым.

Елена Дебуше.

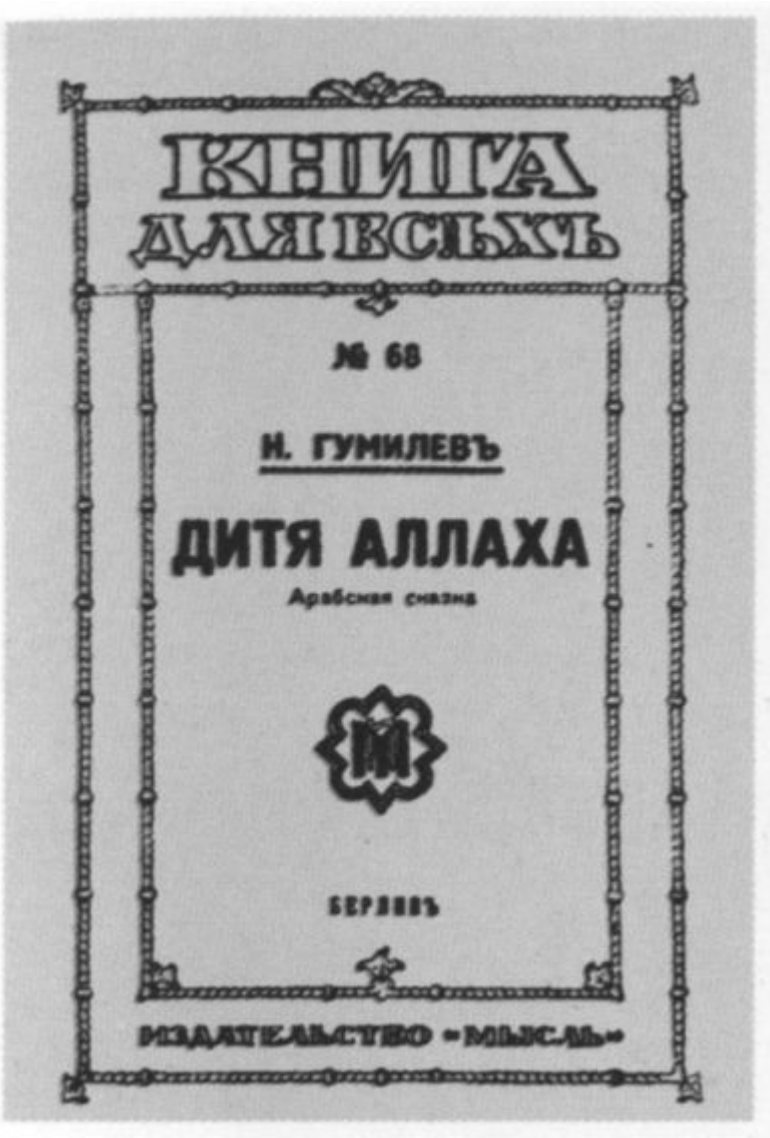
Обложка второго издания книги Н. Гумилёва «Шатер». Издательство «Библиофил». Ревель. Конец 1921 г. (на книге дата — 1922).

Здание, где в 1918–1921 годах размещалось издательство «Всемирная литература». Современный вид. Санкт-Петербург, угол Невского проспекта, 64/11, и Караванной (Моховой) улицы.

Александра Степановна Сверчкова (урожденная Гумилёва), сестра поэта.

Венеция.

Париж. Площадь Сен-Мишель.

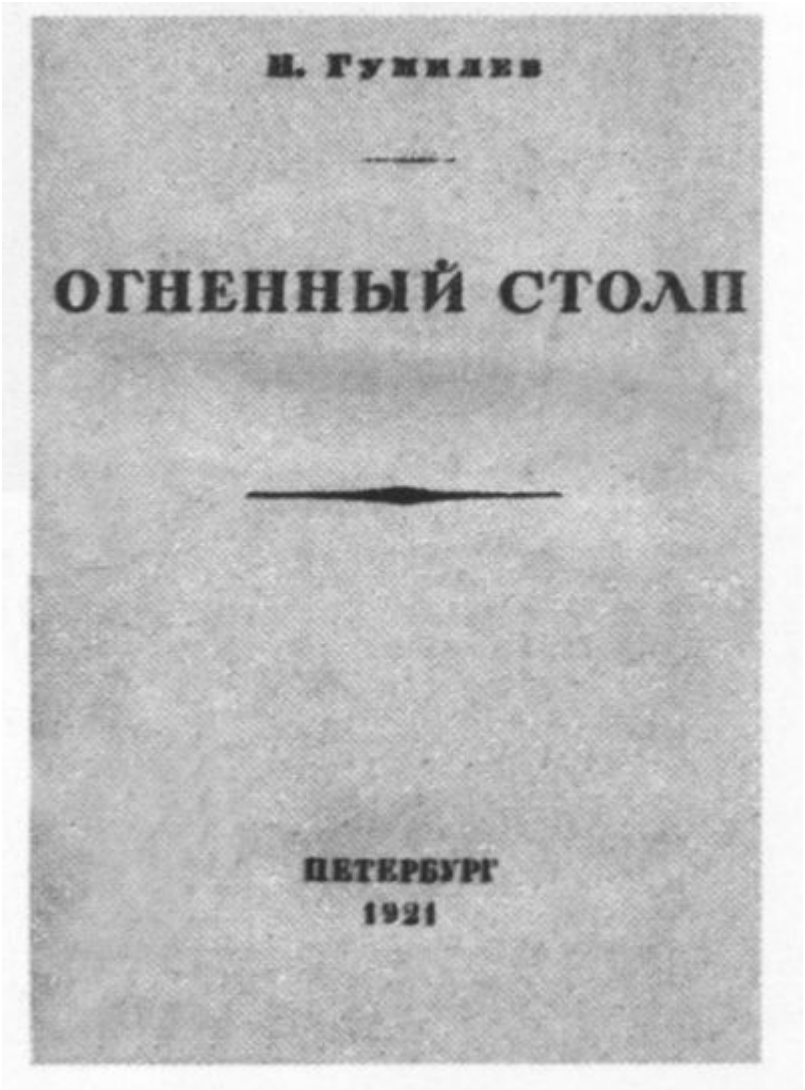


Обложка второго издания книги Н. Гумилёва «Дитя аллаха». Берлин. 1922.

Афиша творческого вечера Н. Гумилёва. 5 апреля 1920 г.

Залъ Тенишевскаго Училища (Моховая, 33).
въ субботу, 15 іюня въ 7 час. веч.
„АРІОНЪ“
вечеръ
ПОЭЗІИ и МУЗЫКИ
Георгій Адамовичъ, Борисъ Вѣринъ, Н. ГУМИЛЕВЪ, Софія Дубнова, Борисъ Евгеньевъ, Георгій Ивановъ, М. КУЗЬМИНЪ, Дмитрій Майзельсъ, Всеволодъ Рождественскій, Маргарита Тумповская.
О. О. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
ЗОЯ ЛОДІЙ
АЛЕКСАНДРЪ ДУБЯНСКІЙ
М. ФИШБЕРГЪ
С. ШПИЛЬМАНЪ
Трио Чайковскаго
А. Дубянскій, М. Фишбергъ и С. Шпильманъ.

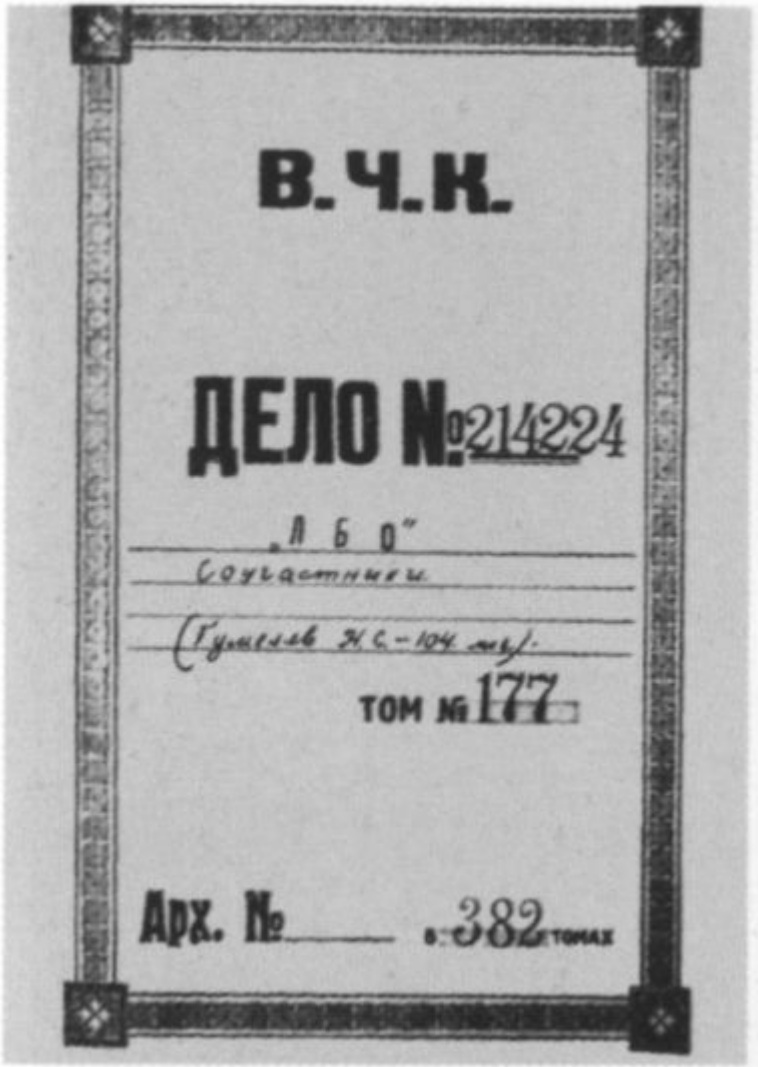
Афиша вечера поэзии и музыки кружка «Арион». Петроград. 1918.



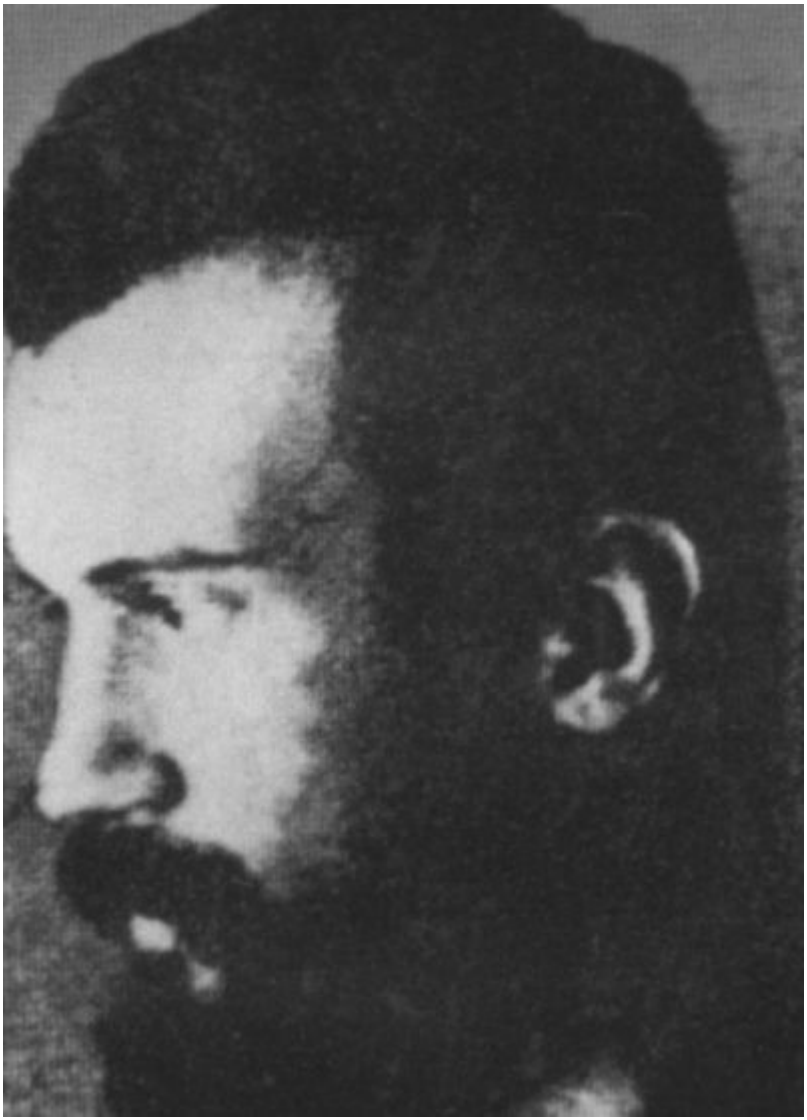
Обложка книги Н. Гумилёва «Огненный столп». 1921.

Николай Гумилёв. 1921.

Николай Гумилёв (сидит в центре) со своими учениками из кружка «Звучащая раковина». На переднем плане Георгий Иванов и Ирина Одоевцева. 1921.



Обложка тома № 177 «Дела» Н. С. Гумилёва. 1921.



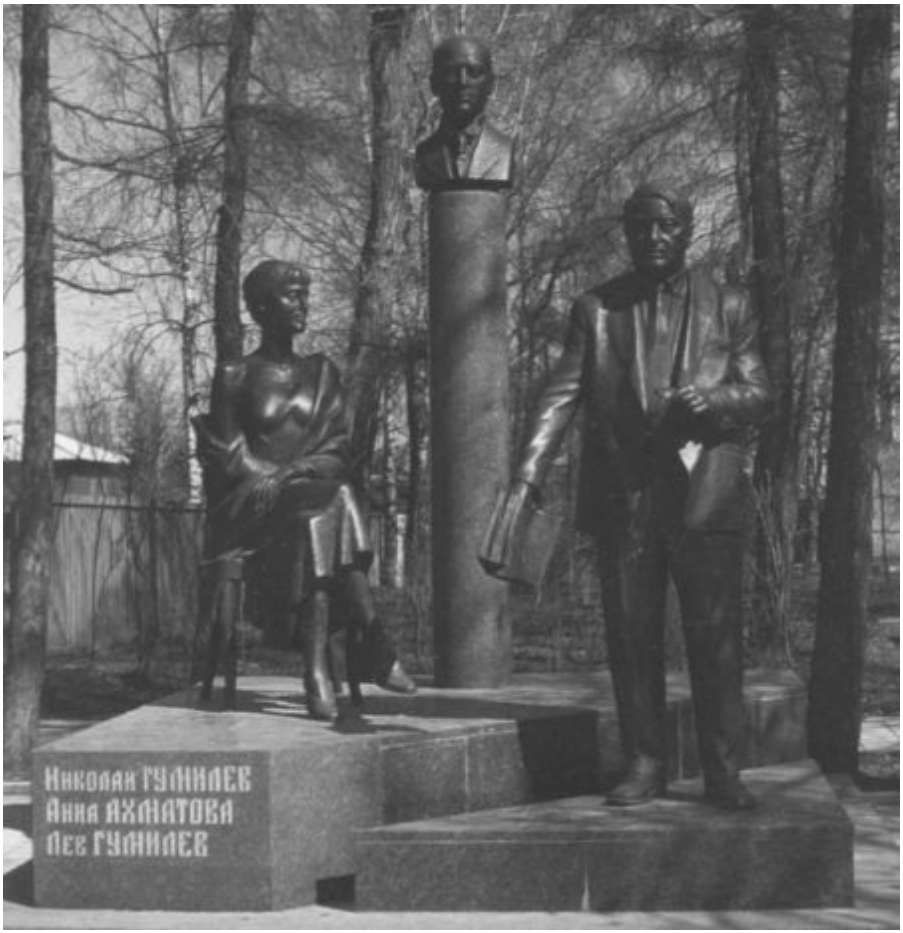
В. Н. Таганцев, «глава» сфабрикованного чекистами заговора.

Последний снимок Николая Степановича Гумилёва, сделанный в застенках ВЧК. 1921.

Лев Николаевич Гумилёв, старший сын поэта. 1985.

Орест Николаевич Высотский, младший сын поэта, с первой женой. 1930-е гг.

На Гумилёвских чтениях в Тирасполе. Лариса Орестовна Колодзейская, внучка поэта, Орест Николаевич Высотский, сын поэта, Владимир Полушин, автор книги, Виктор Зеленский, композитор. Вторая половина 1980-х гг.



Памятник Николаю Гумилёву со скульптурными изображениями Анны Ахматовой и Льва Гумилёва в городе Бежецке Тверской области, на родине матери поэта. Скульптор А. Ковальчук.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н. С. ГУМИЛЁВА

1886, 3 апреля (15 апреля по новому стилю) — в Кронштадте в семье военного врача Степана Яковлевича Гумилёва и потомственной дворянки Анны Ивановны Гумилёвой (в девичестве Львовой) родился второй сын, названный Николаем.

15 апреля — Николай Гумилёв крещен в Морской военной госпитальной Александро-Невской церкви в Кронштадте.

1890, весна — Гумилёвы покупают усадьбу Поповка по Николаевской железной дороге, где летом проводят время вместе с детьми. 1894— Николай Гумилёв начал писать первые стихи.

1895, весна — Н. Гумилёв выдержал экзамен в приготовительный класс Царскосельской Николаевской мужской гимназии.

1896, осень — Н. Гумилёв поступает в первый класс гимназии Я. Г. Гуревича, расположенной по улице Литовская, 1/43 (угол Бассейной улицы).

1900, 1 сентября — Николай и его брат Дмитрий Гумилёвы поступают во 2-ю Тифлисскую мужскую гимназию.

1901, 5 января — Н. Гумилёв переведен в 1-ю Тифлисскую мужскую гимназию.

25 мая — Н. Гумилёв переведен в пятый класс, и Гумилёвы едут отдыхать всей семьей в Березки Рязанской губернии.

1902, 8 сентября — в газете «Тифлисский листок» (№ 211) опубликовано первое стихотворение поэта «Я в лес бежал из городов…».

1903, 21 мая — Н. Гумилёв окончил шестой класс и получил отпускной билет в Рязанскую губернию до 1 сентября.

11 (24) июля — Н. Гумилёв определен в Царскосельскую Николаевскую мужскую гимназию в седьмой класс.

24 декабря — в сочельник — знакомство Николая Гумилёва с Аней Горенко в Гостином дворе Царского Села.

1905, весна — Н. Гумилёв делает предложение А. Горенко стать его же ной и получает отказ.

3 октября — получено цензорное разрешение на публикацию книги Н. Гумилёва «Путь конквистадоров». В том же месяце на деньги матери поэт издает свой первый поэтический сборник. Ноябрь — в журнале «Весы» (№ 11) появляется рецензия В. Я. Брюсова на книгу Гумилёва «Путь конквистадоров» (самая ранняя рецензия на стихи Н. Гумилёва).

1906, 30 мая — Н. Гумилёв получает аттестат зрелости

Царскосельской Николаевской Императорской гимназии за № 544.

Июль — Н. Гумилёв уезжает на учебу в Париж.

1907, вторая половина — Н. Гумилёв выпустил первый номер журнала «Сириус».

Начало июля — Н. Гумилёв отплыл на пароходе «Олег» из Одессы. 20 июля — Н. Гумилёв приезжает в Париж.

Вторая половина лета — попытка Н. Гумилёва покончить жизнь самоубийством — от отчаяния из-за неразделенной любви к А. Горенко.

Август — Н. Гумилёв в парке Бютт Шомон в Париже предпринимает снова попытку покончить жизнь самоубийством — вскрывает вены.

30 октября — Н. Гумилёву выдано свидетельство о явке к исполнению воинской повинности, по которому он признан «неспособным к военной службе…».

1908, 9 января — в Париже тиражом триста экземпляров выходит вторая книга стихотворений поэта «Романтические цветы».

20 апреля — Н. Гумилёв покидает Париж и отправляется в Россию, в Севастополе крупная ссора с А. Горенко — вернули друг другу письма и подарки. Отправляется из Крыма в Москву.

10 сентября — Н. Гумилёв уезжает из Одессы на пароходе «Россия» Русского общества пароходов и торговли в Синоп. Четыре дня находился в карантине, потом в Константинополе, Пирее.

1 октября — Н. Гумилёв в Александрии.

3 октября — Н. Гумилёв в Каире.

Конец октября — Н. Гумилёв, заняв денег у ростовщика, возвращается в Россию.

26 ноября — Н. Гумилёв знакомится с С. Ауслендером и впервые попадает на «Башню» Вяч. Иванова.

1909, 31 мая — Н. Гумилёв в Коктебеле у М. Волошина, ссора с Е. Дмитриевой, пишет стихотворение «Капитаны».

26 августа — Н. Гумилёв подает прошение ректору Санкт-Петербургского университета о переводе его на историко-филологический факультет. Переведен 1 сентября.

24–25 октября — вышел в свет первый номер журнала «Аполлон», в организации которого большую роль сыграл Н. Гумилёв. 22 ноября — дуэль Н. Гумилёва с М. Волошиным на Черной речке. 29 ноября — в ресторане гостиницы «Европейская» в Киеве Анна Горенко дала согласие стать женой Гумилёва.

1 декабря — Н. Гумилёв уезжает через Одессу в Константинополь. Декабрь — Николай Гумилёв путешествует по

Египту и Абиссинии.

1910, 6 февраля — в Царском Селе умер отец поэта Степан Яковлевич Гумилёв, похоронен на Кузьминском кладбище в Царском Селе, могила не сохранилась.

16 апреля — Н. Гумилёв выпускает в свет третью книгу стихов «Жемчуга» в Москве в издательстве «Скорпион». Обложку для книги выполнил художник Д. Кардовский. Гумилёв посвятил ее своему учителю В. Брюсову.

25 апреля — в церкви Никольской слободы недалеко от Киева происходит венчание Н. Гумилёва и А. Горенко.

2 мая — Н. Гумилёв и его жена Анна отправляются в свадебное путешествие в Париж, где они пробыли до начала июня.

1 октября — Н. Гумилёв в Константинополе.

12 октября — Н. Гумилёв в Каире.

1911, 4 мая — Н. Гумилёв подал прошение на имя ректора Санкт-Петербургского университета об увольнении его из числа студентов. Уволен 7 мая.

20 октября — Н. Гумилёв в квартире С. Городецкого проводит первое заседание созданного им Цеха поэтов.

1912, 3 апреля — Николай и Анна Гумилёвы уезжают в Италию.

Вторая половина апреля — в издательстве «Альциона» выходит четвертый поэтический сборник Н. Гумилёва «Чужое небо». Сентябрь — в сентябрьском (№ 9) номере журнала «Аполлон» Н. Гумилёв впервые употребил слово «акмеизм».

18 сентября — Анна Андреевна Гумилёва родила сына Льва, будущего выдающегося историка XX века.

25 сентября — Н. Гумилёв вновь подает прошение о зачислении его в число студентов историко-филологического факультета университета.

Начало октября — вышел первый номер журнала «Гиперборей» при ближайшем участии Гумилёва.

1913, около 15 января — вышел первый номер журнала «Аполлон» со статьей Н. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм».

7 апреля — по командировке Музея антропологии и этнографии Академии наук Н. С. Гумилёв едет в Абиссинию в качестве начальника экспедиции.

15 августа — официально окончилась экспедиция Н. Гумилёва в Абиссинию.

13 октября — у Н. Гумилёва и актрисы театра Мейерхольда Ольги Высотской в Москве родился сын Орест.

1914, 6 января — Н. Гумилёв познакомился с сестрой поэта

Георгия Адамовича Таней Адамович, выпускницей Смольного института.

5 марта — выходит книга стихов Анны Ахматовой «Четки» в основанном Гумилёвым издательстве «Гиперборей».

23 июля — Н. Гумилёв уезжает в Слепнево проститься со своей семьей.

28 июля — Н. Гумилёв уезжает в Царское Село хлопотать о призыве его в армию «охотником».

17 октября — Н. С. Гумилёв принял боевое крещение.

20 ноября — особенно тяжелый бой, главный удар немцев пришелся на позиции уланского полка.

Середина декабря — Н. Гумилёв прибыл в краткосрочный отпуск в Петроград.

24 декабря — Н. Гумилёв представлен к награде за успешную ночную разведку.

1915, 13 января — Н. Гумилёв согласно 96-й статье статута переименован в ефрейтора.

15 января — Н. Гумилёв за отличие в делах против германцев произведен в унтер-офицеры.

Между 25 и 27 января — Н. Гумилёв командирован и прибыл в Петроград.

20 февраля — уланский полк дислоцируется в Макаришках. Гумилёв участвует в высылаемых конных разъездах.

24 февраля — Н. Гумилёв участвует в наступлении уланского полка.

5 марта — Н. Гумилёв официально отчислен из университета.

15 марта — на фронте — болезнь Н. Гумилёва, лихорадка.

Вторая половина мая — Н. Гумилёв выписывается из госпиталя.

6 июля — бой у деревни Диоры и Джарки на реке Западный Буг, который Н. Гумилёв считал самым знаменательным в своей жизни и в котором он спасает при отступлении пулемет.

5 декабря — приказом по 2-й гвардейской кавалерийской дивизии за № 1486 за отличия в делах против германцев Н. С. Гумилёв был награжден Георгиевским крестом 3-й степени за № 108 868. Середина декабря — выходит книга стихов Н. Гумилёва «Колчан» в издательстве «Альциона» с указанием места выхода: Москва и Петроград. Несмотря на военное время, книга имеет большой резонанс.

26 декабря — Н. С. Гумилёв производится в унтер-офицеры и ожидает в Царском Селе производства в чин прапорщика.

1916, март — Н. С. Гумилёв оканчивает школу прапорщиков в Петрограде.

19 марта — Н. Гумилёв читает в Обществе ревнителей

художественного слова в Петрограде в здании редакции «Аполлона» свою пьесу «Дитя Аллаха».

28 марта — Н. С. Гумилёв приказом главнокомандующего армиями Западного фронта от 28 марта 1916 года за № 3332 произведен в прапорщики с переводом в 5-й гусарский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк.

1 мая — Н. Гумилёв заболел. Вскоре у него обнаружили процесс в легких.

5 мая — Н. Гумилёва отправили с бронхитом в привилегированный лазарет Большого дворца в Царском Селе.

13 июня — Н. Гумилёв прибывает в Ялту на излечение.

Июнь — Н. Гумилёв в Массандре работает над «Гондлой».

Конец июня — Н. Гумилёв знакомится с молодой поэтессой Ольгой Мочаловой.

7 июля — Н. Гумилёв прощается с Ялтой.

Лето — в Петрограде Н. Гумилёв знакомится с Ларисой Рейснер в «Бродячей собаке»; организация второго Цеха поэтов, просуществовавшего до осени 1917-го.

14 июля — Н. Гумилёв приезжает в Петроград.

16 июля — Н. С. Гумилёва поместили в Царскосельский эвакуационный госпиталь № 131.

18 июля — Н. С. Гумилёв признан здоровым, ему выдано предписание о возвращении в полк.

19 декабря — Н. Гумилёв получает краткосрочный отпуск и приезжает в Петроград. Встречает вернувшуюся из Севастополя жену и уезжает с ней и Кузьминым-Караваевыми в Слепнево.

28 декабря — приказом по полку на время нахождения полка в окопах прапорщик Н. Гумилёв был прикомандирован к 5-му эскадрону.

29 декабря — Н. Гумилёв начал нести службу в окопах на линии обороны гусар вдоль Двины на участке от Капостина до Надзина.

1917, 1 февраля — прапорщик Н. Гумилёв включен в список офицеров полка, командированных в стрелковый полк.

10 февраля — Н. Гумилёв в Петрограде вычитан и подписал корректуру поэмы «Мик» в журнале «Нива».

8 марта — Н. С. Гумилёв заболел, стал на учет в 134-й Петроградский тыловой распределительный пункт и определен в 208-й Петроградский лазарет.

19 марта — Н. Гумилёв принимает участие в учредительном собрании литературного общества Союза писателей.

30 марта — приказом по войскам 5-й армии № 269 Н. С. Гумилёв награжден орденом Святого Станислава 3-й

степени с мечами и бантом.

30 апреля — Н. Гумилёв встретился с А. Блоком. В апреле Николай Степанович накануне отъезда за границу оформляется специальным военным корреспондентом газеты «Русская воля».

2 мая — Н. С. Гумилёв командирован в распоряжение начальника штаба Петроградского военного округа для отправки на Салоникский фронт.

1 июля — завершилось путешествие поэта через Финляндию, Швецию, Норвегию и Англию.' Н. Гумилёв прибывает в Париж. 2 июля — Н. Гумилёв прикомандирован в распоряжение представителя русских войск во Франции генерала М. А. Занкевича. Август-сентябрь — у Н. Гумилёва выходит арабская сказка «Дитя Аллаха» с тремя рисунками художника П. Кузнецова.

Осень — Н. Гумилёв начинает работать над драмой «Отравленная туника».

2 сентября — прапорщик Н. Гумилёв прибывает в лагерь Ла-Кур-тин с полномочиями от Е. И. Раппа.

Ноябрь-декабрь — Н. Гумилёв работает над переводами восточных поэтов. Эти стихи составили потом основу книги китайских стихов поэта «Фарфоровый павильон».

1918, 21 января — прапорщик Гумилёв получает британскую визу и, сев на пароход, отправляется в Англию.

После 10 апреля — Н. Гумилёв покидает Лондон.

Май — сразу же по возвращении Н. Гумилёва в Петроград А. Ахматова потребовала, чтобы он дал ей развод.

13 мая — Н. Гумилёв читает свои стихи в зале Тенишевского училища на первом собрании общества «Арзамас».

20 мая — Н. Гумилёв избирается товарищем председателя совета Союза деятелей Художественной литературы на первом учредительном общем собрании.

23 июня — на Троицу — последняя совместная поездка Н. Гумилёва и его жены Анны Гумилёвой к их сыну Льву, который находился на попечении бабушки Анны Ивановны Гумилёвой в Бежецке.

28 июня — в издательстве «Гиперборей» выходит из печати африканская поэма «Мик».

13 июля — в издательстве «Гиперборей» выходит из печати книга переводов Н. Гумилёва «Фарфоровый павильон: китайские стихи». Июнь-июль — Н. Гумилёв работает над переводом «Гильгамеша».

17 июля — в издательстве «Гиперборей» выходит из печати новая книга стихов Н. Гумилёва «Костер».

5 августа — Н. Гумилёв официально оформляет развод с

женой Анной Гумилёвой.

Август — после 5 августа Н. Гумилёв делает предложение Ане Энгельгардт стать его женой.

Конец сентября — по инициативе М. Горького и А. Н. Тихонова создано издательство «Всемирная литература». Н. Гумилёв вместе с А. Блоком стал членом редакционной коллегии издательства.

18 октября — состоялось организационное собрание Института живого слова. Н. С. Гумилёв был зачислен преподавателем по курсам теории и истории поэзии.

19 ноября — торжественное открытие Дома искусств, Николая Гумилёва избрали в совет Дома искусств.

1 декабря — торжественное открытие Дома литераторов. Гумилёв вошел в состав комитета, стоявшего во главе Дома литераторов. Весь год — Н. Гумилёв переиздает свои книги «Жемчуга», «Романтические цветы» в издательстве Н. Н. Михайлова «Прометей». Выходит также арабско-персидская пьеса-сказка «Дитя Аллаха». Конец года — в Петрограде открывается первый детский театр «Коммунальный». Первая постановка пьесы Н. Гумилёва «Дерево превращений». Выходит книга Н. Гумилёва «Пьяные вишни».

1919, 27 февраля — Н. Гумилёв приглашен в члены совета издательства «Всемирная литература» по отделу поэзии.

До 10 марта — в Петербурге в издательстве «Всемирная литература» издана книга Н. С. Гумилёва и К. И. Чуковского «Принципы художественного перевода».

Весна — по инициативе Н. С. Гумилёва при издательстве «Всемирная литература» организована литературная студия.

14 апреля — родилась Елена Николаевна Гумилёва, дочь поэта и Анны Николаевны Энгельгардт (в замужестве Гумилёвой).

Лето — на Невском проспекте открывается кружок «Звучащая раковина», возглавляемый Н. Гумилёвым; Н. Гумилёв преподает в студии пролеткульта и в 1-й культурно-просветительной коммуне милиционеров, в студии в доме Мурузи.

Август — Н. Гумилёв после большого перерыва возвращается к написанию стихотворений, которые вошли в книгу «Огненный столп».

Конец августа — при Народном комиссариате просвещения по инициативе М. Горького создана Секция исторических картин. Н. Гумилёв был включен в состав редакционной коллегии.

19 ноября — Н. Гумилёв в Петрограде участвует в торжественном вечере открытия Дома искусств, во главе которого стоял М. Горький.

24 ноября — Н. Гумилёв на заседании во «Всемирной

литературе» принимает участие в обсуждении плана ста книг лучших русских писателей XIX века.

Конец декабря — Н. Гумилёв начинает преподавать в студии Дома искусств, читает курс лекций по драматургии.

1920, 20 января — в Ростове-на-Дону показали в театральной мастерской (режиссер А. Б. Надеждов, композитор Н. З. Хейфец) пьесу Н. Гумилёва «Гондла».

5 февраля — открывается литературная студия при культурно-просветительском отделе Балтфлота. Н. Гумилёв читает лекции по теории поэзии.

10 апреля — в Доме искусств проходит творческий вечер поэта Н. С. Гумилёва.

Весна — Н. Гумилёв принимает активное участие в организации Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов.

4 июля — Н. Гумилёв принимает участие в общем собрании поэтов Петрограда в помещении Вольной философской ассоциации.

6 июля — в Ростове-на-Дону в театральной мастерской осуществлена А. Б. Надеждовым первая постановка пьесы Н. Гумилёва «Гондла».

Июль — при участии Н. Гумилёва Союз поэтов утверждается как Петроградское отделение Союза поэтов.

21 октября — Н. Гумилёв организует вечер свободного Союза поэтов в клубе на Литейном проспекте, 24.

17 декабря — проходит второй вечер литературного кружка «культпросветотдела», на котором выступил Н. Гумилёв.

Зима — Н. Гумилёв едет со своей новой женой и детьми к матери и сестре Александре в Бежецк.

1921, январь — Н. Гумилёв издает рукописный журнал Цеха поэтов «Новый Гиперборей» в пяти экземплярах с рисунками авторов. Начало января — Н. Гумилёв составляет рукописные сборники своих ненапечатанных стихотворений: «Fantastica», «Китай», «Французские песни», «Канцоны», «Стружки», тетрадь из двух стихотворений «Заблудившийся трамвай» и «У цыган» для продажи их в книжном магазине издательства «Петрополис».

15 января — состоялось заседание правления в Доме литераторов. Н. Гумилёв и А. Блок были избраны в члены правления.

18 января — в Бежецке по инициативе Н. Гумилёва было открыто местное отделение Союза поэтов. Поэта выбрали первым почетным председателем.

Февраль — Н. Гумилёв избран (вместо А. Блока) председателем Петроградского отделения Всероссийского Союза

поэтов; издан рукописный журнал Цеха поэтов «Новый Гиперборей» (на гектографе отпечатано 23 экземпляра).

20 апреля — Н. Гумилёв проводит вечер Цеха поэтов в Доме искусств.

18 мая — последняя поездка Н. Гумилёва в Бежецк за женой и дочерью. Лев Гумилёв остался с бабушкой. Последняя встреча поэта с матерью.

21 мая — Н. Гумилёв возвращается в Петроград и переселяется из квартиры на Преображенской в Дом искусств.

30 мая— Н. Гумилёв из Петрограда в поезде командующего Черноморским флотом выезжает в Севастополь, где узнает от матери А. Ахматовой о самоубийстве Андрея Горенко.

Июнь — Н. Гумилёв знакомится с С. Колбасьевым. Морская прогулка до Феодосии. Случайная встреча с М. Волошиным.

Июль — разговор Н. Гумилёва с молодым поэтом Б. Вериным, который предлагает ему вступить в заговор, категорический отказ Н. Гумилёва.

Лето — Н. Гумилёв учреждает Дом поэтов.

Июль — Н. Гумилёв планирует издать новую книгу стихов «Посредине странствия земного» в издательстве «Петрополис».

8–9 июля — последняя встреча Н. Гумилёва и А. Ахматовой. Конец июля — Н. Гумилёв пишет стихотворение «На далекой звезде Венере…».

3 августа — по адресу: Преображенская улица, дом 5/7, кв. 2 чекистами устроена засада, выдан ордер на арест поэта.

В ночь с 3 на 4 августа — Н. С. Гумилёв арестован и доставлен по адресу: Шпалерная, 25, шестое отделение, камера 77.

9 августа — Н. С. Гумилёв допрошен в качестве обвиняемого следователем Петроградской ЧК по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией Якобсоном по делу № 2534.

До 16 августа — выходит из печати сборник стихотворений Н. С. Гумилёва «Огненный столп» с посвящением его второй жене Анне Николаевне Гумилёвой.

24 августа — литераторы приходят в ВЧК ходатайствовать об освобождении Н. С. Гумилёва и приносят письмо «В Президиум Петроградской губернской Чрезвычайной комиссии».

25 августа — поэт Н. С. Гумилёв был расстрелян.

31 августа — депутация писателей во главе с Н. Оцупом приходит на Шпалерную, чтобы узнать о Н. Гумилёве; проходит собрание совета Петроградской губернии, где с докладом выступает председатель Губчека Семенов и сообщает о ликвидации «заговоров».

1 сентября — официальное сообщение ВЧК о раскрытом

заговоре (Петроградская правда. 1921. № 181). В списке расстрелянных участников «таганцевского заговора» Н. С. Гумилёв значился под номером 30.

БИБЛИОГРАФИЯ

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ Н. С. ГУМИЛЁВА

Гумилёв Н. С. Путь конквистадоров. СПб.: типо-лит. Р. С. Вольнина, Садовая, 18. 1905.

Гумилёв Н. С. Романтические цветы. СПб., 1918. Стихи 1906–1908 гг. Гумилёв Н. С. Жемчуга. Стихи. М.: Скорпион, 1910.

Гумилёв Н. С. Чужое небо. СПб., 1912. Издание «Аполлона».

Виллон Ф. Из большого завещания / Пер. Н. Гумилёва // Аполлон. 1913. № 4 (апрель).

Вьеле-Грифэн. Кавалькада Изольды. Поэма / Пер. Н. Гумилёва //Северные записки. 1914. Январь.

Готье Т. Эмали и камеи / Пер. Н. Гумилёва. СПб., 1914.

Гумилёв Н. С. Колчан. Стихи. Пг.: Гиперборей, 1916.

Гумилёв Н. С. Пьеса «Дитя Аллаха» //Аполлон. 1917. № 6/7 (апрель).

Гумилёв Н. С. Костер. Пг.: Гиперборей, 1918.

Гумилёв Н. С. Мик. Пг.: Гиперборей, 1918.

Гумилёв Н. С. Гильгамеш. Пг., 1919.

Гумилёв Н. С. Перевод поэмы «О старом моряке» С. Т. Кольриджа // Всемирная литература. Пг., 1919. Вып. 19.

Гумилёв Н. С. Огненный столп. Пг.: Петрополис, 1921.

Гумилёв Н. С. Шатер. Севастополь, 1921.

Гумилёв Н. С. Дитя Аллаха. 2-е изд. Берлин: Мысль, 1922.

Гумилёв Н. С. Мик: Африканская поэма. 2-е изд. Пг.: Мысль, 1922. Гумилёв Н. С. Костер. Шестой сб. 2-е изд. Пг.: Изд-во Гржебина, 1922; Берлин: Изд-во Гржебина, 1922.

Гумилёв Н. С. Огненный столп. 2-е изд. Пг.; Берлин: Петрополис, 1922.

Гумилёв Н. С. Стихотворения. Посмертный сборник. 1-е изд. //Сост. Г. Иванов. Пг.: Мысль, 1922.

Гумилёв Н. С. Тень от пальмы: Рассказы. Пг.: Мысль, 1922.

Гумилёв Н. С. Тень от пальмы: Рецензия //Утренник. 1922. № 2. Гумилёв Н. С. Фарфоровый павильон: Китайские стихи. Седьмой сб. 2-е изд., доп. Пг.: Мысль, 1922.

Гумилёв Н. С. Гондла. Берлин: Петрополис, 1923.

Гумилёв Н. С. К синей звезде: Неизданные стихи, написанные в 1918 году в Париже. Берлин: Петрополис, 1923.

Гумилёв Н. С. Колчан. Четвертая книга стихов. 2-е изд. Берлин: Петрополис, 1923.

Гумилёв Н. С. Мик. 2-е изд. Пг.: Мысль, 1923.

Гумилёв Н. С. Письма о русской поэзии / Вступ. статья Г. Иванова. Пг.: Мысль, 1923.

Гумилёв Н. С. Посмертные стихи. Кн. 1. 3-е изд. Шанхай: Гиппокрена, 1935.

Гумилёв Н. С. Чужое небо. 2-е изд. (неполное) / Вступ. статья Г. Иванова. Берлин: Петрополис, 1936.

Гумилёв Н. С. Гондла. Драматическая поэма. Берлин: Петрополис, 1936.

Гумилёв Н. С. Жемчуга. 4-е изд. / Вступ. статья И. Пуцято. Шанхай: Дракон, б. г. С. 5–34.

Гумилёв Н. С. Чужое небо. Четвертый сб. 3-е изд. Шанхай: Дракон, б. г.

Гумилёв Н. С. Письма о русской поэзии. 2-е изд. Шанхай, б. г.

Гумилёв Н. С. Избранные стихи. Одесса, 1943.

Гумилёв Н. С. Избранные стихотворения. Зальцбург: Информационный бюллетень, 1946.

Гумилёв Н. С. Неизданный Гумилёв / Ред. и вступ. статья, прим. Г. П. Струве. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952.

Гумилёв Н. С. Собр. соч.: В 4 т. / Под ред. Г. П. Струве. Вашингтон, 1962–1968: 1962. Т. 1. Стихи. 1903–1915 гг.; 1964. Т. 2. Стихи 1916–1921 гг. и стихи разных лет; 1966. Т. 3. Драматические произведения разных лет, доп. к т. 2 (подгот. текста и коммент. Г. П. Струве; вступ. статья В. М. Сечкарева); 1968. Т. 4. Рассказы, очерки, литературно-критические и другие статьи, «Записки кавалериста» (подгот. текста и коммент. Г. П. Струве; вступ. статья В. В. Вейдле).

Гумилёв Н. С. Огненный столп. Б. м., 1975. С. 73. (Факс. воспроизв. изд.: Пг.: Петрополис, 1921.)

Гумилёв Н. С. Костер. Стихи. Ann Arbor, Ardis, 1979. (Репринт, воспроизв. изд.: Берлин, 1922.)

Гумилёв Н. С. Письма о русской поэзии / Предисл. Г. Иванова. Tetch-worth: Prideaux Press, 1979. (Перепеч. изд.: Пг., 1923.)

Гумилёв Н. С. Мик: Африканская поэма. Париж: Имка-Пресс, 1980. (Репринт, воспроизв. изд.: Пг., 1922.)

Гумилёв Н. С. Неизданное: стихи и письма. Париж, 1980.

Гумилёв Н. С. Неизданные стихи и письма. Париж: Имка-Пресс, 1980.

Гумилёв Н. С. Избранное / Предисл. и ред. Н. Оцупа. Б. м.: Орфей, 1982.

Гумилёв Н. С. Избранное. 4-е изд. / Предисл. и ред. Н. Оцупа. Нью-Йорк: Орфей, 1986.

Гумилёв Н. С. Неизданное и несобранное / Сост., ред. и коммент. М. Баскер, Ш. Греем. Париж: Имка-Пресс, 1986.

Гумилёв Н. С. Стихотворения /Сост. В. П. Бетаки. Париж: Имка-Пресс, 1986. (Сер. «Избранная поэзия».)

Гумилёв Н. С. Капитаны. Л.: Детская лит., 1988.

Гумилёв Н. С. Стихотворения. М., 1988. (Б-ка журн. «Полиграфия».)

Гумилёв Н. С. Стихотворения и поэмы / Вступ. статья А. И. Павловского; биогр. очерк В. В. Карпова. Л.: Сов. писатель, 1988. (Большая сер. «Библиотека поэта».)

Гумилёв Н. С. Стихи. Поэмы / Ред. и предисл. В. П. Енишерлова; сост. и коммент. В. К. Лукницкой. Тбилиси: Мерани, 1988. (XX в.: Россия — Грузия: сплетение судеб.)

Гумилёв Н. С. Стихотворения и поэмы / Сост. М. Д. Эльзона; вступ. статья М. А. Дудина. Волгоград: Нижне-Волжское кн. изд-во, 1988.

Гумилёв Н. С. Стихи / Сост. О. Михалевич. Л.: Аврора, 1988.

Готье Т. Эмали и камеи / Пер. Н. Гумилёва; сост., предисл. и коммент. Г. Косикова. М.: Радуга, 1989.

Гумилёв Н. С. Избранное / Сост., прим. и коммент. Ю. Г. Кротова. Красноярск: Кн. изд-во, 1989.

Гумилёв Н. С. Избранное / Вступ. статья Л. А. Смирновой. М.: Сов. Россия, 1989. С. 7–30.

Гумилёв Н. С. Костер. Стихи. М.: Книга, 1989. (Репринт, воспр. 1918 г.) Гумилёв Н. С. Теофиль Готье «Эмали и камеи»: Книга переводов / Сост., коммент. Г. К. Косикова. М.: Радуга, 1989.

Гумилёв Н. С. Стихи. Письма о русской поэзии / Вступ. статья Вяч. Вс. Иванова; сост., послесл. Н. А. Богомолова. М.: Худож. лит., 1989. (Сер. «Забытая книга».)

Гумилёв Н. С. Стихи, поэмы. 2-е изд. / Авт. биогр. очерка и коммент. В. К. Лукницкой; ред. и предисл. В. П. Енишерлова. Тбилиси: Мерани, 1989. (XX в.: Россия — Грузия: сплетение судеб.)

Гумилёв Н. С. Война: Стихи //Русская старина. 1990. Вып. 1.

Гумилёв Н. С. Драматические произведения. Переводы. Статьи / Сост., вступ. статья Д. И. Золотницкого; прим. Д. И. Золотницкого, М. Д. Эльзона. Л.: Искусство, 1990. (Б-ка русской драматургии.)

Гумилёв Н. С. Золотое сердце России. Сочинения / Сост., вступ. статья и коммент. В. Л. Полушина. Кишинев: Лит. артистикэ, 1990.

Гумилёв Н. С. Избранное / Вступ. статья И. А. Панкеева. М.: Просвещение, 1990. (Б-ка словесника.)

Гумилёв Н. С. Колчан. Стихи / Послесл. М. Д. Эльзона. М.: Книга, 1990. (Репринт, воспроизв. изд. 1916 г.)

Гумилёв Н. С. Письма о русской поэзии / Вступ. статья Г. М. Фриндлендера; коммент. Р. Д. Тименчика. М.: Современник, 1990. (Б-ка «Любителям российской словесности».)

Гумилёв Н. С. Проза. М.: Современник, 1990.

Гумилёв Н. С. Стихи. Письма о русской поэзии / Вступ. статья В. В. Иванова; сост. Н. А. Богомолов. М.: Худож. лит., 1990.

Гумилёв Н. С. Стихотворения: На польском языке с параллельным русским текстом / Сост. и ред. польск. пер. А. Поморский. М.: Радуга; Варшава: WspYtraca, 1990.

Гумилёв Н. С. Стихотворения. Поэмы. Проза / Вступ. статья А. И. Павловского; биогр. очерк В. В. Карпова; сост. В. П. Кочетков. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1990.

Гумилёв Н. С. Тень от пальмы: Рассказы Николая Гумилёва / Вступ. статья и коммент. В. Л. Полушина. Тирасполь, 1990. (Б-ка «Глазами столетий».)

Гумилёв Н. С. Шестое чувство: Стихи, проза, письма о русской поэзии / Сост. А. С. Бутузова-Зюзина. М.: Моск. рабочий, 1990.

Гумилёв Н. С. Огненный столп: Стихи и проза / Пред. Е. А. Подшиваловой. Ижевск: Удмуртия, 1991.

Гумилёв Н. С. В огненном столпе / Сост., вступ. статья и коммент. В. Л. Полушина. М.: Сов. Россия, 1991. (Сер. «Русские дневники».) Гумилёв Н. С. Записки кавалериста. Омск: Кн. изд-во, 1991.

Гумилёв Н. С. Избранное / Сост., предисл., коммент. Л. А. Смирновой. Хабаровск: Амурское отд. Хабаровского кн. изд-ва, 1991.

Гумилёв Н. С. Капитаны: Стихотворения. Поэмы / Вступ. статья А. Павловского. Н. Новгород: Волго-Вятское кн. изд-во, 1991.

Гумилёв Н. С. Николай Гумилёв: Стихотворения. Поэмы. Проза. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1991.

Гумилёв Н. С. «Посредине странствия земного»: Стихи / Предисл. М. Д. Эльзона. Л.: Предприятие при Ленинградском отд. Детского фонда им. В. И. Ленина «Сказ», 1991.

Гумилёв Н. С. Собр. соч.: В 4 т. / Вступ. статья Г. П. Струве. М.: Изд. центр «Терра», 1991. (Репринт: Вашингтон, 1962–1968.)

Гумилёв Н. С. Сочинения: В 3т. / Вступ. статья Н. А. Богомолова. М.: Худож. лит., 1991. Т. 1. Стихотворения. Поэмы (вступ. статья, сост., прим. Н. А. Богомолова); Т. 2. Драмы, рассказы (сост., подгот. текста, прим. Р. Щербакова, Е. Степанова); Т. 3. Письма о русской поэзии (подгот. текста, прим. Р. Д. Тименчика).

Гумилёв Н. С. Стихотворения и поэмы / Сост., вступ. статья и

коммент. И. А. Панкеева. М.: Профиздат, 1991. (Сер. «Поэзия XX века».)

Гумилёв Н. С. Избранное. 2-е изд. / Сост., вступ. статья, коммент., лит. — биограф. хроника И. А. Панкеева. М.: Просвещение, 1992. (Б-ка словесника.)

Гумилёв Н. С. Стихи, проза / Предисл. Вяч. Вс. Иванова, послесл. Н. А. Богомолова. Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1992.

Гумилёв Н. С. Читатель книг / Вступ. статья, сост. М. Д. Эльзона. СПб., 1993.

Гумилёв Н. С. «Я свет у тебя за плечами…»: Стихотворения / Сост. С. Локалов. Ярославль: Гринго, 1994.

Гумилёв Н. С. Избранное / Предисл., сост., прим. Н. Богомолова. М.: Панорама, 1995.

Гумилёв Н. С. Стихотворения. М.: Худож. лит., 1995.

Гумилёв Н. С. Чужое небо. Стихотворения и поэмы / Послесл. М. Латышева. М.: Изд. книготорговая фирма «Яуза», 1995. (Сер. «Серебряные струны».)

Гумилёв Н. С. Стихи: В 2 кн. / Вступ. статья Л. А. Смирновой. Саранск: Типоф. «Красный Октябрь», 1996.

Гумилёв Н. С. Стихотворения и поэмы / Сост., вступ. статья и коммент. И. А. Панкеева. М.: Профиздат, 1996.

Гумилёв Н. С. «Я пришел из другой страны»: Стихи. М.: Линор, 1996. (Сер. «Новая школьная библиотека».)

Гумилёв Н. С. Избранное //Сост. Г. С. Выдревич. М.: ТОО «Диамант», 1997. (Сер. «Библиотека поэзии».)

Гумилёв Н. С. К синей звезде / Пер. Корнелла Циклус. Београд: Плава звезда, 1997.

Гумилёв Н. С. Стихотворения и поэмы / Сост., предисл. и коммент. Л. Быкова. Екатеринбург: Средне-Уральское кн. изд-во, 1997. (Сер. «Выдающиеся поэты Отечества».)

Бодлер Ш. Цветы зла / Пер., вступ. статья Н. С. Гумилёва. М.: ЭКСМО-Пресс, 1998.

Гумилёв Н. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. / Ред. колл. Н. Н. Скатов и др. М.: Газетно-журн. объединение «Воскресенье», 1998: Т. 1. Стихотворения. Поэмы (1902–1910); Т. 2. Стихотворения. Поэмы (1910–1913); 1999. Т. 3. Стихотворения. Поэмы (1914–1918); 2001. Т. 4. Стихотворения. Поэмы (1918–1921).

Гумилёв Н. С. Избранное / Предисл., сост., прим. О. Дорофеева. М.: РИПОЛ классик, 1999.

Гумилёв Н. С. Лирика. Стихи / Вступ. статья Вяч. Ив. Иванова. Минск: Харвест, 1999.

Гумилёв Н. С. Муза дальних странствий: Стихотворения. М.:

ЭКСМО-Пресс, 1999.

Гумилёв Н. С. Сборник избранных стихотворений и поэм. 1999. (Б-ка поэзии «Русич».)

Гумилёв Н. С. Африканская охота: Новеллы. Рассказы. Очерки / Послесл. И. Ерыкаловой. СПб.: Азбука, 2000.

Гумилёв Н. С. Избранное / Вступ. статья Н. А. Богомолова. М.: Панорама, 2000.

Гумилёв Н. С. Стихотворения и поэмы. 2-е изд., испр. и доп. / Вступ. статья Л. И. Павловского; сост., подг. текста и прим. М. Д. Эльзона. СПб.: Акад. проект, 2000.

Гумилёв Н. С. Стихотворения и поэмы. 2-е изд. / Сост., предисл. и коммент. Л. Быкова. Екатеринбург: Средне-Уральское кн. изд-во, 2000.

Гумилёв Н. С. Тень от пальмы. Рассказы, пьесы. М.: ОЛМА-Пресс,

2000. (Сер. «Вавилонская библиотека».)

Гумилёв Н. С. Собр. соч.: В 3 т. М.: ОЛМА-Пресс, 2000: Т. 1. Стихотворения. Поэмы. 1906–1916; Т. 2. Стихотворения. Поэмы. 1917–1921; Т. 3. Пьесы. Проза. Статьи. 1907–1921.

Гумилёв Н. С. Стихотворения и поэмы. Екатеринбург, 2000.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Морской сборник. Вып. за 1863, 1864, 1865, 1866, 1913 гг.

Чернявский М. П. Генеалогия господ Тверской губернии с 1787 по 1869 г. Тверь, 1869.

Кронштадтское общество морских врачей: Протоколы заседаний. Вып. 9–20 за 1872–1883 гг.

Париж и его окрестности с планом города и 156 рисунками издательства журнала «Всемирный путешественник». СПб., 1874.

Новомарьевский В. И. Пятидесятилетие 1-й Тифлисской гимназии: Краткий очерк. 1881.

Тифлисская мужская гимназия 2-я. Памятная книжка. Тифлис, 1884.

Неделькович С. И. Краткий исторический очерк морской и городской газеты // Кронштадтский вестник; Перечень собраний за 25 лет с 1861 по 1881 г. Кронштадт, 1886.

Париж и его окрестности, полный русский путеводитель для едущих на Всемирную выставку в 1889 г. М., 1889.

Алексеев С. Е. Исторический очерк Царскосельской Мариинской женской гимназии за 1865–1890 гг. СПб., 1890.

Петербург и его достопримечательности. СПб., 1892.

Тифлисская мужская гимназия 2-я. Празднование 300-летия

Я. А. Каменского. Тифлис, 1892.

Абиссиния. Христианская страна в Африке. СПб., 1894.

Волгин Ф. В стране черных христиан. Очерки Абиссинии. СПб., 1895.

Императорская Николаевская Царскосельская мужская гимназия (Двадцатилетие ее существования). СПб., 1895.

Краткий исторический очерк Императорской Николаевской Царскосельской гимназии за 25 лет (1870–1895). СПб., 1895.

Царское Село. Фототипии. СПб., 1897.

Париж в кармане, издание Веге. Путеводитель по Парижу и окрестностям с планами на русском и французском языках и кратким словарем. Выставка 1900 г. СПб., 1900.

Париж. Описание города и его окрестностей и путеводитель по музеям, с полным планом Парижа и 12-ю планами музеев, окрестностей, кладбищ и пр. СПб.: Изд-во П. Копельмана, 1900.

Отчет о состоянии Тифлисской 1-й гимназии. Тифлис, 1881–1901.

Краткий очерк столетнего существования Кронштадтского морского собрания. СПб., 1902.

Кронштадтское морское собрание. 1802–1902 гг. СПб., 1902.

Белый А. Золото в лазури. М.: Скорпион, 1904.

Парижские уголки, очерки Алексея Плетнева. СПб., 1905.

Париже 14 дней / Сост. К. Горлов. СПб., 1906.

Гиппиус З., Мережковский Д., Философов Д. Маков цвет: Драма в 4-х действиях. СПб.: Изд-во М. В. Пирожкова, 1908.

Пересмешник (П. М. Загуляев). Фельетон-пасквиль «Царица-скука» на Н. Гумилёва // Царскосельское дело. 1908. № 2 (4 апреля).

Сообщение о принятии Н. Гумилёва в кружок «Вечера Случевского» // Петербургская газета. 1908. № 145 (28 мая).

Сообщение о принятии Н. Гумилёва в кружок «Вечера Случевского» // Последние новости. 1908. 26 мая.

Еще дуэль //Столичная молва. СПб., 1909. 22 ноября. (Без подписи.)

Дуэль литераторов // Столичная молва. СПб., 1909. 23 ноября. (Без подписи.)

Две дуэли //Биржевые ведомости. СПб., 1909. 23 ноября. (Без подписи.)

Декадентская дуэль // Раннее утро. М., 1909. 26 ноября. (Без подписи.)

Квидам. Петербургские странички (О дуэли Н. Гумилёва и М. Волошина)//Утро России. 1909. 26 ноября.

Колосов А. Галоша (Опыт некролога). О дуэли Гумилёва и Волошина // Биржевые ведомости. 1909. 24 ноября.

Кронштадтское общество морских врачей: 50 лет научно-практической деятельности общества. Кронштадт, 1909.

Пильский П. Два испанца (О дуэли Н. Гумилёва и М. Волошина) // Одесские новости. 1909. 25 ноября.

Происшествие (Подробности о дуэли Гумилёва и Волошина). 23 ноября 1909 г. // Новое время. 1909. № 12 106. (Без подписи.)

Иванов Вяч. Заветы символизма //Аполлон. 1910. № 8 (май — июнь).

Нарбут В. Дракон. Стихи. СПб., 1910.

Царское Село. 1710–1910. Путеводитель. СПб., 1910.

Царскосельская женская гимназия. СПб., 1911.

Чудовский В. Литературная жизнь. Общество Ревнителей Художественного слова // Русская художественная летопись. 1911. № 20 (декабрь).

Яковкин И. Ф. 1764–1816. 1829–1831. История Царского: В 3 ч. СПб., б. г.

Брюсов В. Далекие и близкие: Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней. М.: Скорпион, 1912.

Брюсов В. Я. Сегодняшний день русской поэзии (50 сборников стихов 1911–1912)//Русская мысль. 1912. № 7.

Иванов Вяч. Манера, лицо и стиль // Труды и дни. 1912. № 4–5 (июль — октябрь).

Иванов Г. Отплытье на о. Цитеру. Поэзы. 1912.

Краткий отчет об Императорской Николаевской Царскосельской гимназии за последние 15 лет ее существования. СПб., 1912.

Кузмин М. 1912 г. // Чужое небо // Аполлон. СПб., 1912. № 2 (февраль). Кузмин М. Осенние озера. М.: Скорпион, 1912.

Нарбут В. Аллилуйя. СПб.: Цех поэтов, 1912.

Петербург и его достопримечательности. СПб., 1912.

Садовской Б. А. «Чужое небо» Гумилёва: Рецензия // Современник. 1912. № 4 (апрель).

Акмеизм-адамизм // Бюллетени литературы и жизни. 1913. № 17 (май). Брюсов В. Новые течения в русской поэзии. Акмеизм // Русская мысль. 1913. Апрель.

Долинов А. Акмеизм //Заветы. 1913. № 5 (май).

Львов-Рогачевский В. Символисты и наследники их// Современник.

1913. Кн. 6.

Нарбут В. Любовь и любовь. СПб.: Наш век, 1913.

Неведомский М. Еще год молчания. Наша литература в 1912 г. // За 7 дней. 1913. № 1 (95).

Редько А. У подножия африканского идола. Символизм. Акмеизм. Эго-футуризм // Русское богатство. 1913. № 7 (июль).

Тифлис и его окрестности. Тифлис: Тифлисский журнал, 1913. Тифлисская мужская гимназия 2-я. Отчет о внеурочных занятиях учеников. Тифлис, 1913.

Чудовский В. Поссарт. Летучая мышь и театральная миниатюра. — Вечный Странник Осипа Дымова //Аполлон. 1913. № 4 (апрель).

Броунинг Р. Пиппа проходит. Драма / Пер. Н. Гумилёва // Северные записки. 1914. Март; апрель.

Венгров Н. Теофиль Готье. Эмали и камеи / Пер. Н. Гумилёва //Современник. Пг.: Изд-во М. В. Попова, 1914. Ноябрь.

Гиперборей: Ежемесячник стихов и критики. СПб., 1912–1913. Иванов Г. Горница. Книга стихов. 1914.

Первухин М. Псевдо-футуризм (Письмо из Рима) // Современный мир. 1914. № 3.

Тальников Д. «Символизм» или реализм?//Современный мир. 1914. № 4 (апрель).

Ходасевич В. Счастливый домик. М.: Альциона, 1914.

Адамович Г. Облака. М.; СПб.: Альциона, 1916.

Венгров Н. Гумилёв. Колчан //Летопись. 1916. № 1 (январь). Городецкий С. Поэзия, как искусство //Лукоморье. 1916. № 18. Жирмунский В. Преодолевшие символизм // Русская мысль. 1916. Декабрь.

Кронштадт. Справочная книга. Кронштадт, 1916.

Ласкающие стрелы. Библиографическая заметка И. Гурвича // Известия книжных магазинов т-ва М. О. Вольф. 1916.

О заседании Общества ревнителей Художественного слова, состоявшемся 19 марта, на котором обсуждали пьесу Н. С. Гумилёва «Дитя Аллаха» //Аполлон. 1916. № 4–5.

Оксенов И. Новые книги (в т. ч. Н. Гумилёв «Колчан». Стихи. СПб.: Гиперборей, 1916) // Новый журнал для всех. 1916. № 2–3 (февраль-март).

Париж // Культурные центры Европы. Т. 4. М.: Образовательные экскурсии, 1916.

Париж накануне войны в монотипиях Е. С. Кругликовой. Пг., 1916.

Полянин А. (Парнок С. Я.) «Колчан» Н. Гумилёва: Рецензия // Северные записки. 1916. № 6 (июнь).

Садовской Б. Ледоход. Статьи и заметки. Пг.: Изд. автора, 1916.

Эйхенбаум Б. Новые стихи Н. Гумилёва («Колчан». Пг.: Гиперборей, 1916)//Русская мысль. 1916. М. П. февраль.

Зноско-Боровский Е. О творчестве М. Кузмина // Аполлон. 1917. № 4–5.

Интервью Гумилёва Бехгоферу //The New Age. 1917. V. XXI. N

12, Juc. 4:19. P. 275.

Тумповская М. «Колчан» Н. Гумилёва //Аполлон. 1917. № 6/7.

Иванов-Разумник. Изысканный жираф // Знамя. 1918. № 3–4. Стб. 51–52.

Пунин Н. Попытка реставрации // Искусство коммуны. 1918. № 1 (7 декабря).

Шершеневич В. (Гальский Г.) Панихида по Гумилёву // Свободный час. 1918. № 7 (ноябрь).

Записки Института Живого слова. Пг., 1919.

Левинсон А. Я. Дерево превращений (О постановке пьесы Гумилёва). Жизнь искусства. 1919. № 91 (8 февраля). С. 1.

Медведев П. Н. Гумилёв. Костер //Записки Передвижного Общедоступного театра в Петербурге. 1919. Вып. № 24–25 (август-сентябрь).

Н.Л. О книге переводов Н. Гумилёва «Гильгамеш» //Жизнь искусства. 1919. № 139–140 (17–18 мая).

Пяст В. Встречи. М., 1919.

Смирнов А. А. Н. Гумилёв. «Костер»: Рецензия//Творчество. 1919. № 3.

Анненков Ю. П. 1920 (о «Гондле» и ее постановке в Ростове-на-Дону) //Жизнь искусства. Пг., 1920. 21 августа.

col1_1 С. Гумилёв (К 15-летию литературной деятельности) // Вестник литературы. 1920. № 11.

Бобров С. Дракон // Печать и революция. 1921. № 2.

Голлербах Э. Н. Гумилёв. Огненный столп: Рецензия // Вестник литературы. 1921. № 10 (34).

Голлербах Э. Открытое письмо Гумилёву // Известия Петросовета. 1921. № 40 (26 февраля).

Ego (Голлербах Э. Ф.). Дракон. Альманах стихов. Рецензия // Известия Петросовета. 1921. № 40.

Ego (Голлербах Э. Ф.). Путеводитель по Африке // Жизнь искусства.

1921. № 806 (30 августа).

Зигфрид. Литература русская. Дракон. Альманах стихов. Вып. 1 // Книга и революция. 1921. № 10–11 (апрель-май).

Иванов Г. О поэзии Н. Гумилёва //Летопись Дома литераторов. 1921. № 1 (1 ноября).

Оцуп Н. Град. Первая книга стихов. Пг.: Изд-во Цеха поэтов, 1921.

Петроградская правда. 1921. № 181 (1 сентября).

Познер С. Памяти Н. С. Гумилёва //Последние новости. Париж, 1921. № 429 (9 сентября).

Свентицкий А. Болезнь русской поэзии (Альманах Цеха

поэтов: Книга вторая. Пг., 1921)//Вестник литературы. 1921. № 11.

С. Г. (Городецкий). Николай Гумилёв // Искусство. Баку, 1921. № 2–3.

В. И. (Вивиан Итин). Н. Гумилёв. Огненный столп//Сибирские огни. 1922. № 4.

Горбачев Г. Письма из Петербурга // Горн. М., 1922. Кн. № 2 (7).

Королев В. Русское стихотворчество XX века. Главы: Акмеизм. Футуризм // Корабль. 1922. № 5–6 (ноябрь-).

Левинсон А. Я. Гумилёв //Современные записки. 1922. № 9.

Луни, Л. Цех поэтов // Книжный угол. Пг., 1922. № 8.

Мочульский К. Классицизм в современной русской поэзии // Современные записки. 1922. № 11.

Слоним М. Хвала мужественности // Воля России. 1922. № 23–24.

Брюсов В. Суд акмеиста // Печать и революция. 1923. № 3.

Выгодский Д. Изящная литература (О посмертном поэтическом сборнике Н. Гумилёва)//Книга и революция. 1923. № 2.

Гусман Б. 100 поэтов. Литературные портреты. Тверь, 1923.

Кузмин М. Глиняные голубки. Третья книга стихов. 2-е изд. Пг.: Петрополис, 1923.

Замятин Е. Воспоминания о Блоке // Русский современник. 1924. Кн. 3.

Немирович-Данченко В. Рыцарь на час // Воля России. 1924. № 8–9.

Верховский Ю. Путь поэта. О поэзии Н. С. Гумилёва // Современная литература: Сб. статей. Л., 1925.

Кондратьев А. Андре Шенье русской революции //Слово. Рига, 1926. 15 августа.

Харитон Б. Без названия // Сегодня. Рига, 1926. 27 августа.

Ходасевич В. О Блоке и Гумилёве //Дни. 1926. 5 августа.

Кондратьев А. А. // Последние известия. Таллин, 1927. № 48 (20 февраля).

Саянов В. К вопросу о судьбах акмеизма // На литературном посту. М.: Госиздат, 1927. № 17–18 (сентябрь).

Ермилов В. Поэзия войны (К вопросу о месте Гумилёва в современности) // Ермилов В. За живого Человека в литературе. М.: Федерация, 1928.

Адамович Г. Памяти Гумилёва //Иллюстрированная Россия. 1929. № 34.

Амфитеатров А. Таганцевская загадка //Сегодня. 1931. 25 октября.

Иванов Г. О Гумилёве //Современные записки. 1931. № 47.

Тарасенков А. Поэзия и война 1914 года. На фронтах литературы// ЛОКАФ. М., 1931. Кн. 5–6 (май-июнь).

Ющенко А. Творчество Н. Гумилёва. Сан-Франциско, 1931.

Иванов Г. О свитском поезде Троцкого, расстреле Гумилёва и корзинке с прокламациями // Сегодня. 1932. 23 декабря.

Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л.: Изд-во писателей, 1933.

Бем А. Судьба двух поэтов. Блок и Гумилёв. Варшава: Изд-во газеты «Меч», 1936.

Ходасевич В. О Н. С. Гумилёве // Возрождение. 1936. 19 сентября. Амфитеатров А. Часовой чести //Сегодня. Рига, 1937. 13 октября. Рождественский Вс. Александр Блок // Звезда. 1945. № 3.

Иванов Г. Блок и Гумилёв // Возрождение. 1949. № 6.

Иванов Г. Петербургские зимы. 2-е изд. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952.

Оцуп Н. Николай Степанович Гумилёв//Опыты. Нью-Йорк, 1953. № 1. Адамович Г. Одиночество и свобода. Литературные очерки. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955.

Гумилёва А. Николай Степанович Гумилёв // Новый журнал. 1956. Кн. XLVI.

Фет А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1959. (Сер. «Библиотека поэта».)

Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. Стихотворения и поэмы. 1907–1921. М.; Л.: Худож. лит., 1960.

Элькан А. Дом искусств // Мосты. 1960. № 5.

Месняев Г. В панцире железном // Возрождение. 1961. № 118, 119; 1962. № 123, 124.

Оцуп Н. Современники. Париж, 1961.

Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. Письма. 1898–1921. М.; Л.: Худож. лит., 1963. С. 282–289.

Винокуров И. П. и др. Кронштадт. Краткий путеводитель. Л., 1963. Дуэль Гумилёва с Волошиным // Гумилёв Н. Собр. соч.: В 4 т. / Под ред. Г. П. Струве, Б. А. Филиппова. Т. 2. Вашингтон, 1964.

Рейснер Л. М. Избранное. М., 1965.

Бусырев А. Первые русские корабли на Кубе // Нива. 1966. № 11. С. 217–218.

Замятин Е. Лица. Нью-Йорк, 1967.

Одоевцева И. На берегах Невы. Вашингтон, 1967.

Гумилёв в Лондоне. «Черный генерал» (рассказ) // Гумилёв Н. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. Вашингтон, 1968.

Письмо Арунделя дель Ре Джованни Папини // Гумилёв Н.

Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. Вашингтон, 1968.

Янишевский Ю. В. Письмо о Гумилёве // Гумилёв Н. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. Вашингтон, 1968.

Добрышин Н. Мои встречи с Гумилёвым // Новое русское слово. 1969. 30 мая.

Письма М. Ф. Ларионова о Н. С. Гумилёве // Мосты. 1970. № 15. С. 403–410.

Петров Г. Ф. Кронштадт. Рассказ об истории города от его основания до наших дней. Л., 1971.

Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. Париж, 1975.

Анненский И. Ф. Письма С. К. Маковскому // Анненский И. Книги отражений. М.: Наука, 1979.

Фрегат «Князь Пожарский» // Судостроение. Л., 1979. № 2.

Тютчев Ф. Стихотворения. Свердловск, 1980.

Чуковская Л. К. Воспоминания об Анне Ахматовой. Париж, 1980. Т. 1. Вагин Е. Материалы для биографии Н. С. Гумилёва // Russica-81: Литературный сб. / Под ред. А. Сумеркина. Нью-Йорк, 1982.

Ленинградский университет в воспоминаниях современников. Т. 2. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.

Прошение ректору Санкт-Петербургского университета от 10 июля 1908 г. // Вагин Е. Материалы для биографии Н. С. Гумилёва // Russica-81: Литературный сб. / Под ред. А. Сумеркина. Нью-Йорк, 1982.

Ахматова А. Сочинения. Париж, 1983. Т. 3.

Рейснер Л. М. Автобиографический роман //Лит. наследство. Т. 93. М., 1983.

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. Париж, 1984. Кардовская О. Дневник //Панорама искусств. Вып. 7. М., 1984. Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Программы «Бродячей собаки» // Памятники культуры: Новые открытия: Ежегодник. 1983. Л.: Наука, 1985.

Срезневская В. С. Из воспоминаний. Дафнис и Хлоя // Гумилёв Н. С. Неизданное и несобранное / Сост., ред. и коммент. М. Баскер, Ш. Греем. Париж: Имка-Пресс, 1986.

Тименчик Р. Д. «Над седою, вспененной Двиной…»: Н. Гумилёв в Латвии //Даугава. 1986. № 8.

Ясинский З. И. О встрече Есенина с Ахматовой // С. А. Есенин в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1986.

Книпович Е. Об Александре Блоке. М., 1987.

Терехов Г. А. Возвращаясь к делу Гумилёва // Новый мир. 1987. № 12. Азадовский К. М., Тименчик Р. Д. К биографии Н. С. Гумилёва (вокруг дневников и альбомов Ф. Ф. Фидлера) // Русская литература. 1988. № 2. С. 171–177.

Ауслендер С. А. Воспоминания о Н. С. Гумилёве // Панорама искусств. М.: Сов. художник, 1988. № 11.

Васильева Е. «Две вещи в мире для меня всегда были самыми святыми: стихи и любовь» //Новый мир. 1988. № 12.

Волошин М. Рассказ о Черубине де Габриак. Письма //Новый мир. 1988. № 12.

Горнунг Л. В. Неизвестный портрет Н. С. Гумилёва // Панорама искусств. М.: Сов. художник, 1988. № 11.

Крейд В. Гумилёв. Orange: Conn, 1988.

Купченко В. История одной дуэли //Ленинградская панорама. 1988. Манушов В. А. О дуэли Н. Гумилёва и М. Волошина // Максимилиан Волошин. Лики творчества. Л.: Наука, 1988.

Неизвестный портрет Н. С. Гумилёва. Из воспоминаний Л. В. Горнунга //Панорама искусств. М.: Сов. художник, 1988. № 11.

Письмо в защиту Гумилёва / Публ. М. Эльзона // Русская литература. 1988. № 3.

Толстой А. Н. Гумилёв //Урал. 1988. № 2.

Аумов Н. Эпизод из жизни «Аполлона» //Литературная учеба. 1989. № 4.

Ахматова А. Биографическая канва Николая Гумилёва до 1912 года // Лукницкий П. Дневник // Наше наследие. 1989. № 3.

Ахматова А. В Тверском краю. Стихи / Лит. — краевед. очерк Д. В. Куприянова. Калинин, 1989.

Ахматова А. Десятые годы. М., 1989.

Ахматова А. Из дневниковых записей //Лит. обозрение. 1989. № 6.

Ахматова А. Листки из дневника // Звезда. 1989. № 6.

Ахматова А. Модильяни Амедео. Ставрополь, 1989.

Гинзбург Л. Человек за письменным столом. Л., 1989.

Николай Гумилёв в воспоминаниях современников / Ред., сост. предисл. и коммент. В. Крейда. Третья волна. Париж; Нью-Йорк, 1989; Голубой всадник. Дюссельдорф, 1989.

Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1989.

Новиков Д. Об экономии мрамора. К литературной истории Дома Мурузи //Аврора. 1989. № 6.

Одоевцева И. На берегах Невы. М.; Худож. лит., 1989.

Тименчик Р. «Остров искусства»/ Биографическая новелла в документах//Дружба народов. 1989. № 6.

Фельдман Д. Дело Гумилёва //Новый мир. 1989. № 4.

Хижняк В. Таганцевское дело // Вечерняя Москва. 1989. № 179 (5 августа).

Хренков Д. Т. Анна Ахматова в Петербурге — Петрограде —

Ленинграде. Л., 1989.

Анненков Ю. Дневник моих встреч. Л., б. г.

Дитц В. Ф. Есенин в Петрограде — Ленинграде. Л., 1990.

Лукницкая В. Николай Гумилёв. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л.: Лениздат, 1990.

Маковский С. Портреты современников // Серебряный век. Мемуары. М.: Известия, 1990.

Милюков П. Н. Воспоминания. Т. 2. М.: Современник, 1990.

Нарбут В. Стихотворения. М.; Современник, 1990.

Николай Гумилёв в воспоминаниях современников / Ред., сост. предисл. и коммент. В. Крейда. М.: Вся Москва, 1990. (Репринт, изд.: Третья волна. Голубой всадник. Париж и др., 1989.)

Полушин В. Л. Волшебная скрипка поэта (вступ. статья) // Гумилёв Н. С. Золотое сердце России: Сочинения / Сост., вступ. статья и коммент. В. Л. Полушина. Кишинев: Лит. артистикэ, 1990.

Полушин В. Л. Слово о прозе поэта // Н. Гумилёв. Тень от пальмы, рассказы. Тирасполь, 1990.

Тименчик Р. Д. По делу № 214 224 //Даугава. 1990. № 8.

Шервашидзе А. К. О дуэли Н. Гумилёва с М. Волошиным // Максимилиан Волошин. Путник по вселенным. М.: Сов. Россия, 1990.

Жизнь Николая Гумилёва. Воспоминания современников / Сост. Ю. В. Зобнин, В. П. Петрановский, А. К. Станюкович. Л.: Изд-во Междунар. фонда истории науки, 1991.

Заграничные путешествия Ахматовой и Гумилёва. 1910-е гг. // Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Л.: Петрополь, 1991. С. 30.

Лукницкий П. Н. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. 1924–1925 гг. Париж: Имка-Пресс, 1991.

Полушин В. Л. В лабиринтах Серебряного века. Кишинев: Хиперион, 1991.

Полушин В. Л. Рыцарь русского ренессанса: размышления о жизни и творчестве (вступ. статья) // Гумилёв Н. С. В огненном столпе / Сост., вступ. статья и коммент. В. Л. Полушина. М.: Сов. Россия, 1991. (Сер. «Русские дневники».)

Рапорт прапорщика Н. Гумилёва //Наше наследие. 1991. № 1. С. 36–38. Хейт А. Анна Ахматова. Дневники, воспоминания, письма. М.: Радуга, 1991.

Чуковский К. И. Дневник (1901–1929). М., 1991.

Давидсон А. Б. Муза странствий Николая Гумилёва. М.: Наука; изд. фирма «Вост. литература», 1992.

Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. М.: РИК

«Культура», 1992. Николай Гумилёв и русский Парнас // Материалы научной конференции 17–19 сентября 1991 г. / Сост. И. Г. Кравцова, М. Д. Эльзон. СПб., 1992.

col1_1 Брюсов. Биография писателя. М., 1992.

Шошков Е. «Дело Таганцева»: полный развал! //Смена. 1992. 7 октября.

Миронов Г. Начальник террора. Документальная повесть. М., 1993. Тименчик Р. Д. Неизвестная статья Н. С. Гумилёва «Театр Александра Блока» //Литературное наследство. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 5. М., 1993.

Брюсов В. Из моей жизни. Автобиографическая и мемуарная проза. М., 1994.

Васильев В. Штабс-капитан «Русский Легион Чести» //Лит. Россия. 1994. № 12 (1624).

Иванов Г. О Гумилёве // Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М.: Согласие, 1994.

Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. Т. 2. Тула, 1994.

Николай Гумилёв. Исследования и материалы. Библиография / Сост. М. Д. Эльзон, Н. А. Грознова. СПб.: Наука, 1994.

Ольшанская Е. Анна Ахматова в Киеве // Серебряный век: Приложение к журналу «Ренессанс». Киев, 1994.

Разумов А. Л. Гумилёв о «деле» Н. Гумилёва //Вечерний Петербург. 1994. 8 июля.

Эльзон М. Последнее «прости» поэта // Вечерний Петербург. 1994. 8 июля.

Амедео Модильяни. Жизнь художника. Мемуары. М.: Галарт, 1995. Бронгулеев В. В. Посредине странствия земного. М.: Мысль, 1995. Гончаров В., Панфилов А. Дело Таганцева — великая провокация ВЧК // Вечерняя Москва. 1995. 19 октября.

Гумилёв Н. С.: Pro et contra. Личность и творчество Н. Гумилёва в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология/Сост. и вступ. статья Ю. В. Зобнина. СПб.: Изд-во Русского христианского гуманитарного ин-та, 1995. (Сер. «Русский путь».)

Каминская Р. «И август с ликом сатаны с тех пор ей будет спутник верный»: интервью с братом А. А. Горенко — Виктором Горенко // Московский комсомолец. 1995. 6 октября.

Корецкая И. «Аполлон» // Корецкая И. Над страницами русской поэзии и прозы начала века. М.: Радикс, 1995.

Краевский Б. «Дело Таганцева»: кем и как оно было сделано… // Общая газета. 1995. № 49.

Куняев Ст., Куняев С. Сергей Есенин. М.: Молодая гвардия, 1995. (Сер. «ЖЗЛ».)

Николай Гумилёв. Жизнь и творчество / Пер. с фр. Л. Аллена

при участ. С. Носова. СПб.: Logos, 1995. (Сер. «Судьбы. Оценки. Воспоминания XIX–XX вв.».)

Оцуп Н. Николай Гумилёв. Жизнь и творчество / Пер. с фр. Л. Аллена при участ. С. Носова. СПб.: Logos, 1995. (Сер. «Судьбы. Оценки. Воспоминания XIX–XX вв.».)

Панкеев И. Николай Гумилёв: биография писателя. М.: Просвещение, 1995.

Адамович Г. Критическая проза. М.: Изд-во Лит. ин-та им. А. М. Горького, 1996.

Болховитинов Н. Н. Русские эскадры в США в 1863–1864 гг. // Новая и новейшая история. 1996. № 5 (сентябрь-октябрь). С. 195–216.

Гумилёвские чтения: Материалы международной конференции фило-логов-славистов. С.-Петербургский гуманит. ун-т профсоюзов и Музей А. Ахматовой в Фонтанном доме, 15–17 апреля 1996 г. СПб.: Изд-во

С.-Петербургского гуманит. ун-та профсоюзов, 1996.

Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Ч. 1. М.: Эдитори-ал УРСС, 1996.

Никитин А. Неизвестный Николай Гумилёв: исследования и стихи. М.: Интерграф Сервис, 1996.

Черных В. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Ч. 1. 1889—

1917. М.: Эдиториал УРСС, 1996.

Лукницкий П. Н. Встречи с Ахматовой. Т. 2. Париж; М., 1997.

Лукницкий С. П. «Дело» Гумилёва. М.: Спас, 1997.

Носик Б. Анна и Амедео. История тайной любви Ахматовой и Модильяни. М.: Радуга, 1997.

Полушин В. Л. Основатель лучизма //Тирасполь на грани столетий. Т. 2. Тирасполь, 1997.

Ахматова А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. Стихотворения 1904–1941 гг. М.: Эллис-Лак, 1998.

Герштейн Э. Мемуары. СПб., 1998.

Калло Е. Четыре имени в русской поэзии //Subrosa. Аделаида Гер-цык. София Парнок. Поликсена Соловьева. Черубина де Габриак. М.: Эллис-Лак, 1999.

Муратов П. П. Образы Италии. М.: Терра; Республика, 1999.

Мусафина О. Где храм стоял — базар шумит… На месте венчания Ахматовой с Гумилёвым нынче торгуют клубникой с лотков // Комсомольская правда. 1999. 23 июня.

Полушин В. Л. Морской врач // Енисей: Литературно-художественный альманах. 1999. № 5 (сентябрь-октябрь). С. 106–125.

Полушин В. Л. Слепневская затворница // Енисей:

Литературно-ху-дожественный альманах. 1999. № 5 (сентябрь-октябрь). С. 125–139.

Шилейко В. Пометки на полях. Стихи / Публ. И. В. Платоновой-Лозинской; предисл. А. Г. Меца, И. Г. Кравцовой. СПб.: Изд-во Ивана Лим-баха, 1999.

БлокА. Записные книжки. М., 2000.

Знаменитые столицы и города мира: Справочник. Ростов н/Д.: Феникс, 2000.

Зобнин Ю. Н. Гумилёв — поэт православия. СПб., 2000. Вып. 7. (Сер. «Новое в гуманитарных науках».)

Литературные манифесты от символизма до наших дней. М.: Изд. дом «XXI век — согласие», 2000.

Луни, Л. Неопубликованная статья для второго номера газеты «Ирида» // Зобнин Ю. Н. Гумилёв — поэт православия. СПб., 2000. С. 59. (Сер. «Новое в гуманитарных науках».)

Маковский С. Максимилиан Волошин // Маковский С. Портреты современников. М.: Изд. дом «XXI век — согласие», 2000.

Маковский С. На Парнасе Серебряного века. М.: Изд. дом «XXI век — согласие», 2000.

Маковский С. Портреты современников. М.: Изд. дом «XXI век — согласие», 2000.

Николай Гумилёв: Pro et contra. Личность и творчество Н. Гумилёва в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология / Сост., вступ. статья и прим. Ю. В. Зобнина. СПб.: Изд-во Русского христианского гуманитарного ин-та, 2000. (Сер. «Русский путь».)

Полушин В. Л. Николай Гумилёв — поэт и воин // Газета — высокая печать. М.: Академия поэзии, 2000. № 1.

Полушин В. Л. Париж //Тайга — XXI век. 2000. Вып. 1. С. 120–136.

Полушин В. Л. Рождение романтика // Тайга: Литературно-художественный альманах. 2000. № 2. С. 60–120.

Полушин В. Л. Царскосельский гимназист. Жизнь расстрелянного поэта //Литературная Россия. 2001. 13 апреля. С. 14.

Полушин В. Л. О происхождении Гумилёва //Литературная Россия. 2001. 13 июля. С. 16.

Полушин В. Л. Убийство //Литературная Россия. 2001. 31 августа. С. 15.

Полушин В. Л. В поисках «Синей Звезды» // Москвичка. 2001. № 18 (431).

Полушин В. Л. Почтовый роман // Москвичка. 2001. № 17 (430). Май.

Полушин В. Л. Прощание с колдуньей //День и ночь: Литературный журнал. 2001. № 3–4.

Полушин В. Л. Сестра милосердия // Москвичка. 2001. № 18 (431). Май.

Полушин В. Л. Смерть принял достойно //Литературная газета. 2001. 29 августа — 4 сентября. С. 7.

Тиняков А. Красноярск: ИПК «Платина», 2001. (Сер. «Поэты свинцового века».)

Полушин В. Л. Гумилёвы. 1720–2000: семейная хроника. Летопись жизни и творчества Н. С. Гумилёва: XX столетие. Родословное древо. М.: ТЕРРА; Книжный клуб, 2004.

Полушин В. Л. Два солнца русской поэзии, или Русское противостояние (Блок — Гумилёв)//Альманах Академии поэзии. М.: Моск. писатель, 2005.

ДОКУМЕНТЫ

Аттестат Н. С. Гумилёва из Царскосельского уездного воинского присутствия // ЦГВИА РФ. Ф. 3597. Оп. 1. Д. 189. Л. 563.

Аттестат Н. С. Гумилёва об удовлетворении видами довольствия от 2 (15) января 1918 г. // ЦГВИА РФ. Ф. 15 234. Оп. 3. Д. 43. Л. 76.

Аттестат № 1860 прапорщика Н. Гумилёва от 8 апреля 1916 г. // ЦГВИА РФ. Ф. 3597. Оп. 1. Д. 189. Л. 415.

Аттестат прапорщика Н. Гумилёва об удовлетворении жалованьем, 1 июня 1916 г. // ЦГВИА РФ. Ф. 3597. Оп. 1. Д. 1888. Л. 170.

Воспоминания Вельяшовой (о М. Кузмине) // РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 8. Ед. хр. 60.

Выписка из аттестационного списка с оценками Н. С. Гумилёва в Николаевском кавалерийском училище, сентябрь-октябрь 1916 г. // ЦГВИА РФ. Ф. 725. Оп. 50. Д. 388. Л. 325 об. — 326.

Выписка из приказов по Тыловому управлению русских войск во Франции об отправлении Н. Гумилёва в госпиталь Мишлэ // ЦГВИА РФ. Ф. 15 304. Оп. 7. Д. 39. Л. 83.

Гатов А. Б. Поэты — мои друзья//РГАЛИ. Ф. 2802. Оп. 1. Ед. хр. 11.

Гумилёв Н. С. Письма к М. А. Кузмину // Рукописный отдел Российской национальной библиотеки. СПб. Ф. 124 — Ваксель П. Л. Ед. хр. 1400.

Докладная капитана Пимонова из штаба сводного отряда

командиру 5-го гусарского Александрийского полка полковнику Коленкину от

19 января 1917 г. // ЦГВИА РФ. Ф. 3597. Оп. 1. Д. 176. Л. 19.

Заявление члена исполнительного комитета русских военнослужащих во Франции полковника Коллонтаева и др. // ЦГВИА РФ. Ф. 15 304. Оп. 3. Д. 43. Л. 46–51.

Командировочное удостоверение Н. Гумилёва в Петроград от ^августа 1916 г. // ЦГВИА РФ. Ф. 3597. Оп. 1. Д. 176. Л. 120.

Кузмин М. О дуэли Н. Гумилёва с М. Волошиным // ЦГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 53. С. 269–272.

Лабинская И. А. Воспоминания о С. К. Маковском и др. // РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 2. Ед. хр. 310.

Отношение Е. И. Раппа о высылке поручика Штакельберга, заверенное Н. Гумилёвым от 18 (31) декабря 1917 г. // ЦГВИА РФ. Ф. 15 304. Оп. 2. Д. 129. Л. 56–56 об.

Отношение Муассера графу А. А. Игнатьеву об отправке Гумилёва и др. в Салоники // ЦГВИА РФ. Ф. 15 304. Оп. 2. Д. 217. Л. 77 об.

Отношение Н. Гумилёва прапорщику Джинория // ЦГВИА РФ. Ф. 15 234. Оп. 1. Д. 31. Л. 46.

Отношение полковника Бобрикова начальнику Тылового управления русских войск во Франции об удовлетворении жалованьем Н. Гумилёва // ЦГВИА РФ. Ф. 15 324. Оп. 1. Д. 78. Л. 4.

Отношение полковника Бобрикова графу А. А. Игнатьеву от 14 января 1918 г. об отправке Н. С. Гумилёва на Персидский фронт // ЦГВИА РФ. Ф. 15 304. Оп. 3. Д. 87. Л. 16.

Отношение прапорщика Н. Гумилёва дивизионному интенданту от 16 (28) октября 1917 г. // ЦГВИА РФ. Ф. 15 234. Оп. 1. Д. 63. Л. 149.

Переписка полковника Карханина (О добавочном жалованьи на Георгиевский крест 3-й степени Н. С. Гумилёву) // ЦГВИА РФ. Ф. 200. Оп. 2. Д. 1571. Л. 131–136.

Письмо из уездного Царскосельского воинского присутствия командиру 5-го гусарского Александрийского полка, 24 ноября 1916 г. // ЦГВИА РФ. Ф. 3597. Оп. 1. Д. 189. Л. 562.

Письмо командиру 5-го гусарского полка об удовлетворении прапорщика Н. Гумилёва деньгами, 22 мая 1916 г. // ЦГВИА РФ. Ф. 3597. Оп. 1. Д. 189. Л. 270.

Письмо М. А. Кузмина В. И. Нарбуту // РГАЛИ. Ф. 1399. Оп. 2. Ед. хр. 26.

Послужной список Д. С. Гумилёва // ЦГВИА РФ. Ф. 409. Оп. 1. Д. 176 788, 1918.

Предписание Н. С. Гумилёву петроградского коменданта от

28 января 1917 г. // РО ГБЛ. Ф. 245 (л. м. Рейснер). Картон б. Ед. хр. 20. Л. 33.

Прошение бывшего студента историко-филологического факультета Н. С. Гумилёва в канцелярию по студенческим делам петроградского университета от 22 августа 1916 г. //ЛГИА. Ф. 14. Оп. 3. Д. 61 522. Л. 16.

Рапорт о допуске к экзаменам в Николаевском кавалерийском училище, 22 августа 1916 г. // ЦГВИА РФ. Ф. 8725. Оп. 50. Д. 388. Л. 155.

Распоряжение генерала М. А. Занкевича об оставлении Н. Гумилёва в Париже // ЦГВИА РФ. Ф. 15 234. Оп. 1. Д. 19. Л. 139.

Свидетельство о браке Н. С. Гумилёва и А. А. Горенко // ЛГИА. Ф. 14. Оп. 3. Д. 61 522. Л. 12 об.

Свидетельство студента Н. С. Гумилёва с разрешением убыть в отпуск за границу // ЦГИА. СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 61 522. Л. 12.

Телеграмма генерала Ермолова генералу Занкевичу о невозможности отправить на фронт Н. Гумилёва от 22 января 1918 г. // ЦГВИА РФ. Ф. 15 234. Оп. 1. Д. 72. Л. 28 об.

Телеграмма генерала Ермолова о Н. С. Гумилёве от 12 января 1918 г. // ЦГВИА РФ. Ф. 15 304. Оп. 3. Д. 87. Л. 8.

Телеграмма генерала Ермолова генералу Занкевичу от 24 декабря (6 января 1918) // ЦГВИА РФ. Ф. 15 304. Оп. 3. Д. 87. Л. 1 об.

Телеграмма генерала Ермолова генералу Занкевичу от 19 января 1918 г. // ЦГВИА РФ. Ф. 15 304. Оп. 3. Д. 87. Л. 1.

Телеграмма генерала Занкевича генералу Ермолову о Н. С. Гумилёве от 10 января 1918 г. // ЦГВИА РФ. Ф. 15 304. Оп. 3. Д. 87. Л. 1.

Телеграмма генерала Занкевича генералу Ермолову с рекомендацией Н. Гумилёва от 24 января 1918 г. // ЦГВИА РФ. Ф. 15 234. Оп. 1. Д. 72. Л. 28 об.

Телеграмма генерала Романовского о назначении Н. Гумилёва на должность // ЦГВИА РФ. Ф. 15 234. Оп. 1. Д. 46. Л. 101.

Телеграмма генерала Занкевича в Главное управление Генштаба об оставлении Н. Гумилёва в Париже // ЦГВИА РФ. Ф. 15 304. Оп. 2. Д. 217. Л. 47.

Телеграмма из ГУГШ Саттерупа об оставленных во Франции офицерах, в том числе и Н. Гумилёва // ЦГВИА РФ. Ф. 15 304. Оп. 3. Д. 17. Л. 58.

Телеграмма Н. Гумилёва от 26.09.1918 в отрядный комитет // ЦГВИА РФ. Ф. 15 234. Оп. 1. Д. 32. Л. 109 об.

Телеграмма начальника мобилизационного отдела ГУГШ

полковника Саттерупа начальнику 5-й кавалерийской дивизии // ЦГВИА РФ. Ф. 3515. Оп. 1. Д. 522. Л. 429.

Телеграмма начальника Тылового управления русских войск во Франции генералу Артамонову в Салоники о новом назначении Н. Гумилёва // ЦГВИА РФ. Ф. 15 304. Оп. 2. Д. 217. Л. 43.

Телеграмма от 18 февраля 1917 г. о том, что прапорщик Н. Гумилёв на станции Окуловка // ЦГВИА РФ. Ф. 3515. Оп. 2. Д. 10. Л. 11.

Телеграмма от 23 января 1917 г. из штаба 5-й кавалерийской дивизии о назначении прапорщика Н. Гумилёва // ЦГВИА РФ. Ф. 3515. Оп. 2. Д. 10. Л. 2.

Удостоверение прапорщика Н. Гумилёва, 17 мая 1916 г. // ЦГВИА РФ. Ф. 3597. Оп. 1. Д. 188. Л. 67.

notes

Примечания

1

В этой гимназии долгие годы работала сестра Николая — Шурочка, когда поселилась снова в Царском Селе. Там потом училась ее дочь Маруся Сверчкова. А Коля-маленький (как называли в семье Гумилёвых сына Шурочки) пошел учиться в Николаевскую Императорскую гимназию. — Здесь и далее примечания автора.

2

В Киеве жила старшая сестра Инны Эразмовны, вышедшая замуж за известного юриста Виктора Модестовича Вакара.

3

Можно только удивляться прозорливости юного Гумилёва — в 1947 году Андре Жид стал нобелевским лауреатом.

4

Свояченица (фр.).

5

В 1910 году Гумилёв включил в новую книгу последним разделом «Романтические цветы», но оставил из тридцати двух двадцать стихотворений, причем одно было новым («Неоромантическая сказка»), а три, как и в первом издании, — из сборника «Путь конквистадоров». Третье и последнее издание «Цветов» он осуществил в 1918 году в Петрограде и включил уже сорок пять стихотворений, причем двадцать девять — из первого издания и четыре — из книги «Жемчуга».

6

Есть сведения, что Гумилёв вел дневник во время путешествия и его следы появились после 1945 года в Москве, у вдовы знакомого Ахматовой, С. Б. Рудакова, но потом затерялись снова. Остается надеяться, что, как писал М. Булгаков, рукописи не горят!

7

Имеется в виду популярная в то время книга «Демономания» Жана Бодена (1530–1596).

8

Не весь тираж второго номера был выкуплен из типографии, и он стал сегодня исключительной библиографической редкостью.

9

После смерти И. Ф. Анненского Зелинский занял в комитете ОРХС его место.

10

Даты почтовых штемпелей — и варненского, и московского — стерты, адрес: Москва, Брюсову, Цветной бульвар, собственный дом.

11

Ныне Харэр.

12

Ныне Аваш.

13

Ныне город Дыре-Дауа.

Рецензия появилась в журнале «Аполлон» (1910. № 7).

15

Так Л. Н. Войтоловский подписал свою статью.

16

Мать Анны Андреевны, брат Виктор и сестра Ия жили на Паньковской улице, 12, а брат Андрей — на Пироговской, 7.

17

Увы, до наших дней церковь не дожила — была снесена в 70-х годах прошлого века во время строительства станции метро «Левобережная». Теперь на месте былого храма шумит базар.

18

Русская мысль. 1911. № 8. Отд. 3. С. 16.

19

Три стихотворения этого периода при жизни Гумилёва не публиковались. «Сон» с изменениями в семнадцатой строке был напечатан в «Аполлоне» в 1912 году.

Тютчев Ф. И. Избранные стихотворения. Нью-Йорк, 1952.

21

Имеется в виду собрание стихов П. Верлена в переводах Брюсова с биографическим комментарием и библиографией, вышло в 1911 году. Гумилёв дал о нем отзыв в «Аполлоне» (1912. № 1).

Неведомская, которая и запомнила этот экспромт поэта, относила создание его к 1912 году. Но, по всей видимости, она ошиблась, так как на следующий год Гумилёвы очень рано уехали из Слепнева.

23

Родственница Гумилёва по линии матери — А. А. Львова.

24

Ныне Рудольф.

25

Н. Гумилёв ошибся — «Весы» уже не выходили, эта статья Брюсова опубликована в девятом номере журнала «Аполлон».

26

Негритянская оперетка — опера В. Г. Эренберга «Вампука, невеста африканская».

27

Имеется в виду поэт Вячеслав Иванов.

28

Речь идет о поэме «Открытие Америки».

29

Ныне Чэрчэр.

30

Нарбут с Гумилёвым никогда не охотились вместе в Экваториальной Африке, как ошибочно утверждал Валентин Катаев в своей книге «Алмазный мой венец».

31

Из стихотворения В. Нарбута «Абиссиния», опубликованного в книге «Александра Павловна» (Харьков: Лирень, 1922).

32

Современное название Аваш.

33

Очень смелый мальчик (фр.).

34

Современное написание Тэфэри.

Ныне Шейх-Хуссейн.

36

Так у Гумилёва; в современных энциклопедиях — Буонарроти.

37

Гумилёв посвятил Беатриче целый цикл стихотворений.

38

Имеется в виду григорианский календарь, по которому жили европейские страны с 1582 года; в России он был введен в 1918 году.

Первухин В. Псевдофутуризм //Современный мир. 1914. № 3.

Сегодня этого дома нет. На его месте стоит неуклюжий пятиэтажный дом советской постройки, совершенно не вписывающийся в пейзаж старого Царского Села.

41

Речь идет о стихотворении Н. Гумилева «Я верил, я думал…», написанном до 20 октября 1911 года.

42

Статьи В. Инсарова о Цехе поэтов в газете «Нижегородец» (№ 198, 211, 216, 248), в газете «Речь» (№ 47) Д. Философова «Акмеисты и М. П. Неведомский» и В. Гиппиуса «Литературная секта». 15 марта увидела свет статья В. Ф. Боцяновского (под псевдонимом Анчар) «Акмеисты» в «Биржевых ведомостях». 4 и 6 апреля газета «Русские ведомости» печатала в № 78 и 80 статью И. Игнатова «Литературные отклики. Новые поэты: акмеисты, адамисты, эгофутуристы». 10 апреля газета «Русское слово» публикует статью С. Кречетова «Критика акмеистов».

43

Намек на стихотворения Нарбута и Городецкого.

В ту пору поэт планировал подготовить и издать сборник одноактных пьес, однако этим планам не суждено было сбыться, хотя о выходе такой книги было объявлено в № 9 и 10 журнала «Гиперборей» за 1913 год.

Споры об «Актеоне» в России и на Западе не утихают и по сей день.

Книге действительно была суждена долгая жизнь: сначала она стала библиографической редкостью, потом пережила время огульного запрета и, наконец, была прекрасно переиздана в 1989 году в Москве издательством «Радуга».

47

Софья Чацкина была редактором журнала «Северные записки», где печатались переводы Н. Гумилёва. Видимо, с деньгами у Николая Степановича было туго, а впереди — лето.

Татьяна Борисовна (жена Лозинского) в это время ждала ребенка.

49

Ясинский Иероним Иеронимович (1850–1931) — известный в ту пору журналист и писатель, редактировал журнал «Новое время».

50

В курсе дела (фр.).

51

Франсис Жамм (1868–1938) — французский поэт, в России его стихи переводили Анненский и Брюсов. По всей видимости, речь идет о русском издании «Стихи и проза» (М., 1913).

52

Сергей Михайлович Лозинский стал известным математиком. Умер в 1985 году.

53

Город В. в «Записках кавалериста» Гумилёва — Владиславов.

Об этом появились сообщения в газетах «Биржевые ведомости» (А. Измайлов «Карнавальное», № 14 642 от 30 января) и «Петроградский курьер» (статья Ю. С. Волина «Вечер поэтов в „Бродячей Собаке“», 29 января). А 28 января 1915 года в английской газете «The New Age» помещена статья К. Бехгофера о его встрече с Н. Гумилёвым.

55

Журнал «Вершины» (1915. № 8. Январь). 470

56

Письмо адресовано в Слепнево с припиской на конверте с адресом: «Анне Андреевне Гумилевой, за отсутствием распечатать Анне Ивановне» (матери Н. Гумилева). На обороте рукой А. А. Ахматовой карандашом дата получения «1915 г., 21 июля».

Произведения поэта (особенно посвященные военной тематике) пользовались популярностью и выходили в самых разнообразных журналах и альманахах в 1915 году: «Солнце духа» («Невский альманах жертвам войны», вып. 1, Пг.; альманах «Война в русской поэзии»), «Наступление» (альманах «В тылу»), «Больной», «Восьмистишие» («Вершины», № 25), «Средневековье» («Вершины», № 29–30).

Журнал «ЛОКАФ» (май-июнь, книга 5–6). М., 1931.

59

В приложении к журналу «Нива» (1916. № 2).

60

Журнал «Нива» (с цензурными купюрами) (1916. № 9. 27 февраля).

61

Газета «Солнце России» (1916. № 317).

Журнал «Нива» (1916. № 11. 12 марта).

63

Газета «Одесский листок» (1916. № 97. 10 апреля).

64

В газете «Биржевые ведомости» (1916. 30 сентября) опубликованы рецензии на книги Ляндау «У темной двери» и М. Струве «Стая».

65

Поэма «Гондла» увидела свет в журнале «Русская мысль» (1917. № 1).

Драма «Дитя Аллаха» опубликована в журнале «Русская мысль» (1917. № 6–7).

Издание журнала «Лукоморье».

68

Улица Галилея.

69

Отель «Кастиль» на улице Камбон.

Подарок был не совсем обычный. Только Гумилёв мог везти в красный Петроград коробку шоколадных конфет с портретом английского короля!

71

Последнее издание не было осуществлено.

Судьба второй семьи поэта была трагической. В январе 1942 года в блокадном Ленинграде ушли из жизни Николай Александрович и Лариса Михайловна, а в апреле 1942-го умерла и Анна Николаевна.

Интересно, что поэма была опубликована в сборнике «Гейне. Стихотворения» (М.; Л.: Академия, 1931), когда Гумилёв в «красной» России уже был под запретом.

Опубликована в журнале «Литературное обозрение» (1987. № 7).

Пьеса увидела свет в Нью-Йорке в 1952 году в книге Н. Гумилёва «„Отравленная туника“ и другие неизданные произведения», подготовленной профессором Г. П. Струве. А 22 января 1988 года впервые в нашей стране поставил «Отравленную тунику» Челябинский областной драматический театр (режиссер-постановщик Е. Н. Гусев).

Воспоминания в кн.: Ходасевич В. Портреты словами. М., 1987. С. 124–125.

Впервые пьеса была опубликована в журнале «Литературное обозрение» (1989. № 6).

Cache-cache — прятки (фр.).

Жить раскованно (фр.).

80

Впервые была опубликована в России только в 1987 году в журнале «Русская литература» (№ 2. С. 159–163).

81

В журнале «Театр и жизнь» (1920. № 3).

Издательство «Алконост» (Пг., 1920).

83

Статья М. Йовановича «Н. Гумилёв и масонское учение» в кн.: Н. Гумилёв и русский Парнас. СПб., 1992. С. 41.

Гумилёв Н. С. Полн. собр. соч.: В 4 т. Стихотворения. Поэмы. 1918–1921. М.: Воскресенье, 2001.

Гум — Гумилёв, Егорка — Георгий Иванов, Пентегью — Ирина Одоевцева.

86

«Саламандра» — страховое общество, действовавшее в России до октябрьского переворота.

«Литературная Россия». 1992. 24 января.
23 В. Полушин

88

Верун — Вера Евгеньевна Аренс-Гаккель, родная сестра жены Пунина Анны Евгеньевны, хорошая знакомая Гумилева.

89

Андре Шенье (1762–1794) — французский поэт, казненный якобинцами.

90

В 1944 году прах поэта перенесли на Литераторские мостки Волкова кладбища.

Был расстрелян в 1924 году.